Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая **

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ГИ ДЕ МОПАССАН

ЖИЗНЬ

●

МИЛЫЙ ДРУГ

●

НОВЕЛЛЫ

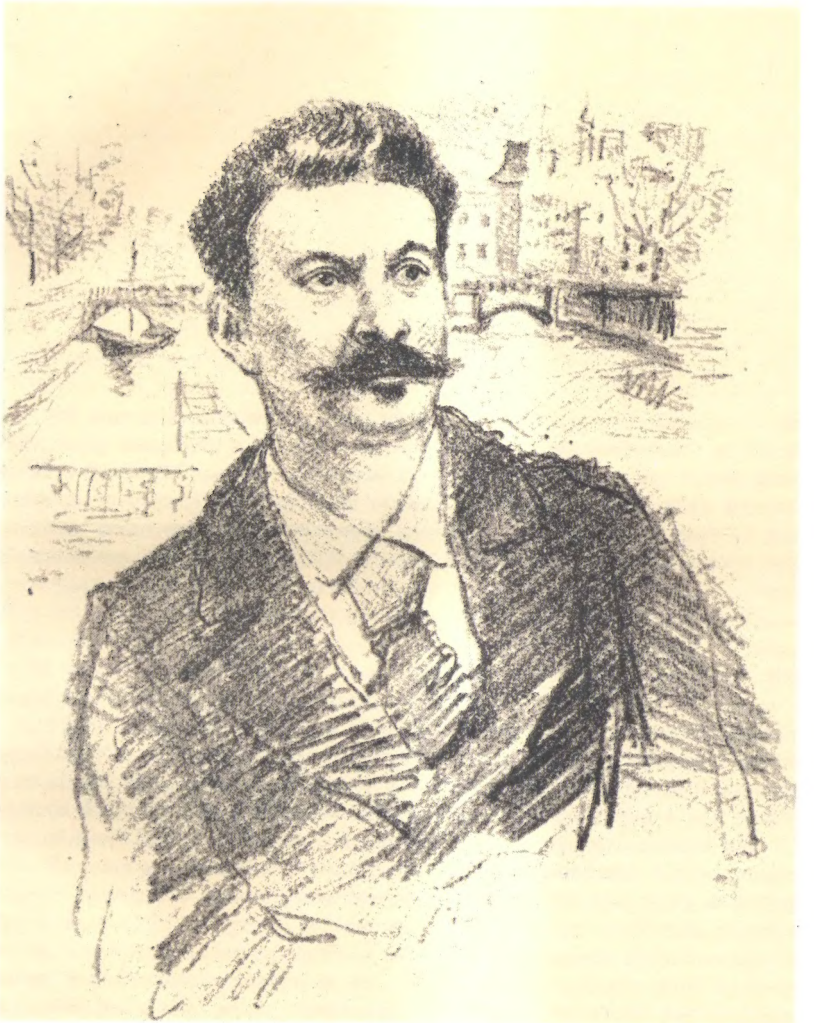
ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1970

Вступительная статья и примечания
Е. Евниной

И(Фр)
М 78

Иллюстрации
К. Рудакова



ГИ ДЕ МОПАССАН

«Я вошел в литературу, как метеор, и исчезну, как молния»,— сказал как-то Мопассан в беседе с поэтом Эредиа. Действительно, почти все богатое и разнообразное творчество Ги де Мопассана — том стихов, шесть романов, шестнадцать сборников новелл и рассказов, три книги путевых очерков, многочисленные газетные хроники — появилось в свет за одно десятилетие: между 1880 и 1890 годами. В 1880 году он стал широко известен благодаря появлению замечательного рассказа «Пышка», а в июле 1893 года Золя уже произносил достопамятную речь на похоронах Мопассана, назвав его одним из тех, кто был «самым счастливым и самым несчастным из людей» и «на чьем примере мы с особой остротой ощущаем горечь крушения человеческих надежд».

Ги де Мопассан родился в 1850 году,— как раз в тот год, когда умер Бальзак. Его литературными учителями были Флобер, братья Гонкуры и Золя. Он заслуженно считается последним представителем блестящей плеяды французских реалистов XIX века, и в то же время в его творчестве впервые проступают черты нового искусства, предвещающие век XX.

Детство и отрочество Мопассан провел в Нормандии, в деревенском имении матери, в живописном местечке Этрета́, вблизи моря и рыбацких поселков. Это здоровое детство на лоне природы, страстная увлеченность спортом, плаванием, греблей, общение с народной средой — крестьянами и рыбаками, с которыми он с юных лет выходил в море на своей любимой рыбачьей лодке, сообщили будущему писателю необычайную свежесть восприятия жизни, открыли его душу всем радостям физического существования, сделали его замечательным наблюдателем быта и поведения простых людей Франции («Мои глаза открыты на манер голодного рта, пожирающего землю и небо. Да, у меня ясное и глубокое чувство, что я пожираю мир взглядом»,— говорил он позднее). В 1870 году

опыт двадцатилетнего Мопассана пополнился драматическими переживаниями, связанными с военными событиями: он был мобилизован в армию с первых же дней франко-прусской войны и на собственной шкуре — шкуре солдата — испытал ее бессмысленность и жестокость, глубоко пережив горечь поражения и оккупации родины чужеземными войсками.

После демобилизации молодой Мопассан несколько лет зарабатывал на жизнь службой в морском министерстве, затем в министерстве просвещения, где он столкнулся с тусклым существованием и мелкими интересами чиновничьего люда и откуда вынес целую галерею образов «унылых каторжников, прикованных к зеленой папке», как он скажет в известной новелле «В своей семье».

Подготовленный таким образом к пристальному наблюдению окружающей его среды, Мопассан получает вдобавок бесценные уроки Флобера, который был в детстве близким другом его матери Лауры и ее рано умершего брата Альфреда. Флобер привязывается к Мопассану, как к сыну, тем более что молодой человек и внешностью и одаренностью очень напоминает ему покойного друга. Он взыскательно читает, правит, критикует стихи, сказки, новеллы и драмы, в которых юный Мопассан пробует свои силы, он воспитывает в своем ученике высокую требовательность к художественному слову. От Флобера Мопассан перенимает стремление к совершенству, ясности и лаконичности повествования, учится у него искусству «объективной» прозы, отбору точной и живописной детали. Простота и естественность, которые поражают нас в его творениях, являются результатом долгой и упорной подготовительной работы. У Флобера же он часто встречается с Тургеневым, и великого русского писателя можно также по праву считать одним из непосредственных наставников Мопассана. В 1880 году, после пятнадцати лет упорного труда, тридцатилетний Мопассан был готов для вступления в большую литературу.

Какова же была философско-этическая концепция, легшая в основу творчества Мопассана?

Мопассана часто считали художником бесстрастным, потому что, пройдя школу «объективного» искусства Флобера, он редко высказывает прямое авторское суждение о своих персонажах, иногда считали его даже поверхностным и неглубоким из-за той легкости, с какой он трактует самые фривольные сюжеты.

В действительности же Мопассан никогда не был ни бесстрастным, ни тем более легкомысленным писателем. Ибо под объективной манерой его рассказа кроется ощущение глубокого трагизма человеческого существования, особенно ясно дающее о себе знать к концу его творческого пути. Недаром в письме к неизвестной, датированном 1890 годом, уже незадолго до последнего, смертельного этапа болезни, Мопассан говорит, что его, «без сомнения, считают одним из наиболее равнодушных людей

на свете», он же склонен думать, что у него «бедное, гордое и стыдливое человеческое сердце», которое «волнуется и заставляет страдать». Он причисляет себя к тем людям, у которых «содрана кожа и нервы обнажены», хотя он достаточно хорошо это скрывает.

По своим исходным позициям Мопассан — материалист, вдумчивый наблюдатель естественных законов объективного мира, чуждый каких бы то ни было религиозных иллюзий. Он не верит в сверхъестественное и глубоко убежден в полном исчезновении всякого уходящего из жизни существа, как говорится в новелле «Он?». Во множестве произведений (новеллы «Лунный свет», «Сын», «Любовь», роман «Жизнь» и др.) он утверждает правомочность естественных чувств и непреоборимую силу любви, показывает поразительную гармонию, разлитую в природе.

В то же время, наблюдая нравы своих современников, Мопассан с отвращением отмечает собственнические и стяжательские инстинкты, проникшие во все поры буржуазного общества, захватившие самые разнообразные социальные слои и изуродовавшие семью, быт, личные отношения людей. Владелец рыболовного судна Жавель, не пощадивший руку родного брата ради сохранения дорогостоящей рыбацкой сети («В море»); деревенский скопидом дядюшка Ошкорн, погибший из-за своей страстишки подбирать все, что плывет в руки, вплоть до веревочки на проезжей дороге («Веревочка»); мелкочиновничьи семьи с их ожесточенной борьбой за наследство богатых родственников, принимающей часто самые безобразные формы («В своей семье», «Наследство»); чета аптекарей Шуке, возмущенных беззаветной любовью полунищей бродяжки, но не побрезговавших завещанными ею деньгами и жалким скарбом («Плетельщица стульев»); крестьянская женщина, сделавшая источником дохода производство уродливых детей («Мать уродов»); аристократическое семейство графов де Барре, супружеские отношения которых строятся на грубейшем денежном интересе («Гарсон, кружку пива!»),— таковы лишь немногие из бесчисленных образов, выхваченных Мопассаном из самой жизни и ясно раскрывающих его нетерпимое отношение к основе основ буржуазного существования. Трагический контраст между естественной красотой природы и уродством повседневных человеческих отношений передает печальная мысль любимой героини Мопассана — Жанны из романа «Жизнь»: «Она смотрела... как на чудо, на это сияющее рождение дня и не могла понять, как возможно, чтобы в мире, где занимаются такие зори, не было ни радости, ни счастья».

В политической жизни Франции Мопассан с возмущением наблюдал картины войны. О его повышенной чувствительности к страданиям других людей, в частности, во время прусского нашествия 1870 года, очень убедительно рассказывает преданный слуга Мопассана — Франсуа Тассар во второй книге своих воспоминаний. Но Мопассана волновала не только франко-прусская война, не только наглость и жестокость побе-

дителей-пруссаков, страх и угодничество французских обывателей, трепещущих за свою жизнь и добро, насилия и убийства, на которые были вынуждены идти простые и мужественные люди, подобные дядюшке Милону и старухе Соваж. Писателя волнуют также и колониальные аферы французских правителей в Западной Африке. В 1881 году во время «Тунисской кампании» Мопассан отправляется в Алжир в качестве репортера парижской газеты «Голуа» («Gaulois»). Здесь, под жарким небом великолепной южной страны, он наблюдает бессовестное ограбление арабов, у которых скупают за бесценок земли, становится свидетелем массовых убийств и насилий, безнаказанно чинимых французскими властями. Недаром на первых же страницах романа «Милый друг», описывая своего героя — отставного унтер-офицера колониальной армии, только что вернувшегося из Алжира,— Мопассан заставляет его с сожалением вспоминать о былой вольной жизни, когда ему «часто удавалось обирать до нитки арабов», ибо «араба все еще принято считать чем-то вроде законной добычи солдата».

Из всех этих наблюдений Мопассан вынес горькие и гневные мысли о войне, правительствах и народах, которые мы читаем в его лирическом дневнике «На воде» (1888): «Тот, кто управляет, обязан избегать войны, так же как капитан корабля — кораблекрушения.

Когда капитан погубит корабль, его судят — и осуждают, если он окажется повинен в небрежности или даже в неспособности.

Почему бы не судить правительства за каждое объявление войны? Если бы народы поняли это, если бы они сами расправлялись с кровожадными властями, если бы они не позволяли убивать себя без всяких причин, если бы они воспользовались оружием, чтобы обратить его против тех, кто им дал его для избиения,— в этот день война умерла бы... Но этот день не придет!»

В этой тираде заключено главное противоречие миросозерцания Мопассана. С одной стороны, полный справедливого возмущения и священного гнева против безумных убийств и разрушений, производимых войной, он требует от народов восстать и повернуть оружие против своих преступных правительств. С другой стороны, он не верит в возможность восстания и революции, не верит в организующую мощь человеческого разума и потому так резко обрывает себя, обуздывая свой собственный пыл: «Но этот день не придет!»

Если бы Мопассан не умер так рано, он, может быть, приобщился бы к животворной силе социалистических идей, которые десятилетием позже, на гребне рабочего движения 90-х годов, открыли новые перспективы его знаменитым собратьям — Анатолю Франсу, Ромену Роллану, Эмилю Золя, заявившему в 1892 году, что он повсюду встречается с социализмом. Но творчество Мопассана пало на эпоху безвременья, эпоху крушения республиканских идеалов, когда, после поражения Парижской ком-

муны, казалось, ничто еще не предвещало новых революционных взрывов и каких бы то ни было надежд. Поэтому скептицизм Мопассана принимает всеобъемлющий характер. Он не только резко отказывается от звания академика и от ордена Почетного легиона, явно презирая все институты буржуазного общества. Он вбирает в свое творчество пессимистические философские идеи Шопенгауэра, произведения которого, переведенные на французский язык как раз в это время — в 1880 и 1881 годах, получают во Франции огромную популярность.

Мопассан не раз выражал восхищение немецким философом, которого он называет «величайшим в мире разрушителем человеческих грез» и который, по его словам, «навеки заклеймил человечество печатью своего презрения и разочарования» (новелла «У смертного одра»). С Шопенгауэром Мопассана сближают многие грустные мысли о тщете человеческих надежд и дерзаний. Уже в 1880 году внезапная смерть Флобера — первый и тяжелый удар в его жизни — приводит его к пессимистическим выводам о «бесплодности всех усилий» и «духовном одиночестве» человека (письмо к Каролине Комманвиль — племяннице Флобера от 24 мая 1880 г.). Эти настроения Мопассана усиливаются к концу его жизни под влиянием болезни, сопутствуемой тяжелыми мигренями, состояниями депрессии, потерей зрения и памяти — всеми страшными симптомами общего паралича, из-за которого ему суждено было так рано погибнуть. В рассуждениях Мопассана о несовершенстве человеческой природы, о вечном и якобы непреоборимом одиночестве человека, беспомощности и нелепости его усилий, которые либо ни к чему не приводят, либо ведут ко злу («Одиночество», «Сын», «На воде» и др.), уже кроются первые зерна тех пессимистических взглядов, которые в наши дни развились в философские системы, утверждающие абсурдность бытия.

* * *

Эта сложная, отнюдь не прямолинейная философская концепция порождает самые разнообразные и противоречивые тенденции в творчестве Мопассана.

Мопассан — убежденный реалист, который, как и Золя, считает, что в литературе нет запретных тем. «Писатель должен интересоваться всем окружающим и описывать как ступени тронов, так и менее скользкие ступени кухонь»,— писал он в одном из своих писем.

В теоретическом предисловии к роману «Пьер и Жан» (1887) Мопассан уточняет и углубляет свое понимание подлинно реалистического искусства. Прежде всего он отмежевывается от разного рода идеалистических литературных школ, которые стремятся дать предвзятое — «искаженное, сверхчеловеческое, поэтическое, трогательное, очаровательное или возвышенное» представление о действительности. Мопассан стре-

мится к «точному изображению» обыденной жизни и принадлежит к тем романистам, которые пишут «историю сердца, души и разума в их нормальном состоянии». В то же время он предостерегает и против натуралистического фотографирования действительности, требуя строгого отбора событий: «Реалист, если он художник, будет стремиться не к тому, чтобы показать нам банальную фотографию жизни, но к тому, чтобы дать нам ее воспроизведение более полное, более захватывающее, более убедительное, чем сама действительность». Автор романа, как считает Мопассан, должен «заставить нас мыслить», «постигать глубокий и скрытый смысл событий», взволновать читателя «зрелищем обыденной жизни».

Решительно не приемля буржуазный мир, следуя в этом за Бальзаком, Мопассан в то же время выступает как глубоко самостоятельный художник. Он столкнулся с иной действительностью, чем реалисты первой половины XIX века.

Ведь в бальзаковские времена французское буржуазное общество только что достигло своего расцвета в результате бурных событий революций 1789 и затем 1830 годов; автору «Человеческой комедии» важно было проанализировать происхождение богатств, становление новой буржуазной морали и развитие таких типических характеров, как папаша Гранде, Гобсек или Растиньяк, овладевающие новыми способами обогащения и построения карьеры в обществе ростовщиков и банкиров. Глазам Мопассана это общество представилось уже вполне устоявшимся и закостеневшим в своих твердо установленных порядках. И вот под рутиной этих будто бы незыблемых, закрепленных законами общественных и этических норм и воззрений художник и стремится обнаружить глубокое несовершенство и драматичность человеческих отношений, бросая на них мгновенный свет, проникающий в самую глубь вещей. Стремление к «необычайно меткой передаче скрывающихся от наших глаз глубин» [1] — так характеризует искусство Мопассана и А. В. Луначарский.

Мопассану уже не обязательны длительные экскурсы в прошлое его героев. Он ограничивается одним, обычно самым драматическим эпизодом их жизни, в котором как в фокусе отражается порою жалкая и смехотворная, чаще же грустная и даже трагическая ее сущность. Поэтому, в отличие от романиста Бальзака, он дает «зрелище обыденной жизни», главным образом во множестве маленьких остросюжетных новелл и рассказов, каждый из которых сосредоточен на одной из бесчисленных трагедий человеческого существования; в целом они дают поразительное многообразие судеб, фигур и ситуаций, обрисованных посредством меткой и выразительной мопассановской детали с такой же социальной и психологической достоверностью, как в эпическом цикле «Человеческой

[1] А. В. Луначарский, Собр. соч. в восьми томах, т. 5, М. 1965, стр. 521.

комедии» Бальзака. Эти короткие и динамичные новеллы и обеспечили наибольшую славу автору «Пышки», хотя сам он ставил выше свои романы.

Главный пафос Мопассана-новеллиста сосредоточен на том, чтобы раскрыть подоплеку мнимого благополучия буржуазной жизни и сделать явным ее узаконенное уродство. Так он взрывает моральные устои этой жизни, наглядно показывая, что шесть персон, которые едут из оккупированного пруссаками Руана в одном дилижансе с Пышкой, олицетворяя собой слой «порядочных», «влиятельных», «верных религии» людей, людей «с твердыми устоями» и т. д.,— оказываются на поверку самыми отъявленными негодяями и эгоистами, снедаемыми в момент национальной катастрофы отнюдь не патриотическими, а своекорыстными интересами; для этого они и приносят в жертву простодушную девушку, а затем с презрением отшвыривают ее, как «грязную тряпку» («Пышка»). Так же мало щадит художник мнимое религиозное умиротворение, в котором вот уже 25 лет пребывает уважаемый односельчанами аббат Вильбуа: «внезапный толчок» — неожиданное появление отвратительного выродка и преступника, оказавшегося его собственным сыном, мгновенно пробуждает его от «благочестивого сна», возвращает к уродству реальной жизни и толкает на самоубийство («Оливковая роща»).

Сама основа общества, в котором среди сытых и обеспеченных людей живет, точно в джунглях, и «неожиданно» для всех умирает от голода несчастный калека, лишенный всяких средств пропитания («Нищий»), или попадает в тюрьму честный и трудолюбивый малый, нигде не могущий найти себе работу («Бродяга»), или возвратившийся из дальнего плавания матрос встречает сестру в публичном доме («В порту»),— сама основа подобного общества ставится под вопрос автором этих трагических новелл. Под покровом приличия и благопристойности Мопассан постоянно обнаруживает глубоко спрятанную драму загубленной жизни или попранных чувств, как нечаянно вскрытая трагедия двух благородных и самоотверженных сердец, похоронивших свою любовь и так и не решившихся открыться друг другу («Мадемуазель Перль»), или же «посмертный бунт», «крик освобождения», «отчаянный призыв к независимости», прозвучавший из заколоченного гроба мученицы, не посмевшей при жизни сбросить оковы ненавистного брака и во всеуслышание заявить о своей настоящей любви («Завещание»).

Порой Мопассан заставляет пересмотреть самое понятие «порядочных людей». Вот беседуют два почтенных и уважаемых члена общества — академик и сенатор, и один из них признается, что в молодости, в бездумном чувственном порыве, он овладел девушкой — служанкой гостиницы («ведь служанки в гостиницах обычно предназначены для того, чтобы развлекать путешественников»). А девушка между тем умерла от родов, и ее жалкое дитя, воспитанное из милости на скотном дворе, пре-

вратилось в пьянчугу и идиота. «Возможно ли, что я убил несчастную девушку и произвел на свет это жалкое существо?» — с болью и ужасом размышляет академик, который уже ничего не может исправить в содеянном зле («Сын»). Порой художник как бы нарочно сбивает и переворачивает вверх дном установленные обществом критерии, обнаруживая в почтенном — подлое (буржуа из «Пышки»), а в презренном — достойное, чистое и даже героическое (девицы из «Заведения Телье», до слез растроганные воспоминаниями детства на церемонии первого причастия, или проститутка Рашель, вступившаяся за честь поруганной Франции в новелле «Мадемуазель Фифи»).

Примечательно, что при всех уродствах действительности, которые он так мастерски вскрывает, Мопассан умеет разглядеть и красоту и героику в поведении людей. Однако он никогда не идеализирует своих героев, не ставит их на котурны. Он и здесь не отходит от естественности — главного принципа своего искусства (недаром в одной из своих ранних статей он говорит, что «красота есть во всем, надо только уметь ее раскрыть; истинно оригинальный поэт всегда ищет ее там, где она глубже всего скрыта»). Такую внутреннюю, глубоко спрятанную красоту, мужество и несгибаемую силу духа Мопассан находит чаще всего в душах самых простых, внешне ничем не примечательных людей, созданных, казалось бы, для мирной, обыденной жизни и отнюдь не свободных от прозаических черт, которыми наградила их социальная — крестьянская или мелкобуржуазная — среда. Наиболее показательны в этом плане патриотические новеллы о франко-прусской войне и оккупации 1870 года, занимающие важное место в новеллистике Мопассана.

Так, в широко известной новелле «Дядюшка Милон» автор словно нарочно подчеркивает заурядную крестьянскую внешность своего героя: «Ему было шестьдесят восемь лет. Он был мал ростом, худощав, сгорблен; большие руки напоминали клешни краба... На шее, под темной и сморщенной кожей, набухли толстые жилы... Он слыл в поселке человеком несговорчивым и скупым». Столь же типично поведение этого старого несговорчивого крестьянина. Оказавшись подлинным героем, он один, без всякой помощи и без пышных фраз, уничтожил шестнадцать вражеских офицеров и солдат, мстя за убитого сына и свою поруганную землю; когда же пруссаки схватили его и привели на допрос, он взволновался лишь в первую минуту, потому что его смущала «необходимость произнести длинную тираду». Но оправившись от смущения, он внятно и бесстрашно высказал в лицо оккупантам свои простые, истинно патриотические чувства.

Столь же сильна духом, решительна и немногословна старуха Соваж — разгневанная крестьянская мать, которая страшно отмщает гибель своего сына и спокойно, не дрогнув, принимает за это смерть. И скромные парижские обыватели — страстные любители рыбной ловли (из но-

веллы «Два приятеля»), в которых Мопассан подчеркивает «добродушие ограниченных людей»,— хоть и стоят перед пруссаками «мертвенно-бледные», с дрожащими руками, но ни за что не соглашаются купить себе жизнь ценой предательства. И эти два незаметных, в обычной жизни, может быть, даже робких человека относятся к плеяде подлинных героев, выявленных драматической ситуацией войны.

Именно эта сторона творчества Мопассана — его глубоко верное наблюдение, что, по существу, в жизни нет героев и толпы, что героическое неожиданно проявляется в душах простых людей в момент тяжелых национальных испытаний — обрела новую силу в годы народного сопротивления гитлеровским оккупантам. Напечатанные во французской подпольной прессе, наряду со стихами и рассказами живых участников событий 1940—1945 годов, патриотические новеллы Мопассана органически вошли в литературу Сопротивления.

Но и эти патриотические новеллы подтверждают постоянную мысль Мопассана о глубоком драматизме, коренящемся в повседневной жизни. Картина мирной нормандской весны, открывающая новеллу «Дядюшка Милон», служит не только зачином, но и философским заключением рассказанной истории: жизнь идет по-старому, солнце льет на поля свое жгучее пламя, так же ослепительно цветут яблони в саду фермы, пруссаков давно уже нет и в помине, и по-старому мирно собирается в полдень за обедом трудовая крестьянская семья. Только виноградная лоза, посаженная на том месте, где был расстрелян старик, напоминает о страшной драме, которая однажды разыгралась и, следовательно, может в любой момент снова повториться в этой, по видимости такой мирной обстановке.

Другой пример: кучка трепещущих рыбок, только что наловленных злосчастными рыбаками из новеллы «Два приятеля»; вид этих рыбок вызывает последнюю, предсмертную слезу на глазах часовщика Морисco. А спустя несколько минут эти же рыбки вызывают веселую и циничную улыбку пруссака, собравшегося вкусно позавтракать уловом расстрелянных французов. Подобная психологическая деталь, освещающая одновременно и душу палача, и душу его жертвы, указывающая на тесное сосуществование мирного и трагического в человеческой жизни, также отражает сущность мопассановского восприятия действительности. Основной пласт мопассановских новелл, включая патриотический цикл, представляет собой нескончаемые вариации на тему о том, как драматично, жестоко и несправедливо слагаются отношения людей, которые постоянно ранят, ушибают, губят друг друга в войне и мире, в любовных встречах, в быту, в погоне за удовольствием или хлебом насущным. Отсюда и происходит сама форма мопассановской новеллы как конденсированной драмы человеческих взаимоотношений.

Мопассан, как известно, превосходный рассказчик. Его близкая приятельница Эрмин Леконт дю Нуи свидетельствовала: «...когда Ги говорил, это был чаровник... чудесный собеседник. Существа, о которых он говорил, оживали, их видели и слышали». Да мы и сами, читая новеллы Мопассана, чувствуем, как они захватывают нас с первых строк повествования. В чем же состоит искусство построения его рассказа?

Возьмем в качестве классического образца новеллу Мопассана «Возвращение», и мы сразу увидим, как художник с самого начала последовательно и точно воссоздает перед нами зримую картину: море, которое бьется о берег однозвучной волной, облачка, проносящиеся по синему небу, словно белые птицы, рыбацкую лачугу с голубыми ирисами на крыше, квадратный огородик перед дверью с посаженными в нем луком, петрушкой и капустой, девочку, которая чинит у калитки латаное белье бедняков... В этой так полно и так точно выписанной обстановке, что кажется, можно прикоснуться пальцем к любому предмету, перед нами развертывается действие столь же достоверное и естественное, как сама жизнь.

Почти в любой новелле Мопассана мы ощущаем эту чувственную конкретность и достоверность материальной жизни. Ибо писатель умел так зорко видеть и так поразительно глубоко воспринимать, вдыхать, слышать и обонять окружающий мир, как будто делал это не только всеми органами чувств, но и всеми порами своего тела. Франсуа Тассар, слуга Мопассана, не раз вспоминает о том, как его господин — неутомимый путешественник и любознательный наблюдатель — подолгу и с наслаждением впитывал в себя открывающиеся перед ним пейзажи, со всеми красками, очертаниями и ароматами земли и цветущих растений, как он пристально изучал все повадки животных, постоянно заводя в своем доме кошек, собак, кур, рыбок, попугая или черепах. Но, разумеется, больше всего Мопассана интересовали люди — люди самых разных кругов и сословий. В новелле «Сестры Рондоли», где автор рассказывает о многих своих вкусах и привычках, он не случайно замечает, что всякий раз, как перед ним появляется новое лицо, его «неотступно преследует желание разгадать, какая душа, какой ум, какой характер скрывается за этими чертами».

Должно быть, именно благодаря этой «всеядности», этому искусству наблюдения живой жизни, которым Мопассан владел в совершенстве, так богаты и разнообразны и по тематике и по форме его пленительные новеллы. В большинстве из них драматическое событие предваряется экспозицией с предельно точной и живописной характеристикой обстановки, в которой будет происходить действие (как зачин новеллы «Возвращение»), и заключается ударной концовкой, которая призвана акцентировать кричащую дисгармоничность, внезапно открывшуюся под внешней обыденностью вещей (ребенок, спрятанный в комнате проститутки, или

фальшивые драгоценности, за которые были напрасно отданы красота, молодость — целая жизнь, полная труда и лишений,— в новеллах «Шкаф» и «Ожерелье»).

Иногда Мопассан создает и такие новеллы, которые схватывают не только драматизм социальной жизни, но и разнообразные чувства или настроения, владеющие человеком в разные моменты его жизни. Такова новелла «Сожаление», где старый человек с тоской вспоминает об одиноко прожитой жизни и напрасно упущенном счастье взаимной любви. Или противоположная по настроению новелла «Продается», полная радостного безумия мечты и надежды найти ту единственную, которую всю жизнь ожидает сердце. Или, наконец, новелла «Гарсон, кружку пива!», где нам открывается ужасное смятение детской души, внезапно столкнувшейся с изнанкой жизни через уродство родительских отношений. Однако и в этих психологических новеллах, касающихся мгновенных впечатлений или тончайших движений человеческой души, мы почти всегда встречаем физически ощутимый художественный образ. Ибо психологизм Мопассана — это психологизм, прошедший школу натурализма, связанный не только с социально обусловленным, но и биологическим человеком, который сам является частью природы, ощущает на себе ее физическое воздействие. Вот почему герой новеллы «Продается», идущий берегом моря, не просто созерцает, но и «впитывает» его «глазами вместе со светом», «ноздрями вместе с легким воздухом», «всеми порами вместе с дуновением ветра». А для того чтобы дать представление о страшной буре, опустошившей душу человека в новелле «Гарсон, кружку пива!», художник прежде всего показывает, как это внутреннее опустошение ощутимо сказывается в его внешнем облике: «Он был неопрятен... Одна мысль о его башмаках и о том, что они прикрывают, бросала меня в дрожь. Обтрепанные манжеты заканчивались совершенно черной каемкой, так же, как и ногти».

Порой в объективное и последовательное изложение событий новеллы Мопассана врывается субъективное отношение рассказчика, который, наблюдая человеческую драму как бы со стороны, углубляет увиденное своим личным взглядом, состраданием или обобщающей мыслью. Так построена новелла «Старуха Соваж», которая кончается грустным размышлением автора о «жестоком геройстве» матери, расстрелянной подле стен сожженного ею дома. Да и в новелле «Шкаф» рассказчик не может удержаться от выражения глубоко личного чувства при виде несчастного ребенка, вынужденного ночевать в шкафу, пока его мать зарабатывает на хлеб. «У меня самого подступали к горлу горькие слезы»,— признается он читателю. Личные чувства с годами занимают все большее и большее место в творениях Мопассана. В дневнике его путешествий по Средиземному морю, названному «На воде», он совсем отказывается от выдумки и сюжета, чтобы отразить свои настроения, то такие

мрачные, что ему хочется умереть от отвращения ко всему существующему, то, напротив, говорящие о его органическом наслаждении жизнью: «Я люблю небо — как птица, леса — как бродяга-волк, скалы — как серна... Я люблю звериной и глубокой любовью все, что живет, все, что растет, все, что мы видим». Это личное, субъективное начало само по себе является новым элементом для реалистической прозы XIX века, которая была, в основном, объективной. Оно позволяет нам глубже проникнуть в эмоциональную жизнь человека и вплотную подводит Мопассана к литературе XX столетия.

Есть и такого типа новеллы Мопассана, которые близки к интеллектуально-философскому жанру (такие, как «Он?», «Одиночество», «Орля» и др.); здесь перед нами появляется размышляющий и анализирующий свои собственные мысли и ощущения герой, говорящий чаще всего прямо от первого лица. Соответственно меняется и лексика героя, который касается глубоко философских материй, вроде «загадок человеческого бытия» или границ неизвестного, в которое мы будто бы не можем проникнуть с помощью наших несовершенных органов чувств. Такие новеллы являют собой обогащение палитры художника, так как достигают самых глубинных областей сознания и подсознания и, может быть, впервые в литературе затрагивают такие тонкие и неуловимые чувствования, как смятение мысли или ускользание рассудка из-под власти человека. Однако в то же время они отражают и первые симптомы болезни и кризиса реализма, назревающего в творчестве Мопассана.

* * *

В романах Мопассана, особенно в первых и лучших из них, какими являются «Жизнь» (1883) и «Милый друг» (1885), мы найдем те же, уже знакомые черты его творчества: раскрытие глубокой драматичности обыденной жизни, естественный, далекий от всякой риторики ход повествования, предельно четкое изображение социальной среды, определяющей характер героинь и героев — дочери небогатых помещиков Жанны из «Жизни» или проходимца Дюруа, возвратившегося с военной службы из Африки без единого су в кармане.

Однако если в кратких новеллах Мопассана человеческая драма обычно схвачена по необходимости лишь в одной из наиболее комических или трагических ее ситуаций, жанр романа предоставляет писателю возможность показать в движении целую человеческую жизнь (не случайно первый же свой роман он именно так и называет). Здесь шире площадка действия и возможность наблюдения разных оттенков поведения и чувствований человека. Краткое описание обстановки, обязательное в экспозиции новеллы, разрастается в романе в обширную эпическую фреску — барское имение Тополя и вся Нормандская провинция

в романе «Жизнь» или парижские бульвары, пресса, финансовые и правительственные манипуляции в романе «Милый друг».

При этом роман Мопассана имеет свои оригинальные черты по сравнению с другими романами его современников. В противоположность натуралистическому роману, наиболее распространенному в то время в западноевропейских странах, роману, который изображал человека как существо, полностью подчинившееся обстоятельствам, в которые поставила его судьба (подобно Жервезе из «Западни» Золя, неуклонно скатывающейся на дно под влиянием алкоголя и нужды), в романе «Жизнь» нам вдруг открывается известная неуспокоенность человека, вынужденного жить в отвратительном собственническом мире. Под социальной обусловленностью характера своей героини художник различает и более глубинный слой человеческих чувств, и горячее стремление оттолкнуться от грубой прозы частнособственнического существования через поэзию природы, любви, мечты о счастье,— пусть даже эти недолговременные мечты в конце концов попираются неумолимыми законами действительности.

Именно из этой чувствительности к душевной красоте, вопреки всему пробивающейся из-под навязанного человеку уродства буржуазной жизни, и проистекает тончайший лиризм и психологизм Мопассана, пропитавший собою лучшие страницы его первого романа,— романа, который так полюбился Толстому, что он назвал его «превосходным» и «едва ли не лучшим французским романом» после «Отверженных» Гюго [1].

В особенности поэзия природы, как одно из средств выражения душевного мира, характерна для «Жизни» Мопассана. Описание природы никогда не бывает у него безразличным к человеку, но всегда окрашено живой эмоцией и, в свою очередь, проявляет малейшие движения души. Ведь именно через Жанну, «глазами» Жанны художник заставляет нас рассматривать пейзажи ее родной Нормандии или Корсики, где она путешествует с мужем, и эти же пейзажи раскрывают ее настроения, радости и печали. Таково, например, описание первой ночи, которую Жанна проводит в родовом имении Тополя, только что приехав из монастыря, еще полная радостных ожиданий на пороге своей жизни. Прислушивающейся к характерным шумам и шорохам роскошной летней ночи Жанне кажется, «что сердце ее ширится, наполняется шепотом, как эта ясная ночь... Какое-то сродство было между ней и этой живой поэзией... ей чудились неземные содрогания, трепет неуловимых надежд, что-то близкое к дуновению счастья. И она стала мечтать о любви».

В дальнейшем Жанна снова созерцает свои любимые Тополя, но уже тронутая первыми горестными разочарованиями супружеской жизни.

---

[1] Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 30, Гослитиздат, М. 1957, стр. 7.

И та же дивная природа, которая так много обещала ей, теперь лишь выявляет пропасть, лежащую между красотой окружающего мира и ее несчастьем. Разнообразные душевные состояния, настроения и оттенки чувств, рождающиеся под воздействием природы, любви, жизненных бурь и разочарований, Мопассан продолжает исследовать в своей героине на протяжении всего романа. Жизнь Жанны не богата событиями: сватовство Жюльена, замужество, свадебное путешествие в Италию, возвращение и монотонная жизнь в Тополях, сначала покинутой женой, затем вдовой и покинутой матерью,— вот, в сущности, и весь «внешний» рисунок ее грустного существования. Зато ее внутренняя жизнь, тщательно зафиксированная художником, полна самых многообразных чувств и переживаний: здесь и тоска по морю, ее «великому соседу», когда она вынуждена продать Тополя и переехать в другой дом, и неодолимое отчаяние, захватывающее временами ее сердце, и все же «блаженное чувство жизни», заставляющее ее даже в старости, даже в одиночестве, снова мечтать, надеяться и ждать.

Такова сложность жизни, как представляет ее Мопассан, строящий всю драматическую композицию романа таким образом, чтобы показать крах лучезарных мечтаний своей героини. «И вопросы: зачем, за что погублено это прекрасное существо? Неужели так и должно быть? сами собой возникают в душе читателя и заставляют вдумываться в значение и смысл человеческой жизни» [1],— говорит Толстой, анализируя этот роман.

Совсем по другому принципу построен роман «Милый друг», который, вместе со следующим романом — «Монт-Ориоль», является самым «бальзаковским» из всего творчества Мопассана и наиболее явно нацелен на разоблачение общественно-политической действительности его времени.

В центре «Милого друга» — карьера ловкого авантюриста, которого, как сам Мопассан объяснял впоследствии, он намеренно «поместил в достойную его среду, с целью придать большую выпуклость этому персонажу». «Достойной» негодяя Дюруа средой оказались журналисты, министры и финансисты, их жены, дочери и подруги, благодаря последовательному «завоеванию» которых этот сын деревенского трактирщика становится на наших глазах миллионером и имеет все основания стать депутатом и министром.

В романе «Милый друг» полностью развернулся сатирический талант Мопассана, который уже раньше давал себя чувствовать во многих новеллах, в частности в «Пышке». Характерно, что писатель добивается эффекта не прямым изображением главных заправил Третьей республики, а ироническим вскрытием «изнанки» ее политической и экономи-

[1] Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 30, стр. 8.

ческой жизни. Мы почти не видим в романе основную движущую пружину событий — хитрого финансиста Вальтера,— а он-то и стоит за крупной правительственной аферой, которая включает биржевые махинации с марокканским займом и создание общественного мнения, подогревающего идею военной экспедиции в Марокко (именно так обстояло дело с завоеванием Туниса в действительной жизни Франции начала 80-х годов). В то же время мы получаем убийственно-саркастическую характеристику «приводных ремней», с помощью которых действует Вальтер: тут и финансируемая им газета «Французская жизнь», которая, по остроумному выражению одного из сотрудников, «плавала в глубоких водах коммерции и мелких водах политики». Тут и оплачиваемые им министры, вроде надутого ничтожества Ларош-Матье, который, благодаря своему «доморощенному макиавелизму», сходил за умного «среди всех этих отщепенцев и недоносков, из которых делаются депутаты». Тут, наконец, и вся грязная кухня со скупкой акций, которую жена Вальтера раскрывает своему возлюбленному Дюруа, надеясь снискать его расположение. Только под конец романа нам открывается та «маленькая» деталь, что, в результате удавшегося предприятия с захватом марокканских земель и медно-железных рудников, два французских министра «заработали» по двадцати миллионов, а банкир Вальтер стал одним из богатейших людей мира. Иронический взгляд Мопассана обнаруживает, таким образом, прямую связь, которая существует между буржуазным правительством и финансовым капиталом.

Показательна своим злым сарказмом и заключительная сцена романа: во время венчания дочери Вальтера с отъявленным негодяем Дюруа, добившимся успеха с помощью прямого шантажа и обмана, сама церковь устами парижского епископа торжественно причисляет его к сонму наиболее уважаемых людей государства, которые ведут за собой народ и должны подавать ему благой пример.

Актуальность «Милого друга» как политического антиколониального романа неожиданно подтвердилась в 50-е годы нашего столетия, когда во Франции, только что закончившей одну колониальную войну во Вьетнаме и стоявшей на пороге новой войны в Алжире, был запрещен фильм, созданный по роману «Милый друг», что, естественно, вызвало горячее возмущение прогрессивной общественной мысли.

* * *

Заключая краткий обзор жизни и творчества Мопассана, хочется обратить внимание читателей на богатство и разнообразие его литературного наследия. В самом деле: достойно удивления и восхищения, как этот замечательный художник, в молодости отдававший огромную часть своего досуга спорту, воде, путешествиям, светским развлечениям, а в

зрелые годы мучимый страшной болезнью,— как он при этом много и серьезно работал, размышлял, искал новые пути в своем искусстве, которое было постоянным дерзанием, всегда памятуя о главном наставлении Флобера: «Талант — это длительное терпение».

Особенно примечательна работа Мопассана над художественным словом, его упорные поиски того единственного слова, которое должно точно выразить мысль. «Какова бы ни была вещь, о которой вы заговорили, имеется только одно существительное, чтобы назвать ее, только один глагол, чтобы обозначить ее действие, и только одно прилагательное, чтобы ее определить. И нужно искать до тех пор, пока не будут найдены это существительное, этот глагол и это прилагательное, и никогда не следует удовлетворяться приблизительным, никогда не следует прибегать к подделкам, даже удачным, к языковым фокусам, чтобы избежать трудностей»,— говорит нам Мопассан в предисловии к роману «Пьер и Жан».

Вот почему так гибок и выразителен язык Мопассана, умеющий зафиксировать самые многообразные оттенки и нюансы окружающего мира и внутреннего состояния человека,— от бездумного чувственного наслаждения жизнью до крайних пределов отчаяния, от тончайших душевных движений до самых сильных, бурных, трагических переживаний.

Если мы зададимся вопросом, что нового внес Мопассан в реалистическое искусство своего времени, то мы должны будем ответить, что с никем еще дотоле не достигнутой глубиной он раскрыл неисчерпаемое многообразие эмоциональной жизни. Мопассан открывает психологическое направление в западноевропейском романе конца XIX и начала XX века, идя в одном направлении с великими русскими классиками — Толстым, Тургеневым, Достоевским и Чеховым. Этому усложнению и обогащению реализма в творчестве Мопассана способствовала его огромная тяга к красоте и болезненная чувствительность к уродству повседневного человеческого существования, от которого он так сильно страдал в конце своей жизни. «Я потому пишу, что понимаю все существующее, что страдаю от него, что слишком его знаю, и более всего потому, что, не имея возможности им насладиться, я созерцаю его внутри себя, в зеркале своей мысли»,— говорит он в лирическом дневнике «На воде», где запечатлены многие поразительные по силе и трагизму думы и переживания художника.

Драма Мопассана заключалась в том, что, глубоко понимая и ненавидя уродство буржуазных отношений и в то же время не веря в возможность революционного преобразования мира, упорно сторонясь каких бы то ни было политических партий, он нигде не видел выхода из глубокого скептицизма и пессимизма. И все же сегодня мы можем отнести его к прогрессивному лагерю человеческой мысли, ибо, высоко ценя все прекрасное и героическое в человеке, он испытывал боль за его несчастья

и страдания, горячо желал для него лучшей доли. Мопассану хорошо знакомо чувство патриотизма, возмущение несправедливостью, продолжающие волновать наших современников, он был принципиальным противником войны, колониального угнетения и эксплуатации народов.

В своих совершенных по форме, исполненных лиризма и сарказма, грусти и гнева произведениях Мопассан создал целую толпу ярких и разнообразных персонажей, создал удивительно проникновенные картины жизни человеческого сердца, прекрасные поэтические картины природы. Его творчество завоевало ему признание во всем мире. Для широкого читателя Мопассан — непревзойденный мастер французской прозы — был и остается одним из любимых и широко читаемых писателей.

Е. Евнина

ЖИЗНЬ

Госпоже Бренн
дань уважения преданного друга
и в память о друге умершем.
Ги де Мопассан

ПЕРЕВОД Н. КАСАТКИНОЙ

I

Жанна уложила чемоданы и подошла к окну; дождь все не прекращался.

Ливень целую ночь стучал по стеклам и крышам. Низкое, набухшее дождем небо как будто прорвало, и оно изливалось на землю, превращая ее в месиво, распуская точно сахар. Порывы ветра обдавали душным зноем. Журчание воды в затопленных канавах наполняло безлюдные улицы, а дома, точно губки, впитывали сырость, которая проникала внутрь и проступала на стенах, от погреба до чердака.

Жанна вчера лишь вышла из монастыря, наконец-то очутилась на воле, стремилась навстречу всем долгожданным радостям жизни, а теперь боялась, что отец не захочет ехать, пока не прояснится, и в сотый раз за это утро вглядывалась в даль.

Но тут она заметила, что забыла уложить в саквояж свой календарь. Она сняла со стены кусочек картона, разграфленный по месяцам и украшенный посредине виньеткой, где золотыми цифрами был обозначен текущий тысяча восемьсот девятнадцатый год. Она перечеркнула карандашом четыре первых столбца и вымарала имена святых вплоть до второго мая, дня ее выхода из монастыря.

За дверью послышался голос:

— Жаннета!

Жанна откликнулась:

— Войди, папа.

И на пороге показался ее отец.

Барон Симон-Жак Ле Пертюи де Во был аристократ прошлого столетия, человек чудаковатый и добрый. Восторженный

последователь Жан-Жака Руссо, он питал любовную нежность к природе, к полям, лесам, животным.

Как дворянин по рождению, он чувствовал инстинктивную вражду к тысяча семьсот девяносто третьему году, но, как философ по характеру, а по воспитанию — либерал, он ненавидел тиранию безобидной, риторической ненавистью.

Великой его силой и великой слабостью была доброта,— та доброта, которой не хватало рук, чтобы ласкать, чтобы раздавать, обнимать,— доброта зиждителя, беспредельная, безудержная, какой-то паралич задерживающих центров, изъян воли, чуть ли не порок.

Будучи теоретиком, он задумал целый план воспитания своей дочери, желая сделать ее счастливой, доброй, прямодушной и любящей.

До двенадцати лет она жила дома, а затем, несмотря на слезы матери, ее отдали в Сакре-Кёр.

Там он держал ее взаперти, в заточении, в безвестности и в неведении житейских дел. Он хотел, чтобы ему вернули ее целомудренной в семнадцать лет и чтобы сам он приобщил ее к поэзии природы, разбудил ее душу, рассеял ее неведение на лоне плодоносной земли, среди полей, хотел, чтобы она, увидев естественную любовь и безыскусные ласки животных, поняла гармоничность законов жизни.

И вот теперь она вышла из монастыря, сияющая, полная юных сил и жажды счастья, готовая ко всем радостям, ко всем чудесным случайностям, мысленно уже пережитым ею в одиночестве праздных дней и долгих ночей.

Она напоминала портреты Веронезе золотисто-белокурыми волосами, которые словно бросали отблеск на ее кожу, кожу аристократки, чуть тронутую розовой краской, затененную легким и светлым бархатистым пушком, заметным только в те мгновения, когда ее ласкал солнечный луч. Глаза у нее были голубые, темно-голубые, как у человечков из голландского фаянса.

У нее была маленькая родинка на левом крыле носа, а другая справа, на подбородке, и на ней вилось несколько волосков, почти под цвет кожи, а потому незаметных. Роста она была высокого, с развитой грудью, с гибким станом. Звонкий голос ее иногда становился резким, но простодушный смех заражал окружающих весельем. Она часто привычным жестом подносила обе руки к вискам, словно поправляя прическу.

Она подбежала к отцу, обняла его и поцеловала.

— Ну, что же, едем? — спросила она.

Отец улыбнулся, покачал головой, украшенной длинными седеющими кудрями, и показал рукою на окно:

— Как же ехать по такой погоде?

Но она упрашивала нежно и вкрадчиво:

— Ну, папа, ну, поедем, пожалуйста. После обеда прояснится.

— Да ведь мама ни за что не согласится.

— Согласится, ручаюсь тебе.

— Если ты уговоришь маму, я возражать не буду.

Тогда Жанна стремительно бросилась в спальню баронессы. Ведь этого дня, дня отъезда, она ждала со все возраставшим нетерпением.

Со времени поступления в Сакре-Кёр она ни разу не выезжала из Руана, так как отец не допускал для нее до определенного возраста никаких развлечений. Ее только дважды возили на две недели в Париж; но то был город, а она мечтала о деревне.

Теперь ей предстояло провести лето в их имении Тополя, старинном родовом поместье, расположенном на горной гряде близ Ипора; и она предвкушала всю радость привольной жизни на берегу океана. Кроме того, решено было подарить ей это имение, чтобы она жила в нем постоянно, когда выйдет замуж.

Дождь, не переставший со вчерашнего вечера, был первым большим огорчением в ее жизни.

Но не прошло и трех минут, как она выбежала из спальни матери, крича на весь дом:

— Папа, папа! Мама согласна; вели закладывать.

Ливень не утихал; когда карету подали к крыльцу, он даже, пожалуй, усилился.

Жанна уже ждала возле кареты, когда баронесса спустилась с лестницы; с одной стороны ее поддерживал муж, а с другой горничная, статная девушка, ростом и силой не уступавшая мужчине. Это была нормандка из Ко, на вид ей казалось лет двадцать, хотя на самом деле было не больше восемнадцати. В семье ее считали почти что второй дочерью, так как она была молочной сестрой Жанны. Ее звали Розали.

Главной ее обязанностью было водить под руку баронессу, непомерно растолстевшую за последние годы вследствие расширения сердца, на которое она без конца жаловалась.

Баронесса, тяжело дыша, добралась до сеней, вышла на крыльцо старинного особняка, взглянула на двор, где струились потоки воды, и пробормотала:

— Право же, это безумие.

Муж отвечал ей с неизменной улыбкой:

— Это была ваша воля, мадам Аделаида.

Она носила пышное имя Аделаида, и муж всегда предпосылал ему обращение «мадам» с оттенком насмешливой почтительности.

Она двинулась дальше и грузно опустилась на сиденье экипажа, отчего заскрипели все рессоры. Барон уселся рядом. Жанна и Розали разместились на скамеечке напротив.

Кухарка Людивина принесла ворох теплого платья, которым покрыли колени, затем две корзинки, которые запрятали под ноги, наконец сама она вскарабкалась на козлы рядом с дядюшкой Симоном и закуталась с головы до пят в попону. Привратник и его жена попрощались, захлопывая дверцу, выслушали последние распоряжения относительно багажа, который надлежало отправить следом в тележке, и, наконец, экипаж тронулся.

Кучер дядюшка Симон, прячась от дождя, пригнул голову, поднял плечи и совсем потонул в своей ливрее с тройным воротником. Выл порывистый ветер, ливень хлестал в стекла и заливал дорогу.

Лошади крупной рысью плавно вынесли дормез на набережную, и он покатил вдоль длинного ряда кораблей, мачты, реи, снасти которых тоскливо поднимались к ненастному небу, точно оголенные деревья; дальше карета выехала на широкую аллею, проложенную по Рибудетскому холму.

Затем дорога пошла лугами, и время от времени сквозь водяную пелену смутно возникала мокрая ива, беспомощно, как мертвая, свесившая свои ветви. Копыта лошадей чавкали, и колеса разбрызгивали круги грязи.

Все молчали; казалось, умы отсырели так же, как земля. Маменька откинулась на подушки экипажа и закрыла глаза. Барон хмуро глядел на однообразный пейзаж, на затопленные водой поля. Розали, держа на коленях узел, застыла в тупой полудреме, свойственной простонародью. Только Жанна, казалось, оживала под этим летним ливнем, как тепличный цветок, вынесенный на свежий воздух; радость, точно густая листва, защищала ее сердце от печали. Хотя она молчала, ей хотелось петь, хотелось протянуть наружу руку, собрать воды и напиться; ей приятно было ощущать быструю рысь лошадей, видеть вокруг безотрадный, поникший под дождем ландшафт и сознавать, что она укрыта от этого потопа.

От намокших, лоснящихся крупов обеих лошадей поднимался пар.

Баронесса мало-помалу задремала. Лицо ее, окаймленное

шестью аккуратными длинными буклями, постепенно оседало на три мягкие гряды подбородка, последние волны которого сливались с безбрежным морем ее груди. При каждом вздохе голова ее поднималась и тотчас падала снова; щеки надувались, а из полуоткрытых губ вырывался звучный храп. Муж нагнулся к ней и осторожно всунул ей в руки, сложенные на округлости живота, кожаный бумажник.

Это прикосновение разбудило ее, и она посмотрела на бумажник затуманенным взглядом, еще не вполне очнувшись от сна. Бумажник упал и раскрылся, по карете рассыпалось золото и банковые билеты. Тут она проснулась окончательно, а у дочери радостное настроение прорвалось звонким смехом.

Барон подобрал деньги и, кладя их на колени жене, заметил:

— Вот все, что осталось от моей фермы в Эльто, дорогая. Я продал ее, чтобы отремонтировать Тополя, ведь мы теперь подолгу будем жить там.

Она сосчитала деньги — шесть тысяч четыреста франков — и невозмутимо спрятала их в карман. Они продавали таким образом уже девятую ферму из тридцати двух, унаследованных от родителей. Однако у них имелось еще около двадцати тысяч франков дохода с земель, которые при умелом управлении легко давали бы тридцать тысяч в год.

Жили они скромно, и этого дохода им хватало бы, если бы в хозяйстве не было бездонной, всегда открытой бочки — доброты. От нее деньги в их руках испарялись, как испаряется от солнца влага в болотах. Деньги уходили, утекали, исчезали. Каким образом? Никто даже понятия не имел. То и дело кто-нибудь из них говорил:

— Не понимаю, как это вышло, что нынче истрачено сто франков, а, кажется, крупных покупок не было.

Впрочем, легкость, с какой они раздавали, составляла одну из главных радостей их жизни, и в этом вопросе они были чудесно, трогательно единодушны.

— А «мой дом» стал теперь красивым? — спросила Жанна.

— Сама увидишь, дочурка,— весело ответил барон.

Мало-помалу ярость непогоды стихала; вскоре в воздухе осталась только влажная дымка, мельчайшая дождевая пыль. Низко нависшие тучи поднимались все выше, светлели, и вдруг сквозь невидимую щель косой солнечный луч скользнул по лугам.

Тучи расступились, открывая синюю глубь небосвода; понемногу щель расширилась, словно в разорванной завесе, и чудесное ясное небо чистой и густой лазури раскинулось над миром.

Пронесся свежий и легкий ветерок, будто радостный вздох земли; а когда карета проезжала вдоль садов и лесов, оттуда доносилась порой резвая песенка птицы, сушившей свои перышки.

Смеркалось. Теперь уже в карете спали все, кроме Жанны. Два раза делали остановку на постоялых дворах, чтобы лошади передохнули, а также чтобы задать им овса и напоить их.

Солнце зашло; вдалеке раздавался колокольный звон. В какой-то деревушке пришлось зажечь фонари; и небо тоже загорелось мириадами звезд. То там, то здесь мелькали освещенные дома, пронизывая огоньками мрак; и вдруг из-за косогора, между ветвями сосен, всплыла огромная красная, словно заспанная, луна.

Было так тепло, что окон не поднимали. Жанна утомилась от грез, насытилась радостными видениями и теперь дремала. По временам ноги ее затекали от неудобной позы; тогда она просыпалась, смотрела в окно, видела в светлой ночи проплывавшие мимо деревья какой-нибудь фермы или коров, которые лежали поодиночке на поле и приподымали головы. Затем она меняла положение, стараясь связать нить прерванных грез, но неустанный грохот экипажа отдавался у нее в ушах, утомлял мозг, и она вновь закрывала глаза, чувствуя себя совершенно разбитой.

Но вот карета остановилась. У дверцы стояли какие-то люди, мужчины и женщины, с фонарями в руках. Приехали. Жанна сразу же проснулась и стремительно выпрыгнула из экипажа. Отец и Розали, которым светил один из фермеров, почти вынесли вконец измученную баронессу; она страдальчески охала и твердила замирающим голосом: «Ах ты, господи! Ах, дети мои!» Она не пожелала ни пить, ни есть, легла и тотчас уснула.

Жанна и барон ужинали вдвоем. Они переглядывались и улыбались, через стол пожимали друг другу руки и в приливе одинаковой ребяческой радости отправились осматривать заново отделанный дом.

Это было высокое, большое нормандское жилище, не то ферма, не то замок, построенное из белого, уже посеревшего плитняка и достаточно просторное, чтобы вместить целое племя.

Обширный вестибюль пересекал весь дом насквозь, и на обе стороны открывались широкие двери. Двойная лестница расходилась полукругом по этому вестибюлю, оставляя середину пустой, а на втором этаже обе ее половинки соединялись площадкой, наподобие мостика.

Внизу справа был вход в огромную гостиную, обтянутую штофными обоями с изображением птиц, порхающих среди ли-

ствы. Вся обивка на мебели, вышитая полукрестом, представляла собой иллюстрации к басням Лафонтена, и Жанна затрепетала от радости, увидев свой самый любимый в детстве стул, где изображена была история лисицы и журавля.

Рядом с гостиной находилась библиотека, наполненная старинными книгами, и еще две нежилые комнаты; слева — столовая с новыми деревянными панелями, бельевая, буфетная, кухня и чуланчик, где помещалась ванна.

Вдоль всего второго этажа шел коридор, куда открывались в ряд двери десяти комнат. В дальнем конце его, справа, была спальня Жанны. Они вошли туда. По распоряжению барона, ее только что обставили заново, пустив в дело мебель и драпировки, хранившиеся без употребления на чердаках.

Шпалеры старинной фландрской работы населяли комнату диковинными фигурами.

При виде кровати Жанна вскрикнула от восторга. Четыре птицы из черного дуба, навощенного до глянца, поддерживали постель с четырех концов и, казалось, охраняли ее. По бокам тянулись широкие резные гирлянды цветов и фруктов; а четыре искусно выточенных колонки с коринфскими капителями подпирали карниз из переплетенных роз и купидонов.

Ложе было монументальное, но при этом очень изящное, невзирая на суровый вид дерева, потемневшего от времени.

Покрывало на постели и драпировки полога сияли, как два небосвода. Они были из тяжелого старинного синего шелка с вытканными золотом крупными геральдическими лилиями.

Налюбовавшись кроватью, Жанна подняла свечу, стараясь разглядеть, что́ изображено на шпалерах. Молодой вельможа и молодая дама, причудливым образом разодетые в зеленое, красное и желтое, беседовали под голубым деревом, где созревали белые плоды. Огромный, тоже белый, кролик щипал скудную серую травку.

Над самыми головами действующих лиц в условном отдалении виднелось пять круглых домиков с остроконечными кровлями, а зверху, чуть не на небе,— ярко-красная ветряная мельница.

Все это было переплетено крупным узором в виде цветов. Два других гобелена во всем были сходны с первым, только на них из домиков выходили четыре человечка, одетые по фламандской моде и воздевавшие руки к небу, в знак крайнего изумления и гнева.

Но последний гобелен изображал драму. Возле кролика, продолжавшего щипать травку, молодой человек был простерт

на земле, по-видимому мертвый. Молодая дама, устремив на него взор, пронзала себе грудь шпагой, а плоды на деревьях почернели.

Жанна потеряла надежду понять что-либо, как вдруг заметила в углу крохотную зверушку, которую кролик, будь он живым, проглотил бы, как былинку. Однако же это был лев.

Тут Жанна узнала историю злосчастий Пирама и Тисбы; и хотя наивность изображений вызвала у нее улыбку, ей стало радостно при мысли, что ее будет постоянно окружать это любовное приключение, баюкая ее сладостными надеждами и осеняя ее сон страстью героев старинной легенды.

Остальная меблировка представляла собой смешение самых различных стилей. Здесь были вещи, которые остаются в семье от каждого поколения и превращают старинные дома в музеи всякой всячины. По бокам великолепного комода в стиле Людовика XIV, одетого в броню сверкающей меди, стояли кресла времен Людовика XV, сохранившие прежнюю свою обивку из шелка в букетах. Бюро розового дерева стояло напротив камина, где под круглым стеклянным колпаком красовались часы времен Империи.

Часы представляли собой бронзовый улей, стоявший на четырех мраморных колонках над садом из позолоченных цветов. Тонкий маятник спускался из продолговатого отверстия в улье и заставлял пчелку с эмалевыми крылышками вечно порхать над этим цветником.

В переднюю стенку улья вставлен был расписной фаянсовый циферблат.

Часы пробили одиннадцать. Барон поцеловал дочь и отправился к себе.

Тогда Жанна не без сожаления легла спать.

Окинув последним взглядом свою спальню, она погасила свечу. Но кровать только изголовьем упиралась в глухую стену, слева от нее было окно, оттуда падал сноп лунных лучей, и по полу разливалось светлое пятно.

Отблески лунного света отражались на стенах, бледные отблески, легкими касаниями ласкавшие любовь Пирама и Тисбы.

В другое окно, напротив, Жанне видно было большое дерево, все омытое мягким сиянием. Она повернулась на бок, закрыла глаза, но немного погодя опять открыла их.

Ее как будто все еще встряхивали толчки кареты, а грохот колес по-прежнему отдавался в голове. Сперва она пыталась лежать не шевелясь, надеясь, что скорее уснет таким образом; но беспокойство ума передавалось и телу.

Жизнь

По ногам пробегали мурашки, лихорадочное возбуждение усиливалось. Тогда она встала и, босая, с голыми руками, в одной длинной рубашке, придававшей ей вид привидения, перебежала лужицу света, разлитую на полу, распахнула окно и выглянула наружу.

Ночь выдалась такая светлая, что видно было, как днем; девушка узнавала всю местность, любимую ею когда-то в раннем детстве.

Прежде всего, прямо перед ней расстилался широкий газон, желтый, как масло, при ночном свете. Два дерева-гиганта возвышались по обоим его краям перед домом, с севера — платан, с юга — липа.

В самом конце обширной лужайки небольшая роща замыкала усадьбу, защищенную от морских бурь пятью рядами древних вязов, согнутых, изломанных, источенных, точно крыша срезанных вкось вечно бушующим ветром с океана.

Это подобие парка было ограничено справа и слева двумя длинными аллеями громадных тополей, которые отделяли хозяйский дом от двух примыкающих к нему ферм; одну занимало семейство Куяр, другую — семейство Мартен.

Эти тополя дали имя поместью. За их стеной простиралась невозделанная, поросшая дроком равнина, где ветер свистал и резвился ночью и днем. Дальше берег сразу обрывался стометровым утесом, крутым и белым, подножье которого омывало волнами.

Жанна видела вдали подернутую рябью длинную полосу океана, который как будто дремал под звездным небом.

Отдыхавшая от солнца земля источала все свои ароматы. Жасмин, обвивший окна нижнего этажа, распространял свое резкое, пряное благоухание, и оно смешивалось с нежным запахом распускающихся почек. Неторопливые ветерки приносили крепкий соленый вкус моря и терпкие испарения водорослей.

Девушка сперва наслаждалась просто тем, что дышала, и деревенский покой умиротворял ее, как прохладная ванна.

Все зверье, просыпающееся к вечеру и скрывающее свое безвестное существование в тишине ночей, наполняло полумрак беззвучным оживлением. Большие птицы проносились в воздухе без единого крика, точно пятна, точно тени; жужжание невидимых насекомых едва задевало слух. Что-то неслышно двигалось по песку пустынных дорожек и по траве, напитанной росой.

Лишь тоскующие жабы отрывисто и однотонно квакали на луну.

Жанне казалось, что сердце ее ширится, наполняется шепотом, как эта ясная ночь, и внезапно оживляется сонмом залетных желаний, подобных бесчисленным жизням, которые копошатся в ночной тьме. Какое-то сродство было между ней и этой живой поэзией, и в теплой белизне летнего вечера ей чудились неземные содрогания, трепет неуловимых надежд, что-то близкое к дуновению счастья.

И она стала мечтать о любви.

Любовь! Два года уже нарастал в ней страх приближающейся любви. Теперь ей дана свобода любить; только надо встретить *его*. Его!

Какой он будет? Этого она не представляла себе и даже не задумывалась над этим. Он будет *он,* вот и все.

Она знала одно, что будет любить его всем сердцем, а он — обожать ее всеми силами души. В такие вечера, как этот, они пойдут гулять под светящимся пеплом звезд. Они пойдут рука об руку, прижавшись один к другому, ясно слыша биение сердца друга, ощущая теплоту плеч, и любовь их будет сливаться с тихой негой теплой летней ночи, и между ними будет такая близость, что они легко, одной лишь силой чувства, проникнут в сокровеннейшие мысли друг друга.

И это будет длиться без конца, в безмятежности нерушимой любви.

И вдруг она словно ощутила его тут, около себя; и смутный чувственный трепет пробежал по ней с головы до пят. Бессознательным движением она прижала руки к груди, как будто желая обнять свою мечту; и губ ее, раскрытых навстречу неизвестному, коснулось то, от чего она едва не лишилась сознания,— словно дыхание весны подарило ей первый поцелуй любви.

Но вот где-то во тьме, позади дома, на дороге раздались шаги. И жар смятенной души, прилив веры в невозможное, в счастливые случайности, в сверхъестественные предчувствия, в романтические хитросплетения судьбы внушили ей мысль: «Что, если это он?» Она напряженно прислушивалась к мерным шагам прохожего, не сомневаясь, что он постучится у ворот и попросит приютить его.

Когда он прошел мимо, ей стало грустно, как будто ее и в самом деле постигло разочарование. Но она тут же поняла фантастичность своих надежд и улыбнулась своему безумию.

Тогда, успокоившись немного, она предалась более разумным мечтам — пыталась заглянуть в будущее, строила планы всей дальнейшей жизни.

Она будет жить с ним здесь, в этом мирном доме, возвы-

шающемся над морем. У них, наверно, будет двое детей: для него — сын, для нее — дочка. И она уже видела, как они резвятся на лужайке между платаном и липой, а отец и мать следят за ними восхищенным взором, обмениваясь через их головы взглядами, полными страсти.

Долго-долго сидела она так, погрузившись в грезы, уж и луна совершила свой путь по небу и собралась скрыться в море. Воздух посвежел. Горизонт стал бледнеть к востоку. На ферме справа пропел петух; другие отозвались на ферме слева. Их хриплые голоса, приглушенные стенками курятников, казалось, доносились очень издалека; на высоком, постепенно светлевшем своде небес стали исчезать звезды.

Где-то вдали чирикнула птичка. В листве раздалось щебетанье; сперва робкое, оно мало-помалу окрепло, стало звонким, переливчатым, понеслось с ветки на ветку, с дерева на дерево.

Жанна вдруг почувствовала, что ее заливает яркий свет; она подняла опущенную на руки голову и зажмурилась, ослепленная сиянием зари.

Гряда багряных облаков, полускрытая тополевой аллеей, бросала кровавые блики на просыпающуюся землю.

И, прорывая лучистую пелену, зажигая искрами деревья, долины, океан, весь горизонт, неторопливо выплыл гигантский огненный шар.

У Жанны ум мутился от блаженства. Безудержная радость, безграничное умиление перед красотой мира затопило ее замиравшее сердце. Это было ее солнце! Ее заря! Начало ее жизни! Утро ее надежд! Она протянула руки к просветлевшим далям, словно порываясь обнять самое солнце; ей хотелось сказать, крикнуть что-то такое же чудесное, как это рождение дня, но она словно оцепенела, онемела в бессильном восторге. Тогда, почувствовав, что глаза ее увлажняются, она уронила голову на руки и заплакала сладостными слезами.

Когда она подняла голову, великолепное зрелище занимающегося дня исчезло. И сама она успокоилась, немного утомленная и как будто отрезвевшая. Не закрывая окна, она легла в постель, помечтала еще несколько минуток и заснула так крепко, что не слышала, как отец звал ее в восемь часов, и проснулась, только когда он вошел в комнату.

Ему не терпелось показать ей новую отделку дома, *ее* дома.

Задний фасад отделялся от дороги обширным двором, обсаженным яблонями. Дорога пролегала между крестьянскими усадьбами и на пол-лье дальше выводила к шоссе между Гавром и Фекапом.

Прямая аллея шла от деревянной ограды до крыльца. По обе стороны двора, вдоль рвов, отделявших фермы, были расположены службы — низенькие строения из морской гальки, крытые соломой.

Кровли были обновлены; деревянные части подправлены, стены починены, комнаты оклеены, все внутри окрашено заново. И на сером фасаде старого хмурого барского дома, словно пятна, выделялись свежевыкрашенные в серебристо-белый цвет ставни и заплаты штукатурки.

Другой стороной, той, куда выходило одно из окон комнаты Жанны, дом глядел на море, поверх рощи и сплошной стены согнутых ветром вязов.

Жанна и барон рука об руку обошли все до последнего уголка; потом они долго гуляли по длинным тополевым аллеям, окаймлявшим так называемый парк. Между деревьями уже выросла трава и устилала землю зеленым ковром, а рощица в конце парка заманчиво переплетала свои извилистые тропинки, проложенные среди свежей травы. Внезапно, напугав девушку, откуда-то выскочил заяц, перемахнул через откос и пустился сквозь камыши к прибрежным скалам.

После завтрака, когда мадам Аделаида, все еще не отдохнувшая, заявила, что хочет прилечь, барон предложил Жанне спуститься к Ипору.

Они отправились в путь и сперва пересекли деревушку Этуван, к которой примыкали Тополя. Трое крестьян поклонились им, как будто знали их испокон века.

Затем они вступили в лес, спускавшийся по склону волнистой долины к самому морю.

Вскоре они добрались до селения Ипор. Женщины сидели на крылечках домов за починкой своего тряпья и глядели им вслед. Улица со сточной канавой посредине и грудами мусора у ворот шла под гору и была пропитана крепким запахом рассола. Возле лачуг сушились бурые сети, в которых кой-где застряли чешуйки, блестевшие, как серебряные монеты, а из дверей тянуло затхлым воздухом тесного жилья.

Голуби, прогуливаясь по краю канавы, искали себе пропитания.

Жанна глядела кругом, и все ей казалось интересным и новым, как в театре.

Но вдруг за каким-то поворотом ей открылось море; мутно-голубое и гладкое, оно расстилалось без конца и края.

Жанна и барон остановились у пляжа и стали смотреть. В открытом море, точно крылья птиц, белели паруса. Справа и

слева возвышались огромные утесы. С одной стороны даль была загорожена мысом, а с другой береговая линия тянулась до бесконечности и терялась где-то еле уловимой чертой.

В одном из ближних ее поворотов виднелась гавань и кучка домов; а мелкие волны, точно кайма пены по краю моря, шурша, набегали на песок.

Вытянутые на каменистый берег лодки местных жителей лежали на боку, обратив к солнцу свои выпуклые скулы, лоснившиеся от смолы. Рыбаки осматривали их перед вечерним приливом. Подошел один из матросов, он продавал рыбу, и Жанна купила камбалу, с тем чтобы самой принести ее в Тополя.

После этого моряк предложил свои услуги для прогулок по морю, несколько раз подряд повторив свое имя, чтобы оно осталось у господ в памяти: «Ластик, Жозефен Ластик».

Барон обещал запомнить. И они тронулись в обратный путь.

Жанне было тяжело нести большую рыбу, она продела сквозь ее жабры отцовскую трость, взялась сама за один конец, барон за другой, и они весело зашагали в гору, болтая, как двое ребятишек; волосы у них развевались на ветру, глаза блестели, а камбала, оттянувшая им руки, мела траву своим жирным хвостом.

II

Чудесная, привольная жизнь началась для Жанны. Она читала, мечтала и одна блуждала по окрестностям. Ленивым шагом бродила она по дорогам, погрузившись в мечты, или же сбегала вприпрыжку по извилистым ложбинкам, края которых были покрыты, точно золотистой ризой, порослью цветущего дрока. Его сильный и сладкий запах, ставший резче от зноя, пьянил, как ароматное вино, а далекий прибой баюкал своим мерным шумом.

Иногда чувство истомы заставляло ее прилечь на поросшем травой склоне, а иногда, увидев за поворотом долины в выемке луга треугольник синего, сверкающего под солнцем моря с парусом на горизонте, она испытывала приливы бурной радости, словно таинственное предчувствие счастья, которое ей суждено.

Покой и прохлада этого края, его умиротворяюще мягкие ландшафты внушали ей любовь к одиночеству. Она столько времени, не шевелясь, просиживала на вершинах холмов, что дикие крольчата принимались прыгать у ее ног.

Часто она бегала по кряжу, под легким прибрежным ветерком, и все в ней трепетало от наслаждения,— так упоительно

было двигаться, не зная устали, как рыбы в воде, как ласточки в воздухе.

И повсюду она сеяла воспоминания, как бросают семена в землю, те воспоминания, корни которых не вырвешь из сердца до самой смерти. Ей казалось, что она рассеивает по извилинам этих долин крупицы собственного сердца.

Она до страсти увлекалась плаваньем. Будучи сильной и храброй, она заплывала невесть куда и не задумывалась об опасности. Ей хорошо было в этой холодной, прозрачной голубой воде, которая, покачивая, держала ее. Отплыв подальше от берега, она ложилась на спину, складывала руки на груди и устремляла взгляд в густую лазурь неба, по которой то проносились ласточки, то реял белый силуэт морской птицы. Кругом не слышно было ни звука, только далекий рокот прибоя о песок да смутный гул, доносившийся с земли сквозь плеск волн,— невнятный, еле уловимый гул.

Потом Жанна поднималась и в опьянении счастья, громко вскрикивая, плескала обеими руками по воде.

Случалось, когда она заплывала слишком далеко, за ней посылали лодку.

Она возвращалась домой, бледная от голода, но веселая, с ощущением легкости, с улыбкой на губах и радостью во взгляде.

А барон замышлял и обдумывал грандиозные сельскохозяйственные мероприятия: он собирался заняться экспериментами, ввести усовершенствования, испробовать новые орудия, привить чужеземные культуры; он проводил часть дня в беседах с крестьянами, которые недоверчиво покачивали головой, слушая про его затеи.

Нередко также он выходил в море с ипорскими рыбаками. Осмотрев окрестные пещеры, источники и утесы, он пожелал заняться рыбной ловлей, как простые моряки.

В ветреные дни, когда раздутый парус мчит по гребням волн пузатый корпус баркаса и когда от каждого борта убегает в глубь моря длинная леса, за которой гонятся стаи макрели, барон держал в судорожно сжатой руке тонкую бечевку и ощущал, как она вздрагивает, едва на ней затрепыхается пойманная рыба.

В лунные ночи он отправлялся вытаскивать сети, закинутые накануне. Ему было приятно слушать скрип мачты и дышать свежим ночным ветром, налетавшим порывами. И после того как лодка долго лавировала в поисках буев, руководствуясь каким-нибудь гребнем скалы, кровлей колокольни или феканским маяком, ему нравилось сидеть неподвижно, наслаждаясь

первыми лучами восходящего солнца, от которых блестели на дне лодки липкая спина веерообразного ската и жирное брюхо палтуса.

За столом он восторженно рассказывал о своих похождениях, а маменька, в свою очередь, сообщала ему, сколько раз она прошлась по большой тополевой аллее, той, что направо, вдоль фермы Куяров, так как левая была слишком тениста.

Ей было предписано «побольше двигаться», и потому она усердно гуляла. Едва только рассеивался ночной холодок, как она выходила, опираясь на руку Розали. Закутана она была в пелерину и две шали, голову ей покрывал черный капор, а поверх его — красная вязаная косынка.

И вот, волоча левую ногу, ставшую менее подвижной и уже проложившую вдоль всей аллеи две пыльные борозды с выбитой травой, маменька непрерывно повторяла путешествие по прямой линии от угла дома до первых кустов рощицы. Она велела поставить по скамейке на концах этой дорожки и каждые пять минут останавливалась, говоря несчастной, долготерпеливой горничной, поддерживавшей ее:

— Посидим, милая, я немножко устала.

И при каждой остановке она бросала на скамью сперва косынку с головы, потом одну шаль, потом вторую, потом капор и, наконец, мантилью; из всего этого на обеих скамейках получались две груды одежды, которые Розали уносила, перекинув через свободную руку, когда они возвращались к завтраку.

Под вечер баронесса возобновляла прогулку уже более вялым шагом, с более длительными передышками и даже иногда дремала часок на шезлонге, который ей выкатывали наружу.

Она говорила, что это «ее моцион», точно так же, как говорила «моя гипертрофия».

Врач, к которому обратились десять лет назад, потому что она жаловалась на одышку, назвал болезнь гипертрофией. С тех пор это слово засело у нее в голове, хотя смысл его был ей неясен. Она постоянно заставляла и барона, и Жанну, и Розали слушать, как бьется у нее сердце, но никто уже не слышал его, настолько глубоко было оно запрятано в толще ее груди; однако она решительно отказывалась обратиться к другому врачу, боясь, как бы он не нашел у нее новых болезней; зато о «своей гипертрофии» она толковала постоянно, по любому поводу, словно этот недуг присущ был ей одной и являлся ее собственностью, как некая редкость, недоступная другим людям.

Барон говорил «гипертрофия моей жены», а Жанна — «мамина гипертрофия», как сказали бы: мамино платье, шляпа, зонтик.

Смолоду она была очень миловидна и тонка, как тростинка. Она вальсировала со всеми мундирами Империи, проливала слезы над «Коринной», и чтение этого романа оставило в ней неизгладимый след.

По мере того как стан ее становился грузнее, устремления души становились все возвышеннее; и когда ожирение приковало ее к креслу, фантазия ее обратилась к сентиментальным похождениям, где она бывала неизменной героиней. Некоторые из них особенно полюбились ей, и она постоянно возобновляла их в мечтах, как музыкальная шкатулка твердит одну и ту же мелодию. Все чувствительные романы, где идет речь о пленницах и ласточках, вызывали у нее на глазах слезы; и она даже любила те из игривых песенок Беранже, в которых выражались сожаления о прошлом.

Она часами просиживала неподвижно, витая в грезах. Жизнь в Тополях очень нравилась ей, потому что создавала подходящую обстановку для ее воображаемых романов, а окрестные леса, пустынные ланды и близость моря напоминали ей книги Вальтера Скотта, которые она читала последнее время.

В дождливые дни она безвыходно сидела у себя в спальне и перебирала то, что называла своими «реликвиями». Это были старые письма — письма ее отца и матери, письма барона в бытность его женихом и еще другие.

Она держала их в бюро красного дерева с медными сфинксами по углам и произносила особенным тоном:

— Розали, милая моя, принеси-ка мне ящик с сувенирами.

Горничная отпирала бюро, вынимала ящик, ставила его на стул возле баронессы, и та принималась читать эти письма медленно, одно за другим, время от времени роняя на них слезу.

Иногда Жанна заменяла на прогулках Розали, и маменька рассказывала ей о своем детстве. Девушка как будто видела себя в этих давних историях и поражалась общности их мыслей и сходству желаний; ибо каждый думает, что его сердце первым забилось под наплывом чувств, от которых стучало сердце первого человека и будут трепетать сердца последних мужчин и последних женщин.

Их медлительный шаг соответствовал медлительности рассказа, то и дело прерывался маменькиной одышкой, и тогда

Жанна мысленно опережала начатое приключение и устремлялась к будущему, переполненному радостями, упивалась надеждами.

Как-то днем они сели отдохнуть на дальней скамейке и вдруг увидели, что с другого конца аллеи к ним направляется толстый священник.

Он издали поклонился, заулыбался, поклонился еще раз, когда был в трех шагах от них, и произнес:

— Как изволите поживать, баронесса?

Это был местный кюре.

Маменька родилась в век философов, воспитана была в эпоху революции отцом-вольнодумцем и в церкви почти не бывала, но священников любила в силу чисто женского религиозного инстинкта.

Она совершенно забыла про аббата Пико, кюре их прихода, и покраснела, увидев его. Она поспешила извиниться, что не нанесла первого визита. Но толстяк, по-видимому, и не думал обижаться; он посмотрел на Жанну, выразил удовольствие по поводу ее цветущего вида, уселся, положил на колени свою треуголку и отер лоб. Он был очень тучен, очень красен и потел обильно. То и дело вытаскивал он из кармана огромный клетчатый платок, весь пропитанный по́том, и проводил им по лицу и шее; но едва только влажная тряпица исчезала в черных недрах обширного кармана, как новые капли испарины падали со лба на рясу, оттопыренную на животе, оставляя круглые пятнышки прибитой пыли.

Он отличался терпимостью, как истый деревенский священник, был весельчак, болтун и добрый малый. Он рассказал множество историй об окрестных жителях, сделал вид, будто и не заметил, что обе его прихожанки еще ни разу не побывали у обедни — баронесса от лености и маловерия, а Жанна от радости, что вырвалась из монастыря, где ей прискучили религиозные церемонии.

Появился барон. Как пантеист, он был равнодушен к обрядности, но с аббатом обошелся вежливо и оставил его обедать.

Кюре сумел быть приятным, ибо он обладал той бессознательной ловкостью, какую привычка руководить душами дает даже людям недалеким, когда они по воле случая имеют власть над себе подобными.

Баронесса обласкала его,— должно быть, ее подкупило сходство, сближающее людей одного типа: полнокровие и одышка толстяка были сродни ее пыхтящей тучности.

За десертом он уже говорил без стеснения, фамильярным тоном, балагурил, как полагается подвыпившему кюре в конце веселой пирушки.

И вдруг, словно его осенила удачная мысль, он вскричал:

— Да, кстати, ведь у меня новый прихожанин, виконт де Ламар. Надо непременно представить его вам!

Баронесса как свои пять пальцев знала родословные всей провинции.

— Это семья де Ламар из Эра? — спросила она.

Священник утвердительно наклонил голову.

— Совершенно верно, сударыня, его отец, виконт Жан де Ламар, скончался в прошлом году.

Тогда мадам Аделаида, ставившая дворянство выше всего, забросала кюре вопросами и узнала, что после уплаты отцовских долгов и продажи родового поместья молодой человек временно устроился на одной из трех своих ферм в Этуванской общине. Эти владения давали в общей сложности от пяти до шести тысяч ливров дохода; но виконт был бережливого и рассудительного нрава; он рассчитывал, скромно прожив два-три года в своем домишке, скопить денег, чтобы занять достойное положение в свете, не делая долгов и не закладывая ферм, и найти невесту с приданым.

Кюре добавил:

— Он весьма приятный молодой человек; и тихий такой, положительный. Только невесело живется ему здесь.

— Приведите его к нам, вот у него и будет хоть изредка развлечение,— заметил барон.

И разговор перешел на другие темы. Когда после кофе все направились в гостиную, священник попросил разрешения пройтись по парку, так как он привык гулять после еды. Барон вызвался сопровождать его. Они медленно шагали взад и вперед вдоль белого фасада дома. Их тени, одна длинная, другая круглая и как будто накрытая грибом, бежали то впереди них, то позади, в зависимости от того, шли ли они навстречу луне или в обратную сторону. Кюре вынул из кармана нечто вроде папиросы и сосал ее. С деревенской откровенностью он объяснил ее назначение:

— Это вызывает отрыжку, а у меня пища переваривается трудно.

Потом, внезапно взглянув на небо, где шествовало яркое светило, он изрек:

— На это зрелище никогда не наглядишься.

И пошел проститься с дамами.

III

В следующее воскресенье баронесса и Жанна, из деликатного внимания к своему кюре, отправились в церковь.

После обедни они подождали его, чтобы пригласить к себе на завтрак в четверг.

Он вышел из ризницы с щеголеватым, стройным молодым человеком, по-приятельски державшим его под руку. Увидев дам, кюре воскликнул с жестом радостного удивления:

— Вот удача! Баронесса, мадемуазель Жанна, разрешите представить вам соседа вашего, виконта де Ламар!

Виконт поклонился, сказал, что давно уже желал этого знакомства, и принялся болтать с непринужденностью бывалого светского человека. У него была счастливая наружность, неотразимая для женщин и неприятная для всех мужчин. Черные волнистые волосы бросали тень на гладкий загорелый лоб, а ровные, широкие, словно нарисованные брови придавали томность и глубину карим глазам с голубоватыми белками.

От густых и длинных ресниц взгляд его был так страстно красноречив, что волновал горделивую красавицу в гостиной и заставлял оборачиваться девушку в чепце, идущую по улице с корзинкой.

Этот обольстительный нежный взор, казалось, таил такую глубину мысли, что каждое слово приобретало особую значительность.

Густая холеная мягкая бородка скрадывала несколько тяжеловатую челюсть.

Обменявшись любезностями, новые знакомые расстались.

Два дня спустя г-н де Ламар нанес первый визит.

Он явился, как раз когда обновляли широкую скамью, поставленную в то же утро под большим платаном напротив окон гостиной. Барон хотел, чтобы поставили ей парную под липой, а маменька, противница симметрии, не хотела.

Виконт, когда спросили его совета, принял сторону баронессы.

Потом он заговорил об их местности, заявил, что находит ее очень «живописной», так как обнаружил во время своих одиноких прогулок немало «чудеснейших видов». По временам глаза его, будто случайно, встречались с глазами Жанны; и ее непривычно тревожил этот быстрый, ускользающий взгляд, в котором можно было прочесть вкрадчивое восхищение и живой интерес.

Господин де Ламар-старший, скончавшийся за год до того, был знаком с близким другом г-на де Кюльто, маменькиного

отца; после того как было установлено это знакомство, завязался нескончаемый разговор о свойстве, родстве и хронологии. Баронесса обнаруживала чудеса памяти, устанавливая восходящие и нисходящие родственные связи знакомых семейств и безошибочно лавируя по запутанному лабиринту родословных.

— Скажите, виконт, вам не приходилось слышать о семействе Сонуа из Варфлера? Их старший сын Гонтран женился на девице де Курсиль из семьи Курсилей курвильских, младший же — на моей кузине, мадемуазель де ла Рош-Обер, которая была в свойстве с Кризанжами. А господин де Кризанж был приятелем с моим отцом, а потому, вероятно, знавал и вашего.

— Совершенно верно, сударыня. Ведь это тот господин де Кризанж, который эмигрировал, а сын его разорился?

— Он самый. Он сватался к моей тетке после смерти ее мужа, графа д'Эретри, но она ему отказала, потому что он нюхал табак. Кстати, не знаете, что сталось с Вилуазами? Они выехали из Турени около тысяча восемьсот тринадцатого года, после того как семья их разорилась, и поселились в Оверни; но больше я о них ничего не слыхала.

— Сколько мне помнится, сударыня, старый маркиз упал с лошади и расшибся насмерть. После него остались две дочери — одна замужем за англичанином, а вторая за неким Бассолем, коммерсантом, богатым человеком. Он, говорят, соблазнил ее.

И фамилии, слышанные от бабушек и запомнившиеся с детства, то и дело всплывали в разговоре. Брачные союзы между родовитыми семьями становились в их воображении событиями общественной важности. О людях, которых не видели никогда, они говорили так, словно коротко знали их; а эти люди, в других местах, точно так же говорили о них самих; и на расстоянии они чувствовали себя близкими, чуть не друзьями, чуть не родными только потому, что принадлежали к одному классу, к одной касте, были одинаковой крови.

Барон от природы был нелюдим и воспитание получил, не соответствующее верованиям и предрассудкам своей среды, а потому мало знал своих соседей и решил расспросить о них виконта.

— Ну, у нас в округе почти нет дворянства,— отвечал г-н де Ламар тем же тоном, каким сказал бы, что на побережье почти не водится кроликов, и тут же привел подробности. Поблизости проживало всего три семейства: маркиз де Кутелье, глава нормандской аристократии; виконт и виконтесса де Бризвиль, люди очень хорошего рода, но довольно необщительные; и, наконец, граф де Фурвиль,— этот слыл каким-то чудовищем,

будто бы жестоко тиранил жену и жил у себя в замке Ла-Врийет, построенном на пруду, проводя все время на охоте.

Несколько выскочек купили себе имения в окрестностях и вели знакомство между собой. Виконт с ними не знался.

Наконец он откланялся; последний взгляд он бросил на Жанну, как будто говоря ей особое *прости,* более сердечное и более нежное.

Баронесса нашла его очень милым, а главное — вполне светским. Папенька согласился:

— Да, конечно, он человек благовоспитанный.

На следующей неделе виконта пригласили к обеду. И он сделался у них постоянным гостем.

Обычно он приходил днем, часа в четыре, отправлялся прямо на «маменькину аллею» и предлагал баронессе руку, чтобы сопутствовать ей во время «ее моциона». Когда Жанна была дома, она поддерживала маменьку с другой стороны, и так, втроем, они медленно бродили из конца в конец по длинной прямой аллее. Виконт почти не разговаривал с девушкой. Но глаза его, глаза как из черного бархата, часто встречались с глазами Жанны, будто сделанными из голубого агата.

Несколько раз они спускались в Ипор вместе с бароном.

Как-то вечером, на пляже, к ним подошел дядя Ластик и, не вынимая изо рта трубки, отсутствие которой было бы, пожалуй, удивительнее, чем исчезновение у него носа, заявил:

— По такой погодке, господин барон, не худо бы завтра прокатиться до Этрета и обратно.

Жанна просительно сложила руки:

— Папа, ну пожалуйста!

Барон повернулся к г-ну де Ламар:

— Согласны, виконт? Мы бы там позавтракали.

И прогулка была тотчас решена.

Жанна встала с рассветом. Она подождала отца, который одевался не спеша, и они вместе зашагали по росе, сперва полями, потом лесом, звеневшим от птичьего гомона.

Виконт и дядя Ластик сидели на кабестане.

Еще два моряка помогали при отплытии. Упершись плечами в борт судна, мужчины налегали изо всех сил. Лодка с трудом двигалась по каменистой отмели. Ластик подсовывал под киль деревянные катки, смазанные салом, потом становился на свое место и тянул нескончаемое «гой-го», чтобы согласовать общие усилия.

Но когда достигли спуска, лодка вдруг помчалась вперед и скатилась по гальке с треском рвущегося холста.

У пенистой каемки волн она остановилась как вкопанная, и все разместились на скамьях. Потом двое матросов, оставшихся на берегу, столкнули ее в воду.

Легкий ровный ветерок с моря рябил водную гладь. Поднятый парус слегка надулся, и лодка поплыла спокойно, еле качаясь на волнах.

Сперва шли прямо в открытое море. У горизонта небо опускалось и сливалось с океаном. У берега большая тень падала от подножья отвесного скалистого утеса, а склоны его, кое-где поросшие травой, были залиты солнцем.

Позади бурые паруса отплывали от белого феканского мола, а впереди скала странной формы, закругленная и продырявленная насквозь, напоминала огромного слона, который погрузил хобот в море. Это были «Малые ворота» Этрета.

У Жанны от качки слегка кружилась голова, она держалась рукой за борт и смотрела вдаль; и ей казалось, что в мире нет ничего прекраснее света, простора и воды.

Все молчали. Дядя Ластик управлял рулем и шкотом и по временам прикладывался к бутылке, спрятанной у него под скамьей; при этом он не переставая курил свой огрызок трубки, казалось неугасимой. Из трубки постоянно шел столбик синего дыма, а другой, такой же точно, выходил из угла его рта. Никто никогда не видел, чтобы моряк набивал табаком или разжигал глиняную головку трубки, ставшую темнее черного дерева. Иногда он отнимал трубку от губ и через тот же уголок рта, откуда шел дым, сплевывал в море длинную струю бурой слюны.

Барон сидел на носу и, заменяя матроса, присматривал за парусом. Жанна и виконт оказались рядом; оба были немного смущены этим. Неведомая сила скрещивала их взгляды, потому что они, как по наитию, в одно время поднимали глаза; между ними уже протянулись нити смутной и нежной симпатии, так быстро возникающей между молодыми людьми, когда он недурен, а она миловидна. Им было хорошо друг возле друга, вероятно оттого, что они думали друг о друге.

Солнце поднималось, словно затем, чтобы сверху полюбоваться простором моря, раскинувшегося под ним; но море, словно из кокетства, оделось вдруг легкой дымкой и закрылось от солнечных лучей. Это был прозрачный туман, очень низкий, золотистый, он ничего не скрывал, а только смягчал очертания далей. Светило пронизывало своими огнями и растворяло этот сияющий покров; а когда оно обрело всю свою мощь, дымка испарилась, исчезла, и море, гладкое, как зеркало, засверкало на солнце.

Жанна взволнованно прошептала:

— Как красиво!

— Да, очень красиво,— подтвердил виконт.

Ясная безмятежность этого утра находила какое-то созвучие в их сердцах.

Вдруг показались «Большие ворота» Этрета, похожие на две ноги утеса, шагающего в море, настолько высокие, что под ними могли проходить морские суда; перед ближней возвышался белый и острый шпиль скалы.

Лодка причалила, и, пока барон, выскочив первым, притягивал ее к берегу канатом, виконт на руках перенес Жанну на сушу, чтобы она не замочила ног; потом они стали подниматься бок о бок по крутому кремнистому берегу, взволнованные этим мимолетным объятием, и вдруг услышали, как дядя Ластик говорил барону:

— Прямо скажу, ладная вышла бы парочка.

Позавтракали отлично в трактирчике у самого берега. В лодке они все молчали,— океан приглушал голос и мысль, а тут, за столом, стали болтливы, как школьники на вакациях.

Любой пустяк служил поводом для необузданного веселья.

Дядя Ластик, садясь к столу, бережно запрятал в берет свою трубку, хотя она еще дымила, и все рассмеялись. Муха, которую, должно быть, привлекал красный нос Ластика, несколько раз садилась на него, а когда неповоротливый матрос смахнул ее, но не успел поймать, она расположилась на кисейной занавеске, где многие ее сестры уже оставили следы, и оттуда, казалось, жадно сторожила этот багровый выступ, поминутно пытаясь снова сесть на него.

При каждом полете мухи раздавался взрыв хохота, а когда старику надоела эта возня и он проворчал: «Экая язва», у Жанны и виконта даже слезы выступили от смеха, они корчились, задыхались и зажимали себе рот салфеткой.

После кофе Жанна предложила:

— Не пойти ли нам погулять?

Виконт поднялся, но барон предпочел полежать на пляже и погреться на солнышке.

— Ступайте, детки, я буду ждать вас здесь через час.

Они напрямик пересекли деревушку из нескольких лачуг, потом миновали маленький барский дом, скорее похожий на большую ферму, и очутились на открытой равнине, уходившей перед ними вдаль.

Колыханье волн вселило в них истому, вывело из обычного равновесия, морской соленый воздух возбудил аппетит, завтрак

опьянил их, а смех взвинтил нервы. Теперь они были в каком-то чаду, им хотелось бегать без оглядки по полям. У Жанны звенело в ушах, она была взбудоражена новыми, непривычными ощущениями.

Жгучее солнце палило их. По обеим сторонам дороги клонились спелые хлеба, поникшие от зноя. Неисчислимые, как травинки в поле, кузнечики надрывались, наполняя все — поля ржи и пшеницы, прибрежные камыши — своим резким, пронзительным стрекотанием.

Других звуков не было слышно под раскаленным небом, изжелта-синим, как будто оно, того и гляди, станет красным, подобно металлу вблизи огня.

Они заметили поодаль вправо лесок и направились туда.

Между двумя откосами, под сенью огромных деревьев, непроницаемых для солнца, тянулась узкая дорога. Когда они вступили на эту дорогу, на них пахнуло плесенью, промозглой сыростью, которая проникает в легкие и вызывает озноб. От недостатка воздуха и света трава здесь не росла, и землю устилал только мох.

Они шли все дальше.

— Смотрите, вот где мы можем посидеть,— сказала Жанна.

Здесь стояли два старых засохших дерева, и, пользуясь прогалиной в листве, сюда врывался поток света; согревая землю, он пробудил к жизни семена трав, одуванчиков, вьюнков, вырастил воздушные, как дымка, зонтики белых лепестков и соцветия наперстянки, похожие на веретенца. Бабочки, пчелы, неуклюжие шершни, гигантские комары, напоминающие остовы мух, множество крылатых насекомых, пунцовые в крапинку божьи коровки, жуки, отливающие медью, и другие — черные, рогатые, наполняли этот жаркий световой колодец, прорытый в холодной тенистой чаще.

Молодые люди уселись так, чтобы голова была в тени, а ноги грелись на солнце. Они наблюдали возню всей этой мелкоты, зародившейся от одного солнечного луча, и Жанна в умилении твердила:

— Как тут хорошо! Как прекрасна природа! Иногда мне хочется быть мошкой или бабочкой и прятаться в цветах.

Они говорили о себе, о своих привычках, вкусах, и тон у них был приглушенный, задушевный, каким делают признания. Он уверял, что ему опостылел свет, надоела пустая жизнь — вечно одно и то же; нигде не встретишь ни искренности, ни правды.

Свет! Ей бы очень хотелось повидать его. Но она заранее была убеждена, что он не стоит деревенской жизни. И чем боль-

ше сближались их сердца, тем церемоннее называли они друг друга «виконт» и «мадемуазель», но тем чаще встречались и улыбались друг другу их глаза; и им казалось, что души их наполняются какой-то небывалой добротой, всеобъемлющей любовью, интересом ко всему тому, что не занимало их прежде.

Они возвратились, но оказалось, что барон отправился пешком посмотреть «Девичью беседку» — высокий грот в гребне скалы; они стали дожидаться его в трактире.

Он явился только в пять часов вечера, после долгой прогулки по берегу.

Тогда все снова уселись в лодку. Она плыла медленно, по ветру, без малейшего колыхания, как будто вовсе не двигалась. Ветер набегал неторопливыми теплыми дуновениями, и парус на миг натягивался, а потом снова безжизненно опадал вдоль мачты. Мутная водная пелена словно застыла; а солнце, утомившись горением, не спеша опускалось к ней по своей орбите.

Все опять притихли, убаюканные морем.

Наконец Жанна заговорила:

— Как бы мне хотелось путешествовать!

Виконт подхватил:

— Да, но одному путешествовать тоскливо, надо быть по меньшей мере вдвоем, чтобы делиться впечатлениями.

Она задумалась.

— Это верно... а все-таки я люблю гулять одна, так приятно мечтать в одиночестве...

Он посмотрел на нее долгим взглядом.

— Можно мечтать и вдвоем.

Она опустила глаза. Это был намек? Вероятно. Она всматривалась в даль, словно надеясь заглянуть за черту горизонта, затем произнесла с расстановкой:

— Мне хотелось бы побывать в Италии... и в Греции... ах, да, в Греции... и еще на Корсике! Какая там, должно быть, дикая красота!

Его больше привлекала Швейцария, ее горные шале и озера.

— Нет, по-моему, лучше совсем неизведанные страны, вроде Корсики, или уж очень древние, полные воспоминаний, вроде Греции. Как, должно быть, приятно находить следы тех народов, историю которых мы знаем с детства, и видеть места, где совершались великие деяния.

Виконт, человек более положительный, возразил:

— Меня очень интересует Англия, там есть чему поучиться.

И они пустились путешествовать по всему свету, от полюса

до экватора, обсуждали достоинства каждой страны, восторгались воображаемыми ландшафтами и фантастическими нравами некоторых народов, например китайцев или лапландцев; но в конце концов пришли к заключению, что нет в мире страны прекраснее Франции, где климат такой мягкий — летом прохладно, зимой тепло, где такие пышные луга, зеленые леса, широкие, плавные реки и такое благоговение перед искусствами, какого не было нигде после золотого века Афин.

Потом они замолчали.

Солнце спускалось все ниже и, казалось, кровоточило; широкий огненный след, словно сверкающая дорожка, тянулся по глади океана от горизонта до струи за кормою лодки.

Последние дуновения ветра стихли, исчезла малейшая рябь, а неподвижный парус заалелся. Беспредельная тишь словно убаюкала просторы, все смолкло перед этой встречей двух стихий, и, нежась и выгибая под сводом неба свое сверкающее переливчатое лоно, водная стихия, невеста-великанша, ожидала огненного жениха, нисходившего к ней. Он спешил опуститься, пылая, как бы от жажды объятий. Он коснулся ее, и мало-помалу она его поглотила.

Тогда с горизонта потянуло прохладой; волной тронуло зыбкое лоно моря, словно солнце, утопая, бросило в мир вздох успокоения.

Сумерки длились недолго; распростерлась ночь, испещренная звездами. Дядя Ластик взялся за весла; все заметили, что море светится. Жанна и виконт, сидя рядом, смотрели на подвижные огоньки за кормой лодки. Почти без мыслей, в смутном созерцании, они блаженно впитывали отраду вечера; рука Жанны опиралась на скамью, и вот палец соседа, словно нечаянно, дотронулся до нее; девушка не шевельнулась, удивленная, счастливая и смущенная этим легким прикосновением.

Вечером она вернулась к себе в комнату необычайно взволнованная и растревоженная, так что ей хотелось плакать от всего. Она взглянула на часы, подумала, что пчелка будет свидетельницей всей ее жизни, будет своим частым и ровным тиканьем откликаться на ее радости и горе, и остановила позолоченную мушку, чтобы поцеловать ее крылышки. Она готова была расцеловать все на свете. Она вспомнила, что запрятала в какой-то ящик старую куклу. Отыскав ее, она так обрадовалась, словно встретилась с любимой подругой, и, прижимая игрушку к груди, осыпала страстными поцелуями ее крашеные щеки и кудельные локоны.

Все еще держа куклу в руках, она задумалась.

Он ли это, супруг, которого сулили ей тысячи тайных голосов, очутился теперь на ее пути по воле всеблагого провидения? Он ли это, тот, кто создан для нее и кому она отдаст всю жизнь? Неужто они двое суждены друг другу, и чувства их, встретившись, соединятся, сольются нерасторжимо, породят *любовь?*

Она еще не испытывала тех бурных порывов всего существа, тех безумных восторгов, тех душевных потрясений, которые считала признаками страсти; однако она как будто уже начинала любить его, потому что, думая о нем, минутами вся замирала, а думала она о нем беспрестанно. В его присутствии у нее тревожно билось сердце; она бледнела и краснела, встречая его взгляд, вздрагивала от звука его голоса.

Она почти не спала в эту ночь.

И с каждым днем волнующее желание любви все сильнее овладевало ею. Она без конца искала ответа у самой себя, гадала по лепесткам ромашки, по облакам, по монетам, подброшенным вверх.

Однажды вечером отец сказал ей:

— Принарядись завтра утром.

— Для чего, папа? — спросила она.

— Это секрет,— ответил он.

И когда наутро она сошла вниз, свежая, нарядная, в светлом платье, она увидела на столе в гостиной груду коробок с конфетами, а на стуле огромный букет.

Во двор въехала повозка. На ней было написано: «Лера́, кондитер в Фекане. Свадебные обеды», и Людивина с помощью поваренка принялась вытаскивать из задней дверцы фургона множество больших плоских корзин, от которых вкусно пахло.

Появился виконт де Ламар. Панталоны его были туго натянуты штрипками, лакированные сапожки подчеркивали миниатюрность ноги. Длинный сюртук был схвачен в талии, а между отворотами виднелось кружево манишки. Галстук из тонкого батиста был несколько раз обернут вокруг шеи и вынуждал виконта высоко держать красивую чернокудрую голову, отмеченную печатью строгого изящества.

У него был совсем иной вид, чем всегда,— парадный костюм сразу же делает неузнаваемыми самые привычные лица. Жанна в изумлении смотрела на него, как будто видела впервые; она находила его в высшей степени аристократичным, вельможей с головы до пят.

Он поклонился с улыбкой:

— Ну, кума, готовы?

— Что такое? Что это значит? — пролепетала она.

— Скоро узнаешь,— сказал барон.

К крыльцу подали карету, и мадам Аделаида в полном параде спустилась из своей спальни, опираясь на руку Розали, которая до того была потрясена щегольской наружностью г-на де Ламар, что папенька заметил:

— Смотрите-ка, виконт, вы, кажется, пришлись по вкусу нашей горничной.

Тот вспыхнул до ушей, сделал вид, что не слышит, и, схватив букет, преподнес его Жанне. Она взяла цветы, недоумевая все больше и больше. Все четверо сели в карету; кухарка Людивина принесла баронессе холодного бульона для подкрепления сил и при этом заявила:

— Ну, право же, барыня, чем не свадьба?

Экипаж оставили при въезде в Ипор, и, по мере того как они продвигались по деревенской улице, матросы в праздничном платье, слежавшемся на сгибах, выходили из домов, кланялись, пожимали руку барону и шли за ними, как в процессии.

Виконт вел под руку Жанну, и они возглавляли шествие.

Дойдя до церкви, все остановились; оттуда выплыл большой серебряный крест, его держал перед собой мальчик-служка, а за ним второй мальчуган, одетый в красное с белым, нес сосуд со святой водой и кропилом.

Далее показались три старика певчих,— один из них хромой,— затем трубач и, наконец, кюре; на его выпуклом животе была скрещена и топорщилась шитая золотом епитрахиль. Он улыбнулся и кивнул головой в знак приветствия; потом, полузакрыв глаза, шевеля губами в беззвучной молитве и надвинув на нос треугольную шапочку, последовал по направлению к морю за своим штабом, облаченным в стихари.

На пляже толпа окружала новую лодку, увитую гирляндами цветов. Длинные ленты развевались на ее мачте, парусе, снастях, а на корме золотыми буквами было выведено название: *Жанна.*

Капитан судна, сооруженного на деньги барона, дядя Ластик, вышел навстречу процессии. Все мужчины дружным движением обнажили головы, а кучка богомолок, в широких черных сборчатых накидках с капюшоном, полукругом опустилась на колени.

Кюре в центре, двое служек по бокам встали у одного конца лодки, а у другого три старика певчих, как-то особенно неопрятные и небритые при белых одеяниях, с важным видом уткнулись в книгу церковных песнопений и зафальшивили во всю глотку среди ясного утра.

Когда они переводили дух, трубач продолжал завывать самостоятельно; серенькие глазки его совсем скрывались за раздутыми щеками. Кожа на шее и даже на лбу как будто оттопырилась,— с такой натугой он дул.

Недвижимое и прозрачное море, казалось, благоговейно притихло ради крестин своего суденышка, катило барашки вышиной с палец и, словно граблями, тихонько шуршало по гальке. А большие белые чайки, развернув крылья, чертили по синему небу круги, удалялись, возвращались и плавным полетом проносились над коленопреклоненной толпой, словно тоже хотели узнать, что там творится.

Наконец, проревев пять минут «аминь», певчие замолчали, и священник хриплым голосом прокудахтал какие-то латинские слова, выговаривая внятно только их звучные окончания.

Затем он обошел вокруг всей лодки, окропил ее святой водой и принялся бубнить молитвы, остановившись у одного из бортов, напротив крестных, которые не двигались, держась за руки.

Молодой человек хранил горделивый вид красавца мужчины, а девушка задыхалась от внезапно нахлынувшего волнения, почти теряла сознание и дрожала так, что у нее стучали зубы. Мечта, не покидавшая ее все последнее время, в каком-то мгновенном видении приняла черты действительности. Кто-то упоминал о свадьбе, и священник совершал обряд, и люди в стихарях возглашали молитвы. Уж не ее ли это венчали?

Рука ли ее дрогнула, или томление ее сердца передалось по жилкам сердцу соседа? Понял, угадал ли он, был ли, как и она, одурманен любовью? Или просто знал по опыту, что ни одна женщина не в силах устоять перед ним? Она вдруг почувствовала, что он сжимает ее руку, сперва потихоньку, потом сильнее, еще сильнее, до боли. И без малейшего движения в лице, незаметно для всех других он явственно, да, да, явственно, произнес:

— Жанна, пусть это будет наша помолвка!

Она наклонила голову очень, очень медленно, может быть, в знак согласия. И священник, все еще кропивший лодку, обрызгал святой водой их пальцы.

Обряд кончился. Женщины поднялись с колен. Возвращались уже вразброд. Крест утратил все свое величие; он стремительно мчался, качаясь справа налево или наклонившись вперед, и казалось, того и гляди, шлепнется на землю. Кюре уже не молился, он трусил следом; певчие и трубач шмыгнули в боковую уличку, чтобы поскорее разоблачиться; матросы тоже то-

ропливо шагали кучками. Одна и та же мысль наполняла их головы кухонными запахами, придавала прыти ногам, увлажняла рот слюной, вызывала урчанье в кишках.

В Тополях всех ждал сытный завтрак.

Большой стол был накрыт во дворе под яблонями. Шестьдесят человек моряков и крестьян разместились за ним. Баронесса сидела во главе стола, с двух сторон ее — оба кюре, ипорский и местный. Напротив восседал барон, а у него по бокам — мэр и жена мэра, сухопарая пожилая крестьянка, которая без перерыва кивала головой на все стороны. Длинной физиономией, высоким нормандским чепцом и круглыми, вечно удивленными глазами она очень напоминала курицу с белым хохолком, и ела она мелкими кусочками, как будто клевала носом в тарелке.

Жанна возле своего кума утопала в блаженстве. Она ничего больше не видела, ничего не понимала и молчала, потому что у нее от счастья мутилось в голове.

Она спросила его:

— Как вас зовут?

— Жюльен. А вы и не знали? — сказал он. Она не ответила, только подумала: «Как часто буду я повторять это имя!»

Когда завтрак окончился, господа предоставили двор матросам, а сами отправились гулять по другую сторону дома. Баронесса совершала свой моцион под руку с бароном и под эскортом обоих священников. Жанна и Жюльен дошли до рощи и вступили в лабиринт заглохших тропинок; внезапно он схватил ее руки:

— Скажите, вы согласны быть моей женой?

Она снова опустила голову; но так как он настаивал: «Ответьте мне, умоляю»,— она медленно подняла к нему глаза, и он прочел ответ в ее взгляде.

IV

Однажды утром барон вошел в комнату Жанны, когда она еще не вставала, и сел в ногах постели.

— Виконт де Ламар просит твоей руки.

Ей захотелось спрятать голову под одеяло.

— Мы обещали дать ответ позднее,— продолжал отец.

Она задыхалась, волнение душило ее. Барон выждал минуту и добавил с улыбкой:

— Мы не хотели решать, не поговорив с тобой. Мы с мамой не возражаем против этого брака, однако принуждать тебя не

собираемся. Ты много богаче его, но, когда речь идет о счастье всей жизни, можно ли думать о деньгах? У него не осталось никого из родных; следовательно, если ты станешь его женой, он войдет в нашу семью как сын, а с другим бы ты, наша дочка, ушла к чужим людям. Нам он нравится. А тебе как?

Она пролепетала, краснея до корней волос:

— Я согласна, папа.

Барон, не переставая улыбаться, пристально посмотрел ей в глаза и сказал:

— Я об этом догадывался, мадемуазель.

До вечера она была как пьяная, не знала, что делает, брала в рассеянности одни предметы вместо других, и ноги у нее подкашивались от усталости, хотя она совсем не ходила в этот день.

Около шести часов, когда они с маменькой сидели под платаном, появился виконт.

У Жанны бешено забилось сердце. Молодой человек подходил к ним, не обнаруживая заметного волнения. Приблизившись, он взял руку баронессы и поцеловал ее пальцы, потом поднял дрожащую ручку девушки и прильнул к ней долгим, нежным, благодарным поцелуем.

И для обрученных началась счастливая пора. Они разговаривали наедине в укромном углу гостиной или сидели на откосе в конце рощи над пустынной ландой. Иногда они гуляли по маменькиной аллее, и он говорил о будущем, а она слушала, опустив глаза на пыльную борозду, протоптанную баронессой.

Раз дело было решено, не стоило медлить с развязкой. Венчание назначили на пятнадцатое августа, через полтора месяца, а потом молодые сразу же должны были отправиться в свадебное путешествие. Когда Жанну спросили, куда ей хочется ехать, она выбрала Корсику, где больше уединения, чем в городах Италии.

Они ждали дня свадьбы без особого нетерпения, а пока нежились, купались в атмосфере пленительной влюбленности, упивались неповторимой прелестью невинных ласк, пожатья пальцев, долгих страстных взглядов, в которых как будто сливаются души, и смутно томились робким желанием настоящих любовных объятий.

Решено было не приглашать на свадьбу никого, кроме тети Лизон, маменькиной сестры, жившей пансионеркой при одном из монастырей в Версале.

Баронесса хотела, чтобы сестра жила у нее после смерти их отца; но старая дева была одержима мыслью, что она никому не нужна, всем мешает и всем в тягость, а потому предпочла по-

селиться в одном из тех монастырских приютов, где сдают квартиры одиноким, обиженным жизнью людям.

Время от времени она приезжала погостить месяц-другой у родных.

Это была маленькая, щупленькая женщина; она большей частью молчала, держалась в тени, появлялась только к столу, сейчас же снова уходила к себе в комнату и обычно сидела там взаперти.

У нее было доброе старушечье лицо, хотя ей шел всего сорок третий год, взгляд кроткий и грустный; домашние с ней никогда не считались; в детстве она не была ни миловидной, ни резвой, а потому никто ее не ласкал, и она тихо и смирно сидела в уголке. Уже с тех пор на ней был поставлен крест. И в годы юности никто ею не заинтересовался.

Она казалась чем-то вроде тени или привычной вещи, живой мебели, которую видишь каждый день, но почти не замечаешь.

Сестра еще в родительском доме приучилась считать ее существом убогим и совершенно безличным. С ней обращались по-родственному бесцеремонно, с оттенком пренебрежительной жалости. Звали ее Лиза, но ее явно смущало это кокетливое юное имя. Когда в семье увидели, что она замуж не выйдет, из Лизы сделали Лизон. С рождения Жанны она стала «тетей Лизон», бедной родственницей, чистенькой, болезненно застенчивой даже с сестрой и зятем; те, правда, любили ее, но любовью поверхностной, в которой сочетались ласковое равнодушие, безотчетное сострадание и природное доброжелательство.

Иногда, припоминая что-нибудь из времен своей юности, баронесса говорила, чтобы точнее определить дату события: «Это было вскоре после сумасбродной выходки Лизон».

Подробнее об этой «сумасбродной выходке» никогда не говорилось, и она так и осталась окутана тайной.

Однажды вечером Лиза, которой было тогда двадцать лет, неизвестно почему бросилась в пруд. Ни в жизни ее, ни в поведении ничто не предвещало такого безрассудства. Ее вытащили полумертвой. И родители, вместо того чтобы доискаться скрытой причины этого поступка, с возмущением воздевали руки и толковали о «сумасбродной выходке», как толковали о несчастье с лошадью Коко, которая незадолго до того споткнулась на рытвине и сломала ногу, так что ее пришлось пристрелить.

С тех пор Лизу, вскоре ставшую Лизон, считали слабоумной. Понемногу все окружающие прониклись к ней тем же ласковым презрением, какое она внушала родным. Даже маленькая

Жанна, с присущим детям чутьем, не обращала на нее внимания, никогда не прибегала поцеловать ее в постели, никогда вообще не заглядывала к ней в комнату. Казалось, одна только Розали знала, где помещается эта комната, потому что прибирала ее.

Когда тетя Лизон выходила в столовую к завтраку, «малютка» по привычке подставляла ей лоб для поцелуя. Только и всего.

Если кому-нибудь она была нужна, за ней посылали прислугу; а когда она не появлялась, никто не интересовался ею, не вспоминал о ней, никому бы и в голову не пришло обеспокоиться, спросить:

«Что это значит, почему Лизон не видно с утра?»

Она не занимала места в мире, она была из тех, кого не знают, в чью внутреннюю сущность не вникают даже близкие, чья смерть не оставляет в доме зияющей пустоты, из тех, кто не способен войти в жизнь, в привычки, в сердце окружающих.

Слова «тетя Лизон» не вызывали ни у кого ни малейшего душевного движения. Они звучали, как «кофейник» или «сахарница».

Ходила она всегда торопливо, мелкими, неслышными шажками; никогда не шумела, не стучала, будто сообщая беззвучность даже предметам. Руки у нее были словно из ваты, так бережно и легко касалась она всего, за что бралась.

Она приехала к середине июля, в полном смятении от предстоящей свадьбы. Она навезла кучу подарков, но от нее и это приняли довольно равнодушно. И со второго дня перестали замечать ее присутствие.

Зато она вся кипела необычайным волнением и не сводила глаз с жениха и невесты. С непривычной для нее живостью, с лихорадочным рвением занималась она приданым; как простая швея, работала у себя в комнате, куда никто не наведывался.

Она то и дело приносила баронессе платки, которые сама подрубила, или салфетки, на которых вышила вензеля, и при этом спрашивала:

— Хорошо у меня получилось, Аделаида?

А маменька, небрежно взглянув на ее работу, отвечала:

— Да не изводись ты так, Лизон.

Однажды в конце месяца, после душного знойного дня, взошла луна и настала особенно ясная, свежая ночь, в которой все волнует, все умиляет, окрыляет, будит затаенные поэтические порывы души. Теплое дыхание полей вливалось в тихую гостиную.

Абажур отбрасывал световой круг на стол, за которым баронесса с мужем играли в карты; тетя Лизон сидела между ними и вязала, а молодые люди, облокотясь о подоконник, смотрели в открытое окно на залитый лунным светом сад.

Липа и платан разметали свои тени по лужайке, а дальше она тянулась широким белесым и блестящим пятном до черной полосы рощи.

Жанну непреодолимо влекло нежное очарование ночи, призрачное свечение кустов и деревьев, и она обернулась к родителям:

— Папенька, мы пойдем погуляем по лужайке перед домом.

Барон ответил, не отрываясь от игры:

— Ступайте, детки,— и продолжал партию.

Они вышли и принялись медленно бродить по светлому дерну, доходя до самого края леска.

Становилось поздно, а они и не собирались возвращаться. Баронесса устала и хотела подняться к себе.

— Надо позвать наших голубков,— сказала она.

Барон окинул взглядом весь большой облитый сиянием сад, где медленно блуждали две тени.

— Не тронь их,— возразил он,— там такая благодать! Лизон их подождет. Хорошо, Лизон?

Старая дева подняла свои встревоженные глаза и ответила обычным, робким голосом:

— Конечно, подожду.

Папенька помог подняться баронессе и, сам усталый от жаркого дня, сказал:

— Я тоже пойду лягу.

И удалился вместе с женой.

Тогда тетя Лизон, в свою очередь, встала, бросила на кресло начатую работу, клубок шерсти и крючок и, опершись о подоконник, погрузилась в созерцание чудесной ночи.

Жених и невеста все ходили и ходили по лугу, от рощи до крыльца, от крыльца до рощи. Они сжимали друг другу руки и молчали. Они как бы отрешились от себя, слились с той зримой поэзией, которой дышала земля.

Вдруг в рамке окна Жанна увидела фигуру старой девы, которая вырисовывалась в свете лампы.

— Посмотрите,— сказала она,— тетя Лизон следит за нами.

Виконт поднял голову и равнодушным голосом, каким говорят не думая, ответил:

— В самом деле, тетя Лизон следит за нами.

И они продолжали мечтать, бродить, любить.

Но трава покрылась росой, Жанна вздрогнула от легкого холодка.

— Пора домой,— заметила она.

И они возвратились.

Когда они вошли в гостиную, тетя Лизон уже снова вязала; она низко наклонилась над работой, и ее худые пальцы немного дрожали, словно от утомления.

Жанна подошла к ней:

— Пора спать, тетя.

Старая дева вскинула глаза; они покраснели, как будто от слез. Влюбленные этого не заметили; зато молодой человек увидел вдруг, что легкие башмачки девушки совсем намокли. Он забеспокоился и спросил нежным голосом:

— Ваши милые ножки не озябли?

Но тут пальцы тети Лизон задрожали так сильно, что вязанье выпало из них; клубок шерсти покатился по паркету; порывисто закрыв лицо руками, она громко, судорожно зарыдала.

Молодые люди в изумлении застыли на месте. Потом Жанна стремительно бросилась на колени и, отводя ее руки, твердила в растерянности:

— Ну что ты, что ты, тетя Лизон?

И бедная женщина пролепетала в ответ хриплым от слез голосом, вся сжавшись от душевной боли:

— Это оттого, что он спросил... «Ваши милые... ножки не озябли?..» Мне-то ведь, мне никогда так не говорили... никогда, никогда...

Жанна была удивлена, растрогана, и тем не менее ей хотелось смеяться при мысли о влюбленном, который стал бы рассыпаться в нежностях перед тетей Лизон; а виконт отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

Тетя Лизон вдруг вскочила, оставила клубок на полу, а вязанье на кресле, без свечи взбежала по темной лестнице и ощупью отыскала свою дверь.

Молодые люди, оставшись одни, переглянулись, им было и смешно и грустно.

— Бедная тетя! — прошептала Жанна.

— У нее сегодня, видно, что-то неладно с головой,— заметил Жюльен.

Они держались за руки и никак не могли расстаться, а потом робко, очень робко поцеловались в первый раз у пустого кресла тети Лизон.

На другой день они уже и не вспоминали о слезах старой девы.

Последние две недели перед свадьбой Жанна как-то затихла и успокоилась, словно утомилась от сладостных волнений.

А в утро торжественного дня у нее совсем не было времени для раздумья. Она ощущала только совершенную пустоту во всем теле, как будто у нее растворились кости, и мышцы, и кровь; а когда она бралась за какие-нибудь предметы, то замечала, что пальцы ее сильно дрожат.

Она овладела собой только в церкви, у амвона, во время службы.

Замужем! Теперь она замужем! Все происшедшее с утра, чередование событий и переживаний казалось ей сном, настоящим сном. Бывают минуты, когда все вокруг меняется для нас; любые поступки приобретают новый смысл, и даже часы дня как будто перемещаются.

Она была очень растерянна и еще больше удивлена. Лишь вчера все было по-прежнему в ее существовании, только неотступная мечта ее жизни стала близкой, почти осязаемой. Вчера она заснула девушкой, теперь она женщина.

Значит, она перешагнула тот рубеж, который скрывал будущее со всеми его радостями, со всем счастьем, о каком только мечталось. Перед ней словно распахнулись двери: стоит сделать шаг, и сбудутся ее чаяния.

Венчанье кончилось. Все перешли в ризницу, где было почти пусто, потому что на свадьбу никого не приглашали; затем направились к выходу.

Когда новобрачные показались на паперти, раздался такой страшный грохот, что молодая отпрянула назад, а баронесса громко вскрикнула,— это крестьяне дали залп из ружей; и до самых Тополей выстрелы не прекращались.

Дома был подан завтрак для членов семьи, для приходского кюре и кюре из Ипора, для мэра и свидетелей, выбранных из числа почтенных местных фермеров.

Потом в ожидании обеда все вышли в сад. Барон, баронесса, тетя Лизон, мэр и аббат Пико гуляли по маменькиной аллее, а чужой священник большими шагами ходил по другой аллее и читал молитвенник.

Со двора доносилось шумное веселье крестьян, которые пили под яблонями сидр. Вся округа, празднично разодетая, собралась там. Парни и девушки заигрывали друг с другом.

Жанна и Жюльен прошли через рощу, взобрались на откос и в молчании смотрели на море. Погода стояла свежая, хотя была середина августа; дул северный ветер, и огромный шар солнца неумолимо сверкал на ярко-синем небе.

Ища укрытия, молодые люди пересекли ланду в сторону извилистой, поросшей лесом долины, идущей вниз, к Ипору. Едва они очутились под деревьями, как перестали ощущать малейшее дуновение ветра; они свернули с дороги на узкую тропинку, убегавшую в лесную чащу. Идти рядом было почти невозможно, и тут Жанна почувствовала, как вокруг ее стана потихоньку обвивается его рука.

Она молчала, задыхаясь, сердце у нее колотилось, дух захватывало. Нависшие ветки касались их волос; то и дело им приходилось нагибаться, чтобы пройти; она сорвала листок, две божьи коровки, точно две раковинки, приютились на обратной его стороне.

Успокоившись немного, она заметила наивно:

— Смотрите — семейство.

Жюльен коснулся губами ее уха:

— Сегодня вечером вы будете моей женой.

Хотя она многое узнала, живя среди природы, но в любви до сих пор видела только поэзию и потому изумилась. Женой? Разве она не стала уже его женой?

Но он принялся осыпать частыми, легкими поцелуями ее висок и шею там, где вились первые волоски. Вздрагивая каждый раз от этих мужских, непривычных ей поцелуев, она невольно отклоняла голову в другую сторону, старалась избежать его ласк и все же наслаждалась ими.

Неожиданно они очутились на опушке леса. Она остановилась в смущении оттого, что они так далеко забрели. Что о них подумают?

— Вернемся! — сказала она.

Он отнял руку от ее талии, оба они повернулись и оказались один против другого, лицом к лицу, так близко, что каждый ощущал дыхание другого; и взгляды их встретились — те пристальные, испытующие, острые взгляды, в которых словно сливаются две души. Они искали в глазах друг друга ту тайну, то непроницаемо сокровенное, что спрятано где-то глубоко; они пронизывали один другого немым, настойчивым вопросом. Чем они будут друг для друга? Как пойдет их совместная жизнь? Какую долю радостей, восторгов, разочарований принесут они друг другу в пожизненном, нерасторжимом сообществе, которое зовется браком? И каждому из них показалось, что он видит другого впервые.

Внезапно Жюльен вскинул руки на плечи Жанны и впился ей в губы страстным поцелуем, каким еще никогда не целовали ее. Этот поцелуй вонзился в нее, проник ей в мозг и кровь; и та-

кое удивительное, неизведанное чувство потрясло ее, что она отчаянно, обеими руками оттолкнула Жюльена и едва не упала навзничь.

— Пойдем отсюда, пойдем,— лепетала она.

Он не ответил, только взял ее руки и не отпускал их.

До самого дома они больше не сказали ни слова.

За стол сели под вечер.

Обед был простой и кончился скоро, вопреки нормандским обычаям. Какое-то смущение сковывало присутствующих. Только оба священника, мэр да четыре приглашенных фермера поддерживали грубоватое веселье, обязательное на свадьбе.

Смех совсем уже замирал, но остроты мэра снова оживляли его. Было часов около девяти; подали кофе. В первом дворе, под яблонями, начинался деревенский бал. Из раскрытых окон видно было все гулянье. Подвешенные к ветвям фонарики бросали ярко-зеленые отсветы на листья. Парни и девки собрались в круг и неистово прыгали, горланя плясовую, которой слабо вторили две скрипки и кларнет, взгромоздившиеся на большой кухонный стол, как на эстраду. Временами нескладное крестьянское пенье совсем заглушало напев инструментов, и тоненькая мелодия, разорванная ревом голосов, казалось, обрывками падала с неба, рассыпалась отдельными нотками.

Крестьян поили из двух больших бочек, окруженных горящими факелами. Две служанки непрерывно полоскали стаканы и кружки в лохани и сейчас же, не вытирая, подставляли их под кран, откуда текла красная струйка вина или золотистая струйка прозрачного сидра. И разгоряченные танцоры, степенные старики, вспотевшие девушки толкались, протягивали руки, чтобы захватить кружку и, запрокинув голову, одним махом влить себе в горло свой излюбленный напиток.

Рядом на столе разложены были хлеб, масло, сыр и колбасы, которыми каждый угощался время от времени. Это здоровое, разгульное веселье под навесом из освещенных листьев соблазняло унылых господских гостей тоже пуститься в пляс, напиться из большой пузатой бочки и закусить ломтем хлеба с маслом и сырой луковицей.

Мэр, отбивая такт ножом, заметил:

— Здорово, черт подери! Ну, в точности свадьба Ганаша.

Среди гостей пробежал приглушенный смех. Но аббат Пико, естественный противник гражданской власти, возразил:

— Уместнее было бы сказать: брак в Кане.

Однако мэр не внял наставлению:

— Нет, господин аббат, я знаю, что говорю. Сказал «свадьба Ганаша» — и точка.

Все поднялись и перешли в гостиную. Потом на минутку приняли участие в простонародных забавах. А потом гости удалились. Барон и баронесса о чем-то препирались шепотом. Мадам Аделаида, пыхтя больше обычного, по-видимому, не соглашалась сделать то, чего требовал муж; наконец она сказала почти вслух:

— Нет, друг мой, не могу, не знаю даже, как к этому и приступить.

Тогда папенька резко повернулся и подошел к Жанне:

— Хочешь погулять немножко, детка?

— Хорошо, папа,— взволнованно ответила она.

Они вышли.

Едва они переступили порог и направились в сторону моря, как их прохватило резким ветром, холодным летним ветром, который уже дышит осенью.

По небу мчались тучи, заволакивая и снова открывая звезды.

Барон прижимал к себе локоть дочери и нежно гладил ее руку. Так ходили они несколько минут. Казалось, он колеблется, смущается. Наконец он решился:

— Голубка моя, я должен взять на себя обязанность, которую больше подобало бы выполнить маме, но она отказывается, и мне поневоле приходится заменить ее. Я не знаю, что тебе известно о житейских делах. Есть тайны, которые старательно скрывают от детей, в особенности от девушек, чтобы они сохранили чистоту помыслов, чистоту безупречную, вплоть до того часа, когда мы отдадим их с рук на руки человеку, предназначенному заботиться об их счастье. Ему-то и надлежит поднять завесу над сладостным таинством жизни. Но если девушки пребывают в полном неведении, их нередко оскорбляет грубая действительность, таящаяся за грезами. Страдая не только душевно, но и телесно, они отказывают супругу в том, что законом человеческим и законом природы признается за ним как безоговорочное право. Больше я ничего не могу сказать тебе, родная; одно только помни, помни твердо: вся ты всецело принадлежишь мужу.

Что она знала на самом деле? Что подозревала? Она стала дрожать, гнетущая, мучительная тоска навалилась на нее, точно страшное предчувствие.

Они возвратились и застыли на пороге от неожиданности. Мадам Аделаида рыдала на груди Жюльена. Всхлипывания вы-

рывались у нее с таким шумом, как воздух из кузнечных мехов, а слезы лились, казалось, сразу из глаз, из носа, изо рта; молодой человек растерянно, неловко поддерживал толстуху, которая лежала в его объятиях и заклинала его беречь ее дорогую, любимую, ненаглядную девочку.

Барон бросился на помощь.

— Пожалуйста, прошу вас, только без чувствительных сцен.

Он подвел жену к креслу, и она уселась, вытирая мокрое от слез лицо.

Затем он повернулся к Жанне:

— Ну, детка, поцелуй скорее маму и ступай спать.

Еле сдерживая слезы, она торопливо поцеловала родителей и убежала.

Тетя Лизон ушла к себе еще раньше. Барон и его жена остались наедине с Жюльеном. Все трое были так смущены, что не могли выдавить из себя ни слова; мужчины, все еще во фраках, стояли опустив глаза, мадам Аделаида полулежала в кресле, глотая последние слезы. Наконец неловкое молчание стало нестерпимым, и барон заговорил о предстоящем в ближайшие дни путешествии новобрачных.

Между тем Жанну в ее спальне раздевала Розали и плакала при этом в три ручья. Руки ее не слушались, она не находила ни завязок, ни застежек и явно была взволнована еще больше своей госпожи. Но Жанна не замечала слез горничной; ей казалось, будто она вступила в другой мир, попала на другую планету, разлучилась со всем, что было ей знакомо и дорого. Все в ее жизни и в сознании словно перевернулось, у нее даже возникла странная мысль: а любит ли она своего мужа? Он вдруг представился ей чужим, почти незнакомым человеком. Три месяца назад она не знала о его существовании, а теперь стала его женой. Почему? Зачем было так стремительно бросаться в замужество, точно в пропасть, разверстую под ногами?

Когда ночной туалет ее был закончен, она скользнула под одеяло; прохладные простыни вызывали легкий озноб, и это еще усиливало ощущение холода, одиночества, тоски, томившее ее последние два часа.

Розали скрылась, все еще плача, а Жанна стала ждать. С тревогой, с щемящей болью в сердце ждала она того, о чем догадывалась, на что туманно намекал отец,— таинственного посвящения в великую загадку любви.

Жизнь

Она не слышала шагов по лестнице, как вдруг в дверь тихонько постучали три раза. Она затрепетала, задрожала всем телом и не ответила. Стук раздался снова, а немного погодя щелкнул замок. Она спрятала голову под одеяло, как будто к ней забрался вор. По паркету еле слышно проскрипели башмаки, и вдруг кто-то коснулся ее постели.

Она судорожно подскочила и слабо вскрикнула; открыв голову, она увидела, что Жюльен стоит перед ней и смотрит на нее улыбаясь.

— Ах, как вы меня испугали! — сказала она.

— А вы меня совсем не ждали? — спросил он.

Она не ответила. Он был все еще в парадном костюме и хранил достойный вид красавца мужчины; и ей стало вдруг ужасно стыдно лежать в постели перед таким корректным господином.

Они не знали, что говорить, что делать, и не решались даже смотреть друг на друга в этот важный, ответственный час, от которого зависит супружеское счастье целой жизни.

Он, должно быть, смутно сознавал, сколько опасности таится в этом поединке, сколько гибкости, самообладания, сколько умелой нежности надо проявить, чтобы ничем не оскорбить чуткую стыдливость, тончайшую чувствительность девственной, вскормленной мечтами души.

Он бережно взял руку Жанны, поцеловал ее и, преклонив колена перед кроватью, точно перед алтарем, прошептал еле слышно, как будто вздохнул:

— Вы будете любить меня?

Она как-то сразу успокоилась, приподняла с подушки окутанную облаком кружев голову и улыбнулась ему:

— Я уж и теперь люблю вас, мой друг.

Он вложил себе в рот тонкие пальчики жены и приглушенным этой живой помехой голосом спросил:

— И согласны доказать, что любите меня?

Она снова испугалась и ответила, не сознавая толком, что говорит, помня только наставления отца:

— Я ваша, мой друг.

Он осыпал ее руку влажными поцелуями и, медленно поднимаясь, приближался к ее лицу, а она снова пыталась укрыться.

Но вдруг он протянул руку и обхватил жену поверх одеяла, вторую руку просунул под подушку и, приподняв ее вместе с головой жены, шепотом, тихим шепотом спросил:

— Значит, вы дадите мне местечко возле себя?

Ее охватил инстинктивный страх.

— Потом, пожалуйста, потом,— пролепетала она.

Он был явно озадачен и несколько задет и попросил снова, но уже более настойчивым тоном:

— Почему потом, когда мы все равно кончим этим?

Ее обидели эти слова, но все же она повторила в покорном смирении:

— Я ваша, мой друг.

Он тотчас же исчез в туалетной комнате; Жанна явственно слышала каждое его движение, шорох снимаемой одежды, позвякивание денег в кармане, стук сброшенных башмаков.

И вдруг он появился в кальсонах и носках, перебежал комнату и положил на камин часы. Потом шмыгнул обратно в соседнюю каморку и повозился еще немного; услышав, что он входит, Жанна торопливо повернулась на другой бок и закрыла глаза.

Она привскочила и едва не спрыгнула на пол, когда вдоль ее ноги скользнула чужая, холодная и волосатая нога; закрыв лицо руками, вне себя от испуга и смятения, сдерживаясь, чтобы не кричать, она откинулась к самому краю постели.

А он обхватил ее руками, хотя она лежала к нему спиной, и покрывал хищными поцелуями ее шею, кружевной волан чепчика и вышитый воротник сорочки.

Она не шевелилась и вся застыла от нестерпимого ужаса, чувствуя, как властная рука ищет ее грудь, спрятанную между локтями. Она задыхалась, потрясенная его грубым прикосновением, и хотела только одного: убежать на другой конец дома, запереться где-нибудь подальше от этого человека.

Теперь он не шевелился. Она ощущала на спине его тепло. Страх ее снова улегся, и ей вдруг захотелось повернуться и поцеловать его.

Под конец он, видимо, потерял терпение и спросил огорченным тоном:

— Почему же вы не хотите быть моей женушкой?

Она пролепетала, не отрывая рук от лица:

— Разве я не стала вашей женой?

— Полноте, дорогая, вы смеетесь надо мной,— возразил он с оттенком досады.

Ей стало грустно, что он недоволен ею, и она повернулась попросить прощения.

Он набросился на нее жадно, будто изголодался по ней, и стал осыпать поцелуями — быстрыми, жгучими, как укусы, поцелуями все лицо ее и шею, одурманивая ее ласками. Она раз-

жала руки и больше не противилась его натиску, не понимала, что делает сама, что делает он, в полном смятении не соображала уже ничего. Но вдруг острая боль пронизала ее, и она застонала, забилась в его объятиях, в то время как он грубо обладал ею.

Что произошло дальше? Она ничего не помнила, она совсем обезумела; она только чувствовала на своих губах его частые благодарные поцелуи.

Потом он как будто говорил с ней, и она ему отвечала. Потом он сделал новую попытку, но она с ужасом оттолкнула его; отбиваясь, она ощутила на его груди ту же густую щетину, что и на ногах, и отшатнулась от неожиданности.

Наконец ему прискучили безуспешные домогательства, он затих, лежа на спине.

А она стала думать; в глубочайшем отчаянии от того, что наслаждение оказалось обманом, совсем не похожим на мечту, что заветные надежды рухнули, все блаженство разлетелось в прах, она твердила себе: «Так вот что, вот что он называет быть его женой?»

Она долго лежала так, в тоске, скользя взглядом по шпалерам, по старинной любовной легенде, украшавшей стены ее комнаты.

Но так как Жюльен молчал и не шевелился, она осторожно перевела взгляд на него, и что же она увидела: он спал! Он спал, полуоткрыв рот, со спокойным выражением лица! Он спал!

Она не верила своим глазам, она была возмущена и оскорблена этим сном еще больше, чем его животной грубостью. Значит, она для него первая встречная, раз он может спать в такую ночь? Значит, в том, что произошло между ними, для него нет ничего особенного? О! Она предпочла бы, чтобы он избил ее, изнасиловал снова, истерзал ненавистными ласками до потери сознания.

Она лежала неподвижно, опершись на локоть, и, наклонясь над ним, прислушивалась к его дыханию, иногда переходившему в храп.

Занимался день, сперва тусклый, потом все ярче, все розовее, все ослепительнее. Жюльен открыл глаза, зевнул, потянулся, взглянул на жену и, улыбаясь, спросил:

— Ты хорошо выспалась, душенька?

Она услышала, что он стал обращаться к ней на «ты», и ответила растерянно:

— Да, конечно. А вы?

— Ну, я-то выспался превосходно,— ответил он.

И, повернувшись к ней, поцеловал ее, а потом принялся спокойно беседовать. Он излагал ей свои планы жизни, основанной на «экономии» — это слово повторялось не раз и удивляло Жанну. Она слушала, не вполне улавливая смысл его речей, смотрела на него, и тысячи мимолетных мыслей проносились в ее голове, едва задевая сознание.

Пробило восемь часов.

— Ну, пора вставать,— сказал он,— нам неловко долго оставаться в постели.

И он поднялся первым, оделся сам и заботливо помог жене совершить туалет, ни за что не разрешив позвать Розали.

При выходе из спальни он остановил жену:

— Знаешь, между собой мы теперь можем быть на «ты», но при родителях лучше еще повременить. После свадебного путешествия это покажется вполне естественным.

Она спустилась к позднему завтраку. И день потянулся, как обычно, словно ничего нового и не произошло. Только в доме прибавился лишний человек.

V

Через четыре дня прибыла дорожная карета, чтобы везти их в Марсель.

После ужаса первой ночи Жанна успела привыкнуть к близости Жюльена, к его поцелуям, нежным ласкам, но отвращение ее к супружеским объятиям не убывало.

Все же он нравился ей, она его любила и снова была счастлива и весела.

Прощание было недолгим и отнюдь не печальным. Одна только баронесса казалась расстроенной; перед самым отъездом она вложила в руку дочери большой и тяжелый, точно камень, кошелек.

— Это на мелкие расходы тебе лично, как молодой даме,— сказала она.

Жанна опустила кошелек в карман, и лошади тронули.

Перед вечером Жюльен спросил:

— Сколько тебе мама дала на расходы?

Она забыла и думать о кошельке, а теперь вывернула его себе на колени. Золото так и посыпалось оттуда: две тысячи франков. Она захлопала в ладоши: «Ах, как я буду транжирить!» — и собрала деньги.

После недели пути по страшной жаре они приехали в Марсель. А наутро «Король Людовик», небольшой пакетбот, совер-

шавший рейс до Неаполя с заходом в Аяччо, уже вез их на Корсику.

Корсика! Маки́! Бандиты! Горы! Родина Наполеона! Жанне казалось, что из мира действительности она наяву вступает в мир грез.

Стоя рядом на палубе, они смотрели, как проплывают мимо утесы Прованса. Неподвижное море глубокой лазури словно застыло, словно затвердело в жгучем солнечном свете, раскинувшись под безбрежным небом почти неправдоподобной синевы.

— Помнишь нашу прогулку в лодке дяди Ластика? — спросила она.

Вместо ответа он украдкой поцеловал ей ушко.

Колеса парохода били по воде, тревожа ее покой, а за кормой судна след его уходил вдаль ровной бурливой полосой, широкой беловатой струей, где всколыхнувшиеся волны пенились, как шампанское.

Внезапно в нескольких саженях от носа корабля из моря выпрыгнул громадный дельфин и тотчас нырнул обратно головой вперед. Жанна испугалась, вскрикнула от неожиданности и бросилась на грудь Жюльену. А потом сама же засмеялась своему страху и принялась с интересом следить, не появится ли животное снова. Спустя несколько секунд оно опять взвилось, как гигантская заводная игрушка. Потом нырнуло, высунулось опять; потом их оказалось двое, трое, потом шесть; они словно резвились вокруг массивного, грузного судна, эскортировали своего мощного собрата, деревянного дельфина с железными плавниками. Они заплывали то с левого бока корабля, то с правого и, иногда вместе, иногда друг за дружкой, словно вперегонки, подскакивали на воздух, и, описав большую дугу, снова ныряли в воду.

Жанна хлопала в ладоши, дрожала от восторга при каждом появлении ловких пловцов. Сердце у нее прыгало, как они, в безудержном детском веселье.

И вдруг они скрылись. Еще раз показались где-то далеко в открытом море и больше не появлялись; Жанне на миг взгрустнулось оттого, что они исчезли.

Надвигался вечер — мирный, тихий вечер, лучезарно ясный, исполненный блаженного покоя. Ни малейшего волнения в воздухе и на воде; великое затишье моря и неба убаюкало души, и в них тоже замерло всякое волнение.

Огромный шар солнца потихоньку опускался к горизонту, к Африке, к незримой Африке, и жар ее раскаленной почвы уже, казалось, был ощутим; однако, когда солнце скрылось со-

всем, даже не ветерок, а легкое свежее дуновение лаской овеяло лица.

Им не хотелось уходить в каюту, где стоял противный пароходный запах, и они улеглись бок о бок на палубе, завернувшись в плащи. Жюльен сразу же уснул, но Жанна лежала с открытыми глазами, взбудораженная новизной дорожных впечатлений. Однообразный шум колес укачивал ее; над собой она видела несметные звезды, такие светлые, сверкающие резким, словно влажным, блеском на ясном южном небе.

К утру, однако же, она задремала. Ее разбудил шум, звук голосов. Матросы пели, производя уборку парохода. Жанна растормошила мужа, который спал как убитый, и оба они встали.

Она с упоением вдыхала терпкий солоноватый утренний туман, пронизывавший ее насквозь. Повсюду кругом море. Но нет, впереди на воде лежало что-то серое, неясное в свете брезжущего утра, какое-то нагромождение странных, колючих, изрезанных облаков.

Потом оно стало явственнее; очертания обозначились резче на посветлевшем небе; возникла длинная гряда прихотливо угловатых гор — Корсика, окутанная легкой дымкой.

Солнце поднялось позади нее и обрисовало черными тенями извилины гребней; немного погодя все вершины заалелись, но самый остров еще тонул в тумане.

На мостике появился капитан, приземистый старик, обожженный, обветренный, высушенный, выдубленный, скрюченный суровыми солеными ветрами, и сказал Жанне голосом, охрипшим от тридцати годов командования, надсаженным окриками во время штормов:

— Чувствуете, как от нее, от мерзавки, пахнет?

Жанна в самом деле ощущала сильный, незнакомый запах трав, диких растений.

Капитан продолжал:

— Это Корсика так благоухает, сударыня; у нее, как у всякой красавицы, свой особый аромат. Я и через двадцать лет разлуки за пять морских миль распознаю его. Я ведь оттуда. И *он*, говорят, на Святой Елене, все поминает про аромат отчизны. Он мне родня.

И капитан, сняв шляпу, приветствовал Корсику, приветствовал через океан плененного великого императора, который был ему роднёй.

Жанна едва не заплакала от умиления.

Затем моряк протянул руку к горизонту.

— Кровавые острова,— пояснил он.

Жюльен стоял около жены, обняв ее за талию, и оба они искали взглядом указанную точку.

Наконец они увидели несколько пирамидальных утесов, а вскоре судно обогнуло эти утесы, входя в обширный и тихий залив, окруженный толпой высоких гор, поросших понизу чем-то вроде мха.

Капитан указал на эту растительность:

— Маки!

По мере продвижения парохода круг гор будто смыкался за ним, и он медленно плыл среди озера такой прозрачной синевы, что порой видно было дно.

И вдруг показался город, весь белый, в глубине бухты, у края волн, у подножия гор.

Несколько небольших итальянских судов стояли на якоре в порту. Четыре-пять лодок шныряли вокруг «Короля Людовика» в надежде на пассажиров.

Жюльен, собиравший чемоданы, спросил шепотом у жены:

— Достаточно дать носильщику двадцать су?

Всю неделю он ежеминутно задавал ей подобные вопросы, всякий раз причинявшие ей страдание. Она ответила с легкой досадой:

— Лучше дать лишнее, чем недодать.

Он постоянно спорил с хозяевами, с лакеями в гостиницах, с кучерами, с продавцами любых товаров, и когда после долгих препирательств ему удавалось выторговать какую-нибудь мелочь, он говорил жене, потирая руки:

— Не люблю, чтобы меня надували.

Она дрожала, когда подавали счет, заранее предвидя, что он будет придираться к каждой цифре, стыдилась этого торга, краснела до корней волос от презрительных взглядов, которыми лакеи провожали ее мужа, зажав в руке его скудные чаевые.

Он поспорил и с лодочником, который перевез их на берег.

Первое дерево, которое она увидела, была пальма.

Они остановились в большой малолюдной гостинице на одном из углов обширной площади и заказали завтрак.

Когда они кончили десерт и Жанна поднялась, чтобы пойти побродить по городу, Жюльен обнял ее и нежно шепнул ей на ухо:

— Не прилечь ли нам, кошечка?

Она изумилась:

— Прилечь? Да я ничуть не устала.

Он прижал ее к себе:

— Я стосковался по тебе за два дня. Понимаешь?

Она вспыхнула от стыда и пролепетала:

— Что ты! Сейчас? Что скажут здесь? Что подумают? Как ты потребуешь номер посреди дня? Жюльен, умоляю тебя, не надо!

Но он прервал ее:

— Мне наплевать, что скажут и подумают лакеи в гостинице. Сейчас увидишь, как это мало меня смущает.

И он позвонил.

Она замолчала, опустив глаза; она душой и телом восставала против неутолимых желаний супруга, подчинялась им покорно, но с отвращением, чувствуя себя униженной, ибо видела в этом что-то скотское, позорное,— словом, пакость.

Чувственность в ней еще не проснулась, а муж вел себя так, будто она разделяла его пыл.

Когда лакей явился, Жюльен попросил проводить их в отведенный им номер. Лакей, истый корсиканец, обросший бородой до самых глаз, ничего не понимал и уверял, что комната будет приготовлена к ночи.

Жюльен с раздражением растолковал ему:

— А нам нужно теперь. Мы устали с дороги и хотим отдохнуть.

Тут лакей ухмыльнулся в бороду, а Жанне захотелось убежать.

Когда они спустились через час, ей стыдно было проходить мимо каждого лакея,— ей казалось, что все непременно будут шушукаться и смеяться за ее спиной. В душе она ставила в укор Жюльену, что ему это непонятно, что ему недостает тонкой и чуткой стыдливости, врожденной деликатности: она ощущала между собой и им словно какую-то завесу, преграду и впервые убеждалась, что два человека не могут проникнуть в душу, в затаенные мысли друг друга, что они идут рядом, иногда тесно обнявшись, но остаются чужими друг другу, и что духовное наше существо скитается одиноким всю жизнь.

Они прожили три дня в этом городке, скрытом в глубине голубой бухты, раскаленном, как горн, за окружающим его заслоном из скал, который не подпускает к нему ни малейшего ветерка.

За это время был выработан маршрут их путешествия, и они решили нанять лошадей, чтобы не отступать перед самыми трудными переходами. Они взяли двух норовистых корсиканских лошадок, поджарых, но неутомимых, и однажды утром на заре тронулись в путь. Проводник ехал рядом верхом на муле и

вез провизию, потому что трактиров не водится в этом диком краю.

Сперва дорога шла вдоль бухты, а потом поворачивала в неглубокую долину, ведущую к главным высотам. То и дело приходилось переезжать почти высохшие потоки; чуть заметный ручеек с робким шорохом еще копошился под камнями, как притаившийся зверек.

Невозделанный край казался совсем пустынным, склоны поросли высокой травой, пожелтевшей в эту знойную пору. Изредка встречался им горец, то пешком, то на коренастой лошаденке, то верхом на осле, ростом не больше собаки. У каждого корсиканца за плечом висело заряженное ружье, старое, ржавое, но грозное в его руках. От терпкого запаха ароматических растений, которыми покрыт весь остров, воздух казался гуще; дорога вилась вверх между длинными грядами гор.

Вершины из розового или голубоватого гранита придавали широкому ландшафту сказочный вид, а леса гигантских каштанов на нижних склонах казались зеленым кустарником по сравнению с громадами вздыбленных на этом острове складок земли.

Время от времени проводник указывал рукой на высокие кручи и произносил какое-нибудь название. Жанна и Жюльен смотрели и ничего не видели, потом обнаруживали, наконец, что-то серое, похожее на груду камней, упавших с вершины. Это была какая-нибудь гранитная деревушка, прилепившаяся к склону, повисшая, точно птичье гнездо, и почти незаметная на огромной горе.

Долгое путешествие шагом раздражало Жанну. «Поедем быстрее»,— сказала она и пустила лошадь в галоп. Не слыша, чтобы муж скакал следом, она обернулась и безудержно захохотала, когда увидела, как он мчится, весь бледный, держась за гриву лошади и странно подпрыгивая. И красота его, осанка «прекрасного рыцаря» делали еще смешнее его неловкость и страх.

Дальше они поехали рысцой. Дорога тянулась теперь между двумя нескончаемыми лесами, покрывшими весь склон, точно плащом.

Это и были маки́, непроходимые заросли вечнозеленых дубов, можжевельника, толокнянки, мастиковых деревьев, крушины, вереска, самшита, мирта, букса, спутанные, как копна волос, сплетенные между собой вьющимся ломоносом, гигантскими папоротниками, жимолостью, каменным розаном, розмари-

ном, лавандой, терновником, которыми склоны гор обросли, точно густым руном.

Жанна и Жюльен проголодались. Проводник догнал их и привел к прелестному роднику, какие в изобилии встречаются в горных местностях, к тонкой и быстрой струйке ледяной воды, выходящей из отверстия в камне и текущей по каштановому листу, положенному каким-то прохожим в виде желобка, чтобы подвести миниатюрный ручеек прямо ко рту.

У Жанны было так радостно на душе, что ей хотелось кричать от счастья.

Они поехали дальше и начали спуск, огибая Сагонский залив.

К вечеру они добрались до Каргеза, греческого поселения, основанного некогда беглецами, изгнанными из отечества. Рослые, красивые девушки, с узкими руками, стройными бедрами и тонким станом, исполненные необычайной грации, собрались у водоема. Жюльен крикнул им: «Добрый вечер»,— и они ответили ему певучими голосами на мелодичном языке покинутой отчизны.

По приезде в Пиану пришлось просить пристанища, точно это было в далекие времена или в каком-нибудь неведомом краю. Жанна вся дрожала от удовольствия, ожидая, чтобы отворилась дверь, в которую Жюльен постучался. Вот это настоящее путешествие, со всеми неожиданностями неисследованных дорог!

Они попали тоже к молодой чете. Их приняли так, как, должно быть, принимали патриархи посланцев божиих, и они переночевали на соломенном тюфяке в старом, источенном червями доме, где по всему насквозь просверленному срубу шныряли древоточцы, пожиратели балок, так что он шуршал и кряхтел, как живой.

Выехали они на заре и вскоре остановились перед лесом, настоящим лесом из пурпурного гранита. Тут были и шпили, и колонны, и башенки — удивительные фигуры, выточенные временем, ветром и морским туманом.

Эти фантастические скалы высотой до трехсот метров, тонкие, круглые, узловатые, крючковатые, бесформенные или самой неожиданной причудливой формы, напоминали деревья, растения, статуи, животных, людей, монахов в рясе, рогатых дьяволов, гигантских птиц, целое племя чудовищ, страшный зверинец, превращенный в камень прихотью какого-то сумасбродного бога.

Жанна не могла говорить, сердце у нее замирало, она схва-

тила руку Жюльена, стиснула ее в страстной потребности любви перед такой красотой мира.

Но вот, выбравшись из этого хаоса, они обнаружили новый залив, опоясанный кровавой стеной красного гранита. И синее море отражало багровые утесы.

Жанна пролепетала: «Боже мой! Жюльен!» — она не находила других слов, у нее перехватило горло от умиленного восторга, из глаз покатились слезы. Он посмотрел на нее в изумлении и спросил:

— Что с тобой, кошечка?

Она вытерла щеки, улыбнулась и ответила дрожащим голосом:

— Ничего... Это так... должно быть, нервное... сама не знаю... Меня это поразило. Я так счастлива, что любой пустяк волнует мне душу.

Ему была непонятна эта женская нервозность, взволнованность чувствительной натуры, которую всякая малость доводит до безумия, восторг потрясает, точно катастрофа, неуловимое впечатление повергает в трепет, сводит с ума от радости или отчаяния.

Ее слезы казались ему смешными, он весь был поглощен трудностями пути.

— Лучше бы ты повнимательнее следила за лошадью,— сказал он.

Они спустились к самому заливу почти непроходимой тропой, а потом свернули вправо, чтобы взять подъем мрачной долины Ота.

Дорога не сулила ничего хорошего.

— Не лучше ли взобраться пешком? — предложил Жюльен.

Жанна охотно согласилась, радуясь возможности пройтись и побыть с ним наедине после недавнего потрясения.

Проводник отправился вперед с мулом и лошадьми, а они стали подниматься неторопливым шагом.

Гора, расколотая от вершины до основания, расступается. Тропинка углубляется в эту расселину. Она идет низом между двумя гигантскими скалами, а по самому дну ущелья мчится полноводный поток.

Воздух тут ледяной, гранит кажется черным, а клочок неба вверху удивляет, ошеломляет своей голубизной.

Внезапный шум испугал Жанну. Она подняла глаза — огромная птица вылетела из какой-то расселины: это был орел. Распростертые крылья его как будто касались обеих стен ущелья, он взмыл вверх и исчез в лазури.

Дальше трещина в горе раздваивается; тропинка круто извивается между двумя пропастями. Жанна легко и беззаботно бежала вперед, так что камешки сыпались у нее из-под ног, и бесстрашно наклонялась над обрывами. Муж шагал за ней, запыхавшись, глядя в землю из страха дурноты.

Неожиданно на них хлынул поток солнечного света; они словно выбрались из ада. Им хотелось пить, влажный след посреди нагромождения камней привел их к маленькому ручейку, отведенному козьими пастухами в выдолбленную колоду. Вся земля кругом была устлана мхом. Жанна встала на колени, чтобы напиться; Жюльен последовал ее примеру.

Она никак не могла оторваться от холодной струи; тогда он обнял ее за талию и попытался занять ее место у края деревянного желобка. Она противилась, губы их встречались, сталкивались, отстранялись. В перипетиях борьбы то один, то другой хватал узкий конец стока и, чтобы не выпустить, стискивал его зубами. А струйка холодной воды, переходя от одного к другому, дробилась, сливалась, обрызгивала лица, шеи, одежду, руки. Капельки, подобно жемчужинам, блестели у них в волосах. И вместе с водой текли поцелуи.

Вдруг Жанну осенила любовная фантазия. Она наполнила рот прозрачной влагой и, раздув щеки, как мехи, показала Жюльену, что хочет напоить его из уст в уста.

С улыбкой он откинул голову, раскрыл объятия и, не отрываясь, стал пить из этого живого родника, вливавшего в него жгучее желание.

Жанна прижималась к нему с непривычной нежностью; сердце ее трепетало, грудь вздымалась, глаза затуманились, увлажнились. Она прошептала чуть слышно: «Люблю тебя... Жюльен»,— притянула его к себе и опрокинулась навзничь, закрыв руками вспыхнувшее от стыда лицо.

Он упал на нее, порывисто схватил ее в объятия. Она задыхалась в страстном ожидании и вдруг вскрикнула, пораженная, как громом, тем ощущением, которого жаждала.

Долго добирались они до верхней точки подъема, так была истомлена и взволнована Жанна, и только к вечеру попали в Эвизу, к родственнику их проводника, Паоли Палабретти.

Это был рослый, чуть сутулый мужчина, хмурый на вид, как часто бывают чахоточные. Он проводил их в отведенную им комнату — унылую комнату с голыми каменными стенами, но роскошную для этого края, не знающего прикрас; не успел он выразить на своем корсиканском наречии — смеси французского с итальянским,— какая для него радость оказать им

гостеприимство, как его прервал звонкий голос, и в комнату вбежала маленькая женщина, брюнетка с большими черными глазами, с жгучим румянцем и тонким станом. С неизменной улыбкой, обнажающей зубы, она расцеловала Жанну, встряхнула руку Жюльену, все время тверд я:

— Здравствуйте, сударыня, здравствуйте, сударь! Как поживаете?

Она помогла снять шляпы, шали, прибрала все одной рукой, потому что другая была у нее на перевязи. Затем выпроводила всех, заявив мужу:

— Пойди погуляй с ними до обеда.

Палабретти тотчас повиновался и отправился показывать Жанне и Жюльену деревню. Он шел между ними, еле шевеля ногами и языком, беспрестанно кашлял, приговаривая после каждого приступа:

— В долине-то свежо, вот грудь у меня и простыла.

Он вывел их на запущенную тропинку. Внезапно он остановился под огромным каштаном и заговорил тягучим голосом:

— На этом самом месте моего двоюродного брата, Жана Ринальди, убил Матье Лори. Глядите, я стоял вот здесь, возле Жана, а Матье как вынырнет вдруг шагах в десяти от нас да как закричит: «Жан, не смей ходить в Альбертаче! Говорю тебе, Жан, не смей, а не то, верь моему слову, я тебя убью!»

Я схватил Жана за руку: «Не ходи, Жан, он и впрямь тебя убьет».

А они оба одну девушку, Полину Синакупи, обхаживали.

Ну, а Жан и закричи в ответ: «Нет, пойду. И не тебе, Матье, помешать мне в этом».

Тут, не успел я схватиться за ружье, как Матье прицелился и выстрелил.

Жан подпрыгнул, поверьте, сударь, не меньше, чем на два фута, совсем как ребенок прыгает через веревочку, и со всего маху рухнул на меня, так что ружье мое отлетело вон до того большого каштана. Рот у Жана был открыт, только он не вымолвил ни слова, он уже кончился.

Молодая чета в растерянности смотрела на невозмутимого свидетеля такого преступления. Жанна спросила:

— А что ж убийца?

Паоли Палабретти долго кашлял, прежде чем ответить.

— Удрал в горы. А на другой год его убил мой брат. Знаете моего брата, Филиппа Палабретти, бандита?

Жанна вздрогнула:

— У вас брат — бандит?

Глаза благодушного корсиканца сверкнули гордостью.

— Да, сударыня, еще какой знаменитый! Шестерых жандармов укокошил. Он погиб вместе с Николо Морали, когда их окружили в Ниоло. Шесть дней они держались и уж совсем пропадали с голоду.

И тем же философским тоном, каким говорил: «В долине-то свежо», он добавил:

— Обычай в нашей стране такие.

После этого они возвратились обедать, и маленькая корсиканка обошлась с ними так, словно знала их двадцать лет.

Но Жанну неотступно мучила тревога. Ощутит ли она вновь в объятиях Жюльена ту незнакомую раньше, бурную вспышку страсти, которую испытала на мху у родника?

Когда они остались одни в спальне, она боялась, что снова будет бесчувственной под его ласками. Но вскоре убедилась, что страх ее напрасен, и это была ее первая ночь любви.

Наутро, когда настало время уезжать, ей не хотелось расставаться с этим убогим домиком, где, казалось, началась для нее новая, счастливая пора.

Она зазвала к себе в комнату маленькую хозяйку и стала с горячностью настаивать, чтобы та позволила послать ей из Парижа какой-нибудь пустячок, не в виде платы, а на память, придавая этому подарку некое суеверное значение.

Молодая корсиканка долго отказывалась. Наконец согласилась.

— Так и быть,— сказала она,— пришлите мне пистолет, только совсем маленький.

Жанна глаза раскрыла от удивления. А хозяйка пояснила шепотом, на ушко, как поверяют сладостную, заветную тайну:

— Мне деверя убить надо.

Улыбаясь, она торопливо размотала перевязки на своей бездействующей руке и показала на ее белоснежной округлости сквозную кинжальную рану, успевшую почти зарубцеваться.

— Не будь я одной с ним силы,— сказала она,— он бы меня убил. Муж — тот не ревнует, он меня знает, и потом он ведь больной; это ему кровь-то и остужает. Я, сударыня, и в самом деле женщина честная; ну, а деверь всяким россказням верит и ревнует за мужа. Он, конечно, набросится на меня опять. Вот тут у меня и будет пистолетик, тогда уж мне нечего бояться, я за себя постою.

Жанна обещала прислать оружие, нежно расцеловала новую приятельницу и отправилась в дальнейший путь.

Конец путешествия был для нее каким-то сном непрерывных объятий, пьянящих ласк. Она ничего не видела — ни пейзажей, ни людей, ни городов, где останавливалась. Она смотрела только на Жюльена.

И тут началась милая ребячливая близость, с любовными дурачествами, глупыми и прелестными словечками, с ласкательными прозвищами для всех изгибов, извилин и складок ее и его тела, какие облюбовали их губы.

Жанна спала обычно на правом боку, и левая грудь часто выглядывала наружу при пробуждении. Жюльен это подметил и окрестил ее: «гуляка», а вторую: «лакомка», потому что розовый бутон ее соска был как-то особенно чувствителен к поцелуям.

Глубокая ложбинка между обеими получила прозвище «маменькина аллея», потому что он постоянно прогуливался по ней; а другая, более потаенная ложбинка именовалась «путь в Дамаск» — в память долины Ота.

По приезде в Бастию надо было расплатиться с проводником. Жюльен пошарил в карманах. Не найдя подходящей монеты, он обратился к Жанне:

— Раз ты совсем не пользуешься деньгами твоей матери, лучше отдай их мне. У меня они будут сохраннее, а мне не придется менять банковые билеты.

Она протянула ему кошелек.

Они переправились в Ливорно, побывали во Флоренции, в Генуе, объехали всю итальянскую Ривьеру.

В одно ветреное утро они снова очутились в Марселе.

Два месяца прошло с их отъезда из Тополей. Было пятнадцатое октября.

Жанна загрустила от холодного мистраля, который дул оттуда, из далекой Нормандии. Жюльен с некоторых пор переменился, казался усталым, равнодушным; и ей было страшно, она сама не понимала чего.

Она отсрочила возвращение еще на четыре дня, ей все не хотелось расставаться с этими благодатными, солнечными краями. Ей казалось, будто она исчерпала свою долю счастья.

Наконец они уехали. Им надо было сделать в Париже множество покупок для окончательного устройства в Тополях, и Жанна заранее предвкушала, сколько всяких чудес навезет она на деньги, подаренные маменькой; но первое, о чем она подумала, был пистолет, обещанный молодой корсиканке из Эвизы.

На следующий день после приезда она обратилась к Жюльену:

— Дорогой мой, верни мне, пожалуйста, мамины деньги, я собираюсь делать покупки.

Он повернулся к ней с недовольным видом:

— Сколько тебе нужно?

Она удивилась и пролепетала:

— Ну... сколько хочешь.

Он решил:

— Вот тебе сто франков; только смотри не трать зря.

Она не знала, что сказать, совсем растерявшись и смутившись.

Наконец, она робко заметила:

— Но... ведь... я тебе дала деньги на...

Он оборвал ее:

— Совершенно верно. Не все ли равно, будут ли они у тебя или у меня, раз у нас теперь общий карман. Да я и не отказываю, ведь я же даю тебе сто франков.

Не сказав ни слова, она взяла пять золотых, но больше попросить не посмела и купила только пистолет.

Неделю спустя они отправились домой, в Тополя.

VI

У белой ограды с кирпичными столбами собрались в ожидании родные и прислуга. Почтовая карета остановилась, и начались нескончаемые объятия. Маменька плакала; растроганная Жанна утирала слезы; отец нервно шагал взад и вперед.

Пока выгружали багаж, в гостиной, у камина, шли рассказы о путешествии. Слова в изобилии текли с уст Жанны; за полчаса было описано все, решительно все, кроме каких-нибудь мелочей, упущенных в спешке повествования.

Затем Жанна пошла раскладывать чемоданы. Ей помогала Розали, тоже взволнованная. Когда с этим было покончено, когда белье, платья, туалетные принадлежности были водворены по местам, горничная оставила свою госпожу; и Жанна села в кресло несколько утомленная.

Она не знала, что ей делать дальше, мысленно искала, чем занять ум, к чему приложить руки. Ей не хотелось спускаться в гостиную, где дремала мать; она думала было пойти погулять, но пейзаж был такой унылый, что стоило ей взглянуть в окно, как на сердце падала тоска.

И тогда она вдруг поняла, что у нее нет и никогда больше не будет никакого дела. Вся юность ее в монастыре была по-

глощена будущим, занята мечтаниями. Волнующие надежды заполняли в ту пору все ее время, и ей незаметно было, как оно текло. Затем, не успела она покинуть благочестивые стены, где расцветали ее грезы, как ожидание любви сбылось для нее. Тот, кого она ждала, кого встретила, полюбила, за кого вышла замуж,— и все это в течение нескольких недель, сгоряча,— этот человек унес ее в своих объятиях, так что она даже не успела опомниться.

Но вот сладостная действительность первых дней превращалась в действительность будничную, которая закрывала двери для туманных чаяний, увлекательных волнений перед неизвестным. Да, ждать уже было нечего.

А значит, и делать нечего — и сегодня, и завтра, и всегда. Она все это ощутила по какой-то смутной разочарованности, по оскудению грез.

Она встала и прижалась лбом к холодному оконному стеклу. Некоторое время она смотрела на небо, по которому ползли темные облака, потом решилась выйти из дому.

Неужели это тот же сад, та же трава, те же деревья, что были в мае? Куда девалась солнечная радость листвы, изумрудная поэзия лужайки с огоньками одуванчиков, кровавыми пятнами маков, звездочками маргариток и трепещущими, как на невидимых нитях, фантастическими желтыми бабочками? И не было уже пьянящего воздуха, насыщенного жизнью, ароматами, плодоносной пыльцой.

Размытые постоянными осенними ливнями, устланные плотным ковром опавших листьев, аллеи тянулись под продрогшими, почти оголенными тополями. Тощие ветки встряхивали на ветру последние остатки листвы, еще не развеянной в пространстве. И весь день, без перерыва, точно неуемный, до слез тоскливый дождь, срывались, кружили, летали и падали эти последние, совсем уже желтые, похожие на крупные золотые монеты, листья.

Жанна дошла до рощи. В ней было уныло, как в комнате больного. Зеленые заросли, разделявшие уютные извилистые дорожки, осыпались. Сплетенные между собой кусты, точно кружево из ажурного дерева, терлись друг о друга голыми ветками, и как тяжкий вздох умирающего был шелест палой листвы, которую ветер шевелил, подгонял, наметал в кучи. Крошечные пичужки с зябким писком прыгали тут и там в поисках приюта.

Однако плотная стена вязов, выставленных заслоном против морских ветров, сохранила липе и платану их летний убор, и они стояли — одна словно в алом бархате, другой в оранже-

вом атласе, окрашенные первыми заморозками согласно свойству растительных соков каждого.

Жанна медленно бродила взад и вперед по маменькиной аллее мимо фермы Куяров. Что-то угнетало ее, словно предчувствие долгих дней тоски в предстоящей однообразной жизни.

Затем она уселась на откосе, где Жюльен впервые заговорил с ней о любви; она сидела, как в забытьи, почти без мыслей и чувствовала глубокую усталость; ей хотелось лечь, уснуть, уйти от печали этого дня.

Вдруг она увидела чайку, которую гнал по небу порыв ветра, и ей вспомнился орел, летавший там, в Корсике, в мрачной долине Ота. Сердце ее защемило, как щемит от воспоминания о чем-то прекрасном и ушедшем; и перед ней сразу же встал чудесный остров с его дикими благоуханиями, с его солнцем, под которым зреют апельсины и лимоны, его горы с розовыми вершинами, голубые бухты и ущелья, где бурлят потоки.

И тогда осенняя, сырая, суровая природа вокруг нее, скорбный листопад и серая пелена туч, уносимых ветром, погрузили ее в такую бездну тоски, что она поспешила вернуться домой, боясь разрыдаться.

Маменька дремала, разомлев у камина; она привыкла к однообразному течению дней и не замечала его уныния. Отец и Жюльен пошли погулять и поговорить о делах. Надвинулась ночь и заволокла угрюмым сумраком большую комнату, которую освещали лишь мгновенные вспышки огня в камине.

За окнами в последнем свете дня еще видна была хмурая картина поздней осени и серенькое, тоже словно все в слякоти, небо.

Вскоре возвратились барон с Жюльеном; войдя в темную гостиную, барон тотчас позвонил и крикнул:

— Скорей, скорей несите лампы, а то здесь такая тоска!

Он уселся перед камином. Его отсыревшие сапоги дымились у огня, с подошв сыпалась высохшая грязь, а он весело потирал руки.

— Кажется, начинаются холода,— заметил он,— к северу небо посветлело, а сегодня новолуние; этой ночью крепко подморозит.

Затем он повернулся к дочери:

— Ну как, дочурка, довольна, что вернулась на родину, к себе домой, к своим старикам?

Этот простой вопрос до глубины души потряс Жанну. Глаза ее наполнились слезами. Она бросилась на шею отцу и принялась лихорадочно целовать его, словно просила прощения,

потому что, как ни старалась она быть веселой, ей было смертельно грустно. Она вспомнила, сколько радости ждала от свидания с родителями, и ее удивляло собственное равнодушие, убивавшее всякую теплоту; когда в разлуке много думаешь о любимых людях, но отвыкаешь ежечасно видеть их, то при встрече ощущаешь некоторую отчужденность до тех пор, пока не скрепятся вновь узы совместной жизни.

Обед тянулся долго; никто не разговаривал. Жюльен, казалось, забыл про жену.

Потом, в гостиной, она задремала у огня, напротив маменьки, которая спала крепким сном; когда же ее разбудили голоса о чем-то споривших между собой мужчин, она постаралась встряхнуться, задавая себе вопрос, неужели и ее затянет унылое болото ничем не возмущаемых привычек.

Пламя в камине, вялое и красноватое днем, теперь оживилось, разгорелось. Неровными, яркими вспышками оно освещало выцветшую обивку кресел с лисицей и журавлем, с цаплей-печальницей, со стрекозой и муравьем.

Подошел барон и, улыбаясь, протянул руку к пылающим головням.

— Ого! Хорошо горит нынче вечером. А на дворе подмораживает, дети мои, подмораживает.

Потом, положив руку на плечо Жанны, он указал на огонь:

— Видишь, дочурка, самое главное на свете — очаг и своя семья вокруг очага. Лучше этого ничего нет. Но, по-моему, пора спать. Вы, должно быть, очень устали, детки?

Когда Жанна поднялась к себе в спальню, она задумалась над тем, как различно может быть возвращение в одно и то же, казалось бы, любимое место. Почему она так подавлена, почему и дом, и родной край, и все, что было дорого, теперь надрывает ей душу?

Вдруг взгляд ее упал на часы. Пчелка по-прежнему так же быстро и размеренно порхала слева направо и справа налево над позолоченными цветами. И тут Жанну пронизал порыв внезапной нежности, глубочайшего умиления перед этим маленьким механизмом, который выпевал ей время и бился, как живое сердце.

Она была несравненно меньше растрогана, когда обнимала отца и мать. У сердца есть загадки, не доступные разуму.

Впервые после замужества она была одна в постели, так как Жюльен, под предлогом усталости, устроился в другой комнате. Впрочем, они заранее решили, что у каждого будет отдельная спальня.

Она долго не могла уснуть, ей было странно не чувствовать рядом другого тела и непривычно спать в одиночестве; ее тревожил злобный северный ветер, который бушевал на крыше.

Утром она проснулась от яркого света, окрасившего багрянцем ее кровать; а в окнах, запушенных инеем, было так красно, словно весь небосвод горел огнем.

Закутавшись в широкий пеньюар, Жанна подбежала к окну и распахнула его.

Ледяной ветер, свежий и пронзительный, ворвался в комнату, хлестнул ей в лицо колючим холодом, от которого заслезились глаза; а посреди зардевшегося неба солнце, огромное, пылающее, раздутое, как физиономия пьяницы, поднималось из-за деревьев.

Заиндевевшая, ставшая твердой и сухой, земля звенела под ногами работников фермы. За одну ночь все ветви тополей, еще покрытые листьями, оголились, а вдалеке за ландой виднелась широкая зеленоватая полоса океана, вся в белых прожилках.

Платан и липа на глазах теряли свой убор. При каждом порыве ледяного ветра целый вихрь опавших от внезапного заморозка листьев взлетал вместе со шквалом, как стая птиц. Жанна оделась, вышла и, чтобы заняться чем-нибудь, решила навестить фермеров.

Мартены встретили ее с распростертыми объятиями, а хозяйка расцеловала ее в обе щеки; потом ее заставили выпить рюмку наливки, настоянной на вишневых косточках. Она отправилась на вторую ферму. Куяры тоже встретили ее с распростертыми объятиями; хозяйка чмокнула ее в одно и в другое ушко, и тут пришлось отведать черносмородиновой наливки. После этого она вернулась завтракать.

И день прошел, как вчерашний, только он был морозный, а не сырой. И остальные дни недели оказались похожи на первые два; и все недели месяца оказались похожи на первую.

Однако мало-помалу тоска по дальним краям улеглась в ней. Привычка покрывала ее жизнь налетом покорности, подобно тому как некоторые воды отлагают на предметах слой извести. И в душе ее проснулось внимание к ничтожным мелочам повседневного быта, ожил интерес к немудреным будничным занятиям. В ней развивалась своего рода созерцательная меланхолия, неосознанная разочарованность в жизни. Что же было ей нужно? Чего она хотела? Она и сама не знала. У нее не было ни малейшего тяготения к светской суете, ни малейшей жажды удовольствий и даже не было стремления к доступным для нее радостям. Да и к каким, впрочем? Подобно

старым креслам в гостиной, поблекшим от времени, все понемногу бледнело в ее глазах, все стиралось, приобретало тусклый, сумрачный оттенок.

Отношения ее с Жюльеном совершенно изменились. Он стал совсем другим после возвращения из свадебного путешествия, точно актер, который сыграл свою роль и принял обычный вид. Он почти не обращал на нее внимания, почти не разговаривал с ней; любви как не бывало; редкую ночь он проводил в ее спальне.

Он взял на себя управление имуществом и хозяйством, проверял арендные сроки, донимал крестьян, урезывал расходы; сам он приобрел замашки полупомещика, полуфермера и утратил все изящество, весь лоск времен жениховства.

Он отыскал среди своего холостяцкого гардероба потертый охотничий бархатный костюм, весь в пятнах, и носил его не снимая; с небрежностью человека, которому незачем больше нравиться, он перестал бриться, и длинная борода невообразимо уродовала его. Руки он тоже перестал холить, а после каждой еды выпивал четыре-пять рюмок коньяку.

Когда Жанна сделала попытку нежно попенять ему, он так резко оборвал ее: «Оставь меня в покое, слышишь?» — что она уже не решалась давать ему советы.

Неожиданно для себя самой она легко примирилась с этими переменами. Он просто стал для нее чужим человеком, чье сердце и душа непонятны ей. Она часто задумывалась над тем, как могло случиться, что они встретились, влюбились, поженились в порыве увлечения, а потом вдруг оказались совершенно чужды друг другу, как будто никогда и не спали бок о бок.

И почему она почти не страдала от его равнодушия? Значит, так полагается в жизни? Или они ошиблись? Неужели будущее ничего больше не сулит ей?

Быть может, она страдала бы сильней, если бы Жюльен был по-прежнему красивым, холеным, щеголеватым, обольстительным.

Решено было, что после Нового года молодожены останутся одни, а отец и маменька поедут пожить несколько месяцев в своем руанском доме. Новобрачные всю зиму пробудут в Тополях, чтобы окончательно обосноваться, освоиться и привыкнуть к этому уголку, где им предстоит провести всю жизнь. Кстати, Жюльен собирался представить жену соседям, семействам Бризвиль, Кутелье и Фурвиль.

Но молодые еще не могли делать визиты, потому что никак не удавалось добыть живописца, который изменил бы герб на карете.

Дело в том, что барон уступил зятю старый фамильный экипаж, и Жюльен ни за какие блага не соглашался появиться в соседних поместьях, пока герб рода де Ламаров не будет соединен с гербом Ле Пертюи де Во.

Но во всей местности имелся только один мастер по части геральдических украшений — живописец из Больбека, по фамилии Батайль, которого наперебой приглашали во все нормандские замки для изображения на дверцах экипажей драгоценных для хозяев эмблем.

Наконец, в одно декабрьское утро, когда господа кончали завтракать, какой-то человек отворил калитку и направился прямо к дому. За спиной у него виднелся ящик. Это и был Батайль.

Его ввели в столовую и подали завтрак, как барину, потому что его ремесло, постоянное общение со всей местной аристократией, знание геральдики, ее специальной терминологии и всех атрибутов сделали из него нечто вроде живого гербовника, и дворяне пожимали ему руку.

Немедленно были принесены карандаши и бумага, и, пока Батайль завтракал, барон и Жюльен делали наброски своих гербов, разделенных на четыре поля. Баронесса, всполошившись, как всегда, когда затрагивали эту тему, подавала советы; и даже Жанна приняла участие в обсуждении, заинтересовавшись им под влиянием какого-то безотчетного чувства.

Батайль закусывал и в то же время высказывал свое мнение, а иногда брал карандаш, набрасывал эскиз, приводил примеры, описывал помещичьи выезды всей округи и самым присутствием своим, речами, даже голосом сообщал окружающему дух аристократизма.

Это был низенький человечек, седой, коротко остриженный, руки у него были выпачканы красками, и весь он пропах скипидаром. Ходили слухи, что в прошлом за ним числилось грязное дельце об оскорблении нравственности; но единодушное уважение всех титулованных семейств смыло с него это пятно.

Когда он допил кофе, его провели в каретный сарай; с кареты был снят клеенчатый чехол. Осмотрев ее, Батайль с апломбом высказался относительно размеров герба и после нового обмена мнениями приступил к делу.

Несмотря на холод, баронесса велела принести себе кресло, так как желала наблюдать за работой; вскоре она потребовала грелку, потому что у нее закоченели ноги; после этого она

принялась мирно беседовать с живописцем, расспрашивала его о брачных союзах, еще не известных ей, о недавних смертях и рождениях, пополняя этими сведениями родословные, которые хранила в памяти.

Жюльен сидел возле тещи, верхом на стуле. Он курил трубку, сплевывая наземь, прислушивался к разговору и следил за тем, как расписывали красками его дворянство.

Вскоре и дядя Симон, отправлявшийся в огород с лопатой на плече, остановился посмотреть на работу живописца; а так как весть о прибытии Батайля достигла обеих ферм, то не замедлили явиться и обе фермерши. Стоя возле баронессы, они восторгались и твердили:

— Вот ловкач-то, какие штуки разделывает!

Закончены были гербы на обеих дверцах только на другой день к одиннадцати часам. Тотчас же все оказались в сборе; карету выкатили во двор, чтобы лучше было видно.

Работа была безупречна. Батайля хвалили хором, а он взвалил себе на спину ящик и удалился. Барон, его жена, Жанна и Жюльен в один голос решили, что живописец весьма способный малый и при благоприятных обстоятельствах из него, без сомнения, вышел бы настоящий художник.

В целях экономии Жюльен осуществил ряд реформ, а они, в свою очередь, потребовали новых изменений.

Старик кучер был сделан садовником, так как виконт решил править сам, а выездных лошадей продал, чтобы не тратиться на корм.

Но кому-то надо было держать лошадей, когда господа выйдут из экипажа, и потому он произвел в выездные лакеи подпаска Мариуса.

Наконец, чтобы иметь лошадей, он ввел в арендный договор Куяров и Мартенов особую статью, согласно которой оба фермера обязаны были давать по лошади один раз в месяц в указанный им день, за что они освобождались от поставки птицы. И вот однажды Куяры привели большую рыжую клячу, а Мартены — белую лохматую лошаденку, обеих запрягли вместе, и Марпус, утонувший в старой ливрее дяди Симона, подкатил с этим выездом к господскому крыльцу.

Жюльен почистился, приосанился и отчасти вернул себе прежнюю щеголеватость; но все же длинная борода придавала ему вульгарный вид.

Он осмотрел лошадей, карету, мальчишку-лакея и счел их удовлетворительными, так как для него важен был только новый герб.

Баронесса вышла из своей спальни под руку с мужем, с трудом взобралась в экипаж и уселась, опершись на подушки. Появилась и Жанна. Сперва она посмеялась несуразной паре лошадей; по ее словам, белая была внучкой рыжей; но затем она увидела Мариуса, у которого все лицо ушло под шляпу с кокардой и только нос задерживал ее, руки исчезли в недрах рукавов, ноги скрывались в фалдах ливреи, как в юбке, а снизу неожиданно выглядывали огромные башмаки; она увидала, как он закидывает голову, чтобы смотреть, как он поднимает ноги, чтобы ступать, словно идет вброд через речку, как он тычется вслепую, исполняя приказания, весь утонув, потерявшись в складках обширных одежд,— увидев все это, она залилась неудержимым, нескончаемым смехом.

Барон обернулся, оглядел растерянного мальчугана, сам расхохотался вслед за Жанной и стал звать жену, с трудом выговаривая слова:

— По...ос...мо...три на Ма-ма-ма-риуса: вот потеха! Господи, вот потеха-то!

Тут и баронесса выглянула в окно и, увидев Мариуса, так затряслась от хохота, что вся карета запрыгала, словно на ухабах. Но Жюльен спросил, побледнев:

— Да чего вы так смеетесь? Вы, кажется, сошли с ума!

Жанна изнемогала, задыхалась, не могла совладать с собой и, наконец, опустилась на ступени подъезда; барон — вслед за нею, а доносившиеся из кареты судорожное сопенье и непрерывное кудахтанье доказывали, что баронесса совсем захлебывается от смеха. Вдруг затрепыхалась и ливрея Мариуса. Он, по-видимому, сообразил, в чем тут дело, и тоже захохотал во всю мочь под прикрытием своего цилиндра.

Тут рассвирепевший Жюльен бросился на него и влепил ему такую пощечину, что гигантская шляпа свалилась с головы мальчика и отлетела на лужайку; после этого он повернулся к тестю и прохрипел, зайкаясь от ярости:

— Казалось бы, вам-то уж смеяться нечего. Ведь докатились мы до этого, потому что вы растратили свое состояние и промотали свое добро. Кто виноват, что вы разорены?

Все веселье замерло и прекратилось в один миг. Никто не проронил ни слова. Жанна была близка к слезам, она бесшумно примостилась возле матери. Барон молча, растерянно сел напротив обеих женщин, а Жюльен расположился на козлах, после того как втащил туда всхлипывающего мальчугана, у которого вспухла щека.

Путь был печален и казался долгим. В карете молчали. Все

трое были подавлены и смущены и не хотели признаться друг другу в том, что тревожило их сердца. Они чувствовали, что не могли бы говорить о постороннем, настолько они были поглощены одной мучительной мыслью, и потому предпочитали уныло молчать, лишь бы не касаться этой тягостной темы.

Лошади неровной рысцой везли карету, минуя дворы ферм. Иногда она вспугивала черных кур, которые удирали во всю прыть и ныряли под изгородь, иногда за нею с яростным лаем гналась овчарка, а потом поворачивала домой, но все еще оглядывалась, ощетинившись, и лаяла вслед экипажу.

Иногда навстречу попадался длинноногий парень в измазанных грязью деревянных башмаках. Он лениво шагал, засунув руки в карманы синей блузы, раздутой на спине ветром, сторонился, чтобы пропустить карету, и неуклюже стягивал картуз, обнажая голову с плоскими косицами слипшихся волос.

А в промежутках между фермами снова тянулась равнина с другими фермами, разбросанными вдали.

Наконец экипаж въехал в широкую еловую аллею, идущую от самой дороги. На глубоких, наполненных грязью рытвинах карета накренялась, и маменька вскрикивала. В конце аллеи виднелись белые запертые ворота; Мариус побежал отворять их, и, обогнув по закругленной дороге огромную лужайку, карета подъехала к большому, высокому и хмурому зданию с закрытыми ставнями.

Неожиданно распахнулась средняя дверь, и старый, немощный слуга в полосатой, красной с черным, фуфайке, наполовину закрытой широким фартуком, мелкими шажками, бочком спустился с крыльца. Он спросил фамилию гостей, провел их в большую залу и с трудом поднял всегда спущенные жалюзи.

Мебель была в чехлах, часы и канделябры обернуты белой кисеей, а затхлый, застоявшийся, холодный и сырой воздух, казалось, пропитывал грустью легкие, сердце и все поры.

Гости уселись и стали ждать. Шаги в коридоре, над головой, свидетельствовали о непривычной суете. Застигнутые врасплох хозяева спешно одевались. Ждать пришлось долго. Несколько раз слышался колокольчик. Кто-то шнырял по лестнице вверх и вниз.

Баронесса продрогла от пронизывающего холода и все время чихала. Жюльен шагал взад и вперед. Жанна уныло сидела возле матери. А барон стоял, потупив голову и прислонясь к каминной доске.

Наконец одна из высоких дверей распахнулась, и показались виконт и виконтесса де Бризвиль. Оба они были низень-

кие, сухонькие, вертлявые, неопределенного возраста, церемонные и неловкие. Жена, в шелковом с разводами платье и маленьком старушечьем чепчике с бантами, говорила быстро, визгливым голосом.

Муж, затянутый в парадный сюртук, отвешивал поклоны, сгибая колени. И нос его, и глаза, и выступающие зубы, и словно навощенные волосы, и праздничный наряд — все блестело, как блестят предметы, которые очень берегут.

После первых приветствий и добрососедских любезностей никто не знал, что сказать дальше. Тогда еще раз без всякой надобности обе стороны выразили удовольствие и надежду на продолжение столь приятного знакомства. Истая находка такие встречи, когда круглый год живешь в деревне.

А от ледяного воздуха в этой зале стыли кости, хрипли голоса. Теперь баронесса и чихала и кашляла. Барон поспешил подать сигнал к отъезду. Бризвили запротестовали: «Что вы? Так скоро? Посидите еще». Но Жанна уже встала, хотя Жюльен, находивший визит слишком коротким, делал ей знаки.

Хозяева хотели позвонить слуге и приказать, чтобы подали карету, но звонок не действовал. Хозяин побежал сам и вернулся с сообщением, что лошадей поставили на конюшню.

Пришлось ждать. Каждый придумывал, что бы еще сказать. Поговорили о дождливой погоде. Жанна, невольно содрогаясь от тоски, спросила, что же делают хозяева целый год вдвоем, одни. Но Бризвилей удивил такой вопрос; они были постоянно заняты, вели обширную переписку со своей знатной родней, рассеянной по всей Франции, проводили дни в самых мелочных занятиях, держались друг с другом церемонно, как с чужими, и торжественно беседовали о ничтожнейших делах.

И под высоким почерневшим потолком большой, нежилой, закутанной в чехлы залы оба, муж и жена, такие щупленькие, чистенькие, учтивые, казались Жанне мумиями аристократизма.

Наконец карета, влекомая двумя непарными одрами, проехала под окнами. Но теперь исчез Мариус. Считая себя свободным до вечера, он, вероятно, пошел прогуляться по окрестностям.

Разъяренный Жюльен попросил, чтобы мальчика отправили пешком, и после многократных взаимных приветствий гости поехали домой в Тополя.

Едва очутившись в карете, Жанна и отец, несмотря на гнетущее воспоминание о грубости Жюльена, снова начали смеяться и передразнивать манеры и выражения Бризвилей. Ба-

рон подражал мужу, Жанна изображала жену, но баронесса, задетая в своих дворянских традициях, заметила:

— Вы напрасно смеетесь над ними, это весьма почтенные люди, и, кроме того, Бризвиль одна из самых родовитых фамилий.

Оба умолкли, чтобы не раздражать маменьку, но время от времени не могли удержаться, переглядывались и принимались за прежнее. Барон церемонно кланялся и изрекал важным тоном:

— В вашем поместье Тополя, должно быть, весьма холодно, сударыня, при постоянном ветре с моря?

Жанна напускала на себя чопорный вид и отвечала, жеманясь и вертя головой, как утка в воде:

— Что вы, сударь, у меня очень много дела круглый год. Затем у нас столько родни и такая обширная переписка с ней. А господин де Бризвиль все возлагает на меня. Сам он занимается научными изысканиями с аббатом Пеллем. Они совместно пишут историю церкви в Нормандии.

Баронесса улыбалась благодушно и досадливо, повторяя при этом:

— Нехорошо насмехаться над людьми нашего круга.

Но вдруг карета остановилась. Жюльен кричал и звал кого-то, обернувшись назад. Жанна и барон высунулись в окошко и увидели странное существо, которое как будто катилось по направлению к ним. Это Марпус со всех ног догонял карету, путаясь в развевающихся фалдах ливреи, ничего не видя под цилиндром, который все время съезжал ему на глаза, размахивая руками, как крыльями мельницы, без оглядки шлепая по всем лужам и спотыкаясь обо все камни, какие только попадались на дороге, подскакивая, подпрыгивая, по уши в грязи.

Не успел он добежать, как Жюльен нагнулся, ухватил его за ворот, притянул к себе и, бросив вожжи, принялся колотить кулаками по шляпе, как по барабану, и нахлобучил ее до самых плеч мальчика. Мальчуган ревел под шляпой, пытался вырваться, спрыгнуть с козел, но хозяин держал его одной рукой, а другой продолжал бить.

Жанна в ужасе вскрикнула:

— Папа!.. Папа!

Баронесса, вне себя от возмущения, сжала руку мужа:

— Остановите, остановите же его, Жак!

Барон стремительно опустил переднее стекло, схватил зятя за рукав и крикнул ему прерывающимся от гнева голосом:

— Перестанете вы бить ребенка?

Жюльен в изумлении обернулся.

— Да разве вы не видели, во что он превратил ливрею?

Но барон просунул голову между ними обоими и произнес:

— Велика важность! Нельзя быть таким зверем.

Жюльен вспылил:

— Пожалуйста, оставьте меня в покое, это вас не касается.

И он опять занес руку, но тесть поймал ее на лету и опустил с такой силой, что она стукнулась о козлы, при этом он закричал так гневно: «Если вы не перестанете, я выйду и усмирю вас!» — что виконт сразу притих, не ответил ни слова, пожал плечами и хлестнул лошадей, которые тронули крупной рысью.

Обе женщины сидели не шевелясь, мертвенно-бледные, и только явственно слышались тяжелые удары сердца баронессы.

За обедом Жюльен держал себя как ни в чем не бывало, даже любезнее обычного. Жанна, отец, мадам Аделаида в своем несокрушимом доброжелательстве не помнили зла и теперь радовались его приветливости, охотно поддавались веселью с тем отрадным чувством, какое испытывают выздоравливающие, а когда Жанна снова заговорила о Бризвилях, ее муж подхватил шутку, но тут же торопливо добавил:

— А все-таки они настоящие аристократы.

Больше визитов не делали, всем было страшно затронуть проблему Мариуса. Решено было только разослать соседям карточки на Новый год, а для посещений дождаться первых теплых дней весны.

Наступило рождество. В Тополях к обеду были приглашены кюре и мэр с женой. Их позвали также на Новый год. Это были единственные развлечения в однообразной веренице дней.

Отец и маменька должны были уехать девятого января. Жанна просила их побыть еще, но Жюльен не поддержал ее, и барон, видя все возрастающую холодность зятя, выписал из Руана почтовую карету.

Накануне отъезда, когда все уже было уложено, а погода стояла ясная и морозная, Жанна с отцом решили прогуляться в Ипор, где они не были ни разу после ее возвращения с Корсики.

Они пересекли лес, по которому она в день свадьбы бродила рука об руку с тем, чьей спутницей стала навсегда, лес, где она изведала первую ласку, ощутила первый трепет, предвестие той чувственной любви, которую ей суждено было познать лишь в дикой долине Ота, возле ручья, когда они утоляли жажду и вместе с водой пили поцелуи.

Не стало больше ни листвы, ни буйных трав — ничего, кроме шороха сучьев да того сухого шелеста, какой слышится зимой в оголенных рощах.

Они вошли в деревню. Пустынные, безмолвные улицы все так же были пропитаны запахом моря, водорослей и рыбы. По-прежнему сушились развешенные у дверей или разложенные на гальке большие бурые сети. Холодное, серое море с неизменной бурливой пеной начало отступать, обнажая зеленоватые уступы у подножия скалистого кряжа близ Фекана, а лежащие на боку вдоль всего берега большие лодки напоминали огромных дохлых рыб. Смеркалось, и рыбаки в шерстяных шарфах вокруг шеи, в высоких сапогах сходились кучками к берегу, в одной руке держа флягу с водкой, в другой — корабельный фонарь. Долго топтались они вокруг поваленных на бок баркасов: с нормандской медлительностью укладывали в судно сети, снасти, караваи хлеба, горшок с маслом, стакан и бутылку со спиртным. После этого они толкали в море поднятый баркас, и он с грохотом катился по гальке, прорезал пену, взлетал на волну, покачивался несколько мгновений, расправляя свои темные крылья, и скрывался во мгле вместе с огоньком на верхушке мачты.

А рослые матросские жены, тяжелый костяк которых выступал под реденькой тканью одежды, дожидались отплытия последнего рыбака и лишь тогда возвращались в спящую деревню, тревожа своими крикливыми голосами глубокий сон темных улиц.

Барон и Жанна стояли не шевелясь и следили, как исчезают во мраке эти люди, которые каждую ночь уходили в море, навстречу смерти, чтобы не умереть с голоду, и все же были бедны настолько, что никогда не ели мяса.

Барон, потрясенный зрелищем океана, прошептал:

— Как это страшно — и как прекрасно! Как величаво это море, где реет сумрак и стольким жизням грозит гибель! Не правда ли, Жаннета?

— Средиземное море гораздо лучше,— ответила она с холодной улыбкой.

Но отец возмутился:

— Средиземное море! Елей, сироп, подсиненная водица в лохани. Да ты посмотри на это — какое оно страшное, какие на нем пенистые волны! И подумай о тех, кто вышел в это море и уж совсем скрылся из виду.

Жанна со вздохом согласилась: «Да, пожалуй». Но слетевшие у нее с языка слова: «Средиземное море» — кольнули ее в

сердце, возвратили мысли к тем далеким краям, где были погребены ее мечты.

Вместо того чтобы вернуться лесом, отец и дочь вышли на дорогу и не спеша взобрались по крутому берегу. Они почти не говорили, угнетенные близкой разлукой.

Временами, когда они проходили мимо какой-нибудь фермы, им в лицо ударял то аромат размятых яблок, благовонное свежего сидра, которым в эту пору напитан воздух всей Нормандии, то густой запах хлева, тот славный, теплый дух, которым тянет от коровьего навоза.

Освещенное окошко в глубине двора указывало на жилье.

И Жанне казалось, что душа ее выходит за свои пределы, охватывает и постигает незримое, а при виде огоньков, разбросанных среди полей, она вдруг особенно остро ощутила одиночество всех живых созданий, которых все разъединяет, все разлучает, все отрывает от того, что было бы им дорого.

И тоном покорности она произнесла:

— Невеселая штука — жизнь.

Барон вздохнул:

— Что поделаешь, дочурка, мы над ней не властны.

На следующий день отец с маменькой уехали, а Жанна и Жюльен остались одни.

VII

В обиход молодых супругов сразу же вошли карты. Каждый день после завтрака Жюльен, покуривая трубку и выпивая не спеша рюмок шесть или восемь коньяку, играл с женою несколько партий в безик. После этого она поднималась к себе в спальню, садилась у окна и под стук дождя, барабанившего в стекла, под вой ветра, сотрясавшего их, упорно вышивала волан к нижней юбке. Порою, утомившись, она поднимала взгляд и смотрела вдаль на темное море с барашками пены. Потом, после минутного беспредметного созерцания, снова бралась за рукоделье.

Впрочем, больше ей и нечего было делать, так как Жюльен, чтобы полностью удовлетворить свое властолюбие и свои наклонности скопидома, сам управлял всем хозяйством. Он обнаруживал жесточайшую скаредность, никогда не давал чаевых, до крайности урезал расходы по столу. С самого своего приезда в Тополя Жанна заказывала себе к утру у булочника нормандский хлебец,— Жюльен упразднил и этот расход и ограничил ее гренками.

Она ничего не говорила во избежание объяснений, споров и ссор, но, как от булавочного укола, страдала от каждого нового проявления мужниной скупости. Ей, воспитанной в семье, где деньги ни во что не ставились, это казалось недостойным, отвратительным. Сколько раз слышала она от маменьки: «Да деньги для того и существуют, чтобы их тратить». А теперь Жюльен твердил ей: «Неужто ты никогда не отучишься сорить деньгами?» И всякий раз, как ему удавалось выгадать несколько грошей на жалованье или на счете, он заявлял с улыбкой, пряча деньги в карман: «По капельке — море, по зернышку — ворох!»

Но бывали дни, когда Жанна снова принималась мечтать. Работа откладывалась, руки ее опускались, взор заволакивался, и она вновь, как в девические годы, сочиняла увлекательный роман, мысленно переживала чудесные приключения. И вдруг голос Жюльена, отдававшего приказания дяде Симону, выводил ее из мечтательной дремы; она бралась снова за свое кропотливое рукоделье, говоря себе: «С этим покончено!» И на пальцы, вкалывающие иглу, падала слеза.

Розали, прежде такая веселая, такая певунья, переменилась тоже. Округлые щеки ее утратили румяный глянец, ввалились и временами бывали землистого цвета.

Жанна часто спрашивала ее:

— Уж не больна ли ты, голубушка?

И горничная неизменно отвечала:

— Нет, сударыня.

При этом она слегка краснела и спешила ускользнуть.

Она уже не бегала, как прежде, а с трудом волочила ноги и даже перестала наряжаться, ничего не покупала у разносчиков, которые тщетно прельщали ее атласными лентами, корсетами и разной парфюмерией.

В большом доме ощущалась гулкая пустота, он стоял мрачный, весь в длинных грязных подтеках от дождей.

К концу января начался снегопад. Издалека было видно, как с севера над хмурым морем проплывали тяжелые тучи, и вдруг посыпались белые хлопья. В одну ночь занесло всю равнину, и наутро деревья стояли, окутанные ледяным кружевом.

Жюльен, обутый в высокие сапоги, неряшливо одетый, проводил все время в конце рощи, во рву, выходящем на лайду, и подстерегал перелетных птиц; время от времени выстрел прерывал застывшую тишину полей, и стаи вспугнутых черных ворон, кружа, взлетали с высоких деревьев.

Жанна, изнывая от скуки, спускалась иногда на крыльцо. Шум жизни доносился до нее откуда-то издалека, отдаваясь эхом в сонном безмолвии мертвенной и мрачной ледяной пелены.

Немного погодя она слышала уже один лишь гул далеких волн да неясный непрерывный шорох не переставшей падать ледяной пыли.

И снежный покров все рос и рос, все падали и падали густые и легкие хлопья.

В одно такое серенькое утро Жанна сидела, не двигаясь, в своей спальне у камина и грела ноги, а Розали, менявшаяся с каждым днем, медленно убирала постель. Внезапно Жанна услышала за своей спиной болезненный вздох. Не оборачиваясь, она спросила:

— Что с тобой?

— Ничего, сударыня,— как обычно, ответила горничная. Но голос у нее был надорванный, еле слышный.

Жанна стала уже думать о другом, как вдруг заметила, что девушки совсем не слышно. Она позвала:

— Розали!

Никто не шевельнулся. Решив, что Розали незаметно вышла из комнаты, Жанна крикнула громче:

— Розали!

И уже протянула руку к звонку, как вдруг услышала тяжкий стон совсем возле себя и вскочила в испуге.

Служанка, бледная как мертвец, с блуждающим взглядом, сидела на полу, вытянув ноги и опершись на спинку кровати.

Жанна бросилась к ней:

— Что с тобой, что с тобой?

Та не ответила ни слова, не сделала ни малейшего движения; безумными глазами смотрела она на свою хозяйку и тяжело дышала, как от жестокой боли. Потом вдруг напряглась всем телом и повалилась навзничь, стискивая зубы, чтобы подавить вопль страдания.

И тут у нее под платьем, облепившим раздвинутые ноги, что-то зашевелилось. Сейчас же оттуда послышался странный шум, какое-то бульканье, как бывает, когда кто-нибудь захлебывается и задыхается; вслед за тем раздалось протяжное мяуканье, тоненький, но уже страдальческий плач, первая жалоба ребенка, входящего в жизнь.

Жанна сразу все поняла и в полном смятении бросилась на лестницу, крича:

— Жюльен, Жюльен!

— Что тебе? — спросил он снизу.

— Там... там... Розали...— еле выговорила она.

Жюльен мигом взбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, ворвался в спальню, резким движением поднял юбку девушки и обнаружил омерзительный комок мяса; сморщенный, скулящий и весь липкий, он корчился и копошился между обнаженных ног матери.

Жюльен выпрямился со злым видом и вытолкнул растерянную жену за дверь:

— Это тебя не касается. Ступай и пришли мне Людивину и дядю Симона.

Дрожа всем телом, Жанна спустилась на кухню, потом, не смея вернуться, вошла в гостиную, где не топили с отъезда родителей, и стала с трепетом ждать вестей.

Вскоре она увидела, как из дому выбежал слуга. Спустя пять минут он возвратился с вдовой Дантю, местной повитухой.

Сейчас же на лестнице послышались шаги и суета, как будто несли раненого; и Жюльен пришел сказать Жанне, что она может вернуться к себе.

Она снова села у камина, дрожа так, словно оказалась свидетельницей катастрофы.

— Ну, как Розали? — спросила она.

Жюльен озабоченно и беспокойно шагал по комнате: казалось, его душит злоба, он чем-то сильно раздражен. Сперва он не ответил, но немного погодя остановился перед женой:

— Как ты предполагаешь поступить с этой девкой?

Она с недоумением посмотрела на мужа.

— Как это? Что ты хочешь сказать? Я не понимаю.

Он сразу вспыхнул и заорал:

— Да не можем же мы держать в доме ублюдка.

Это озадачило Жанну, но после долгого раздумья она предложила:

— А как ты думаешь, мой друг, нельзя ли отдать его на воспитание?

Он не дал ей договорить.

— А платить кто будет? Ты, что ли?

Она снова стала искать выхода, наконец сказала:

— Отец должен позаботиться о ребенке. А если он женится на Розали, все будет улажено.

Жюльен совсем вышел из себя и яростно рявкнул:

— Отец!.. Отец! А ты знаешь его... отца-то? Не знаешь? Ну, так как же?

Жанна возразила возбужденно:

— Но не бросит же он девушку в таком положении. Тогда, значит, он подлец! Мы узнаем его имя, пойдем к нему и потребуем объяснений.

Жюльен успокоился и снова зашагал по комнате.

— Дорогая моя, она не хочет назвать его имя. Неужели мне она не говорит, а тебе скажет?.. Ну, а если он не пожелает жениться? Мы не можем держать под своей крышей девушку-мать с ее отродьем. Понимаешь ты это?

Жанна упрямо твердила:

— Значит, он негодяй! Но мы его отыщем, и он будет иметь дело с нами.

Жюльен густо покраснел и снова повысил голос:

— Хорошо... А пока что?

Она не знала, что решить, и спросила его:

— Ну, а ты что предлагаешь?

Он с готовностью высказал свое мнение:

— Я бы поступил просто. Дал бы ей немного денег и отправил ко всем чертям вместе с ее младенцем.

Но молодая женщина возмутилась и запротестовала:

— Никогда. Эта девушка — моя молочная сестра. Мы вместе выросли. Она согрешила, очень жаль, но ничего не поделаешь. Я ее за это не вышвырну на улицу, и, если иначе нельзя, я буду воспитывать ее ребенка.

Тут Жюльен совсем разъярился:

— Хорошую же мы себе создадим репутацию! Это при нашем имени и связях! Все будут говорить, что мы поощряем порок и держим у себя потаскушек. Порядочные люди не переступят нашего порога. Что тебе в голову приходит? Ты не в своем уме!

Она продолжала невозмутимо:

— Я не позволю выгнать Розали. Если ты не желаешь ее держать, моя мать возьмет ее к себе. В конце концов мы допытаемся, кто отец ребенка.

Взбешенный Жюльен вышел из комнаты, хлопнув дверью, и крикнул:

— Какие дурацкие фантазии бывают у женщин!

Под вечер Жанна пошла к родильнице. Предоставленная попечению вдовы Дантю, она лежала в постели неподвижно, с широко открытыми глазами, а сиделка укачивала на руках новорожденного.

Едва Розали увидела свою барыню, она заплакала и спрятала голову под одеяло, вся сотрясаясь от отчаянных рыданий.

Жанна хотела ее поцеловать, но она противилась, закрывала лицо.

Тут вмешалась сиделка, силой отвела от ее лица одеяло, и она покорилась, продолжая плакать, но уже тихонько.

Скудный огонь горел в камине, в каморке было холодно; ребенок плакал. Жанна не осмелилась заговорить о нем, чтобы не вызвать новых слез. Она только держала руку горничной и машинально повторяла:

— Все обойдется, все обойдется.

Бедная девушка украдкой поглядывала на сиделку и вздрагивала от писка малыша; последние отголоски душившего ее горя вырывались порой судорожным всхлипыванием, а сдерживаемые слезы, как вода, клокотали у нее в горле.

Жанна поцеловала ее еще раз и чуть слышно прошептала ей на ухо:

— Не беспокойся, голубушка, мы о нем позаботимся.

Тут начался новый приступ плача, и Жанна поспешила уйти.

Каждый день она приходила снова, и каждый день при виде ее Розали разражалась слезами.

Ребенка отдали на воспитание по соседству.

Жюльен между тем еле говорил с женой, словно затаил против нее лютую злобу, после того как она отказалась уволить горничную. Однажды он вернулся к этому вопросу, но Жанна вынула из кармана письмо, в котором баронесса просила, чтобы девушку немедленно прислали к ней, если ее не будут держать в Тополях. Жюльен в ярости заорал:

— Мать у тебя такая же сумасшедшая, как и ты!

Но больше не настаивал. Через две недели родильница могла уже встать и вернуться к своим обязанностям.

Как-то утром Жанна усадила ее, взяла за руки и сказала, испытующе глядя на нее:

— Ну, голубушка, расскажи мне все.

Розали задрожала всем телом и пролепетала:

— Что, сударыня?

— От кого у тебя ребенок?

Тут горничная снова отчаянно зарыдала и в полном смятении старалась высвободить руки, чтобы закрыть ими лицо.

Но Жанна целовала и утешала ее, как она ни противилась.

— Ну, случилось несчастье. Что поделаешь, голубушка. Ты не устояла; не ты первая. Если отец ребенка женится на тебе, никто слова не скажет, и мы возьмем его в услужение вместе с тобой.

Розали стонала, как под пыткой, и время от времени силилась вырваться и убежать.

Жанна продолжала:

— Я понимаю, что тебе стыдно, но ведь ты видишь, я не сержусь и говорю с тобой ласково. А имя этого человека я спрашиваю для твоего же блага. Раз ты так убиваешься, значит, он бросил тебя, а я не хочу допустить это. Ты понимаешь, Жюльен пойдет к нему, и мы заставим его жениться. А если вы будете оба жить у нас, мы уж не позволим ему обижать тебя.

Тут Розали рванулась так резко, что выдернула свои руки из рук барыни, и, как безумная, бросилась прочь.

За обедом Жанна сказала Жюльену:

— Я уговаривала Розали сказать мне имя ее соблазнителя. У меня ничего не вышло. Попытайся теперь ты, ведь должны же мы заставить этого негодяя жениться на ней.

Жюльен сразу же вспылил:

— Ну, знаешь ли, мне уже надоела эта история. Ты решила оставить у себя эту девку — дело твое, но меня, пожалуйста, не трогай.

После родов Розали он стал как-то особенно раздражителен. Он взял себе за правило кричать, разговаривая с женой, как будто всегда был сердит на нее. Она же, наоборот, старалась избегать всяких стычек, говорила тихо, мягким, примирительным тоном и нередко плакала по ночам у себя в постели.

Несмотря на постоянное раздражение, ее муж вернулся снова к любовным привычкам, оставленным после приезда в Тополя, и редко пропускал три ночи подряд, чтобы не переступить порога супружеской спальни.

Розали скоро поправилась совсем и стала меньше грустить, хотя все время казалась испуганной, словно дрожала перед какой-то неведомой опасностью.

Жанна еще два раза пыталась выспросить ее, и оба раза она убегала.

Жюльен неожиданно стал приветливее; и молодая женщина, цепляясь за какие-то смутные надежды, повеселела, хотя и чувствовала иногда непривычное недомогание, о котором не говорила ни слова. Оттепели все не было, и целых пять недель небо, светлое днем, как голубой хрусталь, а ночью, точно инеем, запорошенное звездами по всему своему суровому ледяному простору, расстилалось над гладкой, застывшей, сверкающей пеленой снегов.

Фермы, отгороженные от мира прямоугольниками дворов и завесами высоких деревьев, опушенных снегом, как будто

уснули в своей белой одежде. Ни люди, ни животные не выглядывали наружу; только трубы домишек обнаруживали скрытую в них жизнь тоненькими столбиками дыма, поднимавшегося прямо вверх в морозном воздухе.

Равнина, кустарники и деревья вдоль изгородей — все, казалось, умерло, все было убито холодом. Время от времени слышно было, как трещали вязы, словно их деревянные кости ломались под корой; большая ветка отрывалась порою и падала, потому что лютый мороз леденил соки и рвал волокна дерева.

Жанна не могла дождаться, чтобы снова повеяло теплом, так как приписывала холодной погоде все неопределенные недомогания, мучившие ее.

Иногда она не могла ничего есть, всякая пища была ей противна; иногда у нее начинало бешено стучать сердце; иногда самые легкие кушанья вызывали у нее несварение желудка, а напряженно натянутые нервы держали ее в постоянном нестерпимом возбуждении.

Однажды вечером термометр опустился еще ниже; Жюльен встал из-за стола, поеживаясь (в столовой никогда не топили как следует, потому что он экономил на дровах), и, потирая руки, шепнул:

— Хорошо будет спать вдвоем нынче ночью, правда, кошечка?

Он смеялся своим прежним благодушным смехом, и Жанна бросилась ему на шею; но в этот вечер ей было до того не по себе, так все у нее болело, нервы были так необычайно взвинчены, что она тихонько попросила, целуя мужа в губы, оставить ее спать одну. В нескольких словах она рассказала ему о своем недомогании.

— Прошу тебя, дорогой мой, мне, право же, очень нездоровится. Завтра, наверно, будет лучше.

Он не настаивал.

— Как хочешь, дорогая. Если ты больна, надо лечиться.

И разговор перешел на другие темы.

Она легла рано. Жюльен, против обыкновения, велел затопить камин в своей комнате. Когда ему доложили, что «горит хорошо», он поцеловал жену в лоб и ушел.

Холод, казалось, пронизывал насквозь весь дом; промерзшие стены трещали, как будто пожимались от озноба, и Жанна вся дрожала в постели.

Два раза она вставала, подбрасывала в огонь поленья и доставала платья, юбки, старую одежду, чтобы навалить все это на себя. Но согреться она не могла; ноги ее коченели, а от икр

и до самых бедер их стягивали судороги, от которых она ворочалась с боку на бок и металась в сильнейшем возбуждении.

В конце концов у нее стали стучать зубы; руки дрожали; грудь стеснило; сердце билось медленными глухими ударами и минутами совсем замирало; она задыхалась, ей недоставало воздуха.

Безумный страх овладел ее душой, а нестерпимый холод прохватывал до мозга костей. Ничего подобного она еще не испытывала, ей казалось, что жизнь покидает ее, что она сейчас испустит дух.

Она подумала: «Я умру... Я умираю...»

В ужасе она вскочила с постели, позвонила Розали, подождала, позвонила еще, подождала снова, дрожа и коченея.

Горничная не являлась. Должно быть, она спала тем первым крепким сном, который ничем не перебьешь, и Жанна, не помня себя, бросилась босиком по лестнице.

Она поднялась неслышно, ощупью отыскала дверь, отворила ее, позвала: «Розали!» — пошла вперед, наткнулась на кровать, пошарила по ней руками и убедилась, что она пуста. Пуста и холодна, как будто никто и не ложился в нее.

С удивлением она подумала: «Что это? Опять гуляет где-то! Даже по такой погоде».

Но в эту минуту сердце у нее вдруг бурно заколотилось, дыхание перехватило, и она, собрав последние силы, бросилась обратно, будить Жюльена.

Она вбежала к нему стремительно, движимая уверенностью, что она сейчас умрет, и потребностью взглянуть на него прежде, чем потеряет сознание.

При свете тлеющих углей она увидела на подушке рядом с головой мужа голову Розали.

От ее крика оба вскочили. Мгновение она стояла неподвижно, ошеломленная таким открытием. Потом кинулась к себе в комнату, но испуганный голос Жюльена позвал ее: «Жанна!» — и ей стало безумно страшно увидеть его, услышать его голос, выслушивать лживые объяснения, встретиться с ним взглядом. Она снова метнулась на лестницу и бросилась вниз.

Она бежала теперь в темноте, рискуя скатиться по каменным ступенькам и разбиться насмерть. Ее гнало безудержное желание спрятаться, ничего больше не знать, никого больше не видеть.

Очутившись внизу, она опустилась на ступеньку, босая, в одной рубашке, и сидела там как потерянная.

Жюльен вскочил с постели и торопливо одевался. Она слышала его движения, шаги. Она поднялась, чтобы убежать от него. Вот он тоже спускается по лестнице и кричит: «Жанна, послушай же!»

Нет, она не хотела слушать его, не хотела, чтоб он хоть пальцем коснулся ее; и она ринулась в столовую, как будто спасаясь от убийцы. Она искала выхода, убежища, темного угла, возможности укрыться от него. Она забилась под стол. Но он уже появился на пороге со свечой в руке, продолжая кричать: «Жанна!» — и она снова, как заяц, пустилась наутек, шмыгнула в кухню, два раза обежала ее, точно животное, которое травят; а когда он и тут нагнал ее, она внезапно распахнула наружную дверь и бросилась в сад.

Ее голые ноги временами по колени погружались в снег, и это леденящее прикосновение придавало ей силы отчаяния. Она не испытывала холода, хотя и была в одной рубашке; она вообще уже ничего не ощущала, настолько боль души притупила чувствительность тела, и она бежала, вся белая, как покрытая снегом земля.

Она пробежала большую аллею, пересекла рощу, перепрыгнула ров и устремилась прямо по ланде.

Луны не было, звезды искрились огненными зернами на черни неба, но равнина стояла светлая в своей тусклой белизне, в мертвенном оцепенении, в беспредельном безмолвии.

Жанна шла быстро, не переводя дыхания, не сознавая ничего, не задумываясь ни над чем. И вдруг она очутилась на краю обрыва. Она разом инстинктивно остановилась и села в снег, опустошенная, без мысли, без воли.

Из темной ямы перед ней, с невидимого и немого моря тянуло солоноватым запахом водорослей в час отлива.

Долго сидела она так, в бесчувствии духовном и телесном, но вдруг начала отчаянно дрожать, как парус под ветром. Ноги, руки, пальцы неудержимо трепетали, сотрясались частой дрожью, и сознание в один миг вернулось к ней, ясное, беспощадное.

И видения прошлого замелькали перед ее глазами: прогулка с ним в баркасе дяди Ластика, их разговор, зарождение любви, крестины лодки; потом она заглянула еще дальше назад — вплоть до ночи своего приезда в Тополя, ночи, проведенной в мечтах. А теперь, боже ты мой, теперь! Жизнь ее разбита, счастье кончено, надежд больше нет, и ей представилось страшное будущее, полное мучений, измен и горя. Лучше умереть и сразу покончить со всем.

Издалека донесся голос:

— Сюда, сюда, вот ее следы; скорее сюда!

Это Жюльен разыскивал ее.

О нет, она не хочет его видеть. В пропасти, прямо под нею, она улавливала теперь слабый шорох, еле слышный плеск моря о скалы.

Она вскочила и вся вытянулась для прыжка. Отчаявшись в жизни и прощаясь с ней, она простонала последнее слово умирающих, последнее слово юношей-солдат, смертельно раненных в бою: «Мама!»

И сразу мысль о маменьке мелькнула у нее; она представила себе материнские рыдания; представила себе отца на коленях перед ее изуродованным трупом и в одно мгновение пережила всю боль их отчаяния.

Тогда она бессильно повалилась на снег и уже не пыталась бежать, когда Жюльен и дядя Симон в сопровождении Мариуса с фонарем схватили ее за руки и оттащили назад, потому что она была у самого края обрыва.

Они делали с ней все, что хотели, она не могла даже пошевельнуться. Она чувствовала, как ее несли, как уложили в постель, а потом растирали горячими полотенцами; дальше память оставила ее, сознание исчезло.

Потом ее стал мучить кошмар; но был ли это кошмар? Она лежит у себя в спальне. На дворе день, но она не может встать. Почему? Она сама не знает. Тут ей слышится шорох на полу, кто-то шуршит и скребется, и вдруг мышка, серенькая мышка пробегает по ее одеялу. Вслед за первой вторая, потом третья влезает ей на грудь, часто и быстро перебирая лапками. Жанне не было страшно, ей только хотелось поймать зверька, она вытянула руку, но не могла схватить его.

А тут другие мыши, десятками, сотнями, тысячами полезли со всех сторон, карабкались по колонкам кровати, бегали по обоям, покрыли всю постель. Наконец они заползли под одеяло; Жанна чувствовала, как они скользили по ее коже, щекотали ей ноги, бегали вверх и вниз по всему телу. Она видела, как они пробирались по кровати от ног к ней на грудь; она отбивалась, стараясь схватить их, но ловила только воздух.

Она раздражалась, хотела бежать, кричала, но ей казалось, что ее не пускают, что ее держат и не дают ей пошевелиться чьи-то сильные руки; чьи это были руки — она не видела.

Она не имела представления о времени. Должно быть, это длилось долго, очень долго.

Потом настало пробуждение, томное, немощное и все же блаженное. Она была очень, очень слаба. Она открыла глаза и не удивилась, увидев у себя в комнате маменьку и рядом с ней какого-то незнакомого толстяка. Сколько было ей лет? Она не знала и этого, считала себя совсем маленькой и не помнила ничего, решительно ничего.

Толстяк сказал:

— Смотрите, сознание возвращается.

И маменька заплакала.

А толстяк сказал еще:

— Ну, что вы, успокойтесь, баронесса, теперь я могу поручиться за исход. Только не заговаривайте с ней ни о чем; слышите, ни о чем. Пусть она поспит.

И Жанне казалось, что она еще долго-долго пробыла в забытьи, впадая в глубокий сон всякий раз, как старалась собраться с мыслями; да она особенно и не старалась припоминать; должно быть, она смутно боялась той действительности, которая могла возникнуть в ее памяти.

Но вот однажды она проснулась и возле своей постели увидела Жюльена, одного; и сразу все вспомнилось ей, как будто взвился занавес, за которым скрывалось прошлое.

Острая боль полоснула ее по сердцу, и она снова сделала попытку бежать. Она откинула одеяло, соскочила на пол, но ноги не держали ее, и она упала.

Жюльен бросился к ней, и она дико завыла от ужаса, что он дотронется до нее. Она извивалась, каталась по полу. Дверь распахнулась. Прибежали тетя Лизон с вдовой Дантю, вслед за ними барон и, наконец, запыхавшаяся и перепуганная маменька.

Жанну уложили, и она сразу же умышленно закрыла глаза, чтобы не говорить и подумать на свободе.

Мать и тетка ухаживали за ней, хлопотали вокруг нее, спрашивали наперебой:

— Ты меня слышишь, Жанна, крошка моя Жанна?

Она притворилась, что не слышит, и не отвечала; но она отлично заметила, что день подходит к концу. Настала ночь. У ее постели расположилась сиделка и время от времени подносила ей питье.

Она пила покорно, но не спала ни минуты; она мучительно думала, припоминала то, что от нее ускользало, как будто в памяти у нее образовались провалы, большие пустоты, где события не отпечатались совсем.

Мало-помалу, после долгих стараний, она восстановила все обстоятельства.

И она стала обдумывать их с неотступным упорством.

Раз маменька, тетя Лизон и барон приехали, значит, она была очень больна. Но как же Жюльен? Что он сказал? Что знали родители? А Розали? Где была она? А главное, что делать? Что делать? Ее осенила мысль — уехать с отцом и маменькой в Руан и жить там по-прежнему. Она будет вдовой — вот и все.

После этого она стала прислушиваться к тому, что говорили вокруг, понимала все отлично, радовалась, что снова вполне владеет рассудком, но хитрила, терпеливо выжидая.

Наконец вечером, оставшись наедине с баронессой, она тихонько окликнула ее:

— Маменька!

Собственный голос удивил ее, показался ей чужим. Баронесса схватила ее руки:

— Жанна, девочка моя дорогая, дочка моя, ты меня узнаешь?

— Да, да, маменька, только не плачь. Нам предстоит длинный разговор. Жюльен сказал тебе, почему я убежала тогда по снегу?

— Да, голубка моя, у тебя была жестокая и очень опасная горячка.

— Это неверно, мама, горячка была потом, а сказал он тебе, что вызвало эту горячку и почему я убежала?

— Нет, родная моя.

— Потому что я застала Розали у него в постели.

Баронесса решила, что она снова бредит, и нежно погладила ее.

— Спи, моя милочка, успокойся, постарайся заснуть.

Но Жанна не сдавалась:

— Я сейчас в полном сознании, мамочка, не думай, что я заговариваюсь, как все эти дни. Как-то ночью мне сделалось нехорошо, и я пошла позвать Жюльена. Он лежал в постели с Розали. Я от горя потеряла голову и побежала по снегу, чтобы броситься с обрыва.

Но баронесса все твердила:

— Да, голубка моя, ты была очень больна, очень, очень больна.

— Да нет же, мама, я застала Розали в постели Жюльена, и я не хочу больше жить с ним. Ты увезешь меня обратно в Руан.

Помня наставления доктора не перечить Жанне ни в чем, баронесса ответила:

— Хорошо, родная.

Но больная начала раздражаться:

— Я вижу, ты мне не веришь. Пойди позови папу, он скорей поймет меня.

Маменька поднялась с трудом, взяла обе свои палки, вышла, волоча ноги, и вернулась спустя несколько минут вместе с бароном, который поддерживал ее.

Они сели около кровати, и Жанна сразу же заговорила. Потихоньку, слабым голосом, она с полной ясностью описала все: странный характер Жюльена, его грубость, скаредность и, наконец, его измену.

Когда она кончила, барону было ясно, что она не бредит, но он сам не знал, что думать, что решить, что отвечать.

Он нежно взял ее за руку, как в детстве, когда убаюкивал ее сказками.

— Послушай, дорогая, надо действовать осторожно. Не будем торопиться, постарайся терпеть мужа до тех пор, пока мы примем решение... Обещаешь?

— Постараюсь, но только я здесь не останусь жить, когда буду здорова,— прошептала она.

И еще тише спросила:

— А где теперь Розали?

— Ты ее больше не увидишь,— ответил барон.

Но она настаивала:

— Я хочу знать, где она?

Он принужден был сознаться, что она еще здесь, в доме, но уверил, что скоро ее не будет.

Выйдя от больной, барон, возмущенный, уязвленный в своих отцовских чувствах, отправился к Жюльену и начал напрямик:

— Сударь, я пришел спросить у вас отчета о вашем поведении в отношении моей дочери. Вы изменили ей с ее горничной, что недостойно вдвойне.

Но Жюльен разыграл невинность, с жаром отрицал все, клялся, божился. Да и какие они могли предъявить доказательства? Ведь Жанна была невменяема, недаром она только что перенесла воспаление мозга и в приступе беспамятства, в самом начале болезни, среди ночи бросилась бежать по снегу. И как раз во время этого приступа, когда она бегала полуголой по дому, она якобы видела в постели мужа свою горничную!

Он возвышал голос, он грозил судом, страстно возмущался. И барон смешался, стал оправдываться, попросил прощения и протянул свою благородную руку, которую Жюльен отказался пожать.

Когда Жанна узнала ответ мужа, она не рассердилась и только сказала:

— Он лжет, папа, но мы в конце концов заставим его сознаться.

В течение двух дней она была молчалива и сосредоточенно размышляла.

На третье утро она пожелала видеть Розали. Барон отказался позвать горничную наверх, заявил, что ее тут больше нет. Жанна ничего не хотела слышать, она твердила:

— Тогда пусть пойдут к ней на дом и приведут ее.

Она уже начала раздражаться, когда появился доктор. Ему рассказали все, чтобы он рассудил, как быть. Но Жанна вдруг расплакалась, страшно разволновалась и почти кричала:

— Я хочу видеть Розали! Слышите, хочу!

Тут доктор взял ее за руку и сказал ей вполголоса:

— Сударыня, успокойтесь, всякое волнение для вас опасно: ведь вы беременны.

Она оцепенела, точно громом пораженная; и сразу же ей почудилось, будто что-то шевелится в ней. Она не проронила больше ни слова, не слушала даже, что говорят вокруг, и думала о своем. Всю ночь она не сомкнула глаз, ей не давала спать странная и новая мысль, что вот тут, внутри, у нее под сердцем живет ребенок; ей было грустно и жалко, что он — сын Жюльена; ее тревожило, пугало, что он может быть похож на отца.

Рано утром она позвала барона.

— Папенька, я приняла твердое решение; мне нужно все знать, теперь особенно; понимаешь — нужно, а ты знаешь, мне нельзя перечить в моем теперешнем положении. Так вот слушай. Ты пойдешь за господином кюре. Он мне необходим, чтобы Розали говорила правду. Как только он придет, ты велишь ей подняться сюда и сам будешь тут вместе с маменькой. Но, главное, постарайся, чтобы Жюльен ни о чем не догадался.

Час спустя явился священник, он еще разжирел и пыхтел не меньше маменьки. Когда он уселся возле кровати в кресло, живот отвис у него между раздвинутых ног; начал он с шуток, по привычке утирая лоб клетчатым платком:

— Ну-с, баронесса, сдается мне, мы с вами не худеем. На мой взгляд, мы друг друга стоим.

Затем он повернулся к постели больной:

— Хе-хе! Что я слышал, молодая дамочка? Скоро у нас будут новые крестины? Хо-хо-хо! И уж теперь крестить придется не лодку, а будущего защитника родины,— окончил он серьезным тоном, но после минутного раздумья добавил, поклонив-

шись в сторону баронессы: — А то, может быть, хорошую мать семейства, вроде вас, сударыня.

Но тут открылась дверь в дальнем конце комнаты. Розали, перепуганная, вся в слезах, упиралась и цеплялась за косяк, а барон подталкивал ее. Наконец он рассердился и резким движением втолкнул ее в комнату. Тогда она закрыла лицо руками и стояла, всхлипывая.

Жанна, едва увидев ее, стремительно выпрямилась и села, белая как полотно, а сердце у нее колотилось так бешено, что от ударов его приподнималась тонкая рубашка, прилипшая к влажной коже. Она не могла говорить, задыхалась, с трудом ловила воздух. Наконец она выдавила из себя прерывающимся от волнения голосом:

— Мне... мне... незачем... тебя спрашивать... Достаточно видеть тебя... видеть... как... тебе стыдно передо мной.

Она остановилась, потом, отдышавшись, продолжала:

— Но я хочу знать все... все. Я позвала господина кюре, чтобы это было, как на исповеди. Понимаешь?

Розали не шевелилась, только из-под ее стиснутых рук вырывались приглушенные вопли.

Барон, потеряв терпение, схватил ее руки, гневно отвел их и швырнул ее на колени перед кроватью:

— Говори же... Отвечай!

Она лежала на полу в той позе, в какой принято изображать кающихся грешниц; чепец съехал набок, фартук распластался по паркету, а лицо она снова закрыла руками, как только высвободила их.

Тут к ней обратился кюре:

— Слушай, дочь моя, что́ у тебя спрашивают, и отвечай. Зла тебе никто не желает; от тебя только требуют правды.

Жанна перегнулась через край кровати и смотрела на нее. Потом сказала:

— Верно это, что ты была в постели Жюльена, когда я вошла?

Розали простонала сквозь прижатые к лицу руки:

— Да, сударыня.

Тут расплакалась баронесса, громко всхлипывая и вторя судорожным рыданиям Розали.

Жанна, не спуская глаз с горничной, спросила:

— Когда это началось?

— С первого дня,— пролепетала Розали.

Жанна не поняла.

— С первого дня... Значит... значит... с весны?

— Да, сударыня.

— С первого дня, как он вошел в этот дом?

— Да, сударыня.

Жанна торопливо сыпала вопросами, как будто они душили ее:

— Но как же это случилось? Как он заговорил об этом? Как он взял тебя? Что он тебе сказал? Когда же, как ты уступила? Как ты могла уступить ему?

И Розали на этот раз отвела руки, в лихорадочной потребности говорить, высказаться.

— Почем я знаю! Как он в первый раз здесь обедал, так и пришел ко мне в комнату. А до того спрятался на чердаке. Кричать я не посмела, чтобы огласки не вышло. Он лег ко мне в кровать; я себя не помнила; он и сделал со мной, что хотел. Я смолчала, потому что очень он мне приглянулся!

Жанна прервала ее криком:

— А ребенок... ребенок, значит, у тебя... от него?

— Да, сударыня,— сквозь рыдания ответила Розали.

После этого обе замолчали.

Слышны были только всхлипывания Розали и баронессы.

Потрясенная Жанна почувствовала, что и у нее глаза наполнились слезами; капли беззвучно потекли по щекам. У ее ребенка и ребенка горничной — один отец! Гнев ее утих. Она была охвачена мрачным, тупым, глубоким, безмерным отчаянием.

Наконец она заговорила совсем другим голосом, хриплым от слез, голосом плачущей женщины:

— А после того как мы вернулись... оттуда... из... из... путешествия... когда он пришел к тебе снова?

Горничная, совсем припав к полу, пролепетала:

— В первый... в первый же вечер пришел.

Каждое слово клещами сжимало сердце Жанны. Значит, в первый же вечер после возвращения в Тополя он бросил ее для этой девки. Вот почему он оставлял ее по ночам одну!

Теперь она знала достаточно и больше ничего не желала слышать. Она крикнула:

— Ступай, ступай прочь!

Розали, подавленная вконец, не шевелилась, и Жанна позвала на помощь отца:

— Уведи, убери ее.

Но тут кюре, не сказавший еще ни слова, счел своевременным вставить небольшое нравоученье:

— То, что ты сделала, дочь моя, весьма и весьма дурно;

господь бог не скоро простит тебя. Вспомни, что тебе уготован ад, если ты не будешь впредь вести себя благонравно. Теперь у тебя есть ребенок, значит, надобно остепениться. Хозяйка твоя, баронесса, поможет тебе, и мы найдем тебе мужа...

Он говорил бы еще долго, но барон снова схватил Розали за плечи, поднял ее, доволок до двери и вышвырнул в коридор, как мешок.

Когда он вернулся, он был бледнее своей дочери, а кюре продолжал разглагольствовать:

— Что поделаешь? Все они такие в здешних местах. Просто горе одно, но сладить с ними никак невозможно, и опять-таки надо иметь снисхождение к слабостям человеческой природы. Поверите ли, сударыня, каждая сначала забеременеет, а потом уж замуж выходит.— Он добавил с улыбкой: — Это вроде как бы местный обычай.— И переходя на возмущенный тон: — Даже дети берут пример со старших. Ведь сам я в прошлом году застал на кладбище двух конфирмантов, мальчика и девочку! Я говорю родителям, а они мне в ответ: «Что поделаешь, господин кюре, не мы их этим пакостям учили, не нам их и отучать!» Вот так-то, сударь! И горничная ваша не отстала от других...

Но барон, весь дрожавший от раздражения, прервал его:

— Она? Мне до нее дела нет! Меня Жюльен возмущает. Он поступил подло, и я увезу от него свою дочь.

Он шагал по комнате, кипя от негодования и взвинчивая себя все сильнее:

— Он подло обманул мою дочь! Слышите, подло! Негодяй, мерзавец, развратник! Я все ему в лицо выскажу, я ему пощечин надаю, я его убью собственными руками.

Священник, медленно заправляя себе в нос понюшку табаку, обдумывал подле плачущей баронессы, как ему выполнить свою миссию миротворца; теперь он вмешался:

— Постойте, сударь, между нами будь сказано, он поступил, как все поступают. Много вы видели верных мужей? — И он добавил с простодушным лукавством: — Сами вы тоже, я поручусь, пошалили в свое время. Ну, сознавайтесь положа руку на сердце, правду я говорю?

Барон, пораженный, остановился перед священником, а тот продолжал:

— Ну да, и вы поступали, как другие. Может статься, и вам случалось поблудить с такой вот служаночкой. Говорю я вам, все так поступают. А жену свою вы от этого не меньше холили и любили, так ведь?

Барон застыл на месте, он был потрясен.

Ведь это правда, черт побери, что и он поступал так, и даже частенько, всякий раз, когда мог; и супружеского очага он тоже не щадил; перед смазливыми горничными жены не мог устоять! И что же, он из-за этого — подлец? Почему же он так строго судит поведение Жюльена, когда свое собственное ни на миг не считал преступным?

А у баронессы хотя еще не просохли слезы, но при воспоминании о мужниных проказах на губах мелькнула тень улыбки, ибо она была из тех сентиментальных, чувствительных и благодушных натур, для которых любовные дела — неотъемлемая часть существования.

Жанна без сил лежала на спине, вытянув руки, и, глядя в пространство, мучительно думала. Ей вспоминались слова Розали, которые ранили ей душу и, точно бурав, впивались в сердце: «Я смолчала, потому что очень он мне приглянулся».

Ей он тоже приглянулся; и только из-за этого она отдалась ему, связала себя на всю жизнь, отрезала пути всем другим надеждам, всем возможностям, всему тому неизвестному, чем богат завтрашний день. Она ринулась в этот брак, в эту бездонную пропасть, и вот очнулась в таком горе, в такой тоске, в таком отчаянии, и все потому, что он приглянулся и ей, как Розали!

Дверь распахнулась от яростного толчка. Появился взбешенный Жюльен. Он встретил на лестнице всхлипывающую Розали, понял, что тут против него строят козни, что горничная, вероятно, проболталась, и пришел узнать. Но при виде священника он остановился как вкопанный.

Дрожащим голосом, но с виду спокойно, он спросил:

— Что это? Что тут такое?

Барон, только что пылавший гневом, не смел ничего сказать из страха, что зять приведет доводы кюре и тоже сошлется на его собственный пример. У маменьки слезы потекли сильнее. Но Жанна приподнялась на локтях и, задыхаясь, смотрела на того, кто причинил ей столько страданий.

Она заговорила прерывистым голосом:

— А то, что мы теперь все знаем, нам известны все ваши гнусности... с тех пор... с того дня... как вы вошли в этот дом... и что у горничной ребенок от вас, как... как у меня... они будут братья...

При этой мысли горе захлестнуло ее, и она упала на подушки, исступленно рыдая.

Он стоял огорошенный и не знал, что делать, что сказать. Тут опять вмешался кюре:

— Ну, ну, не надо так убиваться, милая дамочка, будьте умницей.

Он поднялся, подошел к кровати и положил свою теплую руку на лоб отчаявшейся женщины. И эта простая ласка удивительным образом смягчила ее: она сразу ощутила какую-то истому, словно эта сильная крестьянская рука, привыкшая отпускать грехи, вселять бодрость своим касанием, принесла ей таинственное умиротворение.

Толстяк, все так же стоя возле нее, произнес:

— Сударыня, надо всегда прощать. Большое горе постигло вас, но господь, в милосердии своем, вознаградил вас за него великим счастьем материнства. Ребенок будет вам утешением. И во имя его я умоляю, я заклинаю вас простить господину Жюльену его проступок. Ведь это новые узы, связующие вас, это залог его верности в дальнейшем. Как можете вы сердцем жить розно с тем, чье дитя носите во чреве?

Она не отвечала, она была сломлена, истерзана, измучена вконец, не находила сил даже для гнева и обиды. Нервы ее совсем сдали, как будто их незаметно подсекли, и жизнь еле теплилась в ней.

Баронесса, решительно не умевшая помнить зло и не способная на длительное душевное напряжение, шепнула ей:

— Полно, Жанна.

Тогда кюре подвел молодого человека к постели и вложил его руку в руку жены.

При этом он прикрыл обе их руки своею, как бы соединяя их навеки, и, отбросив официальный нравоучительный тон, заметил с довольным видом:

— Ну, дело сделано; поверьте мне, так будет лучше.

А обе руки, сблизившись на мгновение, тотчас же разъединились. Жюльен, не посмев поцеловать Жанну, поцеловал в лоб тещу, круто повернулся, взял под руку барона, который повиновался безропотно, радуясь в душе, что все уладилось, и они вышли вместе выкурить по сигаре.

После этого больная в полном изнеможении задремала, а священник и маменька продолжали беседовать вполголоса.

Аббат говорил, пояснял, высказывал свои соображения, а баронесса кивала головой, соглашаясь со всем. В заключение он сказал:

— Значит, решено. Вы даете за этой девушкой барвильскую ферму, а я обязуюсь подыскать ей в мужья честного, степенного человека. Ну, на двадцать тысяч франков приданого желающие-то найдутся. Выбирай любого.

А баронесса уже улыбалась и радовалась; две слезинки задержались еще на ее щеках, но влажный след их успел высохнуть.

Она подтвердила:

— Да, решено. Барвилю цена самое меньшее двадцать тысяч франков, но, конечно, имущество будет записано на имя ребенка, с тем чтобы родители пожизненно пользовались доходами с него.

Кюре встал и пожал маменьке руку:

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, баронесса: я-то ведь знаю, чего нам с вами стоит каждый шаг.

Выходя, он встретился с тетей Лизон, которая шла навестить больную. Она ничего не заметила, ей ничего не сказали, и она, как обычно, ничего не узнала.

VIII

Розали покинула дом, а Жанна дотягивала срок своей мучительной беременности. В душе она не ощущала радости материнства, слишком много горя обрушилось на нее. Она ожидала ребенка без нетерпения, угнетенная боязнью непредвиденных несчастий.

Незаметно подошла весна. Оголенные деревья раскачивались под порывами все еще холодного ветра, но во рвах, где догнивали осенние листья, из влажной травы пробивались первые желтые баранчики. От всей равнины, от дворов ферм, от размытых полей тянуло сыростью, пахло бродящими соками. И множество зелененьких трубочек выглядывало из бурой земли и блестело в лучах солнца.

Толстая женщина могучего телосложения заменяла Розали и поддерживала баронессу во время ее неизменных прогулок по аллее, где след ее ноги, ставшей еще тяжелее, не просыхал от слякоти.

Папенька водил под руку Жанну, отяжелевшую теперь и постоянно недомогавшую; тетя Лизон, обеспокоенная, озабоченная предстоящим событием, держала другую ее руку, в полном смятении перед тайной, которую ей самой не суждено было познать.

Так они бродили часами, почти не разговаривая между собой, а Жюльен, внезапно увлекшись верховой ездой, рыскал тем временем по окрестностям.

Ничто не нарушало их унылой жизни. Барон с женой и виконт нанесли визит Фурвилям, причем оказалось, что Жюльен

успел, неизвестно каким образом, близко познакомиться с ними. Произошел также обмен официальными визитами с Бризвилями, по-прежнему жившими взаперти в своем сонном замке.

Как-то после обеда, часов около четырех, во двор дома рысью въехали два всадника — мужчина и женщина, и Жюльен в сильном возбуждении прибежал к Жанне.

— Спустись скорей, скорей, Фурвили здесь! Они приехали запросто, по-соседски, ввиду твоего положения. Скажи, что меня нет, но я скоро вернусь. А я пойду переоденусь.

Жанна удивилась, однако сошла вниз. Молодая женщина, бледная, миловидная, с болезненным лицом, лихорадочно блестящими глазами и такими блеклыми белокурыми волосами, как будто их никогда не касался солнечный луч, непринужденно представила ей своего мужа, настоящего великана, какое-то пугало с рыжими усищами. Затем она пояснила:

— Нам случалось несколько раз встречаться с господином де Ламар. Мы знаем от него, что вы хвораете, и решили, не мешкая, навестить вас без всяких церемоний, по-соседски. Впрочем, вы сами видите — мы приехали верхом. Кроме того, на днях я имела удовольствие принимать у себя вашу матушку и барона.

Она говорила с неподражаемой, изысканной простотой, Жанна сразу же была очарована и покорена ею. «Вот кто будет мне другом»,— подумала она.

Зато граф де Фурвиль казался медведем, попавшим в гостиную. Усевшись, он положил шляпу на соседний стул, некоторое время не знал, что делать с руками, упер их в колени, потом в локотники кресла и, наконец, сложил пальцы, как для молитвы.

Неожиданно появился Жюльен. Жанна не верила своим глазам. Он побрился. Он был красив, элегантен и обольстителен, как в пору жениховства. Он пожал мохнатую лапу графа, который встрепенулся при его приходе, потом поцеловал руку графини, и ее матовые щеки порозовели, а ресницы затрепетали.

Он заговорил. Он был любезен, как прежде. Большие глаза его снова казались зеркалом любви, снова излучали ласку, а волосы, только что тусклые и жесткие, от щетки и помады легли мягкими блестящими волнами.

Когда Фурвили собрались уезжать, графиня повернулась к нему:

— Дорогой виконт, хотите в четверг покататься верхом?

И в то время как он, склонившись, бормотал: «Разумеется, сударыня»,— она взяла руку Жанны и ласковым, задушевным голосом с нежной улыбкой проговорила:

— Ну, а когда вы поправитесь, мы будем скакать по окрестностям втроем. Это будет чудесно, правда?

Ловким движением она приподняла шлейф своей амазонки, потом вспорхнула в седло с легкостью птички; а муж ее неуклюже откланялся и, едва только сел на своего рослого нормандского коня, как прирос к нему, словно кентавр.

Когда они скрылись за углом ограды, Жюльен в полном восхищении воскликнул:

— Милейшие люди! Вот поистине полезное для нас знакомство.

Жанна, тоже довольная, сама не зная чем, отвечала:

— Графиня — прелестное создание, я уверена, что полюблю ее, но у мужа прямо зверский вид. А где ты с ними познакомился?

Он весело потирал руки.

— Я случайно встретил их у Бризвилей. Муж немного мешковат. Он занят только охотой, но зато аристократ самый настоящий.

И обед прошел почти весело, как будто затаенное счастье незаметно вошло в дом.

И больше ничего нового не произошло вплоть до последних чисел июля месяца.

Во вторник вечером, когда все сидели под платаном вокруг дощатого стола, на котором стояли две рюмки и графинчик с водкой, Жанна вдруг вскрикнула, страшно побледнела и прижала обе руки к животу. Мгновенная острая боль внезапно пронизала ее и отпустила, но минут через десять ее схватила новая, более длительная, хотя и менее резкая боль. Она с трудом добралась до дома, отец и муж почти несли ее. Короткий путь от платана до спальни показался ей нескончаемым; она стонала против воли, просила посидеть, подождать, так мучительно было ей ощущение нестерпимой тяжести в животе. Срок беременности еще не истек, роды ожидались только в сентябре, но из страха непредвиденной случайности велели дяде Симону запрячь двуколку и мчаться за доктором.

Доктор приехал около полуночи и с первого же взгляда определил преждевременные роды.

В постели страдания Жанны несколько утихли, но теперь она испытывала жестокий страх, полнейший упадок духа, как бы таинственное предчувствие смерти. Бывают минуты, когда она так близко от нас, что дыхание ее леденит сердце.

Спальня была полна народа, маменька задыхалась, полулежа в кресле. Барон метался во все стороны как потерянный,

дрожащими руками подавал какие-то вещи, то и дело обращался к доктору. Жюльен шагал по комнате из конца в конец, озабоченный с виду, но невозмутимый в душе, а в ногах постели стояла вдова Дантю с подобающим случаю выражением лица, выражением многоопытной женщины, которую ничем не удивишь. Будучи повивальной бабкой и нанимаясь для ухода за больными и бдения над покойниками, она встречала тех, кто входит в жизнь, принимала их первый крик, впервые омывала водой детское тельце, обертывала его в первые пеленки, и потом с такой же безмятежностью слушала последние слова, последний хрип, последнее содрогание тех, кто уходит из жизни, обряжала их в последний раз, обтирала уксусом их отжившее тело, окутывала его последней пеленой и так выработала в себе несокрушимое равнодушие ко всем случаям рождения и смерти.

Кухарка Людивина и тетя Лизон робко жались у дверей прихожей.

А больная время от времени слабо стонала.

В течение двух часов можно было предполагать, что роды наступят не скоро; но к рассвету боли возобновились с новой силой и почти сразу стали нестерпимыми.

Как Жанна ни стискивала зубы, она не могла сдержать крик и при этом неотступно думала о Розали, о том, что Розали не страдала совсем, почти не стонала, а ребенок ее, незаконный ребенок, появился на свет без труда и без мучений.

В глубине своей души, жалкой и смятенной, она непрерывно проводила сравнение между собой и ею; она слала проклятия богу, которого прежде считала справедливым, возмущалась непростительным пристрастием судьбы и преступной ложью тех, кто проповедует правду и добро.

Временами схватки становились так мучительны, что всякая мысль угасала в ней. Все ее силы, вся жизнь, весь разум поглощались страданием.

В минуты затишья она не могла отвести глаз от Жюльена, и другая боль — боль душевная охватывала ее при воспоминании о том дне, когда ее горничная упала на пол у этой же самой кровати с младенцем между ногами, с братом маленького существа, так беспощадно раздиравшего ей внутренности. Во всех подробностях восстанавливала она в памяти жесты, взгляды, слова мужа при виде распростертой девушки; и теперь она читала в нем так, словно мысли его отражались в движениях, угадывала ту же досаду, то же равнодушие к ней, что и к той, ту же беспечность себялюбивого мужчины, которого отцовство только раздражает.

Но тут у нее началась такая страшная боль, такая жестокая схватка, что она подумала: «Сейчас я умру. Умираю!»

Душу ее наполнило яростное возмущение, потребность кощунствовать и неистовая ненависть к мужчине, погубившему ее, и к неведомому ребенку, убивавшему ее.

Она напряглась в отчаянном усилии избавиться от этого бремени. И вдруг ей показалось, что живот ее опустел, и сразу же стихла боль.

Сиделка и врач наклонились над ней и мяли ее. Потом они вынули что-то; и вскоре приглушенный звук, уже слышанный ею, заставил ее вздрогнуть; этот жалобный плач, этот кошачий писк новорожденного вошел ей в душу, в сердце, во все ее больное, измученное тело; и бессознательным движением она попыталась протянуть руки.

Вспышка радости, порыв к счастью, только что возникшему, пронизали ее насквозь. В один миг она почувствовала, что освобождена, умиротворена и счастлива, счастлива так, как не была еще никогда. Душа и тело ее оживали, она ощущала себя матерью!

Она хотела видеть своего ребенка! У него не было волос, не было ногтей, потому что родился он раньше времени; но когда она увидела, как этот червячок шевелится, как раскрывает ротишко для крика, когда она притронулась к этому недоноску, сморщенному, уродливому, живому,— ее затопила безудержная радость, ей стало ясно, что она спасена, ограждена от отчаяния, что ей есть теперь кому отдать свою любовь и всю себя без остатка, и больше ей уж ничего не нужно.

С той минуты у нее была только одна мысль: ее ребенок. Она внезапно сделалась матерью-фанатичкой, тем более страстной, чем сильнее была она обманута в своей любви, разочарована в своих надеждах. Она требовала, чтобы колыбель все время стояла возле ее кровати, и когда ей позволили встать, просиживала по целым дням у окна около люльки и качала ее.

Она ревновала к кормилице. Когда малыш, проголодавшись, тянулся ручонками к набухшей груди в голубых жилках, а потом жадно хватал губами морщинистый коричневый сосок, она, бледнея и дрожа, смотрела на дородную, спокойную крестьянку и едва удерживалась, чтобы не отнять своего сына и не расцарапать эту грудь, которую он прожорливо сосал. Она взялась собственноручно вышивать для него пышные и вычурные наряды. Его окутывали в дымку кружев, на него надевали роскошные чепчики. Она только об этом и толковала, прерывала любой

разговор, чтобы похвастать тонкой работой пеленки, нагрудника или распашонки, она не слушала, что говорили вокруг, восхищалась какой-то тряпочкой, без конца вертела ее в поднятой руке, чтобы лучше разглядеть, и вдруг спрашивала:

— Как вы думаете, пойдет к нему это?

Барон и маменька улыбались необузданности ее чувства, но Жюльен, потревоженный в своих привычках появлением этого горластого, всемогущего тирана, умаленный в своем достоинстве властелина, бессознательно завидовал этой козявке, занявшей его место в доме, и все время нетерпеливо и злобно твердил:

— До чего она надоела со своим мальчишкой.

Вскоре она в своей материнской любви дошла до такой одержимости, что просиживала ночи напролет у колыбели и смотрела, как спит малыш. Так как она изнуряла себя этим страстным и болезненным созерцанием, совсем не знала отдыха, слабела, худела, кашляла, врач предписал разлучить ее с сыном.

Она сердилась, плакала, просила, но ее мольбам не вняли. Его каждый вечер укладывали в одной комнате с кормилицей. А мать каждую ночь вставала, босиком бежала к двери, прижималась ухом к замочной скважине и слушала, спокойно ли он спит, не просыпается ли, не нужно ли ему чего-нибудь.

Один раз Жюльен, возвратившийся поздно после обеда у Фурвилей, застал ее на этом; с тех пор ее стали запирать на ключ в спальне, чтобы вынудить лежать в постели.

Крестины состоялись в конце августа. Крестным был барон, а крестной — тетя Лизон. Ребенок был наречен именами Пьер-Симон-Поль, в просторечье — Поль.

В первых числах сентября тетя Лизон уехала. Отсутствия ее никто не заметил так же, как и присутствия.

Как-то вечером, после обеда, появился кюре. Он был явно смущен, словно обременен какой-то тайной, и после долгих бесцельных речей попросил наконец баронессу и ее супруга уделить ему несколько минут для беседы с глазу на глаз.

Они не спеша прошли втроем до конца большой аллеи, оживленно при этом разговаривая. Жюльен остался наедине с Жанной, удивленный, встревоженный, раздосадованный их секретами.

Он вызвался проводить священника, когда тот распрощался, и они ушли вместе в направлении церкви, откуда слышался звон к молитве богородице.

Погода стояла свежая, почти холодная, а потому все вскоре вернулись в гостиную и дремали там потихоньку, когда Жюльен появился вдруг, весь красный и взбешенный.

С самого порога он закричал тестю и теще, не думая о присутствии Жанны:

— Вы не в своем уме, что ли? Швырять двадцать тысяч франков этой девке?

От изумления никто не ответил ни слова. Он продолжал злобно орать:

— Всякой глупости есть предел. Вы нас по миру пустите!

Тогда барон, овладев собой, попытался остановить его:

— Замолчите! Вспомните, что вас слушает жена.

Но Жюльен не помнил себя от ярости.

— Плевать я хотел на это; да она и сама все знает. Вы ее обкрадываете.

Жанна смотрела на него в изумлении и ничего не могла понять. Наконец она пролепетала:

— Что такое, что случилось?

Тогда Жюльен повернулся к ней и призвал ее в свидетели, словно соучастницу, вместе с ним терпящую убыток. Он без обиняков рассказал ей о тайном сговоре сосватать Розали и дать за ней барвильскую ферму, которой цена по меньшей мере двадцать тысяч франков. Он все повторял:

— Твои родители с ума спятили, мой друг, совсем спятили! Двадцать тысяч! Двадцать тысяч франков! Да где у них голова! Двадцать тысяч франков незаконнорожденному!

Жанна слушала без волнения и без гнева, сама дивилась своему спокойствию, но ей теперь было безразлично все, что не касалось ее ребенка.

Барон только тяжело дышал и не находил слов для ответа. Но под конец и он вспылил, затопал ногами и закричал:

— Да опомнитесь же! Что вы говорите? Этому названия нет. По чьей вине нам приходится давать приданое этой девушке? От кого у нее ребенок? А теперь вы рады бы его бросить!

Озадаченный резкостью барона, Жюльен пристально посмотрел на него и заговорил уже более сдержанным тоном:

— Достаточно было бы и полутора тысяч. У всех у них бывают дети до замужества. От кого — это к делу не относится. Если же вы отдадите одну из своих ферм стоимостью в двадцать тысяч франков, вы не только нанесете нам ущерб, но еще и придадите делу ненужную огласку; а вам бы следовало, по крайней мере, подумать о нашем имени и положении.

Он говорил строгим тоном, как может говорить человек, уверенный в своей правоте и резонности своих доводов. Барон совершенно растерялся от такого неожиданного выпада. Тогда Жюльен, почувствовав свое преимущество, заключил:

— К счастью, не все еще потеряно. Я знаю парня, который согласен жениться на ней, он славный малый, с ним можно поладить. Я за это берусь.

И он тотчас же вышел, должно быть боясь продолжения спора и обрадовавшись общему молчанию, которое счел за согласие.

Едва он скрылся, как барон закричал вне себя от изумления и негодования:

— Это уж слишком, нет, это уж слишком!

Но Жанна взглянула на растерянное лицо отца и вдруг залилась смехом, своим прежним звонким смехом, каким смеялась, бывало, над чем-нибудь забавным. При этом она повторяла:

— Папа, папа, слышал ты, как он говорил: «Двадцать тысяч франков!»

И маменька, одинаково скорая на смех и на слезы, припомнила свирепую мину зятя, его возмущенные вопли и бурный протест против того, чтобы давали соблазненной им девушке не ему принадлежащие деньги, обрадовалась к тому же веселому настроению Жанны и вся затряслась, захлебнувшись от хохота, даже слезы выступили у нее на глазах. Тут, поддавшись их примеру, расхохотался и барон; и все трое смеялись до изнеможения, как в былые счастливые дни.

Когда они поуспокоились, Жанна заметила с удивлением:

— Странно, меня это ничуть не трогает теперь. Я смотрю на него, как на чужого. Мне даже не верится, что я его жена. Вы видите, я даже смеюсь над его... его... бестактностью.

И, сами не понимая почему, они расцеловались, еще улыбающиеся и растроганные.

Но два дня спустя, после завтрака, как только Жюльен ускакал верхом, в калитку проскользнул рослый малый лет двадцати двух — двадцати пяти, одетый в новенькую синюю выутюженную блузу со сборчатыми рукавами на манжетах; он, вероятно, караулил с утра, а теперь пробрался вдоль куяровской ограды, обогнул дом и, крадучись, приблизился к барону и дамам, сидевшим, как обычно, под платаном.

При виде их он снял фуражку и подошел, робея и отвешивая на ходу поклоны.

Очутившись достаточно близко, чтобы его могли слышать, он забормотал:

— Мое почтение господину барону, барыне и всей компании.

Но так как никто не ответил ему, он объявил:

— Это я и есть — Дезире Лекок.

Это имя ничего не говорило, и барон спросил:

— Что вам надобно?

Парень совсем растерялся от необходимости объяснить свое дело. Он заговорил с запинкой, то опуская глаза на фуражку, которую мял в руках, то поднимая их к коньку крыши:

— Тут господин кюре мне словечко замолвил насчет этого самого дельца...

И он умолк из страха выболтать слишком много и повредить своим интересам.

Барон ничего не разобрал и спросил снова:

— Какое дельце? Я ничего не знаю.

Тогда парень понизил голос и решился выговорить:

— Да насчет вашей служанки, Розали-то...

Тут Жанна поняла, встала и ушла с ребенком на руках. А барон произнес: «Подойдите»,— и указал на стул, с которого поднялась его дочь.

Крестьянин сразу же уселся, пробормотав:

— Покорно благодарю.

Потом выжидательно замолчал, как будто ему больше нечего было сказать. После довольно длительной паузы он собрался с духом и заявил, подняв взгляд к голубому небу:

— Хороша погодка по нынешней поре. И земле польза — озимые-то пойдут теперь.— И умолк снова.

Барон потерял терпение; он прямо и резко поставил вопрос:

— Значит, вы женитесь на Розали?

Крестьянин сразу же насторожился оттого, что ему не дали времени пустить в ход всю его нормандскую хитрость. И поспешил дать отпор:

— Это смотря как. Может, и да, а может, и нет.

Но барона раздражали эти увертки.

— Черт побери! Отвечайте прямо, вы затем пришли или нет? Вы женитесь или нет?

Крестьянин, озадаченный вконец, смотрел теперь себе под ноги.

— Коли так будет, как господин кюре говорит,— женюсь, а коли так, как господин Жюльен,— не женюсь нипочем.

— А что вам говорил господин Жюльен?

— Господин Жюльен говорил, что я получу полторы тысячи франков; а господин кюре сказал, что двадцать тысяч; так за двадцать тысяч я согласен, а за полторы — ни боже мой.

Тут баронессу, все время полулежавшую в кресле, начал

разбирать смех при виде перепуганной физиономии парня. Он неодобрительно покосился на нее, не понимая, чему она смеется, и ждал ответа.

Барону была неприятна эта торговля, и он решил покончить с ней:

— Я сказал господину кюре, что барвильская ферма будет пожизненно принадлежать вам, а потом перейдет к ребенку. Цена ей двадцать тысяч. Я от своих слов не отступаюсь. Так слажено дело — да или нет?

Крестьянин ухмыльнулся подобострастно и удовлетворенно и вдруг стал говорлив:

— Ну, коли так, я отказываться не стану. Только в этом и была загвоздка. А коли так, я не против. Когда мне господин кюре словечко замолвил, я сразу согласился. Уж мне и господину барону услужить хотелось. Он-то в долгу не останется,— так я про себя думал. И верно ведь — одолжишь человека, а потом, глядишь, он тебе и отплатит. А только тут ко мне заглянул господин Жюльен, и оказалось, что денег-то всего полторы тысячи. Я подумал про себя: «Пойду разведаю»,— вот и пришел. Я, понятно, не сомневался, только хотел знать доподлинно. Счет дружбе не помеха — верно я говорю, господин барон?

Чтобы прервать его, барон спросил:

— Когда вы думаете венчаться?

Тут крестьянин снова оробел и смешался. Наконец он нерешительно выговорил:

— А как бы сперва бумагу выправить?

На этот раз барон вспылил:

— Да черт вас возьми, наконец. Ведь получите же вы брачный контракт. Лучшей бумаги быть не может.

Крестьянин заупрямился:

— А все-таки не худо бы нам покамест составить бумагу, она делу не помешает.

Барон встал, чтобы положить этому конец:

— Сию же минуту отвечайте: да или нет? Если раздумали, скажите прямо, у меня есть другой на примете.

Страх конкуренции поверг хитрого нормандца в полное смятение. Он сразу решился и протянул руку, как при покупке коровы:

— По рукам, господин барон, слажено дело. Кто отступится, тому грех.

Ударили по рукам, а затем барон крикнул:

— Людивина!

Кухарка выглянула из окна.

— Принесите бутылку вина.

Сделку спрыснули, и парень удалился более веселым шагом.

Жюльену ничего не сказали об этих переговорах. Контракт заготовили в величайшей тайне, а затем, после оглашения, в один из понедельников состоялась свадьба.

Соседка несла в церковь за молодыми младенца, как верный залог благосостояния. И никто в округе не удивился. Все только позавидовали Дезире Лекоку. «Он в сорочке родился»,— говорили с лукавой усмешкой, но без тени осуждения.

Жюльен устроил дикую сцену, чем сократил пребывание тестя и тещи в Тополях. Жанна рассталась с ними без большой грусти, потому что Поль стал для нее неисчерпаемым источником радостей.

IX

Когда Жанна совсем оправилась от родов, решено было отдать визит Фурвилям, а также побывать у маркиза де Кутелье.

Жюльен приобрел с торгов новый экипаж, фаэтон для одноконной упряжки, чтобы можно было выезжать два раза в месяц.

В один ясный декабрьский день фаэтон заложили и после двухчасовой езды спустились в лощину, лесистую по склонам и распаханную понизу.

Вскоре пашни сменились лугами, а луга — болотами, поросшими высоким, сухим в это время года камышом с шуршащими длинными листьями, похожими на желтые ленты.

Внезапно за крутым поворотом долины показался господский дом поместья Ла-Врийет. С одной стороны он опирался на лесистый склон, а с другой своим подножием уходил в обширный пруд; на противоположном берегу, вверх по другому склону долины, раскинулся еловый лес.

Пришлось проехать по старинному подъемному мосту и миновать высокий портал эпохи Людовика XIII, чтобы попасть на парадный двор, к изящному замку той же эпохи, с кирпичной облицовкой и башенками по бокам, крытыми шифером.

Жюльен объяснял Жанне каждую деталь здания, как свой человек, знающий его досконально. Он хвастал им, восторгался его красотами.

— Ты взгляни на портал! А дом — какое великолепие! Противоположный фасад весь стоит на пруду, а лестница — прямо царственная, доходит до самой воды; у нижних ступенек привязаны четыре лодки: две для графа, две для графини. Вот там, направо, видишь, ряд тополей; там кончается пруд; оттуда берет

начало река, которая течет до Фекана. В этой местности полно дичи. Граф — заядлый охотник. Вот уж настоящее барское поместье!

Входные двери распахнулись, и показалась бледная стройная графиня; она шла навстречу гостям, улыбаясь, в ниспадающем до земли платье со шлейфом, точно владелица средневекового замка. Казалось, это была сама Дама озера, созданная для такого сказочного дворца.

В зале было восемь окон; четыре из них выходили на пруд и на черный бор, поднимавшийся по холму напротив.

От темных тонов зелени пруд казался особенно глубоким, суровым и мрачным; а когда дул ветер, стенания деревьев звучали, как голос болот.

Графиня протянула Жанне обе руки, словно другу детства, потом усадила ее, села сама рядом на низенькое кресло, а Жюльен, к которому за последние пять месяцев вернулась вся его светскость, болтал и улыбался по-дружески непринужденно.

Графиня и он говорили о совместных прогулках верхом. Она посмеивалась над его посадкой, называла его «кавалер Спотыкач», он тоже смеялся и величал ее «королева амазонок». Под окном раздался выстрел, и Жанна вскрикнула от неожиданности. Это граф убил чирка.

Жена сейчас же позвала его. Послышался плеск весел, стук лодки о камень, и появился он сам, великан в высоких сапогах; следовавшие за ним две собаки, насквозь мокрые и такие же рыжие, как он, тотчас улеглись на ковер у двери.

Дома он явно чувствовал себя вольнее и был искренне рад гостям. Он велел подбросить дров в камин, принести мадеры и бисквитов; потом вскричал вдруг:

— Да что я, вы непременно отобедаете с нами!

Жанна, неотступно думавшая о своем ребенке, попыталась отказаться; он настаивал, а когда она продолжала возражать, Жюльен резким жестом выразил свое недовольство. Она побоялась, что он проявит свой злобный, сварливый нрав, и согласилась, страдая в душе, что не увидит Поля до утра.

День прошел чудесно. Сперва ходили смотреть родники. Они били у подножия мшистого утеса и наполняли прозрачный водоем, где вода все время словно кипела; затем совершили прогулку в лодке по водяным тропам, по настоящим просекам, проложенным в зарослях сухого камыша. Граф сидел на веслах, между двумя своими собаками, которые настороженно принюхивались; от каждого взмаха весел большая лодка рывком подвигалась вперед. Жанна временами окунала руку в холодную воду

и наслаждалась студеной свежестью, пробегавшей от пальцев к самому сердцу. На корме Жюльен и графиня, закутанная в шаль, все время улыбались улыбкой счастливых людей, которым от полноты счастья нечего сказать.

Надвигался вечер, ледяные порывы северного ветра пробегали по сухим камышам. Солнце скрылось за елями; и от одного взгляда на покрасневшее небо, все в алых прихотливых облачках, становилось холодно.

После прогулки вернулись в огромную залу, где пылал яркий огонь. Ощущение тепла и уюта сразу же настраивало на веселый лад. И граф игриво подхватил жену своими могучими руками, поднес, точно ребенка, к самым своим губам и поцеловал в обе щеки звонкими поцелуями довольного добряка.

А Жанна с улыбкой смотрела на благодушного великана, который прослыл людоедом только из-за страшных усов; при этом она думала: «Как часто мы ошибаемся в людях». И, почти непроизвольно переведя взгляд на Жюльена, она увидела, что он стоит в дверях смертельно бледный и не сводит глаз с графа. Встревожившись, она подошла к мужу и шепотом спросила его:

— Тебе нездоровится? Что с тобой?

— Ничего, оставь меня в покое, я прозяб,— ответил он сердито.

Когда все перешли в столовую, граф попросил разрешения впустить собак; они сразу же уселись справа и слева от хозяина. Он поминутно бросал им по куску и гладил их длинные шелковистые уши. Собаки вытягивали шеи, виляя хвостами, вздрагивая от удовольствия.

После обеда Жанна и Жюльен собрались уезжать, но г-н де Фурвиль не пустил их, желая показать им рыбную ловлю при факелах.

Он вывел их и графиню на крыльцо, выходящее на пруд; сам же сел в лодку вместе со слугой, который держал рыболовную сеть и зажженный факел. Ночь была ясная и холодная, а небо — все в золотой россыпи звезд.

От факела ползли причудливые и зыбкие полосы по воде, плясали беглые огоньки на камышах и падал свет на высокую стену елей. И вдруг, когда лодка сделала поворот, на освещенной опушке леса выросла гигантская фантастическая тень, тень человека. Голова поднималась выше деревьев, терялась где-то в небе, а ноги уходили в пруд. Немного погодя гигант воздел руки, как будто намереваясь схватить звезды. Огромные руки его, едва поднявшись, сейчас же опустились; и вслед за тем раздался легкий всплеск воды.

Лодка незаметно сделала еще поворот, и громадный призрак как будто побежал вдоль леса, озаренного подвижным светом; затем он скрылся за невидимым горизонтом и вдруг показался снова — на фасаде дома, уже менее грандиозный, но более четкий, все с теми же странными движениями.

И густой бас графа крикнул:

— Восемь штук поймал, Жильберта!

По воде заплескали весла. Гигантская тень возвышалась теперь неподвижно на стене, но становилась все ниже и тоньше; голова ее словно опускалась, а туловище худело; и когда г-н де Фурвиль поднялся по ступенькам крыльца, по-прежнему в сопровождении слуги с огнем, тень, повторявшая все его жесты, сократилась до его размеров.

В сетке у него билось восемь крупных рыб.

Когда Жанна и Жюльен ехали домой, укутанные в плащи и пледы, которыми их снабдили, у Жанны вырвалось почти невольно:

— Какой славный человек этот великан!

А Жюльен, правивший лошадью, возразил:

— Да, но только он не умеет сдерживать свои чувства при людях.

Через неделю они поехали к Кутелье, которые считались первой знатью провинции. Их поместье Реминиль примыкало к городку Кани. «Новый» замок, выстроенный при Людовике XIV, был скрыт великолепным парком с высокой оградой. На холме виднелись развалины «старого» замка. Ливрейные лакеи проводили гостей в пышную залу. Посредине, на постаменте в виде колонны, стояла огромная чаша севрского завода, а на цоколе красовалось под стеклом собственноручное письмо короля, в котором маркизу Леопольду-Эрве-Жозефу-Жерме де Варневиль де Рольбоск де Кутелье предлагалось принять от монарха этот дар.

Жанна и Жюльен рассматривали королевский подарок, когда появились маркиз и маркиза. Она была напудрена, любезна по обязанности и жеманна из желания казаться благосклонной. Он, толстяк с седыми волосами, зачесанными кверху, каждым жестом, голосом, манерами выражал надменность, свидетельствовавшую о его высоком положении.

Они были из тех ревнителей этикета, у которых и ум, и чувства, и речи всегда как на ходулях.

Они говорили одни, не слушали ответов, улыбались равнодушной улыбкой и всегда как будто выполняли налагаемую на них высоким происхождением обязанность вежливо принимать окрестных захудалых дворян.

Жанна и Жюльен, совсем потерявшись, силились понравиться, боялись засидеться, не знали, как уйти; но маркиза сама положила конец их визиту просто и естественно, вовремя остановив беседу, как прекращает аудиенцию учтивая королева.

На обратном пути Жюльен сказал:

— Если ты не возражаешь, мы на этом покончим с визитами. Мне лично вполне достаточно Фурвилей.

И Жанна согласилась с ним.

Медленно тянулся декабрь, самый темный из месяцев, словно черная дыра в году. Возобновилась прошлогодняя замкнутая жизнь, но Жанна не скучала, она была постоянно занята Полем, зато Жюльен смотрел на него косо, беспокойным и недовольным взглядом.

Нередко мать, держа малыша на руках и лаская с той исступленной нежностью, какая бывает свойственна матерям, протягивала его отцу и говорила:

— Да поцелуй же сыночка, можно подумать, что ты его не любишь.

Он с брезгливым видом едва касался губами лысой головки ребенка и при этом весь выгибался дугой, чтобы скрюченные и непрестанно шевелящиеся ручонки не дотронулись до него. И сразу же уходил, как будто его гнало отвращение.

Время от времени к обеду приходили мэр, доктор и кюре; время от времени приезжали Фурвили, с которыми завязывались все более близкие отношения.

Графа явно тянуло к Полю. Он не спускал его с колен ни на минуту, иногда по целым вечерам. Он бережно брал его своими огромными ручищами, щекотал ему кончик носа своими длинными усами, а потом целовал его в страстном, почти материнском порыве. Он был неутешен, что его брак остается бесплодным.

Март стоял ясный, сухой и почти теплый. Графиня Жильберта напомнила о верховых прогулках вчетвером. Жанне немного наскучило бесконечное однообразие долгих вечеров, долгих ночей, долгих дней, и она радостно ухватилась за этот план; целую неделю она с удовольствием мастерила себе амазонку.

Затем начались прогулки. Ездили всегда попарно: графиня с Жюльеном впереди, а граф с Жанной в ста шагах позади; последние мирно беседовали, как два друга, потому что сродство их честных душ и бесхитростных сердец породило между ними настоящую дружбу; а те двое часто шептались, порывисто хохотали, внезапно взглядывали друг на друга, словно хотели сказать глазами то, чего не выговаривали губы, и вдруг пускали

лошадей в галоп, стремясь скрыться, ускакать подальше, как можно дальше.

С некоторых пор Жильберта стала раздражительной. Ее сердитый голос доносился с дуновением ветра до слуха двух отставших всадников. Тогда граф улыбался и говорил Жанне:

— Жена у меня с характером.

Однажды вечером, на обратном пути, когда графиня то подгоняла свою кобылу, пришпоривая ее, то осаживала рывком, граф и Жанна несколько раз слышали, как Жюльен предостерегал ее:

— Берегитесь, говорю я вам, берегитесь,— она понесет.

— И пускай, не ваше дело,— ответила наконец Жильберта таким звонким и резким голосом, что слова отчетливо прозвучали в пространстве и словно повисли в воздухе.

Лошадь вставала на дыбы, лягалась, фыркала. Наконец забеспокоился и граф и крикнул во всю силу своих могучих легких:

— Жильберта, осторожнее!

Тогда, словно назло, в припадке той нервозности, когда женщине нет удержу, она наотмашь ударила животное хлыстом между ушей, и лошадь, рассвирепев, взвилась на дыбы, забила в воздухе передними ногами, опустилась, сделала огромный прыжок и ринулась вперед во весь опор.

Сперва она пересекла луг, потом помчалась по пашням, разбрасывая комья тучной сырой земли; неслась она так стремительно, что вскоре почти нельзя было различить ни лошади, ни всадницы.

Жюльен, опешив, застыл на месте и только кричал отчаянно:

— Графиня! Графиня!

Но тут у графа вырвалось что-то вроде рычания, и, пригнувшись над шеей грузного жеребца, он броском всего тела пустил его таким аллюром, подстрекая, подгоняя, возбуждая его криком, хлыстом, шпорами, что казалось, будто огромный всадник несет между ногами тяжелого коня и поднимает его на воздух, чтобы улететь с ним. Они скакали, мчались с непостижимой быстротой, и Жанна видела, как там, вдали, обе фигуры, жены и мужа, летели, летели, уменьшались, бледнели, исчезали, словно две птицы, когда, догоняя друг друга, они теряются, тонут где-то на горизонте.

Тут к ней подъехал Жюльен, по-прежнему шагом, сердито ворча про себя:

— Какая ее муха укусила?

И оба поехали вслед за четой, скрывшейся в извилине равнины.

Через четверть часа они увидели, что Фурвили возвращаются, и вскоре съехались с ними.

Граф, красный, потный, смеющийся, довольный, торжествующий, железной хваткой держал дрожавшую лошадь жены. А Жильберта, бледная, со страдальчески искаженным лицом, опиралась одной рукой о плечо мужа, как будто боялась лишиться чувств.

В этот день Жанна поняла, что граф любит беззаветно.

Весь следующий месяц графиня была весела, как никогда. Она еще чаще приезжала в Тополя, беспрестанно смеялась, с порывистой нежностью целовала Жанну. Казалось, некое таинственное очарование сошло на ее жизнь. Муж ее был в восторге, не сводил с нее глаз, с удвоенной страстью старался каждую минуту коснуться ее руки, платья.

Однажды вечером он признался Жанне:

— У нас сейчас счастливая полоса. Никогда Жильберта не была так ласкова. Она больше не бывает в дурном настроении, не сердится. Я чувствую, что она меня любит. Раньше я в этом не был уверен.

Жюльен тоже переменился, повеселел, не раздражался, как будто дружба двух семей принесла мир и радость в каждую из них.

Весна выдалась на редкость ранняя и жаркая.

От теплого утра до тихого, мягкого вечера солнце согревало всходы на всей поверхности земли. Это был стремительный, дружный и мощный расцвет всех почек, такой неудержимый напор соков, такая жажда возрождения, какую природа проявляет порой, в особо удачные годы, когда можно поверить в обновление мира.

Жанну смутно волновало это брожение жизненных соков. Она испытывала мгновенную истому при виде цветка в траве, переживала долгие часы сладостной грусти, мечтательной неги.

А иногда ею овладевали умиленные воспоминания о первой поре ее любви; не то чтобы в сердце у нее возродилось чувство к Жюльену, нет, с этим было покончено, покончено навсегда; но вся плоть ее от ласки ветерка, от ароматов весны волновалась и тянулась навстречу какому-то незримому и нежному призыву.

Ей нравилось быть одной, впитывать солнечное тепло, всем существом воспринимать ощущения смутного и бездумного, тихого блаженства.

Однажды утром в минуты такой полудремы перед ней возникло видение солнечной прогалины посреди темной листвы в рощице у Этрета. Там впервые она ощутила трепет от близости

человека, любившего ее тогда; там впервые он шепотом высказал робкое желание сердца; и там же ей показалось, что перед ней внезапно открылось светлое будущее ее мечтаний.

И ей захотелось повидать эту рощу, совершить туда некое сентиментальное и суеверное паломничество, словно посещение того места должно было как-то изменить ход ее жизни.

Жюльен уехал с рассвета, не сказав ей куда. И вот она велела оседлать белую лошадку Мартенов, на которой иногда ездила теперь, и отправилась в путь.

День был теплый, ясный и тихий: казалось, ничто не шелохнется, ни одна травка, ни один листок; все словно замерло до скончания веков, как будто ветер испустил дух. Даже насекомые и те, казалось, исчезли.

Жгучий и властный покой неощутимо, в золотой дымке, исходил от солнца; и Жанна блаженно грезила под неторопливый шаг лошади. Временами она поднимала глаза и следила за крохотным белым облачком величиной с пушинку, за клочком пара, одиноко повисшим, забытым, застрявшим там, вверху, посреди синего неба.

Она спустилась в долину, выходящую к морю между высокими скалистыми сводами, которые называются «Воротами Этрета», и не спеша добралась до рощи. Сквозь молодую листву свет так и лился потоками. Жанна рыскала по узким тропинкам, искала и не могла найти заветное место.

Но вдруг, пересекая длинную дорожку, она увидела в самом ее конце двух лошадей, привязанных к дереву, и сразу же узнала их: это были лошади Жильберты и Жюльена. Одиночество уже слегка тяготило ее; она обрадовалась такой неожиданной встрече и пустила свою кобылку рысью. Добравшись до двух терпеливо ожидавших, словно привычных к долгим стоянкам коней, она стала звать. Никто не откликнулся.

Дамская перчатка и два хлыста валялись на примятой траве. Значит, они сидели здесь, а потом оставили лошадей и ушли.

Она прождала четверть часа, двадцать минут, удивляясь и не понимая, что такое они могут делать. Так как она спрыгнула с лошади и теперь стояла неподвижно, прислонясь к стволу дерева, две птички, не заметив ее, опустились в траву рядом с ней. Одна из них суетилась, прыгала вокруг второй, топорщила крылья, кивала головкой и чирикала; и вдруг они совокупились.

Жанна была поражена, словно не знала, что это бывает; потом подумала: «Да, правда, теперь ведь весна». А потом другая мысль, догадка, возникла у нее. Она снова посмотрела на перчатку, на хлысты, на оставленных лошадей и вдруг стремитель-

но прыгнула в седло с одним неудержимым желанием бежать прочь.

Обратно в Тополя она скакала галопом. При этом она лихорадочно думала, соображала, связывала факты, сопоставляла разные обстоятельства. Как она не догадалась раньше? Как она не видела ничего? Как не поняла причину отлучек Жюльена, возврат былого щегольства и, наконец, смягчение его нрава? Вспоминала она также внезапные нервные вспышки Жильберты, ее преувеличенную нежность, то блаженное состояние, в котором она жила с недавних пор, на радость графу.

Жанна придержала лошадь, потому что ей надо было серьезно подумать, а быстрый аллюр рассеивал ее мысли.

Когда прошло первое волнение, сердце ее успокоилось, в нем не было ни ревности, ни злобы — одно лишь презрение. Она почти не думала о Жюльене; в нем ее ничто больше не удивляло, но двойное предательство графини, ее подруги, возмущало ее. Значит, все на свете коварны, лживы, двоедушны? И слезы навернулись ей на глаза. Иллюзии свои оплакиваешь порой так же горько, как покойников.

Однако она решила притвориться, будто ничего не знает, закрыть свою душу для недолговечных привязанностей, любить только Поля и родителей, а остальных терпеть невозмутимо.

Вернувшись, она тотчас бросилась к сыну, унесла его в свою комнату и, как безумная, чуть не час безостановочно целовала его.

Жюльен возвратился к обеду, обворожительный и улыбающийся, исполненный благожелательства. Он спросил:

— Разве папа и маменька не приедут в нынешнем году?

Она так была тронута его вниманием, что почти простила ему открытие, которое сделала в лесу; и вдруг ею овладело страстное желание видеть двух самых дорогих ей после Поля людей; она провела целый вечер за письмом к ним, умоляя их приехать поскорее.

Они назначили свой приезд на двадцатое мая. А было всего седьмое число.

Она поджидала их со все возрастающим нетерпением, как будто, кроме дочерней привязанности, у нее появилась потребность прильнуть сердцем к благородным сердцам, открыть душу чистым, не тронутым подлостью людям, чья жизнь и все поступки, все помыслы, все желания всегда были честны.

Именно сейчас она чувствовала себя такой одинокой посреди всех этих слабодушных; и хотя она как-то сразу научилась притворяться, хотя она встречала графиню с протянутой рукой и с

улыбкой на губах, но в ней все росло, заполняя ее, ощущение пустоты и презрения к людям; и каждый день мелкие события местной жизни увеличивали в ее душе гадливость и неуважение к человеческой породе.

Дочка Куяров родила ребенка, а свадьба только еще предстояла. Служанка Мартенов, сирота, была беременна; молоденькая, пятнадцатилетняя соседка была беременна; бедная вдова, хромая и грязная, которую за вопиющую нечистоплотность прозвали «Помойкой», была беременна.

То и дело доходили слухи о новой беременности или о любовных шашнях какой-нибудь девушки, или замужней женщины, матери семейства, или же зажиточного, почтенного фермера.

Эта буйная весна, очевидно, расшевелила жизненные соки не только в растениях, но и в людях.

А Жанна не знала больше трепета рано угасших чувств, только разбитым сердцем и чувствительной душой отзывалась на теплые и плодоносные веяния весны, только грезила в бесстрастном возбуждении, увлеченная мечтами, недоступная плотским вожделениям, и потому ее изумляло, ей претило, ей было ненавистно это мерзкое скотство.

Совокупление живых существ возмущало ее теперь как нечто противоестественное; и Жильберте она ставила в укор не то, что та отняла у нее мужа,— она ставила ей в укор самый факт падения в эту вселенскую грязь.

Ведь она-то не принадлежала к простонародью, которым управляют низменные инстинкты. Как же могла она уподобиться этим тварям?

В самый день приезда родителей Жюльен еще усугубил ее отвращение, весело рассказав, как нечто вполне естественное и забавное, что местный булочник услышал шорох у себя в печи, как раз когда не было выпечки, и думал поймать там бродячего кота, а застал свою жену, которая занималась отнюдь не хлебопечением.

И он добавил:

— Булочник закрыл заслонку; они бы там задохнулись, если бы сынишка булочника не позвал соседей: он видел, как мать его залезла туда с кузнецом.

И Жюльен смеялся, повторяя:

— Вот озорники-то — накормили нас хлебом любви! Чем не новелла Лафонтена?

После этого Жанна не могла прикоснуться к хлебу.

Когда почтовая карета остановилась у крыльца и показалось радостное лицо барона, в душе и в сердце молодой женщи-

ны поднялось такое волнение, такой бурный порыв любви охватил ее, какого она еще не испытывала.

Но при виде маменьки она была до того потрясена, что едва не лишилась чувств. За эти шесть зимних месяцев баронесса постарела на десять лет. Ее одутловатые щеки, дряблые и отвислые, побагровели, как будто налились кровью; глаза угасли; и двигаться она могла, только когда ее с двух сторон поддерживали под руки; тяжелое дыхание ее стало хриплым и таким затрудненным, что окружающим было мучительно и жутко слышать его.

Барон видел ее каждый день и не замечал, до какой степени она сдала; а когда она жаловалась на постоянное удушье и возрастающее ожирение, он отвечал:

— Да что вы, дорогая, сколько я вас помню, вы всегда были такой.

Жанна проводила родителей в их спальню и убежала к себе, чтобы выплакать свое смятение и отчаяние. Потом она пошла поговорить с отцом и бросилась к нему на грудь, вся в слезах:

— Боже, как мама изменилась! Что с ней, скажи, что с ней?

Он очень удивился:

— Ты находишь? Что ты? Тебе показалось. Я ведь с ней неотлучно и могу тебя уверить, что ей ничуть не хуже, чем всегда.

Вечером Жюльен сказал жене:

— Знаешь, твоя мать совсем плоха. Мне кажется, она не долго протянет.

А когда Жанна зарыдала, он обозлился:

— Да перестань ты, я же не говорю, что она при смерти. Ты всегда все преувеличиваешь до безумия. Она изменилась, только и всего, это понятно в ее годы.

Через неделю она успокоилась и привыкла к перемене в наружности матери и, вероятно, постаралась заглушить свои страхи, как мы заглушаем и отметаем всегда, из бессознательного эгоизма, из естественной потребности в душевном покое, нависшие над нами опасения и тревоги.

Баронесса передвигалась через силу и гуляла теперь только полчаса в день. Пройдя всего один раз «свою» аллею, она больше не могла пошевелиться и просилась посидеть на «своей» скамейке. А иногда она не была в состоянии даже доплестись до конца и говорила:

— На сегодня довольно: от моей гипертрофии у меня совсем подкашиваются ноги.

Она почти не смеялась и только улыбалась тому, над чем

бы хохотала до упаду в прошлом году. Но зрение у нее сохранилось превосходное, и она по целым дням перечитывала «Коринну» или «Размышления» Ламартина; потом требовала, чтобы ей подали ящик с сувенирами. И, выложив к себе на колени старые, милые ее сердцу письма, она ставила ящик на стул возле себя и одну за другой укладывала туда обратно свои «реликвии», внимательно пересмотрев каждую из них. А когда она бывала одна, совсем одна, она целовала некоторые из писем, как целуешь тайком волосы дорогих покойников.

Иногда Жанна входила и видела, что она плачет, плачет скорбными слезами.

— Что с тобой, маменька? — испуганно спрашивала она.

И баронесса глубоко вздыхала, а потом отвечала:

— Это от моих реликвий... ворошишь то, что было прекрасно и что прошло! И люди, о которых давно уже не думалось, напоминают вдруг о себе. Так и кажется, будто видишь и слышишь их, и это страшно волнует. Когда-нибудь и ты это испытаешь.

Если барон заставал их в такие грустные минуты, он шептал дочери:

— Жанна, душенька моя, верь мне, жги письма, все письма — материнские, мои, все решительно. Ничего нет ужаснее, как на старости лет окунаться в свою молодость.

Но Жанна тоже хранила свою переписку и готовила себе «ящик с реликвиями», подчиняясь, при полном отсутствии сходства с матерью, наследственному тяготению к сентиментальной мечтательности.

Через несколько дней барону потребовалось отлучиться по делам, и он уехал.

Погода стояла чудесная. Горящие звездами темные ночи шли на смену тихим сумеркам, ясные вечера — сияющим дням, сияющие дни — ослепительным зорям. Маменька вскоре почувствовала себя бодрее, а Жанна позабыла амуры Жюльена и вероломство Жильберты и была почти счастлива. Все вокруг цвело и благоухало; и неизменно спокойное необъятное море с утра до вечера сверкало на солнце.

Как-то среди дня Жанна взяла на руки ребенка и пошла погулять в поле. Она смотрела то на сына, то на придорожную траву, пестревшую цветами, и млела от счастья. Каждую минуту целовала она Поля и страстно прижимала к себе. А когда на нее веяло свежим запахом лугов, она изнемогала, замирала в беспредельном блаженстве. Потом она задумалась о будущем сына. Кем он станет? То она желала, чтобы он стал большим челове-

ком, высокопоставленным и знаменитым. То предпочитала, чтобы он остался безвестным и жил подле нее, заботливый и нежный, чтобы объятия его всегда были раскрыты для мамы. Когда она любила его эгоистичным материнским сердцем, ей хотелось сохранить его для себя, только для себя; когда же она любила его пылким своим разумом, она мечтала, что он займет достойное место в мире.

Она села у обочины и принялась смотреть на него. Ей казалось, что она никогда не видела его. И вдруг ее поразила мысль, что этот маленький человечек станет большим, будет ступать твердым шагом, обрастет бородой и говорить будет басистым голосом.

Кто-то звал ее издалека. Она подняла голову. К ней бежал Марнус. Она решила, что ее ждут гости, и поднялась, недовольная помехой. Но мальчуган мчался со всех ног, а когда был уже близко, крикнул:

— Сударыня, баронессе плохо.

Словно струйка ледяной воды спустилась у нее вдоль спины, и она побежала домой, не помня себя.

Уже издали ей было видно, что под платаном толпится народ. Она бросилась туда, люди расступились, и она увидела, что маменька лежит на земле и под голову ей подложены две подушки. Лицо у нее почернело, глаза закрыты, а грудь, тяжело вздымавшаяся двадцать лет, не шевелится. Кормилица выхватила ребенка из рук Жанны и унесла его.

— Что случилось? Как она упала? — растерянно спрашивала Жанна.— Надо послать за доктором.

Обернувшись, она увидела кюре, которого кто-то успел уведомить. Он предложил свои услуги, засуетился, засучив рукава сутаны. Но ни уксус, ни одеколон, ни растирания не помогали.

— Надо ее раздеть и уложить,— сказал священник.

Тут подоспели фермер Жозеф Куяр, дядюшка Симон и Людивина. С помощью аббата Пико они попытались перенести баронессу, но, когда они подняли ее, голова завалилась назад, а платье, за которое они ухватились, стало рваться, настолько ее, такую грузную, трудно было сдвинуть с места. Жанна закричала от ужаса, и огромное дряблое тело снова опустили на землю.

Пришлось принести из гостиной кресло, усадить ее и таким образом поднять. Шаг за шагом внесли ее на крыльцо, затем по лестнице в спальню и, наконец, уложили на кровать.

Кухарка возилась без конца и никак не могла раздеть ее, но тут вовремя подоспела вдова Дантю, появившаяся внезапно,

как и священник, будто они, по словам прислуги, «учуяли покойника».

Жозеф Куяр помчался во весь дух за доктором, а кюре собрался было пойти принести святые дары, но сиделка шепнула ему на ухо:

— Не утруждайте себя, господин кюре, верьте мне, она отошла.

Жанна была как безумная, она взывала ко всем, не знала, что делать, что предпринять, какое средство испробовать. Кюре на всякий случай произнес отпущение грехов.

Два часа прошло в ожидании возле посиневшего, безжизненного тела. Жанна рыдала, упав на колени, терзаясь страхом и горем.

Когда отворилась дверь и появился врач, ей показалось, что это само спасение, утешение, надежда; она кинулась к нему и принялась несвязно пересказывать то, что знала о случившемся:

— Она гуляла, как всегда... и чувствовала себя хорошо... даже очень хорошо... за завтраком скушала бульон и два яйца... и вдруг она упала... и вся почернела... вот видите, какая она... и больше не шевелится... Мы все испробовали, чтобы привести ее в чувство, все, все...

Она замолчала, потрясенная, заметив жест, которым сиделка украдкой дала понять врачу, что все кончено. Не желая верить, она испуганно допрашивала:

— Это серьезно? Как вы думаете, это серьезно?

Врач ответил, запинаясь:

— Боюсь, очень боюсь... что это... конец. Соберите все мужество, все свое мужество.

Жанна раскинула руки и бросилась на тело матери.

В это время вернулся Жюльен. Он был ошеломлен и явно раздосадован, ни единым возгласом не выразил ни огорчения, ни скорби, не успев от неожиданности изобразить соответствующие чувства. Он пробормотал:

— Я так и знал, я чувствовал, что это конец.

Потом вытащил носовой платок, отер себе глаза, опустился на колени, перекрестился, промямлил что-то и, поднявшись, хотел поднять и жену. Но она обеими руками обхватила тело матери и целовала его, почти лежа на нем. Пришлось унести ее. Она совсем, казалось, обезумела.

Через час ей позволили войти снова. Все было кончено. Спальню превратили теперь в комнату покойника. Жюльен и священник шепотом переговаривались у окна. Вдова Дантю уютно расположилась в кресле и приготовилась дремать,— она

привыкла к таким бдениям и чувствовала себя хозяйкой в любом доме, куда заглянула смерть.

Надвигалась ночь. Кюре подошел к Жанне, взял обе ее руки и начал ее ободрять, изливая на ее безутешное сердце обильный елей религиозных утешений. Он говорил об усопшей, восхвалял ее в канонических выражениях и, скорбя лицемерной скорбью священника, которому от мертвеца только выгода, предложил провести ночь в молитве возле тела. Но Жанна запротестовала сквозь судорожные рыдания. Она хотела быть одна, совсем одна в эту прощальную ночь. Тут подошел к ней и Жюльен:

— Это невозможно, мы будем здесь вместе.

Она отрицательно качала головой, не в силах произнести ни слова. Наконец она проговорила:

— Это моя, моя мать. Я хочу быть одна подле нее.

Врач шепнул:

— Пусть поступает, как хочет, сиделка может остаться в соседней комнате.

Священник и Жюльен вспомнили о мягкой постели и согласились. Затем аббат Пико, в свою очередь, опустился на колени, помолился, встал и, уходя, сказал: «Святая была женщина»,— тем же тоном, каким произносил Dominus vobiscum [1]. После этого виконт обычным своим голосом спросил:

— Может быть, поешь чего-нибудь?

Жанна не ответила, даже не услыхала, что он обращается к ней.

Он повторил:

— Тебе бы следовало подкрепиться.

Вместо ответа она сказала, как в забытьи:

— Сейчас же пошли за папой.

Он вышел, чтобы отправить верхового в Руан. А она словно застыла в своей скорби и, казалось, ждала мгновения, когда останется наедине с покойницей, чтобы отдаться подступающему приливу безысходного горя.

Тени наводнили комнату, заволокли мраком усопшую. Вдова Дантю неслышно шныряла взад и вперед, брала и перекладывала невидимые в темноте предметы беззвучными движениями сиделки. Потом она зажгла две свечи, тихонько поставила их у изголовья кровати, на ночной столик, покрытый белой салфеткой.

[1] Господь с вами *(лат.)*.

Жанна как будто ничего не видела, не чувствовала, не понимала. Она ждала минуты, когда останется одна. Жюльен пообедал и вернулся. Он спросил снова:

— Ты ничего не скушаешь?

Жанна отрицательно покачала головой.

Он сел, скорее с видом покорности судьбе, чем скорби, и больше не произносил ни слова.

Так сидели они трое не шевелясь, каждый в своем кресле, далеко друг от друга.

Минутами сиделка засыпала и слегка похрапывала, потом сразу просыпалась.

Наконец Жюльен поднялся и подошел к жене:

— Ты хочешь остаться одна?

Она в невольном порыве схватила его руку:

— Да, да, оставьте меня.

Он поцеловал ее в лоб и пробормотал:

— Я буду приходить проведывать тебя.

И он вышел вместе с вдовой Дантю, которая выкатила свое кресло в соседнюю комнату.

Жанна закрыла дверь, потом настежь распахнула оба окна. Ей в лицо повеяло теплой лаской вечера, напоенного запахом скошенного сена. Накануне скосили лужайку, и трава лежала рядами под лунным светом.

Это сладостное ощущение кольнуло ее, причинило ей боль, как насмешка.

Она вернулась к постели, взяла безжизненную, холодную руку матери и вгляделась в ее лицо.

Оно не было одутловатым, как в ту минуту, когда с ней случился удар; она словно спала теперь — так спокойно, как не спала никогда; тусклое пламя свечей, колеблемое ветром, поминутно перемещало тени на ее лице, и от этого она казалась живой и словно шевелилась.

Жанна жадно смотрела на нее; и из далеких дней детства гурьбой сбегались воспоминания.

Она припоминала посещения маменьки в приемной монастыря, жест, которым она протягивала бумажный мешочек с пирожными, множество мелких черточек, мелких событий, мелких проявлений любви, ее слова, оттенки голоса, знакомые движения, морщинки у глаз, когда она смеялась, и как она отдувалась, когда усаживалась.

Она стояла, вглядываясь, и твердила про себя в каком-то отупении: «Она умерла», и вдруг весь страшный смысл этих слов открылся ей.

Вот эта, лежащая здесь,— мама — маменька — мама Аделаида — умерла? Она не будет больше двигаться, говорить, смеяться, никогда больше не будет сидеть за обедом напротив папеньки, не скажет больше: «Здравствуй, Жаннета!» Она умерла!

Ее заколотят в гроб, зароют, и все будет кончено. Ее больше нельзя будет видеть. Да как же это возможно? Как возможно, что не станет ее мамы? Этот дорогой образ, самый родной, знакомый с той минуты, как впервые раскрываешь глаза, любимый с той минуты, как впервые раскрываешь объятия, это великое прибежище любви, самое близкое существо в мире, дороже для души, чем все остальные,— мать, и она вдруг исчезнет. Всего несколько часов осталось смотреть на ее лицо, неподвижное лицо, без мысли, а потом ничего, ничего, кроме воспоминания.

И она упала на колени в жестоком пароксизме отчаяния; вцепившись обеими руками в простыню, она уткнулась головой в постель и закричала душераздирающим голосом:

— Мама, мамочка моя, мама!

Но тут, почувствовав, что сходит с ума, как в ночь бегства по снегу, она вскочила, подбежала к окну глотнуть свежего воздуха, иного, чем воздух близ этого ложа, чем воздух смерти.

Скошенные лужайки, деревья, ланда и море за ними дремали в безмолвном покое, убаюканные нежными чарами луны. Крупица этой умиротворяющей ласки проникла в сердце Жанны, и она заплакала тихими слезами.

Потом она вернулась к постели, села и взяла руку маменьки, как будто ухаживала за ней, больной.

Большой жук, привлеченный свечами, влетел в окно. Как мячик, бился он о стены, носился из конца в конец комнаты. Жанна отвлеклась его гулким гудением и подняла глаза, чтобы посмотреть на него; но удалось ей увидеть только его блуждающую тень на белом фоне потолка.

Потом он затих. И ей стало слышно легкое тиканье каминных часов и другой слабый звук, вернее — еле слышный шорох. Это продолжали идти маменькины часики, забытые в платье, брошенном на стул в ногах кровати. И полуосознанная параллель между той, которая умерла, и этим неостановившимся механизмом вызвала внезапную острую боль в сердце Жанны.

Она взглянула на часы. Они показывали половину одиннадцатого. Ей стало мучительно страшно провести здесь целую ночь.

И другие воспоминания возникли у нее, воспоминания из ее собственной жизни — Розали, Жильберта, разочарования

сердца. Значит, все на свете только горе, мука, скорбь и смерть. Все обманывает, все лжет, все заставляет страдать и плакать. Где же найти немножко радости и покоя? Должно быть, в другой жизни! Когда душа освобождается от земных испытаний. Душа! И она задумалась над этой непостижимой тайной, вдаваясь в поэтические вымыслы и тотчас опровергая их другими, столь же туманными гипотезами. Где же была теперь душа ее матери? Душа этого недвижного и окоченевшего тела? Может быть, очень далеко. Где-то в пространстве. Но где? Испарилась, как аромат засохшего цветка? Или летала, как невидимая птица, вырвавшаяся из клетки?

Вернулась в лоно божие? Или распылилась среди новых творений, смешалась с зародышами, готовыми прорасти? А быть может, она очень близко? Тут, в комнате, возле покинутого ею безжизненного тела? И Жанне вдруг почудилось какое-то дуновение, словно касание бесплотного духа. Ее охватил страх, такой жестокий, нестерпимый страх, что она не смела пошевелиться, вздохнуть, оглянуться. Сердце у нее колотилось, как во время кошмара.

И вдруг невидимое насекомое снова принялось летать, кружить и стукаться о стены. Она вздрогнула всем телом, но, узнав знакомое жужжание, сразу же успокоилась, встала и обернулась. Взгляд ее упал на бюро, украшенное головами сфинксов, где хранились «реликвии».

И неожиданная благоговейная мысль явилась у нее,— мысль прочесть в эту ночь последнего прощания старые письма, дорогие сердцу покойницы, как она стала бы читать молитвенник. Ей казалось, что тем самым она исполнит некий священный долг, проявит поистине дочернюю чуткость и доставит на том свете радость маменьке.

Это были давние письма от ее деда и бабушки, которых она не знала. Ей хотелось протянуть к ним объятия над телом их дочери, побыть с ними в эту скорбную ночь, как будто и они горевали сегодня, создать некую таинственную цепь любви между ними, умершими давно, той, что скончалась в свой черед, и ею самой, еще оставшейся на земле.

Она встала, откинула доску бюро и вынула из нижнего ящика с десяток мелких пачек пожелтевших писем, аккуратно завязанных и уложенных в ряд.

Из чуткого и нежного, любовного внимания она переложила все их на постель, на руки баронессы, и начала читать. Это были давнишние письма, которые находишь в старинных фамильных бюро и от которых веет минувшим веком.

Первое начиналось со слов: «Моя малютка», другое — «Моя душенька», в дальнейших стояло: «Дорогая детка», «Моя милочка», «Родная моя дочка»; затем: «Дорогое дитя», «Дорогая Аделаида», «Дорогая дочь» — в зависимости от того, были ли они адресованы девочке, девушке или, позднее, молодой женщине.

Но все были полны выражениями горячей и простодушной любви, домашними мелочами, большими и такими обыкновенными семейными событиями, совсем ничтожными для посторонних: у папы лихорадка; няня Гортензия обожгла себе палец; кот Мышелов подох; срубили ель справа от ограды; мама потеряла молитвенник по дороге из церкви, она думает, что его украли.

Шла в этих письмах речь и о людях, незнакомых Жанне, но она смутно припоминала, что слышала их имена когда-то в раннем детстве.

Ее умиляли эти подробности, они казались ей откровениями; она как будто проникла вдруг в заповедные тайники прошлого, в тайники маменькиного сердца. Она посмотрела на простертое тело и неожиданно начала читать вслух, читать для покойницы, словно желая развлечь и утешить ее.

А неподвижное, мертвое тело как будто радовалось.

Одно за другим складывала она письма в ногах кровати; и ей пришло в голову, что их следовало бы положить в гроб, как кладут цветы.

Она развязала новую пачку. Тут почерк был другой. Она начала читать: «Я не могу жить без твоих ласк. Люблю тебя до безумия».

Больше ни слова. Подписи не было.

Она в недоумении вертела письмо. На адресе стояло ясно: «Баронессе Ле Пертюи де Во».

Тогда она развернула следующее: «Приходи сегодня вечером, как только он уедет. Мы пробудем часок вместе. Люблю тебя страстно».

Еще в одном: «Я провел ночь как в бреду, тщетно призывая тебя. Я ощущал твое тело в своих объятиях, твои губы на моих губах, твой взгляд под моим взглядом. И от ярости я готов был выброситься из окна при мысли, что в это самое время ты спишь рядом с ним, что он обладает тобой по своей прихоти...»

Жанна была озадачена, не понимала ничего.

Что это такое? Кому, для кого, от кого эти слова любви?

Она продолжала читать и всюду находила пылкие признания, часы потаенных встреч, советы быть осторожной, и всюду в конце четыре слова: «Не забудь сжечь письмо».

Наконец она развернула официальную записку, простую благодарность за приглашение на обед, но почерк был тот же, и подпись «Поль д'Эннемар» принадлежала тому, кого барон при каждом упоминании до сих пор звал «мой покойный друг Поль» и чья жена была лучшей подругой баронессы.

У Жанны вспыхнула догадка, сразу же перешедшая в уверенность. Он был любовником ее матери.

Тогда, потеряв голову, она стряхнула с колен эти гнусные письма, как стряхнула бы заползшее на нее ядовитое животное, бросилась к окну и горько заплакала, не в силах более сдержать вопли, которые рвались у нее из горла; потом, совсем сломившись от горя, она опустилась на пол у стены, уткнулась в занавеску, чтобы не слышно было ее стонов, и зарыдала в беспредельном отчаянии.

Так бы она пробыла всю ночь, но в соседней комнате послышались шаги, и она стремительно вскочила на ноги. Вдруг это отец? А письма все разбросаны по кровати и по полу! Что, если он развернет хоть одно? И узнает... Узнает это?.. Он?..

Она подбежала, схватила в охапку старые, пожелтевшие письма, и от родителей матери, и от любовника, и те, которые еще не успела развернуть, и те, что лежали еще связанные в ящике бюро, и стала кучей сваливать в камин. Потом взяла одну из свечей, горевших на ночном столике, и подожгла эту груду писем. Сильное пламя взвилось и яркими пляшущими огнями осветило комнату, смертное ложе и труп, а на белых занавесях алькова черной зыбкой тенью выступили очертания огромного тела под простыней и профиль застывшего лица.

Когда в глубине камина осталась только горсть пепла, Жанна вернулась к растворенному окну, словно боялась теперь быть возле покойницы, села и заплакала снова, закрыв лицо руками, жалобно повторяя в тоске:

— Ах, мама! Мамочка! Бедная моя мамочка!

И страшная мысль явилась ей: а если вдруг маменька не умерла, если она только уснула летаргическим сном и сейчас встанет и заговорит? Уменьшится ли ее дочерняя любовь оттого, что она узнала ужасную тайну? Поцелует ли она мать с тем же благоговением? Будет ли по-прежнему боготворить ее, как святыню? Нет. Прежнее не вернется! И от этого сознания у нее разрывалось сердце.

Ночь кончалась, звезды тускнели; наступил час предутренней прохлады. Луна спустилась к горизонту и, перед тем как окунуться в море, заливала перламутром всю его поверхность.

И Жанной овладело воспоминание о ночи, проведенной у окна, после ее приезда в Тополя. Как это было далеко, как все переменилось, как обмануло ее будущее!

Но вот небо стало розовым, радостно, нежно, пленительно розовым. Она смотрела теперь в изумлении, точно на чудо, на это сияющее рождение дня и не могла понять, как возможно, чтобы в мире, где занимаются такие зори, не было ни радости, ни счастья.

Стук двери заставил ее вздрогнуть. Это был Жюльен. Он спросил:

— Ну как? Очень измучилась?

Она тихо сказала «нет» и была рада избавиться от одиночества.

— Теперь ступай отдохни,— сказал он.

Она поцеловала мать долгим, горестным и скорбным поцелуем и ушла к себе в спальню.

День был посвящен печальным хлопотам, связанным со смертью. Барон приехал к вечеру. Он очень горевал.

Похороны состоялись на другой день. После того как Жанна в последний раз прижалась губами к ледяному лбу покойницы, обрядив ее, и после того как забили крышку гроба, она удалилась к себе. Вскоре должны были прибыть приглашенные.

Жильберта приехала первой и, рыдая, бросилась на грудь подруге. Из окна видно было, как подкатывали и сворачивали в ворота экипажи. В вестибюле раздавались голоса. В комнату одна за другой входили женщины в черном, незнакомые Жанне. Маркиза де Кутелье и виконтесса де Бризвиль поцеловали ее.

Неожиданно она заметила, что тетя Лизон жмется за ее спиной. Она нежно обняла ее, отчего старая дева едва не лишилась чувств.

Вошел Жюльен в глубоком трауре, элегантный, озабоченный, довольный таким съездом. Он шепотом обратился к жене за советом. И добавил конфиденциальным тоном:

— Вся знать собралась. Похороны будут вполне приличные.

И пошел дальше, с достоинством поклонившись дамам.

Тетя Лизон и графиня Жильберта одни остались с Жанной на все время похоронного обряда. Графиня непрерывно целовала ее и твердила:

— Бедняжка моя, бедняжка моя!

Когда граф де Фурвиль вернулся за женой, он сам плакал так, словно похоронил собственную мать.

X

Печальны были последующие дни, унылые дни в доме, который кажется пустым из-за отсутствия близкого существа, исчезнувшего навеки, дни, когда при виде каждого предмета из обихода умершего ощущаешь укол боли. Поминутно на сердце падает воспоминание и ранит его. Вот ее кресло, ее зонтик, оставленный в прихожей, ее стакан, который горничная забыла убрать... И во всех комнатах разбросаны ее вещи: ножницы, перчатки, книжка, страницы которой истерты ее отекшими пальцами, и множество других мелочей, приобретающих мучительный смысл оттого, что они напоминают множество ничтожных событий.

И голос ее как будто слышится повсюду; и хочется бежать из дому, избавиться от этого наваждения! А надо оставаться, потому что другие остаются тут и страдают тоже.

Кроме того, Жанна все еще была подавлена своим открытием. Это воспоминание гнетом лежало на ней,— рана в сердце не заживала. Страшная тайна еще усугубляла ее одиночество; последнее доверие к людям рухнуло в ней вместе с последней верой.

Отец спустя некоторое время уехал, ему необходимо было двигаться, переменить обстановку, стряхнуть с себя мрачную тоску, томившую его все сильнее.

И большой дом, время от времени провожавший навеки кого-нибудь из своих хозяев, снова вошел в колею мирной и размеренной жизни.

А потом вдруг заболел Поль. Жанна совсем обезумела, двенадцать суток не спала и почти не ела.

Он выздоровел; но в ней засела страшная мысль, что он может умереть. Что ей тогда делать? Что с ней станется? И потихоньку в душу ее прокралось смутное желание иметь второго ребенка. Вскоре ее уже целиком поглотила прежняя мечта видеть возле себя двух детей, мальчика и девочку. Мечта превратилась в навязчивую идею.

Однако после истории с Розали она жила отдельно от Жюльена. А сближение казалось даже невозможным при существующих обстоятельствах. Жюльен имел связь на стороне, она знала это; и одна мысль об его объятиях вызывала у нее дрожь отвращения.

И все же она претерпела бы их, так мучило ее желание стать матерью; но она не представляла себе, как могут возобно-

виться их ласки. Она умерла бы от унижения, если бы он догадался о ее намерениях; а он явно не думал о ней.

Возможно, она отказалась бы от своей мечты; но теперь что ни ночь ей снилась дочка,— будто бы она вместе с Полем резвится под платаном; и временами ее неудержимо тянуло встать и, не говоря ни слова, пойти к мужу в спальню. Два раза она даже прокрадывалась к самой двери, но тотчас же торопливо убегала, и сердце у нее колотилось от стыда.

Барон уехал; маменька умерла; Жанне некому теперь было довериться, не с кем посоветоваться о своих интимных делах.

Тогда она решила пойти к аббату Пико и под тайной исповеди поведать ему о своих трудных замыслах.

Она застала его за чтением требника в маленьком садике, засаженном плодовыми деревьями.

Поболтав несколько минут о том, о сем, она проговорила, краснея и запинаясь:

— Господин аббат, я хочу исповедаться.

Он изумился и даже поднял очки, чтобы лучше рассмотреть ее, потом засмеялся:

— Однако же у вас на совести вряд ли очень тяжкие грехи.

Она смутилась окончательно и объявила:

— Нет, но мне нужно спросить у вас совета по такому... такому щекотливому делу, что говорить так вот, прямо, я не решаюсь.

Он тотчас сменил обычный свой добродушный вид на осанку священнослужителя.

— Ну что же, дитя мое, пойдемте, я выслушаю вас в исповедальне.

Но она остановилась в нерешительности, ей стало вдруг совестно говорить на такие как будто бы непристойные темы посреди благочиния пустого храма.

— Лучше не надо, господин кюре, лучше... если можно, я здесь вам скажу, зачем я пришла. Знаете, пойдемте сядем у вас в беседке.

Оба пошли туда медленными шагами. Она не знала, как выразить свою мысль, с чего начать. Они уселись.

И тут она начала, словно на исповеди:

— Отец мой...

Потом замялась, повторила еще раз: «Отец мой...» — и умолкла, смешавшись.

Он ждал, сложив руки на животе. Увидя ее смущение, он ободрил ее:

— Что это, дочь моя, вы как будто робеете; да ну же, говорите смелее.

И она отважилась сразу, как трус, который бросается навстречу опасности.

— Отец мой, я хочу второго ребенка.

Он ничего не понял и потому не ответил ей. Тогда она стала объяснять, волнуясь, не находя слов:

— Я теперь одна на свете; отец и муж не очень ладят между собой, мама умерла; а тут, тут...

Она произнесла шепотом, содрогнувшись:

— На днях я чуть не лишилась сына! Что бы со мной сталось тогда?

Она замолчала. Священник в недоумении смотрел на нее.

— Ну, так чего же вы хотите?

— Я хочу второго ребенка,— повторила она.

Тогда он заулыбался, привычный к сальным шуткам крестьян, которые при нем не стеснялись, и ответил, лукаво покачивая головой:

— Что ж, мне кажется, дело за вами.

Она подняла на него свои невинные глаза и пролепетала в смущении:

— Да ведь... ведь... после того... вы знаете... после того, что случилось... с этой горничной... мы с мужем живем... совсем врозь.

Он привык к распущенным, лишенным достоинства нравам деревни и удивился такому признанию, но потом решил, что угадывает скрытые побуждения молодой женщины. Он поглядел на нее искоса с благожелательством и сочувствием к ее беде.

— Так, так, я понял вас. Вам в тягость ваше... ваше вдовство. Вы женщина молодая, здоровая. Словом, это естественно, вполне естественно.

Он снова заулыбался, давая волю присущей ему игривости деревенского кюре, и ласково похлопал Жанну по руке.

— Заповедями это дозволено, совершенно дозволено: «Только в браке пожелаешь себе мужа». Вы ведь состоите в браке, правда? Так не затем же, чтобы сажать репу.

Теперь она, в свой черед, не понимала его намеков. Но как только смысл их стал ей ясен, она залилась краской и разволновалась до слез:

— Ах, что вы, господин кюре? Как вы могли подумать? Клянусь вам... клянусь...

Она захлебнулась от рыданий.

Он был поражен и стал успокаивать ее:

— Ну, что вы, я не хотел вас обидеть. Я только пошутил немножко; почему не пошутить честному человеку? Но положитесь на меня, положитесь смело. Я побеседую с господином Жюльеном.

Она не знала, что ответить. Теперь ей хотелось уклониться от его вмешательства, которое могло оказаться бестактным, а потому вредным. Но она не посмела и поспешила уйти, пробормотав:

— Благодарю вас, господин кюре.

Прошла неделя. Жанна провела ее в томительной тревоге.

Как-то вечером Жюльен весь обед посматривал на нее странным взглядом, посмеиваясь, как всегда, когда бывал игриво настроен. Он даже слегка ухаживал за ней с чуть заметной иронией, а когда они гуляли потом по большой маменькиной аллее, он шепнул ей на ухо:

— Говорят, между нами мир?

Она не ответила. Она всматривалась в черту на земле, почти уже заглушенную травой. Это был след маменькиной ноги, и он стирался, как стирается воспоминание. А у Жанны сердце сжималось от тоски, ей казалось, что она затеряна в жизни, безмерно одинока.

— Я лично очень рад,— продолжал Жюльен.— Я только не желал навязываться.

Солнце садилось, вечер был теплый и тихий. Жанне хотелось плакать, хотелось излить душу другу, прижаться к нему и пожаловаться на свое горе. Рыдания подступили ей к горлу. Она раскрыла объятия и упала на грудь Жюльену.

Она плакала. А он в недоумении смотрел на ее затылок, потому что лицо было спрятано у него на груди. Он решил, что она по-прежнему любит его, и запечатлел снисходительный поцелуй на ее волосах.

Вернулись они молча. Он вошел с ней в ее спальню и провел у нее ночь.

Так возобновились их былые отношения. Он осуществлял их как обязанность, однако довольно приятную, она же терпела их как тягостную и мучительную необходимость, с твердым намерением прекратить их навсегда, едва только забеременеет вторично.

Но вскоре она заметила, что ласки мужа не похожи на прежние. Они стали, пожалуй, искуснее, но сдержаннее. Он об-

ращался с ней, как осторожный любовник, а не как безмятежный супруг.

Она удивилась, стала наблюдать и вскоре заметила, что ласки его неизменно обрываются до того, как она может быть оплодотворена.

Однажды ночью она прошептала ему, уста к устам:

— Почему ты не отдаешься мне всецело, как прежде?

Он захохотал:

— Понятно почему,— чтобы ты не забеременела.

Она вздрогнула.

— Почему ты не хочешь больше детей?

Он застыл от изумления.

— Как? Что ты говоришь? Ты с ума сошла? Еще ребенка? Ну нет, увольте. Довольно, что один тут пищит, отвлекает всех и стоит денег. А еще второго? Благодарю покорно!

Она обхватила его, осыпала поцелуями и между ласками шепнула:

— Милый, умоляю тебя, сделай меня еще раз матерью.

Но он рассердился, как будто она оскорбила его.

— Право же, ты не в своем уме. Прошу тебя, прекрати эти глупости.

Она замолчала и про себя решила хитростью добиться от него желанного счастья.

Теперь она старалась продлить его ласки, разыгрывала комедию безумной страсти, судорожно прижимая его к себе в притворном упоении. Она прибегала ко всяческим уловкам, но он не терял самообладания и не забылся ни разу.

И тут, когда неотступное желание совсем истерзало ее, когда она дошла до предела и готова была всем пренебречь, на все дерзнуть, она снова отправилась к аббату Пико.

Он кончал завтрак и был очень красен, потому что после еды всегда страдал сердцебиением. Увидев ее, он закричал: «Ну, как?» — ему не терпелось узнать результаты своего посредничества.

Теперь она была решительнее, отбросила стыдливую робость и отвечала прямо:

— Мой муж не хочет больше иметь детей.

Аббат повернулся к ней, живо заинтересовавшись и собираясь с любопытством священника порыться в тех альковных тайнах, которые развлекали его в исповедальне. Он спросил:

— Как же так?

Несмотря на всю свою отвагу, она смутилась и не знала, как объясниться:

— Ну... ну... он отказывается сделать меня матерью.

Аббат понял, он был сведущ в этих делах, и принялся допрашивать о мельчайших подробностях с жадностью мужчины, обреченного поститься.

Потом он подумал немного и спокойным тоном, как говорил бы о хороших видах на урожай, во всех деталях начертал ей план умелых действий.

— Дитя мое, вам осталось одно средство — обманите его, скажите, что вы беременны. Он перестанет остерегаться. Вы и забеременеете на самом деле.

Она вспыхнула до корней волос, но решила не отступать ни перед чем:

— А если... если он мне не поверит?

Кюре хорошо знал способы направлять людей и держать их в руках:

— Оповестите всех о своей беременности, рассказывайте о ней направо и налево; под конец придется поверить и ему.

Затем, как бы желая оправдать себя за эту хитрость, он присовокупил:

— Вы вполне в своем праве, церковь допускает сношения между мужчиной и женщиной лишь во имя продолжения рода.

Она последовала хитрому совету и через две недели объявила Жюльену о своей предполагаемой беременности. Он даже подскочил:

— Неправда. Быть этого не может!

Она указала причины своих подозрений. Но он постарался успокоить самого себя:

— Ну! Это ничего не значит. Погоди немного.

И он стал спрашивать каждое утро:

— Ну, как?

А она неизменно отвечала:

— Пока ничего. Да у меня нет сомнений, что я беременна.

Теперь он забеспокоился, досадуя и огорчаясь еще больше, чем недоумевая. Он твердил:

— Не понимаю, решительно ничего не понимаю. Хоть убей, не знаю, как это случилось.

Через месяц она рассказывала свою новость всем на свете, не рассказывала только графине Жильберте из какого-то сложного чувства целомудренной деликатности.

После первого тревожного известия Жюльен не приходил к ней; потом в досаде махнул рукой, заявив:

— Вот уж непрошеный подарок.

И снова стал бывать в спальне жены.

Все шло в точности, как предвидел священник. Она забеременела.

Тогда в приливе самозабвенной радости и благодарности к тому неведомому божеству, которому она поклонялась, Жанна дала клятву вечного целомудрия и стала каждую ночь запирать свою дверь.

Она опять была почти счастлива и только удивлялась, как быстро утихла ее скорбь после смерти матери. Она думала, что не утешится никогда, а не прошло и двух месяцев, как открытая рана стала затягиваться. Осталась только умиленная грусть, словно дымка печали, наброшенная на ее жизнь. Она не ожидала впереди никаких потрясений. Дети будут расти и любить ее; она состарится в душевном покое, не думая о муже.

В конце сентября аббат Пико явился с официальным визитом, в новой сутане, не успевшей просалиться за неделю; он представил своего преемника, аббата Тольбиака. Это был совсем еще молодой священник, низенький, тощий, выражался он высокопарно, а глаза, впалые, обведенные темными кругами, выдавали в нем страстность души.

Старый кюре был назначен деканом в Годервиль.

Жанне его отъезд причинил настоящее огорчение. С этим толстяком были связаны все воспоминания ее жизни после замужества. Он ее венчал, он крестил Поля и хоронил баронессу. Она не представляла себе Этувана без мелькающего вдоль ферм брюшка аббата Пико, да она и любила его за веселый, искренний нрав.

Несмотря на повышение, он тоже, казалось, не радовался. Он говорил:

— Нелегко мне это, нелегко, виконтесса. Целых восемнадцать лет пробыл я здесь. Конечно, приход небогатый и вообще не бог весть какой. Мужчины веруют не больше, чем полагается, а женщины, надо признаться, ведут себя весьма непохвально. Девушки не приходят в церковь венчаться без того, чтобы не побывать у божьей матери всех пузатых, и цветы померанца дешево ценятся здесь. А я все-таки любил эти места.

Новый кюре явно был недоволен и даже весь покраснел. Внезапно он заявил:

— При мне все это должно перемениться.

Он напоминал злого ребенка, худой, щуплый, в потертой, но опрятной сутане.

Аббат Пико посмотрел на него искоса, как смотрел обычно в веселые минуты, и возразил:

— Ну, знаете, аббат, чтобы положить конец этим делам, придется посадить ваших прихожан на цепь; да и то не поможет.

Молодой священник ответил жестко:

— Что ж, увидим.

А старый кюре улыбнулся, втягивая в нос понюшку.

— Годы, а с ними и опыт охладят ваш пыл, аббат. Чего вы добьетесь? Отпугнете от церкви последних богомольцев — только и всего. Берегитесь — люди в здешних местах верующие, но озорные. Право же, когда я вижу, что в церковь послушать проповедь входит девушка, толстоватая на мой взгляд, я думаю: «Ну вот, принесет мне нового прихожанина»,— и стараюсь выдать ее замуж. Грешить вы их не отговорите, так и знайте, а зато вы можете пойти к парню и уговорить, чтобы он не бросил мать своего ребенка. Жените их, аббат, жените, а о другом и не помышляйте!

Новый кюре ответил сурово:

— Мы мыслим по-разному, и спорить нам бесполезно.

И аббат Пико принялся вновь оплакивать свою деревушку, море, которое было ему видно из окон церковного дома, воронкообразные лощинки, где он бродил, читая требник и поглядывая вдаль на проходящие мимо суда.

Оба священника откланялись. Старик поцеловал Жанну, которая с трудом сдержала слезы.

Спустя неделю аббат Тольбиак пришел снова. Он рассказал о начатых им преобразованиях тоном монарха, вступившего во владение королевством. Затем он попросил виконтессу непременно присутствовать на воскресной службе и причащаться каждый большой праздник.

— Мы с вами стоим во главе общины,— говорил он,— мы призваны руководить ею и неизменно подавать пример, достойный подражания. Мы должны быть единодушны, дабы пользоваться влиянием и почетом. Если церковь и замок заключат между собой союз, хижины будут бояться нас и подчиняться нам.

Вера Жанны покоилась исключительно на чувстве; она была, как все женщины, настроена несколько мистически, а обряды выполняла с грехом пополам, главным образом по монастырской привычке, так как вольнодумная философия барона давно опрокинула ее религиозные убеждения.

Аббат Пико довольствовался тем малым, что она могла дать, и никогда не укорял ее. Но преемник его, не увидев ее у обедни в одно из воскресений, прибежал в тревоге и гневе.

Она не хотела порывать отношения с церковным домом и пообещала все, решив про себя только из любезности проявлять усердие в первые недели.

Но мало-помалу она привыкла ходить в церковь и поддалась влиянию этого хилого, но стойкого и властного аббата. Он привлекал ее, как фанатик, своей восторженной страстностью. Он задевал в ней те самые струны мистической поэзии, которые звучат в душе каждой женщины. Непреклонная строгость, презрение к чувственным радостям, отвращение к мирским делам, любовь к богу, непримиримость подростка, суровая речь, несгибаемая воля — таковы, казалось Жанне, были черты мучеников; и ее, исстрадавшуюся и разочарованную во всем, увлек упрямый фанатизм этого юноши, служителя небес.

Он вел ее ко Христу-утешителю, обещая ей утоление всех страданий в благочестивых радостях религии; и она смиренно преклоняла колена на исповеди, чувствовала себя маленькой и слабой перед этим пастырем, которому на вид было пятнадцать лет.

Но его вскоре возненавидел весь приход.

К себе он был неуклонно строг и к другим проявлял беспощадную нетерпимость. Особенно распаляла его гневом и возмущением любовь. Во время проповеди он громил ее, по церковному обычаю, в самых откровенных выражениях, оглушая своих деревенских слушателей звучными тирадами против похоти; и сам при этом дрожал от ярости, топал ногами, весь во власти тех образов, которые вызывал своими яростными обличениями.

Взрослые парни и девушки исподтишка переглядывались через всю церковь, а старики крестьяне, любившие попутить на эту тему, неодобрительно отзывались о нетерпимости плюгавого кюре, возвращаясь от обедни с сыном в синей блузе и женой в черной накидке. Вся округа волновалась.

Люди шушукались между собой о том, как он строг на исповеди, какое суровое накладывает покаяние; а то, что он упорно отказывал в отпущении грехов девушкам, не сумевшим соблюсти невинность, давало пищу для зубоскальства. Во время торжественного праздничного богослужения прихожане посмеивались при виде девиц, сидевших на своих скамьях, когда все остальные шли к причастию.

Вскоре он стал выслеживать влюбленных и мешать их свиданиям, как сторож преследует браконьеров. В лунные вечера он гонял их из придорожных канав, из-за амбаров, из зарослей дрока на склонах отлогих холмов.

Однажды он обнаружил чету, которая не разъединилась при виде его; молодые люди шли, обнявшись, по каменистому оврагу и целовались.

Аббат закричал:

— Перестаньте вы, скоты этакие!

Парень обернулся и ответил:

— Занимайтесь своими делами, господин кюре, а в наши не суйтесь.

Тогда аббат подобрал камешки и стал швырять в них, точно в собак.

Они убежали, дружно смеясь; а в следующее воскресенье он во всеуслышание объявил с амвона их имена.

Все местные парни перестали ходить в церковь.

Кюре обедал в господском доме каждый четверг и среди недели нередко заходил побеседовать со своей духовной дочерью. Подобно ему, она доводила себя до экстаза, когда они рассуждали о духовных предметах, пуская в ход весь старинный и сложный арсенал религиозной казуистики.

Они гуляли вдвоем по большой маменькиной аллее и говорили о Христе, об апостолах, о пресвятой деве и отцах церкви, как о своих личных знакомых. Они останавливались, когда выдвигали особенно глубокомысленные проблемы и вдавались в мистические бредни, причем она увлекалась поэтическими умозаключениями, ракетой взлетавшими прямо в небо, он же приводил более положительные аргументы, точно маньяк, который взялся бы математически доказать квадратуру круга.

Жюльен выказывал новому кюре большое уважение, то и дело повторяя:

— Вот это, я понимаю, священник! Этот на уступки не пойдет.

И он исповедовался и причащался, сколько требовалось, щедро «подавая пример».

Теперь он почти ежедневно бывал у Фурвилей, охотился с мужем, который не мог жить без него, и катался верхом с графиней даже в дождь и в непогоду. Граф говорил:

— Они совсем помешались на верховой езде, но ничего, жене это полезно.

Барон приехал к середине ноября. Он изменился, постарел, притих, погрузился в беспросветную тоску, снедавшую его душу. И сразу же любовь к дочери вспыхнула в нем с новой силой, как будто несколько месяцев унылого одиночества довели у него до предела жажду привязанности, душевной близости, нежности.

Жанна не стала поверять ему свои новые взгляды, дружбу с аббатом Тольбиаком и свое религиозное рвение, но он с первого же раза почувствовал жгучую неприязнь к священнику.

И когда молодая женщина спросила вечером:

— Как ты его находишь? — барон ответил:

— Это сущий инквизитор! И, должно быть, опасный человек.

А затем, узнав от крестьян, которым он был другом, о жестокостях молодого священника, о гонениях его против естественных законов и врожденных инстинктов, барон всей душой возненавидел его.

Сам он был из поколения старых философов, почитателей природы, умилялся при виде соединения двух живых тварей, поклонялся некоему божеству пантеистов и восставал против католического бога с взглядами мещанина, злобностью иезуита и мстительностью тирана, бога, принижавшего в его глазах творение,— неотвратимое, безграничное, всемогущее творение, которое есть жизнь, свет, земля, мысль, растение, камень, человек, воздух, животное, звезда, бог и насекомое одновременно, творящее, потому что оно творение, потому что оно сильнее воли, необъятнее разума, и созидает оно без цели, без смысла и без конца, во всех направлениях и видах, по всему беспредельному пространству, в зависимости от случая и соседства солнц, согревающих миры.

В творении заключены все зародыши, мысль и жизнь произрастают в нем, как цветы и плоды на деревьях.

Поэтому для барона размножение было великим вселенским законом, почетным, священным, божественным актом, осуществляющим непостижимую и неизменную волю верховного существа. И он начал энергично восстанавливать ферму за фермой против нетерпимого священника, гонителя жизни.

Жанна в отчаянии молила господа, заклинала отца, но он отвечал неизменно:

— С такими людьми надо вести борьбу, это наш долг и наше право. Они не люди, а выродки.

И он повторял, встряхивая длинными седыми волосами:

— Это выродки; они не понимают ничего, ровно ничего. Они действуют под влиянием пагубного заблуждения, они противоестественны.

В его устах «противоестественны» звучало как проклятие.

Священник хоть и чуял врага, но хотел сохранить власть

над господским домом и молодой хозяйкой и потому выжидал, не сомневаясь в конечной победе.

Кроме того, его неотступно преследовала одна мысль: он случайно обнаружил любовную интригу Жюльена и Жильберты и во что бы то ни стало хотел положить ей конец.

Однажды он явился к Жанне и после долгой беседы на мистические темы предложил ей в союзе с ним побороть и истребить зло в ее собственной семье, спасти от гибели две души.

Она не поняла его и стала допытываться. Он ответил:

— Еще не приспело время, но скоро я снова посещу вас.

И поспешил уйти.

Было это в конце зимы, гнилой зимы, как говорят в деревне, сырой и теплой.

Аббат явился снова через несколько дней и в туманных выражениях повел речь о недостойных связях между людьми, которым надлежало бы вести себя безупречно.

— А тем, кто осведомлен о таких греховных делах,— говорил он,— следует всеми способами пресекать их.— Потом он вдался в возвышенные рассуждения, взял Жанну за руку и призвал ее открыть глаза, понять, наконец, и помочь ему.

На этот раз она поняла, но молчала, с ужасом предвидя все то тягостное, что может обрушиться на ее умиротворенный дом; и она притворилась, будто не знает, о чем говорит аббат. Тогда он решил объясниться прямо:

— Мне выпала на долю тяжелая обязанность, виконтесса, но уклониться от нее я не могу. Мой сан повелевает мне осведомить вас о том, чему вы можете помешать. Итак, знайте, что муж ваш состоит в преступных отношениях с госпожой де Фурвиль.

Она в покорном бессилии склонила голову.

Аббат не унимался:

— Что вы намерены сделать теперь?

— Что же мне делать, господин аббат? — прошептала она.

— Воспрепятствовать этой беззаконной страсти,— отрезал он.

Тогда она заговорила в тоске, сквозь слезы:

— Ведь он уже обманывал меня с прислугой; он не обращает на меня внимания; он разлюбил меня; он груб со мной, когда мои желания ему не по нутру. Что же я могу поделать?

Кюре вместо прямого ответа возопил:

— Значит, вы это приемлете! Вы примиряетесь! Вы соглашаетесь! Вы терпите прелюбодеяние под вашим кровом! На ва-

ших глазах совершается преступление, а вы отводите взгляд? И при этом вы полагаете, что вы супруга? Христианка? Мать?

— Что же мне делать? — прорыдала она.

— Все, что угодно, только не терпеть эту мерзость,— отвечал он.— Все, говорю я вам. Бросьте его, бегите из этого осквернённого дома.

— Но у меня нет денег, господин аббат,— возразила она.— И сил тоже нет больше. И как уйти без доказательств? Я даже права на это не имею.

Священник поднялся, весь дрожа.

— В вас говорит трусость, сударыня. Я считал вас иной. Вы не достойны божьего милосердия!

Она упала на колени.

— О нет, прошу вас, не покидайте меня! Наставьте меня!

Он произнес отрывисто:

— Откройте глаза господину де Фурвиль. Он, и никто другой, должен положить конец этой связи.

От одной этой мысли ее охватил ужас.

— Да ведь он убьет их, господин аббат! И чтобы я выдала их! Нет, нет, никогда!

Тогда он поднял руку, словно для проклятия, вне себя от гнева:

— Так живите же в позоре и преступлении, ибо вы виновнее их. Вы потворствуете мужу! Мне же здесь больше делать нечего.

Он ушел разъяренный, дрожа всем телом.

Она побежала за ним как потерянная и уже готова была уступить, уже бормотала обещания. Но он весь трясся от возмущения и стремительно шагал, в бешенстве размахивая огромным синим зонтом, чуть ли не больше его самого.

Он заметил Жюльена, который стоял возле ограды и указывал, как подстригать деревья; тогда он повернул налево, чтобы пройти фермой Куяров; при этом он твердил:

— Оставьте меня, сударыня, нам с вами не о чем говорить.

Как раз на его пути, посреди двора, кучка детворы, хозяйской и соседской, собралась вокруг конуры собаки Мирзы и с любопытством, молча, пытливо и внимательно рассматривала что-то. А среди детей, точно школьный учитель, заложив руки за спину и также любопытствуя, стоял барон. Но едва он завидел священника, как поспешил уйти, чтобы не встречаться, не раскланиваться, не разговаривать с ним.

Жанна говорила с мольбой:

— Подождите несколько дней, господин аббат, а потом придите снова. Я расскажу вам, что мне удалось придумать и сделать, и тогда мы все обсудим.

Тут они очутились возле детей, и кюре подошел поближе, посмотреть, чем там заняты малыши. Оказалось, что щенится собака. Перед конурой пятеро щенят уже копошились вокруг матери, а она лежала на боку, вся измученная, и заботливо лизала их. В ту минуту как священник нагнулся над ней, она судорожно вытянулась, и появился шестой щенок. И все ребятишки завопили в восторге, хлопая в ладоши:

— Еще один, гляди, гляди, еще один!

Для них это была забава, невинная забава, в которой не было ничего нечистого. Они смотрели, как рождаются живые существа, не иначе, чем смотрели бы, как падают с дерева яблоки.

Аббат Тольбиак сперва остолбенел, потом в приливе неудержимого бешенства занес свой огромный зонт и принялся с размаху колотить детей по головам. Испуганные ребятишки пустились наутек; и он очутился прямо перед рожавшей сукой, которая силилась подняться. Но он даже не дал ей встать на ноги и, не помня себя, начал изо всей мочи бить ее. Она была на цепи, а потому не могла убежать и страшно визжала, извиваясь под ударами. У него сломался зонт. Тогда, оказавшись безоружным, он наступил на нее и стал яростно топтать ее ногами, мять и давить. Под нажимом его каблуков у нее выскочил седьмой детеныш, после чего аббат в неистовстве прикончил каблуком окровавленное тело, которое шевелилось еще посреди новорожденных, а они, слепые, неповоротливые, пищали и уже искали материнские сосцы.

Жанна бросилась было прочь, но кто-то вдруг схватил священника за шиворот и пощечиной сбил с него треуголку; дотащив его до ограды, разъяренный барон вышвырнул его на дорогу.

Когда г-н Ле Пертюи обернулся, он увидел, что дочь его рыдает, стоя на коленях посреди щенят, и собирает их в подол своего платья. Он пошел к ней обратно крупными шагами, жестикулируя и выкрикивая:

— Вот он, вот он, твой долгополый! Видала его теперь?

Сбежались фермеры, и все смотрели на растерзанное животное, а тетка Куяр заметила:

— Бывают же такие дикари!

Жанна подобрала семерых щенят и решила их выходить.

Их пытались поить молоком; трое околели на следующий

день. Тогда дядюшка Симон отправился искать по всей округе ощенившуюся суку, но не нашел и принес взамен кошку, уверяя, что она вполне пригодится. Пришлось утопить еще троих щенят, а последнего отдать на воспитание этой кормилице другого племени. Она сразу же приняла его, улеглась на бок и подставила ему сосок.

Через две недели песика отняли от кошки, чтобы он не изнурил свою приемную мать, и Жанна взялась сама кормить его с рожка. Она назвала его Тото. Барон же самовольно переменил имя и окрестил его «Убой».

Священник больше не приходил, но в ближайшее воскресенье он с кафедры осыпал проклятиями, поношениями и угрозами господский дом, заявил, что надо каленым железом выжигать язвы, предал анафеме барона, которого это только позабавило, и намекнул еще нерешительно и туманно на любовные похождения Жюльена. Виконт рассвирепел, но страх громкого скандала умерил его пыл.

Отныне священник в каждой проповеди возвещал свое мщение, предрекал, что близок час божьего гнева, когда кара постигнет всех его врагов.

Жюльен обратился к архиепископу с почтительным, но весьма настойчивым письмом. Аббату Тольбиаку пригрозили опалой. Он замолк.

Теперь он совершал долгие одинокие прогулки, размашисто шагая в сильнейшем возбуждении. Когда Жильберта и Жюльен катались верхом, они встречали его на каждом шагу,— иногда он маячил черной точкой где-нибудь на дальнем конце равнины или на гребне кряжа, иногда он читал требник в узкой долине, куда они направлялись. И они поворачивали обратно, чтобы не проезжать мимо него.

Настала весна и разожгла их любовь, каждый день бросая их в объятия друг друга то здесь, то там, под любым кровом, какой только попадался им на пути.

Листва на деревьях еще сквозила, а земля еще не просохла, и они не могли, как в разгар лета, углубляться в лесную чащу и потому облюбовали для своих тайных свиданий передвижную пастушью сторожку, брошенную с осени на вершине Вокотского холма.

Она стояла одна, высоко поднятая на колесах, в пятистах метрах от кряжа, близ того места, откуда начинался крутой спуск к долине. Их не могли застичь там врасплох, так как им была видна вся окрестность; а лошади, привязанные к оглоблям, дожидались, пока они насытятся поцелуями.

Но вот однажды, в ту минуту, когда они покидали свое убежище, они заметили аббата Тольбиака, который сидел, укрывшись в прибрежных камышах.

— Придется оставлять лошадей в овраге,— сказал Жюльен.— Они могут выдать нас.

И они стали привязывать коней в поросшей кустарником лощинке.

Но как-то вечером, возвращаясь вдвоем в Ла-Врийет, где их ждал к обеду граф, они встретили этуванского кюре, выходившего из дома. Он посторонился, чтобы пропустить их, и, кланяясь, отвел взгляд в сторону.

Они встревожились, но вскоре успокоились.

Однако как-то в холодный ветреный день,— было это в начале мая,— Жанна читала у камина и вдруг увидела графа де Фурвиль, который шел к ним в Тополя таким торопливым шагом, что она испугалась, не случилось ли несчастья.

Она поспешила ему навстречу и, очутившись с ним лицом к лицу, подумала, что он помешался. На нем была охотничья куртка, на голове большой меховой картуз, который он носил только у себя в имении, а сам он был так бледен, что рыжие усы, не выделявшиеся обычно на его румяном лице, теперь казались огненными. Взгляд был безумный, глаза бессмысленно блуждали.

— Моя жена ведь здесь, правда? — выговорил он.

Жанна, совсем растерявшись, ответила:

— Нет, я ее даже не видала сегодня.

Он сел, как будто у него подкосились ноги, снял картуз и несколько раз машинально провел носовым платком по лбу; затем вскочил, подошел к молодой женщине, протянув обе руки и открыв рот, словно собирался сказать что-то, поверить ей какое-то жестокое горе, но вдруг остановился, пристально взглянул на нее и проронил, как в бреду:

— А он-то ведь ваш муж... значит, и вы...

И бросился бежать по направлению к морю.

Жанна пыталась догнать его, звала, умоляла, а сердце у нее сжималось от ужаса при мысли: «Он все знает! Что он сделает? Ох, только бы он не нашел их!»

Но удержать его она не могла, он не слушал ее. Он шел без колебаний, напрямик, к определенной цели. Он перепрыгнул ров, огромными шагами пересек заросли камыша и достиг кряжа.

Стоя на обсаженном деревьями откосе, Жанна долго следила за ним глазами, потом, потеряв его из виду, в мучительной тревоге вернулась домой.

А он свернул вправо и побежал. Неспокойное море угрюмо катило волны. Тяжелые, совсем черные тучи с бешеной скоростью надвигались, проплывали, за ними вслед другие,— и все обрушивались на берег яростным дождем. Ветер свистал, выл, стлался по траве, пригибал молодые побеги и, подхватывая больших белых птиц, как хлопья пены, гнал их далеко от моря. Ливень налетал порывами, хлестал графа по лицу, заливал ему щеки водой, которая стекала по усам, наполнял его уши шумом, а сердце смятением.

Прямо перед ним открывалась узкая глубокая Вокотская долина. Вокруг — ничего, кроме пастушьей сторожки и пустого загона для овец возле нее. К оглоблям домика на колесах были привязаны две лошади. Чего было опасаться в такую непогоду?

Едва увидев их, граф припал к земле и пополз на руках и на коленях, напоминая какое-то чудовище,— большой, весь измазанный, в мохнатом картузе.

Так он добрался до уединенной лачуги и спрятался под ней, чтобы его не заметили сквозь щели между досок.

Лошади заволновались, увидев его. Он осторожно перерезал уздечки ножом, который держал наготове. В этот миг налетел ураган, и лошади умчались, подхлестнутые градом, который барабанил по косой кровле дощатого домика на колесах и сотрясал его.

Тогда граф привстал на колени, прильнул глазом к отверстию под дверью и заглянул внутрь.

Теперь он не шевелился; он как будто выжидал; это длилось долго; и вдруг он выпрямился, весь в грязи с головы до пят. Яростным движением задвинул он засов, запиравший дверь снаружи, схватил оглобли и стал встряхивать всю конурку, как будто хотел разнести ее в щепы. Затем быстро впрягся в нее и, согнув свой высокий стан, в неимоверном усилии стал тянуть, точно вол, задыхаясь от натуги; так увлек он до начала крутого склона подвижной домик вместе с теми, кто был внутри.

Они кричали, колотили в дверь кулаками, не могли понять, что происходит.

Очутившись на краю, граф выпустил из рук оглобли, и домик покатился с обрыва вниз.

Он несся все быстрее, все неудержимее, ускоряя свой бег, прыгал, спотыкался, словно животное, бил по земле оглоблями.

Старик нищий, укрывшийся в овраге, видел, как деревянный ящик вихрем промчался над его головой, и услышал доносившиеся изнутри дикие крики.

Внезапно от сторожки толчком оторвало колесо, она повалилась набок и покатилась дальше, как кубарь, как сорвавшийся с вершины горы дом. Достигнув последнего уступа, она подпрыгнула, описав дугу, рухнула на дно и раскололась, как яйцо.

Едва только она разбилась на каменистом дне оврага, как старик нищий, свидетель ее падения, потихоньку пробрался сквозь кустарники; по своей крестьянской осторожности он побоялся подойти к разлетевшемуся в щепки ящику и отправился на ближайшую ферму сообщить о случившемся.

Сбежались люди; подняли обломки; увидели два тела, разбитые, изувеченные, окровавленные. У мужчины был размозжен череп, изуродовано все лицо. У женщины отвисла оторванная челюсть, и у обоих перебитые, раздробленные руки и ноги болтались, словно в них не было костей.

Однако их опознали; начались бесконечные толки о причинах несчастья.

— Что им там понадобилось, в будке-то? — заметила одна женщина.

Тогда нищий высказал предположение, что они спрятались там от ливня, а ветер, должно быть, налетел как бешеный, опрокинул и спихнул сторожку. Он пояснил, что и сам собирался укрыться там, но увидел лошадей, привязанных к оглоблям, и понял, что место занято.

Он добавил с довольным видом:

— Кабы не они, меня бы прихлопнуло.

— Оно, пожалуй, и лучше было б,— откликнулся какой-то голос.

Тогда старик страшно обозлился:

— Почему такое «лучше»? Что я бедняк, а они богачи?.. Так гляньте-ка на них теперь.

Весь дрожа, оборванный, промокший, грязный, с всклокоченной бородой и длинными космами, висевшими из-под рваной шляпы, он ткнул концом крючковатой палки в оба трупа и сказал:

— Тут-то все мы равны.

Подоспели еще крестьяне и косились на трупы беспокойным, подозрительным, испуганным, корыстным и трусливым взглядом. Потом стали толковать, как поступить; решено было, в надежде на вознаграждение, отвезти обоих покойников к ним домой. Запрягли две тележки, но тут возникло новое осложнение. Одни хотели просто устлать дно повозки соломой, другие считали, что приличнее будет положить тюфяки.

Женщина, уже подававшая голос, крикнула:

— Да их потом и щелоком от крови не отмоешь.

На это возразил толстый фермер, с виду весельчак:

— Ведь за них же заплатят. Чем больше потратимся, тем больше получим.

Его довод убедил всех.

И две тележки на больших колесах без рессор отправились одна вправо, другая влево, встряхивая и подкидывая на каждом ухабе останки двух людей, которые недавно держали друг друга в объятиях, а теперь разлучились навсегда.

Как только граф увидел, что сторожка покатилась с кручи, он бросился бежать со всех ног под дождем и ветром. Так бегал он несколько часов, пересекал дороги, перепрыгивал насыпи, ломал изгороди; он сам не помнил, как вернулся домой уже в сумерках. Испуганные слуги встретили его и сообщили, что обе лошади вернулись без всадников. Лошадь Жюльена последовала за лошадью Жильберты.

Господин де Фурвиль пошатнулся и проговорил прерывающимся голосом:

— Погода такая ужасная, что с ними, наверно, случилось несчастье. Немедленно разослать всех на розыски.

Сам он пошел тоже, но едва только скрылся из виду, как спрятался в кустарнике и стал смотреть на дорогу, в ту сторону, откуда, мертвой, или умирающей, или же искалеченной, изуродованной навсегда, должна была вернуться та, кого он все еще любил исступленно и страстно.

И вскоре мимо него проехала тележка с каким-то странным грузом.

Она остановилась перед оградой дома, потом въехала во двор. Да, это была *она*, это было *оно*. Но безумный испуг пригвоздил его к месту, боязнь узнать все, страх перед правдой; он не шевелился, притаившись, как заяц, и вздрагивал от малейшего шума.

Так прождал он час, а может быть, и два. Повозка не выезжала. Он решил, что жена его при смерти, и мысль увидеть ее, встретиться с ней взглядом вселила в него ужас; он испугался, что его убежище обнаружат, тогда ему придется вернуться, быть свидетелем ее агонии, и он убежал еще дальше, в самую глубь леса. Но вдруг он подумал, что ей, может быть, нужна помощь, а некому ухаживать за ней, и опрометью бросился назад.

На пути он встретил садовника и крикнул ему:

— Ну что?

Тот не решался ответить. Тогда г-н Фурвиль не спросил, а скорее проревел:

— Умерла?

И слуга пробормотал:

— Да, ваше сиятельство.

У него сразу отлегло от сердца. Небывалый покой проник в его кровь, во все сведенное судорогой тело; и он твердым шагом взошел на высокое крыльцо своего дома.

Вторая телега тем временем приехала в Тополя. Жанна издалека заметила ее, увидела тюфяк, угадала, что на нем лежит тело, и поняла все. Потрясение было так сильно, что она упала без чувств.

Когда она опомнилась, отец поддерживал ей голову и смачивал уксусом виски. Он спросил нерешительно:

— Ты уже знаешь?..

— Да, отец,— прошептала она.

Но когда она попыталась встать, оказалось, что она не может подняться от боли.

В тот же вечер она родила мертвого ребенка, девочку.

Она не видела похорон Жюльена и ничего не знала о них. Она только заметила через день или два, что возвратилась тетя Лизон; и в лихорадочном бреду, терзавшем ее, она упорно силилась восстановить в памяти, когда, в какую пору и при каких обстоятельствах старая дева уехала из Тополей. И никак не могла припомнить, даже в минуты полного сознания, только знала твердо, что видела ее после кончины маменьки.

XI

Три месяца она не покидала своей спальни и до того побледнела и ослабела, что все уже потеряли надежду на ее выздоровление. Но мало-помалу она стала оживать. Папенька и тетя Лизон поселились в Тополях и не отходили от нее. После перенесенного потрясения у нее осталась болезненная нервозность; от малейшего шума она теряла сознание и впадала в долгий обморок по самым незначительным причинам.

Ни разу не спросила она подробностей о смерти Жюльена. Не все ли ей было равно? Она и так знала достаточно. Все, кроме нее, считали, что произошел несчастный случай. Она же хранила в душе мучительную тайну адюльтера и неожиданного зловещего появления графа в день несчастья.

Теперь душу ее переполняли умиленные, нежные и грустные воспоминания о недолгих радостях любви, когда-то пода-

ренных ей мужем. Она поминутно вздрагивала от всплывавших в памяти картин и снова видела его таким, каков он был в пору жениховства и каким она любила его в считанные часы страсти, расцветшей для нее под знойным солнцем Корсики. Все недостатки сглаживались, все грубости исчезали, и даже измены смягчались по мере того, как отдалялась во времени закрывшаяся могила. Жанна была охвачена безотчетной посмертной благодарностью к человеку, который когда-то держал ее в объятиях, и прощала все перенесенные страдания во имя мгновений счастья. А время шло, месяцы следовали за месяцами, забвение, как слоем пыли, запорошило все ее воспоминания и горести, и она всецело отдала себя сыну.

Он стал кумиром, предметом всех помыслов трех людей, окружавших его; и царил он, как настоящий деспот. Между тремя его рабами возникала даже своего рода ревность,— Жанна нервничала, видя, какими звонкими поцелуями малыш награждал барона после катания верхом на его колене. Тетей Лизон и тут пренебрегали, как всегда: этот повелитель, еще не умевший говорить, иногда обращался с ней, как с прислугой, и она уходила к себе в комнату огорченная, сравнивая скудные ласки, которые выпадали на ее долю, с поцелуями, которыми он одаривал мать и деда.

Два тихих, не потревоженных никакими событиями года прошли в неустанных заботах о ребенке. В начале третьей зимы решено было переехать до весны в Руан; и все семейство сдвинулось с места. Но по прибытии в старый заброшенный и сырой дом Поль схватил такой сильный кашель, что опасались плеврита; родные встревожились и решили, что он может дышать только воздухом Тополей, и, едва он поправился, перевезли его туда.

И потянулись мирные, однообразные годы.

Постоянно вместе вокруг малыша, то в детской, то в гостиной, то в саду, они восторгались его лепетом, смешными словечками, жестами.

Мать звала его ласкательным именем Полѐ, а он не мог выговорить это слово и произносил его Пулѐ[1], что возбуждало нескончаемый смех. Прозвище так и осталось за ним, иначе его не называли.

Он очень быстро тянулся вверх, и самым увлекательным занятием для «трех мам», как говорил барон, было измерять его рост.

---

[1] Poulet — цыпленок *(франц.)*.

На дверном косяке гостиной делали перочинным ножом зарубки, отмечавшие его рост из месяца в месяц. Эта лесенка, именуемая «лесенкой Пуле», занимала видное место в жизни всех домашних.

Со временем немаловажную роль в семье стал играть новый персонаж — пес Убой, которого Жанна в постоянных заботах о сыне совсем позабыла. Людивина кормила его, а жил он в старой бочке возле конюшни в полном одиночестве, всегда на цепи.

Как-то утром его заметил Поль и стал просить, чтобы ему позволили приласкать собаку. Его с величайшей опаской подвели к ней. Пес радостно приветствовал ребенка, а когда их хотели разлучить, мальчик принялся реветь. Пришлось снять с Убоя цепь и поселить его в доме.

Он стал неразлучным другом Поля. Они вместе катались по ковру и тут же засыпали рядышком. Немного погодя Убой укладывался уже в постель приятеля, потому что тот не желал расставаться с ним. Жанна приходила в ужас из-за блох, а тетя Лизон досадовала на пса, отнимавшего такую долю привязанности малыша, привязанности, которой так жаждала она сама и которую, казалось ей, воровало у нее животное.

Изредка происходил обмен визитами с Бризвилями и Кутелье. Уединение старого дома частенько нарушали только мэр и доктор. После убийства священником собаки и подозрений, связанных со страшной гибелью графини и Жюльена, Жанна не переступала порога церкви — в гневе на бога, который мог терпеть таких слуг.

Аббат Тольбиак время от времени в недвусмысленных намеках предавал анафеме дом, где обитает дух зла, дух вечного раздора, дух заблуждения и лжи, дух беззакония, распутства и нечестия. Так характеризовал он барона.

Впрочем, церковь его пустовала; а когда он проходил мимо полей, где пахари шли за плугом, они не останавливались, чтобы поговорить с ним, не оборачивались, чтобы поклониться ему. К тому же он слыл колдуном, потому что изгнал беса из припадочной. Толковали, что он умеет заговаривать от сглаза, который, по его словам, был одной из козней дьявола. Он возлагал руки на коров, которые давали жидкое молоко или завивали хвост кольцом, и помогал отыскивать пропавшие вещи, произнося какие-то таинственные слова.

По свойственной ему фанатической ограниченности он со страстью предавался изучению религиозных писаний, где говорилось о пребывании дьявола на земле, о многообразных

проявлениях его власти, о различных видах его тайного воздействия, о всех его уловках и обычных приемах его коварства. А так как аббат почитал себя особо призванным бороться с этой роковой и загадочной властью, то затвердил все формулы заклинаний, указанные в богословских книгах.

Ему все чудилась блуждающая во мраке тень лукавого, и с языка его почти не сходило латинское изречение: «Sicut leo rugiens circuit quaerens quem devoret» [1].

И постепенно начал распространяться страх, ужас перед его скрытым могуществом. Даже собратья его, невежественные деревенские священники, для которых Вельзевул — догмат веры, которые до того сбиты с толку подробнейшими указаниями ритуала на случай проявления власти злого духа, что под конец не могут отличить религию от магии, и те считали аббата Тольбиака до некоторой степени колдуном; они приписывали ему таинственную силу и уважали за нее не меньше, чем за безупречную его нравственность.

При встречах с Жанной он не кланялся ей.

Такое положение волновало и огорчало тетю Лизон; пугливой душе старой девы непонятно было, как можно не посещать церковь. Она-то, по всей вероятности, была набожна и, по всей вероятности, ходила к исповеди и причастию, но никто этого не знал и не хотел знать.

Если она оставалась одна, совсем одна с Полем, она потихоньку говорила ему о «боженьке». Когда она рассказывала чудесные истории о сотворении мира, он хоть немножко слушал ее; но когда она говорила ему, что надо очень, очень любить боженьку, он задавал вопрос:

— А где он, тетя?

Тогда она показывала на небо:

— Там, вверху, Пуле, только не говори об этом.

Она боялась барона.

Но однажды Пуле объявил ей:

— Боженька — он везде, только в церкви его нет.

Он явно сообщил деду о религиозных откровениях тетки.

Мальчику шел десятый год; матери его казалось на вид лет сорок. Он был крепыш, непоседа, мастер лазить по деревьям, но знал он немного. Уроки были ему скучны, он спешил улизнуть из классной комнаты. И каждый раз, как барон пытался подольше удержать его за книгой, тотчас же появлялась Жанна и говорила:

---

[1] Как лев рыкающий, бродит он, ищет, кого бы пожрать *(лат.)*.

— Пусти его погулять, незачем утомлять такого малыша.

В ее представлении ему все еще было полгода или год. Она с трудом отдавала себе отчет, что он ходит, бегает, говорит, как маленький мужчина; и жила она в постоянном страхе, как бы он не упал, не простудился, не разгорячился от игр, не съел слишком много во вред желудку или слишком мало во вред росту.

Когда ему исполнилось двенадцать лет, возник сложный вопрос о первом причастии.

Однажды утром Лиза явилась к Жанне и стала доказывать, что нельзя дольше оставлять ребенка без религиозного воспитания, без выполнения первых обязанностей христианина. Она приводила всяческие аргументы, выставляла тысячи доводов и, в первую очередь, ссылалась на мнение общества. Мать смущалась, терялась, колебалась, уверяла, что время терпит.

Но месяц спустя, когда она была с визитом у графини де Бризвиль, почтенная дама, между прочим, спросила ее:

— Ваш Поль, вероятно, в этом году пойдет к причастию?

И Жанна, застигнутая врасплох, ответила:

— Да, сударыня.

После этих случайных слов она решилась и тайком от отца попросила Лизу водить мальчика на уроки закона божия.

Месяц все шло хорошо; но как-то вечером Пуле вернулся охрипшим. На другой день он кашлял. Перепуганная мать стала расспрашивать его и узнала, что кюре отправил его дожидаться конца урока за дверями церкви, на паперти, на сквозняке, потому что он плохо вел себя.

Больше она не посылала его на уроки и сама стала преподавать ему начатки религии. Но аббат Тольбиак, несмотря на мольбы тети Лизон, не принял его в число причастников, как недоучившегося.

То же произошло и на следующий год. Тогда барон в ярости заявил, что мальчик может вырасти порядочным человеком и без веры в эту нелепость — в наивный догмат пресуществления; решено было, что его воспитают в христианском духе, но без соблюдения католических обрядов, а когда он достигнет совершеннолетия, то сам будет волен выбирать свой путь.

Через некоторое время Жанна нанесла визит Бризвилям, однако ответного визита не последовало. Она удивилась, зная щепетильную учтивость соседей, но маркиза де Кутелье свысока дала объяснение такому невниманию.

Ввиду высокого положения мужа, а также подлинной своей родовитости и своего внушительного состояния, маркиза

почитала себя чуть не королевой нормандской аристократии и правила, как истинная королева, говорила все без стеснения, смотря по обстоятельствам бывала милостива или резка, во все вмешивалась, наставляла, поощряла, порицала. И вот, когда Жанна явилась к ней, она после нескольких холодных слов произнесла сухим тоном:

— Общество делится на две категории: на людей, верующих в бога, и тех, кто не верит в него. Первые, даже из числа самых обездоленных, друзья и ровня нам, вторые для нас не существуют.

Жанна попыталась отразить удар:

— А разве нельзя верить в бога, не бывая в церкви?

— Нет, сударыня,— ответила маркиза.— Верующие ходят молиться богу в его храм, как мы ходим к людям в их дом.

Жанна возразила в обиде:

— Бог везде, сударыня. Я, например, всей душой верую в его милосердие, но есть такие священники, которые мешают мне ощущать присутствие господа, когда они становятся между ним и мною.

Маркиза встала.

— Священник — знаменосец церкви, сударыня. Кто не следует за знаменем, тот против него и против нас.

Жанна тоже встала, вся дрожа.

— Вы, сударыня, верите в бога одной касты. Я верую в бога честных людей.

Она поклонилась и вышла.

Крестьяне тоже осуждали ее между собой за то, что она не повела Пуле к первому причастию. Сами они не бывали в церкви, не ходили к причастию или уж приобщались только на пасху, подчиняясь строгому предписанию церкви; но ребята — дело другое: никто бы не осмелился воспитать ребенка вне общего для всех закона, потому что религия есть религия.

Жанна чувствовала их осуждение и в душе возмущалась этим двуличием, сделками с совестью, поголовным страхом перед всем, величайшей трусостью, гнездящейся во всех сердцах и выглядывающей наружу под личиной порядочности.

Барон занялся образованием Поля и засадил его за латынь. А мать не переставала твердить одно: «Пожалуйста, не утомляй его!» — и бродила в тревоге около классной комнаты, куда папенька запретил ей доступ, потому что она ежеминутно прерывала урок вопросом: «У тебя не озябли ноги, Пуле?» Или же: «У тебя не болит голова, Пуле?» Или останавливала учителя: «Не заставляй его столько говорить, он охрипнет».

Как только мальчик кончал занятия, он бежал в сад к матери и тете. Им теперь очень полюбилось садоводство: все трое сажали весной молодые деревца, сеяли семена и с восторгом наблюдали за их всходами и ростом, подравнивали ветки, срезали цветы для букетов.

Больше всего увлекало мальчика разведение салата. Он ведал четырьмя большими грядками на огороде, где с величайшей заботливостью выращивал салат латук, ромэн, цикорий, парижский,— словом, все сорта этой съедобной травы. Он копал, поливал, полол, пересаживал с помощью двух своих матерей, которых заставлял работать, как поденщиц. По целым часам стояли они на коленях между грядками, пачкая платья и руки, и втыкали корешки рассады в ямку, выкопанную пальцем в земле.

Пуле подрастал, ему шел уже пятнадцатый год, и лесенка в гостиной показывала метр пятьдесят восемь сантиметров, но по уму он был совершенный ребенок, неразвитый, невежественный, избалованный двумя женщинами и стариком, добрым, но отставшим от века.

Как-то вечером барон поднял, наконец, вопрос о коллеже, и Жанна тотчас же ударилась в слезы. Тетя Лизон в ужасе забилась в темный угол.

Мать возражала:

— Зачем ему столько знать? Мы сделаем из него деревенского жителя, помещика. Он будет возделывать свои земли, как многие из дворян. Он проживет и состарится счастливым в этом доме, где до него жили мы, где мы умрем. Чего же желать еще?

Но барон качал головой:

— А что ты ответишь ему, если он в двадцать пять лет придет и скажет тебе: «Я остался ничем, я ничему не научился по твоей вине, по вине твоего материнского эгоизма. Я не способен работать, добиваться чего-то, а между тем я не был создан для безвестной, смиренной и до смерти тоскливой жизни, на которую обрекла меня твоя неразумная любовь».

А она все плакала и взывала к сыну:

— Скажи, Пуле, ты никогда не упрекнешь меня за то, что я слишком любила тебя, ведь правда, не упрекнешь?

Недоросль удивился, но обещал:

— Нет, мама.

— Честное слово?

— Да, мама.

— Ты хочешь остаться здесь, правда?

— Да, мама.

Тогда барон возвысил голос:

— Жанна, ты не имеешь права распоряжаться человеческой жизнью. Ты поступаешь недостойно, почти преступно, ты жертвуешь своим ребенком ради своего личного счастья.

Она закрыла лицо руками и, судорожно рыдая, выговорила сквозь слезы:

— Я так настрадалась... так настрадалась! Я только в нем нашла утешение, а его у меня отнимают. Что же я теперь... буду делать... совсем одна?

Отец поднялся, сел рядом с ней, обнял ее.

— А я, Жанна?

Она обхватила его за шею, страстно поцеловала и, не отдышавшись еще, с трудом проговорила:

— Да, ты, должно быть... прав... папенька. Я вела себя безрассудно, но я столько выстрадала. Пускай он едет в коллеж.

И Пуле, не вполне понимая, что с ним намерены делать, захныкал в свой черед.

Тогда все три его мамы принялись целовать, ласкать, утешать его. Когда они пошли спать, у всех щемило сердце, и все всплакнули в постели, даже барон, который сдерживался до тех пор.

Решено было, что после каникул мальчика поместят в Гаврский коллеж, а пока все лето его баловали напропалую.

Мать часто вздыхала при мысли о разлуке. Она заготовила ему такое приданое, как будто он уезжал путешествовать на десять лет; наконец, в одно октябрьское утро, после бессонной ночи, обе женщины и барон уселись с мальчиком в карету, и пара лошадей сразу взяла рысью.

В предшествующую поездку ему уже было выбрано место в дортуаре и место в классе. Теперь Жанна с помощью тети Лизон целый день укладывала его вещи в маленький комодик. Так как он не вместил и четверти привезенного, Жанна пошла к директору просить, чтобы дали второй. Вызвали эконома, тот заявил, что столько белья и платья никогда не понадобится, а будет только помехой, и наотрез отказался нарушить правила и поставить второй комод. Тогда мать с отчаяния решила нанять комнату в соседней гостинице и поручила хозяину собственноручно приносить по первому требованию Пуле все, что ему понадобится.

Потом они отправились на мол посмотреть, как отчаливают и пристают пароходы.

Унылые сумерки спустились над городом, где постепенно зажигались огни. Обедать они пошли в ресторан. Есть не хотелось никому; они смотрели друг на друга затуманенным взглядом, и блюда, которые подавали одно за другим, убирались почти нетронутыми.

Потом они медленно направились к коллежу. Со всех сторон сходились дети всех возрастов в сопровождении родных или слуг. Многие плакали. В большом полуосвещенном дворе раздавались всхлипывания.

Жанна и Пуле долго сжимали друг друга в объятиях. Тетя Лизон, окончательно забытая, стояла позади, уткнувшись в носовой платок. Но тут барон, расчувствовавшись тоже, положил конец прощанию и увел дочь. Карета ждала у подъезда. Они уселись втроем и в темноте поехали обратно в Тополя.

Временами во мраке слышались рыдания.

Жанна плакала весь следующий день до вечера. А утром она велела заложить фаэтон и поехала в Гавр.

Пуле как будто уже примирился с разлукой. Впервые в жизни у него были товарищи; ему хотелось играть, и он нетерпеливо ерзал на стуле в приемной.

Жанна стала ездить каждые два дня, а на воскресенье увозила его домой. Во время уроков, дожидаясь рекреаций, она не знала, что ей делать, и сидела в приемной, не находя ни сил, ни мужества уйти из коллежа. Директор пригласил ее к себе и попросил приезжать пореже. Она пренебрегла его указанием.

Тогда он предупредил ее, что будет вынужден вернуть ей сына, если она не даст ему резвиться в свободные часы и не перестанет отвлекать его от занятий; барона тоже предупредили письмом. После этого ее стали стеречь в Тополях, как пленницу.

Она ждала каждого праздника с бо́льшим нетерпением, чем сын. И душу ее томила неустанная тревога. Она бродила по окрестностям, целыми днями гуляла с псом Убоем, отдаваясь беспредметным мечтам. Иногда она просиживала полдня, глядя на море с высоты кряжа; иногда спускалась лесом до Ипора, повторяя давние прогулки, воспоминание о которых преследовало ее. Как далеко, как далеко было то время, когда она блуждала по этим местам девушкой, опьяненной грезами.

Всякий раз, как она виделась с сыном, ей казалось, что они были в разлуке десять лет. Он мужал с каждым месяцем; она с каждым месяцем старела. Барона можно было счесть за ее брата, а тетю Лизон за старшую сестру, потому что, увянув в двадцать пять лет, Лизон больше не менялась.

Пуле совсем не занимался. В четвертом классе он остался на второй год; третий вытянул кое-как; во втором опять сидел два года и только к двадцати годам добрался до класса риторики.

Он превратился в рослого белокурого юношу с довольно пышными бачками и намеком на усы. Теперь он сам приезжал на воскресенье в Тополя. Так как он уже давно обучался верховой езде, то попросту нанимал лошадь и проделывал весь путь за два часа.

Жанна спозаранку отправлялась ему навстречу вместе с теткой и бароном, который горбился все больше и ходил постариковски, заложив руки за спину, словно для того, чтобы не упасть ничком.

Они медленно шли по дороге, временами присаживались у обочины и смотрели вдаль, не видно ли уже всадника. Едва он показывался черной точкой на белой колее, как все трое принимались махать платками, а он пускал лошадь в галоп и вихрем подлетал к ним; Жанна и Лизон ужасались, а дед восхищался и в бессильном восторге кричал «браво».

Хотя Поль был на голову выше матери, она по-прежнему обращалась с ним, как с младенцем, и все еще спрашивала: «У тебя не озябли ноги, Пуле?», а когда он прогуливался после завтрака перед крыльцом, куря папироску, она открывала окно и кричала ему: «Ради бога, не ходи с непокрытой головой, ты схватишь насморк».

Когда же он в темноте отправлялся верхом обратно, она дрожала от страха:

— Пуле, мальчик мой, поезжай потише, береги себя, пожалей свою мать. Я не вынесу, если с тобой стрясется беда.

Но вот однажды, в субботу утром, она получила от Поля письмо, в котором он сообщал, что не приедет завтра, потому что знакомые устраивают пикник и пригласили его.

Весь воскресный день она терзалась беспокойством, как будто ждала неминуемой беды; потом не выдержала и в четверг поехала в Гавр.

Ей показалось, что сын изменился, но в чем — она не могла понять. Он был оживлен, говорил более мужественным голосом. И вдруг объявил ей, как нечто вполне естественное:

— Знаешь, мама, раз ты побывала здесь сегодня, я опять не приеду в воскресенье домой, потому что мы собираемся повторить прогулку.

Она была так ошеломлена и потрясена, словно он сообщил, что уезжает в Америку; наконец, придя в себя, она спросила:

— Боже, что с тобой, Пуле? Скажи мне, что происходит?

Он засмеялся и поцеловал ее:

— Ровно ничего, мама. Я хочу повеселиться с приятелями, это естественно в моем возрасте.

Она не нашла ответа, а когда очутилась одна в экипаже, странные мысли овладели ею. Она не узнавала своего Пуле, своего прежнего маленького Пуле. Впервые она увидела, что он стал взрослым, что он больше не принадлежит ей и будет впредь жить по-своему, не думая о стариках. Ей казалось, что он преобразился в один день. Как, этот большой, статный мужчина, утверждающий свою волю,— ее сын, ее дорогой малыш, который заставлял ее когда-то рассаживать салат!

В течение трех месяцев Поль приезжал к родным только изредка и всегда явно стремился уехать как можно скорее, выгадать вечером хотя бы часок. Жанна волновалась, а барон только и знал, что утешал ее, повторяя:

— Оставь ты мальчика, ведь ему двадцать лет.

Но как-то утром бедно одетый старик, говоривший с немецким акцентом, спросил госпожу виконтессу.

После многократных церемонных поклонов он достал из кармана засаленный бумажник и заявил:

— Это маленький бумажка для вас.

Он развернул клочок грязной бумаги и протянул ей. Жанна прочла, перечла, взглянула на еврея, перечла снова и спросила:

— Что это значит?

Старик угодливо объяснил:

— Сейчас я буду вам сказать. Ваш сын, ему был нужен немного деньги, а я знал, что вы добрая мать, и давал ему, сколько ему было нужно,— самый пустяк.

Она вся дрожала.

— Но почему же он не попросил лучше у меня?

Еврей начал пространно объяснять, что речь шла о карточном долге, который надо было заплатить на следующий день, и что никто бы не дал взаймы Полю, как несовершеннолетнему, «честь молодого человека был бы загублен», если бы не «маленький одолженьице», оказанное им.

Жанна хотела позвать барона, но от волнения ноги не слушались ее. Наконец она сказала ростовщику:

— Будьте любезны позвонить.

Он колебался, боясь ловушки. Затем пробормотал:

— Я могу приходить потом, если вам неудобно.

Она отрицательно покачала головой. Он позвонил, и они стали ждать, сидя молча друг против друга.

Барон сразу же, как пришел, понял положение. Расписка была на полторы тысячи франков. Он уплатил тысячу и сказал, глядя в упор на ростовщика:

— Смотрите, больше не являйтесь.

Тот поблагодарил, поклонился и исчез.

Дед и мать тотчас же отправились в Гавр; но, приехав в коллеж, они узнали, что Поль целый месяц не являлся туда. Директор получил четыре письма за подписью Жанны, где сообщалось о болезни Поля, а затем о состоянии его здоровья; ко всем письмам были приложены свидетельства от врача, разумеется подложные, как и все остальное.

Оба были сражены и застыли на месте, глядя друг на друга.

Директор выразил огорчение и проводил их к полицейскому комиссару. Они остались ночевать в гостинице.

На следующее утро молодого человека нашли у местной проститутки. Дед и мать увезли его в Тополя, и всю дорогу никто из них не проронил ни слова. Жанна плакала, уткнув лицо в носовой платок. Поль с равнодушным видом смотрел по сторонам.

В последующую неделю обнаружилось, что за три месяца он наделал долгов на пятнадцать тысяч франков. Кредиторы не спешили объявляться, зная, что он скоро будет совершеннолетним.

Никаких объяснений не произошло. Решено было подкупить его добротой. Его закармливали деликатесами, нежили, баловали. Дело было весной; несмотря на все страхи Жанны, ему наняли в Ипоре лодку, чтобы он мог, когда хотел, кататься по морю.

Лошади ему не давали, боясь, что он опять поедет в Гавр.

Он слонялся без дела, раздражался, иногда грубил. Барона беспокоило, что он не кончил курса. Жанна сходила с ума при мысли о новой разлуке и все-таки задумывалась над тем, как с ним быть дальше.

Однажды вечером он не вернулся домой. Выяснилось, что он вышел в море на баркасе с двумя матросами. Обезумевшая мать ночью с непокрытой головой побежала в Ипор.

На берегу несколько человек поджидали возвращения судна.

Вдали показался огонек. Он приближался, мигая. Поля на борту не оказалось. Он высадился в Гавре.

Сколько ни искала полиция, найти его не удалось. Проститутка, у которой он скрывался в первый раз, тоже исчезла

бесследно, продав обстановку и уплатив за квартиру. В комнате Поля в Тополях обнаружили два письма от этой особы, из которых явствовало, что она без ума от него. Она предлагала ему уехать в Англию, для чего, по ее словам, добыла нужные средства.

Трое обитателей старого дома ходили угрюмые и молчаливые, живя в мрачном аду душевных пыток. Волосы Жанны, и без того седые, побелели совсем. Она задавала себе наивный вопрос: за что ее так наказывает судьба?

Она получила письмо от аббата Тольбиака:

«Сударыня, десница божия покарала вас. Вы отняли у господа свое дитя; он, в свой черед, взял его у вас, чтобы отдать проститутке. Неужто этот урок, преподанный вам свыше, не вразумит вас? Милосердие господне беспредельно. Быть может, господь помилует вас, если вы вернетесь к нему и падете перед ним ниц. Я, его смиренный слуга, отворю вам дверь его обители, когда вы постучитесь в нее».

Долго сидела она, опустив это письмо на колени. Быть может, священник говорил правду? И все религиозные недоумения вновь принялись терзать ее совесть. Может ли бог быть мстителен и завистлив, как люди? Но если он не покажет себя завистливым, никто не устрашится его и не станет поклоняться ему. Возможно, он обнаруживает перед смертными свойственные им чувства для того, чтобы мы лучше познали его. Трусливое сомнение, толкающее в церковь колеблющихся, смятенных, проникло в нее, и однажды вечером, когда стемнело, она украдкой побежала в церковный дом и, припав к ногам тощего аббата, стала молить об отпущении грехов.

Он обещал ей половинное прощение, ибо бог не может излить всю свою благодать на кров, под которым находит приют такой человек, как барон.

— Вскоре вы ощутите,— заверил он,— плоды божественного милосердия.

И в самом деле, два дня спустя сын прислал ей письмо; в помрачении от горя она восприняла его как поворот к лучшему, обещанный аббатом.

«Дорогая мама, не беспокойся обо мне. Я нахожусь в Лондоне, вполне здоров, но очень нуждаюсь в деньгах. У нас не осталось ни гроша, и мы не каждый день бываем сыты. Спутница моя, которую я люблю всей душой, истратила все, что имела,—

пять тысяч франков,— лишь бы не расстаться со мной. Ты понимаешь, что честь обязывает меня прежде всего возместить ей эту сумму. Будь так добра, не откажи одолжить мне тысяч пятнадцать из наследства, оставленного папой, так как все равно я скоро буду совершеннолетним. Ты выручишь меня из большого затруднения.

Прощай, дорогая мама, от всего сердца целую тебя, а также дедушку и тетю Лизон. Надеюсь, до скорого свидания.

Твой сын
виконт *Поль де Ламар*».

Он написал ей! Значит, он не забыл ее. Она и не подумала о том, что он просил денег. Надо послать ему, раз у него ничего не осталось. Какое значение имеют деньги! Он написал ей!

И она в слезах побежала с письмом к барону. Позвали тетю Лизон и перечитали слово за словом бумажку, говорившую о нем; обсудили каждое выражение.

Жанна мгновенно перешла от полного отчаяния к опьянению надеждой и горячо защищала Поля:

— Он вернется, скоро вернется, раз он написал нам!

Но барон, человек более уравновешенный, возразил:

— Все равно он нас бросил из-за этой твари. Раз он не задумался поступить так, значит, он любит ее больше нас.

Внезапная страшная боль впилась в сердце Жанны, и тотчас же в нем вспыхнула ненависть к любовнице, похитившей у нее сына, ненависть неутолимая, необузданная, ненависть ревнивой матери. До тех пор все ее мысли были сосредоточены на Поле. Она почти не думала о потаскушке, виновнице его заблуждений. Но слова барона сразу же напомнили матери о сопернице, показали ее роковую власть; она почувствовала, что между этой женщиной и ею начинается ожесточенная борьба, и осознала, что скорее согласится потерять сына, чем делить его с другой.

Вся ее радость разлетелась в прах.

Они послали требуемые пятнадцать тысяч франков и целых пять месяцев не получали больше вестей.

Потом явился поверенный урегулировать вопрос о наследстве, оставленном Жюльеном. Жанна и барон беспрекословно сдали все счета и даже отказались от права матери на пожизненное пользование имуществом. По возвращении в Париж Поль получил сто двадцать тысяч франков. После этого он прислал за полгода четыре письма, давая краткие сведения о своей

жизни и заканчивая холодными изъявлениями сыновних чувств. «Я работаю,— уверял он,— получил должность на бирже. Надеюсь как-нибудь приехать в Тополя и расцеловать вас, дорогие!»

О своей возлюбленной он не упоминал ни слова. Это молчание было многозначительнее, чем могло быть целое письмо, наполненное ею. За ледяными строками Жанна чуяла незримое и неотвратимое присутствие любовницы, продажной девки — исконного врага матерей.

Трое отшельников толковали, как быть, чтобы спасти Поля, и ничего не могли придумать. Съездить в Париж? К чему?

— Пусть перегорит его страсть,— говорил барон,— тогда он сам вернется к нам.

И они продолжали влачить жалкую жизнь.

Жанна и Лизон тайком от барона ходили в церковь.

Довольно долгое время прошло без всяких известий, как вдруг однажды утром они были ошеломлены отчаянным письмом:

«Дорогая мама, я погиб, мне остается лишь пустить себе пулю в лоб, если ты не спасешь меня. Только что потерпела крах комбинация, сулившая мне верную прибыль, я задолжал восемьдесят пять тысяч франков. Если я не заплачу, меня ждет бесчестье, разорение, невозможность что-либо предпринять в дальнейшем. Я погиб. Повторяю, что я скорее готов пустить себе пулю в лоб, чем пережить такой позор. Быть может, я бы уже покончил с собой, если бы не поддержка женщины, о которой я никогда не пишу тебе, но которая стала моим провидением.

От души целую тебя, дорогая моя мама, быть может в последний раз. Прощай.

Поль».

К письму была приложена пачка деловых бумаг с исчерпывающими разъяснениями катастрофы.

Барон ответил обратной почтой, что они постараются все уладить. Затем он поехал в Гавр выяснить положение дел и тут же заложил земли, чтобы добыть денег для отправки Полю.

Молодой человек прислал в ответ три письма, наполненных выражениями восторженной благодарности и нежнейших чувств, а также обещаниями приехать вскоре и лично обнять своих дорогих родственников.

Он не приехал.

Прошел целый год.

Жанна и барон собирались уже отправиться в Париж и сделать последнюю попытку образумить его, как вдруг из короткой записки узнали, что он опять находится в Лондоне, где организует пароходную компанию под фирмой «Поль Деламар и К°». Он писал:

«Это верное обеспечение, а возможно, даже и богатство. И при этом я ничем не рискую. Отсюда вам ясны все выгоды. При следующей нашей встрече я буду занимать блестящее положение в свете. В наш век только с помощью коммерции можно встать на ноги».

Через три месяца пароходное общество обанкротилось, и директор был привлечен к ответственности за неправильности в счетоводстве. С Жанной случился нервный припадок, который продолжался несколько часов, после чего она слегла.

Барон опять поехал в Гавр, навел справки, посоветовался с адвокатами, поверенными, стряпчими, судебными приставами, узнал, что дефицит Общества Деламар составляет двести тридцать пять тысяч франков, и перезаложил свою недвижимость. На имение Тополя и две прилегающие фермы лег громадный долг.

Раз вечером, улаживая последние формальности в конторе поверенного, барон внезапно рухнул на паркет: с ним случился апоплексический удар. За Жанной послали верхового. Когда она приехала, отец уже скончался.

Она привезла его в Тополя, до того ошеломленная, что горе ее скорее походило на столбняк, чем на отчаяние.

Аббат Тольбиак запретил телу доступ в церковь, несмотря на исступленные мольбы обеих женщин. Барон был похоронен под вечер, без всякого религиозного обряда.

Поль узнал о несчастье от одного из ликвидаторов его обанкротившегося предприятия. Он все еще скрывался в Англии. Он письменно попросил прощения, что не приехал, так как слишком поздно узнал о постигшем их горе. «Впрочем, после того как ты выручила меня, дорогая мама, я могу вернуться во Францию и вскоре обнять тебя».

Жанна была в таком подавленном состоянии, что, казалось, ничего уже не воспринимала.

К концу зимы тетя Лизон, которой минуло шестьдесят восемь лет, заболела бронхитом, перешедшим в воспаление легких, и тихо угасла, шепча:

— Жанна, бедняжечка моя, я вымолю у господа, чтобы он смилостивился над тобой!

Жанна проводила ее на кладбище, видела, как засыпают гроб землей, и когда сама она поникла без сил, с одним желанием умереть тоже, не страдать, не думать больше, какая-то рослая крестьянка подхватила ее и понесла в своих могучих объятиях, точно малое дитя.

По возвращении домой Жанна, проведшая пять ночей у постели старой девы, беспрекословно отдала себя в ласковые и властные руки этой незнакомой крестьянки, которая сразу же уложила ее, и она уснула глубоким сном, изнуренная усталостью и горем.

Проснулась она среди ночи. На камине горел ночник. В кресле спала женщина. Кто же была эта женщина? Жанна не узнавала ее и вглядывалась, перегнувшись через край кровати, стараясь различить ее черты при мерцающем огоньке фитиля, который плавал на поверхности масла, налитого в стеклянный стаканчик.

Однако ей как будто уже случалось видеть это лицо. Но когда? И где? Женщина спала мирно, голова ее нагнулась к плечу, а чепец упал на пол. С виду ей было лет сорок — сорок пять. Это была плотная, румяная, коренастая, крепкая крестьянка. Большие руки ее свешивались по обеим сторонам кресла. Волосы были с проседью. Жанна пристально смотрела на нее, не вполне владея мыслями после лихорадочного сна, какой обычно наступает вслед за большим душевным потрясением.

Да, конечно же, она видела это лицо. Но давно ли? Или недавно? Она не помнила, и эта неопределенность раздражала, мучила ее. Она потихоньку встала, чтобы поближе взглянуть на спящую, и на цыпочках подошла к ней. Женщина была та же самая, которая подняла ее на кладбище и потом уложила в постель. Это все смутно припомнилось ей.

Но встречала ли она ее раньше, в другую пору своей жизни? Или лицо женщины было ей знакомо по туманным впечатлениям прошедшего дня? И каким образом, почему она очутилась в ее спальне?

Женщина открыла глаза, увидела Жанну и вскочила на ноги. Они стояли лицом к лицу, так близко, что грудью касались друг друга. Незнакомка заворчала:

— Это что еще? Вы чего встали? Смотрите, вы у меня расхвораетесь. Ступайте в постель.

— Кто вы такая? — спросила Жанна.

Но женщина протянула руки, схватила ее, подняла снова с не женской силой и отнесла на кровать. Она бережно уложила ее, низко наклонившись, почти лежа на ней, и вдруг расплака-

лась и принялась судорожно целовать ее щеки, волосы, глаза, заливая ей слезами лицо и приговаривая:

— Барышня моя бедненькая, мамзель Жанна, бедненькая моя барышня, неужто вы не узнали меня?

— Розали, голубушка! — вскрикнула Жанна.

И, обхватив руками ее шею, прижалась к ней, начала ее целовать; теперь они плакали обе, крепко обнявшись, мешая свои слезы, и никак не могли оторваться друг от друга.

Первой успокоилась Розали.

— Ну, ну, будьте умницей,— сказала она,— а не то простудитесь.

Она расправила и подвернула одеяло, подложила подушку под голову своей бывшей госпожи, которая все еще рыдала, дрожа от всплывавших в душе старых воспоминаний.

— Как же ты вернулась, голубушка? — спросила она наконец.

— Господи, да как же мне было оставить вас теперь, совсем одну! — ответила Розали.

— Зажги свечу, я хочу видеть тебя,— попросила Жанна.

После того как свеча была поставлена на ночной столик, они долго молча смотрели друг на друга. Потом Жанна пожала руку своей бывшей горничной и прошептала:

— Я ни за что бы не узнала тебя, голубушка. Ты очень изменилась, хотя, конечно, меньше меня.

И Розали отвечала, глядя на эту седую, высохшую, увядшую женщину, которую она оставила молодой, красивой, цветущей:

— Что верно, то верно, вы переменились, мадам Жанна, даже не по летам. Но и то подумайте — ведь не виделись мы двадцать четыре года.

Они замолчали и снова задумались.

— А ты-то хоть была счастлива? — шепнула наконец Жанна.

И Розали, боясь пробудить какое-нибудь уж очень тяжкое воспоминание, проговорила с запинкой:

— Да... была... была. Я жаловаться не могу... Мне, конечно, посчастливилось больше вашего. Одно только мутило мне душу — отчего я не осталась здесь...

Она оборвала на полуслове, спохватившись, что необдуманно коснулась запретного. Но Жанна продолжала мягко:

— Что поделаешь, голубушка. Не всегда приходится делать то, что хочется. Ты ведь овдовела тоже?

Потом голос ее дрогнул, и она с трудом выговорила:

— У тебя есть еще... еще дети?

— Нет, сударыня.

— А он, сын твой, что из него вышло? Ты им довольна?

— Да, сударыня, он славный парень. К работе усерден. Он полгода, как женился и хочет взять на себя ферму, раз я вернулась к вам.

Дрожа от волнения, Жанна прошептала:

— Значит, ты больше не покинешь меня, голубушка?

— Понятно, нет, сударыня, я уж распорядилась на этот счет,— грубоватым тоном ответила Розали.

Они помолчали некоторое время. Жанна против воли вновь сравнивала их две жизни, но без горечи в сердце, смирившись с несправедливой жестокостью судьбы. Она спросила только:

— А муж тебя не обижал?

— Нет, он был человек хороший, работящий и добра сумел скопить. Он чахоткой умер.

Жанна села на кровати, ей захотелось узнать все.

— Слушай, голубушка, расскажи мне все, всю твою жизнь. Мне это будет приятно сегодня.

Розали пододвинула стул, уселась и начала рассказывать о себе, о своем доме, о своем мирке, вдаваясь в мельчайшие подробности, дорогие сердцу деревенских жителей, описывала свою усадьбу, временами смеялась событиям уже давним, но связанным с приятными минутами жизни, и мало-помалу повышала голос по привычке хозяйки, заправлявшей всем в доме. Под конец она заявила:

— Ну, у меня теперь добра хватит. Мне бояться нечего.

Потом смутилась снова и добавила потише:

— Как-никак, а я всем этим вам обязана, потому я и жалованья от вас не хочу. Нипочем не хочу! Если вы не согласны, я уйду.

— Что ж, ты думаешь служить мне даром? — спросила Жанна.

— Вот именно что даром, сударыня. На что мне ваши деньги? У меня своих не меньше, чем у вас. Да вы-то сами знаете, сколько у вас осталось от всей канители с закладами да с займами, когда и проценты-то не внесены и растут к каждому платежу? Не знаете? Верно? Ну так я вам скажу. У вас навряд ли осталось десять тысяч ливров дохода. И десяти-то не осталось, понимаете? Ну, да я это все скоро налажу, не сомневайтесь.

Она опять заговорила громко, раздражаясь, возмущаясь небрежностью в уплате процентов и угрозой разорения. Увидев

тень умиленной улыбки на губах своей госпожи, она вскричала гневно:

— Над этим смеяться нечего, сударыня, без денег порядочные люди не живут.

Жанна взяла ее руки и не выпускала их; потом произнесла медленно, во власти одной неотступной мысли:

— А мне-то, мне как не повезло. Все для меня обернулось худо. Какой-то рок преследовал меня.

Но Розали покачала головой:

— Не надо, сударыня, не говорите так. Вам попался плохой муж, только и всего. Да правду сказать, разве можно выходить замуж, не узнавши толком своего нареченного.

И они продолжали говорить о себе, как две старинные подруги.

Солнце взошло, а они все еще разговаривали.

XII

Розали в неделю крепко прибрала к рукам все и всех в доме. Жанна, покорная судьбе, подчинялась равнодушно. Ослабев и волоча ноги, как покойная маменька, она выходила под руку со своей служанкой, и та медленно водила ее, увещевала, ободряла грубоватыми и ласковыми словами, обращаясь с ней, как с больным ребенком.

Говорили они только о прошлом: Жанна — со слезами в голосе, Розали — с чисто крестьянской спокойной невозмутимостью. Она несколько раз возвращалась к вопросу о задержке в уплате процентов, затем потребовала, чтобы несведущая в делах Жанна передала ей документы, которые та скрывала от нее, стыдясь за сына.

После этого Розали целую неделю ездила каждый день в Фекан, чтобы разобраться во всем с помощью знакомого нотариуса.

Затем однажды вечером, уложив свою госпожу в постель, она сама села у изголовья и начала напрямик:

— Вот вы теперь легли, сударыня, давайте мы с вами потолкуем.

И она объяснила положение дел. После всех расчетов останется рента в семь-восемь тысяч франков. Только и всего.

— О чем ты тревожишься, голубушка? Я чувствую, что мне недолго жить. На мой век этого хватит,— ответила Жанна.

Но Розали рассердилась.

— На ваш-то, может, и хватит, а господину Полю вы, значит, ничего не оставите?

Жанна содрогнулась.

— Прошу тебя, никогда не говори о нем. Мне слишком больно о нем думать.

— Нет, извините, я как раз о нем и буду говорить, а вам грех быть такой малодушной, мадам Жанна. Сейчас он делает глупости, а придет время, остепенится, женится, у него пойдут дети. Чтобы их вырастить, понадобятся деньги. Так вот, послушайте меня: продайте Тополя...

Жанна привскочила и села на постели.

— Продать Тополя! Да что ты! Никогда в жизни!

Но Розали не смутилась.

— А я вам говорю, что вы их продадите, потому что их нужно продать.

И она изложила свои подсчеты, планы, соображения.

После продажи Тополей и двух прилегающих ферм,— а у нее есть на примете охотник купить их,— останется четыре фермы в Сен-Леонаре, которые, по погашении закладных, будут давать восемь тысяч триста франков дохода. Тысячу триста франков придется тратить в год на ремонт и поддержание будущего своего жилища, тогда им останется семь тысяч франков, из которых пять тысяч пойдут ежегодно на расходы, а две тысячи они могут откладывать на черный день.

— Все остальное ушло, не вернешь теперь. А ключи от денег будут у меня, так и знайте, а то господину Полю ничего, ровно ничего не останется. Он вас обчистит до нитки.

Жанна, все время молча плакавшая, прошептала:

— Но если ему нечего будет есть?

— Если он придет к нам голодный, мы его накормим. Для него всегда найдется, где переночевать и чем подкрепиться. Да что вы думаете, разве бы он натворил столько глупостей, не дай вы ему воли с самого начала?

— Но ведь он задолжал, он был бы обесчещен.

— А оттого, что у вас ничего не будет, он перестанет должать, что ли? Вы заплатили, ну и ладно: больше вы платить не будете. За это я вам отвечаю. А теперь покойной ночи, сударыня.

И она ушла.

Жанна не сомкнула глаз, потрясенная мыслью, что ей надо будет продать Тополя, уйти отсюда, расстаться с домом, с которым связана была вся ее жизнь.

Когда на следующее утро Розали вошла к ней в спальню, она встретила ее словами:

— Как хочешь, голубушка, а я не могу уехать отсюда.

Но служанка рассердилась.

— Ничего не поделаешь, раз иначе нельзя. Скоро придет нотариус с покупателем. А не то у вас, сударыня, в четыре года все пойдет прахом.

Жанна в отчаянии твердила:

— Не могу, не могу я.

Через час почтальон принес ей письмо от Поля, который просил еще десять тысяч франков. Что делать? Вне себя она бросилась за советом к Розали, та только руками развела.

— Ну, что я вам говорила, сударыня! Хороши бы вы вышли оба, не вернись я сюда!

И Жанна, покоряясь воле служанки, ответила Полю:

«Дорогой мой сын, ничем не могу помочь тебе. Ты меня разорил; мне даже приходится продать Тополя. Но помни: для тебя всегда найдется место, если ты придешь искать приюта у твоей старенькой матери, которой ты причинил немало горя.

Жанна».

Когда приехал нотариус с г-ном Жофреном, бывшим сахарозаводчиком, она сама приняла их и предложила осмотреть все в подробностях.

Через месяц она подписала запродажную и одновременно приобрела скромный домик, неподалеку от Годервиля, на большой Монтивильерской дороге, в селении Батвиль.

Потом до самого вечера она бродила одна по маменькиной аллее, а сердце у нее надрывалось и ум мутился, когда она посылала скорбное, слезное прости далекому горизонту, деревьям, источенной червями скамье под платаном, всему, что было так привычно взгляду и, казалось, вошло в сознание и в душу,— роще, откосу над ландой, где она сиживала так часто, откуда смотрела, как граф де Фурвиль бежал к морю в страшный день смерти Жюльена, старому вязу со сломанной верхушкой, к которому прислонялась частенько, и всему родному ей саду.

Пришла Розали и насильно, за руку увела ее в дом.

У крыльца дожидался рослый крестьянин лет двадцати пяти. Он по-дружески, как старую знакомую, приветствовал Жанну.

— Здравствуйте, мадам Жанна, как поживаете? Мать велела мне прийти поговорить насчет переезда. Вы мне покажите, что берете с собой, мне будет сподручнее возить между делом, чтобы работа на поле не стояла.

Это был сын ее служанки — сын Жюльена, брат Поля.

Ей показалось, что у нее останавливается сердце; и в то же время ей хотелось расцеловать этого парня.

Она смотрела на него, искала сходства со своим мужем, с сыном. Он был румяный, крепкий, белокурый и голубоглазый — в мать. И все-таки он напоминал Жюльена. В чем? Чем? Она и сама не понимала, но что-то было общее с ним во всем облике.

— Вы бы меня очень одолжили, если бы показали все сейчас,— повторил парень.

Но она еще сама не решила, что брать, так как новый дом ее вмещал очень мало, и попросила его прийти в конце недели.

Потом ее занял переезд, внеся грустное развлечение в ее унылую, безнадежную жизнь.

Она ходила из комнаты в комнату, выбирала вещи, напоминавшие какие-нибудь события, те родные сердцу вещи, которые становятся частью нашей жизни, чуть ли не частью нас самих, вещи, знакомые с юных лет, связанные с грустными или радостными воспоминаниями, с вехами нашей истории; молчаливые товарищи сладостных или скорбных минут, они состарились, износились возле нас, и обивка у них местами лопнула, и подкладка порвалась, и скрепы расшатались, и краски полиняли.

Она выбирала каждую вещь отдельно, часто колебалась, волновалась так, словно принимала решение первостепенной важности, то и дело передумывала, взвешивала достоинства двух кресел или редкостного бюро по сравнению с старинным рабочим столиком.

Она выдвигала ящики, во всем искала воспоминаний; наконец, когда она решала твердо: «Да, это я возьму»,— выбранный предмет относили в столовую.

Она пожелала сохранить всю обстановку своей комнаты: кровать, шпалеры, часы — словом, все.

Из гостиной она взяла некоторые кресла, те именно, где были любимые ею с детства рисунки: лисица и журавль, ворона и лисица, стрекоза и муравей, цапля-печальница.

Так, бродя по всем закоулкам родного жилища, которое ей предстояло покинуть, она добралась однажды до чердака.

Она застыла от неожиданности при виде такого нагромождения самых разнообразных предметов: одни были сломаны, другие просто загрязнены, третьи отнесены сюда по неизвест-

ной причине — потому ли, что они надоели, или же были заменены другими. Она без конца наталкивалась на безделушки, которые постоянно видела прежде, пока они не исчезали и она не забывала о них, те мелочи повседневного обихода, те знакомые пустячки, которые лет пятнадцать окружали ее, и она изо дня в день смотрела на них не замечая. Здесь, на чердаке, рядом с другими, более старыми вещами, памятными ей из времен ее приезда в Тополя, эти мелочи тоже приобрели вдруг важное значение забытых свидетелей, вновь обретенных друзей. Они были для нее словно те люди, с которыми встречаешься долго, но совсем не знаешь их, пока как-нибудь вечером они не разговорятся по самому ничтожному поводу и не раскроют совершенно неожиданные стороны своей души.

Она переходила от одной вещи к другой и с замиранием сердца припоминала:

«Ах да, эту китайскую чашку уронила я за несколько дней до свадьбы. О! вот маменькин фонарик и трость, которую папенька сломал, когда хотел открыть калитку, разбухшую от дождя».

Но много было на чердаке таких вещей, которых она не знала, которые ничего ей не напоминали и, вероятно, остались еще от дедов или прадедов, вещей запыленных, переживших свое время, как будто грустных оттого, что они заброшены и никто не знает их истории, их приключений, ибо никто не видел тех, что выбирали, покупали, хранили и любили их, никто не помнит рук, которым было привычно трогать их, и глаз, которым было приятно смотреть на них.

Жанна брала, вертела их в руках, оставляла следы пальцев в густом слое пыли; так медлила она среди старого хлама в тусклом свете, падавшем сквозь квадратные окошечки в крыше.

Она внимательно разглядывала колченогие стулья и все думала, не напомнят ли они ей что-нибудь, разглядывала грелку, сломанную жаровню, которая показалась ей знакомой, и множество хозяйственных предметов, вышедших из употребления.

Потом она отобрала те вещи, которые хотела увезти с собой, и, спустившись в комнаты, послала за ними Розали. Служанка в негодовании отказалась переносить вниз «эту рухлядь». Но Жанна, как будто бы утратившая всякую волю, на этот раз не сдавалась; пришлось уступить ей.

Как-то утром молодой фермер Дени Лекок, сын Жюльена, прикатил со своей тележкой, чтобы совершить первый рейс. Ро-

зали поехала с ним, желая присутствовать при выгрузке и расставить мебель по местам.

Когда Жанна осталась одна, ею овладело жестокое отчаяние, и она пошла бродить по дому. В порыве восторженной нежности она целовала все, что не могла взять с собой,— больших белых птиц на шпалерах гостиной, старинные канделябры, все, что ей попадалось на глаза. Она металась из комнаты в комнату, не помня себя, обливаясь слезами; потом пошла прощаться с морем.

Был конец сентября; низкое серое небо, казалось, нависло над миром; унылые желтоватые волны уходили в беспредельную даль. Она долго стояла на кряже, отдавшись мучительным думам. Наконец, когда сумерки сгустились, она вернулась в дом, выстрадав за этот день не меньше, чем в дни самых страшных несчастий.

Розали уже успела возвратиться и ждала ее. Она была в восторге от нового дома, утверждала, что он куда веселее этого старого гроба, мимо которого даже дороги не идут.

Жанна проплакала весь вечер.

С тех пор как фермеры узнали, что имение продано, они уделяли ей только самую необходимую долю почтения, называли ее между собой «полоумная», не сознавая почему,— должно быть, потому только, что чуяли каким-то враждебным инстинктом ее болезненную, все углублявшуюся чувствительность, восторженную мечтательность, все смятение ее жалкой, потрясенной несчастиями души.

Накануне отъезда она случайно заглянула на конюшню. Вдруг какое-то рычание заставило ее вздрогнуть. Это был Убой, о котором она позабыла в последние месяцы. Слепой и паралличный, он дожил до такого возраста, какого обычно не достигают собаки, и дотягивал свой век на соломенной подстилке; Людивина не оставляла его своими попечениями. Жанна взяла его на руки, расцеловала и унесла в дом. Он разбух, как бочка, еле передвигался на растопыренных негнущихся лапах и лаял наподобие деревянных игрушечных собачек.

Наконец настал последний день. Жанна почевала в бывшей комнате Жюльена, потому что из ее спальни мебель была увезена.

Она встала с постели измученная, задыхаясь, как после долгого странствия. Повозка с остатками мебели и сундуками уже стояла, нагруженная, во дворе. Другая тележка, двуколка, была запряжена для хозяйки и служанки.

Только дядюшка Симон и Людивина должны были дождаться приезда нового владельца, а потом отправиться на покой к родным, для чего Жанна выделила им небольшую ренту. Впрочем, у них самих были кое-какие сбережения. Они превратились в очень дряхлых слуг, никчемных и болтливых. Мариус женился и давно уже покинул дом.

К восьми часам пошел дождь, мелкий, холодный дождь, который нагоняло легким ветром с моря. Пришлось прикрыть повозку холстом. Листья уже облетели с деревьев.

На кухонном столе дымился в чашках кофе с молоком. Жанна взяла свою, выпила мелкими глотками, потом встала и сказала: «Едем!»

Она взяла шляпу, шаль, и, пока Розали надевала ей калоши, она с трудом выговорила:

— Помнишь, милая, какой шел дождь, когда мы выехали из Руана сюда...

Но тут ей сдавило спазмой сердце, она поднесла обе руки к груди и без чувств упала навзничь.

Больше часа пролежала она замертво, потом открыла глаза и забилась в конвульсиях, сопровождаемых ручьями слез.

Когда она немного успокоилась, ее одолела такая слабость, что встать она не могла. Но Розали боялась новых припадков в случае отсрочки отъезда и позвала сына. Они вдвоем подняли ее, понесли, посадили в тележку на деревянную скамью, обитую клеенкой, и старая служанка, усевшись рядом с Жанной, закутала ей ноги, накинула на плечи теплый плащ, потом раскрыла над головой зонт и крикнула:

— Трогай, Дени.

Молодой человек взобрался на сиденье рядом с матерью, сел бочком за отсутствием места, погнал лошадь, и она припустила крупной неровной рысью, от которой сильно потряхивало обеих женщин.

Когда тележка повернула за угол и поехала деревней, они увидели человека, шагавшего взад и вперед по дороге,— это был аббат Тольбиак; он, по-видимому, караулил их.

Он остановился, чтобы пропустить тележку. Сутану он придерживал рукой, чтобы она не попадала в лужи, а из-под нее виднелись тощие ноги в черных чулках, обутые в огромные грязные башмаки.

Жанна опустила глаза, не желая встретиться с ним взглядом, а Розали, осведомленная обо всем, рассвирепела и проворчала: «Экий гад, вот гад-то!» — потом схватила сына за руку:

— Огрей-ка его кнутом.

Но молодой человек, поравнявшись с аббатом, на полном ходу угодил колесом своей таратайки в рытвину, и оттуда брызнул фонтан грязи, обдав священнослужителя с головы до пят.

Розали, торжествуя, обернулась и погрозила ему кулаком, пока он утирался, вытащив свой огромный носовой платок.

Они ехали уже минут пять, как вдруг Жанна закричала:

— А Убоя-то мы забыли!

Дени остановил лошадь и побежал за собакой, а Розали тем временем держала вожжи.

Наконец молодой человек появился, неся раздутое, бесформенное облезлое животное, и положил его в ногах у женщин.

XIII

Два часа спустя тележка остановилась перед кирпичным домиком, который стоял у дороги, посреди фруктового сада, засаженного подстриженными грушевыми деревьями.

Четыре решетчатые беседки, увитые жимолостью и клематитом, были поставлены по четырем углам сада, разбитого на грядки, между которыми пролегали узкие дорожки, окаймленные фруктовыми деревьями.

Очень высокая живая изгородь со всех сторон замыкала усадьбу; от соседней фермы она была отделена полем. В ста шагах перед ней, на самой дороге, находилась кузница. Другое жилье было не ближе километра.

Вид из дома открывался на равнину, усеянную фермами, где двойными прямоугольниками высоких деревьев были огорожены яблоневые сады.

Жанна, как только приехала, собралась лечь, но Розали не допустила этого, боясь, чтобы она опять не затосковала.

На помощь заранее вызвали столяра из Годервиля и тотчас же приступили к расстановке уже привезенной мебели, в ожидании последней телеги, которая должна была вскоре прибыть.

Работа была немалая, требовала долгих размышлений и серьезных соображений.

Через час у ограды остановилась последняя повозка, которую пришлось разгружать под дождем.

Когда наступил вечер, в доме царил полнейший сумбур, вещи были свалены кое-как; и Жанна, выбившись из сил, уснула, едва только легла в постель.

Все последующие дни у нее не было времени задумываться, столько на ее долю приходилось возни. Она даже увлеклась украшением своего нового жилища, так как мысль, что сын ее может вернуться сюда, не оставляла ее. Шпалерами из ее прежней спальни была обтянута столовая, служившая в то же время гостиной. Особенно же позаботилась она об убранстве одной из двух комнат второго этажа, мысленно окрестив ее «спальней Пуле».

В другой комнате поселилась она сама, а Розали устроилась выше, рядом с чердаком.

Тщательно убранный домик оказался очень уютным, и Жанне он на первых порах полюбился, хотя ей все недоставало чего-то, но чего — она не могла понять.

Как-то утром клерк феканского нотариуса привез ей три тысячи шестьсот франков — стоимость обстановки, оставленной в Тополях и оцененной мебельщиком. Она задрожала от радости, получив деньги; не успел клерк уйти, как она поспешила надеть шляпу и собралась в Годервиль, чтобы поскорее отправить Полю эту неожиданную получку.

Но когда она торопливо шла по дороге, ей навстречу попалась Розали, возвращавшаяся с рынка. Служанка что-то заподозрила, ничего еще толком не понимая, но, узнав правду, которую Жанна не сумела от нее скрыть, она поставила корзину на землю, чтобы побушевать вволю.

Упершись кулаками в бока, она покричала, потом подхватила свою госпожу правой рукой, корзину — левой и, все еще негодуя, отправилась домой.

Как только они возвратились, Розали потребовала выдачи денег. Жанна вручила их, припрятав только шестьсот франков, но служанка была уже настороже, а потому сразу же разоблачила ее хитрость, и ей пришлось отдать все сполна.

Однако Розали согласилась, чтобы этот остаток был отправлен Полю.

Через несколько дней от него пришла благодарность:

«Ты оказала мне большую услугу, дорогая мама, потому что мы находились в крайней нужде».

Жанна не могла по-настоящему сжиться с Батвилем; ей все время казалось, что и дышится ей не так, как прежде, и одинока она, заброшена, затеряна еще больше. Она выходила погулять, добиралась до селения Вернейль, шла обратно через Труа-Мар, потом, вернувшись, вставала и опять рвалась куда-то, как будто позабыла побывать именно там, куда ей надо было пойти, где ей хотелось гулять.

Это повторялось изо дня в день, и она никак не могла понять причину такой странной неудовлетворенности. Но как-то вечером у нее бессознательно вырвались слова, открывшие ей самой тайну ее беспокойства. Садясь обедать, она сказала:

— Ах, как мне хочется видеть море!

Вот чего ей так недоставало — моря, ее великого соседа в течение двадцати пяти лет, моря с его соленым воздухом, его гневными порывами, его рокочущим голосом, его мощным дуновением, моря, которое она каждое утро видела из своего окна в Тополях, которым дышала ночью и днем, которое она постоянно чувствовала подле себя и, сама того не сознавая, полюбила, как живого человека.

Убой тоже жил в страшном возбуждении. С первого вечера он расположился на нижней полке кухонного шкафа, и выселить его оттуда не было возможности. Он лежал там целый день, почти не шевелясь, только переворачивался время от времени с глухим ворчанием.

Но едва наступала ночь, как он поднимался и ковылял к садовой калитке, натыкаясь на стены. Пробыв на воздухе, сколько ему требовалось, он возвращался, садился перед неостывшей плитой и, как только обе его хозяйки уходили к себе, принимался выть.

Он выл всю ночь напролет жалобным, заунывным голосом, останавливался на часок, чтобы передохнуть, и завывал снова еще надрывнее. Его поместили перед домом в бочонке. Он стал выть под окнами. Но так как он был совсем немощен и еле жив, его вернули на кухню.

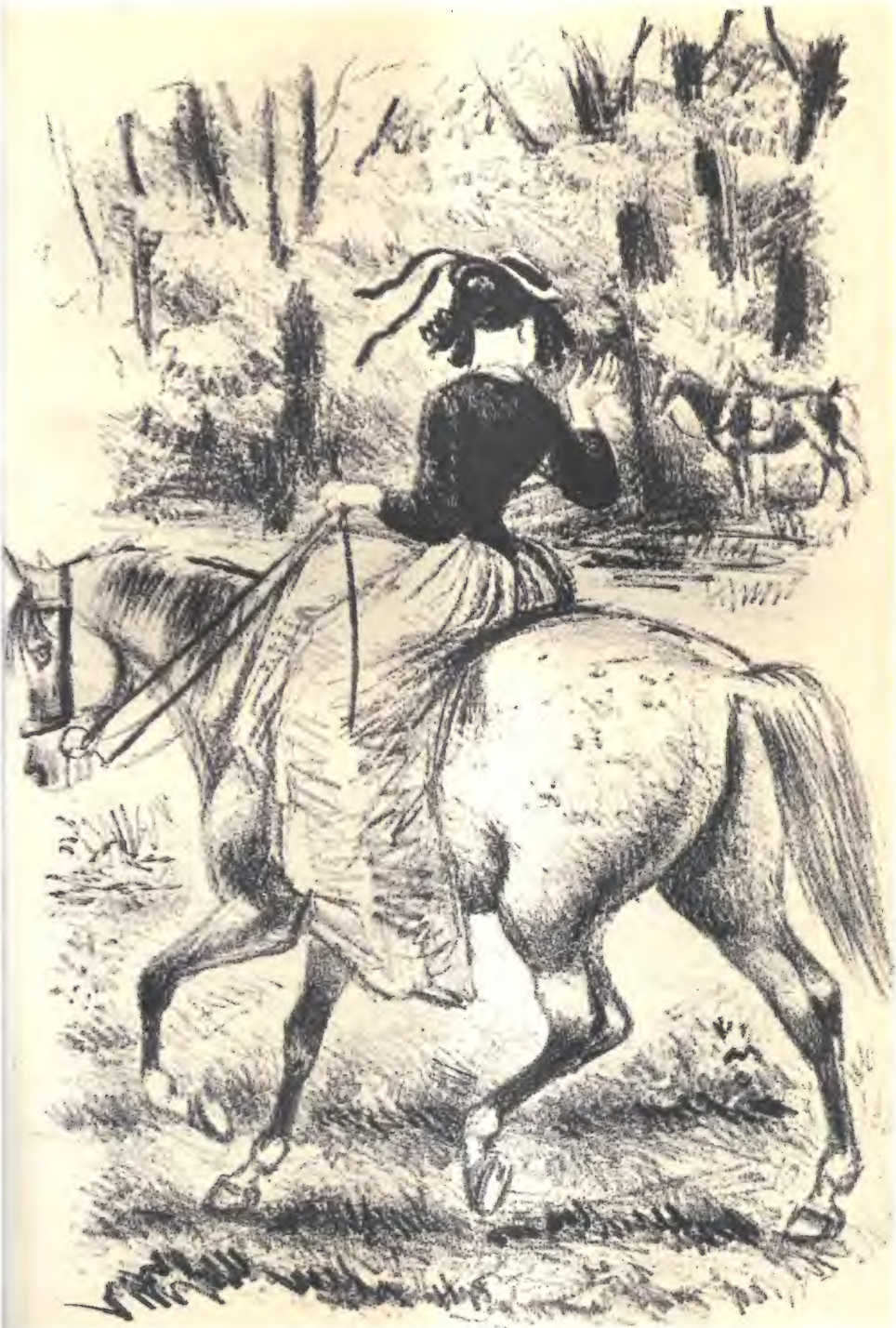
Жанна окончательно потеряла сон; она слушала, как непрерывно кряхтит и скребется старый пес, пытаясь найти свое место в новом жилище и понимая, что он здесь не дома.

Утихомирить его было немыслимо. День он дремал, как будто угасшие глаза и сознание своей немощи мешали ему двигаться, когда все живое хлопочет и спешит, но едва лишь смеркалось, он принимался блуждать без устали, словно решался жить и двигаться только в темноте, когда все становятся незрячими.

Но в одно утро его нашли мертвым. Это было большим облегчением.

Надвигалась зима, и Жанной овладело неодолимое отчаяние. Это не была та жгучая боль, которая надрывает душу, а унылая, смертная тоска.

Нечему было отвлечь и рассеять ее. Никто не вспоминал о ней. Перед новым ее домом тянулась вправо и влево большая дорога, почти всегда пустынная. Время от времени мимо катила



Жизнь

двуколка с загорелым возницей, синяя блуза которого от быстрой езды вздувалась на спине пузырем; иногда медленно тащилась телега, а иногда у края горизонта показывалась крестьянская чета, мужчина и женщина; крохотные фигурки их все росли, а потом, миновав дом, уменьшались снова, становились не больше насекомых там, в самом конце белой полоски, которая уходила в необозримую даль, поднимаясь и опускаясь вместе с грядами волнистой равнины.

Когда опять пробилась трава, мимо ограды стала каждое утро проходить девочка в короткой юбке, погоняя двух тощих коров, которые паслись вдоль придорожных канав. К вечеру она возвращалась той же сонной поступью, делая по шагу в десять минут, следом за своей скотиной.

Жанне каждую ночь снилось, что она по-прежнему живет в Тополях.

Она вновь видела себя там вместе с отцом и маменькой, а иногда даже с тетей Лизон. Она вновь делала то, что ушло и позабылось, вновь водила мадам Аделаиду по ее аллее. И каждое утро она просыпалась в слезах.

Она неотступно думала о Поле, пытала себя вопросами: «Что он делает? Каким он стал? Вспоминает хоть изредка обо мне?» Гуляя по тропинкам, протоптанным между фермами, она перебирала эти мучительные думы; но больше всего страдала она от неутолимой ревности к незнакомой женщине, похитившей у нее сына. Только эта ненависть удерживала ее, мешала ей действовать, поехать за ним, проникнуть к нему. Ей все казалось, что его любовница встретит ее на пороге и спросит: «Что вам здесь надобно, сударыня?» Материнская гордость возмущалась в ней от возможности такой встречи; и высокомерие женщины, ни разу не оступившейся, сохранившей незапятнанную чистоту, разжигало в ней гнев против подлости мужчины, раба грязной плотской любви, которая оподляет даже сердца. Все человечество было ей гадко, когда она думала о нечистых тайнах похоти, о марающих ласках, о тех альковных секретах, которые знала по догадке и которыми объяснялась нерасторжимость многих связей.

Прошли еще весна и лето.

Но когда настала осень с долгими дождями, сереньким небом и мрачными тучами, ей до того опостылела такая жизнь, что она решила сделать последнюю попытку вернуть своего Пуле.

Надо думать, его страсть успела остыть.

И она написала ему слезное письмо:

«Дорогое мое дитя, заклинаю тебя вернуться ко мне. Вспомни, что я стара, больна и круглый год одна с прислугой. Я живу теперь в маленьком домике у самой дороги. Это очень нерадостно. Но если бы ты вернулся ко мне, все бы для меня было по-иному. Кроме тебя, у меня никого нет на свете, а мы не виделись с тобой целых семь лет! Ты и вообразить себе не можешь, сколько я выстрадала и сколько души вложила я в тебя. Ты был моей жизнью, моей мечтой, единственным моим упованием, единственной любовью, и ты далеко от меня, ты меня покинул!

Ах, вернись, маленький мой Пуле, вернись и обними свою старую мать, которая в отчаянии протягивает к тебе руки.

Жанна».

Он ответил через несколько дней:

«Дорогая мама, я тоже был бы счастлив повидать тебя, но у меня нет ни гроша. Пришли мне немного денег, и я приеду. Впрочем, я и сам собирался съездить к тебе и поговорить об одном своем намерении, которое позволило бы мне исполнить твое желание.

Бескорыстие и привязанность той, что была моей подругой все трудные дни, пережитые мной, не имели и не имеют границ. Дольше мне невозможно уклоняться от публичного признания ее верной любви и преданности. Кстати, у нее превосходные манеры, которые ты, без сомнения, одобришь. К тому же она очень образованна, много читает. А главное, ты не представляешь себе, чем она всегда была для меня. Я был бы негодяем, если бы не дал ей доказательств своей признательности. Итак, прошу у тебя разрешения на брак с ней. Ты простишь мне мои ошибки, и мы заживем вместе в твоем новом доме.

Если бы ты знала ее, ты бы сразу же дала согласие. Уверяю тебя, что она совершенство и притом образец благовоспитанности. Ты, без сомнения, полюбишь ее. Что же касается меня, то я не могу без нее жить.

С нетерпением жду от тебя ответа, а пока мы оба от души целуем тебя.

Твой сын

виконт *Поль де Ламар».*

Жанна была уничтожена. Она застыла в неподвижности, опустив письмо на колени; ей были ясны происки этой девки, которая все время удерживала ее сына, ни разу не пустила его

к ней, дожидаясь своего часа — того часа, когда старуха мать, дойдя до отчаяния, не устоит перед желанием обнять свое дитя, смягчится и даст согласие на все.

И неизжитая обида от неизменного предпочтения, которое Поль оказывал этой твари, разрывала ее сердце.

Она твердила про себя:

— Он не любит, не любит меня.

Вошла Розали.

— Он собрался на ней жениться,— проговорила Жанна.

Служанка даже подскочила.

— Ох, сударыня, не давайте согласия. Как можно, чтобы господин Поль подобрал эту потаскуху.

И Жанна, подавленная, но полная возмущения, ответила:

— Будь покойна, голубушка, этого я не допущу. А раз он не желает приезжать, я сама поеду к нему, и тогда посмотрим, кто из нас возьмет верх.

Она немедленно написала Полю, что собирается приехать и желает увидеться с ним где угодно, только не на квартире этой твари.

В ожидании ответа она начала сборы. Розали принялась укладывать в старый баул белье и одежду своей госпожи, но, расправляя ее платье, давнишнее летнее платье, вскричала вдруг:

— Да вам даже надеть-то на себя нечего! Я вас не пущу так! На вас стыдно будет смотреть, а парижские дамы сочтут вас за прислугу.

Жанна подчинилась ей, и они вдвоем отправились в Годервиль, где выбрали материю в зеленую клетку и отдали шить местной портнихе. Затем зашли за указаниями к нотариусу, мэтру Русселю, который каждый год ездил на две недели в столицу. Сама Жанна не была в Париже двадцать восемь лет.

Он дал подробнейшие наставления, как остерегаться экипажей, как уберечься от воровства, советуя зашить деньги в подкладку платья, а в кармане держать только то, что нужно на мелкие расходы. Он долго распространялся о ресторанах с умеренными ценами и указал два или три, где бывают дамы; затем он рекомендовал гостиницу «Нормандия» около вокзала, где обычно останавливался сам, и разрешил сослаться там на него.

Уже целых шесть лет между Парижем и Гавром проложена была железная дорога, о которой шло столько толков. Но Жанна, удрученная горем, еще не видела знаменитого локомотива, который все перевернул в округе.

Тем временем от Поля ответа не было.

Она прождала неделю, другую, каждое утро выходила на дорогу навстречу почтальону и с трепетом обращалась к нему:

— Для меня что-нибудь есть, дядюшка Маландэн?

И тот неизменно отвечал охрипшим от переменчивого климата голосом:

— Покамест ничего, сударыня.

Ну конечно же, эта женщина не позволяла Полю ответить!

Тогда Жанна решила ехать, ничего не дожидаясь. Она хотела взять с собой Розали, но служанка отказалась сопутствовать ей, не желая увеличивать дорожные расходы.

Впрочем, она и хозяйке своей не позволила взять больше трехсот франков.

— Если вам потребуется еще, вы мне напишете, я схожу к нотариусу, а он уже будет знать, как переслать вам деньги. А то господин Поль все приберет к рукам.

Итак, в одно декабрьское утро обе взобрались в двуколку Дени Лекока, который повез их на станцию,— решено было, что Розали проводит хозяйку до железной дороги.

Прежде всего они справились о стоимости билета, потом, когда все было улажено и баул сдан в багаж, стали ждать, глядя на железные полосы и стараясь понять, как действует эта штука, и до того были заняты увлекательной загадкой, что даже позабыли о печальной цели путешествия.

Наконец послышался отдаленный гудок, они повернули головы и увидели черную машину, которая все росла, приближаясь. Чудовище надвинулось с оглушительным грохотом и прокатило мимо них, волоча за собой цепочку домиков на колесах; кондуктор открыл дверцу, Жанна со слезами поцеловала Розали и взобралась в одну из клеток.

Взволнованная Розали кричала:

— Прощайте, сударыня, счастливого пути, до скорого свидания!

— Прощай, голубушка.

Снова раздался гудок, и вся вереница домиков покатилась сперва медленно, потом быстрее и, наконец, с ужасающей скоростью.

В купе, куда попала Жанна, два господина спали, прислонившись к стенке в разных углах.

Она смотрела, как мелькали поля, деревья, фермы, селенья, и была ошеломлена такой быстротой, чувствовала себя захваченной новой жизнью, унесенной в новый мир, непохожий на мир ее тихой юности, ее однообразной жизни.

Уже смеркалось, когда поезд прибыл в Париж. Носильщик взял багаж Жанны, и она, перепуганная сутолокой, не привыкшая лавировать в движущейся толпе, почти бежала за ним, чтобы не потерять его из виду.

Когда она очутилась в конторе гостиницы, то прежде всего поспешила заявить:

— Меня к вам направил господин Руссель.

Хозяйка, массивная женщина сурового вида, сидевшая за конторкой, спросила:

— Кто это такой — господин Руссель?

— Да это нотариус из Годервиля, он останавливается у вас каждый год,— растерявшись, отвечала Жанна.

— Очень возможно. Только я его не знаю,— сказала тучная особа.— Вам нужна комната?

— Да, сударыня.

Слуга взял ее баул и пошел по лестнице впереди нее.

У нее тоскливо сжималось сердце. Она села подле маленького столика и попросила, чтобы ей принесли чашку бульона и кусочек цыпленка. С самого утра у нее ничего не было во рту.

Уныло пообедала она при одной свечке, предаваясь грустным размышлениям, вспоминая, как была здесь проездом по возвращении из свадебного путешествия, как во время этого пребывания в Париже впервые проявился характер Жюльена. Но она была тогда молода, и бодра, и жизнерадостна. Теперь она чувствовала, что стала старой, немощной, даже трусливой, слабой, терялась от малейшего пустяка. Кончив обед, она подошла к окну и взглянула на улицу, полную народа. Ей хотелось выйти из гостиницы, но было страшновато. Она обязательно заблудится, казалось ей. Тогда она легла и задула свечу.

Но грохот, ощущение чужого города и треволнения пути мешали ей уснуть. Проходили часы. Шумы улицы понемногу затихали, а она все бодрствовала, ей не давала покоя тревожная полудрема больших городов. Она привыкла к мирному и глубокому сну полей, который усыпляет все — растения, людей, животных; а сейчас она ощущала кругом какое-то таинственное оживление. До нее доносились, словно просачиваясь сквозь стены, почти неуловимые голоса. Иногда скрипел пол, хлопала дверь, звенел звонок.

Внезапно, часов около двух ночи, когда она стала засыпать, в соседней комнате раздался женский крик; Жанна привскочила и села в постели; потом ей послышался смех мужчины.

И тут, с приближением дня, ею завладела мысль о Поле; она встала и оделась, едва только забрезжил рассвет. Они жили

на улице Соваж в Ситэ. Помня наказ Розали соблюдать экономию, она собралась туда пешком. Погода стояла ясная; морозный воздух пощипывал щеки; озабоченные люди бежали по тротуарам. Она торопливо шла по той улице, которую ей указали и в конце которой ей нужно было повернуть направо, а затем налево. Дойдя до площади, она должна была спросить, куда идти дальше. Она не нашла площади и обратилась с вопросом к булочнику, который дал ей противоположные указания. Она послушалась его, сбилась с дороги, долго плутала, следовала другим наставлениям и заблудилась окончательно.

В полной растерянности она шла теперь почти наугад и совсем уже собралась остановить фиакр, как вдруг увидела Сену. Тогда она пошла по набережным.

Приблизительно через час она свернула на улицу Соваж — темный и узкий переулок. Перед дверью она остановилась до того взволнованная, что дальше не могла сделать ни шагу.

Тут, в этом доме, был он — Пуле.

У нее дрожали колени, дрожали руки; наконец она решилась, прошла коридором, увидела каморку швейцара и спросила, протягивая монету:

— Вы не могли бы подняться и сказать господину Полю де Ламар, что его ждет внизу старая приятельница его матери.

— Он отсюда съехал, сударыня,— ответил швейцар.

Дрожь пробежала по ней.

— А где он теперь живет? — пролепетала она.

— Не знаю.

У нее до того закружилась голова, что она едва не упала и некоторое время не могла выговорить ни слова. Наконец отчаянным усилием она овладела собой и прошептала:

— Давно он съехал?

Швейцар оказался словоохотливым.

— Как раз две недели назад. Ушли оба как-то вечером в чем были и больше не возвращались. Они задолжали всему кварталу; сами понимаете, какой им был смысл оставлять новый адрес.

Жанна видела какие-то искры, вспышки огня, словно у нее перед глазами стреляли из ружья. Но одна неотступная мысль давала ей сил держаться на ногах, быть с виду спокойной и рассудительной: она хотела знать, как найти Пуле.

— Он ничего не сказал, когда уезжал?

— Ни слова. Они попросту сбежали, чтобы не платить, вот и все.

— Но он, наверно, будет присылать кого-нибудь за письмами?

— Еще чего! Да они за год и десятка писем не получали. Однако же одно письмецо я им отнес дня за два до того, как они съехали.

Это, конечно, было ее письмо. Она сказала поспешно:

— Послушайте, я его мать, я за ним приехала. Вот вам десять франков. Если вы что-нибудь услышите или узнаете о нем, сообщите мне в гостиницу «Нормандия» на Гаврской улице, я вам хорошо заплачу.

— Положитесь на меня, сударыня,— ответил швейцар.

И она убежала прочь.

Она шла теперь, не думая о том, куда идет. Она спешила, словно по важному делу, торопливо пробиралась вдоль стен, и ее толкали люди со свертками; она переходила улицы, не глядя на экипажи, и ее ругали кучера; она не видела ступенек тротуара и спотыкалась о них, она бежала вперед как потерянная.

Неожиданно она очутилась в каком-то саду и почувствовала такую усталость, что присела на скамью. Должно быть, она просидела там долго и плакала, сама того не замечая, потому что прохожие останавливались и смотрели на нее. Наконец она почувствовала, что вся прозябла; тогда она встала и пошла дальше; ноги едва несли ее, так она была слаба, так измучена. Ей хотелось выпить чашку бульона, но она не решалась войти в какой-нибудь ресторан от робости и своего рода целомудренного стыда за свое горе, которое, как она сознавала, было очень уж явным. Она останавливалась на пороге, заглядывала внутрь, видела людей, которые сидели и ели за столиками, и пугливо бежала дальше, решая про себя: «Пойду в другой». Но и в следующий тоже не смела войти.

Под конец она купила в булочной хлебец-подковку и стала есть его на ходу. Ее мучила жажда, но она не знала, куда зайти напиться, и потому перетерпела.

Она прошла под каким-то сводом и очутилась в другом саду, окруженном аркадами. Она узнала Пале-Рояль.

Солнце и ходьба немножко согрели ее, и она посидела еще час или два.

В сад вливалась толпа, нарядная толпа людей, которые болтали, улыбались, раскланивались,— благополучная толпа, где женщины красивы, а мужчины богаты, где все живет для роскоши и радости.

Жанна испугалась такого пышного сборища и вскочила, чтобы убежать; но вдруг ее осенила мысль, что здесь она может

встретить Поля; и она принялась бродить, заглядывая в лица; она ходила по саду взад и вперед, из конца в конец частыми робкими шажками.

Люди оборачивались и смотрели на нее, иные смеялись и что-то говорили друг другу. Она заметила это и бросилась бежать, решив, что они, конечно, потешаются над ее видом, над ее платьем в зеленую клетку, выбранным по вкусу Розали и сшитым по ее указаниям годервильской портнихой.

Она не смела даже спрашивать у прохожих дорогу. Однако отважилась под конец и добралась до своей гостиницы.

Не шевелясь, просидела она до вечера на стуле в ногах кровати. Потом пообедала, как накануне, супом и кусочком мяса и легла в постель. Проделывала она все это машинально, по привычке.

На следующее утро она обратилась в полицейскую префектуру, чтобы нашли ее сына; ничего положительного ей не сказали, однако обещали заняться этим делом.

Тогда она пошла скитаться по улицам в надежде встретить его. И в этой суетливой толпе она чувствовала себя более одинокой, более заброшенной и жалкой, чем среди пустынных полей.

Когда она вечером вернулась в гостиницу, ей сказали, что ее спрашивал от имени господина Поля какой-то человек и обещал прийти завтра. Волна крови прилила ей к сердцу, и она всю ночь не сомкнула глаз. А вдруг это был он? Да конечно же это был он, хотя по описанию она не уловила сходства.

Часов около девяти в ее дверь постучали, она крикнула: «Войдите!», собираясь броситься навстречу с распростертыми объятиями. На пороге появился незнакомец. И пока он просил извинения за беспокойство, пока он излагал свое дело,— он пришел получить долг Поля,— она чувствовала, что плачет, старалась скрыть слезы и смахивала их пальцем, по мере того как они набегали на глаза.

Он узнал о ее приезде у швейцара на улице Соваж и, не имея возможности найти сына, обращался к матери. Он протянул бумагу, которую она, не задумываясь, взяла. Она увидела цифру девяносто франков, достала деньги и заплатила. В этот день она совсем не выходила на улицу.

Назавтра явились другие кредиторы. Она отдала все, что у нее было, оставив себе франков двадцать, и написала Розали о своем положении.

В ожидании ответа служанки она целые дни бродила по городу, не зная, что предпринять, где убить мрачные, нескончае-

мые часы, кому сказать ласковое слово, кому поведать свое горе. Блуждая без цели, она томилась теперь желанием уехать, вернуться туда, в свой домик на краю безлюдной дороги.

Несколько дней назад она не могла жить там от гнетущей тоски, а сейчас, наоборот, чувствовала, что впредь ей возможно будет жить только в том месте, где укоренились ее унылые привычки.

Наконец, как-то вечером, вернувшись в гостиницу, она нашла письмо и двести франков. Розали писала:

«Мадам Жанна, поскорее возвращайтесь, потому что больше я вам денег не пришлю. Что до господина Поля, то за ним поеду я, как только он объявится.

Низко кланяюсь вам.

Ваша слуга *Розали*».

В то утро, когда Жанна уехала назад в Батвиль, шел снег и было очень холодно.

XIV

С тех пор она перестала выходить, перестала двигаться. Она вставала каждое утро в определенный час, смотрела в окно, чтобы узнать, какая погода, а потом спускалась в столовую и садилась у камина.

Она сидела так по целым дням, не шевелясь, не отводя взгляда от пламени, дав волю своим печальным думам, и перед ней проходила скорбная вереница ее горестей. Сумерки мало-помалу заволакивали тесную комнату, а Жанна все сидела не двигаясь, только иногда подбрасывала дров в камин.

Входила Розали с лампой и окликала ее:

— Да ну же, мадам Жанна, не мешало бы вам поразмяться, а то вы опять ничего не станете есть за обедом.

Часто она не могла отделаться от какой-нибудь навязчивой мысли или волновалась и мучилась по пустякам; в ее больной голове любая мелочь приобретала огромное значение.

Больше всего она жила в прошлом, в отдаленном прошлом; ее преследовали воспоминания о ранней поре ее жизни и о свадебном путешествии по Корсике. Давно забытые ландшафты далекого острова внезапно возникали в тлеющих углях камина; ей припоминались все подробности, мельчайшие события, люди, виденные там; лицо проводника, Жана Риволи, стояло перед ней неотступно, а иногда ей даже чудился его голос.

Потом она вспоминала мирные детские годы Поля, когда он заставлял ее пересаживать салат и они с тетей Лизон подолгу простаивали на коленях, копаясь в тучной земле, наперебой стараясь угодить ребенку, соперничая между собой в том, у кого лучше примется рассада, кто выходит больше сеянцев.

И губы ее шептали чуть слышно: «Пуле, мальчик мой Пуле», как будто она обращалась к нему самому; на этом имени мечты ее задерживались; иногда она по целым часам вытянутым пальцем чертила в воздухе составлявшие его буквы. Она медленно выводила их перед огнем и воображала, будто видит их, потом, решив, что ошиблась, дрожащей от усталости рукой начинала снова заглавное *П* и силилась написать все имя полностью; доведя его до конца, она начинала сызнова.

Наконец она выбивалась из сил, путала все, рисовала другие слова, доходила до исступления.

Она была подвержена всем причудам одиноких людей. Перестановка любого предмета раздражала ее.

Розали часто принуждала ее двигаться, выводила погулять по дороге, но Жанна через двадцать минут заявляла: «Я устала, голубушка»,— и усаживалась у придорожной канавы.

Вскоре всякое движение стало ей несносно, она как можно дольше оставалась в постели.

С самого детства у нее упорно держалась лишь одна привычка: вставать сразу же, как выпьет чашку кофе с молоком. К этому напитку она чувствовала особое пристрастие; лишиться его ей было бы труднее, чем чего-либо другого. Каждое утро она ждала прихода Розали в своего рода сладострастном нетерпении, а как только полная чашка оказывалась на ночном столике, она садилась на кровати и выпивала ее с жадностью. Потом отбрасывала одеяло и начинала одеваться.

Но мало-помалу она приучилась задумываться на минутку после того, как опускала чашку на блюдце; потом стала ложиться снова; так изо дня в день она нежилась все дольше, пока не являлась разъяренная Розали и не одевала ее почти насильно. Впрочем, у нее не осталось и намека на волю, и всякий раз, как служанка спрашивала у нее совета, задавала ей вопрос, осведомляясь о ее мнении, она отвечала:

— Делай как знаешь, голубушка.

Она до того уверовала в свою незадачливость, что дошла до чисто восточного фатализма; привыкнув к тому, что все мечты ее гибнут, все надежды рушатся, она колебалась целые дни, прежде чем решиться на самый ничтожный поступок, так как

была убеждена, что обязательно изберет неправильный путь и дело обернется плохо.

— Уж кому не повезло в жизни, так это мне,— ежеминутно повторяла она.

Розали возмущалась в ответ:

— Вот пришлось бы вам работать за кусок хлеба, вставать каждый день в шесть утра да идти на поденщину,— что бы вы тогда сказали? Мало разве кто так бьется, а на старости лет умирает с голоду.

— Да ты подумай, ведь я совсем одна, и сын меня покинул,— возражала Жанна.

Тогда Розали совсем выходила из себя:

— Подумаешь, какая беда! А что, когда сыновья уходят на военную службу или же переселяются в Америку?

Америка представлялась ей каким-то фантастическим краем, куда ездят наживать богатство и откуда не возвращаются.

— Рано ли, поздно ли, а разлучаться приходится,— продолжала она,— потому что старым и молодым не положено жить вместе.

И она добавляла свирепо:

— Вот умри он, что бы вы тогда сказали?

На это Жанна не находила ответа.

С мягким ветерком первых весенних дней силы ее немного восстановились, но она пользовалась этим возвратом энергии, чтобы еще неистовее предаться своим мрачным думам.

Поднявшись однажды утром на чердак за какой-то вещью, она случайно открыла сундук, наполненный старыми календарями; их хранили по обычаю многих деревенских жителей.

Ей показалось, что самые годы ее прошлой жизни встают перед нею, и странное, смутное волнение охватило ее при виде этих квадратов картона.

Она взяла их и унесла вниз, в столовую. Тут были всякие, большие и маленькие; она принялась раскладывать их на столе по годам. Внезапно ей попался первый из них, тот, который она привезла в Тополя.

Она долго смотрела на него, на зачеркнутые ее рукой числа в утро ее отъезда из Руана, на следующий день после выхода из монастыря. И она заплакала. Она плакала скорбными, скудными слезами, жалкими слезами старухи, оплакивающей свою несчастную жизнь, запечатленную в этих кусочках картона.

Внезапно у нее мелькнула мысль, ставшая вскоре жестокой, неотступной, неотвязной манией. Ей непременно нужно было восстановить день за днем все, что она делала в жизни.

Она развесила по стенам эти пожелтевшие квадраты картона и проводила целые дни, уставив взгляд на какой-нибудь из них и припоминая: «Что со мной случилось в том месяце?»

Она подчеркивала памятные даты своей истории и восстанавливала таким образом некоторые месяцы целиком, припоминая один за другим, сочетая и связывая между собой все мелкие факты, предшествовавшие крупному событию и последовавшие за ним.

Сосредоточив внимание, всячески напрягая память и собрав всю свою волю, она почти полностью восстановила первые два года пребывания в Тополях, так как события самого отдаленного прошлого всплывали в ее памяти удивительно легко и выпукло.

Но последующие годы терялись в каком-то тумане, путались, громоздились друг на друга; случалось, она просиживала подолгу, глядя на один из календарей, обратив все помыслы в былое, и не могла разобраться, к этому ли куску картона относится то или иное воспоминание. Так от одного календаря к другому она обходила всю комнату, где, точно картины крестного пути, висели памятки минувших дней. Потом ставила перед какой-нибудь из них стул и сидела без движения до ночи, роясь в своей памяти.

И вдруг, когда солнечное тепло пробудило соки, когда на полях поднялись всходы, а деревья зазеленели, когда яблони в садах распустились розовыми шарами и напоили ароматами равнину, сильнейшее возбуждение овладело Жанной.

Ей не сиделось на месте; она была в непрерывном движении, выходила и возвращалась по двадцать раз в день, часто блуждала где-то далеко среди ферм, разжигая в себе лихорадку сожалений.

Скрытая в густой траве маргаритка, луч солнца, скользнувший меж листьями, лужица, где отражается синева небес,— все это задевало ее за живое, умиляло, потрясало ее, будило забытые ощущения, словно отголоски того, что волновало ее девичью душу, когда она, мечтая, скиталась по полям.

Тот же трепет, то же наслажденье пьянящей отрадой и негой весеннего тепла она испытывала, когда жила ожиданием будущего. И теперь, когда с будущим было покончено, она ощущала все это вновь. И наслаждалась всем сердцем, и страдала в то же время, как будто извечная радость пробужденного мира, пронизывая ее иссохшую кожу, ее охладевшую кровь, ее удрученную душу, теперь могла подарить ей лишь грустную тень очарования.

Ей казалось, будто что-то переменилось на свете. Солнце стало, пожалуй, не таким уже жарким, как в дни ее юности, небо не таким уж синим, трава не такой уж зеленой; цветы тоже были не так ярки и ароматны, не дурманили так, как прежде.

Однако бывали дни, когда блаженное чувство жизни так властно проникало в нее, что она вновь принималась мечтать, надеяться, ждать; и, правда, можно ли, при всей беспощадной жестокости судьбы, перестать надеяться, когда кругом такая благодать?

Она ходила, ходила часами, как будто душевное возбуждение подгоняло ее. Иногда она вдруг останавливалась, садилась у края дороги и перебирала печальные мысли. Почему ее не любили, как других? Почему ей не дано было узнать даже скромные радости мирного существования?

А иногда она забывала на миг, что она стара, что впереди ее не ждет ничего, кроме недолгих мрачных и одиноких лет, что пройден весь ее путь; и она, как прежде, как в шестнадцать лет, строила планы, отрадные сердцу, рисовала заманчивые картины будущего. И вдруг жестокое сознание действительности обрушивалось на нее; она вставала, вся согнувшись, как будто на нее свалилась тяжесть и перебила ей поясницу, и уже медленнее шла по направлению к дому, бормоча про себя: «Ах, безумная, безумная старуха!»

Теперь Розали без конца твердила ей:

— Да посидите вы спокойно, что это вы такая непоседа?

И Жанна отвечала печально:

— Со мной, верно, делается то же, что с Убоем перед концом.

Однажды утром служанка вошла к ней в спальню раньше обычного и, поставив на столик чашку кофе, сказала:

— Пейте скорее. Дени ждет нас у крыльца. Мы едем в Тополя, у меня дела в той стороне.

Жанна до того взволновалась, что едва не лишилась чувств; она оделась, вся дрожа от волнения и страха при мысли, что увидит дорогой ее сердцу дом.

Ясное небо простиралось над миром, и лошаденка, развеселясь, пускалась по временам вскачь. Когда они въехали в Этуванскую общину, Жанне стало трудно дышать, до того ей сдавило грудь, а при виде кирпичных столбов ограды она невольно охнула несколько раз, как будто у нее останавливается сердце.

Повозку распрягли у Куяров, а пока Розали с сыном ходили по делам, Куяры предложили Жанне воспользоваться отсутствием хозяев и навестить дом и тут же дали ей ключи.

Она отправилась одна и, подойдя к старому дому со стороны моря, остановилась взглянуть на него. Снаружи все было без перемен. По хмурым стенам обширного серого здания в этот день скользили улыбки солнца. Все ставни были закрыты.

Сухой сучок упал ей на платье; Жанна подняла глаза: он упал с платана. Она подошла к толстому стволу с гладкой и блеклой корой и погладила его, точно живое существо. Нога ее натолкнулась в траве на кусок сгнившего дерева; это был остаток скамьи, где она так часто сидела со своими близкими, той скамьи, которую поставили в день первого визита Жюльена.

Она подошла к двустворчатым дверям, ведущим в вестибюль, и с трудом отворила их, потому что ржавый ключ не желал поворачиваться. Наконец замок со скрежетом поддался, и тугая, разбухшая створка двери раскрылась.

Жанна сразу же, чуть не бегом, поднялась в свою комнату; она была неузнаваема, оклеена новыми светлыми обоями, но когда Жанна открыла окно, все внутри у нее перевернулось при виде любимого ландшафта: рощи, вязов, ланды и моря, усеянного бурыми парусами, издалека как будто неподвижными. Затем она пошла бродить по большому пустынному дому. Она вглядывалась в привычные ее глазу пятна на стенах. Она остановилась перед дырочкой в штукатурке, пробуравленной бароном, который любил, вспомнив молодость, поупражняться тростью в фехтовании, проходя мимо этой стены.

В спальне маменьки она нашла вколотую за дверью в темном уголке возле кровати тонкую булавку с золотой головкой, которую сама же, как она припомнила теперь, воткнула туда, а потом искала целые годы. Так никто ее и не нашел. Она взяла булавку, как бесценную реликвию, и поцеловала ее.

Она заглядывала повсюду, искала и находила почти неуловимые отметки на прежних, не смененных обоях, снова видела те причудливые образы, которые наша фантазия создает из рисунков тканей, из прожилок мрамора, из теней на потолках, потемневших от времени.

Она неслышными шагами ходила одна по огромному безмолвному дому, точно по кладбищу. Вся ее жизнь покоилась в нем. Она спустилась в гостиную. Там было темно от запертых ставен, и она некоторое время ничего не видела; потом глаза ее привыкли к темноте, и ей мало-помалу удалось разглядеть высокие шпалеры, где порхали птицы. Два кресла по-прежне-

му стояли у камина, как будто их только что покинули, и даже самый запах комнаты, ее особый запах, как у людей бывает свой, этот слабый, но вполне ощутимый, неопределенный и милый запах старинных покоев проникал в Жанну, обволакивал ее воспоминаниями, дурманил ей мозг. Она стояла, задыхаясь, впивая дыхание прошлого и не сводя глаз с двух кресел. И вдруг в мгновенной галлюцинации, порожденной навязчивой идеей, ей привиделось,— нет, она увидела, как видела столько раз,— что отец и мать сидят и греют ноги у огня.

Она отшатнулась в ужасе, наткнулась на дверь и прислонилась к ней, чтобы не упасть, но при этом не отрывала взгляда от кресел.

Видение исчезло.

Несколько минут она была как безумная; потом овладела собой и хотела бежать, чтобы не сойти совсем с ума. Взгляд ее случайно упал на косяк двери, на который она опиралась, и она увидела «лесенку Пуле».

Слабые отметки на белой краске шли вверх с неравными промежутками, а цифры, вырезанные перочинным ножом, указывали годы, месяцы и рост ее сына. Иногда почерк был отцовский, более крупный, иногда ее — помельче, а иногда тети Лизон, немного неровный. И ей показалось, что он снова здесь, перед ней — маленький Поль, и будто бы он снова прижимается белокурой головкой к стене, чтобы измерили его рост.

«Жанна, он за полтора месяца вырос на сантиметр!» — кричал барон.

И она с исступленной любовью припялась целовать дверной косяк.

Но ее звали со двора. Это был голос Розали.

— Мадам Жанна, мадам Жанна, вас дожидаются к завтраку.

Она вышла, не помня себя. Она не понимала того, что ей говорили. Она ела кушанья, которые ей подавали, слушала разговоры и не знала, о чем идет речь, вероятно беседовала с фермершами, отвечала на расспросы о ее здоровье, подставляла щеки для поцелуев, сама целовала подставленные щеки и, наконец, села в тележку.

Когда из глаз ее исчезла за деревьями высокая кровля замка, что-то оборвалось у нее в груди. Она чувствовала в душе, что навсегда распрощалась с родимым домом.

Тележка привезла их в Батвиль.

В ту минуту как Жанна собралась переступить порог своего нового жилища, она заметила под дверью что-то белое;

это было письмо, которое подсунул туда почтальон в ее отсутствие.

Она сразу же узнала почерк Поля и, дрожа от волнения, распечатала письмо. Оно гласило:

«Дорогая мама, я не писал тебе до сих пор, потому что не хотел, чтобы ты понапрасну приезжала в Париж, когда сам я собирался со дня на день навестить тебя. В настоящее время у меня большое горе, и я очутился в крайне тяжелом положении. Моя жена три дня тому назад родила девочку и теперь находится при смерти. А я опять без гроша. Не знаю, как быть с ребенком. Пока что привратница кормит его с рожка, но я очень боюсь за него. Не могла бы ты взять его к себе? Я решительно не знаю, что мне делать, и не имею средств, чтобы отдать малютку кормилице. Отвечай с обратной почтой.

Любящий тебя сын
Поль».

Жанна опустилась на стул и едва собралась с силами, чтобы позвать Розали. Когда служанка явилась, они вместе перечли письмо, потом долго сидели в молчании друг против друга.

Наконец заговорила Розали:

— Надо мне съездить за маленькой. Не бросать же нам ее.

— Поезжай, голубушка,— отвечала Жанна.

Они помолчали еще, потом служанка заговорила опять:

— Надевайте шляпу, мадам Жанна, и едемте в Годервиль к нотариусу. Раз та собралась помирать, надо, чтобы господин Поль женился на ней ради девочки.

И Жанна, не возразив ни слова, надела шляпу. Глубокая, затаенная радость затопила ей сердце, радость предательская, которую ей во что бы то ни стало хотелось скрыть, та подлая радость, которой со стыдом упиваешься в тайниках души: любовница сына была при смерти.

Нотариус дал служанке подробные наставления, которые она просила повторить несколько раз; затвердив все, чтобы не ошибиться, она объявила:

— Будьте благонадежны, теперь я все улажу.

В тот же вечер она выехала в Париж.

Жанна провела два дня в таком смятении, что не могла обдумать ничего. На третье утро она получила от Розали краткое извещение о приезде с вечерним поездом. И больше ни слова.

Часов около трех она попросила соседа заложить двуколку и поехала на станцию, в Безвиль, встречать Розали.

Она стояла на платформе, устремив взгляд на двойную линию рельсов, которые убегали вдаль и сближались где-то там, на краю горизонта. Время от времени она смотрела на часы. «Еще десять минут.— Еще пять минут.— Еще две минуты.— Вот сейчас». Вдали на колее не было видно ничего. Но вдруг она заметила белое пятнышко — дымок, потом под ним черную точку, которая росла, росла, приближаясь на всех парах. Наконец тяжелая машина замедлила ход и, пыхтя, проползла мимо Жанны, которая жадно вглядывалась в окна; многие дверцы отворились; на платформу стали выходить люди — крестьяне в блузах, фермерши с корзинами, мелкие буржуа в мягких шляпах. Наконец она увидела Розали и у нее на руках какой-то белый сверток.

Она хотела пойти навстречу, но побоялась упасть, до того у нее ослабели ноги. Служанка заметила ее, подошла к ней с обычным своим спокойным видом и сказала:

— Здравствуйте, мадам Жанна, вот я и вернулась, хоть и не легко мне пришлось.

— Ну как? — пролепетала Жанна.

— Да так, она нынче ночью скончалась. Они женаты, вот девочка.

И она протянула ребенка, которого не было видно в ворохе пеленок.

Жанна машинально взяла его, они вышли со станции и сели в тележку.

— Господин Поль приедет после похорон. Должно быть, завтра, в это же время,— сообщила Розали.

Жанна пролепетала только одно слово:

— Поль...

Солнце клонилось к горизонту, заливая светом зеленеющие нивы с золотыми пятнами цветущего рапса и кровавыми брызгами мака. Беспредельный покой сходил на умиротворенную землю, где наливались соки.

Двуколка катила быстро, крестьянин прищелкивал языком, подгоняя лошадь.

Жанна смотрела куда-то вдаль на небо, которое, точно ракетой, прорезал стремительный и прихотливый полет ласточек. И вдруг мягкое тепло, тепло жизни прошло сквозь ее платье, достигло ног, разлилось по всему телу,— это было тепло маленького существа, спавшего у нее на коленях.

И безмерное волнение охватило ее. Быстрым жестом открыла она личико ребенка, которого не видела еще: дочь своего сына. И когда голубые глаза малютки раскрылись от внезапного света, когда она зачмокала ротиком, Жанна подняла ее и осыпала неистовыми бессчетными поцелуями.

Но Розали с довольным видом ворчливо остановила ее:

— Постойте, постойте, мадам Жанна, а то она у вас раскричится.

И добавила, отвечая, должно быть, на собственную свою мысль:

— Вот видите, какова она — жизнь: не так хороша, да и не так уж плоха, как думается.

ПЕРЕВОД Н. ЛЮБИМОВА

I

Жорж Дюруа получил у кассирши ресторана сдачу с пяти франков и направился к выходу.

Статный от природы и к тому же сохранивший унтер-офицерскую выправку, он приосанился и, привычным молодцеватым жестом закрутив усы, охватил запоздавших посетителей тем зорким взглядом, каким красавец мужчина, точно ястреб, высматривает добычу.

Женщины подняли на него глаза; это были три молоденькие работницы, учительница музыки, средних лет, небрежно причесанная, неряшливо одетая, в запыленной шляпке, в криво сидевшем на ней платье, и две мещанки с мужьями — завсегдатаи этой дешевой харчевни.

Он постоял с минуту на тротуаре, размышляя о том, как быть дальше. Сегодня двадцать восьмое июня; до первого числа у него остается всего-навсего три франка сорок сантимов. Это значит: два обеда, но никаких завтраков, или два завтрака, но никаких обедов,— на выбор. Так как завтрак стоит франк десять сантимов, а обед — полтора франка, то, отказавшись от обедов, он выгадает франк двадцать сантимов; стало быть, рассчитал он, можно будет еще два раза поужинать хлебом с колбасой и выпить две кружки пива на бульваре. А это его самый большой расход и самое большое удовольствие, которое он позволяет себе по вечерам. Он двинулся по улице Нотр-Дам-де-Лорет.

Шагал он так же, как в те времена, когда на нем был гусарский мундир: выпятив грудь и слегка расставляя ноги, буд-

то только что слез с коня. Он бесцеремонно протискивался в толпе, заполонившей улицу: задевал прохожих плечом, толкался, никому не уступал дорогу. Сдвинув поношенный цилиндр чуть-чуть набок и постукивая каблуками, он шел с высокомерным видом бравого солдата, очутившегося среди штатских, который презирает решительно все: и людей и дома — весь город.

Даже в этом дешевом, купленном за шестьдесят франков костюме ему удавалось сохранять известную элегантность — пошловатую, бьющую в глаза, но все же элегантность. Высокий рост, хорошая фигура, вьющиеся русые с рыжеватым отливом волосы, расчесанные на прямой пробор, закрученные усы, словно пенившиеся на губе, светло-голубые глаза с буравчиками зрачков — все в нем напоминало соблазнителя из бульварного романа.

Был один из тех летних вечеров, когда в Париже не хватает воздуха. Город, жаркий, как парильня, казалось, задыхался и истекал потом. Гранитные пасти сточных труб распространяли зловоние; из подвальных этажей, из низких кухонных окон несся отвратительный запах помоев и прокисшего соуса.

Швейцары, сняв пиджаки, верхом на соломенных стульях покуривали у ворот; мимо них, со шляпами в руках, еле передвигая ноги, брели прохожие.

Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился в нерешительности. Его тянуло на Елисейские поля, в Булонский лес — подышать среди деревьев свежим воздухом. Но он испытывал и другое желание — желание встречи с женщиной.

Как она произойдет? Этого он не знал, но он ждал ее вот уже три месяца, каждый день, каждый вечер. Впрочем, благодаря счастливой наружности и галантному обхождению ему то там, то здесь случалось урвать немножко любви, но он надеялся на нечто большее и лучшее.

В карманах у него было пусто, а кровь между тем играла, и он распалялся от каждого прикосновения уличных женщин, шептавших на углах: «Пойдем со мной, красавчик!» — но не смел за ними идти, так как заплатить ему было нечем; притом он все ждал чего-то иного, иных, менее доступных поцелуев.

И все же он любил посещать места, где кишат девицы легкого поведения,— их балы, рестораны, улицы; любил толкаться среди них, заговаривать с ними, обращаться к ним на «ты», дышать резким запахом их духов, ощущать их близость. Как-никак это тоже женщины, и женщины, созданные для любви. Он отнюдь не питал к ним отвращения, свойственного семьянину.

Он пошел по направлению к церкви Мадлен и растворился в изнемогавшем от жары людском потоке. Большие, захватившие часть тротуара, переполненные кафе выставляли своих посетителей напоказ, заливая их ослепительно ярким светом витрин. Перед посетителями на четырехугольных и круглых столиках стояли бокалы с напитками — красными, желтыми, зелеными, коричневыми, всевозможных оттенков, а в графинах сверкали огромные прозрачные цилиндрические куски льда, охлаждавшие прекрасную чистую воду.

Дюруа замедлил шаг,— у него пересохло в горле.

Жгучая жажда, жажда, какую испытывают лишь в душный летний вечер, томила его, и он вызывал в себе восхитительное ощущение холодного пива, льющегося в гортань. Но если выпить сегодня хотя бы две кружки, то прощай скудный завтрашний ужин, а он слишком хорошо знал часы голода, неизбежно связанные с концом месяца.

«Потерплю до десяти, а там выпью кружку в Американском кафе,— решил он.— А, черт, как, однако ж, хочется пить!» Он смотрел на всех этих людей, сидевших за столиками и утолявших жажду,— на всех этих людей, которые могли пить сколько угодно. Он проходил мимо кафе, окидывая посетителей насмешливым и дерзким взглядом и определяя на глаз — по выражению лица, по одежде,— сколько у каждого из них должно быть с собой денег. И в нем поднималась злоба на этих расположившихся со всеми удобствами господ. Поройся у них в карманах,— найдешь и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем у каждого должно быть не меньше двух луидоров; в любом кафе сто человек, во всяком случае, наберется; два луидора помножить на сто — это четыре тысячи франков! «Сволочь!» — проворчал он, все так же изящно покачивая станом. Попадись бывшему унтер-офицеру кто-нибудь из них ночью в темном переулке,— честное слово, он без зазрения совести свернул бы ему шею, как это он во время маневров проделывал с деревенскими курами.

Дюруа невольно пришли на память два года, которые он провел в Африке, в захолустных крепостях на юге Алжира, где ему часто удавалось обирать до нитки арабов. Веселая и жестокая улыбка скользнула по его губам при воспоминании об одной проделке: трем арабам из племени улед-алан она стоила жизни, зато он и его товарищи раздобыли двадцать кур, двух баранов, золото, и при всем том целых полгода им было над чем смеяться.

Виновных не нашли, да их и не так уж усердно искали,— ведь араба все еще принято считать чем-то вроде законной добычи солдата.

В Париже — не то. Здесь уж не пограбишь в свое удовольствие — с саблей на боку и с револьвером в руке, на свободе, вдали от гражданского правосудия. Дюруа почувствовал, как все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране, разом заговорили в нем. Право, это были счастливые годы. Как жаль, что он не остался в пустыне! Но он полагал, что здесь ему будет лучше. А вышло... Вышло черт знает что!

Точно желая убедиться, как сухо у него во рту, он, слегка прищелкнув, провел языком по нёбу.

Толпа скользила вокруг него, истомленная, вялая, а он, задевая встречных плечом и насвистывая веселые песенки, думал все о том же: «Скоты! И ведь у каждого из этих болванов водятся деньги!» Мужчины, которых он толкал, огрызались, женщины бросали ему вслед: «Нахал!»

Он прошел мимо Водевиля и остановился против Американского кафе, подумывая, не выпить ли ему пива,— до того мучила его жажда. Но прежде чем на это решиться, он взглянул на уличные часы с освещенным циферблатом. Было четверть десятого. Он знал себя: как только перед ним поставят кружку с пивом, он мигом осушит ее до дна. А что он будет делать до одиннадцати?

«Пройдусь до церкви Мадлен,— сказал он себе,— и не спеша двинусь обратно».

На углу площади Оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, которого он где-то как будто видел.

Он пошел за ним, роясь в своих воспоминаниях и повторяя вполголоса:

— Черт возьми, где же я встречался с этим субъектом?

Тщетно напрягал он мысль, как вдруг память его сотворила чудо, и этот же самый человек предстал перед ним менее толстым, более юным, одетым в гусарский мундир.

— Да ведь это Форестье! — вскрикнул Дюруа и, догнав его, хлопнул по плечу.

Тот обернулся, посмотрел на него и спросил:

— Что вам угодно, сударь?

Дюруа засмеялся:

— Не узнаешь?

— Нет.

— Жорж Дюруа, из шестого гусарского.

Форестье протянул ему обе руки:

— А, дружище! Как поживаешь?

— Превосходно, а ты?

— Я, брат, так себе. Вообрази, грудь у меня стала точно из папье-маше, и кашляю я шесть месяцев в году,— все это последствия бронхита, который я схватил четыре года назад в Буживале, как только вернулся во Францию.

— Вот оно что! А вид у тебя здоровый.

Форестье, взяв старого товарища под руку, заговорил о своей болезни, о диагнозах и советах врачей, о том, как трудно ему, такому занятому, следовать их указаниям. Ему предписано провести зиму на юге, но разве это возможно? Он женат, он журналист, он занимает прекрасное положение.

— Я заведую отделом политики во «Французской жизни», помещаю в «Спасении» отчеты о заседаниях сената и время от времени даю литературную хронику в «Планету». Как видишь, я стал на ноги.

Дюруа с удивлением смотрел на него. Форестье сильно изменился, стал вполне зрелым человеком. Походка, манера держаться, костюм, брюшко — все обличало в нем преуспевающего, самоуверенного господина, любящего плотно покушать. А прежде это был худой, тонкий и стройный юноша, ветрогон, забияка, непоседа, горлан. За три года Париж сделал из него совсем другого человека — степенного, тучного, с сединой на висках, хотя ему было не больше двадцати семи лет.

— Ты куда направляешься? — спросил Форестье.

— Никуда,— ответил Дюруа,— просто гуляю перед сном.

— Что ж, может, проводишь меня в редакцию «Французской жизни»? Мне только просмотреть корректуру, а потом мы где-нибудь выпьем по кружке пива.

— Идет.

И с той непринужденностью, которая так легко дается бывшим одноклассникам и однополчанам, они пошли под руку.

— Что поделываешь? — спросил Форестье.

Дюруа пожал плечами:

— По правде сказать, околеваю с голоду. Когда кончился срок моей службы, я приехал сюда, чтобы... чтобы сделать карьеру,— вернее, мне просто захотелось пожить в Париже. Но вот уж полгода, как я служу в управлении Северной железной дороги и получаю всего-навсего полторы тысячи франков в год.

— Не густо, черт возьми,— промычал Форестье.

— Еще бы! Но скажи на милость, как мне выбиться? Я одинок, никого не знаю, обратиться не к кому. Дело не в нежелании, а в отсутствии возможностей.

Приятель, смерив его с ног до головы оценивающим взглядом опытного человека, наставительно заговорил:

— Видишь ли, дитя мое, здесь все зависит от апломба. Человеку мало-мальски сообразительному легче стать министром, чем столоначальником. Надо уметь производить впечатление, а вовсе не просить. Но неужели же, черт возьми, тебе не подвернулось ничего более подходящего!

— Я обил все пороги, но без толку,— возразил Дюруа.— Впрочем, сейчас у меня есть кое-что на примете: мне предлагают место берейтора в манеже Пелерена. Там я, на худой конец, заработаю три тысячи франков.

— Не делай этой глупости,— прервал его Форестье,— даже если тебе посулят десять тысяч франков. Ты сразу отрежешь себе все пути. У себя в канцелярии ты, по крайней мере, не на виду, тебя никто не знает, и, при известной настойчивости, со временем ты выберешься оттуда и сделаешь карьеру. Но берейтор — это конец. Это все равно что поступить метрдотелем в ресторан, где обедает «весь Париж». Раз ты давал уроки верховой езды светским людям или их сыновьям, то они уже не могут смотреть на тебя, как на ровню.

Он замолчал и, подумав несколько секунд, спросил:

— У тебя есть диплом бакалавра?

— Нет, я дважды срезался.

— Это не беда при том условии, если ты все-таки окончил среднее учебное заведение. Когда при тебе говорят о Цицероне или о Тиберии, ты примерно представляешь себе, о ком идет речь?

— Да, примерно.

— Ну и довольно, больше о них никто ничего не знает, кроме десятка-другого остолопов, которые, кстати сказать, умнее от этого не станут. Сойти за человека сведущего совсем нетрудно, поверь. Все дело в том, чтобы тебя не уличили в явном невежестве. Надо лавировать, избегать затруднительных положений, обходить препятствия и при помощи энциклопедического словаря сажать в калошу других. Все люди — круглые невежды и глупы, как бревна.

Форестье рассуждал с беззлобной иронией человека, знающего жизнь, и улыбался, глядя на встречных. Но вдруг закашлялся, остановился и, когда приступ прошел, упавшим голосом проговорил:

— Вот привязался проклятый бронхит! А ведь лето в разгаре. Нет уж, зимой я непременно поеду лечиться в Ментону. Какого черта, в самом деле, здоровье дороже всего!

Они остановились на бульваре Пуасоньер, возле большой стеклянной двери, на внутренней стороне которой был наклеен развернутый номер газеты. Какие-то трое стояли и читали ее.

Над дверью, точно воззвание, приковывала к себе взгляд ослепительная надпись, выведенная огромными огненными буквами, составленными из газовых рожков: «Французская жизнь». В полосе яркого света, падавшего от этих пламенеющих слов, внезапно возникали фигуры прохожих, явственно различимые, четкие, как днем, и тотчас же снова тонули во мраке.

Форестье толкнул дверь.

— Сюда,— сказал он.

Дюруа вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, которую хорошо было видно с улицы, и, пройдя через переднюю, где двое рассыльных поклонились его приятелю, очутился в пыльной и обшарпанной приемной,— стены ее были обиты выцветшим желтовато-зеленым трипом, усеянным пятнами, а кое-где словно изъеденным мышами.

— Присядь,— сказал Форестье,— я вернусь через пять минут.

И он скрылся за одной из трех дверей, выходивших в приемную.

Странный, особенный, непередаваемый запах, запах редакции, стоял здесь. Дюруа, скорей изумленный, чем оробевший, не шевелился. Время от времени какие-то люди пробегали мимо него из одной двери в другую,— так быстро, что он не успевал разглядеть их.

С деловым видом сновали совсем еще зеленые юнцы, держа в руке лист бумаги, колыхавшийся на ветру, который они поднимали своей беготней. Наборщики, у которых из-под халата, запачканного типографской краской, виднелись суконные брюки, точь-в-точь такие же, как у светских людей, и чистый белый воротничок, бережно несли кипы оттисков — свеженабранные, еще сырые гранки. Порой входил щуплый человечек, одетый чересчур франтовски, в сюртуке, чересчур узком в талии, в брюках, чересчур обтягивавших ногу, в ботинках с чересчур узким носком,— какой-нибудь репортер, доставлявший вечернюю светскую хронику.

Приходили и другие люди, надутые, важные, все в одинаковых цилиндрах с плоскими полями,— видимо, они считали, что один этот фасон шляпы уже отличает их от простых смертных.

Наконец появился Форестье под руку с самодовольным и развязным господином средних лет, в черном фраке и белом гал-

стуке, очень смуглым, высоким, худым, с торчащими вверх кончиками усов.

— Всего наилучшего, уважаемый мэтр,— сказал Форестье.

Господин пожал ему руку.

— До свиданья, дорогой мой.

Он сунул тросточку под мышку и, посвистывая, стал спускаться по лестнице.

— Кто это? — спросил Дюруа.

— Жак Риваль,— знаешь, этот известный фельетонист и дуэлист? Он просматривал корректуру. Гарен, Монтель и он — лучшие парижские журналисты: самые остроумные и злободневные фельетоны принадлежат им. Риваль дает нам два фельетона в неделю и получает тридцать тысяч франков в год.

Они вышли. Навстречу им, отдуваясь, поднимался по лестнице небольшого роста человек, грузный, лохматый и неопрятный.

Форестье низко поклонился ему.

— Норбер де Варен, поэт, автор «Угасших светил», тоже в большой цене,— пояснил он.— Ему платят триста франков за рассказ, а в самом длинном его рассказе не будет и двухсот строк. Слушай, зайдем в Неаполитанское кафе, я умираю от жажды.

Как только они заняли места за столиком, Форестье крикнул: «Две кружки пива!» — и залпом осушил свою; Дюруа между тем отхлебывал понемножку, наслаждаясь, смакуя, словно это был редкостный, драгоценный напиток.

Его приятель молчал и, казалось, думал о чем-то, потом неожиданно спросил:

— Почему бы тебе не заняться журналистикой?

Дюруа бросил на него недоумевающий взгляд.

— Но... дело в том, что... я никогда ничего не писал.

— Ну так попробуй, начни! Ты мог бы мне пригодиться: добывал бы для меня информацию, интервьюировал должностных лиц, ходил бы в присутственные места. На первых порах будешь получать двести пятьдесят франков, не считая разъездных. Хочешь, я поговорю с издателем?

— Конечно, хочу.

— Тогда вот что: приходи ко мне завтра обедать. Соберется у меня человек пять-шесть, не больше: мой патрон — господин Вальтер с супругой, Жак Риваль и Норбер де Варен, которых ты только что видел, и приятельница моей жены. Придешь?

Дюруа колебался, весь красный, смущенный.

— Дело в том, что... у меня нет подходящего костюма,— запинаясь, проговорил он.

Форестье опешил.

— У тебя нет фрака? Вот тебе раз! А без этого, брат, не обойдешься. В Париже, к твоему сведению, лучше не иметь кровати, чем фрака.

Он порылся в жилетном кармане, вынул кучку золотых и, взяв два луидора, положил их перед своим старым товарищем.

— Отдашь, когда сможешь,— сказал он дружеским, естественным тоном.— Возьми костюм напрокат или дай задаток и купи в рассрочку, это уж дело твое, но только непременно приходи ко мне обедать: завтра, в половине восьмого, улица Фонтен, семнадцать.

Дюруа был тронут.

— Ты так любезен! — пряча деньги, пробормотал он.— Большое тебе спасибо! Можешь быть уверен, что я не забуду...

— Довольно, довольно! — прервал Форестье.— Давай еще по кружке, а? Гарсон, две кружки! — крикнул он.

Когда пиво было выпито, журналист предложил:

— Ну как, погуляем еще часок?

— Конечно, погуляем.

И они пошли в сторону Мадлен.

— Что бы нам такое придумать? — сказал Форестье.— Уверяют, будто в Париже фланер всегда найдет, чем себя занять, но это не так. Иной раз вечером и рад бы куда-нибудь пойти, да не знаешь куда. В Булонском лесу приятно кататься с женщиной, а женщины не всегда под рукой. Кафе-шантаны способны развлечь моего аптекаря и его супругу, но не меня. Что же остается? Ничего. В Париже надо бы устроить летний сад, вроде парка Монсо, который был бы открыт всю ночь и где можно было бы выпить под деревьями чего-нибудь прохладительного и послушать хорошую музыку. Это должно быть не увеселительное место, а просто место для гулянья. Плату за вход я бы назначил высокую, чтобы привлечь красивых женщин. Хочешь — гуляй по дорожкам, усыпанным песком, освещенным электрическими фонарями, а то сиди и слушай музыку, издали или вблизи. Нечто подобное было когда-то у Мюзара, но только с кабацким душком: слишком много танцевальной музыки, мало простора, мало тени, мало древесной сени. Необходим очень красивый, очень большой сад. Это было бы чудесно. Итак, куда бы ты хотел?

Дюруа не знал, что ответить. Наконец он надумал:

— Мне еще ни разу не пришлось побывать в Фоли-Бержер. Я охотно пошел бы туда.

— Что, в Фоли-Бержер? — воскликнул его спутник.— Да мы там изжаримся, как на сковородке. Впрочем, как хочешь,— это, во всяком случае, забавно.

И они повернули обратно, с тем чтобы выйти на улицу Фобур-Монмартр.

Блиставший огнями фасад увеселительного заведения бросал снопы света на четыре прилегающие к нему улицы. Вереница фиакров дожидалась разъезда.

Форестье направился прямо к входной двери, но Дюруа остановил его:

— Мы забыли купить билеты.

— Со мной не платят,— с важным видом проговорил Форестье.

Три контролера поклонились ему. С тем из них, который стоял в середине, журналист поздоровался за руку.

— Есть хорошая ложа? — спросил он.

— Конечно, есть, господин Форестье.

Форестье взял протянутый ему билетик, толкнул обитую кожей дверь, и приятели очутились в зале.

Табачный дым тончайшей пеленою мглы застилал сцену и противоположную сторону зала. Поднимаясь чуть заметными белесоватыми струйками, этот легкий туман, порожденный бесчисленным множеством папирос и сигар, постепенно сгущался вверху, образуя под куполом, вокруг люстры и над битком набитым вторым ярусом, подобие неба, подернутого облаками.

В просторном коридоре, вливавшемся в полукруглый проход, что́ огибал ряды и ложи партера и где разряженные кокотки шныряли в темной толпе мужчин, перед одной из трех стоек, за которыми восседали три накрашенные и потрепанные продавщицы любви и напитков, группа женщин подстерегала добычу.

В высоких зеркалах отражались спины продавщиц и лица входящих зрителей.

Форестье, расталкивая толпу, быстро продвигался вперед с видом человека, который имеет на это право.

Он подошел к капельдинерше.

— Где семнадцатая ложа?

— Здесь, сударь.

И она заперла обоих в деревянном открытом сверху и обитом красной материей ящике, внутри которого помещалось четыре красных стула, поставленных так близко один к другому,

что между ними почти невозможно было пролезть. Друзья уселись. Справа и слева от них, изгибаясь подковой, тянулся до самой сцены длинный ряд точно таких же клеток, где тоже сидели люди, которые были видны только до пояса.

На сцене трое молодых людей в трико — высокий, среднего роста и низенький — по очереди проделывали на трапеции акробатические номера.

Сперва быстрыми мелкими шажками, улыбаясь и посылая публике воздушные поцелуи, выходил вперед высокий.

Под трико обрисовывались мускулы его рук и ног. Чтобы не слишком заметен был его толстый живот, он выпячивал грудь. Ровный пробор как раз посередине головы придавал ему сходство с парикмахером. Грациозным прыжком он взлетал на трапецию и, повиснув на руках, вертелся колесом. А то вдруг, выпрямившись и вытянув руки, принимал горизонтальное положение и, держась за перекладину пальцами, в которых была теперь сосредоточена вся его сила, на несколько секунд застывал в воздухе.

Затем спрыгивал на пол, снова улыбался, кланялся рукоплескавшему партеру и, играя упругими икрами, отходил к кулисам.

За ним второй, поменьше ростом, но зато более коренастый, проделывал те же номера и, наконец, третий — и все это при возраставшем одобрении публики.

Но Дюруа отнюдь не был увлечен зрелищем; повернув голову, он не отрывал глаз от широкого прохода, где толпились мужчины и проститутки.

— Обрати внимание на первые ряды партера,— сказал Форестье,— одни добродушные, глупые лица мещан, которые вместе с женами и детьми приходят сюда поглазеть. В ложах — гуляки, кое-кто из художников, несколько второсортных кокоток, а сзади нас — самая забавная смесь, какую можно встретить в Париже. Кто эти мужчины? Приглядись к ним. Кого-кого тут только нет,— люди всякого чина и звания, но преобладает мелюзга. Вот служащие — банковские, министерские, по торговой части,— репортеры, сутенеры, офицеры в штатском, хлыщи во фраках,— эти пообедали в кабачке, успели побывать в Опере и прямо отсюда отправятся к Итальянцам,— и целая тьма подозрительных личностей. А женщины все одного пошиба: ужинают в Американском кафе и сами извещают своих постоянных клиентов, когда они свободны. Красная цена им два луидора, но они подкарауливают иностранцев, чтобы содрать с них пять. Таскаются они сюда уже лет шесть,— их можно видеть здесь

каждый вечер, круглый год, на тех же самых местах, за исключением того времени, когда они находятся на излечении в Сен-Лазаре или в Лурсине.

Дюруа не слушал. Одна из таких женщин, прислонившись к их ложе, уставилась на него. Это была полная набеленная брюнетка с черными подведенными глазами, смотревшими из-под огромных нарисованных бровей. Пышная ее грудь натягивала черный шелк платья; накрашенные губы, похожие на кровоточащую рану, придавали ей что-то звериное, жгучее, неестественное и вместе с тем возбуждавшее желание.

Кивком головы она подозвала проходившую мимо подругу, рыжеватую блондинку, такую же дебелую, как она, и умышленно громко, чтобы ее услышали в ложе, сказала:

— Гляди-ка, правда, красивый малый? Если он захочет меня за десять луидоров, я не откажусь.

Форестье повернулся лицом к Дюруа и, улыбаясь, хлопнул его по колену:

— Это она о тебе. Ты пользуешься успехом, мой милый. Поздравляю.

Бывший унтер-офицер покраснел; пальцы его невольно потянулись к жилетному карману, в котором лежали две золотые монеты.

Занавес опустился. Оркестр заиграл вальс.

— Не пройтись ли нам? — предложил Дюруа.

— Как хочешь.

Не успели они выйти, как их подхватила волна гуляющих. Их жали, толкали, давили, швыряли из стороны в сторону, а перед глазами у них мелькал целый рой шляп. Женщины ходили парами; скользя меж локтей, спин, грудей, они свободно двигались в толпе мужчин,— видно было, что здесь для них раздолье, что они в своей стихии, что в этом потоке самцов они чувствуют себя, как рыбы в воде.

Дюруа в полном восторге плыл по течению, жадно втягивая в себя воздух, отравленный никотином, насыщенный испарениями человеческих тел, пропитанный духами продажных женщин. Но Форестье потел, задыхался, кашлял.

— Пойдем в сад,— сказал он.

Повернув налево, они увидели нечто вроде зимнего сада, освежаемого двумя большими аляповатыми фонтанами. За цинковыми столиками, под тисами и туями в кадках, мужчины и женщины пили прохладительное.

— Еще по кружке? — предложил Форестье.

— С удовольствием.

Милый друг

Они сели и принялись рассматривать публику.

Время от времени к ним подходила какая-нибудь девица и, улыбаясь заученной улыбкой, спрашивала: «Чем угостите, сударь?» Форестье отвечал: «Стаканом воды из фонтана», и, проворчав: «Свинья!», она удалялась.

Но вот появилась полная брюнетка, та самая, которая стояла, прислонившись к их ложе; вызывающе глядя по сторонам, она шла под руку с полной блондинкой. Это были бесспорно красивые женщины, как бы нарочно подобранные одна к другой.

При виде Дюруа она улыбнулась так, словно они уже успели взглядом сказать друг другу нечто интимное, понятное им одним. Взяв стул, она преспокойно уселась против него, усадила блондинку и звонким голосом крикнула:

— Гарсон, два гренадина!

— Однако ты не из робких! — с удивлением заметил Форестье.

— Твой приятель вскружил мне голову,— сказала она.— Честное слово, он душка. Боюсь, как бы мне из-за него не наделать глупостей!

Дюруа от смущения не нашелся, что сказать. Он крутил свой пушистый ус и глупо ухмылялся. Гарсон принес воду с сиропом. Женщины выпили ее залпом и поднялись. Брюнетка, приветливо кивнув Дюруа, слегка ударила его веером по плечу.

— Спасибо, котик,— сказала она.— Жаль только, что из тебя слова не вытянешь.

И, покачивая бедрами, они пошли к выходу.

Форестье засмеялся.

— Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Ведь ты и правда имеешь успех у женщин. Надо этим пользоваться. С этим можно далеко пойти.

После некоторого молчания он, как бы размышляя вслух, задумчиво проговорил:

— Женщины-то чаще всего и выводят нас в люди.

Дюруа молча улыбался.

— Ты остаешься? — спросил Форестье.— А я ухожу, с меня довольно.

— Да, я немного побуду. Еще рано,— пробормотал Дюруа.

Форестье встал.

— В таком случае прощай. До завтра. Не забыл? Улица Фонтен, семнадцать, в половине восьмого.

— Хорошо. До завтра. Благодарю.

Они пожали друг другу руку, и журналист ушел.

Как только он скрылся из виду, Дюруа почувствовал себя свободнее. Еще раз с удовлетворением нащупав в кармане золотые монеты, он поднялся и стал пробираться в толпе, шаря по ней глазами.

Вскоре он увидел обеих женщин, блондинку и брюнетку, с видом нищих гордячек бродивших в толчее, среди мужчин.

Он направился к ним, но, подойдя вплотную, вдруг оробел.

— Ну что, развязался у тебя язык? — спросила брюнетка.

— Канальство! — пробормотал Дюруа; больше он ничего не мог выговорить.

Они стояли все трое на самой дороге, и вокруг них уже образовался водоворот.

— Пойдем ко мне? — неожиданно предложила брюнетка.

Трепеща от желания, он грубо ответил ей:

— Да, но у меня только один луидор.

На лице женщины мелькнула равнодушная улыбка.

— Ничего,— сказала она и, завладев им, как своей собственностью, взяла его под руку.

Идя с нею, Дюруа думал о том, что на остальные двадцать франков он, конечно, достанет себе фрак для завтрашнего обеда.

II

— Где живет господин Форестье?

— Четвертый этаж, налево.

В любезном тоне швейцара слышалось уважение к жильцу. Жорж Дюруа стал подниматься по лестнице.

Он был слегка смущен, взволнован, чувствовал какую-то неловкость. Фрак он надел первый раз в жизни, да и весь костюм в целом внушал ему опасения. Он находил изъяны во всем, начиная с ботинок, не лакированных, хотя довольно изящных,— Дюруа любил хорошую обувь,— и кончая сорочкой, купленной утром в Лувре за четыре с половиной франка вместе с манишкой, слишком тонкой и оттого успевшей смяться. Старые же его сорочки были до того изношены, что он не рискнул надеть даже самую крепкую.

Брюки, чересчур широкие, плохо обрисовывавшие ногу и собиравшиеся складками на икрах, имели тот потрепанный вид, какой сразу приобретает случайная, сшитая не по фигуре вещь. Только фрак сидел недурно — он был ему почти впору.

С замиранием сердца, в расстройстве чувств, больше всего на свете боясь показаться смешным, медленно поднимался он

вверх по ступенькам, как вдруг прямо перед ним вырос элегантно одетый господин, смотревший на него в упор. Они оказались так близко друг к другу, что Дюруа отпрянул — и замер на месте: это был он сам, его собственное отражение в трюмо, стоявшем на площадке второго этажа и создававшем иллюзию длинного коридора. Он задрожал от восторга,— в таком выгодном свете неожиданно представился он самому себе.

Дома он пользовался зеркальцем для бритья, в котором нельзя было увидеть себя во весь рост; кое-как удалось ему рассмотреть лишь отдельные детали своего импровизированного туалета, и он преувеличивал его недостатки и приходил в отчаяние при мысли, что он смешон.

Но вот сейчас, нечаянно взглянув в трюмо, он даже не узнал себя,— он принял себя за кого-то другого, за светского человека, одетого, как ему показалось с первого взгляда, шикарно, безукоризненно.

Подвергнув себя подробному осмотру, он нашел, что у него в самом деле вполне приличный вид.

Тогда он принялся, точно актер, разучивающий роль, репетировать перед зеркалом. Он улыбался, протягивал руку, жестикулировал, старался изобразить на своем лице то удивление, то удовольствие, то одобрение и найти такие оттенки улыбки и взгляда, по которым дамы сразу признали бы в нем галантного кавалера и которые убедили бы их, что он очарован и увлечен ими.

Внизу хлопнула дверь. Испугавшись, что его могут застать врасплох и что кто-нибудь из гостей его друга видел, как он кривлялся перед зеркалом, Дюруа стал быстро подниматься по лестнице.

На площадке третьего этажа тоже стояло зеркало, и Дюруа замедлил шаг, чтобы осмотреть себя на ходу. В самом деле, фигура у него стройная. Походка тоже не оставляет желать лучшего. И безграничная вера в себя мгновенно овладела его душой. Разумеется, с такой внешностью, с присущим ему упорством в достижении цели, смелостью и независимым складом ума он своего добьется. Ему хотелось взбежать, перепрыгивая через ступеньки, на верхнюю площадку лестницы. Остановившись перед третьим зеркалом, он привычным движением подкрутил усы, снял шляпу, пригладил волосы и, пробормотав то, что он всегда говорил в таких случаях: «Здорово придумано», нажал кнопку звонка.

Дверь отворилась почти тотчас же, и при виде лакея в черном фраке и лакированных ботинках, бритого, важного, в выс-

шей степени представительного, Дюруа вновь ощутил смутное, непонятное ему самому беспокойство: быть может, он невольно сравнил свой костюм с костюмом лакея. Взяв у Дюруа пальто, которое тот, чтобы скрыть пятна, держал перекинув на руку, лакей спросил:

— Как прикажете доложить?

Затем приподнял портьеру, отделявшую переднюю от гостиной, и отчетливо произнес его имя.

Дюруа мгновенно утратил весь свой апломб, он оцепенел, он едва дышал от волнения. Ему предстояло перешагнуть порог нового мира, того мира, о котором он мечтал, который манил его к себе издавна. Наконец он вошел. Посреди большой, ярко освещенной комнаты, изобилием всевозможных растений напоминавшей оранжерею, стояла молодая белокурая женщина.

Он остановился как вкопанный. Кто эта улыбающаяся дама? Но тут он вспомнил, что Форестье женат. И мысль о том, что эта хорошенькая, изящная блондинка — жена его друга, привела его в полное замешательство.

— Сударыня, я...— пробормотал он.

Она протянула ему руку.

— Я знаю, сударь. Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече, и я очень рада, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас пообедать сегодня с нами.

Он не нашелся, что ей ответить, и покраснел до ушей, он чувствовал, что его осматривают с ног до головы, прощупывают, оценивают, изучают.

Ему хотелось извиниться за свой туалет, как-нибудь объяснить его погрешности, но он ничего не мог придумать и так и не решился затронуть этот щекотливый предмет.

Он опустился в кресло, на которое ему указала хозяйка, и как только под ним прогнулось мягкое и упругое сиденье, как только он сел поглубже, откинулся и ощутил ласковое прикосновение спинки и ручек, бережно заключивших его в свои бархатные объятия, ему показалось, что он вступил в новую, чудесную жизнь, что он уже завладел чем-то необыкновенно приятным, что он уже представляет собою нечто, что он спасен. И тогда он взглянул на г-жу Форестье, не спускавшую с него глаз.

На ней было бледно-голубое кашемировое платье, четко обрисовывавшее ее тонкую талию и высокую грудь. Голые руки и шея выступали из пены белых кружев, которыми был отделан корсаж и короткие рукава. Волосы, собранные в высокую прическу, чуть вились на затылке, образуя легкое, светлое, пушистое облачко.

Взгляд ее, чем-то напоминавший Дюруа взгляд женщины, встреченной им накануне в Фоли-Бержер, действовал на него ободряюще. У нее были серые глаза, серые с голубоватым оттенком, который придавал им особенное выражение, тонкий нос, полные губы и несколько пухлый подбородок,— неправильное и вместе с тем очаровательное лицо, лукавое и прелестное. Это было одно из тех женских лиц, каждая черта которого полна своеобразного обаяния и представляется значительной, малейшее изменение которого словно и говорит и скрывает что-то.

Выдержав короткую паузу, она спросила:

— Вы давно в Париже?

— Всего несколько месяцев, сударыня,— постепенно овладевая собой, заговорил он.— Я служу на железной дороге, но Форестье меня обнадежил: говорит, что с его помощью мне удастся стать журналистом.

Она улыбнулась, на этот раз более радушной и широкой улыбкой, и, понизив голос, сказала:

— Я знаю.

Снова раздался звонок. Лакей доложил:

— Госпожа де Марель.

Вошла маленькая смуглая женщина, из числа тех, о которых говорят: жгучая брюнетка.

Походка у нее была легкая. Темное, очень простое платье облегало и обрисовывало всю ее фигуру.

Невольно останавливала взгляд красная роза, приколотая к ее черным волосам: она одна оттеняла ее лицо, подчеркивала то, что в нем было оригинального, сообщала ему живость и яркость.

За нею шла девочка в коротком платье. Г-жа Форестье бросилась к ним навстречу:

— Здравствуй, Клотильда.

— Здравствуй, Мадлена.

Они поцеловались. Девочка, с самоуверенностью взрослой, подставила для поцелуя лобик.

— Здравствуйте, кузина,— сказала она.

Поцеловав ее, г-жа Форестье начала знакомить гостей:

— Господин Жорж Дюруа, старый товарищ Шарля. Госпожа де Марель, моя подруга и дальняя родственница.

И, обращаясь к Дюруа, добавила:

— Знаете, у нас тут просто, без церемоний. Вы ничего не имеете против?

Молодой человек поклонился.

Дверь снова отворилась, и вошел какой-то толстяк, весь круглый, приземистый, под руку с красивой и статной дамой

выше его ростом и значительно моложе, обращавшей на себя внимание изысканностью манер и горделивой осанкой. Это были г-н Вальтер, депутат, финансист, богач и делец, еврей-южанин, издатель «Французской жизни», и его жена, урожденная Базиль-Равало, дочь банкира.

Потом один за другим появились Жак Риваль, одетый весьма элегантно, и Норбер де Варен,— у этого ворот фрака блестел, натертый длинными, до плеч, волосами, с которых сыпалась перхоть, а небрежно завязанный галстук был далеко не первой свежести. С кокетливостью былого красавца он подошел к г-же Форестье и поцеловал ей руку. Когда он нагнулся, его длинные космы струйками разбежались по ее голой руке.

Наконец вошел сам Форестье и извинился за опоздание. Его задержали в редакции в связи с выступлением Мореля. Морель, депутат-радикал, только что сделал запрос министерству по поводу требования кредитов на колонизацию Алжира.

— Кушать подано,— объявил слуга.

Все перешли в столовую.

Дюруа посадили между г-жой де Марель и ее дочкой. Он опять почувствовал себя неловко: он не умел обращаться с вилкой, ложкой, бокалами и боялся нарушить этикет. Перед ним поставили четыре бокала, причем один — голубоватого цвета. Интересно знать, что из него пьют?

За супом молчали, потом Норбер де Варен спросил:

— Вы читали о процессе Готье? Занятная история!

И тут все принялись обсуждать этот случай, где к адюльтеру примешался шантаж. Здесь говорили о нем не так, как в семейном кругу говорят о происшествиях, известных по газетам, но как врачи о болезни, как зеленщики об овощах. Никто не удивлялся, не выражал возмущения,— все с профессиональным любопытством и полным равнодушием к самому преступлению отыскивали его глубокие, тайные причины. Пытались выяснить мотивы поступков, определить мозговые явления, вызвавшие драму, а сама эта драма рассматривалась как прямое следствие особого душевного состояния, которому можно найти научное объяснение. Этим исследованием, этими поисками увлеклись и дамы. Точно так же, с точки зрения вестовщиков, торгующих человеческой комедией построчно, были изучены, истолкованы, осмотрены хозяйским глазом со всех сторон, оценены по их действительной стоимости и другие текущие события, подобно тому как лавочники переворачивают, осматривают и взвешивают свой товар, прежде чем предложить его покупателям.

Потом зашла речь об одной дуэли, и тут Жак Риваль овладел всеобщим вниманием. Это была его область, никто другой не смел касаться этого предмета.

Дюруа не решался вставить слово. Прельщенный округлыми формами своей соседки, он время от времени поглядывал на нее. С кончика ее уха, точно капля воды, скользящая по коже, на золотой нитке свисал бриллиант. Каждое ее замечание вызывало у всех улыбку. Оно заключало в себе забавную, милую, всякий раз неожиданную шутку, шутку бедовой девчонки, ничего не принимающей близко к сердцу, судящей обо всем с поверхностным и добродушным скептицизмом.

Дюруа старался придумать для нее комплимент, но так и не придумал и занялся дочкой: наливал ей вина, передавал кушанья — словом, ухаживал за ней. Девочка, более строгая, чем мать, благодарила его небрежным кивком головы, важным тоном произносила: «Вы очень любезны, сударь», и снова с комически серьезным видом принималась слушать, о чем говорят взрослые.

Обед удался на славу, и все выражали свое восхищение. Вальтер ел за десятерых и почти все время молчал; когда подносили новое блюдо, он смотрел на него из-под очков косым, прицеливающимся взглядом. Не отставал от Вальтера и Норбер де Варен, по временам ронявший капли соуса на манишку.

Форестье, улыбающийся и озабоченный, за всем наблюдал и многозначительно переглядывался с женой, словно это был его расторопный помощник, словно они сообща выполняли трудную, но успешно продвигающуюся работу.

Лица раскраснелись, голоса становились громче. Слуга то и дело шептал на ухо обедающим:

— Кортон? Шато-лароз?

Дюруа пришелся по вкусу кортон, и он всякий раз подставлял свой бокал. Радостное, необыкновенно приятное возбуждение, горячей волной прилившее от желудка к голове и растекавшееся по жилам, мало-помалу захватило его целиком. Для него наступило состояние полного блаженства, блаженства, поглощавшего все его мысли и чувства, блаженства души и тела.

Ему хотелось говорить, обратить на себя внимание, хотелось, чтобы его слушали, чтобы к нему относились так же, как к любому из этих людей, каждое слово которых подхватывалось здесь на лету.

Между тем общий разговор, который не прекращался ни на минуту, нанизывал одно суждение на другое и по самому ничтожному поводу перескакивал с предмета на предмет, наконец, перебрав все события дня и попутно коснувшись тысячи дру-

гих вопросов, вернулся к широковещательному выступлению Мореля относительно колонизации Алжира.

Вальтер, отличавшийся игривостью ума и скептическим взглядом на вещи, в перерыве между двумя блюдами отпустил на этот счет несколько острых словечек. Форестье изложил содержание своей статьи, написанной для завтрашнего номера. Жак Риваль указал на необходимость учредить в колониях военную власть и предоставить каждому офицеру, прослужившему в колониальных войсках тридцать лет, земельный участок в Алжире.

— Таким путем вы создадите деятельное общество,— утверждал он,— люди постепенно узнают и полюбят эту страну, выучатся говорить на ее языке и станут разбираться во всех запутанных местных делах, которые обычно ставят в тупик новичков.

Норбер де Варен прервал его:

— Да... они будут знать все, кроме земледелия. Они будут говорить по-арабски, но так и не научатся сажать свеклу и сеять хлеб. Они будут весьма сильны в искусстве фехтования и весьма слабы по части удобрения полей. Нет, надо широко открыть двери в эту новую страну всем желающим. Для людей с умом там всегда найдется место, остальные погибнут. Таков закон нашего общества.

Наступило молчание. Все улыбались.

— Чего там недостает, так это хорошей земли,— с удивлением прислушиваясь к звуку собственного голоса, будто слышал его впервые, вдруг заговорил Дюруа.— Плодородные участки стоят в Алжире столько же, сколько во Франции, и раскупают их парижские богачи, которые находят выгодным вкладывать в них капитал. Настоящих же колонистов, то есть бедняков, которых туда гонит нужда, оттесняют в пустыню, где нет воды и где ничего не растет.

Теперь все взоры были устремлены на него. Он чувствовал, что краснеет.

— Вы знаете Алжир? — спросил Вальтер.

— Да,— ответил он.— Я провел там два с лишним года и побывал во всех трех провинциях.

Норбер де Варен, сразу позабыв о Мореле, стал расспрашивать Дюруа о некоторых обычаях этой страны, известных ему по рассказам одного офицера. В частности, его интересовал Мзаб — своеобразная маленькая арабская республика, возникшая посреди Сахары, в самой сухой части этого знойного края.

Дюруа дважды побывал в Мзабе, и теперь он охотно принялся описывать нравы этой удивительной местности, где капля воды ценится на вес золота, где каждый житель обязан принимать участие в общественных работах и где торговля ведется честнее, чем у цивилизованных народов.

Вино и желание понравиться придали ему смелости, и он говорил с каким-то хвастливым увлечением; рассказывал полковые анекдоты, вспоминал случаи, происходившие на войне, воспроизводил отдельные черты арабского быта. Он употребил даже несколько красочных выражений для того, чтобы слушатели яснее представили себе эту желтую, голую и бесконечно унылую землю, опаленную всепожирающим пламенем солнца.

Дамы не сводили с него глаз. Г-жа Вальтер проговорила, растягивая, по своему обыкновению, слова:

— Из ваших воспоминаний мог бы выйти ряд прелестных очерков.

Старик Вальтер тотчас же взглянул на молодого человека поверх очков, как это он делал всякий раз, когда хотел получше рассмотреть чье-нибудь лицо. Кушанья он разглядывал из-под очков.

Форестье воспользовался моментом:

— Дорогой патрон, я уже говорил вам сегодня о господине Дюруа и просил назначить его моим помощником по добыванию политической информации. С тех пор как от нас ушел Марамбо, у меня нет никого, кто собирал бы срочные и секретные сведения, а от этого страдает газета.

Вальтер сделался серьезным и, приподняв очки, посмотрел Дюруа прямо в глаза.

— Ум у господина Дюруа бесспорно оригинальный,— сказал он.— Если ему будет угодно завтра в три часа побеседовать со мной, то мы это устроим.

Немного помолчав, он обратился непосредственно к Дюруа:

— А пока что дайте нам два-три увлекательных очерка об Алжире. Поделитесь своими воспоминаниями и свяжите их с вопросом о колонизации, как это вы сделали сейчас. Они появятся вовремя, как раз вовремя, и я уверен, что читатели будут очень довольны. Но торопитесь! Первая статья должна быть у меня завтра, в крайнем случае — послезавтра: пока в палате еще не кончились прения, нам необходимо привлечь к ним внимание публики.

— А вот вам прелестное заглавие: «Воспоминания африканского стрелка»,— добавила г-жа Вальтер с той очаровательной

ной важностью, которая придавала оттенок снисходительности всему, что она говорила,— не правда ли, господин Норбер?

Старый поэт, поздно добившийся известности, ненавидел и боялся начинающих. Он сухо ответил:

— Да, заглавие великолепное, при условии, однако, что и дальнейшее будет в том же стиле, а это самое трудное. Стиль — это все равно что верный тон в музыке.

Госпожа Форестье смотрела на Дюруа ласковым, покровительственным, понимающим взглядом, как бы говорившим: «Такие, как ты, своего добьются». Г-жа де Марель несколько раз поворачивалась в его сторону, и бриллиант в ее ухе беспрестанно дрожал, словно прозрачная капля воды, которая вот-вот сорвется и упадет.

Девочка сидела спокойно и чинно, склонив голову над тарелкой.

Лакей тем временем снова обошел вокруг стола и налил в голубые бокалы иоганнисберг, после чего Форестье, поклонившись Вальтеру, предложил тост:

— За процветание «Французской жизни»!

Все кланялись патрону, он улыбался, а Дюруа, упоенный успехом, одним глотком осушил свой бокал. Ему казалось, что он мог бы выпить целую бочку, съесть целого быка, задушить льва. Он ощущал в себе сверхъестественную мощь и непреклонную решимость, он полон был самых радужных надежд. Он стал своим человеком в этом обществе, он завоевал себе положение, занял определенное место. Взгляд его с небывалой уверенностью останавливался на лицах, и, наконец, он осмелился обратиться к своей соседке:

— Какие у вас красивые серьги, сударыня,— я таких никогда не видел!

Она обернулась к нему с улыбкой:

— Это мне самой пришло в голову — подвесить бриллианты вот так, просто на золотой нитке. Можно подумать, что это росинки, правда?

Смущенный собственной дерзостью, боясь сказать глупость, он пробормотал:

— Прелестные серьги, а ваше ушко способно только украсить их.

Она поблагодарила его взглядом — одним из тех ясных женских взглядов, которые проникают в самое сердце.

Дюруа повернул голову и снова встретился глазами с г-жой Форестье: она смотрела на него все так же приветливо, но, как ему показалось, с оттенком лукавого задора и поощрения.

Мужчины говорили теперь все вместе, размахивая руками и часто повышая голос: обсуждался грандиозный проект подземной железной дороги. Тема была исчерпана лишь к концу десерта,— каждому нашлось что сказать о медленности способов сообщения в Париже, о неудобствах конок, о непорядках в омнибусах и грубости извозчиков.

Потом все перешли в гостиную пить кофе. Дюруа, шутки ради, предложил руку девочке. Она величественно поблагодарила его и, привстав на цыпочки, просунула руку под локоть своего кавалера.

Гостиная снова напомнила ему оранжерею. Во всех углах комнаты высокие пальмы, изящно раскинув листья, тянулись до потолка и взметали каскадами свои широкие вершины.

По бокам камина круглые, как колонны, стволы каучуковых деревьев громоздили один на другой продолговатые темно-зеленые листья, а на фортепьяно стояли два каких-то неведомых кустика — розовый и белый; круглые, сплошь покрытые цветами, они казались искусственными, неправдоподобными, слишком красивыми для живых цветов.

Свежий воздух гостиной был напоен легким и нежным благоуханием, несказанным и неуловимым.

Дюруа почти совсем оправился от смущения, и теперь он мог внимательно осмотреть комнату. Комната была невелика: кроме растений, ничто не поражало в ней взгляда, в ней не было ничего особенно яркого, но в ней вы чувствовали себя как дома, все в ней располагало к отдыху, дышало покоем; она обволакивала вас своим уютом, она безотчетно нравилась, она окутывала тело чем-то мягким, как ласка.

Стены были обтянуты старинной бледно-лиловой материей, усеянной желтыми шелковыми цветочками величиною с муху. На дверях висели портьеры из серо-голубого солдатского сукна, на котором красным шелком были вышиты гвоздики. Расставленная как попало мебель разной формы и величины — шезлонги, огромные и совсем крошечные кресла, табуреты, пуфы — частью была обита шелковой материей в стиле Людовика XVI, частью — прекрасным утрехтским бархатом с гранатовыми разводами по желтоватому полю.

— Господин Дюруа, хотите кофе?

Все с той же дружелюбной улыбкой, не сходившей с ее уст, г-жа Форестье протянула ему чашку.

— Да, сударыня, благодарю вас.

Дюруа взял чашку, и, пока он, с опаской наклонившись над сахарницей, которую подала ему девочка, доставал сереб-

ряными щипчиками кусок сахара, молодая женщина успела шепнуть ему:

— Поухаживайте за госпожой Вальтер.

И, прежде чем он успел ей что-нибудь ответить, удалилась.

Он поспешил выпить кофе, так как боялся пролить его на ковер, и, облегченно вздохнув, стал искать случая подойти к жене своего нового начальника и завязать с ней разговор.

Вдруг он заметил, что г-жа Вальтер, сидевшая далеко от столика, держит в руке пустую чашку и, видимо, не знает, куда ее поставить. Дюруа подскочил к ней:

— Разрешите, сударыня.

— Благодарю вас.

Он отнес чашку и сейчас же вернулся.

— Если бы вы знали, сударыня, сколько счастливых мгновений доставила мне «Французская жизнь», когда я был там, в пустыне! В самом деле, это единственная газета, которую можно читать за пределами Франции, именно потому, что она самая занимательная, самая остроумная и наиболее разнообразная из газет. В ней пишут обо всем.

Госпожа Вальтер улыбнулась холодной в своей учтивости улыбкой.

— Моему мужу стоило немало трудов создать тип газеты, отвечающей современным требованиям,— заметила она с достоинством.

И они принялись беседовать. Дюруа умел поддерживать пошлый и непринужденный разговор; голос у него был приятный, взгляд в высшей степени обаятельный, а в усах таилось что-то неодолимо влекущее. Они вились над верхней губой, красивые, пушистые, пышные, золотистые с рыжеватым отливом, который становился чуть светлее на топорщившихся концах.

Поговорили о Париже и его окрестностях, о берегах Сены, о летних развлечениях, о курортах — словом, о таких несложных вещах, о которых без малейшего напряжения можно болтать до бесконечности.

Когда же к ним подошел Норбер де Варен с рюмкой ликера в руке, Дюруа из скромности удалился.

Госпожа де Марель, окончив беседу с госпожой Форестье, подозвала его.

— Итак, вы намерены попытать счастья в журналистике? — неожиданно спросила она.

Он ответил что-то неопределенное насчет своих намерений, а затем начал с ней тот же разговор, что и с г-жой Вальтер. Но теперь он лучше владел предметом и говорил увереннее, выдавая за свое то, что слышал недавно от других. При этом он все время смотрел ей в глаза, как бы желая придать глубокий смысл каждому своему слову.

Госпожа де Марель рассказала ему, в свою очередь, несколько анекдотов с той неподдельной живостью, какая свойственна женщине, знающей, что она остроумна, и желающей быть занимательной. Становясь все более развязной, она дотрагивалась до его рукава и, болтая о пустяках, внезапно понижала голос, отчего их беседа приобретала интимный характер. Близость молодой женщины, столь явно расположенной к нему, волновала его. Томимый желанием сию же минуту доказать ей свою преданность, от кого-то защитить ее, обнаружить перед ней свои лучшие качества, Дюруа каждый раз медлил с ответом, и эти заминки свидетельствовали о том, что мысли его заняты чем-то другим.

Вдруг, без всякого повода, г-жа де Марель позвала: «Лорина!» — и, когда девочка подошла, сказала ей:

— Сядь сюда, детка, ты простудишься у окна.

Дюруа безумно захотелось поцеловать девочку, словно что-то от этого поцелуя могло достаться на долю матери.

— Можно вас поцеловать, мадемуазель? — изысканно любезным и отечески ласковым тоном спросил он.

Девочка посмотрела на него с изумлением. Г-жа де Марель сказала смеясь:

— Отвечай: «Сегодня я вам разрешаю, сударь, но больше чтоб этого не было».

Дюруа сел и, взяв девочку на руки, прикоснулся губами к ее волнистым и мягким волосам.

Мать была поражена.

— Смотрите, она не убежала! Поразительно! Обычно она позволяет себя целовать только женщинам. Вы неотразимы, господин Дюруа.

Он покраснел и молча принялся покачивать девочку на одном колене.

Госпожа Форестье подошла и ахнула от удивления:

— Что я вижу? Лорину приручили! Вот чудеса!

Жак Риваль, с сигарой во рту, направлялся к ним, и Дюруа, боясь одним каким-нибудь словом, сказанным невпопад, испортить все дело и сразу лишиться всего, что им было уже завоевано, встал и начал прощаться.

Он клапялся, осторожно пожимал женские ручки и энергично встряхивал руки мужчин. При этом он заметил, что сухая горячая рука Жака Риваля дружески ответила на его пожатие, что влажная и холодная рука Норбера де Варена проскользнула у него между пальцев, что у Вальтера рука холодная, вялая, безжизненная и невыразительная, а у Форестье — пухлая и теплая. Его приятель шепнул ему:

— Завтра в три часа, не забудь.

— Нет, нет, приду непременно.

Дюруа до того бурно переживал свою радость, что, когда он очутился на лестнице, ему захотелось сбежать с нее, и, перепрыгивая через две ступеньки, он пустился вниз, но вдруг на площадке третьего этажа увидел в большом зеркале господина, вприпрыжку бежавшего к нему навстречу, и, устыдившись, остановился, словно его поймали на месте преступления.

Дюруа посмотрел на себя долгим взглядом, затем, придя в восторг от того, что он такой красавец, любезно улыбнулся своему отражению и отвесил ему на прощанье, точно некоей важной особе, почтительный низкий поклон.

III

На улице Жорж Дюруа погрузился в раздумье: он не знал, на что решиться. Ему хотелось бродить без цели по городу, мечтать, строить планы на будущее, дышать мягким ночным воздухом, но мысль о статьях для Вальтера неотступно преследовала его, и в конце концов он счел за благо вернуться домой и немедленно сесть за работу.

Скорым шагом двинулся он по кольцу внешних бульваров, а затем свернул на улицу Бурсо, на которой он жил. Семиэтажный дом, где он снимал комнату, был населен двумя десятками семей рабочих и мещан. Поднимаясь по лестнице и освещая восковыми спичками грязные ступеньки, усеянные очистками, окурками, клочками бумаги, он вместе с болезненным отвращением испытывал острое желание вырваться отсюда и поселиться там, где живут богатые люди,— в чистых, устланных коврами комнатах. Здесь же все было пропитано тяжелым запахом остатков пищи, отхожих мест и человеческого жилья, застарелым запахом пыли и плесени, запахом, который никакие сквозняки не могли выветрить.

Из окна его комнаты, находившейся на шестом этаже, открывался вид на огромную траншею Западной железной дороги, зиявшую, словно глубокая пропасть, там, где кончался туннель, неподалеку от Батиньольского вокзала. Дюруа распахнул окно и облокотился на ржавый железный подоконник.

Три неподвижных красных сигнальных огня, напоминавших широко раскрытые глаза неведомого зверя, горели на дне этой темной ямы, за ними виднелись другие, а там еще и еще. Протяжные и короткие гудки ежеминутно проносились в ночи, то близкие, то далекие, едва уловимые, долетавшие со стороны Аньера. В их переливах было что-то похожее на перекличку живых голосов. Один из них приближался, его жалобный вопль нарастал с каждым мгновением, и вскоре показался большой желтый фонарь, с оглушительным грохотом мчавшийся вперед. Дюруа видел, как длинная цепь вагонов исчезла в пасти туннеля.

— А ну, за работу! — сказал он себе, поставил лампу на стол и хотел было сесть писать, как вдруг обнаружил, что у него есть только почтовая бумага.

Что ж, придется развернуть лист в ширину и писать на почтовой. Он обмакнул перо и старательно, красивым почерком, вывел заглавие:

ВОСПОМИНАНИЯ АФРИКАНСКОГО СТРЕЛКА

Затем принялся обдумывать первую фразу.

Он сидел, подперев щеку ладонью и пристально глядя на лежавший перед ним чистый лист бумаги.

О чем писать? Он ничего не мог припомнить из того, что рассказывал за обедом, ни одного анекдота, ни одного факта, ничего. Вдруг ему пришла мысль: «Надо начать с отъезда». И он написал: «Это было в 1874 году, в середине мая, в то время, когда обессиленная Франция отдыхала от потрясений роковой годины...»

Тут Дюруа остановился: он не знал, как связать это с дальнейшим — с отплытием, путешествием, первыми впечатлениями.

Минут десять спустя он решил отложить вступительную часть на завтра, а пока приняться за описание Алжира.

«Алжир — город весь белый...» — написал он, но дальше этого дело не пошло. Память вновь нарисовала перед ним кра-

сивый чистенький городок, ручейками домов с плоскими кровлями сбегающий по склону горы к морю, но он не находил слов, чтобы передать виденное и пережитое.

После долгих усилий он прибавил: «Часть его населения составляют арабы...» Потом швырнул перо и встал из-за стола.

На узкой железной кровати, на которой от тяжести его тела образовалась впадина, валялось его будничное платье, поношенное, измятое, скомканное, всем своим отвратительным видом напоминавшее отрепья из морга. А шелковый цилиндр, его единственный цилиндр, лежавший вверх дном на соломенном кресле, точно ждал, чтобы ему подали милостыню.

На обоях, серых с голубыми букетами, пятен было столько же, сколько цветов,— застарелых, подозрительных пятен, о которых никто не мог бы сказать, что это такое: то ли раздавленные клопы, то ли капли масла; не то следы пальцев, жирных от помады, не то брызги мыльной пены из умывального таза. Все отзывалось унизительной нищетой, нищетой парижских меблированных комнат. И в душе у Дюруа поднялась злоба на свою бедность. Он почувствовал необходимость как можно скорее выбраться отсюда, завтра же покончить с этим жалким существованием.

Внезапно к нему вернулось рабочее настроение, и он, сев за стол, опять начал подыскивать такие слова, которые помогли бы ему воссоздать пленительное своеобразие Алжира, этого преддверия Африки с ее таинственными дебрями, Африки кочевых арабов и безвестных негритянских племен, Африки неисследованной и манящей, откуда в наши городские сады изредка попадают неправдоподобные, будто явившиеся из мира сказок животные: невиданные куры, именуемые страусами; наделенные божественной грацией козы, именуемые газелями; поражающие своей уродливостью жирафы, величавые верблюды, чудовищные гиппопотамы, безобразные носороги и, наконец, страшные братья человека — гориллы.

Мысли, рождавшиеся у Дюруа, не отличались ясностью,— он сумел бы высказать их, пожалуй, но ему не удавалось выразить их на бумаге. В висках у него стучало, руки были влажны от пота, и, истерзанный этой лихорадкой бессилья, он снова встал из-за стола.

Тут ему попался на глаза счет от прачки, сегодня вечером принесенный швейцаром, и безысходная тоска охватила его. Радость исчезла вмиг — вместе с верой в себя и надеждой на будущее. Кончено, все кончено, он ничего не умеет делать,

из него ничего не выйдет. Он казался себе человеком ничтожным, бездарным, обреченным, ненужным.

Он опять подошел к окну — как раз в тот момент, когда из туннеля с диким грохотом неожиданно вырвался поезд. Путь его лежал — через поля и равнины — к морю. И, провожая его глазами, Дюруа вспомнил своих родителей.

Да, поезд пройдет мимо них, всего в нескольких лье от их дома. Дюруа живо представил себе этот маленький домик на вершине холма, возвышающегося над Руаном и над широкой долиной Сены, при въезде в деревню Кантле.

Родители Дюруа держали маленький кабачок, харчевню под вывеской «Красивый вид», куда жители руанского предместья ходили по воскресеньям завтракать. В расчете на то, что их сын со временем станет важным господином, они отдали его в коллеж. Окончив курс, но не сдав экзамена на бакалавра, Жорж Дюруа поступил на военную службу: он заранее метил в офицеры, полковники, генералы. Но военная служба опостылела ему задолго до окончания пятилетнего срока, и он стал подумывать о карьере в Париже.

И вот, отбыв положенный срок, он приехал сюда, невзирая на просьбы родителей, которым хотелось теперь, чтобы он жил у них под крылышком, раз уж не суждено было осуществиться их заветной мечте. Он продолжал верить в свою звезду; перед ним смутно вырисовывалось его грядущее торжество — плод некоего стечения обстоятельств, которое сам же он, конечно, и подготовит и которым не преминет воспользоваться.

Гарнизонная служба благоприятствовала его сердечным делам; помимо легких побед, у него были связи с женщинами более высокого полета,— ему удалось соблазнить дочь податного инспектора, которая готова была бросить все и идти за ним, и жену поверенного, которая пыталась утопиться с горя, когда он ее покинул.

Товарищи говорили про него: «Хитрец, пройдоха, ловкач,— этот всегда выйдет сухим из воды». И он дал себе слово непременно стать хитрецом, пройдохой и ловкачом.

Его нормандская совесть, искушаемая повседневной гарнизонною жизнью с ее обычным в Африке мародерством, плутнями и незаконными доходами, впитавшая в себя вместе с патриотическими чувствами армейские понятия о чести, мелкое тщеславие и молодечество, наслушавшаяся рассказов об унтер-офицерских подвигах, превратилась в шкатулку с тройным дном, где можно было найти все, что угодно.

Но желание достичь своей цели преобладало.

Незаметно для себя Дюруа замечтался, как это бывало с ним ежевечерне. Ему представлялось необыкновенно удачное любовное похождение, благодаря которому разом сбудутся все его чаяния. Он встретится на улице с дочерью банкира или вельможи, покорит ее с первого взгляда и женится на ней.

Пронзительный гудок паровоза, выскочившего из туннеля, точно жирный кролик из своей норы, и на всех парах помчавшегося отдыхать в депо, вернул его к действительности.

И в тот же миг вечно теплившаяся в нем смутная и радостная надежда вновь окрылила его, и он — наугад, прямо в ночную темь — послал поцелуй любви желанной незнакомке, жаркий поцелуй вожделенной удаче. Потом закрыл окно и стал раздеваться. «Ничего,— подумал он,— утром я со свежими силами примусь за работу. Сейчас у меня голова не тем занята. Тем более я, кажется, выпил лишнее. Так работать нельзя».

Он лег, погасил лампу и почти сейчас же заснул.

Проснулся он рано, как всегда просыпаются люди, страстно ждущие чего-то или чем-нибудь озабоченные, и, спрыгнув с кровати, отворил окно, чтобы проглотить, как он выражался, чашку свежего воздуха.

Дома на Римской улице, блестевшие в лучах восходящего солнца по ту сторону широкой выемки, где проходила железная дорога, были точно выписаны матовым светом. Направо чуть виднелись холмы Аржантейля, высоты Сануа и мельницы Оржемона, окутанные легкой голубоватой дымкой, которая напоминала прозрачную трепещущую вуаль, наброшенную на горизонт.

Дюруа залюбовался открывшейся перед ним далью. «В такой день, как сегодня, там должно быть чертовски хорошо»,— прошептал он. Затем, вспомнив, что надо приниматься за работу, и притом немедленно, позвал сына швейцара, дал ему десять су и послал в канцелярию сказать, что он болен.

Он сел за стол, обмакнул перо, подперся рукой и задумался. Но все его усилия были напрасны. Ему ничего не приходило в голову.

Однако он не унывал. «Не беда,— подумал он,— у меня просто нет навыка. Этому надо научиться, как всякому ремеслу. Кто-нибудь должен направить мои первые шаги. Схожука я к Форестье,— он мне это в десять минут поставит на рельсы».

И он начал одеваться.

Выйдя на улицу, он сообразил, что сейчас нельзя идти к приятелю,— Форестье, наверное, встают поздно. Тогда он решил пройтись не спеша по внешним бульварам.

Еще не было девяти, когда он вошел в освеженный утреннею поливкой парк Монсо.

Он сел на скамейку и снова отдался своим мечтам. Поодаль ходил взад и вперед весьма элегантный молодой человек, по всей вероятности поджидавший женщину.

И она наконец появилась, в шляпе с опущенною вуалью, торопливым шагом подошла к нему, обменялась с ним быстрым рукопожатием, потом взяла его под руку, и они удалились.

Нестерпимая жажда любви охватила Дюруа,— жажда благоуханных, изысканных, утонченных любовных переживаний. Он встал и двинулся дальше, думая о Форестье. Вот кому повезло!

Он подошел к подъезду в тот самый момент, когда его приятель выходил из дому.

— А, это ты? Так рано? Что у тебя такое?

Дюруа, смущенный тем, что встретил его уже на улице, стал мямлить:

— Да вот... да вот... Ничего у меня не выходит со статьей, со статьей об Алжире,— помнишь, которую мне заказал господин Вальтер? Это не удивительно, ведь я никогда не писал. Здесь тоже нужна сноровка, как и во всяком деле. Я скоро набью себе руку, в этом я не сомневаюсь, но я не знаю, с чего начать, как приступить. Мыслей у меня много, сколько угодно, а выразить их мне не удается.

Он смешался и умолк. Форестье, лукаво улыбаясь, смотрел на него.

— Это мне знакомо.

— Да, через это, я думаю, все должны пройти,— подхватил Дюруа.— Так вот, я к тебе с просьбой... с просьбой помочь моему горю... Ты мне это в десять минут поставишь на рельсы, покажешь, с какой стороны за это браться. Это был бы для меня великолепный урок стилистики, а одному мне не справиться.

Форестье по-прежнему весело улыбался. Он хлопнул своего старого товарища по плечу и сказал:

— Ступай к моей жене, она это сделает не хуже меня. Я ее поднатаскал. У меня утро занято, а то бы я с удовольствием тебе помог.

Дюруа внезапно оробел; он колебался, он не знал, как быть.

— Но не могу же я явиться к ней в такой ранний час!

— Отлично можешь. Она уже встала. Сидит у меня в кабинете и приводит в порядок мои заметки.

Дюруа все еще не решался войти в дом.

— Нет... это невозможно...

Форестье взял его за плечи и, повернув, толкнул к двери.

— Да иди же, чудак, говорят тебе, иди! Я не намерен лезть на четвертый этаж, вести тебя к ней и излагать твою просьбу.

Наконец Дюруа набрался смелости.

— Ну, спасибо, я пойду. Скажу, что ты силой, буквально силой заставил меня обратиться к ней.

— Да, да. Она тебя не съест, будь спокоен. Главное, не забудь: ровно в три часа.

— Нет, нет, не забуду.

Форестье с деловым видом зашагал по улице, а Дюруа, обеспокоенный тем, как его примут, стал медленно, ступенька за ступенькой, подниматься на четвертый этаж, думая о том, с чего начать разговор.

Дверь отворил слуга. На нем был синий фартук, в руке он держал половую щетку.

— Господина Форестье нет дома,— не дожидаясь вопроса, объявил он.

— Спросите госпожу Форестье, может ли она меня принять,— настаивал Дюруа,— скажите, что меня направил к ней ее муж, которого я встретил сейчас на улице.

Он стал ждать ответа. Слуга вернулся и, отворив дверь направо, сказал:

— Госпожа Форестье ждет вас.

Она сидела в кресле за письменным столом, в небольшой комнате, стены которой были сплошь закрыты книгами, аккуратно расставленными на полках черного дерева. Корешки всех цветов — красные, желтые, зеленые, лиловые, голубые — скрашивали и оживляли однообразные шеренги томов.

Улыбаясь своей обычной улыбкой, г-жа Форестье обернулась и протянула ему руку, которую он мог рассмотреть чуть не до плеча,— так широк был рукав ее белого отделанного кружевами пеньюара.

— Что так рано? — спросила она и добавила:— Это не упрек, это всего только вопрос.

— Сударыня,— пробормотал он,— я не хотел идти, но ваш муж, которого я встретил внизу, заставил меня подняться наверх. Мне до того неловко, что я даже не решаюсь сказать, зачем я пришел.

Госпожа Форестье показала рукой на стул:

— Садитесь и рассказывайте.

В руке у нее было гусиное перо, которое она ловко вертела двумя пальцами. Перед ней лежал большой, наполовину исписанный лист бумаги, свидетельствовавший о том, что Дюруа помешал ей работать.

Видно было, что ей очень хорошо за этим рабочим столом, что она чувствует себя здесь так же свободно, как в гостиной, что она занята привычным делом. От ее пеньюара исходил легкий и свежий аромат только что законченного туалета. Дюруа пытался представить себе и как будто уже видел перед собой ее молодое, чистое, сытое и теплое тело, бережно прикрываемое мягкою тканью.

— Ну так скажите же, в чем дело? — видя, что Дюруа не решается заговорить, спросила она.

— Видите ли...— начал он в замешательстве.— Право, мне неудобно... Дело в том, что вчера я сидел до поздней ночи... и сегодня... с самого утра... все писал статью об Алжире, которую у меня просил господин Вальтер... Но у меня ничего не выходит... Я разорвал все черновики... Мне это дело незнакомо, и я попросил Форестье... на этот раз прийти мне на помощь...

Довольная, веселая и польщенная, смеясь от души, она прервала его:

— А он послал вас ко мне?.. Как это мило с его стороны...

— Да, сударыня. Он сказал, что вы еще лучше сумеете выручить меня из беды... А я не хотел, не решался. Вы меня понимаете?

Она встала.

— Такое сотрудничество обещает быть очень приятным. Я в восторге от вашей идеи. Вот что: садитесь-ка на мое место, а то в редакции знают мой почерк. Сейчас мы с вами сочиним статью, да еще какую! Успех обеспечен.

Он сел, взял перо, положил перед собой лист бумаги и приготовился писать.

Госпожа Форестье стоя следила за всеми его движениями, потом достала с камина папиросу и закурила.

— Не могу работать без папиросы,— сказала она.— Итак, о чем же вы намерены рассказать?

Дюруа вскинул на нее удивленные глаза.

— Этого-то я и не знаю, потому-то я и пришел к вам.

— Ну хорошо, я вам помогу. Соус я берусь приготовить, но мне необходимо самое блюдо.

Дюруа растерялся.

— Я хотел бы описать свое путешествие с самого начала...— робко проговорил он.

Она села против него, по ту сторону большого стола, и, глядя ему в глаза, сказала:

— В таком случае опишите его сперва мне, мне одной,— понимаете? — не торопясь, ничего не пропуская, а уж я сама выберу то, что нужно.

Дюруа не знал, с чего начать,— тогда она стала расспрашивать его, как священник на исповеди; она задавала точно сформулированные вопросы, и в памяти его всплывали забытые подробности, встречи, лица, которые он видел мельком.

Так проговорил он около четверти часа, потом она неожиданно перебила его:

— А теперь начнем. Представим себе, что вы делитесь впечатлениями с вашим другом: это даст вам возможность болтать всякий вздор, попутно делать разного рода замечания, быть естественным и забавным, насколько нам это удастся. Пишите:

«Дорогой Анри, ты хочешь знать, что такое Алжир? Изволь, ты это узнаешь. От нечего делать я решил посылать тебе из убогой мазанки, в которой я обретаюсь, нечто вроде дневника, где буду описывать свою жизнь день за днем, час за часом. Порой он покажется тебе грубоватым,— что ж, ведь ты не обязан показывать его знакомым дамам...»

Она остановилась, чтобы зажечь потухшую папиросу, и тихий скрип гусиного пера тотчас же прекратился.

— Давайте дальше,— сказала она.

«Алжир — это обширное французское владение, расположенное на границе огромных неисследованных стран, именуемых пустыней Сахарой, Центральной Африкой и так далее.

Алжир — это ворота, прекрасные белые ворота необыкновенного материка.

Но сперва надо до них добраться, а это не всякому способно доставить удовольствие. Наездник я, как тебе известно, превосходный, я объезжаю лошадей для самого полковника. Однако можно быть хорошим кавалеристом и плохим моряком. Это я проверил на опыте.

Помнишь ли ты полкового врача Сембрета, которого мы прозвали доктором Блево? Когда нам до смерти хотелось отдохнуть сутки в госпитале, в этой земле обетованной, мы отправлялись к нему на прием.

Как сейчас вижу его красные штаны, его жирные ляжки; вот он сидит на стуле, расставив ноги, упираясь кулаками в колени,— руки дугой, локти на отлете,— вращает круглыми рачьими глазами и покусывает седые усы.

Помнишь его предписания:

— У этого солдата расстройство желудка. Дать ему рвотного номер три по моему рецепту, затем двенадцать часов полного покоя, и он выздоровеет.

Рвотное это представляло собой сильно действующее, магическое средство. Мы все же принимали его,— другого выхода не было. Зато потом, отведав снадобья доктора Блево, мы наслаждались вполне заслуженным двенадцатичасовым отдыхом.

Так вот, милый мой, чтобы попасть в Африку, приходится в течение сорока часов испытывать на себе действие другого, столь же могущественного рвотного, составленного по рецепту Трансатлантической пароходной компании».

Госпожа Форестье потирала руки от удовольствия.

Она встала, закурила вторую папиросу, а затем снова начала диктовать, расхаживая по комнате и выпуская сквозь маленькое круглое отверстие между сжатыми губами струйки дыма, которые сперва поднимались столбиками, но постепенно расползались, расплывались, кое-где оставляя прозрачные хлопья тумана, тонкие серые нити, похожие на паутину. Время от времени она стирала ладонью эти легкие, но упорные штрихи или рассекала их указательным пальцем и задумчиво смотрела, как исчезает в воздухе перерезанное надвое медлительное волокно еле заметного пара.

Дюруа между тем следил за всеми ее жестами, позами,— он не отрывал глаз от ее лица и тела, вовлеченных в эту пустую игру, которая, однако, не поглощала ее мыслей.

Теперь она придумывала дорожные приключения, набрасывала портреты вымышленных спутников и намечала интрижку с женою пехотного капитана, ехавшей к своему мужу.

Потом села и начала расспрашивать Дюруа о топографии Алжира, о которой не имела ни малейшего представления. Через десять минут она знала ее не хуже Дюруа и могла продиктовать ему целую главку, содержавшую в себе политико-экономический очерк Алжира и облегчавшую читателям пони-

мание тех сложных вопросов, которые должны были быть затронуты в следующих номерах.

Очерк сменился походом в провинцию Оран,— походом, разумеется, воображаемым: тут речь шла преимущественно о женщинах — мавританках, еврейках, испанках.

— Читателей только это и интересует,— пояснила г-жа Форестье.

Закончила она стоянкой в Саиде, у подножья высоких плоскогорий, и поэтичным, но недолгим романом унтер-офицера Жоржа Дюруа с одной испанкой, работницей аинэльхаджарской фабрики, где обрабатывалась альфа. Она описывала их ночные свидания среди голых скалистых гор, оглашаемых лаем собак, рычаньем гиен и воем шакалов.

— Продолжение завтра! — весело сказала г-жа Форестье и, поднимаясь со стула, добавила: — Вот как пишутся статьи, милостивый государь. Соблаговолите поставить свою подпись.

Дюруа колебался.

— Да подпишитесь же!

Он засмеялся и написал внизу страницы: «Жорж Дюруа».

Она опять начала ходить с папиросой по комнате, а он, полный благодарности, все смотрел на нее и, не находя слов, чтобы выразить ей свою признательность, радуясь тому, что она тут, подле него, испытывал чувственное наслаждение,— наслаждение, которое доставляла ему растущая близость их отношений. Ему казалось, что все окружающее составляет часть ее самой, все, даже закрытые книгами стены. В убранстве комнаты, в запахе табака, носившемся в воздухе, было что-то неповторимое, приятное, милое, очаровательное, именно то, чем веяло от нее.

— Какого вы мнения о моей подруге, госпоже де Марель? — неожиданно спросила она.

Дюруа был озадачен этим вопросом.

— Как вам сказать... я нахожу, что она... обворожительна.

— Да?

— Ну конечно.

Он хотел добавить: «А вы еще обворожительнее», но постеснялся.

— Если б вы знали, какая она забавная, оригинальная, умная! — продолжала г-жа Форестье.— Богема, да, да, настоящая богема. За это ее и не любит муж. Он видит в ней одни недостатки и не ценит достоинств.

Дюруа показалось странным, что г-жа де Марель замужем. В этом не было, однако, ничего удивительного.

— Так, значит... она замужем? — спросил он.— А что представляет собой ее муж?

Госпожа Форестье слегка повела плечами и бровями,— в этом ее выразительном двойном движении скрывался какой-то неуловимый намек.

— Он ревизор Северной железной дороги. Каждый месяц приезжает на неделю в Париж. Его жена называет это своей повинностью, барщиной, страстной неделей. Когда вы познакомитесь с ней поближе, вы увидите, какая это остроумная и милая женщина. Навестите ее как-нибудь на днях.

Дюруа забыл, что ему пора уходить,— ему казалось, что он останется здесь навсегда, что он у себя дома.

Но вдруг бесшумно отворилась дверь, и какой-то высокий господин вошел без доклада.

Увидев незнакомого мужчину, он остановился. Г-жа Форестье на мгновение как будто смутилась, а затем, хотя легкая краска все еще приливала у нее от шеи к лицу, обычным своим голосом проговорила:

— Входите же, дорогой друг, входите! Позвольте вам представить старого товарища Шарля, господина Дюруа, будущего журналиста.— И уже другим тоном: — Лучший и самый близкий наш друг — граф де Водрек.

Мужчины раскланялись, посмотрели друг на друга в упор, и Дюруа сейчас же начал прощаться.

Его не удерживали. Бормоча слова благодарности, он пожал г-же Форестье руку, еще раз поклонился гостю, хранившему равнодушный и чопорный вид светского человека, и вышел сконфуженный, точно сделал какой-то досадный промах.

На улице ему почему-то стало грустно, тоскливо, не по себе. Он шел наугад, стараясь постичь, откуда взялась эта внезапная смутная тоска. Он не находил ей объяснения, но в памяти его все время вставало строгое лицо графа де Водрека, уже немолодого, седоволосого, с надменным и спокойным взглядом очень богатого, знающего себе цену господина.

Наконец он понял, что именно появление этого незнакомца, нарушившего милую беседу с г-жой Форестье, с которой он уже чувствовал себя так просто, и породило в нем то ощущение холода и безнадежности, какое порой вызывает в нас чужое горе, кем-нибудь невзначай оброненное слово, любой пустяк.

И еще показалось ему, что этот человек тоже почему-то был неприятно удивлен, встретив его у г-жи Форестье.

До трех часов ему нечего было делать, а еще не пробило двенадцати. В кармане у него оставалось шесть с половиной франков, и он отправился завтракать к Дювалю. Затем побродил по бульварам и ровно в три часа поднялся по парадной лестнице в редакцию «Французской жизни».

Рассыльные, скрестив руки, в ожидании поручений сидели на скамейке, а за конторкой, похожей на кафедру, разбирал только что полученную почту швейцар. Эта безупречная мизансцена должна была производить впечатление на посетителей. Служащие держали себя с достоинством, с шиком, как подобает держать себя в прихожей влиятельной газеты, каждый из них поражал входящего величественностью своей осанки и позы.

— Можно видеть господина Вальтера? — спросил Дюруа.

— У господина издателя совещание,— ответил швейцар.— Будьте любезны подождать.

И он указал на переполненную приемную.

Тут были важные, сановитые господа, увешанные орденами, и бедно одетые люди в застегнутых доверху сюртуках, тщательно закрывавших сорочку и усеянных пятнами, которые своими очертаниями напоминали материки и моря на географических картах. Среди ожидающих находились три дамы. Одна из них, хорошенькая, улыбающаяся, нарядная, имела вид кокотки. В ее соседке, женщине с морщинистым трагическим лицом, одетой скромно, хотя и столь же нарядно, было что-то от бывшей актрисы, что-то искусственное, изжитое, пахнувшее прогорклой любовью, поддельной, линялою молодостью.

Третья женщина, носившая траур, в позе неутешной вдовы сидела в углу. Дюруа решил, что она явилась просить пособия.

Прием все еще не начинался, хотя прошло больше двадцати минут.

Дюруа вдруг осенило, и он опять подошел к швейцару.

— Господин Вальтер назначил мне прийти в три часа,— сказал он.— Посмотрите на всякий случай, нет ли тут моего друга Форестье.

Его сейчас же провели по длинному коридору в большой зал, где четыре господина что-то писали, расположившись за широким зеленым столом.

Форестье, стоя у камина, курил папиросу и играл в бильбоке. Играл он отлично и каждый раз насаживал громадный шар из желтого букса на маленький деревянный гвоздик.

— Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять,— считал он.

— Двадцать шесть,— сказал Дюруа.

Форестье, не прерывая размеренных взмахов руки, взглянул на него.

— А, это ты? Вчера я выбил пятьдесят семь подряд. После Сен-Потена я здесь самый сильный игрок. Ты видел патрона? Нет ничего уморительнее этой старой крысы Норбера, когда он играет в бильбоке. Он так разевает рот, словно хочет проглотить шар.

Один из сотрудников обратился к нему:

— Слушай, Форестье, я знаю, где продается великолепное бильбоке черного дерева. Говорят, оно принадлежало испанской королеве. Просят шестьдесят франков. Это недорого.

— Где это? — спросил Форестье.

Промахнувшись на тридцать седьмом ударе, он открыл шкаф, и в этом шкафу Дюруа увидел штук двадцать изумительных бильбоке, перенумерованных, расставленных в строгом порядке, словно диковинные безделушки в какой-нибудь коллекции. Форестье поставил свое бильбоке на место и еще раз спросил:

— Где же обретается эта драгоценность?

— У барышника, который продает билеты в Водевиль,— ответил журналист.— Могу тебе завтра принести, если хочешь.

— Принеси. Если хорошее — я возьму; лишнее бильбоке никогда не помешает.

Затем он обратился к Дюруа:

— Пойдем со мной, я проведу тебя к патрону, а то проторчишь тут до семи вечера.

В приемной все сидели на прежних местах. Увидев Форестье, молодая женщина и старая актриса поспешно встали и подошли к нему.

Форестье по очереди отводил их к окну, и хотя все трое старались говорить тихо, Дюруа заметил, что он и той и другой говорил «ты».

Наконец Форестье и Дюруа вошли в кабинет издателя, куда вела двойная обитая дверь.

Под видом совещания Вальтер и кое-кто из тех господ в цилиндрах с плоскими полями, которых Дюруа видел накануне, уже целый час играли в экарте.

Напряженное внимание, с каким издатель рассматривал свои карты, и вкрадчивость его движений составляли конт-

раст с той ловкостью, гибкостью, грацией опытного игрока, с какою бил, сдавал, манипулировал легкими цветными листиками картона его партнер. Норбер де Варен писал статью, сидя в кресле, в котором обычно сидел издатель, а Жак Риваль растянулся во весь рост на диване и, зажмурив глаза, курил сигару.

Спертый воздух кабинета был пропитан запахом кожаных кресел, въедливым запахом табачного дыма и типографской краски,— специфическим запахом редакции, хорошо знакомым каждому журналисту.

На столе черного дерева с медными инкрустациями высилась чудовищная груда писем, визитных карточек, счетов, журналов, газет и всевозможных печатных изданий.

Форестье молча пожал руку зрителям, которые, стоя за стульями партнеров, держали между собою пари, и принялся следить за игрой. Как только Вальтер выиграл партию, он обратился к нему:

— Вот мой друг Дюруа.

— Принесли статью? — бросив на молодого человека быстрый взгляд поверх очков, спросил издатель.— Это было бы весьма кстати именно сегодня, пока еще идут прения по запросу Мореля.

Дюруа вынул из кармана вчетверо сложенные листки.

— Вот, пожалуйста.

Лицо патрона выразило удовольствие.

— Отлично, отлично,— улыбаясь, сказал он.— Вы держите слово. Надо мне это просматривать, Форестье?

— Не стоит, господин Вальтер,— поспешил ответить Форестье.— Мы с ним писали вместе,— надо было показать ему, как это делается. Получилась очень хорошая статья.

— Ну и прекрасно,— равнодушно заметил издатель, разбирая карты, которые сдавал высокий худой господин, депутат левого центра.

Однако Форестье не дал Вальтеру начать новую партию.

— Вы обещали мне взять Дюруа на место Марамбо,— нагнувшись к самому его уху, шепнул он.— Разрешите принять его на тех же условиях?

— Да, конечно.

Игра возобновилась, и журналист, взяв своего приятеля под руку, повел его к выходу.

Норбер де Варен не поднял головы: по-видимому, он не заметил или не узнал Дюруа. Жак Риваль, напротив, нарочито крепко пожал ему руку, с подчеркнутой благожелатель-

ностью прекрасного товарища, на которого можно положиться во всех случаях жизни.

Когда Форестье и Дюруа снова появились в приемной, посетители впились в них глазами, и журналист, громко, чтобы его слышали все, сказал, обращаясь к самой молодой из женщин:

— Издатель примет вас очень скоро. У него совещание с двумя членами бюджетной комиссии.

И сейчас же проследовал дальше с таким независимым и озабоченным видом, как будто его ожидали дела государственной важности.

Вернувшись в редакционный зал, Форестье тотчас же взялся за бильбоке и, прерывая свою речь счетом ударов, заговорил:

— Так вот. Ты будешь приходить сюда ежедневно к трем часам, я буду посылать тебя за информацией, и ты будешь ее добывать — иногда днем, иногда вечером, иногда утром. Раз! Прежде всего я дам тебе рекомендательное письмо к начальнику первого отдела полицейской префектуры,— два! — а он направит тебя к одному из своих подчиненных. С ним ты условишься о получении всех важных сведений,— три! — сведений официального и, само собой разумеется, полуофициального характера. Подробности можешь узнать у Сен-Потена, он в курсе дела,— четыре! — дождись его или поговори с ним завтра. Главное, научись вытягивать из людей, к которым я буду тебя посылать, все, что возможно,— пять! — и пролезать всюду, даже через закрытые двери,— шесть! За это ты будешь получать двести франков в месяц жалованья и по два су за строчку интересной хроники, которую ты сумеешь доставить,— семь! Кроме того, по заказу редакции ты будешь писать разные статейки — тоже по два су за строчку,— восемь!

Затем он весь ушел в свою игру и медленно продолжал считать:

— Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать...

На четырнадцатом журналист промахнулся.

— Опять тринадцать, черт бы его побрал! — проворчал он.— Проклятое число! Вечно оно приносит мне несчастье. И умру-то я, наверно, тринадцатого.

Один из сотрудников, кончив работу, вынул из шкафа свое бильбоке; ему было тридцать пять лет, но крошечный рост делал его похожим на ребенка. Вошли еще несколько журналистов, и каждый из них взял по игрушке. Вскоре играло уже шестеро: они стояли рядом, спиной к стене, и

одинаковым мерным движением подбрасывали шары, красные, желтые или черные — в зависимости от породы дерева. Как только игра перешла в состязание, два сотрудника, прервав работу, предложили свои услуги в качестве судей.

Форестье выбил на одиннадцать очков больше других. Человечек, похожий на ребенка, проиграл; он позвонил рассыльному и, когда тот явился, сказал ему:

— Девять кружек пива.

В ожидании прохладительного все опять принялись за игру.

Дюруа, выпив со своими новыми сослуживцами пива, спросил Форестье:

— Что я должен делать?

— Сегодня ты свободен,— ответил тот.— Если хочешь, можешь идти.

— А наша... наша статья... пойдет сегодня вечером?

— Да, корректуру я выправлю сам, не беспокойся. Приготовь к завтрашнему дню продолжение и приходи в три часа, как сегодня.

Дюруа попрощался со всеми этими людьми за руку, хотя и не знал даже, как их зовут, а затем, ликующий и счастливый, спустился вниз по роскошной лестнице.

IV

Жорж Дюруа плохо спал: ему не терпелось увидеть свою статью напечатанной. С рассветом он был уже на ногах и вышел из дому задолго до того, как газетчики начинают бегать от киоска к киоску.

Он направился к вокзалу Сен-Лазар, так как знал наверняка, что «Французская жизнь» появляется там раньше, чем в его квартале. Но было еще очень рано, и, дойдя до вокзала, он стал расхаживать по тротуару.

Он видел, как пришла продавщица и открыла свою застекленную будку, затем появился человек с кипой сложенных вдвое газетных листов на голове. Дюруа бросился к нему, но это были «Фигаро», «Жиль Блаз», «Голуа», «Новости дня» и еще две-три газеты. «Французской жизни» у него не оказалось.

Дюруа забеспокоился. Что, если «Воспоминания африканского стрелка» отложены на завтра? А вдруг в последнюю минуту статью не пропустил старик Вальтер?

Возвращаясь обратно, Дюруа увидел, что газету уже продают, а он и не заметил, как ее принесли. Он подскочил к киоску, бросил три су и, развернув газету, просмотрел заголовки на

первой странице. Ничего похожего! У него сильно забилось сердце. Он перевернул страницу и, глубоко взволнованный, прочел под одним из столбцов жирным шрифтом напечатанную подпись: «Жорж Дюруа». Поместили! Какое счастье!

Он шел, ни о чем не думая, в шляпе набекрень, с газетой в руке, и его подмывало остановить первого встречного только для того, чтобы сказать ему: «Купите эту газету, купите эту газету! Здесь есть моя статья». Он готов был кричать во все горло, как кричат по вечерам на бульварах: «Читайте «Французскую жизнь», читайте статью Жоржа Дюруа «Воспоминания африканского стрелка». Ему вдруг захотелось самому прочитать свою статью, прочитать в общественном месте, в кафе, у всех на виду. И он стал искать такой ресторан, где были бы уже посетители. Ему пришлось долго бродить по городу. Наконец он нашел что-то вроде винного погребка, где было довольно много народу, сел за столик и потребовал рому,— он мог бы потребовать и абсенту, так как утратил всякое представление о времени.

— Гарсон, дайте мне «Французскую жизнь»! — крикнул он.

Подбежал гарсон в белом переднике:

— У нас нет такой газеты, сударь, мы получаем «Призыв», «Век», «Светоч» и «Парижский листок».

Дюруа был возмущен.

— Ну и заведеньице же у вас! — сказал он со злостью.— В таком случае подите купите мне «Французскую жизнь».

Гарсон сбегал за газетой. Чтобы привлечь внимание соседей и внушить им желание узнать, что в ней есть интересного, Дюруа, читая свою статью, время от времени восклицал:

— Отлично! Отлично!

Уходя, он оставил газету на столике. Хозяин, заметив это, окликнул его:

— Сударь, сударь, вы забыли газету!

— Пусть она останется у вас, я ее уже прочитал,— ответил Дюруа.— Между прочим, там есть одна очень любопытная статья.

Он не сказал, какая именно, но, уходя, заметил, что один из посетителей взял с его столика «Французскую жизнь».

«Чем бы мне теперь заняться?» — подумал Дюруа и решил пойти в свою канцелярию получить жалованье за месяц и заявить об уходе. Он затрепетал от восторга, представив себе, как вытянутся лица у начальника и сослуживцев. Особенно радовала его мысль ошарашить начальника.

Он шел медленно; касса открывалась в десять, раньше половины десятого не имело смысла являться.

Канцелярия занимала большую темную комнату,— зимой здесь целый день горел газ. Окна ее выходили на узкий двор и упирались в окна других канцелярий. В одной этой комнате помещалось восемь служащих, а в углу, за ширмой, сидел помощник начальника.

Дюруа сперва получил свои сто восемнадцать франков двадцать пять сантимов, вложенные в желтый конверт, хранившийся в ящике у кассира, а затем с победоносным видом вошел в просторную канцелярию, в которой провел столько дней.

Помощник начальника, господин Потель, крикнул ему из-за ширмы:

— А, это вы, господин Дюруа? Начальник уже несколько раз о вас справлялся. Вы знаете, что он не разрешает болеть два дня подряд без удостоверения от врача.

Дюруа для пущего эффекта остановился посреди комнаты.

— Мне, собственно, на это наплевать! — заявил он во всеуслышание.

Чиновники обмерли; из-за ширмы выглянула испуганная физиономия господина Потеля. В этой своей коробке он спасался от сквозняков: он страдал ревматизмом. А чтобы следить за подчиненными, он проделал в бумаге две дырочки.

Было слышно, как пролетит муха.

— Что вы сказали? — нерешительно спросил наконец помощник начальника.

— Я сказал, что мне, собственно, наплевать. Я пришел только для того, чтобы заявить об уходе. Я поступил сотрудником в редакцию «Французской жизни» на пятьсот франков в месяц, не считая построчных. В сегодняшнем номере уже напечатана моя статья.

Он хотел продлить удовольствие, но не удержался и выпалил все сразу.

Эффект, впрочем, был полный. Все окаменели.

— Я сейчас скажу об этом господину Пертюи,— добавил Дюруа,— а потом зайду попрощаться с вами.

Не успел он войти к начальнику, как тот обрушился на него с криком:

— А, изволили явиться? Вам известно, что я терпеть не могу...

— Нечего горло-то драть,— прервал своего начальника подчиненный.

Господин Пертюи, толстый, красный, как петуший гребень, поперхнулся от изумления.

— Мне осточертела ваша лавочка,— продолжал Дюруа.— Сегодня я впервые выступил на поприще журналистики, мне дали прекрасное место. Честь имею кланяться.

С этими словами он удалился. Он отомстил.

Он вернулся в канцелярию, как обещал, и пожал руку бывшим своим сослуживцам, но они, боясь скомпрометировать себя, не сказали с ним и двух слов,— через отворенную дверь им слышен был его разговор с начальником.

С жалованьем в кармане Дюруа вышел на улицу. Плотно и вкусно позавтракав в уже знакомом ему хорошем и недорогом ресторане, купив еще один номер «Французской жизни» и оставив его на столике, он обошел несколько магазинов и накупил всякой всячины; безделушки эти были ему совсем ненужны, но он испытывал особое удовольствие, приказывая доставить их к себе на квартиру и называя свое имя: «Жорж Дюруа». При этом он добавлял: «Сотрудник «Французской жизни».

Однако, указав улицу и номер дома, он не забывал предупредить:

— Покупки оставьте у швейцара.

Время у него еще оставалось, и, зайдя в моментальную литографию, где в присутствии клиента изготовлялись визитные карточки, он заказал себе сотню, велев обозначить под фамилией свое новое звание.

Затем отправился в редакцию.

Форестье встретил его высокомерно, как встречают подчиненных.

— А, ты уже пришел? Отлично. У меня как раз есть для тебя несколько поручений. Подожди минут десять. Мне надо кончить свои дела.

И он стал дописывать письмо.

На другом конце большого стола сидел маленький человечек, бледный, рыхлый, одутловатый, с совершенно лысым, белым, лоснящимся черепом, и что-то писал, по причине крайней близорукости уткнув нос в бумагу.

— Скажи, Сен-Потен,— спросил его Форестье,— в котором часу ты пойдешь брать интервью?

— В четыре.

— Возьми с собой Дюруа, вот этого молодого человека, что стоит перед тобой, и открой ему тайну своего ремесла.

— Будет сделано.

— Принес продолжение статьи об Алжире? — обратился к своему приятелю Форестье.— Начало имело большой успех.

— Нет,— сконфуженно пробормотал Дюруа,— я думал засесть за нее после завтрака... но у меня было столько дел, что я никак не мог...

Форестье недовольно пожал плечами.

— Неаккуратностью ты можешь испортить себе карьеру. Старик Вальтер рассчитывал на твой материал. Я ему скажу, что он будет готов завтра. Если ты воображаешь, что можно ничего не делать и получать деньги, то ты ошибаешься.

Помолчав, он прибавил:

— Надо ковать железо, пока горячо, черт возьми!

Сен-Потен встал.

— Я готов,— сказал он.

Форестье, прежде чем дать распоряжения, откинулся на спинку кресла и принял почти торжественную позу.

— Так вот,— начал он, устремив взгляд на Дюруа.— Два дня тому назад к нам в Париж прибыли китайский генерал Ли Чэн-фу и раджа Тапосахиб Рамадерао Пали,— генерал остановился в «Континентале», раджа — в отеле «Бристоль». Вам следует взять у них интервью.

Тут он повернулся лицом к Сен-Потену:

— Не забудь главных пунктов, на которые я тебе указывал. Спроси у генерала и у раджи, что они думают о происках Англии на Дальнем Востоке, о ее методах колонизации, об установленном ею образе правления, и питают ли они надежду на вмешательство Европы и, в частности, Франции.

— Наших читателей крайне интересует отношение Индии и Китая к тем вопросам, которые так волнуют в настоящее время общественное мнение,— *после некоторого молчания проговорил он, не обращаясь ни к кому в отдельности.*

И, снова уставившись на Дюруа, добавил:

— *Понаблюдай за тем, как будет действовать Сен-Потен,— это великолепный репортер, он тебе в пять минут выпотрошит кого угодно.*

Затем он опять с важным видом взялся за перо,— он явно хотел поставить своего бывшего однополчанина и нынешнего сослуживца в известные рамки, указать ему надлежащее место.

Как только они вышли за порог, Сен-Потен со смехом сказал Дюруа:

— Вот кривляка! Ломается даже перед нами. Можно подумать, что он принимает нас за своих читателей.

Они пошли по бульвару.

— Выпьем чего-нибудь? — предложил репортер.

— С удовольствием. Такая жара!

Они зашли в кафе и спросили прохладительного. И тут Сен-Потен разговорился. Толкуя о редакционных делах и обо всем на свете, он выказывал поразительную осведомленность:

— Патрон? Типичный еврей! А еврея, знаете, не переделаешь. Уж и народ!

Сен-Потен привел несколько ярких примеров скупости Вальтера, столь характерной для сынов Израиля, грошовой экономии, мелкого торгашества, унизительного выклянчивания скидок, описал все его ростовщические ухватки.

— И при всем том славный малый, который ни во что не верит и всех водит за нос. Его газета, официозная, католическая, либеральная, республиканская, орлеанистская, этот слоеный пирог, эта мелочная лавчонка нужна ему только как вспомогательное средство для биржевых операций и всякого рода иных предприятий. По этой части он не промах: зарабатывает миллионы на акционерных обществах, у которых ни гроша за душой...

Сен-Потен болтал без умолку, величая Дюруа «дорогим другом».

— Между прочим, у этого сквалыги подчас срываются с языка чисто бальзаковские словечки. На днях был такой случай: я, старая песочница Норбер и новоявленный Дон Кихот — Риваль сидим, понимаете ли, у него в кабинете, и вдруг входит наш управляющий Монтлен с известным всему Парижу сафьяновым портфелем под мышкой. Вальтер воззрился на него и спрашивает: «Что нового?» Монтлен простодушно отвечает: «Я только что уплатил долг за бумагу — шестнадцать тысяч франков». Патрон подскочил на месте от ужаса. «Что вы сказали?» — «Я уплатил господину Прива».— «Вы с ума сошли!» — «Почему?» — «Почему... почему... почему...» Вальтер снял очки, протер стекла, улыбнулся той плутоватой улыбкой, которая раздвигает его толстые щеки, когда он собирается сказать что-нибудь ядовитое или остроумное, и насмешливым, не допускающим возражений тоном сказал: «Почему? Потому что на этом деле мы могли получить скидку в четыре, а то и в пять тысяч франков». Монтлен удивился: «Да как же, господин Вальтер, ведь счета были в порядке, я их проверял, а вы принимали...» Тут патрон, на этот раз уже серьезно, заметил: «Нельзя быть таким простаком. Запомните, господин Монтлен, что сперва надо накапливать долги, а потом заключать полюбовные сделки».

Вскинув голову, Сен-Потен с видом знатока добавил:

— Ну что? Разве это не Бальзак?

Дюруа хотя и не читал Бальзака, тем не менее уверенно подтвердил:

— Да, черт возьми!

Госпожу Вальтер репортер назвал жирной индюшкой, Норбера де Варена — старым неудачником, Риваля — бледной копией Фервака. Затем снова заговорил о Форестье.

— Этому просто повезло с женитьбой — только и всего.

— А что, в сущности, представляет собой его жена?

— О, это бестия, тонкая штучка! — потирая руки, ответил Сен-Потен.— Любовница мышиного жеребчика Водрека, графа де Водрека,— это он дал ей приданое и выдал замуж...

Дюруа вдруг ощутил озноб, какую-то нервную дрожь, ему хотелось выругать этого болтуна, закатить ему пощечину. Но он лишь остановил его вопросом:

— Сен-Потен — это ваша настоящая фамилия?

— Нет, меня зовут Тома,— с наивным видом ответил тот.— Сен-Потеном [1] меня окрестили в редакции.

— Сейчас, наверно, уже много времени,— заплатив за напитки, сказал Дюруа,— а ведь нам еще предстоит посетить двух важных особ.

Сен-Потен расхохотался.

— Сразу видно, что вы человек неискушенный! Значит, вы полагаете, что я в самом деле пойду спрашивать у индуса и китайца, что они думают об Англии? Да я лучше их знаю, что они должны думать, чтобы угодить читателям «Французской жизни». Я проинтервьюировал на своем веку пятьсот таких китайцев, персов, индусов, чилийцев, японцев. По-моему, все они говорят одно и то же. Следовательно, я должен взять свою статью о последнем из наших гостей и переписать ее слово в слово. Придется только изменить заголовок, имя, титул, возраст, состав свиты. Вот тут надо держать ухо востро, не то «Фигаро» и «Голуа» живо уличат во вранье. Но у швейцаров «Бристоля» и «Континенталя» я в пять минут получу об этом самые точные сведения. Мы пройдем туда пешком и дорогой выкурим по сигаре. А с редакции стребуем пять франков разъездных. Вот, дорогой мой, как поступают люди практичные.

— При таких условиях быть репортером как будто бы выгодно? — спросил Дюруа.

— Да, но выгоднее всего хроника, это — замаскированная реклама,— с загадочным видом ответил Сен-Потен.

---

[1] Сен-Потен — буквально: «святой сплетник» *(франц.)*.

Они встали и пошли бульваром по направлению к церкви Мадлен.

— Знаете что,— вдруг сказал Сен-Потен,— если у вас есть какие-нибудь дела, то я вас не держу.

Пожав ему руку, Дюруа удалился.

Статья, которую он должен был написать вечером, не давала ему покою, и он тут же, дорогой, принялся обдумывать ее. Он попытался припомнить несколько анекдотов, привести в порядок свои наблюдения, мысли, сделать некоторые выводы — и так незаметно дошел до конца Елисейских полей, где ему лишь изредка попадались навстречу гуляющие, ибо в жаркие дни Париж становится безлюдным.

Пообедав в винном погребке на площади Этуаль, возле Триумфальной арки, он медленным шагом двинулся по кольцу внешних бульваров и, придя домой, сел за работу.

Но едва он увидел перед собой большой лист белой бумаги, как все, что он успел накопить, улетучилось, самый мозг его словно испарился. Он ловил обрывки воспоминаний, силился их удержать, но стоило ему ухватиться за них, и они ускользали или же мелькали перед ним с головокружительной быстротой, и он не знал, как их подать, что с ними делать, с чего начать.

Просидев битый час и заполнив пять страниц вариантами первой фразы, он сказал себе: «Я еще не наловчился. Придется взять еще один урок». И при одной мысли о совместной работе с г-жой Форестье, о продолжительной задушевной, интимной, столь приятной беседе с нею наедине его охватила дрожь нетерпения. Боясь, что если он вновь примется за статью, то дело неожиданно может пойти на лад, Дюруа поспешил лечь.

Утром он долго лежал в постели, предвкушая сладость предстоящего свидания с г-жой Форестье и намеренно отдаляя его.

Был уже одиннадцатый час, когда он, подойдя к знакомой двери, нажал кнопку звонка.

— Господин Форестье занят,— объявил слуга.

Дюруа упустил из виду, что супруг может оказаться дома. Тем не менее он продолжал настаивать:

— Скажите, что я к нему по срочному делу.

Через пять минут он вошел в тот самый кабинет, где провел накануне такое чудесное утро.

Журналист, в халате, в туфлях, в маленькой английской шапочке, что-то писал, сидя в кресле, в котором вчера сидел Дюруа, а г-жа Форестье, в том же белом пеньюаре, стояла, облокотившись на камин, и, с папиросой в зубах, диктовала.

Дюруа остановился на пороге.

— Прошу прощения, я помешал вам?

Форестье злобно уставился на него.

— Что еще? — проворчал он.— Говори скорей, нам некогда.

— Нет, ничего, извини,— сконфуженно мямлил Дюруа.

Форестье рассвирепел.

— Да ну же, черт побери! Что ты тянешь? Ведь ты, надо полагать, вломился ко мне не для того, чтобы иметь удовольствие сказать нам: «С добрым утром»?

— Да нет...— преодолевая смущение, заговорил Дюруа.— Видишь ли, дело в том, что у меня опять ничего не вышло со статьей... а ты... вы оба были так добры прошлый раз... что я надеялся... я осмелился прийти...

— Ты просто издеваешься над людьми! — перебил его Форестье.— Ты, очевидно, вообразил, что я буду за тебя работать, а ты будешь каждый месяц получать денежки. Ловко придумано, что и говорить!

Госпожа Форестье продолжала молча курить и все улыбалась загадочной улыбкой, похожей на маску любезности, за которой таится ирония.

— Простите... я думал... я полагал...— вспыхнув, пролепетал Дюруа и вдруг отчетливо произнес: — Приношу вам тысячу извинений, сударыня, и еще раз горячо благодарю за прелестный фельетон, который вы за меня написали вчера.

Он поклонился, сказал Шарлю:

— В три часа я буду в редакции.

И вышел.

Быстрым шагом идя домой, он ворчал себе под нос: «Ладно, сами сейчас напишем, вот увидите...»

Вдохновляемый злобой, Дюруа вошел к себе в комнату и тут же сел за работу.

Он развивал сюжет, намеченный г-жой Форестье, нагромождая детали, заимствованные из бульварных романов, невероятные происшествия, вычурные описания, мешая дубовый язык школьника с унтер-офицерским жаргоном. За час он успел написать статью и, довольный собою, понес этот ералаш в редакцию.

Сен-Потен, первый, кого он там встретил, с видом заговорщика крепко пожал ему руку.

— Читали мою беседу с индусом и китайцем? — спросил он.— Не правда ли, забавно? Париж от нее в восторге. А ведь я их и в глаза не видел.

Дюруа еще ничего не читал; он тотчас же взял газету и стал просматривать длинную статью под заглавием «Индия и Китай», а Сен-Потен в это время показывал ему и подчеркивал наиболее интересные места.

С деловым, озабоченным видом, отдуваясь, вошел Форестье.

— Вы уже здесь? Весьма кстати. Вы мне оба нужны.

И он дал им указания насчет того, какие именно сведения политического характера они должны раздобыть к вечеру.

Дюруа протянул ему свою рукопись.

— Вот продолжение статьи об Алжире.

— Очень хорошо, давай, давай, я покажу патрону.

На этом разговор кончился.

Сен-Потен увел своего нового коллегу и, когда они были уже в коридоре, спросил:

— Вы заходили в кассу?

— Нет. Зачем?

— Зачем? Получить деньги. Жалованье, знаете ли, всегда нужно забирать за месяц вперед. Мало ли что может случиться.

— Что ж... Я ничего не имею против.

— Я вас познакомлю с кассиром. Он не станет чинить препятствия. Платят здесь хорошо.

Дюруа получил свои двести франков и, сверх того, двадцать восемь франков за вчерашнюю статью; вместе с остатком жалованья, которое ему выдали в канцелярии, это составляло триста сорок франков.

Никогда еще не держал он в руках такой суммы, и ему казалось, что этого богатства должно хватить бог знает на сколько.

Сен-Потен, в расчете на то, что другие уже успели раздобыть нужные ему сведения и что при его словоохотливости и уменье выспрашивать ему ничего не будет стоить выпытать их, предложил Дюруа походить с ним по редакциям конкурирующих между собою газет.

Вечером Дюруа освободился и решил махнуть в Фоли-Бержер. Задумав пройти наудачу, он отрекомендовался контролю:

— Я Жорж Дюруа, сотрудник «Французской жизни». На днях я был здесь с господином Форестье, и он обещал достать мне пропуск. Боюсь только, не забыл ли он.

Просмотрели список. Его фамилии там не оказалось. Тем не менее контролер был так любезен, что пропустил его.

— Ничего, проходите, сударь,— сказал он,— только обратитесь лично к директору — он вам, конечно, не откажет.

Войдя, Жорж Дюруа почти тотчас же увидел Рашель — ту женщину, с которой он отсюда ушел в прошлый раз.

Она подошла к нему.

— Здравствуй, котик. Как поживаешь?

— Очень хорошо, а ты?

— Тоже недурно. Знаешь, за это время я два раза видела тебя во сне.

Дюруа был польщен.

— Ах, ах! К чему бы это? — спросил он улыбаясь.

— А к тому, что ты мне нравишься, дурашка, и что мы можем это повторить, когда тебе будет угодно.

— Если хочешь — сегодня.

— Очень даже хочу.

— Ладно, но только вот что...

Дюруа замялся,— его несколько смущало то, что он собирался сказать ей.

— Дело в том, что я нынче без денег: был в клубе и проигрался в пух.

Учуяв ложь инстинктом опытной проститутки, привыкшей к торгашеским уловкам мужчин, она посмотрела ему прямо в глаза.

— Лгунишка! — сказала она.— Нехорошо так со мной поступать.

Дюруа сконфуженно улыбнулся:

— У меня осталось всего-навсего десять франков, хочешь — возьми их.

С бескорыстием куртизанки, исполняющей свою прихоть, она прошептала:

— Все равно, миленький, я хочу только тебя.

Не отводя восхищенного взора от его усов, Рашель с нежностью влюбленной оперлась на его руку.

— Выпьем сперва гренадину,— предложила она.— А затем пройдемся разок. Мне бы хотелось пойти с тобой в театр, просто так,— чтобы все видели, какой у меня кавалер. Мы скоро пойдем ко мне, хорошо?

. . . . . .

Он вышел от нее поздно. Было уже совсем светло, и он тотчас же вспомнил, что надо купить «Французскую жизнь». Дрожащими руками развернул он газету — его статьи там не было. Он долго стоял на тротуаре и, все еще надеясь найти ее, жадно пробегал глазами печатные столбцы.

Какая-то тяжесть внезапно легла ему на сердце. Он устал от бессонной ночи, и теперь эта неприятность, примешавшаяся к утомлению, угнетала его, как несчастье.

Придя домой, он, не раздеваясь, лег в постель и заснул.

Несколько часов спустя он явился в редакцию и прошел в кабинет издателя.

— Меня крайне удивляет, господин Вальтер, что в сегодняшнем номере нет моей второй статьи об Алжире.

Издатель поднял голову и сухо сказал:

— Я просил вашего друга Форестье просмотреть ее. Он нашел, что она неудовлетворительна. Придется вам переделать.

Дюруа был взбешен; он молча вышел из кабинета и бросился к Форестье:

— Почему ты не поместил сегодня моей статьи?

Журналист, откинувшись на спинку кресла и положив ноги на стол, прямо на свою рукопись, курил папиросу. С кислым выражением лица он раздельно и невозмутимо произнес глухим, словно доносившимся из подземелья голосом:

— Патрон признал ее неудачной и поручил мне вернуть ее тебе для переделки. Вот она, возьми.

И он показал пальцем на листы, лежавшие под пресспапье.

Дюруа не нашелся, что на это ответить,— до того он был удручен. Он сунул свое изделие в карман, а Форестье между тем продолжал:

— Отсюда ты пойдешь прямо в префектуру...

Он назвал еще несколько присутственных мест, куда надлежало зайти, и указал, какого рода сведения ему нужны сегодня. Дюруа, так и не найдя, чем уколоть Форестье, удалился.

На другой день он опять принес статью. Ему ее снова вернули. Переделав ее в третий раз и снова получив обратно, он понял, что поторопился и что только рука Форестье способна вести его по этой дороге.

Он уже не заговаривал о «Воспоминаниях африканского стрелка», он дал себе слово быть покладистым и осторожным, поскольку это необходимо, и, в чаянии будущих благ, добросовестно исполнять свои репортерские обязанности.

Он проник за кулисы театра и политики, в кулуары палаты депутатов и в передние государственных деятелей, он изучил важные физиономии чиновников особых поручений и хмурые, заспанные лица швейцаров.

Он завязал отношения с министрами, привратниками, генералами, сыщиками, князьями, сутенерами, куртизанками, посланниками, епископами, сводниками, знатными проходимцами, людьми из общества, извозчиками, официантами, шулерами, он сделался их лицеприятным и в глубине души равнодушным другом, и, беспрестанно, в любой день и час, сталкиваясь то с

тем, то с другим, толкуя с ними исключительно о том, что интересовало его как репортера, он мерил их всех одной меркой, на всех смотрел одинаково, всем давал одну и ту же цену. Сам себя он сравнивал с человеком, перепробовавшим одно за другим всевозможные вина и уже не отличающим шатомарго от аржантейля.

В короткий срок из него вышел замечательный репортер, который мог ручаться за точность своей информации, изворотливый, сообразительный, расторопный, настоящий клад для газеты, как отзывался о нем разбиравшийся в сотрудниках старик Вальтер.

Тем не менее он получал всего лишь десять сантимов за строчку и двести франков жалованья, а так как в кафе, в ресторанах все очень дорого, то он вечно сидел без денег и приходил в отчаяние от своей бедности.

«В чем тут секрет?» — думал он, видя, что у некоторых его коллег карманы набиты золотом, и тщетно старался понять, какие неизвестные ему средства применяют они, чтобы обеспечить себе безбедное существование. Зависть снедала его, и ему все мерещились какие-то необыкновенные подозрительные приемы, оказанные кому-то услуги, особого рода контрабанда, общепринятая и дозволенная. Нет, он должен во что бы то ни стало разгадать эту тайну, вступить в этот молчаливый заговор, раздвинуть локтями товарищей, не приглашающих его на дележ добычи.

И часто по вечерам, следя из окна за проходящими поездами, он обдумывал план действий.

V

Прошло два месяца. Приближался сентябрь, а начало головокружительной карьеры, о которой мечтал Дюруа, казалось ему еще очень далеким. Он все еще прозябал в безвестности, и самолюбие его от этого страдало, но он не видел путей, которые привели бы его на вершину житейского благополучия. Он чувствовал себя заточенным, наглухо замурованным в своей жалкой профессии репортера. Его ценили, но смотрели на него свысока. Даже Форестье, которому он постоянно оказывал услуги, не приглашал его больше обедать и обращался с ним, как с подчиненным, хотя продолжал говорить ему по-приятельски «ты».

Правда, Дюруа не упускал случая тиснуть статейку. Отточив на хронике свое перо и приобретя такт, недоставший ему прежде, когда он писал вторую статью об Алжире, он уже не боялся за судьбу своих злободневных заметок. Но отсюда до очерков, где можно дать полную волю своей фантазии, или до политических статей, написанных знатоком, расстояние было громадное: одно дело править лошадьми на прогулке в Булонском лесу, будучи простым кучером, и совсем другое дело — править ими, будучи хозяином. Особенно унижало его в собственных глазах то обстоятельство, что двери высшего общества были для него закрыты, что никто не держал себя с ним на равной ноге, что у него не было друзей среди женщин, хотя некоторые известные актрисы в корыстных целях время от времени принимали его запросто.

Зная по опыту, что все они, и светские львицы, и третьестепенные актрисы, испытывают к нему особое влечение, что он обладает способностью мгновенно завоевывать их симпатию, Дюруа с нетерпением стреноженного скакуна рвался навстречу той, от которой могло зависеть его будущее.

Ему часто приходила в голову мысль посетить г-жу Форестье, но оскорбительный прием, который ему оказали прошлый раз, удерживал его от этого шага, а кроме того, он ждал, чтобы его пригласил муж. И вот наконец, вспомнив о г-же де Марель, вспомнив о том, что она звала его к себе, он как-то днем, когда ему нечего было делать, отправился к ней.

«До трех часов я всегда дома»,— сказала она ему тогда.

Дюруа позвонил к ней в половине третьего.

Она жила на улице Верней, на пятом этаже.

На звонок вышла молоденькая растрепанная горничная и, поправляя чепчик, сказала:

— Госпожа де Марель дома, только я не знаю, встала ли она.

С этими словами горничная распахнула незапертую дверь в гостиную.

Дюруа вошел. Комната была довольно большая, скудно обставленная, неряшливо прибранная. Вдоль стен тянулись старые выцветшие кресла,— должно быть, их расставляла по своему усмотрению служанка, так как здесь совсем не чувствовалось искусной и заботливой женской руки, любящей домашний уют. На неодинаковой длины шнурах криво висели четыре жалкие картины, изображавшие лодку, плывшую по реке, корабль в море, мельницу среди поля и дровосека в лесу. Было

видно, что они давно уже висят так и что по ним равнодушно скользит взор беспечной хозяйки.

Дюруа сел в ожидании. Ждать ему пришлось долго. Но вот дверь отворилась, и вбежала г-жа де Марель в розовом шелковом кимоно с вышитыми золотом пейзажами, голубыми цветами и белыми птицами.

— Представьте, я была еще в постели,— сказала она.— Как это мило с вашей стороны, что вы пришли меня навестить! Я была уверена, что вы обо мне забыли.

С сияющим лицом она протянула ему обе руки, и Дюруа, сразу почувствовав себя легко в этой скромной обстановке, взял их в свои и поцеловал одну, как это сделал однажды при нем Норбер де Варен.

Госпожа де Марель усадила его.

— Как вы изменились! — оглядев его с ног до головы, воскликнула она.— Вы явно похорошели. Париж идет вам на пользу. Ну, рассказывайте новости.

И они принялись болтать, точно старые знакомые, наслаждаясь этой внезапно возникшей простотой отношений, чувствуя, как идут от одного к другому токи интимности, приязни, доверия, благодаря которым два близких по духу и по рождению существа в пять минут становятся друзьями.

Неожиданно г-жа де Марель прервала разговор.

— Как странно, что я так просто чувствую себя с вами,— с удивлением заметила она.— Мне кажется, я знаю вас лет десять. Я убеждена, что мы будем друзьями. Хотите?

— Разумеется,— ответил он.

Но его улыбка намекала на нечто большее.

Он находил, что она обольстительна в этом ярком и легком пеньюаре, менее изящна, чем та, другая, в белом, менее женственна, не так нежна, но зато более соблазнительна, более пикантна.

Госпожа Форестье с застывшей на ее лице благосклонной улыбкой, как бы говорившей: «Вы мне нравитесь» и в то же время: «Берегитесь», притягивавшей и вместе с тем отстранявшей его,— улыбкой, истинный смысл которой невозможно было понять,— вызывала желание броситься к ее ногам, целовать тонкое кружево ее корсажа, упиваясь благоуханным теплом, исходившим от ее груди. Г-жа де Марель вызывала более грубое, более определенное желание, от которого у него дрожали руки, когда под легким шелком обрисовывалось ее тело.

Она болтала без умолку, по обыкновению приправляя свою речь непринужденными остротами,— так мастеровой, применив особый прием, к удивлению присутствующих, добивается успеха в работе, которая представлялась непосильной другим. Он слушал ее и думал: «Хорошо бы все это запомнить. Из ее болтовни о событиях дня можно было бы составить потом великолепную парижскую хронику».

Кто-то тихо, чуть слышно постучал в дверь.

— Войди, крошка! — крикнула г-жа де Марель.

Девочка, войдя, направилась прямо к Дюруа и протянула ему руку.

— Это настоящая победа,— прошептала изумленная мать.— Я не узнаю Лорину.

Дюруа, поцеловав девочку и усадив рядом с собой, ласково и в то же время серьезно начал расспрашивать ее, что она поделывала это время. Она отвечала ему с важностью взрослой, нежным, как флейта, голоском.

На часах пробило три. Дюруа встал.

— Приходите почаще,— сказала г-жа де Марель,— будем с вами болтать, как сегодня, я всегда вам рада. А почему вас больше не видно у Форестье?

— Да так,— ответил он.— Я был очень занят. Надеюсь, как-нибудь на днях мы там встретимся.

И он вышел от нее, полный неясных надежд.

Форестье он ни словом не обмолвился о своем визите.

Но он долго хранил воспоминание о нем, больше чем воспоминание,— ощущение нереального, хотя и постоянного присутствия этой женщины. Ему казалось, что он унес с собой частицу ее существа: внешний ее облик стоял у него перед глазами, внутренний же, во всей своей пленительности, запечатлелся у него в душе. Он жил под обаянием этого образа, как это бывает порой, когда проведешь с любимым человеком несколько светлых мгновений. Это некая странная одержимость — смутная, сокровенная, волнующая, восхитительная в своей таинственности.

Вскоре он сделал ей второй визит.

Как только горничная провела его в гостиную, явилась Лорина. На этот раз она уже не протянула ему руки, а подставила для поцелуя лобик.

— Мама просит вас подождать,— сказала Лорина.— Она выйдет через четверть часа, она еще не одета. Я посижу с вами.

Церемонное обхождение Лорины забавляло Дюруа, и он сказал ей:

— Отлично, мадемуазель, я с большим удовольствием проведу с вами эти четверть часа. Но только вы, пожалуйста, не думайте, что я человек серьезный,— я играю по целым дням. А потому предлагаю вам поиграть в кошку и мышку.

Девочка была поражена; она улыбнулась так, как улыбаются взрослые женщины, когда они несколько шокированы и удивлены, и тихо сказала:

— В комнатах не играют.

— Это ко мне не относится,— возразил он.— Я играю везде. Ну, ловите меня!

И он стал бегать вокруг стола, поддразнивая и подзадоривая Лорину, а она шла за ним, не переставая улыбаться снисходительно учтивой улыбкой, время от времени протягивала руку и дотрагивалась до него, но все еще не решалась за ним бежать.

Он останавливался, присаживался на корточки, но стоило ей нерешительными шажками подойти к нему,— и он, подпрыгнув, как чертик, выскочивший из коробочки, перелетал в противоположный конец гостиной. Это ее смешило, в конце концов она не могла удержаться от смеха и, оживившись, засеменила вдогонку, боязливо и радостно вскрикивая, когда ей казалось, что он у нее в руках. Преграждая ей дорогу, он подставлял стул, она несколько раз обегала его кругом, потом он бросал его и хватал другой. Теперь Лорина, разрумянившаяся, увлеченная новой игрой, без устали носилась по комнате и, следя за всеми его шалостями, хитростями и уловками, по-детски бурно выражала свой восторг.

Вдруг, в ту самую минуту, когда она уже была уверена, что он от нее не уйдет, Дюруа схватил ее на руки и, подняв до потолка, крикнул:

— Попалась!

Пытаясь вырваться, она болтала ногами и заливалась счастливым смехом.

Вошла г-жа де Марель и в полном изумлении остановилась:

— Боже мой, Лорина!.. Лорина играет... Да вы чародей, сударь...

Он опустил девочку на пол, поцеловал руку матери, и они сели, усадив Лорину посередине. Им хотелось поговорить, но Лорина, обычно такая молчаливая, была очень возбуждена и болтала не переставая,— в конце концов пришлось выпроводить ее в детскую.

Она покорилась безропотно, но со слезами на глазах,

Когда они остались вдвоем, г-жа де Марель, понизив голос, сказала:

— Знаете что, у меня есть один грандиозный план, и я подумала о вас. Дело вот в чем: я каждую неделю обедаю у Форестье и время от времени, в свою очередь, приглашаю их в ресторан. Я не люблю принимать у себя гостей, я для этого не приспособлена, да и потом я ничего не смыслю ни в стряпне, ни в домашнем хозяйстве,— ровным счетом ничего. Я веду богемный образ жизни. Так вот, время от времени я приглашаю их в ресторан, но втроем — это не так весело, а мои знакомые им не компания. Все это я говорю для того, чтобы объяснить свое не совсем обычное предложение. Вы, конечно, догадываетесь, что я прошу вас пообедать с нами,— мы соберемся в кафе «Риш» в субботу в половине восьмого. Вы знаете, где это?

Он с радостью согласился.

— Нас будет четверо, как раз две пары,— продолжала она.— Эти пирушки — большое развлечение для нас, женщин: ведь нам все это еще в диковинку.

На ней было темно-коричневое платье; оно кокетливо и вызывающе обтягивало ее талию, бедра, плечи и грудь, и это несоответствие между утонченной, изысканной элегантностью ее костюма и тем неприглядным зрелищем, какое являла собой гостиная, почему-то приводило Дюруа в изумление, вызывало в нем даже некоторое, непонятное ему самому, чувство неловкости.

Все, что было на ней надето, все, что облегало ее тело вплотную или только прикасалось к нему, носило на себе отпечаток изящества и тонкого вкуса, а до всего остального ей, по-видимому, не было никакого дела.

Он расстался с ней, сохранив, как и в прошлый раз, ощущение ее незримого присутствия, порой доходившее до галлюцинаций. С возрастающим нетерпением ожидал он назначенного дня.

Он опять взял напрокат фрак,— приобрести парадный костюм ему не позволяли финансы,— и первый явился в ресторан за несколько минут до условленного часа.

Его провели на третий этаж, в маленький, обитый красной материей кабинет с единственным окном, выходившим на бульвар. На квадратном столике, накрытом на четыре прибора, белая скатерть блестела, как лакированная. Бокалы, серебро, грелки — все это весело сверкало, озаренное пламенем двенадцати свечей, горевших в двух высоких канделябрах.

Перед окном росло дерево, и его листва в полосе яркого света, падавшего из отдельных кабинетов, казалась сплошным светло-зеленым пятном.

Дюруа сел на низкий диван, обитый, как и стены, красной материей, ослабевшие пружины тотчас ушли внутрь, и ему почудилось, что он падает в яму.

Неясный шум наполнял весь этот огромный дом,— тот слитный гул больших ресторанов, который образуют быстрые, заглушенные коврами шаги лакеев, снующих по коридору, звон серебра и посуды, скрип отворяемых на мгновенье дверей и доносящиеся вслед за тем голоса посетителей, закупоренных в тесных отдельных кабинетах.

Вошел Форестье и пожал ему руку с дружеской фамильярностью, какой он никогда не проявлял по отношению к нему в редакции «Французской жизни».

— Дамы придут вместе,— сообщил он.— Люблю я эти обеды в ресторане!

Он осмотрел стол, погасил тускло мерцавший газовый рожок, закрыл одну створку окна, чтобы оттуда не дуло, и, выбрав место, защищенное от сквозняка, сказал:

— Мне надо очень беречься. Весь месяц я чувствовал себя сносно, а теперь опять стало хуже. Простудился я, вернее всего, во вторник, когда выходил из театра.

Дверь отворилась, и в сопровождении метрдотеля вошли обе молодые женщины в шляпках с опущенной вуалью, тихие, скромные, с тем очаровательным в своей таинственности видом, какой всегда принимают дамы в подобных местах, где каждое соседство и каждая встреча внушают опасения.

Дюруа подошел к г-же Форестье,— она начала пенять ему за то, что он у них не бывает.

— Да, да, я знаю, вы предпочитаете госпожу де Марель,— с улыбкой взглянув на свою подругу, сказала она,— для нее у вас находится время.

Как только все уселись, метрдотель подал Форестье карту вин.

— Мужчины как хотят,— возбужденно заговорила г-жа де Марель,— а нам принесите замороженного шампанского, самого лучшего сладкого шампанского,— понимаете? — и больше ничего.

Когда метрдотель ушел, она заявила с нервным смешком:

— Сегодня я напьюсь. Мы устроим кутеж, настоящий кутеж.

Форестье, по-видимому, не слыхал, что она сказала.

— Ничего, если я закрою окно? — спросил он.— У меня уже несколько дней болит грудь.

— Сделайте одолжение.

Он подошел к окну, захлопнул вторую створку и с прояснившимся, повеселевшим лицом сел за стол.

Жена его хранила молчание,— казалось, она была занята своими мыслями. Опустив глаза, она с загадочной и какой-то дразнящей улыбкой рассматривала бокалы.

Подали остендские устрицы, крошечные жирные устрицы, похожие на маленькие уши,— они таяли во рту, точно соленые конфетки.

Затем подали суп, потом форель, розовую, как тело девушки, и началась беседа.

Речь шла об одной скандальной истории, наделавшей много шуму: о происшествии с некоей светской дамой, которую друг ее мужа застал в отдельном кабинете, где она ужинала с каким-то иностранным принцем.

Форестье от души смеялся над этим приключением, но дамы назвали поступок нескромного болтуна гнусным и подлым. Дюруа принял их сторону и решительно заявил, что мужчина, кем бы он ни являлся в подобной истории — главным действующим лицом, наперсником или случайным свидетелем,— должен быть нем, как могила.

— Как чудесно было бы жить на свете, если б мы могли вполне доверять друг другу! — воскликнул он.— Часто, очень часто, почти всегда, женщину останавливает только боязнь огласки. В самом деле, разве это не так? — продолжал он с улыбкой.— Какая женщина не поддалась бы мимолетному увлечению, не покорилась бурной, внезапно налетевшей страсти, отказалась от своих любовных причуд, если б только ее не пугала возможность поплатиться за краткий и легкий миг счастья горькими слезами и неизгладимым позором!

Он говорил убедительно, горячо, словно защищая кого-то, словно защищая самого себя, словно желая, чтобы его поняли так: «Со мной это не страшно. Попробуйте — увидите сами».

Обе женщины поощряли его взглядом, мысленно соглашаясь с ним, и своим одобрительным молчанием словно подтверждали, что их строгая нравственность, нравственность парижанок, не устояла бы, если б они были уверены в сохранении тайны.

Форестье полулежал на диване, подобрав под себя одну ногу и засунув за жилет салфетку, чтобы не запачкать фрака.

— Ого! Дай им волю — можно себе представить, что бы они натворили! — неожиданно заявил он, прерывая свою речь циничным смехом.— Черт побери, бедные мужья!

Заговорили о любви. Дюруа не верил в существование вечной любви, однако допускал, что она может перейти в длительную привязанность, в тесную, основанную на взаимном доверии дружбу. Физическая близость лишь скрепляет союз сердец. Но о сценах ревности, мучительных драмах, мольбах и упреках, почти неизбежно сопровождающих разрыв, он говорил с возмущением.

Когда он кончил, г-жа де Марель сказала со вздохом:

— Да, любовь — это единственная радость в жизни, но мы сами часто портим ее, предъявляя слишком большие требования.

— Да... да... хорошо быть любимой,— играя ножом, подтвердила г-жа Форестье.

Но при взгляде на нее казалось, что мечты ее идут еще дальше, казалось, что она думает о таких вещах, о которых никогда не осмелилась бы заговорить.

В ожидании следующего блюда все время от времени потягивали шампанское, закусывая верхней корочкой маленьких круглых хлебцев. И как это светлое вино, глоток за глотком вливаясь в гортань, воспламеняло кровь и мутило рассудок, так, пьяня и томя, всеми их помыслами постепенно овладевала любовь.

Наконец на толстом слое мелких головок спаржи подали сочные, воздушные бараньи котлеты.

— Славная штука, черт бы ее побрал! — воскликнул Форестье.

Все ели медленно, смакуя нежное мясо и маслянистые, как сливки, овощи.

— Когда я влюблен, весь мир для меня перестает существовать,— снова заговорил Дюруа.

Он произнес это с полной убежденностью: одна мысль о блаженстве любви приводила его в восторг, сливавшийся с тем блаженством, какое доставлял ему вкусный обед.

Госпожа Форестье с обычным для нее безучастным выражением лица сказала вполголоса:

— Ни с чем нельзя сравнить радость первого рукопожатия, когда одна рука спрашивает: «Вы меня любите?», а другая отвечает: «Да, я люблю тебя».

Госпожа де Марель залпом осушила бокал шампанского и, ставя его на стол, весело сказала:

— Ну, у меня не столь платонические наклонности.

Послышался одобрительный смех, глаза у всех загорелись.

Форестье развалился на диване, расставил руки и, облокотившись на подушки, серьезным тоном заговорил:

— Ваша откровенность делает вам честь,— сразу видно, что вы женщина практичная. Но позвольте спросить, какого мнения на этот счет господин де Марель?

Медленно поведя плечами в знак высочайшего, безграничного презрения, она отчеканила:

— У господина де Мареля нет на этот счет своего мнения. Он... воздерживается.

И вот наконец из области возвышенных теорий любви разговор спустился в цветущий сад благопристойной распущенности.

Настал час тонких намеков, тех слов, что приподнимают покровы, подобно тому как женщины приподнимают платье,— час недомолвок и обиняков, искусно зашифрованных вольностей, бесстыдного лицемерия, приличных выражений, заключающих в себе неприличный смысл, тех фраз, которые мгновенно воссоздают перед мысленным взором все, чего нельзя сказать прямо, тех фраз, которые помогают светским людям вести таинственную, тонкую любовную игру, словно по уговору, настраивать ум на нескромный лад, предаваться сладострастным, волнующим, как объятье, мечтам, воскрешать в памяти все то постыдное, тщательно скрываемое и упоительное, что совершается на ложе страсти.

Подали жаркое — куропаток и перепелок и к ним горошек, затем паштет в мисочке и к нему салат с кружевными листьями, словно зеленый мох, наполнявший большой, в виде таза, салатник. Увлеченные разговором, погруженные в волны любви, собеседники ели теперь машинально, уже не смакуя.

Обе дамы делали по временам рискованные замечания, г-жа де Марель — с присущей ей смелостью, граничившей с вызовом, г-жа Форестье — с очаровательной сдержанностью, с оттенком стыдливости в голосе, тоне, улыбке, манерах,— оттенком, который не только не смягчал, но подчеркивал смелость выражений, исходивших из ее уст.

Форестье, развалившись на подушках, смеялся, пил, ел за обе щеки и время от времени позволял себе что-нибудь до того игривое или сальное, что дамы, отчасти действительно шокированные его грубостью, но больше для приличия, на несколько секунд принимали сконфуженный вид.

— Так, так, дети мои,— прибавлял он, сказав какую-нибудь явную непристойность.— Вы и не до того договоритесь, если будете продолжать в том же духе.

Подали десерт, потом кофе. Ликеры только еще больше разгорячили и отуманили головы и без того возбужденных собеседников.

Госпожа де Марель исполнила свое обещание: она действительно опьянела. И она сознавалась в этом с веселой и болтливой грацией женщины, которая, чтобы позабавить гостей, старается казаться пьянее, чем на самом деле.

Госпожа Форестье молчала,— быть может, из осторожности. Дюруа, боясь сделать какую-нибудь оплошность, искусно скрывал охватившее его волнение.

Закурили папиросы, и Форестье вдруг закашлялся.

Мучительный приступ надрывал ему грудь. На лбу у него выступил пот; он прижал салфетку к губам и, весь багровый от напряжения, давился кашлем.

— Нет, эти званые обеды не для меня,— отдышавшись, сердито проворчал он.— Какое идиотство!

Мысль о болезни удручала его,— она мгновенно рассеяла то благодушное настроение, в каком он находился все время.

— Пойдемте домой,— сказал он.

Госпожа де Марель вызвала лакея и потребовала счет. Счет был подан незамедлительно. Она начала было просматривать его, но цифры прыгали у нее перед глазами, и она передала его Дюруа.

— Послушайте, расплатитесь за меня, я ничего не вижу, я совсем пьяна.

И она бросила ему кошелек.

Общий итог достигал ста тридцати франков. Дюруа проверил счет, дал два кредитных билета и, получая сдачу, шепнул ей:

— Сколько оставить на чай?

— Не знаю, на ваше усмотрение.

Он положил на тарелку пять франков и, возвратив г-же де Марель кошелек, спросил:

— Вы разрешите мне проводить вас?

— Разумеется. Одна я не доберусь до дому.

Они попрощались с супругами Форестье, и Дюруа очутился в экипаже вдвоем с г-жой де Марель.

Он чувствовал, что она здесь, совсем близко от него, в этой движущейся закрытой и темной коробке, которую лишь на мгновение освещали уличные фонари. Сквозь ткань одежды он ощу-

щал теплоту ее плеча и не мог выговорить ни слова, ни единого слова: мысли его были парализованы неодолимым желанием заключить ее в свои объятия.

«Что будет, если я осмелюсь?» — думал он. Вспоминая то, что говорилось за обедом, он преисполнялся решимости, но боязнь скандала удерживала его.

Забившись в угол, она сидела неподвижно и тоже молчала. Он мог бы подумать, что она спит, если б не видел, как блестели у нее глаза, когда луч света проникал в экипаж.

«О чем она думает?» Он знал, что в таких случаях нельзя нарушать молчание, что одно слово, одно-единственное слово может испортить все. А для внезапной и решительной атаки ему не хватало смелости.

Вдруг он почувствовал, что она шевельнула ногой. Достаточно было этого чуть заметного движения, резкого, нервного, нетерпеливого, выражавшего досаду, а быть может, призыв, чтобы он весь затрепетал и, живо обернувшись, потянулся к ней, ища губами ее губы, а руками — ее тело.

Она слабо вскрикнула, попыталась выпрямиться, высвободиться, оттолкнуть его — и, наконец, сдалась, как бы не в силах сопротивляться долее.

Немного погодя карета остановилась перед ее домом, и от неожиданности из головы у него вылетели все нежные слова, а ему хотелось выразить ей свою признательность, поблагодарить ее, сказать, что он ее любит, что он ее боготворит. Между тем, ошеломленная случившимся, она не поднималась, не двигалась. Боясь возбудить подозрения у кучера, он первый спрыгнул с подножки и подал ей руку.

Слегка пошатываясь, она молча вышла из экипажа. Он позвонил и, пока отворяли дверь, успел спросить:

— Когда мы увидимся?

— Приходите ко мне завтракать,— чуть слышно прошептала она и, с грохотом, похожим на пушечный выстрел, захлопнув за собой тяжелую дверь, скрылась в темном подъезде.

Он дал кучеру пять франков и, торжествующий, не помня себя от радости, понесся домой.

Наконец-то он овладел замужней женщиной! Светской женщиной! Настоящей светской женщиной! Парижанкой! Как все это просто и неожиданно вышло!

Раньше он представлял себе, что победа над этими обворожительными созданиями требует бесконечных усилий, неистощимого терпения, достигается искусной осадой, под которой следует разуметь ухаживания, вздохи, слова любви и, наконец, по-

дарки. Но вот первая, кого он встретил, отдалась ему при первом же натиске, так скоро, что он до сих пор не мог опомниться.

«Она была пьяна,— думал он,— завтра будет другая песня. Без слез дело не обойдется». Эта мысль встревожила его, но он тут же сказал себе: «Ничего, ничего! Теперь она моя, а уж я сумею держать ее в руках».

И в том неясном мираже, где носились его мечты о славе, почете, счастье, довольстве, любви, он вдруг различил вереницы изящных, богатых, всемогущих женщин, которые, точно статистки в каком-нибудь театральном апофеозе, с улыбкой исчезали одна за другой в золотых облаках, сотканных из его надежд.

Сон его был полон видений.

На другой день, поднимаясь по лестнице к г-же де Марель, он испытывал легкое волнение. Как она примет его? А что, если совсем не примет? Что, если она не велела впускать его? Что, если она рассказала... Нет, она ничего не могла рассказать, не открыв всей истины. Значит, хозяин положения — он.

Молоденькая горничная отворила дверь. Выражение лица у нее было обычное. Это его успокоило, точно она и в самом деле могла выйти к нему с расстроенным видом.

— Как себя чувствует госпожа де Марель? — спросил он.

— Хорошо, сударь, как всегда,— ответила она и провела его в гостиную.

Он подошел к камину, чтобы осмотреть свой костюм и прическу, и, поправляя перед зеркалом галстук, внезапно увидел отражение г-жи де Марель, смотревшей на него с порога спальни.

Он сделал вид, что не заметил ее, и, прежде чем встретиться лицом к лицу, они несколько секунд настороженно следили друг за другом в зеркале.

Наконец он обернулся. Она не двигалась с места,— казалось, она выжидала. Тогда он бросился к ней, шепча:

— Как я люблю вас! Как я люблю вас!

Она раскрыла объятия, склонилась к нему на грудь, затем подняла голову. Последовал продолжительный поцелуй.

«Вышло гораздо проще, чем я ожидал,— подумал он.— Все идет прекрасно».

Наконец они оторвались друг от друга. Он молча улыбался, стараясь выразить взглядом свою беспредельную любовь.

Она тоже улыбалась,— так улыбаются женщины, когда хотят выразить свое согласие, желание, готовность отдаться.

— Мы одни,— прошептала она,— Лорину я отослала завтракать к подруге.

— Благодарю,— целуя ей руки, сказал он с глубоким вздохом.— Я обожаю вас.

Она взяла его под руку,— так, как будто он был ее мужем,— подвела к дивану, и они сели рядом.

Теперь ему необходимо было начать изящную, волнующую беседу, но, не найдя подходящей темы, он нерешительно проговорил:

— Так вы не очень на меня сердитесь?

Она зажала ему рот рукой.

— Молчи!

И они продолжали молча сидеть, глаза в глаза, сжимая друг другу горячие руки.

— *Как я жаждал обладать вами! — сказал он.*

— *Молчи! — снова сказала она.*

Было слышно, как в столовой гремит тарелками горничная.

Он встал.

— *Я не могу сидеть подле вас. Я теряю голову.*

Дверь отворилась.

— Кушать подано.

Он торжественно повел ее к столу.

За завтраком они сидели друг против друга, беспрестанно обмениваясь улыбками, взглядами, занятые только собой, проникнутые сладким очарованием зарождающейся нежности. Они машинально глотали то, что им подавали на стол. Вдруг он почувствовал прикосновение ножки, маленькой ножки, блуждавшей под столом. Он зажал ее между своих ступней и уже не отпускал, сжимая изо всех сил.

Горничная входила и уходила, приносила и уносила блюда, и при этом у нее был такой равнодушный вид, как будто она ровно ничего не замечала.

После завтрака они вернулись в гостиную и снова сели рядом на диване.

Он подвигался все ближе и ближе к ней, пытаясь обнять ее. Но она ласковым движением отстраняла его.

— Осторожней, могут войти.

— Когда же мы останемся совсем одни? — прошептал он.— Когда же я смогу высказать, как я люблю вас?

Она нагнулась к самому его уху и еле слышно сказала:

— На днях я ненадолго зайду к вам.

Он почувствовал, что краснеет.

— Но я... я живу... очень скромно.

Она улыбнулась:

— Это не важно. Я приду поглядеть на вас, а не на вашу квартиру.

Он стал добиваться от нее, чтобы она сказала, когда придет. Она назначила день в конце следующей недели, но он, стискивая и ломая ей руки, стал умолять ее ускорить свидание; речи его были бессвязны, в глазах появился лихорадочный блеск, щеки пылали огнем желания, того неукротимого желания, какое всегда вызывают трапезы, совершаемые вдвоем.

Эти жаркие мольбы забавляли ее, и она постепенно уступала ему по одному дню. Но он повторял:

— Завтра... Скажите: завтра...

Наконец она согласилась.

— Хорошо. Завтра. В пять часов.

Глубокий радостный вздох вырвался у него из груди. И между ними завязалась беседа, почти спокойная, точно они лет двадцать были близко знакомы.

Раздался звонок,— оба вздрогнули и поспешили отодвинуться друг от друга.

— Это, наверно, Лорина,— прошептала она.

Девочка вошла и в изумлении остановилась, потом, вне себя от радости, захлопала в ладоши и подбежала к Дюруа.

— А, Милый друг! — закричала она.

Госпожа де Марель засмеялась:

— Что? Милый друг? Лорина вас уже окрестила! По-моему, это очень славное прозвище. Я тоже буду вас называть Милым другом!

Он посадил девочку к себе на колени, и ему пришлось играть с ней во все игры, которым он ее научил.

Без двадцати три он распрощался и отправился в редакцию. На лестнице он еще раз шепнул в полуотворенную дверь:

— Завтра. В пять часов.

Госпожа де Марель, лишь по движению его губ догадавшись, что он хотел ей сказать, улыбкой ответила «да» и исчезла.

Покончив с редакционными делами, он стал думать о том, как убрать комнату для приема любовницы, как лучше всего скрыть убожество своего жилья. Ему пришло на ум развесить по стенам японские безделушки. За пять франков он купил целую коллекцию миниатюрных вееров, экранчиков, пестрых лоскутов и прикрыл ими наиболее заметные пятна на обоях. На оконные стекла он налепил прозрачные картинки, изображавшие речные суда, стаи птиц на фоне красного неба, разноцветных дам на балконах и вереницы черненьких человечков, бредущих по снежной равнине.

Его каморка, в которой буквально негде было повернуться, скоро стала похожа на разрисованный бумажный фонарь. Довольный эффектом, он весь вечер приклеивал к потолку птиц, вырезанных из остатков цветной бумаги.

Потом лег и заснул под свистки паровозов.

На другой день он вернулся пораньше и принес корзинку пирожных и бутылку мадеры, купленную в бакалейной лавке. Немного погодя ему пришлось еще раз выйти, чтобы раздобыть две тарелки и два стакана. Угощение он поставил на туалетный столик, прикрыв грязную деревянную доску салфеткой, а таз и кувшин спрятал вниз.

И стал ждать.

Она пришла в четверть шестого и, пораженная пестротою рисунков, от которой рябило в глазах, невольно воскликнула:

— Как у вас хорошо! Только уж очень много народу на лестнице.

Он обнял ее и, задыхаясь от страсти, принялся целовать сквозь вуаль пряди волос, выбившиеся у нее из-под шляпы.

Через полтора часа он проводил ее до стоянки фиакров на Римской улице. Когда она села в экипаж, он шепнул:

— Во вторник, в это же время.

— В это же время, во вторник,— подтвердила она.

Уже стемнело, и она безбоязненно притянула к себе его голову в открытую дверцу кареты и поцеловала в губы. Кучер поднял хлыст, она успела крикнуть:

— До свиданья, Милый друг!

И белая кляча, сдвинув с места ветхий экипаж, затрусила усталой рысцой.

В течение трех недель Дюруа принимал у себя г-жу де Марель каждые два-три дня, иногда утром, иногда вечером.

Как-то днем, когда он поджидал ее, громкие крики на лестнице заставили его подойти к двери. Плакал ребенок. Послышался сердитый мужской голос:

— Вот чертенок, чего он ревет?

— Да эта паскуда, что таскается наверх к журналисту, сшибла с ног нашего Николá на площадке. Я бы этих шлюх на порог не пускала,— не видят, что у них под ногами ребенок!

Дюруа в ужасе отскочил,— до него донеслись торопливые шаги и стремительный шелест платья.

Вслед за тем в дверь, которую он только что запер, постучали. Он отворил, и в комнату вбежала запыхавшаяся, разъяренная г-жа де Марель.

— Ты слышал?— еле выговорила она.

Он сделал вид, что ничего не знает.

— Нет, а что?

— Как они меня оскорбили?

— Кто?

— Негодяи, что живут этажом ниже.

— Да нет! Что такое, скажи?

Вместо ответа она разрыдалась.

Ему пришлось снять с нее шляпу, расшнуровать корсет, уложить ее на кровать и растереть мокрым полотенцем виски. Она задыхалась. Но как только припадок прошел, она дала волю своему гневу.

Она требовала, чтобы он сию же минуту спустился вниз, отколотил их, убил.

— Но ведь это же рабочие, грубый народ,— твердил он.— Подумай, придется подавать в суд, тебя могут узнать, арестовать — и ты погибла. С такими людьми лучше не связываться.

Она заговорила о другом:

— Как же нам быть? Я больше сюда не приду.

— Очень просто,— ответил он,— я перееду на другую квартиру.

— Да...— прошептала она.— Но это долго.

Внезапно у нее мелькнула какая-то мысль.

— Нет, нет, послушай,— сразу успокоившись, заговорила она,— я нашла выход, предоставь все мне, тебе ни о чем не надо заботиться. Завтра утром я пришлю тебе голубой листочек.

«Голубыми листочками» она называла городские письма-телеграммы.

Теперь она уже улыбалась, в восторге от своей затеи, которой пока не хотела делиться с Дюруа. В этот день она особенно бурно проявляла свою страсть.

Все же, когда она спускалась по лестнице, ноги у нее подкашивались от волнения, и она всей тяжестью опиралась на руку своего возлюбленного.

Они никого не встретили.

Он вставал поздно и на другой день в одиннадцать часов еще лежал в постели, когда почтальон принес ему обещанный «голубой листочек».

Дюруа распечатал его и прочел:

«Свидание сегодня в пять, Константинопольская, 127. Вели отпереть квартиру, снятую госпожой Дюруа.

Целую *Кло*».

Ровно в пять часов он вошел в швейцарскую огромного дома, где сдавались меблированные комнаты.

— Здесь сняла квартиру госпожа Дюруа? — спросил он.

— Да, сударь.

— Будьте добры, проводите меня.

Швейцар, очевидно привыкший к щекотливым положениям, которые требовали от него сугубой осторожности, внимательно посмотрел на него и, выбирая из большой связки ключ, спросил:

— Вы и есть господин Дюруа?

— Ну да!

Через несколько секунд Дюруа переступил порог маленькой квартиры из двух комнат, в нижнем этаже, напротив швейцарской.

Гостиная, оклеенная довольно чистыми пестрыми обоями, была обставлена мебелью красного дерева, обитой зеленоватым репсом с желтыми разводами, и застелена жиденьким, вытканным цветами ковром, сквозь который легко прощупывались доски пола.

Три четверти крошечной спальни заполняла огромная кровать, эта необходимая принадлежность меблированных комнат; погребенная под красным пуховым одеялом в подозрительных пятнах, отделенная тяжелыми голубыми занавесками, тоже из репса, она стояла в глубине и занимала всю стену.

Дюруа был недоволен и озабочен. «Эта квартирка будет стоить мне бешеных денег,— подумал он.— Придется опять залезать в долги. Как это глупо с ее стороны!»

Дверь отворилась, и в комнату, шурша шелками, простирая объятия, вихрем влетела Клотильда. Она ликовала.

— Уютно, правда, уютно? И не нужно никуда подниматься,— прямо с улицы, в нижнем этаже. Можно влезать и вылезать в окно, так что и швейцар не увидит. Как нам будет хорошо здесь вдвоем!

Он холодно поцеловал ее, не решаясь задать вопрос, вертевшийся у него на языке.

Клотильда положила на круглый столик, стоявший посреди комнаты, большой пакет. Развязав его, она вынула оттуда мыло, флакон с туалетной водой, губку, коробку шпилек, крючок для ботинок и маленькие щипцы для завивки волос, чтобы поправлять непослушные пряди, вечно падавшие на лоб.

Ей доставляло особое удовольствие играть в новоселье, подыскивать место для каждой вещи.

Выдвигая ящики, она продолжала болтать:

— На всякий случай надо принести сюда немного белья, чтобы было во что переодеться. Это будет очень удобно. Если меня, например, застанет на улице ливень, я прибегу сюда сушиться. У каждого из нас будет свой ключ, а третий оставим у швейцара, на случай если забудем свой. Я сняла на три месяца, разумеется на твое имя,— не могла же я назвать свою фамилию.

— Ты мне скажешь, когда нужно будет платить? — наконец спросил он.

— Уже уплачено, милый! — простодушно ответила она.

— Значит, я твой должник? — продолжал он допытываться.

— Да нет же, котик, это тебя не касается, это мой маленький каприз.

Он сделал сердитое лицо.

— Ну нет, извини! Я этого не допущу.

Она подошла и с умоляющим видом положила руки ему на плечи:

— Прошу тебя, Жорж, мне будет так приятно думать, так приятно думать, что наше гнездышко принадлежит мне, мне одной! Ведь это не может тебя оскорбить? Правда? Пусть это будет мой дар нашей любви. Скажи, что ты согласен, мой милый Жорж, скажи!..

Она молила его взглядом, прикосновением губ, всем существом.

Он долго еще заставлял упрашивать себя, отказывался с недовольною миною, но в конце концов уступил: в глубине души он находил это справедливым.

Когда же она ушла, он прошептал, потирая руки: «Какая она все-таки милая!» Почему у него создалось такое мнение о ней именно сегодня, в это он старался не углубляться.

Несколько дней спустя он снова получил «голубой листочек»:

«Сегодня вечером после полуторамесячной ревизии возвращается муж. Придется неделю не видеться. Какая тоска, мой милый!

Твоя *Кло*».

Дюруа был поражен. Он совсем забыл о существовании мужа. Право, стоило бы взглянуть на этого человека хоть раз только для того, чтобы иметь о нем представление!

Он стал терпеливо ждать его отъезда, но все же провел два вечера в Фоли-Бержер, откуда его уводила к себе Рашель.

Однажды утром снова пришла телеграмма, состоявшая из четырех слов: «Сегодня в пять. *Кло*».

Оба явились на свидание раньше времени. В бурном порыве страсти она бросилась к нему в объятия и, покрыв жаркими поцелуями его лицо, сказала:

— Когда мы насладимся друг другом, ты меня поведешь куда-нибудь обедать, хорошо? Теперь я свободна.

Было еще только начало месяца, а жалованье Дюруа давно забрал вперед и жил займами, прося в долг у кого попало, но в этот день он случайно оказался при деньгах и обрадовался возможности что-нибудь на нее истратить.

— Конечно, дорогая, куда хочешь,— ответил он.

Около семи они вышли на внешние бульвары. Повиснув у него на руке, она шептала ему на ухо:

— Если б ты знал, как я люблю ходить с тобой под руку, как приятно чувствовать, что ты рядом со мной!

— Хочешь, пойдем к Латюилю? — предложил он.

— Нет, там слишком шикарно,— возразила она.— Я бы предпочла что-нибудь повеселей и попроще, какой-нибудь ресторанчик, куда ходят служащие и работницы. Я обожаю кабачки! Ах, если б мы могли поехать за город!

В этом квартале Дюруа не мог указать ничего подходящего, и они долго бродили по бульварам, пока им не попался на глаза винный погребок с отдельным залом для обедающих. Клотильда увидела в окно двух простоволосых девчонок, сидевших с двумя военными.

В глубине длинной и узкой комнаты обедали три извозчика, и еще какой-то подозрительный тип, развалившись на стуле и засунув руки за пояс брюк, посасывал трубку. Его куртка представляла собой коллекцию пятен. Горлышко бутылки, кусок хлеба, что-то завернутое в газету и обрывок бечевки торчали из его оттопыренных чревоподобных карманов. Волосы у него были густые, курчавые, взъерошенные, серые от грязи. На полу, под столом, валялась фуражка.

Появление элегантно одетой дамы произвело сенсацию. Парочки перестали шушукаться, извозчики прекратили спор, подозрительный тип, вынув изо рта трубку, сплюнул на пол и слегка повернул голову.

— Здесь очень мило! — прошептала Клотильда.— Я уверена, что мы останемся довольны. В следующий раз я оденусь работницей.

Без всякого стеснения и без малейшего чувства брезгливости она села за деревянный, лоснившийся от жира, залитый пивом столик, кое-как вытертый подбежавшим гарсоном. Дюруа,

слегка шокированный и смущенный, искал, где бы повесить цилиндр. Так и не найдя вешалки, он положил шляпу на стул.

Подали рагу из барашка, жиго и салат.

— Я обожаю такие блюда,— говорила Клотильда.— У меня низменные вкусы. Здесь мне больше нравится, чем в Английском кафе.

Потом прибавила:

— Если хочешь доставить мне полное удовольствие, своди меня в кабачок с танцевальным залом. Я знаю поблизости один очень забавный, называется он «Белая королева».

— Кто тебя водил туда? — с удивлением спросил Дюруа.

Взглянув на нее, он заметил, что она покраснела, что ее смутил этот неожиданный вопрос, видимо напомнивший ей нечто слишком интимное. После некоторого колебания, обычно столь краткого у женщин, что о нем можно только догадываться, она ответила:

— Один из моих друзей...

Затем, помолчав, добавила:

— Он умер.

И, полная непритворной печали, опустила глаза.

И тут Дюруа впервые подумал о том, что ему ничего не известно о ее прошлом. Конечно, у нее уже были любовники, но какие, из какого круга? Смутная ревность, пожалуй даже неприязнь, шевельнулась в нем,— неприязнь ко всему, чего он не знал, что не принадлежало ему в ее сердце и в ее жизни. Он с раздражением смотрел на нее, пытаясь разгадать тайну, скрытую в ее прелестной неподвижной головке, быть может, именно в это мгновение с грустью думавшей о другом, о других. Как хотелось ему заглянуть в ее воспоминания, порыться в них, все вызнать, все выведать!..

— Ну как, пойдем в «Белую королеву»? — снова спросила она.— Это будет для меня настоящий праздник.

«Э, что мне за дело до ее прошлого! Глупо из-за такой чепухи портить себе настроение!» — подумал он и ответил с улыбкой:

— Конечно, пойдем, дорогая.

Выйдя на улицу, она зашептала с тем таинственным видом, с каким обыкновенно сообщают что-нибудь по секрету:

— До сих пор я не решалась тебя об этом просить. Но ты не можешь себе представить, до чего я люблю эти холостяцкие походы в такие места, где женщинам показываться неудобно. Во время карнавала я оденусь школьником. Я очень забавная в этом костюме.

Когда они вошли в танцевальный зал, она, испуганная, но довольная, прижалась к нему, не отводя восхищенного взора от сутенеров и публичных женщин. Время от времени она, словно ища защиты на случай опасности, указывала Дюруа на величественную и неподвижную фигуру полицейского: «Какая у него внушительная осанка!» Через четверть часа ей все это надоело, и Дюруа проводил ее домой.

После этого они предприняли еще ряд походов в те злачные места, где веселится простонародье. И Дюруа убедился, что жизнь бродячей богемы представляет для его любовницы особую привлекательность.

Клотильда приходила на свидание в полотняном платье, в чепчике водевильной субретки. Ее костюм отличался изящной, изысканной простотой, и в то же время она не отказывалась от браслетов, колец, бриллиантовых серег и на его настойчивые просьбы снять их приводила один и тот же довод:

— Пустяки! Все подумают, что это рейнские камешки.

Находя этот маскарад исключительно удачным (хотя на самом деле она пряталась не лучше, чем страус), Клотильда посещала притоны, о которых шла самая дурная слава.

Она просила Дюруа переодеться рабочим, но он не пожелал расстаться со своим костюмом, костюмом завсегдатая дорогих ресторанов,— он даже отказался сменить цилиндр на мягкую фетровую шляпу.

— Скажут, что я горничная из хорошего дома, за которой приударяет светский молодой человек,— не в силах сломить его упорство, утешала она себя.

Эта комедия доставляла ей истинное наслаждение.

Они заходили в дешевые кабачки и садились в глубине прокуренной конуры на колченогие стулья, за ветхий деревянный стол. В комнате плавало облако едкого дыма, пропитанное запахом жареной рыбы, не выветрившимся после обеда. Мужчины в блузах галдели, попивая из стаканчиков. Гарсон, с удивлением разглядывая странную пару, ставил перед ними две рюмки с вишневой наливкой.

Испуганная, трепещущая и счастливая, она пила маленькими глотками красный сок, глядя вокруг себя горящим и беспокойным взором. Каждая проглоченная вишня вызывала у нее такое чувство, как будто она совершила преступление, каждая капля обжигающего и пряного напитка, вливаясь в гортань, вызывала у нее острое, упоительное ощущение чего-то постыдного и недозволенного.

Потом она говорила вполголоса:

— Пойдем отсюда.

И они уходили. Опустив голову, она шла, как уходят со сцены актрисы, мелкими быстрыми шажками, пробираясь между пьяными, облокотившимися на столы, и они провожали ее враждебными и настороженными взглядами. Переступив порог, она облегченно вздыхала, точно ей удалось избежать грозной опасности.

Иной раз, вся дрожа, она обращалась к своему спутнику:

— Что бы ты сделал, если б меня оскорбили где-нибудь в таком месте?

И он отвечал ей с заносчивым видом:

— Ого, я сумел бы тебя защитить!

В восторге от его ответа, она сжимала ему руку, быть может, втайне желая, чтобы ее оскорбили и защитили, желая, чтобы ее возлюбленный подрался из-за нее хотя бы даже с такими мужчинами.

Однако эти прогулки, повторявшиеся два-три раза в неделю, наскучили Дюруа; к тому же теперь ему стоило огромных усилий добывать каждый раз пол-луидора на извозчика и напитки.

Жилось ему трудно, неизмеримо труднее, чем в ту пору, когда он служил в управлении железной дороги, ибо, сделавшись журналистом, первые месяцы он тратил много, без счета, в надежде вот-вот заработать крупную сумму, и в конце концов исчерпал все ресурсы и отрезал себе все пути к добыванию денег.

Самое простое средство — занять в кассе — давно уже было ему недоступно, так как жалованье он забрал вперед за четыре месяца да еще взял шестьсот франков в счет построчного гонорара. Форестье он задолжал сто франков, Жаку Ривалю, у которого кошелек был открыт для всех, триста, а кроме того, он весь был опутан мелкими позорными долгами от пяти до двадцати франков.

Сен-Потен, к которому он обратился за советом, где бы перехватить еще сто франков, при всей своей изобретательности ничего не мог придумать. И в душе у Дюруа поднимался бунт против этой нищеты, от которой он страдал теперь сильнее, чем прежде, так как потребностей у него стало больше. Глухая злоба, злоба на весь мир, росла в нем. Он раздражался поминутно, из-за всякого пустяка, по самому ничтожному поводу.

Нередко он задавал себе вопрос: почему в среднем у него уходит около тысячи франков в месяц, а ведь он не позволяет себе никакой роскоши и ничего не тратит на прихоти? Однако простой подсчет показывал следующее: завтрак в фешенебельном ресторане стоит восемь франков, обед — двенадцать,— вот уже луидор; к этому надо прибавить франков десять карманных

Милый друг

денег, обладающих способностью утекать, как вода между пальцев,— итого тридцать франков. Тридцать франков в день — это девятьсот франков в месяц. А сюда еще не входят одежда, обувь, белье, стирка и прочее.

И вот четырнадцатого декабря он остался без единого су в кармане, а занять ему, сколько он ни ломал себе голову, было негде.

Как это часто случалось с ним в былые времена, он вынужден был отказаться от завтрака и, взбешенный и озабоченный, провел весь день в редакции.

Около четырех часов он получил от своей любовницы «голубой листочек»: «Хочешь пообедать вместе? Потом куда-нибудь закатимся».

Он сейчас же ответил: «Обедать невозможно». Затем, решив, что глупо отказываться от приятных мгновений, которые он может с ней провести, прибавил: «В девять часов буду ждать тебя в нашей квартире».

Чтобы избежать расхода на телеграмму, он отправил записку с одним из рассыльных и стал думать о том, где достать денег на обед.

Пробило семь, а он еще ничего не надумал. От голода у него засосало под ложечкой. Внезапно им овладела решимость отчаяния. Дождавшись, когда все его сослуживцы ушли, он позвонил. Явился швейцар патрона, остававшийся сторожить помещение.

Дюруа нервно рылся в карманах.

— Послушайте, Фукар,— развязно заговорил он,— я забыл дома кошелек, а мне пора ехать обедать в Люксембургский сад. Дайте мне взаймы пятьдесят су на извозчика.

Швейцар, вынув из жилетного кармана три франка, спросил:

— Больше не требуется, господин Дюруа?

— Нет, нет, достаточно. Большое спасибо.

Схватив серебряные монеты, Дюруа бегом спустился по лестнице. Пообедал он в той самой харчевне, где ему не раз случалось утолять голод в черные дни.

В девять часов он уже грел ноги у камина в маленькой гостиной и поджидал любовницу.

Она вошла, веселая, оживленная, раскрасневшаяся от мороза.

— Не хочешь ли сперва пройтись,— предложила она,— с тем, чтобы к одиннадцати вернуться домой? Погода дивная.

— Зачем? Ведь и здесь хорошо,— проворчал он.

— Если б ты видел, какая луна! — не снимая шляпы, продолжала Клотильда.— Гулять в такой вечер одно наслаждение.

— Очень может быть, но я совсем не расположен гулять.

Он злобно сверкнул глазами. Клотильда была удивлена и обижена.

— Что с тобой? — спросила она.— Что значит этот тон? Мне хочется пройтись,— не понимаю, чего ты злишься.

Дюруа вскочил.

— Я не злюсь! — запальчиво крикнул он.— Просто мне это надоело. Вот и все!

Госпожа де Марель принадлежала к числу тех, кого упрямство раздражает, а грубость выводит из себя.

— Я не привыкла, чтоб со мной говорили таким тоном,— бросив на него презрительный взгляд, с холодным бешенством сказала она.— Я пойду одна. Прощай!

Смекнув, что дело принимает серьезный оборот, Дюруа бросился к ней и стал целовать ей руки.

— Прости, дорогая, прости,— бормотал он,— сегодня я такой нервный, такой раздражительный. Ты знаешь, у меня столько всяких огорчений, неприятностей по службе...

— Это меня не касается,— несколько смягчившись, но не успокоившись, возразила она.— Я вовсе не желаю, чтобы вы срывали на мне злобу.

Он обнял ее и подвел к дивану.

— Послушай, крошка, я не хотел тебя обидеть. Я сказал не подумав.

Насильно усадив ее, он опустился перед ней на колени.

— Ты простила меня? Скажи, что простила.

— Хорошо, но больше чтоб этого не было,— холодно ответила она и поднялась с дивана.— А теперь пойдем гулять.

Не вставая с колен, он обнимал ее ноги и бормотал:

— Останемся, прошу тебя. Умоляю. Уступи мне на этот раз. Мне так хочется провести этот вечер с тобой вдвоем, здесь, у камина. Скажи «да», умоляю тебя, скажи «да».

— Нет,— твердо, отчетливо проговорила она.— Я хочу гулять, я не намерена потворствовать твоим капризам.

— Я тебя умоляю,— настаивал он,— у меня есть причина, очень серьезная причина...

— Нет,— повторила она.— Не хочешь — дело твое, я пойду одна. Прощай.

Высвободившись резким движением, она направилась к выходу. Он поднялся и обхватил ее руками.

— Послушай, Кло, моя маленькая Кло, послушай, уступи мне...

Она отрицательно качала головой, молча уклонялась от его поцелуев и пыталась вырваться из его объятий.

— Кло, моя маленькая Кло, у меня есть причина.

Она остановилась и посмотрела ему в лицо.

— Ты лжешь... Какая причина?

Он покраснел,— он не знал, что сказать.

— Я вижу, что ты лжешь... Мерзавец! — с возмущением бросила Клотильда.

Она рванулась и со слезами на глазах выскользнула у него из рук.

Измученный, готовый сознаться во всем, лишь бы избежать разрыва, он снова удержал ее за плечи и с отчаянием в голосе произнес:

— У меня нет ни единого су... Вот!

Она обернулась и посмотрела ему в глаза, стараясь прочитать в них истину.

— Что такое?

Он покраснел до корней волос.

— У меня нет ни единого су. Понимаешь? Ни франка, ни полфранка, мне нечем было бы заплатить за рюмку ликера, если б мы зашли в кафе. Ты заставляешь меня сознаваться в таких позорных вещах. Не могу же я пойти с тобой, сесть за столик, спросить чего-нибудь, а потом как ни в чем не бывало объявить тебе, что у меня нет денег...

Она продолжала смотреть на него в упор:

— Так, значит... это правда?

Дюруа в одну секунду вывернул карманы брюк, жилета, пиджака.

— Ну что... теперь ты довольна? — процедил он сквозь зубы.

Она раскрыла объятия и в приливе нежности бросилась к нему на шею:

— О, мой бедный мальчик!.. Мой бедный мальчик... Если б я знала! Как же это с тобой случилось?

Она усадила его, села к нему на колени и, обвив ему шею руками, поминутно целуя в усы, в губы, в глаза, заставила рассказать о своем несчастье.

Он сочинил трогательную историю. Ему надо было выручить из беды отца. Он отдал ему все свои сбережения и задолжал кругом.

— Придется голодать, по крайней мере, полгода, ибо все мои ресурсы истощились,— заявил он.— Ну ничего, в жизни

всякое бывает. В конце концов из-за денег не стоит расстраиваться.

— Хочешь, я дам тебе взаймы? — шепнула она ему на ухо.

— Ты очень добра, моя крошка,— с достоинством ответил он,— но не будем больше об этом говорить, прошу тебя. Это меня оскорбляет.

Она умолкла.

— Ты не можешь себе представить, как я тебя люблю! — мгновение спустя, сжимая его в объятиях, прошептала она.

Это был один из лучших вечеров их любви.

Собираясь уходить, она сказала с улыбкой:

— Для человека в твоем положении нет ничего приятнее, как обнаружить у себя в кармане деньги, какую-нибудь монету, которая провалилась за подкладку. Правда?

— Я думаю! — искренне вырвалось у него.

Она решила пойти домой пешком под тем предлогом, что на улице изумительно хорошо. И всю дорогу любовалась луной.

Стояла холодная ясная ночь,— такие ночи бывают в начале зимы. Люди и лошади неслись, подгоняемые легким морозцем. Каблуки звонко стучали по тротуару.

— Хочешь, встретимся послезавтра? — спросила она при прощании.

— Ну да, конечно.

— В тот же час?

— В тот же час.

— До свиданья, мой дорогой.

И они нежно поцеловались.

Он быстрым шагом пошел домой, думая о том, как выйти из положения, что предпринять завтра. Но, отворяя дверь в свою комнату и отыскивая в жилетном кармане спички, он, к крайнему своему изумлению, нащупал пальцами монету.

Он зажег огонь, схватил монету и начал рассматривать ее. Это был двадцатифранковый золотой!

Ему казалось, что он сошел с ума.

Он вертел монету и так и сяк, стараясь понять, каким чудом она очутилась у него. Не могла же она упасть к нему с неба!

Наконец он догадался, и его охватило бешенство. Как раз сегодня его любовница толковала о том, что монета иной раз проваливается за подкладку и что в трудную минуту ее обычно находят. Значит, она подала ему милостыню. Какой позор!

Он выругался.

— Хорошо! Я ей послезавтра устрою прием! Она у меня проведет веселенькие четверть часа!

Обозленный и оскорбленный, он лег спать.

Проснулся он поздно. Голод мучил его. Он попытался снова заснуть, с тем чтобы встать не раньше двух. Потом сказал себе:

— Это не выход, я должен во что бы то ни стало раздобыть денег.

В надежде, что на улице ему скорей что-нибудь придет в голову, Дюруа вышел из дому.

Он так ничего и не надумал, а когда проходил мимо ресторанов, то у него текли слюнки. В полдень он наконец решился: «Ладно, возьму сколько-нибудь из этих двадцати франков. Завтра я их отдам Клотильде».

Дюруа истратил в пивной два с половиной франка. Придя в редакцию, он вернул три франка швейцару.

— Возьмите, Фукар,— это те деньги, которые я у вас брал вчера на извозчика.

Работал он до семи. Затем отправился обедать и истратил еще три франка. Вечером две кружки пива увеличили дневной расход до девяти франков тридцати сантимов.

За одни сутки немыслимо было восстановить кредит или найти какие-нибудь новые средства к существованию, а потому на другой день ему пришлось истратить еще шесть с половиной франков из тех двадцати, которые он собирался вечером отдать, так что, когда он пришел на свидание, в кармане у него было четыре франка двадцать сантимов.

Он был зол, как сто чертей, и дал себе слово объясниться со своей любовницей начистоту. Он намеревался сказать ей следующее: «Ты знаешь, я нашел те двадцать франков, которые ты сунула мне в карман. Я не могу отдать их тебе сегодня, потому что положение мое не изменилось и потому что мне некогда было заниматься денежными делами. Но в следующий раз я непременно верну тебе долг».

Войдя, она бросила на него нежный, робкий, заискивающий взгляд. Как-то он ее примет? Чтобы отдалить объяснение, она долго целовала его.

А он в это время думал: «Я еще успею поговорить с ней об этом. Надо только найти повод».

Повода он так и не нашел и ничего не сказал ей: он все не решался начать этот щекотливый разговор.

Она уже не заговаривала о прогулке и была с ним обворожительна.

Расстались они около полуночи, назначив свидание только в среду на следующей неделе, так как ей предстояло несколько званых обедов подряд.

На другой день Жорж Дюруа позавтракал в ресторане и, расплачиваясь, полез в карман за оставшимися четырьмя монетами, но вместо четырех вынул пять, из которых одна была золотая.

В первую секунду он подумал, что накануне ему дали ее по ошибке вместе со сдачей, но затем понял все, и у него заколотилось сердце,— до того унизительна была эта назойливая милостыня.

Как он жалел теперь, что ничего не сказал ей! Поговори он с ней в резком тоне, этого бы не случилось.

В течение четырех дней он делал попытки, столь же частые, сколь и безуспешные, раздобыть пять луидоров и в конце концов проел второй луидор Клотильды.

При первой же встрече он пригрозил ей: «Послушай, брось ты эти фокусы, а то я рассержусь не на шутку», но она ухитрилась сунуть ему в карман брюк еще двадцать франков.

Обнаружив их, Дюруа пробормотал: «Дьявольщина!», но у него не было ни сантима, и он переложил их в жилетный карман, чтобы иметь под рукой.

«Я верну ей все сразу,— успокаивал он свою совесть.— Разумеется, я беру их у нее взаймы».

Кассир внял наконец его отчаянным мольбам и согласился выдавать ему по пять франков в день. Этого хватало только на еду, но о возврате долга, выросшего до шестидесяти франков, нечего было и думать.

Между тем Клотильде вновь припала охота к ночным скитаниям по всем парижским трущобам, и теперь он уже не сердился, когда после этих рискованных похождений находил золотой то в кармане, то в ботинке, а то даже в футляре от часов.

Раз он в настоящее время не в состоянии исполнять ее прихоти, то что же тут такого, если она, вместо того чтобы отказаться от них, платит сама?

Впрочем, он вел счет ее деньгам, намереваясь когда-нибудь вернуть их сполна.

Однажды вечером она ему сказала:

— Представь, я ни разу не была в Фоли-Бержер. Пойдем?

Дюруа замялся: его пугала встреча с Рашелью. Но он тут же подумал: «Ничего! В конце концов она мне не жена. Увидит меня, поймет, в чем дело, и не заговорит. Тем более что мы будем в ложе».

Была еще одна причина, заставившая его согласиться: ему представлялся удобный случай предложить г-же де Марель

ложу в театр, ничего за нее не платя. Это явилось бы своего рода ответной любезностью.

Дюруа оставил Клотильду в карете, а сам отправился за контрамаркой — ему не хотелось, чтобы она знала, что он ничего не заплатил за вход,— потом вернулся к ней, и они прошли мимо поклонившихся им контролеров.

В проходе было полно. С большим трудом пробирались они в толпе мужчин и кокоток. Наконец их заперли в клетке между бушующей галеркой и безмолвным партером.

Госпожа де Марель не смотрела на сцену,— ее занимали исключительно девицы, которые прогуливались позади ложи. И она беспрестанно оборачивалась и разглядывала их, испытывая желание прикоснуться к ним, ощупать их корсажи, их щеки, их волосы, чтобы понять, из чего сделаны эти странные существа.

Неожиданно она обратилась к Дюруа:

— Вон та полная брюнетка все время смотрит на нас. Я даже подумала, что она хочет заговорить. Ты обратил внимание?

— Нет, это тебе так кажется,— возразил он.

Но он давно уже заметил ее. Это была Рашель,— она все ходила мимо их ложи, и глаза у нее горели зловещим огнем, а с языка готовы были сорваться бранные слова.

Дюруа только что столкнулся с ней, когда протискивался сквозь толпу; она тихо сказала ему: «Здравствуй», а ее хитро прищуренный глаз говорил: «Понимаю». Но, боясь любовницы, он не ответил на это заигрывание и с высоко поднятой головой и надменно сжатыми губами холодно прошел мимо. Подстрекаемая смутною ревностью, девица пошла за ним, задела его плечом и сказала уже громче:

— Здравствуй, Жорж.

Он опять промолчал. Тогда она, решив во что бы то ни стало заставить его узнать себя и поклониться, в ожидании благоприятного момента начала расхаживать позади ложи.

Заметив, что г-жа де Марель смотрит на нее, она подошла к Дюруа и дотронулась до его плеча.

— Здравствуй. Как поживаешь?

Он даже не обернулся.

— Ты что, успел оглохнуть с четверга?

Он ничего ей не ответил,— своим презрительным видом он ясно давал понять, что считает ниже своего достоинства вступать с этой тварью в какие бы то ни было разговоры.

Рашель злобно захохотала.

— Да ты еще и онемел вдобавок? — не унималась она.— Уж не эта ли дамочка откусила тебе язык?

Он сделал нетерпеливый жест.

— Как вы смеете со мной заговаривать? — в бешенстве крикнул он.— Уходите, не то я велю задержать вас.

— А, ты вот как! — сверкнув глазами и задыхаясь от ярости, заорала она.— Ах, подлец! Спишь со мной — так изволь, по крайней мере, кланяться. Что ты нынче с другой — значит, можно и не узнавать меня? Кивни ты мне только, когда я проходила мимо, и я оставила бы тебя в покое. Но ты вздумал задирать нос! Нет, шалишь! Я тебе удружу! Ах, вот как! Ты даже не поздоровался со мной при встрече...

Она вопила бы еще долго, но г-жа де Марель, отворив дверь ложи, пустилась бежать, расталкивая толпу, и заметалась в поисках выхода.

Дюруа бросился за ней вдогонку.

Тогда Рашель, видя, что они спасаются бегством, торжествующе крикнула:

— Держите ее! Держите! Она украла у меня любовника!

В публике послышался смех. Двое мужчин, потехи ради, схватили беглянку за плечи, тащили ее куда-то, пытались поцеловать. Но Дюруа догнал ее, вырвал у них из рук и вывел на улицу.

Она вскочила в пустой экипаж, стоявший у подъезда. Он прыгнул вслед за ней и на вопрос извозчика: «Куда ехать, господин?», ответил: «Куда хотите».

Карета медленно сдвинулась с места, подскакивая на камнях мостовой. Клотильда закрыла лицо руками,— с ней случилось что-то вроде нервного припадка: ей не хватало воздуха, и она задыхалась. Дюруа не знал, что делать, что говорить. Наконец, услыхав, что она плачет, забормотал:

— Послушай, Кло, моя маленькая Кло, позволь мне объяснить тебе! Я не виноват... Я встречался с этой женщиной очень давно... когда я только что...

Клотильда резким движением отняла от лица руки; злоба, дикая злоба влюбленной и обманутой женщины охватила ее, и, вновь обретя дар речи, она заговорила быстро, отрывисто, с трудом переводя дыхание:

— Ах, негодяй... негодяй... Какая низость!.. Могла ли я думать... Какой позор!.. Боже, какой позор!..

Гнев ее рос по мере того как прояснялось сознание, по мере того как все новые и новые поводы для упреков приходили ей в голову.

— Ты платил ей моими деньгами, да? И я давала ему денег... для этой девки... Ах, негодяй!..

В течение нескольких секунд она как будто искала более сильного выражения, искала и не могла найти, и внезапно, с таким видом, точно собиралась плюнуть, бросила ему в лицо:

— Ах, свинья, свинья, свинья!.. Ты платил ей моими деньгами... Свинья, свинья!..

Не находя другого слова, она все повторяла:

— Свинья, свинья...

Вдруг она высунулась в оконце, схватила кучера за рукав, крикнула:

— Стойте!

Отворила дверцу и выскочила на улицу.

Жорж хотел бежать за ней.

— Я тебе запрещаю вылезать из экипажа! — крикнула она так громко, что вокруг нее сейчас же собралась толпа.

И Дюруа из боязни скандала застыл на месте.

Она вынула из кармана кошелек, отсчитала при свете фонаря два с половиной франка и, вручив их кучеру, прерывающимся от волнения голосом сказала:

— Вот... получите... Я плачу... И отвезите мне этого прохвоста на улицу Бурсо, в Батиньоль.

В толпе загоготали.

— Браво, малютка! — сказал какой-то господин.

А уличный мальчишка, вскочив на подножку и просунув голову в открытую дверцу кареты, пронзительно крикнул:

— Счастливый путь, Биби!

И карета тронулась под громовой хохот зевак.

VI

Наутро Жорж Дюруа проснулся не в духе.

Он не спеша оделся, сел у окна и погрузился в раздумье. Он чувствовал себя совершенно разбитым, точно накануне на него сыпался град палочных ударов.

Наконец безденежье подхлестнуло его, и он отправился к Форестье.

Его друг сидел у себя в кабинете и грел ноги у камина.

— Что это тебя подняло ни свет ни заря?

— Важное дело. Долг чести.

— Карточный?

— Карточный,— после некоторого колебания подтвердил Дюруа.

— Большой?

— Пятьсот франков!

Он должен был только двести восемьдесят.

— Кому ты задолжал? — недоверчиво глядя на него, спросил Форестье.

Дюруа не сразу нашелся, что ответить.

— Господину... господину... господину де Карлевиль.

— А-а! Где же он живет?

— На улице... на улице...

Форестье расхохотался:

— На улице Ищи-Свищи, так, что ли? Знаю я этого господина. Вот что, милый мой: так и быть, двадцать франков я еще могу тебе ссудить, но больше не проси.

Дюруа взял у него золотой.

Затем он обошел всех своих знакомых, и к пяти часам у него набралось восемьдесят франков.

Ему не хватало двухсот, но он решил на этом остановиться и, пряча собранные деньги, пробормотал: «Плевать, стану я себе портить кровь из-за какой-то дряни! Когда будут деньги — отдам».

Он взял себя в руки: целых две недели отказывал себе во всем и вел правильный и добродетельный образ жизни. А затем его вновь охватила жажда любви. Ему казалось, что он уже несколько лет не обнимал женщины, и как матрос теряет голову, завидев землю, так трепетал он при виде каждой юбки.

И вот однажды вечером, в надежде встретить Рашель, он снова отправился в Фоли-Бержер. Она проводила в этом заведении все свое время, и он заметил ее сразу, как только вошел.

С улыбкой двинулся он к ней и протянул руку. Она оглядела его с головы до ног.

— Что вам угодно?

Он попытался засмеяться.

— Ну-ну, не валяй дурака.

Она повернулась к нему спиной.

— Я с альфонсами не знаюсь.

Она постаралась нанести ему самое тяжкое оскорбление, и он почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. Из Фоли-Бержер он вышел один.

В редакции ему отравлял существование больной, изнуренный, вечно кашлявший Форестье: он словно нарочно изобретал для него самые неприятные поручения. Как-то, в минуту сильного раздражения, после долгого приступа удушья, не получив от Дюруа нужных сведений, он даже буркнул:

— Черт возьми, ты еще глупее, чем я думал.

Дюруа чуть было не дал ему по физиономии, но сдержался и, уходя, пробормотал:

— Погоди, я тебе отплачу.

Внезапно у него мелькнула мысль.

— Я наставлю тебе рога, дружище,— прибавил он.

И, потирая руки от удовольствия, удалился.

Он решил как можно скорее приступить к осуществлению своего проекта. На другой же день он отправился на разведки к г-же Форестье.

Она лежала с книгой на диване.

При его появлении она не встала, а лишь повернула голову и протянула ему руку.

— Здравствуйте, Милый друг,— сказала она.

У него было такое чувство, точно ему дали пощечину.

— Почему вы меня так называете?

— На прошлой неделе я видела госпожу де Марель, и она мне сообщила, как вас там прозвали,— улыбаясь, ответила она.

Любезный тон г-жи Форестье успокоил его. Да и чего ему было бояться?

— Ее вы балуете! — продолжала она.— А ко мне являетесь раз в год по обещанию или вроде того?

Он сел и с особым любопытством, любопытством коллекционера, принялся рассматривать ее. Очаровательная блондинка с волосами нежного и теплого цвета, она была точно создана для ласк. «Она, безусловно, лучше той»,— подумал Дюруа. Он не сомневался в успехе; казалось, стоит только дотронуться,— и она сама, как созревший плод, упадет в руки.

— Я не приходил к вам потому, что так лучше,— решительно проговорил он.

Она не поняла его.

— Как? Почему?

— Почему? Вы не догадываетесь?

— Нет, даю слово.

— Потому что я влюблен в вас... о, немножко, совсем немножко... я не хотел бы влюбиться в вас по-настоящему.

Она, видимо, не была ни поражена, ни оскорблена, ни польщена. По-прежнему улыбаясь своей бесстрастной улыбкой, она спокойно ответила:

— Ну, приходить-то ко мне все-таки можно. В меня нельзя влюбиться надолго.

Ее тон удивил его еще больше, чем слова.

— Почему?

— Потому что это бесполезно, и я сразу даю это понять.

Если б вы раньше поведали мне свои опасения, я бы вас успокоила и посоветовала, наоборот, приходить почаще.

— Разве мы вольны в своих чувствах! — воскликнул он с пафосом.

Она повернулась к нему лицом.

— Дорогой друг, влюбленный мужчина перестает для меня существовать. Он глупеет, больше того: он становится опасен. С теми, кто любит меня как женщину или притворяется влюбленным, я порываю всякие отношения, во-первых, потому, что они мне надоедают, а во-вторых, потому, что я их боюсь, как бешеных собак, которые всегда могут наброситься. Я подвергаю их моральному карантину до тех пор, пока они не вылечатся. Запомните это. Я отлично знаю, что для вас любовь — это нечто вроде голода, а для меня это... это нечто вроде духовной связи, в которую не верят мужчины. Вы довольствуетесь формами ее проявления, а мне важен дух. Ну... смотрите мне прямо в глаза...

Она уже не улыбалась. С холодным и спокойным выражением лица она продолжала, отчеканивая каждое слово:

— Я никогда,— слышите? — никогда не буду вашей любовницей. Упорствовать бесполезно и даже вредно для вас. А теперь... после этой операции... мы можем остаться друзьями, добрыми друзьями, но только настоящими, без всякой задней мысли. Хотите?

Поняв, что это приговор окончательный и что все его усилия будут бесплодны, он покорился своей участи и, в восторге от того, что приобретает такую союзницу, не колеблясь, протянул ей обе руки:

— Располагайте мной, как вам будет угодно.

Тон его показался ей искренним, и она дала ему руки.

Он поцеловал их одну за другой и, подняв на нее глаза, чистосердечно признался:

— Клянусь богом, если б я встретил такую женщину, как вы, с какой радостью я бы на ней женился!

На этот раз комплимент Дюруа, очевидно принадлежавший к числу тех, что доходят до женского сердца, тронул и умилил ее, и она бросила на него один из тех быстрых признательных взглядов, которые любого из нас превращают в раба.

Потом, видя, что он не может подыскать тему для разговора, она дотронулась до его плеча и ласково сказала:

— Приступаю к исполнению моих дружеских обязанностей. Вы недогадливы, друг мой...

Она замялась.

— Могу я с вами говорить откровенно?

— Да.

— Вполне?

— Вполне.

— Так вот. Пойдите с визитом к госпоже Вальтер,— она о вас очень высокого мнения,— и постарайтесь понравиться ей. Вот там ваши комплименты будут уместны, хотя она порядочная женщина,— слышите? — абсолютно порядочная. Так что... лихие набеги там тоже не будут иметь успеха. Но вы можете добиться большего, если сумеете произвести выгодное впечатление. Мне известно, что в редакции вы все еще занимаете скромное место. Пусть это вас не смущает: всех своих сотрудников они принимают одинаково радушно. Послушайтесь меня, сходите к ней.

— Благодарю вас,— сказал он улыбаясь,— вы ангел, вы мой ангел-хранитель.

После этого разговор перешел на другие темы.

Он сидел у нее долго, желая показать, как приятно ему находиться в ее обществе. Уходя, он еще раз спросил:

— Итак, решено: мы будем друзьями?

— Да, решено.

Желая усилить впечатление, которое, как он заметил, произвел на г-жу Форестье его комплимент, Дюруа добавил:

— Если вы когда-нибудь овдовеете, я выставлю свою кандидатуру.

И, чтобы не дать ей времени рассердиться, поспешил откланяться.

Идти с визитом к г-же Вальтер Дюруа стеснялся: она никогда его к себе не приглашала, и он боялся показаться навязчивым. Впрочем, патрон к нему благоволил, ценил его как сотрудника, давал ему по большей части ответственные поручения,— почему бы не воспользоваться его расположением, чтобы проникнуть к нему в дом?

И вот однажды он встал рано утром, пошел на рынок и за десять франков купил штук двадцать превосходных груш. Тщательно уложив их в корзинку, так, чтобы казалось, что они привезены издалека, он отнес их к Вальтерам и оставил у швейцара вместе со своей визитной карточкой, на которой предварительно написал:

Жорж Дюруа
покорнейше просит госпожу Вальтер принять эти фрукты, которые он сегодня утром получил из Нормандии

На другой день он нашел в редакции, в своем почтовом ящике, конверт с визитной карточкой г-жи Вальтер, которая «горячо благодарила господина Жоржа Дюруа» и извещала, что она «принимает у себя по субботам».

В ближайшую субботу он отправился к ней с визитом.

Вальтер жил на бульваре Мальзерба, в собственном доме, часть которого он, будучи человеком практичным, отдавал внаем. Единственный швейцар, обладавший величественной осанкой церковного привратника, носивший ливрею с золотыми пуговицами и малиновыми отворотами и белые чулки, которые плотно обтягивали его толстые икры, помещался между двумя парадными, отворял дверь и хозяевам и жильцам и придавал всему этому дому вид роскошного аристократического особняка.

В гостиные, находившиеся на втором этаже, надо было пройти через обитую гобеленами переднюю с портьерами на дверях. Здесь, сидя на стульях, дремали два лакея. Один из них принял от Дюруа пальто, другой взял у него тросточку, отворил дверь и, пройдя вперед, выкрикнул в пустом зале его имя, затем посторонился и пропустил его.

Дюруа растерянно оглядывался по сторонам и вдруг увидел в зеркале несколько человек, сидевших, казалось, где-то очень далеко. Сперва он попал не туда — его ввело в заблуждение зеркало, а затем, пройдя два пустых зала, очутился в маленьком будуаре, обитом голубым шелком с узором из лютиков; здесь за круглым столиком, на котором был сервирован чай, вполголоса беседовали четыре дамы.

Столичная жизнь и в особенности профессия репортера, постоянно сталкивавшая Дюруа с разными знаменитостями, выработали в нем привычку держаться развязно, но, попав в эту пышную обстановку, пройдя эти безлюдные залы, он ощутил легкое замешательство.

— Сударыня, я позволил себе...— пробормотал он, ища глазами хозяйку.

Госпожа Вальтер протянула ему руку. Дюруа пожал ее, изогнув при этом свой стан.

— Вы очень любезны, сударь, что пришли навестить меня,— заметила она, указав на кресло, и Дюруа, которому оно сперва показалось довольно высоким, едва не утонул в нем.

Наступило молчание. Наконец одна из дам нарушила его. Она заявила, что стало очень холодно, но все же недостаточно холодно для того, чтобы прекратилась эпидемия брюшного тифа и чтобы можно было кататься на коньках. И тут все дамы сочли

долгом высказать свое мнение о наступивших в Париже морозах, а также о том, какое время года лучше, и привели при этом все те банальные доводы, которые оседают в головах, словно пыль в комнатах.

Чуть слышно скрипнула дверь. Дюруа обернулся и сквозь два непокрытых амальгамой стекла увидел приближающуюся полную даму. Как только она вошла в будуар, одна из посетительниц поднялась, пожала всем руки и удалилась. Дюруа проводил глазами черную фигуру этой дамы, поблескивавшей в пустых залах бусинками из стекляруса.

Когда волнение, вызванное сменой гостей, улеглось, разговор внезапно, без всякой связи с тем, что говорилось до этого, перешел к событиям в Марокко, к войне на Востоке и к тем затруднениям, которые испытывала в Южной Африке Англия.

Обсуждая эти вопросы, дамы словно разыгрывали благопристойную светскую комедию, много раз ставившуюся на сцене, причем каждая из них знала свою роль назубок.

Вошла новая гостья, маленькая завитая блондинка, и вслед за тем высокая сухопарая немолодая дама покинула будуар.

Заговорили о Линэ, о том, какие у него шансы попасть в академики. Новая гостья была твердо убеждена, что ему перебьет дорогу Кабанон-Леба, автор прекрасной стихотворной инсценировки «Дон Кихота».

— Вы знаете, зимой ее собирается ставить Одеон!

— Вот как? Непременно пойду смотреть,— это настоящее художественное произведение.

Тон у г-жи Вальтер был ровный, любезный и равнодушный: ей не надо было обдумывать свои слова,— она всегда высказывала готовые мнения.

В будуаре стало темно. Она позвала лакея и велела зажечь лампы, но это не мешало ей думать о том, что она забыла заказать в литографии пригласительные карточки на обед, и в то же время прислушиваться к разговору, журчавшему, как ручеек.

Несколько располневшая, но еще не утратившая привлекательности, г-жа Вальтер находилась в том опасном для женщины возрасте, когда закат уже близок. Ей удалось сохраниться благодаря тому, что она тщательно следила за собой, принимала меры предосторожности, заботилась о гигиене тела, пользовалась разными притираниями. Она производила впечатление натуры уравновешенной,— казалось, это одна из тех благоразумных и рассудительных женщин, внутренний мир которых напоминает подстриженный французский сад. Он ничем не поразит вас, но в этом есть своя прелесть. Воображение ей заменял

не показной, проницательный и трезвый ум; в ней чувствовались доброта, привязчивость и спокойная благожелательность, распространявшиеся на всех и на вся.

От нее не укрылось, что Дюруа до сих пор не проронил ни слова, что с ним никто не заговаривает, что он чувствует себя неловко. Наконец, воспользовавшись тем, что дамы все еще были заняты Академией, этим своим коньком, и никак не могли с ней расстаться, она обратилась к молодому человеку с вопросом:

— А вы что скажете, господин Дюруа,— ведь вы должны быть осведомлены на этот счет лучше, чем кто бы то ни было?

— Я, сударыня, в данном случае придаю больше значения возрасту и здоровью кандидатов, нежели их, всегда спорным, достоинствам,— не задумываясь, ответил он.— Я стал бы наводить справки не об их заслугах, а об их болезнях. Я не стал бы требовать от них стихотворных переводов из Лопе де Вега, но осведомился бы о состоянии их печени, сердца, почек и спинного мозга. На мой взгляд, расширение сердца, сахарная болезнь или, еще того лучше, начало мышечной атрофии перевесят многотомные рассуждения о патриотических мотивах в поэзии варварских народов.

Его слова были встречены удивленным молчанием.

— Почему же? — улыбаясь, спросила г-жа Вальтер.

— Потому что я всюду и всегда стараюсь найти то, что может доставить удовольствие женщинам,— ответил он.— Академия же, сударыня, привлекает ваше внимание лишь тогда, когда кто-нибудь из академиков умирает. Чем больше их отправляется на тот свет, тем это должно быть для вас приятнее. Но чтобы они скорее умирали, надо выбирать больных и старых.

Дамы, видимо, не понимали, к чему он клонит, и Дюруа счел нужным пояснить свою мысль:

— Откровенно говоря, мне тоже бывает приятно прочитать в парижской хронике о том, что какой-нибудь академик приказал долго жить. Я сейчас же задаю себе вопрос: «Кто на его место?» И намечаю кандидатов. Это игра, прелестная игра,— после кончины кого-нибудь из бессмертных в нее играют во всех парижских салонах,— «игра в смерть и в сорок старцев».

Дамы, все еще недоумевая, заулыбались,— они не могли не оценить меткости его наблюдений.

— Это вы, милостивые государыни, выбираете их,— заключил он, вставая,— выбираете только для того, чтобы они скорей

умирали. Так выбирайте же старых, самых старых, наистарейших, а об остальном можете не беспокоиться.

И, сделав весьма изящный общий поклон, Дюруа удалился.

— Занятный молодой человек,— как только он вышел, заметила одна из дам.— Кто он такой?

— Один из наших сотрудников,— ответила г-жа Вальтер.— Пока что ему поручают мелкую газетную работу, но я не сомневаюсь, что он скоро выдвинется.

Дюруа, веселый, довольный собой, танцующей походкой шел по бульвару Мальзерба, бормоча себе под нос: «Для начала недурно».

Вечером он помирился с Рашелью.

На следующей неделе произошли два важных события: он был назначен заведующим отделом хроники и приглашен на обед к г-же Вальтер. Связь между этими событиями он уловил без труда.

Для коммерсанта Вальтера, которому и пресса, и депутатское звание служили рычагами, «Французская жизнь» была прежде всего коммерческим предприятием. Прикидываясь простачком, никогда не снимая личины добродушия и веселости, он для своих весьма разнообразных целей пользовался только такими людьми, которых он уже проверил, прощупал, распознал, которых считал оборотистыми, напористыми и изворотливыми. И, понаблюдав за Дюруа, он пришел к заключению, что на посту заведующего хроникой этот малый будет незаменим.

До сих пор хроникой ведал секретарь редакции Буаренар, старый журналист, дотошный, исполнительный и робкий, как чиновник. В продолжение тридцати лет он перебывал секретарем в одиннадцати разных газетах и при этом ни в чем не изменил своего образа мыслей и образа действий. Он переходил из одной редакции в другую, как переходят из одного ресторана в другой, почти не замечая, что кухня не везде одинакова. Вопросы политики и религии были ему чужды. Он не за страх, а за совесть служил газете, какова бы она ни была, отдавая ей свои знания и свой драгоценный опыт. Он работал как слепой, который ничего не видит, как глухой, который ничего не слышит, как немой, который никогда ни о чем не говорит. Вместе с тем, отличаясь большой профессиональной чистоплотностью, он ни за что не совершил бы такого поступка, который с точки зрения журналистской этики нельзя было бы признать честным, лояльным и благородным.

Патрон хотя и ценил его, а все же частенько подумывал о том, кому бы передать хронику, которую он называл сердцеви-

ной газеты. Ведь именно отдел хроники распространяет новости, распускает слухи, влияет на публику и на биржу. Надо уметь, как бы невзначай, между двумя заметками о светских увеселениях, сообщить какую-нибудь важную вещь, вернее — только намекнуть на нее. Надо уметь договаривать между строк, опровергать так, чтобы слух становился от этого еще более правдоподобным, утверждать так, чтобы все усомнились в истинности происшествия. Надо вести отдел хроники таким образом, чтобы каждый ежедневно находил там хотя бы одну интересную для него строчку, и тогда хронику будут читать все. Надо помнить обо всем и обо всех, о всех слоях общества, о всех профессиях, о Париже и о провинции, об армии и о художниках, о духовенстве и об университете, о должностных лицах и о куртизанках.

Руководитель этого отдела, командир батальона репортеров, должен быть всегда начеку, должен быть вечно настороже; он должен быть недоверчивым, предусмотрительным, сметливым, гибким, проворным, должен быть во всеоружии коварнейших приемов и обладать безошибочным чутьем, чтобы в мгновение ока отличать достоверные сведения от недостоверных, чтобы знать наверняка, что можно сказать и чего нельзя, чтобы заранее представлять себе, какое впечатление произведет на читателей то или иное известие. Кроме того, он должен все преподносить в такой форме, которая усиливала бы эффект.

Буаренару, несмотря на его многолетнюю службу в редакциях, недоставало мастерства и блеска. А главное, ему недоставало врожденной смекалки, необходимой для того, чтобы постоянно угадывать тайные мысли патрона.

Дюруа мог великолепно поставить дело, он как нельзя более подходил к составу редакции этой газеты, которая, по выражению Норбера де Варена, «плавала в глубоких водах коммерции и в мелких водах политики».

Вдохновителями и подлинными редакторами «Французской жизни» были шесть депутатов, участвовавших в авантюрах, которые предпринимал или поддерживал издатель. В палате их называли «шайкой Вальтера» и завидовали тем солидным кушам, которые они срывали вместе с ним и через его посредство.

Отделом политики заведовал Форестье, но он был пешкой в руках этих дельцов, исполнителем их воли. Передовые статьи он писал у себя дома, «в спокойной обстановке», как он выражался, но по их указаниям.

А для того чтобы придать газете столичный размах, редакция привлекла к участию двух писателей, пользовавшихся известностью каждый в своей области: Жака Риваля, автора фельетонов на злобу дня, и Норбера де Варена, поэта и автора художественных очерков или, вернее, рассказов, написанных в новой манере.

Затем из многочисленного племени продажных писак, мастеров на все руки, были набраны по дешевке художественные, музыкальные и театральные критики, а также судебный и беговой репортеры. Две дамы из общества, под псевдонимами «Розовое домино» и «Белая лапка», сообщали светские новости, писали о модах, о нравах высшего общества, об этикете, хорошем тоне и перемывали косточки аристократкам.

И «Французская жизнь» «плавала в глубоких и мелких водах», управляемая всеми этими разношерстными кормчими.

Дюруа, еще не успев пережить ту радость, которую ему доставило новое назначение, получил листок картона. На нем было написано: «Г-н и г-жа Вальтер просят господина Жоржа Дюруа пожаловать к ним на обед в четверг двадцатого января».

Этот знак благоволения, последовавший так быстро за первым, до того обрадовал его, что он поцеловал пригласительную карточку, точно это была любовная записка. Затем отправился к кассиру, чтобы разрешить сложный финансовый вопрос.

Заведующий отделом хроники обыкновенно имеет свой бюджет, из которого он и оплачивает всю ту доброкачественную и не вполне доброкачественную информацию, которую ему, точно огородники, поставляющие первые овощи зеленщику, приносят репортеры.

Для начала Дюруа ассигновали тысячу двести франков в месяц, причем львиную долю этой суммы он намеревался удерживать в свою пользу.

Кассир, уступая его настойчивым просьбам, выдал ему авансом четыреста франков. Дюруа сперва было твердо решил отослать двести восемьдесят франков г-же де Марель, а затем, рассчитав, что ста двадцати франков, которые останутся у него на руках, не хватит на то, чтобы поставить дело на широкую ногу, отложил уплату долга на более отдаленные времена.

В течение двух дней он устраивался на новом месте: в огромной комнате, где помещалась вся редакция, у него был теперь отдельный стол и ящики для корреспонденции. Он занимал один угол комнаты, а в другом сидел Буаренар, склонив над листом

бумаги свои черные как смоль кудри, которые, несмотря на его почтенный возраст, еще и не начинали седеть.

Длинный стол посреди комнаты принадлежал «летучим» сотрудникам. Обычно он служил скамьей: на нем усаживались, свесив ноги или поджав их по-турецки. Иной раз человек пять-шесть сидели на этом столе в позе китайских болванчиков и с сосредоточенным видом играли в бильбоке.

Дюруа в конце концов тоже пристрастился к этой игре; под руководством Сен-Потена, следуя его указаниям, он делал большие успехи.

Форестье день ото дня становилось все хуже и хуже, и он предоставил в его распоряжение свое новое превосходное, но довольно тяжелое бильбоке черного дерева, и теперь уже Дюруа, мощной рукой дергая за шнурок увесистый шар, считал вполголоса:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

В тот день, когда ему предстояло идти на обед к г-же Вальтер, он впервые выбил двадцать очков подряд. «Счастливый день,— подумал он,— мне везет во всем». А в глазах редакции «Французской жизни» уменье играть в бильбоке действительно придавало сотруднику некоторый вес.

Он рано ушел из редакции, чтобы успеть переодеться. По Лондонской улице перед ним шла небольшого роста женщина, напоминавшая фигурой г-жу де Марель. Его бросило в жар, сердце учащенно забилось. Он перешел на другую сторону, чтобы посмотреть на нее в профиль. Она остановилась,— ей тоже надо было перейти улицу. Нет, он ошибся. Вздох облегчения вырвался у Дюруа.

Он часто задавал себе вопрос: как ему вести себя при встрече с ней? Поклониться или же сделать вид, что он ее не заметил?

«Сделаю вид, что не заметил»,— решил он.

Было холодно, лужи затянуло льдом. Сухие и серые в свете газовых фонарей, тянулись тротуары.

Придя домой, он подумал: «Пора переменить квартиру. Здесь мне уже неудобно оставаться». Он находился в приподнятом настроении, готов был бегать по крышам и, расхаживая между окном и кроватью, повторял вслух:

— Что это, удача? Удача! Надо написать отцу.

Изредка он писал ему, и письма от сына доставляли большую радость содержателям нормандского кабачка, что стоял при дороге, на высоком холме, откуда видны Руан и широкая долина Сены.

Изредка и он получал голубой конверт, надписанный крупным, нетвердым почерком, и в начале отцовского послания неизменно находил такие строки:

«Дорогой сын, настоящим довожу до твоего сведения, что мы, я и твоя мать, здоровы. Живем по-старому. Впрочем, должен тебе сообщить...»

Дюруа близко принимал к сердцу деревенские новости, все, что случалось у соседей, сведения о посевах и урожаях.

Завязывая перед маленьким зеркальцем белый галстук, Дюруа снова подумал: «Завтра же напишу отцу. Вот ахнул бы старик, если б узнал, куда я иду сегодня вечером! Там, черт побери, меня угостят таким обедом, какой ему и во сне не снился». И он живо представил себе закопченную кухню в родительском доме, по соседству с пустующей комнатой для посетителей, кастрюли вдоль стен и загорающиеся на них желтоватые отблески, кошку, в позе химеры примостившуюся у огня, деревянный стол, лоснившийся от времени и пролитых напитков, дымящуюся суповую миску и зажженную свечу между двумя тарелками. И еще увидел он отца и мать, этих двух настоящих крестьян, неторопливо, маленькими глотками хлебающих суп. Он знал каждую морщинку на их старых лицах, их жесты, движения. Он знал даже, о чем они говорят каждый вечер за ужином, сидя друг против друга.

«Надо будет все-таки съездить к ним»,— подумал Дюруа. Окончив туалет, он погасил лампу и спустился по лестнице.

Дорóгой, на внешних бульварах, его осаждали проститутки. «Оставьте меня в покое!» — отдергивая руку, говорил он с таким яростным презрением, как будто они унижали, как будто они оскорбляли его... За кого принимают его эти шлюхи? Что они, не видят, с кем имеют дело? На нем был фрак, он шел обедать к богатым, почтенным, влиятельным людям — все это вызывало в нем такое чувство, точно он сам стал важной особой, стал совсем другим человеком, человеком из общества, из хорошего общества.

Уверенной походкой вошел он в переднюю, освещенную высокими бронзовыми канделябрами, и привычным движением протянул пальто и тросточку двум подбежавшим к нему лакеям.

Все залы были ярко освещены. Г-жа Вальтер принимала гостей во втором, самом обширном. Его она встретила очаровательной улыбкой. Он поздоровался с двумя мужчинами, которые пришли раньше,— с г-ном Фирменом и г-ном Ларош-Матье, депутатами и анонимными редакторами «Французской жизни». Ларош-Матье пользовался огромным влиянием в палате, и это

создало ему особый авторитет в редакции. Ни у кого не возникало сомнений, что со временем он станет министром.

Вошел Форестье с женой: его обворожительная супруга была в розовом платье. С обоими депутатами она держала себя запроєто,— для Дюруа это было новостью. Минут пять, если не больше, беседовала она вполголоса возле камина с Ларош-Матье. У Шарля был измученный вид. Он очень похудел за последний месяц, кашлял не переставая и все повторял: «Зимой придется ехать на юг».

Жак Риваль и Норбер де Варен явились вместе. Немного погодя дверь в глубине комнаты отворилась, и вошел Вальтер с двумя девушками — хорошенькой и дурнушкой; одной из них было лет шестнадцать, другой — восемнадцать.

Дюруа знал, что у патрона есть дети, и все-таки он был изумлен. До этого он думал о дочках издателя так, как думаем мы о далеких странах, куда нам заказан путь. Кроме того, он представлял их себе совсем маленькими, а перед ним были взрослые девушки. Эта неожиданность слегка взволновала его.

После того как он был представлен сестрам, они поочередно протянули ему руку, потом сели за маленький столик, по всей вероятности предназначавшийся для них, и начали перебирать мотки шелка в корзиночке.

Должен был прийти еще кто-то. Все молчали, испытывая то особое чувство стесненности, какое всегда испытывают перед званым обедом люди, собравшиеся вместе после по-разному проведенного дня и имеющие между собою мало общего.

Дюруа от нечего делать водил глазами по стене; заметив это, Вальтер издали, с явным намерением похвастать своими приобретениями, крикнул ему:

— Вы смотрите *мои* картины? — Он сделал ударение на слове «мои».— Я вам их сейчас покажу.

Он взял лампу, чтобы дать гостю возможность рассмотреть их во всех подробностях.

— Здесь пейзажи,— сказал он.

В центре висело большое полотно Гильме — берег моря в Нормандии под грозовым небом. Внизу — лес Арпиньи и принадлежащая кисти Гийоме алжирская равнина с верблюдом на горизонте — огромным длинноногим верблюдом, похожим на некий странный монумент.

Перейдя к другой стене, Вальтер торжественно, словно церемониймейстер, возвестил:

— Великие мастера.

Тут были четыре полотна: «Приемный день в больнице» Жервекса, «Жница» Бастьен-Лепажа, «Вдова» Бугро и «Казнь» Жан-Поля Лоранса. Последняя картина изображала вандейского священника, которого расстреливал у церковной стены отряд «синих».

Когда Вальтер подошел к следующей стене, по его серьезному лицу пробежала улыбка:

— А вот легкий жанр.

Здесь прежде всего бросалась в глаза небольшая картина Жана Беро под названием «Вверху и внизу». Хорошенькая парижанка взбирается по лесенке движущейся конки. Голова ее уже на уровне империала, и сидящие на скамейках мужчины вперяют восхищенные, жадные взоры в это юное личико, появившееся среди них, в то время как лица мужчин, стоящих внизу, на площадке, и разглядывающих ее ноги, выражают досаду и вожделение.

— Ну что? Забавно? Забавно? — держа лампу в руке, с игривым смешком повторял Вальтер.

Затем он осветил «Спасение утопающей» Ламбера.

На обеденном столе, с которого уже убрали посуду, сидит котенок и недоумевающим, растерянным взглядом следит за мухой, попавшей в стакан с водой. Он уже поднял лапу, чтобы поймать ее одним быстрым движением. Но он еще не решился. Он колеблется. Что-то будет дальше?

Затем Вальтер показал «Урок» Детайя: солдат в казарме учит пуделя играть на барабане.

— Остроумно! — заметил патрон.

Дюруа одобрительно посмеивался, выражал свой восторг:

— Чудесно, чудесно, чуде...

И вдруг осекся, услыхав голос только что вошедшей г-жи де Марель.

Патрон продолжал показывать картины и объяснять их содержание.

Он навел лампу на акварель Мориса Лелуара «Препятствие». Посреди улицы затеяли драку два здоровенных парня, два геркулеса, и из-за них вынужден остановиться портшез. В оконце портшеза прелестное женское личико; оно не выражает ни нетерпения, ни страха... оно, если хотите, любуется единоборством этих двух зверей.

— В других комнатах у меня тоже есть картины,— сообщил Вальтер,— только менее известных художников, не получивших еще всеобщего признания. А здесь мой «Квадратный зал». В данный момент я покупаю молодых, совсем молодых, и

пока что держу их в резерве, в задних комнатах,— жду, когда они прославятся. Теперь самое время покупать картины,— понизив голос до шепота, прибавил он.— Художники умирают с голоду. Они сидят без гроша... без единого гроша...

Но Дюруа уже ничего не видел, он слушал и не понимал. Г-жа де Марель была здесь, сзади него. Что ему делать? Поклонись он ей, она, чего доброго, повернется к нему спиной или ответит дерзостью. А если он к ней не подойдет, то что подумают другие?

«Во всяком случае, надо оттянуть момент встречи»,— решил Дюруа. Он был так взволнован, что у него мелькнула мысль, не сказаться ли ему больным и не уйти ли домой.

Осмотр картин был закончен. Вальтер поставил лампу на стол и пошел встречать новую гостью, а Дюруа снова принялся рассматривать картины, точно он не мог на них налюбоваться.

Он терял голову. Что ему делать? Он слышал голоса, до него долетали обрывки разговора.

— Послушайте, господин Дюруа,— обратилась к нему г-жа Форестье.

Он поспешил к ней. Ей надо было познакомить его с одной своей приятельницей, которая устраивала бал и желала, чтобы о нем появилась заметка в хронике «Французской жизни».

— Непременно, сударыня, непременно...— бормотал он.

Госпожа де Марель находилась теперь совсем близко от него. Ему не хватало смелости повернуться и отойти.

Вдруг ему показалось, что он сошел с ума.

— Здравствуйте, Милый друг,— отчетливо произнесла г-жа де Марель.— Вы меня не узнаете?

Он живо обернулся. Она стояла перед ним, приветливо и радостно улыбаясь. И — протянула ему руку.

Дюруа взял ее руку с трепетом: он все еще опасался какой-нибудь каверзы или ловушки.

— Что с вами случилось? Вас совсем не видно.— простодушно сказала она.

— Я был так занят, сударыня, так занят,— тщетно стараясь овладеть собой, залепетал он.— Господин Вальтер возложил на меня новые обязанности, и у меня теперь масса дел.

Госпожа де Марель продолжала смотреть ему в лицо, но ничего, кроме расположения, он не мог прочитать в ее глазах.

— Я знаю,— сказала она.— Однако это не дает вам права забывать друзей.

Их разлучила только что появившаяся толстая декольтированная дама с красными руками, с красными щеками, претен-

циозно одетая и причесанная; по тому, как грузно она ступала, можно было судить о толщине и увесистости ее ляжек.

Видя, что все с нею очень почтительны, Дюруа спросил г-жу Форестье:

— Кто эта особа?

— Виконтесса де Персмюр, та самая, которая подписывается «Белая лапка».

Дюруа был потрясен, он чуть не расхохотался.

— Белая лапка! Белая лапка! А я-то воображал, что это молодая женщина, вроде вас. Так это и есть Белая лапка? Хороша, хороша, нечего сказать!

В дверях показался слуга.

— Кушать подано,— объявил он.

Обед прошел банально и весело: это был один из тех обедов, во время которых говорят обо всем и ни о чем. Дюруа сидел между старшей дочерью Вальтера, дурнушкой Розой, и г-жой де Марель. Соседство последней несколько смущало его, хотя она держала себя в высшей степени непринужденно и болтала с присущим ей остроумием. Первое время Дюруа волновался, чувствовал себя неловко, неуверенно, точно музыкант, который сбился с тона. Но постепенно он преодолевал робость, и в тех вопросительных взглядах, которыми они обменивались беспрестанно, сквозила прежняя, почти чувственная интимность.

Вдруг что-то словно коснулось его ступни. Осторожно вытянув ногу, он дотронулся до ноги г-жи де Марель, и та не отдернула ее. В эту минуту оба они были заняты разговором со своими соседями.

У Дюруа сильно забилось сердце, и он еще немного выставил колено. Ему ответили легким толчком. И тут он понял, что их роман возобновится.

Что они сказали друг другу потом? Ничего особенного, но губы у них дрожали всякий раз, когда встречались их взгляды.

Дюруа, однако, не забывал и дочери патрона и время от времени заговаривал с ней. Она отвечала ему так же, как и ее мать,— не задумываясь над своими словами.

Справа от Вальтера с видом королевы восседала виконтесса де Персмюр. Дюруа без улыбки не мог на нее смотреть.

— А другую вы знаете — ту, что подписывается «Розовое домино»? — тихо спросил он г-жу де Марель.

— Баронессу де Ливар? Великолепно знаю.

— Она вроде этой?

— Нет. Но такая же забавная. Представьте себе шестиде-

сятилетнюю старуху, сухую как жердь,— накладные букли, вставные зубы, вкусы и туалеты времен Реставрации.

— Где они нашли этих ископаемых?

— Богатые выскочки всегда подбирают обломки аристократии.

— А может быть, есть другая причина?

— Никакой другой причины нет.

Тут патрон, оба депутата, Жак Риваль и Норбер де Варен заспорили о политике, и спор этот продолжался до самого десерта.

Когда все общество вернулось в гостиную, Дюруа подошел к г-же де Марель и, заглянув ей в глаза, спросил:

— Вы позволите мне проводить вас?

— Нет.

— Почему?

— Потому что мой сосед, господин Ларош-Матье, отвозит меня домой всякий раз, как я здесь обедаю.

— Когда же мы увидимся?

— Приходите ко мне утром завтракать.

И, ничего больше не сказав друг другу, они расстались.

Вечер показался Дюруа скучным, и он скоро ушел. Спускаясь по лестнице, он нагнал Норбера де Варена. Старый поэт взял его под руку. Они работали в разных областях, и Норбер де Варен, уже не боясь встретить в его лице соперника, относился к нему теперь с отеческой нежностью.

— Может, вы меня немножко проводите? — спросил он.

— С удовольствием, дорогой мэтр,— ответил Дюруа.

И они медленным шагом пошли по бульвару Мальзерба.

Париж был почти безлюден в эту морозную ночь,— одну из тех ночей, когда небо словно раскинулось шире, звезды кажутся выше, а в ледяном дыхании ветра чудится что-то идущее из далеких пространств, еще более далеких, чем небесные светила.

Некоторое время оба молчали.

— Ларош-Матье производит впечатление очень умного и образованного человека,— чтобы что-нибудь сказать, заметил наконец Дюруа.

— Вы находите? — пробормотал старый поэт.

Этот вопрос удивил Дюруа.

— Да,— неуверенно ответил он.— И ведь его считают одним из самых даровитых членов палаты.

— Возможно. На безрыбье и рак рыба. Видите ли, дорогой мой, все это люди ограниченные,— их помыслы вращаются во-

круг политики и наживы. Узкие люди,— с ними ни о чем нельзя говорить, ни о чем из того, что нам дорого. Ум у них затянуло тиной или, вернее, нечистотами, как Сену под Аньером.

Ах, как трудно найти человека с широким кругозором, напоминающим тот беспредельный простор, воздухом которого вы дышите на берегу моря! Я знал таких людей — их уже нет в живых.

Норбер де Варен говорил внятно, но тихо,— чувствовалось, что поэт сдерживает голос, иначе он гулко раздавался бы в ночной тишине. Поэт был взволнован: душу его, казалось, гнетет печаль и заставляет дрожать все ее струны,— так содрогается земля, когда ее сковывает мороз.

— Впрочем,— продолжал он,— есть у тебя талант или нет,— не все ли равно, раз всему на свете приходит конец!

Он смолк.

У Дюруа было легко на сердце.

— Вы сегодня в дурном настроении, дорогой мэтр,— улыбаясь, заметил он.

— У меня всегда такое настроение, дитя мое,— возразил Норбер де Варен.— Погодите: через несколько лет и с вами будет то же самое. Жизнь — гора. Поднимаясь, ты глядишь вверх, и ты счастлив, но только успел взобраться на вершину, как уже начинается спуск, а впереди — смерть. Поднимаешься медленно, спускаешься быстро. В ваши годы все мы были веселы. Все мы были полны надежд, которые, кстати сказать, никогда не сбываются. В мои годы человек не ждет уже ничего... кроме смерти.

Дюруа засмеялся:

— Черт возьми, у меня даже мурашки забегали.

— Нет,— возразил Норбер де Варен,— сейчас вы меня не поймете, но когда-нибудь вы вспомните все, что я вам говорил. Видите ли, настанет день,— а для многих он настает очень скоро,— когда вам, как говорится, уже не до смеха, когда вы начинаете замечать, что за всем, куда ни посмотришь, стоит смерть.

О, вы не в силах понять самое это слово «смерть»! В ваши годы оно пустой звук. Мне же оно представляется ужасным.

Да, его начинаешь понимать вдруг, неизвестно почему, без всякой видимой причины, и тогда все в жизни меняет свой облик. Я вот уже пятнадцать лет чувствую, как она гложет меня, словно во мне завелся червь. Она подтачивала меня исподволь, день за днем, час за часом, и теперь я точно дом, который вот-вот обвалится. Она изуродовала меня до того, что я себя не узнаю. От жизнерадостного, бодрого, сильного человека, каким

я был в тридцать лет, не осталось и следа. Я видел, с какой злобной, расчетливой кропотливостью она окрашивала в белый цвет мои черные волосы! Она отняла у меня гладкую кожу, мускулы, зубы, все мое юное тело, и оставила лишь полную отчаяния душу, да и ту скоро похитит.

Да, она изгрызла меня, подлая. Долго, незаметно, ежесекундно, беспощадно разрушала она все мое существо. И теперь, за что бы я ни принялся, я чувствую, что умираю. Каждый шаг приближает меня к ней, каждое мое движение, каждый вздох помогают ей делать свое гнусное дело. Дышать, пить, есть, спать, трудиться, мечтать — все это значит умирать. Жить, наконец,— тоже значит умирать!

О, вы все это еще узнаете! Если бы вы подумали об этом хотя бы четверть часа, вы бы ее увидели.

Чего вы ждете? Любви? Еще несколько поцелуев — и вы уже утратите способность наслаждаться.

Еще чего? Денег? Зачем? Чтобы покупать женщин? Велика радость! Чтобы объедаться, жиреть и ночи напролет кричать от подагрической боли?

Еще чего? Славы? На что она, если для вас уже не существует любовь?

Ну так чего же? В конечном счете все равно — смерть.

Я вижу ее теперь так близко, что часто мне хочется протянуть руку и оттолкнуть ее. Она устилает землю и наполняет собой пространство. Я нахожу ее всюду. Букашки, раздавленные посреди дороги, сухие листья, седой волос в бороде друга — все ранит мне сердце и кричит: «Вот она!»

Она отравляет мне все, над чем я тружусь, все, что я вижу, все, что я пью или ем, все, что я так люблю: лунный свет, восход солнца, необозримое море, полноводные реки и воздух летних вечеров, которым, кажется, никогда не надышишься вволю!

Он запыхался и оттого шел медленно, размышляя вслух и почти не думая о своем спутнике.

— И никто оттуда не возвращается, никто...— продолжал он.— Можно сохранить формы, в которые были отлиты статуи, слепки, точно воспроизводящие тот или иной предмет, но моему телу, моему лицу, моим мыслям, моим желаниям уже не воскреснуть. А между тем народятся миллионы, миллиарды существ, у которых на нескольких квадратных сантиметрах будут так же расположены нос, глаза, лоб, щеки, рот, и душа у них будет такая же, как и у меня, но я-то уж не вернусь, и они ничего не возьмут от меня, все эти бесчисленные создания, бесчисленные

и такие разные, совершенно разные, несмотря на их почти полное сходство.

За что ухватиться? Кому излить свою скорбь? Во что нам верить?

Религии — все до одной — нелепы: их мораль рассчитана на детей, их обещания эгоистичны и чудовищно глупы.

Одна лишь смерть несомненна.

Он остановился и, взяв Дюруа за отвороты пальто, медленно заговорил:

— Думайте об этом, молодой человек, думайте дни, месяцы, годы, и вы по-иному станете смотреть на жизнь. Постарайтесь освободиться от всего, что вас держит в тисках, сделайте над собой нечеловеческое усилие и еще при жизни отрешитесь от своей плоти, от своих интересов, мыслей, отгородитесь от всего человечества, загляните в глубь вещей — и вы поймете, как мало значат споры романтиков с натуралистами и дискуссии о бюджете.

Он быстрым шагом пошел вперед.

— Но в то же время вы ощутите и весь ужас безнадежности. Вы будете отчаянно биться, погружаясь в пучину сомнений. Вы будете кричать во всю мочь: «Помогите!» — и никто не отзовется. Вы будете протягивать руки, будете молить о помощи, о любви, об утешении, о спасении — и никто не придет к вам.

Почему мы так страдаем? Очевидно, потому, что мы рождаемся на свет, чтобы жить не столько для души, сколько для тела. Но мы обладаем способностью мыслить, и наш крепнущий разум не желает мириться с косностью бытия.

Взгляните на простых обывателей: пока их не постигнет несчастье, они довольны своей судьбой, ибо мировая скорбь им несвойственна. Животные тоже не знают ее.

Он снова остановился и, подумав несколько секунд, тоном смирившегося и усталого человека сказал:

— Я погибшее существо. У меня нет ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни жены, ни детей, ни бога.

После некоторого молчания он прибавил:

— У меня есть только рифма.

И, подняв глаза к небу, откуда струился матовый свет полной луны, продекламировал:

> И в небе я ищу разгадку жизни темной,
> Под бледною луной бродя в ночи бездомной.

Они молча перешли мост Согласия, миновали Бурбонский дворец.

— Женитесь, мой друг,— снова заговорил Норбер де Варен,— вы себе не представляете, что значит быть одному в мои годы. Одиночество наводит на меня теперь невыносимую тоску. Когда я сижу вечером дома и греюсь у камина, мне начинает казаться, что я один в целом свете, что я до ужаса одинок и в то же время окружен какими-то смутно ощутимыми опасностями, чем-то таинственным и страшным. Перегородка, отделяющая меня от моего неведомого соседа, создает между нами такое же расстояние, как от меня до звезд, на которые я гляжу в окно. И меня охватывает лихорадка, лихорадка отчаяния и страха, меня пугает безмолвие стен. Сколько грусти в этом глубоком молчании комнаты, где ты живешь один! Не только твое тело, но и душу окутывает тишина, и, чуть скрипнет стул, ты уже весь дрожишь, ибо каждый звук в этом мрачном жилище кажется неожиданным.

Немного помолчав, он прибавил:

— Хорошо все-таки, когда на старости лет у тебя есть дети!

Они прошли половину Бургундской улицы. Остановившись перед высоким домом, поэт позвонил.

— Забудьте, молодой человек, всю эту старческую воркотню и живите сообразно с возрастом. Прощайте! — пожав своему спутнику руку, сказал он и скрылся в темном подъезде.

Дюруа с тяжелым сердцем двинулся дальше. У него было такое чувство, точно он заглянул в яму, наполненную костями мертвецов,— яму, в которую он тоже непременно когда-нибудь свалится.

— Черт побери! — пробормотал он.— Воображаю, как приятно бывать у него. Нет уж, я бы не сел в первый ряд, когда он производит смотр своим мыслям, слуга покорный!

Но тут ему пришлось пропустить надушенную даму, вышедшую из кареты и направлявшуюся к себе домой; в воздухе повеяло ирисом и вербеной, и Дюруа с наслаждением вдохнул этот запах. Легкие жадно вбирали его, радостно забилось сердце. Он подумал о том, что завтра увидит г-жу де Марель, и при одном воспоминании о ней по его телу прошла горячая волна.

Все улыбалось ему, жизнь была к нему благосклонна. Как хорошо, когда надежды сбываются!

Заснул он, чувствуя себя наверху блаженства, и встал рано, чтобы перед свиданием пройтись по аллее Булонского леса.

Ветер переменил направление, за ночь погода сделалась мягче, солнце светило, точно в апреле, стояла теплынь. Любители Булонского леса, все как один, вышли на зов ласкового, ясного неба.

Дюруа шел медленно, упиваясь свежим и сочным, как весенняя зелень, воздухом. Миновав Триумфальную арку, он пошел по широкой аллее, вдоль дороги, предназначенной для верховой езды. Он смотрел на богатых светских людей, мужчин и женщин, ехавших кто галопом, кто рысью, и если и завидовал им сейчас, то чуть-чуть. Профессия репортера сделала из него что-то вроде адрес-календаря знаменитостей и энциклопедии парижских скандалов, и он знал почти всех этих господ по фамилии, знал, в какую сумму исчисляется их состояние, знал закулисную сторону их жизни.

Мимо него проезжали стройные амазонки в темных суконных костюмах, обтягивавших фигуру, и было в них что-то высокомерное, неприступное, свойственное многим женщинам, когда они сидят на лошади. А Дюруа тем временем развлекался: вполголоса, точно псаломщик в церкви, называл имена, титулы и чины их настоящих или приписываемых им любовников; при этом один ряд имен: «Барон де Танкле, князь де ла Тур-Энгеран...» — порой сменялся другим: «Уроженки острова Лесбос: Луиза Мишо из Водевиля, Роза Маркетен из Оперы».

Эта игра казалась ему очень забавной: он словно убеждался воочию, что под чопорной внешностью скрывается исконная, глубоко укоренившаяся человеческая низость, и это его утешало, радовало, воодушевляло.

— Лицемеры! — громко сказал он и принялся искать глазами тех, о ком ходили самые темные слухи.

Среди всадников оказалось немало таких, о ком поговаривали, что они ловко передергивают карту,— как бы то ни было, игорные дома являлись для них неистощимым, единственным и, вне всякого сомнения, подозрительным источником дохода.

Иные, пользовавшиеся самой широкой известностью, жили исключительно на средства жен, и это знали все; иные — на средства любовниц, как уверяли люди осведомленные. Многие из них платили свои долги (привычка похвальная), но никто не мог бы сказать, где они доставали для этого деньги (тайна весьма сомнительная). Перед глазами Дюруа мелькали денежные тузы, чье сказочное обогащение началось с кражи и которых тем не менее пускали даже в лучшие дома; были тут и столь уважаемые лица, что при встрече с ними мелкие буржуа снимали шляпу, хотя ни для кого из тех, кто имел возможность наблюдать свет с изнанки, не составляло тайны, что они беззастенчиво обворовывают крупнейшие государственные предприятия.

Высокомерный вид, надменно сжатые губы, а также нахальное выражение лица являлись отличительными особенностями всех этих господ: и тех, кто носил бакенбарды, и тех, кто носил только усы.

Дюруа посмеивался.

— Экий сброд! — повторял он.— Шайка жуликов, шайка мошенников!

Но вот пронеслась красивая открытая низенькая коляска, запряженная двумя белыми лошадками с развевающимися гривами и хвостами; лошадьми правила молодая миниатюрная белокурая женщина, известная куртизанка, сзади помещались два грума. Дюруа остановился,— ему хотелось поклониться ей, хотелось аплодировать этой выскочке, бойко торговавшей любовью и с такой дерзостью выставлявшей на погляденье в час, когда все эти лицемерные аристократы выезжают на прогулку, кричащую роскошь, которую она заработала под одеялом. Быть может, он смутно сознавал, что между ним и сю есть нечто общее, что в ее натуре заложено нечто родственное ему, что они люди одной породы, одного душевного строя и что он достигнет своей цели столь же смелыми приемами.

Назад он шел медленно, с чувством глубокого удовлетворения, и все же явился к своей прежней любовнице несколько раньше условленного часа.

Выйдя к нему, она протянула губы с таким видом, точно между ними ничего не произошло; на несколько секунд она даже забыла благоразумную осторожность, обыкновенно удерживавшую ее от бурных проявлений страсти у себя дома.

— Ты знаешь, милый, какая досада? — сказала она, целуя закрученные кончики его усов.— Я надеялась провести с тобой чудесный медовый месяц, а тут, как снег на голову, свалился муж: ему дали отпуск. Но я не могу целых полтора месяца не видеть тебя, особенно после нашей легкой размолвки, и вот как я вышла из положения: я ему уже говорила о тебе,— в понедельник ты придешь к нам обедать, и я вас познакомлю.

Дюруа колебался: он был слегка озадачен, ему еще не приходилось бывать в гостях у человека, с женой которого он состоял в связи. Он со страхом думал о том, что его может выдать легкое смущение, взгляд, любой пустяк.

— Нет,— пробормотал он,— я предпочитаю не знакомиться с твоим мужем.

Наивно глядя на него широко раскрытыми от удивления глазами, она продолжала настаивать:

Милый друг

— Но отчего же? Что за вздор! Это так часто бывает! Честное слово, я думала, что ты умнее.

Это его задело.

— Ну хорошо, я приду обедать в понедельник.

— А чтобы это выглядело вполне прилично, я позову Форестье,— прибавила г-жа де Марель.— Хотя, должна сознаться, не любительница я принимать у себя гостей.

До самого понедельника Дюруа не помышлял о предстоящей встрече. Но когда он поднимался по лестнице к г-же де Марель, им овладело непонятное беспокойство: не то чтобы ему была отвратительна мысль, что ему придется пожать руку ее супругу, пить его вино, есть его хлеб,— нет, он просто боялся, боялся неизвестно чего.

Его провели в гостиную, и там ему, как всегда, пришлось ждать. Потом отворилась дверь, и высокий седобородый мужчина с орденом на груди, безукоризненно одетый и важный, подойдя к нему, изысканно вежливо произнес:

— Очень рад познакомиться с вами, сударь, жена мне много о вас рассказывала.

Стараясь придать своему лицу самое дружелюбное выражение, Дюруа шагнул навстречу хозяину и нарочито крепко пожал ему руку. Но как только они уселись, язык у Дюруа прилип к гортани.

— Давно вы пишете в газетах? — подкинув в камин полено, осведомился г-н де Марель.

— Всего несколько месяцев,— ответил Дюруа.

— Вот как! Быстро же вы сделали карьеру!

— Да, довольно быстро.

И он принялся болтать о том, о сем, почти не вдумываясь в то, что говорил, пользуясь теми общими фразами, к которым прибегают люди, встречающиеся впервые. Он уже успокоился, положение казалось ему теперь забавным. Почтенные седины и серьезная физиономия г-на де Марель смешили Дюруа, и, глядя на него, он думал: «Я наставил тебе рога, старина, я наставил тебе рога». Мало-помалу им овладело чувство постыдного внутреннего удовлетворения, он переживал бурную упоительную радость — радость непойманного вора. Ему внезапно захотелось войти к этому человеку в дружбу, вкрасться к нему в доверие, выведать все его секреты.

Неожиданно вошла г-жа де Марель и, бросив на них лукавый и непроницаемый взгляд, подошла к Дюруа. При муже он не осмелился поцеловать ей руку, как это делал всегда.

Она была весела и спокойна; чувствовалось, что в силу

своей врожденной и откровенной беспринципности эта видавшая виды женщина считает состоявшуюся встречу вполне естественной и обыкновенной. Вошла Лорина и с необычной для нее застенчивостью подставила Жоржу лобик,— присутствие отца, видимо, стесняло ее.

— Отчего же ты не назвала его сегодня Милым другом? — спросила мать.

Девочка покраснела так, как будто по отношению к ней совершили величайшую бестактность, сказали про нее что-то такое, чего нельзя было говорить, выдали заветную и несколько предосудительную тайну ее сердца.

Явились Форестье; все пришли в ужас от того, как выглядит Шарль. За последнюю неделю он страшно осунулся, побледнел; кашлял он не переставая. Он объявил, что в следующий четверг по настоянию врача едет с женой в Канн.

Сидели они недолго.

— По-моему, его дело плохо,— покачав головой, заметил Дюруа.— Не жилец он на этом свете.

— Да, конченый человек,— равнодушно подтвердила г-жа де Марель.— А женился он на редкость удачно.

— Много ему помогает жена? — спросил Дюруа.

— Вернее сказать, она делает за него все. Она в курсе всех его дел, всех знает, хотя можно подумать, что она ни с кем не видится. Добивается всего, чего ни захочет, в любое время и любыми средствами. О, таких тонких и ловких интриганок поискать! Настоящее сокровище для того, кто желает преуспеть.

— Разумеется, она не замедлит выйти замуж вторично? — осведомился Дюруа.

— Да,— ответила г-жа де Марель.— Я не удивлюсь, если у нее и сейчас уже есть кто-нибудь на примете... какой-нибудь депутат... разве только... он не пожелает... потому что... потому что... тут могут возникнуть серьезные препятствия... морального характера... Впрочем, я ничего не знаю. Довольно об этом.

— Вечно ты чего-то не договариваешь, не люблю я этой манеры,— проворчал г-н де Марель; в тоне его слышалось вялое раздражение.— Никогда не нужно вмешиваться в чужие дела. Надо предоставить людям поступать, как им подсказывает совесть. Этому правилу должны бы следовать все.

Дюруа ушел взволнованный: он уже смутно предугадывал какие-то новые возможности.

На другой день он отправился с визитом к Форестье; в доме у них заканчивались приготовления к отъезду. Шарль, лежа на диване, преувеличенно тяжело дышал.

— Мне надо было уехать месяц назад,— твердил он.

Хотя обо всем уже было переговорено с Вальтером, тем не менее он дал Дюруа ряд деловых указаний.

Уходя, Жорж крепко пожал руку своему приятелю.

— Ну, старик, до скорого свидания!

Госпожа Форестье пошла проводить его.

— Вы не забыли наш уговор? — с живостью обратился он к ней.— Ведь мы друзья и союзники, не так ли? А потому, если я вам зачем-нибудь понадоблюсь,— не стесняйтесь. Телеграмма, письмо — и я к вашим услугам.

— Спасибо, я не забуду,— прошептала она.

Взгляд ее говорил то же самое, но только еще нежнее и проникновеннее.

На лестнице Дюруа встретил медленно поднимавшегося де Водрека, которого он уже как-то видел у г-жи Форестье. Граф имел печальный вид,— быть может, ему было грустно оттого, что она уезжает?

Желая выказать перед ним свой светский лоск, журналист поспешил поклониться.

Де Водрек ответил учтивым, но несколько высокомерным поклоном.

В четверг вечером Форестье уехали.

VII

После отъезда Шарля Дюруа стал играть более видную роль в редакции «Французской жизни». Он напечатал за своей подписью несколько передовиц, продолжая в то же время подписывать хронику, так как патрон требовал, чтобы каждый сотрудник отвечал за свой материал. Вступал он и в полемику, причем всякий раз блестяще выходил из положения. Между тем постоянное общение с государственными деятелями вырабатывало в нем ловкость и проницательность — качества, необходимые для сотрудника политического отдела.

На горизонте Дюруа было только одно облачко. На него постоянно нападала одна злопыхательствовавшая газетка, выходившая под названием «Перо»,— точнее, в его лице она нападала на заведующего отделом хроники «Французской жизни», «отделом снисходительной хроники г-на Вальтера», как выражался анонимный сотрудник этой газетки. Дюруа ежедневно находил в ней прозрачные намеки, колкости и всякого рода инсинуации.

— Терпеливый вы человек,— сказал ему как-то Жак Риваль.

— Ничего не поделаешь,— пробормотал Дюруа.— Пока прямого нападения нет.

Но вот однажды не успел Дюруа войти в редакционный зал, как Буаренар протянул ему номер «Пера».

— Смотрите, опять неприятная для вас заметка.

— А-а! В связи с чем?

— Ерунда, в связи с тем, что какую-то Обер задержал агент полиции нравов.

Жорж взял газету и прочел заметку под названием «Дюруа забавляется»:

«Знаменитый репортер «Французской жизни» объявляет, что г-жа Обер, которая, как мы об этом сообщали, была арестована агентом гнусной полиции нравов, существует лишь в нашем воображении. Между тем названная особа проживает на Монмартре, улица Экюрей, 18. Впрочем, мы прекрасно отдаем себе отчет, какого рода интерес или, вернее, какого рода интересы побуждают агентов банка Вальтера защищать агентов префекта полиции, который смотрит сквозь пальцы на их коммерцию. Что же касается самого репортера, то уж лучше бы он сообщил нам какую-нибудь сенсационную новость,— ведь он специалист по части известий о смерти, которые завтра же будут опровергнуты, сражений, которые никогда не происходили, и торжественных речей, произнесенных монархами, которые и не думали ничего говорить,— словом, мастер всей той информации, что составляет побочные доходы Вальтера,— или пусть бы он рассказал невинные сплетни о вечерах у женщин, пользующихся сомнительным успехом, или, наконец, расхвалил качество продуктов, приносящих немалую прибыль кое-кому из наших собратьев».

Дюруа, не столько взбешенный, сколько озадаченный, понял одно: под всем этим крылось нечто весьма для него неприятное.

— Кто вам дал эти сведения? — спросил Буаренар.

Дюруа тщетно перебирал в памяти своих сотрудников. Наконец вспомнил:

— Ах да, это Сен-Потен!

Перечитав заметку, он покраснел от злости: его обвиняли в продажности.

— Как! — воскликнул он.— Они утверждают, что мне платят за...

— Ну, разумеется. Они вам сделали гадость. А патрон в таких случаях поблажки не дает. Хроникеры так часто...

В это время вошел Сен-Потен. Дюруа устремился к нему.

— Вы читали заметку в «Пере»?

— Да, я сейчас прямо от госпожи Обер. Она действительно существует, но не была арестована. Этот слух ни на чем не основан.

Дюруа бросился к патрону; тот встретил его холодно, глядел недоверчиво.

— Поезжайте к этой особе,— выслушав его объяснения, сказал Вальтер,— а потом составьте опровержение таким образом, чтобы о вас больше не писали подобных вещей. Я имею в виду то, чем кончается заметка. Это бросает тень и на газету, и на меня, и на вас. Журналист, как жена Цезаря, должен быть вне подозрений.

Дюруа, в качестве проводника взяв с собой Сен-Потена, сел в фиакр.

— Монмартр, улица Экюрей, восемнадцать! — крикнул он кучеру.

Им пришлось подняться на седьмой этаж огромного дома. Дверь отворила старуха в шерстяной кофте.

— Опять ко мне? — при виде Сен-Потена заворчала она.

— Я привел к вам инспектора полиции,— ответил Сен-Потен,— вы должны ему рассказать все, что с вами случилось.

Старуха впустила их.

— После вас приходили еще двое из какой-то газеты, не знаю только, из какой,— сообщила она и обратилась к Дюруа: — Так вы, сударь, хотите знать, как это было?

— Да. Правда ли, что вас арестовал агент полиции нравов?

Она всплеснула руками:

— Ничего подобного, сударь вы мой, ничего подобного. Дело было так. У моего мясника мясо хорошее, да только он обвешивает. Я это часто за ним замечала, но ему — ни слова, а тут прошу у него два фунта отбивных, потому ко мне должны прийти дочка с зятем,— гляжу: он вешает одни обрезки да кости,— правда, отбивных без костей не бывает, да он-то мне кладет одни кости. Правда и то, что из этого можно сделать рагу, но ведь я-то прошу отбивных,— зачем же мне какие-то обрезки? Ну, я отказалась, тогда он меня назвал старой крысой, а я его — старым мошенником. Слово за слово, сцепились мы с ним, а возле лавки уже собрался народ, человек сто, и ну гоготать, и ну гоготать! В конце концов подошел полицейский и повел нас к комиссару. Побыли мы у комиссара — и разошлись

врагами. С тех пор я беру мясо в другом месте, даже лавку его всякий раз обхожу,— от греха подальше.

На этом она кончила свой рассказ.

— Все? — спросил Дюруа.

— Вот все, что было, сударь вы мой.

Старуха предложила Дюруа рюмку черносмородинной наливки, он отказался; тогда она пристала к нему, чтобы он упомянул в протоколе, что мясник обвешивает.

Вернувшись в редакцию, Дюруа написал опровержение:

«Анонимный писака из «Пера», выдернув у себя перышко, с явной целью опорочить меня, утверждает, что одна почтенного возраста женщина была арестована агентом полиции нравов,— я же это отрицаю. Я видел г-жу Обер своими глазами,— ей по меньшей мере шестьдесят лет,— и она во всех подробностях рассказала мне о своей ссоре с мясником: ссора эта возникла из-за того, что он обвесил ее, когда она покупала у него отбивные котлеты, и дело кончилось объяснением у комиссара полиции.

Таковы факты.

Что касается других инсинуаций сотрудника «Пера», то я считаю ниже своего достоинства на них отвечать. Тем более что изобретатель таковых скрывается под маской.

Жорж Дюруа».

Вальтер и вошедший в это время к нему в кабинет Жак Риваль нашли, что этого достаточно; решено было поместить опровержение в ближайшем же номере, прямо под отделом хроники.

Дюруа рано вернулся домой, несколько встревоженный и взволнованный. Что ему ответит аноним? Кто он такой? Почему так резко на него нападает? Зная крутой нрав журналистов, легко можно предположить, что из этой чепухи выйдет целая история. Спал Дюруа плохо.

Когда на другой день он перечитал свою заметку в газете, тон ее показался ему более оскорбительным, чем в рукописи. Пожалуй, отдельные выражения надо было смягчить.

Весь день он нервничал и опять почти не спал ночь. Встал он на рассвете, чтобы поскорее купить номер «Пера» с ответом на его опровержение.

Погода снова изменилась: было очень холодно. Вдоль тротуаров тянулись ледяные ленты прихваченных морозом ручьев.

Газеты еще не поступали в киоски. И тут Дюруа невольно вспомнил день, когда была напечатана его первая статья —

«Воспоминания африканского стрелка». Руки и ноги у него закоченели, он уже чувствовал сильную боль, особенно в кончиках пальцев. Чтобы согреться, он забегал вокруг киоска, в окошке которого виден был лишь нос, красные щеки и шерстяной платок продавщицы, сидевшей на корточках подле жаровни.

Наконец газетчик просунул в форточку долгожданную кипу, и вслед за тем женщина протянула Жоржу развернутый номер «Пера».

Поискав глазами, Дюруа сперва не нашел своего имени. Он уже перевел дух, как вдруг увидел выделенную двумя чертами заметку:

«Почтенный Дюруа, сотрудник «Французской жизни», написал опровержение, но, опровергая, он снова лжет. Впрочем, он признает, что г-жа Обер действительно существует и что агент полиции водил ее в участок. Ему оставалось лишь после слов «агент полиции» вставить еще одно слово: «нравов», и тогда все было бы сказано.

Но совесть у некоторых журналистов стоит на одном уровне с их дарованием.

Я подписываюсь:

Луи Лангремон».

У Дюруа сильно забилось сердце. Не отдавая себе ясного отчета в своих поступках, он пошел домой переодеться. Да, его оскорбили, оскорбили так, что всякое промедление становится невозможным. Из-за чего все это вышло? Ни из-за чего. Из-за того, что какая-то старуха поругалась с мясником.

Он быстро оделся и, хотя еще не было восьми, отправился к Вальтеру.

Вальтер уже встал и читал «Перо».

— Итак,— увидев Дюруа, торжественно начал он,— вы, конечно, не намерены отступать?

Дюруа ничего ему не ответил.

— Немедленно отправляйтесь к Жаку Ривалю,— продолжал издатель,— он вам все устроит.

Пробормотав нечто неопределенное, Дюруа отправился к фельетонисту. Тот еще спал. Звонок заставил его вскочить с постели.

— Дьявольщина! Придется к нему поехать,— прочитав заметку, сказал он.— Кого бы вы хотели вторым секундантом?

— Право, не знаю.

— Что, если Буаренара? Как вы думаете?

— Буаренара так Буаренара.

— Фехтуете вы хорошо?

— Совсем не умею.

— А, черт! Ну, а из пистолета?

— Немного стреляю.

— Прекрасно. Пока я займусь вашими делами, вы поупражняйтесь. Подождите минутку.

Он прошел к себе в туалетную и вскоре вернулся умытый, выбритый, одетый безукоризненно.

— Пойдемте,— сказал он.

Риваль жил в нижнем этаже маленького особняка. Он провел Дюруа в огромный подвал с наглухо забитыми окнами на улицу — подвал, превращенный в тир и в фехтовальный зал.

Здесь он зажег цепь газовых рожков, обрывавшуюся в глубине смежного, менее обширного, подвального помещения, где стоял железный манекен, окрашенный в красный и синий цвета, положил на стол четыре пистолета новой системы, заряжающиеся с казенной части, а затем, точно они были уже на месте дуэли, начал отрывисто подавать команду:

— Готово? Стреляйте! Раз, два, три!

В ранней юности Дюруа часто стрелял на огороде птиц из старого отцовского седельного пистолета, и теперь это ему пригодилось: покорно, не рассуждая, поднимал он руку, целился, спускал курок и часто попадал манекену прямо в живот, выслушивая при этом одобрительные замечания Жака Риваля:

— Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Вы делаете успехи.

Уходя, он сказал:

— Стреляйте так до полудня. Вот вам патроны, не жалейте их. Я зайду за вами, чтобы вместе позавтракать, и все расскажу.

С этими словами он вышел.

Сделав еще несколько выстрелов, Дюруа сел и задумался.

— Какая, однако, все это чушь! Кому это нужно? Неужели мерзавец перестает быть мерзавцем только оттого, что дрался на дуэли? И с какой радости честный человек, которого оскорбила какая-то мразь, должен подставлять свою грудь под пули?

Мысли его приняли мрачное направление, и он невольно вспомнил то, что говорил Норбер де Варен о бессилии разума, убожестве наших идей, тщете наших усилий и о нелепости человеческой морали.

— Черт возьми, как он был прав! — вслух проговорил Дюруа.

Ему захотелось пить. Где-то капала вода; он обернулся и,

увидев душ, подошел и напился прямо из трубки. Затем снова погрузился в раздумье. В подвале было мрачно, мрачно, как в склепе. Глухой стук экипажей, доносившийся с улицы, напоминал отдаленные раскаты грома. Который теперь час? Время тянулось здесь, как в тюрьме, где его указывают и отмеряют лишь приходы тюремщика, который приносит пищу. Он ждал долго-долго.

Но вот послышались шаги, голоса, и вместе с Буаренаром вошел Жак Риваль.

— Все улажено! — издали крикнул он.

Дюруа подумал, что дело может кончиться извинительным письмом. Сердце у него запрыгало.

— А-а!.. Благодарю,— пробормотал он.

— Этот Лангремон — не робкого десятка,— продолжал фельетонист,— он принял все наши условия. Двадцать пять шагов, стрелять по команде, подняв пистолет. Так рука гораздо тверже, чем при наводке сверху вниз. Смотрите, Буаренар, вы увидите, что я прав.

И, взяв пистолет, он начал стрелять, показывая, что, наводя снизу вверх, легче сохранить линию прицела.

— А теперь пойдемте завтракать, уже первый час,— сказал он немного погодя.

Они позавтракали в ближайшем ресторане. Дюруа за все время не проронил ни слова; он ел только для того, чтобы не подумали, что он трусит. Придя вместе с Буаренаром в редакцию, он машинально, рассеянно принялся за работу. Все нашли, что он держится великолепно.

Среди дня Жак Риваль зашел пожать руку Дюруа, и они уговорились, что секунданты заедут за ним в ландо к семи утра, а затем все вместе отправятся в лес Везине, где и должна была состояться встреча.

Все это случилось внезапно, помимо него, никто даже не полюбопытствовал, что он обо всем этом думает, никто не дал себе труда спросить, согласен он или нет; события развивались с такой быстротой, что он до сих пор не мог опомниться, прийти в себя, разобраться в происшедшем.

Пообедав с Буаренаром, который, как преданный друг, весь день не отходил от него ни на шаг, Дюруа около девяти вечера вернулся домой.

Оставшись один, он несколько минут большими быстрыми шагами ходил из угла в угол. Он был до того взволнован, что ни о чем не мог думать. Одна-единственная мысль гвоздем сидела у него в голове: «Завтра дуэль», но, кроме безотчетной,

все растущей тревоги, она ничего не вызывала в нем. И, однако, был же он солдатом, стрелял же он когда-то в арабов,— впрочем, большой опасности это для него не представляло: ведь это почти то же, что охота на кабанов.

В общем, он поступил как должно. Он показал себя с лучшей стороны. О нем заговорят, его будут хвалить, поздравлять. Но тут, как это бывает с людьми в минуту сильной душевной встряски, Дюруа громко воскликнул:

— Какая же он скотина!

Потом сел и задумался. На столе валялась визитная карточка противника, которую Риваль дал ему для того, чтобы он знал адрес. Он снова перечел ее — уже в двадцатый раз: «Луи Лангремон, улица Монмартр, 176». Вот и все.

Он всматривался в этот ряд букв, и они казались ему таинственными, полными зловещего смысла. «Луи Лангремон» — что это за человек? Сколько ему лет? Какого он роста? Какое у него лицо? Разве это не безобразие, что какой-то посторонний человек, незнакомец, вдруг, ни с того ни с сего, здорово живешь, нарушает мирное течение вашей жизни из-за того, что какая-то старуха поругалась со своим мясником?

— Экая скотина! — снова проговорил он вслух.

Он сидел неподвижно, смотрел, не отрываясь, на визитную карточку и размышлял. В нем росла злоба на этот клочок бумаги, дикая злоба, к которой примешивалось странное чувство неловкости. Какая глупая история! Он схватил ножницы для ногтей и, с таким видом, точно наносил кому-то удар кинжалом, проткнул напечатанное на картоне имя.

Итак, он должен драться, и притом на пистолетах! Почему он не выбрал шпагу? Отделался бы царапиной на руке, а тут еще неизвестно, чем кончится.

— А ну, не вешать голову! — сказал он себе.

Звук собственного голоса заставил его вздрогнуть, и он оглядел по сторонам. Какой он, однако, стал нервный! Он выпил стакан воды и начал раздеваться.

Затем лег, погасил свет и закрыл глаза.

Под одеялом ему стало очень жарко, хотя в комнате было весьма прохладно, и ему так и не удалось задремать. Он все время ворочался: полежав минут пять на спине, ложился на левый бок, потом на правый.

К тому же его мучила жажда. Он встал, выпил воды, и тут им овладело беспокойство: «Что это, неужели я трушу?»

Отчего сердце у него начинает бешено колотиться при малейшем привычном шорохе в комнате? Чуть только скрипнет

пружина стенных часов перед боем, как по телу у него пробегает дрожь, ему становится нечем дышать, и несколько секунд он ловит ртом воздух.

Он принялся подробно, как психолог, анализировать свое состояние: «Боюсь я или нет?»

Конечно, нет, не боится,— ведь он решил идти до конца, у него есть твердое намерение драться, не проявить малодушия. Но он так волновался, что невольно задал себе вопрос: «Можно ли испытывать страх помимо собственной воли?» И тут сомнения, тревога, ужас разом нахлынули на него. Что будет, если иная сила, более мощная, чем его личная воля, властная, неодолимая сила возьмет над ним верх? Да, что тогда будет?

Конечно, он выйдет к барьеру, раз он этого хочет. Ну, а если начнет дрожать? Если потеряет сознание? Ведь от его поведения на дуэли зависит все: достигнутое благополучие, репутация, будущность.

У него возникло необъяснимое желание встать и посмотреть на себя в зеркало. Он зажег свечу. Увидев свое отражение в шлифованном стекле, он едва узнал себя — он точно видел себя впервые. Глаза казались огромными; он был бледен, да, бледен, очень бледен.

Внезапно пулей впилась в него мысль: «Быть может, завтра в это время меня уже не будет в живых». И опять у него отчаянно забилось сердце.

Он подошел к кровати, и вдруг ему ясно представилось, что он лежит на спине, под тем самым одеялом, которое он только что откинул, вставая. Лицо у двойника было истонченное, как у мертвеца, и еще бросалась в глаза белизна навеки застывших рук.

Ему стало страшно собственной кровати; чтобы не видеть ее, он растворил окно и высунулся наружу.

Тотчас же он весь заледенел, задохнулся и отскочил от окна.

Он решил затопить камин. Медленно, не оборачиваясь, принялся он растапливать. Когда он прикасался к чему-нибудь, руки у него начинали дрожать нервной дрожью. Соображал он плохо, в голове кружились разорванные, ускользающие, мрачные мысли, рассудок мутился, как у пьяного.

Он все время спрашивал себя:

— Что мне делать? Что со мной будет?

Он снова зашагал по комнате, машинально повторяя одно и то же:

— Я должен взять себя в руки, во что бы то ни стало я должен взять себя в руки.

Некоторое время спустя он вдруг подумал: «На всякий случай надо написать родителям».

Он сел и, положив перед собой лист почтовой бумаги, начал писать: «Дорогие папа и мама...»

Но это обращение показалось ему недостаточно торжественным для столь трагических обстоятельств. Разорвав лист, он начал снова: «Дорогие отец и мать, завтра чуть свет у меня дуэль, и так как может случиться, что...»

У него не хватило смелости дописать до конца, и он вскочил со стула.

Мысль о дуэли угнетала его. Завтра он выйдет к барьеру. Это неизбежно. Но что же в нем происходит? Он хочет драться, он непоколебим в этом своем твердом намерении и решении. И вместе с тем ему казалось, что, сколько бы он ни заставлял себя, у него даже не хватит сил добраться до места дуэли.

По временам у него начинали стучать зубы,— это был сухой и негромкий стук.

«Приходилось ли моему противнику драться на дуэли? — думал Дюруа.— Посещал ли он тир? Классный ли он стрелок? Знают ли его как хорошего стрелка?» Он, Дюруа, никогда о нем не слыхал. Однако если этот человек без малейших колебаний, без всяких разговоров соглашается драться на пистолетах,— значит, он превосходно владеет этим опасным оружием.

Дюруа пытался вообразить, как будут вести себя во время дуэли он сам и его противник. Он напрягал мысль, силясь угадать малейшие подробности поединка. Но вдруг он увидел перед собой узкое и глубокое черное отверстие, из которого должна вылететь пуля.

И тут им овладело невыразимое отчаяние. Все тело его судорожно вздрагивало. Он стиснул зубы, чтобы не закричать, он готов был, как безумный, кататься по полу, рвать и кусать все, что попадется под руку. Но, увидев на камине рюмку, вспомнил, что в шкафу у него стоит почти полный литр водки (от военной службы у Дюруа осталась привычка каждое утро «промачивать горло»).

Он схватил бутылку и, жадно припав к ней, стал пить прямо из горлышка, большими глотками. Только когда у него захватило дыхание, он поставил ее на место. Опорожнил он ее на целую треть.

Что-то горячее, как огонь, тотчас обожгло ему желудок, растеклось по жилам, одурманило его, и он почувствовал себя крепче.

«Я нашел средство»,— подумал он.

Тело у него горело, пришлось снова открыть окно.

Занимался день, морозный и тихий. Там, в посветлевшей вышине небес, казалось, умирали звезды, а в глубокой железнодорожной траншее уже начинали бледнеть сигнальные огни, зеленые, красные, белые.

Из депо выходили первые паровозы и, свистя, направлялись к первым поездам. Вдали, точно петухи в деревне, беспрестанно перекликались другие, спугивая предутреннюю тишь своими пронзительными криками.

«Быть может, я этого никогда больше не увижу»,— мелькнуло в голове у Дюруа. Но он сейчас же встряхнулся и подавил вновь пробудившуюся жалость к себе: «Полно! Ни о чем не надо думать до самой дуэли, только так и можно сохранить присутствие духа».

Он стал одеваться. Во время бритья у него снова екнуло сердце: ему пришла мысль, что, быть может, он в последний раз смотрит на себя в зеркало.

Однако, выпив еще глоток водки, он закончил свой туалет.

Последний час показался ему особенно тяжким. Он ходил взад и вперед по комнате, пытаясь восстановить душевное равновесие. Когда раздался стук в дверь, от волнения он едва устоял на ногах. Пришли секунданты. Уже!

Они были в шубах.

Жак Риваль пожал своему подопечному руку.

— Холод сибирский. Ну, как мы себя чувствуем?

— Отлично.

— Не волнуемся?

— Ничуть.

— Ну-ну, значит, все в порядке. Вы уже позавтракали?

— Да, я готов.

Буаренар ради такого торжественного случая нацепил иностранный желто-зеленый орден,— Дюруа видел его на нем впервые.

Они сошли вниз. В ландо их дожидался какой-то господин.

— Доктор Ле Брюман,— представил его Риваль.

— Благодарю вас,— здороваясь с ним, пробормотал Дюруа.

Он решил было занять место на передней скамейке, но опустился на что-то твердое и подскочил, как на пружинах. Это был ящик с пистолетами.

— Не сюда! Дуэлянт и врач сзади! — несколько раз повторил Риваль.

Дюруа наконец понял, чего от него хотят, и грузно сел рядом с доктором.

Затем уселись секунданты, и лошади тронули. Кучер знал, куда ехать.

Ящик с пистолетами мешал всем, особенно Дюруа,— он предпочел бы не видеть его вовсе. Попробовали поставить сзади — он бил по спине; поместили между Ривалем и Буаренаром — он все время падал. Кончилось тем, что задвинули его под скамейку.

Доктор рассказывал анекдоты, но разговор все же не клеился. Один лишь Риваль подавал ему реплики. Дюруа хотелось выказать присутствие духа, но он боялся, что мысли у него спутаются и что этим он выдаст свое душевное смятение. Притом его мучила страшная мысль: а вдруг он начнет дрожать?

Экипаж вскоре выехал за город. Было около девяти. В это морозное зимнее утро вся природа казалась искрящейся, ломкой и твердой, как хрусталь. Каплями ледяного пота висел на деревьях иней; земля под ногами звенела; в сухом воздухе далеко разносился малейший звук; голубое небо блестело, как зеркало, и в нем, ослепительное и тоже холодное, проплывало солнце, посылая окоченевшему миру свои негреющие лучи.

— Пистолеты я купил у Гастин-Ренета,— обращаясь к Дюруа, сказал Жак Риваль.— Он же сам их и зарядил. Ящик запечатан. Впрочем, придется бросить жребий, из чьих пистолетов стрелять: из ваших или из его.

— Благодарю,— машинально ответил Дюруа.

С целью предотвратить малейшую ошибку со стороны своего подопечного Риваль дал ему подробные указания. Каждое из них он повторял по нескольку раз:

— Когда спросят: «Готовы?», отвечайте громко: «Да!» Когда скомандуют: «Стреляйте!», быстро поднимите руку и спустите курок прежде, чем успеют крикнуть: «Три!»

«Когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку,— твердил про себя Дюруа,— когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку, когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку».

Для того чтобы наставления Риваля запечатлелись у него в памяти, он зубрил их, как школьник, до тех пор, пока они не набили ему оскомины: «Когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку».

Въехав в лес, ландо свернуло направо, в аллею, потом опять направо. Риваль резким движением распахнул дверцу и крикнул кучеру:

— Сюда, по этой дорожке.

Это была торная дорога, тянувшаяся между двумя перелесками; на деревьях дрожали сухие листья с ледяной бахромкой.

Дюруа все еще бормотал себе под нос:

— Когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку.

Вдруг ему пришла мысль, что катастрофа с экипажем могла бы уладить все. Вывалиться из ландо, сломать себе ногу — как бы это было хорошо!..

Но тут он заметил, что на краю прогалины стоит экипаж, а поодаль четверо мужчин топчутся на месте, чтобы согреть ноги. Ему даже пришлось раскрыть рот — так у него захватило дыхание.

Сначала вышли секунданты, за ними врач и Дюруа. Риваль взял ящик с пистолетами и вместе с Буаренаром пошел навстречу двум незнакомцам. Дюруа видел, как они церемонно раскланялись и вчетвером двинулись вперед по прогалине, глядя то себе под ноги, то на деревья, будто искали что-то улетевшее или упавшее наземь. Потом отсчитали шаги и с силой воткнули в мерзлую землю две палки. Затем опять сбились в кучу и стали делать такие движения, точно играли в орлянку.

— Вы себя хорошо чувствуете? — обратился к Дюруа Ле Брюман.— Вам ничего не требуется?

— Нет, ничего, благодарю вас.

Дюруа казалось, будто он сошел с ума, будто ему снится сон, будто он грезит, будто что-то сверхъестественное обступило его со всех сторон.

Боится ли он? Пожалуй, да! Он и сам не знал. Все вокруг него преобразилось.

Вернулся Жак Риваль и с довольным видом шепнул ему:

— Все готово. С пистолетами нам повезло.

Дюруа это было совершенно безразлично.

С него сняли пальто. Он не противился. Затем ощупали карманы сюртука, чтобы удостовериться, не защищен ли он бумажником или чем-нибудь вроде этого.

«Когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку»,— как молитву твердил он про себя.

Потом его подвели к одной из воткнутых в землю палок и сунули в руку пистолет. Тут только он заметил, что впереди, совсем близко, стоит лысый пузан в очках. Это и был его противник.

Он видел его очень ясно, но думал об одном: «Когда скомандуют: «Стреляйте!», я подниму руку и спущу курок». Внезапно мертвую тишину леса нарушил чей-то голос, как бы донесшийся издалека:

— Готовы?

— Да! — крикнул Жорж.

— Стреляйте! — скомандовал тот же голос.

Дюруа ничего уже больше не улавливал, не различал, не сознавал, он чувствовал лишь, что поднимает руку и изо всех сил нажимает спусковой крючок.

Но он ничего не услышал.

Однако он тотчас же увидел дымок около дула своего пистолета. Человек, стоявший против него, не шевельнулся, не изменил положения, и над его головой тоже вилось белое облачко.

Они выстрелили оба. Все было кончено.

Секунданты и врач осматривали его, ощупывали, расстегивали одежду, с тревогой в голосе спрашивали:

— Вы не ранены?

— Кажется, нет,— ответил он наугад.

Лангремон тоже был невредим.

— С этими проклятыми пистолетами всегда так,— проворчал Риваль,— либо промах, либо наповал. Мерзкое оружие!

Дюруа не двигался. Он обомлел от радости и изумления. «Дуэль кончилась!» Пришлось отнять у него пистолет, так как он все еще сжимал его в руке. Теперь ему казалось, что он померялся бы силами с целым светом. Дуэль кончилась. Какое счастье! Он до того вдруг осмелел, что готов был бросить вызов кому угодно.

Секунданты поговорили несколько минут и условились встретиться в тот же день для составления протокола, потом все снова сели в экипаж, и кучер, ухмыляясь, щелкнул бичом.

Некоторое время спустя оба секунданта, Дюруа и врач уже завтракали в ресторане и говорили о поединке. Дюруа описывал свои ощущения:

— Я нисколько не волновался. Нисколько. Впрочем, вы это и сами, наверно, заметили?

— Да, вы держались хорошо,— подтвердил Риваль.

В тот же день Дюруа получил протокол,— он должен был поместить его в хронике. Сообщение о том, что он «обменялся с г-ном Луи Лангремоном двумя выстрелами», удивило его, и, слегка смущенный, он спросил Риваля:

— Но ведь мы выпустили по одной пуле?

Риваль усмехнулся.

— Да, по одной... каждый — по одной... значит, всего две.

Объяснение Риваля удовлетворило Дюруа, и он не стал в это углубляться.

Старик Вальтер обнял его:

— Браво, браво, вы не посрамили «Французской жизни», браво!

Вечером Жорж показался в редакциях самых влиятельных газет и в самых модных ресторанах. Со своим противником он встретился дважды,— тот, видимо, тоже счел нужным показать себя.

Они не поклонились друг другу. Они обменялись бы рукопожатием только в том случае, если бы один из них был ранен. Впрочем, оба клялись, что слышали, как над головой у них просвистели пули.

На другой день, около одиннадцати, Дюруа получил «голубой листочек»:

«Боже, как я боялась за тебя! Приходи скорей на Константинопольскую, я хочу поцеловать тебя, моя радость. Какой ты смелый!

Обожающая тебя *Кло*».

Когда он пришел на свидание, она бросилась к нему в объятия и покрыла поцелуями его лицо.

— Дорогой мой, если б ты знал, как взволновали меня сегодняшние газеты! Ну, рассказывай же! С самого начала. Я хочу знать, как это было.

Он вынужден был рассказать ей все до мелочей.

— Воображаю, какую ты ужасную ночь провел перед дуэлью! — воскликнула она.

— Да нет. Я отлично спал.

— Я бы на твоем месте не сомкнула глаз. А как прошла самая дуэль?

Он тут же сочинил драматическую сцену:

— Когда мы стали друг против друга, в двадцати шагах,— расстояние всего лишь в четыре раза больше, чем эта комната,— Жак спросил, готовы ли мы, и скомандовал: «Стреляйте!» В ту же секунду я поднял руку, вытянул ее по прямой линии и стал целить в голову,— это была моя ошибка. Пистолет мне попался с тугим курком, а я привык к легкому спуску,— в результате сопротивление спускового крючка отклонило выстрел в сторону. Но все-таки я чуть-чуть в него не попал. Он тоже здорово стреляет, мерзавец. Пуля оцарапала мне висок. Я почувствовал ветер.

Сидя у Дюруа на коленях, г-жа де Марель сжимала его в своих объятиях,— она точно желала разделить грозившую ему опасность.

— Ах, бедняжка, бедняжка,— шептала она.

Когда он кончил свой рассказ, г-жа де Марель воскликнула:

— Ты знаешь, я не могу больше жить без тебя! Я должна с тобой видеться, но, пока муж в Париже, это невозможно. Утром я могла бы вырваться на часок и забежать поцеловать тебя, когда ты еще в постели, но в твой ужасный дом я не пойду. Как быть?

Дюруа пришла в голову счастливая мысль.

— Сколько ты здесь платишь? — спросил он.

— Сто франков в месяц.

— Ну, так вот: я обосную в этих комнатах и буду платить за них сам. Теперь моя квартира меня уже не устраивает.

— Нет. Я не согласна,— подумав несколько секунд, возразила она.

Он удивился:

— Почему?

— Потому...

— Это не объяснение. Здесь мне очень нравится. Кончено. Я остаюсь.

И он засмеялся:

— К тому же квартира снята на мое имя.

Она стояла на своем:

— Нет, нет, я не хочу...

— Да почему же?

В ответ он услышал ее ласковый шепот:

— Потому что ты будешь приводить сюда женщин, а я этого не хочу.

Он возмутился:

— Да ни за что на свете! Обещаю тебе.

— Нет, будешь.

— Клянусь...

— Правда?

— Правда. Честное слово. Это наш дом — и больше ничей.

Она порывисто обняла его.

— Ну хорошо, мой дорогой. Но знай: если ты меня хоть раз обманешь, один-единственный раз,— между нами все будет кончено, навсегда.

Дюруа снова разуверил ее, дал клятву, и в конце концов они решили, что он переедет сегодня же, а она будет забегать к нему по дороге.

— Во всяком случае, приходи к нам завтра обедать,— сказала она.— Мой муж от тебя в восторге.

Он был польщен.

— Вот как! В самом деле?..

— Ты его пленил. Да, слушай, ты мне говорил, что ты вырос в деревне, в имении, правда?

— Да, а что?

— Значит, ты немного смыслишь в сельском хозяйстве?

— Да.

— Ну, так поговори с ним о садоводстве, об урожаях,— он это страшно любит.

— Хорошо. Непременно.

Дуэль вызвала у нее прилив нежности к нему, и, перед тем как уйти, она целовала его без конца.

Идя в редакцию, Дюруа думал о ней:

«Что за странное существо! Порхает по жизни, как птичка! Никогда не угадаешь, что может ей взбрести на ум, что может ей прийтись по вкусу! И какая уморительная пара! Зачем проказнице-судьбе понадобилось сводить этого старца с этой сумасбродкой? Что побудило ревизора железных дорог жениться на этой сорвиголове? Загадка! Кто знает! Быть может, любовь?

Во всяком случае,— заключил он,— она очаровательная любовница. Надо быть круглым идиотом, чтобы ее упустить».

VIII

Дуэль выдвинула Дюруа в разряд присяжных фельетонистов «Французской жизни». Но так как ему стоило бесконечных усилий находить новые темы, то он специализировался на трескучих фразах о падении нравов, о всеобщем измельчании, об ослаблении патриотического чувства и об анемии национальной гордости у французов. (Он сам придумал это выражение: «Анемия национальной гордости», и был им очень доволен.)

И когда г-жа де Марель, отличавшаяся скептическим, насмешливым и язвительным, так называемым парижским складом ума, издеваясь над его тирадами, уничтожала их одной какой-нибудь меткой остротой, он говорил ей с улыбкой:

— Ничего! Мне это пригодится в будущем.

Жил он теперь на Константинопольской; он перенес сюда свой чемодан, щетку, бритву и мыло,— в этом и заключался весь его переезд. Каждые два-три дня, пока он еще лежал в постели, к нему забегала г-жа де Марель; не успев согреться, она быстро раздевалась, чтобы сейчас же юркнуть к нему под одеяло, и долго еще не могла унять дрожи.

По четвергам Дюруа обедал у нее и, чтобы доставить мужу удовольствие, толковал с ним о сельском хозяйстве. Но так как

он и сам любил деревню, то иной раз оба они так увлекались беседой, что забывали про свою даму, дремавшую на диване.

Лорина тоже засыпала, то на коленях у отца, то на коленях у Милого друга.

По уходе журналиста г-н де Марель неукоснительно замечал тем наставительным тоном, каким он говорил о самых обыкновенных вещах:

— Очень милый молодой человек. И умственно очень развит.

Был конец февраля. По утрам на улицах возле тележек с цветами уже чувствовался запах фиалок.

Дюруà наслаждался безоблачным счастьем.

И вот однажды вечером, вернувшись домой, он обнаружил под дверью письмо. На штемпеле стояло: «Канн». Распечатав конверт, он прочел:

«Канн, вилла «Красавица»

Дорогой друг, помните, вы мне сказали, что я могу во всем положиться на вас? Так вот, я вынуждена просить вас принести себя в жертву: приезжайте, не оставляйте меня одну с умирающим Шарлем в эти последние его мгновенья. Хотя он еще ходит по комнате, но доктор меня предупредил, что, может быть, он не проживет и недели.

У меня не хватает ни сил, ни мужества день и ночь смотреть на эту агонию. И я с ужасом думаю о приближающихся последних минутах. Родных у моего мужа нет; кроме вас, мне не к кому обратиться. Вы его товарищ; он открыл вам двери редакции. Приезжайте, умоляю вас. Мне некого больше позвать.

Ваш преданный друг

Мадлена Форестье».

Какое-то странное чувство точно ветром овеяло душу Дюруа: это было чувство освобождения, ощущение открывающегося перед ним простора.

— Конечно, поеду,— прошептал он.— Бедный Шарль! Вот она, жизнь человеческая!

Письмо г-жи Форестье он показал патрону,— тот поворчал, но в конце концов согласился.

— Только возвращайтесь скорей, вы нам необходимы,— несколько раз повторил Вальтер.

На другой день, послав супругам Марель телеграмму, Жорж Дюруа скорым семичасовым выехал в Канн.

Приехал он туда почти через сутки, около четырех часов вечера.

Посыльный проводил его на виллу «Красавица», выстроенную на склоне горы, в усеянном белыми домиками сосновом лесу, что тянется от Канн до залива Жуан.

Форестье снимали низенький маленький домик в итальянском стиле; он стоял у самой дороги, извивавшейся меж деревьев и на каждом своем повороте открывавшей глазам чудесные виды.

Дверь отворил слуга.

— А-а, пожалуйте, сударь! — воскликнул он.— Госпожа Форестье ждет вас с нетерпением.

— Как себя чувствует господин Форестье? — спросил Дюруа.

— Да неважно, сударь! Ему недолго осталось жить.

Гостиная, куда вошел Дюруа, была обита розовым ситцем с голубыми разводами. Из большого широкого окна видны были город и море.

— Ого, шикарная дача! — пробормотал Дюруа.— Где же они, черт возьми, берут столько денег?

Шелест платья заставил его обернуться.

Госпожа Форестье протягивала ему руки:

— Как хорошо вы сделали, что приехали! Как это хорошо!

Неожиданно для Дюруа она обняла его. Затем они посмотрели друг на друга.

Она немного осунулась, побледнела, но все так же молодо выглядела,— пожалуй, она даже похорошела, стала изящнее.

— Понимаете, он в ужасном состоянии,— шепотом заговорила она,— он знает, что дни его сочтены, и мучает меня невыносимо. Я ему сказала, что вы приехали. А где же ваш чемодан?

— Я оставил его на вокзале,— ответил Дюруа,— я не знал, в какой гостинице вы мне посоветуете остановиться, чтобы быть поближе к вам.

— Оставайтесь здесь, у нас,— после некоторого колебания сказала она.— Кстати, комната вам уже приготовлена. Он может умереть с минуты на минуту, и если это случится ночью, то я буду совсем одна. Я пошлю за вашими вещами.

Он поклонился.

— Как вам будет угодно.

— А теперь пойдемте наверх,— сказала она.

Он последовал за ней. Поднявшись на второй этаж, она отворила дверь, и Дюруа увидел перед собой закутанный в одеяла полутруп: мертвенно-бледный при багровом свете вечер-

ней зари, Форестье сидел у окна в кресле и смотрел на него. Дюруа мог только догадаться, что это его друг,— до того он изменился.

В комнате стоял запах человеческого пота, лекарств, эфира, смолы — удушливый, непередаваемый запах, пропитывающий помещение, где дышит чахоточный.

Форестье медленно, с трудом поднял руку.

— А, это ты! — сказал он.— Приехал посмотреть, как я умираю? Спасибо.

— Посмотреть, как ты умираешь? — с принужденным смехом переспросил Дюруа.— Не такое это веселое зрелище, чтобы ради него стоило ехать в Канн. Просто мне захотелось немного отдохнуть и заодно навестить тебя.

— Садись,— прошептал Форестье и, опустив голову, мрачно задумался.

Дыхание у больного было частое, прерывистое; порой он словно хотел напомнить окружающим, как он страдает, и тогда оно вырывалось у него из груди вместе со стоном.

Заметив, что он не собирается продолжать беседу, г-жа Форестье облокотилась на подоконник и кивком головы указала на горизонт:

— Посмотрите, какая красота!

Прямо перед ними облепленный виллами склон горы спускался к городу, что разлегся подковой на берегу; справа, над молом, возвышалась старая часть города, увенчанная древнею башней, а слева он упирался в мыс Круазет, как раз напротив Леринских островов. Островки эти двумя зелеными пятнами выделялись среди синей-синей воды. Можно было подумать, что это громадные плывущие листья,— такими плоскими казались они сверху.

А там, далеко-далеко, по ту сторону залива, над молом и башней, заслоняя горизонт, причудливой изумительной линией вырисовывалась на пылающем небе длинная голубоватая цепь горных вершин, остроконечных, изогнутых, круглых, заканчивавшаяся высокой пирамидальной скалой, подножье которой омывали волны открытого моря.

— Это Эстерель,— пояснила г-жа Форестье.

Небо за темными высями гор было нестерпимого для глаз золотисто-кровавого цвета.

Дюруа невольно проникся величественностью заката.

— О да! Это потрясающе! — не найдя более образного выражения, чтобы передать свой восторг, прошептал он.

Форестье вскинул глаза на жену и сказал:

— Я хочу подышать воздухом.

— Смотри, ведь уж поздно, солнце садится,— возразила она,— еще простудишься, а ты сам должен знать, что это тебе совсем не полезно.

Форестье, видимо, хотел стукнуть кулаком, но вместо этого слабо и нетерпеливо шевельнул правой рукой, а черты его лица исказила злобная гримаса, гримаса умирающего, от чего еще резче обозначились его иссохшие губы, впалые щеки и торчащие скулы.

— Говорят тебе, я задыхаюсь,— прохрипел он,— какое тебе дело, умру я днем раньше или днем позже,— все равно мне крышка...

Госпожа Форестье настежь распахнула окно.

Все трое восприняли дуновение ветра как ласку. Это был тихий, теплый, нежащий весенний ветер, уже напоенный пьянящим благоуханием цветов и деревьев, росших по склону горы. В нем можно было различить сильный запах пихты и терпкий аромат эвкалиптов.

Форестье вдыхал его с лихорадочной торопливостью.

Но вдруг он впился ногтями в ручки кресла, и в тот же миг послышался его свистящий, яростный шепот:

— Закрой окно. Мне только хуже от этого. Я предпочел бы издохнуть в подвале.

Госпожа Форестье медленно закрыла окно и, прижавшись лбом к стеклу, стала смотреть вдаль.

Дюруа чувствовал себя неловко; ему хотелось поговорить с больным, ободрить его.

Но он не мог придумать ничего утешительного.

— Так ты здесь не поправляешься? — пробормотал он.

Форестье нервно и сокрушенно пожал плечами.

— Как видишь,— сказал он и снова понурил голову.

— Дьявольщина! А насколько же здесь лучше, чем в Париже! Там еще зима вовсю. Снег, дождь, град, в три часа уже совсем темно, приходится зажигать лампу.

— Что нового в редакции? — спросил Форестье.

— Ничего. На время твоей болезни пригласили из «Вольтера» этого коротышку Лакрена. Но он еще зелен. Пора тебе возвращаться!

— Мне? — пробормотал больной.— Я уже теперь буду писать статьи под землей, на глубине шести футов.

Навязчивая идея возвращалась к нему с частотою ударов колокола, по всякому поводу проскальзывала в каждом его замечании, в каждой фразе.

Воцарилось молчание, тягостное и глубокое. Закатный пожар постепенно стихал, и горы на фоне темневшего, хотя все еще алого неба становились черными. Тень, сохранявшая отблеск догорающего пламени, предвестницей ночи проникнув в комнату, окрасила ее стены, углы, обои и мебель в смешанные чернильно-пурпурные тона. Зеркало над камином, отражавшее даль, казалось кровавым пятном.

Госпожа Форестье, припав лицом к окну, продолжала стоять неподвижно.

Форестье вдруг заговорил прерывающимся, сдавленным, надрывающим душу голосом:

— Сколько мне еще суждено увидеть закатов?.. Восемь... десять... пятнадцать, двадцать, может быть, тридцать,— не больше... У вас еще есть время... А для меня все кончено... И все будет идти своим чередом... после моей смерти,— так же, как и при мне...

— На что бы я ни взглянул,— помолчав несколько минут, продолжал он,— все напоминает мне о том, что спустя несколько дней я ничего больше не увижу... Как это ужасно... не видеть ничего... ничего из того, что существует... самых простых вещей... стаканов... тарелок... кроватей, на которых так хорошо отдыхать... экипажей. Как приятны эти вечерние прогулки в экипаже... Я так любил все это!

Пальцы его быстро и нервно бегали по ручкам кресла, как если бы он играл на рояле. Каждая пауза, которую он делал, производила еще более тяжелое впечатление, чем его слова,— чувствовалось, что в это время он думает о чем-то очень страшном.

И тут Дюруа вспомнил то, что ему не так давно говорил Норбер де Варен: «Теперь я вижу смерть так близко, что часто мне хочется протянуть руку и оттолкнуть ее... Я нахожу ее всюду. Букашки, раздавленные посреди дороги, сухие листья, седой волос в бороде друга — все ранит мне сердце и кричит: «Вот она!»

Тогда он этого не мог понять; теперь, при взгляде на Форестье, понял. И еще не испытанная им безумная тоска охватила его: ему вдруг почудилось, будто совсем близко от него, на расстоянии вытянутой руки, в кресле, где задыхался больной, притаилась чудовищно уродливая смерть. Ему захотелось встать, уйти отсюда, бежать, как можно скорей вернуться в Париж! О, если б он знал, он ни за что не поехал бы в Канн!

Ночной мрак, словно погребальный покров, раньше времени накинутый на умирающего, мало-помалу окутал всю комнату.

Можно было различить лишь окно и в его светлом четырехугольнике неподвижный силуэт молодой женщины.

— Что же, дождусь я сегодня лампы? — с раздражением спросил Форестье.— Это называется уход за больным!

Темный силуэт, вырисовывавшийся на фоне окна, исчез, и вслед за тем в гулкой тишине дома резко прозвучал звонок.

Немного погодя вошел слуга и поставил на камин лампу.

— Хочешь лечь или сойдешь вниз обедать? — обратилась к мужу г-жа Форестье.

— Сойду вниз,— прошептал он.

В ожидании обеда все трое еще около часа сидели неподвижно, порою обмениваясь пошлыми, ненужными словами, как будто слишком долгое молчание таило в себе опасность, неведомую опасность, как будто им во что бы то ни стало надо было не дать застыть немоте этой комнаты,— комнаты, где поселилась смерть.

Наконец обед начался. Дюруа он показался долгим, бесконечно долгим. Все ели молча, бешумно, затем принимались лепить хлебные шарики. Слуга в мягких туфлях — стук каблуков раздражал Шарля — неслышно входил, уходил, подавал кушанья. Тишину нарушало лишь мерное качанье маятника с его механическим, резким «тик-так».

После обеда Дюруа сослался на усталость и ушел к себе в комнату. Облокотясь на подоконник, он смотрел на полную луну: точно гигантский ламповый шар, стояла она в небе и, заливая своим безжизненным матовым светом белые стены вилл, осыпала море блестящей чешуей, тонкой и зыбкой. Дюруа пытался найти удобный предлог для отъезда,— вроде того, что он получил телеграмму, что его вызывает Вальтер,— придумывал всевозможные уловки.

Но на другое утро все эти планы бегства показались ему почти невыполнимыми. Г-жу Форестье все равно не проведешь, только из-за собственной трусости лишишься награды за свою преданность. «Разумеется, это невесело,— говорил он себе,— ну, ничего, в жизни бывают неприятные моменты. К тому же это, пожалуй, не затянется».

Был один из тех южных дней, когда в воздухе разлита такая голубизна, что сердце невольно замирает от счастья. Решив, что он успеет еще насидеться у Форестье, Дюруа спустился к морю.

Когда он пришел завтракать, слуга сообщил ему:

— Господин Дюруа! Господин Форестье уже про вас спрашивал. Не угодно ли вам, господин Дюруа, пройти к господину Форестье?

Он поднялся наверх. Форестье, казалось, дремал в кресле. Его жена лежала на диване и читала книгу.

Больной поднял голову.

— Ну как ты себя чувствуешь? — спросил Жорж.— Сегодня ты как будто молодцом.

— Да, мне лучше,— прошептал Форестье,— я чувствую себя крепче. Позавтракай на скорую руку с Мадленой,— мы хотим прокатиться.

— Видите? Сегодня ему уже кажется, что он здоров,— оставшись вдвоем с Дюруа, заговорила г-жа Форестье.— С самого утра он строит планы. Сейчас мы отправимся к заливу Жуан покупать фаянс для нашей парижской квартиры. Он хочет ехать во что бы то ни стало, а я ужасно боюсь, как бы чего не случилось. Он не вынесет дорожной тряски.

Когда подали ландо, Форестье, поддерживаемый лакеем, медленно спустился по лестнице. Увидев экипаж, он сейчас же потребовал опустить верх.

Жена воспротивилась:

— Ты простудишься. Это безумие.

Но он стоял на своем:

— Нет, мне гораздо лучше. Я себя знаю.

Миновав тенистые аллеи, которые тянутся между садами и придают Канну сходство с английским парком, экипаж выехал на дорогу в Антиб, идущую берегом моря.

Форестье называл местные достопримечательности. Показал виллу графа Парижского, потом другие. Он был весел, но это была наигранная, искусственная, хилая веселость обреченного. Не имея сил протянуть руку, он, когда указывал на что-нибудь, поднимал палец.

— Гляди, вот остров святой Маргариты и тот замок, откуда бежал Базен. Да, пришлось нам тогда из-за этого повозиться!

Затем он предался воспоминаниям о своей службе в полку, называл имена офицеров, рассказывал связанные с ними эпизоды.

Но вот с крутого поворота неожиданно открылся широкий вид: и залив Жуан, и белая деревушка на том берегу, и мыс Антиб впереди — все было теперь как на ладони.

— Вот эскадра! Сейчас ты увидишь эскадру! — по-детски радуясь, шептал Форестье.

В самом деле, посреди широкой бухты можно было различить до шести больших кораблей, которые напоминали поросшие кустарником утесы. Причудливые, бесформенные, огромные,

снабженные выступами, башнями, водорезами, они так глубоко сидели в воде, точно собрались пустить корни.

Было непонятно, как все это могло передвигаться, меняться местами,— до того тяжелыми казались эти словно приросшие ко дну суда. Плавучая батарея, высокая и круглая, как обсерватория, напоминала маяк, стоящий на подводной скале.

Мимо них, весело развернув свои белые паруса, прошло в открытое море большое трехмачтовое судно. Рядом с этими военными чудовищами, отвратительными железными чудовищами, грузно сидевшими на воде, оно радовало глаз своим изяществом и грацией.

Форестье пытался вспомнить названия судов:

— «Кольбер», «Сюфрен», «Адмирал Дюперре», «Грозный», «Беспощадный»... Нет, я ошибся, «Беспощадный» — вон тот.

Экипаж подъехал к обширному павильону под вывеской «Фаянсовые художественные изделия бухты Жуан» и, обогнув лужайку, остановился у входа.

Форестье хотел купить две вазы для своего парижского кабинета. Выйти из ландо он не мог, и ему стали, один за другим, приносить образцы. Он долго выбирал, советовался с женой и с Дюруа.

— Ты знаешь, это для книжного шкафа, который стоит у меня в кабинете. Я буду сидеть в кресле и смотреть на них. Я предпочел бы нечто античное, нечто греческое.

Он рассматривал образцы, требовал, чтобы ему принесли другие, и снова обращался к первым. Наконец выбрал, заплатил и велел немедленно отправить вазы в Париж.

— Я уезжаю отсюда на днях,— твердил он.

Когда они на обратном пути ехали вдоль залива, из лощины внезапно подул холодный ветер, и больной закашлялся.

Сперва можно было подумать, что это так, легкий приступ, но кашель постепенно усиливался, не прекращаясь ни на секунду, и, наконец, перешел в икоту, в хрипение.

Форестье задыхался; при каждом вздохе кашель, клокотавший у него в груди, раздирал ему горло. Ничто не могло успокоить, остановить его. Из экипажа больного пришлось на руках перенести в комнату: Дюруа держал его ноги и чувствовал, как они вздрагивали при каждом конвульсивном сжатии легких.

Теплая постель не помогла Форестье,— приступ длился до полуночи. В конце концов наркотические средства прервали эти предсмертные спазмы. И больной, не смыкая глаз, до рассвета просидел в постели.

Первыми его словами были: «Позовите парикмахера»,— Форестье по-прежнему брился каждое утро. Он нашел в себе силы встать для этой процедуры, но его тотчас же снова пришлось уложить в постель, и короткое, тяжелое, затрудненное дыхание больного до того испугало г-жу Форестье, что она велела разбудить Дюруа, который только что лег, и попросила его сходить за доктором.

Дюруа почти тотчас же привел доктора, некоего Гаво. Доктор прописал микстуру и дал кое-какие указания. Но Жоржу, который, чтобы узнать правду, пошел проводить его, он сказал следующее:

— Это агония. До завтра он не доживет. Предупредите бедную даму и пошлите за священником. Мне здесь больше делать нечего. Впрочем, я всегда к вашим услугам.

Дюруа велел позвать г-жу Форестье.

— Он умирает. Доктор советует послать за священником. Как вы думаете?

Она долго колебалась, но, наконец взвесив все, медленно проговорила:

— Да, так будет лучше... Во многих отношениях... Я его подготовлю, скажу, что его желает видеть священник... Словом, что-нибудь придумаю. А вы уж, будьте добры, разыщите священника. Постарайтесь найти какого-нибудь попроще, который ничего из себя не корчит. Устройте так, чтобы он ограничился исповедью и избавил нас от всего остального.

Дюруа привел сговорчивого старичка, который сразу понял, что от него требуется. Как только он вошел к умирающему, г-жа Форестье вышла в соседнюю комнату и села рядом с Дюруа.

— Это его потрясло,— сказала она.— Когда я заговорила о священнике, лицо его приняло такое ужасное выражение, точно... точно он почувствовал на себе... почувствовал на себе дыхание... вы меня понимаете... Словом, он понял, что все кончено, что остались считанные часы...

Госпожа Форестье была очень бледна.

— Никогда не забуду выражения его лица,— продолжала она.— В это мгновение он, конечно, видел перед собой смерть. Он видел ее...

До них доносился голос священника,— он говорил довольно громко, так как был туговат на ухо:

— Да нет же, нет, ваши дела совсем не так плохи. Вы больны, но отнюдь не опасно. И зашел я к вам по-дружески, по-соседски,— вот первое доказательство.

Форестье что-то ответил ему, но они не расслышали.

— Нет, я не буду вас причащать,— продолжал старик.— Об этом мы поговорим, когда вам станет лучше. Вот если вы захотите воспользоваться моим присутствием для того, чтобы, например, исповедаться,— это другое дело. Я пастырь, мне надлежит при всяком удобном случае наставлять своих овец на путь истинный.

Стало тихо. Теперь, должно быть, говорил Форестье — беззвучным, прерывающимся голосом.

Затем, уже другим тоном, тоном священнослужителя, снова заговорил старик:

— Милосердие божие безгранично. Читайте «Confiteor», сын мой. Если вы забыли, я вам подскажу. Повторяйте за мной: «Confiteor Deo omnipotenti... Beatae Mariae semper virgini...»

Время от времени священник умолкал, чтобы дать возможность умирающему повторить за ним слова молитвы.

— А теперь исповедуйтесь...— наконец сказал он.

Охваченные необычайным волнением, измученные томительным ожиданием, г-жа Форестье и Дюруа сидели не шевелясь.

Больной что-то прошептал.

— У вас были сделки с совестью...— повторил священник.— Какого рода, сын мой?

Госпожа Форестье встала.

— Пойдемте ненадолго в сад,— с невозмутимым видом сказала она.— Мы не должны знать его тайны.

Они вышли в сад и сели у крыльца на скамейку под цветущим розовым кустом, возле клумбы гвоздики, разливавшей в чистом воздухе сильный и сладкий аромат.

— Вы еще не скоро в Париж? — после некоторого молчания спросил Дюруа.

— Скоро! — ответила она.— Как только все будет кончено, я уеду отсюда.

— Дней через десять?

— Да, самое позднее.

— Так, значит, родных у него никого нет?

— Никого, кроме двоюродных братьев. Его родители умерли, когда он был еще очень молод.

Оба засмотрелись на бабочку, собиравшую мед с гвоздик; она порхала с цветка на цветок, трепеща крыльями, не переставшими едва заметно дрожать, даже когда она садилась. Долго еще г-жа Форестье и Дюруа молча сидели в саду.

Наконец слуга доложил, что «священник кончил исповедовать». И они поднялись наверх.

Форестье, казалось, еще похудел со вчерашнего дня.

Священник держал его руку в своей.

— До свиданья, сын мой, я приду завтра утром.

С этими словами он удалился.

Как только он вышел за дверь, умирающий, все так же тяжело дыша, сделал над собой усилие и протянул руки к жене.

— Спаси меня...— зашептал он.— Спаси меня... милая... я не хочу умирать... я не хочу умирать... Спасите же меня!.. Скажите, что я должен делать, позовите доктора... Я приму все, что угодно... Я не хочу... я не хочу!..

Он плакал. По его впалым щекам текли крупные слезы, а углы иссохших губ оттягивались, как у обиженного ребенка.

Затем руки его упали на постель, и он начал медленно перебирать пальцами; следя за этим непрерывным однообразным движением, можно было подумать, что он собирает что-то на одеяле.

Жена его тоже плакала.

— Да нет же, это пустяки,— лепетала она.— Обыкновенный припадок, завтра тебе будет лучше, тебя утомила вчерашняя прогулка.

Дыхание у Форестье было еще более частое, чем у запыхавшейся от быстрого бега собаки, до того частое, что его невозможно было сосчитать, и до того слабое, что его почти не было слышно.

Он все повторял:

— Я не хочу умирать!.. Боже мой... Боже мой... Боже мой... что со мной будет? Я ничего больше не увижу... ничего... никогда... Боже мой!

Его остановившийся от ужаса взгляд различал нечто чудовищное, нечто такое, чего не могли видеть другие. И все не прекращалось это страшное и томительное скольжение пальцев по одеялу.

Внезапно по всему его телу пробежала судорога.

— На кладбище... меня... Боже мой!..— простонал он.

И смолк. Теперь он лежал неподвижно, глядя вокруг себя блуждающим взором, и ловил ртом воздух.

Время шло; на часах соседнего монастыря пробило двенадцать. Дюруа вышел в другую комнату перекусить. Вернулся он через час. Г-жа Форестье отказалась от еды. Больной не шевелился. Только его костлявые пальцы по-прежнему находились в движении и точно пытались натянуть одеяло на лицо.

Госпожа Форестье сидела в кресле у его ног. Дюруа сел в другое кресло, рядом с ней. Они молча ждали.

У окна дремала сиделка, присланная врачом.

Дюруа тоже начал было засыпать, но вдруг ему что-то почудилось. Он открыл глаза в ту самую минуту, когда глаза Форестье закрывались, погасая, точно огни. От легкой икоты голова умирающего запрокинулась, и вслед за тем две струйки крови показались в углах его рта, потом потекли на рубашку. Кончилось отвратительное блуждание пальцев по одеялу. Он перестал дышать.

Госпожа Форестье поняла все. Вскрикнув, она упала на колени и, уткнувшись лицом в одеяло, заплакала навзрыд. Жорж, растерянный, оторопелый, машинально перекрестился. Проснулась сиделка, подошла к кровати.

— Кончился,— сказала она.

К Дюруа вернулось его обычное спокойствие, и, облегченно вздохнув, он прошептал:

— Я думал, это дольше протянется.

Не успел пройти первый столбняк, не успели высохнуть первые слезы, как уже начались заботы и хлопоты, неизбежно связанные с присутствием в доме покойника. Дюруа бегал до поздней ночи.

Вернулся он голодный как волк. Вместе с ним немного поела и г-жа Форестье. После ужина оба перешли в комнату, где лежал покойник и где им предстояло провести всю ночь.

Две свечи горели на ночном столике, около тарелки с водой, в которой плавала ветка мимозы,— традиционной ветки букса достать не удалось.

Они сидели вдвоем, молодой человек и молодая женщина, возле того, кто уже не существовал более. Молча, задумчиво смотрели они на него.

Полумрак, обволакивавший труп Форестье, пугал Жоржа, но он упорно продолжал рассматривать его. Дрожащее пламя свечи подчеркивало худобу этого высохшего лица, приковавшего к себе, приворожившего и мысль и взгляд Дюруа. Вот он, Шарль Форестье, его друг, с которым он беседовал еще вчера! Как ужасна и непостижима эта полная гибель живого существа! О, теперь у него все время звучали в ушах слова истерзанного страхом смерти Норбера де Варена: «Никто оттуда не возвращается!» Народятся миллионы, миллиарды почти во всем подобных ему существ, у которых все будет, как у него: и глаза, и нос, и рот, и мыслящий череп, но тому, кто лежит сейчас на этой кровати, уже не воскреснуть вновь.

Столько-то лет он жил, как все люди, ел, смеялся, на что-то надеялся, кого-то любил. А теперь все для него кончено, кончено

навсегда. Вот она, жизнь! Каких-нибудь несколько дней, а затем — пустота! Ты появляешься на свет, ты растешь, ты счастлив, ты чего-то ждешь, затем умираешь. Кто бы ты ни был — мужчина ли, женщина ли,— прощай, ты уже не вернешься на землю! И все же каждый из нас несет в себе лихорадочную и неутолимую жажду бессмертия, каждый из нас представляет собой вселенную во вселенной и каждый из нас истлевает весь, без остатка, чтобы стать удобрением для новых всходов. Растения, животные, люди, звезды, миры — все зарождается и умирает для того, чтобы превратиться во что-то иное. Но ни одно существо не возвращается назад — будь то насекомое, человек или планета!

Непзъяснимый, безмерный, гнетущий ужас камнем лежал на сердце Дюруа,— ужас перед этим неизбежным беспредельным небытием, без конца поглощающим все эти столь жалкие и столь быстротекущие жизни. Он уже склонял голову перед нависшей над ним угрозой. Он думал о насекомых, которые живут всего лишь несколько часов, о животных, которые живут всего лишь несколько дней, о людях, которые живут всего лишь несколько лет, о материках, которые существуют всего лишь несколько столетий. Какая между ними разница? Разница в нескольких солнечных восходах — только и всего.

Чтобы не смотреть на труп, он отвел глаза в сторону.

Госпожа Форестье сидела, опустив голову,— казалось, ее тоже одолевали мрачные мысли. Белокурые волосы так красиво оттеняли ее печальное лицо, что внутри у Дюруа шевельнулось какое-то сладкое чувство, словно в его сердце заронила свой луч надежда. О чем горевать, когда вся жизнь еще впереди?

Он стал смотреть на г-жу Форестье. Погруженная в свои мысли, она не замечала его. «Вот оно, единственное утешение в жизни — любовь! — говорил он себе.— Держать в объятиях любимую женщину — вот он, верх человеческого блаженства!»

Какое счастье выпало на долю покойному — найти такую умную, обаятельную спутницу жизни! Как они познакомились? Как она согласилась выйти за этого малого, который не мог похвастаться ни умом, ни богатством? Как ей в конце концов удалось сделать из него человека?

У каждого свои тайны, решил он. И тут ему пришли на память все эти толки о графе Водреке, который якобы дал ей приданое и выдал замуж.

Что она будет делать теперь? Кого выберет себе в мужья? Депутата, как думает г-жа де Марель, или молодого человека, подающего надежды, второго Форестье, только повыше сортом? Есть ли у нее уже теперь твердые намерения, замыслы, планы?

Как бы хотелось ему все это знать! Но почему его так волнует ее судьба? Задав себе этот вопрос, он тут же почувствовал, что его беспокойство вызвано одним из тех неясных и тайных умыслов, которые мы скрываем даже от самих себя и которые мы обнаруживаем лишь после того, как пороемся в тайниках собственной души.

Да, почему бы ему не попробовать покорить ее? В какую мощную и грозную силу вырос бы он при ее поддержке! Как быстро, уверенно и как далеко шагнул бы он сразу!

И почему бы ему не добиться успеха? Он чувствовал, что нравится ей, что она питает к нему больше, чем симпатию,— особого рода склонность, которая возникает у родственных натур и которую подогревает не только взаимное влечение, но и существующий между ними молчаливый заговор. Она знала, что он умен, решителен, цепок; он должен был внушать ей доверие.

Не к нему ли обратилась она в трудную минуту? И зачем она его вызвала? Не значит ли это, что она уже сделала для себя выбор, что она уже решила для себя что-то, в чем-то призналась ему? Не потому ли он пришел ей на память, что в ту самую минуту, когда ей предстояло овдоветь, она уже начала думать о том, кто будет теперь ее спутником жизни, ее союзником?

Ему не терпелось знать все, выпытать у нее все, проникнуть в ее сокровенные замыслы. Послезавтра он должен уехать, ему неудобно оставаться в этом доме вдвоем с молодой женщиной. Значит, мешкать нельзя, надо еще до отъезда осторожно и деликатно выведать ее намерения, не допустить, чтобы она передумала, уступила домогательствам кого-то другого и, быть может, безвозвратно связала себя обещанием.

Глубокая тишина стояла в комнате: слышно было лишь металлическое мерное тиканье каминных часов.

— Вы, наверно, очень устали? — спросил Дюруа.

— Да,— ответила она.— Не столько устала, сколько подавлена.

Странно прозвучали их голоса в этой мрачной комнате, и они это почувствовали. Оба внезапно посмотрели на мертвеца, словно ожидая, что, как это бывало с Форестье раньше, всего несколько часов назад, он зашевелится и станет прислушиваться к их разговору.

— Да, это страшный удар для вас,— снова заговорил Дюруа,— весь уклад жизни нарушен, все перевернуто вверх дном, и какое сильное душевное потрясение!

Ответом ему был глубокий вздох.

— Как тяжело должно быть молодой женщине остаться одной! — добавил он.

Она промолчала.

— Во всяком случае, я прошу вас помнить наш уговор,— прошептал Дюруа.— Вы можете располагать мною, как вам заблагорассудится. Я в вашей власти.

Госпожа Форестье бросила на него грустный и нежный взгляд, один из тех взглядов, которые переворачивают нам душу.

— Благодарю вас, вы добрый, прекрасный человек,— протягивая ему руку, сказала она.— Если б я могла, если б я смела что-нибудь сделать для вас, я тоже сказала бы вам: «Рассчитывайте на меня».

Он взял протянутую ему руку и, испытывая страстное желание поцеловать ее, задержал ее и стиснул в своей. Затем, осмелев, медленно поднес ее к губам, и губы его ощутили прикосновение тонкой, горячей, вздрагивавшей надушенной кожи.

Почувствовав, что эта дружеская ласка становится чересчур продолжительной, он разжал пальцы. И маленькая ручка г-жи Форестье вяло опустилась на ее колено.

— Да, я теперь совсем одна, но я постараюсь быть твердой,— очень серьезно проговорила она.

Он не знал, как ей намекнуть, что он был бы счастлив, счастлив вполне, если б она согласилась стать его женой. Разумеется, он не может заговорить с ней об этом сейчас, в комнате, где лежит покойник. Впрочем, пожалуй, можно было бы придумать какую-нибудь многозначительную, учтивую, хитросплетенную фразу, состоящую из слов, которые лишь намекают на глубоко запрятанный в ней смысл, изобилующую строго обдуманными фигурами умолчания, способными выразить все, что угодно.

Но у Дюруа было такое чувство, точно этот труп, окоченелый труп, лежит не перед ними, а между ними, и это его стесняло.

Кроме того, в спертом воздухе комнаты ему уже некоторое время чудился смрад, зловонное дыхание этой разлагающейся груди, запах падали, которым бедный мертвец обдает, еще лежа в постели, бодрствующих родственников, ужасный запах, которым он потом наполняет свой тесный гроб.

— Нельзя ли открыть окно? — спросил Дюруа.— По-моему, здесь тяжелый воздух.

— Конечно,— ответила она.— Мне тоже так показалось.

Он отворил окно. В комнате сразу повеяло благоуханной

ночной прохладой, всколыхнувшей пламя свечей. Луна, как и в прошлый вечер, щедро изливала свой тихий свет на белые стены вилл, на широкую сверкающую водную гладь. Дюруа дышал полной грудью, в душу к нему словно хлынул поток надежд, трепетная близость счастья словно отрывала его от земли.

— Подышите свежим воздухом,— сказал он, обернувшись.— Ночь дивная.

Госпожа Форестье спокойно подошла к окну, стала рядом с ним и облокотилась на подоконник.

— Выслушайте меня,— шепотом заговорил он,— я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Главное, не сердитесь на то, что я в такой момент говорю о подобных вещах, но ведь я послезавтра уезжаю, а когда вы вернетесь в Париж, быть может, будет уже поздно. Так вот... Я бедняк, у меня нет ни гроша за душой и пока еще никакого определенного положения, это вам известно. Но у меня есть воля, мне кажется, я не глуп и стою на верном пути. Человек, достигший своей цели, весь налицо. О человеке, только еще начинающем жить, трудно сказать, что из него выйдет. В этом есть своя дурная и своя хорошая сторона. Короче, я как-то сказал вам, когда был у вас, что моя заветная мечта — жениться на такой женщине, как вы. Теперь я повторяю то, что сказал тогда. Не отвечайте мне пока ничего. Выслушайте меня до конца. Я не делаю вам сейчас предложения. В таком месте и в такую минуту это было бы отвратительно. Мне важно, чтобы вы знали, что одно ваше слово может меня осчастливить, что вы можете сделать меня, хотите — ближайшим своим другом, хотите — мужем, как вам будет угодно, что мое сердце и вся моя жизнь принадлежат вам. Я не хочу, чтобы вы мне отвечали сейчас, я не хочу вести этот разговор в такой обстановке. Когда мы встретимся в Париже, вы мне дадите понять, как вы решили. А до тех пор — ни слова, согласны?

Все это он проговорил, не глядя на нее, точно роняя слова в раскинувшуюся перед ним ночь. Она, казалось, не слушала,— так неподвижно она стояла, тоже глядя прямо перед собой, устремив рассеянный и вместе с тем пристальный взгляд в широкую даль, освещенную бледной луной.

Они еще долго стояли рядом, касаясь друг друга локтями, задумчивые и молчаливые.

— Становится свежо,— наконец прошептала она и отошла к кровати.

Дюруа последовал за ней.

Убедившись, что от трупа действительно идет запах, он отодвинул кресло: он все равно не вынес бы долго этого зловония.

— Утром надо будет положить его в гроб,— заметил он.

— Да, да, я уже распорядилась, столяр придет к восьми.

— Бедняга! — со вздохом сказал Дюруа.

У нее тоже вырвался вздох — тяжелый вздох унылой покорности.

Теперь они реже смотрели на него; оба такие же смертные, как и он, они свыкались с мыслью о смерти, в глубине души примиряясь с этим уходом в небытие, с тем, что еще так недавно волновало и возмущало их.

Молча сидели они, из приличия стараясь не засыпать. Но около полуночи Дюруа заснул первый. А когда проснулся, то увидел, что г-жа Форестье тоже дремлет, и, устроившись поудобнее, снова закрыл глаза.

— Черт возьми, куда лучше в своей постели! — проворчал он.

Его разбудил какой-то стук. Вошла сиделка. Было уже совсем светло. Г-жа Форестье сидела против него; спросонья она тоже, видимо, не сразу пришла в себя. Она была немного бледна, но все так же мила, хороша собой, все так же молодо выглядела,— ночь, проведенная в кресле, не отразилась на ней.

Дюруа посмотрел на труп и вздрогнул.

— Смотрите! Борода! — вскрикнул он.

За несколько часов это разлагавшееся лицо обросло бородой так, как живой человек не обрастет и за несколько дней. И они оба оцепенели при виде жизни, еще сохранявшейся в мертвеце, словно это было некое страшное чудо, сверхъестественная угроза воскресения, нечто ненормальное, пугающее, нечто такое, что ошеломляет, что сводит с ума.

До одиннадцати оба отдыхали. Затем Шарля положили в гроб, и на душе у обоих стало легче, спокойнее. Сидя за завтраком друг против друга, они испытывали желание говорить о чем-нибудь веселом, отрадном: со смертью было покончено, и они стремились вернуться к жизни.

В распахнутое окно вместе с теплым и нежным дуновением весны вливался аромат цветущей гвоздики, что росла перед домом на клумбе.

Госпожа Форестье предложила Дюруа пройтись по саду, и они медленно стали ходить вокруг зеленой лужайки, с наслаждением вдыхая прогретый воздух, полный запахов пихты и эвкалипта.

— Послушайте, дорогой друг, я уже... обдумала... то, что вы мне предлагали,— не поворачивая к нему головы, точь-в-точь так же, как говорил он ночью, там, наверху, негромко, раздельно

и веско начала г-жа Форестье.— И я не хочу, чтобы вы уехали, не услышав от меня в ответ ни слова. Впрочем, я не скажу ни да, ни нет. Подождем, посмотрим, поближе узнаем друг друга. Вы тоже подумайте хорошенько. Вы увлеклись,— не придавайте этому серьезного значения. Я потому заговорила об этом теперь, когда бедного Шарля еще не опустили в могилу, что после всего вами сказанного я почувствовала необходимость разъяснить вам, с кем вы имеете дело, чтобы вы не тешили себя больше мечтой, которой вы со мной поделились, в том случае, если... если вы не способны понять меня и принять такой, какая я есть.

Постарайтесь же меня понять. Брак для меня не цепи, но содружество. Это значит, что мне предоставляется полная свобода действий, что я не обязана отдавать отчет в своих поступках, не обязана докладывать, куда я иду. Я не терплю ни слежки, ни ревности, ни нравоучений. Разумеется, я обязуюсь ничем не компрометировать человека, фамилию которого я буду носить, не ставить его в ложное или смешное положение. Но пусть и он видит во мне не служанку, не кроткую и покорную жену, но союзницу, равную ему во всем. Я знаю, что мои взгляды многим покажутся слишком смелыми, но я от них не отступлю. Вот и все.

К этому я прибавлю то же, что и вы: не давайте мне ответа сейчас, это было бы бесполезно и неуместно. Мы еще увидимся и, быть может, поговорим об этом.

А теперь погуляйте один. Я пойду к нему. До вечера.

Он надолго припал губами к ее руке, затем, ни слова не сказав, удалился.

Встретились они уже вечером, за обедом. Оба падали от усталости и оттого поспешили разойтись по своим комнатам.

Шарля Форестье похоронили на другой день, без всякой помпы, на каннском кладбище. Жорж Дюруа решил ехать курьерским, в половине второго.

Госпожа Форестье проводила его на вокзал. В ожидании поезда они спокойно гуляли по перрону и говорили о посторонних предметах.

Подошел поезд, настоящий курьерский поезд, с короткой цепью вагонов: их всего было пять.

Заняв место в вагоне, Дюруа сошел на платформу, чтобы еще несколько секунд побыть с г-жой Форестье; при мысли о том, что он покидает ее, ему вдруг стало томительно грустно, тоскливо, точно он расставался с ней навсегда.

— На Марсель — Лион — Париж, занимайте места! — крикнул кондуктор.

Войдя в вагон, Дюруа выглянул в окно, чтобы сказать ей еще несколько слов. Паровоз засвистел, и поезд медленно тронулся.

Высунувшись из вагона, Дюруа смотрел на г-жу Форестье: она неподвижно стояла на перроне и провожала его глазами. Внезапно, перед тем как потерять ее из виду, он поднес обе руки к губам и послал ей воздушный поцелуй.

Она ответила ему тем же, только ее поцелуй вышел более робким, стыдливым, едва уловимым.

I

Жорж Дюруа вернулся к своим давним привычкам.

Занимая все ту же маленькую квартирку в нижнем этаже на Константинопольской улице, он вел теперь скромную жизнь человека, ожидающего перемены в своей судьбе. Даже его связь с г-жой де Марель стала напоминать брачный союз, словно он заранее приучал себя к новой роли, и его любовница, дивясь благоразумной упорядоченности их отношений, часто повторяла со смехом:

— Ты еще мещанистей моего супруга. Незачем было менять.

Госпожа Форестье все не ехала. Она задержалась в Канн. Она написала ему, что вернется не раньше середины апреля, но то, что было ими сказано друг другу на прощанье, обошла полным молчанием. Он стал ждать. Он твердо решил применить любые средства, в случае если она начнет колебаться, и в конце концов все-таки жениться на ней. Он верил в свою звезду, верил, что обладает даром покорять сердца, чувствовал в себе непонятную и неодолимую силу, перед которой не могла бы устоять ни одна женщина.

Коротенькая записка возвестила ему, что решительная минута близка:

«Я в Париже. Зайдите ко мне.

Мадлена Форестье».

И только. Он получил эту записку с утренней девятичасовой почтой. В три часа дня он был уже у нее. Улыбаясь своей

милой, приветливой улыбкой, она протянула ему обе руки. И несколько секунд они пристально смотрели друг на друга.

— Как хорошо, что вы приехали тогда, в такое ужасное для меня время! — прошептала она.

— Я сделал бы все, что бы вы мне ни приказали,— сказал он.

Они сели. Она попросила рассказать ей новости, начала расспрашивать его о супругах Вальтер, о сотрудниках, о газете. Оказалось, что о газете она вспоминала часто.

— Мне этого очень не хватает, очень,— призналась она.— Я стала журналисткой в душе. Что ни говорите, а я это дело люблю.

Она замолчала. В ее улыбке, тоне, словах ему почудился какой-то намек, и это заставило его изменить своему первоначальному решению не ускорять ход событий.

— Ну что ж!.. Почему бы... почему бы вам не заняться теперь... этим делом... под фамилией Дюруа? — запинаясь, проговорил он.

Госпожа Форестье сразу стала серьезной.

— Не будем пока об этом говорить,— положив ему руку на плечо, тихо сказала она.

Но Дюруа, догадавшись, что она принимает его предложение, упал перед ней на колени.

— Благодарю, благодарю, как я люблю вас! — страстно целуя ее руки, бормотал он.

Она встала. Последовав ее примеру, он вдруг заметил, что она очень бледна. И тут он понял, что нравится ей,— быть может, уже давно. Они стояли друг против друга; воспользовавшись этим, он привлек ее к себе и запечатлел на ее лбу долгий, нежный, почтительный поцелуй.

— Послушайте, друг мой,— выскользнув у него из рук, строго заговорила она,— я еще ничего не решила. Однако может случиться, что я дам согласие. Но вы должны обещать мне держать это в строжайшем секрете до тех пор, пока я вам не скажу.

Он поклялся ей и ушел, чувствуя себя на седьмом небе.

С этого дня он начал проявлять в разговорах с ней сугубую сдержанность и уже не добивался от нее точного ответа, поскольку в ее манере говорить о будущем, в тоне, каким она произносила: «В дальнейшем», в ее проектах совместной жизни угадывалось нечто более значительное и более интимное, чем формальное согласие.

Дюруа работал не покладая рук и тратил мало, стараясь накопить немного денег, чтобы ко дню свадьбы не остаться без гроша, так что теперешняя его скупость равнялась его былой расточительности.

Прошло лето, затем осень, но ни у кого по-прежнему не возникало никаких подозрений, так как виделись они редко и держали себя в высшей степени непринужденно.

Однажды вечером Мадлена, глядя ему прямо в глаза, спросила:

— Вы ничего не говорили о нашем проекте госпоже де Марель?

— Нет, дорогая. Я обещал вам хранить его в тайне, и ни одна живая душа о нем не знает.

— Ну, теперь можете ей сказать. А я сообщу Вальтерам. На этой же неделе. Хорошо?

Он покраснел:

— Да, завтра же.

— Если хотите,— медленно отведя глаза в сторону, словно для того, чтобы не замечать его смущения, продолжала она,— мы можем пожениться в начале мая. Это будет вполне прилично.

— С радостью повинуюсь вам во всем.

— Мне бы очень хотелось десятого мая, в субботу. Это как раз день моего рождения.

— Десятого мая, отлично.

— Ваши родители живут близ Руана, да? Так вы мне, по крайней мере, говорили.

— Да, близ Руана, в Кантле.

— Чем они занимаются?

— Они... мелкие рантье.

— А! Я мечтаю с ними познакомиться.

Дюруа, крайне смущенный, замялся:

— Но... дело в том, что они...

Затем, внушив себе, что надо быть мужественным, решительно заговорил:

— Дорогая, они крестьяне, содержатели кабачка, они из кожи вон лезли, чтобы дать мне образование. Я их не стыжусь, но их... простота... их... неотесанность... может неприятно на вас подействовать.

Она улыбалась прелестной улыбкой, все лицо ее светилось нежностью и добротой.

— Нет. Я буду их очень любить. Мы съездим к ним. Непременно. Мы еще с вами об этом поговорим. Мои родители

тоже были простые люди... Но они умерли. Во всем мире у меня нет никого... кроме вас,— добавила она, протянув ему руку.

Он был взволнован, растроган, покорен,— до сих пор ни одна женщина не внушала ему таких чувств.

— Я кое-что надумала,— сказала она,— но это довольно трудно объяснить.

— Что именно? — спросил он.

— Видите ли, дорогой, у меня, как и у всякой женщины, есть свои... свои слабости, свои причуды, я люблю все блестящее и звучное. Я была бы счастлива носить аристократическую фамилию. Не можете ли вы, по случаю нашего бракосочетания, сделаться... сделаться дворянином?

Теперь уже покраснела она, покраснела так, словно совершила бестактность.

— Я сам об этом подумывал,— простодушно ответил Дюруа,— но, по-моему, это не так-то легко.

— Почему же?

Он засмеялся.

— Боюсь показаться смешным.

Она пожала плечами.

— Что вы, что вы! Так поступают все, и никто над этим не смеется. Разделите свою фамилию на две части: «Дю Руа». Очень хорошо!

— Нет, нехорошо,— с видом знатока возразил он.— Это слишком простой, слишком шаблонный, слишком избитый прием. Я лично думал взять сперва в качестве литературного псевдонима название моей родной деревни, затем незаметно присоединить ее к фамилии, а потом уже, как вы предлагаете, разделить ее на две части.

— Ваша деревня называется Кантле? — спросила она.

— Да.

Она призадумалась.

— Нет. Мне не нравится окончание. Послушайте, нельзя ли чуть-чуть изменить это слово... Кантле?

Госпожа Форестье взяла со стола перо и начала выписывать разные фамилии, всматриваясь при этом в их начертание.

— Готово, смотрите, смотрите! — неожиданно воскликнула она и протянула ему лист бумаги, на котором стояло: «Госпожа Дюруа де Кантель».

— Да, это очень удачно,— подумав несколько секунд, заметил он с важностью.

— Дюруа де Кантель, Дюруа де Кантель, госпожа Дюруа де Кантель. Чудесно! Чудесно! — в полном восторге повторяла г-жа Форестье.

— Вы увидите, как просто все к этому отнесутся,— уверенно продолжала она.— Только не надо терять время. Потом будет уже поздно. Свои статьи вы с завтрашнего же дня начинайте подписывать: «Дюруа де Кантель», а заметки — просто «Дюруа». Среди журналистов это так принято, и ваш псевдоним никого не удивит. Ко дню нашей свадьбы мы еще кое-что изменим, а друзьям объясним, что до сих пор вы отказывались от частицы «дю» из скромности, что к этому вас вынуждало занимаемое положение, а может, и вовсе ничего не объясним. Как зовут вашего отца?

— Александр.

— Александр, Александр,— несколько раз повторила она, прислушиваясь к звучанию этого слова, потом взяла чистый лист бумаги и написала:

«Господин и госпожа Александр Дю Руа де Кантель имеют честь сообщить вам о бракосочетании их сына Жоржа Дю Руа де Кантель с госпожой Мадленой Форестье».

Она издали взглянула на свое рукописание и, довольная эффектом, заявила:

— При известной сноровке можно добиться чего угодно.

Выйдя от нее с твердым намерением именоваться впредь «Дю Руа» и даже «Дю Руа де Кантель», он почувствовал, что вырос в собственных глазах. Походка у него стала еще более молодцеватой, голову он держал выше, а его усы были теперь особенно лихо закручены,— так, по его мнению, должен был выглядеть дворянин. Он находился в таком приподнятом состоянии, что ему хотелось объявить первому встречному:

— Меня зовут Дю Руа де Кантель.

Но, вернувшись домой, он с беспокойством подумал о г-же де Марель и тотчас же написал письмо, в котором назначил ей свидание на завтра.

Затем, с той же врожденной беспечностью, благодаря которой он ко всему относился легко, Дюруа махнул на это рукой и начал писать бойкую статью о новых налогах, которые он предлагал установить в целях укрепления государственного бюджета.

За частицу, указывающую на дворянское происхождение, он считал нужным взимать сто франков в год, а за титул, начи-

ная с баронского и кончая княжеским, от пятисот до тысячи франков.

Подписался он: «Д. де Кантель».

На другой день из «голубого листочка», посланного ему любовницей, он узнал, что она будет у него в час.

Дюруа ждал ее с некоторым волнением; он решил сразу приступить к делу, сказать ей все напрямик и только потом, когда острая боль пройдет, привести убедительные доводы, объяснить ей, что он не может оставаться холостяком до бесконечности и что раз г-н де Марель упорно не желает отправляться на тот свет, то ему пришлось подумать о законной супруге.

И все же ему было не по себе. Когда раздался звонок, у него сильно забилось сердце.

Она бросилась к нему:

— Здравствуй, Милый друг!

Холодность его объятий не укрылась от г-жи де Марель.

— Что с тобой? — внимательно посмотрев на него, спросила она.

— Сядь,— сказал он.— Нам надо серьезно поговорить.

Не снимая шляпы, а лишь приподняв вуалетку, г-жа де Марель села в ожидании.

Дюруа опустил глаза — он собирался с мыслями.

— Дорогая моя,— медленно заговорил он,— меня очень волнует, расстраивает и огорчает то, что я должен тебе сообщить. Я горячо люблю тебя, люблю всем сердцем, и боязнь причинить тебе горе удручает меня сильней, чем самая новость.

Госпожа де Марель побледнела и начала дрожать.

— Что случилось? Ну, говори! — прошептала она.

Тогда он печально и в то же время решительно, с той притворной грустью в голосе, с какой обыкновенно извещают о приятной неприятности, проговорил:

— Дело в том, что я женюсь.

Из груди у нее вырвался болезненный стон,— так стонут женщины перед тем, как лишиться чувств, ей стало душно, она задыхалась и не могла выговорить ни слова.

— Ты себе не представляешь, сколько я выстрадал, прежде чем прийти к этому решению,— видя, что она молчит, продолжал он.— Но у меня нет ни денег, ни определенного положения. Я одинок, я затерян в Париже. Мне нужно, чтобы около меня находился человек, который помогал бы мне советами, утешал бы меня, служил мне опорой. Я искал союзницу, подругу жизни, и я ее нашел!

Дюруа смолк, в надежде что она что-нибудь ответит ему,— он ждал вспышки гнева, резкостей, оскорблений.

Она прижала руку к сердцу словно для того, чтобы сдержать его биение. Дышала она все так же прерывисто, тяжело, отчего высоко поднималась ее грудь и вздрагивала голова.

Он взял ее руку, лежавшую на спинке кресла, но она резко отдернула ее.

— О боже! — в каком-то оцепенении прошептала она.

Он опустился на колени, но дотронуться до нее не посмел: любая дикая выходка с ее стороны не испугала бы его так, как ее молчание.

— Кло, моя маленькая Кло,— пробормотал он,— войди в мое положение, постарайся меня понять. Ах, если бы я мог на тебе жениться,— какое это было бы счастье! Но ты замужем. Что же мне остается делать? Подумай сама, подумай сама! Я должен занять положение в обществе, а для этого необходим семейный очаг. Если бы ты знала!.. Бывали дни, когда я готов был убить твоего мужа...

Его мягкий, вкрадчивый, чарующий голос звучал, как музыка.

Две крупные слезы, выступив на ее неподвижных глазах, покатились по щекам, а на ресницах меж тем повисли другие.

— Не плачь, Кло, не плачь, умоляю тебя! — шептал он.— У меня душа разрывается.

Чувство собственного достоинства и женская гордость заставили ее сделать над собой огромное усилие.

— Кто она? — тем сдавленным голосом, какой появляется у женщины, когда ее душат рыдания, спросила г-жа де Марель.

Он помедлил секунду, затем, поняв, что это неизбежно, ответил:

— Мадлена Форестье.

Госпожа де Марель вздрогнула всем телом — и окаменела вновь; погруженная в свои размышления, она словно не замечала, что он все еще стоит перед ней на коленях.

А прозрачные капли, одна за другой, все текли и текли у нее по щекам.

Она встала. Дюруа понял, что она хочет уйти, не сказав ему ни слова, не бросив ни единого упрека, но и не простив его. Он был обижен, оскорблен этим до глубины души. Пытаясь удержать ее, он обхватил ее полные ноги и почувствовал сквозь материю, как они напряглись, ощутил их сопротивление.

— Не уходи так, заклинаю тебя,— молил Жорж.

Она бросила на него сверху вниз замутненный слезою отчаянный взгляд, тот чудный и грустный взгляд, в котором женщина выражает всю свою душевную боль.

— Мне... нечего сказать...— прошептала она,— мне... нечего здесь больше делать... Ты... ты прав... ты... ты... ты сделал хороший выбор...

Высвободившись резким движением, она пошла к выходу, и он не удерживал ее более.

Поднимаясь с колен, Жорж испытывал такое чувство, точно его хватили обухом по голове. Но он быстро овладел собой.

— Ну что ж, тем хуже или, верней, тем лучше,— сказал он себе.— Дело обошлось... без скандала. А мне того и надо.

Почувствовав, что с души у него свалилась огромная тяжесть, почувствовав, что он свободен, ничем не связан, что теперь ничто не мешает ему начать новую жизнь, упоенный удачей, не зная, куда девать избыток сил, он с такой яростью принялся бить кулаками в стену, точно вступал в единоборство с самой судьбой.

На вопрос г-жи Форестье: «Вы сказали госпоже де Марель?» — он с невозмутимым видом ответил:

— Конечно...

Она испытующе посмотрела на него своим ясным взглядом.

— И это ее не огорчило?

— Ничуть. Напротив, она нашла, что это очень хорошо.

Новость быстро распространилась. Одни изумлялись, другие уверяли, что они это предвидели, третьи улыбались, давая понять, что это их нисколько не удивляет.

Жорж, подписывавший теперь свои фельетоны — «Д. де Кантель», заметки — «Дюруа», а политические статьи, которые он время от времени давал в газету,— «Дю Руа», полдня проводил у невесты, и она держала себя с ним, как сестра, просто и естественно, но в этой простоте, вместе с подлинной, хотя и затаенною нежностью, проскальзывало едва заметное влечение к нему, которое она скрывала, как некую слабость. Она условилась с ним, что на их бракосочетании не будет никого, кроме свидетелей, и что в тот же вечер они уедут в Руан. Ей хотелось погостить несколько дней у его родителей.

Дюруа пытался отговорить ее от этой поездки, но безуспешно; в конце концов он вынужден был уступить.

Отказавшись от церковного обряда, поскольку они никого не звали, новобрачные десятого мая зашли в мэрию, потом вернулись домой уложить вещи, а вечером шестичасовой

поезд, отходивший с вокзала Сен-Лазар, уже уносил их в Нормандию.

До той минуты, когда они остались вдвоем в вагоне, им все не удавалось поговорить. Почувствовав, что они уже едут, они взглянули друг на друга и, чтобы скрыть легкое смущение, засмеялись.

Поезд, миновав наконец длинный Батиньольский дебаркадер, выбрался на равнину,— ту чахлую равнину, что тянется от городских укреплений до Сены.

Жорж и его жена изредка произносили незначащие слова и снова принимались смотреть в окно.

Проезжая Аньерский мост, они ощутили радостное волнение при виде реки, сплошь усеянной судами, яликами и рыбачьими лодками. Косые лучи солнца, могучего майского солнца, ложились на суда и на тихую, неподвижную, без плеска и зыби, воду, словно застывшую в жарком блеске уходящего дня. Парусная лодка, развернувшая посреди реки два больших белых полотняных треугольника, которые сторожили малейшее дуновение ветра, напоминала огромную птицу, приготовившуюся к полету.

— Я обожаю окрестности Парижа,— тихо сказал Дюруа,— одно из самых приятных моих воспоминаний — это воспоминание о том, как я ел здесь рыбу.

— А лодки! — подхватила она.— Как хорошо скользить по воде, когда заходит солнце!

Они замолчали, как бы не решаясь продолжать восхваления прошлого; погруженные в задумчивость, они, быть может, уже предавались поэзии сожалений.

Дюруа сидел против жены; он взял ее руку и медленно поцеловал.

— Когда вернемся в Париж, мы будем иногда ездить в Шату обедать,— сказал он.

— У нас будет столько дел! — проговорила она таким тоном, будто желала сказать: «Надо жертвовать приятным ради полезного».

Он все еще держал ее руку, с беспокойством думая о том, как перейти к ласкам. Он нимало не смутился бы, если б перед ним была наивная девушка, но он чуял в Мадлене живой и насмешливый ум, и это сбивало его с толку. Он боялся попасть впросак, боялся показаться слишком робким или, наоборот, слишком бесцеремонным, медлительным или, наоборот, торопливым.

Он слегка пожимал ей руку, но она не отвечала на его зов.

— Мне кажется очень странным, что вы моя жена,— сказал он.

Это, видимо, поразило ее.

— Почему же?

— Не знаю. Мне это кажется странным. Мне хочется поцеловать вас, и меня удивляет, что я имею на это право.

Она спокойно подставила ему щеку, и он поцеловал ее так, как поцеловал бы сестру.

— Когда я вас увидел впервые,— продолжал он,— помните, в тот день, когда я по приглашению Форестье пришел к вам обедать,— я подумал: «Эх, если бы мне найти такую жену!» Так оно и случилось. Я ее нашел.

— Вы очень любезны,— хитро улыбаясь и глядя ему прямо в глаза, прошептала она.

«Я слишком холоден. Это глупо. Надо бы действовать смелее»,— подумал Дюруа и обратился к ней с вопросом:

— Как вы познакомились с Форестье?

— Разве мы едем в Руан для того, чтобы говорить о нем? — с лукавым задором спросила она, в свою очередь.

Он покраснел.

— Я веду себя глупо. Я робею в вашем присутствии.

Это ей польстило.

— Да что вы! Почему же?

Он сел рядом с ней, совсем близко.

— Олень! — вдруг закричала она.

Поезд проезжал Сен-Жерменский лес. На ее глазах испуганная козуля одним прыжком перескочила аллею.

Мадлена все еще смотрела в раскрытое окно, когда Дюруа вдруг наклонился и прильнул губами к ее шее,— это был продолжительный поцелуй любовника.

Несколько минут она сидела не шевелясь, затем подняла голову:

— Перестаньте, мне щекотно.

Но возбуждающая ласка не прекращалась: медленно и осторожно продолжал он водить своими закрученными усами по ее белой коже.

Она выпрямилась:

— Да перестаньте!

Тогда он обхватил правой рукой ее голову и повернул лицом к себе. Затем, как ястреб на добычу, набросился на ее губы.

Она отбивалась, отталкивала его, пыталась высвободиться. Наконец ей это удалось.

— Да перестаньте же! — повторила она.

Но он не слушал ее; сжимая ее в своих объятиях, он целовал ее жадными, дрожащими губами и старался опрокинуть на подушки.

Она с трудом вырвалась от него и быстро встала.

— Послушайте, Жорж, перестаньте! Ведь мы не дети, мы отлично можем потерпеть до Руана.

Он сидел весь красный, охлажденный ее благоразумием. Когда же к нему вернулось прежнее спокойствие, он весело сказал:

— Хорошо, я потерплю, но до самого Руана вы не услышите от меня и двадцати слов,— вот вам за это. Имейте в виду: мы еще только проезжаем Пуасси.

— Говорить буду я,— сказала она.

И, спокойно сев рядом с ним, она начала подробно описывать то, что их ожидает по возвращении. Они останутся в той квартире, где она жила со своим первым мужем, причем обязанности, которые Форестье исполнял в редакции, вместе с его жалованьем тоже перейдут к Дюруа.

Впрочем, материальную сторону их брачного сожительства она с точностью дельца уже заранее обдумала до мелочей.

Их союз был основан на началах раздельного владения имуществом, и все случаи жизни — смерть, развод, появление одного или нескольких младенцев — были ими предусмотрены. Дюруа, по его словам, располагал суммой в четыре тысячи франков, из них полторы тысячи он взял в долг. Прочее составляли сбережения, которые он делал в этом году, ожидая перемены в своей судьбе. Мадлена располагала суммой в сорок тысяч франков, которую, по ее словам, оставил ей Форестье.

Вспомнив о Шарле, она отозвалась о нем с похвалой:

— Он был очень бережлив, очень аккуратен, очень трудолюбив. В короткий срок он нажил бы себе целое состояние.

Дюруа, занятый совсем другими мыслями, уже не слушал ее.

Порой она умолкала, думала о чем-то своем, затем возобновляла начатый разговор:

— Через три-четыре года вы сможете зарабатывать от тридцати до сорока тысяч франков. Проживи Шарль дольше, он зарабатывал бы столько же.

Жоржу наскучили ее наставления, и он прервал ее:

— Насколько мне известно, мы едем в Руан не для того, чтобы говорить о нем.

Она слегка ударила его по щеке.

— Правда, я совсем забыла,— сказала она смеясь.

Разыгрывая пай-мальчика, он сложил руки на коленях.

— У вас теперь глупый вид,— заметила она.

— Вы сами навязали мне эту роль,— возразил он,— теперь уж я из нее не выйду.

— Почему? — спросила она.

— Потому что вы не только будете вести наше хозяйство, но и руководить моей особой. Впрочем, вам, как вдове, и карты в руки!

Она была удивлена:

— Что вы, собственно, хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что ваши познания должны рассеять мое невежество, а ваш опыт замужней женщины должен расшевелить мою холостяцкую невинность, вот что!

— Это уж слишком! — воскликнула она.

— Это именно так,— возразил он.— Я не знал женщин, так? — а вы мужчин знаете,— ведь вы вдова, так? — и вы займетесь моим воспитанием... сегодня вечером, так? — можно начать даже сейчас, если хотите.

— О, если вы рассчитываете в данном случае на меня!..— воскликнула она, развеселившись.

— Ну да, я рассчитываю на вас,— тоном школьника, отвечающего урок, заговорил Дюруа.— Больше того, я рассчитываю, что в двадцать уроков... вы сделаете из меня образованного человека... Десять уроков на основные предметы... на чтение и на грамматику... десять — на упражнения и на риторику... Ведь я ничего не знаю, как есть ничего!

— Ты глуп! — все более и более оживляясь, воскликнула она.

— Раз ты начала говорить мне «ты»,— продолжал он,— то я немедленно последую твоему примеру, и я должен сказать тебе, дорогая, что любовь моя с каждой секундой становится все сильней и что путь до Руана кажется мне очень долгим!

Он говорил теперь с актерскими интонациями, сопровождая свою речь смешными ужимками, которые забавляли молодую женщину, привыкшую к выходкам и проказам высшей литературной богемы.

Она искоса поглядывала на него, и он казался ей поистине очаровательным, он внушал ей желание, подобное тому, какое вызывает в нас висящий на дереве плод, хотя рассудок и шепчет нам, что надо запастись терпением и съесть его после обеда.

Нескромные мысли, осаждавшие молодую женщину, заставили ее слегка покраснеть.

— Мой милый ученик,— сказала Мадлена,— поверьте моему опыту, моему большому опыту. Поцелуи в вагоне ничего не стоят. Они портят аппетит.

Покраснев еще больше, она прошептала:

— Недозрелый колос не жнут.

Дюруа посмеивался,— двусмысленности, исходившие из этого прелестного ротика, возбуждали его. Затем он беззвучно пошевелил губами, словно шепча молитву, и, перекрестившись, торжественно произнес:

— Отдаю себя под покровительство святого Антония, оберегающего от искушений. Ну вот, теперь я каменный.

Неслышно надвигалась ночь, и ее прозрачный сумрак, будто легкий креп, окутывал раскинувшиеся справа необозримые поля. Поезд шел вдоль Сены. Молодые супруги смотрели на реку, что тянулась рядом с железнодорожным полотном широкою лентою свеженачищенного металла, и на багровые отсветы — на эти пятна, упавшие с неба, которые лучи заходящего солнца отполировали огнем и пурпуром. Отблески мало-помалу тускнели и, подернувшись пеплом, печально гасли. А поля с зловещей предсмертной дрожью, каждый раз пробегающей по земле с наступлением сумерек, погружались во тьму.

Вечерняя грусть, вливаясь в раскрытое окно, охватывала души еще недавно таких веселых, а теперь внезапно примолкших молодоженов.

Прижавшись друг к другу, они следили за агонией дня, чудесного, ясного, майского дня.

Когда поезд остановился в Манте, в вагоне зажгли масляный фонарик, и он мерцающим желтым светом озарил серое сукно обивки.

Дюруа обнял Мадлену и притянул к себе. Острое желание сменилось в нем нежностью, томною нежностью, безбурною жаждой тихой, убаюкивающей, умиротворяющей ласки.

— Я буду очень любить тебя, моя маленькая Мад,— прошептал он чуть слышно.

Его вкрадчивый голос взволновал ее, по ее телу пробежала нервная дрожь, и, слегка наклонившись, так как щека его покоилась на теплом ложе ее груди, она протянула ему губы.

Это был продолжительный поцелуй, безмолвный и глубокий, затем рывок, внезапное и яростное сплетение тел, короткая ожесточенная борьба, стремительное и беспорядочное утоление страсти. Потом, оба несколько разочарованные, утомленные и все еще полные нежности, они не разжимали объятий до тех пор, пока паровозный гудок не возвестил им скорой остановки.

— Как это глупо! — воскликнула она, приглаживая кончиками пальцев растрепавшиеся на висках волосы.— Мы ведем себя, как дети.

Но Дюруа с лихорадочной торопливостью покрывал поцелуями ее руки, то одну, то другую.

— Я тебя обожаю, моя маленькая Мад,— сказал он.

До самого Руана они сидели почти неподвижно, щека к щеке, глаза — в раскрытое окно, за которым в ночной темноте порою мелькали освещенные домики. Наслаждаясь тем, что они так близко друг к другу, испытывая все растущее желание более интимных, более непринужденных ласк, они отдавались своим мечтам.

Остановились они в гостинице, окна которой выходили на набережную, и, наскоро поужинав, легли спать. Наутро горничная разбудила их ровно в восемь.

Чай им подали на ночной столик, и когда они выпили по чашке, Дюруа, посмотрев на жену, в порыве радости, охватывающей тех счастливцев, которым удалось найти сокровище, сжал ее в своих объятиях.

— Моя маленькая Мад,— шептал он,— я тебя очень люблю... очень... очень...

Мадлена улыбалась доверчивой и довольной улыбкой.

— И я тоже... как будто...— целуя его, сказала она.

Но его смущала поездка к родителям. Он много раз предупреждал жену, отговаривал ее, старался ее подготовить. И теперь он счел необходимым возобновить этот разговор.

— Пойми, что это крестьяне, настоящие, а не опереточные.

Она засмеялась.

— Да знаю, ты мне уже говорил. Вставай-ка лучше, а то из-за тебя и я не могу встать.

Он спрыгнул с кровати и начал надевать носки.

— Нам будет у них очень неудобно, очень. У меня в комнате стоит старая кровать с соломенным тюфяком — и больше ничего. О волосяных матрацах в Кантле не имеют понятия.

Она пришла в восторг:

— Ну и чудесно. Что может быть лучше... провести с тобой... бессонную ночь... и вдруг услышать пение петухов!

Она надела широкий пеньюар из белой фланели. Дюруа сразу узнал его, и ему стало неприятно. Почему? Ему было хорошо известно, что у его жены целая дюжина утренних туалетов. Что же, значит, она должна купить себе новое приданое? Это уж как ей будет угодно, но только он не желает видеть до-

машние туалеты, ночные сорочки, все эти одежды любви, в которые она облекалась при его предшественнике. У него было такое ощущение, словно мягкая и теплая ткань все еще хранит в себе что-то от прикосновений Форестье.

Закурив папиросу, он отошел к окну.

Вид на гавань и на широкую реку, усеянную легкими парусными судами и коренастыми пароходами, которые при помощи лебедок с диким грохотом разгружались у пристани, произвел на него сильное впечатление, хотя все это ему было давно знакомо.

— Черт, до чего красиво! — воскликнул он.

Подбежала Мадлена, положила ему на плечо обе руки и, доверчиво прижавшись к нему, замерла, потрясенная и очарованная.

— Ах, какая красота, какая красота! — повторяла она.— Я и не думала, что на реке может быть столько судов сразу!

Завтракать супруги должны были у стариков, которых они известили за несколько дней. И через час они уже тряслись в открытом фиакре, дребезжавшем, как старый котел. Сперва бесконечно долго тянулся унылый бульвар, затем начались луга, среди которых протекала речка, потом дорога пошла в гору.

Мадлена была утомлена; прикорнув в углу ветхого экипажа, где ее чудесно пригревало солнце, она разомлела от пронизывающей ласки его лучей и, словно погруженная в теплые волны света и деревенского воздуха, вскоре задремала.

Муж разбудил ее.

— Посмотри,— сказал он.

Проехав две трети горы, они остановились в том месте, откуда открывался славившийся своей живописностью вид, который показывают всем путешественникам.

Внизу светлая река извивалась по длинной, широкой, необъятной равнине. Испещренная бесчисленными островками, она появлялась откуда-то издали и, не доходя до Руана, описывала дугу. На правом берегу реки из дымки утреннего тумана вставал город с позлащенными солнцем кровлями и множеством остроконечных и приплюснутых, хрупких и отшлифованных, словно гигантские драгоценные камни, воздушных колоколен, круглых и четырехугольных башен, увенчанных геральдическими коронами, шпилей и звонниц, а надо всем этим готическим лесом верхушек церквей взметнулась острая соборная игла, изумительная бронзовая игла, до странности уродливая и несоразмерная, высочайшая в мире.

Напротив, на том берегу реки, возносились тонкие, круглые, расширявшиеся кверху заводские трубы далеко раскинувшегося предместья Сен-Север.

Длинные кирпичные колоннады этих труб, еще более многочисленных, чем их сестры — колокольни, обдавая голубое небо черным от угля дыханием, терялись вдали среди простора полей.

Выше всех взлетевшая труба, такая же высокая, как пирамида Хеопса (это второе по высоте творение человеческих рук), и почти равная своей горделивой подруге — соборной игле, исполинская водонапорная башня «Молнии» казалась царицей трудолюбивого, вечно дымящего племени заводов, а ее соседка — царицей островерхого скопища храмов.

За рабочей окраиной тянулся сосновый лес. И Сена, пройдя между старым и новым городом, продолжала свой путь, подмывая крутой, покрытый лесом извилистый берег и местами обнажая его каменный белый костяк, а затем, еще раз описав громадный полукруг, исчезала вдали. Вверх и вниз по течению шли пароходы величиною с муху и, выхаркивая густой дым, тащили на буксире баржи. Островки, распластавшиеся на воде, то составляли непрерывную цепь, то, словно неодинакового размера бусинки зеленоватых четок, держались один от другого на большом расстоянии.

Кучер ждал, когда его пассажиры кончат восхищаться. Он знал по опыту, сколько времени длится восторг у туристов разных сословий.

Но как только они тронулись в путь, Дюруа на расстоянии нескольких сот метров увидел двух стариков, двигавшихся навстречу, и, выскочив из экипажа, крикнул:

— Это они! Я их узнал!

Двое крестьян, мужчина и женщина, шли неровным шагом, покачиваясь и по временам задевая друг друга плечом. Мужчина был низенький, коренастый, краснощекий, пузатый,— несмотря на свой возраст, он казался здоровяком; женщина — высокая, сухощавая, сгорбленная, печальная, настоящая деревенская труженица, которую сызмала заставляли работать и которая никогда не смеялась, тогда как муж ее вечно балагурил, выпивая с посетителями.

У Мадлены, неожиданно для нее, мучительно сжалось сердце, когда она, тоже выйдя из экипажа, взглянула на эти два жалких создания. Они не узнали своего сына в этом важном господине, и никогда не пришло бы им в голову, что эта нарядная дама в белом платье — их сноха.

Быстро и молча двигались они навстречу долгожданному сыну, не глядя на этих горожан, за которыми ехал экипаж.

Они чуть было не прошли мимо.

— Здорово, папаша Дюруа! — смеясь, крикнул Жорж.

Оба остановились как вкопанные, остолбенев, оторопев. Старуха опомнилась первая и, не двигаясь с места, пробормотала:

— Это ты, сынок?

— Ну да, а то кто же, мамаша Дюруа! — ответил Жорж и, подойдя к ней, поцеловал ее в обе щеки крепким сыновним поцелуем. Затем потерся щеками о щеки отца, снявшего свою руанскую фуражку, черную шелковую, очень высокую, похожую на те, какие носят прасолы.

— Это моя жена,— объявил Жорж.

Крестьяне взглянули на Мадлену. Они смотрели на нее, как на чудо, со страхом и беспокойством, причем у старика к этому сложному чувству примешивалось еще что-то вроде удовлетворения и одобрения, а у старухи — ревнивая неприязнь.

Старик, жизнерадостный от природы, да к тому же еще повеселевший от выпитой водки и сладкого сидра, расхрабрился и, хитро подмигнув, спросил:

— А поцеловать-то ее все-таки можно?

— Сколько хочешь,— ответил сын.

Мадлене, и без того чувствовавшей себя не в своей тарелке, пришлось подставить старику щеки, и тот по-деревенски звонко чмокнул ее и вытер губы тыльной стороной руки.

Старуха тоже поцеловала ее, но это был сдержанный в своей враждебности поцелуй. Нет, не о такой невестке мечтала она: ей рисовалась дородная, пышущая здоровьем девушка с фермы, румяная, как яблочко, и упитанная, как племенная кобыла. А эта дамочка с ее оборками и запахом мускуса смахивала на потаскушку. Дело в том, что, по мнению старухи, духи всегда отзывали мускусом.

Все пошли за экипажем, который вез чемодан молодых супругов.

Старик взял сына под руку и, замедлив шаг, с любопытством спросил:

— Ну, как дела?

— На что лучше!

— Молодец, молодец! А сколько взял за женой?

— Сорок тысяч франков,— ответил Жорж.

Старик присвистнул от восторга.

— Ух ты, черт! — только и мог проговорить он, до того потрясла его сумма.

Затем добавил важно и уверенно:

— Красавица, что и говорить!

Она и в самом деле пришлась ему по вкусу. А ведь в свое время он по этой части слыл знатоком.

Мадлена со своей свекровью молча шли рядом. Мужчины догнали их.

Они уже подходили к деревне — крошечной деревушке, расположенной по обочинам дороги,— десять домов слева, десять домов справа: тут были дома, построенные на городской лад, и обыкновенные хибарки, кирпичные и глиняные, крытые соломой и крытые шифером. На краю деревни с левой стороны стоял одноэтажный домишко с чердаком: это и было заведение старика Дюруа — «Красивый вид». Сосновая ветка, по старинному обычаю прибитая над дверью, указывала, что жаждущие могут войти.

Завтрак был приготовлен в зале на двух сдвинутых столах, накрытых двумя небольшими скатертями. Соседка, помогавшая по хозяйству, увидев нарядную даму, низко поклонилась, затем, узнав Жоржа, воскликнула:

— Господи Исусе, это ты, малый?

— Да, это я, мамаша Брюлен! — весело ответил он и поцеловал ее так же, как перед этим целовал отца и мать.

Затем он обратился к жене:

— Пойдем в нашу комнату, там есть куда положить шляпу.

Через дверь направо он провел ее в прохладную комнату с каменным полом — комнату, сверкавшую белизной, так как стены ее были выбелены известью, а над кроватью висел коленкоровый полог. Распятие над кропильницей и две олеографии, изображавшие Поля и Виргинию под синей пальмой и Наполеона I на рыжем коне, составляли единственное украшение этой чистой и скучной комнаты.

Как только они остались одни, Жорж поцеловал Мадлену.

— Здравствуй, Мад. Я рад повидать стариков. В Париже о них не думаешь, а побывать у них все-таки приятно.

Но в перегородку уже стучал кулаком отец:

— Скорей, скорей, суп на столе!

Пришлось идти в залу.

Начался завтрак, по-деревенски долгий завтрак, меню которого было весьма неискусно составлено: после баранины подали колбасу, после колбасы — яичницу. Сидр и несколько стаканов вина привели старика Дюруа в веселое настроение, и он открыл фонтан красноречия: сыпал шутками, которые приберегал для больших праздников, рассказывал неприличные, саль-

ные анекдоты, будто бы случившиеся с его друзьями. Жорж знал их наизусть, но все же смеялся — смеялся оттого, что его опьянял воздух родных полей, оттого, что в нем снова заговорила любовь к родному краю, к знакомым с детства местам, ко всякой вещи, ко всякой мелочи, при виде которой в нем оживали прежние чувства и воспоминания прошлого: это могла быть зарубка на двери, треногий стул, напоминавший о каком-нибудь незначительном происшествии, благоухание земли, сильный аромат смолы и деревьев, которым дышал ближний лес, запах жилья, запах стоячей воды, запах навоза.

Старуха Дюруа, по-прежнему суровая и печальная, все время молчала и с ненавистью поглядывала на свою невестку, да и ничего, кроме ненависти, старая труженица с мозолистыми руками, крестьянка, чье тело было изуродовано непосильной работой, и не могла питать к этой горожанке, производившей на нее отталкивающее впечатление — впечатление чего-то нечистого, порочного, зачумленного,— казавшейся ей олицетворением праздности и греха. Она поминутно вставала, чтобы подать какое-нибудь блюдо, подлить в стаканы желтого кислого вина из графина или сладкого пенистого рыжего сидра, точно газированный лимонад вышибавшего из бутылок пробки.

Мадлена была грустна; она ничего не ела, ни с кем не разговаривала; с уст ее, как всегда, не сходила улыбка, но в этой улыбке сквозила теперь унылая покорность. Она была разочарована, удручена. Чем? Ведь ей самой хотелось сюда. Для нее не составляло тайны, что она едет к крестьянам, к простым крестьянам. Зачем же она идеализировала их,— она, которая никогда никого не идеализировала?

Впрочем, разве она это сознавала? Женщины всегда ждут чего-то иного, не того, что существует в действительности! Быть может, издали они представлялись ей более поэтичными? Поэтичными — нет, но, пожалуй, более возвышенными, более благородными, более радушными, более живописными. Вместе с тем она вовсе не желала, чтобы они были такими же благовоспитанными, как в романах. Почему же ее коробил теперь каждый пустяк, малейшая грубость, их мужицкие ухватки, их слова, движения, смех?

Она вспомнила свою мать, о которой она никогда никому не говорила,— гувернантку, получившую образование в Сен-Дени, соблазненную кем-то и умершую от нищеты и горя, когда Мадлене было двенадцать лет. Какой-то неизвестный человек дал Мадлене образование. Наверно, ее отец? Кто он был? Этого она так и не узнала, хотя кое о чем смутно догадывалась.

Конца завтраку не предвиделось. Стали заходить посетители,— они здоровались со стариком Дюруа, ахали при виде Жоржа и, поглядев искоса на молодую женщину, лукаво подмигивали, как бы говоря: «Ай да Жорж Дюруа, молодчина! Какую жену себе подцепил!»

Другие, малознакомые, садились за деревянные столы, кричали: «Литр!», «Кружку!», «Две рюмки коньяку!», «Стакан рапайля!» — и, громко стуча белыми и черными костяшками, принимались играть в домино.

Старуха Дюруа то и дело входила и уходила, с унылым видом обслуживала посетителей, получала с них деньги и концом синего передника вытирала столы.

Комнату наполнял дым от глиняных трубок и дешевых сигар. Мадлена закашлялась.

— Не выйти ли нам? Я больше не могу.

Но завтрак еще не кончился. Старик Дюруа выразил неудовольствие. Тогда она вышла из-за стола и, решив подождать, пока мужчины выпьют кофе с коньяком, села на стул у входной двери.

Немного погодя Жорж подошел к ней.

— Хочешь, сбежим к Сене? — предложил он.

— Да, да! Пойдем,— с радостью согласилась она.

Они спустились с горы и наняли в Круассе лодку. Охваченные истомой, они провели остаток дня возле островка, под сенью ив, где их пригревало ласковое весеннее солнце и убаюкивала легкая зыбь.

Когда стемнело, они вернулись домой.

Ужин при свете сальной свечи показался Мадлене еще более тягостным, чем завтрак. Старик Дюруа захмелел и все время молчал. Мать сидела с надутым лицом.

На серых, слабо освещенных стенах колыхались носатые тени, делавшие какие-то странные, несоразмерные движения. Стоило кому-нибудь повернуться в профиль к дрожащему желтому пламени свечки, и на стене мгновенно вырастала гигантская рука, подносила ко рту вилку, похожую на вилы, и вслед за тем, словно пасть чудовища, раскрывался рот.

Как только ужин кончился, Мадлена, чтобы не оставаться в этой мрачной комнате, где вечно стоял едкий запах табачного дыма и пролитых напитков, увела мужа на воздух.

— Вот ты и заскучала,— когда они вышли, заметил Жорж.

Она хотела возразить, но он продолжал:

— Нет. Я все вижу. Если хочешь, мы завтра же уедем отсюда.

— Да. Хочу,— прошептала она.

Они медленно шли вперед. Ласкающая, теплая, безбрежная ночная тьма была полна легких шорохов, шелестов, вздохов. Они шли по узкой просеке под высокими деревьями, между двумя стенами леса, окутанными непроницаемым мраком.

— Где мы? — спросила она.

— В лесу,— ответил он.

— Большой это лес?

— Очень большой, один из самых больших во всей Франции.

Запах земли, деревьев, мха, запах перегноя, запах почек, набухающих соком,— весь этот древний и свежий аромат лесной глуши, казалось, дремал здесь. Подняв голову, Мадлена в просветах между деревьями увидела звезды, и, хотя не шевелилась ни одна ветка, она все же улавливала чуть слышный плеск окружавшего ее океана листвы.

Странная дрожь пробежала по ее телу и отозвалась в душе; сердце сжалось непонятной тоской. Отчего? Этого она не могла себе уяснить. Но у нее было такое чувство, точно ей со всех сторон грозит опасность, точно она затеряна, всеми покинута, заживо погребена, точно она одна, совсем одна под этим одушевленным сводом, чуть колыхавшимся в вышине.

— Мне страшно. Вернемся назад,— шепотом сказала Мадлена.

— Ну что ж, вернемся.

— А в Париж... мы поедем завтра?

— Да, завтра.

— Завтра утром!

— Как хочешь, можно и утром.

Они вернулись домой. Старики уже легли.

Мадлена плохо спала эту ночь, ее все время будили непривычные деревенские звуки: крик совы, хрюканье борова в хлеву за стеной, пение петуха, горланившего с самой полночи.

С первым лучом зари она была уже на ногах и начала собираться в дорогу.

Когда Жорж объявил родителям о своем отъезде, они сначала опешили, но тут же догадались, чье это желание.

Старик ограничился вопросом:

— Увидимся-то мы скоро?

— Конечно. Нынешним летом.

— Ну, ладно.

— Желаю, чтоб тебе после каяться не пришлось,— буркнула старуха.

Чтобы сгладить впечатление, он подарил родителям двести франков. Экипаж, за которым был послан какой-то мальчишка, подали к десяти часам, и, поцеловав стариков, молодые уехали.

Когда они спускались с горы, Дюруа засмеялся.

— Вот,— сказал он,— я тебя предупреждал. Я не должен был знакомить тебя с моими родителями — господином и госпожой Дю Руа де Кантель.

Мадлена тоже засмеялась.

— Теперь я от них в восторге,— возразила она.— Они славные люди, и, мне кажется, я буду их очень любить. Из Парижа я пришлю им что-нибудь в подарок.

И, помолчав, продолжала:

— Дю Руа де Кантель... Ты увидишь, что наши пригласительные письма никого не удивят. Мы скажем, что прожили неделю в имении у твоих родителей.

Прижавшись к нему, она коснулась губами его усов:

— Здравствуй, Жорж!

— Здравствуй, Мад,— ответил он и обнял ее за талию.

Вдали, среди равнины, освещенная утренним солнцем, серебряной лентой изогнулась река, заводские трубы, все до одной, выдыхали в небо угольно-черные облака, а над старым городом вздымались остроконечные колокольни.

II

Прошло два дня с тех пор, как чета Дю Руа вернулась в столицу, и Жорж уже приступил к исполнению своих обязанностей, втайне надеясь, что его освободят от заведования хроникой и назначат на место Форестье и что тогда он всецело посвятит себя политике.

В этот вечер он в превосходном расположении духа шел домой обедать — туда, где жил когда-то его предшественник, и ему не терпелось как можно скорее поцеловать жену, обаятельная внешность которой действовала на него неотразимо и которая, незаметно для него самого, приобретала над ним большое влияние. Проходя мимо цветочницы, стоявшей на углу Нотр-Дам-де-Лорет, он решил купить Мадлене цветов и тут же выбрал огромный букет еще не совсем распустившихся роз, целый сноп душистых бутонов.

На каждой площадке своей новой лестницы он самодовольно поглядывал на себя в зеркало и все время вспоминал, как он входил в этот дом впервые.

Ключ он забыл дома, и дверь ему отворил все тот же слуга, которого он оставил по совету Мадлены.

— Госпожа Дю Руа дома? — спросил он.

— Да, сударь.

Проходя через столовую, он, к крайнему своему изумлению, заметил на столе три прибора. Портьера, отделявшая столовую от гостиной, была приподнята, и ему было видно Мадлену; как раз в эту минуту она ставила в вазу на камине букет роз, точь-в-точь такой же, как у него. Ему стало до того досадно, до того неприятно, словно у него украли идею, лишили удовольствия оказать ей внимание — удовольствия, которое он заранее предвкушал.

— Ты разве кого-нибудь пригласила? — спросил он, входя.

— И да и нет,— не оборачиваясь и продолжая возиться с цветами, ответила она.— По заведенному обычаю, придет мой старый друг, граф де Водрек: он всегда раньше обедал у нас по понедельникам.

— А! Прекрасно,— пробормотал Жорж.

С букетом в руках он стоял позади нее и не знал, то ли спрятать его, то ли выбросить.

— Посмотри, я принес тебе розы,— все же сказал он.

Мадлена повернулась к нему лицом и улыбнулась.

— Как это мило с твоей стороны! — воскликнула она и с такой искренней радостью протянула ему руки и губы, что он сразу успокоился.

Затем взяла цветы, понюхала их и с живостью ребенка, которому доставили огромное удовольствие, поставила в пустую вазу, рядом с первой.

— Как я рада! — любуясь эффектом, прошептала она.— Вот теперь на мой камин приятно смотреть.

И тут же убежденно добавила:

— Ты знаешь, Водрек такой прелестный, вы с ним очень скоро сойдетесь.

Звонок дал знать о приходе графа. Вошел он спокойно, уверенно, словно к себе домой. Грациозно изогнув стан, он поцеловал Мадлене пальчики, затем повернулся к мужу и, приветливо протянув ему руку, спросил:

— Как поживаете, дорогой Дю Руа?

Надменность и чопорность уступили в нем место благожелательности, наглядно свидетельствовавшей о том, что положение изменилось. Журналиста это удивило, и в ответ на эти знаки расположения он тоже решил быть любезным. Через пять ми-

нут можно было подумать, что они знакомы лет десять и души не чают друг в друге.

— Я вас оставлю одних,— с сияющим лицом сказала Мадлена.— Мне надо заглянуть в кухню.

Мужчины посмотрели ей вслед.

Когда Мадлена вернулась, они говорили о театре в связи с какой-то новой пьесой и до того сходились во мнениях, что на их лицах отражалось даже нечто вроде взаимной симпатии, мгновенно возникшей благодаря тому, что между ними обнаружилось такое полное единомыслие.

Обед прошел чудесно, без всякой натянутости. Граф так хорошо чувствовал себя в этом доме, у этой милой четы, что просидел до позднего вечера.

Когда он ушел, Мадлена сказала мужу:

— Правда, он чудный? Он очень выигрывает при ближайшем знакомстве. Вот уж настоящий друг, испытанный, преданный, верный. Ах, если б не он...

Она не докончила своей мысли.

— Да, он очень симпатичный,— вставил Жорж.— Мне кажется, мы с ним будем большими друзьями.

— Ты знаешь,— снова заговорила она,— нам еще предстоит поработать перед сном. Я не успела сказать тебе об этом до обеда, потому что сейчас же пришел Водрек. Сегодня я узнала, что в Марокко произошли важные события. Это мне сообщил депутат, будущий министр, Ларош-Матье. Нам надо написать большую статью, которая должна произвести сенсацию. Факты и цифры у меня есть. Придется сесть за работу немедленно. Бери лампу.

Он взял лампу, и они перешли в кабинет.

Те же книги стояли рядами в книжном шкафу, а на самом верху красовались три вазы, за которыми Форестье накануне своей смерти ездил к заливу Жуан. Лежавший под столом меховой коврик покойного Шарля ожидал прикосновения ног Дю Руа,— тот уселся и взял ручку из слоновой кости, слегка обгрызенную на конце зубами его предшественника.

Мадлена прислонилась к камину и, закурив папиросу, начала рассказывать новости, затем поделилась своими соображениями и наметила план задуманной статьи.

Он внимательно слушал ее, а сам в это время делал заметки. Когда же она кончила, он высказал свою точку зрения на этот вопрос, углубил его и выдвинул свой план, но уже не одной статьи, а целой кампании против нынешнего министерства. Это нападение должно было быть только началом. Мадлену так

заинтересовали широкие возможности, открывшиеся перед ней в замыслах Жоржа, что она даже перестала курить.

— Да... да... Очень хорошо... Чудесно... Превосходно...— время от времени шептала она.

И когда он кончил, сказала:

— Теперь давай писать.

Однако начало всегда давалось ему нелегко, и на этот раз он тоже с трудом находил слова. Заметив это, Мадлена слегка оперлась на его плечо и начала шептать ему на ухо фразу за фразой.

Время от времени она нерешительно обращалась к нему:

— Ты это хочешь сказать?

— Да, именно это,— отвечал он.

С чисто женской беспощадностью осыпала она язвительными, колкими насмешками председателя совета министров, до того остроумно чередуя издевательства над его наружностью с издевательствами над проводимою им политикой, что нельзя было не рассмеяться и в то же время не подивиться меткости ее наблюдений.

Дю Руа вставлял порой несколько строк, сообщавших ее нападкам более глубокий смысл и вместе с тем бóльшую остроту. Кроме того, ему было хорошо знакомо искусство коварных недомолвок, которому он учился, шлифуя свои заметки для хроники, и если он находил, что какое-нибудь происшествие, которое Мадлена выдавала за истинное, маловероятно или что оно бросает на кого-либо тень, то лишь прозрачно намекал на него и тем самым придавал ему в глазах читателей больше веса, чем если бы говорил о нем прямо.

Когда статья была написана, Жорж с чувством прочитал ее вслух.

Она показалась им обоим великолепной, и, ликующие, изумленные, они улыбнулись так, словно только сейчас оценили друг друга. Они смотрели друг на друга с нежностью, влюбленными глазами, а затем, почувствовав, что ощущение близости духовной переходит у них в жажду физической близости, порывисто обнялись и поцеловались.

Дю Руа взял лампу.

— А теперь бай-бай,— сказал он, и в глазах у него вспыхнул огонь.

— Идите вперед, мой повелитель,— ведь вы освещаете путь,— проговорила она.

Он пошел в спальню, а она следовала за ним, щекотала ему кончиком пальца шею между волосами и воротником, и этим подгоняла его, так как он боялся щекотки.

Статья, появившаяся за подписью «Жорж Дю Руа де Кантель», наделала много шуму. В палате начался переполох. Старик Вальтер поздравил автора и тут же назначил его заведующим политическим отделом «Французской жизни». Хроника опять отошла к Буаренару.

С этого дня «Французская жизнь» повела тонко рассчитанную, яростную кампанию против министерства. В этой искусной, всегда основанной на фактах полемике, то язвительной, то серьезной, то шутливой, то злобной, всех поражало ее упорство и уверенный тон. Другие газеты постоянно цитировали «Французскую жизнь», приводили из нее целые абзацы, а те, кто стоял у власти, осведомлялись, нельзя ли с помощью какого-либо ведомства заткнуть рот неизвестному и дерзкому врагу.

Дю Руа стал пользоваться популярностью в политических кругах. О росте своего влияния он судил по рукопожатиям и поклонам. Что касается его супруги, то она изумляла и восхищала его гибкостью своего ума, своей исключительной осведомленностью и своими широкими связями.

Возвращаясь домой, он каждый день заставал в гостиной то сенатора, то депутата, то судью, то генерала, и все они держали себя с Мадленой как старые друзья, почтительно и непринужденно. Где она с ними познакомилась? В обществе, утверждала она. Но как удалось ей завоевать их доверие и симпатию? Это оставалось для него загадкой.

«Из нее мог бы выйти шикарный дипломат»,— думал он.

Она часто опаздывала к обеду, вбегала запыхавшись, раскрасневшаяся, возбужденная, и, не успев снять шляпу, начинала выкладывать новости:

— Сегодня нам будет чем поживиться. Представь, министр юстиции назначил судьями двух бывших членов смешанных комиссий. Влетит же ему от нас,— долго будет помнить!

И министру влетало несколько дней подряд. Депутат Ларош-Матье, обедавший на улице Фонтен по вторникам, вслед за графом де Водреком, крепко пожимал супругам руку и предавался неумеренному восторгу.

— Черт возьми, ну и кампания! — всякий раз говорил он.— Если уж мы теперь не одержим победы...

В глубине души он был убежден, что ему удастся оттягать портфель министра иностранных дел, к которому он давно подбирался.

Это был заурядный политический деятель, не имевший ни своего лица, ни своего мнения, не блиставший способностями, не отличавшийся смелостью и не обладавший солидными знаниями,— адвокат из какого-нибудь захолустного городка, провинциальный лев, иезуит под маской республиканца, искусно лавировавший между враждующими партиями, один из тех сомнительного качества либеральных грибов, что сотнями растут на навозе всеобщего избирательного права.

Благодаря своему доморощенному макиавеллизму он сходил за умного среди своих коллег — среди всех этих отщепенцев и недоносков, из которых делаются депутаты. Он был достаточно вылощен, достаточно хорошо воспитан, достаточно развязен и достаточно любезен для того, чтобы преуспеть. В свете, этом разношерстном, текучем и не очень разборчивом обществе видных чиновников, случайно всплывших на поверхность, он пользовался успехом.

О нем говорили всюду: «Ларош будет министром»,— и он сам был в этом уверен больше, чем кто-либо другой.

Он был одним из главных пайщиков газеты старика Вальтера, его компаньоном и соучастником многих его финансовых операций.

Дю Руа поддерживал Ларош-Матье: он верил в него и, считая, что тот может ему пригодиться в будущем, возлагал на него некоторые надежды. Впрочем, он лишь продолжал дело Форестье, которого Ларош-Матье обещал наградить орденом Почетного легиона, когда настанет день его торжества. Теперь этот орден предназначался для второго мужа Мадлены — только и всего. Ведь, в сущности, ничего же не изменилось.

Это было так очевидно, что сослуживцы Дю Руа постоянно кололи ему этим глаза и доводили до бешенства.

Иначе, как «Форестье», его теперь не называли.

Как только он являлся в редакцию, кто-нибудь уже кричал:

— Послушай, Форестье!

Он делал вид, что не слышит, и продолжал разбирать в ящике письма.

Тот же голос повторял громче:

— Эй, Форестье!

Сотрудники фыркали.

Дю Руа шел в кабинет издателя, но сослуживец останавливал его:

— Ах, извини! Ведь это я к тебе обращался. Глупо, конечно, но я вечно путаю тебя с беднягой Шарлем. Это оттого, что

твои статьи дьявольски похожи на статьи Форестье. Тут всякий ошибется.

Дю Руа ничего не отвечал, но внутри у него все кипело. Втайне он уже начинал ненавидеть покойного.

Сам Вальтер заявил однажды, когда кто-то с удивлением заметил, что статьи нового заведующего политическим отделом ни по форме, ни по существу не отличаются от статей его предшественника:

— Да, это Форестье, но только более темпераментный, более мужественный, более зрелый.

В другой раз Дю Руа, случайно открыв шкаф, обнаружил, что бильбоке Форестье обмотаны крепом, а его собственное бильбоке, на котором он упражнялся под руководством Сен-Потена, перевязано розовой ленточкой. Все бильбоке были расставлены по величине в один ряд, на той же самой полке. Надпись, похожая на музейный ярлычок, поясняла: «Бывшая коллекция Форестье и К°. Наследник — Форестье Дю Руа. Патентовано. Прочнейший товар, коим можно пользоваться во всех случаях жизни, даже в пути».

Он спокойно закрыл шкаф и умышленно громко сказал:

— Дураки и завистники водятся всюду.

Но это не могло не задеть Дю Руа, самолюбивого и тщеславного, как всякий литератор, в котором, будь то простой репортер или гениальный поэт, болезненное самолюбие и тщеславие неизменно порождают обидчивость и настороженную мнительность.

Слово «Форестье» терзало ему слух; он боялся его услышать и чувствовал, что краснеет, когда слышал его.

Он воспринимал это имя как язвительную насмешку, нет, больше,— почти как оскорбление. Оно кричало ему: «За тебя все делает жена, так же как она делала все за другого. Ты бы пропал без нее».

Он охотно допускал, что без Мадлены пропал бы Форестье, но чтобы он — это уж извините!

Наваждение продолжалось и дома. Теперь все здесь напоминало ему об умершем: мебель, безделушки, все, к чему бы он ни прикоснулся. Первое время он совсем об этом не думал, но колкости сослуживцев нанесли ему глубокую душевную рану, и рану эту бередил любой пустяк, на который прежде он не обратил бы никакого внимания.

До чего бы он ни дотронулся — всюду мерещилась ему рука Шарля. На что бы он ни взглянул, что бы ни взял — все это были вещи, некогда принадлежавшие Шарлю: он их покупал, он

ими пользовался, он дорожил ими. Даже мысль о том, что Мадлена была когда-то в близких отношениях с его другом, начинала раздражать Дю Руа.

Его самого подчас изумлял этот непонятный внутренний протест, и он задавал себе вопрос: «Черт возьми, что же это со мной делается? Ведь не ревную же я Мадлену к ее приятелям? Меня совершенно не интересует, как она проводит время. Я не спрашиваю ее, куда она идет, когда вернется, но стоит мне вспомнить об этой скотине Форестье — и я прихожу в неистовство!»

«В сущности, Шарль был идиот,— продолжал он рассуждать сам с собой,— это-то меня, конечно, и возмущает. Я бешусь при мысли о том, что Мадлена могла выйти за такого осла».

Он постоянно спрашивал себя: «Чем он мог приглянуться ей, этот скот?»

Разжигаемая каждою мелочью, коловшей его, точно иголка, разжигаемая беспрестанными напоминаниями о Шарле, которые он усматривал в словах Мадлены, лакея, горничной, злоба его росла день ото дня.

Дю Руа любил сладкое.

— Почему у нас не бывает сладких блюд? — спросил он как-то вечером.— Ты их никогда не заказываешь.

— Это верно, я про них забываю,— с веселым видом ответила Мадлена.— Дело в том, что их терпеть не мог Шарль...

— Знаешь, мне это начинает надоедать,— не в силах сдержать досаду, прервал ее Жорж.— Только и слышно: Шарль, Шарль... Шарль любил то, Шарль любил это. Шарль сдох — и пора оставить его в покое.

Ошеломленная этой внезапной вспышкой, Мадлена с недоумением посмотрела на него. Но со свойственной ей чуткостью она отчасти догадалась, что в его душе совершается медленная работа ревности, ревности к покойному, усиливавшейся с каждым мгновением, при каждом напоминании о нем.

Быть может, это показалось ей ребячеством, но в то же время, несомненно, польстило ей, и она ничего ему не ответила.

Дю Руа самому было стыдно за свою выходку, но он ничего не мог с собой поделать. В тот же вечер, после обеда, когда они принялись за очередную статью, он запутался ногами в коврике. Перевернуть коврик ему не удалось, и он отшвырнул его ногой.

— У Шарля, должно быть, всегда мерзли лапы? — спросил он со смехом.

Она тоже засмеялась:

— Да, он вечно боялся простуды! У него были слабые легкие.

— Что он и доказал,— злобно подхватил Дю Руа.— К счастью для меня,— галантно прибавил он и поцеловал ей руку.

Но и ложась спать, Дю Руа мучился все тою же мыслью.

— Уж наверно Шарль надевал на ночь колпак, чтоб не надуло в уши? — опять начал он.

— Нет, он повязывал голову шелковым платком,— с намерением обернуть это в шутку ответила Мадлена.

Жорж, пожав плечами, презрительным тоном человека, сознающего свое превосходство, процедил:

— Экий болван!

С этого дня Шарль сделался для него постоянной темой для разговора. Он заговаривал о нем по всякому поводу и с выражением бесконечной жалости называл его не иначе как «бедняга Шарль».

Вернувшись из редакции, где его по нескольку раз в день называли «Форестье», он вознаграждал себя тем, что злобными насмешками нарушал могильный сон покойника. Он припоминал его недостатки, его смешные черты, его слабости, с наслаждением перечислял их, смаковал и преувеличивал, точно желая вытравить из сердца жены всякое чувство к некоему опасному сопернику.

— Послушай, Мад,— говорил он,— помнишь, как однажды эта дубина Шарль пытался нам доказать, что полные мужчины сильнее худых?

Некоторое время спустя он начал выпытывать у нее интимные подробности, касавшиеся покойного, но Мадлена смущалась и не желала отвечать. Однако он не отставал от нее:

— Да ну, расскажи! Воображаю, какой дурацкий вид бывал у него в такие минуты, верно?

— Послушай, оставь ты его наконец в покое,— цедила она сквозь зубы.

Но он не унимался.

— Нет, ты мне скажи! В постели он был неуклюж, как медведь, правда? Какой он был скот! — всякий раз прибавлял Дю Руа.

Однажды вечером, в конце мая, он курил у окна папиросу; было очень душно, и его потянуло на воздух.

— Мад, крошка, поедем в Булонский лес?

— Ну что ж, с удовольствием.

Они сели в открытый экипаж и, миновав Елисейские поля, въехали в аллею Булонского леса. Стояла безветренная ночь, одна из тех ночей, когда в Париже становится жарко, как в бане, а воздух до того раскален, что кажется, будто дышишь паром, вырвавшимся из открытых клапанов. Полчища фиакров влекли под сень деревьев бесчисленное множество влюбленных. Нескончаемой вереницей тянулись они один за другим.

Перед любопытным взором Мадлены и Жоржа мелькали женщины в светлом и мужчины в темном, сидевшие в экипажах и обнимавшие друг друга. Бесконечный поток любовников двигался к Булонскому лесу под звездным, огнедышащим небом. Кроме глухого стука колес, катившихся по земле, ничего не было слышно кругом. А они все ехали и ехали, по двое в каждом фиакре, прижавшись друг к другу, откинувшись на подушки, безмолвные, трепещущие в чаянии будущих наслаждений, погруженные в сладострастные мечты. Знойный полумрак был точно полон поцелуев. Воздух казался еще тяжелее, еще удушливее от разлитой в нем любовной неги, от насыщавшей его животной страсти. Все эти парочки, одержимые одним и тем же стремлением, пылавшие одним и тем же огнем, распространяли вокруг себя лихорадочное возбуждение. От всех этих колесниц любви, над которыми словно реяли ласки, исходило возбуждающее, неуловимое дуновение чувственности.

Жоржу и Мадлене тоже как будто передалась эта истома. Слегка разомлевшие от духоты, охваченные волнением, они молча взялись за руки.

Доехав до поворота, который начинается за городскими укреплениями, они поцеловались.

— Мы опять ведем себя, точно школьники, как тогда, по дороге в Руан,— слегка смутившись, прошептала Мадлена.

При въезде в рощу мощный поток экипажей разделился. На Озерной аллее, по которой ехали теперь молодые супруги, фиакры несколько поредели, и густой мрак, гнездившийся среди деревьев, воздух, освежаемый листвою и влагою ручейков, журчавших под ветвями, прохлада, которою веяло широкое ночное, разукрашенное звездами небо,— все это придавало поцелуям ехавших парочек особую пронзительную и таинственную прелесть.

— Моя маленькая Мад! — привлекая ее к себе, прошептал Жорж.

— Помнишь тот лес, около твоей деревни,— как там было страшно! — сказала она.— Мне казалось, что он полон диких зверей, что ему нет конца. А здесь чудесно. Ветер точно ласка-

ет тебя, и ты знаешь наверное, что по ту сторону леса находится Севр.

— Ну, в моем лесу водятся только олени, лисицы, козули и кабаны,— возразил он,— да разве кое-где попадется домик лесника.

Это слово, эта сорвавшаяся у него с языка фамилия покойного [1] поразила его так, словно кто-то выкрикнул ее из чащи леса, и он сразу осекся: опять у него защемило сердце, все та же странная и неотвязная, зудящая, гложущая, непреоборимая ревность, с некоторых пор отравлявшая ему существование, охватила его.

— Ты когда-нибудь ездила сюда вечером с Шарлем? — немного помолчав, спросил он.

— Ездила, и даже часто,— ответила она.

И ему вдруг мучительно, до боли в душе, захотелось вернуться домой. Образ Форестье вновь проник в его сознание, он завладел им, он угнетал его. Дю Руа мог думать теперь только о нем, говорить только о нем.

— Послушай, Мад...— начал он злобно.

— Что, дорогой?

— Ты наставляла бедняге Шарлю рога?

— Опять ты за свое, это же глупо наконец! — с презрительной ноткой в голосе сказала она.

Но он не сдавался.

— Да ну же, крошка, будь откровенна, признайся! Ты наставляла ему рога, да? Признайся, что наставляла!

Она ничего ему не ответила,— как всякую женщину, ее коробило это выражение.

— Черт возьми, если у кого и была подходящая голова, так это у него,— не унимался Дю Руа.— Да, да, да! Мне было бы очень приятно узнать, что Форестье носил рога. Как они, наверно, шли к его глупой роже, а?

Почувствовав, что она улыбается, быть может каким-нибудь своим мыслям, он продолжал настаивать:

— Ну скажи! Что тебе стоит! Напротив, будет очень забавно, если ты скажешь мне, не кому-нибудь, а именно мне, что ты изменяла ему.

Он и в самом деле горел желанием узнать, что Шарль, постылый Шарль, ненавистный, презренный мертвец, носил это смешное и позорное украшение. И вместе с тем другое, более смутное чувство возбуждало его любопытство.

---

[1] Форестье (Forestier) — лесник *(франц.)*.

— Мад, моя маленькая Мад, прошу тебя, скажи! — повторял он.— Ведь он это заслужил. Если б ты не украсила его рогами, это была бы с твоей стороны огромная ошибка. Да ну же, Мад, сознайся!

Мадлену, видимо, забавляло его упорство,— на это указывал ее короткий и нервный смешок.

-Он почти коснулся губами ее уха.

— Да ну же... ну... сознавайся!

Мадлена резким движением отодвинулась от него.

— Как ты глуп! — в сердцах проговорила она.— Разве на такие вопросы отвечают?

Необычный тон, каким она произнесла эти слова, заставил Дю Руа похолодеть; он окаменел, оцепенел, ему не хватало воздуха, как это бывает в минуту душевного потрясения.

Теперь экипаж ехал вдоль озера, в котором небо словно перебирало зерна своих звезд. По воде неторопливо и плавно скользили два лебедя, чуть заметные, почти неразличимые в темноте.

Жорж крикнул извозчику: «Назад!», и фиакр повернул навстречу другим медленно двигавшимся экипажам, огромные фонари которых сверкали во мраке леса, точно глаза.

«Каким странным голосом она это проговорила! Что это, признание?» — спрашивал себя Дю Руа. И эта почти полная уверенность в том, что она изменяла своему первому мужу, доводила его сейчас до исступления. Ему хотелось избить ее, сдавить ей горло, рвать ей волосы.

О, скажи она ему: «Нет, дорогой, если б я изменила Шарлю, то только с тобой»,— он заласкал бы ее, он стал бы ее боготворить!

Дю Руа сидел неподвижно, скрестив руки и глядя в небо: он был слишком взволнован для того, чтобы вновь предаться размышлениям. Он чувствовал лишь, как в нем шевелится злоба и пухнет гнев — тот самый гнев, что зреет в каждом самце, озадаченном прихотями женского вкуса. Впервые ощущал он безотчетную тревогу мужа, в сердце которого закралось сомнение. В сущности, он ревновал за мертвеца, ревновал за Форестье, ревновал необычайной и мучительной ревностью, к которой внезапно примешалась ненависть к Мадлене. Раз она изменяла Шарлю, то как мог доверять ей он, Дю Руа?

Однако мало-помалу ему удалось привести свои мысли в порядок, и, силясь подавить душевную боль, он подумал: «Все женщины — потаскушки, надо пользоваться их услугами, но нельзя тратить на них душевные силы».

Горькое чувство подсказывало ему обидные, оскорбительные слова. Но он все же не давал им срываться с языка. «Мир принадлежит сильным,— повторял он про себя.— Надо быть сильным. Надо быть выше этого».

Экипаж двигался быстрее. Городские укрепления остались позади. Дю Руа видел перед собой бледное зарево, похожее на отсвет гигантского горна. До него доносился невнятный, беспрерывный, немолчный гул, вобравший в себя бесчисленное множество разнообразных звуков, глухой, далекий и вместе с тем близкий рокот, чуть слышное и могучее биение жизни, тяжелое дыхание Парижа — дыхание титана, изнемогавшего от усталости в эту летнюю ночь.

«Надо быть дураком, чтобы портить себе из-за этого кровь,— размышлял Жорж.— Каждый — за себя. Победа достается смелым. Эгоизм — это все. Но эгоизм, алчущий богатства и славы, выше эгоизма, алчущего любви и женских ласк».

Показалась Триумфальная арка на своих чудовищных лапах,— как будто при въезде в город стоял нескладный великан, который вот сейчас зашагает по широко раскинувшейся перед ним улице.

Жоржу и Мадлене снова пришлось принять участие в параде экипажей, которые везли домой, в желанную постель, все те же безмолвные, сплетенные в объятии пары. Казалось, будто возле них движется все человечество, пьяное от радости, счастья и наслаждения.

Мадлена отчасти догадывалась, что происходит в душе у ее мужа.

— О чем ты думаешь, дружок? — с обычной для нее нежностью в голосе спросила она.— За полчаса ты не сказал ни слова.

— Я смотрю, как обнимается это дурачье,— ответил он усмехаясь,— и говорю себе, что в жизни, право, есть кое-что поинтереснее.

— Да... но иной раз это бывает приятно,— тихо проговорила она.

— Приятно... приятно... за неимением лучшего!

Мысль Жоржа шла дальше, с какой-то бешеной злобой срывая с жизни ее блестящие покровы. «Глупее глупого стесняться, отказывать себе в чем бы то ни было, глупо, что последнее время я так изводил себя, волновался, страдал». Образ Форестье встал перед его глазами, не вызвав в нем, однако, ни малейшего раздражения. У него было такое чувство, словно они толь-

ко что помирились, снова стали друзьями. Ему даже хотелось крикнуть: «Здорово, старик!»

Мадлену тяготило это молчание.

— Хорошо бы заехать по дороге к Тортони и съесть мороженого,— предложила она.

Он бросил на нее косой взгляд. В это мгновение ее тонко очерченный профиль и белокурые волосы ярко осветила гирлянда газовых рожков, зазывавшая в кафешантан.

«Она красива,— подумал он.— Что ж, это хорошо. О нас с тобой, голубушка, можно сказать: на ловца и зверь бежит. Но если мои сослуживцы опять начнут дразнить меня тобой, то я их так отделаю, что небу жарко станет».

Затем, проговорив: «С удовольствием, дорогая», он, чтобы рассеять ее подозрения, поцеловал ее.

Мадлене показалось, что губы ее мужа холодны как лед.

Но, стоя у дверей кафе и помогая ей выйти из экипажа, он улыбался своей обычной улыбкой.

III

На другой день, явившись в редакцию, Дю Руа подошел к Буаренару.

— Дорогой друг,— сказал он,— у меня к тебе просьба. Последнее время кое-кому из наших остряков понравилось называть меня «Форестье». Мне это начинает надоедать. Будь добр, предупреди их, что я дам пощечину первому, кто еще раз позволит себе эту шутку. Их дело решить, стоит ли эта забава удара шпаги. Я обращаюсь к тебе потому, что ты человек с выдержкой и сумеешь уладить дело мирным путем, а во-вторых, потому, что ты уже был моим секундантом.

Буаренар согласился исполнить поручение.

Дю Руа отправился по разным делам и через час вернулся. Никто уже не называл его «Форестье».

Когда он пришел домой, из гостиной до него донеслись женские голоса.

— Кто это? — спросил он.

— Госпожа Вальтер и госпожа де Марель,— ответил слуга.

У Жоржа дрогнуло сердце, но он тут же сказал себе: «Э, будь что будет!» — и отворил дверь.

Клотильда сидела у камина; луч света падал на нее из окна. Жоржу показалось, что при виде его она слегка побледнела. Поклонившись сперва г-же Вальтер и ее дочкам, которые, как

два часовых, сидели справа и слева от нее, он повернулся к своей бывшей любовнице. Она протянула ему руку, он взял ее и пожал так, словно хотел сказать: «Я вас люблю по-прежнему». Она ответила ему на это пожатие.

— Как вы поживаете? — спросил он.— Ведь мы не виделись целую вечность.

— Отлично. А вы, Милый друг? — как ни в чем не бывало спросила она, в свою очередь, и обратилась к Мадлене: — Ты разрешишь мне по-прежнему называть его Милым другом?

— Разумеется, дорогая, я разрешаю тебе все, что угодно.

В тоне ее слышалась легкая ирония.

Госпожа Вальтер заговорила о празднестве, которое Жак Риваль устраивал в своей холостяцкой квартире,— о большом фехтовальном состязании, на котором должны были присутствовать и светские дамы.

— Это очень интересно,— сказала она.— Но я в отчаянии. Нам не с кем пойти, муж как раз в это время будет в отъезде.

Дю Руа тотчас же предложил свои услуги. Она согласилась.

— Мои дочери и я, мы будем вам очень признательны.

Дю Руа поглядывал на младшую из сестер Вальтер и думал: «Она совсем недурна, эта маленькая Сюзанна, совсем, совсем даже недурна». Крошечного роста, но стройная, с узкими бедрами, осиной талией и чуть обозначавшейся грудью, с миниатюрным личиком, на котором серо-голубые, отливавшие эмалью глаза были словно тщательно вырисованы прихотливой и тонкой кистью художника, она напоминала хрупкую белокурую куклу, и довершали это сходство слишком белая, слишком гладкая, точно выутюженная, кожа, без единой складки, без единого пятнышка, без единой кровинки, и прелестное легкое облачко взбитых кудряшек, которым нарочно был придан поэтический беспорядок,— точь-в-точь как у красивой дорогой куклы, какую иной раз видишь в руках у девочки значительно меньше ее ростом.

Старшая, Роза, некрасивая, худая, невзрачная, принадлежала к числу девушек, которых не замечают, с которыми не разговаривают, о которых нечего сказать.

Госпожа Вальтер встала.

— Итак, я рассчитываю на вас,— обратилась она к Жоржу.— В четверг на будущей неделе, в два часа.

— К вашим услугам, сударыня,— сказал он.

Как только они вышли, г-жа де Марель тоже встала.

— До свиданья, Милый друг.

Теперь уже она долго и крепко пожимала ему руку. И, взволнованный этим молчаливым признанием, он вдруг почувствовал, что его опять потянуло к этой взбалмошной и добродушной бабенке, которая, быть может, по-настоящему любит его.

«Завтра же пойду к ней»,— решил он.

Когда супруги остались одни, Мадлена засмеялась веселым искренним смехом и, внимательно посмотрев на него, спросила:

— Тебе известно, что госпожа Вальтер от тебя без ума?

— Да будет тебе! — с недоверием в голосе проговорил он.

— Да, да, уверяю тебя; из ее слов я заключила, что она от тебя в диком восторге. Как это на нее непохоже! Она бы хотела, чтобы у ее дочерей были такие мужья, как ты!.. К счастью, все это для нее самой уже не опасно.

Он не понял, что она хотела этим сказать.

— Что значит — не опасно?

— О, госпожа Вальтер ни разу в жизни не подала повода для сплетен,— понимаешь? — ни разу, ни разу! — тоном женщины, отвечающей за свои слова, воскликнула Мадлена.— Она ведет себя безукоризненно во всех отношениях. Мужа ее ты знаешь не хуже меня. Но она — это другое дело. Между прочим, она очень страдала от того, что вышла замуж за еврея, но осталась ему верна. Это глубоко порядочная женщина.

Дю Руа был удивлен:

— Я думал, что она тоже еврейка.

— Она? Ничего подобного. Она дама-патронесса всех благотворительных учреждений квартала Мадлен. Она даже венчалась в церкви. Не знаю только, крестился ли патрон для проформы, или же духовенство посмотрело на это сквозь пальцы.

— Так... стало быть... она в меня... влюблена? — пробормотал Жорж.

— Окончательно и бесповоротно. Если б ты был свободен, я бы тебе посоветовала просить руки... Сюзанны,— ведь правда, она лучше Розы?

— Да и мамаша еще в соку! — сказал он, покручивая усы.

Мадлена рассердилась:

— Насчет мамаши, дорогой мой, могу сказать тебе одно: сделай одолжение. Мне это не страшно. Она вышла из того возраста, когда совершают свой первый грех. Надо было раньше думать.

«Неужели я и впрямь мог бы жениться на Сюзанне!..» — говорил себе Жорж.

Затем он пожал плечами:

«А, вздор!.. Разве отец когда-нибудь согласится выдать ее за меня!»

Еще не отдавая себе отчета в том, какой ему будет от этого прок, он все же решил понаблюдать за г-жой Вальтер.

Весь вечер его томили воспоминания, нежные и в то же время будившие чувственность воспоминания о романе с Клотильдой. Ему приходили на память ее проказы, ее шаловливые ласки, их совместные похождения. «Право, она очень мила,— твердил он себе.— Да, завтра же пойду к ней».

На другой день, после завтрака, он действительно отправился на улицу Верней. Все та же горничная отворила ему дверь и с той развязностью, с какою прислуга держит себя в мещанских домах, спросила:

— Как поживаете, сударь?

— Превосходно, малютка,— ответил он и вошел в гостиную, где чья-то неопытная рука разучивала на фортепьяно гаммы. Это была Лорина. Он думал, что она бросится к нему на шею. Но она с важным видом встала, церемонно, как взрослая, поздоровалась и с достоинством удалилась.

Она держала себя как оскорбленная женщина, и это его поразило. Вошла мать. Дю Руа поцеловал ей руки.

— Как часто я думал о вас! — сказал он.

— А я — о вас,— призналась Клотильда.

Они сели. Оба улыбались, глядя друг другу в глаза, обоим хотелось поцеловаться.

— Моя дорогая, маленькая Кло, я люблю вас.

— А я — тебя.

— Значит... значит... ты на меня не очень сердилась?

— И да и нет... Мне было больно, а потом я поняла, что ты прав, и сказала себе: «Ничего! Не сегодня-завтра он ко мне вернется».

— Я боялся к тебе идти, я не знал, как ты меня примешь. Я боялся, но мне страшно хотелось прийти. Кстати, скажи, пожалуйста, что с Лориной? Она едва поздоровалась и с возмущенным видом ушла.

— Не знаю. Но с тех пор, как ты женился, с ней нельзя говорить о тебе. Право, мне кажется, что она ревнует.

— Не может быть!

— Уверяю тебя, дорогой. Она уже не называет тебя Милым другом, теперь она зовет тебя «господин Форестье».

Дю Руа покраснел.

— Дай мне губы,— придвинувшись к Клотильде, сказал он.

Она исполнила его желание.

— Где бы нам встретиться? — спросил он.

— Да... на Константинопольской.

— Как!.. Разве квартира еще не сдана?

— Нет... Я ее оставила за собой!

— Оставила за собой?

— Да, я надеялась, что ты ко мне вернешься.

Ему стало тесно в груди от внезапно наполнившей его горделивой радости. Значит, эта женщина любит его, значит, это настоящее, неизменное, глубокое чувство.

— Я тебя обожаю,— прошептал он и, помолчав, спросил: — Как поживает твой муж?

— Отлично. Он пробыл здесь месяц и только третьего дня уехал.

Дю Руа не мог удержаться от смеха:

— Как это кстати!

— Да, очень кстати! — простодушно заметила Клотильда.— Впрочем, его присутствие меня не стесняет. Ты же знаешь?

— Да, это верно. В сущности, он прекрасный человек.

— Ну, а ты? Как тебе нравится твоя новая жизнь? — спросила она.

— Так себе. Моя жена — подруга, союзница.

— И только?

— И только... А сердце...

— Понимаю. Но она мила.

— Да, но она меня не волнует. Когда же мы увидимся? — еще ближе придвинувшись к Клотильде, прошептал он.

— Ну хоть... завтра... если хочешь?

— Хорошо. Завтра в два часа?

— В два часа.

Он встал и, уже собираясь уходить, смущенно заговорил:

— Знаешь что, квартиру на Константинопольской я хочу перевести на свое имя. Непременно. Недоставало еще, чтобы ты и теперь за меня платила!

В приливе нежности Клотильда поцеловала ему руки.

— Делай как знаешь,— прошептала она.— С меня довольно, что я ее сохранила и что мы можем там видеться.

С чувством полного удовлетворения Дю Руа удалился.

Проходя мимо витрины фотографа, он увидел портрет полной женщины с большими глазами, и эта женщина напомнила ему г-жу Вальтер. «Ничего,— сказал он себе,— с ней еще можно иметь дело. Как это я до сих пор не обратил на нее внимания! Интересно знать, с каким лицом встретит она меня в четверг?»

Он шел, потирая руки от радости — радости, охватившей все его существо, радости при мысли о том, что ему всюду сопутствует удача, эгоистической радости ловкого и преуспевающего мужчины, испытывая сложное и приятное ощущение польщенного самолюбия и утоленной чувственности — ощущение, вызываемое успехом у женщин.

В четверг он спросил Мадлену:

— Ты не пойдешь на турнир к Ривалю?

— О нет! Меня туда совсем не тянет, я пойду в палату депутатов.

Погода была великолепная, и Дю Руа заехал за г-жой Вальтер в открытом экипаже.

Увидев ее, он замер от удивления,— такой молодой и красивой показалась она ему. Сквозь белые кружева, которыми был отделан корсаж ее светлого с небольшим вырезом платья, проглядывала пышная, высокая грудь. Он никогда не думал, что она может быть такой моложавой. Он нашел, что она и в самом деле весьма соблазнительна. Но во всем ее облике — облике тонной, благовоспитанной дамы, добродетельной матери — было нечто такое, что не привлекало к ней нескромного взора мужчин. К тому же, обладая ясным, здравым и трезвым умом, застрахованным от крайностей, она взвешивала каждое свое слово и говорила лишь о том, что всем было давно известно и никого не могло задеть.

Сюзанна, вся в розовом, напомнила только что покрытую лаком картину Ватто, а ее сестра Роза походила на гувернантку, приставленную к этой прелестной куколке.

Перед домом Риваля уже вытянулись в ряд экипажи. Дю Руа предложил своей спутнице руку, и они вошли.

Это был турнир в пользу сирот Шестого парижского округа, и в его устройстве принимали участие в качестве дам-патронесс жены сенаторов и депутатов, связанных с «Французской жизнью».

Госпожа Вальтер обещала приехать с дочерьми, но от звания дамы-патронессы отказалась: ее благотворительность не выходила за рамки, предусмотренные духовенством, и не потому, чтобы она была очень набожна, а потому, что брак с иудеем, по ее мнению, обязывал ее к известного рода религиозности, тогда как празднество, затеянное журналистом, принимало республиканскую окраску и могло произвести впечатление чего-то антиклерикального.

Уже за три недели до турнира в газетах всех направлений можно было прочитать:

«У нашего уважаемого коллеги Жака Риваля возникла столь же блестящая, сколь и благородная идея устроить в своей холостой квартире, при которой имеется прекрасный фехтовальный зал, большой турнир в пользу сирот Шестого парижского округа.

Приглашения рассылаются супругами сенаторов: г-жами Лалуань, Ремонтель и Рисолен и супругами известных депутатов: г-жами Ларош-Матье, Персероль и Фирмен. Сбор пожертвований состоится в антракте, после чего вся сумма будет немедленно вручена мэру Шестого округа или же его заместителю».

Это была грандиозная реклама, в корыстных целях изобретенная ловким журналистом.

Жак Риваль встречал гостей у входа в свою квартиру, где был устроен буфет,— расходы на него должны были быть покрыты из валового сбора.

Просительным жестом указывал он на узкую лестницу, по которой надо было спуститься в подвал, где находился фехтовальный зал и тир.

— Вниз, сударыни, пожалуйте вниз. Турнир будет происходить в подземном зале.

Увидев жену своего издателя, он бросился к ней навстречу. Затем пожал руку Дю Руа.

— Здравствуйте, Милый друг.

Тот был удивлен.

— Кто вам сказал, что...

Риваль не дал ему договорить:

— Госпожа Вальтер, здесь присутствующая,— ей очень нравится это прозвище.

Госпожа Вальтер покраснела.

— Да, признаюсь, если б мы с вами познакомились поближе, то я, как маленькая Лорина, называла бы вас Милым другом. Это к вам очень подходит.

Дю Руа засмеялся.

— Сделайте одолжение, сударыня, прошу вас.

Она опустила глаза.

— Нет. Мы недостаточно близки для этого.

— Могу ли я надеяться, что со временем мы станем ближе? — спросил он вполголоса.

— Будущее покажет,— ответила она.

Пропустив ее вперед, он начал спускаться по узким ступенькам, освещенным газовым рожком. Что-то зловещее было

в резком переходе от дневного света к желтому пламени газа. Уже на этой винтовой лестнице пахло погребом, влажным теплом, сыростью, которая пропитывала вытертые ради такого случая стены, веяло церковным запахом ладана и ароматом женских духов — ириса, вербены, фиалки.

Из ямы долетал мощный гул толпы, дрожавшей от нетерпения.

Подвал был весь иллюминован гирляндами газовых рожков и венецианскими фонарями, которые прятались в зелени, маскировавшей каменные, покрытые плесенью стены. Всюду, куда ни посмотришь,— ветки. Потолок был украшен папоротником, пол устлан цветами и листьями. Публика была в восторге от этого убранства, свидетельствовавшего, по ее мнению, о необыкновенной изобретательности устроителей.

В глубине, в маленьком смежном подвальном помещении, возвышалась эстрада, по обеим сторонам которой тянулись два ряда стульев, предназначенных для жюри.

На скамьях для публики, расставленных справа и слева, по десяти в каждом ряду, могло разместиться около двухсот человек. Приглашено же было четыреста.

Подле эстрады молодые люди в фехтовальных костюмах, длиннорукие, долговязые, поджарые, закрутив усы и выпятив грудь, уже рисовались перед публикой. Зрители называли их по фамилии, показывали друг другу любителей и профессионалов, прославленных мастеров фехтовального искусства. Мужчины в сюртуках, старые и молодые, являвшие некое фамильное сходство с фехтовальщиками в специальных костюмах, стоя вокруг них, вели между собой беседу. Штатские рыцари и знатоки рапиры, они тоже добивались, чтобы их заметили, узнали, назвали по фамилии.

Дамы, занявшие почти все скамьи, наполняли зал громким шепотом и шелестом платьев. В этом густолиственном гроте уже нечем было дышать, и они, точно в театре, обмахивались веерами.

— Оршад! Лимонад! Пиво! — время от времени выкрикивал какой-то остряк.

Госпожа Вальтер и ее дочери пробрались к первому ряду, где для них были оставлены места. Дю Руа усадил их и, намереваясь уйти, шепнул:

— Я вынужден покинуть вас,— мужчинам не разрешается занимать места на скамьях.

— Мне бы все-таки очень хотелось, чтобы вы остались.— нерешительно заметила г-жа Вальтер.— Вы бы называли мне

участников турнира. Может быть, вы станете у края скамейки,— здесь вы никому не будете мешать.

Она смотрела на него своими большими кроткими глазами.

— Право, оставайтесь с нами, господин... господин Милый друг,— настаивала она.— Вы нам необходимы.

— Слушаюсь, сударыня... с удовольствием,— сказал Жорж.

Со всех сторон слышалось:

— Здесь очень занятно, в этом подвале, очень, очень мило.

Жоржу был хорошо знаком этот сводчатый зал. Ему живо вспомнилось утро накануне дуэли, которое он провел здесь в полном одиночестве, перед белым картонным кружком, смотревшим на него из глубины второго подвала, будто огромный и страшный глаз.

— Сейчас начинаем, сударыни,— раздался голос спускавшегося по лестнице Жака Риваля.

И в ту же минуту шестеро мужчин в сюртуках, плотно облегавших и четко обрисовывавших фигуру, взошли на эстраду и сели на стулья, предназначенные для жюри.

Их имена облетели зал. Это были: генерал де Рейнальди, председатель жюри, маленький человек с большими усами; художник Жозефен Руде, высокий, лысый, с длинной бородой; Матео де Южар, Симон Рамонсель и Пьер де Карвен — все трое статные юноши, и признанный мастер Гаспар Мерлерон.

Справа и слева от эстрады вывесили два плаката. На одном было написано: «Г-н Кревкер», на другом: «Г-н Плюмо».

Это были два мастера, два настоящих мастера второй категории. Оба сухопарые, по-военному подтянутые и чересчур резкие в движениях, они поднялись на эстраду. Как автоматы, отсалютовали они друг другу и начали вести нападение,— костюм из полотна и белой кожи придавал им сходство с балаганными солдатиками, потешающими народ.

По временам слышалось слово: «Задел!», после чего шестеро судей с видом знатоков утвердительно кивали головами. Публика не видела ничего, кроме двух живых марионеток, с вытянутою рукой носившихся по эстраде; она ничего не понимала, но была довольна. Все же она находила, что эти два манекена недостаточно изящны и что в них есть даже что-то комичное. Невольно приходили на память деревянные борцы, которых под Новый год продают на бульварах.

Первых двух фехтовальщиков сменили гг. Карапен и Плантон — военный и штатский. Мэтр Плантон был очень мал ростом, мэтр Карапен — очень толст. Казалось, что от первого же удара рапиры этот пузырь лопнет, как резиновый слон,

из которого выпустили воздух. В публике послышался смех. Г-н Плантон прыгал, как обезьяна. Г-н Карапен шевелил только рукой,— двигать всем корпусом ему мешала толщина. Через каждые пять минут он так медленно и с такими усилиями делал выпад, словно принимал какое-то чрезвычайно важное решение. Всякий раз после этого он с большим трудом выпрямлялся.

Знатоки уверяли, что у него очень сдержанный и уверенный стиль игры. Доверчивая публика соглашалась.

Затем появились гг. Порьон и Лапальм — профессионал и любитель, и началась какая-то дикая гимнастика: они стремительно налетали друг на друга, всякий раз вынуждая судей схватывать стулья и бросаться в сторону, и перебегали с одного конца эстрады на другой, причем один нападал, а другой отступал, высоко и уморительно подпрыгивая. Их маленькие прыжки назад смешили дам, зато их порывистые скачки вперед вызывали даже некоторое волнение. Какому-то нахалу эти гимнастические упражнения дали повод заметить:

— Что вы так стараетесь,— ведь платят-то по часам!

Публика зашикала,— ее возмутила эта бестактность. Мнение экспертов передавалось из уст в уста: фехтовальщики проявили большой темперамент, но порой им недоставало находчивости.

Первое отделение закончилось блестящим поединком между Жаком Ривалем и известным бельгийским мастером Лебегом. Риваль очень понравился дамам. Он и в самом деле был красивый малый, хорошо сложенный, увертливый, ловкий, более грациозный, чем его предшественники. Его манера обороняться и нападать, отличавшаяся каким-то пленительным светским изяществом, составляла контраст с шаблонными, хотя и решительными приемами противника.

— Сразу видно воспитанного человека,— говорили в публике.

Победа осталась за ним. Ему аплодировали.

Но зрители уже несколько минут с беспокойством прислушивались к странному гулу, доносившемуся сверху. В нем можно было различить яростный топот ног и взрывы хохота. Двести человек приглашенных, которым не удалось спуститься в подвал, видимо, развлекались по-своему. На узкой винтовой лестнице сгрудилось человек пятьдесят. Внизу стало нестерпимо душно. Раздавались крики: «Воздуху!», «Пить!» Все тот же остряк пронзительно визжал, заглушая шум голосов: «Оршад! Лимонад! Пиво!»

Появился Жак Риваль, весь красный, еще не успевший снять фехтовальный костюм.

— Я велю принести прохладительного,— сказал он и побежал к лестнице.

Но всякое сообщение с первым этажом было прервано. Легче было пробить потолок, чем пройти сквозь человеческую стену, выросшую на ступеньках.

— Скажите, чтобы принесли мороженого для дам! — крикнул Риваль.

— Мороженого! — подхватило пятьдесят голосов.

Наконец появился поднос. Но стаканы на нем стояли пустые,— мороженое расхватали по дороге.

— Здесь задохнешься,— зарычал чей-то мощный бас,— пора кончать — и по домам.

— Сбор! — выкрикнул другой голос.

И вся публика, тяжело дышавшая, но все же радостно возбужденная, подхватила:

— Сбор! Сбор! Сбор!

Шесть дам начали обходить ряды, и вслед за тем послышался легкий звон серебра, падавшего в сумочки.

Дю Руа называл г-же Вальтер знаменитостей. Это были светские люди, сотрудники солидных газет, издававшихся с давних пор, журналисты, смотревшие на «Французскую жизнь» свысока, в силу своего опыта относившиеся к ней несколько скептически. На их глазах погибло столько политико-финансовых листков, возникших благодаря какой-нибудь подозрительной махинации и погребенных под обломками рухнувшего министерства! Большинство живописцев и скульпторов увлекается спортом, а потому тут были представлены обе профессии; был тут и поэт-академик, на которого все обращали внимание, были два композитора и много знатных иностранцев, к фамилиям которых Дю Руа прибавлял «прото» (от слова «протобестия»), поясняя, что это он делает в подражание англичанам, которые на визитных карточках прибавляют к своим фамилиям «эск» [1].

— Здравствуйте, дорогой друг! — сказал ему кто-то.

Это был граф де Водрек. Извинившись перед дамами, Дю Руа подошел к нему.

— Водрек очарователен,— заметил он, вернувшись.— Как в нем чувствуется порода!

---

[1] Эск — от английского слова эсквайр, то есть помещик, дворянин.

Госпожа Вальтер ничего не ответила. Она немного устала, и грудь ее, привлекая взоры Дю Руа, высоко поднималась при каждом вздохе. По временам он ловил на себе ее взгляд, несмелый, выражавший смятение взгляд, который останавливался на нем и тотчас же ускользал от него. «Так, так, так...— говорил он себе.— Неужели попалась и эта?»

Сборщицы обошли весь зал. Их сумочки были полны серебра и золота. На эстраде был вывешен новый плакат, возвещавший о каком-то «грррандиозном сюрпризе». Члены жюри снова заняли свои места. Публика притихла в ожидании.

Появились две женщины с рапирами в руках, в фехтовальных костюмах: на них было темное трико, короткие, выше колен, юбки и такие высокие пластроны, что им все время приходилось задирать голову. Обе были молоды и хороши собой. Обе улыбались и кланялись публике. Им долго хлопали.

Но вот они стали в позицию, и зрители весело зашептались, по рядам пробежал игривый смешок.

Судьи отмечали удары отрывистым «браво», с их уст не сходила любезная улыбка.

Зрители были в восторге от этих двух вертельниц: мужчины — оттого, что они разжигали их чувственность, женщины — оттого, что они будили в них врожденную страсть парижан к нескромным увеселениям, к развлечениям низкого пошиба, к поддельной красоте и поддельному изяществу, к опереточным куплетам и кафешантанным певичкам.

Всякий раз, когда одна из фехтующих делала выпад, в зале начиналось веселое оживление. Другая в это время показывала публике свою упругую спину, и зрители раскрывали рты, а глаза у них становились круглыми, хотя искусство, с каким фехтовальщица оборонялась, занимало их меньше всего.

Аплодировали им бешено.

За этим последовало состязание на саблях, но на него никто не смотрел, так как внимание зрителей было поглощено тем, что происходило наверху. Оттуда уже несколько минут доносился грохот передвигаемой мебели, точно кто-то съезжал с квартиры. Потом вдруг заиграли на рояле, и вслед за тем явственно послышался ритмичный топот ног, прыгающих в такт. Те, кто не попал на турнир, чтобы вознаградить себя, устроили бал.

Публика разразилась хохотом, дамам захотелось потанцевать,— не глядя на эстраду, они громко разговаривали между собой.

Этот бал, затеянный наверху, забавлял всех. Опоздавшие, как видно, не скучали. Зрители, казалось, охотно присоединились бы к ним.

Но вот два новых соперника, поклонившись друг другу, с таким решительным видом стали в позицию, что все взгляды невольно устремились на них.

Они то сгибались, то выпрямлялись, обнаруживая при этом такую эластичную грацию, такую расчетливую отвагу, такую уверенную силу, такую скупость жестов, такое изящество приемов и чувство меры во всем, что даже эта невежественная публика была очарована и потрясена.

Их несуетливое проворство, их осмысленная увертливость и стремительные движения, строго обдуманные и оттого казавшиеся медленными, пленяли и приковывали взор, как всякое подлинное искусство. Публика почувствовала, что глазам ее открывается нечто исключительное по красоте, что перед ней во всем своем великолепии выступают два могучих художника, два законченных мастера, что они хотят выказать все свое умение, все свое коварство, блеснуть своим проверенным на опыте знанием теории, поразить гибкостью своего тела.

Все следили за ними молча, не спуская глаз. Но после заключительного удара, после того как они обменялись рукопожатием, в зале раздались крики «браво». Публика ревела, топала ногами. Все уже знали их имена: это были Сержан и Равиньяк.

Мужчины пришли в воинственное настроение. Сосед вызывающе поглядывал на соседа. Случайная улыбка могла послужить поводом к дуэли. Люди, никогда не державшие в руках рапиры, тросточками чертили в воздухе выпады и парировали воображаемые удары.

Но вскоре зрители один за другим начали подниматься по узкой лестнице. Наконец-то можно было утолить жажду. Но как же все вознегодовали, когда обнаружилось, что танцоры опустошили буфет и ушли, заявив, что зря побеспокоить двести человек и так ничего и не показать им — это просто свинство!

Не осталось ни одного пирожка, ни капли шампанского, ни капли сиропа, ни капли пива, ни конфет, ни яблок — ничего. Все было разграблено, уничтожено, истреблено.

Стали расспрашивать слуг,— те делали вид, что огорчены, а сами едва удерживались от смеха. «Дамы набрасывались на все еще пуще мужчин,— уверяли они,— так напились и наелись, что как бы с ними потом чего не случилось». Можно

было подумать, что это рассказ уцелевших жителей города, разрушенного и разграбленного вражескими полчищами.

Оставалось только уйти. Мужчинам стало жаль пожертвованных двадцати франков; они были злы на тех, кто попировал тут, наверху, а потом ушел, не заплатив.

Дамы-патронессы собрали больше трех тысяч франков. Для сирот Шестого округа за вычетом расходов осталось двести двадцать франков.

Жоржу Дю Руа, сопровождавшему семейство Вальтер, подали экипаж.

Дорогой, сидя против супруги издателя, он вновь поймал на себе ее ласковый, ускользающий и как будто смущенный взгляд. «Эге, должно быть, клюет!» — подумал он и улыбнулся при мысли о том, что он действительно имеет успех у женщин: ведь и г-жа де Марель, с тех пор как их связь возобновилась, была безумно в него влюблена.

Он вернулся домой в отличном расположении духа.

Мадлена поджидала его в гостиной.

— У меня есть для тебя новости,— сказала она.— Положение в Марокко осложняется. Весьма возможно, что через несколько месяцев Франция пошлет туда войска. Во всяком случае, этим собираются воспользоваться, чтобы сбросить правительство, и Ларош, конечно, не упустит случая взять в свои руки портфель министра иностранных дел.

Чтобы подразнить жену, Дю Руа притворился, что ничему этому не верит. Затевать ту же глупую историю, что и в Тунисе,— для этого надо быть сумасшедшим.

Она нетерпеливо пожала плечами.

— А я тебе говорю, что так оно и выйдет! Так оно и выйдет! Значит, ты не понимаешь, что для них это очень важный вопрос, вопрос денег. В наше время, дорогой мой, когда наблюдаешь за политической игрой, надо говорить не «ищите женщину», а «ищите выгоду».

— Вот как! — чтобы позлить ее, презрительно пробормотал он.

Она вспыхнула:

— Послушай, ты так же наивен, как Форестье.

Она хотела уязвить его и ожидала, что он рассердится. Но он улыбнулся и переспросил:

— Как рогоносец Форестье?

Это ее сразило.

— Жорж! — прошептала она.

— А что? — с насмешливым, вызывающим видом продол-

жал Дю Руа.— Разве ты не призналась в тот вечер, что Форестье был рогоносцем? Бедный малый! — прибавил он с искренним сожалением.

Не удостоив его ответом, Мадлена повернулась к нему спиной.

— Во вторник у нас будут гости,— помолчав с минуту, снова заговорила она.— Госпожа Ларош-Матье и виконтесса де Персмюр приедут обедать. Можно тебя попросить позвать Риваля и Норбера де Варена? Я буду завтра у госпожи Вальтер и де Марель. Может быть, приедет и госпожа Рисолен.

С некоторых пор, пользуясь влиянием мужа в политических кругах, она начала заводить знакомства в свете и всеми правдами и неправдами старалась залучить к себе жен сенаторов и депутатов, нуждавшихся в поддержке «Французской жизни».

— Прекрасно,— сказал Дю Руа.— Я приглашу Риваля и Норбера.

Он потирал руки от удовольствия: теперь у него будет чем изводить жену и утолять свою глухую злобу, ту безотчетную грызущую ревность, которую он ощутил во время прогулки в Булонском лесу. Отныне, когда речь зайдет о Форестье, он всякий раз будет величать его рогоносцем. Он отлично понимал, что в конце концов доведет этим Мадлену до бешенства. И в течение вечера он раз десять вставлял с добродушной иронией: «Этот рогоносец Форестье...»

Он уже не испытывал неприязни к покойнику — он мстил за него.

Мадлена, сидя против мужа, делала вид, что не слышит, и, как всегда, улыбалась своей равнодушной улыбкой.

На другой день, вспомнив, что Мадлена собирается пригласить г-жу Вальтер, он решил опередить ее, чтобы застать жену патрона одну и проверить, действительно ли она увлечена им. Это его забавляло и льстило ему. А затем... почему бы и нет... если это только возможно?

В два часа он был на бульваре Мальзерба. Его провели в гостиную. Там ему пришлось подождать.

Наконец вошла г-жа Вальтер и, явно обрадовавшись, протянула ему руку:

— Какими судьбами?

— Меня привело сюда одно только желание видеть вас. Какая-то сила влекла меня к вам, сам не знаю зачем, ибо мне нечего вам сказать. Я пришел — вот и все! Надеюсь, вы простите мне этот ранний визит и мою откровенность?

Все это он проговорил с улыбкой, игривым и любезным тоном, в котором слышалось, однако, что-то серьезное.

Госпожа Вальтер была поражена, легкая краска выступила у нее на лице.

— Но я... право... не понимаю... вы меня удивляете...— сказала она запинаясь.

— Это объяснение в любви, но на веселый лад, чтобы вы не испугались,— добавил он.

Они сели рядом. Она было приняла это в шутку.

— Так, значит, это... признание всерьез?

— Разумеется! Я уже давно хотел признаться, очень давно. Но я не смел. Я столько слышал о вашей суровости, о вашей непреклонности...

Госпожа Вальтер овладела собой.

— Почему вы выбрали именно этот день? — спросила она.

— Не знаю,— ответил он и, понизив голос, добавил: — Вернее, потому, что со вчерашнего дня я только о вас и думаю.

Она внезапно побледнела.

— Довольно, все это ребячество, поговорим о чем-нибудь другом.

Тогда он упал к ее ногам, и так неожиданно, что она испугалась. Она хотела встать, но он обвил руками ее талию и удержал силой.

— Да, это правда,— заговорил он страстным голосом,— я вас люблю, люблю безумно, люблю давно. Не отвечайте мне. Что же делать, если я теряю рассудок! Я люблю вас... Если бы вы знали, как я вас люблю!

Она задыхалась, ловила ртом воздух, хотела что-то сказать, но не могла выговорить ни слова. Она отталкивала его обеими руками, потом схватила за волосы, чтобы отвести от себя эти губы, приближавшиеся к ее губам. При этом, закрыв глаза, чтобы не видеть его, она резким движением поворачивала голову то вправо, то влево.

Он касался ее тела сквозь платье, тискал, щупал ее, а она изнемогала от этой грубой, расслабляющей ласки. Внезапно он поднялся с колен и хотел обнять ее, но она, воспользовавшись тем, что он отпустил ее на секунду, рванулась, выскользнула у него из рук и, перебегая от кресла к креслу, заметалась по комнате.

Решив, что гоняться за нею нелепо, он тяжело опустился на стул и, делая вид, что его душат рыдания, закрыл руками лицо.

Затем вскочил, крикнул: «Прощайте, прощайте!» — и выбежал из комнаты.

В передней он как ни в чем не бывало взял свою тросточку и вышел на улицу.

«Кажется, дело в шляпе, черт побери!» — подумал он и проследовал на телеграф, чтобы послать Клотильде «голубой листочек», в котором он намеревался назначить ей свидание на завтра.

Домой он вернулся в обычное время.

— Ну что, придут твои гости обедать? — спросил он жену.

— Да,— ответила она,— только госпожа Вальтер не знает еще, будет ли она свободна. Она что-то колеблется, заговорила со мной о каком-то нравственном долге, о совести. Вообще у нее был очень странный вид. Впрочем, думаю, что она все-таки приедет.

Он пожал плечами.

— Можешь не сомневаться.

Однако в глубине души он не был в этом уверен и все это время, до самого дня обеда, провел в волнении.

Утром Мадлена получила от г-жи Вальтер записку:

«Мне с большим трудом удалось освободиться, и я буду у вас. Но муж приехать не может».

«Хорошо, что я больше не был у нее! — подумал Дю Руа.— Вот она уже и успокоилась. Посмотрим, что будет дальше».

Тем не менее мысль о том, как они встретятся, внушала ему легкую тревогу. И вот наконец она появилась — с очень спокойным, несколько холодным и надменным выражением лица. Он сразу принял весьма скромный, смиренный и покорный вид.

Госпожи Ларош-Матье и Рисолен пожаловали со своими мужьями. Виконтесса де Персмюр начала рассказывать великосветские новости. Г-жа де Марель была обворожительна; экстравагантный испанский костюм, черный с желтым, чудесно обрисовывал ее тонкую талию, высокую грудь и полные руки и придавал задорное выражение ее птичьей головке.

Дю Руа сидел справа от г-жи Вальтер и во все время обеда с особой почтительностью говорил с ней только о серьезных вещах. Время от времени он поглядывал на Клотильду. «Конечно, она красивее и свежее»,— думал он. Затем взгляд его останавливался на жене: она тоже казалась ему хорошенькой, хотя

он по-прежнему испытывал к ней затаенное, глубоко укоренившееся враждебное и злое чувство.

Но к г-же Вальтер его влекла трудность победы над ней и та новизна ощущений, которая представляет вечный соблазн для мужчин.

Она рано собралась домой.

— Я провожу вас,— предложил он.

Она отказалась.

— Но почему же? — настаивал он.— Вы меня этим горько обидите. Не заставляйте меня думать, что вы все еще сердитесь. Вы видите, как я спокоен.

— Вам нельзя уходить от гостей,— возразила она.

Он усмехнулся:

— Ничего, я отлучусь всего на двадцать минут. Никто этого и не заметит. А вот если вы мне откажете, я буду оскорблен в своих лучших чувствах.

— Хорошо, я согласна,— тихо сказала она.

Но как только они очутились в карете, он схватил ее руку и, покрывая ее страстными поцелуями, заговорил:

— Я люблю вас, я люблю вас. Позвольте мне это сказать. Я до вас не дотронусь. Я хочу лишь говорить с вами о своей любви.

— Ах... вы же мне обещали... нехорошо... нехорошо,— прошептала она.

Дю Руа сделал вид, что с огромным трудом пересилил себя.

— Послушайте, вы видите, как я владею собой,— приглушенным голосом снова заговорил он.— И все же... Позвольте сказать вам только одно: я люблю вас... Позвольте мне повторять это каждый день... Да, позвольте мне проводить у ваших ног хотя бы пять минут и, впиваясь глазами в ваше чудное лицо, произносить эти три слова.

Госпожа Вальтер все еще не отнимала у него руки.

— Нет, я не могу, я не хочу,— проговорила она задыхаясь.— Что станут говорить обо мне, что подумает прислуга, мои дочери... Нет, нет, это невозможно...

— Я не могу без вас жить,— продолжал он.— В вашем доме или где-нибудь еще, но я должен видеть вас каждый день; хотя бы одну минуту, должен прикасаться к вашей руке, чувствовать на себе дуновение ветра, который вы поднимаете своим платьем, любоваться очертаниями вашего тела, глядеть в ваши большие дивные глаза, от которых я без ума.

Она слушала эту пошлую музыку любви и, вся дрожа, повторяла:

— Нет... нет... это невозможно. Замолчите!

Дю Руа понимал, что эту простушку надо прибирать к рукам исподволь,— ведь все дело в том, чтобы они стали встречаться — сперва там, где захочет она, а потом уж он сам будет назначать ей свидания.

— Послушайте... это необходимо...— зашептал он ей на ухо,— я вас увижу... я буду стоять у дверей вашего дома... как нищий... Если вы ко мне не выйдете, я поднимусь к вам... Но я вас увижу... я вас увижу... завтра.

— Нет, нет, не приходите. Я вас не приму. Подумайте о моих дочерях.

— В таком случае скажите, где я мог бы вас встретить... на улице или... где вы хотите... час мне безразличен... только бы видеть вас... Я вам поклонюсь... скажу «люблю» — и уйду.

Окончательно растерявшись, она медлила с ответом. Но вдруг, заметив, что карета подъезжает к ее дому, быстрым шепотом проговорила:

— Хорошо, завтра в половине четвертого я буду в церкви Трините.

И, выйдя из экипажа, крикнула кучеру:

— Отвезите господина Дю Руа домой.

Когда он вернулся, жена спросила его:

— Где ты пропадал?

— Мне надо было отправить срочную телеграмму,— сказал он вполголоса.

К нему подошла г-жа де Марель.

— Вы меня проводите, Милый друг? Ведь я только с этим условием и езжу так далеко в гости,— заявила она и обратилась к хозяйке дома: — Ты не ревнуешь?

— Нет, не очень,— умышленно растягивая слова, ответила г-жа Дю Руа.

Гости расходились. Г-жа Ларош-Матье имела вид провинциальной горничной. Дочь нотариуса, она вышла за Лароша, когда тот был еще никому не известным адвокатом. Жеманная старуха г-жа Рисолен напоминала старозаветную акушерку, получившую образование в читальных залах. Виконтесса де Персмюр смотрела на них свысока. «Белая лапка» виконтессы с отвращением притрагивалась к их мещанским рукам.

Клотильда завернулась в кружева и, прощаясь с Мадленой у двери, сказала:

— Твой обед удался как нельзя лучше. Скоро у тебя будет первый политический салон в Париже.

Оставшись вдвоем с Жоржем, она обвила его руками.

— О мой дорогой Милый друг, я люблю тебя день ото дня все больше и больше!

Их экипаж качало, словно корабль.

— То ли дело у нас в комнате! — сказала она.

— О да! — согласился Жорж.

Но думал он в эту минуту о г-же Вальтер.

IV

Площадь Трините была почти безлюдна в этот ослепительный июльский день. Палящая жара угнетала Париж: стеснявший дыхание, знойный, тяжелый, густой, раскаленный воздух словно давил его своей тяжестью.

Возле церкви лениво бил фонтан,— казалось, у воды нет больше сил струиться, казалось, она тоже изнемогает от усталости. В мутной густой зеленоватой жидкости, наполнявшей бассейн, плавали клочки бумаги и листья.

Через каменную ограду перемахнула собака и погрузилась в эти сомнительной чистоты волны. Из круглого садика, огибавшего портал, с завистью поглядывали на нее сидевшие на скамейках люди.

Дю Руа вынул часы. Маленькая стрелка стояла на трех. Он пришел на полчаса раньше.

Свидание с г-жой Вальтер забавляло его. «Она пользуется церковью для любых целей,— думал он.— Церковь снимает с ее души грех, который она совершила, выйдя замуж за еврея, в политических кругах создает о ней представление как о женщине, идущей против течения, возвышает ее во мнении света, и она же служит ей местом свиданий. Обращаться с религией, как с зонтиком, вошло у нее в привычку. В хорошую погоду зонт заменяет тросточку, в жару защищает от солнца, в ненастье укрывает от дождя, а когда сидишь дома — он пылится в передней. И ведь таких, как она, сотни; сами не ставят господа бога ни в грош, а другим затыкают рот и вместе с тем в случае нужды прибегают к нему как к своднику. Пригласи их в номера — они примут это за личное оскорбление, а заводить шашни перед алтарем — это у них в порядке вещей».

Медленным шагом обошел он бассейн и взглянул на церковные часы. Против его часов они спешили на две минуты: на них было пять минут четвертого.

Он решил, что в церкви ждать удобнее, и вошел туда.

На него пахнуло погребом,— он с наслаждением втянул в себя эту прохладу, а затем, чтобы изучить расположение храма, начал обходить главный придел.

В глубине обширного храма чьи-то мерные шаги, которые то затихали, то снова явственно доносились, вторили его собственным шагам, гулко раздававшимся под высокими сводами. Человек, расхаживавший по церкви, возбудил его любопытство. Он пошел к нему навстречу. Держа шляпу за спиной, с важным видом разгуливал тучный лысый господин.

На некотором расстоянии одна от другой, преклонив колена и закрыв руками лицо, молились старухи.

Душой овладевало ощущение покоя, одиночества, безлюдья. Цветные стекла скрадывали солнечный свет, и он не раздражал глаз.

Дю Руа нашел, что здесь «чертовски хорошо».

Он подошел к двери и еще раз посмотрел на часы. Было только четверть четвертого. Досадуя на то, что здесь нельзя курить, он сел у главного входа. В противоположном конце храма, около амвона, все еще медленно расхаживал тучный господин.

Кто-то вошел. Дю Руа обернулся. Это была простая, бедно одетая женщина в шерстяной юбке; она упала на колени возле первого стула, сложила на груди руки и, устремив глаза к небу, вся ушла в молитву.

Дю Руа с любопытством присматривался к ней, стараясь понять, какая печаль, какая скорбь, какое неутешное горе терзает это жалкое существо. Она живет в ужасающей нищете,— это ясно. К довершению всего муж, наверно, колотит ее, а ребенок, может быть, при смерти.

«Бедняги! Есть же на свете такие несчастные!» — говорил он себе. И в нем поднимался бунт против безжалостной природы. Затем ему пришло на ум, что вся эта голытьба верит, по крайней мере, будто кто-то невидимо печется о ней, будто где-то там небесная бухгалтерия заносит ее добрые и злые дела в особые книги и в конце концов подводит баланс... Где-то там... Где же именно?

Тишина, царившая в храме, располагала к высоким размышлениям, и, окинув мысленным оком вселенную, Дю Руа процедил сквозь зубы:

— До чего нелепо устроен мир!

Шелест платья заставил его вздрогнуть. Это была она.

Он встал и быстро подошел к ней.

— В моем распоряжении всего несколько минут,— не подавая ему руки, тихо сказала она.— Мне надо идти домой. Станьте на колени подле меня, а то нас могут узнать.

С этими словами она направилась в главный придел, отыскивая удобное и укромное место,— видно было, что она хорошо знает эту церковь. Лицо ее было скрыто под густою вуалью, ступала она чуть слышно, почти не касаясь пола.

Дойдя до амвона, она обернулась.

— В боковых приделах, пожалуй, лучше. Здесь уж очень на виду,— тем таинственным шепотом, каким принято говорить в церкви, сказала она.

Остановившись перед алтарем, она низко опустила голову, хотела было стать на колени, но вдруг повернула направо, к выходу, а затем, видимо решившись на что-то, придвинула скамеечку и преклонила колена.

Жорж взял себе другую скамеечку, ту, что стояла рядом, и, как только они оба приняли молитвенную позу, заговорил:

— Благодарю вас, благодарю. Я обожаю вас. Я готов повторять это без конца, я хотел бы рассказать вам о том, как я полюбил вас, о том, как вы покорили меня с первого взгляда... Когда же вы позволите мне излить свою душу, высказать вам все это?

Она была погружена в глубокое раздумье и, казалось, совсем не слушала его.

— То, что я разрешаю вам так со мной говорить,— это с моей стороны безумие,— все еще не отнимая от лица рук, заговорила она.— Безумие — то, что я сюда пришла, безумие — все, что я делаю, безумием с моей стороны было подавать вам надежду на продолжение того, что... того, что произошло между нами. Забудьте обо всем, так надо, и никогда больше не заговаривайте со мной об этом.

Она выжидающе смолкла. А он думал о том, как ей ответить, пытался найти решительные, страстные слова, но ему нельзя было подкреплять свою речь жестами, и это его сковывало.

— Я ни на что не надеюсь... ничего не жду,— снова заговорил он,— я вас люблю. Что бы вы ни делали, я буду повторять это так часто, с такой силой и с таким пылом страсти, что в конце концов вы меня поймете. Я хочу, чтобы любовь, которой дышит каждое мое слово, нашла доступ к вашему сердцу, чтобы она наполняла его день за днем, час за часом, чтобы она пропитывала его, как влага, просачиваясь капля за кап-

лей, и чтобы, растроганная и смягченная, вы однажды сказали мне: «Я тоже люблю вас».

Он чувствовал, как дрожит ее плечо, как вздымается ее грудь. И вдруг он услыхал быстрый шепот:

— Я тоже люблю вас.

Он вздрогнул так, словно его изо всех сил ударили по голове.

— О боже!..— вырвалось у него вместе со вздохом.

— Зачем я вам это сказала? — тяжело дыша, продолжала г-жа Вальтер.— Я преступница, грешница... а ведь я... мать двух дочерей... но я не могу... не могу... Я бы никогда не поверила... никогда не подумала... но это сильнее... сильнее меня. Слушайте... слушайте... я никогда никого не любила... кроме вас... клянусь вам... И я люблю вас уже целый год, тайной любовью, любовью, которую я хранила в тайниках души. О, если б вы знали, как я страдала, как я боролась, но я больше не могу: я вас люблю...

Она плакала, закрыв лицо руками, и все тело ее вздрагивало, сотрясаемое глубоким волнением.

— Дайте мне вашу руку,— прошептал Жорж,— я хочу прикоснуться к ней, пожать ее...

Она медленно отняла от лица руку. Щека у нее была вся мокрая, на ресницах повисли слезинки.

Он сжал ее руку:

— О, как бы я хотел выпить ваши слезы!

— Не совращайте меня...— сказала она придушенным, похожим на тихий стон голосом.— Я погибла!

Он чуть было не улыбнулся. Как же это он мог бы совратить ее здесь? Так как запас нежных слов у него истощился, то он ограничился тем, что прижал ее руку к своему сердцу и спросил:

— Слышите, как оно бьется?

Но еще за несколько секунд до этого послышались приближающиеся мерные шаги тучного господина. Он осмотрел все алтари и теперь, по меньшей мере вторично, обходил тесный правый придел. Поняв, что он подходит вплотную к скрывавшей ее колонне, г-жа Вальтер вырвала у Жоржа свою руку и снова закрыла лицо.

Мгновение спустя оба неподвижно стояли на коленях и, казалось, вместе возносили к небу жаркую мольбу. Тучный господин равнодушно взглянул на них мимоходом и, по-прежнему держа шляпу за спиной, прошествовал в левый придел.

Дю Руа в это время думал о том, как бы добиться свидания где-нибудь в другом месте.

— Где я увижу вас завтра? — прошептал он.

Госпожа Вальтер не ответила. Она словно окаменела,— сейчас это была статуя, которую скульптор мог бы назвать «Молитва».

— Хотите, встретимся завтра в парке Монсо? — настаивал он.

Опустив руки, она повернула к нему мертвенно-бледное лицо, искаженное нестерпимой мукой.

— Оставьте меня...— прерывающимся голосом заговорила она.— Уйдите... уйдите... оставьте меня на некоторое время одну... только на пять минут... мне слишком тяжело сейчас с вами... я хочу молиться... я не могу... уйдите... дайте мне помолиться... одной... пять минут... я не могу... дайте мне помолиться о том, чтобы господь простил меня... чтобы он меня спас... оставьте меня одну... на пять минут.

У нее было такое растерянное, такое страдальческое выражение лица, что Дю Руа молча поднялся с колен и лишь после некоторого колебания обратился к ней:

— Я скоро вернусь. Хорошо?

Она кивнула головой в знак согласия, и он отошел к амвону.

Она попыталась заставить себя молиться. Она сделала над собой нечеловеческое усилие, чтобы воззвать к небу, и, изнывая от тоски, дрожа всем телом, воскликнула:

— Боже, помилуй меня!

Она судорожно мигала, чтобы не смотреть этому человеку вслед. Она гнала от себя всякую мысль о нем, она отмахивалась от нее, но вместо небесного видения, которого так жаждало ее израненное сердце, перед ней все время мелькали закрученные усы Жоржа.

Целый год, днем и ночью, боролась она с этим все усиливавшимся наваждением, с этим образом, который поглощал все ее помыслы, распалял ее плоть и преследовал ее даже во сне. У нее было такое чувство, точно она попалась в сети, точно ее связали и бросили в объятия этого самца, который прельстил и покорил ее цветом глаз, пушистыми усами и ничем больше.

И сейчас, в этом храме, столь близко от бога, она чувствовала себя такой слабой, одинокой и беззащитной, какой никогда не чувствовала себя и дома. Молиться она не могла — она могла думать только о нем. Она уже страдала оттого, что он ушел.

Милый друг

И, несмотря на это, отчаянно сопротивлялась,— она защищалась и всей душой молила о помощи. Она всегда была чиста перед мужем, и оттого падение было для нее хуже смерти. Она шептала бессвязные слова мольбы, а сама в это время прислушивалась к шагам Жоржа, замиравшим в отдаленье под сводами.

Она сознавала, что все кончено, что борьба безнадежна. И все же упорно не желала сдаваться. В конце концов с ней случился припадок, один из тех нервных припадков, которые наземь швыряют дрожащих, корчащихся, воющих женщин. Она тряслась как в лихорадке и чувствовала, что сейчас упадет и с пронзительным воплем забьется в судорогах.

Кто-то быстрыми шагами шел сюда. Она обернулась. Это был священник. Увидев его, она встала с колен и, простирая руки, бросилась к нему.

— Спасите меня! Спасите! — прошептала она.

Священник остановился в изумлении.

— Что вам угодно, сударыня?

— Я хочу, чтобы вы меня спасли. Сжальтесь надо мной. Если вы мне не поможете, я погибла.

Он посмотрел на нее, как на безумную.

— Чем же я могу вам помочь?

Это был молодой священник, высокий, упитанный, с отвислыми, пухлыми, выбритыми до синевы щеками — красивый городской викарий из богатого прихода, привыкший к щедрым даяниям своих духовных дочерей.

— Исповедуйте меня,— сказала она,— дайте мне совет, поддержите меня, скажите, что мне делать!

— Я исповедую по субботам, с трех до шести,— возразил он.

— Нет! Нет! Нет! — сжимая его руку, повторяла она.— Сейчас! Сейчас! Мне это необходимо! Он здесь! В церкви! Он ждет меня!

— Кто ждет вас? — спросил священник.

— Тот, кто погубит меня... тот, кто овладеет мной, если вы меня не спасете... Мне от него не уйти... Я слишком слаба... так слаба... так слаба!

Рыдая, она упала перед ним на колени.

— Сжальтесь надо мной, отец мой! Спасите меня, ради бога, спасите!

Боясь, что священник уйдет от нее, она вцепилась в его черную сутану, а он с беспокойством оглядывался по сторонам: не видит ли чей-нибудь недоброжелательный или слишком набожный взор эту женщину, припавшую к его ногам?

— Встаньте,— поняв, что отделаться от нее ему не удастся, сказал наконец священник,— ключ от исповедальни при мне.

Порывшись в кармане, он вынул связку ключей, выбрал тот, который был ему нужен, и быстрыми шагами направился к исповедальням, напоминавшим игрушечные деревянные домики,— к этим ящикам для грехов, ящикам, куда верующие сваливают мусор души.

Он вошел в среднюю дверь и запер ее за собой, а г-жа Вальтер бросилась в одну из узких боковых клеток и с пламенной и страстной верой воскликнула:

— Простите меня, отец мой,— я согрешила!

Дю Руа, обойдя амвон, прошел в левый придел. Дойдя до середины, он увидел тучного лысого господина,— тот все еще спокойно прогуливался.

«Что этому субъекту здесь нужно?» — подумал он.

Господин тоже замедлил шаг и с явным желанием заговорить посмотрел на Жоржа. Подойдя вплотную, он поклонился и изысканно вежливым тоном спросил:

— Простите за беспокойство, сударь, не можете ли вы мне сказать, когда был построен этот храм?

— Право, не знаю,— ответил Дю Руа,— думаю, лет двадцать — двадцать пять тому назад. Впрочем, я в первый раз в этой церкви.

— Я тоже. Мне не приходилось бывать здесь.

Журналиста разбирало любопытство.

— Вы, кажется, весьма тщательно ее осматриваете,— сказал он.— Вы изучаете ее во всех подробностях.

— Я не осматриваю, сударь, я жду свою жену,— с унылым видом возразил тот,— она назначила мне свидание, а сама запаздывает.

И, помолчав несколько секунд, добавил:

— На улице невыносимо жарко.

Приглядевшись к его добродушной физиономии, Дю Руа нашел, что он похож на Форестье.

— Вы не из провинции? — спросил он.

— Да. Я уроженец Рена. А вы зашли сюда из любопытства, сударь?

— Нет. Я поджидаю одну даму.

Дю Руа поклонился и, улыбаясь, проследовал дальше.

У главного входа он снова увидел бедно одетую женщи-

ну,— она все еще стояла на коленях и все еще молилась. «Вот так усердие!» — подумал он. Но теперь она уже не трогала его и не возбуждала в нем жалости.

Он прошел мимо и медленно двинулся к правому приделу, где должна была ждать его г-жа Вальтер.

Но еще издали он с удивлением обнаружил, что там, где он оставил ее, никого нет. Подумав, что это не та колонна, он дошел до конца и вернулся обратно. Значит, она ушла! Это его поразило и взорвало. Но тут ему пришло в голову, что она, наверно, ищет его, и он еще раз обошел церковь. Убедившись, что ее нигде нет, он вернулся и, в надежде что она еще придет сюда, сел на тот стул, на котором раньше сидела она. Он решил ждать.

Какой-то шепот вскоре привлек его внимание. Однако в этом углу церкви не было ни души. Откуда же долетал шепот? Встав со стула, он заметил ряд дверей, которые вели в исповедальни. Из-под одной двери высовывался край женского платья. Он подошел ближе, чтобы получше рассмотреть женщину. Это была г-жа Вальтер. Она исповедовалась!..

Им овладело непреодолимое желание схватить ее за плечи и вытащить из этой клетки. Но он тут же подумал: «Ничего! Сегодня очередь священника, завтра — моя». И, посмеиваясь над этим приключением, в ожидании своего часа преспокойно уселся против окошка исповедальни.

Ждать ему пришлось долго. Наконец г-жа Вальтер встала, обернулась и, увидев его, подошла к нему. Лицо ее было холодно и сурово.

— Милостивый государь,— сказала она,— прошу вас: не провожайте меня, не ходите за мной и никогда больше не являйтесь ко мне один. Я не приму вас. Прощайте!

И она с достоинством удалилась.

Дю Руа не удерживал ее: он давно уже взял себе за правило не ускорять ход событий. Когда же из своего убежища вышел слегка сконфуженный священник, он подошел к нему и, глядя ему прямо в глаза, прошипел:

— Не будь на вас этой юбки, как бы я смазал вас по вашей гнусной роже!

С этими словами он круто повернулся и, насвистывая, вышел из церкви.

На паперти стоял, уже в шляпе, тучный господин и, заложив руки за спину, с явно скучающим видом оглядывал широкую площадь и прилегающие к ней улицы.

Они раскланялись.

Журналисту больше нечего было здесь делать, и он отправился в редакцию. Уже в прихожей по озабоченным лицам рассыльных он понял, что произошло нечто необычайное, и сейчас же проследовал в кабинет издателя.

Старик Вальтер, стоя, короткими фразами нервно диктовал статью и в промежутке между двумя абзацами давал поручения окружившим его репортерам, делал указания Буаренару и распечатывал письма.

— Ах, как это кстати, вот и Милый друг! — при виде его радостно воскликнул он, но вдруг осекся и, слегка смущенный, стал извиняться: — Простите, что я вас так назвал: я очень взволнован всем происшедшим. К тому же от жены и дочерей я только и слышу: «Милый друг, Милый друг»,— поневоле привыкнешь. Вы на меня не сердитесь?

— Нисколько,— со смехом ответил Жорж.— Это прозвище не обидное.

— Отлично, стало быть я тоже буду вас называть Милым другом,— продолжал старик Вальтер.— Итак, мы стоим перед лицом важных событий... Вотум недоверия министерству принят большинством трехсот десяти голосов против ста двух. Парламентские каникулы отложены, отложены на неопределенное время, а сегодня уже двадцать восьмое июля. Испания злится на нас за Марокко,— потому-то и слетел Дюран де Лен со своими приспешниками. Заварилась каша. Сформировать новый кабинет поручено Маро. Портфель военного министра он предложил генералу Бутену д'Акру, портфель министра иностранных дел — нашему другу Ларош-Матье. Себе он оставляет министерство внутренних дел и пост председателя совета министров. Наша газета становится официозной. В передовой статье я в общих чертах излагаю наши принципы и указываю путь новым министрам. Разумеется,— добавил он с добродушной усмешкой,— тот путь, по которому они сами намерены идти. Но мне нужно что-нибудь интересное по вопросу о Марокко, что-нибудь этакое злободневное, эффектное, сенсационное. Как вы насчет этого?

— Я вас понял,— подумав, ответил Дю Руа.— Наши колонии в Африке — это Алжир посредине, Тунис справа и Марокко слева; так вот я вам дам статью, в которой постараюсь осветить политическую обстановку в этих наших владениях, изложить историю племен, населяющих эту обширную территорию, и описать поход к марокканской границе, вплоть до огромного оазиса Фигиг, где еще не ступала нога европейца, а ведь он-то и явился причиной нынешнего конфликта. Это вам подходит?

— Как нельзя лучше! — воскликнул старик Вальтер.— Ну, а заглавие?

— «От Туниса до Танжера».

— Превосходно.

Дю Руа пошел искать в комплекте «Французской жизни» свою первую статью «Воспоминания африканского стрелка»,— ей только надо было дать другое название, кое-что изменить и подправить, а так она вся целиком могла сослужить службу, ибо в ней говорилось и о колониальной политике, и о населении Алжира, и о походе в провинцию Оран.

В три четверти часа статейка была переделана, подштопана, приведена в надлежащий вид, подновлена и сдобрена похвалами по адресу нового кабинета.

— Чудесно, чудесно, чудесно,— прочитав статью, заметил издатель.— Вы золото. Очень вам благодарен.

К обеду Дю Руа, в восторге от проведенного дня, вернулся домой; неудача в церкви Тринite его не смущала: он чувствовал, что выиграл партию.

Мадлена ждала его с нетерпением. Когда он вошел, первыми ее словами были:

— Тебе известно, что Ларош — министр иностранных дел?

— Да, в связи с этим я уже дал статью об Алжире.

— Какую статью?

— Ты ее знаешь,— первую, которую мы писали вместе: «Воспоминания африканского стрелка»; я ее просмотрел и выправил так, как того требуют обстоятельства.

Мадлена улыбнулась.

— А! Да, это именно то, что сейчас нужно,— заметила она и, помолчав, прибавила: — Я думаю о продолжении, которое ты должен был написать и которое ты тогда... бросил. Теперь нам есть смысл за него взяться. Из этого может выйти несколько отличных статей, подходящих к данному моменту.

— Прекрасно,— сказал он и сел за стол.— Теперь нам уж никто не помешает,— ведь рогоносец Форестье на том свете.

Это ее задело.

— Твоя шутка более чем неуместна, и я прошу тебя положить этому конец,— сухо проговорила она.— Ты злоупотребляешь моим терпением.

Он собирался пустить ей шпильку, но в это время ему подали телеграмму, содержавшую всего одну фразу без подписи: «Я совсем потеряла голову, простите меня и приходите завтра в четыре часа в парк Монсо».

Он понял, и сердце у него запрыгало от радости.

— Больше не буду, моя дорогая. Это глупо. Сознаюсь,— пряча в карман голубую бумажку, сказал он.

И принялся за суп.

За едой он повторял про себя эти слова: «Я совсем потеряла голову, простите меня и приходите завтра в четыре часа в парк Монсо». Итак, она сдается. Ведь это означает: «Я в вашей власти, делайте со мной, что хотите, где хотите и когда хотите».

Он засмеялся.

— Что ты? — спросила Мадлена.

— Так, ничего. Я встретил одного священника, и мне сейчас вспомнилась его толстая морда.

На другой день Дю Руа явился на свидание ровно в четыре. Все скамейки в парке Монсо были заняты изнемогавшими от жары буржуа и беспечными нянь ками, которые, по-видимому, не обращали ни малейшего внимания на детей, барахтавшихся в песке на дорожках.

Госпожу Вальтер он нашел среди искусственных руин, возле источника. С испуганным и несчастным видом она ходила вокруг небольшой колоннады.

— Как здесь много народу! — сказала она, прежде чем Дю Руа успел поздороваться с ней.

Он обрадовался предлогу:

— Да, это верно. Хотите куда-нибудь еще?

— Но куда?

— Это безразлично, можно взять карету. Вы спустите штору и сразу почувствуете себя в полной безопасности.

— Да, так будет лучше. Здесь я умираю от страха.

— В таком случае ждите меня у выхода на внешний бульвар. Через пять минут я подъеду в экипаже.

И он помчался бегом.

Как только они остались вдвоем в экипаже, г-жа Вальтер тщательно завесила со своей стороны окошко.

— Что вы сказали извозчику? — спросила она.

— Не беспокойтесь, он знает, куда ехать,— ответил Жорж.

Он велел извозчику везти их на Константинопольскую.

— Вы себе не представляете, как я страдаю из-за вас, как я измучена, как я истерзана,— продолжала она.— Вчера, в церкви, я была с вами сурова, но я хотела во что бы то ни стало бежать от вас. Я так боюсь остаться с вами наедине! Вы меня простили?

Он сжимал ее руки.

— Конечно, конечно. Чего бы я вам не простил,— ведь я так люблю вас!

Она смотрела на него умоляющими глазами.

— Послушайте, вы должны обещать мне, что вы меня не тронете... и не... и не... иначе мы видимся в последний раз.

Сперва он ничего не ответил ей, но в усах у него пряталась тонкая улыбка, которая так волновала женщин.

— Я ваш покорный раб,— наконец прошептал он.

Тогда г-жа Вальтер начала рассказывать, как она, узнав, что он женится на Мадлене Форестье, впервые почувствовала, что любит его. Она припоминала подробности, даты, делилась с ним своими переживаниями.

Вдруг она замолчала. Карета остановилась. Дю Руа отворил дверцу.

— Где мы? — спросила она.

— Выходите из экипажа — и прямо в этот дом,— ответил Дю Руа.— Здесь нам будет спокойнее.

— Но где мы?

— У меня. Это моя холостяцкая квартира... я ее опять снял... на несколько дней... чтобы иметь уголок, где бы мы могли видеться.

Госпожа Вальтер вцепилась в подушку.

— Нет, нет, я не хочу! Я не хочу! — лепетала она в ужасе от предстоящего свидания наедине.

— Клянусь, что я вас не трону,— решительно проговорил он.— Идемте. Видите — на нас смотрят, вокруг уже собирается народ. Скорей... скорей... выходите. Клянусь, что я вас не трону,— еще раз повторил он.

На них с любопытством поглядывал содержатель винного погребка, стоявший у дверей своего заведения. Ей стало страшно, и она вбежала в подъезд.

Она начала было подниматься по лестнице, но Дю Руа удержал ее за руку.

— Это здесь, внизу,— сказал он и втолкнул ее в свою квартиру.

Заперев за собой дверь, он бросился на нее, как хищный зверь на добычу.

Она отбивалась, боролась, шептала: «Боже мой!.. Боже мой!..»

А он страстно целовал ее шею, глаза, губы, так что она не успевала уклоняться от его бурных ласк: отталкивая его, пытаясь избежать его поцелуев, она невольно прикасалась к нему губами.

Вдруг она перестала сопротивляться и, обессилевшая, покорная, позволила ему раздеть себя. Опытными, как у горничной, руками проворно и ловко начал он снимать одну за другой принадлежности ее туалета.

Она выхватила у него корсаж и спрятала в нем лицо,— теперь она, вся белая, стояла среди упавшей к ее ногам одежды.

Оставив на ней только ботинки, он понес ее к кровати. И тут она чуть слышно прошептала ему на ухо:

— Клянусь вам... клянусь вам... что у меня никогда не было любовника.

Так молодые девушки говорят о себе: «Клянусь вам, что я невинна».

«Вот уж это мне совершенно все равно»,— подумал Жорж.

V

Наступила осень. Супруги Дю Руа все лето жили в Париже и во время непродолжительных парламентских каникул вели на страницах «Французской жизни» решительную кампанию в пользу нового правительства.

Положение в Марокко становилось угрожающим, и в связи с этим, хотя было еще только самое начало октября, обе палаты собирались возобновить заседания.

Никто, в сущности, не верил в возможность танжерской экспедиции, несмотря на то что в день роспуска парламента правый депутат, граф де Ламбер-Саразен, в своей остроумнейшей речи, которой аплодировал даже центр, предложил пари и, как это сделал когда-то знаменитый вице-король Индии, поставил свои усы против бакенбард председателя совета министров, доказывая, что новый кабинет неминуемо должен будет пойти по стопам прежнего кабинета и в дополнение к тунисской экспедиции послать экспедиционную армию в Танжер — исключительно из любви к симметрии, подобно тому как на камин ставят две вазы.

«В самом деле, господа,— продолжал он развивать свою мысль,— Африка — это камин для Франции, камин, в котором сгорают наши лучшие дрова, камин с сильной тягой, который растапливают банковскими билетами.

Вы отдались на волю своей художественной фантазии и украсили левый угол камина тунисской безделушкой, которая обошлась вам недешево,— теперь вы увидите, что и господин

Маро, в подражание своему предшественнику, украсит правый его угол безделушкой марокканской».

Речь эта приобрела широкую известность и послужила Дю Руа темой для десятка статей об Алжире — для той серии статей, которая была прервана, как только он поступил в редакцию. Он горячо поддерживал идею военной экспедиции, хотя в глубине души был убежден, что она не состоится. Он играл на патриотических чувствах и нападал на Испанию, пользуясь всем тем арсеналом насмешек, к которому мы обращаемся, когда интересы какого-нибудь государства не совпадают с нашими.

«Французская жизнь» открыто поддерживала связь с правительственными кругами, и это придавало ей особый вес. Она сообщала политические новости раньше других газет, даже самых солидных, и при помощи намеков давала читателям возможность проникнуть в замыслы ее друзей-министров. Она являлась источником информации для всех столичных и провинциальных газет. На нее ссылались, ее побаивались, с ней начинали считаться. Не внушавший доверия орган шайки политических проходимцев превратился в признанный орган правительства. Ларош-Матье был душой газеты, Дю Руа — ее рупором. Старик Вальтер, бессловесный депутат и изворотливый издатель, умевший, когда нужно, отойти в сторонку, затевал под шумок огромное дело, связанное, по слухам, с марокканскими медными рудниками.

Салон Мадлены сделался влиятельным центром, где каждую неделю сходились некоторые из членов кабинета. Сам председатель совета министров обедал у нее два раза. А жены государственных деятелей — те, что еще недавно не решались переступить порог ее дома, теперь гордились дружбой с нею и бывали у нее чаще, чем она у них.

Министр иностранных дел держал себя здесь почти как хозяин. Он приходил в любое время, приносил телеграммы, всякого рода сведения и диктовал то мужу, то жене информацию, как будто они были его секретарями.

Стоило министру уйти, и Дю Руа, оставшись вдвоем с Мадленой, ополчался на этого бездарного выскочку: в голосе его появлялись угрожающие нотки, каждое его замечание было полно яду.

Но Мадлена презрительно поводила плечами.

— Добейся того же, чего и он,— говорила она.— Сделайся министром, тогда и задирай нос. А до тех пор помалкивай.

Жорж крутил усы, искоса поглядывая на нее.

— Еще неизвестно, на что я способен,— возражал он,— быть может, когда-нибудь об этом узнают.

— Поживем — увидим,— тоном философа заключала она.

В день открытия парламента, пока Жорж одевался, собираясь идти к Ларош-Матье, чтобы еще до заседания получить у него информацию для завтрашней передовицы, в которой должны были быть изложены в официозном духе истинные намерения правительства, Мадлена, еще лежа в постели, поучала своего супруга.

— Главное, не забудь спросить, пошлют ли генерала Белонкля в Оран, как это предполагалось вначале,— говорила она.— Это может иметь большое значение.

— Не приставай,— огрызнулся Жорж.— Я не хуже тебя знаю, что мне надо делать.

— Дорогой мой, ты всегда забываешь половину моих поручений к министру,— спокойно возразила она.

— Мне осточертел твой министр! — проворчал Жорж.— В конце концов он просто болван.

— Он столько же мой, сколько и твой,— хладнокровно заметила она.— Тебе он еще полезнее, чем мне.

— Виноват, за мной он не ухаживает,— слегка повернув к ней голову, сказал он с усмешкой.

— За мной тоже, но с его помощью мы создаем себе положение,— нарочито медленно сказала она.

— Если б мне пришлось выбирать между твоими поклонниками,— помолчав несколько секунд, снова заговорил Жорж,— я уж скорее отдал бы предпочтение старому олуху Водреку. Кстати, что с ним такое? Я не видел его уже целую неделю.

— Он болен,— с невозмутимым видом ответила Мадлена,— он писал мне, что приступ подагры приковал его к постели. Не мешало бы тебе навестить его. Ты знаешь, что он тебя очень любит,— это ему будет приятно.

— Да, конечно,— согласился Жорж,— сегодня же съезжу к нему.

Он закончил свой туалет и, надев шляпу, еще раз проверил, не забыл ли он чего-нибудь. Убедившись, что все в порядке, он подошел к кровати, поцеловал жену в лоб и сказал:

— До свиданья, дорогая, я вернусь не раньше семи.

И вышел из комнаты.

Ларош-Матье поджидал его; ввиду того что совет министров должен был собраться в двенадцать часов дня, до открытия парламента, он завтракал сегодня в десять.

Госпожа Ларош-Матье не пожелала перенести свой завтрак на другой час, и потому, кроме личного секретаря, у министра никого не было. Как только все трое сели за стол, Дю Руа заговорил о своей статье; заглядывая в заметки, нацарапанные на визитных карточках, он излагал ее основные положения.

— Что вы находите нужным изменить, дорогой министр? — спросил он под конец.

— Почти ничего, дорогой друг. Пожалуй, вы с излишней определенностью высказываетесь по вопросу о Марокко. Лучше говорите об экспедиции так, как будто она должна состояться, и одновременно дайте ясно понять, что она не состоится и что вы меньше, чем кто-либо другой, в нее верите. Сделайте так, чтобы публика вычитала между строк, что мы не сунемся в эту авантюру.

— Отлично. Я вас понял и постараюсь, чтобы поняли и меня. Кстати, жена просила узнать, будет ли послан в Оран генерал Белонкль. Из того, что вы мне сейчас сообщили, я сделал вывод, что нет.

— Нет,— изрек государственный муж.

Далее речь зашла о предстоящей парламентской сессии. Ларош-Матье начал разглагольствовать, заранее любуясь эффектом той речи, которую несколько часов спустя он собирался предложить вниманию своих коллег. Он взмахивал правой рукой, потрясал в воздухе то вилкой, то ножом, то куском хлеба и, ни на кого не глядя, обращаясь к невидимому собранию, брызгал сладенькой водицей своего красноречия, столь соответствовавшего его парикмахерской внешности. Маленькие закрученные усики жалами скорпиона торчали над его верхней губой, а напомаженные бриллиантином волосы, с пробором посредине, завивались кольцами на висках, как у провинциального фата. Несмотря на свою молодость, он уже начинал толстеть и заплывать жиром; жилет вплотную облегал его солидное брюшко.

Личный секретарь, по всей вероятности привыкший к подобным словоизвержениям, преспокойно ел и пил, а Дю Руа, которому лавры Лароша не давали покоя, говорил себе: «Экая дубина! Ну и дурачье же все эти политические деятели!»

Сравнивая себя с этим напыщенным болтуном, он приходил к такому заключению: «Эх, будь у меня всего только сто тысяч франков, чтобы иметь возможность выставить свою кандидатуру в депутаты от моего милого Руана и умаслить моих славных нормандцев, этих лукавых, себе на уме, увальней и тяжелодумов, показал бы я всем этим безмозглым шалопаям, какие бывают на свете политические деятели!»

Ларош-Матье продолжал говорить до тех пор, пока не принесли кофе, потом, заметив, что уже поздно, позвонил, чтобы ему подали карету, и протянул журналисту руку:

— Вы меня хорошо поняли, дорогой друг?

— Прекрасно, дорогой министр, будьте спокойны.

До четырех часов Жоржу нечего было делать, и он не спеша отправился в редакцию писать статью. В четыре ему предстояло свидание на Константинопольской с г-жой де Марель, которая приходила к нему туда два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Но не успел он войти в редакцию, как ему подали телеграмму. Телеграмма была от г-жи Вальтер и содержала в себе следующее:

«Мне непременно надо поговорить с тобой сегодня по очень, очень важному делу. Жди меня в два часа на Константинопольской. Я могу оказать тебе большую услугу.

Твоя до гроба

Виржини».

«Черт возьми! Экая пиявка!» — пробормотал он.

У него сразу испортилось настроение, работать он в таком раздраженном состоянии уже не мог и поспешил уйти из редакции.

В течение последних полутора месяцев он несколько раз пытался порвать с нею, но ему так и не удалось охладить ее сердечный жар.

Она мучительно переживала свое падение и три свидания подряд осыпала любовника упреками и проклятиями. Ему стало тошно от таких сцен, и, пресыщенный этою стареющею героинею мелодрамы, он стал попросту избегать ее, в надежде что их роман сам собою сойдет на нет. Но она с решимостью отчаяния ухватилась за него, она бросилась в эту любовь, как бросаются с камнем на шее в воду. Из жалости, из любезности, из уважения к супруге патрона он снова дался ей в руки, и она заточила его в темницу своей бешеной назойливой страсти, она преследовала его своею нежностью.

Она желала видеть его ежедневно, постоянно вызывала его телеграммами, назначала минутные свидания на углах улиц, в магазинах, в городских садах.

И всякий раз в одних и тех же выражениях она клялась, что обожает, боготворит его, и, уходя, заявляла, что теперь она «счастлива вполне,— счастлива тем, что видела его».

Она оказалась совсем не такой, какою он ее себе представлял: она разыгрывала из себя влюбленную девочку и пыталась прельстить его смешным в ее годы ребячеством. До сих пор это была сама добродетель, женщина с девственною душой, закрытая для страстей, свободная от вожделений, и вот у этой-то благонравной и рассудительной сорокалетней женщины бессолнечная осень, наступившая после нежаркого лета, неожиданно сменилась чем-то вроде чахлой весны, полной жалких, тронутых холодком цветов и нераскрывшихся почек, до странности поздним расцветом девической любви, пылкого непосредственного чувства, проявлявшегося во внезапных порывах, в манере вскрикивать, как шестнадцатилетняя девочка, в приторных ласках, в кокетстве, которое не знало юности и уже успело состариться. Он получал от нее по десяти писем в день, глупых, сумасшедших писем, написанных вычурным, возвышенным, потешным слогом, цветистым, как речь индусов, изобилующим названиями животных и птиц.

Как только они оставались одни, она набрасывалась на него с поцелуями, подпрыгивала, тряся своим пышным бюстом, резвилась, как нескладный, угловатый подросток, уморительно надувала губки. Ему претили ее ласковые словечки: «мышонок», «котик», «песик», «птенчик», «бесценный мой», «сокровище мое», претил этот девичий стыд, который она напускала на себя перед тем, как лечь в постель, претили эти легкие движения испуга, которые, видимо, казались ей самой очаровательными, претило ее заигрывание с ним — заигрывание развращенной институтки.

«Чей это ротик?» — спрашивала она, и если он не сразу отвечал «мой»,— своими приставаниями она доводила его до того, что он бледнел от злости.

Как она не понимает, недоумевал он, что любовь требует исключительного такта, деликатности, осторожности, чуткости, что, сойдясь с ним, она, взрослая женщина, мать семейства, светская дама, должна отдаваться ему, не роняя своего достоинства, с увлечением сдержанным и строгим, пусть даже со слезами, но со слезами Дидоны, а не Джульетты?

— Как я люблю тебя, мой мальчик! — беспрестанно повторяла она.— И ты меня любишь, моя крошка?

А ему всякий раз, когда она называла его «мой мальчик» или «моя крошка», хотелось назвать ее «моя старушка».

— Подчиниться тебе было с моей стороны безумием,— говорила она.— Но я не жалею. Любить — это так приятно!

Все в ее устах бесило Жоржа. «Любить — это так приятно» она произносила, как инженю на сцене.

При этом она изводила его неуклюжестью своих ласк. Поцелуи этого красавчика, воспламенившего ее кровь, пробудили в ней чувственность, но она обнимала его с какой-то неумелой страстностью, с таким сосредоточенным и серьезным видом, что этим только смешила Дю Руа, мысленно сравнивавшего ее с теми людьми, которые на старости лет берутся за букварь.

Ей бы надо было душить любовника в объятиях, не отводя от него пламенного, глубокого и страшного взгляда, каким смотрят иные, уже увядшие, но великолепные в своей последней любви женщины; ей бы надо было, впиваясь в него безмолвными дрожащими губами, прижимать его к своему тучному, жаркому, утомленному, но ненасытному телу, а вместо этого она вертелась, как девчонка, и сюсюкала, думая, очевидно, что это придает ей особую прелесть:

— Я так люблю тебя, мой мальчик! Приласкай понежней свою птичку!

В такие минуты ему безумно хотелось выругаться, схватить шляпу и, хлопнув дверью, уйти.

Первое время они часто виделись на Константинопольской, но Дю Руа, опасаясь встречи с г-жой де Марель, изыскивал теперь всевозможные предлоги, чтобы уклоняться от этих свиданий.

Но зато он должен был почти каждый день приходить к ней то обедать, то завтракать. Она жала ему под столом руку, подставляла за дверью губы. А ему больше нравилось шутить с Сюзанной, оттого что с ней всегда было весело. Бойкое остроумие этой девушки с кукольной внешностью проявлялось неожиданно, жалило исподтишка и, подобно ярмарочной марионетке, в любую минуту готово было позабавить публику. С убийственной меткостью вышучивала она всех и вся. Жорж поощрял в ней любовь к злословию, подхлестывал ее иронию, и они с полуслова понимали друг друга.

Она ежесекундно обращалась к нему: «Послушайте, Милый друг!», «Подите сюда, Милый друг!»

И он сейчас же оставлял мамашу и бежал к дочке; та шептала ему на ухо что-нибудь весьма ехидное, и оба покатывались со смеху.

Между тем мамаша до того опротивела ему своей любовью, что он уже чувствовал к ней непреодолимое отвращение: он не мог видеть ее, слышать, думать о ней без раздражения. Он пе-

рестал у нее бывать, не отвечал на ее письма и не являлся на ее зов.

Наконец ей стало ясно, что он уже не любит ее, и она ужасно страдала. Но она не сдавалась: она учинила за ним слежку, не давала ему проходу, караулила его в карете с опущенными шторами у дверей редакции, около его дома, на улицах, где, по ее расчету, она могла с ним встретиться.

Ему хотелось наговорить ей дерзостей, обругать ее, ударить, сказать напрямик: «К черту, с меня довольно, вы мне надоели», но он дорожил службой в редакции и оттого все еще церемонился с ней, стараясь своим холодным, убийственно вежливым, а временами просто резким тоном дать ей понять, что давно пора положить этому конец.

Она пускалась на всякие хитрости, чтобы заманить его на Константинопольскую, а он смертельно боялся, как бы в один прекрасный день обе женщины не столкнулись нос к носу в дверях.

Что касается г-жи де Марель, то он еще сильней привязался к ней за лето. Он называл ее «Мой сорванец», она положительно нравилась ему. Они были под стать друг другу: оба принадлежали к племени вечных бродяг, искателей приключений, тех светских бродяг, которые, сами того не подозревая, обнаруживают разительное сходство с бездомниками, кочующими по большим дорогам.

Они чудесно провели лето, погуляли на славу: постоянно удирали завтракать или обедать то в Аржантейль, то в Буживаль, то в Мезон, то в Пуасси, часами катались на лодке, собирали цветы на берегу. Она обожала разные блюда из рыбы, которую ловили тут же в Сене, и фрикасе из кролика, обожала веранды в загородных кабачках и крики гребцов. А он любил ездить с ней в солнечный день на империале пригородной конки и, весело болтая, окидывать взглядом унылые окрестности Парижа, где буржуа настроили себе безобразных дач.

И, возвращаясь в Париж, где его ждала к обеду г-жа Вальтер, он чувствовал, как в нем поднимается ненависть к навязчивой старой любовнице — ненависть, усиливавшаяся при воспоминании о молодой, которая только что, на берегу реки, в траве, насытила его страсть и утолила его любовный пыл.

Он уже был уверен, что почти разделался с г-жой Вальтер,— ведь он наконец до жестокости ясно дал ей понять, что намерен порвать с нею,— и вдруг ему опять приносят в редакцию телеграмму с просьбой быть в два часа на Константинопольской!

Дорогой он еще раз прочитал телеграмму: «Мне непременно надо поговорить с тобой сегодня по очень, очень важному делу. Жди меня в два часа на Константинопольской. Я могу оказать тебе большую услугу. Твоя до гроба *Виржини*».

«Что еще от меня нужно этой старой сове? — думал он.— Бьюсь об заклад, что все это зря. Только для того, чтобы сказать, что она меня обожает. Впрочем, надо узнать. Она упоминает о каком-то важном деле, о большой услуге,— может, это и правда. А Клотильда придет в четыре. Стало быть, я должен выпроводить ту не позднее трех. Дьявольщина, только бы они не встретились! Беда с этими бабами!»

И тут он невольно вспомнил Мадлену: в сущности, она одна ничем ему не докучает. Она живет с ним бок о бок и как будто бы очень любит его, но только в часы, отведенные для любви, ибо она строго следит за соблюдением раз установленного порядка и не выносит, когда ее отрывают от дел.

Он медленно шел в свой дом свиданий, мысленно проклиная г-жу Вальтер:

«Если только она мне ничего путного не скажет, я ей устрою веселенькую встречу. Язык Камброна покажется верхом изящества в сравнении с моим. Прежде всего я заявлю, что ноги моей больше у нее не будет».

Он вошел в свою квартиру и стал ждать г-жу Вальтер.

Она явилась почти вслед за ним и, увидев его, воскликнула:

— А-а, ты получил мою телеграмму? Какое счастье!

Он сделал злое лицо.

— Ну да, мне ее принесли в редакцию, как раз когда я собирался идти в парламент. Что тебе еще от меня нужно?

Она подняла вуаль, чтобы поцеловать его, и с видом побитой собаки подошла к нему.

— Как ты жесток со мной... Ты так грубо со мной разговариваешь... Что я тебе сделала? Ты не можешь себе представить, как ты меня огорчаешь!

— Опять сначала? — проворчал он.

Госпожа Вальтер стояла подле него и ждала улыбки, жеста, чтобы кинуться к нему в объятия.

— Вот как ты со мной обращаешься,— тихо заговорила она.— Тогда незачем было и обольщать меня, надо было оставить меня такой, какою я была до этого — счастливой и чистой. Помнишь, что ты говорил мне в церкви и как ты силой заставил меня войти в этот дом? А теперь ты как со мной

разговариваешь! И как встречаешь! Боже мой, боже мой, что ты со мной делаешь!

Он в бешенстве топнул ногой:

— Довольно! К черту! Ты не можешь пробыть со мной ни одной минуты, чтобы не завести этой песни. Право, можно подумать, что я тебя взял, когда тебе было двенадцать лет, и что ты была невинна, как ангел. Нет, дорогая моя, давай восстановим истину: я малолетних не совращал. Ты отдалась мне в сознательном возрасте. Я очень тебе благодарен, крайне признателен, но до конца дней быть привязанным к твоей юбке — на это я не согласен. У тебя есть муж, а у меня жена. Мы не свободны — ни ты, ни я. Мы позволили себе эту прихоть, никто про это не узнал — и дело с концом.

— О, как ты груб! Как ты циничен и мерзок! Да, я не была молодой девушкой, но я никогда никого не любила, никогда не изменяла...

Он перебил ее:

— Знаю, ты мне двадцать раз об этом говорила. Но у тебя двое детей... стало быть, не я лишил тебя невинности.

Она отшатнулась.

— Жорж, это низко!..

Рыдания подступили ей к горлу, и, схватившись обеими руками за грудь, она начала всхлипывать.

Заметив, что сейчас польются слезы, он взял с камина свою шляпу.

— А-а, ты плачешь? В таком случае, до свиданья. Значит, только ради этого представления ты и вызвала меня сюда?

Она шагнула вперед, чтобы преградить ему дорогу, и, порывистым движением вынув из кармана платок, быстро вытерла слезы. Она изо всех сил старалась казаться спокойной, но душевная боль была так сильна, что голос у нее все же прерывался и дрожал.

— Нет... я пришла... сообщить тебе новость... политическую новость... я хотела, чтобы ты заработал пятьдесят тысяч франков... даже больше... при желании.

Он мгновенно смягчился.

— Каким образом? Что ты имеешь в виду?

— Вчера вечером я нечаянно подслушала разговор моего мужа с Ларошем. Впрочем, от меня они не очень таились. А вот тебя Вальтер советовал министру не посвящать в их тайну, потому что ты можешь разоблачить их.

Дю Руа положил шляпу на стол. Он насторожился.

— Ну так в чем же дело?

— Они собираются захватить Марокко!

— Чушь! Я завтракал сегодня у Лароша, и он мне почти продиктовал план действий нового кабинета.

— Нет, мой дорогой, они тебя надули. Они боятся, как бы кто-нибудь не узнал про их махинации.

— Сядь,— сказал Жорж и сам сел в кресло.

Придвинув к себе низенькую скамеечку, г-жа Вальтер примостилась между колен любовника.

— Я постоянно думаю о тебе,— заискивающим тоном продолжала она,— и потому, о чем бы теперь ни шептались вокруг меня, я непременно прислушиваюсь.

И она вполголоса начала рассказывать, как она с некоторых пор стала догадываться, что за его спиной что-то затевается, что его услугами пользуются, но сделать его своим сообщником не решаются.

— Знаешь, кто любит, тот пускается на хитрости,— сказала она.

Наконец вчера она поняла все. Под шумок затевалось огромное, колоссальное дело. Теперь она уже улыбалась в восторге от своей ловкости, рассказывала с увлечением и рассуждала, как жена финансиста, на глазах у которой подготовлялись биржевые крахи, колебания акций, внезапные повышения и понижения курса,— все эти спекуляции, которые в какие-нибудь два часа дотла разоряют тысячи мелких буржуа, мелких рантье, вложивших свои сбережения в предприятия, гарантированные именами почтенных, уважаемых лиц — банкиров и политических деятелей.

— Да, это они ловко придумали. Исключительно ловко,— повторяла она.— Впрочем, все до мелочей обмозговал Вальтер, а он на этот счет молодец. Надо отдать ему справедливость, сделано артистически.

Жоржа начинали раздражать эти предисловия.

— Да говори скорей.

— Ну, так вот. Экспедиция в Танжер была решена еще в тот день, когда Ларош стал министром иностранных дел. К этому времени облигации марокканского займа упали до шестидесяти четырех — шестидесяти пяти франков, и они скупили их все до одной. Скупали они их очень осторожно, через мелких, не внушающих доверия биржевых жучков, которые ни в ком не возбуждали подозрений. Ротшильды не могли взять в толк, почему такой спрос на марокканский заем, но они и их обвели вокруг пальца. Им назвали имена посредни-

ков: все это оказались люди нечистые на́ руку, выброшенные за борт. Тузы успокоились. Ну, а теперь затевается экспедиция, и, как только мы будем в Танжере, французское правительство сейчас же обеспечит заем. Наши друзья заработают миллионов пятьдесят — шестьдесят. Понимаешь, в чем штука? Понимаешь теперь, почему они боятся решительно всего, боятся малейшей огласки?

Голова ее лежала у него на жилете, а руки она положила к нему на колени; она чувствовала, что нужна ему теперь, и ластилась, льнула к нему, готова была за одну его ласку, за одну улыбку сделать для него все, пойти на все.

— А ты не ошибаешься? — спросил он.

— Ну вот еще! — воскликнула она с полной уверенностью.

— Да, это здóрово,— согласился он.— А уж перед этим прохвостом Ларошем я в долгу не останусь. Погоди, мерзавец!.. Погоди!.. Ты у меня вверх тормашками полетишь из своего министерства!

Он призадумался.

— Не мешало бы, однако, этим воспользоваться,— пробормотал он.

— Купить заем еще не поздно,— сказала она.— Каждая облигация стоит всего семьдесят два франка.

— Да, но у меня нет свободных денег,— возразил он.

Она умоляюще посмотрела на него.

— Я об этом подумала, котик, и если ты меня хоть чуточку любишь — будь добренький, будь добренький, позволь мне дать тебе взаймы.

— Это уж извините,— резко, почти грубо ответил он.

— Послушай,— молила она,— можно устроить так, что тебе не придется занимать. Чтобы иметь немножко собственных денег, я было решила купить этих облигаций на десять тысяч франков. Ну так я куплю не на десять, а на двадцать! Половина будет принадлежать тебе. Само собой разумеется, Вальтеру я за них платить не стану. Значит, пока что деньги не понадобятся. В случае удачи ты выиграешь семьдесят тысяч франков. В случае неудачи ты будешь мне должен десять тысяч франков, а отдашь, когда захочешь.

— Нет, мне эта комбинация не по нутру,— снова возразил он.

Тогда она начала приводить разные доводы, доказывать, что, в сущности, он берет у нее десять тысяч франков, веря ей на слово, что, следовательно, он идет на риск, что она

лично не ссужает ему ни одного франка, поскольку выплату за облигации будет производить «банк Вальтера».

В заключение она напомнила ему, что это он вел на страницах «Французской жизни» кампанию, сделавшую возможным это предприятие, и что не извлечь из него выгоды было бы с его стороны просто неумно.

Он все еще колебался.

— Да ты только подумай,— прибавила она,— ведь фактически же это Вальтер одолжит тебе десять тысяч франков, а те услуги, которые ты ему оказывал, стоят дороже.

— Ну ладно! — сказал он.— Вхожу к тебе в половинную долю. Если мы проиграем, я уплачу тебе десять тысяч франков.

Не помня себя от радости, она вскочила и, обхватив руками его голову, начала жадно целовать его.

Сперва он не сопротивлялся, но она, осмелев, готова была зацеловать, заласкать его, и тут он вспомнил, что сейчас придет другая и что если он не даст отпора, то лишь потеряет время и растратит в объятиях старухи тот пыл, который следовало приберечь для молодой.

Он тихонько оттолкнул ее.

— Послушай, успокойся!

Она бросила на него отчаянный взгляд.

— Ах, Жорж! Мне уж и поцеловать тебя нельзя.

— Только не сегодня,— сказал он.— У меня болит голова, а от этого мне становится хуже.

Тогда она опять послушно села у его ног.

— Приходи к нам завтра обедать,— сказала она.— Как бы я была рада!

Он некоторое время колебался, но в конце концов у него не хватило духу отказать ей.

— Хорошо, приду.

— Спасибо, дорогой.

Ласкаясь к нему, она медленно водила щекой по его груди до тех пор, пока ее длинный черный волос не зацепился за пуговку жилета. Она это заметила, и тут ей пришла нелепая фантазия, одна из тех суеверных фантазий, которые так часто заменяют женщинам разум. Она принялась тихонько обматывать этот волос вокруг пуговицы. Потом другой, третий. И так вокруг каждой пуговицы она обмотала по волосу.

Сейчас он встанет и вырвет их. Он причинит ей боль,— какое счастье! Сам того не зная, он унесет с собой частицу ее существа — унесет с собой прядь ее волос, которой он, кстати

сказать, никогда у нее не просил. Этой таинственной невидимой нитью она привяжет его к себе. Она оставит на нем талисман, и он невольно будет думать о ней, увидит ее во сне и завтра будет с ней ласковее.

— Мне надо идти,— неожиданно заявил он,— меня ждут в палате к концу заседания. Сегодня я никак не могу пропустить.

— Ах, так скоро! — со вздохом сказала она и, покорно добавив:— Иди, дорогой, но только завтра непременно приходи обедать,— резким движением подалась назад.

На одно мгновение она почувствовала острую боль в голове, точно в кожу ей вонзились иголки. Сердце у нее забилось. Она была счастлива, что вытерпела эту боль ради него.

— Прощай! — сказала она.

Снисходительно улыбаясь, он обнял ее и холодно поцеловал в глаза.

Но от этого прикосновения г-жа Вальтер совсем обезумела.

— Так скоро! — снова прошептала она.

А ее умоляющий взгляд показывал на отворенную дверь в спальню.

Жорж отстранил ее рукой.

— Мне надо бежать, а то я опоздаю,— с озабоченным видом пробормотал он.

Тогда она протянула ему губы, но он едва коснулся их и, подав ей зонтик, который она чуть не забыла, сказал:

— Идем, идем, пора, уже четвертый час.

Она шла впереди и все повторяла:

— Завтра в семь.

— Завтра в семь,— подтвердил он.

Они расстались. Она повернула направо, а он налево.

Дю Руа дошел до внешнего бульвара. Затем неспешным шагом двинулся по бульвару Мальзерба. Проходя мимо кондитерской, он увидел засахаренные каштаны в хрустальной вазе. «Возьму-ка ливр для Клотильды»,— подумал он и купил этих сладостей, которые она любила до безумия. В четыре часа он был уже дома и поджидал свою молодую любовницу.

Она немного опоздала,— оказалось, что к ней на неделю приехал муж.

— Приходи к нам завтра обедать,— предложила она.— Он будет очень рад тебя видеть.

— Нет, я обедаю у патрона. Мы заняты по горло,— у нас бездна политических и финансовых вопросов.

Она сняла шляпу. Затем начала расстегивать корсаж, который был ей немного тесен.

Он показал глазами на пакет, лежавший на камине.

— Я принес тебе каштанов в сахаре.

Она захлопала в ладоши:

— Какая прелесть! Ах ты, мой милый!

Она взяла пакет, попробовала и сказала:

— Объедение! Боюсь, что скоро от них ничего не останется.

Затем, бросив на Жоржа задорный и чувственный взгляд, добавила:

— Значит, ты снисходишь ко всем моим слабостям?

Она медленно ела каштаны и все время заглядывала в пакет, как бы желая удостовериться, что там еще что-то осталось.

— Послушай, сядь в кресло,— сказала она,— а я примощусь у твоих ног и буду сосать конфетки. Так мне будет очень уютно.

Он улыбнулся, сел и обхватил ее коленями, как только что г-жу Вальтер.

Обращаясь к нему, Клотильда всякий раз поднимала голову.

— Ты знаешь, мой дорогой,— с полным ртом говорила она,— я видела тебя во сне: мне снилось, будто мы с тобой едем куда-то далеко на верблюде. У него два горба, и мы оба сидим верхом на горбах: ты на одном, я на другом, и проезжаем через пустыню... Мы взяли с собой сандвичей в бумаге и бутылку вина, и вот мы закусываем на горбах. Но мне скучно, потому что ничем другим заняться нельзя. Мы слишком далеко друг от друга, и мне хочется сойти.

— Мне тоже хочется сойти,— признался он.

Ее рассказ забавлял Жоржа, и он настраивал Клотильду на шутливый лад, заставлял ее дурачиться, болтать чепуху, городить весь этот милый вздор, который приходит на ум только влюбленным. Детский лепет, который так раздражал его в устах г-жи Вальтер, казался ему очаровательным в устах г-жи де Марель.

Клотильда тоже называла его: «Мой дорогой, мой мальчик, мой котик». И слова эти казались ему нежными и ласковыми. Когда же их незадолго перед тем произносила другая, они злили его и вызывали в нем отвращение. Слова любви всегда одинаковы,— все зависит от того, из чьих уст они исходят.

Но, смеясь над ее забавными выходками, Дю Руа не переставал думать о семидесяти тысячах франков, которые ему

предстояло выиграть. И, прикоснувшись пальцем к голове своей подружки, он неожиданно прервал ее болтовню:

— Послушай, кошечка. Я хочу тебе дать поручение к твоему мужу. Скажи ему от моего имени, чтобы он завтра же приобрел на десять тысяч франков марокканского займа,— каждая его облигация стоит семьдесят два франка. Ручаюсь, что меньше чем через три месяца он заработает на этом деле от шестидесяти до восьмидесяти тысяч франков. Внуши ему, чтобы он никому про это не говорил. Передай ему от моего имени, что экспедиция в Танжер решена и что французское правительство обеспечит марокканский заем. Но больше никому ни полслова. Я доверяю тебе государственную тайну.

Клотильда выслушала его внимательно.

— Спасибо,— прошептала она.— Сегодня же вечером поговорю с мужем. Ты вполне можешь на него положиться,— он не проболтается. Он человек надежный. Ему доверять не опасно.

С каштанами Клотильда покончила. Она скомкала пакет и бросила его в камин.

— А теперь в постельку,— сказала она и, не вставая со скамейки, принялась расстегивать ему жилет.

Потом вдруг наклонилась и двумя пальцами вытащила из петли длинный волос.

— Смотри! — сказала она со смехом.— На тебе волос Мадлены. Вот уж верный супруг!

Внезапно она нахмурилась и начала пристально разглядывать на ладони чуть заметную нить.

— Нет, это не Мадлены, он черный,— прошептала она.

Жорж усмехнулся:

— Наверно, горничной.

Но Клотильда, точно сыщик, продолжала изучать жилет: нашла другой волос, обмотанный вокруг пуговицы, потом третий. Она побледнела и слегка вздрогнула.

— А-а! — воскликнула она.— Ты спал с женщиной, и она обмотала свои волосы вокруг твоих пуговиц!

Жорж был поражен.

— Да нет же. Ты с ума сошла,— бормотал он.

Но тут он вспомнил про г-жу Вальтер, понял все, сначала смутился, а затем начал отрицать со смехом, ибо в глубине души не был в претензии на Клотильду за то, что она подозревает его в волокитстве.

Она продолжала искать и все находила волосы, быстро разматывала их и швыряла на ковер.

Инстинкт опытной женщины подсказал ей, в чем тут дело, и она пришла в ярость.

— Она тебя любит...— чуть не плача от бешенства, повторяла Клотильда.— И ей хотелось, чтобы ты унес какую-то частицу ее самой... Изменник!

Неожиданно у нее вырвался пронзительный злорадный крик:

— А! А! Да это старуха... Вот седой волос... А-а, так ты перешел на старух... Они тебе платят?.. Скажи, они тебе платят?.. А-а, так ты путаешься со старухами! Значит, я тебе больше не нужна?.. Ну и милуйся со старухой...

Она вскочила и, схватив со стула корсаж, быстро начала одеваться.

Жорж пытался удержать ее.

— Да нет же, Кло...— сконфуженно бормотал он.— Не говори глупостей... Я сам не могу понять... Послушай, останься... да ну, останься же!..

— Милуйся со своей старухой... милуйся со своей старухой...— повторяла она.— Закажи себе кольцо из ее волос... из ее седых волос... У тебя их достаточно...

Она быстро, проворно оделась, надела шляпу, опустила вуаль. Он было потянулся к ней, но она со всего размаху влепила ему пощечину и, не дав опомниться, отворила дверь и вылетела из комнаты.

Как только он остался один, в нем поднялась бешеная злоба на эту старую хрычовку, мамашу Вальтер. Теперь уж он пошлет ее куда-нибудь подальше, без всяких церемоний.

Щека у него горела, и он смочил ее водой. Затем, обдумывая план мести, вышел на улицу. Этого он ей не простит. Ни за что не простит!

Гуляя по бульвару, он остановился перед витриной ювелирного магазина, в которой был выставлен хронометр,— Дю Руа давно хотелось купить его, но он стоил тысячу восемьсот франков.

Вдруг у него радостно забилось сердце: «Выиграю семьдесят тысяч — тогда и куплю». И он стал мечтать о том, что́ он сделает на эти семьдесят тысяч франков.

Прежде всего станет депутатом. Потом купит хронометр, потом начнет играть на бирже, потом... потом...

Идти в редакцию ему не хотелось; решив сперва переговорить с Мадленой, а потом уже повидать Вальтера и приняться за статью, он зашагал по направлению к дому.

Дойдя до улицы Друо, он вдруг остановился: он забыл справиться о здоровье графа де Водрека, а тот жил на шоссе д'Антен. Гуляющей походкой пошел он обратно, погруженный в сладкие мечты о многих приятных, чудесных вещах, о будущем богатстве, и в то же время у него не выходили из головы эта сволочь Ларош и эта старая мерзавка Вальтер. Что касается Клотильды, то ее гнев не внушал ему ни малейшего беспокойства: он знал, что она отходчива.

Войдя в дом, где жил граф де Водрек, он обратился к швейцару:

— Как здоровье господина де Водрека? Я слышал, что он хворает.

— Граф очень плох, сударь,— ответил швейцар.— Говорят, что он и до завтра не доживет,— подагра перешла на сердце.

Дю Руа остолбенел, он не знал, как быть. Водрек умирает! В голове у него кружился рой неясных, волнующих мыслей, в которых он не посмел бы признаться даже самому себе.

— Благодарю вас... я еще зайду...— пробормотал он, сам не понимая, что говорит.

Затем вскочил в экипаж и поехал домой.

Мадлена была уже дома. Он вбежал, запыхавшись, к ней в комнату и выпалил:

— Ты ничего не знаешь? Водрек умирает.

Мадлена сидя читала письмо. При этих словах она вскинула на мужа глаза и три раза подряд переспросила:

— А? Что ты сказал?.. Что ты сказал?.. Что ты сказал?..

— Я говорю, что Водрек умирает, подагра перешла на сердце. Что ты думаешь делать? — прибавил он.

Мадлена побледнела, щеки у нее судорожно подергивались; она встала и, закрыв лицо руками, горько заплакала. Убитая горем, некоторое время она стояла неподвижно, и только плечи вздрагивали у нее от беззвучных рыданий.

Но вдруг она пересилила себя и вытерла слезы.

— Я поеду... я поеду к нему... Ты не беспокойся... я не знаю, когда вернусь... не жди меня...

— Хорошо. Поезжай,— сказал он.

Они пожали друг другу руку, и она, забыв второпях перчатки, вышла из комнаты.

Жорж пообедал один и принялся за статью. Писал он ее, строго придерживаясь указаний министра и предоставляя читателям самим догадаться о том, что экспедиция в Марокко

не состоится. Затем отнес статью в редакцию, поговорил несколько минут с патроном и, сам не понимая, отчего ему так весело, с папиросой в зубах зашагал домой.

Жены еще не было. Он лег и заснул.

Вернулась Мадлена около полуночи. Жорж сейчас же проснулся и сел на постели.

— Ну что? — спросил он.

Никогда еще не видел он ее такой бледной и такой расстроенной.

— Умер,— прошептала она.

— А! Что же... он ничего тебе не сказал?

— Ничего. Когда я приехала, он был уже без сознания.

Жорж задумался. На языке у него вертелись вопросы, но он не решался задать их.

— Ложись спать,— сказал он.

Она быстро разделась и юркнула к нему под одеяло.

— Кто-нибудь из родственников присутствовал при его кончине? — продолжал он допытываться.

— Только один племянник.

— А! И часто бывал у него этот племянник?

— Никогда не бывал. Они не встречались лет десять.

— А еще кто-нибудь из родственников у него есть?

— Нет... Не думаю.

— Значит... все достанется племяннику?

— Не знаю.

— Водрек был очень богат?

— Да, очень богат.

— Ты не знаешь примерно, сколько у него может быть?

— Точно не знаю. Один или два миллиона, что-то в этом роде.

Больше он ни о чем ее не расспрашивал. Мадлена потушила свечу. Они молча лежали рядом, в полной темноте, задумчивые и возбужденные.

Сон у Дю Руа уже прошел. Семьдесят тысяч франков, о которых толковала г-жа Вальтер, потеряли для него теперь всякое значение. Вдруг ему показалось, что Мадлена плачет. Чтобы убедиться в этом, он окликнул ее:

— Ты спишь?

— Нет.

Голос у нее дрожал от слез.

— Я забыл тебе сказать, что твой министр провел нас за нос.

— Как так?

Он обстоятельно, со всеми подробностями начал рассказывать ей о замыслах Вальтера и Лароша.

— Откуда ты это знаешь? — когда он кончил, спросила Мадлена.

— Об этом позволь мне умолчать,— ответил Жорж.— У тебя свои источники информации, и я тебя о них не расспрашиваю. У меня — свои, и я бы хотел держать их в тайне. Но за достоверность этих сведений я ручаюсь головой.

— Да, это возможно...— прошептала она.— Я подозревала, что они что-то затевают помимо нас.

Жоржу не спалось; он придвинулся к жене и тихонько поцеловал ее в ухо. Она резко оттолкнула его:

— Прошу тебя, оставь меня в покое! Мне не до баловства.

Он покорно повернулся к стене, закрыл глаза и, наконец, заснул.

VI

Церковь была обтянута черным, огромный увенчанный короной щит над дверями возвещал прохожим, что хоронят дворянина.

Похоронный обряд только что кончился, и присутствующие расходились, дефилируя перед гробом и перед племянником графа де Водрека; тот раскланивался и пожимал всем руки.

Жорж и Мадлена вместе пошли домой. Они были озабочены чем-то и хранили молчание.

— Однако это очень странно! — как бы рассуждая сам с собой, заметил Жорж.

— Что именно, друг мой? — отозвалась Мадлена.

— То, что Водрек ничего нам не оставил.

Мадлена внезапно покраснела,— казалось, будто розовая вуаль, поднимаясь от шеи к лицу, закрывала белую ее кожу.

— А почему, собственно, он должен был нам что-нибудь оставить? — сказала она.— У него не было для этого никаких оснований.

И, помолчав, прибавила:

— Очень может быть, что завещание хранится у какого-нибудь нотариуса. Мы еще ничего не знаем.

— Да, вероятно,— подумав, согласился Жорж,— в конце концов он был нашим лучшим другом, твоим и моим. Обедал у нас два раза в неделю, приходил в любой час. Чувствовал

себя у нас как дома, совсем как дома. Тебя он любил, как родной отец, семьи у него не было: ни детей, ни братьев, ни сестер — никого, кроме племянника, да и племянник-то не родной. Да, наверно, есть завещание. На что-нибудь крупное я не рассчитываю, но что-то должен же он был подарить нам на память в доказательство того, что он подумал о нас, что он нас любил и понимал, как мы к нему привязаны. Какого-нибудь знака дружбы мы, во всяком случае, вправе от него ждать.

— В самом деле, очень возможно, что он оставил завещание,— с задумчивым и безучастным видом заметила она.

Дома слуга подал Мадлене письмо. Она прочитала его и передала мужу.

«Контора нотариуса
Ламанера,
улица Вогезов, 17

Милостивая государыня,

Имею честь просить Вас пожаловать ко мне в контору между двумя и четырьмя часами во вторник, в среду или в четверг по касающемуся Вас делу.

Примите и пр.
Ламанер».

Теперь уж покраснел Жорж.

— Это, наверно, то самое. Странно, однако ж, что он приглашает тебя, а не меня, законного главу семьи.

Сперва она ничего не ответила, но, подумав немного, сказала:

— Хочешь, пойдем туда сейчас же?

— Да, очень хочу.

После завтрака они отправились к нотариусу.

Как только они вошли в контору Ламанера, старший клерк вскочил и с чрезвычайной предупредительностью провел их к своему патрону.

Нотариус был маленький человечек, маленький и весь круглый. Голова его напоминала шар, привинченный к другому шару, который держался на двух ножках — до того маленьких и коротких, что в них тоже было нечто шарообразное.

Он поклонился, указал на кресла и, обращаясь к Мадлене, заговорил:

— Сударыня, я пригласил вас для того, чтобы вы ознакомились с касающимся вас завещанием графа де Водрека.

— Так я и знал,— не удержавшись, прошептал Жорж.

— Сейчас я оглашу этот документ, впрочем весьма краткий.

Нотариус достал из папки завещание и прочитал следующее:

«Я, нижеподписавшийся, Поль-Эмиль-Сиприен-Гонтран граф де Водрек, находясь в здравом уме и твердой памяти, настоящим выражаю свою последнюю волю.

Так как смерть всегда может застигнуть нас врасплох, то, в предвидении ее, я рассудил за благо составить завещание, каковое будет храниться у нотариуса Ламанера.

Не имея прямых наследников, я все свое состояние, заключающееся в процентных бумагах на сумму шестьсот тысяч франков и в недвижимом имуществе стоимостью приблизительно в пятьсот тысяч франков, оставляю госпоже Клер-Мадлене Дю Руа, не ставя ей при этом никаких условий и не налагая на нее никаких обязательств. Прошу ее принять этот дар покойного друга в знак преданности и почтительной глубокой привязанности».

— Вот и все,— присовокупил нотариус.— Завещание это помечено августом прошлого года, и оно заменяет собой другой подобный же документ, каковой был составлен два года тому назад на имя госпожи Клер-Мадлены Форестье. Первое завещание также хранится у меня и в случае протеста со стороны родственников может служить доказательством, что воля графа де Водрека осталась неизменной.

Мадлена, бледная как полотно, сидела потупившись. Жорж нервно покручивал усы.

— Само собой разумеется,— после некоторого молчания заметил нотариус,— что без вашего согласия супруга ваша не может принять наследство.

Дю Руа встал.

— Я должен подумать,— сухо сказал он.

Нотариус, приятно осклабившись, наклонил голову.

— Понимаю, сударь: вас заставляет колебаться известная щепетильность. Считаю нужным прибавить, что племянник графа де Водрека, ознакомившись сегодня утром с последней волей своего дяди, выразил готовность подчиниться ей в том случае, если ему будет выдана сумма в сто тысяч франков. На мой взгляд, завещание неоспоримо, но процесс наделал бы много шуму, а вы, вероятно, пожелаете его избежать. В об-

ществе всегда могут возникнуть недоброжелательные толки. Во всяком случае, не могли ли бы вы дать мне ответ по всем пунктам до субботы?

Дю Руа утвердительно кивнул головой:

— Хорошо, сударь.

Он церемонно раскланялся, пропустил вперед жену, которая за все время не проронила ни слова, и вышел с видом оскорбленного достоинства, так что нотариус перестал улыбаться.

Придя домой, Дю Руа с силой захлопнул за собой дверь и бросил на кровать шляпу.

— Ты была любовницей Водрека?

Мадлена, снимая вуаль, тотчас обернулась.

— Я? О!..

— Да, ты. Кто это станет завещать все свое состояние женщине, если она не...

Мадлена вся дрожала и никак не могла отцепить булавки, которыми была приколота прозрачная ткань.

— Полно... полно...— подумав секунду, прерывающимся от волнения голосом заговорила она.— Ты с ума сошел... Ты... ты... не ты ли сам... только что... высказывал предположение... что он тебе что-нибудь оставит?

Жорж, стоя около нее, точно следователь, который старается поймать на чем-нибудь подсудимого, сторожил малейшее изменение ее лица.

— Да... Водрек мог оставить что-нибудь мне...— отчеканивая каждое слово, заговорил он,— мне, твоему мужу... мне, своему приятелю... понимаешь?.. но не тебе... не тебе, своей приятельнице... не тебе, моей жене... Тут есть существенная, огромная разница с точки зрения светских приличий... и общественного мнения.

Мадлена тоже смотрела в его прозрачные глаза, смотрела пристальным, сосредоточенным и странным взглядом — как бы для того, чтобы прочитать в них что-то, заглянуть в темную область человеческого сознания, в которую никому не дано проникнуть и которая приоткрывается лишь на минуту, в те краткие мгновения, когда мы рассеянны, не держим себя в руках, не следим за собой, в мгновения, приподнимающие завесу над тайниками души.

— Все же мне думается, что...— медленно, с расстановкой заговорила она,— что по меньшей мере столь же странным показалось бы, если б такое колоссальное наследство было оставлено... тебе.

— Это почему же? — резко спросил он.

— Потому что...— Она запнулась, но сейчас же нашлась: — Потому что ты мой муж... потому что, в сущности, он очень мало знал тебя... потому что я его старый друг... я, а не ты... потому что и первое завещание, составленное еще при жизни Форестье, было в мою пользу.

Жорж большими шагами ходил по комнате.

— Ты должна отказаться от наследства,— заявил он.

— Хорошо,— равнодушно сказала она,— но тогда нечего ждать субботы, мы можем сейчас же известить Ламанера.

Он остановился перед ней. И снова они несколько мгновений смотрели друг на друга в упор,— каждый силился разгадать тайну, заключенную в сердце другого, докопаться до корней его мысли, в глазах у каждого стоял жгучий и немой вопрос, пытавшийся обнажить совесть другого. Это была сокровенная борьба двух существ, которые, живя бок о бок, остаются чужими, ибо хотя они вечно подозревают, выслеживают, подстерегают друг друга, но илистое дно души одного из них оказывается недоступным для другого.

— Послушай, признайся, что ты была любовницей Водрека,— не повышая голоса, неожиданно бросил он ей в лицо.

Она пожала плечами.

— Ты говоришь глупости... Водрек был очень привязан ко мне, очень... но больше ничего... никогда...

Он топнул ногой.

— Ты лжешь. Этого не может быть!

— И все же это так,— спокойно возразила она.

Он опять зашагал по комнате и снова остановился.

— Ну так объясни, почему он все свое состояние оставил именно тебе...

— Очень просто,— с бесстрастным видом, небрежно процедила Мадлена.— Ты же сам говорил, что, кроме нас, вернее кроме меня, друзей у него не было,— меня он знал еще ребенком. Моя мать была компаньонкой у его родственников. У нас он бывал постоянно, и так как прямых наследников у него нет, то он и подумал обо мне. Что он меня немножко любил, это возможно. Но кого из женщин не любили такой любовью? Быть может, эта его тайная, тщательно скрываемая любовь и подсказала ему мое имя, когда он взялся за перо, чтобы выразить свою последнюю волю,— что ж тут такого? Каждый понедельник он приносил мне цветы. Тебя это нисколько не удивляло, а ведь тебе-то он не приносил цветов, правда? Теперь он по той же самой причине отказывает мне

свое состояние, да ему и некому его оставить. Напротив, было бы очень странно, если б он оставил его тебе. С какой стати? Что ты для него?

Тон у нее был до того естественный и спокойный, что Жорж поколебался.

— Все равно,— сказал он,— при таких условиях мы не должны принимать наследство. Это может нам очень повредить. Пойдут пересуды, все станут надо мной смеяться, трепать мое имя. Сослуживцы и так уже завидуют мне, и чуть что — мне от них не поздоровится. Я больше чем кто-либо другой должен беречь свою честь, свою репутацию. Я не могу допустить, чтобы моя жена принимала подобный дар от человека, которого злые языки и так уже называли ее любовником. Форестье, быть может, и примирился бы с этим, а я нет.

— Хорошо, мой друг,— кротко сказала Мадлена,— одним миллионом будет у нас меньше, только и всего.

Жорж все время шагал из угла в угол и размышлял вслух; не обращаясь непосредственно к жене, он тем не менее говорил исключительно для нее:

— Да, одним миллионом!.. Хотя бы и так... Что же делать... Составляя таким образом свое завещание, он, очевидно, не сознавал, что это с его стороны чудовищная бестактность, нарушение всех приличий. Он не предвидел, в какое ложное и смешное положение он меня ставит... Все дело в оттенках... Оставь он мне половину — и все было бы в порядке.

Он сел, положил ногу на ногу и, как это с ним бывало в минуту досады, волнения или мрачного раздумья, начал нервно крутить усы.

Мадлена взяла вышивание, которым она изредка занималась, и, разбирая мотки, сказала:

— Мое дело сторона. Решать должен ты.

Он долго не отвечал ей, потом неуверенно заговорил:

— Люди никогда не поймут, почему Водрек сделал тебя своей единственной наследницей и почему я на это пошел. Обстоятельства таковы, что если мы принимаем наследство, то это значит, что ты расписываешься... в преступной связи, а я в постыдной снисходительности... Понимаешь, как могут истолковать наше согласие? Надо придумать какой-нибудь ловкий ход, найти лазейку и придать всему этому делу пристойный вид. Можно, например, распространить слух, что он поделил между нами свое состояние: половину отдал мужу, половину жене.

Милый друг

— Я не представляю себе, как это сделать практически, поскольку существует формальное завещание,— заметила Мадлена.

— О, это очень просто! Ты могла бы составить на мое имя дарственную запись и отказаться от половины наследства в мою пользу. Детей у нас нет, значит, никаких возражений быть не может. Так мы заткнем рот злопыхателям.

— Опять-таки я не представляю себе, как тут можно заткнуть рот злопыхателям, когда документ, подписанный Водреком, налицо,— с нетерпеливой ноткой в голосе проговорила она.

— Какой вздор! — вспылил Жорж.— Кто нас заставляет показывать завещание или вывешивать его на стену? Мы скажем, что свое состояние граф де Водрек разделил между нами поровну... Вот и все... Ведь без моего разрешения ты не можешь принять наследство. А разрешение я даю тебе при одном условии — при условии раздела, иначе я буду всеобщим посмешищем.

Она еще раз испытующе посмотрела на него.

— Как хочешь. Я согласна.

При этих словах Жорж встал и опять заходил по комнате. Казалось, его снова обуяли сомнения, и теперь он явно избегал проницательного взгляда жены.

— Нет...— заявил он.— Нет, нет и нет... Пожалуй, лучше совсем отказаться... Это будет честнее... благовиднее... достойнее... Впрочем, и так нас не в чем будет упрекнуть, положительно не в чем. Самые щепетильные люди не найдут здесь ничего предосудительного.

Он остановился перед Мадленой.

— Так вот, дорогая, если хочешь, я пойду к Ламанеру один, посоветуюсь с ним, объясню, в чем дело. Скажу ему о своих сомнениях и сообщу, что мы из приличия, чтобы избежать лишних разговоров, решились на раздел. А раз я принимаю половину наследства, то ясно, что никто не посмеет даже улыбнуться. Это значит, что я во всеуслышание заявляю: «Моя жена принимает наследство, потому что принимаю я, ее муж, единственный правомочный судья в том, что касается ее чести». А то выйдет скандал.

Ответ Мадлены был краток.

— Как хочешь,— тихо сказала она.

А он опять пустился в длинные рассуждения:

— Да, при условии такого именно раздела все становится ясно, как день. Мы получаем наследство от друга, который не

хотел делать между нами различия, не хотел никого из нас выделять, не хотел сказать этим завещанием: «Я и после смерти отдаю предпочтение одному из них, как это я делал при жизни». Разумеется, он больше любил жену, но, оставляя свое состояние обоим, он хотел подчеркнуть, что предпочтение это было чисто платоническим. Можешь быть уверена, что если б он подумал об этом, то так бы и поступил. Ему это в голову не пришло, он не учел последствий. Ты совершенно верно заметила, что цветы он каждую неделю приносил тебе, и последний свой дар он тоже предназначил тебе, не отдавая себе отчета...

— Это уже решено,— перебила она; в голосе ее слышалось легкое раздражение.— Я все поняла. Тебе незачем вдаваться в столь подробные объяснения. Иди скорей к нотариусу.

— Это верно,— краснея, пробормотал он, взял шляпу и, уходя, снова обратился к ней: — Я постараюсь сделать так, чтобы племянник помирился на пятидесяти тысячах. Хорошо?

— Нет,— высокомерно ответила Мадлена.— Дай ему столько, сколько он просит: сто тысяч франков. Если хочешь, можешь взять их из моей доли.

Ему стало стыдно.

— Да нет, мы разделим пополам. Если каждый даст по пятидесяти тысяч, так и то у нас останется целый миллион. До скорого свидания, моя крошка,— прибавил Жорж.

Придя к нотариусу, он изложил ему эту комбинацию, которую якобы придумала жена.

На другой день они составили дарственную запись, по которой Мадлена Дю Руа уступала мужу пятьсот тысяч франков.

Стояла прекрасная погода, и, выйдя из конторы, Жорж предложил Мадлене пройтись. Он прикинулся заботливым, предупредительным, внимательным, нежным. Ему было весело, он ликовал, а она хранила задумчивый и несколько суровый вид.

Был довольно холодный осенний день. Прохожие шли быстро, словно торопясь куда-то. Дю Руа подвел жену к тому самому магазину, перед которым он так часто останавливался, чтобы полюбоваться хронометром, предметом его мечтаний.

— Позволь мне подарить тебе какую-нибудь вещицу,— сказал он.

— Как знаешь,— равнодушно ответила она.

Они вошли в магазин.

— Что ты хочешь: серьги, колье, браслет?

При виде золотых безделушек и драгоценных камней она сбросила с себя напускную холодность и мгновенно оживившимся любопытным взором окинула витрины, полные ювелирных изделий.

— Вот красивый браслет,— загоревшись желанием приобрести его, сказала она.

Это была затейливой работы цепочка, каждое звено которой украшал какой-нибудь драгоценный камень.

— Сколько стоит этот браслет? — прицепился Жорж.

— Три тысячи франков,— ответил ювелир.

— Уступите за две с половиной, тогда я его возьму.

— Нет, сударь, не могу,— после некоторого колебания сказал ювелир.

— Послушайте, я у вас возьму еще этот хронометр за полторы тысячи франков,— всего выйдет четыре тысячи, плачу наличными. Идет? Не хотите — дело ваше, я пойду в другой магазин.

Ювелир помялся, но в конце концов сбавил цену:

— Так и быть, сударь!

Журналист дал свой адрес и сказал:

— Прикажите выгравировать на хронометре баронскую корону, а под ней письменными буквами мои инициалы: Ж. Р. К.

Мадлену это привело в изумление; она заулыбалась. А когда они вышли из магазина, она уже с какой-то нежностью взяла его под руку. Она убедилась, что он действительно сильный и ловкий человек. Теперь, когда у него есть деньги, ему необходим титул,— это резонно.

Ювелир проводил их с поклонами.

— Не беспокойтесь, господин барон, к четвергу все будет готово.

Они проходили мимо Водевиля. Там давали новую пьесу.

— Хочешь, пойдем вечером в театр? — предложил Дю Руа.— Надо попытаться достать ложу.

Ложа нашлась, и они ее взяли.

— Не пообедать ли нам в ресторане? — предложил он.

— Ну что ж, с удовольствием.

Он был счастлив, как властелин, и все старался что-нибудь придумать.

— А что, если мы зайдем за госпожой де Марель и вместе проведем вечерок? Мне говорили, что ее муж приехал. Мне бы очень хотелось с ним повидаться.

Они пошли туда. Жорж побаивался первой встречи с любовницей и ничего не имел против, что с ним жена,— по крайней мере, можно будет избежать объяснений.

Но Клотильда, видимо, не сердилась на него и сама уговорила мужа принять приглашение.

Обед прошел весело, вечер они провели чудесно.

Жорж и Мадлена поздно вернулись домой. Газ на лестнице уже не горел. Журналист то и дело зажигал восковые спички.

На площадке второго этажа огонек чиркнувшей и вспыхнувшей спички выхватил из темноты зеркало, и в нем четко обозначились две фигуры.

Казалось, будто два призрака появились внезапно и тотчас же снова уйдут в ночь.

Чтобы ярче осветить их, Дю Руа высоко поднял руку и с торжествующим смехом воскликнул:

— Вот идут миллионеры!

VII

Со времени покорения Марокко прошло два месяца. Захватив Танжер, Франция сделалась обладательницей всего Африканского побережья Средиземного моря до самого Триполи и обеспечила заем аннексированной страны.

Говорили, что два министра заработали на этом до двадцати миллионов, и почти открыто называли имя Ларош-Матье.

Что касается Вальтера, то весь Париж знал, что он убил двух зайцев: миллионов тридцать — сорок нажил на займе и от восьми до десяти миллионов на медных и железных рудниках, а также на огромных участках земли, купленных за бесценок еще до завоевания и перепроданных колонизационным компаниям на другой день после французской оккупации.

В какие-нибудь несколько дней он стал одним из властелинов мира, одним из всесильных финансистов, более могущественных, чем короли,— одним из тех финансистов, перед которыми склоняются головы, немеют уста и которые выпускают на свет божий гнездящиеся в глубине человеческого сердца низость, подлость и зависть.

Это уже был не жид Вальтер, директор банка, который никому не внушал доверия, издатель подозрительной газеты, депутат, по слухам, замешанный в грязных делишках. Теперь это был господин Вальтер, богатый еврей.

И он захотел наглядно доказать это.

Узнав, что князь Карлсбургский, владелец одного из самых роскошных особняков на улице Фобур-Сент-Оноре с садом, выходившим на Елисейские поля, находится в затруднительном положении, он предложил ему в двадцать четыре часа продать эту недвижимость со всей обстановкой, не переставляя ни одного кресла. Он давал ему три миллиона. Прельстившись суммой, князь согласился.

На другой день Вальтер уже устраивался на новом месте.

Но тут у него появилась другая мысль — мысль, которая могла прийти в голову только завоевателю, желающему победить Париж, мысль, достойная Бонапарта.

В то время весь город ходил в комиссионный магазин Жака Ленобля смотреть картину венгерского художника Карла Марковича, изображавшую Христа, шествующего по водам.

Художественные критики восторгались ею и утверждали, что это лучшее из произведений искусства, которыми может гордиться наш век.

Вальтер купил картину за пятьсот тысяч франков и перевез ее в свой особняк,— таким образом он направил поток общественного любопытства в новое русло и заставил весь Париж завидовать ему, порицать или одобрять его,— словом, заставил говорить о себе.

Затем он объявил в газетах, что в один из ближайших вечеров собирается пригласить к себе видных представителей парижского общества посмотреть замечательную картину иностранного художника, дабы никто не мог упрекнуть его в том, что он держит под спудом произведение искусства.

Двери его дома будут открыты для всех. Добро пожаловать. При входе надо будет только предъявить пригласительный билет.

Приглашение было составлено так: «Г-н и г-жа Вальтер просят вас почтить их своим присутствием тридцатого декабря, между девятью и двенадцатью ночи, на осмотре при электрическом освещении картины Карла Марковича «Иисус, шествующий по водам».

В постскриптуме мелким шрифтом было напечатано: «После двенадцати танцы».

Итак, желающие могут остаться, и из их числа Вальтеры подберут себе новых знакомых.

Прочие со светским любопытством, наглым или равнодушным, поглядят на картину, на особняк, на хозяев и разойдутся по домам. Но старик Вальтер отлично знал, что немного погодя они снова придут сюда, как приходили к его собратьям — иудеям, разбогатевшим так же, как и он.

Прежде всего надо, чтобы его дом посетили титулованные особы, имена которых не сходят с газетных столбцов. И они, конечно, явятся,— они придут посмотреть на человека, в течение полутора месяцев отхватившего пятьдесят миллионов, придут окинуть взглядом и сосчитать его гостей, придут, ибо он оказался столь тактичным и сообразительным, что позвал их к себе, сыну Израиля, полюбоваться картиной, написанной на сюжет из Евангелия.

Он как бы говорил им: «Смотрите, я заплатил пятьсот тысяч франков за картину Марковича «Иисус, шествующий по водам», за этот шедевр христианской живописи. И шедевр этот отныне будет всегда у меня перед глазами, он так и останется в доме жида Вальтера».

В свете, в обществе герцогинь и членов Жокей-клуба, долго обсуждали это приглашение и наконец решили, что, в сущности, оно ни к чему не обязывает. Все туда пойдут, как ходили раньше к г-ну Пти смотреть акварели. Вальтерам принадлежит некий шедевр; на один вечер они открывают двери своего дома, чтобы всякий мог им полюбоваться. На что же лучше?

В течение двух недель «Французская жизнь», стараясь возбудить общественное любопытство, ежедневно помещала на своих страницах какую-нибудь заметку об этом вечере, назначенном на тридцатое декабря.

Триумф патрона доводил Дю Руа до бешенства.

Вытянув у жены пятьсот тысяч франков, он уже считал себя богачом, но теперь, когда он сравнивал свое ничтожное состояние с дождем миллионов, который прошел мимо него стороной, ему казалось, что он нищ, до ужаса нищ.

Его завистливая злоба росла день ото дня. Он был зол на весь свет: на Вальтеров, у которых он перестал бывать, на жену, которая, поверив Ларошу, отсоветовала ему покупать марокканский заем, а главное, на самого министра, который втер ему очки, но по-прежнему пользовался его услугами и обедал у него два раза в неделю. Жорж состоял у Лароша на посылках, заменял ему секретаря, писца, и, когда он писал

под его диктовку, ему всякий раз безумно хотелось задушить этого торжествующего пшюта. Как министр, Ларош особой популярности не снискал, и, чтобы сохранить за собой портфель, ему приходилось тщательно скрывать, что портфель этот туго набит золотом. Но Дю Руа чувствовал золото во всем: в еще более презрительном тоне, какой появился за последнее время у этого выскочки-адвоката, в его еще более нахальной манере держаться, в его еще более безапелляционных суждениях, в его теперь уже безграничной самоуверенности.

Ларош царил в доме Дю Руа: он занял место графа де Водрека, он приходил обедать в те же дни и разговаривал с прислугой, как второй хозяин.

Жорж с трудом выносил его; в его присутствии он дрожал от злости, как собака, которая и хочет укусить, да не смеет. Зато с Мадленой он часто бывал резок и груб, но она только пожимала плечами и относилась к нему, как к невоспитанному ребенку. И все же ее удивляло то, что он всегда в дурном настроении.

— Я тебя не понимаю,— говорила она.— Ты вечно на что-нибудь жалуешься. Между тем положение у тебя блестящее.

Он молча поворачивался к ней спиной.

Сперва он заявил, что не пойдет на вечер к патрону, что ноги его не будет у этого пархатого жида.

Госпожа Вальтер в течение двух месяцев писала ему ежедневно, умоляя прийти, назначить ей свидание где угодно для того, чтобы она могла вручить ему семьдесят тысяч франков, которые она для него выиграла.

Он не отвечал на эти отчаянные письма и бросал их в огонь. Он вовсе не отказывался от своей доли в их общем выигрыше, но он хотел истерзать ее, раздавить своим презрением, растоптать. Она теперь так богата! Он должен показать ей, что он горд.

В день осмотра картины Мадлена начала убеждать его, что он сделает большую оплошность, если не пойдет к Вальтерам.

— Отстань от меня,— буркнул Дю Руа.— Никуда я не пойду.

Но, пообедав, он неожиданно заявил:

— Придется все-таки отбыть эту повинность. Одевайся.

Она этого ожидала.

— Через четверть часа я буду готова,— сказала она.

Одеваясь, он все время ворчал и даже в карете продолжал изливать желчь.

На парадном дворе карлсбургского особняка горели по углам четыре электрических фонаря, напоминавшие маленькие голубоватые луны. Дивный ковер покрывал ступени высокого крыльца, и на каждой ступени неподвижно, как статуя, стоял ливрейный лакей.

— Пыль в глаза пускают! — пробормотал Дю Руа.

Он презрительно пожимал плечами, но сердце у него ныло от зависти.

— Наживи себе такой дом, а до тех пор прикуси язык,— заметила жена.

Войдя, они передали подбежавшим лакеям свое тяжелое верхнее платье.

Здесь было уже много дам с мужьями,— они тоже сбрасывали с себя меха. Слышался шепот:

— Великолепно! Великолепно!

Стены огромного вестибюля были обтянуты гобеленами, на которых были изображены похождения Марса и Венеры. Вправо и влево уходили крылья монументальной лестницы и соединялись на втором этаже. Перила из кованого железа являли собой настоящее чудо; старая, потемневшая их позолота тускло отсвечивала на красном мраморе ступеней.

У входа в залы две маленькие девочки — одна в воздушном розовом платьице, другая в голубом — раздавали дамам цветы. Все нашли, что это очень мило.

В залах уже было полно.

Большинство дам было в закрытых платьях,— очевидно, они желали подчеркнуть, что смотрят на этот званый вечер, как на обычную частную выставку. Те, которые собирались потанцевать, были декольтированы.

Госпожа Вальтер, окруженная приятельницами, сидела во втором зале и отвечала на приветствия посетителей. Многие не знали ее и расхаживали по комнатам, как в музее, не обращая внимания на хозяев.

Увидев Дю Руа, она смертельно побледнела и сделала такое движение, точно хотела пойти к нему навстречу, но сдержалась: видимо, она ждала, что он сам подойдет к ней. Он церемонно поклонился ей, а Мадлена рассыпалась в похвалах и изъявлениях нежности. Оставив ее с г-жой Вальтер, он замешался в толпу: ему хотелось послушать толки недоброжелателей, которые должны были быть здесь представлены в изобилии.

Пять зал, обитых дорогими тканями, итальянскими вышивками, восточными коврами всевозможных оттенков и стилей и увешанных картинами старинных мастеров, следовали один за другим. Публике больше всего нравилась маленькая комната в стиле Людовика XVI — нечто вроде будуара, обтянутого шелковой материей с розовыми цветами по бледно-голубому полю. Точно такой же материей была обита поразительно тонкой работы мебель золоченого дерева.

Перед глазами Жоржа мелькали знаменитости: герцогиня де Феррачини, граф и графиня де Равенель, генерал князь д'Андремон, красавица из красавиц маркиза де Дюн и все постоянные посетительницы театральных премьер.

Кто-то схватил его за руку, и молодой радостный голос прошептал ему на ухо:

— Ах, вот и вы наконец, противный Милый друг! Что это вас совсем не видно?

Из-под кудрявого облачка белокурых волос на него смотрели эмалевые глаза Сюзанны Вальтер.

Он очень обрадовался ей и, с чувством пожав ей руку, начал извиняться:

— Я никак не мог. Я был так занят эти два месяца, что нигде не бывал.

— Нехорошо, нехорошо, очень нехорошо,— серьезным тоном продолжала она.— Вы нас так огорчаете, ведь мы вас обожаем — и мама и я. Я, например, просто не могу без вас жить. Когда вас нет, я готова повеситься от тоски. Я для того говорю с вами так откровенно, чтобы вы больше не смели исчезать. Дайте руку, я сама хочу вам показать «Иисуса, шествующего по водам»,— это в самом конце, за оранжереей. Папа выбрал такое место единственно с той целью, чтобы гости обошли предварительно все залы. Он так носится со своим особняком, просто ужас!

Они медленно пробирались в толпе. Все оборачивались, чтобы посмотреть на этого красавца мужчину и на эту прелестную куколку.

— Великолепная пара! На редкость! — заметил один известный художник.

«Будь я в самом деле ловкий человек, я бы женился на этой,— думал Жорж.— Между прочим, это было вполне возможно. Как это мне не пришло в голову? Как это случилось, что я женился на той? Какая нелепость! Сперва надо было обдумать хорошенько, а потом уже действовать».

Зависть, едкая зависть капля за каплей просачивалась к нему в душу, отравляя своим ядом все его радости, самое его существование.

— Правда, Милый друг, приходите почаще,— говорила Сюзанна.— Папа разбогател, теперь мы начнем проказничать. Будем веселиться напропалую.

Но его преследовала все та же мысль.

— Ну, теперь вы выйдете замуж! Найдете себе какого-нибудь прекрасного, но слегка обедневшего принца — и только вас и видели.

— О нет, пока еще нет! — искренне вырвалось у нее.— Я выйду только за того, кто мне придется по душе, совсем-совсем по душе. Моего богатства хватит на двоих.

Улыбаясь насмешливой и презрительной улыбкой, он стал называть ей имена проходивших мимо людей — представителей высшей знати, которые продали свои старые ржавые титулы дочерям богатых финансистов, таким, как Сюзанна, и теперь живут вместе с женами или отдельно — ничем не связанные, беспутные, но окруженные почетом и уважением.

— Ручаюсь, что не пройдет и полгода, как вы тоже попадетесь на эту самую удочку,— сказал Жорж.— Станете маркизой, герцогиней или княгиней и будете, милая барышня, смотреть на меня сверху вниз.

Она возмущалась, хлопала его по руке веером, клялась, что выйдет замуж только по любви.

— Посмотрим, посмотрим, вы для этого слишком богаты,— подтрунивал он.

— Вы тоже богаты,— ведь вы получили наследство,— ввернула она.

— Есть о чем говорить! — с кислой миной воскликнул он.— Каких-нибудь двадцать тысяч ренты. По нынешним временам это сущий пустяк.

— Но ваша жена тоже получила наследство.

— Да. У нас миллион на двоих. Сорок тысяч годового дохода. На это даже собственного выезда не заведешь.

Они вошли в последний зал, и глазам их открылась оранжерея — большой зимний сад, полный высоких тропических деревьев, осенявших своими ветвями сплошные заросли редких цветов. Под этою темною зеленью, сквозь которую серебристой волной проникал свет, стоял парной запах влажной земли, веяло душным ароматом растений. В их сладком и упоительном благоухании было что-то раздражающее, томящее, искусствен-

ное и нездоровое. Ковры, расстеленные между двумя рядами частого кустарника, поразительно напоминали мох. Налево, под широким куполом, образованным ветвями пальм, Дю Руа бросился в глаза беломраморный бассейн, такой большой, что в нем можно было купаться, с четырьмя огромными фаянсовыми лебедями по краям; клювы у лебедей были полуоткрыты, и из них струилась вода.

В бассейне, дно которого было усыпано золотистым песком, плавали громадные красные рыбы — диковинные китайские чудища с выпученными глазами и с голубою каймой на чешуе, мандарины вод, напоминавшие затейливые китайские вышивки: одни из них блуждали в воде, другие словно повисли над золотистым дном.

Дю Руа остановился, сердце у него забилось. «Вот она, роскошь! — говорил он себе.— Вот в каких домах надо жить. Другие этого достигли. Почему бы и мне не добиться того же?» Он пытался найти способ, но так, сразу, трудно было что-нибудь придумать, и он злился на свое бессилие.

Его спутница, занятая своими мыслями, тоже приумолкла. Дю Руа искоса взглянул на нее. «А ведь стоило только жениться на этой живой марионетке!» — подумал он.

Сюзанна неожиданно встрепенулась.

— Внимание! — сказала она и, пробившись сквозь толпу, загородившую им дорогу, вдруг повернула направо.

Среди леса причудливых растений, раскинувших трепещущие, раскрытые, словно руки с тонкими пальцами, листья, на морских волнах неподвижно стоял человек.

Это производило потрясающее впечатление. Картина, края которой прятались в колыхавшейся зелени, казалась черной дырой, прорывом в некую фантастическую и манящую даль.

Надо было пристально вглядеться в картину, и тогда все становилось понятным. Рама надвое перерезала лодку, где, слабо освещенные косыми лучами фонаря, находились апостолы, один из которых, сидя на краю, направлял этот фонарь на приближавшегося Иисуса.

Христос ступил одной ногой на волну, и видно было, как она послушно и мягко опустилась, легла, прильнув к попиравшей ее божественной стопе. Вокруг богочеловека все было погружено во мрак. Одни лишь звезды сияли в небе.

При бледном свете фонаря, который держал в руках тот, кто указывал на Господа, казалось, что лица учеников искажены священным ужасом.

Это было поистине могучее, вдохновенное искусство, одно

из тех созданий мастера, которые будоражат мысль и надолго врезаются в память.

Люди молча впивались глазами в картину, потом задумчиво отходили, и лишь некоторое время спустя начинали обсуждать ее достоинства.

Дю Руа, посмотрев на картину, сказал:

— Позволить себе роскошь приобрести такую вещицу — это шикарно!

Но его оттесняли и толкали другие, которым тоже хотелось посмотреть, и, все еще не отпуская маленькую ручку Сюзанны и слегка пожимая ее, он отошел от картины.

— Хотите выпить шампанского? — спросила Сюзанна.— Пойдемте в буфет. Там мы найдем папу.

Они снова медленно прошли через залы, где толпа все росла — шумная, нарядная толпа общественных увеселений, чувствовавшая себя здесь как дома.

Вдруг Жоржу послышалось, что кто-то сказал:

— Вон Ларош и госпожа Дю Руа.

Слова эти достигли его слуха, точно неясный шорох, донесенный издалека ветром. Кто мог произнести их?

Оглядевшись по сторонам, он в самом деле увидел жену,— она шла под руку с министром. Глаза в глаза, они тихо говорили о чем-то интимном и улыбались.

Ему почудилось, что все смотрят на них, шепчутся. И у него возникло свирепое и бессмысленное желание броситься на них с кулаками и уложить на месте.

Она ставила его в смешное положение. Он вспомнил Форестье. Может быть, и про него говорят: «Этот рогоносец Дю Руа». Что она такое? Довольно ловкая выскочка, но, в сущности, без особых талантов. У него бывают в гостях, потому что боятся его, потому что чувствуют его силу, но вряд ли особенно стесняются в выражениях, когда заходит речь об этой чете посредственных журналистов. С такой женой, которая постоянно бросает тень на его дом, которая вечно себя компрометирует, все поведение которой обличает в ней интриганку,— с такой женой ему не выдвинуться. Теперь она будет ему в тягость. Ах, если бы он мог все это предвидеть, если б он знал! Какую крупную и смелую игру повел бы он тогда! В каком выигрыше остался бы он, если б ставкой была маленькая Сюзанна! Почему он был так слеп и не понял этого раньше?

Они вошли в столовую — громадную комнату с мраморными колоннами, стены которой были обтянуты старинными гобеленами.

Увидев своего сотрудника, Вальтер с распростертыми объятиями бросился к нему. Он был наверху блаженства.

— Вы все видели? Сюзанна, ты ему все показала? Сколько народу,— правда, Милый друг? Видели князя де Герша? Он только что заходил сюда выпить стакан пуншу.

Но тут он устремился навстречу сенатору Рисолену,— тот вел свою расфуфыренную, как ярмарочная торговка, супругу; вид у супруги был явно растерянный.

Сюзанне поклонился высокий и поджарый молодой человек с белокурыми бакенбардами и небольшой лысиной,— в нем сразу чувствовался примелькавшийся тип светского шаркуна. Кто-то назвал его имя: «Маркиз де Казоль», и Жорж сейчас же приревновал Сюзанну к нему. Давно ли она познакомилась с ним? Конечно, после того как разбогатела? Он угадывал в нем претендента.

Кто-то взял его под руку. Это был Норбер де Варен. С безучастным и усталым видом старый поэт выставлял напоказ свои сальные волосы и поношенный фрак.

— Это у них называется весельем,— заметил он.— Сейчас начнутся танцы, потом все лягут спать,— девочки останутся довольны. Хотите выпить превосходного шампанского?

С этими словами он налил себе в бокал вина, Жорж взял другой бокал.

— Пью за победу духовного начала над миллионами,— поклонившись ему, провозгласил Норбер и более мягким тоном прибавил: — Не то чтобы они мешали мне в чужих карманах, и я вовсе не завидую их обладателям,— я протестую из принципа.

Дю Руа уже не слушал его. Поискав глазами Сюзанну, упорхнувшую с маркизом де Казолем, он улизнул от Норбера и пустился на розыски.

Густая толпа жаждущих преградила ему путь. Пробившись наконец, он очутился лицом к лицу с четой де Марель.

С женой он часто встречался, но мужа не видел давно. Тот протянул ему обе руки:

— Дорогой мой, как я вам благодарен за совет, который мне передала Клотильда! Я выиграл около ста тысяч по марокканскому займу. Этим я всецело обязан вам. Вот уж, можно сказать, бесценный друг!

Мужчины оглядывались на эту хорошенькую, изящную брюнетку.

— Услуга за услугу, дорогой мой,— сказал Дю Руа,— я отнимаю у вас жёну,— вернее, я предлагаю ей руку. Супругов всегда надо разлучать.

Господин де Марель наклонил голову:

— Это верно. Если я вас потеряю, то мы встретимся здесь через час.

— Отлично.

Дю Руа и Клотильда втиснулись в толпу; муж следовал за ними.

— Вальтерам безумно везет,— говорила Клотильда.— Вот что значит быть оборотистым дельцом.

— Что ж! Сильные люди, так или иначе, всегда добиваются своего,— заметил Жорж.

— За каждой дочкой миллионов двадцать — тридцать приданого,— продолжала она.— А Сюзанна к тому же еще хорошенькая.

Он промолчал. Его собственная мысль, высказанная другим человеком, раздражала его.

Она еще не видела «Иисуса, шествующего по водам». Он предложил проводить ее туда. Дорогой они судачили, высмеивали незнакомых лиц. Мимо них прошел Сен-Потен с уймой орденов на лацкане фрака,— это их очень насмешило. Даже бывший посланник, который шел следом за ним, не так густо увешан был орденами, как этот репортер.

— Винегрет, а не общество! — заметил Дю Руа.

У Буаренара, подошедшего к ним поздороваться, тоже красовалась в петлице та самая желто-зеленая ленточка, которую он надевал в день дуэли.

В маленьком будуаре беседовала с каким-то герцогом расфранченная толстуха виконтесса де Персмюр.

— Объяснение в любви,— прошептал Жорж.

А в оранжерее сидели рядом его жена и Ларош-Матье,— за растениями их почти не было видно. На их лицах было написано: «Мы назначили друг другу свидание здесь, у всех на глазах. Пусть говорят про нас что угодно, нам наплевать».

Госпожа де Марель нашла, что «Иисус» Карла Марковича изумителен. Они пошли назад. Мужа они потеряли из виду.

— А что Лорина — все еще дуется на меня? — спросил он.

— Да, по-прежнему. Не желает тебя видеть, и стоит только заговорить о тебе, как она уходит.

Он промолчал. Неприязнь, которую внезапно почувствовала к нему эта девочка, огорчала и угнетала его.

У дверей их остановила Сюзанна:

— А, вот вы где! Ну, Милый друг, вы остаетесь в одиночестве. Я похищаю прекрасную Клотильду,— мне хочется показать ей мою комнату.

И обе женщины начали быстро пробираться в сутолоке, как умеют пробираться в толпе только женщины — скользя и извиваясь по-змеиному.

Почти в ту же секунду кто-то прошептал:

— Жорж!

Это была г-жа Вальтер.

— О, как вы бесчеловечны! — еще тише заговорила она.— Зачем вы меня так мучаете! Мне надо сказать вам несколько слов, и я попросила Сюзетту увести вашу спутницу. Послушайте, я должна... я должна поговорить с вами сегодня вечером... или... или... вы не можете себе представить, на что я решусь. Идите в оранжерею. Налево будет дверь в сад. Идите прямо по аллее. В самом конце увидите беседку. Я приду туда через десять минут. Если вы не согласитесь,— клянусь, я устрою скандал, здесь, сию же минуту!

— Хорошо,— смерив ее надменным взглядом, сказал он.— Через десять минут я буду в указанном месте.

И они расстались. Но он чуть было не опоздал из-за Жака Риваля. Тот взял его под руку и крайне оживленно начал выкладывать новости. По-видимому, он только что вышел из буфета. В конце концов Дю Руа сдал его на руки г-ну де Марель, с которым они столкнулись в дверях, и скрылся. Надо было еще незаметно прошмыгнуть мимо жены и Ларош. Это ему удалось без особых усилий, так как они были увлечены разговором, и он очутился в саду.

На воздухе Дю Руа почувствовал себя, точно в ледяной ванне. «Черт, как бы не простудиться»,— подумал он и вместо шарфа повязал шею носовым платком. Затем медленно двинулся по аллее,— после яркого света он почти ничего не видел.

Справа и слева колыхались тонкие безлиственные ветки кустов. Свет из окон ложился на них серыми пятнами. Вдруг что-то белое мелькнуло на дорожке, и в ту же минуту он услышал дрожащий голос г-жи Вальтер, которая, в декольтированном платье, спешила ему навстречу.

— А, это ты? Ты что же, хочешь свести меня в могилу? — прошептала она.

— Только, пожалуйста, без трагедий,— спокойно проговорил он.— Иначе я сейчас же уйду.

Она обвила его шею руками и, почти касаясь губами его губ, сказала:

— Но что я тебе сделала? Ты поступаешь со мной, как подлец. Что я тебе сделала?

Он пытался оттолкнуть ее.

— В последний раз, когда мы с тобой виделись, ты намотала свои волосы на все мои пуговицы, и у меня чуть не произошло разрыва с женой.

Она сначала удивилась, потом отрицательно покачала головой.

— Нет, твоей жене это совершенно безразлично. Это уж кто-нибудь из твоих любовниц устроил тебе сцену.

— У меня нет любовниц.

— Молчи лучше! Почему же ты у меня совсем не бываешь? Почему не приходишь ко мне обедать, хотя бы раз в неделю? Все мои мысли связаны с тобой, ты вечно у меня перед глазами, к ужасу моему, твое имя каждую секунду готово сорваться у меня с языка,— вот до чего я люблю тебя. Нет, тебе этого не понять! У меня такое чувство, будто я в тисках, в каком-то мешке; я сама не знаю, что со мной. Неотвязная мысль о тебе спирает мне дыхание, терзает мне грудь,— вот тут, под сердцем,— ноги у меня подкашиваются, так что я не могу двигаться. Целыми днями я бессмысленно сижу на одном месте и думаю о тебе.

Он смотрел на нее с удивлением. Перед ним была уже не прежняя шаловливая толстая девчонка, но обезумевшая от горя, дошедшая до полного отчаяния, на все способная женщина.

Между тем у него в голове зарождались какие-то неопределенные планы.

— Дорогая моя, на свете вечной любви не бывает,— начал он.— Люди сходятся, а затем расстаются. Но если это затягивается, как у нас, тогда это становится тяжкой обузой. Я больше не могу. Говорю тебе откровенно. Однако, если благоразумие возьмет верх и ты будешь принимать меня и относиться ко мне, как к другу, то я стану бывать у тебя по-прежнему. Ну как, способна ты совладать с собой?

— Я способна на все, лишь бы видеть тебя,— положив свои голые руки ему на плечи, прошептала г-жа Вальтер.

— Значит, решено,— сказал он,— мы друзья, но и только.

— Да, решено,— прошептала она и подставила ему губы.— Еще один поцелуй... последний.

— Нет,— мягко возразил он.— Надо держать свое слово.

Она отвернулась, вытерла слезы и, достав из-за корсажа пакет, перевязанный розовой шелковой лентой, протянула его Дю Руа.

— Возьми. Это твоя доля выигрыша по марокканскому займу. Я так рада, что выиграла это для тебя. Бери же...

Он начал было отказываться:

— Нет, я не возьму этих денег!

Но она вспылила:

— О, теперь это было бы с твоей стороны слишком жестоко! Эти деньги твои, и ничьи больше. Если ты не возьмешь, я выброшу их в мусорный ящик. Но ты не откажешь мне в этом, Жорж. Правда?

Дю Руа взял эту пачку и сунул в карман.

— Пора идти,— заметил он,— ты схватишь воспаление легких.

— Тем лучше! — тихо сказала она.— Ах, если б я могла умереть!

Она припала к его руке, страстно, исступленно, с каким-то отчаянием поцеловала ее и побежала к дому.

Погруженный в раздумье, он медленно двинулся вслед за ней. В оранжерею он вошел, высоко подняв голову, и на губах у него играла улыбка.

Его жены и Лароша здесь уже не было. Толпа редела. Было ясно, что на бал останутся лишь немногие. Вдруг он увидел Сюзанну под руку с сестрой. Они подошли к нему и попросили танцевать с ними первую кадриль вместе с графом де Латур-Ивеленом.

— Это еще кто такой? — спросил он с удивлением.

— Это новый друг моей сестры,— лукаво улыбаясь, ответила Сюзанна.

Роза вспыхнула:

— Как не стыдно, Сюзетта, он столько же мой, сколько и твой!

— Я знаю, что говорю.

Роза рассердилась и ушла.

Дю Руа фамильярно взял Сюзанну под локоть.

— Послушайте, дорогая крошка,— начал он своим медоточивым голосом,— вы считаете меня своим другом?

— Ну, конечно, Милый друг.

— Вы доверяете мне?

— Вполне.

— Помните наш сегодняшний разговор?

— О чем?

— О вашем замужестве,— вернее, о человеке, за которого вы выйдете замуж.

— Да.

— Ну так вот, можете вы мне обещать одну вещь?

— Да. Но что именно?

— Обещайте советоваться со мной, когда кто-нибудь будет просить вашей руки, и, не узнав, как я на это смотрю, никому не давать согласия.

— Хорошо, обещаю.

— И это должно остаться между нами. Ни отцу, ни матери — ни слова.

— Ни слова.

— Клянетесь?

— Клянусь.

С деловым видом к ним подбежал Риваль.

— Мадемуазель, папа зовет вас на бал.

— Идемте, Милый друг,— сказала она.

Но он отказался,— он решил сейчас же уехать, ему хотелось побыть одному и поразмыслить на досуге. Слишком много новых впечатлений запало ему в душу. Он стал искать жену и вскоре нашел ее в буфете,— она сидела с какими-то двумя мужчинами и пила шоколад. Мужа она им представила, но ему не назвала их.

— Поедем? — немного погодя обратился он к ней.

— Как хочешь.

Она взяла его под руку, и они снова прошли через опустевшие залы.

— А где же хозяйка? — спросила она.— Я хотела с ней попрощаться.

— Не стоит. Она начнет уговаривать нас остаться на бал, а с меня довольно.

— Да, ты прав.

Всю дорогу они молчали. Но как только они вошли в спальню, Мадлена, еще не успев снять вуаль, с улыбкой обратилась к нему:

— Ты знаешь, у меня есть для тебя сюрприз.

— Какой еще сюрприз? — огрызнулся Жорж.

— Угадай.

— Не намерен утруждать себя.

— Ну, хорошо. Послезавтра первое января.

— Да.

— Теперь самое время новогодних подарков.

— Да.

— Так вот тебе новогодний подарок,— я только что получила его от Ларош.

И она протянула ему маленькую черную коробку, похожую на футляр для золотых вещей.

Дю Руа с равнодушным видом открыл ее и увидел орден Почетного легиона.

Он слегка побледнел, затем, усмехнувшись, сказал:

— Я бы предпочел десять миллионов. А это ему обошлось недорого.

Она ожидала бурных изъявлений восторга, и эта его холодность возмутила ее.

— Ты стал просто невыносим. Тебе ничем нельзя угодить.

— Этот человек выплачивает свой долг — только и всего,— хладнокровно заметил он.— Он мне еще много должен.

Его тон удивил Мадлену.

— Однако в твои годы и это неплохо,— сказала она.

— Все относительно,— возразил он.— Я мог бы иметь теперь гораздо больше.

Он положил футляр на камин и принялся рассматривать блестящую звезду. Потом закрыл футляр и, пожав плечами, стал раздеваться.

В «Правительственном вестнике» от первого января действительно появилась заметка о том, что публицист г-н Проспер-Жорж Дю Руа за выдающиеся заслуги получил звание кавалера ордена Почетного легиона. Его фамилия была напечатана в два слова, и это порадовало Жоржа больше, чем самый орден.

Через час после того, как он прочитал в газете об этом событии, приобретавшем, таким образом, общественное значение, ему подали записку от г-жи Вальтер: она умоляла его сегодня же прийти к ней с женой обедать и отпраздновать это награждение. Он было поколебался, а затем, бросив в огонь ее письмо, составленное в несколько двусмысленных выражениях, объявил Мадлене:

— Сегодня мы обедаем у Вальтеров.

Это ее удивило.

— Вот как! Ведь ты же сам, по-моему, говорил, что ноги твоей там больше не будет?

— Я передумал,— это все, что она услышала от него в ответ.

Когда они приехали, г-жа Вальтер сидела одна в маленьком будуаре, отведенном для интимных приемов. Она была вся в черном, с напудренными волосами, что очень ей шло. Издали она казалась старой, вблизи — молодой, и для наблюдательного человека это был пленительный обман зрения.

— Вы в трауре? — спросила Мадлена.

— И да и нет,— печально ответила она.— Все мои близкие живы. Но я уже в таком возрасте, когда носят траур по собственной жизни. Сегодня я надела его впервые, чтобы освятить его. Отныне я буду носить его в своем сердце.

«Хватит ли выдержки?» — подумал Дю Руа.

Обед прошел довольно уныло. Только Сюзанна болтала без умолку. Роза казалась чем-то озабоченной. Все горячо поздравляли журналиста.

Вечером все, беседуя между собой, разбрелись по залам и зимнему саду. Г-жа Вальтер, шедшая сзади с Дю Руа, удержала его за руку.

— Послушайте,— тихо сказала она.— Я больше ни о чем не буду с вами говорить, никогда... Только приходите ко мне, Жорж. Видите, я уже не говорю вам «ты». Но жить без вас — это выше моих сил, выше моих сил. Это чудовищная пытка. Днем и ночью я чувствую вас, вы всегда у меня перед глазами, я храню ваш образ в своем сердце, в своем теле. Вы точно дали мне какой-то отравы, и она подтачивает меня изнутри. Я больше не могу. Нет. Не могу. Смотрите на меня только как на старуху,— я согласна. Я нарочно напудрила волосы, чтобы вы посмотрели на меня седую,— только приходите, приходите хоть изредка, как друг.

Она сжимала, она стискивала его руку, впиваясь в нее ногтями.

— Это решено,— спокойно заметил он.— Незачем больше об этом говорить. Вы же видите, что я приехал тотчас по получении вашего письма.

Вальтер с дочками и Мадленой шли впереди; около «Иисуса, шествующего по водам» Вальтер остановился и подождал Дю Руа.

— Представьте себе,— сказал он со смехом,— вчера я застал жену перед этой картиной: она стояла на коленях, точно в часовне. Она здесь молилась. Как я хохотал!

— Этот образ Христа спасет мою душу,— уверенно произнесла г-жа Вальтер; в голосе ее слышался тайный восторг.— Всякий раз, когда я смотрю на него, он придает мне силы и бодрости.

Повернувшись лицом к богу, стоявшему на морских волнах, она добавила шепотом:

— Как он прекрасен! Какой страх наводит он на этих людей и как они любят его! Посмотрите на его голову, на его глаза,— как все в нем просто и вместе с тем сверхъестественно!

— Да ведь он похож на вас, Милый друг! — воскликнула Сюзанна.— Честное слово, похож. Если б у вас была бородка или если б он был бритый,— вы были бы одно лицо. Поразительно!

Она попросила Жоржа стать рядом с картиной. И все нашли, что в их лицах действительно есть некоторое сходство.

Это вызвало всеобщее удивление. Вальтеру это показалось весьма странным. Мадлена заметила с улыбкой, что у Христа более мужественный вид.

Госпожа Вальтер, застыв на месте, напряженно всматривалась то в черты своего любовника, то в черты Христа. И лицо ее стало таким же белым, как ее волосы.

VIII

В конце зимы супруги Дю Руа часто бывали у Вальтеров. Жорж постоянно обедал там даже один, так как Мадлена жаловалась на усталость и предпочитала сидеть дома.

Он приходил по пятницам, и в этот день г-жа Вальтер никого уже больше не принимала. Этот день принадлежал Милому другу, ему одному. После обеда играли в карты, кормили китайских рыб, проводили время и развлекались по-семейному. Не раз где-нибудь за дверью, за кустами в оранжерее, в каком-нибудь темном углу г-жа Вальтер порывисто обнимала Жоржа и, изо всех сил прижимая его к груди, шептала ему на ухо:

— Я люблю тебя!.. Я люблю тебя!.. Люблю безумно!

Но он холодно отстранял ее и сухо отвечал:

— Если вы приметесь за старое, я перестану у вас бывать.

В конце марта неожиданно распространился слух о том, что обе сестры выходят замуж. Женихом Розы называли графа де Латур-Ивелена, женихом Сюзанны — маркиза де Казоля. Эти два господина стали в доме у Вальтеров своими людьми; они пользовались здесь исключительными правами и особым расположением.

Между Жоржем и Сюзанной установились простые, дружеские отношения — отношения брата и сестры; они болтали целыми часами, издевались над всеми поголовно и, казалось, наслаждались обществом друг друга.

Никто из них словом не обмолвился ни о ее будущей свадьбе, ни о том, кого ей прочат в мужья.

Однажды утром патрон затащил Дю Руа к себе, и после завтрака, когда г-жу Вальтер вызвали для переговоров с каким-то поставщиком, Жорж предложил Сюзанне:

— Идемте кормить красных рыбок.

Они взяли со стола по большому куску мягкого хлеба и пошли в оранжерею.

Вокруг мраморного водоема лежали подушки, чтобы можно было стать на колени и посмотреть на морских чудищ вблизи. Сюзанна и Дю Руа опустились друг подле друга на колени и, нагнувшись к воде, принялись лепить хлебные шарики и бросать их в бассейн. Рыбы это заметили и начали подплывать; двигая хвостом, шевеля плавниками, вращая большими выпученными глазами, они кружились, ныряли, чтобы поймать погружавшуюся в воду круглую свою добычу, тотчас выплывали снова и требовали еще.

Они уморительно двигали ртом, стремительно и внезапно бросались вперед, всем своим видом напоминая диковинных маленьких страшилищ. Кроваво-красными пятнами выделялись они на золотистом песке, устилавшем дно, струями огня сверкали в прозрачных волнах бассейна и, останавливаясь, показывали голубую кайму на своей чешуе.

Жорж и Сюзанна смотрели на свои отражения, опрокинутые в воде, и улыбались им.

Вдруг Жорж тихо сказал:

— У вас завелись от меня секреты, Сюзанна,— это нехорошо.

— Какие секреты, Милый друг? — спросила она.

— А помните, что вы мне обещали на званом вечере, вот здесь, на этом самом месте?

— Нет.

— Вы обещали советоваться со мной, когда кто-нибудь будет просить вашей руки.

— Ну и что же?

— А то, что кто-то уже просил вашей руки.

— Кто же это?

— Вы сами прекрасно знаете.

— Нет. Клянусь вам.

— Да знаете! Этот долговязый фат, маркиз де Казоль.

— Во-первых, он не фат.

— Очень может быть. Но он глуп. Его разорили карты и изнурили кутежи. Нечего сказать, хорошенькая партия для такой молодой, красивой и умной девушки, как вы!

— Что вы против него имеете? — улыбаясь, спросила она.

— Я? Ничего.

— Нет, да. Но он совсем не такой, каким вы его рисуете.

— Оставьте, пожалуйста. Дурак и интриган.

Она перестала смотреть на воду и чуть повернула голову.

— Послушайте, что с вами?

— Я... я... я вас ревную,— произнес он таким тоном, как будто у него вырвали из сердца тайну.

Это признание не очень удивило ее.

— Вы?

— Да, я!

— Вот так так! Это почему же?

— Потому что я люблю вас, и вы, негодница, сами это прекрасно знаете.

— Вы с ума сошли, Милый друг! — строго сказала она.

— Я сам знаю, что я сошел с ума,— возразил он.— Смею ли я говорить с вами об этом, я, женатый человек, с вами, молодой девушкой! Я больше чем сумасшедший, я преступник, подлец, в сущности говоря. У меня нет никакой надежды, и от одной этой мысли я теряю рассудок. И когда при мне говорят, что вы собираетесь замуж, я прихожу в такую ярость, что, кажется, убил бы кого-нибудь. Вы должны простить меня, Сюзанна!

Он замолчал. Рыбам перестали бросать мякиш, и они, точно английские солдаты, вытянувшись в неподвижную и почти ровную шеренгу, рассматривали склоненные лица людей, но люди уже не занимались ими.

— Жаль, что вы женаты,— полушутя-полусерьезно заметила девушка.— Но что же делать? Этому не поможешь. Все кончено!

Он живо обернулся и, нагнувшись к самому ее лицу, спросил:

— Будь я свободен, вы бы вышли за меня замуж?

— Да, Милый друг, я вышла бы за вас замуж: вы мне нравитесь больше всех,— искренне ответила она.

— Благодарю... благодарю...— прошептал он.— Молю вас об одном: не давайте никому слова. Подождите еще немного. Умоляю вас! Обещаете?

— Обещаю,— слегка смущенно, не понимая, для чего это ему нужно, проговорила она.

Дю Руа бросил в воду весь хлеб, который у него еще оставался, и, не простившись, убежал с таким видом, словно он окончательно потерял голову.

Так как ничьи пальцы не разминали этот комок мякиша, то он не пошел ко дну, и рыбы, все до одной, жадно набросились на него,— хищные их пасти рвали его на куски. Они утащили его на другой конец бассейна и стали кружиться над ним,

образуя теперь некую движущуюся гроздь, нечто напоминающее одушевленный вертящийся цветок, живой цветок, брошенный в воду венчиком вниз.

Сюзанна, взволнованная, изумленная, встала и медленно пошла в комнаты. Журналиста уже не было.

Он вернулся домой очень спокойный и обратился к Мадлене, которая в это время писала письма:

— Ты пойдешь в пятницу обедать к Вальтерам? Я пойду.

— Нет,— неуверенно ответила она.— Мне что-то нездоровится. Я лучше посижу дома.

— Как хочешь. Никто тебя не неволит,— сказал он, взял шляпу и сейчас же ушел.

Он давно уже ходил за ней по пятам, следил, подсматривал, знал каждый ее шаг. Наконец долгожданный час настал. Он сразу смекнул, что означает это: «Я лучше посижу дома».

В течение следующих дней он был с ней предупредителен. Сверх обыкновения он даже казался веселым.

— Узнаю прежнего милого Жоржа,— говорила Мадлена.

В пятницу он рано начал одеваться: до обеда у патрона ему, по его словам, надо было еще кое-куда поспеть.

Около шести он поцеловал жену и, выйдя из дому, отправился на площадь Нотр-Дам-де-Лорет и нанял карету.

— Вы остановитесь на улице Фонтен, против дома номер семнадцать, и будете стоять там, пока я не прикажу ехать дальше,— сказал он кучеру.— А затем отвезете меня на улицу Лафайета, в ресторан «Фазан».

Лошадь затрусила ленивой рысцой, и Дю Руа опустил шторы. Остановившись против своего подъезда, он уже не спускал с него глаз. Через десять минут из дому вышла Мадлена и направилась к внешним бульварам. Как только она отошла подальше, он просунул голову в дверцу и крикнул:

— Поезжайте!

Некоторое время спустя фиакр подвез его к ресторану «Фазан» — средней руки ресторану, пользовавшемуся известностью в этом квартале. Жорж вошел в общий зал и заказал обед. Ел он не спеша и все поглядывал на часы. Наконец, выпив кофе и две рюмки коньяку, со смаком выкурив хорошую сигару, он ровно в половине восьмого вышел из ресторана, нанял экипаж, проезжавший мимо, и велел ехать на улицу Ларошфуко.

Не сказав ни слова швейцару, Дю Руа поднялся на четвертый этаж того дома, против которого он приказал кучеру остановиться, и, когда горничная отворила дверь, спросил:

— Дома господин Гибер де Лорм?

— Да, сударь.

Его провели в гостиную; там ему пришлось немного подождать. Затем к нему вышел высокий, бравый, увешанный орденами рано поседевший мужчина.

Дю Руа поклонился.

— Как я и предполагал, господин полицейский комиссар,— сказал он,— моя жена обедает сейчас со своим любовником на улице Мартир в нанятых ими меблированных комнатах.

Блюститель порядка наклонил голову.

— Я к вашим услугам, сударь.

— Мы должны все успеть до девяти, не так ли? — продолжал Жорж.— Ведь после девяти вы уже не имеете права входить в частную квартиру, чтобы установить факт прелюбодеяния?

— Не совсем так, сударь: зимой — до семи, а начиная с тридцать первого марта — до девяти. Сегодня пятое апреля, следственно, до девяти часов у нас еще есть время.

— Так вот, господин комиссар, внизу меня ждет экипаж, так что мы можем захватить с собой и агентов, которые должны вас сопровождать, а затем подождем немного у дверей. Чем позднее мы войдем, тем больше будет у нас шансов застать их на месте преступления.

— Как вам угодно, сударь.

Комиссар вышел и вернулся уже в пальто, скрывавшем его трехцветный пояс. Он посторонился, чтобы пропустить вперед Дю Руа, но тот, занятый своими мыслями, отказался выйти первым и все повторял:

— После вас... после вас...

— Проходите же, сударь, я у себя дома,— заметил блюститель порядка.

Тогда Дю Руа поклонился и переступил порог.

Он еще днем успел предупредить, что облаву надо будет устроить вечером, и когда они заехали в комиссариат, там их уже поджидали трое переодетых агентов. Один из них уселся на козлы рядом с кучером, двое других разместились в карете, а затем извозчик повез их на улицу Мартир.

— План квартиры у меня имеется,— говорил дорогой Дю Руа.— Это на третьем этаже. Сперва идет маленькая передняя, потом столовая, потом спальня. Все три комнаты между собой сообщаются. Черного хода нет, так что бежать невозможно. Поблизости живет слесарь. Он будет ждать ваших распоряжений.

Когда они подъехали к указанному дому, было только четверть девятого. Более двадцати минут молча ждали они у две-

рей. Но как только Дю Руа заметил, что сейчас пробьет три четверти девятого, он сказал:

— Теперь идемте.

Не обращая внимания на швейцара, который, впрочем, и не заметил их, они стали подниматься по лестнице. Один из агентов остался сторожить у подъезда.

На третьем этаже четверо мужчин остановились. Дю Руа приник ухом к двери, потом заглянул в замочную скважину. Но ничего не было ни видно, ни слышно. Тогда он позвонил.

— Стойте здесь и будьте наготове,— сказал своим агентам комиссар.

Через две-три минуты Жорж снова несколько раз подряд нажал кнопку звонка. В квартире началось какое-то движение, послышались легкие шаги. Кто-то шел на разведки. Журналист согнутым пальцем громко постучал в дверь.

— Кто там? — спросили из-за двери; это была женщина, по-видимому пытавшаяся изменить голос.

— Именем закона—отворите,— сказал блюститель порядка.

— Кто вы такой? — повторил тот же голос.

— Полицейский комиссар. Отворите, или я прикажу выломать дверь.

— Что вам нужно?

— Это я,— сказал Дю Руа.— Теперь вы от нас не уйдете.

Топот босых ног стал удаляться, но через несколько секунд снова послышался за дверью.

— Если не откроете, мы выломаем дверь,— сказал Жорж.

Он сжимал медную ручку и надавливал плечом на дверь. Ответа все не было; тогда он изо всех сил и с такой яростью толкнул дверь, что старый замок этой меблированной квартиры не выдержал. Вырванные винты отлетели, и Дю Руа чуть не упал на Мадлену,— та со свечой в руке стояла в передней, босая, с распущенными волосами, в одной сорочке и нижней юбке.

— Это она, мы их накрыли! — крикнул он и бросился в комнаты.

Комиссар, сняв шляпу, последовал за ним. Мадлена с растерянным видом шла сзади и освещала им путь.

В столовой на неубранном столе бросались в глаза остатки обеда: бутылки из-под шампанского, початая миска с паштетом, остов курицы и недоеденные куски хлеба. На буфете на двух тарелках высились груды раковин от устриц.

В спальне царил разгром. На спинке стула висело женское платье, ручку кресла оседлали брюки. Четыре ботинка, два больших и два маленьких, валялись на боку возле кровати.

Кто бы ни проспал ночь в этой типичной спальне меблированного дома с ее заурядной обстановкой, кто бы ни провел всего один день или целых полгода в этом общедоступном жилище, где стоял омерзительный приторный смрад гостиницы, смрад, исходивший от стульев, стен, тюфяков, занавесок,— все оставляли здесь свой особый запах, и этот запах человеческого тела, смешавшись с запахом прежних постояльцев, в конце концов превратился в какое-то странное, сладковатое и нестерпимое зловоние, пропитывающее любое из подобных учреждений.

Камин загромождали тарелка с пирожными, бутылка шартреза и две недопитые рюмки. Фигурку бронзовых часов прикрывал цилиндр.

Комиссар живо обернулся и в упор посмотрел на Мадлену.

— Вы и есть госпожа Клер-Мадлена Дю Руа, законная супруга присутствующего здесь публициста, господина Проспера-Жоржа Дю Руа?

— Да, сударь,— отчетливо, хотя и сдавленным голосом произнесла Мадлена.

— Что вы здесь делаете?

Она не ответила.

— Что вы здесь делаете? — повторил полицейский чин.— Вы не у себя дома, а в меблированных комнатах, и при этом почти раздеты. Зачем вы сюда пришли?

Он ждал ответа. Но Мадлена хранила упорное молчание.

— Раз вы не сознаетесь, то мне придется выяснить это самому,— сказал комиссар.

На кровати сквозь одеяло проступали очертания человеческого тела.

Комиссар подошел.

— Милостивый государь! — окликнул он.

Лежавший в постели человек не пошевелился. По-видимому, он лежал лицом к стене, спрятав голову под подушку.

Полицейский чин, дотронувшись до того, что должно было быть плечом, заявил:

— Милостивый государь, прошу вас, не вынуждайте меня прибегать к насилию.

Но закутанное тело лежало неподвижно, как мертвое.

Тогда Дю Руа подскочил к кровати, сдернул одеяло, сбросил подушки и увидел мертвенно-бледное лицо Ларош-Матье. Он нагнулся к нему и, содрогаясь от желания схватить его за горло и задушить, проскрежетал:

— Имейте, по крайней мере, смелость сознаться в собственной низости.

— Кто вы? — спросил блюститель порядка.

Оторопелый любовник молчал.

— Я, полицейский комиссар, требую, чтобы вы назвали себя.

— Да отвечайте же, трус, иначе я сам скажу, кто вы такой! — трясясь от бешенства, крикнул Дю Руа.

— Господин комиссар,— пробормотал лежавший в постели человек,— не позволяйте этому субъекту оскорблять меня. С кем я имею дело: с вами или с ним? Кому я должен отвечать: вам или ему?

У него, видимо, пересохло в горле.

— Мне, сударь, только мне,— сказал полицейский чин.— Я вас спрашиваю, кто вы такой!

Любовник молчал. Натянув одеяло до подбородка, он растерянно оглядывался по сторонам. Его маленькие закрученные усики казались совершенно черными на помертвелом лице.

— Так вы не желаете отвечать? — продолжал комиссар.— Тогда я вынужден буду арестовать вас. Во всяком случае, вставайте. Я вас допрошу, когда вы оденетесь.

Тело задвигалось в постели, губы прошептали:

— Но я не могу встать при вас.

— Почему? — спросил блюститель порядка.

— Потому что... потому что... я совсем голый,— запинаясь, ответил тот.

Дю Руа усмехнулся и, подняв с полу сорочку, швырнул ее на кровать.

— Ничего!.. Поднимайтесь!..— крикнул он.— Если вы могли раздеваться при моей жене, то уж одеться при мне — это вы отлично можете.

С этими словами он повернулся к нему спиной и отошел к камину.

Мадлена оправилась от смущения: она понимала, что все погибло, и готова была на любую, самую резкую выходку. Лицо ее приняло вызывающее выражение, глаза сверкали дерзким огнем. Скомкав клочок бумаги, она, точно для приема гостей, зажгла все десять свечей в аляповатых канделябрах, стоявших по краям камина. Затем прислонилась к его мраморной доске и, протянув босую ногу к догоравшему пламени, отчего сзади у нее приподнялась юбка, которая едва держалась на ней, достала из розовой коробочки папиросу и закурила.

Комиссар, в ожидании, пока ее соучастник встанет с постели, снова подошел к ней.

— Часто вы этим занимаетесь, милостивый государь? — с заносчивым видом спросила она.

— Стараюсь как можно реже, сударыня,— вполне серьезно ответил он.

Она презрительно усмехнулась:

— Очень рада за вас, занятие не из почтенных.

Она делала вид, что не замечает своего мужа.

Лежавший в постели господин тем временем одевался. Он натянул брюки, надел ботинки и, напяливая жилет, подошел к ним.

Полицейский чин обратился к нему:

— Теперь, милостивый государь, вы скажете мне, кто вы такой?

Тот не ответил.

— В таком случае я вынужден арестовать вас,— сказал комиссар.

— Не трогайте меня! — неожиданно завопил господин.— Моя личность неприкосновенна.

Дю Руа подлетел к нему с таким видом, точно хотел сбить его с ног.

— Вас застали с поличным... с поличным...— прошипел он.— Я могу вас арестовать при желании... да, могу.

И срывающимся от волнения голосом выкрикнул:

— Это Ларош-Матье, министр иностранных дел!

Полицейский комиссар попятился от неожиданности.

— В самом деле, милостивый государь, скажете вы мне наконец, кто вы такой? — растерянно пробормотал он.

Тот собрался с духом и во всеуслышание заявил:

— На сей раз этот подлец не солгал. Я действительно министр Ларош-Матье.

И, показав пальцем на грудь Жоржа, где, точно отблеск, горело красное пятнышко, добавил:

— И я еще дал этому мерзавцу орден, который он носит на фраке!

Дю Руа смертельно побледнел. Он сделал одно быстрое движение — и вырванная из петлицы лента, язычком пламени изогнувшись в воздухе, полетела в камин.

— Вот чего стоят ордена, которые дают такие прохвосты, как вы.

Они стояли друг против друга, стиснув зубы, сжав кулаки, задыхаясь от бешенства: один — худощавый, с встопорщенными усами, другой — толстый, с усиками, закрученными в колечки.

Комиссар сейчас же стал между ними.

— Вы забываетесь, господа, ведите себя прилично!

Они молча отвернулись. Мадлена, не двигаясь с места, все еще покуривала и улыбалась.

— Господин министр,— начал полицейский чин,— я застал вас наедине с присутствующей здесь госпожой Дю Руа: вы лежали в постели, она почти раздета. Ваше платье разбросано в беспорядке по комнате. Все это доказывает факт прелюбодеяния. Вы не можете спорить против очевидности. Что вы на это скажете?

— Мне нечего сказать, исполняйте свой долг,— пробормотал Ларош-Матье.

Комиссар обратился к Мадлене:

— Признаете ли вы, милостивая государыня, что этот господин — ваш любовник?

— Я не отрицаю, он мой любовник! — вызывающе ответила она.

— Этого достаточно.

Блюститель порядка записал еще некоторые данные о состоянии квартиры и о расположении комнат. Министр между тем кончил одеваться, перекинул пальто на руку, взял шляпу и, когда комиссар отложил перо, спросил:

— Я вам еще нужен? Что я должен делать? Мне можно уйти?..

Дю Руа повернулся к нему и, нагло улыбаясь, сказал:

— А, собственно говоря, зачем? Мы кончили. Можете снова лечь в постель, милостивый государь. Мы оставляем вас одних.

Дотронувшись пальцем до рукава полицейского комиссара, он прибавил:

— Идемте, господин комиссар, нам здесь нечего больше делать.

Блюститель порядка, слегка удивленный, последовал за ним. Но у порога комнаты Жорж остановился, чтобы пропустить его вперед. Комиссар из вежливости отказался.

— Проходите же, сударь,— настаивал Жорж.

— После вас,— сказал комиссар.

Тогда журналист поклонился, почтительно-насмешливым тоном проговорил:

— Теперь ваша очередь, господин полицейский комиссар. Здесь я почти у себя дома.

И осторожно, с нарочито скромным видом затворил за собой дверь.

Час спустя Жорж Дю Руа входил в редакцию «Французской жизни».

Вальтер был уже там,— «Французская жизнь», получившая за последнее время широкое распространение и немало способствовавшая успеху все разраставшихся операций его банка, попрежнему выходила под его неослабным наблюдением и руководством.

Издатель поднял на него глаза:

— А, это вы! Что это у вас такой странный вид? Почему вы не пришли к нам обедать? Вы сейчас откуда?

Дю Руа, заранее уверенный в том, какое впечатление произведут его слова, отчеканил:

— Я только что свалил министра иностранных дел.

Вальтер подумал, что он шутит.

— Свалили министра... То есть как?

— Я изменю состав кабинета. Вот и все! Давно пора выставить эту мразь.

Старик обомлел,— он решил, что его сотрудник пьян.

— Послушайте, вы спятили,— пробормотал он.

— Ничуть. Я только что застал мою жену с господином Ларош-Матье. Полицейский комиссар установил факт прелюбодеяния. Министру крышка.

Вальтер в полном недоумении поднял очки совсем на лоб.

— Полно, вы шутите? — спросил он.

— Нисколько. Я даже напишу об этом заметку для хроники.

— Но чего же вы хотите?

— Я хочу свалить этого мошенника, этого негодяя, опасного для общества! Берегись тот, кто становится мне поперек дороги! Я никому ничего не прощаю! — положив шляпу на кресло, прибавил Жорж.

Издатель никак не мог понять, в чем дело.

— Ну, а... ваша жена? — спросил он.

— Завтра же я начинаю дело о разводе. Я ее отошлю к покойному Форестье.

— Вы хотите разводиться?

— А как же? Я был смешон. Но мне приходилось строить из себя дурачка, чтобы захватить их врасплох. Теперь все в порядке. Хозяин положения я.

Вальтер все еще не мог опомниться; он растерянно смотрел на Дю Руа и думал: «Черт возьми! С этим молодчиком надо быть в ладах».

— Теперь я свободен...— продолжал Жорж.— У меня есть кое-какое состояние. В октябре, перед новыми выборами, я выставлю свою кандидатуру у себя на родине,— там меня хорошо

знают. С такой женой, которая всем мозолила глаза, мне нельзя было занять положение, нельзя было заставить уважать себя. Она меня одурачила, завлекла и поймала в свои сети. Но как только я разгадал ее фокусы, я уже стал в оба следить за этой мерзавкой.

Он расхохотался.

— Бедняга Форестье так и остался рогоносцем... беспечным, спокойным, доверчивым рогоносцем. Ну, а я сумел избавиться от этого нароста, который достался мне от него в наследство. Руки у меня развязаны. Теперь я далеко пойду.

Он сел верхом на стул и, как бы мечтая вслух, повторил:

— Далеко пойду...

Старик Вальтер, по-прежнему не опуская очков, смотрел на него во все глаза и говорил себе: «Да, этот негодяй далеко пойдет».

Жорж встал.

— Я сейчас напишу заметку. Это надо сделать осторожно. Но имейте в виду: для министра это будет страшный удар. Он пойдет ко дну. Никто его не вытащит. «Французской жизни» теперь уже нет смысла его выгораживать.

Старик некоторое время колебался, но в конце концов махнул рукой.

— Валяйте,— сказал он,— так ему и надо.

IX

Прошло три месяца. Дю Руа за это время выхлопотал развод, его жена снова стала носить фамилию Форестье. Пятнадцатого июля Вальтеры рассчитывали уехать в Трувиль, и на прощанье решено было провести день за городом.

Поездка была назначена на четверг. В девять часов утра большое шестиместное ландо, запряженное четверкой лошадей, тронулось в путь.

Завтракать собирались в Сен-Жермене, в павильоне Генриха IV. Милый друг, не переваривавший присутствия и даже самой физиономии маркиза де Казоля, изъявил желание быть на этом пикнике единственным кавалером. Но в последнюю минуту решили рано утром заехать за графом де Латур-Ивеленом. Его предупредили об этом накануне.

Лошади крупной рысью бежали по авеню Елисейских полей; затем проехали Булонский лес.

Милый друг

Был чудный, не слишком жаркий летний день. Ласточки чертили на синеве небес большие круги, и след от их полета, казалось, долго еще таял в воздухе.

Дамы сидели сзади: мать в середине, дочери по бокам; мужчины — лицом к ним: в середине Вальтер, а по бокам гости.

Проехали через Сену, обогнули Мон-Валерьен, миновали Буживаль, а там, до самого Пека, дорога шла вдоль реки.

Граф де Латур-Ивелен, уже немолодой, с большими редкими бакенбардами, которые все время трепал ветерок (что дало повод Дю Руа заметить: «Ветер весьма эффектно играет его бородой»), бросал нежные взгляды на Розу. Они были помолвлены месяц назад.

Жорж то и дело посматривал на Сюзанну; оба они были очень бледны. Глаза их встречались, и они украдкой обменивались заговорщицким взглядом, выражавшим какую-то им одним понятную мысль, затем быстро отводили глаза в сторону. Г-жа Вальтер была счастлива и спокойна.

Завтрак затянулся. Перед тем как вернуться в Париж, Дю Руа предложил пройтись по террасе.

Сначала остановились полюбоваться видом. Все стали в ряд у стены и принялись восхищаться открывшейся перед ними далью. Сена, будто огромная змея, что нежится в зелени у подножья длинной горы, несла свои воды к Мезон-Лафиту. С правой стороны, на вершине холма, возвышался акведук Марли; его силуэт, вырисовывавшийся в небе, напоминал исполинскую гусеницу на громадных лапах, сам же Марли скрывался внизу, в густой чаще леса.

На необъятной равнине, расстилавшейся прямо против них, кое-где виднелись деревни. Среди чахлой зелени маленькой рощи резкими светлыми пятнами выделялись пруды Везине. Налево, где-то совсем далеко, тянулась к небу остроконечная колокольня Сартрувиля.

— Нигде в мире нет такой панорамы,— заметил Вальтер.— Даже в Швейцарии не встретишь ничего подобного.

Компания медленно двинулась дальше,— всем хотелось пройтись и еще немного полюбоваться окрестными видами.

Жорж и Сюзанна шли сзади. Как только они отстали на несколько шагов, он сказал ей тихим, приглушенным голосом:

— Я обожаю вас, Сюзанна. Я вас люблю до безумия.

— И я вас, Милый друг,— прошептала она.

— Если вы не будете моей женой, я уеду из Парижа, уеду из Франции.

— Попробуйте поговорить с папой. Может быть, он согласится.

У него вырвался чуть заметный нетерпеливый жест.

— Нет, я вам уже который раз повторяю: это бесполезно. Двери вашего дома будут для меня закрыты, меня выставят из редакции, и мы даже не сможем видеться. Вот к каким чудным результатам, несомненно, приведет мое официальное предложение. Вас хотят отдать за маркиза де Казоля. Родители надеются, что в конце концов вы согласитесь, и ждут.

— Что же мне делать? — спросила она.

Он медлил с ответом и искоса поглядывал на нее.

— Ради меня вы способны на отчаянный шаг?

— Да,— твердо заявила она.

— На сверхотчаянный шаг?

— Да.

— Самый отчаянный, какой только может быть?

— Да.

— Хватит ли у вас смелости пойти наперекор отцу и матери?

— Да.

— В самом деле?

— В самом деле.

— Ну, так есть один-единственный способ. Надо, чтобы все исходило от вас, а не от меня. Вы баловень семьи, вам позволяется говорить все, что угодно, и еще одно озорство с вашей стороны никого не удивит. Так вот, слушайте. Сегодня же вечером, вернувшись домой, прежде всего идите к матери, но только когда она будет совсем одна. Скажите ей, что хотите быть моей женой. Это ее очень взволнует, она выйдет из себя...

— О, мама будет рада! — перебила его Сюзанна.

— Нет,— решительно возразил он,— вы ее не знаете. Ваш отец не так рассердится, не так разъярится, как она. Она вам откажет, вот увидите. Но вы стойте на своем, не отступайте, говорите, что согласны выйти только за меня и больше ни за кого. Хорошо?

— Хорошо.

— От матери пойдите к отцу и с весьма серьезным и независимым видом скажите ему то же самое.

— Да, да. Ну, а дальше?

— Дальше начинается самое важное. Если вы решили, твердо решили, очень-очень твердо решили стать моей женой, моя дорогая, дорогая маленькая Сюзанна... то я... то я увезу вас!

От радости она чуть не захлопала в ладоши.

— Какое счастье! Вы меня увезете! Когда же это будет?

Вся старинная поэзия ночных похищений, почтовых карет, харчевен, изумительных приключений, вычитанных в книгах, неожиданно мелькнула перед ней волшебным сном, который вот-вот должен был обернуться явью.

— Когда же это будет? — повторила она.

— Да... сегодня же вечером... ночью,— тихо ответил он.

— А куда мы поедем? — вся дрожа, спросила она.

— Это моя тайна. Обдумайте этот шаг. Поймите, что после бегства вам уже ни за кого, кроме меня, нельзя будет выйти замуж! Это единственный способ, но он... очень опасен... для вас.

— Я решилась...— заявила она.— Где я с вами встречусь?

— Вы можете выйти из дому одна?

— Да, я умею отворять калитку.

— Так вот, около полуночи, когда швейцар ляжет спать, идите на площадь Согласия. Я буду ждать вас в карете против морского министерства.

— Я приду.

— Непременно?

— Непременно.

Он сжал ее руку.

— О, как я люблю вас! Какая вы хорошая, смелая! Так вы не хотите выходить замуж за маркиза де Казоля?

— О нет!

— Ваш отец очень сердился, когда вы отказались?

— Еще как! Он грозился отправить меня в монастырь.

— Вы сами видите, что надо действовать решительно.

— Я так и буду.

Поглощенная мыслью о похищении, она обвела глазами широкий горизонт. Она уедет далеко-далеко... с ним! Он ее увезет!.. Она гордилась этим. Она не думала о своей репутации, о позоре, которым это могло ей грозить. Да и представляла ли она себе, на что она идет? Догадывалась ли о чем-нибудь?

Госпожа Вальтер обернулась.

— Иди сюда, детка! — крикнула она.— Что ты там делаешь с Милым другом?

Они присоединились ко всей остальной компании. Разговор шел о морском курорте, куда вскоре должны были отправиться Вальтеры.

Чтобы не возвращаться тою же дорогой, решили ехать через Шату.

Жорж хранил молчание. Он призадумался. Итак, если у этой девочки хватит смелости, то он наконец добьется своего!

В течение трех месяцев он опутывал ее сетью своего неотразимого обаяния. Он обольщал, он пленял, он покорял ее. Он увлек ее так, как умел это делать только он. Он без труда овладел душой этой легкомысленной куколки.

Прежде всего он добился того, что она отказала маркизу де Казолю. Теперь он уговорил ее бежать с ним. Уговорил, потому что другого выхода нет.

Госпожа Вальтер ни за что не согласится отдать за него свою дочь,— это он понимал прекрасно. Она все еще любит его и будет любить вечно — той же неистребимой любовью. Ее сдерживала расчетливая холодность Жоржа, но он чувствовал, что ее гложет безнадежная и неукротимая страсть. Ему ни за что не удастся переломить ее. Она никогда не допустит, чтобы он женился на Сюзанне.

Но как только девочка очутится у него, вдали от родителей, он вступит в переговоры с отцом, как равный с равным.

Погруженный в размышления, Дю Руа не вслушивался в то, что ему говорили, и отвечал односложными фразами. Встряхнулся он, когда уже въехали в город.

Сюзанна тоже была задумчива. Четверка лошадей звенела бубенцами, и под этот звон, отдававшийся у нее в голове, ей чудились озаренные неизменной луной большие дороги, которым нет конца, темные леса, харчевни, куда заезжают на перепутье, кучера, поспешно меняющие лошадей,— поспешно, ибо все уже догадываются, что за ними погоня.

Когда ландо въехало во двор особняка, Вальтеры стали уговаривать Жоржа пообедать с ними. Но он отказался и пошел домой.

Дома он слегка закусил, а затем, точно собираясь в далекое путешествие, начал приводить в порядок свои бумаги. Компрометирующие письма сжег, другие спрятал, написал кое-кому из друзей.

Время от времени он смотрел на часы и думал: «Сейчас там, наверно, самая жара». В сердце к нему закрадывалась тревога. А что, если не удастся? Но чего же ему бояться? Он всегда сумеет выкрутиться. Уж и крупную игру ведет он, однако!

Около одиннадцати он вышел из дому, немного побродил, потом взял экипаж и остановился на площади Согласия возле аркады морского министерства.

Время от времени он зажигал спичку и смотрел на часы. Около двенадцати его охватило лихорадочное нетерпение. Каждую секунду он просовывал голову в дверцу и смотрел, не идет ли Сюзанна.

Где-то на дальних часах пробило двенадцать, потом на других, поближе, потом на двух часах одновременно, потом еще раз — уже совсем далеко. Когда замер последний удар, он подумал: «Все кончено. Сорвалось. Она не придет».

Все же он решил ждать до утра. В таких случаях надо быть терпеливым.

Немного погодя он услышал, как пробило четверть первого, потом половина, потом три четверти и, наконец, все часы, так же как до этого били полночь, одни за другими пробили час. Он уже не ждал, он ломал себе голову, стараясь понять, что могло случиться. Вдруг женская головка заглянула в окошко кареты.

— Вы здесь, Милый друг?

Он привскочил. У него захватило дыхание.

— Это вы, Сюзанна?

— Да, это я.

Он никак не мог повернуть ручку дверцы и все повторял:

— А, это вы... это вы... входите.

Она вошла и упала на сиденье подле него. Он крикнул кучеру: «Поезжайте», и карета тронулась.

Сюзанна тяжело дышала и не могла произнести ни слова.

— Так как же все это произошло? — спросил он.

— О, это было ужасно, особенно разговор с мамой,— почти теряя сознание, прошептала она.

Он дрожал от волнения.

— С вашей мамой? Что же она вам говорила? Расскажите.

— Ужас, что было! Я все обдумала заранее, вошла к ней и прямо приступила к делу. Она побледнела, стала кричать: «Ни за что! Ни за что!» А я плакала, сердилась, клялась, что не выйду ни за кого, кроме вас. Я боялась, что она меня ударит. Она была как помешанная,— объявила, что завтра же отправит меня в монастырь. Я еще никогда не видела ее такой, никогда! Но тут папа услыхал всю эту чушь, которую она городила, и вошел. Он не так рассердился, как она, но сказал, что вы для меня не очень хорошая партия. Они до того обозлили меня, что я кричала еще громче их. Папа трагическим тоном, который, кстати сказать, совсем ему не идет, велел мне выйти вон. Тогда я окончательно решила бежать с вами. И вот я здесь. Куда же мы едем?

Дю Руа нежно обнял ее за талию; он жадно, с замиранием сердца слушал ее рассказ, и в нем поднималась бешеная злоба на ее родителей. Но их дочь у него в руках. Теперь он им покажет.

— На поезд мы опоздали,— сказал он.— Карета отвезет нас в Севр, и там мы переночуем. А завтра поедем в Ларош-Гийон.

Это красивая деревня на берегу Сены, между Мантом и Боньером.

— Но я не взяла с собой никаких вещей. Я совсем налегке,— возразила Сюзанна.

Он улыбнулся беспечной улыбкой:

— Ничего, это мы там уладим!

Экипаж катился по улицам. Жорж взял руку девушки и стал медленно, почтительно целовать ее. Платонические ласки были ему незнакомы, и теперь он не знал, о чем говорить с ней. Но вдруг ему показалось, что она плачет.

— Что с вами, дорогая крошка? — испуганно спросил он.

— Моя бедная мама, наверно, не спит сейчас, если только заметила мое исчезновение,— проговорила она сквозь слезы.

Госпожа Вальтер действительно не спала.

Когда Сюзанна вышла из комнаты, она осталась наедине с мужем.

Она была подавлена, удручена.

— Боже мой! Что все это значит?

— То и значит, что этот интриган приворожил ее,— вскипел Вальтер.— Это он подговорил ее отказать Казолю. Он метит на ее приданое, подлец!

Вальтер в бешенстве принялся ходить из угла в угол.

— Ты его тоже все время завлекала, носилась с ним, ублажала его, разводила телячьи нежности. С утра до вечера только, бывало, и слышишь: «Милый друг, Милый друг». Вот теперь и расхлебывай.

Она побледнела.

— Я... его... завлекала?

— Да, ты! — бросил он ей в лицо.— Вы все на нем помешались: эта самая Марель, Сюзанна, все, все. Ты думаешь, я не замечал, что ты без него двух дней прожить не можешь?

Госпожа Вальтер выпрямилась.

— Я не позволю вам так говорить со мной,— трагическим тоном сказала она.— Вы забываете, что я воспитывалась не в лавке, как вы.

Он было осекся, затем крикнул в ярости: «А ну вас всех к черту!» — и, хлопнув дверью, вышел из комнаты.

Оставшись одна, г-жа Вальтер инстинктивно бросилась к зеркалу — посмотреть, не состарилась ли она мгновенно, до того невероятным, чудовищным казалось ей все происшедшее. Сюзанна влюблена в Милого друга! Милый друг хочет жениться на Сюзанне! Нет, она ошиблась, этого не может быть! Вполне естественно, что девушка неравнодушна к этому красавцу, она

надеялась, что ее отдадут за него, на нее нашла блажь. Но он? Он не мог быть с ней в заговоре! Мысли у г-жи Вальтер путались, как это бывает с теми, на кого неожиданно свалилось тяжкое горе. Нет, Милый друг, наверно, ничего не знает о выходке Сюзанны.

Она долго думала о том, замешан или не замешан этот человек. Если он подбил ее на это, то какой же он негодяй! А что будет дальше? Сколько опасностей, сколько мучений видела она впереди!

Если же он ни при чем, то все это еще беда поправимая. Стоит только увезти Сюзанну путешествовать на полгода — и все пройдет. Но может ли она сама видеться с ним после этого? Ведь она все еще любит его. Эта страсть вонзилась в нее, как стрела, и вырвать ее невозможно.

Жить без него она не в состоянии. Лучше умереть.

Тоска и сомнения одолевали ее. Голова раскалывалась от неясных и тягостных дум, причинявших ей физическую боль. Она мучительно искала выхода, неизвестность доводила ее до отчаяния. Она взглянула на часы: было начало второго. «Я больше не могу,— сказала она себе,— я схожу с ума. Я должна знать все. Пойду разбужу Сюзанну и расспрошу ее».

Чтобы не стучать, она сняла ботинки и со свечой в руке направилась в комнату дочери. Тихонько отворила дверь, вошла и посмотрела на кровать. Постель была не смята. В первую секунду она ничего не заподозрила,— она решила, что девочка все еще сражается с отцом. Но вдруг страшная мысль проредала ее мозг, и она побежала к мужу. Запыхавшаяся, бледная, она опрометью вбежала к нему в спальню. Вальтер еще читал, лежа в постели.

— Что такое? Что с тобой? — спросил он со страхом.

— Ты видел Сюзанну? — запинаясь, проговорила она.

— Я? Нет. А что?

— Она... она... ушла. Ее нет в спальне.

Он спрыгнул на ковер, надел туфли и, как был, в одной сорочке, помчался в комнату дочери.

Войдя, он сразу понял все. Она убежала.

Он тяжело опустился в кресло и поставил лампу на пол.

Жена вошла вслед за ним.

— Ну что? — еле выговорила она.

У него не было сил отвечать, не было сил гневаться.

— Все кончено,— наконец простонал он,— она у него в руках. Мы пропали.

На ее лице выразилось недоумение.

— Как пропали?

— Так, очень просто! Теперь уж он непременно должен на ней жениться.

У нее вырвался какой-то звериный вопль:

— Он? Ни за что! Ты сошел с ума!

— Вытьем горю не поможешь,— с унылым видом заметил Вальтер.— Он ее увез, он ее обесчестил. Самое лучшее было бы теперь выдать ее за него. Если приняться с умом, то никто ничего не узнает.

— Ни за что, ни за что он не получит Сюзанну! — дрожа от страшного волнения, твердила она.— Я ни за что не соглашусь!

— Но он уж получил ее,— сокрушенно проговорил Вальтер.— Дело сделано. И он будет держать и прятать ее у себя до тех пор, пока мы не уступим. Стало быть, во избежание скандала надо уступить сейчас же.

Сердце у г-жи Вальтер разрывалось от горя — горя, которым она не могла поделиться.

— Нет, нет! Я ни за что не соглашусь! — повторяла она.

Он вышел из терпения.

— Какой тут может быть разговор! Это необходимо. Ах, мерзавец, какую он нам свинью подложил!.. Ловок же он, однако! В смысле положения мы нашли бы и получше его, но по части ума и по части карьеры — сомневаюсь. У него блестящее будущее. Он будет депутатом, министром.

— Я ни за что не отдам ему Сюзанну...— с какой-то свирепой решимостью заявила г-жа Вальтер.— Слышишь?.. Ни за что!

Вальтер в конце концов разозлился и, как человек практичный, стал на защиту Милого друга.

— Да замолчи ты... Говорят тебе, что это необходимо... что это неизбежно. И кто знает? Может быть, мы и не пожалеем. О людях подобного сорта никогда нельзя сказать, что из них получится. Ты видела, как он тремя статьями свалил этого дуралея Ларош-Матье, и при этом отнюдь не роняя своего достоинства, а в положении обманутого мужа это было дьявольски трудно. Ну, там посмотрим. А пока что он нас держит в руках. Так просто от него не отделаешься.

Ей хотелось кричать, кататься по полу, рвать на себе волосы.

— Он ее не получит!..— с ожесточением повторила она.— Я... не... хочу!..

Вальтер встал и, подняв с полу лампу, сказал:

— Послушай, ты глупа, как все женщины. Вы поступаете, как вам подсказывает чувство. Вы не умеете применяться к об-

стоятельствам... вы глупы. А я тебе говорю, что он на ней женится. Так надо!

Шаркая туфлями, он вышел из комнаты. Каким-то потешным привидением прошел он, в одной сорочке, по широкому коридору большого спящего дома, а затем бесшумно скрылся у себя в спальне.

Госпожа Вальтер не двигалась с места,— нестерпимая мука надрывала ей душу. Она еще не отдавала себе ясного отчета в том, что произошло. Она только страдала. Затем она почувствовала, что у нее не хватит сил вот так, неподвижно, стоять здесь до утра. В ней заговорила настойчивая потребность бежать отсюда, бежать куда глаза глядят, идти наугад, просить участия, звать на помощь.

Она спрашивала себя: к кому бы она могла обратиться? К кому? Но она ничего не могла придумать. К священнику! Да, к священнику! Она бросится к его ногам, признается во всем, покается в своем грехе, поведает ему свою неутешную скорбь. Он поймет, что этому негодяю нельзя жениться на Сюзанне, и не допустит этого.

Священника, сию минуту священника!

А где его найти? Куда бежать за ним? Но оставаться здесь она уже не в силах.

И тут перед ней, будто видение, предстал светлый образ Иисуса, шествующего по водам. Она видела его так ясно, точно смотрела на картину. Значит, он звал ее. Он говорил ей: «Иди ко мне. Припади к моим ногам. Я пошлю тебе утешение и научу, как поступить».

Она взяла свечу и, спустившись вниз, прошла в оранжерею. Иисус был там, в самом конце, в маленькой гостиной, стеклянную дверь которой, чтобы уберечь полотно от сырости, обычно затворяли.

Можно было подумать, что это часовня среди какого-то странного леса.

До сих пор г-же Вальтер приходилось видеть зимний сад только при ярком освещении, и теперь, когда она вошла, его темные дебри поразили ее. Пышная растительность жарких стран обдавала ее своим одуряющим дыханием. Двери были затворены, и от запаха этих необычных деревьев, накрытых стеклянным куполом, становилось тесно в груди,— он дурманил, пьянил, этот запах, он доставлял мучительное наслаждение, он вызывал во всем теле неясное ощущение возбуждающей неги и предсмертной истомы.

Бедная женщина ступала осторожно и боязливо: блуждающий огонек свечи одно за другим выхватывал из мрака причудливые растения, и ей мерещились то неведомые чудовища, то какие-то призрачные существа, то диковинные уроды.

Вдруг она увидела Христа. Отворив дверь, отделявшую от нее его образ, она упала на колени.

Сперва она исступленно молилась, пыталась выразить всю свою любовь к богу, отчаянно и страстно взывала к нему. Потом, когда молитвенный жар остыл, она подняла на него глаза, и ее мгновенно объял ужас. Дрожащее пламя свечи слабо освещало его снизу, и в эту минуту он был так похож на Милого друга, что ей казалось, будто это уже не бог, а любовник глядит на нее. Да, это его глаза, его лоб, его выражение, его холодный и надменный взгляд!

«Иисусе! Иисусе! Иисусе!» — шептала она. А на устах у нее было имя Жоржа. Вдруг ей пришло в голову, что, быть может, сейчас Жорж овладел ее дочерью. Он где-нибудь с ней вдвоем, в какой-нибудь комнате. Он, он — с Сюзанной!

«Иисусе!.. Иисусе!» — лепетала г-жа Вальтер. Но думала она о своей дочери и о своем любовнике! Они одни в комнате... а сейчас ночь. Она видела их. Видела так ясно, точно они стояли перед ней на месте картины. Они улыбались друг другу. Они целовались. В комнате темно. Одеяло на постели откинуто. Она встала: сейчас она подойдет к ним, вцепится Сюзанне в волосы и вырвет ее из его объятий. Она схватит ее за горло, она задушит ее, свою ненавистную дочь, посмевшую отдаться этому человеку. Она уже дотрагивалась до нее... но это был холст. Она коснулась ног Христа.

Она дико закричала и упала навзничь. Свеча перевернулась и потухла.

Что с ней было потом? Долго еще преследовали ее какие-то странные, пугающие видения. Жорж и Сюзанна, обнявшись, все время стояли перед ее глазами, а Иисус Христос благословлял их преступную любовь.

Она смутно сознавала, что она не у себя в комнате. Она порывалась встать, порывалась бежать, но силы ей изменяли. Какое-то оцепенение нашло на нее и сковало члены, не коснувшись, однако, сознания, но это было уже меркнущее сознание, истерзанное населявшими его страшными образами, нереальными, фантастическими, погружавшееся в кошмарный сон, в тот странный и подчас смертельный сон, какой навевают на человека усыпляющие растения жарких стран,— причудливой формы растения с их густым благоуханием.

Утром тело г-жи Вальтер, бесчувственное и почти бездыханное, было найдено возле «Иисуса, шествующего по водам». Состояние ее признали угрожающим. Очнулась она только на другой день. И тут она начала плакать.

Чтобы как-то объяснить исчезновение Сюзанны, слугам было сказано, что она внезапно уехала в монастырь. Г-н Вальтер получил от Дю Руа длинное послание и ответил согласием на его брак с Сюзанной.

Милый друг написал это письмо перед самым отъездом и, уезжая из Парижа, опустил его в почтовый ящик. В этом письме он в почтительных выражениях сообщал о том, что давно уже любит Сюзанну, что они ни о чем не сговаривались, но когда она по собственному желанию пришла к нему и сказала: «Я хочу быть вашей женой»,— то он счел необходимым оставить ее у себя и даже спрятать вплоть до получения ответа от родителей, хотя, добавлял он, их законные права на нее значат для него меньше, нежели воля его невесты.

Он просил г-на Вальтера ответить до востребования, пояснив, что один из его друзей перешлет ему это письмо.

Получив то, чего он добивался, Дю Руа привез Сюзанну в Париж и отправил домой, но сам от визита к родителям до времени воздержался.

В Ларош-Гийоне, на берегу Сены, они прожили шесть дней.

Сюзанна никогда еще так не веселилась. Она воображала себя пастушкой. Он выдавал ее за сестру, и между ними действительно установились простые, близкие и в то же время чистые отношения: это была дружба влюбленных. В корыстных целях он щадил ее невинность. Приехав в Ларош-Гийон, она на другой же день купила себе белья и деревенских нарядов и, надев огромную соломенную шляпу, украшенную полевыми цветами, отправилась удить рыбу. Местность казалась ей удивительно живописной. Здесь были старинная башня и старинный замок, славившийся чудесными гобеленами.

Жорж, в куртке, купленной у местного торговца, гулял с Сюзанной по берегу реки, катался с ней на лодке. Они поминутно целовались,— ее поцелуи были невинны, он же изнемогал от страсти. Но он искусно умерял свои порывы. Когда же он объявил ей: «Завтра мы возвращаемся в Париж, ваш отец дал согласие на наш брак»,— она простодушно спросила:

— Уже? А мне так понравилось быть вашей женой!

X

В маленькой квартирке на Константинопольской улице было темно,— Клотильда де Марель, столкнувшись с Жоржем Дю Руа у дверей и влетев в комнату, сразу накинулась на него, так что он даже не успел отворить ставни.

— Итак, ты женишься на Сюзанне Вальтер?

Жорж смиренно признался в этом.

— А ты разве ничего не слыхала? — прибавил он.

— Ты женишься на Сюзанне Вальтер? — с возмущением и бешенством продолжала она.— Это уж слишком! Это уж слишком! Три месяца ты лебезишь передо мной — и все для того, чтобы отвести мне глаза. Все знают, кроме меня. Мне сообщил об этом муж!

Дю Руа принужденно засмеялся и, повесив шляпу на угол камина, сел в кресло.

— Значит, ты, как только разошелся с женой, тут же начал закидывать удочки, а меня преспокойно держал в качестве временной заместительницы? — глядя ему в лицо, проговорила она злобным шепотом.— Какой же ты подлец!

— В чем дело? — спросил он.— Жена меня обманывала, я застал ее с поличным, добился развода и теперь женюсь на другой. Что тут особенного?

— Какой ты ловкий и опасный негодяй! — с дрожью в голосе прошептала она.

Он усмехнулся.

— Черт возьми! Олухи и простофили всегда остаются с носом.

Но ее преследовала все та же мысль.

— Как же это я не раскусила тебя с самого начала? Да нет, я никогда не думала, что ты такая сволочь.

— Прошу тебя быть осторожнее в выражениях,— с достоинством заметил он.

Это ее взорвало:

— Как! Ты хочешь, чтобы я разговаривала с тобой в белых перчатках? Все время ты поступаешь со мной по-свински, а я не смей слова сказать? Ты всех обманываешь, всех эксплуатируешь, всюду срываешь цветы наслаждения и солидные куши и после этого хочешь, чтоб я обращалась с тобой, как с порядочным человеком!

У него задрожали губы, он встал.

— Замолчи, а то я тебя выгоню вон.

— Выгонишь вон... Выгонишь вон... Ты меня выгонишь вон... ты... ты?..

Клотильда была в таком исступлении, что не могла говорить, но плотина, сдерживавшая ее гнев, неожиданно рухнула, и она разразилась потоком слов:

— Выгнать меня вон! А ты забыл, что я с самого первого дня плачу за эту квартиру? Ах да, время от времени ты платил за нее сам! Но кто ее снял?.. Я... Кто ее сохранил?.. Я... И ты хочешь меня выгнать? Молчи, бессовестный! Думаешь, я не знаю, что ты украл у Мадлены половину наследства, которое ей оставил Водрек? Думаешь, я не знаю, что ты спал с Сюзанной, чтобы заставить ее выйти за тебя замуж...

Он схватил ее за плечи и начал трясти.

— Не смей говорить о ней! Я тебе запрещаю!

— Ты спал с ней, я знаю! — кричала она.

Он выслушал бы от нее все, что угодно, но эта ложь возмутила его. Когда она бросала ему в лицо правду, у него бешено колотилось сердце, но клевета на эту девушку, его невесту, привела его в такое состояние, что у него чесались руки от яростного желания ударить Клотильду.

— Молчи... молчи... лучше молчи...— повторял он и тряс ее так, как трясут ветку, чтобы с нее упали плоды.

Растрепанная, с безумными глазами, она крикнула во все горло:

— Ты с ней спал!

Он отпустил ее и дал такую затрещину, что она отлетела к стене и упала, но сейчас же обернулась и, приподнявшись на руках, еще раз выкрикнула:

— Ты с ней спал!

Он бросился на нее и, подмяв под себя, принялся избивать ее так, точно это был мужчина.

Клотильда сразу примолкла,— она лишь стонала под его ударами. Она не шевелилась. Уткнувшись лицом в угол комнаты, она жалобно вскрикивала.

Наконец Дю Руа перестал колотить ее и поднялся с полу. Чтобы прийти в себя, он сделал несколько шагов по комнате. Затем, подумав, прошел в спальню, налил в таз холодной воды и окунул голову. Потом вымыл руки и, насухо вытирая пальцы, пошел посмотреть, что с ней.

Клотильда не двигалась. Она все еще лежала на полу и тихо всхлипывала.

— Долго ты еще будешь реветь? — спросил он.

Она не ответила.

Он стоял посреди комнаты и слегка растерянно и сконфуженно смотрел на распростертое перед ним тело.

Затем, поборов смущение, схватил с камина шляпу.

— Прощай. Когда будешь уходить, отдай ключ швейцару. Я не намерен ждать, пока ты соблаговолишь подняться.

Он затворил за собой дверь и по дороге зашел к швейцару.

— Дама еще осталась,— сказал он.— Она скоро уйдет. Передайте хозяину, что с первого октября я отказываюсь от квартиры. Сегодня у нас шестнадцатое августа — значит, я предупредил вовремя,— прибавил он и сейчас же ушел. Ему предстояло забежать в магазины и еще кое-что купить в подарок невесте.

Свадьба должна была состояться двадцатого октября, по окончании парламентских каникул. Венчаться собирались в церкви Мадлен. Болтали об этой свадьбе много, но толком никто ничего не знал. Ходили разные слухи. Шепотом говорилось и о похищении, но достоверно ничего не было известно.

Госпожа Вальтер не разговаривала со своим будущим зятем; слуги рассказывали, что, как только был решен этот брак, она в ту же ночь услала Сюзанну в монастырь, а сама отравилась со злости.

Ее нашли в бессознательном состоянии. Теперь уж ей, конечно, не оправиться. Она превратилась в старуху; волосы у нее совсем побелели. И она вся ушла в религию, причащается каждое воскресенье.

В начале сентября «Французская жизнь» объявила, что г-н Вальтер остается только издателем, обязанности же главного редактора переходят к барону Дю Руа де Кантель.

Одновременно была нанята целая армия известных фельетонистов, репортеров, публицистов, художественных и театральных критиков. За большие деньги их удалось переманить из других газет — влиятельных, солидных газет, издававшихся с давних пор.

Старые журналисты, почтенные и важные журналисты, уже не пожимали плечами при упоминании о «Французской жизни». Она одержала скорую и полную победу, и от того пренебрежения, с каким серьезные литераторы относились к ней вначале, не осталось и следа.

Жорж Дю Руа и семейство Вальтер с некоторых пор возбуждали всеобщее любопытство,— вот почему свадьба главного редактора «Французской жизни» составляла, что называется, гвоздь парижского сезона. Все те, о ком пишут в хронике, решили непременно присутствовать при венчании.

Произошло это событие в ясный осенний день.

В восемь часов утра на Королевской улице служители церкви Мадлен, привлекая внимание прохожих, уже расстилали на ступеньках высокой паперти широкий красный ковер,— таким образом они как бы оповещали парижан о том, что здесь должно состояться великое торжество.

Служащие по дороге в конторы, скромные работницы, приказчики из магазинов — все останавливались, глазели и думали о том, какие огромные деньги тратят богачи на освящение своего брачного сожительства.

Около десяти начали тесниться любопытные. Постояв несколько минут в надежде, что скоро начнется, они расходились.

В одиннадцать подоспела полиция и, заметив, что народ ежеминутно собирается в кучки, почти тотчас же принялась разгонять толпу.

Вскоре появились первые приглашенные — те, кто спешил занять хорошие места, чтобы все видеть. Они расселись вдоль стен главного придела.

Постепенно прибывали другие: шуршавшие шелками, шелестевшие платьями дамы и надменные мужчины, почти все лысые, с безукоризненными манерами светских людей, более важные, чем когда-либо.

Церковь медленно наполнялась. Солнце, потоками вливаясь в широко раскрытые двери, освещало первые ряды. Уставленный свечами престол отбрасывал желтоватый свет, тусклый и жалкий по сравнению с сияющим зевом портала, и оттого казалось, что на амвоне царит полумрак.

Приглашенные оглядывались, знаками подзывали друг друга, собирались группами. Литераторы, настроенные менее благоговейно, чем светские люди, беседовали вполголоса. Мужчины рассматривали дам.

Норбер де Варен, искавший кого-нибудь из своих приятелей, увидел в средних рядах Жака Риваля и подошел к нему.

— Итак,— сказал он,— будущее принадлежит пройдохам!

Риваль не был завистлив.

— Тем лучше для него,— возразил он.— Его карьера сделана.

И они стали называть имена присутствующих.

— Вы не знаете, что сталось с его женой? — спросил Риваль.

Поэт усмехнулся:

— И да и нет. Мне передавали, что она живет весьма уединенно, в районе Монмартра. Но... тут есть одно «но»...

С некоторых пор в газете «Перо» мне стали попадаться политические статьи, до ужаса похожие на статьи Форестье и Дю Руа. Подписывает их некто Жан Ледоль; этот молодой человек, красивый, умный, одной породы с нашим другом Жоржем, недавно познакомился с его бывшей женой. Отсюда я делаю вывод, что она всегда любила начинающих и будет любить их вечно. К тому же она богата. Водрек и Ларош-Матье не случайно были ее частыми гостями.

— Она недурна, эта маленькая Мадлена,— заметил Риваль.— Плутовка, бестия! Должно быть, она обворожительна при ближайшем знакомстве. Но объясните мне, как это вышло, что Дю Руа после официального развода венчается в церкви?

— Он венчается в церкви потому, что церковь считает его неженатым,— ответил Норбер де Варен.

— Как так?

— Будучи равнодушным к религии, а может быть, из экономии, наш Милый друг решил, что для брака с Мадленой Форестье достаточно одной мэрии. Словом, он обошелся без пастырского благословения, так что в глазах нашей матери-церкви его первый брак — это просто-напросто сожительство. Таким образом, сегодня он предстанет перед ней холостым, и она готовит для него все те пышные церемонии, которые недешево обойдутся старику Вальтеру.

Гул все прибывавшей толпы нарастал под сводами храма. Иные разговаривали почти громко. Перед публикой, довольные тем, что все на них показывают друг другу, что все на них смотрят, уже рисовались знаменитости: тщательно следя за своими раз навсегда выработанными манерами, считая себя необходимым украшением этого сборища, своего рода художественным изделием, они и здесь блистали так же, как на всех других празднествах.

— Дорогой мой, вы часто бываете у патрона,— продолжал Риваль,— скажите, правда ли, что госпожа Вальтер не разговаривает с Дю Руа?

— Правда. Она не хотела выдавать за него свою дочь. Но Дю Руа держал отца в руках якобы благодаря тому, что проведал о каких-то трупах — трупах, похороненных в Марокко. Короче, он запугал старика чудовищными разоблачениями. Вальтер вспомнил о судьбе Ларош-Матье и немедленно уступил. Но мать, упрямая, как все женщины, поклялась, что никогда словом не перемолвится со своим зятем. Когда они вместе, на них нельзя без смеха смотреть. Она похожа на статую,

статую Мщения, а он чувствует себя очень неловко, но виду не подает,— кто-кто, а уж он-то умеет владеть собой!

С ними здоровались литераторы. Долетали обрывки политических разговоров. А во входную дверь, точно отдаленный, глухой шум прибоя, вместе с солнцем врывалось гуденье толпы, сгрудившейся возле церкви, и, поднимаясь к сводам, покрывало сдержанный говор избранной публики, собравшейся в храме.

Но вот привратник три раза стукнул в деревянный пол алебардой. Все обернулись, задвигали стульями, зашелестели платьями. А в дверях, озаренная солнцем, показалась молодая девушка под руку с отцом.

Она по-прежнему напоминала куклу — чудную белокурую куклу с флердоранжем в волосах.

На несколько секунд она задержалась у входа, затем шагнула вперед — и в тот же миг послышался рев органа, своим мощным металлическим голосом возвещавшего появление брачащейся.

Прелестная, милая игрушечная невеста была слегка взволнованна и шла, опустив голову, но при этом ничуть не робела. Дамы, глядя на нее, улыбались, шушукались. «Она обаятельна, обворожительна»,— шептались мужчины. Вальтер шествовал бледный, преувеличенно важный и внушительно поблескивал очками.

Свиту этой кукольной королевы составляли четыре ее подруги, все в розовом, все до одной красотки. Четыре шафера, искусно подобранные, вполне соответствовавшие своему назначению, двигались так, словно ими руководил балетмейстер.

Госпожа Вальтер следовала за ними под руку с отцом другого своего зятя, семидесятидвухлетним маркизом де Латур-Ивеленом. Она не шла — она еле тащилась; казалось, еще одно движение — и она упадет замертво. При взгляде на нее можно было подумать, что ноги у нее прилипают к плитам, отказываются служить, а сердце бьется в груди, точно пойманный зверь о прутья клетки.

Она исхудала. Седина подчеркивала бледность, покрывавшую ее изможденное лицо.

Она смотрела прямо перед собой, чтобы никого не видеть и, быть может, чтобы не отвлекаться от мыслей, терзавших ее.

Затем появился Жорж Дю Руа с какой-то пожилой, никому не известной дамой.

Он высоко держал голову и, чуть сдвинув брови, смотрел тоже прямо перед собой сосредоточенным и строгим взглядом. Кончики его усов грозно торчали вверх. Все нашли, что он

очень красив. Его горделивая осанка, тонкая талия и стройные ноги обращали на себя всеобщее внимание. Фрак, на котором красным пятнышком выделялась ленточка ордена Почетного легиона, сидел на нем отлично.

Затем все увидели Розу с сенатором Рисоленом. Она вышла замуж полтора месяца назад. Граф де Латур-Ивелен вел под руку виконтессу де Персмюр.

Шествие замыкала пестрая вереница приятелей и знакомых Дю Руа, которых он представил своей новой родне,— людей, пользовавшихся известностью в смешанном парижском обществе, людей, которые мгновенно превращаются в близких друзей, а в случае нужды и в четвероюродных братьев разбогатевших выскочек,— вереница дворян, опустившихся, разорившихся, с подмоченной репутацией или, еще того хуже, женатых. Тут были г-н де Бельвинь, маркиз де Банжолен, граф и графиня де Равенель, герцог де Раморано, князь Кравалов, шевалье Вальреали и приглашенные Вальтера: князь де Герш, герцог и герцогиня де Феррачини и прекрасная маркиза де Дюн. Родственники г-жи Вальтер, участвовавшие в этой процессии, хранили чопорно-провинциальный вид.

А орган все пел; блестящие горла труб, возвещающие небу о земных радостях и страданиях, разносили по всему огромному храму рокочущие стройные созвучия.

Тяжелую двустворчатую дверь закрыли, и в церкви сразу стало темно, словно кто-то выгнал отсюда солнце.

На амвоне перед ярко освещенным алтарем рядом с женой стоял на коленях Жорж. Вновь назначенный епископ Танжерский, в митре и с посохом, вышел из ризницы, дабы сочетать их во имя господне.

Задав им обычные вопросы, обменяв кольца, произнеся слова, связывающие как цепи, он обратился к новобрачным с проповедью христианской морали. Долго и высокопарно говорил он о супружеской верности. Это был высокий, плотный мужчина, один из тех красивых прелатов, которым брюшко придает величественный вид.

Чьи-то рыдания заставили некоторых обернуться. Это, закрыв лицо руками, плакала г-жа Вальтер.

Она вынуждена была уступить. Что же ей оставалось делать? Но с того самого дня, когда она, отказавшись поцеловать вернувшуюся дочь, выгнала ее из комнаты, с того самого дня, когда она в ответ на учтивый поклон Дю Руа сказала: «Вы самый низкий человек, какого я только знаю, не обращайтесь ко мне никогда, я не буду вам отвечать»,— с этого дня вся

жизнь стала для нее сплошной нестерпимой пыткой. Она возненавидела Сюзанну острой ненавистью: это было сложное чувство, в котором безумная любовь уживалась с мучительной ревностью, необычайной ревностью матери и любовницы, затаенной, жестокой и жгучей, как зияющая рана.

И вот теперь их венчает епископ, венчает ее дочь и ее любовника, венчает в церкви, в присутствии двух тысяч человек, у нее на глазах! И она ничего не может сказать! Не может помешать этому! Не может крикнуть: «Он мой, этот человек, он мой любовник! Вы благословляете преступный союз!»

Некоторые дамы растроганно шептали:

— Как тяжело переживает бедная мать!

— Вы принадлежите к избранным мира сего, к числу самых уважаемых и богатых людей,— разглагольствовал епископ.— Ваши способности, милостивый государь, возвышают вас над толпой, вы пишете, поучаете, наставляете, ведете за собой народ, и на вас лежит почетная обязанность, вы должны подать благой пример...

Сердце Дю Руа преисполнялось гордости. Все это один из князей римско-католической церкви говорил ему! А у себя за спиной он чувствовал толпу, именитую толпу, пришедшую сюда ради него. У него было такое чувство, будто некая сила толкает, приподнимает его. Он становится одним из властелинов мира — он, он, сын безвестных жителей Кантле!

И вдруг он ясно представил себе, как его отец и мать в своем убогом кабачке на вершине холма, над широкой руанской долиной, прислуживают своим односельчанам. Получив наследство Водрека, он послал им пять тысяч франков. Теперь он пошлет им пятьдесят, и они купят себе именьице. Они будут счастливы и довольны.

Епископ закончил свое напутственное слово. Священник в золотой епитрахили прошел в алтарь. И орган снова принялся восславлять новобрачных.

Порой у него вырывался протяжный, громоподобный вопль, вздымавшийся, как морской вал, такой могучий и такой полнозвучный, что казалось, будто он сейчас поднимет и сбросит кровлю и разольется в небесной лазури. Этот дрожащий гул наполнял собой храм, повергая в трепет тела и души. Потом он вдруг затихал, и тогда, словно ласковое дуновение ветра, касались слуха легкокрылые нежные звуки. Бездумные, грациозные, они то рассыпались мелкой дробью, то взлетали и порхали, как птицы. И столь же внезапно эта кокетливая музыка, подобно песчинке, которая превратилась бы в целый мир,

ширилась вновь и разрасталась в грозную силу, грозную в своем мощном звучании.

Затем над склоненными головами пронеслись человеческие голоса. Это пели солисты Оперы — Вори и Ландек. Росный ладан струил свое тонкое благоухание, а в алтаре между тем совершалось таинство: богочеловек по зову своего служителя сходил на землю, дабы освятить торжество барона Жоржа Дю Руа.

Милый друг, стоя на коленях подле Сюзанны, склонил голову. В эту минуту он чувствовал себя почти верующим, почти набожным человеком, он был полон признательности к божественной силе, которая так покровительствовала ему и осыпала его столь богатыми милостями. Не сознавая отчетливо, к кому именно он обращается, он благодарил ее за свое благоденствие.

Когда служба кончилась, он встал, подал жене руку и проследовал в ризницу. И тут нескончаемой вереницей потянулись к нему поздравители. Жорж был вне себя от радости,— он воображал себя королем, которого приветствует народ. Он кланялся, пожимал руки, бормотал незначащие слова. «Я очень тронут, я очень тронут»,— отвечал он на приветствия.

Вдруг он увидел г-жу де Марель, и едва он вспомнил об их поцелуях, шалостях, ласках, вспомнил звук ее голоса, вкус ее губ,— в его крови тотчас же вспыхнуло страстное желание вновь обладать ею. Она была все так же изящна, красива, и все такие же бойкие, живые были у нее глаза.

«Какая она все-таки очаровательная любовница!» — подумал Жорж.

Слегка оробевшая, настороженная, она подошла к нему и протянула руку. Он задержал ее в своей. В то же мгновение он ощутил несмелый зов ее пальцев, нежное пожатие, прощающее и вновь завлекающее. И он пожимал эту маленькую ручку, как бы говоря: «Я люблю тебя по-прежнему, я твой!»

Они смотрели друг на друга смеющимися, блестящими, влюбленными глазами.

— До скорого свидания, сударь,— проговорила она нежным голоском.

— До скорого свидания, сударыня,— весело ответил он.

И она отошла.

К нему все еще проталкивались поздравители. Толпа текла перед ним рекой. Наконец она поредела. Последние поздравители удалились. Жорж взял Сюзанну под руку и вышел из ризницы.

Церковь была полна народу,— все вернулись на свои места, чтобы посмотреть, как пройдут новобрачные. Дю Руа шел мед-

ленно, уверенным шагом, высоко закинув голову и устремив взгляд в лучезарный пролет церковных дверей. По его телу пробегал холодок — холодок безграничного счастья. Он никого не замечал. Он думал только о себе.

Подойдя к выходу, он увидел сгрудившуюся толпу, темную шумящую толпу, пришедшую сюда ради него, ради Жоржа Дю Руа. Весь Париж смотрел на него и завидовал.

Затем, подняв глаза, он различил вдали, за площадью Согласия, палату депутатов. И ему казалось, что он одним прыжком способен перескочить от дверей церкви Мадлен к дверям Бурбонского дворца.

Он медленно спускался по ступенькам высокой паперти, вокруг которой шпалерами выстроились зрители. Но он их не видел. Мысленно он оглядывался назад, и перед его глазами, ослепленными ярким солнцем, носился образ г-жи де Марель, поправлявшей перед зеркалом свои кудряшки, которые, пока она лежала в постели, всегда развивались у нее на висках.

НОВЕЛЛЫ

Несколько дней подряд через город проходили остатки разбитой армии. Это было не войско, а беспорядочные орды. У солдат отросли длинные неопрятные бороды, мундиры их были изорваны; двигались они вялым шагом, без знамен, вразброд. Все они были явно подавлены, измучены, не способны ни мыслить, ни действовать и шагали только по инерции, падая от усталости при первой же остановке. Особенно много было ополченцев — мирных людей, безобидных рантье, изнемогавших под тяжестью винтовки, и резервистов, в равной мере доступных страху и воодушевлению, готовых и к атаке и к бегству; кое-где среди них мелькали красные шаровары — остатки дивизии, искрошенной в большом сражении; в ряду с пехотинцами различных полков попадались и мрачные артиллеристы, а изредка — блестящая каска драгуна, который с трудом поспевал тяжелой поступью за более легким шагом пехоты.

Проходили и дружины вольных стрелков с героическими наименованиями: «Мстители за поражение», «Причастники смерти», «Граждане могилы», но вид у них был самый разбойничий.

Их начальники, еще недавно торговавшие сукнами или зерном, бывшие продавцы сала или мыла, случайные воины, произведенные в офицеры за деньги или за длинные усы, облаченные в мундиры с галунами и увешанные оружием, шумно разглагольствовали, обсуждали планы кампании, самодовольно утверждая, что их плечи — единственная опора гибнущей Франции, а между тем они нередко опасались своих же собственных

солдат, подчас не в меру храбрых,— висельников, грабителей и распутников.

Поговаривали, что пруссаки вот-вот вступят в Руан.

Национальная гвардия, которая последние два месяца производила весьма осторожную разведку в соседних лесах,— причем иногда подстреливала своих собственных часовых и начинала готовиться к бою, стоило только какому-нибудь зайчонку завозиться в кустах,— теперь вернулась к домашним очагам. Ее оружие, мундиры, все смертоносное снаряжение, которым она еще недавно пугала верстовые столбы больших дорог на три лье в окружности, внезапно куда-то исчезло.

Последние французские солдаты переправились наконец через Сену, следуя в Понт-Одемер через Сен-Севэр и Бур-Ашар; а позади всех, пешком, плелся генерал с двумя адъютантами; он совершенно пал духом, не знал, что предпринять с такими разрозненными кучками людей, он и сам был ошеломлен великим поражением народа, привыкшего побеждать и безнадежно разбитого, несмотря на свою легендарную храбрость.

Затем над городом нависла глубокая тишина, безмолвное, жуткое ожидание. Многие буржуа, разжиревшие и утратившие всякую мужественность у себя за прилавком, с тревогой ждали победителей, боясь, как бы не сочли за оружие их вертела для жаркого и большие кухонные ножи.

Жизнь, казалось, замерла; лавочки закрылись, улицы стали безмолвны. Изредка вдоль стен торопливо пробирался прохожий, напуганный этой зловещей тишиной.

Ожидание было томительно, хотелось, чтобы уж поскорее появился неприятель.

На другой день после ухода французских войск, к вечеру, по городу промчалось несколько уланов, прискакавших неведомо откуда. А немного позже по склону Сент-Катрин скатилась черная лавина; два других потока хлынули со стороны дарнетальской и буагийомской дорог. Авангарды трех корпусов одновременно появились на площади у ратуши, и по всем соседним улицам развернутыми батальонами стала прибывать немецкая армия; мостовая гудела от размеренной солдатской поступи.

Слова команды, выкрикиваемые непривычными гортанными голосами, разносились вдоль домов, которые казались вымершими и покинутыми, а между тем из-за прикрытых ставен чьи-то глаза украдкой разглядывали победителей, людей, ставших «по праву войны» хозяевами города, имущества и жизней. Обыватели, сидевшие в полутемных комнатах, были охвачены тем ужасом, какой вызывают стихийные бедствия, великие и разруши-

тельные геологические перевороты, перед лицом которых бессильны вся мудрость и мощь человека. Одно и то же чувство возникает всякий раз, когда ниспровергается установленный порядок, когда утрачивается сознание безопасности, когда все, что охранялось человеческими законами или законами природы, оказывается во власти бессмысленной, яростной силы. Землетрясение, погребающее горожан под развалинами зданий, разлив реки, влекущей утонувших крестьян вместе с трупами волов и сорванными стропилами крыш, или победоносная армия, которая истребляет всех, кто защищается, уводит остальных в плен, грабит во имя Меча и под грохот пушек возносит благодарение какому-то божеству,— все это страшные бичи, подрывающие веру в извечную справедливость и во внушаемое нам с детства упование на благость небес и разум человека.

Но у каждой двери уже стучались, а потом входили в дома небольшие отряды. За нашествием следовала оккупация. У побежденных оказывалась новая обязанность: проявлять любезность к победителям.

Прошло некоторое время, утих первый порыв страха, и снова воцарилось спокойствие. Во многих семьях прусский офицер ел за общим столом. Иной раз это был благовоспитанный человек; он из вежливости жалел Францию, говорил, что ему тяжело участвовать в этой войне. Немцу были признательны за такие чувства; к тому же в любой день могло понадобиться его покровительство. Угождая ему, пожалуй, можно избавиться от постоя нескольких лишних солдат. Да и к чему задевать человека, от которого всецело зависишь? Ведь это было бы скорее безрассудство, чем храбрость. А руанские буржуа уже давно не страдают безрассудством, как во времена героических оборон, прославивших этот город. И наконец, каждый приводил неоспоримый довод, подсказанный французской учтивостью: у себя дома вполне допустимо быть вежливым с иноземным солдатом, лишь бы на людях не выказывать близости с ним. На улице его не узнавали, зато дома охотно беседовали с ним, и немец день ото дня все дольше засиживался по вечерам, греясь у семейного камелька.

Город мало-помалу принимал обычный вид. Французы еще избегали выходить из дому, зато улицы кишели прусскими солдатами. Впрочем, офицеры голубых гусар, заносчиво волочившие по тротуарам свои длинные орудия смерти, по-видимому, презирали простых горожан немногим больше, чем офицеры французских егерей, кутившие в тех же кофейнях год тому назад.

И все же в воздухе чувствовалось нечто неуловимое и непривычное, тяжелая, чуждая атмосфера, словно разлитой повсюду запах — запах нашествия. Он заполнял жилища и общественные места, сообщал особый привкус кушаньям, порождал такое ощущение, будто путешествуешь по далекой-далекой стране, среди кровожадных диких племен.

Победители требовали денег, много денег. Обывателям приходилось платить без конца; впрочем, они были богаты. Но чем состоятельнее нормандский коммерсант, тем сильнее страдает он от малейшего ущерба, от сознания, что малейшая крупица его достояния переходит в чужие руки.

А между тем за городом, в двух-трех лье вниз по течению, возле Круассе, Дьепдаля или Бьессара, лодочники и рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся трупы немцев в мундирах, то убитых кулаком, то зарезанных, то с проломленной камнем головой, то просто сброшенных в воду с моста. Речной ил окутывал саваном эти жертвы тайной, дикой и законной мести, безвестного героизма, бесшумных нападений, более опасных, чем сражения среди бела дня, и лишенных ореола славы.

Ибо ненависть к Чужеземцу искони вооружает горсть Бесстрашных, готовых умереть за Идею.

Но так как завоеватели, хотя и подчинившие город своей непреклонной дисциплине, все же не совершили ни одной из чудовищных жестокостей, которые молва неизменно приписывала им во время их победоносного шествия,— жители в конце концов осмелели, и потребность торговых сделок снова ожила в сердцах местных коммерсантов. Некоторые из них были связаны крупными денежными интересами с Гавром, занятым французской армией, и вздумали сделать попытку пробраться в этот порт,— доехать сушею до Дьеппа, а там сесть на пароход.

Было использовано влияние знакомых немецких офицеров, и комендант города дал разрешение на выезд.

Для этого путешествия, на которое записалось десять человек, был нанят большой дилижанс с четверкой лошадей, и решено было выехать во вторник утром, до рассвета, чтобы избежать всякого рода сборищ.

За последние дни мороз уже сковал землю, а в понедельник около трех часов с севера надвинулись большие черные тучи и принесли с собой снег, который шел беспрерывно весь вечер и всю ночь.

Утром в половине пятого путешественники собрались во дворе «Нормандской гостиницы», где они должны были сесть в карету.

Они еще не совсем проснулись и кутались в пледы, дрожа от холода. В темноте они еле различали друг друга, а тяжелые зимние одежды делали их всех похожими на тучных кюре в длинных сутанах. Но вот двое мужчин узнали друг друга, к ним подошел третий, и они разговорились.

— Я еду с женой,— сказал один из них.

— Я тоже.

— И я тоже.

Первый добавил:

— В Руан мы уже не вернемся, а если пруссаки подойдут к Гавру, переедем в Англию.

У всех были одинаковые намерения, так как это были люди одного склада.

А карету между тем все не закладывали. Фонарик конюха время от времени показывался из одной темной двери и немедленно исчезал в другой. Из глубины конюшни доносились лошадиный топот, приглушенный навозом и соломенной подстилкой, и мужской голос, уговаривавший и бранивший лошадей. По легкому позвякиванию бубенчиков можно было догадаться, что прилаживают сбрую; позвякивание вскоре перешло в отчетливый, беспрерывный звон, отвечавший размеренным движениям лошади; иногда он замирал, затем возобновлялся после резкого рывка, сопровождавшегося глухим стуком подкованного копыта о землю.

Внезапно дверь затворилась. Все стихло. Промерзшие путники умолкли; они стояли не двигаясь, оцепенев от холода.

Сплошная завеса белых хлопьев беспрерывно мелькала, опускаясь на землю; она стушевывала все очертания, опушила все предметы льдистым мхом, и в великом безмолвии затихшего города, погребенного под покровом зимы, слышался лишь неясный, неизъяснимый зыбкий шелест падающего снега,— скорее намек на звук, чем самый звук, легкий шорох белых атомов, которые, казалось, заполняли все пространство, окутывали весь мир.

Человек с фонарем снова появился, таща на поводу понурую, нехотя переступавшую лошадь. Он поставил ее возле дышла, привязал постромки и долго суетился возле нее, укрепляя сбрую одной рукой, так как в другой держал фонарь. Направляясь за второю лошадью, он заметил неподвижные фигуры путешественников, совсем побелевшие от снега, и сказал:

— Что же вы не сядете в дилижанс? Там хоть от снега укроетесь.

Они, вероятно, не подумали об этом и теперь разом устремились к дилижансу. Трое мужчин разместили своих жен в глубине экипажа и влезли сами; потом на оставшихся местах молча расположились прочие смутные, расплывчатые фигуры.

Пол дилижанса был устлан соломой, в которой тонули ноги. Дамы, сидевшие в глубине кареты, захватили с собою медные грелки с химическим углем; теперь они разожгли эти приборы и некоторое время шепотом перечисляли друг другу их достоинства, повторяя все то, что каждой из них было давно известно.

Наконец, когда дилижанс был запряжен шестеркой лошадей вместо обычных четырех ввиду трудности дороги, чей-то голос снаружи спросил:

— Все на местах?

Голос изнутри отвечал:

— Все.

Тогда тронулись в путь.

Дилижанс тащился медленно-медленно, почти шагом. Колеса вязли в снегу; кузов стонал и глухо потрескивал; лошади скользили, храпели, от них валил пар; длиннющий кнут возницы без устали хлопал, летал во все стороны, свиваясь и разворачиваясь, как змейка, и вдруг стегал по какому-нибудь высунувшемуся крупу, который после этого подтягивался в новом усилии.

Постепенно рассветало. Легкие снежинки — их один из пассажиров, чистокровный руанец, сравнил с дождем хлопка — перестали сыпаться на землю. Мутный свет просочился сквозь большие, темные и грузные тучи, которые резко оттеняли ослепительную белизну полей, где виднелись то ряд высоких деревьев, подернутых инеем, то хибарка под снежной шапкой.

При свете этой унылой зари пассажиры стали с любопытством разглядывать друг друга.

В глубине кареты, на лучших местах, друг против друга, дремали супруги Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон.

Луазо, бывший приказчик, купил предприятие у своего обанкротившегося хозяина и нажил большое состояние. Он по самой низкой цене продавал мелким провинциальным торговцам самое дрянное вино и слыл среди друзей и знакомых за отъявленного плута, за настоящего нормандца — хитрого и жизнерадостного.

Репутация мошенника настолько упрочилась за ним, что как-то на вечере в префектуре г-н Турнель, сочинитель басен и

куплетов, остряк и задира, местная знаменитость, предложил дремавшим от скуки дамам сыграть в игру «птичка летает»;[1] шутка его облетела все гостиные префекта, отсюда проникла в гостиные горожан, и целый месяц вся округа покатывалась от хохота.

Помимо этого, Луазо славился всевозможными забавными выходками, а также то удачными, то плоскими остротами, и всякий, заговорив о нем, неизменно прибавлял:

— Что ни говори, Луазо прямо-таки неподражаем!

Он был невысокого роста и, казалось, состоял из одного шарообразного живота, над которым возвышалась красная физиономия, обрамленная седеющими бачками.

Его жена, рослая, дородная, решительная женщина, отличавшаяся резким голосом и крутым нравом, была воплощением порядка и счетоводства в их торговом доме, тогда как сам Луазо оживлял его своей жизнерадостной суетней.

Возле них с явным сознанием своего достоинства и высокого положения восседал г-н Карре-Ламадон, фабрикант, особа значительная в хлопчатобумажной промышленности, владелец трех бумагопрядилен, офицер Почетного легиона и член генерального совета. Во все время Империи он возглавлял благонамеренную оппозицию с единственной целью получить впоследствии побольше за присоединение к тому строю, с которым он боролся, по его выражению, благородным оружием. Г-жа Карре-Ламадон, будучи гораздо моложе своего супруга, служила утешением для назначенных в руанский гарнизон офицеров из хороших семей.

Она сидела напротив мужа, миниатюрная, хорошенькая, закутанная в меха, и уныло разглядывала убогую внутренность дилижанса.

Соседи ее, граф Юбер де Бревиль с супругой, носили одно из самых старинных и знатных нормандских имен. Граф, пожилой дворянин с величественной осанкой, старался ухищрениями костюма подчеркнуть свое природное сходство с королем Генрихом IV, от которого, согласно лестному фамильному преданию, забеременела некая дама де Бревиль, а муж ее по сему поводу получил графский титул и губернаторство.

Граф Юбер, коллега г-на Карре-Ламадона по генеральному совету, представлял орлеанистскую партию департамента. История его женитьбы на дочери мелкого нантского судовладельца

---

[1] Игра слов: l'oiseau vole — птичка летает; Loiseau vole — Луазо ворует.

навсегда осталась загадкой. Но так как графиня обладала величественными манерами, принимала лучше всех и даже слыла за бывшую любовницу одного из сыновей Луи-Филиппа, вся знать ухаживала за нею, и ее салон считался первым в департаменте,— единственным, где сохранилась еще старинная любезность и попасть в который было нелегко.

Имущество Бревилей, почти целиком состоявшее из недвижимости, приносило, по слухам, пятьсот тысяч ливров годового дохода.

Эти шесть персон занимали глубину кареты и олицетворяли обеспеченный, уверенный в себе и могущественный слой общества, слой людей порядочных, влиятельных, верных религии, с твердыми устоями.

По странной случайности, все женщины разместились на одной скамье, и рядом с графиней сидели две монахини, перебиравшие длинные четки и шептавшие «Pater» и «Ave». Одна из них была пожилая, с изрытым оспою лицом, словно в нее некогда в упор выстрелили дробью. У другой, весьма тщедушной, было красивое болезненное лицо и чахоточная грудь, которую терзала та всепоглощающая вера, что создает мучениц и фанатиков.

Всеобщее внимание привлекали мужчина и женщина, сидевшие против монахинь.

Мужчина был хорошо известный Корнюде, демократ, пугало всех почтенных людей. Уже добрых двадцать лет окунал он свою длинную рыжую бороду в пивные кружки всех демократических кафе. Он прокутил со своими собратьями и друзьями довольно крупное состояние, унаследованное от отца, бывшего кондитера, и с нетерпением ждал установления республики, чтобы получить наконец место, заслуженное столькими революционными возлияниями. Четвертого сентября, быть может в результате чьей-нибудь шутки, он счел себя назначенным на должность префекта; но когда он вздумал приступить к исполнению своих обязанностей, писари, ставшие единственными хозяевами префектуры, отказались его признать, и ему пришлось ретироваться. Будучи, в общем, добрым малым, безобидным и услужливым, он с необычайным рвением принялся за организацию обороны. Под его руководством в полях вырыли волчьи ямы, в соседних лесах вырубили молодые деревца и все дороги усеяли западнями; удовлетворенный принятыми мерами, он с приближением врага поспешно отступил к городу. Теперь он полагал, что гораздо больше пользы принесет в Гавре, где также придется рыть траншеи.

Пышка

Женщина — из числа так называемых особ «легкого поведения» — славилась своею преждевременной полнотой, которая стяжала ей прозвище «Пышки». Маленькая, вся кругленькая, заплывшая жирком, с пухлыми пальчиками, перетянутыми в суставах наподобие связки коротеньких сосисок, с лоснящейся, натянутой кожей, с необъятной грудью, выдававшейся под платьем, она была еще аппетитна, и за нею увивалось немало мужчин,— до такой степени радовала глаз ее свежесть. Лицо ее напоминало румяное яблоко, готовый распуститься бутон пиона; на нем выделялись великолепные черные глаза, осененные длинными густыми ресницами, благодаря которым они казались еще темнее, и прелестный маленький влажный рот с мелкими блестящими зубками, созданный для поцелуя.

Кроме того, она, по слухам, отличалась еще многими неоценимыми достоинствами.

Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье; слова «девка», «какой срам!» были произнесены столь внятным шепотом, что Пышка подняла голову. Она окинула своих спутников таким вызывающим, дерзким взглядом, что сразу наступила мертвая тишина и все потупились, исключая Луазо, который игриво посмотрел на нее.

Скоро, однако, разговор между тремя дамами возобновился; присутствие такого сорта девицы неожиданно сблизило, почти сдружило их. Добродетельные супруги почувствовали необходимость объединиться перед лицом этой бесстыжей продажной твари,— ведь любовь законная всегда относится свысока к своей свободной сестре.

Трое мужчин, которых в присутствии Корнюде тоже сближал инстинкт консерваторов, говорили о деньгах, и в тоне их чувствовалось презрение к беднякам. Граф Юбер рассказывал об уроне, причиненном ему пруссаками, о больших убытках, связанных с покражей скота и гибелью урожая, но в словах его сквозила уверенность вельможи и миллионера, которого такой ущерб мог стеснить, самое большее, на год. Г-н Карре-Ламадон, весьма осведомленный о положении дел в хлопчатобумажной промышленности, заблаговременно озаботился перевести в Англию шестьсот тысяч франков — запасной капиталец, приберегенный им на черный день. Что касается Луазо, то он ухитрился запродать французскому интендантству весь запас дешевых вин, хранившийся в его подвалах, так что государство было должно ему огромную сумму, которую он и надеялся получить в Гавре.

И они, все трое, обменивались беглыми дружелюбными взглядами. Несмотря на разницу в общественном положении, они чувствовали себя собратьями по богатству, членами великой франкмасонской ложи, объединяющей всех собственников, всех, у кого в карманах звенит золото.

Дилижанс двигался так медленно, что к десяти часам утра не проехали и четырех лье. Три раза мужчинам приходилось на подъемах вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали волноваться, так как завтракать предполагалось в Тоте, а теперь уже не было надежды добраться туда раньше ночи. Каждый выглядывал в окно, надеясь увидать какой-нибудь придорожный трактирчик, как вдруг карета застряла в сугробе, и потребовалось целых два часа, чтобы вытащить ее оттуда.

Голод усиливался, мутил рассудок, а на пути, как назло, не попадалось ни единой харчевни, ни единого кабачка, потому что приближение пруссаков и отход голодных французских войск нагнали страх на владельцев всех торговых заведений.

Мужчины бегали за съестным на фермы, встречавшиеся по дороге, но не могли купить там даже хлеба, так как недоверчивые крестьяне скрывали свои припасы из страха перед голодными солдатами, которые отнимали все, что попадалось им на глаза.

Около часу пополудни Луазо заявил, что чувствует в желудке положительно невыносимую пустоту. Все давно уже страдали не меньше его; жестокий, все возраставший голод отбил всякую охоту к разговорам.

Время от времени кто-нибудь из пассажиров начинал зевать; его примеру сразу же следовал другой, и соответственно своему характеру, воспитанию, общественному положению каждый поочередно открывал рот, кто с шумом, кто беззвучно, быстро заслоняя рукою зияющее отверстие, из которого валил пар.

Пышка несколько раз наклонялась, словно отыскивая что-то у себя под юбками. Но, пробыв мгновение в нерешительности, она взглядывала на соседей и снова спокойно выпрямлялась. У всех были бледные, напряженные лица; Луазо заявил, что готов уплатить за маленький окорочек тысячу франков. Его жена сделала протестующий жест, но потом успокоилась. Разговоры о выброшенных зря деньгах всегда причиняли ей настоящее страдание, она даже не понимала шуток на этот счет.

— В самом деле, мне что-то не по себе,— молвил граф.— Как это я не позаботился о провизии?

Каждый мысленно упрекал себя в том же.

Однако у Корнюде оказалась целая фляжка рома; он предложил его желающим; все холодно отказались. Один только Луазо согласился отхлебнуть глоток и, возвращая фляжку, поблагодарил:

— А ведь недурно! Греет и голод заглушает.

Алкоголь привел его в хорошее настроение, и он предложил поступить, как на корабле, о котором поется в песенке: съесть самого жирного из путешественников. Благовоспитанные особы были шокированы этим косвенным намеком на Пышку. На шутку г-на Луазо не отозвались; один Корнюде улыбнулся. Монахини перестали бормотать молитвы и, запрятав руки в широкие рукава, сидели не двигаясь, упорно не подымая глаз, и, несомненно, принимали как испытание муку, ниспосланную им небесами.

Наконец часа в три, когда кругом расстилалась бесконечная равнина без единой деревушки, Пышка проворно нагнулась и вытащила из-под скамьи большую корзину, прикрытую белой салфеткой.

Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку и серебряный стаканчик, потом объемистую миску, где застыли в желе два цыпленка, разрезанных на куски; в корзине виднелись еще другие вкусные вещи, завернутые в бумагу: пироги, фрукты, сласти и прочая снедь, заготовленная с таким расчетом, чтобы питаться дня три, не притрагиваясь к трактирной еде. Между свертками с провизией выглядывали четыре бутылочных горлышка. Пышка взяла крылышко цыпленка и деликатно принялась его есть, закусывая хлебцем, носящим в Нормандии название «регентского».

Все взоры устремились к ней. Вскоре в карете распространился аппетитный запах, от которого расширялись ноздри, во рту появлялась обильная слюна и мучительно сводило челюсти возле ушей. Презрение дам к «этой девке» переходило в ярость, в дикое желание убить ее или вышвырнуть вон из дилижанса в снег вместе с ее стаканчиком, корзинкой и провизией.

Но Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Он проговорил:

— Вот это умно! Мадам предусмотрительнее нас. Есть люди, которые всегда обо всем позаботятся.

Пышка взглянула на него.

— Не угодно ли, сударь? Ведь нелегко поститься с самого утра.

Луазо поклонился.

— Да... по совести говоря, не откажусь. На войне как на

войне, не так ли, мадам? — И, окинув спутников взглядом, добавил: — В подобные минуты так отрадно встретиться с любезной особой.

Он разложил на коленях газету, чтобы не запачкать брюк; перочинным ножом, всегда находившимся в его кармане, подцепил куриную ножку, подернутую желе, и, отрывая зубами куски, принялся жевать с таким нескрываемым удовольствием, что по всей карете пронесся тоскливый вздох.

Тогда Пышка смиренным и кротким голосом предложила монахиням разделить с ней трапезу. Обе они немедленно согласились и, не поднимая глаз, пробормотав слова благодарности, принялись торопливо есть. Корнюде тоже не отверг угощения соседки, и они вместе с монахинями устроили из газет, развернутых на коленях, нечто вроде стола.

Рты беспрестанно открывались и закрывались, неистово жевали, уплетали, поглощали. Луазо в своем углу трудился вовсю и шепотом уговаривал жену последовать его примеру. Она долго противилась, но потом, ощутив спазмы в желудке, сдалась. Тогда муж в изысканных выражениях спросил у «очаровательной спутницы», не позволит ли она предложить кусочек г-же Луазо. Пышка ответила:

— Ну, разумеется, сударь.

И, любезно улыбаясь, протянула миску.

Когда откупорили первую бутылку бордоского, произошло некоторое замешательство: имелся всего лишь один стаканчик. Его стали передавать друг другу, предварительно вытирая. Один только Корнюде как галантный кавалер прикоснулся губами к тому краю, который был еще влажным от губ соседки.

Сидя среди людей, жадно поглощающих еду, и задыхаясь от ее запаха, граф и графиня де Бревиль, как и супруги Карре-Ламадон, испытывали ту ужасную пытку, которая получила название «мук Тантала». Вдруг юная жена фабриканта испустила столь глубокий вздох, что все обернулись; она побелела, как лежавший в полях снег; глаза ее закрылись, голова откинулась: она потеряла сознание. Муж ее страшно перепугался и стал умолять окружающих о помощи. Все растерялись, но старшая монахиня, поддерживая голову больной, поднесла к ее губам стаканчик Пышки и принудила проглотить несколько капель вина. Хорошенькая дама пошевелилась, открыла глаза, улыбнулась и умирающим голосом проговорила, что теперь ей совсем хорошо. Но, чтобы обморок больше не повторился, монахиня заставила ее выпить целый стаканчик бордо, прибавив:

— Это не иначе как от голода.

Тогда Пышка, краснея и конфузясь, залепетала, обращаясь к четырем все еще постившимся спутникам:

— Господи, да я ведь просто не смела предложить... Пожалуйста, прошу вас.

Она умолкла, боясь услыхать оскорбительный отказ.

Луазо взял слово:

— Э, право же, в таких случаях все люди — братья и должны помогать друг другу. Да ну же, сударыни, без церемоний, соглашайтесь, черт возьми! Нам, может быть, и на ночь не удастся найти пристанища. При такой езде хорошо, если мы завтра в полдень доберемся до Тота.

Но колебания продолжались, никто не решался взять на себя ответственность за согласие.

Наконец граф разрешил вопрос. Он повернулся к смущенной толстушке и, приняв величественную осанку, сказал:

— Мы с благодарностью принимаем ваше предложение, мадам.

Труден был лишь первый шаг. Но когда рубикон был перейден, все перестали стесняться. Корзина была опустошена. В ней находились, помимо прочего, паштет из печенки, паштет из жаворонков, кусок копченого языка, красанские груши, понлевекский сыр, печень и целая банка маринованных корнишонов и луку,— Пышка, как большинство женщин, обожала все острое.

Нельзя было есть припасы этой девушки и не говорить с нею. Поэтому завязалась беседа, сначала несколько сдержанная, потом все более непринужденная, так как Пышка держала себя превосходно. Графиня де Бревиль и г-жа Карре-Ламадон, обладавшие большим светским тактом, проявили утонченную любезность. В особенности графиня выказывала приветливую снисходительность как аристократка, которую не может запачкать общение с кем бы то ни было; она вела себя очаровательно. Но толстая г-жа Луазо, наделенная душою жандарма, оставалась неприступной; она говорила мало, зато много ела.

Разговор шел, разумеется, о войне. Рассказывали о жестокостях пруссаков, о храбрости французов: эти люди, спасавшиеся от врага бегством, отдавали должное мужеству солдат. Вскоре заговорили о личных обстоятельствах, и Пышка с неподдельным волнением, с той пылкостью, какую проявляют иногда публичные женщины, говоря о своих переживаниях, рассказала, почему она уехала из Руана.

— Сначала я думала остаться,— начала она.— У меня был полон дом припасов, и я предпочла бы кормить несколько чело-

век солдат, чем уезжать неведомо куда. Но когда я их, пруссаков этих, увидела, то уже не могла совладать с собою. Все во мне так и переворачивалось от злости, я проплакала целый день со стыда. Ох, будь я мужчиной, уж я бы им показала! Я смотрела на них из окошка, на этих жирных боровов в остроконечных касках, а служанка держала меня за руки, чтобы я не побросала им на головы всю свою мебель. Потом они явились ко мне на постой, и я первого же схватила за горло. Задушить немца не труднее, чем кого другого! И я бы его прикончила, если бы только меня не оттащили за волосы. После этого мне пришлось скрываться. А как только подвернулся случай, я уехала — и вот я среди вас.

Ее стали усиленно расхваливать. Она выросла в глазах своих спутников, далеко не проявивших такой отваги, и Корнюде, слушая ее, улыбался с апостольской благосклонностью и одобрением; так священник слушает набожного человека, воздающего хвалу богу, ибо длиннобородые демократы стали такими же монополистами в делах патриотизма, как люди, носящие сутану, в вопросах веры. Он тоже заговорил, заговорил поучительным тоном, с пафосом, почерпнутым из прокламаций, которые ежедневно расклеивались на стенах, и закончил красноречивой тирадой, безапелляционно расправившись с этим «подлецом Баденге».

Но Пышка тотчас же возмутилась, потому что была бонапартисткой. Она побагровела, как вишня, и, заикаясь от негодования, выпалила:

— Хотела бы я видеть вашего брата на его месте. Хороши бы вы все были, нечего сказать! Ведь вы-то его и предали. Если бы страной управляли озорники вроде вас, только и оставалось бы, что бежать из Франции куда глаза глядят!

Корнюде сохранял невозмутимость, улыбался презрительно и свысока, но чувствовалось, что сейчас дело дойдет до перебранки; тут вмешался граф и не без труда угомонил расходившуюся девицу, властно заявив, что всякое искреннее убеждение следует уважать. Между тем графиня и жена фабриканта, питавшие, как и все добропорядочные люди, бессознательную ненависть к республике и свойственное всем женщинам инстинктивное пристрастие к мишурным и деспотическим правительствам, почувствовали невольную симпатию к этой девке, которая держалась с таким достоинством и выражала чувства, столь схожие с их собственными.

Корзина опустела. Вдесятером ее очистили без труда и только пожалели, что она такая маленькая. Разговор тянулся

еще некоторое время, хотя стал менее оживленным после того, как покончили с едой.

Вечерело; темнота постепенно сгущалась; холод, более чувствительный во время пищеварения, вызывал у Пышки дрожь, несмотря на ее полноту. Тогда г-жа де Бревиль предложила ей свою грелку, в которую уже несколько раз подкладывала угля; Пышка тотчас же приняла предложение, потому что ноги у нее совсем замерзли. Г-жи Карре-Ламадон и Луазо отдали свои грелки монахиням.

Кучер зажег фонари. Они озарили резким светом облако пара, колебавшееся над потными крупами коренников, а также снег по краям дороги, пелена которого словно развертывалась в бегущих отблесках огней.

Внутри кареты уже ничего нельзя было различить; но вдруг Пышка и Корнюде зашевелились, и г-ну Луазо, который всматривался в потемки, показалось, что длиннобородый Корнюде порывисто отодвинулся, точно получив беззвучный, но увесистый пинок.

Впереди на дороге замелькали огоньки. Это было селение Тот. Ехали уже одиннадцать часов, а если добавить два часа, потраченные на четыре остановки, на то, чтобы покормить лошадей и дать им передохнуть, получалось и все тринадцать. Дилижанс въехал в поселок и остановился у Торговой гостиницы.

Дверца отворилась. И вдруг все пассажиры вздрогнули, услыхав хорошо знакомый звук: прерывистое бряцанье сабли, волочившейся по земле. И тотчас же резкий голос что-то прокричал по-немецки.

Несмотря на то что дилижанс стоял, никто в нем не тронулся с места; казалось, все боялись, что, стоит только выйти, их немедленно убьют. Тут появился кучер с фонарем в руках и внезапно осветил внутренность кареты, два ряда испуганных лиц, разинутые рты и вытаращенные от удивления и ужаса глаза.

Рядом с кучером, в полосе света, стоял немецкий офицер — долговязый белобрысый молодой человек, чрезвычайно тонкий, затянутый в мундир, как барышня в корсет; плоская лакированная фуражка, надетая набекрень, придавала ему сходство с рассыльным из английского отеля. Непомерно длинные прямые усы, незаметно утончавшиеся по сторонам и завершавшиеся одним-единственным белесым волоском, столь тонким, что конца его не было видно, словно давили на края его рта, оттягивая вниз щеки и уголки губ.

Он резко предложил путешественникам выйти, обратившись к ним на французском языке с сильным эльзасским выговором:

— Не укотно ли вылезать, коспота?

Первыми повиновались монахини — с кротостью смиренниц, привыкших к послушанию. Затем показались граф с графиней, за ними — фабрикант и его жена, а потом Луазо, подталкивавший свою дородную половину. Выйдя из кареты, Луазо сказал офицеру скорей из осторожности, чем из вежливости:

— Здравствуйте, сударь.

Офицер с наглостью власть имущего взглянул на него и ничего не ответил.

Пышка и Корнюде, хотя и сидевшие около дверцы, вышли последними, приняв перед лицом врага строгий и надменный вид. Толстуха старалась сдерживаться и быть спокойной; демократ трагически теребил свою длинную рыжеватую бороду слегка дрожащей рукою. Они старались сохранить достоинство, понимая, что при подобных встречах каждый в некотором роде является представителем родины, и оба одинаково возмущались податливостью своих спутников, причем Пышка старалась показать себя более гордой, чем ее соседки, порядочные женщины, а Корнюде, воображая, что обязан подавать пример, по-прежнему всем своим видом подчеркивал взятую на себя миссию сопротивления, которую он начал с перекапывания дорог.

Все вошли в просторную кухню постоялого двора, и немец потребовал подписанное комендантом Руана разрешение на выезд, где были перечислены имена, приметы и род занятий всех путешественников; он долго разглядывал каждого из них, сличая людей с описанием их примет.

Потом он резко сказал: «Карашо»,— и вышел.

Путники перевели дух. Голод давал себя чувствовать; заказали ужин. На приготовление его потребовалось полчаса, и пока две служанки усердно занимались стряпней, путешественники пошли осмотреть помещение. Комнаты были расположены вдоль длинного коридора, который упирался в стеклянную дверь с выразительным номером.

Когда наконец стали усаживаться за стол, появился сам хозяин постоялого двора. Это был в прошлом лошадиный барышник, астматический толстяк, в горле у которого постоянно свистела, клокотала и невуче переливалась мокрота. От отца он унаследовал фамилию Фоланви.

Он спросил:

— Кто здесь мадемуазель Элизабет Руссе?

Пышка вздрогнула и обернулась:

— Это я.

— Мадемуазель, прусский офицер желает немедленно переговорить с вами.

— Со мной?

— Да, раз вы и есть мадемуазель Элизабет Руссе.

Она смутилась, мгновение подумала и объявила напрямик:

— Вот еще!.. Не пойду!

Кругом заволновались: все стали спорить и выискивать причину такого требования. Подошел граф.

— Вы не правы, мадам, потому что ваш отказ может повлечь за собой серьезные неприятности,— и не только для вас, но и для всех ваших спутников. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее нас. Это приглашение, безусловно, не представляет никакой опасности: вероятно, надо выполнить какую-нибудь формальность.

Все присоединились к графу, стали упрашивать Пышку, уговаривать, увещевать и, наконец, убедили ее; ведь каждый опасался осложнений, которые мог повлечь за собой столь безрассудный поступок.

В конце концов она сказала:

— Хорошо, но делаю я это только для вас!

Графиня пожала ей руку:

— И мы так вам благодарны!

Пышка вышла. Ее дожидались, чтобы сесть за стол.

Каждый досадовал, что вместо этой несдержанной, вспыльчивой девушки не пригласили его, и мысленно подготовлял всякие банальные фразы на случай, если вызовут и его.

Но минут десять спустя Пышка вернулась, вся красная, задыхаясь, вне себя от раздражения. Она бормотала:

— Ах, мерзавец! Вот мерзавец!

Все бросились к ней, желая узнать, что случилось, но она не проронила ни слова, а когда граф стал настаивать, ответила с большим достоинством:

— Нет, это вас не касается; я не могу этого сказать.

Тогда все уселись вокруг большой миски, распространявшей запах капусты. Несмотря на это тревожное происшествие, ужин проходил весело. Сидр был хорош, и чета Луазо, а также монахини пили его из экономии. Остальные заказали вино; Корнюде потребовал пива. У него была особая манера откупоривать бутылку, пенить пиво, разглядывать его, наклоняя стакан, затем подымая его к лампе, чтобы лучше рассмотреть цвет. Когда он пил, его длинная борода, принявшая с течением време-

ни оттенок любимого напитка, словно трепетала от нежности, глаза скашивались, чтобы не терять из виду кружку, и казалось, будто он осуществляет то единственное призвание, ради которого родился на свет. Он мысленно как будто старался сблизить и сочетать обе великие страсти, заполнявшие его жизнь: светлый эль и революцию; несомненно, он не мог вкушать одного, не думая о другой.

Господин Фоланви с женою ужинали, сидя в самом конце стола. Муж пыхтел, как старый локомотив, и в груди у него так клокотало, что он не мог разговаривать за едой; зато жена его не умолкала ни на минуту. Она выложила все свои впечатления от встречи с пруссаками, описала, что они делают, что говорят; она ненавидела их, прежде всего потому, что они дорого ей обошлись, а также потому, что у нее было два сына в армии. Обращалась она преимущественно к графине, так как ей лестно было разговаривать с благородной дамой.

Рассказывая что-нибудь щекотливое, она понижала голос, а муж время от времени прерывал ее:

— Лучше бы тебе помолчать, госпожа Фоланви.

Но, не обращая на него никакого внимания, она продолжала:

— Да, сударыня, люди эти только и делают, что едят картошку со свининой да свинину с картошкой. И не верьте, пожалуйста, что они чистоплотны. Вовсе нет! Они, извините за выражение, гадят повсюду. А посмотрели бы вы, как они по целым часам, по целым дням проделывают свои упражнения: соберутся все в поле, и марш вперед, марш назад, поворот туда, поворот сюда. Лучше бы уж они землю пахали у себя на родине либо дороги прокладывали! Так вот нет же, сударыня, от военных никто проку не видит! И зачем это горемычный народ кормит их, раз они только тому и учатся, как людей убивать? Я старуха необразованная, что и говорить, а когда посмотрю, как они, не щадя сил, топчутся с утра до ночи, то всякий раз думаю: «Вот есть люди, которые делают разные там открытия, чтобы пользу другим принести, а к чему нужны такие, что из кожи вон лезут, лишь бы навредить?» Ну, разве не мерзость убивать людей — будь они пруссаки, или англичане, или поляки, или французы? Если мстишь кому-нибудь, кто тебя обидел,— за это наказывают, и, значит, это плохо, а когда сыновей наших истребляют ружьями, как дичь, выходит, это хорошо,— раз тому, кто уничтожит побольше, дают ордена! Нет, знаете, никак я этого в толк не возьму.

Корнюде громко заявил:

— Война — варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг, когда защищают родину.

Старуха опустила голову.

— Да, когда защищают,— другое дело; а все-таки лучше бы перебить всех королей, которые заваривают войну ради своей потехи.

Глаза Корнюде вспыхнули.

— Браво, гражданка! — воскликнул он.

Господин Карре-Ламадон был озадачен. Хотя он и боготворил знаменитых полководцев, здравый смысл, звучавший в словах старой крестьянки, заставил его призадуматься: какое благосостояние принесли бы стране столько праздных сейчас и, следовательно, убыточных рабочих рук, столько бесплодно растрачиваемых сил, если бы применить их для больших производственных работ, на завершение которых потребуются столетия!

А Луазо встал с места, подсел к трактирщику и шепотом заговорил с ним. Толстяк хохотал, кашлял, отхаркивался; его толстый живот весело подпрыгивал от шуток соседа, и трактирщик тут же закупил у Луазо шесть бочек бордоского к весне, будучи уверен, что пруссаки тогда уже уйдут.

Едва кончился ужин, как все почувствовали сильнейшую усталость и отправились спать.

Между тем Луазо, успев сделать кое-какие наблюдения, уложил в постель свою супругу, а сам стал прикладываться к замочной скважине то глазом, то ухом, чтобы, как он выражался, проникнуть в «тайны коридора».

Приблизительно через час он услыхал шорох, быстро взглянул и увидел Пышку, которая казалась еще пышнее в голубом кашемировом капоте, отделанном белыми кружевами. Она держала подсвечник и направлялась к многозначительному номеру в конце коридора. Но вот где-то рядом приоткрылась другая дверь, и когда Пышка через несколько минут пошла обратно, за нею последовал Корнюде в подтяжках. Они разговаривали шепотом, потом остановились. По-видимому, Пышка решительно защищала доступ в свою комнату. Луазо, к сожалению, не мог разобрать слов, но под конец, когда они повысили голос, ему удалось уловить несколько фраз. Корнюде горячо настаивал. Он говорил:

— Послушайте, это глупо: ну что вам стоит?

Она была явно возмущена:

— Нет, дорогой мой, бывают случаи, когда это недопустимо, а здесь это был бы просто срам.

Он, должно быть, не понял и спросил — почему. Тогда она окончательно рассердилась и еще более повысила голос:

— Почему? Не понимаете почему? А если в доме пруссаки и даже, может быть, в соседней комнате?

Он умолк. Патриотическая стыдливость шлюхи, не позволяющей ласкать себя вблизи неприятеля, по-видимому, пробудила в нем ослабевшее чувство собственного достоинства, ибо он ограничился тем, что поцеловал ее и неслышно направился к своей двери.

Распаленный Луазо оторвался от скважины, сделал антраша, надел ночной колпак, приподнял одеяло, под которым покоился жесткий остов его подруги, и, разбудив ее поцелуем, прошептал:

— Ты меня любишь, душенька?

После этого весь дом погрузился в безмолвие. Но вскоре где-то в неопределенном направлении, быть может, в погребе, а может быть, и на чердаке, послышался мощный, однообразный, равномерный храп, глухой и протяжный гул, словно от сотрясения парового котла. Это спал г-н Фоланви.

Так как решено было выехать на другой день в восемь часов утра, к этому времени все собрались в кухне; но карета, брезентовый верх которой покрылся снежной пеленой, одиноко высилась посреди двора, без лошадей и без кучера. Тщетно искали его в конюшне, на сеновале, в сарае. Тогда мужчины решили обследовать местность и вышли. Они очутились на площади, в конце которой находилась церковь, а по бокам — два ряда низеньких домиков, где виднелись прусские солдаты. Первый, которого они заметили, чистил картошку. Второй, подальше, мыл пол в парикмахерской. Третий, заросший бородой до самых глаз, целовал плачущего мальчугана и качал его на коленях, чтобы успокоить; толстые крестьянки, у которых мужья были в «воюющей армии», знаками указывали своим послушным победителям работу, которую надлежало сделать: нарубить дров, засыпать суп, смолоть кофе; один из них даже стирал белье своей хозяйки, дряхлой, немощной старухи.

Удивленный граф обратился с вопросом к причетнику, который вышел из дома священника. Старая церковная крыса ответила ему:

— Ну, эти не злые; это, говорят, не пруссаки. Они откуда-то подальше, не знаю только откуда, и у всех у них на родине остались жены и дети; им-то война не в радость! Наверно, и там плачут по мужьям, и нужда от этой заварухи будет там не меньше, чем у нас. Нам пока что особенно жаловаться не приходит-

ся, потому что они ничего дурного не делают и работают, словно у себя дома. Что ни говори, сударь, бедняки должны помогать друг другу... Войну-то ведь затевают богачи.

Корнюде был возмущен сердечным согласием, установившимся между победителями и побежденными, и ушел, предпочитая отсиживаться в трактире. Луазо заметил в шутку:

— Они содействуют размножению.

Господин Карре-Ламадон возразил серьезно:

— Они противодействуют опустошению.

Однако кучер все не появлялся. Наконец его нашли в деревенском кабаке, где он по-братски расположился за столиком с офицерским денщиком. Граф спросил:

— Разве вам не приказывали запрячь к восьми часам?

— Ну да, а потом приказали другое.

— Что такое?

— Вовсе не запрягать.

— Кто же вам дал такой приказ?

— Как кто? Прусский комендант.

— Почему?

— А я почем знаю? Спросите у него. Не велено запрягать, я и не запрягаю. Вот и все.

— Он сам сказал вам это?

— Нет, сударь, приказ мне передал от его имени трактирщик.

— А когда?

— Вчера вечером, перед тем как спать ложиться.

Трое путешественников вернулись в большой тревоге.

Решили вызвать г-на Фоланви, но служанка ответила, что из-за астмы хозяин никогда не встает раньше десяти. Он категорически запретил будить его раньше, разве что в случае пожара.

Хотели было повидаться с офицером, но это оказалось совершенно невозможным, хоть он и жил тут же в трактире; один только г-н Фоланви имел право говорить с ним по гражданским делам. Тогда решили подождать. Женщины разошлись по своим комнатам и занялись всякими пустяками.

Корнюде устроился в кухне под навесом очага, где пылал яркий огонь. Он велел принести сюда столик из трактирного зала, бутылку пива и вынул свою трубку, которая пользовалась среди демократов почти таким же уважением, как он сам, словно, служа Корнюде, она служила самой родине. То была превосходная пенковая трубка, чудесно обкуренная, такая же черная, как и зубы ее владельца, но душистая, изогнутая, блестящая,

послушная его руке и дополнявшая его облик. И он замер, устремляя взгляд то на пламя очага, то на пену, венчавшую пивную кружку, и с удовлетворением запускал после каждого глотка длинные костлявые пальцы в жирные длинные волосы и обсасывал бахрому пены с усов.

Под предлогом размять ноги Луазо отправился к местным розничным торговцам с предложением своего вина. Граф и фабрикант завели разговор о политике. Они прозревали будущность Франции. Один уповал на Орлеанов, другой на неведомого спасителя, на некоего героя, который объявится в минуту полной безнадежности: на какого-нибудь Дю Геклена, на Жанну д'Арк — почем знать? Или на нового Наполеона I? Ах, если бы императорский принц не был так юн! Слушая их, Корнюде улыбался с видом человека, которому ведомы тайны судеб. Его трубка благоухала на всю кухню.

Когда пробило десять часов, появился г-н Фоланви. Все бросились его расспрашивать, но он ограничился тем, что несколько раз без единого изменения повторил следующее:

— Офицер сказал мне так: «Господин Фоланви! Запретите кучеру закладывать карету для этих пассажиров. Я не хочу, чтобы они уезжали, пока я на это не дам особого разрешения. Поняли? Это все».

Тогда решено было повидаться с офицером. Граф послал ему свою визитную карточку, на которой г-н Карре-Ламадон приписал свою фамилию и все свои звания. Пруссак приказал ответить, что примет их после того, как позавтракает, то есть около часу.

Вошли дамы, и, несмотря на беспокойство, путешественники слегка перекусили. Пышка, казалось, была нездорова и сильно взволнована.

Когда кончили пить кофе, за графом и фабрикантом явился денщик.

Луазо присоединился к ним; пытались завербовать и Корнюде, чтобы придать посещению больше торжественности, но он гордо заявил, что не намерен вступать с немцами ни в какие сношения, и, потребовав еще бутылку пива, снова уселся у очага.

Трое мужчин поднялись на второй этаж и были введены в лучшую комнату трактира, где офицер принял их, развалясь в кресле, задрав ноги на камин, покуривая длинную фарфоровую трубку и кутаясь в халат огненного цвета, несомненно украденный в покинутом доме какого-нибудь буржуа, не отличавшегося вкусом. Он не встал, не поздоровался, даже не взглянул на них.

Это был великолепный образчик хамства, свойственного пруссаку-победителю.

Немного погодя он наконец сказал:

— Што фи хотите?

Граф взял слово:

— Мы хотели бы уехать, сударь.

— Нет.

— Осмелюсь узнать причину этого отказа?

— Потому што мне не укотно.

— Позволю себе, сударь, почтительнейше заметить, что ваш комендант дал нам разрешение на проезд до Дьеппа, и мне кажется, мы не сделали ничего такого, что могло бы вызвать столь суровые меры с вашей стороны.

— Мне не укотно... это фсе... мошете идти.

Все трое поклонились и вышли.

Конец дня прошел печально. Каприз немца был совершенно непонятен: каждому приходили в голову самые дикие мысли. Все сидели в кухне и без конца обсуждали положение, строя всякие неправдоподобные догадки. Быть может, их хотят оставить в качестве заложников? Но с какой целью? Или увезти как пленных? Или, вернее, потребовать с них крупный выкуп? При этой мысли они пришли в ужас. Больше всего перепугались самые богатые; они уже представляли себе, как им придется ради спасения жизни высыпать целые мешки золота в руки этого наглого солдафона. Они изо всех сил старались выдумать какую-нибудь правдоподобную ложь, скрыть свое богатство, выдать себя за бедных, очень бедных людей. Луазо снял с себя часовую цепочку и спрятал ее в карман. Надвигавшаяся темнота усилила страхи. Зажгли лампу, а так как до обеда оставалось еще часа два, г-жа Луазо предложила сыграть в тридцать одно. Это хоть немного развлечет всех. Предложение было принято. Даже Корнюде, погасив из вежливости трубку, принял участие в игре.

Граф стасовал карты, сдал, и у Пышки сразу же оказалось тридцать одно очко; интерес к игре вскоре заглушил опасения, тревожившие все умы. Но Корнюде заметил, что чета Луазо стакнулась и плутует.

Когда собрались обедать, снова появился г-н Фоланви и прохрипел:

— Прусский офицер велел спросить у мадемуазель Элизабет Руссе, не изменила ли она еще своего решения?

Пышка замерла на месте, сразу побледнев; потом она вдруг побагровела и захлебнулась от злости так, что не могла говорить. Наконец ее взорвало:

— Скажите этой гадине, этому пакостнику, этой прусской сволочи, что я ни за что не соглашусь, слышите — ни за что, ни за что, ни за что!

Толстяк трактирщик вышел. Тогда все окружили Пышку, стали ее расспрашивать, уговаривали поведать тайну своей встречи с офицером. Сначала она упиралась, однако раздражение взяло верх.

— Чего он хочет?.. Чего хочет? Он хочет спать со мной! — выкрикнула она.

Никого не смутили эти слова — настолько все были возмущены. Корнюде с такой яростью стукнул кружкой о стол, что она разбилась. Поднялся дружный вопль негодования против этого подлого солдафона, все дышали гневом, все объединились для сопротивления, словно каждый из них должен был соучаствовать в жертве, которой требовали от нее. Граф с отвращением заявил, что эти люди ведут себя не лучше древних варваров. В особенности женщины выражали Пышке горячее и ласковое сочувствие. Монахини, выходившие из своей комнаты только к столу, опустили головы и молчали.

Когда приступ бешенства улегся, кое-как принялись за обед; однако разговор не клеился: все размышляли.

Дамы рано разошлись по комнатам, а мужчины, оставшись покурить, затеяли игру в экарте и пригласили принять в ней участие г-на Фоланви, намереваясь искусно выведать у него, каким способом можно преодолеть сопротивление офицера. Но трактирщик думал лишь о картах, ничего не слушал, ничего не отвечал, а только твердил свое:

— Давайте же играть, господа, давайте играть!

Его внимание было так поглощено игрою, что он забывал даже плевать, отчего в груди его раздавалось порою протяжное гудение органа. Его свистящие легкие воспроизводили всю гамму астмы, начиная с торжественных басовых звуков и кончая хриплым криком молодого петуха, пробующего петь.

Он даже отказался идти спать, когда его жена, падавшая от усталости, пришла за ним. И она удалилась одна, потому что была «ранней пташкой», вставала всегда с восходом солнца, тогда как муж ее был «полуночник» и рад был просидеть с приятелями до утра. Он крикнул ей: «Поставь мне гоголь-моголь на печку!» — и продолжал игру. Когда стало ясно, что ничего выпытать у него не удастся, решили, что пора спать, и все разошлись по своим комнатам.

На другой день встали опять-таки довольно рано, смутно надеясь и еще пламеннее желая уехать, ужасаясь при мысли,

что придется снова провести день в этом отвратительном трактирчике.

Увы, лошади стояли в конюшне, кучер не показывался. От нечего делать стали бродить вокруг кареты.

Завтрак прошел невесело; чувствовалось некоторое охлаждение к Пышке, ибо под влиянием ночных размышлений взгляды несколько изменились. Теперь все почти досадовали на эту девицу за то, что она тайно не встретилась с пруссаком и не приготовила своим спутникам приятного сюрприза к их пробуждению. Казалось, что было бы проще? Да и кто бы об этом узнал? Для приличия она могла сказать офицеру, что делает это из жалости к своим пришедшим в отчаяние спутникам. А для нее это такой пустяк!

Но никто еще не сознавался в подобных мыслях.

В середине дня, когда все истомились от скуки, граф предложил совершить прогулку в окрестности. Маленькое общество, тщательно закутавшись, тронулось в путь, за исключением Корнюде, предпочитавшего сидеть у камелька, да монахинь, которые проводили дни в церкви или у кюре.

Холод, усиливавшийся день ото дня, жестоко щипал нос и уши; ноги так окоченели, что каждый шаг был мукой; а когда дошли до полей, их безграничный белый простор показался таким ужасающе зловещим, что у всех сразу похолодело в душе и стеснило сердце, и они повернули обратно. Все четыре женщины шли впереди, трое мужчин следовали за ними поодаль.

Луазо, прекрасно понимавший положение, спросил вдруг, долго ли еще им придется из-за «этой потаскухи» торчать в такой трущобе. Граф, неизменно учтивый, сказал, что нельзя требовать от женщины столь тягостной жертвы, что жертва эта может быть только добровольной. Г-н Карре-Ламадон заметил, что если французы предпримут, как об этом толковали, контрнаступление через Дьепп, то их столкновение с пруссаками произойдет не иначе как в Тоте. Эта мысль встревожила его собеседников.

— А что, если удрать пешком? — промолвил Луазо.

Граф пожал плечами:

— Да что вы! По такому снегу! Да еще с женами! Кроме того, за нами тотчас же пошлют погоню, поймают через десять минут и отдадут как пленников на произвол солдат.

Это было верно; все умолкли.

Дамы разговаривали о нарядах; но какая-то неловкость, казалось, разъединяла их.

Вдруг в конце улицы показался офицер. На фоне снегов, расстилавшихся до самого горизонта, вырисовывалась его долговязая фигура, напоминавшая осу в мундире; он шагал, выворачивая колена, характерной походкой военного, который старается не запачкать тщательно начищенных сапог.

Поравнявшись с дамами, он поклонился им и презрительно поглядел на мужчин, у которых, впрочем, хватило собственного достоинства не снять шляп, хотя Луазо и потянулся было к своему картузу.

Пышка покраснела до ушей, а три замужние женщины почувствовали глубокое унижение от того, что этот солдафон встретил их в обществе девицы, с которой он повел себя так бесцеремонно.

Заговорили о нем, о его фигуре и лице. Г-жа Карре-Ламадон, знававшая на своем веку многих офицеров и понимавшая в них толк, находила, что этот вовсе не так уж плох; она даже пожалела, что он не француз, так как из него вышел бы прекрасный гусар, который, несомненно, сводил бы с ума всех женщин.

Вернувшись с прогулки, все уже решительно не знали, чем заняться. Стали даже обмениваться колкостями по самому незначительному поводу. Обед прошел в молчании и длился недолго, а затем все отправились спать, чтобы как-нибудь убить время.

Когда на другой день путешественники сошли вниз, у всех на лицах была усталость, а на сердце злоба. Женщины почти не разговаривали с Пышкой.

Прозвучал колокол. Звонили к крестинам. У Пышки был ребенок, который воспитывался в Ивето у крестьян. Она виделась с ним едва ли раз в год, никогда о нем не вспоминала, но мысль о младенце, которого собираются крестить, внезапно вызвала в ее сердце бурный прилив нежности к собственному ребенку, и ей непременно захотелось присутствовать при обряде.

Едва она ушла, все переглянулись, потом придвинулись поближе друг к другу, так как чувствовали, что пора наконец что-нибудь предпринять. Луазо вдруг осенила мысль: он решил, что нужно предложить офицеру задержать одну Пышку и отпустить остальных.

Господин Фоланви согласился выполнить поручение, но почти тотчас же вернулся вниз: немец, зная человеческую природу, выставил его за дверь. Он намеревался задерживать всех путешественников до тех пор, пока его желание не будет удовлетворено.

Тут плебейская натура г-жи Луазо развернулась во всю ширь:

— Не сидеть же нам здесь до старости! Раз эта мерзавка занимается таким ремеслом и проделывает это со всеми мужчинами, какое же право она имеет отказывать кому бы то ни было? Скажите на милость! В Руане она путалась с кем попало, даже с кучерами! Да, сударыня, с кучером префектуры! Я-то отлично знаю,— он вино в нашем заведении берет. А теперь, когда нужно выручить нас из затруднительного положения, эта паршивка разыгрывает из себя недотрогу!.. По-моему, офицер ведет себя еще очень прилично. Быть может, он уже давно терпит лишение и, конечно, предпочел бы кого-нибудь из нас троих. А он все-таки довольствуется тою, которая к услугам всех и каждого. Он уважает замужних женщин. Подумайте только, ведь он здесь хозяин. Ему достаточно сказать: «Я желаю»,— и он при помощи солдат может силой овладеть нами.

Дамы слегка вздрогнули. Глаза хорошенькой г-жи Карре-Ламадон блестели, и она была несколько бледна, словно уже чувствовала, как офицер силой овладевает ею.

Мужчины, толковавшие в сторонке, подошли к дамам. Луазо бушевал и был готов выдать врагу «эту дрянь», связав ее по рукам и ногам. Но граф, имевший в своем роду три поколения посланников и сам с виду напоминавший дипломата, был сторонником искусного маневра.

— Надо ее переубедить,— заявил он.

Тогда составился заговор.

Женщины пододвинулись поближе, голоса понизились, разговор стал общим, каждый высказывал свое мнение. Впрочем, все обстояло очень прилично. В особенности дамы удачно находили деликатные выражения, очаровательно изысканные обороты для обозначения самых непристойных вещей. Посторонний ничего бы здесь не понял: до того осмотрительно подбирались слова. Но так как легкая броня целомудрия и стыдливости, в которую облекаются светские женщины, защищает их лишь для виду, все они наслаждались этим нескромным приключением, безумно забавлялись в душе, чувствуя себя в своей сфере, обделывая это любовное дельце с вожделением повара-лакомки, приготовляющего ужин для другого.

Веселость возвращалась сама собой, настолько забавна в конце концов была вся эта история. Граф вставлял довольно рискованные шутки, но делал это так тонко, что у всех вызывал улыбку. А Луазо отпустил несколько более крепких острот, однако ими тоже никто не возмутился; всеми владела мысль, гру-

бо выраженная его женою: «Раз у этой девки такое ремесло, с какой стати ей отказывать тому или другому?» Миловидная г-жа Карре-Ламадон, казалось, даже думала, что, будь она на месте Пышки, она скорее отказала бы кому-нибудь другому, чем этому офицеру.

Заговорщики долго обсуждали тактику осады, как будто речь шла о крепости. Каждый взял на себя определенную роль, условился, какие доводы ему пускать в ход, какие маневры осуществлять. Был выработан план атак, всяческих уловок, внезапных нападений, которые принудят эту живую крепость сдаться неприятелю. Один лишь Корнюде по-прежнему держался в стороне, не принимая участия в заговоре.

Общее внимание было настолько поглощено этой затеей, что никто не слышал, как вошла Пышка. Но граф прошептал: «Шш!» — и все подняли глаза. Она стояла перед ними. Все вдруг смолкли и, чувствуя некоторое замешательство, не решались сразу заговорить с нею. Графиня, более других искушенная в салонном двуличии, спросила ее:

— Что же, интересные были крестины?

Толстуха, все еще растроганная обрядом, описала все: и лица, и позы, и даже церковь. Она добавила:

— Иногда бывает так хорошо помолиться.

До завтрака дамы проявляли к ней особую предупредительность, надеясь заручиться ее доверием и добиться послушания.

Но как только сели за стол, началось наступление. Сперва завели отвлеченный разговор о самопожертвовании. Приводились примеры из древности — Юдифь и Олоферн, затем ни с того ни с сего — Лукреция и Секст, вспомнили Клеопатру, которая принимала к себе на ложе всех вражеских полководцев и приводила их к рабской покорности. Была даже рассказана возникшая в воображении этих миллионеров-невежд фантастическая история о римских гражданках, которые отправлялись в Капую убаюкивать в своих объятиях Ганнибала, а вместе с ним — его военачальников и целые фаланги наемников. Затем припомнили всех женщин, которые преградили путь завоевателям, сделав свое тело полем битвы, орудием господства, могучим оружием, покорили героическими ласками выродков или ненавистных тиранов и принесли свое целомудрие в жертву мести и патриотизму.

Поведали также в туманных выражениях об одной англичанке из аристократической семьи, привившей себе отвратительную заразную болезнь, чтобы передать ее Бонапарту, кото-

рого чудесным образом спасла внезапная слабость в минуту рокового свиданья.

Все это излагалось в приличной и сдержанной форме, и лишь изредка прорывался деланный восторг, рассчитанный на то, чтобы подстрекнуть к соревнованию.

В конце концов можно было бы подумать, что единственное назначение женщины на земле заключается в вечном самопожертвовании, в беспрестанном подчинении прихотям солдатни.

Монахини, казалось, были погружены в глубокое раздумье и ничего не слышали. Пышка молчала.

Ей предоставили на размышление целый день. Но теперь ее уже не величали, как прежде, «мадам»; ей говорили просто «мадемуазель», хотя никто не знал хорошенько, почему именно; вероятно, для того, чтобы подчеркнуть, что она уже несколько утратила уважение, которого ей удалось добиться, и чтобы дать ей почувствовать постыдность ее ремесла.

Как только подали суп, опять появился г-н Фоланви и повторил вчерашнюю фразу:

— Прусский офицер спрашивает, не изменила ли мадемуазель Элизабет Руссе своего решения.

Пышка сухо ответила:

— Нет.

Но за обедом коалиция стала слабеть. У Луазо вырвалось несколько неосторожных фраз. Каждый из кожи лез, стараясь выдумать новый пример, и ничего не находил, как вдруг графиня, быть может не преднамеренно, а просто в смутном желании воздать должное религии, обратилась к старшей монахине, коснувшись поучительных примеров из житий святых. Ведь многие святые совершали деяния, которые в наших глазах были бы преступлениями, но церковь легко прощает эти прегрешения, если они совершены во славу божию или на пользу ближнему. Это был могучий довод; графиня воспользовалась им. И вот, то ли в силу молчаливого соглашения, завуалированного попустительством, которое так свойственно всем духовным лицам, то ли в силу счастливого недомыслия, спасительной глупости, старая монахиня оказала заговору огромную поддержку. Ее считали застенчивой, она же показала себя смелой, речистой, резкой. Ее не смущали казуистические тонкости; ее убеждения были подобны железному посоху; вера ее была непреклонна; совесть ее не знала сомнений. Она считала жертвоприношение Авраама вполне естественным, ибо сама немедленно убила бы отца и мать, получив указание свыше; никакой поступок, по ее мнению, не может прогневать господа, если похвально руководившее нами

намерение. Графиня, желая извлечь как можно больше пользы из духовного авторитета своей неожиданной союзницы, вызвала ее на поучительное толкование нравственной аксиомы: «Цель оправдывает средства».

Она задавала ей вопросы:

— Итак, сестра, вы считаете, что бог приемлет все пути и прощает поступок, если побуждение чисто?

— Как можно сомневаться в этом, сударыня? Нередко поступок, сам по себе достойный порицания, становится похвальным благодаря намерению, которое его вдохновляет.

И они продолжали в этом духе, стараясь распознать волю господа бога, предвидя его решения, приписывая ему вмешательство в дела, которые, право же, совсем его не касаются.

Все это преподносилось замаскированно, ловко, пристойно. Но каждое слово праведницы в монашеском уборе пробивало брешь в негодующем сопротивлении куртизанки. Потом разговор несколько отклонился в сторону, и женщина с четками в руках заговорила о монастырях своего ордена, о своей настоятельнице, о самой себе и о своей милой соседке, возлюбленной сестре общины св. Никифора. Их вызвали в Гавр, чтобы ухаживать в госпиталях за солдатами, среди которых свирепствует оспа. Она рассказывала об этих несчастных, подробно описывала болезнь. И в то время как по прихоти этого пруссака их задерживают в пути, сколько умрет французов, которых они, быть может, спасли бы! Лечить военных было ее специальностью; она побывала в Крыму, в Италии, в Австрии; повествуя о своих походах, она вдруг показала себя монахиней воинственного типа, какие словно для того и созданы, чтобы следовать за войском, подбирать раненых в разгар сражения и лучше любого начальника с первого слова укрощать непокорных вояк; это была настоящая сестра «Трам-тарарам»; и ее изуродованное, изрытое бесчисленными рябинами лицо являлось как бы образом разрушений, причиняемых войной.

После нее никто не проронил ни слова — таким бесспорным казался произведенный ею эффект.

Тотчас же после еды все поспешили разойтись по комнатам и вышли лишь на другое утро довольно поздно.

Завтрак прошел спокойно. Выжидали, чтобы семена, посеянные накануне, проросли и дали плоды.

Среди дня графиня предложила совершить прогулку; тогда граф, как было условлено заранее, взял Пышку под руку и пошел с нею, немного отстав от остальных.

Он говорил с нею фамильярным, отеческим, немного пре-

небрежительным тоном, каким солидные мужчины разговаривают с публичными девками, называл ее «мое дорогое дитя», снисходя к ней с высот своего социального положения, своего непреложного достоинства. Он сразу же приступил к сути дела:

— Итак, вы готовы держать нас здесь и подвергать, как и себя, опасности всевозможных насилий, неизбежных в случае поражения прусской армии, только бы не проявить снисходительность, какую проявляли в своей жизни столько раз?

Пышка ничего не ответила.

Он действовал на нее лаской, доводами, чувствительностью. Он сумел держаться «графом» и в то же время быть галантным, обольстительным, рассыпаясь в комплиментах. Он превозносил услугу, которую она могла бы им оказать, говорил об их признательности, а потом вдруг весело обратился к ней на «ты»:

— И знаешь, дорогая, он вправе будет хвастаться, что полакомился такой хорошенькой девушкой, каких немного найдется у него на родине.

Пышка ничего не ответила и тут же догнала остальных.

Вернувшись домой, она сразу поднялась к себе в комнату и больше не выходила. Всеобщее беспокойство достигло крайних пределов. На что она решится? Если она будет упорствовать — беда!

Настал час обеда; ее тщетно дожидались. Наконец явился г-н Фоланви и объявил, что мадемуазель Руссе не совсем здорова и можно садиться за стол без нее. Все насторожились. Граф подошел к трактирщику и шепотом спросил:

— Согласилась?

— Да.

Из приличия он ничего не сказал своим попутчикам, а только слегка кивнул им головой. Тотчас же у них вырвался глубокий вздох облегчения, все лица просияли. Луазо закричал:

— Тра-ля-ля-ля! Плачу за шампанское, если таковое имеется в сем заведении.

И у г-жи Луазо сжалось сердце, когда хозяин вернулся с четырьмя бутылками в руках. Все вдруг стали общительными и шумливыми; сердца взыграли бурным весельем. Граф, казалось, впервые заметил, что г-жа Карре-Ламадон прелестна; фабрикант начал ухаживать за графиней. Разговор сделался оживленным, бойким, засверкал остроумием.

Вдруг Луазо сделал испуганное лицо и, воздев руки, завопил:

— Тише!

Все смолкли в удивлении и даже в испуге. Тогда он прислушался, жестом обеих рук призвал к молчанию, поднял глаза к потолку, снова насторожился и проговорил обычным голосом:

— Успокойтесь, все в порядке.

Никто не решался показать, что понял, о чем идет речь, но улыбка мелькнула на всех лицах.

Через четверть часа он повторил ту же шутку и в течение вечера возобновлял ее несколько раз; он делал вид, будто обращается к кому-то на верхнем этаже, и давал тому двусмысленные советы, которые черпал из запасов своего коммивояжерского остроумия. Порою он напускал на себя грусть и вздыхал: «Бедная девушка!» — или свирепо цедил сквозь зубы: «Ах, подлый пруссак!» Несколько раз, когда, казалось, никто уже не думал об этом, он начинал вопить дрожащим голосом: «Довольно! Довольно!» — и добавлял, словно про себя: «Только бы нам снова ее увидеть; только бы этот негодяй не уморил ее!»

Хоть шутки и были самого дурного тона, они забавляли общество и никого не коробили, потому что и негодование, как и все остальное, зависит от окружающей среды; атмосфера же, постепенно создавшаяся в трактире, была насыщена фривольными мыслями.

За десертом сами женщины стали делать сдержанные игривые намеки. Глаза у всех разгорелись: выпито было много. Граф, сохранявший величественный вид даже в тех случаях, когда позволял себе вольности, сравнил их положение с окончанием зимовки на полюсе, а их чувства — с радостью людей, которые, потерпев кораблекрушение, видят, что наконец им открывается путь на юг; слова его имели шумный успех.

Расходившийся Луазо встал с бокалом в руке:

— Пью за наше освобождение!

Все поднялись и подхватили его возглас. Даже монахини поддались уговору дам и согласились пригубить пенистого вина, которого они еще никогда в жизни не пробовали. Они объявили, что оно похоже на шипучий лимонад, только гораздо вкуснее.

Луазо подвел итоги:

— Какая досада, что нет фортепьяно, хорошо бы кадриль отхватить!

Корнюде не проронил ни слова, не пошевельнулся, он был погружен в мрачное раздумье и по временам негодующе теребил свою длинную бороду, словно желая еще удлинить ее. Наконец около полуночи, когда стали расходиться, Луазо, еле державшийся на ногах, неожиданно хлопнул его по животу и сказал заплетающимся языком:

— Что это вы сегодня не в ударе? Что это вы все молчите, гражданин?

Корнюде порывисто поднял голову и, окинув всех сверкающим, грозным взглядом, бросил:

— Знайте, что все вы совершили подлость!

Он встал, направился к двери, еще раз повторил: «Да, подлость!» — и скрылся.

Сперва всем сделалось неловко. Озадаченный Луазо стоял, разинув рот; потом к нему вернулась обычная самоуверенность, и он вдруг захохотал, приговаривая:

— Зелен виноград, старина, зелен!

Так как никто не понимал, в чем дело, он поведал «тайны коридора». Последовал взрыв бурного смеха. Дамы веселились как безумные. Граф и г-н Карре-Ламадон хохотали до слез. Им это казалось невероятным.

— Как? Вы уверены? Он хотел...

— Да говорю же вам, что сам видел.

— И она отказала?..

— Потому что пруссак находился в соседней комнате.

— Быть не может!

— Клянусь вам!

Граф задыхался. Фабрикант обеими руками держался за живот. Луазо продолжал:

— Понятно, что сегодня вечером ему совсем, совсем не до смеха.

И все трое снова принимались хохотать до колик, до одышки, до слез.

На этом разошлись. Однако г-жа Луазо, особа ехидная, ложась спать, заметила мужу, что «эта гадюка», г-жа Карре-Ламадон, весь вечер смеялась через силу.

— Знаешь, когда женщина без ума от мундира, ей, право же, все равно, носит ли его француз или пруссак!.. Жалкие твари, прости господи!

И всю ночь напролет во мраке коридора слышались слабые шелесты, шорохи, вздохи, легкие шаги босых ног, едва уловимые скрипы. Постояльцы заснули, несомненно, очень поздно, потому что под дверями долго скользили тонкие полоски света. От шампанского это порою бывает; оно, говорят, тревожит сон.

На другой день снега ослепительно сверкали под ярким зимним солнцем. Запряженный дилижанс наконец-то дожидался у ворот, а множество белых голубей, раздувавших пышное оперенье, розовоглазых, с черными точками зрачков, важно разгу-

ливали под ногами шестерки лошадей, разбрасывали лапками дымящийся навоз и искали в нем корм.

Кучер, укутавшись в овчину, покуривал на козлах трубку, а сияющие пассажиры поспешно укладывали провизию на дорогу.

Ждали только Пышку. Наконец она появилась.

Она была взволнована, смущена и робко подошла к своим спутникам, но все, как один, отвернулись, будто не замечая ее. Граф с достоинством взял жену под руку и отвел в сторону, чтобы оградить ее от нечистого прикосновения.

Толстуха в изумлении остановилась, потом, собравшись с духом, подошла к жене фабриканта и смиренно пролепетала:

— Здравствуйте, сударыня.

Та едва заметно, надменно кивнула головой и бросила на нее взгляд оскорбленной добродетели. Все делали вид, будто очень заняты, и держались как можно дальше от Пышки, точно в юбках своих она принесла заразу. Затем все бросились к дилижансу; она вошла последней и молча уселась на то же место, что занимала в начале пути.

Ее, казалось, больше не замечали, не узнавали; только г-жа Луазо, с негодованием посмотрев на нее издали, сказала мужу вполголоса:

— Какое счастье, что я сижу далеко от нее.

Тяжелая карета тронулась, и путешествие возобновилось.

Сначала все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она одновременно и негодовала на своих соседей, и чувствовала, что унизилась, уступив им, что осквернена поцелуями пруссака, в объятия которого ее толкнули эти лицемеры.

Но вскоре графиня, обратившись к г-же Карре-Ламадон, прервала тягостное молчание:

— Вы, кажется, знакомы с госпожою д'Этрель?

— Да, мы с ней приятельницы.

— Какая прелестная женщина!

— Очаровательная! Вот уж поистине избранная натура, и к тому же такая образованная, да еще артистка до мозга костей; она восхитительно поет и чудесно рисует.

Фабрикант беседовал с графом, и сквозь грохот оконниц порою слышались слова: «Купон — платеж — доход — в срок».

Луазо, стянувший в трактире колоду карт, засаленных за пять лет игры на плохо вытертых столах, затеял с женою партию в безик.

Монахини взялись за длинные четки, свисавшие у них с пояса, одновременно перекрестились, и вдруг губы их проворно

задвигались, заспешили, все ускоряя невнятный шепот, словно соревнуясь в быстроте молитвы; время от времени они целовали образок, снова крестились, затем опять продолжали торопливое и непрерывное бормотанье.

Корнюде задумался и сидел не шевелясь.

После трех часов пути Луазо собрал карты и заявил:

— Не худо бы закусить.

Тогда жена его достала перевязанный бечевкою сверток и вынула оттуда кусок телятины. Она аккуратно разрезала его на тонкие ломтики, и супруги принялись за еду.

— Не последовать ли и нам их примеру? — спросила графиня.

Получив согласие, она развернула провизию, заготовленную для обеих супружеских пар. Это были сочные копчености, лежавшие в одной из тех продолговатых фаянсовых мисок, у которых на крышке изображен заяц, указывающий, что здесь покоится заячий паштет: белые ручейки сала пересекали коричневую мякоть дичи, смешанной с другими мелко нарубленными сортами мяса. На превосходном куске швейцарского сыра, вынутого из газеты, виднелось слово: «Происшествия», отпечатавшееся на его маслянистой поверхности.

Монахини развернули кольцо колбасы, пахнувшей чесноком, а Корнюде засунул разом обе руки в глубокие карманы своего мешковатого пальто и вынул из одного четыре крутых яйца, а из другого краюху хлеба. Он облупил яйца, бросил скорлупу себе под ноги на солому и стал откусывать яйцо, роняя на длинную бороду крошки, которые желтели на ней, как звездочки.

В суете и растерянности утреннего пробуждения Пышка не успела ни о чем позаботиться и теперь, задыхаясь от досады и ярости, смотрела на этих невозмутимо жующих людей. Сперва ее охватила бурная злоба, и она открыла было рот, чтобы выложить им все напрямик в потоке брани, подступавшей к ее губам, но возмущение так душило ее, что она не могла вымолвить ни слова.

Никто не смотрел на нее, никто о ней не думал. Она чувствовала, что ее захлестывает презрение этих честных мерзавцев, которые сперва принесли ее в жертву, а потом отшвырнули, как ненужную грязную тряпку. Тут ей вспомнилась ее большая корзина, битком набитая всякими вкусными вещами, которые они так прожорливо уничтожили, вспомнились два цыпленка в блестящем желе, паштеты, груши, четыре бутылки бордоского; ее ярость вдруг стихла, как слишком натянутая и лопнувшая струна, и она почувствовала, что вот-вот расплачется. Она

делала невероятные усилия, чтобы сдержаться, глотала слезы, как ребенок, но они подступали к глазам, поблескивали на ресницах, и вскоре две крупные слезинки медленно покатились по ее щекам. За ними последовали другие, более проворные; они бежали словно капли воды, стекающей по утесу, и равномерно падали на крутой выступ ее груди. Пышка сидела прямо, с застывшим, бледным лицом, глядя в одну точку, надеясь, что на нее никто не обратит внимания.

Но графиня заметила ее слезы и жестом указала на нее мужу. Он пожал плечами, как бы говоря: «Что ж поделаешь, я тут ни при чем». Г-жа Луазо беззвучно, но торжествующе засмеялась и прошептала:

— Она оплакивает свой позор.

Монахини, завернув в бумажку остатки колбасы, снова принялись за молитвы.

Тогда Корнюде, переваривая съеденные яйца, протянул длинные ноги под скамейку напротив, откинулся, скрестив руки, улыбнулся, как будто придумал удачную шутку, и стал насвистывать «Марсельезу».

Все нахмурились. Народная песня, видимо, была вовсе не по душе его соседям. Они стали нервничать, злиться и, казалось, готовы были завыть, как собаки, заслышавшие шарманку. Он заметил это и уже не прекращал свиста. Порою он даже напевал слова:

Любовь к отечеству святая!
Дай месть властвовать душой,
Веди, свобода дорогая,
Твоих защитников на бой! [1]

Ехали теперь быстрее, так как снег стал более плотным; и до самого Дьеппа, в течение долгих унылых часов пути и нескончаемой тряски по ухабистой дороге, в вечерних сумерках, а затем в глубоких потемках, он с ожесточенным упорством продолжал свой мстительный однообразный свист, принуждая усталых и раздраженных спутников следить за песнею от начала до конца, припоминать соответствующие слова и сопровождать ими каждый такт.

А Пышка все плакала, и порою, между двумя строфами, во тьме прорывались рыдания, которых она не могла сдержать.

---

[1] Перевод Г. А. Шенгели.

Ивану Тургеневу.

Дань глубокой признательности и величайшего восхищения

I

Туда заходили каждый вечер, часам к одиннадцати, просто, как заходят в кафе.

Постоянными посетителями были человек пять-шесть, и не какие-нибудь кутилы, а, напротив, все люди солидные, коммерсанты и юноши из хороших семей; попивали шартрез, заигрывали с девицами или вели серьезные беседы с хозяйкой, которая пользовалась всеобщим уважением.

Затем к полуночи расходились по домам. Молодые люди иногда оставались до утра.

Заведение помещалось в небольшом приличного вида особнячке, выкрашенном в желтый цвет и выходившем на угол улицы, позади церкви Сент-Этьен; из окон виднелся док, где разгружалась целая флотилия судов, большое солончаковое болото, именуемое «Запрудой», а за ним — берег св. Девы, с ветхой серенькой часовней.

Мадам была родом из честной крестьянской семьи департамента Эр и взялась за новую профессию совершенно так же, как пошла бы в модистки или белошвейки. Столь властный и живучий в городах предрассудок, почитающий проституцию бесчестием, не существует в нормандской деревне. Крестьянин говорит: «Что же, дело хорошее»,— и посылает свою дочь держать заведение для девок точно так же, как послал бы ее управлять пансионом для девиц.

Впрочем, дом перешел к г-же Телье по наследству от дяди, прежнего владельца этого заведения. Мадам и ее муж, раньше содержавшие близ Ивето постоялый двор, поспешили сбыть его с рук, рассудив, что новое дело доходнее, в один прекрасный день прибыли в Фекан и вступили во владение предприятием, которое едва было не захирело без хозяйского глаза.

Были они славные люди, и вскоре не только персонал, но и соседи полюбили их.

Через два года г-н Телье умер от удара. Его новая профессия располагала к неподвижности, лености, он чрезмерно разжирел, и переизбыток здоровья оказался для него губительным.

Со времени вдовства мадам домогались многие завсегдатаи дома, но без успеха — не напрасно она слыла женщиной безупречного поведения, и даже сами девушки ничего худого не могли за ней подметить.

Она была высокая, дородная собой, видная. Лицо ее побледнело в полутьме вечно закупоренного дома и жирно лоснилось, будто налакированное. Небольшая накладка фальшивых волос, завитых в кудряшки, обрамлявшая лоб, придавала мадам молодящийся вид, что не вязалось с пышной зрелостью форм. Веселая, приветливая, она любила пошутить, но знала меру — этого новая профессия еще не успела искоренить в ней. Грубые словечки всякий раз ее немного коробили, и когда какой-нибудь мужлан называл настоящим именем заведение, которым она правила, она сердилась, негодовала. Словом, душа у нее была тонкая, и хоть она и обращалась со своими девушками по-дружески, все же любила при случае напомнить, что она с ними «свиней не пасла».

Иногда среди недели она выезжала за город в наемной карете, прихватив с собой часть своей команды, и девицы резвились на травке у реки, затерявшейся в глубине Вальмонского леса. Настоящие пикники вырвавшихся на волю пансионерок: сумасшедшая беготня, ребяческие игры, все радости затворниц, опьяненных воздухом полей. Растянувшись на траве, закусывали ветчиной, выпивали по стаканчику сидра и возвращались домой уже в сумерках, приятно разнежившись, чувствуя во всем теле блаженную истому; и в карете девушки целовали мадам, как добрую, снисходительную мать-баловницу.

Дом имел два входа. С угла по вечерам открывал свои двери подозрительного вида кабачок для простонародья и матросов. В распоряжение такого рода клиентов были выделены две девицы. С помощью слуги, именовавшегося Фредериком,— коренастого, здоровенного, как бык, безбородого блондина, девушки

подавали вино и пиво на колченогие мраморные столики: они усаживались к гостю на колени и, обняв его за шею, подбивали на кутеж.

Три другие девицы (всего их было пять) составляли своего рода аристократию дома — их держали для постоянных посетителей салона, однако отпускали вниз, если там был большой наплыв, а верхний этаж пустовал.

В «салоне Юпитера», где собирались местные буржуа, на стене, оклеенной голубыми обоями, красовалась огромная литография, изображавшая нагую Леду, распростертую под лебедем. На второй этаж попадали прямо с улицы по витой лестнице, через узкую неприметную дверь, над которой всю ночь за решеткой горел небольшой фонарь,— такие фонарики зажигают еще и поныне в провинциальных городах перед каменными мадоннами в стенных нишах.

Дом, сырой и старый, слегка отдавал плесенью. Временами запах дешевых духов проносился по коридору или сквозь полуоткрытые двери кабачка врывались, как громовые раскаты, голоса оравших внизу гостей, они долетали во все углы дома, и на лицах господ из второго этажа появлялась гримаса тревоги и гадливости.

Мадам поддерживала приятельские отношения с завсегдатаями дома, проводила все свое время в салоне, выслушивая от гостей последние городские новости. Ее степенная беседа вносила приятное разнообразие в бессвязную болтовню девиц и служила отдохновением от фривольных разговоров жирных буржуа, которые ежевечерне разрешали себе благопристойный и безобидный разгул: выпить рюмочку ликера в обществе публичной девки.

Трех дам со второго этажа звали Фернанда, Рафаэла и Роза Шельма.

Малочисленность персонала требовала, чтобы каждая девица являла собой своего рода образчик, собирательный тип, дабы любой потребитель мог найти здесь хотя бы отдаленное воплощение своего идеала.

Фернанда изображала «прекрасную блондинку». Это была рослая, полная, даже тучная женщина с рыхлым телом,— настоящая дочь полей; круглый год у нее не сходили с лица веснушки, а волосы, короткие, светлые, какие-то вылинявшие, напоминали расчесанный лен, и сквозь редкие их пряди просвечивала кожа.

Рафаэла, родом из Марселя, портовая шлюха, тощая, с выдающимися, грубо нарумяненными скулами, играла обяза-

тельную в каждом публичном доме роль «прекрасной еврейки». Ее черные волосы, лоснящиеся от помады, завивались у висков колечками. Глаза были бы красивы, если бы правый не портило бельмо. Крючковатый нос нависал над выступающей челюстью, два вставных зуба ярко-белым пятном выделялись на фоне остальных, почерневших от времени, как мореный дуб.

Роза Шельма, кругленькая как шарик, словно вся состоявшая из живота на двух коротеньких ножках, с утра до вечера распевала надтреснутым голоском куплеты, то скабрезные, то чувствительные, и рассказывала нескончаемые бессмысленные истории, прерывая болтовню только ради еды, а еду ради болтовни; целый день она была в движении, ловкая как белка, несмотря на свою толщину и ноги культышками; ее смех — каскад визгливых вскриков — раздавался то в том, то в другом углу дома, в комнатах, на чердаке, в кафе, повсюду и без всякого повода.

Две девушки с нижнего этажа — Луиза, или Цыпка, и Флора, прозванная «Качалка», потому что она прихрамывала,— напоминали вырядившихся для карнавала судомоек: одна была обычно одета «Свободой», с трехцветным поясом, другая — в нелепый костюм испанки с медными цехинами, которые подпрыгивали в ее морковно-рыжей шевелюре при каждом ковыляющем шаге. По виду обе нижние девицы были настоящие трактирные служанки, ни красивые, ни уродливые, похожие на любую женщину из простонародья, и в порту их прозвали «Два Насоса».

Между этими пятью женщинами царил ревнивый мир, который нарушался редко благодаря всепримиряющей мудрости мадам и ее неизменно хорошему расположению духа.

Заведение, единственное в городке, усердно посещалось. Мадам умела придать дому такую благопристойность, была так любезна, предупредительна со всеми, так славилась своей добротой, что снискала себе даже известное уважение. Гости старались ей угодить, торжествовали, если им удавалось заслужить какой-нибудь знак внимания с ее стороны, и днем, встречаясь по делам, говорили друг другу: «Итак, до вечера, встретимся там же»,— как говорят: «Сегодня вечером — в кафе, хорошо?»

Одним словом, заведение Телье было прибежищем для души, и редко кто из завсегдатаев пропускал каждодневные встречи.

Но однажды вечером, в конце мая, г-н Пулен, торговец лесом, бывший мэр, явившись первым, обнаружил, что дверь заперта. Маленький фонарик за решеткой не был зажжен, изнутри не доносилось ни звука, дом точно вымер. Г-н Пулен постучался,

сначала тихо, потом посильнее; никто не ответил. Тогда он медленно побрел по улице и на рыночной площади встретил г-на Дювера, судовладельца, который направлялся туда же. Они повторили попытку, но столь же безуспешно. Вдруг совсем рядом послышался оглушительный шум; обогнув дом, они увидели толпу английских и французских матросов, которые барабанили кулаками в закрытые ставни кабачка.

Оба буржуа пустились было наутек, боясь попасть в какую-нибудь историю. Вдруг кто-то тихо окликнул их. Это был г-н Турнево, рыбник, который, узнав из их уст о случившемся, огорчился еще больше, чем они; будучи человеком женатым, отцом семейства, г-н Турнево находился под строгим домашним надзором и посещал заведение Телье только по субботам securitatis causa [1], как он любил говорить, намекая на деятельность периодического санитарного контроля, тайны которого рыбнику открыл его друг, доктор Борд. Сегодня как раз был его вечер, и, таким образом, г-н Турнево лишался удовольствия на целую неделю.

Трое мужчин, сделав большой крюк, дошли до набережной и встретили по дороге юного г-на Филиппа, сына банкира, тоже завсегдатая дома, и г-на Пемпесса, сборщика налогов. Все вместе они вернулись по Еврейской улице — в последний раз попытать счастье. Но рассвирепевшие матросы устроили настоящую осаду дома — швыряли камни, ревели во всю глотку, и пятеро посетителей верхнего этажа, поспешно ретировавшись, отправились бродить по улицам.

Они встретили г-на Дюпюи, страхового агента, потом г-на Васса, члена коммерческого суда, и началась долгая прогулка, которая привела их к молу. Они уселись в ряд на гранитном парапете и стали глядеть, как плещутся волны. Пена, покрывавшая гребни волн, вспыхивала во мраке ослепительной белизной и угасала, едва возникнув, и на всем протяжении каменистого берега не стихал в ночной тишине монотонный гул моря, бившегося о скалы. Опечаленные странники сидели некоторое время в молчании, наконец г-н Турнево заявил: «Да, не весело...» — «Какое уж там!» — откликнулся г-н Пемпесс, и они медленно двинулись в обратный путь.

Миновав улицу, которая шла вдоль берега и звалась «Лесной», они перешли по деревянному мосту через запруду, пересекли железнодорожное полотно и снова очутились на Рыночной площади. Здесь между сборщиком налогов, г-ном Пемпессом, и

[1] Ради безопасности *(лат.)*.

рыбником, г-ном Турнево, внезапно вспыхнула ссора, так как г-н Пемпесс заявил, будто ему удалось найти съедобный гриб в окрестностях города.

Скучающие и раздраженные, оба, чего доброго, от слов перешли бы к действиям, если бы не вмешались остальные. Пемпесс в бешенстве удалился, и тотчас же началась перепалка между мэром, г-ном Пуленом, и страховым агентом, г-ном Дюпюи, по поводу жалованья сборщиков податей и побочных доходов, которые те при желании могут иметь. С обеих сторон уже сыпались оскорбительные попреки, как вдруг разразилась буря неистовых криков, и толпа матросов, истомившихся в напрасном ожидании у запертого дома, хлынула на площадь. Они шли попарно, рука об руку, длинной вереницей, и дико горланили. Компания буржуа укрылась в первых попавшихся воротах, но ревущая ватага исчезла в направлении монастыря. И еще долго слышался гул, он затихал постепенно, как удаляющаяся гроза, и вновь воцарилась тишина.

Господин Пулен и г-н Дюпюи разошлись в разные стороны, даже не попрощавшись,— они готовы были растерзать друг друга.

Оставшаяся четверка тронулась было в обратный путь, но машинально снова повернула к дому Телье. Он был по-прежнему заперт, безмолвен, недоступен. Только какой-то пьяный с тихим упорством легонько стучал в двери кабака, потом, отчаявшись, вполголоса окликал слугу Фредерика и снова начинал стучать. Видя, что никто не отвечает, пьяный в конце концов уселся на ступеньки и решил выжидать ход событий.

Буржуа уже собрались уходить, как вдруг в конце улицы опять показалась ревущая ватага. Французские матросы орали «Марсельезу», английские — «Rule Britannia». Вся банда пошла приступом на стены запертого дома, затем вернулась на набережную, где разгорелся бой между матросами двух наций. В драке одному англичанину сломали руку, а французу разбили нос. Пьяный, все еще сидевший под дверью, теперь плакал, как плачут только пьяницы или обиженные дети.

Буржуа наконец разошлись по домам.

Мало-помалу в потревоженном городе воцарилось спокойствие. Лишь кое-где раздавался шум голосов и постепенно затихал в отдалении.

Один только человек все еще бродил по улицам. Это был г-н Турнево, рыбник, глубоко опечаленный тем, что приходилось дожидаться следующей субботы; он надеялся, сам не зная на что, он уже ничего не понимал, он клял полицию, позво-

ляющую ни с того ни с сего закрывать столь полезное общественное заведение, которое она сама призвана держать под наблюдением и охраной.

Он вернулся обратно к дому мадам Телье, обшарил все стены, доискиваясь разгадки, и вдруг заметил, что к ставне приклеено какое-то объявление. Он живо зажег спичку и прочел выведенные крупным неровным почерком слова: *«Закрыто по случаю первого причастия»*.

Тогда он удалился, поняв наконец, что все пропало.

Пьяный уже спал, растянувшись во весь рост перед негостеприимной дверью.

И наутро все обычные посетители, один за другим, под разными благовидными предлогами, ухитрились пройти по улице, для приличия держа под мышкой бумаги, и краем глаза каждый прочел загадочное уведомление: *«Закрыто по случаю первого причастия»*.

II

Дело в том, что у мадам был брат, столяр, живший в их родных местах, в Вирвиле, в департаменте Эр. Еще в те поры, когда мадам держала постоялый двор в Ивето, она крестила у брата дочку, которую нарекли Констанса, Констанса Риве, ибо девичья фамилия мадам была Риве. Столяр, зная, что его сестра занимает хорошее положение, не терял ее из виду, хотя встречались они не часто, так как оба были люди занятые, да и жили далеко друг от друга. Но в этом году девочке исполнилось двенадцать лет, она должна была идти к первому причастию, и столяру представился удобный случай возобновить родственные отношения. Он написал сестре, что рассчитывает на ее присутствие при церемонии. Деда и бабки уже не было в живых, отказать своей крестнице мадам Телье не могла и приняла приглашение. Ее брат, Жозеф, надеялся, что, уважив сестру, он сумеет, быть может, добиться завещания в пользу девочки, так как мадам была бездетна.

Ремесло сестры отнюдь не смущало его, да, впрочем, у них на родине никто ничего толком не знал. Упоминая о ней, говорили просто: «Мадам Телье живет теперь своим домом в Фекане»,— что позволяло думать, будто живет она на ренту. От Фекана до Вирвиля насчитывается миль двадцать, не меньше, а крестьянину двадцать миль преодолеть труднее, чем человеку цивилизованному пересечь океан. Жители Вирвиля никогда не заезжали дальше Руана, а жителей Фекана ничем не могла

привлечь какая-то деревня в полсотни дворов, затерянная среди полей и принадлежавшая к другому департаменту. Так никто ничего и не знал.

Но чем ближе был день причастия, тем больше волновалась мадам. Помощницы она не имела, а оставить заведение без присмотра хотя бы на сутки нечего было даже и думать. В ее отсутствие непременно разгорится давняя вражда между девицами из верхнего и нижнего этажа; сам Фредерик наверняка напьется. А когда он пьян, то готов крушить людей ни за что ни про что. В конце концов она решила взять с собой всех девушек, а Фредерика отпустить до понедельника.

Она списалась с братом, и он охотно согласился принять и устроить на ночь всю компанию. И вот, в субботу утром, скорый восьмичасовой поезд увозил в вагоне второго класса мадам и ее спутниц.

До Безевиля они ехали в купе одни и стрекотали, как сороки. Но тут в вагон вошла чета крестьян. Старик был в синей блузе с воротником в складку и широкими, схваченными у кисти рукавами, вышитыми белым крестиком; старомодный цилиндр порыжел, и ворс на нем торчал, как щетина; в одной руке старик держал огромный зеленый зонтик, а в другой — большую корзину, из которой выглядывали три испуганные утиные головы. Жена его, прямая и словно окаменевшая в своем деревенском наряде, с востреньким, как клюв, носиком, походила на курицу. Она уселась напротив мужа и замерла на месте, ошеломленная столь блестящим обществом.

И в самом деле, купе сияло яркими красками. Мадам, вся с головы до ног в голубом шелку, еще накинула на плечи шаль из поддельного французского кашемира: красную, ослепительную, огнеподобную...

Фернанда задыхалась в платье из шотландки, корсаж его, с трудом затянутый на ней подругами, вздымал двойной зыбкий купол ее грудей, непрерывно, словно жидкость, колыхавшихся под клетчатой тканью.

Рафаэла, в шляпе с перьями, похожей на птичье гнездо, щеголяла в лиловом туалете, усеянном золотыми блестками, что-то в восточном вкусе, весьма подходившем к ее еврейскому типу.

Роза Шельма в розовой юбке с широкими оборками казалась не то тучной карлицей, не то чрезмерно разжиревшим ребенком, а оба «Насоса», должно быть, выкроили свои причудливые наряды из старых оконных занавесок, узорчатых занавесок времен Реставрации.

Как только в купе появились посторонние, дамы приняли степенный вид и начали говорить о возвышенных предметах, желая внушить о себе доброе мнение. Но в Больбеке сел господин с белокурыми бакенбардами, с множеством перстней и золотой цепочкой. Он положил в сетку несколько пакетов, завернутых в клеенку. Видно было, что это шутник и добрый малый. Он поклонился и с улыбкой развязно спросил:

— Дамы меняют гарнизон?

Этот вопрос поверг всю компанию в сильное смущение. Мадам первая овладела собой и, дабы отмстить за честь своей гвардии, сухо ответила:

— Вы могли бы быть повежливее.

Он извинился:

— Простите, я хотел сказать — монастырь.

То ли мадам не нашлась что возразить, то ли удовлетворилась поправкой, но только она с достоинством кивнула и, слегка покусывая губы, замолчала.

Тогда господин, который поместился между Розой Шельмой и старым крестьянином, стал подмигивать дамам, показывая на уток, высовывавших головы из объемистой корзины. Потом, почувствовав, что ему удалось овладеть вниманием публики, господин наклонился к уткам и начал их щекотать под клювом, шутливо приговаривая, чтобы посмешить общество:

— Не видать нам нашей лу-лу-лужицы, кря, кря, кря! Пропадать нам на вер-вер-вертеле, кря, кря, кря!

Несчастные птицы крутили во все стороны головами, стараясь избавиться от непрошеных ласк, и делали отчаянные усилия вырваться из своей плетеной тюрьмы; потом все три разом закричали отчаянно и жалостно: кря, кря, кря, кря! Женщины так и покатились со смеху. Они нагибались к корзине, отталкивали друг друга, чтобы лучше видеть; все вдруг страшно заинтересовались утками, а господин, еще пуще рассыпаясь в любезностях и остротах, выкидывал разные штучки. Наконец Роза не выдержала и, перегнувшись через колени своего соседа, поцеловала уток в клюв. Тотчас же всем остальным тоже захотелось поцеловать уток, и господин поочередно стал сажать дам к себе на колени, подбрасывал их, щипал; вдруг он начал говорить им «ты».

Крестьяне, ошалевшие не меньше, чем их живность, не смели шелохнуться и только испуганно вращали глазами, их старые, увядшие рты ни разу не улыбнулись, не дрогнули.

Тогда господин, который оказался коммивояжером, стал для потехи уговаривать дам купить у него подтяжки и, достав

один из свертков, развязал его. Это была хитрость — в свертке лежали дамские подвязки.

Там были подвязки голубого шелка, розового шелка, красного шелка, лилового шелка, сиреневые, пунцовые, с металлическими застежками в виде двух позолоченных и обнимающихся амурчиков. Девушки вскрикнули от восторга и принялись рассматривать образцы с тем серьезным выражением, которое так естественно появляется на лице женщины, когда она начинает копаться в тряпках. Они переглядывались, перешептывались, спрашивая друг у друга совета, а мадам с вожделением вертела в руках пару оранжевых подвязок — они были шире, внушительнее прочих: настоящие хозяйские подвязки.

Господин выжидал, видимо, задумав что-то.

— А ну, крошки,— сказал он,— теперь давайте примерим.

Разразилась целая буря восклицаний. Женщины зажимали юбки между колен, как будто им грозило насилие. А он невозмутимо ждал своего часа.

— Ну, что ж,— сказал он,— не хотите, тогда я уберу.— Потом лукаво добавил: — Кто согласится примерить, дарю любую пару на выбор.

Но они не соглашались, они сидели, гордо выпрямившись, полные достоинства. Однако у «Насосов» был такой несчастный вид, что он повторил свое предложение. Флора Качалка, которую особенно разбирала охота, явно колебалась. Он подзадоривал ее:

— Ну, смелее, детка, смотри, как эти лиловые подходят к твоему платью!

Тогда она решилась и, приподняв юбку, показала здоровенную ногу скотницы в слабо натянутом грубом чулке. Коммивояжер, нагнувшись, надел ей подвязку сначала под колено, потом повыше. При этом он потихоньку щекотал девушку, наслаждаясь тем, как она взвизгивает и ерзает на скамейке. В конце концов он отдал ей лиловую пару и спросил:

— Ну, кто теперь?

Все ответили разом:

— Я, я!

Он начал с Розы Шельмы, и та открыла нечто совершенно бесформенное, круглое, без намека на изгиб, «прямо окорок», как заметила Рафаэла. Фернанда удостоилась комплимента коммивояжера, которого привели в восторг ее мощные конечности. Костлявые ноги прекрасной еврейки имели меньший успех. Луиза Цыпка, шутки ради, накрыла голову коммивояжера своими юбками так, что мадам вынуждена была вмешаться,

дабы прекратить эту непристойную игру. Наконец протянула ногу сама мадам — прекрасную ногу нормандки, полную и мускулистую; и перед этими царственными икрами коммивояжер в изумлении и восторге галантно обнажил голову, как подобает истинному французскому рыцарю.

Остолбеневшие от ужаса крестьяне тупо косились краем глаза на эту сцену; и они так похожи были на кур, что господин с золотистыми бакенбардами, привстав со своего места, гаркнул им под самый нос: «Ку-ка-ре-ку!» Это вызвало новый ураган веселья.

Крестьяне сошли в Мотвиле со своей корзиной, утками и зонтом; уходя, старуха громко сказала своему мужу:

— Потаскухи! Едут-то, верно, в этот проклятый Париж!

Галантный коммивояжер вышел в Руане, но под конец до того распоясался, что мадам вынуждена была решительно его осадить. Она заключила в виде назидания:

— Это нам хороший урок: нельзя вступать в разговоры с первым встречным.

В Уасселе они пересели на другой поезд, и на следующей станции их встретил г-н Жозеф Риве; в его вместительную повозку, где стояли в два ряда стулья, была запряжена белая лошадь.

Столяр любезно перецеловал всех дам и помог им взгромоздиться на повозку. Три девушки уселись на трех задних стульях, Рафаэла, мадам и ее брат — на трех передних, а Роза, которой не хватило места, кое-как устроилась на коленях у здоровенной Фернанды, и экипаж тронулся в путь. Но тотчас же от неровной рысцы лошади повозка так запрыгала, что стулья начали плясать, подбрасывая путешественниц то вверх, то вправо, то влево, и дамы, дергаясь, как марионетки, испуганно гримасничали, вскрикивали от ужаса, а потом вдруг смолкали при каком-нибудь особенно резком толчке. Они цеплялись за края повозки, шляпки у них сползали то на спину, то на нос, то набок, а белая лошадка шла все тем же аллюром, вытянув шею и распустив по ветру хвост, жалкий, крысиный, облезлый хвост, которым она время от времени била себя по бокам. Жозеф Риве уперся одной ногой в оглоблю, другую поджал под себя и, высоко задрав локти, поминутно дергал вожжи; из глотки его вылетало какое-то клохтанье, отчего кобыла всякий раз прядала ушами и ускоряла бег.

По обеим сторонам дороги тянулись зеленые просторы. Сурепка расстилала волнистый ковер своих желтых цветов, от которых шел здоровый, сильный запах, пронизывающий и слад-

кий запах, далеко разносимый ветром. Из высоких хлебов васильки поднимали свои лазоревые головки, и девушкам захотелось нарвать цветов, но Риве не соглашался остановить лошадь. Вдруг все поле казалось закапанным кровью — так полонили его маки. И среди этих лугов, пестревших цветами, деревенская повозка как будто тоже несла на себе охапку цветов, еще более роскошных; увлекаемая рысью белой лошадки, она то исчезала за высокими деревьями какой-нибудь фермы, то выплывала вновь из-под густой листвы и снова мчала под палящим солнцем, через желто-зеленые пашни, испещренные красными и голубыми пятнами, эту живописную ватагу женщин.

Был час пополудни, когда они подъехали к дому столяра. Дамы валились с ног от усталости и побледнели от голода: с самого отъезда у них во рту не было ни крошки. Г-жа Риве бросилась гостям навстречу, помогла сойти с повозки, обнимала по очереди каждую, как только та ступала на землю; при этом она то и дело чмокала в щеку свою золовку, которую надеялась расположить в свою пользу.

Завтрак был подан в мастерской, откуда вынесли верстаки по случаю завтрашнего торжественного обеда. Внушительных размеров яичница, добрая порция жареной колбасы и несколько стаканов крепкого сидра привели все общество в веселое настроение. Риве чокался с дамами, а его жена все бегала, стряпала, подносила и уносила блюда и шептала на ухо каждой гостье: «Может, скушаете еще?» От груды досок, прислоненных к стене, и от кучи опилок в углу шел свежий запах струганого дерева, запах столярной мастерской, тот смолистый дух, который проникает до самой глубины легких.

Гостьи пожелали увидеть девочку, но она ушла в церковь и должна была вернуться только к вечеру.

Решили пока прогуляться всей компанией по деревне.

Это была совсем маленькая деревушка, расположенная по обе стороны шоссейной дороги. Десяток домов, выстроившихся вдоль единственной улицы, принадлежал местным торговцам и ремесленникам — мяснику, бакалейщику, столяру, трактирщику, сапожнику и булочнику. На краю дороги, посреди небольшого кладбища, стояла церковь; четыре древние липы укрывали своей густой тенью всю паперть. Церковь из тесаного камня, с невысокой шиферной колокольней была построена без какой-либо претензии на архитектурный стиль. А дальше опять тянулись поля с разбросанными кое-где купами деревьев, за которыми прятались фермы.

Риве, хотя и был в рабочем платье, торжественности ради взял сестру под ручку и гордо повел ее по деревне. Его жена, плененная расшитым блестками нарядом Рафаэлы, выступала между нею и Фернандой. Роза шариком катилась рядом с Луизой Цыпкой и Флорой Качалкой, которая от усталости хромала сильнее обычного.

Жители подбегали к дверям, дети бросали игры, чья-то голова в ситцевом чепце выглянула из-за приподнятого края оконной занавески; полуслепая старуха на костылях осенила себя крестным знамением, как будто перед ней шествовала церковная процессия, и все долго еще провожали взглядом прекрасных городских дам, прибывших издалека, чтобы присутствовать на первом причастии Жозефовой дочки. Вся деревня прониклась безграничным уважением к семейству Риве.

Проходя мимо церкви, они услыхали детское пение — хорал, возносимый к небу пискливыми, слабенькими голосами; но мадам никому не позволила войти, чтобы не смущать этих ангелочков.

Погуляв со своими гостями по деревне, рассказав о местных богачах фермерах, об их доходах от земли и скота, Жозеф Риве отвел опекаемое им стадо женщин домой и стал размещать дам на ночлег.

Так как места было мало, их положили по двое. Сам Риве для такого случая решил спать в мастерской на куче стружек; жена его должна была лечь на одной кровати со своей золовкой, а соседнюю комнату предоставили Фернанде и Рафаэле. Луиза и Флора устроились в кухне прямо на полу, на тюфяке. Розе отвели маленькую темную каморку у лестницы, при входе на тесные антресоли, где на этот раз должна была спать причастница.

Когда девочка возвратилась домой, ее встретили градом поцелуев; каждой женщине непременно хотелось ее приласкать; это была все та же потребность в нежных излияниях, та же профессиональная привычка ластиться, восторгаться, которая в вагоне заставила их перецеловать всех уток. Они сажали девочку на колени, гладили ее легкие белокурые волосы, прижимали к сердцу в порыве бурной и неудержимой нежности. Девочка, притихшая и исполненная благочестия, как бы чуждая всему земному после таинства отпущения, терпеливо и покорно принимала их ласки.

День выдался для всех утомительный, и спать улеглись рано, вскоре после ужина. Безграничная, благоговейная тишина полей осенила деревушку, спокойная, всепроникающая

тишина, разлитая до самых звезд. Девушек, привыкших к суматошным вечерам публичного дома, подавлял этот безмолвный покой уснувшей деревни. Их пробирала дрожь, но вызвана была эта дрожь не холодом, а одиночеством, от которого судорожно сжимались встревоженные смятенные сердца.

Улегшись по двое в постели, они тесно прижались друг к другу, как бы ища защиты от этого всевластного сна земли, невозмутимого и глубокого. Но Роза Шельма, привыкшая каждую ночь засыпать в чьих-нибудь объятиях, оставшись одна в темной каморке, почувствовала смутное и тягостное волнение. Она ворочалась без сна на своей постели, как вдруг услыхала из-за деревянной перегородки глухие всхлипывания, словно там плакал ребенок. Она испугалась и тихонько позвала. Ей ответил слабый, прерывающийся голосок. Это плакала девочка — она привыкла спать с матерью, и ей стало страшно в тесном, темном чулане.

Роза, до смерти обрадовавшись, вскочила с кровати и на цыпочках, чтобы никого не разбудить, пошла к ребенку. Она уложила девочку к себе в теплую постель, целовала, прижимала к груди, баюкала, расточала ей нежные ласки со щедростью, не знавшей меры, и, наконец умиротворенная, спокойно уснула. И до самого утра головка причастницы покоилась на голой груди проститутки.

В пять часов маленький церковный колокол зазвонил во всю мочь к заутрене и разбудил приезжих дам, которые обычно просыпались не раньше полудня,— единственный их отдых после утомительных ночей. В деревне все давно уже были на ногах. Крестьянки с озабоченным видом забегáли на минутку друг к другу, оживленно переговариваясь на ходу; одни осторожно несли перед собой коротенькие кисейные платьица, накрахмаленные так, что они стояли колом; другие держали огромные свечи все в шелковых лентах и золоченой бахроме, с углублениями в воске для пальцев. Солнце уже высоко стояло в безоблачно-синем небе, хранившем на горизонте чуть розоватый оттенок — бледнеющий след утренней зари. Наседки расхаживали перед домами, время от времени черный петух с переливчатой шеей задирал голову, увенчанную пурпуром, бил крыльями и бросал в небеса медный клич, который подхватывали окрестные петухи.

Из соседних деревень начали прибывать гости: прямо к дверям подкатывали повозки, из которых выгружались крепкие нормандки в темных платьях, с перекрещенными на груди косынками, заколотыми старинной серебряной брошью. Мужчи-

ны были в синих блузах, накинутых поверх новеньких сюртуков или поношенных полупальто зеленого сукна.

Лошадей выпрягли, ввели в конюшни, а вдоль улицы выстроились в два ряда, уткнувшись передками в землю или задрав к небу оглобли, экипажи всех видов и возрастов: кабриолеты, тильбюри, шарабаны, деревенские фуры, тележки.

Дом столяра гудел, как улей. Вокруг причастницы хлопотали приезжие дамы. Они были в нижних юбках и ночных кофтах, с распущенными по плечам короткими и жидкими волосами, которые потускнели и посеклись, как будто преждевременно иссохли.

Девочка стояла, как изваяние, посреди стола, меж тем как мадам Телье управляла действиями своего летучего отряда. Причастницу мыли, расчесали и завили ей волосы, надели платье и, натыкав с полсотни булавок, заложили складки на юбке, закололи слишком широкий в талии лиф, словом, навели окончательный лоск. Потом, когда все было готово, дамы усадили свою подопечную на стул, наказав ей не двигаться, а сами возбужденной, шумной гурьбой бросились одеваться.

В маленькой церкви снова заблаговестили. Хрупкий звон небольшого колокола подымался ввысь и таял в беспредельной синеве, как слабый человеческий голос. Из всех дверей выходили дети и направлялись к общественному зданию, где разместились обе школы и мэрия: «дом божий» стоял на другом конце деревни.

Вслед за малышами, смущенно улыбаясь, шли родители в праздничной одежде; их неловкие движения выдавали привычку от зари до зари гнуться над работой.

Девочки тонули в облаках снежно-белого тюля, напоминавшего сбитые сливки, а маленькие мужчины с обильно напомаженными головами, похожие на миниатюрных гарсонов из кафе, шагали, широко расставляя ноги, чтобы не запачкать новые черные брючки.

Чем больше родственников съезжается издалека, чтобы сопровождать ребенка к причастию, тем больше почета для семьи, и потому торжество столяра было полным. Отряд мадам Телье во главе с самой хозяйкой следовал за маленькой Констансой; столяр взял сестру под руку, мать шла рядом с Рафаэлой, Фернанда с Розой, оба «Насоса» держались позади; вся процессия величественно, как генеральный штаб в полном параде, проследовала по деревенской улице.

Деревня была ошеломлена.

В школе девочки выстроились под сенью высокого чепца сестры-монахини, впереди группы мальчиков виднелась шляпа учителя, красивого, представительного мужчины; и, затянув хорал, шествие тронулось в путь.

Мальчики двойной колонной шли впереди между рядами распряженных повозок, девочки следовали за ними в таком же порядке; взрослые, из уважения к городским дамам, пропустили их вперед, и те шествовали сразу же за строем детей, удлиняя и без того длинную процессию — три дамы слева и три справа, в ослепительных, как созвездие бенгальских огней, туалетах.

Их появление в церкви произвело сенсацию. Крестьяне толкали друг друга, оборачивались, отпихивали соседей, чтобы лучше видеть. Даже самые набожные, не стесняясь, переговаривались вслух, потрясенные зрелищем, ибо наряды этих дам затмили даже пышное облачение певчих. Мэр уступил им свою скамью, первую от клироса справа, и мадам Телье уселась там вместе со своей невесткой, Фернандой и Рафаэлой. Роза Шельма, оба «Насоса» и столяр заняли левую скамью. Дети заполнили весь клирос; справа стояли на коленях девочки, слева — мальчики, и длинные свечи в их руках напоминали копья, обращенные остриями в разные стороны.

Перед аналоем трое мужчин пели во весь голос. Они без конца тянули благозвучные гласные латыни, особенно старательно выводя а-а-а в слове «Amen», которому вторили монотонные, нескончаемые звуки, вырывавшиеся, как мычание, из медной пасти трубы. Пронзительный детский голос отвечал певчим, и время от времени священнослужитель в квадратной шапочке подымался со скамьи, бормотал что-то и опять садился, а трое певчих вступали снова, не отрывая глаз от толстой книги уставного пения, которая лежала перед ними на деревянном пюпитре в виде орла с растопыренными крыльями.

Затем воцарилось молчание. Все присутствующие единым движением опустились на колени. В эту минуту появился священник, почтенный старец; он склонил седовласую голову над чашей, которую нес в левой руке. Перед ним шли двое служек в красных одеяниях, а сзади с топотом высыпали гурьбой певчие в грубых башмаках и выстроились по обе стороны клироса.

Среди глубокого молчания прозвенел колокольчик. Началось богослужение. Священник медленно ходил вокруг золоченой дарохранительницы, преклонял колена и тянул дребезжащим старческим голосом вступительные молитвы. Как только он умолк, загремел хор и труба; и люди, заполнявшие церковь,

подпевали приглушенными смиренными голосами, как подобает петь простым прихожанам.

Вдруг мощное «Kyrie eleison»[1] вознеслось к небесам, вырвавшись разом изо всех уст и сердец. Пыль, кусочки источенного временем дерева посыпались со старинного свода, потревоженного этим могучим взрывом голосов. Солнце, бившее в черепицы крыши, раскалило маленькую церковь, как печь; глубокое волнение, трепетное ожидание, предчувствие неизъяснимой тайны сжимало детские сердца, перехватывало дыхание матерей.

Меж тем священник поднялся с кресла, подошел к алтарю и, обнажив среброволосую голову, дрожащими руками приступил к свершению великого таинства.

Он повернулся к своей пастве и, простирая к ней руки, возгласил: «Orate, fratres» («Молитесь, братие»). Все зашептали молитву. Старичок священник бормотал совсем тихо таинственные, божественные слова; колокольчик все звякал, простертая ниц толпа взывала к богу; дети замирали в благоговейном страхе.

И тогда Роза, упав лбом на сложенные руки, вспомнила вдруг свою мать, церковь в их деревне, первое свое причастие. Ей показалось, что вернулся тот день, когда она, совсем маленькая, тоже утопала в белоснежном платье,— и она заплакала. Сначала она плакала потихоньку, но чем ярче выступало прошлое, тем сильнее становилось ее волнение, и, задыхаясь от рыданий, от бешеного биения сердца, она зарыдала в голос; она вытащила носовой платок, утирала им глаза, кусала его, чтобы не кричать, но тщетно: невольно с ее губ сорвался хриплый стон, и ему ответили два глубоких, раздирающих сердце вздоха. Это Луиза и Флора, склонившиеся рядом с ней, во власти тех же далеких воспоминаний, всхлипывали, обливаясь слезами.

Но слезы заразительны,— и вот уже сама мадам почувствовала, что веки ее увлажнились; она оглянулась на свою невестку и увидела, что вся их скамья тоже рыдает.

Священник претворял хлеб в тело господне. Дети, растерянные, без единой мысли, в жгучем трепете веры приникли к каменным плитам; и по всей церкви женщинам — матерям и сестрам — передавалось неведомыми путями это бурное волнение; потрясенные видом прекрасных дам, которые судорожно всхлипывали, стоя на коленях, крестьянки вытирали обильные

---

[1] Господи помилуй *(лат.)*.

слезы клетчатыми платками и прижимали дрожащие руки к тяжело дышавшей груди.

Подобно искре, в мгновение ока зажигающей созревшую ниву, рыдания Розы и ее подруг перекинулись на всю толпу молящихся. Мужчины, женщины, старики, парни в новых блузах рыдали навзрыд, и казалось, что над их головами витает что-то неземное, какой-то разлитый повсюду дух, дивное дыхание невидимого и всемогущего существа.

Тогда на клиросе послышался сухой удар. Сестра-монахиня, стукнув пальцем по молитвеннику, подала знак к причастию, и дети, охваченные благоговейным трепетом, приблизились к престолу.

Ряды причастников преклонили колена. Старичок священник, держа в руках золоченую дароносицу, пошел между молящимися, подавая двумя пальцами священную остию — тело Христово, символ искупления. Дети судорожно открывали сведенные нервной гримасой рты, опускали веки, бледнели, и длинная пелена, протянутая под их подбородками, колыхалась, как струящаяся вода.

Вдруг по церкви прошла волна какого-то безумия, ропот смятенной толпы, приглушенные стоны, буря рыданий. Они неслись, как порыв ветра, гнущий долу деревья, а священник с облаткой в руке неподвижно стоял среди толпы, скованный неизъяснимым волнением и беззвучно шептал: «Это бог среди нас, он явил себя нам, он внял моей молитве и сошел на свою коленопреклоненную паству». И, не находя слов, старик, в восторженном, неудержимом порыве, зашептал бессвязные молитвы, ведомые только его душе.

Он завершал таинство в таком экстазе, что едва держался на ногах, и, испив от крови господа своего, поник в самозабвенной благодарности.

Толпа мало-помалу успокаивалась. Певчие в белых одеяниях начали хорал, но в их нетвердых голосах еще звучали слезы, и труба также казалась охрипшей от рыданий.

Тогда священник, воздев руки, сделал знак замолчать и, пройдя между рядами причастников, забывшихся в блаженном опьянении, подошел к решетке клироса.

Молящиеся рассаживались по местам, шумно двигая стульями, и теперь все стали громко сморкаться. Когда священник приблизился, все смолкло, и он начал говорить, запинаясь, тихим, глухим голосом:

— Дорогие братья и сестры, дети мои, благодарю вас от всего сердца, ибо вы дали мне сегодня величайшую в моей

жизни радость. Я почувствовал, что бог сошел на нас, вняв моим мольбам. Он сошел к нам, он был здесь меж нас, он переполнил ваши души, исторг слезы из глаз ваших. Я самый старый из священников епархии, но сегодня я и самый счастливый. Чудо свершилось, истинное, великое, непостижимое. Когда Иисус Христос входил впервые в тела сих отроков, святой дух, небесный голубь слетел на вас, дыхание божье осенило вас, проникло в вас, склоненных, как тростинки под ветром.

Потом, повернувшись к двум первым скамьям, где сидели гостьи столяра, он произнес уже окрепшим голосом:

— Особо же благодарю вас, любезные мои сестры, прибывшие издалека, чье присутствие среди нас, чья зримая вера, чье горячее благочестие стали для всех спасительным примером. Вы — живое назидание для моего прихода. Ваше волнение зажгло сердца; без вас, кто знает, сей великий день не был бы отмечен божественным знамением. Порой достаточно одной избранной овцы, дабы господь сошел на все стадо.

Голос его пресекся. Он добавил:

— Да снизойдет на вас благодать божия. Аминь.

И он направился к алтарю, чтобы закончить службу.

Но теперь уже каждый торопился уйти домой. Даже дети встрепенулись, истомленные столь длительным душевным напряжением. К тому же они были голодны, и родители, не дожидаясь заключительного Евангелия, постепенно расходились, чтобы закончить приготовления к обеду.

У выхода была толкотня, суматоха, слышался нестройный гомон голосов, в котором резко выделялся певучий нормандский говор. Толпа выстроилась на паперти в два ряда, и, когда в дверях показались дети, каждая семья устремилась к своему причастнику.

Женщины плотным кольцом обступили Констансу, обнимали ее, целовали. Особенно же Роза никак не хотела выпустить девочку из своих объятий. Наконец она успокоилась, взяла Констансу за руку, а мадам Телье за другую; Рафаэла и Фернанда подхватили подол ее длинного кисейного платья, чтобы он не волочился по земле. Луиза, Флора и госпожа Риве замыкали шествие, и девочка, сосредоточенная, вся еще проникнутая присутствием бога, которого она несла в своем сердце, направилась к дому в сопровождении почетной свиты.

Парадный обед был накрыт в мастерской, на длинных досках, положенных на козлы.

В распахнутые настежь двери врывалось праздничное ликование деревни. Пир шел горой. В каждом окне виден был

накрытый стол и принарядившиеся гости вокруг него; отовсюду доносились хмельные, веселые голоса. Крестьяне, скинув пиджаки, в одних жилетах пили полными стаканами крепкий сидр; за каждым столом, среди взрослых, сидели дети,— где две девочки, где два мальчика, свои и чужие,— герои объединенного торжества.

Время от времени по улице, раскаленной полуденным солнцем, проезжал шарабан, и возница, придерживая рысцу старой клячи, бросал завистливые взгляды на заманчивую картину пиршества.

Пировали и гости столяра, но в их веселье чувствовалась какая-то сдержанность, след пережитых утром волнений. Один лишь Риве был в ударе и пил без счета. Мадам Телье то и дело поглядывала на часы: чтобы не бездельничать еще вторые сутки, следовало попасть на поезд 3.55, который прибывал в Фекан к вечеру.

Столяр всячески старался отвлечь внимание сестры и задержать гостей до утра, но мадам не поддавалась: не в ее обычае было шутить, когда речь шла о деле.

Сразу же после кофе она приказала своим девицам поживее собираться, потом обратилась к брату: «А ты сейчас же иди запрягать»,— и удалилась, чтобы приготовиться к путешествию.

Когда она снова сошла вниз, в мастерскую, там поджидала ее золовка, чтобы побеседовать о девочке. Они беседовали долго, но ни до чего не договорились. Хитрая крестьянка не скупилась на выражение родственных чувств, а мадам Телье держала племянницу на коленях и, не желая ничем себя связывать, давала неопределенные обещания: девочка обижена не будет, время терпит, еще свидимся, поговорим.

Однако повозки все не было, да и девицы задерживались наверху. Оттуда доносились взрывы хохота, шум, возня, громкие голоса, шлепки. Когда жена столяра пошла на конюшню взглянуть, готов ли экипаж, мадам не выдержала и поднялась наверх.

Риве, пьяный в лоск, полуодетый, тщетно пытался облапить Розу, которая совсем раскисла от смеха. Оба «Насоса» удерживали его за руки и старались утихомирить: после утренней церемонии поведение столяра претило им. Рафаэла и Фернанда, наоборот, всячески его подзадоривали; держась за бока, они хохотали до упаду и пронзительно вскрикивали при каждой неудачной попытке пьяного.

Столяр, побагровев от бешенства, весь растерзанный, рвался из рук вцепившихся в него женщин и изо всех сил тянул Розу за юбку.

— Не хочешь, стерва? — бормотал он.

Мадам в негодовании бросилась на брата, схватила его за шиворот и вышвырнула за дверь с такой силой, что он со всего размаху стукнулся о стенку.

Минуту спустя они услышали, как столяр во дворе поливает себе голову водой из насоса, и к крыльцу он подъехал уже совсем смирным.

Они расселись в том же порядке и двинулись в обратный путь по той же дороге, и снова белая лошадка бодро побежала своей бойкой приплясывающей рысцой.

Золотые лучи солнца разбудили вчерашнюю радость, затихшую было во время обеда. Девушек забавляла теперь даже тряска телеги, и они сами нарочно толкали друг друга и поминутно хохотали; к тому же неудачная попытка Риве привела их в веселое настроение.

Ослепительное солнце заливало поля, от яркого света рябило в глазах; два столба пыли, поднимаемые колесами, еще долго летели по дороге, вслед за повозкой.

Вдруг Фернанда, любительница музыки, стала упрашивать Розу спеть что-нибудь, и та затянула залихватскую песенку о «Жирном кюре из Медона». Но мадам тут же велела ей замолчать, сочтя эту песенку неприличной для такого дня. Она добавила:

— Спой-ка нам лучше что-нибудь из Беранже.

Роза подумала с минуту, не зная, что выбрать, и затем начала хрипловатым голосом:

Старушка под хмельком призналась,
Качая дряхлой головой:
— Как молодежь-то увивалась
В былые дни за мной!

Уж пожить умела я!
Где ты, юность знойная?
Ручка моя белая!
Ножка моя стройная!

И хор девушек, которым управляла сама мадам, подхватил:

Уж пожить умела я!
Где ты, юность знойная?
Ручка моя белая!
Ножка моя стройная!

— Вот это здорово! — воскликнул Риве, которого раззадорил веселый мотив, а Роза продолжала:

— Как, бабушка, ты позволяла?
— Э, детки! Красоте своей
В пятнадцать лет я цену знала —
И не спала ночей... [1]

Все разом проревели припев, а Риве притопывал ногой по оглобле, отбивал такт вожжами по ребрам белой лошадки, которую тоже, казалось, увлек этот стремительный ритм,— так бойко пустилась она в галоп, помчалась вихрем, и все дамы попадали в кучу на дно телеги.

Они поднялись, хохоча как безумные. И снова они загорланили песню, и песня неслась по полям, под жгучим солнцем, среди созревающих хлебов, под бешеный скок лошадки, которая всякий раз, услышав припев, приходила в раж и пускалась галопом к великой радости путниц.

И какой-нибудь каменотес, работавший на дороге, выпрямлял спину и через свою проволочную маску долго провожал взглядом разудалый, ревущий кортеж, удалявшийся в густых клубах пыли.

На станции столяр расчувствовался:

— Жаль, что вы уезжаете, мы бы с вами еще неплохо погуляли!

Мадам рассудительно возразила:

— Всему свое время, нельзя же вечно веселиться!

Тут Риве осенила мысль.

— Знаешь что? — воскликнул он.— Я приеду в следующем месяце к вам в Фекан! — И он посмотрел на Розу внезапно загоревшимся, игривым взглядом.

— Ну-ну, только без глупостей,— заявила мадам,— приезжай, если хочешь, но смотри веди себя прилично.

Он промолчал и, услышав свисток паровоза, бросился обнимать отъезжающих. Когда дошла очередь до Розы, он во что бы то ни стало хотел поцеловать ее в губы, но толстуха, смеясь с закрытым ртом, уклонялась, мотая головой из стороны в сторону. Он не выпускал ее из объятий, но никак не мог добиться своего,— ему мешал длинный бич, который он забыл положить на место и который теперь при каждой неудачной попытке беспомощно раскачивался за спиной девушки.

---

[1] Перевод В. Курочкина.

— Пассажиры на Руан, занимайте места! — крикнул кондуктор.

Они вошли в вагон. Раздался тонепький свисток, вслед за ним — мощный свист паровоза, из трубы с шумом вырвалась первая струя пара, и колеса с видимым усилием пришли в движение.

Риве, выбежав из вокзала, кинулся к решетке, чтобы еще раз взглянуть на Розу, и, когда вагон с этой продажной плотью проходил мимо, он начал щелкать кнутом и, приплясывая, запел во всю глотку:

Уж пожить умела я!
Где ты, юность знойная?
Ручка моя белая!
Ножка моя стройная!

И он увидел, как в одном из окон удалявшегося поезда мелькает белый платочек.

III

Они проспали до самого Фекана мирным сном праведниц, а когда очутились у себя, освеженные, отдохнувшие для вечерних трудов, мадам не удержалась и сказала:

— Как хотите, а я уже соскучилась по дому.

Наспех поужинали и, надев боевой наряд, стали поджидать обычных гостей; и зажженный фонарик, фонарик мадонны, известил прохожих, что стадо благополучно вернулось в овчарню.

Неизвестно как и через кого, но слух об этом в мгновение ока распространился по всему городу. Г-н Филипп, сын банкира, был настолько предупредителен, что оповестил через нарочного г-на Турнево, заточенного в кругу семьи.

У г-на Турнево всегда по воскресеньям обедали родственники, и тут как раз, когда подавали кофе, появился посыльный с письмом в руке. Рыбник, в сильном волнении, вскрыл конверт и побледнел,— там было всего несколько слов, наспех нацарапанных карандашом: «Груз трески нашелся, баржа вошла в гавань, выгодное для вас дело. Приходите немедленно».

Он порылся в кармане, нашел монету в двадцать су, дал ее рассыльному и, внезапно покраснев до ушей, произнес: «Мне необходимо отлучиться»,— и протянул жене загадочную лаконическую записку. Затем он позвонил и сказал вошедшей на звонок служанке: «Подайте пальто и шляпу, только живей!»

Едва захлопнув за собой входную дверь, он пустился бегом, насвистывая песенку; и на этот раз дорога показалась ему вдвое длинней,— так велико было его нетерпение.

Дом Телье имел праздничный вид. В нижнем этаже, сотрясавшемся от буйных голосов матросской братии, стоял оглушительный шум. Луиза и Флора не знали, кому отвечать раньше, пили с одним, пили с другим,— недаром их назвали «Два Насоса». Их окликали разом со всех сторон, они сбивались с ног, и ночь обещала быть для них трудной.

Клиенты второго этажа были к девяти часам в полном сборе. Г-н Васс, член коммерческого суда, общепризнанный, хотя и платонический воздыхатель мадам, вел с ней в углу тихую беседу; и улыбка, освещавшая их лица, говорила, что они непременно столкуются. Роза сидела верхом на коленях г-на Пулена, бывшего мэра, прижимаясь лицом к его лицу и перебирая пухлыми пальчиками его почтенные седые бакенбарды. Из-под завернувшегося подола желтой шелковой юбки виднелась полоска голой жирной ляжки, резко выделяясь на черном сукне брюк; красные чулки были схвачены голубыми подвязками — подарком коммивояжера.

Длинная Фернанда, растянувшись на софе, положила обе ноги на живот г-ну Пемпессу, сборщику налогов, а всем торсом прижималась к жилету юного г-на Филиппа, шею которого она обвила правой рукой, не выпуская из левой папироски.

Рафаэла, видимо, вела какие-то переговоры с г-ном Дюпюи, страховым агентом, и в заключение громко сказала:

— Хорошо, миленький, сегодня — пожалуйста.

Потом, быстро провальсировав в одиночку по комнате, она воскликнула:

— Сегодня вечером все, что угодно!

Внезапно дверь распахнулась, и на пороге показался г-н Турнево. Раздались восторженные крики: «Да здравствует Турнево!» Рафаэла, все еще кружившаяся по залу, повисла у него на шее. Он сгреб ее могучей хваткой и, молча приподняв, как перышко, пересек зал, распахнул дверь, ведущую в комнаты, и исчез на лестнице со своей живой ношей под дружные аплодисменты присутствующих.

Роза разжигала бывшего мэра, чмокая его беспрестанно в губы, и дергала за бакенбарды, чтобы он держал голову прямей; она решила последовать примеру Рафаэлы и сказала:

— Молодец, рыбник! Пойдем-ка и мы с тобой!

Старичок поднялся и, одернув жилетку, побрел за девушкой, шаря на ходу в кармане, где у него лежали деньги.

Фернанда и мадам остались одни вместе с четырьмя мужчинами, и тут г-н Филипп воскликнул:

— Ставлю шампанское! Мадам Телье, велите подать три бутылки.

Фернанда обняла его и шепнула на ухо:

— Поиграй нам, а мы потанцуем, хорошо?

Он вскочил и сел за древний спинет, мирно дремавший в углу, и хриплые звуки вальса, томного и тягучего, понеслись из надорванного нутра инструмента. Толстая Фернанда подхватила сборщика налогов, мадам понеслась в объятиях г-на Васса, и оба кавалера, кружа своих дам по комнате, то и дело чмокали их в губы. Г-н Васс, когда-то бывавший в свете, выделывал грациозные фигуры, и мадам смотрела на него восхищенным взглядом, тем взглядом, который лучше всяких слов говорит «да», сладостное и тайное «да».

Фредерик принес шампанское. Хлопнула первая пробка, а господин Филипп заиграл ритурнель кадрили.

Обе пары исполняли танец по-салонному, благопристойно, с достоинством, манерно раскланиваясь и приседая.

Затем начали пить. Тут появился Турнево, довольный, сияющий, облегченный. Он воскликнул:

— Не знаю, что такое сегодня с Рафаэлой, но она просто великолепна!

Ему подали бокал, он разом осушил его, бормоча:

— Вот это шик, черт подери!

Но тут Филипп заиграл бойкую польку, и Турнево пустился в пляс с Рафаэлой, которую он держал на весу, не давая коснуться пола ногами. Г-н Пемпесс и г-н Васс с новым жаром принялись танцевать.

Иногда одна из пар останавливалась возле камина, чтобы опрокинуть стаканчик шампанского,— казалось, что полька никогда не кончится, как вдруг в полуоткрывшейся двери показалась Роза со свечкой в руках. Она была в одной рубашке, в ночных туфлях, с распущенными по плечам волосами, розовая, оживленная.

— И я хочу танцевать,— закричала она.

Рафаэла спросила:

— А где твой старик?

Роза расхохоталась:

— Старик? Спит,— он всегда сразу же засыпает.

Она подбежала к г-ну Дюпюи, сидевшему в одиночестве на диване, и полька началась снова.

Но бутылки уже опустели.

— Ставлю бутылку,— заявил Турнево.

— И я,— воскликнул г-н Васс.

— И я ставлю,— добавил г-н Дюпюи.

Присутствующие захлопали в ладоши.

Все устраивалось как нельзя лучше, получался настоящий бал. Даже Луиза и Флора урывали минутку, прибегали снизу и наспех делали тур, другой, забыв своих сгоравших от нетерпения гостей; потом, подавляя в душе досаду, обе стремглав мчались в кабачок.

В полночь танцы были еще в разгаре. По временам то та, то другая девушка исчезала, а когда ее хватался визави по кадрили, всякий раз не досчитывались также кого-нибудь из мужчин.

— Где это вы пропадали? — спросил в шутку г-н Филипп г-на Пемпесса, который как раз в это время входил в комнату вместе с Фернандой.

— Ходили смотреть, как спит господин Пулен,— ответил сборщик налогов.

Удачное словечко вызвало бурю восторга, мужчины один за другим тоже отправлялись посмотреть, как спит г-н Пулен, прихватив для компании девушку, и кавалеры дивились, до чего милы и сговорчивы были в эту ночь их дамы. Мадам на все смотрела сквозь пальцы; она сама уединилась в уголке с г-ном Вассом, и они вполголоса вели нескончаемые разговоры, как будто обсуждая последние детали уже вполне решенного дела.

Наконец в час ночи Турнево и Пемпесс, оба люди семейные, объявили, что уходят домой, и спросили счет. Им посчитали только шампанское, да и то по шести франков за бутылку вместо обычных десяти. И когда они удивились такой щедрости, мадам, вся сияя, ответила:

— Ведь не каждый день бывает праздник.

Паровичок из Нейи миновал заставу Майо и бежал вдоль шоссе, которое вело к Сене. Паровоз, тащивший один вагон, дудел, когда на его пути возникало препятствие, плевался паром, тяжело отдуваясь, как запыхавшийся человек, а его поршни торопливо постукивали, словно топали железные ноги. Тяжкий зной летнего вечера повис над дорогой, и, хотя не было ни малейшего ветерка, в воздухе стояла белая меловая пыль, густая, горячая и удушливая, она липла к потной коже, засоряла глаза, набивалась в легкие.

А люди выходили на крыльцо, надеясь хоть немного освежиться.

Окна вагона были опущены, и все занавески развевались от быстрого движения. Внутри сидело всего несколько человек (в такую духоту пассажиры предпочитали империал или площадку) — толстые дамы, разряженные, пестрые, как попугаи, из того типа пригородных буржуазок, которые взамен вкуса наделены неумеренным чувством собственного достоинства; мужчины, измотанные канцелярией, желтые, кособокие — одно плечо выше другого — оттого, что всю жизнь корпели над бумагами. Их лица, раздраженные и унылые, говорили также о домашних заботах, о вечной нехватке денег, об окончательно рухнувших былых надеждах, ибо все они принадлежали к той армии потрепанного жизнью чиновничьего люда, которая прозябает на окраинах Парижа, среди свалок, в хилых, облупленных домишках с единственной клумбой взамен сада.

Около двери вагона низенький обрюзгший человечек, у которого рыхлый живот свисал между широко расставленных

ног, весь в черном и с орденской ленточкой в петлице, беседовал с другим, высоким и тощим пассажиром неопрятного вида, в засаленном костюме из белого тика и в старой панаме. Первый выговаривал слова медленно и неуверенно, растягивая их, точно заика. Это был Караван, столоначальник канцелярии морского министерства. Другой, когда-то плававший санитарным инспектором на коммерческом судне, наконец осел в Курбевуа и лечил местную бедноту, применяя те весьма туманные медицинские познания, которых нахватался во время своей бродячей жизни. Его фамилия была Шене, и он требовал, чтобы его называли «доктор». Относительно его нравственности ходили довольно нелестные слухи.

Караван, как и все чиновники, вел самый размеренный образ жизни. Вот уже тридцать лет, как он неукоснительно ездил каждое утро в свою канцелярию по той же дороге, встречая в одних и тех же местах тех же людей, спешивших по своим делам; а вечером возвращался домой тем же путем и снова видел те же лица, которые старились у него на глазах.

Изо дня в день, купив за одно су ту же газетку на повороте к предместью Сент-Оноре и прихватив в пекарне две булочки, он входил в здание министерства с видом преступника, добровольно идущего в темницу, и поспешно устремлялся в свою канцелярию, каждую минуту ожидая выговора за невольное упущение, в котором мог быть повинен.

Ничто ни разу не нарушило однообразного распорядка его существования, ибо никакие события не могли взволновать его, помимо дел в его канцелярии да ожидания наград и повышений. В министерстве ли, дома ли (он женился на дочери своего шефа, ничего не взяв за нею) Караван говорил только о службе. Никогда в его мозгу, зачахнувшем от ежедневной притупляющей работы, не рождалось иных идей, иных надежд, иных мечтаний, кроме тех, которые были связаны с министерством. К его чиновничьим радостям неизменно примешивалась горечь, оттого что морские комиссары, или, как их прозвали за серебряные галуны, «жестянщики», назначались на должности начальников отделений и их помощников; и каждый вечер, за обедом, он приводил жене, разделявшей его негодование, самые веские доводы, доказывая, как это несправедливо — раздавать места в Париже людям, дело которых — плавать.

И вот уже наступала старость, а он и не заметил, как жизнь прошла; коллеж сразу же сменился министерством, а место классных наставников, перед которыми он трепетал, заняли начальники, которые вселяли в него ужас. Один вид две-

ри, ведущей в кабинет к грозному канцелярскому деспоту, вызывал у него озноб; этот постоянный страх привел к тому, что Караван стал входить бочком, держался приниженно и, отвечая, начинал заикаться.

Он знал Париж не больше, чем слепой, которого верный пес приводит каждый день к одной и той же двери; и если ему приходилось читать в своей грошовой газетке о происшествиях и скандалах, они казались ему занимательными сказками, сочиненными для развлечения чиновничьей мелкоты. Будучи человеком порядка и реакционером, правда, не принадлежавшим ни к какой определенной партии, он ненавидел «все эти новшества» и обычно пропускал отдел политических сообщений — впрочем, его газетка, в угоду тому, кто больше платит, всегда искажала их; и, возвращаясь каждый вечер через Елисейские поля, он созерцал зыбкие, как волны, толпы гуляющих и непрерывный поток экипажей, словно растерявшийся путешественник, заехавший в дальние страны.

В этот самый год минуло тридцать лет его принудительной службе и ему вручили первого января крест Почетного легиона — так в этих полувоенных учреждениях награждают за долгое и жалкое рабство (его называют «беспорочной службой») унылых каторжников, прикованных к зеленой папке. Неожиданный почет вдруг внушил Каравану иное и весьма лестное мнение о собственных способностях и в корне изменил его привычки. Отныне он перестал носить жилеты «фантази» и цветные брюки, а перешел на черные, при длинном сюртуке, на котором его лента, очень широкая, лучше выделялась; он стал каждое утро бриться, ухаживать за ногтями, менять через два дня белье, движимый вполне законным чувством благопристойности и уважением к себе — кавалеру национального ордена; словом, постепенно превратился в нового Каравана, тщательно вылизанного, величественного и снисходительного.

Когда он был дома, то и дело слышалось: «Мой орден». Он до того возгордился, что уже не переносил вида каких бы то ни было орденов в чужих петлицах. Особенно выводили его из себя иностранные ордена — «их ношение во Франции следовало бы запретить»; и свыше всякой меры раздражал его доктор Шене, с которым он каждый вечер встречался в паровичке: у Шене вечно пестрела в петлице какая-нибудь орденская ленточка — белая, голубая, оранжевая или зеленая.

Впрочем, всю дорогу, от Триумфальной арки до Нейи, они разговаривали всегда на одни и те же темы; и в этот день, так же как в предыдущие, они вначале обсудили разные местные

безобразия, возмущавшие обоих,— конечно, виноват мэр, он что хочет, то и делает. Затем, как это всегда бывает в обществе врача, Караван перевел разговор на болезни, ибо надеялся таким способом выжать из Шене кое-какие бесплатные советы, а может быть, и целую консультацию — надо было только ловко взяться за дело и не открывать своих карт. Кстати, за последнее время его беспокоило здоровье матери. С ней часто делались продолжительные обмороки, и, хотя ей было уже девяносто лет, она не желала лечиться.

Ее глубокая старость умиляла Каравана, и он постоянно повторял доктору Шене:

— Видали, до каких лет дожила? Немногим это удается.— И он радостно потирал руки, не потому, чтобы так уже желал продлить до бесконечности существование старушки, но оттого, что долгий век матери как бы сулил то же и ему. И он продолжал: — О! в нашем роду все живут долго; возьмите хотя бы меня,— разве только какой-нибудь несчастный случай, а так — я уверен, что доживу до глубокой старости.

Санитарный инспектор посмотрел на него с сожалением. С минуту он разглядывал багровое лицо, жирную шею, живот, свисающий между толстых и дряблых ног, и всю апоплексическую, тучную фигуру этого пожилого, обрюзгшего чиновника, затем, сдвинув на затылок сероватую панаму, насмешливо ответил:

— Не хвастайте, мой милый, у вашей мамаши кожа да кости, а вы вон какой пузан.— Чиновник, смутившись, замолчал.

Паровик уже подходил к остановке, они сошли, и Шене предложил заглянуть в кафе «Глобус», прямо напротив, где оба были завсегдатаями, и пропустить по рюмочке вермута. Хозяин, их приятель, протянул им через прилавок, над батареей бутылок, два пальца, которые они и пожали, а затем направились к троим любителям домино, засевшим здесь уже с полудня. Подойдя, они обменялись с игроками любезными приветствиями и неизменным: «Что новенького?» — после чего игроки снова углубились в свою партию; и когда Караван и Шене, уходя, прощались с ними, те подали им руки, не отрывая глаз от игры; друзья же разошлись по домам обедать.

Караван жил недалеко от площади Курбевуа, в трехэтажном домике, низ которого занимал парикмахер.

Две спальни, столовая и кухня, а в них несколько склеенных стульев, которые по мере надобности перетаскивались из одной комнаты в другую, вот и все; но свою квартиру г-жа

Караван вылизывала с утра до ночи, пока ее дочь, Мари-Луиза двенадцати лет, и сын, Филипп-Огюст девяти лет, возились на улице в сточных канавах вместе с прочими сорванцами их квартала.

Наверху Караван поместил мать; ее скаредность была известна во всем околотке, а про худобу говорили, что бог показал на этой женщине образец высшей экономии. Она вечно была в дурном настроении и не могла прожить дня без скандалов и взрывов прямо-таки остервенелой злобы. Из своего окна она честила то соседей, то уличных торговок, то подметальщиц, то мальчишек, которые в отместку орали ей вслед, когда она выходила из дому: «Идет Карга! Идет Карга!»

Прислуга — девчонка из Нормандии, рассеянная и шалая,— исполняла всю работу. Она спала наверху, подле старухи,— на всякий случай.

Когда Караван вернулся домой, жена, одержимая манией уборки, как раз до блеска натирала куском фланели спинки стульев, разбросанных там и сям среди пустынных комнат. Она всегда носила нитяные перчатки, а на голове чепец с пучком разноцветных лент, беспрестанно съезжавший на ухо, и, если ее заставали, когда она вощила пол, чистила, скребла или стирала, она неизменно говорила: «Ну да, я не богачка, у меня все очень просто, но моя роскошь — чистота, это получше всякой роскоши будет!»

Наделенная необычайно нудной практичностью, она руководила мужем во всем. Ежедневно за столом и потом в постели они длительно обсуждали дела его канцелярии, и, хотя жена была на двадцать лет моложе его, он всецело, точно духовнику, доверялся ей и следовал всем ее советам.

Она никогда не была хороша, а теперь была даже дурна — низкорослая, тощая пигалица. Ее нелепые платья всегда скрывали и те скудные женские прелести, которые, при уменье одеваться, можно было бы все же искусно подчеркнуть. Юбки у нее почему-то все съезжали набок; она то и дело чесалась где попало, не стесняясь посторонних,— это была какая-то странная привычка, какая-то мания. Единственное украшение, которое она себе позволяла, были огромные пучки пестрых шелковых лент, налепленные на те претенциозные чепчики, в каких она обычно ходила дома.

Увидев мужа, она встала и, целуя его в бакенбарды, спросила:

— Ты не забыл про Потена, мой друг?

Речь шла о поручении, которое он взялся исполнить.

Караван в испуге опустился на стул: он забыл опять, в четвертый раз!

— Прямо рок какой-то,— сказал он,— прямо рок! Целый день помню, а как вечер — так и позабыл.

Но, видя, что он удручен, жена сказала, стараясь утешить его:

— Ну, завтра вспомнишь, вот и все. Что в министерстве? Ничего нового?

— Как же, большая новость! Еще одного жестянщика назначили помощником начальника.

Ее лицо вытянулось.

— В каком отделении?

— В отделении заграничных закупок.

Она начинала злиться.

— Что ж, значит, на место Рамона, как раз на то место, которое я прочила тебе; а Рамон куда, в отставку? — Она окончательно взбеленилась, чепец съехал на ухо.— Ну, тут все кончено, в этой лавочке надеяться больше не на что. Как его фамилия, твоего комиссара?

— Бонассо.

Она взяла «Морской ежегодник», который у нее всегда был под рукой, и принялась искать: Бонассо — Тулон. Родился в 1851, произведен в гардемарины в 1871, в помощники комиссара — в 1875.

— А он хоть в плаванье-то был?

При этом вопросе лицо Каравана снова прояснилось. Он расхохотался, и живот его затрясся.

— Как Бален, совершенно как Бален, его начальник.— И, смеясь еще громче, он повторил старую остроту, которую все министерство находило блестящей: — Их даже нельзя послать ревизовать речную станцию Пуэн дю-Жур, у них на катере морская болезнь начнется.

Но ее лицо оставалось мрачным, точно она и не слышала шутки; затем она пробормотала, задумчиво почесывая подбородок:

— Будь у нас хоть один знакомый депутат!.. Как только палата узнает, что́ у вас творится, министр сразу же слетит...

С лестницы донеслись крики, и она остановилась на полуслове. Мари-Луиза и Филипп-Огюст, возвращаясь с улицы, подрались и на каждой ступеньке награждали друг друга затрещинами и пинками. Мать в бешенстве ринулась к ним навстречу, схватила каждого за плечо и, яростно встряхнув, швырнула в комнату.

Увидев отца, они сейчас же бросились к нему и повисли на нем, а он стал целовать их долго, нежно. Затем уселся, взял их на колени и начал с ними болтать.

Филипп-Огюст был препротивный малыш с лицом кретина, лохматый, грязный от головы до пят. Мари-Луиза уже была похожа на мать, говорила, как она, повторяла ее выражения, даже подражала ее жестам. И она не преминула спросить:

— Ну, что нового в министерстве?

Он шутливо ответил:

— Твой друг Рамон, дочка, знаешь, который каждый месяц у нас обедает, скоро уйдет в отставку. На его место назначили другого.

Она подняла глаза на отца и с соболезнованием слишком догадливого ребенка заметила:

— Значит, еще один через твою голову перескочил.

Караван нахмурился и не ответил дочери; затем, желая перевести разговор на другое, обратился к жене, которая теперь протирала окна:

— А как там наверху? Мать здорова?

Жена перестала тереть стекло, обернулась, поправила чепец, совсем съехавший на спину, и дрожащими губами проговорила:

— Да уж нечего сказать — твоя мамаша! Хорошую свинью она мне подложила! Представь, заходит к нам сегодня госпожа Лебодэн, жена парикмахера, занять крахмалу, меня дома не было, а твоя мамаша взяла да и выгнала ее и еще попрошайкой обозвала. Ну, я так ее отделала, старую ведьму... она, конечно, притворилась, будто ничего не слышит,— не любит, когда ей правду в глаза говорят. А слышит не хуже меня, уж поверь, все — одна комедия, и вот тебе доказательство: она сейчас же молча, точно воды в рот набрала, повернулась и поднялась к себе.

Караван смущенно молчал, но в эту минуту влетела служанка и объявила, что обед подан. Тогда он взял стоявшую наготове в углу половую щетку и трижды стукнул в потолок, чтобы вызвать мать. Затем все перешли в столовую, и г-жа Караван принялась, в ожидании старухи, разливать суп. Но та не шла, а так как суп стыл, семейство медленно приступило к еде. Когда тарелки опустели, подождали еще. Г-жа Караван в ярости напустилась на мужа:

— Это она нарочно, поверь. А ты еще постоянно защищаешь ее.

Караван, оказавшись между двух огней и не зная, что делать, послал Мари-Луизу за бабушкой и сидел неподвижно, опустив глаза, в то время как жена сердито позвякивала кончиком ножа о ножку рюмки.

Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показалась девочка, запыхавшаяся, бледная; она быстро проговорила:

— Бабушка на полу лежит.

Караван мгновенно вскочил, швырнул салфетку на стол и кинулся к лестнице, по которой тотчас застучали его тяжелые и торопливые шаги, а жена, заподозрив, что это опять какая-нибудь каверза ехидной свекрови, неспешно последовала за ним, презрительно пожимая плечами.

Старуха лежала ничком посреди комнаты, вытянувшись во весь рост, и когда сын перевернул ее, показалось ее лицо, неподвижное и высохшее, с коричневой морщинистой кожей, закрытые глаза, стиснутые зубы и все ее тощее оцепеневшее тело.

Караван, стоя перед ней на коленях, причитал:

— Мама, бедная моя мама!

Но г-жа Караван-младшая, пристально посмотрев на старуху, заявила:

— Вздор! У нее опять обморок, вот и все. Просто, чтобы нам обед испортить, поверь мне.

Безжизненную старуху перенесли на кровать, раздели донага; и все — Караван, его жена, служанка — принялись растирать ее. Невзирая на их усилия, она не приходила в себя. Тогда Розали послали за доктором Шене. Он жил на набережной, ближе к Сюрену. Это было далеко, и ждать пришлось долго. Наконец он явился и, осмотрев, ощупав и выслушав старуху, заявил:

— Конец.

Караван рухнул на тело матери, весь содрогаясь от бурных рыданий; он судорожно целовал ее строгое лицо и проливал слезы в таком изобилии, что они падали, словно крупные капли воды, на лицо умершей.

Госпожу Караван-младшую тоже охватил приличествующий случаю приступ горя, и она, стоя позади мужа, тихонько стонала и усиленно терла глаза.

Караван, с опухшим мокрым лицом и торчащими жидкими волосами, смешной и жалкий в своем неподдельном горе, вдруг привстал:

— А... вы уверены, доктор... вы вполне уверены?

Санитарный инспектор быстро подошел к телу и, дейст-

вуя с ловкостью профессионала, точно купец, показывающий свой товар, сказал:

— Посмотрите-ка, видите зрачок?

Он приподнял веко, и показался глаз старухи, нисколько не изменившийся, только зрачок, пожалуй, был чуть-чуть расширен. Караван почувствовал как бы удар в сердце, и ужас пронизал его до мозга костей. Шене взял судорожно сведенную руку, насильно разжал пальцы и, точно возражая кому-то, не согласному с ним, безапелляционно заявил:

— Да вы посмотрите только на эту руку, я никогда не ошибаюсь, можете не сомневаться.

Караван снова повалился на кровать старухи, он просто выл от горя, а его жена, все еще хныча, уже делала что полагалось. Она пододвинула ночной столик, накрыла его салфеткой, поставила на него четыре свечи, зажгла их, вытащила из-за зеркала буксовую ветку и положила ее между свечами на тарелку, а за неимением святой воды налила в нее просто чистой. Но после короткого размышления бросила в эту воду щепотку соли, вероятно воображая, что совершила таким образом обряд освящения.

Когда все обычаи, сопутствующие смерти, были соблюдены, она остановилась и словно оцепенела. Санитарный инспектор, помогавший ей, шепнул:

— Уведите Каравана.

Она кивнула и, подойдя к мужу, который все еще стоял на коленях, подняла его, поддерживая под одну руку, тогда как Шене взял его под другую.

Сначала его усадили на стул, и жена, поцеловав его в лоб, начала успокаивать. Санитарный инспектор поддакивал и внушал ему мужество, твердость и покорность судьбе, то есть как раз все то, что так трудно сохранить людям, сраженным внезапным несчастьем. Затем они снова подхватили его под руки и увели.

Он судорожно всхлипывал, сопел и напоминал толстого ревущего младенца. Руки его беспомощно висели, колени подгибались; он сошел с лестницы, не сознавая, что делает, автоматически переставляя ноги.

Его усадили в кресло, которое он обычно занимал за столом. И вот он сидел перед тарелкой с остатками супа и забытой в ней ложкой, уставившись на свой стакан, до того отупев, что в голове у него не оставалось ни одной мысли.

В углу г-жа Караван беседовала с доктором, расспрашивала его о формальностях, просила дать ей все практические ука-

зания. В конце концов Шене, видимо выжидавший чего-то, взялся за шляпу и, заявив, что еще не обедал, стал прощаться. Она воскликнула:

— Как! Вы еще не обедали? Так останьтесь, доктор, останьтесь же! Уж что есть, не взыщите... А нам-то, вы, конечно, понимаете, нам и кусок в горло не пойдет.

Он стал благодарить, отказываться; она продолжала настаивать:

— Да как же, нет, останьтесь. В такие минуты — счастье иметь подле себя друзей; и потом вы, может быть, уговорите мужа хоть немного подкрепиться. Ему необходимо набраться сил.

Доктор поклонился, снова положил шляпу и сказал:

— В таком случае, сударыня, я остаюсь!

Хозяйка отдала какие-то приказания совершенно потерявшей голову Розали, затем и сама села обедать,— «только так, для виду,— пояснила она,— за компанию».

Снова принялись есть остывший суп. Шене попросил вторую тарелку. Затем на столе появились рубцы по-лионски, распространяя вкусный запах лука, и г-жа Караван решилась попробовать кусочек.

— Превосходно,— сказал доктор.

Она улыбнулась:

— Правда?

И обратилась к мужу:

— Съешь хоть немножко, мой бедный Альфред, нельзя же так... на пустой желудок; подумай, ведь впереди еще целая ночь.

Он покорно подставил тарелку; так же, если бы ему приказали, пошел бы он и лег в постель, не в силах чему-нибудь противиться, о чем-нибудь подумать. И начал есть.

Доктор угощался сам, подкладывал себе три раза, а г-жа Караван время от времени втыкала вилку в кусок побольше и съедала его как бы совершенно машинально.

Когда подали салатник, наполненный доверху макаронами, доктор пробормотал:

— Черт, вот это вкусная штука!

Хозяйка в этот раз наложила всем сама. Она наполнила даже блюдечки детей, которые, пользуясь отсутствием присмотра, шлепали по ним ложками, пили неразбавленное вино и уже затевали драку, пиная друг друга под столом ногами.

Шене напомнил о пристрастии Россини к этому итальянскому кушанью; затем заявил вдруг:

Заведение Телье

— Постойте, это же почти в рифму; можно было бы так начать стихотворение:

Маэстро Россини
Любил макарони.

Его не слушали. Хозяйка вдруг стала задумчивой, она размышляла обо всех вероятных последствиях происшедшего события, а ее муж катал хлебные шарики, раскладывал их в ряд на скатерти и созерцал бессмысленным взглядом. Его томила нестерпимая жажда, он то и дело подносил к губам стакан с вином; и его рассудок, уже помутившийся от потрясения и горя, как будто заволокло туманом, в голове все ходуном пошло, она отяжелела от начавшегося мучительного переваривания пищи.

Впрочем, и доктор поглощал вино, как бездонная бочка, пьянея на глазах; даже сама г-жа Караван испытывала реакцию, обычную после нервного потрясения,— она была возбуждена и чувствовала, что голова у нее слегка кружится, хотя пила она только воду.

Шене принялся вспоминать казавшиеся ему занятными истории о смертях. По его словам, в этом парижском предместье, населенном главным образом провинциалами, то и дело сталкиваешься с удивительным, чисто крестьянским равнодушием к смерти,— даже когда умирает отец или мать,— с полным отсутствием благоговения, с животной бессознательностью, столь обычной в деревнях и столь редкой в Париже.

— Вот хотя бы на той неделе,— рассказывал он,— зовут меня на улицу Пюто, являюсь. Больной только что скончался, а тут же, около кровати, семейство спокойно допивает бутылку анисовки, купленную накануне по прихоти умирающего.

Однако г-жа Караван не слушала, занятая соображениями о наследстве, а Караван, мозг которого был совершенно опустошен, уже ничего не понимал.

Подали кофе, заваренный покрепче, чтобы поддержать бодрость. От каждой чашки, сдобренной коньяком, щеки присутствующих разгорались все ярче, и последние остатки мыслей путались и в без того затуманенной голове.

Затем доктор вдруг схватил бутылку и сам налил всем, чтобы «пополоскать горло». Без слов, убаюканные примиряющим теплом пищеварения, покоренные помимо воли тем чисто животным ощущением довольства, которое дает алкоголь после обеда, они медленно тянули подслащенный коньяк, образовавший желтоватый сироп на дне чашек.

Дети заснули за столом, и Розали увела их.

Бессознательно подчиняясь потребности забыться, столь часто овладевающей теми, кто несчастен, Караван подливал себе несколько раз, и его посоловевшие глаза блестели.

Доктор наконец поднялся, собираясь уходить, и, потянув своего приятеля за локоть, сказал:

— Ну-ка, выйдемте со мной: вам полезно подышать свежим воздухом; когда у человека неприятности, не следует сидеть на месте.

Караван послушно встал, надел шляпу, взял трость, вышел; рука об руку они под светлыми звездами зашагали к Сене.

Жаркая ночь была насыщена благовонными дуновениями всех окрестных садов, полных цветами, ароматы которых вечером словно пробуждались от дневной дремоты и сливались во тьме с легким ветерком.

Широкая аллея с двумя рядами газовых фонарей, доходившая до самой Триумфальной арки, была безмолвна и пуста. Но там, в красноватой дымке, шумел Париж. Это были какие-то непрерывные раскаты, которым вдали, на равнине, по временам отвечали свистки поездов, то приближавшихся на всех парах, то убегавших в просторы полей, к океану.

Струя свежего воздуха плеснула обоим в лицо так неожиданно, что доктор чуть не потерял равновесия, а Караван почувствовал, как усиливается головокружение, мучившее его с самого обеда. И он брел, как во сне, сознание его становилось вялым, затуманивалось, горе притупилось, душа точно онемела, и он уже не испытывал страданья, а скорее даже облегчение, которое все возрастало от этих теплых ароматов, растекавшихся в ночи.

Дойдя до моста, они повернули вправо, и река пахнула им в лицо своим прохладным дыханьем. Она текла задумчиво и спокойно вдоль стены высоких тополей; звезды, казалось, плыли по воде, и струя тихонько перебирала их. Прозрачный белесый туман, надвигавшийся с того берега, доносил свежий аромат влаги. Караван внезапно остановился, пораженный этим запахом реки, пробудившим в его душе давно забытые воспоминания.

Он вдруг вспомнил мать в пору своего детства. Вот она стоит на коленях возле их крыльца там, в Пикардии, и, нагнувшись над узеньким ручейком, протекающим через сад, стирает белье, наваленное возле нее грудой. Он снова слышит удары валька, нарушающие мирную тишину деревни, слышит ее голос: «Альфред, принеси-ка мне мыло!» И вот опять тот же за-

пах текучей воды, тот же туман, поднявшийся с затопленной болотистой земли, та же влажная свежесть, тот же незабываемый аромат, который остался навек в его памяти и который он вновь услышал именно сегодня, в тот вечер, когда его мать умерла.

Он остановился, охваченный новым приступом бурного отчаяния. Как будто вспышка света сразу озарила всю безмерность его несчастья; мимолетное веяние знакомого запаха повергло его в черную бездну неисцелимого страдания. Его сердце рвалось на части при мысли о вечной разлуке. Жизнь была как бы перерезана пополам; вся молодость его словно рухнула в пропасть смерти. Со всем, что было «когда-то», теперь покончено. Все воспоминания детства утратили смысл,— не с кем будет говорить о былом, о людях, которых он тогда встречал, о родном крае, о нем самом, об интимных минутах прошлого; словно часть его собственного существа перестала жить; теперь оставалось только умереть и другой.

И замелькала вереница воспоминаний. Он снова видел «маму», моложе, в платьях, которые она носила так долго, что казалось, они приросли к ней; он видел мать в тысячах забытых положений: ее уже стершуюся в памяти мимику, ее жесты, ее интонации, ее привычки, ее вкусы, ее гневные вспышки, морщины на ее лице, движения ее худых пальцев, все эти особенности, которые так ему знакомы и которых уже никогда больше не будет.

Тогда, вцепившись в доктора, он начал громко всхлипывать. Его дряблые ноги дрожали, все его жирное тело сотрясалось от рыданий, и он лепетал:

— Мама... бедная моя мама, бедная мама!

Но его спутник, все еще пьяный, мечтал закончить вечер в одном из тех мест, где бывают тайком; раздраженный этим новым приступом горя, он усадил Каравана на прибрежную траву и почти тут же покинул его, сославшись на спешный визит к больному.

Караван плакал долго, и когда он выплакался, когда вся его боль точно вытекла вместе со слезами, на него нашло чувство странного облегчения, отдыха, нежданного покоя.

Луна взошла, и вся даль сияла спокойным светом. Высокие тополя трепетали серебряными отблесками, и туман внизу, на равнине, казался плывущим снегом; река, в которой уже не купались звезды, словно затянулась перламутром и текла неустанно, морщась длинными складками сверкающей ряби. Воздух был ласков, ветерок ароматен. Сон земли казался насыщен-

ным какой-то негой, и Караван жадно пил отраду этой ночи; он глубоко вдыхал ее и чувствовал, как все его существо проникается свежестью, покоем и неземным умиротворением.

Однако он противился этому успокоению и повторял: «Мама, бедная моя мама»,— стараясь из какой-то добросовестности, из честности снова вызвать на глаза слезы, но тщетно. И даже грустью не сжималось сердце при тех мыслях, от которых он только что исступленно рыдал.

Тогда он поднялся, решив вернуться домой. Он шел мелкими шажками, и спокойное равнодушие безмятежной природы обволакивало его и против воли целило душу.

Он подошел к мосту, увидел фонарь последнего паровичка, готового отойти, а за ним освещенные окна кафе «Глобус».

И вот у него явилась потребность рассказать кому-нибудь о постигшем его горе, пробудить сочувствие, придать себе в чьих-то глазах интерес. Он сделал жалостное лицо, открыл дверь заведения и направился к прилавку, за которым по-прежнему восседал хозяин. Караван рассчитывал, что произведет сильное впечатление, что все сейчас же вскочат, поспешат к нему, протянув руки, восклицая: «Слушайте, что это с вами?» Но решительно никто не обратил внимания на его скорбное лицо. Тогда он облокотился на прилавок и, сжимая голову руками, пробормотал:

— Боже мой, боже мой!

Хозяин внимательно посмотрел на него:

— Вы что, заболели, господин Караван?

И Караван ответил:

— Нет, мой добрый друг. Но у меня только что скончалась мать.

Хозяин рассеянно пробормотал: «А-а!» И так как из глубины зала в это время донесся возглас посетителя: «Кружку пива!» — хозяин рявкнул в ответ: «Сию минуту!» — и торопливо понес пиво, оставив пораженного Каравана в одиночестве.

За тем же столом, что и утром, те же трое любителей домино, сосредоточенные и неподвижные, продолжали игру. Караван, в поисках сочувствия, подошел к ним. Так как ни один из них его, видимо, не замечал, он решился заговорить первый.

— Давно ли мы виделись,— начал он,— а меня успело постигнуть большое несчастье.

Все трое одновременно слегка приподняли головы, однако не сводили глаз с костяшек, которые держали в руках.

— Да ну, а что такое?

— У меня только что умерла мать.

Один из них пробормотал: «Ах черт...» — тем тоном напускного огорчения, к которому прибегают равнодушные.

Второй, не найдя, что сказать, покачал головой и грустно свистнул. Третий снова погрузился в игру, как бы подумав про себя: «Только и всего!»

А Караван ждал хоть одного из тех слов, которые, как говорится, «идут от сердца». Но, встретив такой прием, он удалился, возмущенный их равнодушием к горю приятеля, хотя это горе в данную минуту уже настолько притупилось, что он и сам его почти не ощущал.

Он вышел из кафе.

Жена поджидала его, она сидела в ночной рубашке на скамеечке у открытого окна и упорно думала о наследстве.

— Раздевайся,— сказала она,— поговорим в постели.

Он поднял голову и указал взглядом на потолок:

— А там... наверху... никого нет?

— Прости, пожалуйста, около нее Розали, ты пойдешь и сменишь ее в три часа, когда немного поспишь.

Он остался в кальсонах, на всякий случай повязал голову платком и занял свое место рядом с женой, которая уже скользнула под одеяло.

Некоторое время они молчали. Она что-то обдумывала.

Ее чепчик даже в этот вечер был украшен розовым бантом и сидел немного набок, как будто следуя неодолимой привычке всех ее чепцов.

Вдруг она сказала, повернув к нему голову:

— Ты не знаешь, твоя мать оставила завещание?

Он задумался:

— Не... не знаю. Нет, наверно, не оставила.

Госпожа Караван посмотрела мужу прямо в глаза и злобно прошипела:

— А знаешь ли, это подлость, вот что я тебе скажу! Десять лет мы из кожи лезли, приютили, кормили, ублажали ее. Сестра твоя этого не стала бы делать, да и я тоже, кабы я знала, как она меня отблагодарит за все. Да, уж добром ее не помянешь... Ты, конечно, скажешь — она, дескать, платила за свое содержание! Верно; так разве деньгами платят детям за их заботы? Нет, завещание на их имя оставляют! Вот как делают порядочные люди! Выходит, я за все мои труды, за все заботы ни черта не получила! Хорошо! Нечего сказать, очень хорошо!

Караван растерянно повторял:

— Дорогая моя, дорогая, прошу тебя, умоляю тебя!..

В конце концов она успокоилась и уже обычным тоном сказала:

— Завтра утром надо будет известить твою сестру.

Он даже привскочил:

— Верно, я и не подумал! Прямо чуть свет пошлю телеграмму.

Но она, как женщина, умеющая все предусмотреть, остановила его:

— Нет, пошлешь часов в десять — одиннадцать, чтобы успеть все устроить до ее приезда. От Шарантона сюда самое большее два часа езды. Мы скажем, что ты просто голову потерял. Вполне достаточно предупредить ее завтра утром.

Но Караван стукнул себя по лбу и с той робостью, которая появлялась каждый раз в его голосе, когда он упоминал о начальстве, одна мысль о котором вызывала в нем дрожь, проговорил:

— Необходимо также дать знать в министерство.

Жена ответила:

— Зачем это? В таких случаях вполне извинительно забыть. Не надо, не извещай, поверь мне. Твой начальник при всем желании не может придраться, пусть позлится.

— О-о! Да,— сказал он,— он просто взбесится, когда увидит, что меня нет. Да, ты права. Великолепная мысль! А когда я сообщу ему, что у меня мать умерла, ему поневоле придется замолчать!

И чиновник, в восторге от этой перспективы, потирал руки и рисовал себе лицо начальника; а в верхней комнате лежало распростертое тело старухи рядом с уснувшей служанкой.

Госпожа Караван становилась все озабоченнее, словно ее тревожило что-то, о чем она не решалась заговорить. Наконец она собралась с духом:

— Слушай, ведь твоя мать подарила тебе часы, знаешь — девушка с бильбоке?

Он старался вспомнить:

— Да, да, она сказала мне (но только очень давно, когда она приехала сюда), она сказала мне: «Эти часы тебе достанутся, коли мне будет у тебя хорошо».

Госпожа Караван успокоилась и повеселела.

— Тогда нужно взять их, а то, если мы оставим их там до твоей сестры, она не даст.

Он колебался:

— Ты думаешь?..

Она рассердилась:

— Конечно, думаю: а поставить здесь — и взятки гладки: наши, и все. Вот и комод тоже у нее в комнате, знаешь, этот, с мраморной доской. Она ведь мне его подарила в добрую минуту, именно мне. Мы уж заодно и его заберем.

Однако Караван был в нерешительности.

— Ты знаешь, дорогая моя, за это можно и ответить.

Она обернулась к нему, разозлившись:

— Да? Подумаешь! Неужели ты всегда такой будешь? Пусть лучше твои дети с голоду умрут, но ты пальцем не шевельнешь, нет. Ведь она подарила мне комод? Подарила! Ну, значит, он наш, верно? А если твоя сестра будет недовольна, пусть только попробует заикнуться! Плевала я на твою сестру! Вставай-ка, и мы сейчас же снесем вниз те вещи, которые твоя мать отдала нам.

Трепеща, но покоряясь, он встал с постели, и взялся было за брюки, но она остановила его:

— Зачем тебе одеваться, довольно и кальсон; я вот так пойду.

Оба супруга в ночной одежде поднялись на цыпочках по лестнице, осторожно открыли дверь и вошли в комнату, где четыре свечи, зажженные вокруг тарелки с буксовой веткой, одни, казалось, стерегли суровый покой старухи, ибо Розали неподвижно лежала в кресле, вытянув ноги, скрестив руки, склонив голову набок, открыв рот; она спала, слегка похрапывая.

Караван взял часы. Это была одна из тех нелепых вещей, которые производила в изобилии эпоха Империи. Девушка из позолоченной бронзы в венке из разнообразных цветов держала в руках бильбоке, шарик которого служил маятником.

— Дай-ка это мне,— сказала жена,— а ты возьми доску с комода.

Он подчинился и пыхтя взвалил на плечо мраморную доску.

Затем супруги удалились. Проходя в дверь, Караван нагнулся и дрожа стал спускаться по лестнице, а жена пятилась задом, держа под мышкой часы, и освещала ему дорогу.

Когда они снова очутились у себя в спальне, она облегченно вздохнула.

— Ну, главное сделали,— сказала она,— пойдем за остальным.

Однако оказалось, что ящики комода набиты тряпками старухи. Необходимо было куда-нибудь все это деть.

Госпожу Караван осенила блестящая мысль:

— Пойди-ка принеси сосновый сундучок из передней. Он сорока су не стоит, вот и поставим его здесь.

Когда сундучок был принесен, они начали перекладывать в него вещи.

Они вынимали из комода манжетки, воротнички, сорочки, чепчики, все убогие тряпки лежавшей за их спиной старухи, и аккуратно укладывали все в деревянный сундучок, чтобы г-жа Бро, дочь покойницы, которая приедет завтра, ничего не заподозрила.

Когда все было в порядке, они снесли вниз сначала ящики, потом самый комод, поддерживая его с двух сторон, и долго искали, где бы его получше пристроить. Наконец ему нашли место в спальне, против кровати, в простенке между окнами.

Когда комод поставили, г-жа Караван сейчас же уложила в него собственное белье. Часы были водружены на камине в столовой; затем супруги стали любоваться новыми приобретениями. Они были в восторге.

— Правда, очень хорошо? — сказала она.

Он ответил:

— Да, очень хорошо.

И они улеглись. Она задула свечу, и скоро весь дом погрузился в сон.

Караван открыл глаза, когда уже совсем рассвело. Его мысли были еще затуманены; лишь через несколько минут он вспомнил о том, что произошло, и почувствовал как будто удар в грудь; он тут же вскочил с кровати в новом приливе горя.

Торопливо поднялся он в комнату матери, где Розали спала в том же положении, что и накануне, так, видимо, ни разу и не проснувшись. Он отослал ее в кухню, заменил догоравшие свечи новыми и погрузился в созерцание усопшей, перебирая в памяти все те мнимо-глубокомысленные изречения, все те философские и религиозные пошлости, которые осаждают не очень умных людей перед лицом смерти.

Но тут жена позвала его, и он сошел вниз. Она составила список того, что нужно сделать с утра; увидев этот перечень, он ужаснулся.

Он прочел:

1. Сделать заявление в мэрию.
2. Вызвать врача для констатации смерти.
3. Заказать гроб.
4. Зайти в церковь.
5. В похоронное бюро.
6. В типографию — заказать извещения.

7. К нотариусу.

8. На телеграф, чтобы сообщить родным.

Затем следовал еще ряд мелких поручений. Караван взял шляпу и вышел.

Тем временем новость успела распространиться, начали приходить соседки, чтобы поглядеть на покойницу.

Парикмахер в нижнем этаже, пока брил клиента, даже поссорился из-за нее с женой.

Жена, вязавшая чулок, пробормотала:

— Еще одна убралась на тот свет, а уж скупа была — я таких и не видела. Не очень-то я любила ее, что говорить, а все-таки пойти взглянуть надо!

Муж заворчал, намыливая подбородок клиента:

— Вот еще выдумала! Только женщины способны на это. Мало вы грызетесь при жизни, вы и после смерти-то не даете друг дружке покоя!

Но супруга, нимало не смущаясь, продолжала:

— Не могу! Сил моих нет, как хочу пойти! С утра меня подмывает. Если я на нее не погляжу — кажется, всю жизнь буду об ней думать. А так — насмотрюсь хорошенько, запомню ее лицо и успокоюсь.

Парикмахер пожал плечами и поделился своим негодованием с господином, которому скреб щеку:

— Ну, скажите, пожалуйста, чем только у них головы набиты, у этих баб проклятых? Подумаешь, удовольствие — глазеть на покойника.

Но жена слышала его замечание и невозмутимо настаивала:

— А я вот пойду! Пойду!

И, положив вязанье на конторку, она поднялась к Караванам.

Там уже оказались две соседки, которым г-жа Караван рассказывала все подробности.

Потом женщины отправились в комнату усопшей. Они вошли на цыпочках одна за другой, попрыскали на простыню соленой водой, преклонили колена, перекрестились, бормоча молитву, затем поднялись на ноги и, выпучив глаза, разинув рот, погрузились в длительное созерцание трупа, а сноха покойницы, прижав к глазам платок, разразилась притворными рыданиями.

Повернувшись, чтобы выйти, она увидела возле двери Мари-Луизу и Филиппа-Огюста; оба были в рубашках и с любопытством наблюдали за происходящим. Тогда, сразу забыв свое

показное горе, она бросилась к ним и, замахнувшись, визгливо крикнула:

— Пошли вон отсюда, озорники проклятые!

Когда она минут через десять снова поднялась наверх с гурьбой других соседок и снова попрыскала свекровь водой, помолилась, похныкала — словом, выполнила все, что полагается, то, обернувшись, опять увидела позади себя обоих детей. Она еще раз выставила их для порядка; но затем уже перестала обращать на них внимание, и при каждом появлении новых посетителей ребята входили следом, тоже опускались в уголке на колени и неизменно повторяли все, что проделывала мать.

После полудня приток любопытных стал уменьшаться и вскоре совсем иссяк. Г-жа Караван, вернувшись к себе, занялась приготовлениями для предстоящих похорон; покойница осталась одна.

Окно было открыто. Вместе с клубами пыли в комнату вливался нестерпимый зной; пламя четырех свечей трепетало рядом с неподвижным телом; по простыне, по лицу с закрытыми глазами, по вытянутым рукам ползали, бегали, карабкались, прогуливались и осматривали старуху десятки мелких мушек, ожидая, когда настанет их время хозяйничать.

Мари-Луиза и Филипп-Огюст снова убежали на улицу. Вскоре их окружили другие ребята, особенно девочки, более смышленые, разгадывающие быстрее все тайны жизни. И они расспрашивали, как взрослые:

— У тебя бабушка померла?

— Да, вчера вечером.

Мари-Луиза объясняла, рассказывала про свечи, про ветку букса, про бабушкино лицо. Тогда всеми детьми овладело непреодолимое любопытство, и они тоже попросились наверх, взглянуть на покойницу.

Мари-Луиза сейчас же организовала первую партию из пяти девочек и двух мальчиков — самых больших, самых смелых. Она заставила их снять башмаки, чтобы не было слышно. Дети прокрались в дом, беззвучно и ловко, как мыши, взбежали по лестнице.

Очутившись в комнате, девочка, подражая матери, выполнила весь церемониал. Она торжественно ввела товарищей, встала на колени, перекрестилась, что-то пошептала, поднялась, попрыскала на кровать воды, и, когда дети, со страхом, восхищением и любопытством, приблизились к умершей и стали рассматривать ее лицо и руки, девочка вдруг принялась притворно рыдать, прижимая к глазам детский платочек. Затем, вспомнив

о тех, кто еще ждал на улице, она вдруг утешилась и, увлекая детей, пришедших с ней, убежала; скоро она вернулась, ведя за собой следующую партию, потом еще и еще, так как новое развлечение привлекло озорников со всего квартала — даже маленьких нищих в лохмотьях, и она каждый раз начинала сызнова, в совершенстве подражая всему, что делала мать.

Наконец ей это надоело. Другая игра отвлекла ребят в другое место, и старенькая бабушка осталась одна, совсем одна, забытая всеми.

В комнату вошли сумерки, и на сухое, морщинистое лицо умершей мерцающие огоньки свечей отбрасывали трепетные блики.

Около восьми часов Караван поднялся к матери, закрыл окно и переменил свечи. Теперь он входил спокойно, уже привыкнув к этому телу, словно оно лежало здесь месяцы. Он даже отметил, что еще не появилось ни малейших признаков разложения, и сказал об этом жене как раз в ту минуту, когда они садились обедать.

Она ответила:

— Ну да, твоя мать ведь деревянная, целый год пролежит, и то с нею ничего не сделается.

Суп съели в полном молчании. Дети, бегавшие целый день на свободе, с ног валились от усталости и засыпали сидя за столом; никто не говорил ни слова.

Вдруг свет лампы начал меркнуть.

Госпожа Караван сейчас же подкрутила фитиль; но резервуар издал гулкий звук, что-то зашипело, и лампа окончательно погасла. В суматохе забыли купить керосин! Пойти в лавочку — значило затянуть обед; стали искать свечей, но свечей не было, кроме тех, которые горели возле кровати покойницы.

Госпожа Караван, не долго думая, поскорей послала Мари-Луизу наверх взять оттуда две свечи; и все стали ждать ее возвращения.

Отчетливо доносились шаги девочки, поднимавшейся по лестнице. Затем на несколько секунд воцарилась тишина; и вдруг снова раздались шаги — Мари-Луиза торопливо сбегала вниз. Она распахнула дверь, испуганная, ошеломленная еще больше, чем накануне, когда сообщила о катастрофе, и пролепетала, задыхаясь:

— Ой, папочка, бабушка одевается!

Караван вскочил так стремительно, что стул отлетел к стене. Он пробормотал:

— Что? Что ты сказала?

Но Мари-Луиза, заикаясь от волнения, повторила:

— Там ба... ба... бабушка одевается... она... сейчас придет.

Обезумев, он кинулся к лестнице, за ним спешила совершенно оторопевшая жена; но перед дверью матери он остановился, охваченный ужасом, не решаясь войти. Что ждало его там?

Госпожа Караван была храбрее, она повернула ручку и вошла.

В комнате стало как будто темнее, а посредине двигалась высокая худая фигура. Да, старуха была на ногах; она пробудилась от летаргического сна, перевернулась на бок и, приподнявшись на локте, еще в полусознании задула три из четырех свечей, горевших возле ее смертного ложа. Затем она собралась с силами, встала и начала искать свою одежду. Исчезновение комода смутило ее, но постепенно она отыскала свои вещи в деревянном сундучке и спокойно оделась. Она вылила воду из тарелки, снова сунула за зеркало ветку букса, расставила стулья по местам и уже готовилась сойти вниз, когда увидела перед собою сына и невестку.

Караван кинулся к ней, схватил ее руки, поцеловал ее со слезами на глазах, а стоявшая за его спиной жена лицемерно твердила:

— Какое счастье! Ах, какое счастье!

Но старуха отнюдь не была растрогана, она, видимо, даже не понимала, в чем дело, и, стоя перед ними, словно каменная статуя с ледяным взором, только спросила:

— Обед скоро будет?

Он пробормотал, теряя голову:

— Ну да, мама, мы ждем тебя.

И с несвойственной ему предупредительностью он схватил ее под руку, а г-жа Караван-младшая взяла свечу и стала светить им, спускаясь по лестнице задом, со ступеньки на ступеньку, как в прошлую ночь спускалась впереди мужа, тащившего мраморную доску.

Дойдя до второго этажа, она чуть не столкнулась с гостями, поднимавшимися по лестнице. Это приехали из Шарантона г-жа Бро и ее супруг.

Рослая, грузная сестра Каравана, с огромным, как при водянке, животом, отчего она ходила откинувшись назад, в ужасе широко открыла глаза и готова была бежать прочь. Муж, сапожник-социалист, мохнатый коротышка, заросший волосами до самых глаз, совершенная обезьяна, проговорил без всякого волнения:

— Это что же? Воскресла?

Как только г-жа Караван узнала их, она стала делать им знаки, затем воскликнула:

— Кого я вижу!.. Собрались к нам наконец! Какой приятный сюрприз!

Но ошеломленная г-жа Бро ничего не могла понять; она ответила вполголоса:

— Да ведь мы получили от вас телеграмму... мы думали, все кончено.

Муж, стоявший сзади, ущипнул ее, чтобы она замолчала, и добавил, лукаво улыбнувшись в свою густую бороду:

— Вы очень любезны, что пригласили нас. Как видите, мы явились сейчас же...— Он намекал на давнюю вражду между обоими семействами. Затем, поспешив навстречу старухе, которая спустилась уже на последнюю ступеньку, подошел к ней вплотную и, задевая ее щеку волосатой скулой, крикнул ей на ухо, ибо она была глуха:

— Как живем, мамаша? По-прежнему здоровы, а?

Госпожа Бро, которая все еще не могла опомниться, видя, что та, кого она считала мертвой, живехонька как ни в чем не бывало, не решалась даже поцеловать ее и стояла, точно копна, загораживая всем дорогу своим огромным животом.

Старуха, не проронив ни слова, подозрительно и беспокойно оглядывала стоявших перед ней, задерживая то на одном, то на другом жесткий и пытливый взгляд своих маленьких серых глазок, в котором явно можно было прочесть ее мысли и который смущал все семейство.

Наконец Караван, желая как-то объяснить происшедшее, сказал:

— Она тут прихворнула у нас, но теперь поправилась, совсем понравилась, верно, мамаша?

Тогда старуха, снова двинувшись в путь, ответила, словно издалека, надтреснутым голосом:

— Со мной обморок был. Я каждое ваше слово слышала.

Наступило неловкое молчание. Дошли до столовой; все сели за стол и принялись за обед, который кое-как приготовили на скорую руку.

Только Бро не терял привычного апломба. Он гримасничал, отчего еще больше напоминал злую гориллу, и отпускал двусмысленности, от которых всем становилось неловко.

В передней то и дело звякал колокольчик; растерянная Розали прибегала за Караваном, и он выскакивал из-за стола,

срывая с себя салфетку. Его свояк даже полюбопытствовал, не приемный ли день у них сегодня. Караван пробормотал:

— Да нет... просто разные дела.

Наконец принесли какой-то пакет. Караван неосмотрительно вскрыл его, и оттуда посыпались заказанные им извещения о смерти с черной каймой. Тогда, вспыхнув до ушей, он снова вложил их в конверт и сунул в карман жилета.

Мать не видела этого; она не сводила глаз с часов на камине, маятник которых в виде позолоченного шарика тихонько покачивался среди леденящего молчания. Общее смущение все росло.

Но вот старуха обратила к дочери сморщенное лицо ведьмы, в ее глазах блеснуло какое-то ехидное лукавство, и она заявила:

— Привезешь ко мне в понедельник свою дочку, хочу повидать ее.

Лицо г-жи Бро просияло, и она торопливо крикнула:

— Хорошо, мамаша.

А г-жа Караван-младшая побелела, ей чуть не стало дурно.

Мужчины понемногу разговорились; из-за какого-то пустяка между ними вспыхнул спор о политике. Бро, сочувствовавший революционным и коммунистическим теориям, яростно кричал, и его глаза пылали на волосатом лице:

— Собственность, милостивый государь, это грабеж, обкрадывание трудящихся; земля принадлежит всем, а разные эти там наследства — позор и подлость!..

Но вдруг он осекся, сконфузившись, как человек, только что сказавший глупость, а затем добавил более миролюбиво:

— Ну, да сейчас не время спорить на этот счет.

Дверь открылась; на пороге появился доктор Шене. На миг он оцепенел, затем быстро овладел собой и развязно подошел к старухе.

— А... а... молодец мамаша! Нынче все в порядке? Да, я так и знал! Поднимаюсь к вам по лестнице и думаю: «Пари держу, что наша старушка уже на ногах».— И, тихонько похлопав ее по спине, добавил: — О... о, она крепкая, как дуб, всех нас переживет, вот увидите.

Он уселся, взял предложенную ему чашку кофе и сейчас же вмешался в разговор обоих мужчин, поддерживая Бро, так как сам был когда-то замешан в деле Коммуны.

Скоро старуха, почувствовав усталость, захотела встать, и Караван бросился помогать ей; тогда она, глядя ему прямо в глаза, проговорила:

— Изволь сейчас же перенести ко мне в комнату мой комод и мои часы, слышишь?

— Сейчас, сейчас, мамаша.

А она, взяв под руку дочь, удалилась.

Супруги Караван застыли на месте, пораженные, онемевшие, словно над ними разразилась ужасная катастрофа, между тем как Бро потирал руки и с наслаждением прихлебывал кофе.

Вдруг г-жа Караван в ярости бросилась на свояка и проревела:

— Вор, негодяй, мошенник!.. В рожу я тебе наплюю... Я тебя... я тебя...

Задыхаясь, она не находила слов, а он, посмеиваясь, продолжал спокойно пить кофе.

Как раз в это время возвратилась его жена; она ринулась на золовку, и обе женщины — одна грузная, с грозно торчащим животом, другая тощая, перекошенная от злости, не своим голосом стали выкрикивать ругательства, выливать друг на друга целые ушаты грязи.

Шене и Бро вмешались, и сапожник, схватив свою половину за плечи, вытолкал ее из комнаты, крича:

— Ступай, ступай, ослица, довольно орать!

И с улицы еще долго доносилась, затихая, их перебранка.

Ушел и Шене.

Супруги Караван остались одни.

Тогда муж рухнул на стул и, обливаясь холодным потом, пролепетал:

— А что ж я теперь начальнику-то скажу?

I

Погода была прекрасная, на ферме раньше обычного отобедали, и весь народ ушел в поле.

Роза, жившая в работницах, осталась одна на кухне, где в очаге под котлом с горячей водой еще тлели последние угли. Время от времени она черпала воду из котла и не спеша мыла посуду, отрываясь от работы, чтобы поглядеть на два светлых квадрата, которые солнце сквозь окно отбрасывало на стол и в которых отражались все изъяны стекол.

Три обнаглевшие курицы клевали под стульями крошки. В открытую дверь шли запахи скотного двора, парной прелый дух стойла; и в тишине знойного полдня пели петухи.

Девушка прибралась, вытерла стол, выгребла золу из очага, расставила тарелки на высоком поставце в дальнем углу кухни, около больших звонко тикавших деревянных часов, и вздохнула; ее немножко разморило, на душе было как-то смутно. Она поглядела на глиняные почерневшие стены, на прокоптелые балки потолка, откуда свешивалась паутина, вяленые селедки, связки лука. Потом села,— ей было чуть-чуть тошно от густых испарений, которые поднимались в знойные дни от земляного пола, где с давних пор высыхало столько пролитого. Сюда же примешивался острый, приторный запах молока, отстаивавшегося на холодке в соседнем чулане. Все же она собиралась, по обыкновению, приняться за шитье, но ощутила какую-то слабость и вышла на порог подышать свежим воздухом.

И тут, разнежившись на солнышке, она почувствовала, как тепло поднимается к самому сердцу, как по телу разливается приятная истома.

Над навозной кучей у дверей струился легкий пар. Куры блаженствовали здесь, лежа на боку, и чуть скребли в навозе одной лапкой в поисках червей. Петух во весь рост красовался среди них. Поминутно намечал он новую избранницу и кружил около нее, тихо и призывно квохча. Курица лениво вставала и спокойно покорялась, подгибая лапки и принимая его на распростертые крылья, затем она отряхивала перышки, с которых подымалась пыль, и снова ложилась на кучу навоза, а он звонко возвещал о своих победах, и со всех дворов отзывались петухи, словно посылая друг другу задорный любовный клич.

Служанка рассеянно смотрела на них. Потом подняла глаза и обомлела от ослепительной белизны яблонь, стоявших в цвету, будто в напудренных париках.

Вдруг мимо нее вскачь пронесся шалый от радости жеребенок. Он два раза промчался вдоль канав, обсаженных деревьями, потом остановился как вкопанный и огляделся, словно удивляясь, что он один.

И она тоже чувствовала потребность бегать, двигаться и в то же время желание лечь, вытянуться, задремать в палящем неподвижном зное. Нерешительно сделала она несколько шагов, закрыв глаза, охваченная чувством животного блаженства, затем не спеша отправилась в курятник за яйцами. Там было тринадцать штук, она взяла их, отнесла в дом и положила в буфет, но от запаха кухни ее снова стало мутить, и она вышла посидеть на траве.

Двор фермы, окруженный деревьями, казалось, спал. В высокой траве полыхали желтые одуванчики, а трава была сочная, зеленая, по-весеннему зеленая и свежая. Тень от яблонь кружком лежала у их корней, на соломенных крышах служб росли ирисы с листьями, похожими на сабли, а крыши слегка курились, словно влага стойла и сараев испарялась сквозь солому.

Работница прошла под навес, куда убирали повозки и телеги. За ним была канава, большая, зеленая яма, вся заросшая пахучими фиалками, а дальше простиралась огромная равнина с перелесками, с полями, где зрел урожай и местами виднелись кучки работающих людей, далеких и маленьких, как куклы; белые, словно игрушечные, лошадки тащили детский плуг, за которым шел человечек ростом с колос.

Она сходила на сеновал за снопом соломы, бросила сноп в канаву и уселась сверху; но сидеть было неловко; и она развя-

зала свясло, растрепала солому и легла на спину, заложив руки за голову и вытянув ноги.

Глаза сами собой потихоньку сомкнулись, сладостная истома сморила ее. Она уже засыпала, как вдруг почувствовала, что кто-то схватил ее обеими руками за грудь, и сразу вскочила. Это был Жак, работник, рослый, складный пикардиец, который с некоторых пор увивался за ней. Сегодня он работал в овчарне и, увидя, как она улеглась в тени, подкрался тихонько, затаив дыханье; глаза у него разгорелись, в волосах запутались соломинки.

Он хотел ее обнять, но она закатила ему оплеуху, так как была не слабей его; он схитрил и попросил прощения. Они уселись рядышком и принялись толковать. Поговорили о погоде, благоприятной для посевов, о том, что год выдался урожайный, о хозяине — неплохом человеке, затем о соседях, о всей округе, о себе самих, о родной деревне, вспомнили детство, родителей, с которыми распрощались надолго, может быть, навсегда. Она растрогалась при этих воспоминаниях, а он, повинуясь все той же неотвязной мысли, пододвинулся ближе, стал прижиматься, весь трепеща от желания. Она говорила:

— Ох, давно я матери не видала; что там ни говори, а все скучаешь по дому.

Она смотрела отсутствующим взглядом вдаль, преодолевая расстояние, и перед глазами ее встала покинутая ею деревня где-то там, далеко на севере.

Вдруг он обхватил ее за шею и опять поцеловал; но она, сжав кулак, ударила его прямо в лицо так сильно, что у него пошла кровь носом; он встал и прислонился головой к дереву. Тут она разжалобилась и, подойдя поближе, спросила:

— Больно?

Но он рассмеялся. Не беда, все только потому, что удар пришелся по самому носу. Он пробормотал: «Ну уж и здорова!» Теперь он смотрел на нее восхищенным взглядом, почувствовав уважение, симпатию совсем другого порядка, зарождение настоящей любви к этой крупной и крепкой девке.

Когда кровь унялась, он предложил ей пройтись, так как побаивался тяжелого кулака соседки, если они по-прежнему будут сидеть рядышком. Но она сама взяла его под руку, как ходят жених с невестой вечером по улице, и сказала:

— Нехорошо, Жак, что нет мне от тебя уважения.

Он стал оправдываться: какое тут неуважение, влюблен, вот и все.

— Так ты на мне женишься? — спросила она.

Он призадумался, потом посмотрел на нее исподтишка, пока она глядела куда-то вдаль невидящими глазами. У нее были румяные круглые щеки, могучая грудь, выпиравшая под ситцевой кофточкой, крупные сочные губы, на голой шее капельками выступал пот. Он снова почувствовал прилив желания и прошептал, касаясь губами ее уха:

— Женюсь.

Тогда она обняла его за шею и поцеловала таким долгим поцелуем, что у обоих захватило дух.

С той поры началась у них обычная любовная канитель. Они обнимались по углам, ходили на свидания при свете луны, прячась за стогом сена, во время еды до синяков жали друг другу под столом ноги своими грубыми, подбитыми гвоздями башмаками.

Затем Жак стал как будто остывать; он избегал встреч, не говорил с ней, не искал случая остаться наедине. Тогда ею овладели сомнения, она затосковала, а спустя немного почувствовала себя беременной.

Сперва она пришла в ужас, затем ее охватила злоба, крепчавшая с каждым днем, потому что ей никак не удавалось поговорить с Жаком,— так старательно избегал он встреч.

Наконец как-то ночью, когда весь дом спал, она бесшумно вышла, босиком, в нижней юбке, прошла двор и открыла дверь в конюшню, где Жак спал в ящике с соломой над лошадьми. Услышав ее шаги, он притворился спящим, но она влезла к нему, встала на колени и трясла его до тех пор, пока он не очнулся.

Когда он сел и спросил: «Что тебе надо?» — она сказала, сжав зубы и дрожа от злобы:

— Мне надо, мне надо, чтобы ты на мне женился, раз ты обещал жениться.

Он рассмеялся и ответил:

— Ну, на всех девушках, с кем гулял, пожалуй, не женишься.

Но она схватила его за горло, опрокинула, не давая ему высвободиться из этих свирепых объятий, и крикнула прямо в лицо:

— Я беременна, слышишь — беременна!

Он задыхался, ловил воздух; так они замерли оба, не двигаясь, не говоря, в ночном безмолвии, нарушаемом только похрустыванием соломы, которую лошадь вытаскивала из яслей и лениво жевала.

Когда Жак понял, что она сильнее его, он прохрипел:

— Ладно, женюсь, говорю — женюсь, раз уж такие дела.

Но она не верила обещаниям.

— Не откладывай,— сказала она.— Завтра же закажи оглашение.

Он ответил:

— Завтра так завтра.

— Побожись!

Он заколебался, но выхода не было.

— Ей-богу, женюсь.

Тогда она разжала пальцы и ушла, не прибавив ни слова.

Несколько дней ей не удавалось поговорить с ним. Конюшню он теперь каждую ночь запирал на ключ, а она не решалась стучаться, боясь огласки.

И вот как-то утром за столом появился другой работник. Она спросила:

— Жак ушел?

— Ну да, меня взяли на его место,— ответил тот.

Она так задрожала, что с трудом сняла котел с крюка; потом, когда все ушли на работу, поднялась к себе в каморку и долго плакала, уткнувшись в подушку, чтобы ее не услыхали.

Днем она попыталась навести справки, не возбуждая подозрений; но она была так одержима мыслью о своем горе, что ей чудилось, будто все, кого она ни спрашивала, ехидно посмеиваются. Впрочем, ей все же удалось узнать, что он совсем уехал из этих мест.

II

Теперь жизнь превратилась для нее в сплошную муку. Она работала, как машина, не замечая, что делает, непрестанно думая об одном: «Что, как узнают?»

Под гнетом этой неотвязной мысли она до такой степени потеряла способность соображать, что даже не делала никаких попыток избежать скандала, который надвигался, приближался с каждым днем, неотвратимый и неизбежный, как смерть.

По утрам она вставала раньше всех и с неутомимым упорством разглядывала свою талию в осколок зеркала, перед которым обычно причесывалась, стараясь решить, не заметят ли уже сегодня, что с ней.

А днем она то и дело отрывалась от работы и смотрела сверху на свой располневший живот: не слишком ли он выпирает из-под передника.

Шли месяцы. Она почти не разговаривала, а когда ее спрашивали, не понимала, терялась, смотрела тупым взглядом, руки не слушались ее, так что хозяин говорил:

— Что-то ты, голубушка, поглупела за последнее время!

В церкви она пряталась за выступ и не смела пойти к исповеди, боясь встретиться с кюре, которому приписывала сверхъестественную власть читать в сердцах.

За столом она обливалась холодным по́том от взглядов других работников и все время дрожала, что скотник, не по летам смышленый, хитрый мальчишка, разгадает ее тайну, так как он не спускал с нее блестящих глаз.

Как-то утром почтальон принес ей письмо. Никогда раньше не доводилось ей получать письма, и теперь она так растерялась, что даже села. А что, если письмо от него? Грамоте она не знала и потому с почтительным страхом смотрела на лист бумаги, исписанный чернилами. Она положила его в карман, никому не решаясь доверить свою тайну, но часто отрывалась от работы и подолгу разглядывала правильные строчки, которые кончались подписью, смутно надеясь, что вдруг проникнет в их смысл. Наконец, сходя с ума от нетерпения и беспокойства, она пошла к учителю; он усадил ее и прочитал:

«Здравствуй, дорогая дочка!

Настоящим сообщаю, что пришел мне конец,— пишет тебе сосед, дядюшка Дантю, чтобы ты приехала, если можешь.

За твою любящую мать

руку приложил

Сезар Дантю, помощник мэра».

Она не сказала ни слова и ушла, но, как только очутилась одна, ноги у нее подкосились, и она села на краю дороги и просидела так до ночи.

Дома она рассказала о своем горе хозяину, и он отпустил ее, на сколько понадобится, пообещав нанять вместо нее поденщицу, а по возвращении снова взять на работу.

Мать была при смерти; она умерла в день ее приезда. Наутро Роза родила семимесячного ребенка, жалкого заморыша, такого тощего, что смотреть было жутко, он, верно, ужасно мучился, так страдальчески сжимал он костлявые ручонки, похожие на паучьи лапки.

И все же ребенок выжил.

Она сказала, что вышла замуж, но ребенка ей взять некуда, и оставила его у соседей, которые обещались его выходить.

Сама она вернулась на ферму.

Но тут в ее исстрадавшемся сердце взошла заря неведомой ей дотоле любви к этому тщедушному существу, оставленному дома; и любовь эта стала для нее источником новых страданий, страданий ежечасных, ежеминутных оттого, что она была разлучена с ребенком.

Особенно мучило ее безудержное желание схватить его, стиснуть в объятиях, прижать к себе его теплое тельце. По ночам она не могла уснуть; днем думала только о нем, а вечером, управившись с работой, присаживалась к огню и пристально глядела на пламя, как люди, мысли которых далеко.

На ферме уже начали судачить о ней, подтрунивать по поводу ее «предмета», осведомлялись, красив ли он, высок ли ростом, богат ли, спрашивали, когда она позовет на свадьбу, когда на крестины? И она часто убегала и втихомолку плакала, так как эти расспросы кололи ее, точно булавки.

Чтобы отделаться от приставаний, она с ожесточением принялась за работу и, ни на минуту не забывая о ребенке, ломала себе голову, как бы скопить побольше денег.

Она решила приналечь на работу так, чтобы хозяин прибавил ей жалованья.

И вот мало-помалу она забрала в свои руки все домашние дела, выжила другую служанку, так как теперь, когда она трудилась за двоих, та уже была не нужна; урезывала во всем: в хлебе, масле, свечах, в зерне, следя за тем, чтобы его не бросали курам зря, в корме для скота, который расходовали слишком щедро. Она тряслась над хозяйскими деньгами, как над своими, на базаре умела соблюдать выгоду, дорого сбыть то, что шло с фермы, перехитрить крестьян, предлагавших свои продукты, и потому ей одной были поручены все покупки и продажи, распределение работы, ключи от кладовой; скоро она стала незаменима. За всем она следила зорко, и под ее бережливым оком ферма расцвела. На два лье вокруг говорили о «работнице с Валленовой фермы». И сам хозяин твердил повсюду: «Не девка, а чистое золото».

Меж тем время шло, а жалованье оставалось все то же. Хозяин принимал ее каторжный труд как должное, как обязанность всякой преданной служанки, как проявление усердия; ее уже стала точить горькая мысль, что благодаря ей хозяин каждый месяц откладывает по пятьдесят — сто экю сверх прежнего, а она все еще зарабатывает двести сорок франков в год, ни больше, ни меньше.

Она решила попросить прибавки. Три раза ходила она к хозяину и каждый раз заговаривала с ним о другом. Она совес-

тилась потребовать денег, словно в этом было что-то зазорное. Но вот как-то, когда фермер завтракал на кухне один, она сказала, запинаясь, что хотела бы поговорить с ним о своих делах. Он поднял голову, застыв от удивления, в одной руке держа нож, острым концом кверху, в другой кусок хлеба, и в упор посмотрел на работницу. Она смутилась от его взгляда и попросила отпустить ее на недельку домой, потому что ей неможется.

Он сейчас же согласился; потом, сам смутившись, прибавил:

— Мне тоже надо будет с тобой поговорить, когда ты воротишься.

III

Ребенку шел восьмой месяц; она его не узнала. Он порозовел, налился, был весь в перевязочках, словно живой комочек сала; он тихо шевелил пухлыми растопыренными пальчиками, выказывая явное довольство. Она набросилась на него, как на добычу, в животном порыве и так страстно принялась целовать, что он заревел со страху. Тогда она и сама расплакалась, потому что он не узнавал ее и, завидев кормилицу, тянулся к той ручонками.

Но уже на следующий день он привык к ней и смеялся, когда ее видел. Она уносила его на поле, бегала с ним как сумасшедшая, держа его на вытянутых руках, усаживалась в тени деревьев и там, впервые в жизни, обнажала свою душу перед другим существом, пусть даже несмышленым ребенком, рассказывала о своих горестях, заботах, тревогах, надеждах и непрестанно надоедала ему бурными и настойчивыми ласками.

Для нее было бесконечной радостью тискать его, купать, одевать; даже убирать за ним, когда он обмарался, было для нее счастьем, словно такой домашний уход утверждал ее материнские права. Она глядела на него и дивилась, что это ее ребенок, и, качая его, повторяла вполголоса: «Вот он, мой сыночек, вот он, мой сыночек!»

Роза проплакала весь обратный путь. Не успела она возвратиться на ферму, как хозяин позвал ее к себе. Она вошла к нему, удивляясь и сильно волнуясь, хотя и сама не знала почему.

— Садись,— сказал он.

Она села, и несколько мгновений они просидели рядом, оба в замешательстве, не зная, куда девать ничем не занятые руки, и по крестьянской привычке не глядя друг на друга.

Фермер, дородный мужчина лет сорока пяти, похоронивший двух жен, жизнерадостный и напористый, явно смущался, что вообще было не в его характере. Наконец он набрался храбрости и завел речь в туманных выражениях, слегка запинаясь и смотря вдаль, на поля.

— Роза,— сказал он,— не пора ли тебе подумать, как бы пристроиться?

Она побледнела как смерть. Видя, что она не отвечает, он продолжал:

— Ты девушка хорошая, степенная, работящая и бережливая. Такая жена, как ты, сущий клад.

Роза сидела все так же неподвижно, испуганно глядя перед собой, даже и не стараясь понять; все мысли в голове у нее перепутались, словно на нее надвинулась великая опасность. Он подождал минутку, затем снова заговорил:

— Понимаешь, когда ферма без хозяйки, ничего тут путного не выходит, даже с такой работницей, как ты.

И он замолчал, не зная, что еще сказать.

Роза с ужасом смотрела на него, словно перед ней был убийца, от которого надо бежать без оглядки, чуть он только шевельнется.

Наконец минут через пять он спросил:

— Ну, как? Хочешь?

Она ответила с бессмысленным видом:

— Чего, хозяин?

Тогда он сразу выпалил:

— Ну, да замуж за меня, черт возьми!

Она вскочила было, но тут же без сил опустилась на стул, да так и замерла, словно на нее свалилось большое несчастье.

В конце концов у фермера лопнуло терпение:

— Да ну, говори же, чего тебе еще надо?

Она смотрела на него с отчаянием; потом из глаз ее покатились слезы, и, всхлипывая, она повторила два раза подряд:

— Не могу, не могу!

— Это почему? — спросил он.— Ну, не будь дурой; подумай до завтра.

И он поторопился уйти, чувствуя, что у него гора с плеч свалилась после разговора, очень его тяготившего, и не сомневаясь, что завтра работница согласится на его предложение, для нее очень лестное, а для него крайне выгодное, потому что он приобретал жену, сулившую куда больше прибыли, чем самая завидная невеста в округе.

Соображений о неравном браке тут быть не могло,— в де-

ревне все более или менее равны; хозяин пашет наравне с работником, который чаще всего рано или поздно сам становится хозяином, а работницы сплошь и рядом превращаются в хозяек, и ничего от этого не меняется ни в жизни их, ни в привычках.

В эту ночь Роза не ложилась, она опустилась на кровать, не имея даже сил плакать,— так она была подавлена. Она сидела не двигаясь, не ощущая собственного тела, и не могла собраться с мыслями, точно их растрепали нарочно, вроде того как чесальщик треплет шерсть для матрацев.

Только в отдельные мгновения удавалось ей поймать обрывки мыслей, и она ужасалась, представляя себе, что может произойти.

Страхи ее все возрастали, и каждый раз, как в тишине заснувшего дома стенные часы на кухне медленно отбивали время, она обливалась холодным потом. Голова у нее шла кругом, ее преследовали страшные видения; свеча догорела, и тут ее охватило мгновенное безумие, какое нападает на крестьян, когда они думают, что их преследует судьба,— непреодолимое желание убежать, скрыться, уйти от несчастья, как корабль уходит от бури.

Прокричала сова. Роза вздрогнула, выпрямилась как потерянная, провела руками по лицу, по волосам, ощупала тело, потом, словно лунатик, сошла вниз. Очутившись во дворе, она стала пробираться ползком, чтобы ее не заметил какой-нибудь хмельной бродяга, потому что луна, близясь к закату, ярким светом заливала поля. Вместо того чтобы открыть ворота, она перелезла через ограду. Потом, очутившись в поле, побежала. Она бежала куда глаза глядят, легко и быстро и время от времени, сама того не сознавая, громко вскрикивала. Ее огромная тень, простертая рядом на земле, бежала вместе с ней; порой ночная птица кружила у нее над головой. Дворовые собаки на фермах заливались лаем, заслышав ее шаги; одна перескочила через канаву и погналась за ней, норовя укусить, но Роза обернулась и так зарычала, что собака бросилась прочь, поджав хвост, забилась в конуру и замолчала.

В поле то тут, то там всем выводком играли зайчата, но при виде неистовой беглянки, подобной Диане, охваченной безумием, пугливые зверушки бросались врассыпную; мать с детенышами исчезала, притаившись в канавке, отец катился кубарем, спасаясь со всех ног, и его скачущая тень с длинными поднятыми ушами мелькала на заходящей луне, которая дошла теперь до края земли и освещала равнину косыми лучами, как огромный фонарь, поставленный наземь у горизонта.

Звезды меркли в небесных далях; чирикали птички; рассветало. Усталая девушка с трудом переводила дыхание, и когда солнце пробилось сквозь алеющую завесу зари, она остановилась.

Отекшие ноги отказывались служить. Тут она увидела яму с водой, огромную яму. Стоячая вода в ней казалась кровавой в красных отблесках зарождающегося дня, и девушка медленно, прихрамывая, прижав руку к сердцу, побрела к яме, чтобы опустить туда обе ноги.

Она села на траву, скинула грубые башмаки, полные пыли, сняла чулки и окунула посиневшие ноги в застывшую влагу, на поверхности которой время от времени лопались пузырьки воздуха.

Приятная прохлада поднялась от ступней до самой груди. Она пристально смотрела в эту глубокую яму, и вдруг у нее закружилась голова, ее охватило неистовое желание броситься туда. Там кончились бы ее страдания, кончились бы раз навсегда. Она уже не думала о ребенке; ей хотелось покоя, полного отдохновения, непробудного сна. Она встала, подняла руки и сделала два шага вперед. Теперь вода доходила ей до бедер, и она уже приготовилась нырнуть, но вдруг, точно тысячи жал впились ей в лодыжки, и она отскочила с отчаянным воплем,— на обеих ногах от колена до ступни длинные черные пиявки пили ее кровь, набухали, присосавшись к ее телу. Она боялась прикоснуться к ним и выла от ужаса. Ее отчаянные крики услышал крестьянин, который ехал вдалеке на телеге. Он по одной оторвал пиявки от тела, приложил к ранам траву и довез девушку до хозяйской фермы.

Две недели она пролежала в постели; в то самое утро, как она встала и сидела у порога, перед ней неожиданно вырос хозяин.

— Ну, как,— сказал он,— поладили?

Она не знала, что ответить, но, так как он не уходил и пристально смотрел на нее упрямым взглядом, она с трудом пробормотала:

— Нет, хозяин, не могу.

Тут он сразу вспылил:

— Не можешь, не можешь, девка, а почему?

Она заплакала, повторяя:

— Не могу.

Он глядел на нее в упор и вдруг крикнул ей прямо в лицо:

— Стало быть, у тебя полюбовник есть?

Она пробормотала, дрожа от стыда:

— Стало быть, так.

Весь красный, как пион, он пролепетал, захлебываясь от злобы:

— Ах так, у тебя, дряни, полюбовник! Кто он такой? Кто этот пройдоха? Босяк, без гроша за душой, без роду, без племени? Кто такой, говори? — И так как она не отвечала, он продолжал: — Не хочешь... Ну, так я сам скажу: Жан Бодю.

Она крикнула:

— Нет, нет, не он!

— Ну, так Пьер Мартен?

— Нет, нет, хозяин.

Вне себя он стал перечислять всех парней в округе, а она отрицала, совсем уничтоженная, утирая слезы концом своего голубого передника. Он же допытывался с тупым упорством, копаясь в ее душе, чтобы вытянуть из нее тайну, как охотничья собака, целый день иной раз роющая землю, только бы добраться до зверя, которого она учуяла на дне норы. Вдруг он вскрикнул:

— А, черт возьми, да ведь это Жак, прошлогодний работник, болтали, что ты с ним гуляла и он обещался жениться.

У Розы перехватило дыхание; кровь хлынула ей в лицо; слезы разом иссякли, высохли на щеках, как капля воды на раскаленном железе. Она воскликнула:

— Нет, не он, не он!

— Ой ли, не врешь? — спросил крестьянин, чуя, что добрался до правды.

Она торопливо ответила:

— Вот хоть сейчас поклянусь, вот хоть сейчас...

Она искала, чем бы ей поклясться, не решаясь затронуть святыню. Он перебил ее:

— А ведь он тискал тебя по углам и во время обеда глаза на тебя пялил. Ты ему дала слово, дала, говори?

На этот раз она взглянула хозяину прямо в лицо:

— Нет, не давала, не давала, ей-богу, правда, вот пусть хоть сегодня посватается, не пойду.

Она говорила так искренне, что фермер заколебался. Он продолжал, как бы задавая вопросы себе самому:

— Тогда кто же? Беды с тобой не было, не то все бы знали, а если так обошлось, почему бы работница стала отказывать хозяину? Что-то тут неладно.

Она больше не отвечала, горло ей сдавило отчаяние.

Он еще раз спросил:

— Не хочешь?

Она вздохнула:

— Не могу я, хозяин.

Он повернулся и ушел.

Она решила, что он отстал, и почти успокоилась, но она была так разбита и измучена, словно ее вместо старой белой клячи заставили с самого рассвета приводить в движение молотилку.

Она легла спать, как только управилась, и тут же заснула.

Среди ночи она проснулась оттого, что кто-то обеими руками ощупывал ее постель. Роза подскочила от страха, но тотчас же узнала голос фермера, говорившего:

— Не бойся, Роза, это я пришел с тобой потолковать.

Сперва она удивилась, потом, когда он попытался залезть к ней под одеяло, она поняла, что ему надобно, и задрожала всем телом, чувствуя свою беспомощность, впотьмах, спросонья, голая, в постели около мужчины, который ее хотел. Она, разумеется, не сдавалась, но противилась лениво, сама поддаваясь инстинкту, всегда более сильному у натур примитивных, ибо им не помогает воля, слабо развитая у таких людей, бесхарактерных и вялых. Она поворачивала голову то вправо, то влево, чтобы укрыть рот от его поцелуев, и тело ее напрягалось под одеялом, раздраженное утомительной борьбой. Он становился груб, опьянев от желания. Резким движением сдернул он одеяло. Тут она поняла, что больше бороться не в силах. Из чувства стыдливости она закрыла лицо руками, как страус прячет голову под крыло, и перестала сопротивляться.

Фермер провел у нее всю ночь. На следующий вечер он опять пришел и с тех пор приходил ежедневно.

Они стали жить вместе.

Как-то утром он сказал:

— Я распорядился насчет оглашения, в том месяце поженимся.

Она не ответила. Что могла она сказать? Она не воспротивилась. Что могла она сделать?

IV

Она вышла за него. Ей казалось, она провалилась в яму, где до краев не достать, откуда не выбраться, а несчастья будто нависли над ее головой, как огромные скалы, и вот-вот обрушатся. Ей все представлялось, что она обокрала мужа и что рано или поздно он это узнает. И еще она думала о своем ребенке, источнике всех ее несчастий, но и всего счастья, какое она знала на земле.

Два раза в год она ездила повидаться с ним и по возвращении грустила еще больше.

Потом мало-помалу привыкла, страхи улеглись, сердце успокоилось, и она зажила более уверенно, хотя смутные опасения еще шевелились у нее в душе.

Годы шли, ребенку минуло пять лет. Теперь она была почти счастлива, но вдруг муж затосковал.

Уже два-три года в нем как будто назревало беспокойство, шевелилась забота, нарастал какой-то душевный недуг. Он подолгу засиживался за столом после обеда, подперев голову руками, грустный-грустный, снедаемый тоской. Он стал часто возвышать голос, иногда бывал груб; казалось, будто у него досада на жену, потому что иногда он резко, даже со злостью обрывал ее.

Раз как-то, когда соседский мальчик пришел к ним за яйцами, а она была занята по хозяйству и неласково с ним обошлась, неожиданно вошедший муж сердито сказал:

— Небось будь это твой сын, ты бы его так не одернула.

Она была поражена, не знала, что ответить, а затем в ней проснулись все ее тревоги.

За обедом муж не стал с ней разговаривать, не глядел на нее, казалось, он ее ненавидит, презирает, о чем-то догадывается.

Она совсем потерялась, боялась остаться с ним наедине и после обеда ушла из дому — побежала в церковь.

Надвигались сумерки; внутри, в тесном храме, было совсем темно, но чьи-то шаги раздавались в тиши, где-то там, возле клироса,— это церковный сторож заправлял на ночь лампаду перед дарохранительницей. Как за последнюю надежду уцепилась Роза за этот трепетный огонек, затерянный во тьме под сводами, и, не отрывая от него глаз, упала на колени.

Лампадка поплыла вверх, звеня цепочкой. Скоро мерно захлопали деревянные башмаки, а за ними зашуршала веревка, волочившаяся по плитам; жидкий колокол бросил в нарастающую мглу вечерний звон. Сторож собрался уходить, она догнала его.

— Господин кюре дома? — спросила она.

Он ответил:

— Ну, конечно. Он всегда обедает, когда я звоню к вечерней молитве.

Тогда она дрожа толкнула калитку церковного дома.

Кюре садился за стол. Он сейчас же усадил и ее.

— Слыхал, слыхал. Ваш муж уже говорил мне. Я знаю, зачем вы пришли.

Бедная женщина обмерла. Священнослужитель продолжал:

— Что поделаешь, дочь моя!

И он торопливо глотал ложку за ложкой, и капли супа стекали на его сутану, лоснящуюся на толстом животе.

Она уже не решалась ни говорить, ни просить, ни умолять, она встала; кюре сказал ей:

— Не падайте духом...

И она вышла.

Она вернулась на ферму, не сознавая, что делает; работники ушли в ее отсутствие; муж дожидался ее. Тогда она тяжело повалилась ему в ноги и простонала, заливаясь слезами:

— За что ты на меня сердишься?

Он разразился бранью:

— Как за что? За то, что детей у меня нет, черт возьми! Для того, что ли, я жену брал, чтобы так вдвоем всю жизнь вековать! За то я и сержусь. Когда корова не телится, значит, она никудышная. Когда женщина не рожает, значит, она тоже никудышная.

Она плакала, всхлипывая и повторяя:

— Я тут ни при чем, ни при чем!

Тогда он немного смягчился и прибавил:

— Я тебя не виню, а все зло берет.

V

С этого дня ею завладела одна дума: родить ребенка, еще ребенка; и всем она поверяла свое желание.

Соседка научила ее каждый вечер давать мужу стакан воды с щепоткой золы. Фермер охотно согласился, но средство не помогло.

Они подумали: «Может быть, есть какие-нибудь тайные средства». И стали разузнавать. Им указали пастуха, жившего в десяти лье от фермы. И дядюшка Валлен запряг лошадку и отправился за советом. Пастух дал ему каравай, на котором сделал знаки; от этого хлеба, замешанного на травах, они оба должны были съедать по куску ночью, до и после супружеских ласк.

Хлеб был съеден до крошки, но и он не помог.

Школьный учитель открыл им тайные, неизвестные в деревне, но верные любовные приемы. Ничего не вышло.

Кюре посоветовал отправиться на богомолье в Фекан — по-

клониться честной крови. Роза вместе со всей толпой паломников распростерлась на плитах аббатства и, присоединяя свою молитву к немудреным просьбам, идущим от всех крестьянских сердец, взывала к тому, кому молились все, прося снять с нее бесплодие. Все было тщетно. Тогда она решила, что это расплата за первый грех, и ею овладело отчаяние.

Она стала чахнуть с тоски, муж тоже постарел, извелся от напрасных надежд. «Кручина из него все соки высосала»,— говорили соседи.

И тут между ними разгорелась вражда. Он ругал ее, бил. Весь день ел поедом, а ночью в постели, задыхаясь от злобы, сквернословил и бросал ей в лицо обидные слова.

И вот как-то ночью, не зная уже, чем уязвить ее побольней, он приказал ей встать и дожидаться утра во дворе под дождем.

Она не послушалась; он схватил ее за горло и ударил кулаком прямо в лицо. Она ничего не сказала, не шевельнулась. В бешенстве он уперся коленом ей в живот и, стиснув зубы, остервенев, стал бить ее смертным боем. Тогда, доведенная до отчаяния, она возмутилась, отбросила его к стене резким движением, сама поднялась и крикнула изменившимся, шипящим голосом:

— Есть у меня ребенок, есть, с Жаком прижила. Знаешь Жака, он обещал жениться, да уехал.

Он замер от изумления; не менее взволнованный, чем она, он пробормотал:

— Что ты сказала? Что сказала?

Тогда она зарыдала, залепетала сквозь горькие слезы:

— Потому и замуж за тебя не шла, все потому. Не могла я тебе сказать. Ты бы меня выгнал вместе с сыном, без куска хлеба оставил. У тебя детей нет, тебе этого не понять, не понять.

Он машинально повторял, все больше удивляясь:

— У тебя ребенок, у тебя ребенок?

Она сказала, всхлипывая:

— Ты меня силой взял; верно, сам помнишь, охотой я за тебя не шла.

Тогда он встал, зажег свечу и, заложив руки за спину, зашагал по комнате. Она все еще плакала, повалившись на кровать. Вдруг он остановился перед ней.

— Так это, значит, я виноват, что у нас нет ребенка? — сказал он.

Она не ответила. Он опять зашагал, потом снова остановился, спросил:

— Сколько твоему мальчонке?

Она пробормотала:

— Скоро шесть минет.

Он спросил еще:

— Почему ты ничего не сказала?

Она простонала:

— Да разве я смела!

Он не двигался.

— Ну, вставай,— сказал он.

Она с трудом поднялась; потом, когда она стала на ноги, держась за стену, он вдруг рассмеялся своим прежним раскатистым смехом и, так как она все еще не могла прийти в себя, прибавил:

— Ну что ж, поедем за ним, за твоим мальчонкой-то, раз у нас с тобой своих нет.

Она так испугалась, что, будь у нее силы, она бы обязательно убежала. А фермер потирал руки и бормотал:

— Я думал взять приемыша, вот он и нашелся, вот и нашелся. Я у кюре спрашивал, нет ли у него сиротки на примете.

Затем, все еще смеясь, он расцеловал заплаканную и совсем одуревшую жену и крикнул, словно она была глухая:

— Ну, мать, ступай взгляни, не осталось ли чего похлебать. Я полный горшок съем.

Она надела юбку; они сошли вниз; и пока жена, став на колени, раздувала огонь под котлом, он шагал по кухне и, весь сияя, повторял:

— Ей-богу, я рад, не зря говорю, и впрямь рад, очень рад.

История деревенской служанки

Часы били двенадцать. Дверь школы распахнулась, и оттуда хлынула толпа сорванцов, толкаясь и торопясь поскорее выйти. Но вместо того, чтобы рассыпаться в разные стороны и помчаться домой обедать, как это бывало каждый день, они стали собираться кучками в нескольких шагах от школы и о чем-то шептаться.

Дело в том, что сегодня утром в первый раз в школу пришел Симон, сын Бланшотты.

Дети слышали разговоры родителей о Бланшотте, и хотя повсюду ее принимали любезно, но между собой их матери отзывались о ней с презрительным сожалением, которое бессознательно переняли и дети.

Симона дети мало знали: он постоянно сидел дома, не резвился с ними на деревенской улице и на берегу реки. За это они его недолюбливали и теперь с некоторым злорадством и не без удивления выслушали и повторяли друг другу слова пятнадцатилетнего озорника, который так хитро подмигивал, что, по-видимому, знал многое.

— Послушайте... у Симона... ведь у него папы-то нет!

Сын Бланшотты показался на пороге школы.

Ему было лет семь-восемь. Это был бледненький, опрятно одетый мальчик, от застенчивости почти неуклюжий.

Симон пошел было домой, но товарищи, перешептываясь и поглядывая на него насмешливыми и злыми глазами, какие бывают у детей, задумавших недобрую проказу, обступали его все теснее и теснее, пока кольцо совсем не сомкнулось. Он сто-

ял среди них неподвижно, удивленный и смущенный, не понимая, что с ним собираются сделать. Подросток, который сообщил новость, гордясь достигнутым успехом, спросил его:

— Послушай, ты, как тебя зовут?

— Симон.

— А дальше как? — допрашивал тот.

Ребенок совсем смутился и повторил:

— Симон.

Подросток крикнул ему:

— Говорят — Симон такой-то... А как же твоя фамилия?.. «Симон»...

Мальчик, сдерживая слезы, повторил в третий раз:

— Меня зовут Симон.

Мальчишки захохотали. Тогда подросток с торжеством заявил:

— Ну вот, вы сами видите, что у него нет папы!

Наступила полная тишина. Дети были поражены необычайным, невероятным, из ряда вон выходящим обстоятельством: у мальчика нет папы; он казался им каким-то невиданным, противоестественным чудищем, и в душе их неприметно вырастало то ранее непонятное им презрение, какое было у их матерей к Бланшотте.

Симон прислонился к дереву, чтобы не упасть; он был раздавлен непоправимым несчастьем. Он искал слов, хотел объясниться, опровергнуть страшное обвинение, будто у него нет папы,— и не мог. Мертвенно-бледный, Симон наконец отважился и крикнул:

— Неправда, у меня есть папа!

— Где же он? — спросил все тот же озорник. Симон молчал; он не знал, что ответить. Ребята смеялись, очень возбужденные; они, эти дети полей, близкие к природе, подчинялись тому жестокому инстинкту, который заставляет кур на птичьем дворе приканчивать раненую птицу. Вдруг Симон заметил соседа, сынишку одной вдовы, который тоже всегда бывал вдвоем с матерью.

— Вот и у тебя нет папы.

— Нет,— ответил мальчик,— у меня есть папа!

— Где же он?

— Он умер,— с гордостью отвечал ребенок,— мой папа лежит на кладбище!

Одобрительный шепот пронесся в толпе сорванцов, словно самый факт, что отец умер и похоронен на кладбище, возвеличивал этого их товарища и унижал другого, у которого совсем

не было отца. И озорники, отцы которых по большей части были грубиянами, пьяницами, ворами и тиранили своих жен, теснились все ближе и ближе; казалось, они, законные дети, хотят задушить незаконного. Вдруг один из них, стоявший перед Симоном, подтрунивая, показал ему язык и закричал:

— Нет папы! Нет папы!

Симон обеими руками схватил его за волосы, впился ему зубами в щеку и, брыкаясь, стал бить по ногам. Началась свалка. Дравшихся разняли. Симон лежал на земле, избитый, в синяках, в изодранной блузе, посреди толпы мальчишек, радостно хлопавших в ладоши.

Когда он поднялся, машинально стряхивая с себя пыль, кто-то крикнул:

— Пойди-ка пожалуйся своему папе!

Тогда он почувствовал, что все рушится. Они были сильнее, чем он, они избили его, и он ничего не мог им ответить: ведь и правда у него нет папы. Из гордости он попробовал бороться с душившими его слезами, но задохнулся и беззвучно заплакал, весь содрогаясь от рыданий.

Тогда свирепый восторг охватил его врагов: инстинктивно, точно дикари, предающиеся страшному своему веселью, они взялись за руки и стали плясать вокруг Симона, повторяя как припев:

— Папы нет! Папы нет!

Вдруг Симон перестал рыдать. В нем вспыхнула ярость. У него под ногами оказались камни, он набрал их и изо всех сил начал швырять в своих мучителей. Он попал в двух или трех, они убежали с воплями. У него был такой грозный вид, что все мальчишки перепугались. Трусливые, как всякая толпа, готовая бежать при виде человека в исступлении, ребята бросились врассыпную.

Оставшись один, мальчик, у которого не было отца, постоял немного и побежал в поле; одно воспоминание подсказало ему, как он должен поступить. Он решил утопиться в реке.

Неделю тому назад один бедняк, живший милостыней, бросился в реку, потому что у него не было денег. Симон видел, как вытащили из воды утопленника. И вот этот убогий старик, обычно казавшийся ему жалким, неопрятным и некрасивым, поразил его своим видом: лицо нищего было бледное, невозмутимое, длинная борода намокла, открытые глаза были спокойны. Вокруг говорили:

— Он умер.

И кто-то добавил:

— Теперь ему хорошо!

И Симон тоже решил утопиться: у того несчастного не было денег, а у него не было отца. Он подошел к самой воде и смотрел, как она течет. Юркие рыбки резвились в прозрачной реке, подскакивали и хватали летающую над ней мошкару. Мальчик перестал плакать и с любопытством следил за их уловками. Но время от времени, подобно тому как при кратком затишье во время грозы вдруг налетает порыв ветра, с треском сотрясает деревья и уносится вдаль, к Симону возвращалась все та же мысль, причинявшая ему острую боль: «Я должен утопиться, потому что у меня нет папы».

Было так тепло, так хорошо. Солнце нагрело траву. Вода блестела, как зеркало. Минутами Симон забывался, им овладевала истома, какая приходит после слез, ему хотелось уснуть в траве, на солнышке.

У его ног прыгала маленькая зеленая лягушка. Он попытался поймать ее. Она ускользнула. Он стал ее преследовать и три раза промахнулся. Наконец схватил за задние лапки и рассмеялся при виде усилий, которые она делала, чтобы освободиться. Она подбирала под себя ножки, мигом вытягивала их, они становились твердыми, как палочки. Вращая своими круглыми глазами с золотым ободком, она шевелила передними лапками, точно руками. Это ему напомнило одну игрушку: соединенные накрест узкие дощечки, которые двигались зигзагообразно вместе с марширующими по ним солдатиками. Он подумал о своем доме, о маме, ему сделалось очень грустно, и он снова заплакал. Дрожа всем телом, он встал на колени и начал читать молитву, как перед сном, но не мог ее окончить, потому что рыдания бурно, неудержимо подступили к горлу. Он был поглощен своим горем, больше ни о чем не думал, ничего не видел вокруг, только плакал.

Вдруг тяжелая рука легла ему на плечо, и кто-то басом спросил:

— О чем ты так горюешь, мальчуган?

Симон обернулся. Высокий рабочий, кудрявый, черноволосый, чернобородый, приветливо смотрел на него. Ребенок отвечал со слезами на глазах и в голосе:

— Они поколотили меня... потому что... у меня нет папы... нет папы...

— Как же это так,— улыбнулся незнакомец,— у всякого есть папа.

Мальчик сказал, с трудом выговаривая слова от спазм, сжимавших горло:

— А у меня... у меня... нет!

Лицо рабочего стало серьезным: он узнал сына Бланшотты, о которой уже кое-что слыхал, хотя поселился в этих местах недавно.

— Не плачь, мальчик, успокойся,— сказал он,— пойдем со мной к твоей маме! Мы найдем тебе... папу.

Большой взял маленького за руку, и они отправились в путь. Рабочий улыбался, он был не прочь познакомиться с Бланшоттой, которая, как говорили, была одной из самых красивых девушек в деревне. Может быть, смутно думалось ему, девушка, раз поскользнувшись, поскользнется и еще раз.

Они подошли к небольшому, чисто выбеленному домику.

— Вот здесь! — сказал мальчик и крикнул: — Мама!

В дверях показалась женщина, и рабочий сразу перестал улыбаться. Он понял, что эта высокая девушка с бледным лицом не допустит вольностей. Она стояла суровая, как бы запрещая мужчине доступ в дом, где ее обманул другой. Рабочий смутился и пробормотал, комкая фуражку:

— Вот, хозяйка, я вам привел вашего сына, он заблудился возле реки.

Но Симон бросился на шею к матери и опять заплакал.

— Нет, мама, я хотел утопиться, потому что они меня избили... избили, потому что у меня нет папы.

Жгучий румянец залил лицо молодой женщины; переживая боль всем своим существом, она страстно прижала к себе ребенка, а слезы закапали у нее из глаз и полились по щекам. Растроганный рабочий стоял, не зная, как уйти. Вдруг Симон подбежал к нему и спросил:

— Хотите вы быть моим папой?

Наступило молчание. Бланшотте было мучительно стыдно; не проронив ни слова, она прислонилась к стене и прижала руки к сердцу, а ребенок, видя, что ему не отвечают, снова сказал:

— Раз вы не хотите, я опять пойду топиться.

Рабочий попытался обратить все в шутку и отвечал со смехом:

— Да нет же, я согласен.

— Как тебя зовут? — спросил ребенок.— Мне надо знать, как ответить, когда меня спросят.

— Филипп,— сказал рабочий.

Симон помолчал минуту, стараясь получше запомнить это имя, потом, совсем утешившись, протянул руки и сказал:

— Ну вот, Филипп, ты мой папа!

Рабочий приподнял его, крепко поцеловал в обе щеки, повернулся и поспешно ушел, широко шагая.

На следующий день Симона встретили в школе злобным смехом. При выходе, когда тот же мальчишка хотел повторить вчерашнее, Симон бросил ему в лицо, как швырнул бы камень:

— Филипп — вот как зовут моего папу!

Со всех сторон несся хохот:

— Филипп, а дальше? Что это за Филипп! Откуда ты взял своего Филиппа?

Симон ничего не ответил. Сердце его было непреклонно; он вызывающе смотрел на них и готов был скорее снова перенести насмешки и побои, чем сдаться. Его спасло появление учителя, и он побежал к матери.

В течение трех месяцев высокого рабочего Филиппа нередко видели у дома Бланшотты. Иной раз, когда она шила у окна, он осмеливался заговорить с ней. Бланшотта отвечала вежливо, с неизменно серьезным видом, никогда не шутила, не приглашала войти. Однако Филиппу, слегка самонадеянному, как все мужчины, казалось, что ее щеки чуть розовели, когда она разговаривала с ним.

Но испорченную репутацию восстановить трудно, а запятнать ничего не стоит, и, несмотря на пугливую сдержанность Бланшотты, о ней уже начали сплетничать в округе.

Симон очень полюбил своего нового папу, и почти каждый вечер, когда Филипп кончал работу, они гуляли вместе. Мальчик усердно посещал школу и с достоинством проходил мимо школьников, никогда не отвечая на их насмешки.

Как-то раз озорник, который первым задел Симона, сказал ему:

— Ты соврал, нет у тебя никакого папы Филиппа!

— А почему? — встревоженно спросил Симон.

Озорник продолжал, потирая руки:

— Да потому, что, будь у тебя папа, он был бы мужем твоей мамы.

Справедливость довода смутила Симона, но он твердил свое:

— А все-таки он мой папа!

— Может быть,— ухмыляясь, возразил подросток,— да только... он не совсем твой папа.

Сын Бланшотты опустил голову и, задумавшись, пошел по дороге к кузнице дяди Луазона, у которого работал Филипп.

Кузница точно спряталась в чаще деревьев. В ней было очень темно, только красное пламя огромного горна освещало

ярким отблеском фигуры пяти кузнецов с обнаженными руками, оглушительно стучавших по наковальням. Они стояли, объятые пламенем, словно демоны, устремив глаза на раскаленное железо, по которому они яростно били своими молотами, и вместе с тяжелыми молотами взлетали их тяжеловесные мысли.

Симон незаметно проскользнул в кузницу и тихонько потянул своего друга за блузу. Филипп обернулся. Работа приостановилась, кузнецы внимательно разглядывали мальчика. Тогда в наступившей необычной тишине раздался тоненький голосок Симона:

— Послушай, Филипп, сын Мишоды говорит, что ты не совсем мой папа.

— А почему? — спросил рабочий.

Ребенок ответил со всей наивностью:

— Потому что ты не муж моей мамы.

Никто не засмеялся. Филипп стоял, опершись лбом на свои большие руки, в которых держал рукоятку молота, поставленного на наковальню. Он задумался. Все четыре товарища не спускали с него глаз, а Симон, такой маленький среди этих великанов, тревожно ждал ответа. Тогда один из кузнецов, как бы выражая то, о чем все думали, сказал Филиппу:

— А все-таки Бланшотта хорошая, порядочная девушка. Живет она степенно и хозяйственно, хоть и случилось с ней несчастье. Она будет славной женой честному человеку.

— Это правда,— подтвердили остальные.

Рабочий продолжал:

— Она ли виновата, что оступилась! Он обещал на ней жениться, а мало ли мы знаем почтенных женщин, с которыми в свое время случилось то же самое?

— Это правда,— хором сказали они.

— А как ей, бедняжке, было трудно одной растить ребенка, сколько слез она пролила с тех пор — один только бог это знает, и никуда она не ходит, кроме церкви.

— И это правда,— подтвердили кузнецы.

Был слышен только шум мехов, раздувавших огонь горна. Филипп порывисто наклонился к Симону:

— Скажи маме, что я приду вечером поговорить с ней.

Он тихонько подтолкнул мальчика к двери и снова принялся за работу.

Пять молотов, как один, ударили по наковальням. До самой ночи ковали они железо, сильные, мощные, радостные, исполненные удовлетворения. И как в праздничный день соборный колокол своим звоном заглушает перезвон других колоколов,

так и молот Филиппа, покрывая стук остальных, ежесекундно опускался с оглушительным грохотом. Глаза Филиппа горели, и он с упоением ковал посреди снопа искр.

Все небо было усыпано звездами, когда Филипп постучался к Бланшотте. На нем была воскресная блуза, свежая рубашка, он подстриг бороду. Молодая женщина показалась на пороге, она с обидой сказала ему:

— Нехорошо так поздно приходить, господин Филипп.

Он хотел ответить, но, сконфузившись, что-то забормотал.

Она продолжала:

— Вы должны меня понять, я не хочу, чтобы обо мне шли толки.

Он вдруг сказал:

— А кому какое дело, если вы согласны быть моей женой?

Ответа не было, но послышался шум, точно кто-то упал в полумраке комнаты. Филипп быстро вошел, и Симон, уже лежавший в кроватке, уловил звук поцелуя и несколько слов, чуть слышно произнесенных его матерью. Затем сильные руки подхватили мальчика, и, держа его в геркулесовых объятиях, друг его крикнул ему:

— Скажи им, твоим товарищам, что твой папа кузнец Филипп Реми и что он отдерет за уши всякого, кто посмеет тебя обидеть.

На следующий день, когда мальчики собрались в школе, маленький Симон поднялся с места перед началом урока; он был бледен, губы его дрожали.

— Мой папа,— звонким голосом сказал мальчик,— кузнец Филипп Реми, и он обещал отодрать за уши всякого, кто посмеет меня обидеть.

На этот раз никто не засмеялся,— все знали кузнеца Филиппа Реми: это был такой папа, которым каждый мог гордиться.

Командир пруссаков майор граф фон Фарльсберг дочитывал почту, откинувшись на спинку гобеленового кресла и положив ноги на изящную каминную доску, в которой за три месяца пребывания в замке Ювиль он шпорами продолбил ямки, становившиеся глубже день ото дня.

Столик маркетри, на котором дымилась чашка кофе, был закапан ликерами, прожжен сигарами и выщерблен перочинным ножом; когда офицер-победитель чинил карандаш, он, по прихоти своей бесцеремонной фантазии, чертил на тонких инкрустациях цифры или фигуры.

Прочтя письма и пробежав немецкие газеты, только что доставленные войсковым почтарем, майор встал, подбросил в камин три-четыре огромных сырых полена,— господа офицеры постепенно вырубали на топливо усадебный парк,— и подошел к окну.

Лил дождь, нормандский дождь, словно кем-то выплеснутый со зла, частый дождь, встающий стеной из косых полос, режущий, хлещущий, все затопляющий дождь, каким славится руанская округа, поистине ночной горшок Франции.

Офицер долго смотрел на залитые лужайки, на речку Андель, которая, вздувшись, выступила из берегов, и барабанил по стеклу «Рейнский вальс»; обернулся он на шум шагов — это был его заместитель барон фон Кельвейнгштейн, имевший чин, равный у нас чину капитана.

Майор был широкоплечий великан с длинной, веерообразной бородой, устилавшей ему грудь; всей своей фигурой он напоминал павлина, напыщенного боевого павлина, но только

хвост он распустил у подбородка. Глаза у него были голубые, холодные и спокойные; на щеке — шрам от сабельного удара, полученного во время Австрийской кампании. Он слыл не только хорошим офицером, но и хорошим человеком.

Капитан, приземистый краснолицый толстяк, туго стягивал живот, брил свою огненную бороду, но из-за рыжей щетины на щеках, при определенном освещении казалось, будто лицо его натерто фосфором.

Давно, во время какой-то очередной попойки, он потерял два передних зуба и поэтому говорил невнятно, шепеляво выплевывая слова; на самой макушке у него была плешь вроде монашеской тонзуры, а вокруг этого оголенного кружка курчавились блестящие золотистые волоски.

Командир пожал ему руку и, выслушав рапорт о происшествиях по службе, залпом выпил чашку кофе (шестую по счету с утра); потом оба подошли к окну и в который раз констатировали, что живется им невесело. Майор, человек спокойный, семейный, мирился со всем, но капитан, неисправимый кутила, завсегдатай притонов, ярый бабник, бесился от вынужденного трехмесячного воздержания на этом уединенном посту.

В ответ на легкий стук командир крикнул: «Войдите!» И в дверях показался один из вышколенных немецких солдат-автоматов, безмолвным появлением своим докладывая, что завтрак подан.

В столовой собрались уже трое офицеров, младших по чину: поручик Отто фон Грослинг, и два подпоручика — Фриц Шейнаубург и маркиз Вильгельм фон Эйрик, миниатюрный блондин, чванный, грубый с солдатами, жестокий к побежденным, готовый вспыхнуть, как порох, по любому поводу. Со времени вступления во Францию товарищи называли его не иначе, как мадемуазель Фифи. Этим прозвищем он был обязан жеманному виду, тонкой талии, словно зашнурованной в корсет, бледному лицу с еле пробивающимися усиками, а главное — усвоенной им привычке, в знак величайшего презрения ко всем одушевленным и неодушевленным предметам, на каждом шагу произносить с присвистом, по-французски: «Fi, fi, donc!»

Столовая замка Ювиль была длинным царственным покоем, где звездообразные трещины от пуль на старинных зеркалах и лохмотья фландрских шпалер, искромсанных саблей, свидетельствовали о занятиях мадемуазель Фифи в часы досуга.

На трех фамильных портретах, развешанных по стенам, воин в латах, кардинал и судья курили теперь длинные фар-

форовые трубки, а в рамке, с которой годы стерли позолоту, знатная дама в узком корсаже щеголяла лихими усищами, выведенными углем.

Офицеры молча позавтракали в этом изувеченном покое, где было темно от ливня и тоскливо от лежащей на всем печати поражения и где старинный дубовый паркет был затоптан, как пол в кабаке.

Кончили есть, принялись пить, закурили трубки, и начался ежедневный разговор об одолевавшей их всех тоске. Бутылки коньяку и ликера переходили из рук в руки, офицеры откинулись на спинки стульев и потягивали вино мелкими частыми глотками, зажав в углу рта длинные изогнутые трубки с фаянсовым яйцом на конце, ярко размалеванным на зависть готтентотам.

Едва лишь рюмка опоражнивалась, они жестом безысходной скуки вновь наполняли ее. Только мадемуазель Фифи то и дело бил свою рюмку, и прислуживающий солдат сейчас же заменял ее другой.

Облако едкого дыма заволакивало их, и они погружались в унылое и сонное опьянение, в мрачную хмельную одурь людей, которым нечего делать. Но вдруг барона прорвало, он вскочил с места и рявкнул:

— Черт знает что! Так больше нельзя, надо же наконец что-нибудь изобрести.

Поручик Отто и подпоручик Фриц, два немца с типично прусскими физиономиями, топорными и тупыми, в один голос спросили:

— Что же изобрести, капитан?

Капитан задумался на минуту, затем продолжал:

— Как что? Надо устроить пирушку с разрешения командира.

Майор вынул изо рта трубку:

— Какую пирушку, капитан?

Барон подошел к нему:

— Я берусь все устроить. Я пошлю в Руан «Чего Изволите», и он привезет дам, я уж знаю, где их сыскать. А у нас будет приготовлен ужин,— для этого все, что надо, тут найдется, и мы хоть один вечер повеселимся.

Граф фон Фарльсберг, улыбаясь, пожал плечами:

— Друг мой, вы сошли с ума.

Но все остальные офицеры вскочили, окружили командира, упрашивая его:

— Разрешите, господин майор, здесь ведь такая тоска.

Под конец командир уступил. «Согласен»,— сказал он, и барон сейчас же вызвал Чего Изволите. Это был старый фельдфебель, никто никогда не видел у него на лице улыбки, зато он ревностно выполнял любые распоряжения начальства.

Стоя навытяжку, с невозмутимым видом выслушал он указания барона, затем вышел, а через пять минут большая полковая повозка, крытая брезентом и запряженная четверкой лошадей, мчалась в город под непрерывным дождем.

Мигом все встрепенулись, расслабленных поз как не бывало, лица оживились, завязалась беседа.

Хотя дождь хлестал с прежней силой, майор находил, что посветлело, а поручик Отто утверждал, что скоро совсем прояснится. Даже мадемуазель Фифи не сиделось на месте: юный маркиз то вскакивал, то опять бросался в кресло. Его светлые злые глаза искали вокруг, что бы разбить. Неожиданно, устремив взгляд на даму с усами, он вынул револьвер.

— Тебе это незачем видеть,— сказал он и, не вставая со стула, прицелился. Две пули, одна за другой, пробили оба глаза на портрете.

После этого мадемуазель Фифи крикнул:

— А теперь заложим мину!

И сразу же разговоры прекратились, как будто всех увлек новый, захватывающий интерес.

Мина — это была его выдумка, его способ разрушения, излюбленная забава.

Покидая именье, законный его владелец граф Фернан д'Алуа д'Ювиль не успел ничего ни увезти, ни спрятать, кроме серебра, которое удалось замуровать в стене. А так как он был крупным богачом и меценатом, то большая гостиная, смежная со столовой, до бегства хозяина представляла собой настоящий музей.

Стены были увешаны ценными полотнами, рисунками, акварелями, а на столиках, этажерках, в шкафах и грациозных витринах собраны были сотни безделушек, японские вазы, статуэтки, саксонские фигурки, китайские болванчики, старинные изделия из слоновой кости и венецианского стекла — пестрая и редкостная коллекция, заполнявшая огромный зал.

Теперь от них мало что уцелело. Их не разграбили,— майор граф фон Фарльсберг этого бы не допустил; но мадемуазель Фифи от поры до времени «закладывал мину», и все офицеры в тот день развлекались от души в течение целых пяти минут.

Юный маркиз отправился в гостиную подыскать подходящий материал. Принес он оттуда миниатюрный китайский чай-

ник «семейства розовых», насыпал в него пороху, через носик осторожно ввел длинный трут, поджег его и побежал с этой адской машиной обратно в гостиную.

Затем поспешно возвратился и закрыл дверь. Все немцы ожидали стоя, с улыбкой младенческого любопытства на лицах; и как только взрыв потряс здание, все разом кинулись в гостиную.

Мадемуазель Фифи вбежал первым и в экстазе захлопал в ладоши перед терракотовой Венерой, у которой наконец-то отскочила голова; каждый спешил поднять с полу куски фарфора, любовался причудливыми извилинами черепков, обследовал новые разрушения, спорил, какие трещины остались еще от предыдущего взрыва; а майор отеческим оком озирал громадную комнату, разгромленную по методу нового Нерона и усеянную обломками произведений искусства. Первым выходя из нее, командир благодушно отметил:

— Здорово получилось сегодня.

Но в столовую проникли такие клубы порохового дыма, смешавшегося с табачным, что нечем было дышать. Командир распахнул окно, и остальные офицеры, возвратившиеся сюда выпить последнюю рюмку коньяку, поспешили к раскрытому окну.

В комнату вливался влажный воздух, обдавая их запахом сырости и осыпая бороды водяной пылью. Немцы смотрели, как сгибаются под ливнем большие деревья, как заволокло широкую равнину потоками воды из низких темных туч, только вдали серым шпилем выступает сквозь дождевую завесу церковная колокольня.

С самого их прихода она молчала. Во всей округе захватчики встретили лишь одно сопротивление: безмолвие колокольни. Кюре беспрекословно взял на постой и кормил прусских солдат. Он даже не раз принимал приглашение распить бутылку бордо или пива с вражеским командиром, а тот часто пользовался его благосклонным посредничеством, но не мог добиться, чтобы церковный колокол ударил хоть раз. Кюре, скорее, пошел бы на расстрел. В этом выражался его протест против оккупации, беззлобный, молчаливый протест, единственный, по его словам, вид протеста, подобающий священнику, чье орудие — кротость, а не кровь. И все, на десять лье вокруг, прославляли героическую стойкость аббата Шантавуана, который дерзал утверждать народный траур упорным молчанием своей церкви.

И вся деревня целиком, воодушевленная этим сопротивлением, готова была до последней крайности поддерживать свое-

го пастыря, все готова была претерпеть, ибо считала, что таким безмолвным протестом она оберегает честь нации. Крестьянам казалось, что этим они служат родине не хуже Бельфора и Страсбурга, что они подают такой же достойный пример, что имя их деревни станет бессмертным; во всем же остальном они подчинялись немцам-победителям.

Командир и офицеры смеялись над столь безобидным проявлением отваги, и, так как все местные жители держали себя услужливо и покорно, немцы терпели их немой патриотизм.

И только юный маркиз Вильгельм, будь его воля, заставил бы колокол звонить. Его бесила дипломатическая снисходительность начальства к строптивому священнику; не проходило дня, чтобы он не вымаливал у командира разрешения «звякнуть хоть разок, один-единственный разок, так только, для смеху». И просил он, ластясь по-кошачьи, кокетничая по-женски, томным голосом, точно капризная любовница, одержимая какой-нибудь прихотью. Но командир не сдавался, и мадемуазель Фифи утешения ради «закладывал мины» в господском доме.

Все пятеро постояли несколько минут у окна, вдыхая влажный воздух. Наконец подпоручик Фриц изрек с плотоядным смешком:

— Барышни, правда, будут иметь плохой погода для такой прогулка.

С этим все отправились к исполнению своих обязанностей; у капитана было особенно много хлопот с обедом.

В сумерках они сошлись снова и расхохотались, увидев друг друга: напомаженные, надушенные, посвежевшие, все были нарядны и вылощены, как на параде. У командира волосы казались менее седыми, чем утром, а капитан побрился так гладко, что только усы пламенели у него под носом.

Несмотря на дождь, окон не закрывали, и время от времени кто-нибудь подходил к ним и прислушивался. Было десять минут седьмого, когда барон уловил отдаленный грохот колес. Все бросились к окну; вскоре у подъезда остановился фургон: четверка лошадей в грязи по самую холку, дымясь и храпя, все тем же галопом примчала его из города.

И по ступенькам крыльца взошли пять женщин, пять красивых девушек, тщательно подобранных приятелем капитана, которому Чего Изволите отвез записку начальника.

Девицы недолго ломались, не сомневаясь, что им хорошо заплатят. За три месяца они успели узнать пруссаков, но ми-

рились с людьми и обстоятельствами. «Что поделаешь — ремесло!..» — убеждали они себя дорогой, должно быть отвечая на тайные укоры еще не заглохшей совести.

Все прямо направились в столовую. При свете она казалась еще мрачнее в своем вопиющем разрушении, а стол с яствами, дорогой посудой и серебром, найденным в стене, куда его спрятал хозяин, придавал ей вид притона, где бандиты собрались поужинать после грабежа. Капитан сиял, он распоряжался женщинами, словно привычными предметами обихода, он их разглядывал, обнимал, обнюхивал, оценивал достоинства их как орудий наслаждения; а когда трое молодых людей пожелали выбрать себе девушек, он решительно воспротивился, ибо намеревался сам произвести дележ по справедливости, согласно чинам, чтобы ни на йоту не нарушить иерархии.

И тут, во избежание споров, пререканий, подозрений в пристрастии, он расставил всех женщин по росту, а затем тоном команды обратился к самой высокой:

— Как зовут?

Она ответила нарочитым басом:

— Памела.

Тогда он объявил:

— Номер первый, по имени Памела, назначается командиру.

Поцелуем утвердив затем свое право собственности на вторую — Блондинку, он предоставил толстуху Аманду поручику Отто, Еву Свеклу — подпоручику Фрицу, а самому молодому из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму фон Эйрик, капитан отдал самую маленькую — Рашель, юную брюнетку, с глазами словно чернильные пятна, еврейку, чей вздернутый носик, как исключение, подтверждал правило, приписывающее всем ее соплеменникам крючковатые носы.

Впрочем, все женщины были миловидные и пухлые, без определенной индивидуальности, все почти на один образец манерами и цветом лица благодаря одинаковой жизни в публичном доме и повседневным любовным упражнениям.

Трое молодых людей собрались тотчас же увести своих дам, якобы для того, чтобы они почистились и помылись с дороги; но капитан предусмотрительно этому воспротивился, доказывая, что они достаточно опрятны и могут сесть за стол, а иначе те, кто уединится, вернувшись, захотят новизны и нарушат произведенное распределение. Его опытность взяла верх. Все ограничились бесчисленными поцелуями, поцелуями ожидания.

Вдруг Рашель захлебнулась, закашлялась до слез, а из ноздрей у нее пошел дым; целуя ее, маркиз впустил ей в рот затяжку табачного дыма. Она не вспылила, не вымолвила ни слова, только пристально взглянула на своего обладателя, и в глубине ее черных глаз загорелся гнев.

Все расселись. Даже командир был в восторге; справа от себя он посадил Памелу, слева Блондинку и заявил, развертывая салфетку:

— Вам пришла блестящая мысль, капитан.

Поручик Отто и подпоручик Фриц держали себя с соседками, точно со светскими дамами, и этим несколько смущали их. Зато барон фон Кельвенгштейн чувствовал себя в привычной атмосфере, сиял, бросал фривольные словечки, так и пылал всей своей огненной шевелюрой. Он любезничал на французско-рейнском диалекте, и его кабацкие комплименты, пролетая между выбитыми зубами, обдавали девиц целым фонтаном слюны.

Впрочем, они не понимали ни слова; в них пробудился интерес, только когда он начал сыпать сальностями, похабными словами, искаженными иностранным выговором. Тогда девицы принялись дружно хохотать, повалились на своих соседей, повторяя выражения, которые барон теперь уже коверкал умышленно, чтобы побудить их говорить непристойности. Они охотно вторили ему и, охмелев с первых же бутылок вина, отбросили церемонии, стали сами собой, целовали усы направо и налево, щипали своих кавалеров, дико визжали, пили изо всех рюмок, пели французские куплеты и обрывки немецких песенок, которым обучились при тесном общении с неприятелем.

Вскоре и мужчины, опьяненные женским телом, доступным их обонянию и осязанию, в исступлении принялись орать, бить посуду, между тем как стоявшие за каждым стулом солдаты невозмутимо прислуживали им.

Один только командир сохранял сдержанность.

Маркиз фон Эйрик — мадемуазель Фифи — посадил Рашель к себе на колени и в бесстрастном возбуждении то целовал смоляные завитки у нее на шее, вдыхая сквозь вырез корсажа нежное тепло и аромат ее тела, то давал волю яростной жестокости, безудержной потребности разрушения и больно щипал ее через ткань платья, заставляя вскрикивать. Иногда же, стиснув ее в объятиях и прижимая к себе изо всей силы, он впивался губами в цветущий рот еврейки и целовал

ее так, что у обоих дух захватывало; но вдруг он укусил ее, и струйка крови потекла с подбородка за корсаж девушки.

Она снова поглядела ему прямо в глаза и, вытирая кровь, прошептала:

— За это платят.

Он засмеялся злым смехом.

— Что ж, я заплачу,— ответил он.

Подали десерт. Начали разливать шампанское. Командир встал и с тем же видом, с каким провозгласил бы тост за здоровье императрицы Августы, поднял бокал:

— За наших дам!

Тут послышались тосты, вполне достойные пьяных солдафонов, перемешанные с циничными шутками, особенно грубыми из-за незнания языка.

Немцы вставали один за другим и силились блеснуть остроумием, посмешить общество, а женщины, совсем хмельные, заводили глаза, еле шевелили языком и всякий раз бешено рукоплескали.

Капитан, желая, вероятно, придать оргии галантный характер, в свою очередь, поднял бокал и произнес:

— За наши победы над сердцами.

Тогда поручик Отто, истый шварцвальдский медведь, которому винные пары ударили в голову, вскочил с места и в порыве пьяного патриотизма, рявкнул:

— За наши победы над Францией!

Как ни были пьяны женщины, они умолкли, а Рашель, вся вздрогнув, обернулась:

— Послушай-ка, есть французы, при которых ты это не посмел бы сказать.

Но юный маркиз, повеселевший от вина, захохотал, не отпуская ее с колен:

— Ого-го! Я таких пока не видал. Стоит нам появиться, как они удирают!

Девушка вспыхнула и крикнула ему в лицо:

— Лжешь, гадина!

Мгновение он смотрел на нее холодным взглядом, как смотрел на те картины, которые пробивал из пистолета, а затем снова захохотал:

— Ого, как бы не так, красотка! Разве мы попали бы сюда, не будь они трусами? — И возбуждаясь все более, выпалил: — Мы здесь — господа! Вся Франция — наша!

Она рванулась с его колен и упала на свой стул. Он поднялся, протянул бокал над столом и повторил:

— Вся Франция и французы, все леса, и поля, и дома Франции — наши!

Остальные немцы, совершенно пьяные, внезапно по-скотски распалились воинственным пылом, схватили бокалы и, заорав: «Да здравствует Пруссия!» — залпом опорожнили их.

Девушки не протестовали, только притихли пугливо. Даже Рашель смолчала, не решаясь возразить.

Тогда юный маркиз, поставив на голову еврейки вновь наполненный бокал шампанского, выкрикнул:

— И все женщины Франции наши!

Она вскочила так стремительно, что бокал опрокинулся, упал наземь и разбился, а светлое вино, как вода при крещении, пролилось на ее черные волосы. Глядя в упор на офицера, который все еще смеялся, она пролепетала дрожащими губами, и голос ее срывался от гнева:

— Нет, нет, врешь, не будут женщины Франции вашими.

Он опустился на стул, чтобы посмеяться всласть, и бросил:

— Вот это здорово! Зачем же ты-то сюда явилась, голубка?

Растерявшись и плохо соображая от волнения, она сперва промолчала, а затем, когда осмыслила его слова, выкрикнула в ответ возмущенно и страстно:

— Что я! Я не женщина, а шлюха, а других пруссакам не видать.

Не успела она договорить, как он наотмашь ударил ее по щеке; но, когда он вторично занес руку, она, обезумев от гнева, схватила со стола десертный ножичек и, так внезапно, что другие ничего не заметили, вонзила ему серебряное лезвие прямо в ямку у самой шеи, туда, где начинается грудь.

Слово застряло у него в горле, он застыл, раскрыв рот, страшно выкатив глаза.

Все вскочили, заметались с яростными воплями, но Рашель швырнула стул под ноги поручику Отто, тот растянулся во весь рост, а она бросилась к окну, распахнула его, прежде чем ее успели настичь, и прыгнула во мрак, под дождь, который лил по-прежнему.

Мадемуазель Фифи почти сразу же испустил дух. Тогда Фриц и Отто выхватили сабли из ножен, чтобы зарубить женщин, которые валялись у них в ногах. Майор не без труда предотвратил бойню и приказал запереть четырех обезумевших девушек в отдельную комнату под охраной двух солдат; затем с энергией командира, готовящегося к бою, он органи-

зовал погоню за беглянкой и не сомневался, что ее удастся захватить.

Пятьдесят человек, подхлестнутых угрозами, рассеялись по парку. Еще двести обыскали леса и дома по всей долине.

Стол, вмиг очищенный от посуды, был превращен в смертный одр; и четверо офицеров, мрачные, отрезвевшие, стояли у окна, вглядываясь в ночь; лица у них были суровые, как подобает при исполнении воинского долга.

Ливень не утихал. Мрак был заполнен неумолчным плеском, легким журчанием воды — падающей, текущей, капающей, хлещущей.

Внезапно раздался выстрел, за ним другой, издалека, и в течение четырех часов то вблизи, то вдали слышалась пальба, сигналы сбора, странные окрики гортанных голосов.

К утру все вернулись. Двое солдат были убиты, а трое ранены своими же товарищами в пылу ночной погони и в суматохе травли.

Рашель найти не удалось. Тогда началось преследование жителей; в домах все было перевернуто вверх дном, вся местность исхожена, изъезжена, обыскана. Еврейка исчезла без следа.

Генерал, получив донесение, приказал замять дело, дабы не подавать дурного примера армии, наложил дисциплинарное взыскание на командира, а тот приструнил своих подчиненных. Генерал выразился так:

— Мы воюем не для забавы и не для потех с публичными девками.

И граф фон Фарльсберг решил сорвать злость на местном населении. Так как ему нужен был предлог, чтобы свирепствовать без стеснения, он вызвал к себе кюре и приказал звонить в колокол при погребении маркиза фон Эйрик.

Против ожидания священник проявил покорность, смирение, предупредительность. И когда тело мадемуазель Фифи, которое окружали, сопровождали, охраняли вооруженные солдаты, вынесли из замка Ювиль на кладбище, колокол впервые издал звон, погребальный звон, четкий и чистый, как будто его ласкала дружеская рука.

Вечером он звонил снова, звонил и на другое утро, и все последующие дни; он трезвонил, сколько бы ни потребовалось. Случалось также, что ночью он начинал звонить сам по себе, бросал во мглу короткие мягкие звуки, странным образом развеселясь, пробудясь бог весть отчего. Все местные крестьяне

в один голос объявили, что он заколдован, и никто, кроме священника и пономаря, не решался подойти к звоннице.

Там, наверху, в страхе и одиночестве жила несчастная девушка, а священник и пономарь потихоньку кормили ее.

Пробыла она там до ухода германских войск. Затем, однажды вечером, кюре взял у булочника шарабан и сам довез свою пленницу до руанской заставы. На прощание священник поцеловал ее. Сойдя с шарабана, она пешком добежала до публичного дома, хозяйка которого считала ее уже погибшей.

Некоторое время спустя ее вызволил оттуда человек без предрассудков, патриот, который пленился ее героическим поступком, а позднее привязался к ней, женился на ней, и она стала дамой, не менее достойной, чем многие другие.

Леону Энннку

Это было в конце обеда в день открытия охоты у маркиза де Бертран. Вокруг большого, ярко освещенного стола, украшенного цветами и уставленного вазами с фруктами, сидели одиннадцать охотников, восемь молодых женщин и местный врач.

Заговорили о любви, поднялся оживленный спор, вечный спор о том, любят ли истинной любовью только раз в жизни или можно любить и много раз. Приводили примеры, когда люди любили по-настоящему лишь раз в жизни; приводили и другие, когда любили страстно много раз. Мужчины в большинстве считали, что страсть, так же как и болезнь, может поражать одно и то же существо неоднократно, может обрушиться на него, довести до гибели, если на пути ее встретится какое-нибудь препятствие. Хотя такой взгляд не вызывал споров, женщины, мнение которых скорее основывалось на поэзии, чем на жизненном опыте, уверяли, что любовь, истинная, настоящая, великая любовь, может посетить смертного только раз; любовь эта подобна молнии, она испепеляет, опустошает душу. И так, что уже никакое другое сильное чувство, ни даже тень его не может зародиться в ней.

Маркиз, человек много любивший, горячо оспаривал это мнение.

— Верьте мне, можно любить не раз, отдаваясь любви всей душой. Вы мне приводили примеры самоубийства как доказательство неповторимости страсти. А я скажу вам, что если бы люди не совершали этой глупости,— самоубийство,

конечно, глупость, отнимающая возможность снова впасть в грех,— они бы исцелились, и опять пришла бы любовь, и так было бы до самой их смерти. Влюбчивые люди подобны пьянице: кто пил — будет пить, кто любил — будет любить. Человеком повелевает темперамент.

Арбитром избрали местного врача, старого доктора, парижанина, уединившегося в этих краях; его попросили высказать свое мнение.

Определенного суждения у него не было.

— Маркиз правильно сказал: все зависит от темперамента; я знал об одной любви, которая длилась пятьдесят пять лет, ее прервала только смерть.

Маркиза захлопала в ладоши.

— Как это прекрасно! Можно только мечтать о такой любви! Какое счастье прожить пятьдесят пять лет в плену глубокой, непреодолимой страсти! Каким был счастливцем, как должен благословлять судьбу тот, кого так боготворили!

Врач улыбнулся.

— Вы не ошиблись, сударыня, счастливцем был мужчина. И вы знаете его — это господин Шуке, наш аптекарь. А ее, эту женщину, вы тоже знали; это была старуха — плетельщица стульев, она каждый год приходила к нам в замок. Но я расскажу вам обо всем подробно.

Восторги дам поутихли, на их разочарованных лицах можно было прочесть: «Только-то!» Словно любовь была предназначена лишь для натур утонченных, изысканных и лишь они могли занимать воображение людей из порядочного общества.

Врач продолжал свой рассказ:

— Три месяца тому назад я был приглашен к этой старой женщине, она была при смерти. Накануне она приехала сюда в своей повозке, служившей ей домом; повозку тащила кляча, которую вы не раз видели, и сопровождали ее две большие черные собаки — друзья и сторожа старухи. Когда я пришел, священник уже был у ее постели. Умирающая избрала нас своими душеприказчиками, и для того чтобы стала понятна ее последняя воля, она рассказала нам свою жизнь. Ничего более странного и трогательного я никогда не слышал.

И отец и мать ее были плетельщиками стульев. У нее никогда не было жилища, твердо стоявшего на земле.

Ребенком она бродила в грязных, омерзительных, вшивых лохмотьях. Семья останавливалась за деревней и располага-

лась у канавы; отпрягали лошадь, и она паслась на воле; собака дремала, положив голову на лапы; девочка кувыркалась в траве, а мать и отец в тени придорожных вязов чинили плетеные соломенные сиденья старых деревенских стульев. У обитателей этого жилища на колесах не в обычае было много разговаривать. Перекинувшись несколькими необходимыми фразами, чтобы решить, кому сегодня обходить дома, выкликая знакомое всем: «Плетем сиденья стульев!»,— муж и жена принимались скручивать солому, сидя рядом или же друг против друга. Когда девочка убегала поиграть с какими-нибудь деревенскими сорванцами, сейчас же слышался грозный оклик отца: «Иди сию минуту сюда, негодница».

Это были единственные ласковые слова, которые она слышала.

Когда она подросла, ее начали посылать по дворам собирать заказы на починку. Бродя по деревням, она познакомилась с несколькими мальчуганами, но родители ее новых приятелей грубо обрывали своих детей:

— Пойди сюда, озорник! Если я еще раз увижу, что ты разговариваешь со всякими оборвышами, смотри у меня!..

Нередко мальчишки кидали ей вслед камни.

Иногда какая-нибудь богатая дама подавала ей несколько су, девочка бережно припрятывала их.

Однажды — ей тогда было одиннадцать лет,— бродя по здешним местам, она повстречала за кладбищем маленького Шуке; мальчик плакал: кто-то из его сверстников отнял у него два лиара. Слезы маленького буржуа, одного из тех малышей, которые жалкому воображению забитой нищенки рисовались вечно счастливыми и довольными, поразили ее. Девочка подошла к сыну аптекаря и, узнав причину его горя, сунула ему все свои сбережения — семь су, которые мальчишка, конечно, взял, вытирая слезы. Тогда, вне себя от радости, она, набравшись храбрости, поцеловала его. Поглощенный рассматриванием монеток, мальчик не противился. Видя, что ее не оттолкнули и не ударили, девочка снова обняла его, поцеловала от всей души и убежала.

Что происходило в мозгу жалкой бродяжки? Привязалась ли она к этому малышу потому, что пожертвовала ради него всеми своими нищенскими сбережениями, или же, может быть, потому, что подарила ему свой первый нежный поцелуй? Таинство любви совершается одинаково в душе ребенка и в душе взрослого.

В течение долгих месяцев она мечтала об этом уголке

кладбища и о встреченном ею мальчике. В надежде снова увидеть его она воровала у родителей: то утаивала одно су за починку стульев, то присчитывала на покупке провизии.

Когда она снова приехала в эту деревню, в кармане у нее уже были припрятаны накопленные два франка, но маленького, чистенького сына аптекаря она увидела только в окно аптеки между банкой с солитером и банкой с жидкостью красного цвета.

Она еще сильнее полюбила его, покоренная, растроганная, восхищенная этим сиянием пурпуровой воды, этим апофеозом блестящих банок.

Девочка хранила в душе неизгладимое воспоминание, и когда увидела маленького Шуке на следующий год, позади школы, где он играл с товарищами в шарики, она кинулась к нему, обняла и так крепко поцеловала, что он перепугался и закричал. Тогда, чтобы успокоить его, она отдала ему все свои деньги: три франка двадцать сантимов — целое состояние; он смотрел на них во все глаза.

Мальчик взял деньги и позволил нищенке ласкать его, сколько ей вздумалось.

В течение четырех лет она отдавала ему все свои сбережения, и он уже вполне сознательно брал их, в обмен на поцелуи, которые он милостиво допускал. Иногда она давала ему тридцать су, иногда два франка, а случалось и только двенадцать су (она плакала от огорчения и стыда, но такой уж плохой выдался год), в последний же раз она дала ему пятифранковик — большую круглую монетку; он даже засмеялся от удовольствия.

Она думала только о нем; а он поджидал ее даже с нетерпением, завидев, бежал навстречу,— и тогда сердце девочки учащенно билось.

Неожиданно он исчез. Его отправили учиться в коллеж. Об этом она узнала путем ловких расспросов. Тогда она чрезвычайно хитро убедила родителей изменить маршрут, чтобы попасть в наши края к тому времени, когда он приедет на каникулы. Ей это удалось, но только через год,— целый год ей пришлось хитрить. Два года она не видела его и, встретив, с трудом узнала — так он изменился, вырос, похорошел, таким стал представительным в мундирчике с золотыми пуговицами. Он сделал вид, будто не узнает ее, и гордо прошел мимо.

Два дня она плакала; и с тех пор страданьям ее не было конца.

Она приезжала сюда каждый год, проходила мимо него, не осмеливаясь ему поклониться, а он ни разу даже не взглянул на нее. Она так любила его! Она сказала мне:

— Только он один существовал для меня на свете, доктор, других я даже не замечала.

Родители ее умерли. Она продолжала их ремесло, жила все так же, лишь вместо одной собаки завела двух — двух страшных псов, которых чужим следовало остерегаться.

Как-то раз, приехав в деревню, по которой так тосковала ее душа, она увидела, как из аптеки Шуке вышел ее любимый под руку с какой-то молодой женщиной. Это была его жена. Он женился.

Вечером она бросилась в пруд, что находится на площади перед мэрией. Запоздалый прохожий, пьяница, возвращавшийся из кабака, вытащил ее и отвел в аптеку. Сын Шуке сошел вниз в халате, чтобы оказать ей помощь, и, словно бы не узнав ее, раздел, растер и потом сухо сказал: «Да вы просто с ума спятили! Нельзя же быть такой дурой!» Это ее воскресило. Он, он говорил с ней! Долгое время она вспоминала об этом счастье.

Аптекарь не захотел взять с нее платы за услугу, хотя она настойчиво просила его об этом.

И так прошла ее жизнь. Она чинила стулья, мечтая о Шуке. Каждый год она видела его в окне аптеки. Она неизменно покупала у него запасы лекарств для того, чтобы посмотреть на него вблизи, говорить с ним и опять давать ему деньги.

Как я уже сказал, она умерла этой весной. Перед смертью, поведав мне свою печальную историю, она попросила меня передать тому, кого она любила такой смиренной, безропотной любовью, все ее сбережения, все, что удалось ей скопить за целую жизнь; ведь работала она только для него, «для него одного», сказала она; иногда она даже голодала, чтобы сберечь лишний грош и быть уверенной, что он хоть раз подумает о ней, когда ее не станет.

Она вручила мне две тысячи триста двадцать семь франков. Я отдал священнику двадцать семь франков на похороны, а остальные взял, когда она испустила последний вздох.

На следующий день я пошел к Шуке. Супруги кончали завтракать, сидя друг против друга, оба толстые и красные, пропахшие особым запахом аптеки, оба преисполненные важности и самодовольства.

Меня пригласили сесть; предложили вишневой настойки, я не отказался, затем взволнованно начал свой рассказ, уверенный, что они будут тронуты до слез.

Как только Шуке понял, что его любила какая-то нищая плетельщица стульев, шатавшаяся по всей округе, какая-то бродяжка, он вскочил. Аптекарь негодовал, как будто бы она погубила его репутацию, лишила его уважения честных людей,— любовь ее была как бы покушением на его личную честь, на нечто такое, что ему было дороже всего в жизни.

Его жена была тоже вне себя и все повторяла: «Ну что за дрянь! Что за дрянь!» — как бы не находя иных слов.

Шуке поднялся и стал ходить по комнате большими шагами, феска его сползла на одно ухо. Он бормотал:

— Как вам это нравится, доктор? Ведь вот какая беда стряслась! Что мне теперь делать? Ах, если бы я только знал об этом, когда она была жива, я бы добился, чтоб ее арестовали и засадили в тюрьму. И уж оттуда она бы не вышла, ручаюсь вам!

Я был ошеломлен: мое посредничество, вызванное добрыми побуждениями, приняло неожиданный оборот. Я не знал, что сказать, что делать. Но я должен был довести свою миссию до конца и сказал:

— Покойница поручила мне передать вам ее сбережения — две тысячи триста франков. Но, насколько я понял, все, что вы от меня узнали, вас крайне неприятно поразило, и, может быть, лучше всего будет отдать эти деньги на бедных.

Аптекарь и его супруга смотрели на меня, растерянные, смущенные.

Я вынул деньги из кармана, жалкий капитал, истертые монеты, собранные по разным углам страны, золотые вперемешку с медяками. Затем я спросил:

— Что ж вы решили?

Госпожа Шуке заговорила первая:

— Но... ведь это последняя воля этой женщины... мне кажется, нам просто неудобно будет отказаться.

Муж чуть смущенно сказал:

— Мы могли бы купить на эти деньги что-нибудь нашим детям.

Я сухо ответил:

— Как вам будет угодно.

Аптекарь произнес:

— Что ж, передайте нам деньги, поскольку она вам это поручила. Мы найдем возможность употребить их на какое-нибудь доброе дело.

Я отдал деньги, откланялся и ушел.

На следующий день г-н Шуке явился ко мне и решительно сказал:

— Ведь она оставила здесь свою повозку, эта... эта женщина. Зачем она вам?

— Повозка мне не нужна, возьмите, если хотите.

— Прекрасно, я возьму, она мне пригодится: я из нее сделаю сторожку на огороде.

Он уже собирался уйти. Я ему напомнил:

— После нее остались еще старая лошадь и две собаки. Хотите забрать?

Он остановился, очень удивленный.

— Ну нет, зачем они мне? Располагайте ими, как вам заблагорассудится.— И господин Шуке рассмеялся. Затем он протянул мне руку, и я пожал ее. Ничего не поделаешь, доктор и аптекарь должны жить в дружбе!

Я оставил собак себе. Священник, у которого был большой двор, взял лошадь. Повозка обратилась теперь в сторожку на огороде у Шуке; на деньги умершей он купил пять акций железнодорожной компании.

Вот единственная настоящая любовь, которую я встретил в своей жизни.

Врач умолк.

Тогда маркиза, у которой на глазах были слезы, вздохнула:

— Да, только женщины умеют любить!

Аббату Мариньяну очень подходила его воинственная фамилия,— у этого высокого худого священника была душа фанатика, страстная, но суровая. Все его верования отличались строгой определенностью и чужды были колебаний. Он искренне полагал, что постиг господа бога, проник в его промысел, намерения и предначертания.

Расхаживая широкими шагами по саду деревенского церковного домика, он иногда задавал себе вопрос: «Зачем бог сотворил то или это?» Мысленно становясь на место бога, он упорно допытывался ответа — и почти всегда находил его. Да, он был не из тех, кто шепчет в порыве благочестивого смирения: «Неисповедимы пути твои, господи». Он рассуждал просто: «Я служитель божий и должен знать или, по крайней мере, угадывать его волю».

Все в природе казалось ему созданным с чудесной, непреложной последовательностью. «Почему» и «потому» всегда были в непоколебимом равновесии. Утренние зори созданы для того, чтобы радостно было пробуждаться, летние дни — чтобы созревали нивы, дожди — чтобы их орошать, вечера — для того, чтобы подготовлять ко сну, а темные ночи — для мирного сна.

Четыре времени года превосходно соответствовали всем нуждам земледелия, и никогда у этого священника даже и мысли не возникало, что в природе нет сознательных целей, что, напротив, все живое подчинено суровой необходимости, зависимости от геологической эпохи, климата и материи.

Но он ненавидел женщину, бессознательно ненавидел, инстинктивно презирал. Часто повторял он слова Христа: «Жена, что общего между тобой и мною?» Право, сам создатель был как будто недоволен этим своим творением. Для аббата Мариньяна женщина поистине была «дитя, двенадцать раз нечистое», о котором говорит поэт.

Она была искусительницей, соблазнившей первого человека, и по-прежнему вершила свое черное дело, оставаясь все тем же слабым и таинственно волнующим существом. Но еще больше, чем ее губительное тело, он ненавидел ее любящую душу.

Нередко он чувствовал, как устремляется к нему женская нежность, и, хотя он твердо был уверен в своей неуязвимости, его приводила в негодование эта потребность любви, вечно томящая душу женщины.

Он был убежден, что бог создал женщину лишь для искушения, для испытания мужчины. Приближаться к ней следовало осторожно и опасливо, точно к западне. Да и в самом деле, она подобна западне, ибо руки ее простерты для объятия, а губы отверсты для поцелуя.

Снисходительно он относился только к монахиням, так как обет целомудрия обезоружил их, но и с ними он обращался сурово: он угадывал, что в глубине заключенного в оковы, усмиренного сердца монахинь живет извечная нежность и все еще изливается даже на него — на их пастыря.

Он чувствовал эту нежность в их благоговейном, влажном взгляде, не похожем на взгляд набожных монахов, в молитвенном экстазе, к которому примешивалось нечто от их пола, в порывах любви ко Христу, которые возмущали его, ибо это была любовь женская, любовь плотская; он чувствовал эту окаянную нежность даже в их покорности, в кротком голосе, в потупленном взоре, в смиренных слезах, которые они проливали в ответ на его гневные наставления. И, выйдя из монастырских ворот, он отряхивал сутану и шел быстрым шагом, словно убегал от опасности.

У него была племянница, которая жила с матерью в соседнем домике. Он все уговаривал ее пойти в сестры милосердия.

Она была хорошенькая и ветреная насмешница. Когда аббат читал ей нравоучения, она смеялась; когда он сердился, она горячо целовала его, прижимала к сердцу, а он бессознательно старался высвободиться из ее объятий, но все же испытывал сладостную отраду оттого, что в нем пробуждалось то-

гда смутное чувство отцовства, дремлющее в душе у каждого мужчины.

Прогуливаясь с нею по дорогам, среди полей, он часто говорил ей о боге, о своем боге. Она совсем его не слушала, глядела на небо, на траву, на цветы, и в глазах ее светилась радость жизни. Иногда она убегала вдогонку за пролетающей бабочкой и, поймав ее, говорила:

— Посмотрите, дядечка, до чего хорошенькая! Просто хочется поцеловать ее.

И эта потребность поцеловать какую-нибудь букашку или звездочку сирени тревожила, раздражала, возмущала аббата,— он вновь видел в этом неистребимую нежность, заложенную в женском сердце.

И вот однажды утром жена пономаря — домоправительница аббата Мариньяна — осторожно сообщила ему, что у его племянницы появился воздыхатель.

У аббата горло перехватило от ужаснейшего волнения, он так и застыл на месте, позабыв, что у него все лицо в мыльной пене,— он как раз брился в это время.

Когда к нему вернулся дар речи, он крикнул:

— Быть не может! Вы лжете, Мелани!

Но крестьянка прижала руку к сердцу:

— Истинная правда, убей меня бог, господин кюре. Каждый вечер, как только ваша сестрица лягут в постель, она убегает из дому. А уж он ее ждет у речки, на берегу. Да вы сходите как-нибудь туда между десятью и двенадцатью. Сами увидите.

Он перестал скоблить подбородок и стремительно зашагал по комнате, как обычно в часы глубокого раздумья. Затем опять принялся бриться и три раза порезался — от носа до самого уха.

Весь день он молчал, кипел возмущением и гневом. К яростному негодованию священника против непобедимой силы любви примешивалось оскорбленное чувство духовного отца, опекуна, блюстителя души, которого обманула, надула, провела хитрая девчонка; в нем вспыхнула горькая обида, которая терзает родителей, когда дочь объявляет им, что она без их ведома и согласия выбрала себе супруга.

После обеда он пытался отвлечься от своих мыслей чтением, но безуспешно, и раздражение его все возрастало. Лишь только пробило десять, он взял свою палку, толстенную дубинку, которую всегда брал в дорогу, когда шел ночью навестить больного. С улыбкой поглядев на эту тяжелую палицу,

он угрожающе покрутил ее своей крепкой крестьянской рукой. Затем скрипнул вдруг зубами и со всего размаху так хватил по стулу, что спинка раскололась и рухнула на пол.

Он отворил дверь, но замер на пороге, пораженный сказочным, невиданно ярким лунным светом.

И так как аббат Мариньян наделен был восторженной душой, такой же, наверно, как у отцов церкви, этих поэтов-мечтателей, он вдруг позабыл обо всем, взволнованный величавой красотой тихой и светлой ночи.

В его садике, залитом кротким сиянием, шпалеры плодовых деревьев отбрасывали на дорожку тонкие узорчатые тени своих ветвей, едва опушенных листвой; огромный куст жимолости, обвивавший стену дома, струил такой нежный, сладкий аромат, что казалось, в прозрачном теплом сумраке реяла чья-то благоуханная душа.

Аббат долгими жадными глотками впивал воздух, наслаждаясь им, как пьяницы наслаждаются вином, и медленно шел вперед, восхищенный, умиленный, почти позабыв о племяннице.

Выйдя за ограду, он остановился и окинул взглядом всю равнину, озаренную ласковым, мягким светом, тонувшую в серебряной мгле безмятежной ночи. Поминутно лягушки бросали в пространство короткие металлические звуки, а поодаль заливались соловьи, рассыпая мелодичные трели своей песни, той песни, что гонит раздумье, пробуждает мечтания и как будто создана для поцелуев, для всех соблазнов лунного света.

Аббат снова двинулся в путь, и почему-то сердце у него смягчилось. Он чувствовал какую-то слабость, внезапное утомление, ему хотелось присесть и долго-долго любоваться лунным светом, молча поклоняясь богу в его творениях.

Вдалеке, по берегу речки, тянулась извилистая линия тополей. Легкая дымка, пронизанная лучами луны, словно серебристый белый пар, клубилась над водой и окутывала все излучины русла воздушной пеленой из прозрачных хлопьев.

Аббат еще раз остановился; его душу переполняло неодолимое, все возраставшее умиление.

И смутная тревога, сомнение охватили его, он чувствовал, что у него вновь возникает один из тех вопросов, какие он подчас задавал себе.

Зачем бог создал все это? Если ночь предназначена для сна, для бессознательного покоя, отдыха и забвения всего, зачем же она прекраснее дня, нежнее утренних зорь и вечерних сумерек? И зачем сияет в неторопливом своем шествии это

пленительное светило, более поэтичное, чем солнце, такое тихое, таинственное, словно ему указано озарять то, что слишком сокровенно и тонко для резкого дневного света; зачем она делает прозрачным ночной мрак?

Зачем самая искусная из певчих птиц не отдыхает ночью, как другие, а поет, в трепетной мгле?

Зачем наброшен на мир этот лучистый покров? Зачем эта тревога в сердце, это волнение в душе, эта томная нега в теле?

Зачем раскинуто вокруг столько волшебной красоты, которую люди не видят, потому что они спят в постелях? Для кого же сотворено это величественное зрелище, эта поэзия, в таком изобилии нисходящая с небес на землю?

И аббат не находил ответа.

Но вот на дальнем краю луга, под сводами деревьев, увлажненных радужным туманом, появились рядом две человеческие тени.

Мужчина был выше ростом, он шел, обнимая свою подругу за плечи и, время от времени склоняясь к ней, целовал ее в лоб. Они вдруг оживили неподвижный пейзаж, обрамлявший их, словно созданный для них фон. Они казались единым существом, тем существом, для которого предназначена была эта ясная и безмолвная ночь, и они шли навстречу священнику, словно живой ответ, ответ, посланный господом на его вопрос.

Аббат едва стоял на ногах,— так он был потрясен, так билось у него сердце; ему казалось, что перед ним библейское видение, нечто подобное любви Руфи и Вооза, воплощение воли господней на лоне прекрасной природы, о которой говорят священные книги. И в голове у него зазвенели стихи из Песни Песней, крик страсти, призывы тела, вся огненная поэзия этой поэмы, пылающей любовью.

И аббат подумал:

«Быть может, бог создал такие ночи, чтобы покровом неземной чистоты облечь любовь человеческую».

И он отступил перед этой обнявшейся четой. А ведь он узнал свою племянницу, но теперь он спрашивал себя, не дерзнул ли он воспротивиться воле божьей. Значит, бог дозволил людям любить друг друга, если он окружает их любовь таким великолепием.

И он бросился прочь, смущенный, почти пристыженный, словно украдкой проникнул в храм, куда ему запрещено было вступать.

Октаву Мирбо

Вблизи небольшого городка, славившегося минеральными источниками, у подножия холма, бок о бок стояли две лачуги. Оба соседа в поте лица трудились на тощей земле, поднимая на ноги своих малышей. У каждого их было по четыре. Вся эта детвора с утра до вечера копошилась перед дверьми хибарок. В обеих семьях двум старшим было по шести лет, а двум младшим год с небольшим; свадьбу соседи справляли примерно в одно и то же время, и так же рождались у них и дети.

Матери с трудом различали своих ребятишек в общей ватаге, а отцы так и вовсе их смешивали. В голове у них мелькали, то и дело путаясь, восемь имен, и, когда нужно было позвать одного из ребят, отец иной раз ошибочно перебирал трех, пока не являлся тот, который требовался.

Первый домик (считая от минеральных вод Рольпорт) принадлежал супругам Тюваш, у которых было три дочери и сын; в другой лачуге жили Валлены, имевшие дочь и трех сыновей.

И те и другие с трудом перебивались, питаясь картофельным супом и свежим воздухом. В семь часов утра, в полдень и в шесть часов вечера матери созывали свою мелюзгу, чтобы накормить похлебкой, точь-в-точь как пастух собирает своих гусей. Детишки рассаживались лесенкой за некрашеным столом, который, прослужив семье добрых пятьдесят лет, лоснился как полированный. Младший малютка еле доставал губами до стола. Перед ними ставилась глубокая миска, полная хлеба, размоченного в воде, в которой были сварены картошка, полкочна капусты и три луковки; и все молодое поколение

наедалось досыта. Мать кормила с ложки младшего. По воскресеньям подавали лакомое блюдо — похлебку, сваренную с кусочком мяса. Отец в этот день долго засиживался за столом и, вставая, приговаривал: «Вот бы и по будням так обедать».

Однажды августовским днем в послеполуденный час перед лачугами неожиданно остановился легкий кабриолет, и молодая дама, которая сама правила, сказала сидящему рядом с ней господину:

— Ах! Посмотри, Анри, на этих ребятишек, их тут целая куча. Какие они хорошенькие и как мило возятся в пыли!

Мужчина ничего не ответил, видимо, он уже привык к подобным проявлениям восторга, которые его ранили и были чуть ли не упреком ему.

Молодая дама продолжала:

— Я хочу его расцеловать! Ах, как бы мне хотелось иметь такого малыша,— вот этого, самого крохотного!

Выскочив из кабриолета, она подбежала к ребятишкам, взяла на руки малыша (он был из семьи Тюваш) и начала страстно целовать его чумазые щечки, белокурые кудряшки, слипшиеся от грязи, и крохотные ручонки, которыми он отчаянно отбивался от назойливых ласк.

Потом дама снова села в кабриолет, и они укатили. Но через неделю она опять приехала, уселась на землю, взяла карапуза на руки, стала пичкать его пирожными, оделила всех ребятишек конфетами; она играла с ними, как девчонка, а муж терпеливо ее ждал, сидя в своем легком экипаже.

Потом она вновь приехала, познакомилась с родителями и стала появляться чуть не каждый день с карманами, полными сластей и мелких монет.

Ее звали госпожа Анри д'Юбьер.

Как-то утром муж вышел из кабриолета вместе с ней; не задерживаясь возле малышей, которые теперь отлично ее знали, она первая вошла в лачугу.

Хозяева были дома, они кололи дрова, намереваясь варить суп; опешив от удивления, оба бросили работу, подали гостям стулья и стали молча ждать, что будет дальше. Молодая дама заговорила дрожащим, прерывающимся от волнения голосом:

— Люди добрые, я пришла к вам, потому что мне очень хотелось бы... мне хотелось бы взять к себе вашего... вашего маленького мальчугана...

В полном недоумении, не соображая, в чем дело, крестьяне молчали.

Переведя дыхание, она продолжала:

— У нас, видите ли, нет детей... Мы с мужем так одиноки... Мы бы оставили его у себя... Вы согласны?

Крестьянка начала смекать.

— Вам желательно забрать у нас Шарло? Ну уж нет, этому не бывать.

Тут вмешался г-н д'Юбьер:

— Моя жена не сумела вам растолковать. Дело в том, что нам хотелось бы его усыновить, но он будет вас навещать. Если он вырастет порядочным человеком,— что весьма вероятно,— то со временем он будет нашим наследником. Если у нас, паче чаяния, будут свои дети, то он тоже получит долю наследства наравне с ними. Если же он обманет наши ожидания, то мы выделим ему в день его совершеннолетия двадцать тысяч франков и тотчас же внесем эту сумму на его имя нотариусу. Но мы позаботимся и о вас: до конца ваших дней вам будут выплачивать ренту — по сто франков в месяц. Надеюсь, вы меня поняли?

Фермерша вскочила вне себя от ярости:

— Вы хотите, чтобы я продала вам Шарло? Ну уж нет! Нашли чего просить у матери? Ну уж нет! Не пойдем мы на этакое подлое дело.

Крестьянин сидел молча, нахмуренный, в раздумье; но он вполне одобрял слова своей жены, то и дело кивая головой.

Госпожа д'Юбьер в отчаянии залилась слезами и, обращаясь к мужу, голосом, дрожащим от рыданий, пролепетала тоном избалованного ребенка, не привыкшего к отказам:

— Они не согласны, Анри, они не согласны!

Тогда муж сделал последнюю попытку:

— Слушайте, друзья мои, ведь надо же подумать о будущем вашего ребенка, о его счастье, о его...

Обозленная крестьянка отрезала:

— Все видели, все слышали, все смекнули... Убирайтесь вон, и чтоб больше ноги вашей здесь не было! Слыханное ли дело, чтобы у матери отнимали дите?!

Тут г-жа д'Юбьер, выходя из лачуги, вдруг вспомнила, что малышей-то ведь было двое, и сквозь слезы спросила с упорством своенравной, капризной женщины, всегда настаивающей на своем:

— Но ведь другой-то малыш не ваш?

— Нет, это соседский. Можете к ним заглянуть, если желаете.

И Тюваш скрылся в дверях своей лачуги, а вслед гостям летели негодующие возгласы матери семейства.

Чета Валленов сидела за столом, медленно пережевывая хлеб; они скупо намазывали ломтики маслом, которое брали на кончике ножа с тарелки, стоявшей посреди стола.

Господин д'Юбьер повторил свои предложения, но на этот раз он проявил вкрадчивость, прибег к ораторским приемам, к дипломатии.

Простодушные крестьяне качали головой в знак отказа, но, услыхав, что будут получать по сто франков в месяц, они переглянулись, безмолвно совещаясь, задетые за живое.

Они долго молчали, терзаясь сомнениями, не в силах на что-нибудь решиться. Наконец женщина спросила:

— Ну, что ты на это скажешь, хозяин?

Он ответил наставительным тоном:

— Да, по-моему, в этом нет ничего худого.

Тут г-жа д'Юбьер, дрожа от волнения, заговорила о будущем их ребенка, о выпавшем на его долю счастье и о деньгах, какие они благодаря ему в свое время получат.

Крестьянин спросил:

— А ренту в тысячу двести франков чин чином пропишете у нотариуса?

— Ну, конечно, завтра же,— отвечал г-н д'Юбьер.

Фермерша, подумав, заявила:

— Сто франков в месяц — это будет маловато, раз уж вы забираете у нас мальца; ведь мальчишка-то подрастет и будет зарабатывать на семью. Если брать, так уж сто двадцать франков.

Госпожа д'Юбьер, трепеща от нетерпения, тотчас же согласилась,— ей хотелось увезти с собой ребенка, и она сунула крестьянину в подарок сто франков, пока муж составлял письменный договор. Были немедленно приглашены мэр и один из соседей, которые охотно подписались в качестве свидетелей.

И молодая женщина в полном восторге унесла на руках отчаянно ревущего малыша, как уносят из магазина приглянувшуюся безделушку.

Супруги Тюваш, стоя на пороге своей хибарки, молча смотрели, как увозили малыша; вид у них был мрачный,— должно быть, они уже сожалели о своем отказе.

Долгое время о маленьком Жане Валлен ничего не было слышно. Родители его каждый месяц получали сто двадцать франков у нотариуса; они были в ссоре со своими соседями, по-

тому что мамаша Тюваш бесчестила их, неустанно трубя всем и каждому, что надо быть извергом, чтобы продать свое родное дитя, что это злодейство, грязное дело, сущее непотребство.

Порой она брала на руки Шарло и, чванясь сама перед собой, громогласно выкладывала ему, как будто он мог понять:

— А я ведь не продала тебя, малец, я и не думала тебя продавать. Я не таковская, чтобы продавать своих ребят. Я не из богатых, а все-таки, хоть убей, не стану продавать своих ребят.

Годы шли за годами, и каждый день она выкрикивала на крылечке своего дома всякие обидные слова с таким расчетом, чтобы услыхали соседи. Под конец мамаша Тюваш уже считала себя лучше всех в округе, потому что не согласилась продать своего Шарло. И о ней говорили с уважением:

— Доподлинно известно, что ей сулили золотые горы, а она ни в какую! Ну, как же после этого она не хорошая мать?

Ее ставили всем в пример; а Шарло, которому минуло уже восемнадцать лет, слыша с детства такие рассуждения, свысока поглядывал на своих товарищей, гордясь тем, что его не продали.

Между тем Валлены жили себе припеваючи благодаря своей ренте. Это и вызывало неуемную ярость у супругов Тюваш, которые по-прежнему прозябали в нищете.

Их старший сын был призван в армию. Второй умер; Шарло пришлось крепко трудиться, помогая старику отцу прокормить мать и двух младших сестер.

Ему шел уже двадцать второй год, когда однажды утром к лачугам подъехал нарядный экипаж. Молодой господин с золотой цепочкой на жилете вышел из коляски, подавая руку седой даме. А эта пожилая дама сказала ему:

— Вот здесь, дитя мое, во втором доме.

И непринужденно, как свой человек, он вошел в хибарку Валленов.

Старая мать стирала свои передники; больной отец дремал, сидя у очага. Оба подняли голову, и молодой человек сказал:

— Здравствуй, папа! Здравствуй, мама!

Они привскочили от изумления. Крестьянка от волнения даже уронила мыло в корыто.

— Это ты, дитятко мое! Это ты, дитятко мое! — бормотала она.

Он обнял ее и расцеловал, повторяя: «Здравствуй, мама!» А старик, весь дрожа, говорил, как всегда стараясь казаться спокойным:

— Вот ты и воротился к нам, Жан.— Казалось, он расстался с сыном всего с месяц назад.

И когда они окончательно признали друг друга, родителям захотелось поскорее выйти с сынком и показать его людям. Они потащили его к мэру, к помощнику мэра, к священнику и, наконец, к учителю.

Шарло, стоя на пороге своей лачужки, наблюдал за молодым человеком.

Вечером, за ужином, он заявил старику отцу:

— Ну, и дурака же вы сваляли, что попустили Валленам отдать ихнего малыша.

Мать возразила с застарелым упорством:

— Я не хотела продавать свое дите!

Отец не отозвался ни словом.

Сын продолжал:

— И за что это на мою долю выпала такая напасть!

Папаша Тюваш раздраженно буркнул:

— Ты еще станешь попрекать нас, что мы тебя не отдали?

Парень грубо бросил:

— Да как же мне не попрекать вас, коли вы сущие болваны. Хороши родители, губят собственное дите! Уйти, что ли, мне от вас,— вы того стоите!

Старуха плакала, роняя слезы в тарелку. Она выговорила со стоном, проливая суп из ложки, которую подносила ко рту:

— Вот после этого и убивайся, чтобы выкормить ребят!

Парень сурово сказал:

— Лучше бы мне вовсе не родиться на свет, чем жить так, как я живу. Как увидал я того малого, так у меня кровь и закипела. Тут я и сказал себе: «Вот каков бы я был сейчас».

Он встал из-за стола.

— Вот что, уж лучше мне уйти от вас, потому как я день-деньской стану вас попрекать и прямо со свету вас сживу. Понимаете вы, я ни в жизнь вам этого не прощу!

Старики молчали, подавленные, глотая слезы.

Он продолжал:

— Нет, как подумаю об этом, прямо невтерпеж становится. Лучше уж мне уйти да поискать счастья в чужих людях!

Он распахнул дверь. В хижину ворвался шум голосов. Это Валлены праздновали возвращение сына.

Шарло топнул ногой и, повернувшись к родителям, крикнул:

— Ну вас, мужичье!

И исчез в ночной темноте.

Полю Эрвьё

Я знал этого высокого молодого человека, его звали Рене де Бурневаль. Он был приятен в обращении, хотя и несколько сумрачен, казался разочарованным во всем и отличался крайним скептицизмом, ясным и язвительным скептицизмом, который одним-единственным словом умеет разоблачить светское лицемерие. Он часто повторял: «Честных людей нет; во всяком случае, они честны только по сравнению с подлецами».

У него было два брата по фамилии де Курсиль, с которыми он никогда не встречался. Так как они носили разные фамилии, я считал их сводными. Я неоднократно слышал, что в этой семье произошла какая-то странная история, но подробностей мне не рассказывали.

Молодой человек мне очень нравился, и мы быстро подружились. Как-то вечером, когда мы вдвоем обедали у него, я спросил невзначай:

— Вы родились от первого или второго брака вашей матери?

Он слегка побледнел, потом покраснел и немного помолчал в явном смущении. Потом, улыбнувшись своей спокойной и грустной улыбкой, сказал:

— Если вас это интересует, мой друг, я расскажу вам про особые обстоятельства моего рождения. Я считаю вас человеком умным и потому не боюсь, что наша дружба может поколебаться, а если бы она поколебалась, я перестал бы ею дорожить.

Моя мать, госпожа де Курсиль, была маленькая женщина, хрупкая и боязливая; господин де Курсиль женился на ней

ради денег. Жизнь ее была мученичеством. Ее нежная, робкая, чуткая душа постоянно страдала от грубого обращения человека, который должен был быть моим отцом,— одного из тех мужланов, которых называют деревенскими вельможами. Уже месяц спустя после свадьбы он жил со своей служанкой. Были у него и другие любовницы, жены и дочери его фермеров, что, однако, не помешало ему иметь двоих детей от жены, а вместе со мной нас считалось трое. Моя мать всегда молчала; в этом вечно шумном доме она жила, как маленькая мышка, вот-вот готовая забиться в свою норку. Обезличенная, незаметная, трепещущая, она смотрела на людей светлыми беспокойными глазами, глазами запуганного существа, которое не покидает страх.

А между тем она была хороша, очень хороша: белокурая, с застенчиво-пепельным оттенком волос, словно они чуть выцвели от вечной боязни.

В числе приятелей господина де Курсиль и частых посетителей нашего замка был один отставной кавалерийский офицер, вдовец, человек чувствительный и пылкий, подчас внушавший страх, способный на самые решительные поступки. Его звали господин де Бурневаль, я ношу его имя. Это был высокий худой мужчина с длинными черными усами. Я очень похож на него. Он был начитан и мыслил совсем иначе, чем люди его класса. Его прабабка была подругой Жан-Жака Руссо, и он, казалось, унаследовал что-то от этой связи. Он знал наизусть «Общественный договор», «Новую Элоизу» — все те философские сочинения, которые издавна подготовляли крушение наших старинных обычаев, предрассудков, наших устаревших законов и нелепой морали.

Он, как видно, любил мою мать и был любим ею. Эта связь была настолько скрытой, что никто о ней и не подозревал. Бедняжка, заброшенная, тоскующая, неизбежно должна была привязаться к нему со всей силой своего отчаяния и заимствовать весь образ его мыслей, его теорию свободного чувства, дерзаний свободной любви; но она была до того робка, что не отваживалась высказываться вслух, и все это таилось, собиралось, нарастало в ее сердце, которое навсегда осталось замкнутым.

Мои братья были грубы и неласковы с ней, как и их отец, и, привыкнув к тому, что в доме ее ни во что не ставили, обращались с ней почти как с прислугой.

Из ее сыновей только я один по-настоящему любил ее, и она любила только меня.

Она умерла. Мне было тогда восемнадцать лет. Должен добавить, чтобы вам стало понятно все последующее, что над господином де Курсиль был учрежден опекунский надзор, что супруги владели раздельным имуществом, и моя мать благодаря гибкости закона и преданности умного нотариуса сохранила за собой право составить завещание по своему усмотрению.

Нас известили, что завещание хранится у этого нотариуса, и пригласили присутствовать при вскрытии.

Я помню все, как будто это происходило вчера. То была потрясающая, драматическая, комическая, непредвиденная сцена, которую вызвал посмертный бунт покойницы, ее протест, крик освобождения, прозвучавший из глубины могилы этой мученицы, загубленной при жизни нашими нравами и бросившей отчаянный призыв к независимости из своего заколоченного гроба.

Человек, считавший себя моим отцом, полнокровный толстяк, похожий на мясника, и оба моих брата, рослые малые двадцати и двадцати двух лет, ждали, спокойно сидя в креслах. Господин де Бурневаль, также получивший приглашение, вошел и стал позади меня. Он был в наглухо застегнутом сюртуке, очень бледный, и то и дело покусывал свои усы, в ту пору уже начавшие седеть. Он, без сомнения, был готов к тому, что произошло потом.

Нотариус запер дверь на ключ и, сломав красную сургучную печать, вскрыл конверт и приступил к чтению завещания, содержание которого не было ему известно.

Внезапно умолкнув, мой друг встал, вынул из письменного стола старый документ, развернул его, прижал к губам и снова заговорил:

— Вот завещание моей дорогой матери:

«Я, нижеподписавшаяся, Анна-Катрина-Женевьева-Матильда де Круалюс, законная супруга Жана-Леопольда-Жозефа-Гонтрана де Курсиль, находясь в здравом уме и твердой памяти, выражаю здесь свою последнюю волю.

Я прошу прощения у бога, а также у дорогого сына моего Рене за то, что собираюсь совершить. Я знаю, мой сын достаточно великодушен, он поймет и простит меня. Я страдала всю жизнь. Муж женился на мне по расчету, пренебрегал мною, был несправедлив ко мне, угнетал и беспрестанно обманывал меня.

Я прощаю ему, но я ничего ему не должна.

Мои старшие сыновья не любили меня, не баловали меня вниманием и едва почитали меня за мать.

При жизни я исполняла в отношении их свой материнский долг; после смерти я ничего не должна им. Узы крови — ничто, если они не освящены прочной, постоянной привязанностью. Неблагодарный сын хуже чужого: он преступник, потому что не имеет права быть равнодушным к матери.

Я всегда трепетала перед людьми, перед их неправедными законами, их бесчеловечными обычаями и позорными предрассудками. Перед лицом бога я ничего не страшусь. Умирая, я отбрасываю постыдное лицемерие; я осмеливаюсь высказать свои мысли, объявить и засвидетельствовать тайну своего сердца.

Итак, всю ту долю моего состояния, которой я располагаю по закону, я завещаю моему другу и возлюбленному Пьеру-Жерме-Симону де Бурневаль с тем, чтобы впоследствии она перешла к нашему дорогому сыну Рене. (Эта моя воля изложена более подробно в дополнительном нотариальном акте.)

И перед лицом всевышнего судьи, который слышит меня, я объявляю, что прокляла бы небо и жизнь, если бы не глубокая, преданная, нежная, непоколебимая привязанность, которую я встретила со стороны моего возлюбленного; в его объятиях я поняла, что господь создал свои творения, чтобы любить, поддерживать, утешать друг друга и плакать вместе в горькие минуты.

Мои старшие сыновья — дети г-на де Курсиль, один Рене обязан жизнью г-ну де Бурневаль. Молю господа, повелевающего судьбами людскими, чтобы он помог отцу и сыну стать выше общественных предрассудков, помог бы им любить друг друга до самой смерти, меня же любить по-прежнему и в могиле.

Таковы мои последние помыслы и моя последняя воля.

Матильда де Круалюс».

Господин де Курсиль вскочил; он крикнул: «Это завещание сумасшедшей!»

Тогда господин де Бурневаль выступил вперед и сказал твердо и резко: «Я, Симон де Бурневаль, заявляю, что все изложенное в настоящем документе — сущая правда. Я готов доказать это имеющимися у меня письмами».

Господин де Курсиль шагнул к нему. Я думал, что они набросятся друг на друга. Они стояли один против другого,

оба высокие, один толстый, другой худой, и дрожали от волнения. Муж моей матери проговорил заикаясь: «Вы мерзавец!» Тот произнес все так же решительно и отрывисто: «Мы встретимся в другом месте. Я уже давно дал бы вам пощечину и вызвал вас, если бы не дорожил прежде всего покоем бедной женщины, которую вы заставили столько страдать».

Потом, повернувшись ко мне, он сказал: «Вы мой сын. Хотите уйти ко мне? У меня нет права увести вас, но если вы желаете следовать за мной, я беру на себя это право».

Я молча пожал ему руку. Мы вышли вместе. Я был как безумный.

Два дня спустя господин де Бурневаль убил на дуэли господина де Курсиль. Братья мои, из боязни громкого скандала, молчали. Я отдал им половину состояния, оставленного мне матерью.

Я принял имя своего настоящего отца, отказавшись от имени, которое дал мне закон, но которое не было моим.

Господин де Бурневаль умер пять лет тому назад. Я до сих пор не могу утешиться.

Он поднялся, прошелся по комнате и, остановившись передо мной, промолвил:

— Ну, вот! Я утверждаю, что завещание моей матери — один из самых честных, самых благородных и возвышенных поступков, на какие способна женщина. А ваше мнение?

Я протянул ему обе руки:

— Ну, конечно, мой друг.

Анри Сеару

Недавно в газетах появились следующие строки:

«Булонь-сюр-Мер, 22 января. Нам сообщают:

Наших рыбаков, перенесших за последние два года столько испытаний, повергло в ужас и уныние новое страшное бедствие. Рыболовное судно, управляемое его владельцем Жавелем, при входе в гавань было отброшено к западу и разбилось о скалы, вблизи волнореза мола.

Несмотря на все усилия спасательной лодки и на выброшенные канаты, четверо рыбаков и юнга погибли.

Шторм продолжается. Опасаются новых несчастий».

Что это за судовладелец Жавель? Не брат ли однорукого?

Если этот несчастный, унесенный волнами и, быть может, погибший под обломками своего разбитого вдребезги судна, если это тот самый человек, о котором я думаю, то восемнадцать лет тому назад ему пришлось быть очевидцем другой драмы, страшной и простой, какими всегда бывают драмы, разыгрывающиеся на море.

В то время Жавель-старший был хозяином траулера.

Траулер — это судно, предназначенное для ловли рыбы сетью. Прочно построенное, годное для всякой погоды, с круглым дном, беспрестанно подбрасываемое волнами, как пробка, вечно в открытом море, вечно бичуемое резкими солеными ветрами Ламанша, оно без устали рассекает волны, раздув паруса и таща сбоку огромную сеть, которая скребет по дну океана,

отрывая и захватывая животных, спящих на скалах, плоских рыб, словно прилипших к песку, тяжелых крабов с крючковатыми лапами, омаров с острыми усами.

При свежем бризе и невысокой волне судно отправляется на ловлю. Его сеть укреплена на длинном деревянном шесте, обитом железом, и спускается при помощи двух канатов, скользящих по двум воротам на концах судна. Несясь по ветру и по течению, судно тащит за собой этот снаряд, опустошающий и подчищающий морское дно.

На судне Жавеля находились его младший брат, четверо рыбаков и юнга. Судно при чудной ясной погоде вышло из Булони, чтобы закинуть сеть.

Вскоре, однако, поднялся ветер, и налетевший шквал обратил траулер в бегство. Судно приблизилось было к берегам Англии, но разбушевавшееся море билось о прибрежные скалы, кидалось на сушу, так что не было никакой возможности войти в гавань. Маленькое судно снова вышло в открытое море и вернулось к берегам Франции. Буря продолжалась и не давала подойти к молу; она окружала пеной и грохотом, делала неприступным любое место, где можно было бы причалить.

Траулер ушел снова, мчась по гребням волн, подвергаясь качке и тряске, залитый водой, обдаваемый волнами, но, несмотря на это, бодрый, привычный к бурям, которые заставляли его иной раз по пяти-шести дней блуждать между соседними странами, не давая пристать ни к тому, ни к другому берегу.

Наконец, когда судно находилось в открытом море, ураган стих, и, хотя волны были еще высоки, хозяин приказал забросить сеть.

Огромная рыболовная снасть была спущена за борт, и двое рыбаков на носу, двое других на корме начали опускать канаты, державшие ее. Внезапно она коснулась дна; но высокая волна наклонила судно, Жавель-младший, находившийся на носу и управлявший спуском сети, покачнулся, а руку его зажало между канатом, на минуту ослабленным из-за толчка, и воротом, по которому он скользил. Жавель сделал отчаянное усилие, стараясь другой рукой приподнять канат, но сеть уже тащилась, и натянутый канат не подавался.

Корчась от боли, он стал звать на помощь. Все сбежались. Его брат оставил руль. Все бросились к канату, силясь высвободить придавленную руку. Напрасно! «Надо перерезать канат»,— сказал один из матросов и выхватил из кармана острый нож, которым можно было в два удара спасти руку Жавеля-младшего.

Но перерезать канат значило потерять сеть, а сеть стоила

денег, больших денег — полторы тысячи франков; она принадлежала Жавелю-старшему, который дорожил своим добром.

В отчаянии он крикнул:

— Нет, не режь, погоди, я попробую держаться к ветру!

Он побежал к рулю и изо всех сил налег на него.

Судно еле повиновалось, парализованное сетью, не дававшей ему идти вперед, и увлекаемое вдобавок силой течения и ветра.

Жавель-младший упал на колени, стиснув зубы, с блуждающим взглядом. Ни слова не вырвалось у него. Брат вернулся, все еще опасаясь, что матрос пустит в дело нож:

— Погоди, погоди, не режь, надо бросить якорь.

Якорь был брошен, вся цепь отдана, затем принялись вертеть ворот, чтобы ослабить канаты, державшие сеть. Они наконец ослабли, и омертвевшая рука в окровавленном шерстяном рукаве была высвобождена.

Жавель-младший, казалось, обезумел. С него сняли куртку и увидели нечто ужасное: мясо превратилось в месиво, из которого ручьями лилась кровь, словно ее выкачивали насосом. Он взглянул на свою руку и прошептал:

— Кончено.

От кровотечения на палубе образовался целый пруд, и один из матросов воскликнул:

— Он изойдет кровью, надо перевязать вену!

Тогда они взяли бечевку, толстую, темную, просмоленную бечевку, и, перевязав ею руку повыше раны, затянули изо всей силы. Струя крови становилась все меньше и наконец иссякла.

Жавель-младший встал; рука его висела, как плеть. Он взял ее здоровой рукой, приподнял, повернул, потряс. Вся она была изодрана, кости переломаны. Этот кусок его тела держался только на мускулах. Он глядел на него в мрачном раздумье. Потом сел на сложенный парус, и товарищи посоветовали ему все время промывать рану водой, чтоб не допустить заражения крови.

Подле него поставили ведро; он поминутно зачерпывал стаканом и поливал ужасную рану тонкой струйкой прозрачной воды.

— Тебе лучше сойти вниз,— сказал ему брат.

Он так и сделал, но через час вернулся обратно, чувствуя себя плохо в одиночестве. К тому же он предпочитал быть на воздухе. Он снова сел на парус и опять начал поливать свою руку водой.

Ловля была удачная. Сотрясаясь в предсмертных судорогах,

возле него лежали огромные белобрюхие рыбы; он смотрел на них, не переставая смачивать свою искромсанную плоть.

Когда подходили к Булони, налетел новый порыв ветра, и суденышко снова бешено понеслось, прыгая, кувыркаясь и тряся несчастного раненого.

Настала ночь. Шторм свирепствовал до зари. На восходе солнца они вновь увидели берег Англии, но море стало спокойнее, и судно, лавируя, отплыло к Франции.

Вечером Жавель-младший позвал товарищей и показал им черные пятна — отвратительные признаки гниения на той части руки, которая едва держалась.

Матросы разглядывали их и высказывали свои предположения.

— Быть может, антонов огонь,— говорил один.

— Надо бы полить ее соленой водой,— посоветовал другой.

Принесли морской воды и полили рану. Раненый помертвел, заскрежетал зубами, передернулся, но не вскрикнул.

Когда жгучая боль несколько утихла, он сказал брату:

— Дай мне твой нож.

Брат протянул ему нож.

— Подержи-ка мне руку на весу, прямо, тяни кверху.

Сделали, как он просил.

Тогда он сам начал резать. Он резал медленно, обдуманно, отсекая последние сухожилия острым, как бритва, ножом; вскоре от руки остался только обрубок. Жавель-младший глубоко вздохнул и сказал:

— Так надо было. Рука все равно пропала.

Он, по-видимому, почувствовал облегчение, стал глубже дышать. И снова начал лить воду на обрубок, оставшийся вместо руки.

Ночь выдалась бурная, и к берегу все еще нельзя было пристать.

Когда рассвело, Жавель-младший взял свою отрезанную руку и долго разглядывал ее. Гниение обозначалось явственно. Товарищи тоже подошли посмотреть, передавали ее друг другу, щупали, поворачивали, нюхали.

Брат сказал:

— Теперь надо бросить ее в море.

Но Жавель-младший рассердился:

— Ну, нет! Ну, нет! Не хочу! Это уж мое дело, верно ведь, раз рука моя.

Он взял ее и положил между ног.

— Она же будет гнить,— заметил старший.

Тогда раненому пришла в голову новая мысль. Когда рыбаки остаются подолгу на море, они кладут рыбу в бочки с солью, чтобы предохранить от порчи.

Он спросил:

— Не положить ли ее в рассол?

— Правильно,— поддержали другие.

Опростали один из бочонков, уже наполненный уловом последних дней, и на самое дно его положили руку. Поверх нее насыпали соли, затем одну за другой водворили туда и рыбу.

Кто-то из матросов пошутил:

— Не продать бы только нам ее с торгов.

Все рассмеялись, кроме двух братьев.

Ветер бушевал по-прежнему. Пришлось лавировать в виду Булони до десяти часов следующего дня. Раненый не переставал поливать рану водой.

Время от времени он вставал и прохаживался взад и вперед по палубе.

Его брат, стоявший на руле, следил за ним взглядом и покачивал головой.

Наконец судно вошло в гавань.

Доктор осмотрел рану и нашел ее в хорошем состоянии. Он сделал перевязку и предписал покой. Но Жавель-младший не хотел ложиться, не забрав своей руки, и поспешил в гавань, чтобы отыскать бочонок, который он отметил крестом.

Бочонок опорожнили в его присутствии, и он схватил свою руку, хорошо сохранившуюся в рассоле,— посвежевшую, слегка сморщенную. Он завернул ее в салфетку, принесенную для этой цели, и вернулся домой.

Жена и дети долго разглядывали отцовскую руку, ощупывали пальцы, счищали крупинки соли, оставшиеся под ногтями; затем призвали столяра, и он снял мерку, чтобы изготовить маленький гробик.

На другое утро весь экипаж траулера в полном составе присутствовал на похоронах отрезанной руки. Братья шли рядом во главе траурной процессии. Приходский пономарь под мышкой нес гробик.

Жавель-младший перестал выходить в море. Он получил скромное местечко в гавани, и, рассказывая впоследствии о своем несчастье, шепотом говорил слушателю:

— Если бы брат согласился перерезать сеть, то рука у меня и сейчас была бы целехонька, право слово! Но уж больно он дорожил своим добром.

Париж был осажден, голодал, задыхался. Воробьи стали редки на крышах, выгребные ямы опустели. Люди ели бог знает что.

В одно ясное январское утро г-н Мориссо, часовщик по профессии и солдат в силу обстоятельств, грустно прогуливался по внешнему бульвару, держа руки в карманах форменных брюк и ощущая мучительную пустоту в желудке; внезапно он остановился, встретив собрата по оружию и узнав в нем старого своего приятеля. Это был г-н Соваж, с которым он свел знакомство на рыбной ловле.

До войны каждое воскресенье Мориссо с бамбуковой удочкой в руке и с жестяной коробкою за спиной выходил из дому, едва рассветало. Он садился в поезд, направлявшийся в Аржантейль, выходил в Коломбе, затем шел пешком до островка Марант. Достигнув этой обетованной земли, он закидывал удочку и удил до наступления ночи.

Каждое воскресенье он встречал там низенького человечка, полнокровного и жизнерадостного, некоего г-на Соважа, владельца галантерейной лавки на улице Нотр-Дам-де-Лорет, такого же страстного рыболова, как и он сам. Они часто проводили полдня, сидя рядом с удочками в руках, свесив над водой ноги, и вскоре стали друзьями.

В иные дни они совсем не разговаривали. Порой между ними завязывалась беседа. Но и без слов они прекрасно понимали друг друга, так как у них были общие вкусы и одинаковое восприятие действительности.

Весной, часов около десяти утра, когда обновленное солнце поднимало над тихой рекой легкий пар, уплывавший

вместе с водою, и пригревало спины двух ярых рыболовов приятным весенним теплом. Мориссо говорил порой своему соседу: «Как хорошо! А?» На что г-н Соваж отвечал: «Лучше и быть не может». И этого было для них довольно, чтобы понимать и уважать друг друга.

Осенью, на склоне дня, когда небо, окрашенное кровью заходящего солнца, роняло в воду отблески багряных облаков, заливало пурпуром всю реку, охватывало пламенем горизонт, озаряло красным светом обоих друзей и золотило листья деревьев, уже успевшие пожелтеть и дрожащие от предчувствия зимних холодов, г-н Соваж с улыбкой смотрел на Мориссо и говорил: «Какая картина!» И восхищенный Мориссо отвечал, не отрывая глаз от своего поплавка: «Да, такой на бульварах не увидишь!»

Теперь, узнав друг друга, они обменялись крепким рукопожатием, взволнованные встречей при новых и столь необычных обстоятельствах. Г-н Соваж прошептал, вздохнув:

— Вот какие дела!

Мориссо простонал уныло:

— А какова погода! Сегодня первый ясный день в этом году.

Небо действительно было совсем синее, все залитое светом.

Они пошли рядом, задумчивые и печальные. Мориссо заговорил первый:

— А рыбная ловля? Какое прекрасное воспоминание!

Господин Соваж спросил:

— Когда-то мы снова займемся ею?

Они зашли в небольшое кафе и выпили абсента; затем снова зашагали по тротуарам.

Вдруг Мориссо остановился:

— Еще по стаканчику, а?

Господин Соваж согласился:

— С удовольствием.

И они зашли в другой кабачок.

Они вышли оттуда с закружившейся головой, как это бывает с людьми, когда они основательно выпьют на пустой желудок. Было тепло. Ласковый ветерок овевал их лица.

Господин Соваж, окончательно опьяневший от разлитого в воздухе тепла, остановился.

— А что, если поехать туда?

— Куда это?

— Да на рыбную ловлю!

— Но куда же?

— На наш остров, вот куда. Французские аванпосты стоят у Коломба. Я знаком с полковником Дюмуленом. Нас пропустят.

Мориссо затрепетал от страстного нетерпения.

— Решено. Я согласен.

И они расстались, чтобы зайти за рыболовными снастями.

Часом позже они шагали рядом по большой дороге, затем добрались до дачи, которую занимал полковник. Выслушав просьбу друзей, он улыбнулся и уступил их причуде. Заручившись паролем, они отправились дальше.

Вскоре они миновали аванпосты, прошли через опустевший Коломб и очутились на краю небольшого виноградника, который спускался к Сене. Было около одиннадцати часов утра.

Городок Аржантейль напротив них казался вымершим. Холмы Оржемона и Саннуа возвышались над всей окрестностью. Доходившая до Нантера широкая равнина с оголенными вишневыми деревьями и серыми полями была пуста, совершенно пуста.

Господин Соваж прошептал, указывая пальцем на вершины холмов:

— Там, наверху, пруссаки!

И при виде этой безлюдной местности друзья остановились, охваченные беспокойством.

Пруссаки! Они еще ни разу их не видели, но вот уже несколько месяцев, как чувствовали их здесь, близко, вокруг Парижа, разоряющих Францию, грабящих, убивающих, несущих с собой голод, невидимых и всемогущих. И какой-то суеверный страх примешивался к ненависти, которую вызывал в них этот незнакомый победивший народ.

— А что, если мы их встретим? — пробормотал Мориссо.

— Что ж, угостим их жареной рыбой,— ответил г-н Соваж с юмором, который не покидает парижанина, несмотря ни на что.

Однако напуганные царившим вокруг безмолвием, они не отваживались двинуться дальше, в глубь полей.

Наконец г-н Соваж решился.

— В путь! Но только осторожно.

И они начали спускаться вдоль виноградника, согнувшись, почти ползком, пользуясь кустарником как прикрытием, оглядываясь по сторонам и напрягая слух.

Между ними и берегом реки оставалась лишь узкая полоса голой земли. Они пустились по ней бегом и, достигнув откоса, спрятались в сухом камыше.

Мориссо приник ухом к земле, прислушиваясь, не ходит ли кто-нибудь поблизости. Он ничего не услышал. Они были одни, совсем одни.

Друзья успокоились и принялись удить рыбу.

Обезлюдевший остров Марант, лежавший напротив, делал их невидимыми для противоположного берега. Маленький ресторанчик с заколоченными ставнями, казалось, был заброшен много лет назад.

Господин Соваж вытащил первого пескаря. Мориссо поймал второго, и они стали наперебой вытаскивать удочки с маленькой серебристой рыбкой, трепетавшей на кончике лесы; это была просто сказочная ловля.

Они бережно складывали рыбу в густую веревочную сетку, мокнувшую у их ног. И упоительное чувство радости проникало в их душу, чувство, всецело охватывающее человека, когда он возвращается к любимому развлечению, которого был лишен долгое время.

Ласковое солнце пригревало им спины, они ничего больше не слышали, ни о чем не думали, позабыли обо всем на свете,— они удили рыбу.

Но внезапно глухой шум, казалось исходивший откуда-то из глубины, потряс землю: пушки начали грохотать снова.

Мориссо поднял голову и увидел на берегу, налево, высокий силуэт Мон-Валерьена, украшенный теперь белым хохолком — легким облачком дыма, которое он только что выплюнул.

И тотчас же второе облако дыма поднялось над крепостью, а через несколько мгновений прогремел второй залп.

За ним последовали новые и новые залпы, и каждые несколько минут гора выбрасывала теперь свое смертоносное дыхание, выплевывала молочный дымок, медленно уходивший в спокойное небо и повисавший в нем неподвижной тучкой.

Господин Соваж пожал плечами.

— Снова принялись за дело,— сказал он.

Мориссо, с беспокойством следивший за перышком своего поплавка, то и дело нырявшего в воду, вдруг почувствовал гнев — гнев мирного человека, возмущенного этими безумцами, которые вздумали драться.

— Надо же быть такими дураками, чтобы убивать друг друга! — проворчал он.

Господин Соваж подхватил:

— Они хуже, чем дикие звери.

И Мориссо заявил, вытаскивая уклейку:

— Подумать только, что так будет всегда, пока будут существовать правительства.

Господин Соваж остановил его:

— Республика не объявила бы войны...

Но Мориссо прервал приятеля:

— При королях дерутся с чужими, при республике — со своими.

И они принялись спокойно обсуждать важные политические проблемы, высказывая здравые суждения, свойственные добродушным, ограниченным людям, и сходясь на том, что свободы никогда никому не видать.

А Мон-Валерьен непрерывно гремел, разрушая ядрами дома французов, разбивая жизни и уничтожая живые существа, нанося неизлечимые раны — и здесь и в других землях — сердцам матерей, жен, дочерей.

— Такова жизнь,— заявил г-н Соваж.

— Скажите лучше — такова смерть,— с усмешкой возразил Мориссо.

И вдруг приятели вздрогнули от испуга, ясно расслышав у себя за спиной чьи-то шаги; обернувшись, они увидели четырех рослых мужчин, вооруженных и бородатых, одетых в ливреи, точно слуги, и в плоских фуражках. Эти люди целились в них из ружей.

Удочки выскользнули из рук рыболовов и поплыли по течению.

За несколько секунд обоих схватили, связали, бросили в лодку и перевезли на остров.

И позади того самого дома, который казался им заброшенным, они увидели человек двадцать немецких солдат.

Какой-то волосатый колосс, сидевший верхом на стуле и куривший большую фарфоровую трубку, спросил у них на отличном французском языке:

— Ну-с, господа, много ли наловили рыбки?

Тогда один из солдат положил к ногам офицера сетку, полную рыбы, которую не забыл захватить с собой.

Пруссак улыбнулся.

— Ого! Я вижу, улов недурен. Но сейчас речь не об этом. Выслушайте меня внимательно. На мой взгляд, вы — два шпиона, подосланные для того, чтобы выследить меня. Я вас поймал и намерен вас расстрелять. Чтобы лучше скрыть свои намерения, вы делали вид, будто удите рыбу. Вы попались мне в руки, тем хуже для вас,— на то и война. Однако вы прошли

через аванпосты, и, разумеется, у вас есть пароль, чтобы пройти обратно. Сообщите мне этот пароль, и я пощажу вас.

Друзья стояли рядом, мертвенно-бледные, руки их дрожали нервной дрожью; они молчали.

— Об этом никто никогда не узнает,— продолжал офицер,— вы вернетесь домой как ни в чем не бывало. Тайна исчезнет вместе с вами. Если же вы откажетесь, вас ждет смерть, и притом немедленно. Выбирайте.

Они по-прежнему стояли неподвижно, не раскрывая рта.

Пруссак все так же спокойно заговорил опять, указывая рукой на Сену:

— Подумайте... Через пять минут вы будете там, на дне реки. Через пять минут! У вас, должно быть, есть родные?

Мон-Валерьен продолжал грохотать.

Два рыболова безмолвно стояли на месте. Немец отдал какое-то приказание на своем языке. Затем он передвинул стул подальше от пленных; двенадцать солдат подошли и выстроились в двадцати шагах, с ружьями к ноге.

Офицер сказал:

— Даю вам одну минуту, ни секунды больше.

Неожиданно он встал, подошел к французам, взял под руку Мориссо, отвел его в сторону и сказал шепотом:

— Живо говорите пароль. Ваш товарищ ничего не узнает. Я притворюсь, что пожалел вас.

Мориссо ничего не ответил.

Тогда пруссак отвел в сторону г-на Соважа и предложил ему то же самое.

Господин Соваж не ответил.

Их снова поставили рядом.

И офицер отдал команду. Солдаты вскинули ружья.

В эту минуту взгляд Мориссо случайно упал на сетку с пескарями, лежавшую на траве в нескольких шагах от него.

Солнечный луч блестел на кучке рыбок, которые еще трепыхались. И внезапно Мориссо охватила слабость. Как он ни сдерживался, глаза его наполнились слезами.

Он прошептал:

— Прощайте, господин Соваж.

Тот ответил:

— Прощайте, господин Мориссо.

Они пожали друг другу руки; обоих с ног до головы била мелкая непреодолимая дрожь.

Офицер крикнул:

— Пли!

Двенадцать выстрелов слились в один.

Господин Соваж рухнул на землю ничком. Мориссо, более рослый, зашатался, перевернулся и упал на своего товарища, поперек, лицом кверху; по его мундиру, пробитому на груди, потекли струйки крови.

Немец отдал еще несколько приказаний.

Солдаты разошлись и вскоре вернулись с веревками и камнями; камни они привязали к ногам мертвецов, затем отнесли трупы на берег.

Мон-Валерьен не переставал грохотать; над ними стояла теперь целая куча дыма.

Двое солдат взяли Мориссо за голову и за ноги, двое других таким же способом подняли г-на Соважа; потом, сильно раскачав тела, они бросили их далеко в реку; тела описали дугу и стоймя погрузились в воду, так как камни прежде всего потянули вниз ноги.

Вода вспенилась, закипела, забурлила, потом успокоилась, и только мелкие-мелкие волны побежали к берегу.

На поверхности плавало немного крови.

Офицер, по-прежнему невозмутимо спокойный, произнес вполголоса:

— Остальное доделают рыбы.

Затем направился к дому.

И вдруг он заметил в траве сетку с пескарями. Он поднял ее, осмотрел и, улыбаясь, крикнул:

— Вильгельм!

Подбежал солдат в белом фартуке.

И, бросив ему улов двух расстрелянных французов, пруссак приказал:

— Зажарь-ка мне этих рыбешек, да поскорее, пока они еще живые. Это будет замечательно вкусно.

И снова закурил трубку.

Вот уже месяц, как щедрое солнце льет на поля свое жгучее пламя. Лучезарная жизнь расцветает под этим огненным ливнем; всюду, куда ни кинешь взгляд, зеленеет земля. Небо сине до самых краев горизонта. Нормандские фермы, разбросанные по долине, похожи издали на маленькие рощицы, окруженные стеной высоких буков. Вблизи же, когда откроешь источенную червем калитку, кажется, будто попал в гигантский сад: старые яблони, напоминающие угловатых старух крестьянок, стоят в цвету все, как одна. Древние черные стволы, кривые, корявые, вытянулись вдоль двора и с гордостью показывают небу свои сияющие купола, розовые и белые. Нежный аромат цветения смешивается с густым запахом раскрытых хлевов, с испарениями дымящейся навозной кучи, где хлопочут куры.

Полдень. В тени большой груши, растущей у самой двери, сидит за обедом все семейство: отец, мать, четверо детей, две служанки и три работника. Все молчат. Едят суп, затем снимают крышку с миски картофеля, жаренного в свином сале.

Время от времени одна из служанок поднимается с места и идет в погреб, чтобы вновь наполнить опустевший кувшин сидром.

Хозяин, высокий сорокалетний мужчина, долго смотрит на виноградную лозу, совсем еще голую и, как змея, обвившую стену дома под ставнями.

— Нынешний год,— говорит он,— почки рано набухли на лозе старика. Может, дождемся и винограда.

Жена тоже оборачивается и смотрит, не говоря ни слова.

Лозу посадили на том самом месте, где был расстрелян отец.

Это случилось во время войны 1870 года. Пруссаки захватили весь край. Северная армия во главе с генералом Федербом еще оказывала им сопротивление.

Прусский штаб расположился на этой ферме. Старик крестьянин, которому она принадлежала, дядюшка Милон, по имени Пьер, принял и устроил пруссаков как нельзя лучше.

В течение целого месяца немецкий авангард оставался в деревне для наблюдения. Французы находились на расстоянии десяти лье и не двигались с места, а между тем каждую ночь исчезали несколько улан.

Когда разведчиков посылали в дозор по двое или по трое, никто из них уже не возвращался.

Утром их находили мертвыми где-нибудь в поле, на задах огорода или в овраге. Даже их лошади издыхали на дорогах, прирезанные саблей.

По-видимому, эти убийства совершали одни и те же лица, но никто не мог их обнаружить.

Все население подверглось жестоким преследованиям. На основании малейшего доноса расстреливали мужчин, сажали в тюрьму женщин, угрозами пытались добиться признаний от детей. Все было напрасно.

Но вот однажды утром дядюшку Милона нашли на соломе в конюшне: лицо его было рассечено сабельным ударом.

А в трех километрах от фермы подобрали двух улан с распоротыми животами. Один из них еще сжимал в руке окровавленную саблю. Очевидно, он дрался, защищался.

Тут же перед домом, во дворе, был немедленно созван военно-полевой суд, на который привели старика.

Ему было шестьдесят восемь лет. Он был мал ростом, худощав, сгорблен; большие руки напоминали клешни краба. Сквозь волосы, бесцветные, редкие и легкие, как пух утенка, просвечивал лысый череп. На шее, под темной и сморщенной кожей набухали толстые жилы, уходившие под челюсти и вновь проступавшие на висках. Он слыл в поселке человеком несговорчивым и скупым.

Пять офицеров и полковник уселись во дворе за столом, вынесенным из кухни. Старика под охраной четырех солдат поставили перед ними.

Полковник заговорил по-французски:

— Дядя Милон! С тех пор как мы здесь, мы ни в чем не могли упрекнуть вас. Вы всегда были услужливы и даже предупредительны по отношению к нам. Но вот сейчас над вами тяго-

тает страшное обвинение, и необходимо пролить свет на это дело. Откуда у вас рана на лице?

Крестьянин ничего не ответил.

— Дядя Милон,— продолжал полковник,— ваше молчание уличает вас. Но все же я требую, чтобы вы ответили мне, слышите? Знаете вы, кто убил двух улан, которых нашли сегодня утром у распятия на дороге?

Старик отчетливо выговорил:

— Я.

В изумлении полковник замолчал и пристально посмотрел на арестованного. Дядюшка Милон тупо уставился взглядом в землю, словно стоял на исповеди перед деревенским кюре. Лишь одно выдавало в нем внутреннее волнение: он часто и с заметным усилием глотал слюну, будто она застревала у него в горле.

Семья старика — сын его Жан, невестка и двое маленьких внуков — стояла сзади, шагах в десяти, испуганная и растерянная.

— А известно ли вам,— продолжал полковник,— кто убил остальных разведчиков нашей армии, которых в последнее время каждое утро находили мертвыми в поле?

— Я,— ответил старик все с тем же тупым спокойствием.

— Что? Всех?

— Всех, как есть.

— Вы? Один?

— Один.

— Расскажите, как вы это делали.

На этот раз старик, видимо, взволновался; необходимость произнести длинную тираду явно его смущала.

— Почем я знаю? Как приходилось, так и делал.

— Предупреждаю,— продолжал полковник,— что вам придется рассказать все, как было. Поэтому вам же будет лучше, если вы сознаетесь сразу. Расскажите все сначала.

Старик беспокойно оглянулся на свою семью, которая настороженно прислушивалась, стоя за его спиной. Еще с минуту он колебался, потом вдруг заговорил:

— Как-то вечером,— было это часов около десяти, на другой день после того, как вы явились к нам,— я шел домой. Вы и ваши солдаты отняли у меня корову, двух баранов, а сена забрали не меньше, как на пятьдесят экю. Я подумал про себя: «Ладно, сколько бы ни брали, я за все расквитаюсь». Я еще и другую обиду держал на сердце — скажу после. Так вот, как-то вечером вижу я — один из ваших кавалеристов сидит за моей

ригой, у канавы. Сидит и покуривает трубку. Я снял с крюка косу, тихонечко подкрался к нему сзади,— он ничего не слышал. И вот я отрубил ему голову одним махом, словно колос срезал. Он не успел и ахнуть! Да вы поищите в болоте: он лежит там на дне в мешке из-под угля, на шее — камень из ограды... Я знал, что мне делать. Снял с него мундир, потом сапоги, шапку, все поснимал и спрятал в печи, где мы обжигаем известь. Это в Мартеновой роще, недалеко за моим двором.

Старик замолчал. Пораженные офицеры смотрели друг на друга. Допрос возобновился, и вот что они узнали...

Совершив свое первое убийство, старик стал жить одной мыслью: убивать немцев! Он ненавидел их упорной и затаенной ненавистью крестьянина-скопидома и вместе с тем патриота. Как он сказал, «он знал, что ему делать». Он выждал несколько дней.

Ему позволяли свободно разгуливать по деревне, уходить и возвращаться когда вздумается,— таким смиренным, покорным и услужливым по отношению к победителям он успел себя зарекомендовать.

Каждый вечер он видел, как уезжают нарочные с донесением, и вот однажды ночью,— он знал название деревни, куда отправлялись всадники, и выучил, постоянно общаясь с немецкими солдатами, те несколько слов, которые были ему нужны,— однажды ночью он решился.

Он вышел со двора, прокрался в лес, дошел до обжигательной печи, проник в глубь длинного подземного коридора, достал мундир убитого им пруссака и надел его.

Затем он начал рыскать по полям, то ползком, то прячась за бугорками, беспокойно прислушиваясь к малейшему шуму, словно какой-нибудь браконьер.

Когда, по его мнению, настало время действовать, он подошел ближе к дороге и спрятался в колючем кустарнике. Здесь он подождал еще. Наконец около полуночи на твердом грунте дороги раздался конский топот. Старик приник ухом к земле, желая убедиться, что едет только один всадник, затем приготовился.

Улан ехал рысью: он вез депеши. Он приближался, зорко всматриваясь в даль, напрягая слух. Когда он оказался не более чем в десяти шагах, дядюшка Милон выполз на дорогу и застонал: «Hilfe! Hilfe!» («Помогите! Помогите!») Всадник остановился, увидел лежащего на земле немецкого кавалериста, решил,

что тот ранен, соскочил с коня, подошел ближе, ничего не подозревая, и, в тот момент, когда он нагнулся над неизвестным, длинное кривое лезвие сабли вонзилось прямо ему в живот. Он свалился на землю как подкошенный и только вздрогнул несколько раз в предсмертных судорогах.

Тогда, полный радости, немой радости старого крестьянина-нормандца, дядюшка Милон поднялся и для большей верности перерезал мертвому горло. Затем он дотащил труп до оврага и бросил его туда.

Конь спокойно ждал своего хозяина. Дядюшка Милон уселся в седло и галопом поскакал по равнинам.

Часом позже он заметил еще двух улан, бок о бок возвращавшихся в деревню. Он поехал прямо на них, крича, как в первый раз: «Hilfe! Hilfe!» Пруссаки, узнав свой мундир, поджидали его без малейшего подозрения. И, как пушечное ядро промчавшись между ними, старик уложил обоих: одного ударом сабли, а другого — выстрелом из револьвера.

Он выпустил кишки лошадям — немецким лошадям! — тихонько вернулся назад, к обжигательной печи, и спрятал первого коня в глубине темного коридора. Здесь он снял мундир, снова облачился в свое нищенское тряпье и, добравшись до постели, проспал до утра.

Он не выходил четверо суток, ожидая конца дознания; однако на пятую ночь он отправился снова и убил еще двух солдат с помощью того же манёвра. С той поры он не пропускал ни одного случая. Призрачный улан, охотник на людей, каждую ночь он бродил, он рыскал по окрестностям, убивая пруссаков где только мог, галопом носясь по безлюдным, залитым лунным светом полям. Выполнив свою задачу, оставив позади, на дорогах, трупы врагов, старый всадник возвращался к обжигательной печи и прятал там лошадь и мундир.

Среди дня он с безмятежным видом относил овса и воды своему коню, остававшемуся в глубине подземного коридора, и кормил его вволю, так как требовал от него нелегкой работы.

Но вот в последнюю ночь один из пруссаков, на которых напал дядюшка Милон, не растерялся и рассек ему лицо саблей.

Тем не менее старик убил обоих. У него еще хватило сил доехать до печи, спрятать лошадь и надеть свое крестьянское платье, но на обратном пути он так ослабел, что не смог дойти до дому и едва дотащился до конюшни.

Здесь его и нашли, окровавленного, на соломе...

Окончив свой рассказ, дядюшка Милон внезапно поднял голову и с гордостью взглянул на прусских офицеров.

Полковник спросил его, теребя ус:

— Вам больше нечего сказать?

— Нет, нечего. Счет у меня верный. Я убил шестнадцать человек — ни больше и ни меньше.

— Известно вам, что вы должны умереть?

— Я, кажется, не просил у вас пощады.

— Вы когда-нибудь служили в солдатах?

— Да, было время, я участвовал в походах. И отец мой был солдатом, еще при первом Наполеоне. Вы его убили. Вы и Франсуа убили, моего младшего сына, в прошлом месяце, близ Эвре. Я был у вас в долгу, я вам уплатил сполна. Теперь мы квиты.

Офицеры переглянулись.

— Восемь за отца, восемь за сыночка, мы квиты,— продолжал старик.— Не я первый затеял с вами ссору! Я вас совсем не знаю! Не знаю даже, откуда вы и взялись! Пришли ко мне и распоряжаетесь, точно у себя дома. Я выместил это на тех, на шестнадцати. И ничуть об этом не жалею.

И, расправив сгорбленные плечи, старик с горделивым смирением скрестил руки.

Пруссаки долго переговаривались шепотом. Один капитан, тоже потерявший сына месяц назад, защищал храброго крестьянина.

Полковник встал и, подойдя к дядюшке Милону, сказал, понизив голос:

— Послушай, старик. Пожалуй, есть еще средство спасти тебе жизнь. Если ты...

Но старик не слушал. Его редкие волосы развевались на ветру, худое, изуродованное ударом сабли лицо свело страшной судорогой; он впился глазами в офицера-победителя и, набрав в грудь воздуха, что было силы плюнул пруссаку прямо в лицо.

Полковник в бешенстве занес руку, но старик плюнул ему в лицо еще раз.

Все офицеры, вскочив с мест, одновременно выкрикивали какие-то приказания.

Старика схватили, поставили к стене и расстреляли, и до последней минуты он спокойно улыбался обезумевшим от ужаса сыну, невестке и внукам.

Эту страшную историю и эту страшную женщину я вспомнил на днях, увидев на одном из пляжей, излюбленных богатыми людьми, всем известную парижанку, молодую, изящную, очаровательную, пользующуюся всеобщей любовью и уважением.

История эта — дело уже давнее, но подобные вещи не забываются.

Один из моих друзей, живущий в маленьком провинциальном городке, пригласил меня погостить у него. Желая оказать мне достойный прием, он стал всюду водить меня, показывать хваленые виды, замки, фабрики, развалины; он показывал мне памятники, церкви, старые, украшенные резьбой двери, необыкновенно высокие или причудливой формы деревья — дуб святого Андрея и тис Рокбуаз.

Когда я с восторженными восклицаниями осмотрел все местные достопримечательности, мой приятель с огорчением объявил мне, что больше ходить некуда. Я облегченно вздохнул. Значит, теперь можно будет немного отдохнуть в тени деревьев. Но вдруг у него вырвалось:

— Ах да! У нас ведь еще осталась *мать уродов*, надо показать ее тебе.

Я спросил:

— Кто это — мать уродов?

Он сказал:

— Это ужасная женщина, настоящий дьявол, существо, которое каждый год нарочно производит на свет детей-калек, отвратительных, страшных, словом — уродов, и продает их людям, показывающим всякие диковины.

Люди, промышляющие этим мерзким делом, время от времени наведываются к ней, чтобы узнать, не произвела ли она на свет какого-нибудь нового выродка, и, если он им по вкусу, берут его, выплачивая матери ренту.

У нее одиннадцать таких детей. Она богачка.

Ты думаешь, что я шучу, выдумываю, преувеличиваю. Нет, друг мой. То, что я тебе рассказываю,— правда, сущая правда.

Пойдем посмотрим на эту женщину. Потом я тебе скажу, как она стала заниматься производством этих уродов.

Он повел меня на окраину города.

Эта женщина жила в опрятном маленьком домике у самой дороги. Все было очень мило, заметен порядок. Сад, полный цветов, благоухал. Можно было подумать, что здесь живет нотариус, удалившийся от дел.

Служанка ввела нас в маленькую гостиную, какие бывают в деревенских домах, и ужасная женщина вышла к нам.

Вы бы дали ей лет сорок. Она была высокая, с жесткими чертами лица, но хорошо сложенная, крепкая и здоровая, настоящий тип сильной крестьянки, полуживотное-полуженщина.

Она знала, что окружающие осуждают ее, и, казалось, принимала посетителей с каким-то злобным смирением.

Она спросила:

— Что вам угодно?

Мой приятель сказал:

— Я слышал, что последний ваш ребенок — как все дети, что он нисколько не похож на своих братьев. Я хотел проверить. Правда ли это?

Она бросила на нас угрюмый, гневный взгляд и ответила:

— Ах, нет, сударь. Ах, нет! Он, может быть, еще хуже других. Не везет мне, не везет. Все такие, сударь, все такие, просто горе, и с чего это господь так немилостив к бедной женщине, у которой никого нет на свете, с чего это?

Она говорила быстро, лицемерно опустив глаза, похожая на хищного зверя, которому страшно. Она пыталась смягчить свой грубый голос, и было странно, что плаксивые слова, произносимые фальцетом, исходят из этого большого, ширококостного, угловатого, слишком сильного тела, как будто созданного для резких движений; ей скорее пристало бы выть по-волчьи.

Мой приятель попросил:

— Мы хотели бы посмотреть на вашего ребенка.

Мне показалось, что она покраснела. Может быть, я ошибся? Помолчав немного, она сказала, возвысив голос:

— На что это вам?

И она подняла голову, бросая на нас быстрые, огнем сверкающие взгляды.

Мой спутник продолжал:

— Отчего вы нам не хотите показать его? Есть ведь люди, которым вы его показываете. Вы понимаете, о ком я говорю!

Она вздрогнула и, дав волю своему голосу, дав волю гневу, прокричала:

— Вы для этого и пришли, так ведь? Чтоб оскорблять меня, да? Оттого, что мои дети все равно как звери, так ведь? Вы его не увидите, нет, нет, не увидите. Убирайтесь, убирайтесь! И с чего это вы донимаете меня?

Она наступала на нас, подбоченясь. Словно отклик на этот грубый голос, из соседней комнаты донеслось что-то вроде стона или, вернее, мяуканья,— раздался жалобный крик идиота. Мороз пробежал у меня по коже. Мы отступили.

Мой приятель строго сказал:

— Берегитесь, Чертовка (в народе ее называли Чертовкой), берегитесь, когда-нибудь вам не поздоровится.

Она задрожала от ярости и, потрясая кулаками, вне себя проревела:

— Убирайтесь! С чего это мне не поздоровится? Убирайтесь! Подлецы!

Она готова была вцепиться в нас. Совершенно подавленные, мы поспешили прочь.

Когда мы выбрались из дому, приятель спросил меня:

— Ну? Видел? Что скажешь о ней?

Я ответил:

— Расскажи мне историю этой гадины.

И вот что он мне рассказал на обратном пути, пока мы медленно шли по широкой белой дороге, окаймленной нивами, готовыми к жатве, которые от легкого ветра, возникавшего порой, покрывались зыбью, точно спокойное море.

Когда-то она была служанкой на ферме, работящей, порядочной и бережливой. Любовников у нее как будто не было, в каких-либо слабостях никто ее не подозревал.

Она согрешила, как это случается с ними всеми, после жатвы, среди снопов, под грозовыми тучами, в один из тех вечеров, когда воздух неподвижен, тяжел и кажется раскаленным, а загоревшие тела девушек и парней обливаются потом.

Она вскоре почувствовала, что беременна, и уже терзалась стыдом и страхом. Желая во что бы то ни стало скрыть свое несчастье, она с помощью особого корсажа, который сама приду-

Буатель

мала и смастерила из веревок и дощечек, стала туго стягивать себе живот. Чем больше он раздувался под напором растущего ребенка, тем сильнее она стягивала это орудие пытки, терпя страшные муки, но мужественно перенося боль, всегда улыбающаяся и гибкая, не подавая и вида, не возбуждая никаких подозрений.

Она искалечила маленькое существо, сжатое в ее утробе страшными тисками; она сдавила, изуродовала его, сделала из него чудовище. Сплюснутый череп удлинился, заострился, два больших глаза выкатились на лоб. Конечности, прижатые к телу, искривились, как виноградные лозы, страшно вытянулись, а пальцы были похожи на лапы паука.

Туловище осталось совсем маленьким и круглым, точно орех.

Родила она весенним утром в поле.

Работницы, поспешившие, чтобы помочь ей, с криками разбежались при виде чудовища, которое выходило из ее тела. И разнесся слух, что она родила черта. С тех пор ее и называют Чертовкой.

Ее прогнали с места. Она жила подаяниями, а может быть,— прячась от всех,— и любовью, ведь она была красивая девка, а мужчины не все боятся ада.

Она вырастила своего урода, к которому, впрочем, полна была дикой ненависти, и, пожалуй, задушила бы его, если бы кюре, предвидя преступление, не припугнул ее судом.

Однажды люди, показывающие всякие диковины, услышали проездом о страшном уроде и захотели поглядеть на него, чтобы взять с собой, если он им подойдет. Он им подошел, и они тут же отсчитали матери пятьсот франков. Сперва ей было стыдно, и она отказывалась показать свое чудовище; но когда увидела, что за него дают деньги, что этим людям хочется его иметь, она стала торговаться, спорить из-за каждого су, соблазняя их уродствами своего младенца, с крестьянским упорством поднимая цену.

Чтобы ее не обманули, она заключила с ними письменное условие. И они, кроме того, обязались выплачивать ей по четыреста франков в год, как будто взяли урода к себе на службу.

От этой неожиданной удачи мать обезумела, и ее уже не покидало желание произвести на свет другого урода, чтобы создать себе ренту, совсем как буржуа.

Так как она была плодовита, это ей удалось, и, говорят, она добилась умения придавать своим уродам разнообразные

формы — в зависимости от тех давлений, которыми она подвергала их, пока была беременна.

Рождались у ней и длинные и короткие, одни походили на крабов, другие на ящерицу. Некоторые умерли; она была в отчаянии.

Суд хотел вмешаться, но ничего нельзя было доказать. И ее оставили в покое, не мешая производить на свет этих уродов.

Сейчас их у нее одиннадцать в живых, и в год они на круг приносят ей пять-шесть тысяч франков. Один только не пристроен, тот, которого она не захотела нам показать. Но он не долго у нее останется, теперь все балаганщики знают ее и время от времени наведываются — нет ли у нее чего нового.

Она даже устраивает торги, если экземпляр того стоит.

Приятель мой замолчал. Я испытывал глубокое отвращение, чувствовал, как растет во мне бурный гнев, и жалел, что не задушил эту гадину, когда она была подле меня.

Я спросил:

— А кто же отец?

Он ответил:

— Неизвестно. Он или они обладают некоторой стыдливостью. Он или они прячутся. Может быть, они делят барыши.

Я уж позабыл эту давнюю историю, когда на днях на одном из модных пляжей увидел изящную, очаровательную, кокетливую даму, пользующуюся любовью и уважением мужчин, которые окружали ее.

Я шел вдоль берега под руку с приятелем, врачом на этом курорте. Десять минут спустя я увидел няньку и троих детей, игравших на песке.

Пара маленьких костылей валялась на земле; я почувствовал жалость. И тут я заметил, что эти три маленьких существа уродливы, горбаты, искривлены, ужасны.

Доктор сказал мне:

— Это — чада прелестной дамы, которая только что повстречалась тебе.

Глубокое сострадание к ней и к ее детям овладело моим сердцем. Я воскликнул:

— О бедная мать! И как она еще может смеяться!

Мой приятель возразил:

— Не жалей ее, дорогой мой. Жалеть нужно бедных малышей. Вот последствия перетянутых талий, которые до последнего дня остаются тонкими. Эти уроды — результат корсета. Она знает, что рискует при этом жизнью. Но ей все равно — лишь бы она была хороша, лишь бы ее любили.

И я вспомнил ту деревенскую женщину, Чертовку, которая продавала своих уродов.

Пьеру Декурселю

Дорогой друг, так ты ничего не понимаешь? Меня это не удивляет. Тебе кажется, что я сошел с ума? Возможно, я слегка и помешался, но только не от того, о чем ты думаешь.

Да. Я женюсь. Решено.

А между тем ни взгляды мои, ни убеждения не изменились. Узаконенное сожительство я считаю глупостью. Я уверен, что из десяти мужей восемь рогаты. Да они и не заслуживают меньшего наказания за то, что добровольно закабалили себя на всю жизнь, отказались от свободной любви — единственно, что есть веселого и хорошего на свете,— обкорнали крылья прихотливому желанию, которое беспрестанно влечет нас ко всем женщинам, и т. д. и т. д. Более чем когда бы то ни было я чувствую себя не способным любить одну женщину, потому что всегда буду слишком любить всех остальных. Я хотел бы иметь тысячу рук, тысячу губ и тысячу... темпераментов, чтобы обнимать сразу целое полчище этих очаровательных и ничтожных созданий.

И все же я женюсь.

Прибавлю еще, что я едва знаю свою будущую жену. Видел я ее только четыре или пять раз. Чувствую одно — она мне не противна, и этого достаточно для осуществления моих планов. Это маленькая полная блондинка. Послезавтра я страстно буду желать высокую худощавую брюнетку.

Она не богата. Родители ее — люди среднего круга. У нее нет особенных достоинств или недостатков, она, что называется, девушка на выданье, самая дюжинная, каких много в заурядных буржуазных семьях. Сегодня о ней говорят: «Мадемуазель Ла-

жоль очень мила». Завтра скажут: «Как мила мадам Раймон». Словом, она из той породы добропорядочных девиц, которых каждый «счастлив назвать своей женой», вплоть до того дня, когда вдруг поймет, что готов любую другую женщину предпочесть той, которую избрал.

Зачем же тогда жениться? — спросишь ты.

Я еле решаюсь признаться тебе в странном, невероятном чувстве, толкающем меня на этот безрассудный поступок.

Я женюсь, чтобы не быть одному!

Не знаю, как это выразить, как объяснить тебе. Ты будешь меня жалеть, ты будешь презирать меня, до того постыдно состояние моего духа.

Я не хочу больше оставаться ночью один. Я хочу чувствовать рядом с собой живое существо, прильнувшее ко мне, живое существо, которое могло бы разговаривать, могло бы сказать что-нибудь, все равно что.

Я хочу иметь возможность разбудить это существо, задать внезапно какой-нибудь вопрос, самый дурацкий вопрос, лишь бы только услышать человеческий голос, лишь бы убедиться, что я не один в квартире, и почувствовать чью-то бодрствующую душу, работающую мысль, лишь бы увидеть, внезапно зажигая свечу, человеческое лицо рядом с собой... потому что... потому что... (мне стыдно признаться)... потому что я боюсь оставаться один.

Ах! Ты все еще меня не понимаешь.

Я не боюсь опасности. Пусть кто-нибудь заберется ко мне,— я, не дрогнув, убью его. Я не боюсь привидений, не верю в сверхъестественное. Я не боюсь покойников и уверен в полном уничтожении каждого уходящего из жизни существа!

Так значит?.. Так значит?.. Ну да! Я боюсь самого себя! Я боюсь самой боязни, боюсь судорог моего помрачающегося разума, боюсь этого жуткого ощущения непонятного ужаса.

Смейся, если хочешь. Это кошмарно, неисцелимо. Я боюсь стен, мебели, привычных вещей, которые вдруг начинают жить какою-то одушевленной жизнью. Особенно боюсь я страшного смятения своей мысли, своего взбудораженного рассудка, ускользающего из-под моей власти, угнетенного таинственной, непостижимой тревогой.

Я чувствую сначала, что мне в душу закрадывается смутное беспокойство, и от него пробегают по коже мурашки. Я озираюсь по сторонам. Ничего! А мне хотелось бы хоть что-нибудь увидеть! Что именно? Что-нибудь понятное. Ведь боюсь я только потому, что не понимаю своего страха.

Я говорю — и боюсь своего голоса. Хожу — и боюсь чего-то неизвестного, что притаилось за дверью, за портьерой, в шкафу, под кроватью. А между тем я знаю, что нигде ничего нет.

Я внезапно оборачиваюсь, ибо боюсь того, что у меня за спиной, хотя там и нет ничего, и я это знаю.

Я волнуюсь, чувствую, как нарастает страх; я запираюсь в спальне, зарываюсь в постель, прячусь под одеяло и, съежившись, сжавшись в комок, в отчаянии закрываю глаза и лежу так долго, бесконечно долго, ни на минуту не забывая, что на ночном столике осталась зажженная свеча и что надо ее все-таки потушить. И я не смею сделать это.

Ужасное состояние, не правда ли?

Раньше я не испытывал ничего подобного. Я спокойно возвращался домой. Я расхаживал взад и вперед по квартире, и ничто не омрачало ясности моего рассудка. Скажи мне кто-нибудь, что я вдруг заболею этим непонятым, бессмысленным и жутким страхом, я искренне рассмеялся бы; я уверенно открывал двери в темноте, медленно укладывался спать, не задвигая засова, и никогда не вставал среди ночи проверить, хорошо ли закрыты окна и двери моей спальни.

Началось это в прошлом году и самым странным образом.

Это случилось осенью, в дождливый вечер. После обеда, когда ушла служанка, я стал думать, чем бы заняться. Я прошелся несколько раз по комнате. Я чувствовал себя усталым, беспричинно угнетенным, неспособным работать и не в силах был даже читать. Окна были мокры от моросящего дождя; мне было грустно, все существо мое было проникнуто той безотчетной грустью, от которой хочется плакать, так что ищешь, с кем бы перекинуться словом, все равно с кем, лишь бы только стряхнуть тяжелые мысли.

Я чувствовал себя одиноким. Никогда еще дом не казался мне таким пустым. Меня охватило чувство безысходного томительного одиночества. Что делать? Я сел. И тотчас ощутил какое-то нервное напряжение в ногах. Снова встал и принялся ходить. Может быть, меня при этом немного лихорадило, потому что руки, которые я заложил за спину, как это часто делают, когда медленно прогуливаются, жгли одна другую, и я заметил это. Затем вдруг у меня по спине пробежала холодная дрожь. Я подумал, что, должно быть, потянуло сыростью со двора, и решил протопить камин. Я разжег его, это было в первый раз с начала года. И снова сел, устремив глаза на огонь. Но уже вскоре, чувствуя, что не могу больше оставаться на месте, я под-

нялся и решил, что нужно пройтись, встряхнуться, повидаться с кем-нибудь из друзей.

Я вышел. Заглянул к трем приятелям и, не застав никого дома, направился к бульвару, рассчитывая встретить там кого-нибудь из знакомых.

Повсюду было одинаково грустно. Мокрые тротуары блестели. Теплая сырость, та сырость, что внезапно пронизывает нас холодной дрожью, тяжелая сырость моросящего дождя нависла над улицей и, казалось, ослабляла, притушивала пламя газовых фонарей.

Я вяло тащился, повторяя про себя: «Не с кем мне будет сегодня перекинуться словом».

Не раз заглядывал я в кафе, попадавшиеся мне по дороге от церкви Мадлен до Фобур-Пуассоньер. Унылые люди, сидевшие за столиками, казалось, не в силах были доесть заказанное.

Долго бродил я так по улицам и около полуночи повернул к дому. Я был совершенно спокоен, но очень утомлен. Привратница, которая в одиннадцать часов всегда уже спала, против обыкновения, открыла мне сейчас же, и я подумал: «Ага, должно быть, кто-то из жильцов только что вернулся».

Уходя из дому, я всегда запираю дверь на двойной оборот ключа. На этот раз она оказалась только притворенной, и это меня поразило. Я решил, что, вероятно, вечером мне принесли почту.

Я вошел. Камин еще не потух и даже слегка освещал комнату. Я взял свечу, собираясь зажечь ее от огня очага, и вдруг, взглянув прямо перед собою, увидел, что кто-то сидит в моем кресле, спиной ко мне, и греет у камина ноги.

Я не испугался, о нет, нисколько! В голове у меня мелькнула вполне естественная догадка, что кто-то из приятелей зашел навестить меня. Привратница, которую я, уходя, предупредил, что скоро вернусь, должно быть, дала ему свой ключ. Я вмиг вспомнил все обстоятельства своего возвращения домой: тотчас же открытое парадное и мою незапертую дверь.

Приятель — я видел только его волосы,— дожидаясь меня, заснул у камина, и я подошел поближе, чтобы его разбудить. Я отлично его видел: правая рука свисала, ноги были заложены одна на другую, голова слегка откинута влево на спинку кресла,— по-видимому, он крепко спал. «Кто же это?» — задал я себе вопрос. Комната была слабо освещена. Я протянул руку, чтобы тронуть его за плечо...

Рука уперлась в деревянную спинку кресла! Там не было никого. Кресло было пусто!

Господи, какой ужас!

Я сразу отступил, словно мне угрожала какая-то страшная опасность.

Затем я обернулся, чувствуя, что кто-то стоит у меня за спиной; затем тотчас же непреодолимое желание взглянуть еще раз на кресло заставило меня снова повернуться к нему. Я стоял, задыхаясь от ужаса, до того растерявшись, что в голове не осталось ни одной мысли и я еле держался на ногах.

Но я человек хладнокровный и быстро овладел собой. Я решил: «У меня была галлюцинация, только и всего». И сейчас же стал размышлять об этом явлении. Мысль работает быстро в такие минуты.

У меня была галлюцинация — это бесспорный факт. А между тем голова все время оставалась ясной: я рассуждал правильно и логично. Следовательно, произошло это не от умственного расстройства. Здесь был только обман зрения, обманувшего, в свою очередь, мысль. Глазам представился призрак, один из тех призраков, которые заставляют наивных людей верить в чудеса. Случайное нервное расстройство зрительного аппарата, и только, да, может быть, еще легкий прилив крови.

Я зажег свечу. Наклоняясь к огню, я заметил, что дрожу, и затем вдруг выпрямился от нервного толчка, как будто кто-то прикоснулся ко мне сзади.

Я был далеко не спокоен, это несомненно.

Я прошелся по комнате и громко заговорил сам с собой. Что-то напевал вполголоса.

Потом запер дверь на двойной оборот ключа и почувствовал себя немного спокойнее. По крайней мере, никто не войдет.

Я снова сел и долго раздумывал о случившемся, затем лег и погасил свечу.

Несколько минут все обстояло благополучно. Я довольно спокойно лежал на спине. Но вдруг у меня появилось желание осмотреть комнату, и я повернулся на бок.

В камине еще тлели две-три красные головешки, которые освещали только самые ножки кресла, и мне снова почудилось, что там сидит человек.

Проворным движением я зажег спичку. Мне только померещилось, я больше ничего не видел.

Однако я встал и отодвинул кресло за кровать.

Снова потушив свет, я попробовал заснуть. Но не успел я забыться на каких-нибудь пять минут — и уже увидел во сне, отчетливо, как наяву, все, что случилось со мной в этот вечер.

Я проснулся вне себя от ужаса, зажег огонь и сел на кровати, боясь задремать снова.

Однако, как я ни боролся со сном, я все же заснул не надолго раза два. Оба раза мне снилось все то же. Я думал уже, что сошел с ума.

Когда рассвело, я почувствовал себя выздоровевшим и спокойно проспал до полудня.

Все прошло, совершенно прошло. У меня была, вероятно, лихорадка или кошмар. Словом, я был болен. И все же я чувствовал, что вел себя глупейшим образом.

В этот день я был очень весел. Пообедал в ресторанчике, побывал в театре, затем отправился домой. Но когда я стал подходить к дому, меня охватило странное беспокойство. Я боялся увидеть его снова! Не то чтобы я боялся его самого, не то чтобы я боялся его присутствия,— ведь я нисколько в это не верил; но я боялся нового расстройства зрения, боялся галлюцинации, боялся ужаса, который меня охватит.

Больше часа бродил я взад и вперед по тротуару около дома; наконец, решив, что это слишком уж глупо, вошел. Я так задыхался, что еле мог подняться по лестнице. Минут десять я простоял еще на площадке, перед дверью, пока не почувствовал вдруг прилив смелости, спокойной решимости. Я повернул ключ, бросился вперед со свечою в руке, распахнул толчком ноги полуоткрытые двери спальни и растерянно оглядел камин. Я не увидел ничего.

Ах!.. Какое облегчение! Какое счастье! Какая тяжесть свалилась с плеч моих! Я весело расхаживал по комнате. Но все же я не был спокоен и порой оглядывался назад: меня пугали лежащие по углам тени.

Спал я плохо, ежеминутно просыпаясь от каких-то воображаемых стуков. Но его я больше не видел. Нет. С этим покончено!

И вот с того дня я боюсь оставаться ночью один. Я чувствую его — этот призрак — здесь, возле меня, вокруг меня. Он больше не являлся мне. О нет! Да и что за дело мне до него, раз я в него не верю, раз я знаю, что он — ничто?

Но все же он тяготит меня, потому что я постоянно о нем думаю. Правая рука его свисала, голова была слегка откинута влево, как у спящего... Довольно, довольно, ну его к черту! Не хочу больше думать о нем!

И что это за наваждение? Почему оно так навязчиво? Его ноги были протянуты к самому огню!

Он преследует меня; это дико, но это так. Кто это «он»? Я знаю хорошо, что он не существует, что он — ничто! Он существует только в моем восприятии, в моем страхе, моей тревоге. Довольно, довольно!..

Да, но сколько я ни рассуждаю, как ни бодрюсь, я не могу больше оставаться дома один, ибо он там. Я его больше не увижу, знаю, он больше не явится, с этим покончено. Но он здесь, в моих мыслях. Он невидим, но это не мешает ему существовать. Он притаился за дверью, в закрытом шкафу, под кроватью, во всех темных углах, в малейшей тени. Стоит мне распахнуть дверь, открыть шкаф, заглянуть со свечою в руке под кровать, осветить углы, разогнать тени, и он исчезает; но тогда я чувствую его у себя за спиной. Я оборачиваюсь, уверенный, впрочем, что не увижу его, никогда больше не увижу. И все-таки он все еще там, у меня за спиной.

Нелепо, но ужасно. Как же быть? Я ничего не могу поделать.

Но если нас дома будет двое, я чувствую, да, определенно чувствую, что его здесь больше не будет! Ведь он здесь потому, что я один, только потому, что я один!

Ашилю Бенувиль

Старик нищий с седой бородой попросил у нас милостыню. Мой спутник Жозеф Давранш дал ему пять франков. Это меня удивило. Жозеф сказал:

— Несчастный старик напомнил мне один случай, который я тебе сейчас расскажу. Я никогда его не забуду. Слушай.

Я родом из Гавра. Семья была небогатая, кое-как сводили концы с концами. Отец служил, возвращался домой поздно вечером и получал за свой труд гроши. У меня были две сестры.

Необходимость урезывать себя во всем угнетала мою мать, и нередко отцу приходилось выслушивать от нее колкости, скрытые язвительные упреки. Бедняга неизменно отвечал на них жестом, причинявшим мне глубокое страдание. Он проводил ладонью по лбу, словно отирая пот, и не произносил ни слова. Его бессильная печаль передавалась мне. В хозяйстве экономили на чем только могли; никогда не принимали приглашений на обед, чтобы не пришлось, в свою очередь, звать гостей. Покупали провизию подешевле — то, что залежалось в лавке. Сестры сами шили себе платья и подолгу обсуждали вопрос о покупке тесьмы, стоившей пятнадцать сантимов метр. Изо дня в день мы ели мясной суп и вареную говядину под всевозможными соусами. Говорят, это полезно и питательно. Я предпочел бы что-нибудь другое.

Мне жестоко доставалось за каждую потерянную пуговицу, за разорванные штаны.

Но каждое воскресенье мы всей семьей отправлялись, во всем параде, гулять на мол. Отец, в сюртуке и перчатках, с цилиндром на голове, вел под руку мать, разукрашенную, словно корабль в праздничный день. Сестры обычно были готовы раньше всех и ждали, пока кончатся сборы. Но в последнюю минуту

на сюртуке главы семьи всегда обнаруживалось какое-нибудь пятно, не замеченное раньше, и приходилось спешно затирать его тряпочкой, намоченной в бензине.

Надев очки, так как она была близорука, и сняв перчатки, чтобы их не запачкать, мать выводила пятно, а отец стоял, не снимая цилиндра, в одной жилетке и дожидался конца этой процедуры.

Затем торжественно трогались в путь. Впереди под руку шли сестры. Они были на выданье, и родители пользовались случаем показать их людям. Я шел по левую руку матери, отец — по правую. Мне вспоминается величественный вид бедных моих родителей во время этих воскресных прогулок, их застывшие лица, чинная поступь. Они шли размеренным шагом, не сгибая колен, и держались очень прямо, словно от их осанки зависел успех какого-то чрезвычайно важного предприятия.

И каждое воскресенье при виде огромных кораблей, возвращавшихся из дальних, неведомых стран, отец неизменно говорил:

— А вдруг на этом пароходе приехал Жюль! Вот был бы сюрприз!

Дядя Жюль, брат моего отца, некогда приводивший семью в отчаяние, теперь стал единственной ее надеждой. Я с раннего детства слышал рассказы о дяде Жюле и так сроднился с мыслью о нем, что мне казалось — я узнал бы его с первого взгляда. Его прошлое до самого отъезда в Америку было известно мне во всех подробностях, хотя в семье об этом периоде его жизни всегда говорили вполголоса.

По-видимому, он вел беспутную жизнь, иначе говоря, промотал кое-какие деньги, а в небогатых семьях это считается самым тяжким преступлением. В кругу богачей о человеке, любящем покутить, говорят, что он проказничает. Его со снисходительной улыбкой называют шалопаем. В кругу людей неимущих молодой человек, из-за которого родителям приходится тратить свои сбережения,— распутник, мот, негодяй.

И это различие вполне справедливо, так как значение наших поступков всецело определяется их последствиями.

Как бы там ни было, дядя Жюль сначала промотал до последнего су свою долю родительского наследства, а затем основательно уменьшил и ту часть сбережений, на которую рассчитывал мой отец.

Его, как тогда было принято, отправили в Америку на грузовом пароходе, шедшем из Гавра в Нью-Йорк.

Очутившись в Америке, дядя Жюль занялся какими-то торговыми делами и вскоре написал родным, что обстоятельства его

понемногу поправляются и что он надеется со временем возместить убыток, причиненный им моему отцу. Это письмо произвело огромное впечатление на всю семью. Жюль, тот самый Жюль, которого раньше, что называется, ни в грош не ставили, вдруг был объявлен честнейшим, добрейшей души человеком, подлинным представителем семьи Давранш, безупречным, как все Давранши.

Затем капитан какого-то парохода сообщил нам, что дядя снял большой магазин и ведет крупную торговлю.

Второе письмо, полученное два года спустя, гласило:

«Дорогой Филипп, пишу для того, чтобы ты не беспокоился обо мне. Я в добром здоровье. Дела мои тоже идут хорошо. Завтра я надолго уезжаю в Южную Америку. Возможно, что в течение нескольких лет от меня не будет известий. Не тревожься, если я не буду писать. Я вернусь в Гавр, как только разбогатею. Надеюсь, на это потребуется не слишком много времени, и тогда мы славно заживем все вместе».

Это письмо стало как бы Евангелием нашей семьи. Его перечитывали при всяком удобном случае, его показывали всем и каждому.

Действительно, в течение десяти лет от дяди Жюля не было никаких известий. Но надежды моего отца все крепли с годами, да и мать часто говаривала:

— Когда вернется наш дорогой Жюль, все пойдет по-иному. Вот кто сумел выбиться в люди!

И каждое воскресенье, при виде исполинских черных пароходов, которые приближались к гавани, изрыгая в небо клубы дыма, отец неизменно повторял:

— А вдруг на этом пароходе едет Жюль! Вот был бы сюрприз!

И казалось, сейчас на палубе появится дядя, взмахнет платком и закричит:

— Эй, Филипп!

На его возвращении, в котором никто из нас не сомневался, строились тысячи планов. Предполагалось даже купить на дядюшкины деньги домик в окрестностях Энгувиля. Я подозреваю, что отец уже вел кое-какие переговоры по этому поводу.

Моей старшей сестре исполнилось двадцать восемь лет, младшей — двадцать шесть. Обе они все не выходили замуж, и это сильно удручало нас всех.

Наконец для младшей сестры нашелся жених: чиновник, человек небогатый, но приличный. Я твердо убежден, что именно письмо дяди Жюля, прочитанное молодому человеку однажды вечером, положило конец его колебаниям и придало ему смелости.

Его предложение приняли сразу, и было решено, что после свадьбы мы всей семьей съездим на остров Джерсей.

Путешествие на остров Джерсей — заветная мечта бедных людей. Это совсем недалеко. Стоит только проехать по морю на пакетботе — и ты уже за границей, ведь остров принадлежит Англии. Двухчасовая поездка морем дает французу возможность побывать в соседней стране и ознакомиться на месте с нравами — достаточно, впрочем, непривлекательными — населения этого острова, над которым, как выражаются люди, говорящие безыскусственным языком, реет британский флаг.

Мысль о путешествии на Джерсей захватила нас всех; оно стало нашим единственным стремлением, мечтой, с которой мы ни на минуту не расставались.

Наконец мы отправились в путь. Как сейчас, вижу пароход, стоящий под парами у набережной Гранвиль; отца, с озабоченным видом следящего за погрузкой наших трех чемоданов; взволнованную мать под руку с незамужней сестрой, которая после свадьбы младшей совершенно растерялась, словно цыпленок, отбившийся от выводка; и, наконец, новобрачных, все время отставававших, что заставляло меня то и дело оборачиваться.

Раздался гудок. Мы поднялись на палубу, и пароход, обогнув мол, вышел в открытое море, гладкое, словно доска зеленого мрамора. Мы смотрели, как удаляется берег; мы были счастливы и горды, как все те, кому редко случается путешествовать.

Отец стоял приосанившись, выпятив живот под сюртуком, с утра тщательно вычищенным, и распространял вокруг себя запах бензина — праздничный запах, по которому я узнавал воскресные дни.

Вдруг его внимание привлекли две нарядные дамы, которых двое мужчин угощали устрицами. Старик матрос, одетый в отрепья, ловко вскрывал раковины ножом и подавал их мужчинам, а те подносили их дамам. Дамы ели устрицы очень изящно: держа раковину над тонким носовым платком и вытянув губы, чтобы не закапать платье, они быстро, одним глотком, выпивали жидкость и бросали раковину в море.

Отца, по-видимому, пленила эта изысканная затея — есть устрицы на пароходе, в открытом море. Это показалось ему при-

знаком хорошего тона, утонченного аристократизма. Он подошел к жене и дочерям и спросил их:

— Хотите, я угощу вас устрицами?

Мать медлила с ответом, ее пугал лишний расход; сестры же сразу согласились. Мать сказала недовольным тоном:

— Боюсь, как бы мне это не повредило. Угости детей, но в меру, а то они, пожалуй, еще захворают.— Повернувшись ко мне, она прибавила: — А Жозефу вообще незачем есть устрицы. Мальчиков не следует баловать.

Я чувствовал себя несправедливо обойденным, но мне пришлось остаться подле матери; я следил глазами за отцом, с необычайно важным видом направлявшимся, в сопровождении обеих дочерей и зятя, к оборванному старику матросу.

Обе дамы уже ушли с палубы. Отец стал объяснять сестрам, как нужно держать устрицу, чтобы содержимое не вытекало из нее. Желая наглядно показать им это, он схватил устрицу и попытался подражать дамам, но немедленно пролил всю жидкость на свой сюртук.

Мать сердито проворчала:

— Сидел бы уж лучше на месте!

Вдруг мне почудилось, что отец чем-то обеспокоен. Он отступил на несколько шагов, пристально взглянул на дочерей и зятя, теснившихся вокруг продавца устриц, круто повернулся и подошел к нам. Он показался мне очень бледным, а в его глазах было какое-то странное выражение. Вполголоса он сказал матери:

— Прямо удивительно, до чего старик с устрицами похож на Жюля!

— На какого Жюля? — в недоумении спросила мать.

— Да на моего брата... Если б я не знал, что он в Америке и что ему хорошо живется, я решил бы, что это он,— продолжал отец.

Мать в испуге пробормотала:

— Ты с ума сошел! Ведь ты отлично знаешь, что это не он. Зачем же говорить глупости?

Но отец настаивал:

— Пойди, Клариса, посмотри на него; мне хочется, чтобы ты убедилась собственными глазами.

Мать встала и подошла к дочерям. Я, в свою очередь, принялся разглядывать матроса. Старый, грязный, весь в морщинах, он был целиком поглощен своей работой.

Мать вернулась. Я заметил, что она вся дрожит. Она торопливо сказала отцу:

— Мне кажется, это он. Пойди расспроси капитана. Главное, будь осторожен, а то этот бездельник, чего доброго, опять сядет нам на шею.

Отец направился к капитану. Я пошел следом за ним. Меня охватило какое-то странное волнение.

Капитан, высокий худощавый мужчина с длинными бакенбардами, прогуливался по мостику; вид у него был такой, словно он командует пароходом, совершающим рейс в Индию.

Отец с изысканной учтивостью поклонился ему и стал предлагать вопросы, относящиеся к его профессии, пересыпая их комплиментами.

— Чем замечателен Джерсей? Какие отрасли производства развиты на острове? Каковы численность и состав его населения? Нравы и обычаи жителей? Какая там почва? — И так далее и так далее...

Можно было подумать, что речь идет по меньшей мере о Соединенных Штатах.

Поговорили и о пароходе «Экспресс», на котором мы находились, затем перешли к его команде, и тут отец с дрожью в голосе сказал:

— Меня очень заинтересовал старик, торгующий устрицами. Не знаете ли вы каких-нибудь подробностей о нем, о его жизни?

Капитан, которого этот разговор начинал раздражать, сухо ответил:

— Это старый бродяга, француз. В прошлом году я подобрал его в Америке и теперь привез на родину; у него, кажется, есть родственники в Гавре, но он не хочет показываться им на глаза, потому что задолжал им. Его зовут Жюль... Жюль Дарманш или Дарванш, что-то в этом роде. Говорят, в Америке он одно время был богат, а теперь, сами видите, до чего дошел.

Отец был мертвенно-бледен, глаза его блуждали. Сдавленным голосом он проговорил:

— Так... так... Очень хорошо... Прекрасно... Это меня ничуть не удивляет... Очень вам благодарен, капитан...— И отошел.

Моряк в недоумении поглядел ему вслед.

Отец вернулся к матери с таким расстроенным видом, что она сказала:

— Сядем... а то еще заметят что-нибудь.

Отец грузно опустился на скамью и пролепетал:

— Это он... Я ведь говорил, это он!

Немного погодя он спросил:

— Что же нам делать?

Мать решительным тоном заявила:

— Надо прежде всего увести оттуда детей. Жозеф сейчас сходит за ними, раз уж он все знает. Главное, надо постараться, чтобы зять ни о чем не догадался...

Отец был совершенно сражен. Он еле слышно прошептал:

— Какое несчастье!

Мать, вдруг разъярившись, зашипела:

— Я так и знала, что этот дармоед никогда ничего не добьется и в конце концов опять сядет нам на шею. Да, от Давраншей не дождешься ничего хорошего!

Отец молча провел ладонью по лбу, как делал всегда, когда мать осыпала его упреками. А она продолжала:

— Дай Жозефу денег, пусть он сейчас же пойдет и рассчитается за устрицы. Недостает только, чтобы этот нищий узнал нас! Воображаю, какое это произвело бы впечатление на пассажиров! Мы перейдем на другой конец палубы, а ты уж позаботься о том, чтобы мы с ним больше не встретились.

Она встала, и они оба ушли, вручив мне пятифранковую монету.

Сестры в недоумении дожидались отца. Объяснив им, что у матери легкий приступ морской болезни, я обратился к старику:

— Сколько вам следует, сударь?

Мне хотелось сказать «дядя».

— Два франка пятьдесят,— ответил старик.

Я дал ему пять франков, он протянул мне сдачу.

Я смотрел на его руку, худую, морщинистую руку матроса; я вглядывался в его лицо, измученное, старое лицо, унылое и жалкое, и повторял про себя: «Это мой дядя, папин брат, мой дядя!»

Я дал ему десять су на чай. Он с благодарностью сказал:

— Да благословит вас господь, молодой человек!

Он произнес эти слова тоном нищего, который принимает подаяние. Я подумал, что там, за океаном, ему, наверно, приходилось просить милостыню.

Сестры, пораженные моей щедростью, смотрели на меня во все глаза.

Когда я отдал отцу два франка сдачи, мать с изумлением спросила:

— Неужели устрицы стоили целых три франка? Не может быть...

Я твердо сказал:

— Я дал десять су на чай...

Мать привскочила и в упор посмотрела на меня:

— Ты с ума сошел! Дать десять су этому бродяге!..

Она запнулась: отец глазами указывал ей на зятя.

Все притихли.

Впереди, на горизонте, обозначалась темно-лиловая полоса, казалось, выраставшая из моря. Это был Джерсей.

Когда мы подъезжали к пристани, меня охватило желание еще раз увидеть дядю Жюля, подойти к нему, сказать ему несколько ободряющих ласковых слов.

Но теперь уже никто не спрашивал устриц, и он исчез; вероятно, бедный старик спустился в вонючий трюм, служивший ему пристанищем.

Чтобы избежать встречи с ним на обратном пути, мы вернулись домой через Сен-Мало. Мать совсем извелась от беспокойства.

Я никогда больше не видел брата моего отца.

Вот почему я иногда даю пять франков нищему.

Хосе Мариа Эредиа

Почему я зашел в этот вечер в пивную? Сам не знаю. Было холодно. От мелкого дождя, сеявшего водяную пыль, газовые рожки, казалось, были окутаны прозрачной дымкой, а тротуары блестели, отражая витрины, бросавшие свет на жидкую грязь и забрызганные ноги прохожих.

Я бродил без всякой цели. Мне вздумалось немного погулять после обеда; я прошел мимо Лионского кредита, по улице Вивьен, еще по нескольким улицам. Вдруг я заметил большую нивную, где было не очень людно, и вошел без определенного намерения. Мне вовсе не хотелось пить.

Оглядевшись, я отыскал угол посвободнее и присел за столик рядом с пожилым на вид человеком, курившим дешевую глиняную, черную, как уголь, трубку. Шесть или семь стеклянных блюдец, стоявших стопкой перед ним, указывали количество уже выпитых им кружек. Я не стал разглядывать своего соседа. Я сразу понял, что передо мной любитель пива, один из тех завсегдатаев, которые приходят утром, когда пивная открывается, и уходят вечером, когда она закрывается. Он был неопрятен, на темени у него была плешь, а жирные седеющие пряди волос падали на воротник сюртука. Слишком широкая одежда, очевидно, была сшита еще в те времена, когда он обладал брюшком. Чувствовалось, что брюки плохо на нем держатся и он не может сделать и десяти шагов без того, чтобы не подтянуть эту плохо прилаженную часть костюма. Был ли на нем жи-

лет? Одна мысль о его башмаках и о том, что они прикрывают, бросала меня в дрожь. Обтрепанные манжеты заканчивались совершенно черной каемкой, так же, как и ногти.

Как только я сел, мой сосед самым спокойным тоном спросил меня:

— Как живешь?

Я резко повернулся к нему и стал в него вглядываться.

Он снова спросил:

— Не узнаешь меня?

— Нет.

— Де Барре.

Я остолбенел. Это был граф Жан де Барре, мой старый товарищ по коллежу.

В замешательстве я протянул ему руку, не зная, что сказать.

Наконец я пробормотал:

— А ты как живешь?

Он ответил все так же невозмутимо:

— Я? Живу как умею.

Он умолк.

Я подыскивал какую-нибудь любезную фразу.

— Ну, а... что ты делаешь?

Он равнодушно ответил:

— Ты же видишь.

Я почувствовал, что краснею, и пояснил:

— Нет, обычно?

Выпуская густые клубы дыма, он сказал:

— Каждый день одно и то же.

Затем, постучав по мраморной доске столика серебряной монетой, валявшейся тут же, он крикнул:

— Гарсон, две кружки!

Голос вдалеке повторил: «Две кружки на четвертый!» И другой, еще дальше, отозвался: «Даю!» Потом появился официант в белом переднике; он нес две кружки, расплескивая на ходу пену, которая падала желтыми хлопьями на усыпанный песком пол.

Де Барре разом опорожнил кружку и поставил ее на стол, обсасывая пену с усов.

Затем он спросил:

— Ну, что нового?

Я, право, не знал, что рассказать ему нового, и пробормотал:

— Да ничего, дружище. Я — коммерсант...

Он процедил все тем же безразличным голосом:

— И это... тебе нравится?

— Нет, не могу сказать. Но надо же что-нибудь делать.

— А почему?

— Да так... надо же иметь занятие.

— А для чего это, собственно, надо? Вот я ничего не делаю, как видишь, никогда ничего. Я понимаю, что надо работать, когда нет ни гроша. Но если у человека есть средства, это ни к чему. Зачем работать? Ты что же, делаешь это для себя или для других? Если для себя — значит, тебе это нравится, тогда все великолепно; но если ты стараешься для других — это просто глупо.

Положив свою трубку на мраморную доску, он снова крикнул:

— Гарсон, кружку пива! — И продолжал: — Разговор вызывает у меня жажду. Отвык. Да, вот я ничего не делаю, на все махнул рукой, старею. Перед смертью я ни о чем не буду жалеть. У меня не будет других воспоминаний, кроме этой пивной. Ни жены, ни детей, ни забот, ни огорчений — ничего. Так лучше.

Он осушил кружку, которую ему принесли, провел языком по губам и снова взялся за трубку.

Я смотрел на него с изумлением, потом спросил:

— Но ты ведь не всегда был таким?

— Нет, извини, всегда, с самого коллежа.

— Да это же не жизнь, голубчик. Это — ужас. Сознайся, хоть что-нибудь ты делаешь, любишь хоть что-нибудь? У тебя есть друзья?

— Нет. Я встаю в полдень, прихожу сюда, завтракаю, пью пиво, сижу до вечера, обедаю, пью пиво; в половине второго ночи я возвращаюсь домой, потому что пивную закрывают. Вот это самое неприятное. Из последних десяти лет не меньше шести я провел на этом диванчике в углу. А остальное время — в своей кровати, больше нигде. Изредка я беседую с завсегдатаями пивной.

— Но что ты делал вначале, когда приехал в Париж?

— Изучал право... в кафе «Медичи».

— Ну, а затем?

— Затем перебрался на эту сторону Сены и обосновался здесь.

— А чего ради ты перекочевал сюда?

— Нельзя же в самом деле прожить всю жизнь в Латинском квартале. Студенты слишком шумный народ. Теперь я уж больше никуда не двинусь. Гарсон, кружку пива!

Я решил, что он смеется надо мной, и продолжал допытываться:

— Ну, скажи откровенно — ты перенес какое-нибудь горе, может быть, несчастную любовь? Право же, у тебя вид человека, убитого горем. Сколько тебе лет?

— Тридцать три. А на вид не меньше сорока пяти.

Я внимательно посмотрел на него. Морщинистое, помятое лицо его казалось почти старческим. На темени сквозь редкие длинные волосы просвечивала кожа сомнительной чистоты. У него были косматые брови, большие усы и густая борода. Внезапно, не знаю почему, я представил себе, какая грязная вода была бы в тазу, если бы промыть в нем всю эту щетину.

Я сказал:

— Да, верно, ты на вид старше своих лет. Несомненно, у тебя было какое-то горе.

Он ответил:

— Уверяю тебя, никакого. Я постарел оттого, что никогда не бываю на воздухе. Ничто не подтачивает так человека, как постоянное сидение в кафе.

Я никак не мог ему поверить.

— Тогда ты, должно быть, кутил порядком? Нельзя же так облысеть, не отдав обильную дань любви.

Он спокойно покачал головой, и при этом с его редких волос на плечи посыпалось множество маленьких белых чешуек.

— Нет, я всегда был благоразумен.

И, подняв лицо к рожку, гревшему нам головы, он добавил:

— Я облысел только от газа. Он злейший враг волос... Гарсон, кружку пива! А ты не выпьешь?

— Нет, спасибо. Но, право, ты меня поражаешь. С каких пор ты впал в такое уныние? Ведь это ненормально, противоестественно. Должна же быть какая-нибудь особая причина?

— Да, пожалуй. Толчок был дан в детстве. Я перенес сильное потрясение, когда был еще ребенком. И это навсегда омрачило мою жизнь.

— Что же это было?

— Хочешь знать? Слушай. Ты, должно быть, хорошо помнишь поместье, где я вырос. Ведь ты приезжал ко мне раз пять или шесть во время каникул. Помнишь наш большой серый дом, и огромный парк вокруг него, и длинные, расходящиеся крестом дубовые аллеи. Наверно, ты помнишь и моих родителей — они были такие церемонные, важные и строгие.

Я боготворил мою мать, побаивался отца и почитал их обоих; к тому же я видел, как все вокруг гнут перед ними спину. Для всей округи они были «господин граф» и «госпожа гра-

финя»; да и соседи тоже, Таннемары, Раволе и Бренневили, относились к ним всегда с глубоким уважением.

Мне было тогда тринадцать лет. Я был весел, доволен всем, преисполнен радости бытия, как и полагается в этом возрасте.

Однажды, в конце сентября, за несколько дней до возвращения в коллеж, я играл в волка и прыгал среди деревьев в чаще парка; перебегая аллею, я заметил моих родителей — они прогуливались по парку.

Я помню все так ясно, точно это было вчера. День выдался очень ветреный. При каждом порыве ветра стройные ряды деревьев гнулись, скрипели и стонали — глухо, протяжно, словно настоящий лес во время бури. Сорванные листья, уже пожелтевшие, летали, точно птицы, кружились, падали и неслись по аллеям, как проворные зверьки.

Надвигался вечер. В чаще было уже темно. Ветер бушевал в ветвях, возбуждал, будоражил меня, и я скакал как бешеный и отчаянно выл, подражая волку.

Увидев родителей, я начал тихонько подкрадываться к ним, прячась за деревьями, как настоящий лесной бродяга.

Но в нескольких шагах от них я остановился в испуге. Отец, вне себя от ярости, злобно кричал:

— Твоя мать — просто дура; не в твоей матери дело, а в тебе. Мне нужны эти деньги, я требую, чтобы ты подписала.

Мама ответила твердым голосом:

— Нет, я не подпишу. Это деньги Жана. Я не допущу, чтобы ты их промотал с девками и горничными. Довольно, что ты растратил на них свое собственное состояние.

Тогда отец, дрожа от бешенства, повернулся и, схватив мать одной рукой за горло, другой начал бить ее изо всех сил прямо по лицу.

Мамина шляпа свалилась, волосы в беспорядке рассыпались; она пыталась заслониться от ударов, но ей это не удавалось. А отец как сумасшедший все бил и бил. Она упала на землю, защищая лицо обеими руками. Тогда он повалил ее на спину и продолжал бить, стараясь отвести ее руки, чтобы удары приходились по лицу.

А я... мне казалось, мой дорогой, что наступил конец света и все незыблемые основы бытия пошатнулись. Я был потрясен, как бывает потрясен человек перед лицом сверхъестественных явлений, страшных катастроф, непоправимых бедствий. Мой детский ум мутился. И я, не помня себя, начал пронзительно кричать от страха, боли, невыразимого смятенья. Отец услышал мои крики, оберпулся, увидел меня и, поднявшись с земли, шаг-

нул ко мне. Я подумал, что он хочет меня убить, и, точно зверь, за которым гонятся, бросился бежать, не разбирая дороги, напрямик, в самую чащу леса.

Я бежал час, может быть, два — не знаю. Наступила ночь; я упал на траву, оглушенный, измученный страхом и горем, достаточно сильным для того, чтобы навсегда сокрушить хрупкое детское сердце. Мне было холодно; я, вероятно, был голоден. Настало утро. Я не решался встать, идти, вернуться или бежать куда-нибудь дальше, я боялся встретиться с отцом, которого не хотел больше видеть.

Я так и умер бы, пожалуй, под деревом от отчаяния и голода, если бы меня не заметил здесь лесник и не отвел силой домой.

Я нашел родителей такими же, как всегда. Мать только сказала: «Как ты напугал меня, гадкий мальчик, я не спала всю ночь». Я ничего не ответил и только заплакал. Отец не произнес ни слова.

Неделю спустя я уехал в коллеж.

И вот, милый друг, все было кончено для меня. Я увидел оборотную сторону жизни, ее изнанку; и с того самого дня лучшая ее сторона перестала существовать для меня. Что произошло в моей душе? Какая сила опрокинула все мои представления? Не знаю. Но с тех пор я потерял всякий вкус к жизни, ничего не хочу, никого не люблю, ни к чему не стремлюсь, и нет у меня ни желаний, ни честолюбия, ни надежд. Я все вспоминаю мою бедную маму на земле, посреди аллеи, и отца, осыпающего ее ударами... Мама умерла через несколько лет. Отец еще жив. Но с тех пор я его не видел... Гарсон, кружку пива!

Ему принесли кружку. Он выпил ее залпом. Потом взял трубку, но руки его так сильно дрожали, что он разбил ее. Тогда, с досадой махнув рукой, он воскликнул:

— Ну, что вы скажете! Вот это настоящее несчастье! Теперь мне понадобится целый месяц, чтобы обкурить новую трубку.

И через весь большой зал, теперь уже наполненный дымом и посетителями, пронесся его неизменный возглас:

— Гарсон, кружку пива!.. И новую трубку.

Это была одна из тех изящных и очаровательных девушек, которые словно по иронии судьбы рождаются иногда в чиновничьих семействах. У нее не было ни приданого, ни надежд на будущее, никаких шансов на то, чтобы ее узнал, понял, полюбил и сделал своей женой человек состоятельный, из хорошего общества, и она приняла предложение мелкого чиновника министерства народного просвещения.

Не имея средств на туалеты, она одевалась просто, но чувствовала себя несчастной, как пария, ибо для женщин нет ни касты, ни породы — красота, грация и обаяние заменяют им права рождения и фамильные привилегии. Свойственный им такт, гибкость ума, тонкий вкус — вот их единственная иерархия, равняющая дочерей народа с самыми знатными дамами.

Она страдала непрестанно, так как чувствовала себя рожденной для изящной жизни, для самой утонченной роскоши. Она страдала от бедности своего жилья, от убожества голых стен, просиженных стульев, полинявших занавесок. Все то, чего даже не заметила бы другая женщина ее круга, мучило ее и возмущало. Один вид маленькой бретонки, которая вела их скромное хозяйство, рождал в ней горькие сожаления и несбыточные мечты. Ей снилась немая тишина приемных, задрапированных восточными тканями, освещенных высокими канделябрами старой бронзы, величественные лакеи в шелковых чулках, дремлющие в мягких креслах от расслабляющей жары калориферов. Ей снились затянутые старинным штофом просторные салоны, где тонкой работы столики уставлены неслыханной цены безделушками, кокетливые, раздушенные гостиные, где в пять часов принимают самых интимных друзей, людей прославленных и блестящих, внимание которых льстит каждой женщине.

Когда она садилась обедать за круглый стол, покрытый трехдневной свежести скатертью, напротив мужа и он, снимая крышку с суповой миски, объявлял радостно: «Ага, суп с капустой! Ничего не может быть лучше!..» — она мечтала о тонких обедах, о сверкающем серебре, о гобеленах, населяющих стены героями древности и сказочными птицами в чаще феерического леса; мечтала об изысканных яствах, подаваемых на тонком фарфоре, о любезностях, которые шепчут на ухо и выслушивают с загадочной улыбкой, трогая вилкой розовое мясо форели или крылышко рябчика.

У нее не было ни туалетов, ни драгоценностей, ничего ровно. А она только это и любила, она чувствовала, что для этого создана. Ей всегда так хотелось нравиться, быть обольстительной и иметь успех в обществе, хотелось, чтобы другие женщины ей завидовали.

У нее была богатая подруга, с которой они вместе воспитывались в монастыре, и каждый раз, возвращаясь от этой подруги, она так страдала, что давала себе слово не ездить туда больше. Целые дни напролет она плакала от горя, от жалости к себе, от тоски и отчаяния.

Однажды вечером ее муж вернулся домой с торжествующим видом и подал ей большой конверт.

— Вот возьми,— сказал он,— это тебе сюрприз.

Она быстро разорвала конверт и вытащила из него карточку, на которой было напечатано:

«Министр народного просвещения г-н Жорж Рампонно с супругой просят г-на и г-жу Луазель пожаловать на вечер в министерстве в понедельник 18 января».

Вместо того чтобы прийти в восторг, как ожидал ее муж, она с досадой швырнула приглашение на стол.

— На что оно мне, скажи, пожалуйста?

— Как же так, дорогая моя! Я думал, ты будешь очень довольна. Ты нигде не бываешь, и это прекрасный случай, прекрасный! Я с большим трудом достал приглашение. Всем хочется туда попасть, а приглашают далеко не всех, мелким чиновникам не очень-то дают билеты. Ты там увидишь весь официальный мир.

Она сердито посмотрела на мужа и сказала с раздражением:

— В чем же я туда поеду? Мне надеть нечего!

Ему это в голову не приходило; он пробормотал:

— Да в том платье, что ты надеваешь в театр. Оно, по-моему, очень милое...

Тут он увидел, что жена плачет, и замолчал, растерянный и огорченный. Две крупные слезы медленно скатывались от уголков ее глаз к уголкам рта. Он произнес, заикаясь:

— Что с тобой? Что?

Сделав над собой усилие, она подавила свое горе и ответила спокойным голосом, вытирая мокрые щеки:

— Ничего. Только у меня нет туалета, и, значит, я не могу ехать на этот вечер. Отдай свой билет кому-нибудь из сослуживцев, у кого жена одевается лучше меня.

В отчаянии он начал уговаривать ее:

— Послушай, Матильда. Сколько это будет стоить — приличное платье, такое, чтобы можно было надеть и в другой раз, что-нибудь совсем простое?

Она помолчала с минуту, мысленно подсчитывая расходы и соображая, сколько можно попросить, чтобы экономный супруг не ахнул в испуге и не отказал ей наотрез.

Наконец она ответила с запинкой:

— Точно не знаю, но, по-моему, четырехсот франков мне хватило бы.

Он слегка побледнел,— как раз такая сумма была отложена у него на покупку ружья, чтобы ездить будущим летом на охоту в окрестности Нантера с компанией приятелей, которые каждое воскресенье отправлялись туда стрелять жаворонков.

Однако он ответил:

— Хорошо. Я тебе дам четыреста франков. Только постарайся, чтобы платье было нарядное.

Приближался день бала, а г-жа Луазель не находила себе места, грустила, беспокоилась, хотя платье было уже готово. Как-то вечером муж заметил ей:

— Послушай, что с тобой? Ты все эти дни какая-то странная.

Она ответила:

— Мне досадно, что у меня ничего нет, ни одной вещицы, ни одного камня, нечем оживить платье. У меня будет жалкий вид. Лучше уж совсем не ездить на этот вечер.

Он возразил:

— Ты приколешь живые цветы. Зимой это считается даже элегантным. А за десять франков можно купить две-три великолепные розы.

Она не сдавалась:

— Нет, не хочу... Это такое унижение — выглядеть нищенкой среди богатых женщин.

Но тут муж нашелся:

— Какая же ты дурочка! Поезжай к твоей приятельнице госпоже Форестье и попроси, чтобы она одолжила тебе что-нибудь из драгоценностей. Для этого ты с ней достаточно близка.

Она вскрикнула от радости:

— Верно! Я об этом не подумала.

На следующий день она отправилась к г-же Форестье и рассказала ей свое горе.

Та подошла к зеркальному шкафу, достала большую шкатулку, принесла ее, открыла и сказала г-же Луазель:

— Выбирай, дорогая.

Она увидела сначала браслеты, потом жемчуга, потом золотой с камнями крест чудесной венецианской работы. Она примеряла драгоценности перед зеркалом, колебалась, не в силах расстаться с ними, отдать их обратно. И все спрашивала:

— У тебя больше ничего нет?

— Конечно, есть. Поищи. Я же не знаю, что тебе может понравиться.

Вдруг ей попалось великолепное бриллиантовое ожерелье в черном атласном футляре, и сердце ее забилось от безумного желания. Она схватила его дрожащими руками, примерила прямо на платье с высоким воротом и замерла перед зеркалом в восхищении.

Потом она спросила нерешительно и боязливо:

— Можешь ты мне дать вот это, только это?

— Конечно, могу.

Госпожа Луазель бросилась на шею подруге, горячо ее поцеловала и убежала со своим сокровищем.

Настал день бала. Г-жа Луазель имела большой успех. Изящная, грациозная, веселая, словно опьяневшая от радости, она была красивее всех. Все мужчины на нее смотрели, спрашивали, кто она такая, добивались чести быть ей представленными. Все чиновники особых поручений желали вальсировать только с ней. Сам министр ее заметил.

Она танцевала с увлечением, со страстью, теряя голову от радости, не думая ни о чем, упиваясь триумфом своей красоты, фимиамом успеха, окутанная, словно облаком счастья, всем этим поклонением, всеми желаниями, пробужденными ею, торжествуя полную победу, всегда сладостную для женского сердца.

Они ушли только в четыре часа утра. Муж с полуночи

дремал в маленьком, почти пустом салоне в обществе трех других чиновников, жены которых очень веселились.

Он набросил ей на плечи накидку, скромное будничное одеяние, убожество которого не вязалось с изяществом бального туалета. Она это чувствовала, и ей хотелось убежать, чтобы ее не заметили другие женщины, кутавшие плечи в пышные меха.

Луазель удерживал ее:

— Да погоди же. Ты простудишься на улице. Я поищу фиакр.

Не слушая его, она бежала вниз по лестнице. Когда они вышли на улицу, фиакра поблизости не оказалось, и они отправились на поиски, окликая всех извозчиков, проезжавших поодаль.

Они спустились к реке, прозябнув и уже ни на что не надеясь. Наконец на набережной им повстречался дряхлый экипаж ночного извозчика, какие в Париже показываются только ночью, словно среди дня они стыдятся своего убожества.

Он привез их домой, на улицу Святых Мучеников, и они молча поднялись к себе. Для нее все было кончено. А он думал о том, что к десяти часам ему надо быть в министерстве.

Она снимала накидку перед зеркалом, чтобы еще раз увидеть себя во всем блеске. И вдруг вскрикнула. Ожерелья не было у нее на шее!

Муж, уже полураздетый, спросил:

— Что с тобой такое?

Она потерянно обернулась к нему.

— Со мною... у меня... у меня пропало ожерелье госпожи Форестье.

Он растерянно вскочил с места:

— Как!.. Что такое?.. Не может быть!

Они стали искать в складках платья, в складках накидки, в карманах, везде. И ничего не нашли.

Он спросил:

— Ты помнишь, что оно у тебя было, когда мы уходили с бала?

— Да, я его трогала в вестибюле министерства.

— Но если б ты его потеряла на улице, мы бы услышали, как оно упало. Значит, оно в фиакре.

— Да. Скорее всего. Ты запомнил номер?

— Нет. А ты тоже не посмотрела?

— Нет.

Они долго глядели друг на друга, убитые горем. Потом Луазель оделся.

— Пойду,— сказал он,— проделаю весь путь, который мы прошли пешком, посмотрю, не найдется ли ожерелье.

И он вышел. Она так и осталась в бальном платье, не в силах лечь, так и застыла на месте, словно мертвая, не зажигая огня.

Муж вернулся к семи часам утра. Он ничего не нашел.

Затем он побывал в полицейской префектуре, в редакциях газет, где дал объявление о пропаже, на извозчичьих стоянках — словом, всюду, куда его толкала надежда.

Она ждала весь день, все в том же отупении перед страшным несчастьем, которое над ними стряслось.

Луазель вернулся вечером бледный, осунувшийся: ему не удалось ничего узнать.

— Надо написать твоей приятельнице,— сказал он,— что ты сломала замочек и отдала его исправить. Этим мы выиграем время, чтобы как-нибудь извернуться.

Она написала письмо под его диктовку.

К концу недели они потеряли всякую надежду, и Луазель, постаревший лет на пять, объявил:

— Надо возместить эту потерю.

На следующий день, захватив с собой футляр, они отправились к ювелиру, фамилия которого стояла на крышке. Тот порылся в книгах:

— Это ожерелье, сударыня, куплено не у меня; я продал только футляр.

Тогда они стали ходить от ювелира к ювелиру, в поисках точно такого же ожерелья, советуясь друг с другом, оба еле живые от горя и тревоги.

В одном магазине они нашли колье, которое им показалось точь-в-точь таким, какое они искали. Оно стоило сорок тысяч франков. Им его уступали за тридцать шесть тысяч.

Они попросили ювелира не продавать это ожерелье в течение трех дней и поставили условием, что его вернут обратно за тридцать четыре тысячи франков, если первое ожерелье будет найдено до конца февраля.

У Луазеля было восемнадцать тысяч франков, которые оставил ему отец. Остальное он решил занять.

И он стал занимать деньги, выпрашивая тысячу франков у одного, пятьсот у другого, сто франков здесь, пятьдесят франков там. Он давал расписки, брал на себя разорительные обязательства, познакомился с ростовщиками, со всякого рода заимодавцами. Он закабалился до конца жизни, ставил свою

подпись на векселях, не зная даже, сумеет ли он выпутаться, и, подавленный грядущими заботами, черной нуждой, которая надвигалась на него, перспективой физических лишений и нравственных мук, поехал за новым ожерельем и выложил торговцу на прилавок тридцать шесть тысяч.

Когда г-жа Луазель отнесла ожерелье г-же Форестье, та сказала ей недовольным тоном:

— Что же ты держала его так долго, оно могло понадобиться мне.

Она даже не раскрыла футляра, чего так боялась ее подруга. Что она подумала бы, что сказала бы, если бы заметила подмену? Может быть, сочла бы ее за воровку?

Госпожа Луазель узнала страшную жизнь бедняков. Впрочем, она сразу же героически примирилась со своей судьбой. Нужно выплатить этот ужасный долг. И она его выплатит. Рассчитали прислугу, переменили квартиру — наняли мансарду под самой крышей.

Она узнала тяжелый домашний труд, ненавистную кухонную возню. Она мыла посуду, ломая розовые ногти об жирные горшки и кастрюли. Она стирала белье, рубашки и полотенца, потом развешивала их на веревке; каждое утро выносила на улицу сор, таскала воду, останавливаясь передохнуть на каждой площадке. Одетая, как женщина из простонародья, с корзиной в руке, она ходила по лавкам — в булочную, в мясную, в овощную, торговалась, бранилась с лавочниками, отстаивала каждое су из своих нищенских средств.

Каждый месяц надо было платить по одним векселям, возобновлять другие, выпрашивать отсрочку по третьим.

Муж работал вечерами, подводя баланс для одного коммерсанта, а иногда ночей не спал, переписывая рукописи по пяти су за страницу.

Такая жизнь продолжалась десять лет.

Через десять лет они все выплатили, решительно все, даже грабительский рост, даже накопившиеся сложные проценты.

Госпожа Луазель сильно постарела. Она стала шире в плечах, жестче, грубее, стала такою, какими бывают хозяйки в бедных семьях. Она ходила растрепанная, в съехавшей на сторону юбке, с красными руками, говорила громким голосом, сама мыла полы горячей водой. Но иногда, в те часы, когда муж бывал на службе, она садилась к окну и вспоминала тот бал, тот вечер, когда она имела такой успех и была так обворожительна.

Что было бы, если бы она не потеряла ожерелья? Кто знает? Кто знает? Как изменчива и капризна жизнь! Как мало нужно для того, чтобы спасти или погубить человека!

Как-то в воскресенье, выйдя прогуляться по Елисейским полям, чтобы отдохнуть от трудов целой недели, она вдруг увидела женщину, которая вела за руку ребенка. Это была г-жа Форестье, все такая же молодая, такая же красивая, такая же очаровательная.

Госпожа Луазель взволновалась. Заговорить с ней? Конечно, да. Теперь, когда она выплатила долг, можно все рассказать. Почему бы нет?

Она подошла ближе.

— Здравствуй, Жанна.

Но госпожа Форестье не узнавала бывшую подругу. Удивленная, что какая-то простолюдинка так запросто называет ее по имени, она пролепетала:

— Но... сударыня... я не знаю... Вы, верно, ошиблись.

— Нет. Я — Матильда Луазель.

Ее приятельница ахнула:

— Бедная моя Матильда, как ты изменилась!..

— Да, мне пришлось пережить трудное время, с тех пор как мы с тобой расстались. Я много видела нужды... и все из-за тебя!..

— Из-за меня? Каким образом?

— Помнишь то бриллиантовое ожерелье, что ты дала мне надеть на бал в министерстве?

— Помню. Ну и что же?

— Так вот, я его потеряла.

— Как! Ты же мне вернула его.

— Я вернула другое, точно такое же. И вот уже десять лет, как мы за него выплачиваем долг. Ты понимаешь, как нам трудно пришлось, у нас ничего не было... Теперь с этим покончено, и сказать нельзя, как я этому рада.

Госпожа Форестье остановилась как вкопанная.

— Ты говоришь, вы купили новое ожерелье взамен моего?

— Да. А ты так ничего и не заметила? Они были очень похожи.

И она улыбнулась торжествующе и простодушно.

Госпожа Форестье в волнении схватила ее руки.

— О бедная моя Матильда! Ведь мои бриллианты были фальшивые! Они стоили самое большее пятьсот франков!..

В порту

Он знавал и лучшие дни, несмотря на то что был калекой и нищим.

Ему было пятнадцать лет, когда на большой дороге в Варвиль ему раздавило обе ноги телегой. С тех пор он питался подаянием, бродя по дорогам и по дворам фермеров, раскачиваясь на костылях, от которых плечи у него поднимались до самых ушей. Голова пряталась между ними, как между двумя горами.

Он был подкидыш: кюре из Бильет нашел его в канаве в канун дня всех святых и окрестил потому Николá Туссэн[1]. Сирота, которого кормили из милости и никогда ничему не учили, потом калека — он попал под телегу, выпив несколько стаканчиков водки, которой его для смеху угостил деревенский булочник,— и с тех пор, бездомный бродяга, он не умел ничего делать, как только протягивать руку за подаянием.

Когда-то баронесса д'Авари разрешала ему ночевать на ферме, примыкавшей к замку, в набитой соломой конуре, возле курятника, и он знал, что в те дни, когда уж очень станет донимать голод, для него всегда найдется на кухне кусок хлеба и стакан сидра. Иной раз ему перепадало и несколько медных монет: старая дама бросала их ему с высокого крыльца или из окна своей комнаты. Но она уже давно умерла.

В деревнях ему не подавали,— слишком он всем был знаком, он всем намозолил глаза за те сорок лет, что слонялся от лачуги к лачуге, волоча на двух деревяшках свое изуродован-

[1] Туссэн *(франц.* Toussaint) — буквально: день всех святых.

ное и прикрытое лохмотьями тело. Но покидать эти места он не хотел,— он ничего не знал на земле, кроме трех-четырех деревушек, в которых прошла вся его жалкая жизнь. Он обвел границей территорию своего нищенства; ему и в голову не приходило, что можно переступить черту, которой до сих пор он никогда еще не переступал.

Что было там, за деревьями, замыкавшими его кругозор, и было ли там что-нибудь, он не знал. Он не задумывался над этим. И когда крестьяне, которым надоело вечно натыкаться на него то на краю поля, то на обочине дороги, кричали ему: «Ну что ты в другую деревню не пойдешь, нет тебе места, как только тут клянчить!» — он не отвечал и торопливо уходил прочь, охваченный неясным страхом перед неизвестным, страхом, который заставляет бедняка смутно опасаться тысячи вещей — новых лиц, бранных криков, подозрительных взглядов, а пуще всего жандармов, расхаживающих по двое по дорогам: увидев их, он, сам не зная почему, спешил спрятаться за кустом или за грудой щебня.

Стоило им замаячить вдали, поблескивая галунами на солнце, и у него появлялось удивительное проворство, как у зверя, которого травят. Он соскальзывал с костылей, шлепался, как тряпка, наземь, съеживался, становился крохотным, незаметным, прижимался к земле, как залегший в поле заяц, и его бурые лохмотья сливались с почвой.

А между тем у него никогда не было столкновений с полицией. Но этот страх и эта хитрость сидели у него в крови, словно он унаследовал их от своих родителей, которых никогда не видал.

У него не было пристанища, не было крова — даже какого-нибудь шалаша, даже какой-нибудь норы. Летом он спал где попало, а зимой с необыкновенной ловкостью забирался куда-нибудь в амбар или в конюшню. Он всегда успевал уйти раньше, чем его замечали. Он знал все лазейки, через которые можно было проникнуть в любой сарай, а руки у него от постоянного цепляния за костыли стали так сильны, что он мог, подтягиваясь на руках, вскарабкаться на сеновал; и там он, случалось, лежал, не выходя по четыре-пять дней, если ему перед тем удавалось насбирать достаточно провианта.

Он жил среди людей, как зверь в лесу,— никого не знал, никого не любил, а у крестьян встречал только равнодушное презрение и привычную враждебность. Его прозвали «Колокол», потому что на ходу он раскачивался между своими костылями, как колокол между двумя столбами.

Однажды случилось так, что он уже двое суток ничего не ел. Хватит, до коих же пор, на самом деле! Женщины, стоя на пороге, кричали ему еще издали:

— Уходи, уходи, проваливай! Трех дней не прошло, как я тебе кусок хлеба подала!

Он поворачивался на костылях и плелся к соседнему дому, где его ожидала такая же встреча.

Женщины, стоя в дверях своих домов, переговаривались друг с другом:

— Круглый год, что ли, кормить нам этого лодыря!..

Однако этому лодырю каждый день надо было есть.

Он обошел Сент-Илер, Варвиль и Бильет, не выпросив ни гроша, ни даже черствой корки. Оставалась одна надежда на Турноль, но туда было две мили по большой дороге, а он так устал, что не в силах был поднять руку, и в животе у него было так же пусто, как в кармане.

Все же он двинулся в путь.

Дело было в декабре, в полях носился холодный ветер и свистел в голых деревьях, а по низкому темному небу мчались тучи, торопясь неизвестно куда. Калека брел медленно, с трудом передвигая костыли, опираясь на единственную свою изуродованную ногу с кривой ступней, замотанной в лохмотья.

Время от времени он присаживался на краю канавы и отдыхал несколько минут. Голод наполнял тоской его темную, неповоротливую душу. Одна мысль владела им — «поесть», но он не знал, как этого добиться.

Три часа он тащился по бесконечной дороге; завидев деревья на краю села, он заковылял быстрей.

Первый же крестьянин, который попался ему навстречу и у которого он попросил милостыни, закричал на него:

— Ты опять тут, попрошайка! Когда же мы от тебя избавимся?

И Колокол покорно отошел. В какую дверь он ни стучался, всюду его осыпали бранью и отсылали с пустыми руками. Все же он переходил от дома к дому, терпеливый и упорный. Он не собрал ни гроша.

Потом он побрел на фермы, увязая в размокшей от дождя земле, еле переставляя от усталости костыли. Отовсюду его прогоняли. То был один из тех холодных хмурых дней, когда сердце у человека замкнуто и ум ожесточен, когда рука не протягивается ни для того, чтобы дать, ни для того, чтобы оказать помощь.

Обойдя все знакомые фермы, он сел на краю канавы возле усадьбы фермера Шике. Он «снялся с петель»,— так о нем говорили, стараясь этими словами изобразить, как он вдруг соскальзывал наземь со своих высоких костылей,— мучась от голода, но не постигая тупым умом всей глубины своего несчастья.

Он ждал, сам не зная чего, с той неясной надеждой, которая вечно тлеет в сердце человека. Сидя у канавы, на ледяном ветру, он ждал той чудодейственной помощи, которой мы никогда не перестаем ждать от неба или от людей, не задавая себе вопроса, как и почему и через кого она может прийти. Мимо него прошла стайка черных кур: они копошились в земле, кормилице всего живого. То и дело они приостанавливались и ударом клюва подхватывали зернышко или неразличимую для человеческих глаз букашку, потом продолжали свои неторопливые, уверенные поиски.

Колокол смотрел на них, не думая ни о чем; затем, скорей в желудке, чем в мозгу, у него зародилась не мысль, а так, глухое ощущение, что курица, если ее зажарить на костре из сухого валежника, будет очень вкусной.

Мысль, что он совершает воровство, даже не коснулась его сознания. Он нашел возле себя камень и швырнул в ту, что была поближе, и так как он был очень ловок, то уложил ее на месте. Курица повалилась на бок, трепыхая крыльями. Остальные разбежались, покачиваясь на тонких лапках, а Колокол, снова подвесившись на костыли и походкой, очень напоминавшей куриную, заковылял, чтобы подобрать свою добычу.

Он уже приблизился к маленькому черному тельцу с перепачканной в красное головкой, как вдруг страшный толчок в спину вышиб у него из рук костыли и заставил отлететь на десять шагов в сторону. И фермер Шике, со всею яростью обворованного крестьянина, набросился на грабителя, колотя его по чему попало кулаками и ногами с бешеной силой, избивая смертным боем бессильного защититься калеку.

На подмогу хозяину сбежались работники и тоже принялись колотить нищего. Наконец, уморившись, они подняли его, оттащили в дровяной сарай и заперли там, в ожидании, пока придут жандармы: за ними уже кого-то послали.

Колокол лежал на земле, полумертвый, окровавленный, умирающий от голода. Настал вечер, потом ночь, потом утро. Он все еще ничего не ел.

В полдень явились жандармы и со всяческими предосторожностями отворили дверь. Они ожидали сопротивления, так

как, по рассказам Шике, выходило, что бродяга сам напал на него и фермеру только с большим трудом удалось отбиться.

Бригадир скомандовал:

— Встать!

Но Колокол был не в силах пошевелиться. Он, правда, сделал попытку подняться, но безуспешно. Это было принято за хитрость, притворство, за уловку закоренелого преступника, и двое вооруженных мужчин грубо схватили его и силой поставили на костыли.

Его обуял страх, врожденный страх перед желтой перевязью жандарма, страх, который испытывает дичь при виде охотника, мышь — при виде кошки. И сверхъестественным усилием он удержался на костылях.

— Марш! — крикнул бригадир.

И он зашагал. Все обитатели фермы собрались посмотреть, как его уводят. Женщины грозили ему кулаками. Мужчины зубоскалили и ругались: «Сцапали, голубчика! Наконец-то! Туда ему и дорога!»

Он шел, а по бокам шли жандармы. Его поддерживала энергия отчаяния, и до вечера он кое-как плелся по дороге, оглушенный, не понимая, что с ним случилось, да с перепугу и неспособный ничего понять.

Встречные крестьяне останавливались и бормотали, провожая его взглядом:

— Видать, вора поймали!

К ночи добрались до города. Он никогда тут раньше не бывал. Он совсем не представлял себе, ни что происходит сейчас, ни что ждет его дальше. Все было неожиданным и страшным — все эти новые лица и незнакомые дома.

Он молчал: ему нечего было сказать, потому что он решительно ничего не понимал. Да к тому же он столько лет ни с кем не разговаривал, что почти утратил дар речи; и мысли его были слишком смутны, чтобы их можно было облечь в слова.

Его отвели в городскую тюрьму. Жандармам не пришло в голову, что ему надо дать поесть, и его заперли до завтра.

Но когда на другой день рано утром пришли звать его на допрос, он лежал на полу мертвый. Какая неожиданность!

Мы только что весело пообедали в мужской компании. Один из участников обеда, старый мой приятель, сказал мне:

— Давай пройдемся пешком по Елисейским полям.

И мы пошли медленным шагом по длинной аллее, под деревьями, едва опушенными листвой. Кругом ни звука, только обычный глухой и неустанный гул Парижа. Свежий ветерок веял в лицо, по черному небу золотой пылью были рассыпаны мириады звезд.

Спутник мой заговорил:

— Сам не знаю отчего, здесь мне ночью дышать вольнее, чем где-либо. И легче думать. У меня здесь бывают минуты такого озарения, когда чудится, что вот-вот проникнешь в божественную тайну мироздания. Потом просвет исчезает. И все кончается.

Временами мимо нас, прячась под деревьями, скользили две тени; мы проходили мимо скамеек, где двое, сидя рядом, сливались в одно черное пятно.

Мой приятель вздохнул:

— Бедные люди! Они внушают мне не отвращение, а безмерную жалость. Из всех загадок человеческого бытия я разгадал одну: больше всего страдаем мы в жизни от вечного одиночества, и все наши поступки, все старания направлены на то, чтобы бежать от него. И они, эти любовники, приютившиеся на скамейках под открытым небом, подобно нам, подобно всем живым тварям, стремятся хотя бы на миг не чувствовать себя одинокими; но они, как и мы, всегда были и будут одиноки.

Иные ощущают это сильнее, другие слабее — вот и вся разница.

С некоторых пор меня мучает жестокое сознание страшного одиночества, в котором я живу и от которого нет, слышишь ты, нет спасения!

Что бы мы ни делали, как бы ни метались, каким бы ни был страстным порыв наших сердец, призыв губ и пыл объятий,— мы всегда одиноки.

Я уговорил тебя пойти погулять, чтобы не возвращаться домой, потому что мне теперь нестерпимо безлюдье моего жилища. Но чего я достиг? Я говорю, ты слушаешь, и оба мы одиноки, мы рядом, вместе, но мы одиноки. Понимаешь ты это?

Блаженны нищие духом, сказано в Писании. Им кажется, что они счастливы. Им, этим нищим духом, непонятна наша одинокая тоска, они не бредут по жизни, как я, не зная другой близости, кроме мимолетных встреч, не зная другой радости, кроме самодовольного сознания, что я, именно я увидел, понял, разгадал и выстрадал сознание нашей непоправимой вечной разобщенности.

По-твоему, у меня голова не в порядке? Выслушай меня. С тех пор как мне стало ясно, до какой степени я одинок, мне кажется, будто изо дня в день я все глубже спускаюсь в угрюмое подземелье, стен его я не могу нащупать, конца ему я не вижу, да и нет у него, быть может, конца! Я иду, и никто не идет вместе со мной, рядом со мной, никто, кроме меня, не обречен свершать столь мрачный путь. Это подземелье — жизнь. Временами мне слышится шум, голоса, крики... Я ощупью пробираюсь навстречу этим невнятным звукам. Но я не знаю, откуда они доносятся; я никого не встречаю, никто в глухих потемках не протягивает мне руки. Понимаешь ты меня?

Бывали порой люди, которые угадывали эту нестерпимую муку. Мюссе восклицал:

Кто-то зовет меня, шепчет уныло...
Кто-то вошел. Моя келья пуста.
Нет никого, это полночь пробило...
О, одиночество! О, нищета! [1]

Но у него это была лишь случайная догадка, а не бесповоротная уверенность, как у меня. Он был поэт; он населял жизнь видениями и мечтами. Он никогда не был по-настоящему одинок. Вот я — я одинок!

Недаром Гюстав Флобер, один из величайших несчастливцев в мире, потому что он был одним из величайших ясновид-

[1] Перевод А. Н. Апухтина.

цев, написал женщине-другу такие безнадежные строки: «Все мы живем в пустыне, никто никого не понимает».

Да, никто никого не понимает, что бы люди ни воображали, ни говорили, ни пытались сделать. Ведь не знает земля, что творится вон там, на звездах, огненным зерном разметанных на таком далеком пространстве, что до нас доходит сияние только немногих из них, а несметные полчища остальных затеряны в беспредельности, и при этом таких близких между собой, что, быть может, они составляют единое целое, молекулы одного тела.

Так вот, человек столько же знает о том, что творится в другом человеке. Мы дальше друг от друга, чем звезды небесные, а главное, больше разобщены, потому что мысль непостижима.

Какая это пытка — постоянно соприкасаться с теми, кого нам не дано понять! И любим мы так, словно нас приковали рядом, к одной стене, и мы простираем друг к другу руки, но соединиться не можем. Мучительная потребность полного слияния томит нас, но все усилия наши бесполезны, порывы напрасны, признания бесплодны, объятия бессильны, ласки тщетны. Стремясь слиться воедино, мы устремляемся друг к другу и лишь ушибаемся друг о друга.

Сильнее всего ощущаю я одиночество, когда раскрываю сердце другу, потому что непреодолимость преграды становится мне тогда еще виднее. Вот он здесь, передо мной, смотрит на меня ясным взглядом, но душа, скрытая за этим взглядом, недоступна мне. Он слушает меня. А что он думает? Да, что он думает? Понимаешь ты, как это страшно? Что, если он ненавидит меня? Или презирает? Или издевается над мной? Он обдумывает мои слова, порицает меня, осуждает, решает, что я ограничен или глуп. Как узнать, что он думает? Как узнать, любит ли он меня, как я люблю его? Какими мыслями полна эта круглая, как шар, голова? Что за непостижимая тайна — неведомая мысль другого человека, скрытая и вольная мысль, которую мы не можем ни узнать, ни направить, ни подчинить, ни побороть!

А сам я, сколько ни стараюсь отдаться весь, целиком, распахнуть настежь двери моей души — я не могу открыться до конца. Где-то в глубине, в самой глубине остается тот тайник моего «я», куда нет доступа никому. Никому не дано найти его, проникнуть в него, потому что никто не похож на меня, никто никого не понимает.

А ты, понимаешь ты меня хоть сейчас? Нет, ты считаешь, что я не в своем уме! Ты наблюдаешь меня со стороны, и я чужд тебе! Ты думаешь: «Что это с ним сегодня?» Но если когда-нибудь ты постигнешь, разгадаешь до конца мою ужасную и утонченную муку, приди и скажи только: «Я понял тебя!» И ты сделаешь меня счастливым хотя бы на миг.

Женщины, как никто, заставляют меня ощущать одиночество.

Горе мне! Горе! Сколько я выстрадал из-за них, потому что они чаще и больше, чем мужчины, создавали мне иллюзию, будто я не одинок!

Когда приходит Любовь, душа наполняется неземным блаженством. А знаешь почему? Знаешь, отчего это ощущение огромного счастья? Только оттого, что мы воображаем, будто пришел конец одиночеству. Мы думаем, что перестанем быть заброшенными, затерянными в мире. Какое заблуждение!

Еще больше, чем нас, чем наши одинокие сердца, терзает вечная жажда любви женщину — женщину, этот великий обман Мечты.

Ты и сам переживал чудесные часы подле этих длинноволосых чаровниц с влекущим взглядом. Какой бред туманит наш рассудок! Какое самообольщение увлекает нас!

Не правда ли, так и кажется, что сейчас, сию минуту, мы с ней будем одно. Но эта минута не наступает никогда, и после долгих недель ожиданий, надежд, обманчивых наслаждений приходит день, когда я остаюсь одинок, более одинок, чем прежде.

С каждым поцелуем, с каждым объятием отчуждение растет. И как это больно, как ужасно!

Ведь написал же один поэт, господин Сюлли Прюдом:

> О трепет ласк людских! Как жалок твой удел,
> Беспомощной любви бесплодная попытка
> Достичь слиянья душ в сплетенье наших тел... [1]

А затем — прощай! Все кончено. И уже с трудом узнаешь ту женщину, которая была для нас всем в какую-то минуту нашей жизни и в чей сокровенный и, может статься, пошлый внутренний мир нам так и не удалось заглянуть!

Даже в минуты таинственного слияния двух существ, полного смешения чувств и желаний, когда я, казалось, проникал

---

[1] Перевод Б. В. Горнунга.

до самых недр ее души, одно слово, маленькое словечко, показывало мне, как я заблуждался, и, точно молния во мраке, освещало бездну, зияющую между нами.

И все-таки лучшая отрада на земле — провести вечер подле любимой женщины, ничего не говоря и чувствуя себя почти счастливым от одного ее присутствия. Не будем требовать большего, ибо полное единение двух человеческих существ невозможно.

Я же теперь замкнулся в себе. Я не говорю уже никому, во что верю, что думаю, что люблю. Зная, что я обречен на жестокое одиночество, я смотрю на окружающий меня мир и никогда не высказываю своего суждения. Какое мне дело до человеческих мнений, распрей, удовольствий, верований! Я не могу приобщиться к чужим чувствам и охладел ко всему. Мой внутренний мир, незримый для всех, для всех недоступен. На обыденные вопросы я отвечаю общими фразами и улыбкой, которая говорит «да», когда у меня нет охоты тратить слова.

Ты понял меня?

Мы прошли всю аллею вплоть до Триумфальной арки, потом вернулись к площади Согласия, так как излагал он все это очень медленно и говорил еще многое другое, чего я не запомнил.

Вдруг он остановился и указал рукой на высокий гранитный обелиск, стоящий посреди парижской площади и своим длинным египетским профилем уходящий в звездное небо, на одинокий памятник, отторгнутый от родины, история которой диковинными письменами запечатлена на его гранях.

— Смотри, мы все подобны этому камню,— промолвил мой приятель.

И ушел, не добавив ни слова.

Был ли он пьян? Был он безумец? Или мудрец? До сих пор не могу решить. Иногда мне кажется, что он был прав; иногда — что неправ; а иногда — что он потерял рассудок.

Море бьет в берег короткой однозвучной волной. Белые облачка, словно птицы, проносятся по необъятному синему небу, гонимые стремительным ветром; в изгибе долины, сбегающей к океану, греется на солнце деревня.

У самой околицы стоит домик Мартен-Левеков, в стороне от других, на краю дороги. Это рыбацкая лачужка с глиняными стенами и соломенной кровлей, увенчанной голубыми ирисами. Перед дверью — квадратный огородик величиной с платок, где растет лук, несколько кочанов капусты, петрушка и кервель. Плетень отделяет огород от дороги.

Хозяин на рыбной ловле, а жена перед домом чинит большую бурую сеть, растянутую на стене, словно громадная паутина. У калитки, на колченогом соломенном стуле, припертом спинкой к плетню, сидит девочка лет четырнадцати и чинит белье — не раз уже латанное и штопанное белье бедняков. Другая девочка, годом моложе, укачивает на руках грудного ребенка, еще бессловесного, еще не знающего осмысленных движений; а двое карапузов, двух и трех лет, сидя нос к носу прямо на земле, роют неловкими ручонками ямки и кидают друг другу в лицо пригоршни пыли.

Никто не произносит ни слова. Только малыш, которого стараются укачать, не умолкая плачет пискливым и слабым голоском. На окошке дремлет кот. У стены дома нарядной каймой распушились белые левкои, а над ними жужжит целое сонмище мошкары.

Вдруг девочка, которая штопает у калитки, окликает:

— Ма-ма!

— Чего тебе? — отзывается мать.

— Опять он тут!..

С самого утра они тревожатся, потому что вокруг дома все бродит какой-то человек — старый человек, похожий на нищего. Они заметили его, когда провожали отца к лодке, чтобы помочь ему погрузиться. Человек сидел у канавы против их двери. Вернувшись с берега, они застали его на том же месте; он сидел и смотрел на их дом.

Казалось, он болен и очень измучен. Более часу он сидел не шевелясь; потом, заметив, что его подозревают в дурных умыслах, поднялся и ушел, волоча ноги.

Но вскоре они увидели, что он возвращается медленным и усталым шагом: он снова уселся, на этот раз немного подальше, словно собирался подсматривать за ними.

Мать и девочки испугались. Особенно встревожилась мать, потому что она от природы была боязлива, а тут еще хозяин ее, Левек, должен был вернуться не раньше вечера.

Мужа ее звали Левек, а сама она носила фамилию Мартен, и их окрестили Мартен-Левеки. И вот по какой причине: в первый раз она вышла замуж за моряка Мартена, который каждое лето отправлялся к Ньюфаундленду на ловлю трески.

За два года замужества она родила от него дочку и была беременна на седьмом месяце, когда пропало судно «Две сестры», трехмачтовая шхуна из Дьеппа, на которой плавал ее муж.

О шхуне так и не было больше вестей; никто из находившихся на ней моряков не вернулся, и все решили, что она затонула с людьми и грузом.

Тетка Мартен десять лет ждала своего мужа и с великим трудом растила двух дочерей; женщина она была хорошая, работящая, и к ней посватался один из местных рыбаков, Левек,— вдовец с маленьким сыном. Они поженились; за три года она родила от него еще двоих детей.

Жизнь у них была тяжкая и многотрудная. Хлеб в их доме ценили дорого, а мяса почти не видали. Случалось, они должали булочнику — зимой, в ненастные морозы. Ребята все же росли здоровыми. Люди говорили:

— Славные они оба, Мартен-Левеки. Тетка Мартен работы не боится, а Левек в рыбацком деле любого за пояс заткнет.

Девочка, сидевшая у плетня, заговорила опять:

— Похоже, он знает нас. А может, это нищий из Эпревиля, а не то из Озебоска.

Но тут мать не могла ошибиться. Нет, нет, это человек не здешний, наверняка!

Он все торчал у дороги, как пень, упрямо уставившись на дом Мартен-Левеков, и тетка Мартен наконец разъярилась; со страху набравшись храбрости, она схватила лопату и вышла за порог.

— Вам чего тут надо? — крикнула она бродяге.

Он отвечал хриплым голосом:

— Да вот сижу на холодке. Разве я вам мешаю?

Она продолжала:

— Что это вы будто подглядывать пришли к моему дому?

— Худого я никому не делаю,— отвечал он.— Нельзя на дороге посидеть, что ли?

Она не нашлась, что ответить, и вернулась домой.

День тянулся медленно. К полудню человек исчез. Но в пять часов он вновь появился. Вечером его уже не видели.

Левек вернулся к ночи. Ему обо всем рассказали. Он решил:

— Верно, разнюхивать пришел, дурной человек, должно быть.

И он спокойно лег спать, а его подруга все думала о бродяге, который смотрел на нее такими странными глазами.

На рассвете подул сильный ветер, и рыбак, видя, что нельзя выйти в море, принялся вместе с женой чинить сети.

Часов в девять старшая девочка, та, что от Мартена, ходившая за хлебом, вернулась бегом, перепуганная, и закричала:

— Мама, опять он тут!

Мать, вся побледнев от волнения, обернулась к мужу:

— Ступай, Левек, поговори с ним. Пусть он бросит подглядывать, а то я прямо сама не своя.

И Левек, дюжий моряк с кирпично-красным лицом и густой рыжей бородой, с голубыми глазами, словно проколотыми черной точкой зрачка, и с крепкой, всегда тепло укутанной шеей — в защиту от дождя и морского ветра,— спокойно вышел и направился к прохожему.

Они заговорили.

Мать с детьми издали смотрели на них в смятении и тревоге.

Вдруг незнакомец поднялся и вместе с Левеком направился к дому. Тетка Мартен испуганно попятилась. Муж сказал:

— Дай-ка ему ломоть хлеба да кружку сидра. У него два дня крошки во рту не было.

И оба вошли в дом, а за ними — женщина и дети. Прохожий сел и принялся есть, опустив голову под устремленными на него пристальными взорами.

Мать стоя разглядывала его, две старшие девочки — мартеновские, одна с малышом на руках,— прислонились к дверям и с жадным любопытством уставились на чужака, а два карапуза, сидевшие в очаге на остывшей золе, перестали играть черным котелком, будто и они хотели посмотреть на нового человека.

Левек сел и спросил:

— Так, значит, вы издалека?

— Из Сетта.

— И все пешком?

— Пешком. Платить нечем, так поневоле пойдешь.

— Куда же вы?

— Я сюда шел.

— У вас тут есть кто-нибудь?

— Может, и есть.

Они замолчали. Человек, хоть был голоден, ел медленно и каждый кусок хлеба запивал глотком сидра. Лицо у него было измученное, морщинистое, костлявое. Видно, он перенес много тяжелого.

Левек вдруг спросил:

— А как вас звать?

Он ответил, не поднимая головы:

— Меня звать Мартеном.

Странная дрожь пробежала по телу матери. Она шагнула вперед, словно хотела получше разглядеть бродягу, и остановилась перед ним, уронив руки, раскрыв рот. Никто не произносил ни слова. Наконец Левек снова заговорил:

— Вы здешний?

Тот ответил:

— Здешний.

Он поднял наконец голову; глаза женщины и его глаза встретились и остановились недвижно, взгляды соединились, будто притянутые один к другому.

И вдруг она тихо произнесла задрожавшим, изменившимся голосом:

— Это ты, муженек?

Он медленно ответил:

— Да, я.

Он продолжал сидеть и жевать хлеб.

Левек, не то что взволнованный, а скорей удивленный, пробормотал:

— Это ты, Мартен?

Тот просто ответил:

— Да, я.

Второй муж спросил:

— Откуда же ты взялся?

Первый рассказал:

— С африканского берега. Мы наскочили на мель. Трое нас спаслось — Пикар, Ватинель и я. Потом дикари схватили нас и держали у себя двенадцать лет. Пикар и Ватинель померли. Один англичанин-путешественник проезжал по тем местам, он забрал меня с собою и довез до Сетта. Вот я и пришел.

Тетка Мартен расплакалась, уткнувшись лицом в передник.

Левек сказал:

— Как же нам теперь быть?

— Ты что, ее муж? — спросил Мартен.

— Да, муж,— ответил Левек.

Они взглянули друг на друга и замолчали. Потом Мартен, оглядев детей, собравшихся вокруг него, кивнул головой в сторону двух девочек:

— Это мои?

— Твои,— подтвердил Левек.

Мартен не встал с места, не обнял их; он только заметил:

— Господи, большие-то какие!

Левек повторил:

— Как же нам быть теперь?

Мартен раздумывал, тоже не зная, как поступить. Наконец он решился:

— Что ж, говори, я сделаю по-твоему. Я тебе зла не желаю. Только с домом вот неладно выходит. Ребята... у меня двое, у тебя трое — каждому свои. Вот мать их — то ли твоя она, то ли моя? Как ты захочешь, так и будет. Ну, а уж домто мой, он мне от отца достался, тут я родился, и бумаги все у нотариуса есть.

Тетка Мартен все плакала, отрывисто всхлипывая, и прятала лицо в голубой холщовый передник. Старшие девочки придвинулись поближе друг к дружке, с беспокойством разглядывая отца.

Мартен кончил есть. Теперь он, в свою очередь, спросил:

— Как же нам быть?

Левеку пришла в голову мысль:

— Пойдем к священнику, он и рассудит.

Мартен встал, и, когда он шагнул в сторону жены, та, рыдая, бросилась, к нему на грудь:

— Муженек! Ты тут! Мартен, бедняга мой, ты тут!

И она обхватила его обеими руками, вдруг всем существом ощутив веяние давно минувшего, потрясенная силой воспоминаний, которые воскресили перед ней ее юные годы и первые объятия.

Мартен тоже растрогался и несколько раз поцеловал ее в чепец. Оба мальчугана, сидевшие в очаге, заревели в один голос, услышав, как плачет мать, а самый маленький, на руках у младшей дочки Мартенов, пронзительно завизжал, как фальшивая дудка.

Левек стоя ждал.

— Пойдем,— сказал он,— надо все устроить как полагается.

Мартен выпустил жену из объятий. Заметив, что он смотрит на дочек, мать сказала им:

— Чего ж вы? Поцелуйте отца.

Они подошли вместе, без единой слезинки, недоумевая и немного побаиваясь. Он чмокнул одну вслед за другой в обе щеки, неумело, по-крестьянски. Малыш, увидев, что к нему приближается чужой человек, залился таким неистовым плачем, что его чуть не схватили судороги.

Затем мужчины вышли вдвоем.

Когда они проходили мимо кабачка «Торговля», Левек спросил:

— А не выпить ли нам по стаканчику?

— Что же, я не прочь,— согласился Мартен.

Они вошли, уселись в пустой еще комнате, и Левек закричал:

— Эй! Шико! Два стаканчика настойки, да покрепче: Мартен вернулся, Мартен моей жены. Знаешь, Мартен с «Двух сестер», который пропал?

Держа в одной руке три стакана, а в другой бутылку, подошел кабатчик — толстобрюхий, багровый, заплывший жиром — и невозмутимо спросил:

— Смотри-ка! Ты вернулся, Мартен?

— Вернулся,— ответил Мартен.

I

И что за странная мысль пришла мне в этот вечер — избрать королевой мадемуазель Перль!

Каждый год я встречаю крещенский сочельник у нашего старинного друга Шанталя. Мой отец, его близкий приятель, водил меня к нему, когда я еще был мальчиком. Я же посещаю и, вероятно, буду посещать его до тех пор, пока я жив и пока существует на свете Шанталь.

Кстати, Шанталь ведут необычный образ жизни; они живут как будто не в Париже, а в каком-нибудь Грассе, Ивето или Пант-а-Муссоне.

У них особнячок с садом возле самой Обсерватории. Здесь они чувствуют себя дома, совсем как в провинции. Париж, настоящий Париж, им неведом; они даже не подозревают, каков он. Ведь они от него так далеко, так далеко! Впрочем, иногда они выезжают в город, и это целое событие. Как говорят в семье, г-жа Шанталь отправляется «делать закупки». Вот как это происходит.

Настает день, когда мадемуазель Перль, у которой хранятся ключи от кухонных шкафов (ключами от бельевых шкафов ведает сама хозяйка), мадемуазель Перль заявляет, что сахар на исходе, консервы кончились, а кофе осталось в мешке совсем немного.

И вот г-жа Шанталь, предупрежденная о том, что семье грозит голод, начинает проверять остатки и делает себе заметки в записной книжке; наставив множество всяких цифр, она

предается долгим вычислениям, а затем долгим спорам с мадемуазель Перль. Однако в конце концов они приходят к соглашению и окончательно устанавливают количество каждого продукта, каким необходимо запастись на три месяца: сахара, рису, чернослива, кофе, варенья, банок с зеленым горошком, фасолью, омарами, копченой и соленой рыбой и пр. и пр.

Затем назначается день для закупок и, наняв извозчичью карету, они едут в лавку солидного бакалейщика, находящуюся по ту сторону мостов, в новых кварталах.

Госпожа Шанталь и мадемуазель Перль, никому не сказавшись, уезжают вдвоем и возвращаются к обеду, взволнованные, измученные: их растрясло в карете, верх которой завален свертками и мешками, словно это фургон для перевозки багажа.

Шанталн считают весь район Парижа по ту сторону Сены новыми кварталами, где живут какие-то странные, шумливые, не очень почтенные люди; днем эти люди только и делают что развлекаются, ночами — кутят и вообще швыряют деньги на ветер. Все же время от времени молодых девушек вывозят в театр, в Комическую оперу, во Французскую Комедию, но лишь в том случае, если пьесу хвалит газета, которую выписывает г-н Шанталь.

Дочкам сейчас одной девятнадцать, другой семнадцать лет. Это красивые девушки, рослые и свежие, уж так хорошо воспитанные, такие чинные, такие безупречные, что смотришь на них, как на две красивые куклы. Никогда мне и в голову не пришло бы обратить особое внимание на барышень Шанталь или поухаживать за ними. С ними едва дерзаешь говорить, до того они непорочны. Раскланяться с ними — и то уж кажется неприличием.

Что же касается их отца, то это обаятельный человек, очень образованный, очень приветливый, очень сердечный, но больше всего на свете он любит мир, покой, тишину, и сам постарался превратить быт семьи в стоячее болото, чтобы жить по своему вкусу. Он много читает, охотно беседует, его легко растрогать. Полное отсутствие общения с людьми, трений, столкновений сделало крайне чувствительной его эпидерму, так сказать моральную эпидерму. Малейший пустяк волнует его, выводит из равновесия, заставляет страдать.

У Шанталей есть знакомые, но их круг весьма ограничен, и они тщательно отобраны среди ближайших соседей. Два-три раза в год семья обменивается визитами с родственниками, живущими далеко.

Что же касается меня, то я обычно обедаю у них пятнадцатого августа и в крещенский сочельник. Это для меня своего рода обряд, как для католика причастие на пасху. Пятнадцатого августа приглашают нескольких друзей; в крещенский сочельник — из посторонних один я.

II

Итак, в этом году я, по обычаю, обедал под крещение у Шанталей.

Как всегда, я расцеловался с г-ном Шанталем, г-жой Шанталь и мадемуазель Перль и отвесил глубокий поклон мадемуазель Луизе и мадемуазель Полине. Меня засыпали вопросами о городских происшествиях, о политике, о том, что говорят относительно положения дел в Тонкине, о наших представителях. Г-жа Шанталь, толстая дама — все ее мысли кажутся мне квадратными, наподобие каменных плит,— имела привычку, в виде заключительной фразы ко всякому политическому спору, вещать: «Вот увидите, все это добром не кончится!» Отчего я вообразил, что мысли г-жи Шанталь четырехугольные? Сам не знаю, но что бы она ни говорила, мне сейчас же рисуется квадрат с четырьмя симметричными углами. А есть люди, чьи мысли, в моем представлении, всегда катятся, словно обручи. Достаточно таким людям рот открыть — и пошло, покатилось, по десять, двадцать, пятьдесят круглых мыслей, больших, маленьких, одна за другой, до бесконечности. И есть люди, у которых мысли заостренные... Но дело не в этом!

Мы сели за стол, и обед прошел без всяких достойных внимания эпизодов.

Во время десерта на стол был подан крещенский сладкий пирог. Королем ежегодно оказывался г-н Шанталь. Был ли то неизменный каприз случая или же семейный заговор, не знаю, но хозяин всегда находил боб в своем куске праздничного пирога и непрестанно провозглашал королевой г-жу Шанталь. Поэтому я был весьма изумлен, когда откусил кусок пирога и ощутил какой-то твердый предмет, о который чуть не сломал себе зуб. Я осторожно извлек этот предмет изо рта и увидел маленькую фарфоровую куколку, не больше боба. Я вскрикнул от удивления. Все взглянули на меня, а Шанталь захлопал в ладоши и закричал:

— У Гастона! У Гастона! Да здравствует король! Да здравствует король!

Все повторили хором:

— Да здравствует король!

И я покраснел до корней волос, как иной раз краснеешь без причины, просто когда попадаешь в дурацкое положение. Я сидел, опустив глаза, осторожно держа двумя пальцами фарфоровую куколку, силясь улыбнуться, не зная, что делать, что сказать, а Шанталь продолжал:

— Теперь выбирай королеву.

Тогда я окончательно растерялся. Тысячи мыслей, тысячи соображений вихрем пронеслись в моей голове. Может быть, от меня ждали, чтобы я выбрал одну из барышень Шанталь? Может быть, это способ выведать, которой из них я отдаю предпочтение? Или незаметная, осторожная, деликатная попытка родителей подтолкнуть меня к возможному браку? Ведь мысль о браке постоянно бродит в домах, где есть взрослые барышни, и принимает всякие формы, прячется за всякими личинами, пользуется всякими уловками.

Мною овладели отчаянный страх связать себя и ужасная робость перед закоренелой, неприступной добродетелью Луизы и Полины. Предпочесть одну другой казалось мне столь же затруднительным, как сделать выбор между двумя каплями воды; кроме того, меня чрезвычайно смущали опасения, как бы не запутаться во всем этом, чтобы потом меня, против воли, деликатно и незаметно не довели до женитьбы с помощью неуловимых и безобидных махинаций вроде этой шутовской королевской власти.

Но вдруг меня осенила блестящая мысль, и я протянул символическую куколку мадемуазель Перль.

В первую минуту все удивились, но потом, вероятно оценив мою деликатность и скромность, стали бурно рукоплескать и кричать:

— Да здравствует королева! Да здравствует королева!

А она, бедная старая дева, совсем опешила. Растерянно, дрожащим голосом она лепетала:

— Нет... нет... нет... не меня! Пожалуйста... не меня... пожалуйста!

Тогда я впервые внимательно посмотрел на мадемуазель Перль и задал себе вопрос: что же она, собственно, собой представляет?

Я привык видеть ее в этом доме и не замечать, как не замечаешь привычные старые кресла, на которые садишься с детства. Но вот однажды, неизвестно почему,— то ли солнечный луч упал на сиденье,— вдруг говоришь себе: «А ведь это пре-

любопытное кресло!» И обнаруживаешь, что резьба сделана художественно, а обивка замечательная. Я никогда раньше не обращал внимания на мадемуазель Перль.

Она была членом семьи Шанталь, вот и все. Но почему? В качестве кого? Это была высокого роста худощавая женщина, она всегда старалась держаться в тени, но отнюдь не была бесцветной. Шанталь относились к ней дружески, она была, видимо, больше чем экономка, но меньше чем родственница. Теперь я вспомнил множество до сих пор мало интересовавших меня оттенков в отношении к ней. Г-жа Шанталь звала ее: «Перль», барышни — «мадемуазель Перль». Шанталь просто «мадемуазель», но, быть может, с оттенком большей почтительности.

Я стал рассматривать ее. Сколько же ей лет? Сорок? Да, пожалуй, лет сорок. Она вовсе не была старухой, эта старая дева, она себя старила. Я был неожиданно поражен этим открытием. Ее прическа, платья, украшения были смешны, и все же она отнюдь не казалась смешной, столько в ней было врожденного, бесхитростного изящества, стыдливо, тщательно скрываемого. Вот странное создание! Отчего я никогда не наблюдал за ней повнимательнее? Прическа ее была уродлива, с какими-то старушечьими буколькамн, но под этой стародевичьей прической белел высокий ясный лоб, пересеченный двумя морщинами — следами долгих печальных дум, и светились глаза, большие, голубые, кроткие, такие застенчивые, такие робкие, такие смиренные, чудесные глаза, сохранившие детскую наивность и полные девичьего изумления, юношеской чувствительности, полные скорби, глубоко пережитой, смягчившей их, но не затуманившей их блеска.

От всех ее черт веяло благородством и скромностью,— это было одно из тех лиц, которые блекнут не старея, оно не было опустошено ни усталостью от жизни, ни сильными страданиями!

Какой прелестный рот! А какие прелестные зубы! Но улыбнуться она, казалось, не осмеливается.

И вдруг я невольно сравнил ее с г-жой Шанталь! Конечно, мадемуазель Перль во сто раз лучше, тоньше, благороднее, величавее.

Я был поражен этими наблюдениями. Разлили шампанское. Я протянул мой бокал королеве и с галантным комплиментом провозгласил тост в ее честь.

Я заметил, что ей хочется закрыть лицо салфеткой; когда же она пригубила золотистую влагу, то все воскликнули:

— Королева пьет! Королева пьет!

Тогда она вспыхнула и поперхнулась. Все засмеялись, но я почувствовал, что в этой семье ее очень любят.

III

Как только обед кончился, Шанталь взял меня под руку. Наступил священный миг, когда он выкуривал сигару. Если он был один, то выходил курить на улицу. Если же бывали гости, то вместе с ними подымался в бильярдную и курил играя. В этот вечер, по случаю праздника, бильярдную даже протопили; мой старый друг, взяв особенно тонкий кий, натер его мелом и сказал:

— Тебе начинать, мой мальчик.

Он говорил мне «ты», хотя мне было уже двадцать пять лет, но он ведь знал меня еще ребенком.

Итак, я начал партию. Несколько ходов я сделал удачных; несколько промазал; но так как мысль о мадемуазель Перль не выходила у меня из головы, я вдруг спросил:

— Скажите, господин Шанталь, мадемуазель Перль ваша родственница?

Он придержал кий и удивленно взглянул на меня.

— Как, разве ты не знаешь? Ты не слыхал истории мадемуазель Перль?

— Нет.

— Твой отец никогда тебе не рассказывал?

— Да нет же.

— Так! Так! Забавно! Очень забавно! О! Ведь это целое приключение!

Он умолк, затем продолжал:

— И если бы ты знал, как странно, что ты именно сегодня спросил меня об этом, сегодня — накануне крещения!

— Отчего странно?

— Отчего? Ну, вот, слушай. Тому уже сорок один год, ровно сорок один год исполняется как раз сегодня, в крещение. Мы жили тогда в Руи-ле-Тор, на крепостном валу. Но сначала я должен описать наш дом, чтобы тебе было понятно. Руи стоит на холме, вернее на бугре, который возвышается над широкими равнинами. У нас там был свой собственный дом с чудесным висячим садом, который держался на старинных крепостных стенах. Таким образом, дом выходил на городскую улицу, а сад был обращен к равнине. Из сада в поле

вела калитка, к ней надо было спускаться потайной лесенкой, проделанной в толще стены, как описывают в романах. Мимо калитки проходила дорога, а возле калитки висел большой колокол, так как крестьяне, чтобы не объезжать кругом, подвозили продукты прямо к этой калитке.

Ты представляешь себе ясно всю картину, не правда ли? В этот год, за неделю до крещения, повалил снег. Казалось, настал конец света. Когда мы поднимались на крепостной вал взглянуть на равнину, то буквально душа стыла от этого бесконечного белоснежного простора, оледеневшего и блестевшего так, словно он был покрыт лаком. Казалось, господь бог нарочно так упаковал землю, чтобы отправить ее на склад угасших миров. Уверяю тебя, зрелище было очень грустное.

Жили мы тогда семьей, и нас было много, очень много: мой отец, моя мать, дядя, тетка, мои два брата и четыре кузины, прехорошенькие девочки! Я женился на младшей. В живых остались теперь только моя жена, я и моя свояченица, что живет в Марселе. Боже мой! Как распыляется семья! Когда я об этом думаю, просто тоска берет! В ту пору мне было пятнадцать лет, ведь сейчас мне пятьдесят шесть.

Итак, мы собрались праздновать крещение, и все были очень, очень веселы! Мы сидели в гостиной и ждали обеда, как вдруг старший брат Жак сказал: «Я уже минут десять слышу со стороны равнины собачий вой, вероятно, какой-нибудь несчастный пес заблудился».

Не успел он договорить, как зазвонил колокол у калитки. У него был низкий звук, похожий на звук церковного колокола, когда он звонит по покойнику. Все вздрогнули. Отец позвал слугу и отправил его на разведку. Мы ждали в глубоком молчании; нам представлялся снег, устилавший всю землю. Когда слуга вернулся, он заявил, что никого нет.

А собака продолжала выть, и вой доносился все с той же стороны.

Сели за стол; но все были взволнованы, особенно молодежь. До жаркого все шло благополучно, но вот снова раздался звон. Колокол прозвонил трижды, три долгих громких удара насквозь пронзили нас, у всех перехватило дыхание. Мы замерли, глядя друг на друга, держа вилки в руках, и вслушивались, охваченные каким-то суеверным ужасом.

Наконец заговорила матушка: «Удивительно, что во второй раз позвонили спустя столько времени! Батист, не ходите один, пусть с вами пойдет кто-нибудь из господ».

Дядя Франсуа встал. Он был прямо геркулес, очень гордился своей силой и ничего на свете не боялся.

Отец сказал ему: «Возьми ружье. Кто знает, что может быть».

Но дядя взял с собой лишь трость и вышел вслед за слугой.

Мы же продолжали сидеть, дрожа от ужаса и неизвестности, не в силах есть, не в силах заговорить. Отец пытался успокоить нас: «Вот увидите, это какой-нибудь нищий или заблудившийся в снегах прохожий. Он позвонил в первый раз и, видя, что ему не открывают, попытался выбраться на дорогу, но не мог и позвонил вторично».

Нам показалось, что дядя отсутствует уже целый час. Наконец он вернулся, сердитый, ругаясь: «Ни души, черт возьми! Кто-то просто безобразничает! А эта проклятая собака все воет в ста метрах от стены. Если бы со мной было ружье, я бы пристрелил ее на месте, чтобы не слышать этого воя».

Все опять сели за стол, но на душе у каждого была щемящая тревога. Было ясно, что на том дело не кончится, что-то должно произойти, и колокол сейчас снова зазвонит.

И он зазвонил как раз в то мгновение, когда хозяйка разрезала крещенский пирог. Все мужчины поднялись разом. Дядя Франсуа, выпивший шампанского, так свирепо заявил, что уничтожит *Его*, что мама с тетей бросились к нему и попытались успокоить. Отец, человек очень сдержанный и несколько беспомощный (он волочил одну ногу, сломанную при падении с лошади), все же заявил, что желает выяснить, в чем дело, и тоже пойдет. Братья,— им было восемнадцать и двадцать лет,— побежали за своими ружьями, а так как на меня никто не обращал внимания, я схватил пугач и решил сопровождать их.

Мы тут же тронулись в путь. Отец и дядя шли впереди с Батистом, который нес фонарь. За ними следовали братья, Жак и Поль, а я замыкал шествие, вопреки мольбам матери, стоящей вместе с теткой и кузинами на пороге дома.

За час перед тем снова повалил снег, и деревья стояли все запушенные. Сосны гнулись под тяжестью белого савана, они были похожи на белоснежные пирамиды, на чудовищные сахарные головы, и сквозь мутную завесу мелких и быстрых снежинок едва маячили тонкие кусты, напоминавшие белые призраки. Он валил такими густыми хлопьями, этот снег, что в десяти шагах ничего не было видно. Но фонарь бросал впереди нас яркий луч. Когда мы начали спускаться по винтовой

лестнице в стене, то, уверяю вас, я струсил. Мне почудилось, что сзади кто-то идет, что меня сейчас схватят за плечи и утащат; и мне захотелось повернуть обратно; но, так как надо было пройти весь сад, я не решился.

Я слышал, как отворилась калитка, выходившая в поле, и как дядя принялся браниться: «Вот черт! Опять удрал! Ну, погоди, только тень твою увижу, тогда держись, сукин сын!»

Жутко было видеть или, точнее, чувствовать перед собой равнину, ибо видеть ее было нельзя; виден был лишь белый бесконечный саван,— вверху, внизу, впереди, направо, налево — всюду.

Снова раздался голос дяди: «Слышите, опять собака воет! Ну, я покажу ей, как я умею стрелять. Хоть с ней разделаемся!»

Отец, человек добрый, остановил его: «Гораздо лучше пойти и привести несчастное животное, которое, наверно, воет от голода. Она же зовет нас, как гибнущий человек. Идем!»

И мы вновь пустились в путь сквозь эту завесу, сквозь этот непрерывный снегопад, сквозь пушистую пену, которая наполняла и ночь и воздух, колебалась, кружилась, падала и, тая, леденила кожу, словно обжигая ее острой и мгновенной болью при каждом прикосновении мелких порхающих хлопьев.

Мы по колено утопали в рыхлом и холодном снегу; чтобы идти, надо было высоко поднимать ноги. С каждым шагом собачий вой доносился все яснее, все громче. Наконец дядя крикнул: «Вот она!» Все остановились, чтобы рассмотреть ее, как поступают при встрече с врагом в ночной темноте.

Я решительно ничего не видел; тогда я нагнал остальных и разглядел ее; она казалась жутким, фантастическим существом, эта большая черная овчарка, с густой шерстью и волчьей мордой, стоявшая в самом конце длинного луча, который падал от фонаря на снег. Собака словно оцепенела. Когда мы подошли, она перестала выть и только смотрела на нас.

Дядя сказал: «Вот странно, она не идет ни туда, ни сюда; у меня руки чешутся всадить в нее пулю!»

Отец решительно воспротивился: «Нет, надо взять ее с собой».

Тогда брат Жак воскликнул: «А ведь она не одна! Тут, рядом с ней, что-то стоит».

Действительно, позади собаки смутно выступала какая-то серая, неразличимая масса. Все вновь опасливо сделали несколько шагов.

При нашем приближении собака спокойно села. Вид у нее

был не злой. Скорее она казалась довольной, что ей удалось привлечь внимание людей.

Отец прямо подошел к ней и погладил ее. Собака стала лизать ему руки, и тут мы обнаружили, что она привязана к колесу детской коляски, вроде игрушечных повозок, обернутой тремя или четырьмя шерстяными одеялами. Одеяла осторожно развернули, и когда Батист поднес фонарь к дверке колясочки, напоминавшей гнездо на колесах, мы увидели в ней спящее дитя.

Все были так поражены, что не могли слова вымолвить. Первым пришел в себя отец. И так как он был человек великодушный и слегка экзальтированный, то простер руку над коляской и произнес: «Бедный подкидыш, мы примем тебя в свою семью!» И приказал брату Жаку катить к дому нашу находку.

Затем заговорил снова, словно думая вслух: «Наверно, это дитя любви, и несчастная мать позвонила у моей двери в крещенскую ночь во имя божественного младенца!»

Он смолк, затем громко крикнул в ночь, на все четыре стороны: «Мы взяли дитя!» И, опустив руку на плечо брата, прошептал: «А что, если бы ты выстрелил в собаку, Франсуа?»

Дядя ничего не ответил, но в темноте широко перекрестился,— он был очень религиозен, несмотря на свое бахвальство.

Собаку отвязали, и она шла за нами.

Да! Наше возвращение домой было поистине радостным зрелищем. Мы с большим трудом подняли колясочку по лестнице в толще стены; но наконец это все же удалось, и она въехала прямо в переднюю.

Какая смешная была мама, довольная и взволнованная! А мои четыре маленькие кузины (младшей было всего шесть лет) теснились, словно четыре наседочки вокруг гнезда. Наконец малютку, продолжавшую спать, вынули из коляски. Это была девочка примерно шестинедельная. В ее пеленках обнаружили десять тысяч франков золотом, да, представь, десять тысяч франков; папа положил их на ее имя в банк, в виде будущего приданого. Итак, это не был ребенок бедняков... а скорее дочь дворянина и скромной горожанки, или... словом, мы строили тысячу предположений, но нам так и не удалось узнать ничего достоверного... ничего... ничего. Даже собаки и той никто не признал. Она была не из наших мест. Во всяком случае, тот или та, кто трижды позвонил у наших дверей, видимо, хорошо знал моих родителей, раз на них остановил свой выбор.

Вот каким образом мадемуазель Перль шести недель от роду вошла в дом Шанталей.

Впрочем, ее уже потом прозвали мадемуазель Перль. А окрестили ее Мария-Симона Клэр. Имя Клэр должно было служить ей фамилией.

Очень странным было наше возвращение в столовую с проснувшейся крошкой на руках, глядевшей на всех этих людей, на эти огни мутными, голубыми, испуганными глазенками.

Мы снова уселись за стол, и пирог был разложен по тарелкам. Я оказался королем и королевой избрал мадемуазель Перль, как ее только что избрал ты. А она в тот день едва ли подозревала о той чести, которая была ей оказана.

Итак, мои родители усыновили девочку и воспитали в нашей семье. Она выросла; годы шли. Она была мила, кротка, послушна. Все любили ее и, наверно, ужасно избаловали бы, если бы не моя мать.

Матушка была женщиной твердых правил и строгой блюстительницей общественной иерархии. Она готова была относиться к Клэр, как к собственным детям, но все же требовала, чтобы отделявшее нас расстояние соблюдалось неукоснительно и точно.

Поэтому, как только малютка подросла, матушка рассказала ей ее историю и очень бережно, даже нежно внушила девочке, что она всего лишь приемная дочь Шанталей и, собственно говоря, посторонняя.

Клэр поняла свое положение с исключительной проницательностью, с какой-то особой чуткостью; она сумела занять и сохранить то место, которое было ей предназначено, с таким тактом, достоинством и обаянием, что до слез умиляла моего отца.

Даже моя мать была так тронута пылкой признательностью и застенчивой преданностью этого миловидного, нежного создания, что стала звать ее: «Дочь моя». Порой, когда девочка поступала особенно хорошо или деликатно, мама, подняв на лоб очки, что служило у нее всегда признаком волнения, повторяла: «Нет, это дитя — перл! настоящий перл!»

Прозвище так и укрепилось за маленькой Клэр, и она продолжает оставаться для нас мадемуазель Перль.

IV

Господин Шанталь смолк. Он сидел на бильярдном столе, болтая ногами, левой рукой он подбрасывал шар, правой мял тряпку, предназначенную стирать меловые отметки на грифель-

ной доске и прозванную нами «меловым полотенцем». Слегка разрумянившись, он продолжал говорить глухим голосом, уже как бы сам с собой, уйдя весь в свои воспоминания, и казалось, он тихонько бродит по далекому прошлому, среди отзвучавших событий, теперь просыпавшихся в его душе, как мы бродим по старинному фамильному парку, где мы выросли, где каждое дерево, каждая тропинка, каждый кустик — и колючий дикий терновник, и душистый лавр, и тис, чьи алые сочные ягоды лопаются между пальцами,— все воскрешает на каждом шагу какую-нибудь мелочь из нашей былой жизни, одну из тех мелочей, незначительных и милых, которые образуют самую основу нашего существования.

Я же стоял перед ним, прислонившись к стене и опершись на ненужный бильярдный кий.

Помолчав, он продолжал:

— Боже мой! Как она была хороша в восемнадцать лет... грациозна... прекрасна... Да! Красавица... красавица... красавица... и добра... и благородна... чудесная девушка! Глаза у нее были... голубые... прозрачные... ясные... таких глаз я никогда не видел... никогда!

Он опять помолчал. Я спросил:

— Отчего она не вышла замуж?

Он ответил не мне, он просто отозвался на прозвучавшее слово «замуж».

— Отчего? отчего? Не пожелала... не пожелала! А ведь за ней было тридцать тысяч франков приданого, и ей много раз делали предложение. А вот не пожелала. Она все грустила почему-то. Это было как раз, когда я женился на моей кузине, на маленькой Шарлотте, моей жене, женихом которой я был шесть лет.

Я взглянул на г-на Шанталя, и мне показалось, что я проник в его мысли, внезапно проник в одну из незаметных мучительных драм сердца, благородного, честного, безупречного, в глубь одного из тех сердец, замкнутых и неразгаданных, которые не открываются ни перед кем, даже перед тем, кто является их безгласной и покорной жертвой.

И вдруг, побуждаемый дерзким любопытством, я сказал:

— Вам следовало жениться на ней, господин Шанталь.

Он вздрогнул, посмотрел на меня и переспросил:

— Мне? Жениться на ком?

— На мадемуазель Перль.

— Почему это?

— Потому что вы ее любили больше, чем вашу кузину.

Он посмотрел на меня странными, округлившимися, испуганными глазами и пролепетал:

— Я любил ее... я? Что? Кто тебе сказал?

— Да это же ясно, черт возьми!.. Из-за нее вы оттягивали и ваш брак с кузиной, которая ждала вас целых шесть лет.

Он выронил шар, который был у него в левой руке, обеими руками схватил меловое полотенце и, прижав его к лицу, зарыдал. Он рыдал отчаянно, нелепо, слезы, как из губки, лились у него из глаз, из носа, изо рта, и он кашлял, плевался, сморкался в меловое полотенце, вытирал глаза, чихал, вновь изливал влагу через все щели своего лица с таким бульканьем, словно полоскал горло.

А я стоял ошеломленный и пристыженный. Мне хотелось убежать, я не знал, что делать, что говорить, что предпринять.

Внезапно с лестницы донесся голос г-жи Шанталь:

— Ну? Вы там скоро кончите курить?

Распахнув дверь, я ответил:

— Да, мы сейчас идем, госпожа Шанталь.

Затем бросился к мужу, схватил его за локти.

— Господин Шанталь, друг мой Шанталь, послушайте, вас зовет жена, успокойтесь, успокойтесь поскорее, надо идти вниз, успокойтесь.

Он забормотал:

— Да... да... иду... бедная девушка... иду... скажите ей, я сейчас иду.

Он усердно принялся вытирать лицо меловым полотенцем, которым в продолжение нескольких лет стирали мел. И вот наконец он открыл лицо, оно было все красно-белое: лоб, нос, щеки и подбородок вымазаны мелом, а глаза воспалены и еще полны слез.

Я схватил его за руки и увлек к нему в комнату, бормоча:

— Простите меня, умоляю вас, простите меня, господин Шанталь, я сделал вам больно... но... я же не знал... вы... вы понимаете?

Он сжал мою руку:

— Да... да... бывают тяжкие минуты...

Затем окунул лицо в таз, но и умывшись он еще не вполне овладел собою; тогда мне пришла в голову небольшая хитрость. Видя, что он озабоченно рассматривает себя в зеркало, я предложил:

— Знаете что, скажите, что вам попала соринка в глаз, и тогда можете плакать при всех, сколько вам угодно.

И действительно, он явился, усиленно протирая глаза но-

совым платком. Все встревожились, предлагали найти соринку, которой не было, вспоминали такие же случаи, когда в конце концов пришлось обратиться к врачу.

Я же подсел к мадемуазель Перль и стал вглядываться в нее, охваченный любопытством, настолько неудержимым, что оно становилось мучительным. Да, она когда-то действительно была хороша: кроткие глаза, такие большие, такие ясные и так широко раскрытые, словно она их никогда не смыкала, подобно простым смертным. Правда, одета она была довольно нелепо, как одеваются обычно старые девы, туалет не украшал ее, но и не безобразил.

Мне показалось, что я читаю в ее душе так же, как перед тем читал в душе г-на Шанталя. И предо мной, от начала до конца, развернулась жизнь этой женщины, смиренной, простой и преданной. Мне настойчиво, нестерпимо хотелось задать ей один вопрос — узнать, любила ли и она его, страдала ли, как он, терзалась ли долгой, бесконечной мукой, жгучей и сокровенной, о которой никто не ведает, никто не подозревает, не догадывается, но которая вдруг вырывается на волю ночью, в уединении темной комнаты. Я глядел на нее и, казалось, видел, как под корсажем с кружевной косынкой бьется ее сердце; и я спрашивал себя: неужели и это кроткое и чистое существо одинокими вечерами стенало, уткнувшись в жаркую и влажную подушку, сотрясаясь от рыданий на своем лихорадочно смятом ложе?

И тихонько, как дети ломают игрушку, чтобы заглянуть внутрь, я пробормотал:

— Если бы вы видели, как сейчас плакал господин Шанталь, вы бы его пожалели!

Она вздрогнула.

— Как, он плакал?

— Да, да, плакал.

— О чем?

Казалось, она очень взволновалась. Я ответил:

— О вас.

— Обо мне?

— Да. Он рассказал мне, как некогда любил вас и чего ему стоило жениться на своей кузине, а не на вас...

Ее бледное лицо как будто сразу осунулось; всегда широко раскрытые, спокойные глаза сомкнулись так быстро, словно они закрылись навек. Она соскользнула со стула и медленно-медленно опустилась на пол, точно падающий шарф.

Я закричал:

— Помогите! Помогите! Мадемуазель Перль дурно!

К ней подбежала г-жа Шанталь с дочерьми, и пока они суетились около нее с водой, уксусом, салфеткой, я схватил шляпу и скрылся.

Я шел быстро, я был потрясен, меня терзали угрызения совести и сожаления. Но минутами я испытывал радость. Мне чудилось, что я сделал хорошее, нужное дело.

Я думал: «Прав я или не прав? Ведь любовь засела в их сердцах, как пуля в закрывшейся ране. Может быть, теперь им станет легче? Переживать снова любовные муки уже поздно, но не поздно вспоминать о них с нежностью».

И, может быть, когда-нибудь вечером, будущей весной, взволнованные лунным лучом, упавшим сквозь ветви на траву у их ног, они тихонько возьмутся за руки, и легкое пожатие напомнит им всю их тайную жестокую боль, а может быть, это мгновенное пожатие пробудит неизведанный ими трепет, подарит этих воскресших мертвецов тем быстролетным божественным опьянением, тем безумием, которое за одно мгновение может дать влюбленным больше счастья, чем иным суждено пережить за целую жизнь!

Папаше Буателю, Антуану, поручали в нашей округе самые грязные работы. Всякий раз, как надо было выгрести канаву, помойную яму, убрать навозную кучу, вычистить сточный желоб или какую-нибудь грязную дыру, посылали за ним.

Он являлся со своими инструментами золотаря, в облепленных грязью деревянных башмаках и кряхтя принимался за дело, ворча на свое ремесло. Если у него спрашивали, зачем же он берется за эту отвратительную работу, он отвечал, вздохнув, с покорностью судьбе:

— Черт возьми, да ради ребят, надо же их кормить! Это выгоднее всего другого.

В самом деле, у него было четырнадцать человек детей. Когда его спрашивали, что с ними сталось, он говорил с равнодушным видом:

— Дома осталось восемь душ, один — в солдатах, а пятеро женаты.

Если же кто-нибудь осведомлялся, удачно ли они поженились, старик отвечал с живостью:

— Я им не перечил. Я их не приневоливал. Все они женились на ком хотели. Уж кто выбрал себе девушку по сердцу, тому нельзя идти наперекор,— это к добру не поведет. Вот хоть бы я — потому-то я и стал золотарем, что родители пошли мне наперекор. Не случись этого, был бы я рабочим не хуже людей.

Вот как случилось, что родители пошли ему наперекор.

В ту пору он служил в солдатах и отбывал срок в Гавре; он был не глупее и не смышленее других, но, пожалуй, немного простоват. В свободные часы самым большим удовольствием для

него было шататься по набережной, где пристроились торговцы птицами. То один, то с каким-нибудь земляком он медленно прогуливался перед клетками, где пестрели зеленые желтоголовые попугаи с Амазонки, серые красноголовые сенегальские попугаи, огромные арара с разноцветными перьями, султанами и хохолками, похожие на тепличные растения, всевозможные попугаи, которых как будто сам господь бог расписал с кропотливой тщательностью миниатюриста, и маленькие, крохотные прыгающие пичужки, красные, желтые, синие — всех цветов; их голоса, сливаясь с шумом гавани, добавляли к людскому говору, грохоту разгружаемых судов, стуку повозок буйный, пронзительный, щебечущий, оглушительный гомон далеких заморских лесов.

Широко раскрыв глаза, разинув рот, смеясь от восхищения, Буатель подолгу простаивал, скаля зубы, перед пленными какаду, которые кивали ему своими белыми и желтыми хохолками при виде его ярко-красных штанов и медной пряжки на поясе. Когда ему встречался говорящий попугай, он задавал ему вопросы, и, если птица была в духе и болтала с ним, у него до самого вечера бывало легко и весело на душе. Глазея на обезьян, он замирал от восторга, и ему казалось, что это верх роскоши — держать у себя дома таких зверьков, на манер кошек и собак. Эта страсть, страсть к чужеземному, была заложена у него в крови, как у других влечение к охоте, к медицине или к богослужению. Лишь только отворялись ворота казармы, он не мог удержаться, чтобы не завернуть на пристань, точно его тянула туда неодолимая сила.

И вот однажды, остолбенев от восхищения перед громадным арара, который распускал перья, кланялся, выпрямлялся, будто отвешивая придворные поклоны перед королем попугаев, он вдруг увидел, как отворилась дверь кафе, смежного с лавкой торговца птицами, и появилась молоденькая негритянка в ярко-красном платке, выметавшая на мостовую пробки и мусор.

Внимание Буателя сейчас же разделилось между птицей и женщиной, и он сам не мог бы сказать, кто из них вызвал в нем большее удивление и восхищение.

Выбросив сор на мостовую, негритянка подняла глаза и тоже остолбенела, ослепленная солдатским мундиром. Она стояла прямо перед ним, с метлой в руках, точно взяв на караул, между тем как арара все продолжал отвешивать поклоны. Через несколько минут солдату стало неловко от этого разглядывания, и он пошел прочь, замедляя шаг, чтобы не подумали, что он обратился в бегство.

Вскоре он вернулся туда. Почти каждый день он прохаживался перед «Колониальным кафе» и часто заглядывал в окно пивной, где чернокожая служаночка подносила портовым матросам пиво и водку. Она тоже частенько выходила наружу, завидев его; они еще не перекинулись и двумя словами, но уже стали улыбаться друг другу, как знакомые, и у Буателя сердце радовалось, когда меж темно-красных губ девушки вдруг открывался ослепительный ряд зубов. Как-то раз он решился наконец войти в заведение и был совершенно поражен, услыхав, что она говорит по-французски не хуже других. Бутылка лимонаду, из которой она согласилась отведать стаканчик, навсегда осталась для солдата незыблемо сладостным воспоминанием, и у него вошло в привычку заглядывать в этот портовый кабачок и потягивать все лакомые напитки, какие были ему по карману.

Для него было лучшим удовольствием, настоящим праздником, о котором он мечтал беспрестанно, смотреть, как черная рука служаночки наливает ему вино в стакан, а зубы ее сверкают и смеются ослепительнее, чем глаза. На третий месяц знакомства они совсем сдружились, и Буатель, к своему удивлению, узнал, что понятия негритянки во всем схожи с добрыми правилами девушек его родины, что она любит хозяйство, работу, религию и хорошее поведение; она стала ему еще дороже, и он так влюбился, что задумал жениться на ней.

Он сообщил ей о своем намерении, и она запрыгала от радости. У нее были кое-какие деньжонки, оставленные ей торговкой устрицами, которая подобрала ее шестилетним ребенком на набережной Гаврского порта, где ее высадил какой-то американский капитан. Капитан нашел малютку в трюме своего судна между тюками хлопка через несколько часов после отплытия из Нью-Йорка. Прибыв в Гавр, он подкинул на руки сердобольной торговки устрицами крошечного черного зверька, спрятанного на его борту неизвестно кем и как. Когда торговка умерла, молодая негритянка поступила в услужение в «Колониальное кафе».

Антуан Буатель добавил:

— Это все уладится, только бы старики не заупрямились. Я ни за что против их воли не пойду, ни за что, так и запомни! Я замолвлю им словечко, как только наведаюсь домой.

И вот, получив на следующей неделе суточный отпуск, он поехал к своим родным, на их маленькую ферму в Туртевиле, близ Ивето.

Он дождался конца обеда, той минуты, когда кофе, подправленный водкой, размягчает сердце, и сообщил родителям,

что нашел девушку себе по нраву, ну до того по нраву, что другой такой на всем свете не сыщешь.

При этих словах старики сразу насторожились и начали выспрашивать. Он ничего от них не скрыл, кроме цвета ее кожи.

Она служанка, добра у нее немного, зато девушка она работящая, бережливая, опрятная, хорошего поведения, а уж какая разумница! Все это куда дороже стоит, чем деньги в руках плохой хозяйки. К тому же ей оставила малую толику женщина, которая ее воспитала, порядочно денег, целое приданое, полторы тысячи франков в сберегательной кассе. Старики, побежденные такими доводами и полагаясь к тому же на его выбор, начали уже понемногу сдаваться, когда он дошел до щекотливого вопроса. Он сказая, принужденно смеясь:

— Вот только одно, может, не придется вам по вкусу. Не совсем-то она белая.

Они не поняли, и, чтобы не испугать их, ему пришлось объяснять долго и осторожно, что она чернокожая, точь-в-точь такая, как на эпинальских картинках.

Тогда они забеспокоились, растерялись, всполошились, как будто он предлагал им породниться с самим сатаной.

Мать спрашивала:

— Черная? Докуда же она черная? Неужто вся целиком?

Он отвечал:

— Известно, целиком: ведь ты же вся белая!

Отец перебивал:

— Черная? Неужто такая черная, как котел?

Сын возражал:

— Да нет, пожалуй, чуть посветлее. Черна-то она черна, да не так, чтобы невтерпеж. Вот, к примеру, у господина кюре черная ряса, а чем она хуже стихаря, хоть он и белый.

Отец полюбопытствовал:

— А что, там бывают и почернее ее, в их краях?

И сын воскликнул с убеждением:

— Само собой, бывают!

Но старик замотал головой.

— Небось противно?

— Ничуть не противно,— уговаривал сын,— ведь к этому скоро привыкаешь.

Мать допытывалась:

— А белье-то она здорово марает, такая кожа?

— Да не больше, чем твоя, ведь такой цвет у нее природный.

И вот, после долгих расспросов, уговорились наконец, что родители, прежде чем решать, повидают девушку: сын, служба которого через месяц кончалась, привезет ее домой, тут они разглядят ее хорошенько и обсудят, не слишком ли она черна, чтобы войти в семейство Буателей.

Антуан обещал, что в воскресенье, двадцать второго мая, в день окончания военной службы, он приедет в Туртевиль со своей подружкой.

Для этого путешествия к родителям своего любезного она нарядилась в самое красивое и яркое платье, где преобладали цвета желтый, красный и синий; казалось, она разукрасилась флагами в честь национального праздника.

На вокзале, при отъезде из Гавра, все таращили на нее глаза, и Буатель гордился, что ведет под руку особу, которая привлекает столько внимания. Когда же она уселась рядом с ним в вагоне третьего класса, она повергла крестьян в такое изумление, что многие из соседних отделений взбирались на лавочки и глазели на нее из-за деревянных перегородок, разделяющих вагон. Какой-то ребенок при виде ее заревел от страха, а другой уткнулся лицом в материнский подол.

Однако все шло хорошо до самого приезда на станцию. Но когда поезд замедлил ход, приближаясь к Ивето, Антуану стало не по себе, точно на поверке, когда он не знал устава. Высунувшись в окно, он издали заметил отца, который держал под уздцы запряженную в тележку лошадь, а у самой ограды для публики увидел и мать.

Он вышел первым, подал руку своей красотке и, гордо выпрямившись, как будто сопровождал генерала, повел ее к родителям.

При виде своего сына в обществе этой черной и пестро разряженной дамы мать до того оторопела, что рта не могла раскрыть, а отец с трудом удерживал лошадь, которая шарахалась не то от паровоза, не то от негритянки. Но Антуан, искренне обрадованный свиданием со стариками, бросился к ним навстречу, расцеловал мать, чмокнул отца, не обращая внимания на испуг лошаденки, потом обернулся к своей спутнице, на которую пялили глаза ошеломленные прохожие, и воскликнул:

— Вот она какая! Я ведь говорил, что сперва она малость страшновата, но, ей-же-ей, как только узнаешь ее поближе, лучше ее на всем свете не сыскать. Поздоровайтесь с ней, а то она заробела.

Матушка Буатель, и сама до смерти перепуганная, неловко поклонилась, а отец пробурчал, сняв шапку: «Доброго вам здо-

ровья». Затем, не теряя времени, все уселись в тележку — женщины на задней скамейке, где их подбрасывало при каждом толчке, а мужчины спереди, на козлах.

Все молчали. Встревоженный Антуан насвистывал какую-то казарменную песенку, отец погонял лошаденку, а мать исподлобья украдкой поглядывала на негритянку, лоб и щеки которой лоснились на солнце, как начищенный ваксой сапог.

Пытаясь разбить лед, Антуан обернулся.

— Ну,— сказал он,— что же вы молчите?

— Нельзя же сразу,— отвечала старуха.

Он продолжал:

— Ну-ка, расскажи малютке, как твоя курица снесла восемь яиц.

Это была знаменитая в семье история. Но мать все еще ни слова не могла вымолвить от смущения, и он сам начал рассказывать, заливаясь смехом, это удивительное приключение. Старик, знавший все наизусть, расплылся улыбкой, жена его тоже перестала хмуриться, а негритянка в самом забавном месте разразилась вдруг таким звонким, раскатистым, оглушительным хохотом, что испуганная лошадь понеслась галопом.

Знакомство состоялось. Разговор завязался.

Как только они приехали и слезли с повозки, он проводил свою подружку в комнату,— она хотела переодеться, чтобы не испачкать нарядного платья, стряпая по своему рецепту вкусное блюдо, которым надеялась умаслить стариков; затем он поманил родителей за дверь и спросил с замиранием сердца:

— Ну, что вы о ней скажете?

Отец промолчал. Мать, более решительного нрава, заявила:

— Уж больно она черна! Право, невмоготу. Прямо с души воротит.

— Вы привыкнете,— убеждал Антуан.

— Может, и привыкнем, да не вдруг.

Они вошли в дом, и старуха смягчилась, увидав негритянку за стряпней. Суетливая, несмотря на свои годы, она принялась помогать ей, подоткнув подол.

Обед был вкусный, долгий и оживленный. Когда все вышли погулять, Антуан отвел отца в сторонку.

— Ну как же, отец, что ты скажешь?

Крестьянин никогда не отвечал напрямик.

— Не мое это дело. Спроси у матери.

Тогда Антуан догнал мать и пропустил вперед остальных.

— Ну как же, мамаша, что ты скажешь?

— Воля твоя, сынок, уж больно она черна. Была бы она чуточку посветлее, я бы не спорила, а то уж чересчур. Точь-в-точь сатана!

Он больше не настаивал, зная, что старуху не переупрямишь, но сердце у него разрывалось от отчаяния. Он ума не мог приложить, что бы такое сделать, что бы еще придумать, и не понимал, почему это она сразу не покорила его родителей, как обворожила его самого. И все четверо медленно брели по нивам, мало-помалу перестав разговаривать. Когда они огибали чьи-нибудь владения, фермеры выбегали за ограду, мальчишки взбирались на крышу, все высыпали на дорогу, чтобы поглазеть на «арапку», которую привез сын Буателей. Издалека по полям сбегались люди, как сбегаются на ярмарке, когда бьет барабан, созывая народ посмотреть на диковинки. Отец и мать Буатели, испуганные любопытством, вызываемым во всей округе их гостьей, ускорили шаг, держась рядышком и далеко обогнав сына, у которого его подруга допытывалась, что думают о ней родители.

Он ответил смущенно, что они еще ничего не решили.

На деревенской площади из всех домов повалил возбужденный народ, и старики Буатели, испуганные растущей толпой, обратились в бегство; Антуан, обиженный и возмущенный, торжественно шагал вперед под руку со своей любезной, провожаемый изумленными взглядами зевак.

Он понимал, что все кончено, что надежды нет, что не придется ему жениться на своей негритянке; она тоже это понимала. И оба они заплакали, подходя к ферме. Вернувшись домой, она опять сняла платье и стала помогать матери в ее работе; она всюду ходила за ней по пятам — в погреб, в хлев, в курятник, выбирая самую тяжелую работу и все время повторяя: «Дайте, я это сделаю, тетушка Буатель»,— так что к вечеру старуха, растроганная, но по-прежнему неумолимая, сказала сыну:

— Что и говорить, она славная девушка. Жаль, что так черна, ей-ей, чересчур уж черна. Я ни за что не привыкну, пускай себе едет обратно, уж больно она черна!

И Буатель сказал своей подружке:

— Она не согласна, говорит, что ты чересчур черна. Придется уехать. Я провожу тебя на станцию. Не тужи, дело обойдется. Я еще потолкую с ними, когда ты уедешь.

Он проводил ее до станции, все еще стараясь обнадежить; расцеловался с ней, посадил в вагон и долго смотрел вслед уходящему поезду глазами, полными слез.

Напрасно он уламывал стариков, они так и не согласились.

Рассказав до конца эту историю, которую знала вся округа, Антуан Буатель каждый раз добавлял:

— С той поры ни к чему у меня сердце не лежало, ни к чему охоты не было. Всякая работа валилась у меня из рук, вот я и стал золотарем.

Ему говорили на это:

— Но ведь вы все-таки женились.

— Так-то оно так, и нельзя сказать, чтобы жена была мне не по нраву, раз я прижил с ней четырнадцать ребят, только это не то, совсем не то, куда там! Поверите ли, негритянка моя, бывало, только взглянет на меня, а я уж и сам не свой от радости...

I

Трехмачтовый парусник «Пресвятая Дева ветров» 3 мая 1882 года вышел из Гавра в плавание по китайским морям и 8 августа 1886 года, после четырехлетнего странствования, вошел в Марсельский порт. Сдав свой первый груз в китайском порту, в который он направлялся, корабль тотчас же получил другой фрахт — на Буэнос-Айрес, а оттуда пошел с товарами в Бразилию.

Новые рейсы, аварии, починки, многомесячные штили, шквалы, сбивающие с курса,— словом, все случайности, приключенья и несчастья, какие бывают на море, удерживали вдали от родины этот нормандский трехмачтовик, возвращавшийся теперь в Марсель с трюмом, набитым американскими консервами в жестяных банках.

При отплытии на борту корабля, кроме капитана и его помощника, было четырнадцать матросов,— восемь нормандцев и шесть бретонцев. Когда он вернулся, на нем оставалось только пять бретонцев и четыре нормандца: один бретонец умер в пути, а четырех нормандцев, исчезнувших при различных обстоятельствах, заменили два американца, негр и норвежец, завербованный однажды вечером в каком-то сингапурском кабачке.

Большой корабль с подобранными парусами и скрещенными на мачтах реями тащился за марсельским буксиром, который, пыхтя, плыл перед ним по легкой зыби, мало-помалу замиравшей в безветренной тиши. Он миновал Ифский замок, проплыл между серыми скалами рейда, окутанными золотистой дымкой заката, и вошел в старый порт, где вдоль набережных теснятся суда всех стран, всякой формы и оснастки, образуя какое-то

месиво из кораблей в этом тесном бассейне, полном протухшей воды, где их корпуса толкаются, трутся друг о друга и точно маринуются в корабельном соку.

«Пресвятая Дева ветров» заняла место между итальянским бригом и английской шхуной, расступившимися, чтобы пропустить нового товарища. Когда таможенные и портовые формальности были выполнены, капитан разрешил большей части команды провести вечер на берегу.

Наступили сумерки. Марсель загорался огнями. В жарком воздухе летнего вечера над шумным городом, полным крика, грохота, щелканья бичей, южного веселья, носился запах яств, приправленных чесноком.

Едва очутившись на берегу, десять матросов, которых столько месяцев носило на своих волнах море, потихоньку двинулись в путь, с нерешительностью людей, вырванных из привычной обстановки, отвыкших от города.

Они шли парами, точно процессия, раскачиваясь на ходу, знакомились с местностью и жадно вглядывались в переулки, ведущие к гавани,— их томил любовный голод, назревший за последние два месяца плаванья. Впереди шествовали нормандцы под предводительством Селестена Дюкло, рослого парня, сильного и сметливого, который, всякий раз как они сходили на берег, был у них вожаком. Он умел находить злачные места, пускался на ловкие проделки и не любил ввязываться в драки, которые так часто происходят между матросами в портах. Но если его впутывали в драку, никто не был ему страшен.

Побродив в нерешительности по темным улицам, которые, как сточные трубы, спускаются к морю, пропитанные тяжелым запахом — дыханьем притонов, Селестен выбрал какой-то извилистый проулок, где горели над дверями домов выпуклые фонари с огромными номерами на матовых цветных стеклах. Под узкими арками входных дверей сидели на стульях женщины в фартуках, похожие на служанок; завидя приближающихся матросов, они поднимались с места, делали несколько шагов к сточной канавке, разделявшей улицу пополам, и загораживали дорогу веренице мужчин, которые подвигались медленно, напевая и посмеиваясь, уже разгоряченные близостью этих притонов-тюрем.

Иногда в глубине сеней за неожиданно распахнувшейся дверью, обитой коричневой кожей, показывалась толстая полураздетая женщина; ее крепкие ляжки и жирные икры резко обрисовывались под грубым белым бумажным трико; короткая юбка походила на пышный пояс. Дряблая грудь, руки и плечи

розовым пятном выступали из черного бархатного лифа, обшитого золотой тесьмой. Она зазывала издали: «Пожалуйте сюда, красавчики»,— а иногда выбегала сама и, уцепившись за кого-нибудь из матросов, изо всей силы тянула его к двери, впивалась в него, как паук, когда он тащит муху более крупную, чем он сам. Мужчина, возбужденный ее близостью, слабо сопротивлялся, а его товарищи останавливались и смотрели, колеблясь между соблазном сейчас же войти и желанием продлить эту волнующую прогулку. Но когда женщине после отчаянных усилий удавалось дотащить матроса до порога своего жилища, куда собиралась ввалиться следом за ним вся компания, Селестен Дюкло, знавший толк в таких домах, кричал внезапно:

— Не заходи туда, Маршан, это не то, что надо!

Тогда матрос, повинуясь его голосу, вырывался резким движением, и друзья снова уходили гурьбой, а им вслед неслись непристойные ругательства взбешенной девки, меж тем как из всех дверей переулка навстречу матросам выходили привлеченные шумом другие женщины и оглашали воздух хриплыми многообещающими призывами.

Матросы продолжали свой путь, все более и более воспламеняясь от уговоров и соблазнов этого хора привратниц любви, встречавших их по всей улице, и грязных проклятий другого хора, оставшегося позади,— хора обиженных женщин, которыми они пренебрегли. Время от времени им навстречу попадалась такая же компания: солдаты, которые шагали, позвякивая оружием, матросы с других кораблей или же бредущие в одиночку горожане, приказчики. Перед ними открывались все новые и новые улицы — узкие, освещенные мерцанием подозрительных фонарей. Они долго шли в этом лабиринте притонов по липкой мостовой, где струились зловонные ручейки, между стенами домов, полных женского тела.

Решившись наконец, Дюкло остановился перед одним домом, довольно приличным на вид, и вошел туда со всей компанией.

II

Погуляли на славу! Четыре часа подряд матросы упивались любовью и вином. От полугодичного жалованья ничего не осталось.

Они расположились в большом зале, как хозяева, и недружелюбно поглядывали на обычных посетителей заведения, которые устраивались за столиками по углам, где им прислуживала

и подсаживалась к ним какая-нибудь из незанятых девиц, одетая маленькой девочкой или кафешантанной певичкой.

Каждый матрос, как только вошел, выбрал себе подругу, с которой не расставался весь вечер,— простой человек не ищет перемен. Сдвинули три стола, и после первых стаканов удвоившаяся в числе процессия, к которой прибавилось столько женщин, сколько было молодцов, потянулась по лестнице. Ноги каждой четы долго стучали по деревянным ступенькам, пока узкие двери комнат не поглотили это длинное шествие любовных пар.

Потом все снова спустились в зал, чтобы выпить, потом опять поднялись, потом еще раз спустились.

Матросы, почти совсем пьяные, теперь уже горланили вовсю! Глаза у них налились кровью, они держали на коленях своих избранниц, пели, кричали, били кулаками по столу и лили себе в глотку вино, дав волю таящемуся в человеке зверю. Селестен Дюкло, в кругу товарищей, обнимал рослую краснощекую девушку, усевшуюся верхом на его колене, и жадно смотрел на нее. Менее охмелевший, чем остальные, хоть он и выпил не меньше других, Селестен сохранил способность думать и, разнежившись, хотел поговорить. Но мысли не вполне повиновались ему, ускользали, возвращались и снова исчезали, и он не мог как следует вспомнить, что именно собирался сказать.

Он смеялся и повторял:

— Так, так... Ты давно здесь?

— Полгода,— ответила женщина.

Он одобрительно кивнул, словно это служило доказательством ее хорошего поведения, и продолжал:

— Нравится тебе такая жизнь?

Она немного замялась и сказала кротко:

— Ко всему привыкаешь. Это ремесло не хуже другого. Служанка ли, шлюха ли — все одно.

Он, видимо, был согласен и с этой истиной.

— Ты нездешняя? — спросил он.

Не отвечая, она отрицательно покачала головой.

— Издалека?

Она кивнула так же безмолвно.

— Откуда же ты?

Она подумала, точно припоминая, потом прошептала:

— Из Перпиньяна.

Матрос снова обрадовался и сказал:

— Вот как!

Теперь она спросила его:

— А ты что же, моряк?

— Да, красотка.

— Приехал издалека?

— Да. Немало я повидал стран, и портов, и всякой всячины!

— Ты, может, объехал кругом света?

— Еще бы! Да и не один раз.

Она снова задумалась, как будто стараясь отыскать в памяти что-то давно забытое, потом спросила уже другим, более серьезным тоном:

— Ты много встречал кораблей, пока плавал?

— Еще бы, красавица!

— А не попадалась тебе «Пресвятая Дева ветров»?

Он ухмыльнулся.

— Не далее, как на прошлой неделе!

Она побледнела, вся кровь отхлынула от ее щек.

— Правда? Это правда? — спросила она.

— Истинная правда.

— Ты не врешь?

Он поднял руку:

— Как перед богом.

— А ты не знаешь, плавает ли еще на ней Селестен Дюкло?

Он удивился и встревожился. Прежде чем ответить, он хотел выведать, что за этим скрывается.

— Ты его знаешь?

Теперь насторожилась она.

— Нет, тут одна женщина его знает.

— Из этого дома?

— Нет, из другого.

— На этой улице?

— Нет, тут рядом.

— Какая женщина?

— Да женщина... такая, как я.

— Что же ей от него надо?

— А я почем знаю? Верно, землячка.

Они пристально, испытующе смотрели друг на друга, смутно угадывая, что между ними встает что-то значительное.

— А мне нельзя повидать эту женщину? — спросил матрос.

— А что ты ей скажешь?

— Я скажу... скажу, что видел Селестена Дюкло.

— Что он — здоров?

— Не хуже нас с тобой. Он крепкий парень!

Она снова замолчала, собираясь с мыслями, потом медленно произнесла:

— А куда она шла, «Пресвятая Дева ветров»?

— Да сюда, в Марсель.

Она невольно вздрогнула.

— Правда?

— Правда.

— А ты знаешь Дюкло?

— Да, знаю.

Она снова подумала, потом тихо сказала:

— Так... так...

— А на что он тебе?

— Послушай, скажи ему... Нет, ничего!

Он продолжал на нее смотреть, все более и более смущаясь. Наконец он решил узнать все.

— А ты тоже его знаешь?

— Нет,— ответила она.

— Так на что же он тебе?

Внезапно решившись, она вскочила, подбежала к стойке, за которой восседала хозяйка, схватила лимон, разрезала его и выжала сок в стакан. Потом налила в стакан воды и подала его матросу:

— На, выпей.

— Зачем?

— Чтобы прошел хмель. Потом я тебе что-то скажу.

Он покорно выпил, отер губы рукой и объявил:

— Готово! Слушаю.

— Обещай не рассказывать ему, что ты меня видел, и не говорить, от кого ты узнал все, что я тебе скажу. Поклянись!

Он поднял руку и усмехнулся загадочно:

— В этом-то я могу поклясться.

— Ей-богу, не проговоришься?

— Ей-богу.

— Ну, так скажи ему, что его отец умер, и мать умерла, и брат тоже — все трое в один месяц от тифа, три с половиной года назад, в январе тысяча восемьсот восемьдесят третьего года.

Теперь он в свой черед почувствовал, как все в нем оборвалось; он был так поражен, что сначала не знал, что сказать, но потом усомнился и спросил:

— Ты наверно знаешь?

— Наверно.

— Кто тебе сказал?

Она положила руки ему на плечи и сказала, смотря ему прямо в глаза:

— Ты не будешь болтать? Поклянись.

— Клянусь.

— Я его сестра!

Невольно у него вырвалось ее имя:

— Франсуаза?

Она снова пристально посмотрела на него, потом в безумном страхе, вне себя от ужаса, чуть слышно, почти не разжимая губ, прошептала:

— О-ох!.. Это ты, Селестен?

Они замерли, глядя друг другу в глаза.

Вокруг них товарищи Селестена продолжали орать. Звон стаканов, пристукиванье кулаками и ногами в такт напева и пронзительные взвизгивания женщин сливались с нестройным пением.

Он чувствовал ее возле себя, она прижалась к нему, теплая, испуганная,— его сестра! Тихо, боясь, чтобы его не подслушали, так тихо, что даже она едва его услыхала, он сказал:

— Ух! И натворил же я дел!

Ее глаза мгновенно наполнились слезами, и она пробормотала:

— Разве я виновата?

Внезапно он спросил:

— Так, значит, они умерли?

— Умерли.

— Отец, и мать, и брат?

— Все трое в один месяц, я тебе сказала. Я была одна, у меня ничего не осталось, кроме тряпок,— ведь я и в аптеку и доктору задолжала, а чтобы похоронить трех покойников, мне пришлось продать домашние вещи.

Тогда я пошла в услужение к господину Каше,— помнишь, к тому, хромому? Мне как раз сравнялось пятнадцать,— ведь когда ты уехал, мне и четырнадцати не было. Я с ним согрешила. Все мы дуры, пока молоды. Потом я пошла в горничные к нотариусу, он меня тоже соблазнил и нанял мне комнату в Гавре. Скоро он перестал приходить; я три дня сидела не евши, работы никакой не было, тогда я поступила в такой дом, ведь я не первая! Я тоже много перевидала мест, да каких скверных! Руан, Эвре, Лиль, Бордо, Перпиньян, Ниццу, и вот теперь я в Марселе!

Слезы капали у нее из глаз, текли по носу, обливали ей щеки, стекали в рот.

Она проговорила:

— Я думала, ты тоже умер, Селестен, бедняга ты мой.

Он сказал:

— Я-то мог тебя не узнать. Ты была тогда такая маленькая, а теперь — вон какая здоровая! Но ты-то как меня не признала?

Она с отчаяньем махнула рукой.

— Я столько мужчин вижу, что они для меня все на одно лицо!

Он продолжал смотреть ей в глаза, охваченный смутным волненьем, таким сильным, что ему хотелось кричать, как ребенку, которого бьют. Он по-прежнему обнимал девушку, сидевшую верхом у него на колене, и держал ее за плечи; и вот, все пристальнее в нее вглядываясь, он наконец узнал ее — свою сестренку, которую он оставил на родине со всеми, кого ей пришлось похоронить, пока он носился по морям.

И тогда, обхватив своими большими матросскими лапами голову вновь найденной сестры, он вдруг начал целовать ее, как целуют только родную плоть. Потом рыданья, тяжелые рыданья мужчины, медлительные, как морские валы, похожие на пьяную икоту, вырвались из его груди.

Он всхлипывал:

— Это ты, ты, Франсуаза, маленькая ты моя...

Внезапно он встал, ударил кулаком по столу так, что стаканы опрокинулись, разбились вдребезги, и начал ругаться громовым голосом. Потом он сделал несколько шагов, зашатался, вытянул руки и упал вниз лицом. Он стал кататься по полу, биться руками и ногами, издавая стоны, похожие на хрип умирающего.

Товарищи смотрели на него и хохотали.

— Вот здорово нализался,— сказал один из них.

— Надо его уложить,— сказал другой.— Если он выйдет на улицу, его засадят.

Так как у него в карманах были деньги, хозяйка предложила кровать, и товарищи, сами до того пьяные, что едва держались на ногах, втащили его по узкой лестнице в комнату женщины, которая только что его принимала. Она просидела до самого утра на стуле возле преступного ложа, плача так же горько, как он.

I

Когда с пристани, маленькой провансальской пристани Гаранду, расположенной в бухте Писка́, между Марселем и Тулоном, заметили лодку аббата Вильбуа, возвращавшегося с рыбной ловли, несколько человек спустились вниз, чтобы помочь вытащить ее на берег.

Аббат был в лодке один и греб, как заправский моряк, с удивительной для его пятидесяти восьми лет силой. Рукава были засучены на мускулистых руках, сутана, внизу приподнятая и зажатая меж колен, чуть приоткрыта на груди, вместо треугольной шляпы, лежавшей тут же, на скамье, на голове был пробковый, покрытый белым чехлом шлем. В таком живописном виде аббат казался здоровяком-миссионером жарких стран, созданным скорее для приключений, чем для отправления церковной службы.

Время от времени он оборачивался, ища место для причала, потом снова начинал мерно, сильно и методично работать веслами, чтобы лишний раз показать этим никчемным южным матросам, как умеют грести северяне.

Лодка с разгону коснулась песка, потом, зарывшись килем, скользнула вперед, словно собиралась прорезать весь пляж. Но вдруг остановилась, и пятеро мужчин, дружелюбно и одобрительно глядевших на священника, подошли, приветливо поздоровались.

— Ну как, господин кюре,— спросил один из них с сильным провансальским акцентом,— удачный был лов?

Аббат Вильбуа сложил весла, снял пробковый шлем и надел вместо него треугольную шляпу, спустил рукава, застегнул сутану и, снова приняв достойный вид и осанку деревенского священнослужителя, с гордостью ответил:

— Да, да, очень удачный. Три зубатки, две мурены и несколько губанов.

Пятеро рыбаков подошли к лодке и, нагнувшись над бортом, с видом знатоков осматривали уснувшую рыбу: жирных зубаток, плоскоголовых мурен — этих отвратительных морских змей — и фиолетовых губанов, испещренных золотисто-оранжевыми зигзагами.

Один из рыбаков сказал:

— Я отнесу их вам на мызу, господин кюре.

— Спасибо, мой друг.

В сопровождении рыбака священник двинулся в путь, пожав руки остальным и предоставив им убрать лодку.

Он шел большими, неторопливыми шагами, исполненный достоинства и силы. Разгоряченный усиленной греблей, он, проходя под жалкой тенью оливковых деревьев, снимал иногда шляпу и подставлял вечернему воздуху, все еще теплому, но освеженному морским ветерком, седую голову с квадратным лбом, на который падали короткие прямые пряди, скорее лбом офицера, чем священника. На пригорке, среди обширной, спускающейся к морю долины, показалась деревня.

Был июльский вечер. Ослепительное солнце, почти коснувшееся зубчатого гребня далеких гор, косо вытянуло по белой дороге, покрытой серым саваном пыли, бесконечную тень священника в огромной треуголке, которая широким, темным пятном, как бы резвясь, то взбиралась на встречные оливковые деревья, то, скользнув вниз, ползла между стволами.

Из-под ног аббата Вильбуа подымалось облако мелкой пыли, тонкой как мука, устилающей летом все провансальские дороги. Она клубилась вокруг его сутаны, покрывала ее, ложилась на подол все более заметным серым слоем. Аббат успел отдохнуть и шел, засунув руки в карманы, размеренной и крепкой походкой горца, преодолевающего подъем. Спокойным взглядом смотрел он на деревню, свою деревню, выбранную им самим, предоставленную ему благодаря большим связям, деревню, где он рассчитывал прожить до самой смерти. Церковь, его церковь, венчала широкий конус теснившихся вокруг нее домов двумя четырехугольными башнями разной высоты; их старинные тем-

ные силуэты высились в этой прекрасной южной долине, скорее напоминая сторожевые башни укрепленного замка, чем колокольни храма.

Аббат был доволен. Ведь он поймал трех зубаток, двух мурен и несколько губанов.

Это будет его новым триумфом в приходе, где он слыл, несмотря на возраст, чуть ли не самым сильным человеком, за что его главным образом и уважали. Это невинное тщеславие немало тешило аббата. Он стрелял из пистолета так, что срезал стебли цветов, состязался на шпагах со своим соседом, владельцем табачной лавки, бывшим полковым фехтмейстером, и был лучшим пловцом в округе.

В прошлом это был человек большого света, барон де Вильбуа, всегда элегантный, всегда на виду, который в тридцать два года стал священником из-за несчастной любви.

Происходя из старинного пикардийского рода благочестивых роялистов, который в течение нескольких веков отдавал своих сыновей армии, магистратуре и церкви, он вначале, по совету матери, хотел принять духовный сан, но, по настоянию отца, решил попросту отправиться в Париж, изучить право и занять впоследствии солидную должность в суде.

В то время как он заканчивал курс учения, его отец, охотясь в болотистых местах, схватил воспаление легких и умер, а вскоре умерла и сломленная горем мать. Тогда барон де Вильбуа, неожиданно унаследовавший большое состояние, отказался от служебной карьеры ради беспечной жизни богатого человека. Благодаря красивой внешности и уму, правда, скованному предрассудками, традициями и принципами, полученными в наследство вместе с мускулатурой от мелкопоместных пикардийских дворян, он нравился, имел успех в солидных кругах общества и пользовался жизнью, как и подобает богатому и серьезному молодому человеку строгих правил.

Но вот, после нескольких встреч в доме одного приятеля, он влюбился в совсем юную девушку, юную актрису, только что кончившую консерваторию и блестяще дебютировавшую в Одеоне.

Он влюбился в нее со всем пылом, со всей страстностью человека, рожденного для веры в незыблемые идеи. Он влюбился, видя ее сквозь призму роли, в которой она при первом своем выступлении имела шумный успех.

Это была красивая и развратная по натуре женщина с наивным детским личиком, которое он называл ангельским. Она сумела окончательно покорить его, превратить в одного из тех

одержимых безумцев, в одного из тех исступленных маньяков, которые сгорают на костре Гибельных Страстей от женского взгляда, от женской юбки. Сделавшись его любовницей, она, по его настоянию, бросила сцену, и он в течение четырех лет любил ее со все возрастающим пылом. Несмотря на свое имя и семейные традиции, он, несомненно, женился бы на ней в конце концов, если бы не открыл вдруг, что она уже давно обманывает его с тем самым приятелем, который их познакомил.

Драма была тем ужаснее, что любовница была беременна, и он только ждал рождения ребенка, чтобы решиться на брак.

Когда в его руках очутились улики — письма, случайно найденные в ящике стола, он со всей грубостью своей полудикой натуры стал осыпать ее упреками за измену, за вероломство, за нанесенное ему бесчестие.

Но она, дитя парижских тротуаров, столь же бесстыдная, как и распутная, уверенная в своей власти над обоими любовниками и такая же бесстрашная, как те женщины из народа, что идут на баррикады просто из лихости, стала с вызывающим видом осыпать его бранью. Когда он поднял на нее руку, она указала ему на свой живот.

Он остановился, побледнев при мысли, что в этой осквернённой утробе, в этом презренном теле, в этом нечистом создании растет его дитя, его отпрыск! Он бросился на нее, чтобы раздавить обоих, уничтожить этот двойной позор. Перед лицом смертельной угрозы, когда удар кулака свалил ее наземь и она увидела, что он готов растоптать ногами ее вздутое чрево, где уже созревала новая жизнь, она испугалась и, защищаясь вытянутыми руками от удара, крикнула:

— Не убивай меня! Это не твой, это от него!

Он отпрянул, пораженный, потрясенный настолько, что ярость его застыла, как и занесенная над женщиной нога, и он пробормотал:

— Что... что ты сказала?

Обезумев от страха, прочтя себе смертный приговор в глазах и в грозном жесте стоящего перед ней мужчины, она повторила:

— Это не твой, это от него...

Сраженный, стиснув зубы, он прошептал:

— Ребенок?

— Да.

— Лжешь!

И он снова занес над ней ногу, грозя растоптать ее, но любовница, ползая на коленях, пятясь от него, все повторяла:

— Говорю тебе, что это от него. От тебя это было бы уже давно.

Такой довод поразил его, как сама истина. В один из тех моментов внезапного озарения, когда пред человеком с ослепительной ясностью, точностью, неопровержимостью встают все соображения, неумолимо подводя к итогу, он сразу проникся уверенностью в том, что не он отец этого несчастного ребенка, зачатого потаскухой. И, почувствовав облегчение, освобождение, внезапно успокоившись, он отказался от мысли уничтожить эту подлую тварь.

И уже не таким повышенным тоном сказал ей:

— Вставай, убирайся, и чтобы я тебя больше никогда не видел.

Почувствовав себя побежденной, она повиновалась и ушла.

Больше он ее никогда не видел.

Он также уехал. Он отправился на юг, к солнцу, и остановился в деревушке, расположенной в долине, на берегу Средиземного моря. Ему понравилась гостиница с видом на море, он снял в ней комнату и остался. Он прожил там полтора года в горе, в отчаянии, в одиночестве. Он жил, терзаясь воспоминаниями об изменившей ему женщине, о ее прелести, ее тайных чарах, тоскуя по ней и по ее ласкам.

Он бродил по провансальским долинам, подставляя солнечным лучам, пробивавшимся сквозь мелкие серебристые листочки оливковых деревьев, свою горемычную голову, измученную все тем же наваждением.

Но в этом горестном уединении стало медленно возрождаться в его душе былое религиозное чувство, усердие юношеской веры, несколько остывшее с годами. Религия, казавшаяся ему тогда прибежищем от жизни еще неизведанной, теперь представлялась ему прибежищем от жизни, которую он познал,— вероломной и лживой. У него сохранилась привычка молиться. Теперь в его горе молитва стала для него потребностью, и часто в сумерках он преклонял колена в полутемной церкви, где в глубине хоров светящейся точкой мерцала лампада, священный страж храма, символ божественного присутствия.

Этому богу, своему богу, он поведал о своих страданиях, высказал всю свою муку. Он просил у него совета, помощи, заступничества, утешения. И в свою молитву, творимую с каждым днем все усерднее, он каждый раз вкладывал все больше глубокого чувства.

Его израненное сердце, истерзанное любовью к женщине, по-прежнему трепетало в жажде ласки. И мало-помалу благо-

даря молитве, отшельнической жизни, исполненной благочестия, тайному общению верующих душ со спасителем, утешающим и призывающим к себе всех страждущих, мистическая любовь к богу вошла в него и победила земную.

Тогда в нем проснулись его первоначальные стремления, и он решил посвятить церкви свою разбитую жизнь, которую готов был отдать ей, когда эта жизнь была еще нетронутой.

Он стал священником. С помощью своей семьи и связей ему удалось получить приход в той провансальской деревне, куда его забросил случай. Пожертвовав на благотворительные дела большую часть своего состояния, он оставил себе лишь столько, чтобы до самой смерти приносить пользу, приходить на помощь бедным, и замкнулся в однообразном существовании, заполненном делами благочестия и служения ближним.

Он стал священником, ограниченным во взглядах, но добрым, своего рода духовным пастырем с темпераментом солдата, пастырем церкви, который силой выводил на прямую дорогу слепой и заблудший род человеческий, затерявшийся в жизненной чаще, где наши инстинкты, склонности и желания — тропинки, уводящие нас от пути истинного. Но в нем осталось многое от прежнего мирянина. Он, как и раньше, любил физические упражнения, благородный спорт — фехтование и стрельбу и, как ребенок от неведомой опасности, бежал от женщин, от всех женщин.

II

У матроса, следовавшего за священником, как у истого южанина, чесался язык. Но из чувства почтения, которое аббат внушал своей пастве, он не решался заговорить первый. Наконец, осмелев, он сказал:

— Ну как, господин аббат, довольны вы своей мызой?

Эта мыза была просто одним из тех маленьких домиков, куда деревенские и городские жители Прованса уединяются летом, чтобы пожить на свежем воздухе. Аббат нанял этот домишко, выстроенный среди поля, всего в пяти минутах ходьбы от церковного дома, затиснутого между домами прихожан, у самого храма.

На этой мызе он никогда не живал подолгу, даже летом, и только время от времени приходил сюда на несколько дней, чтобы побыть среди зелени и пострелять из пистолета.

— Да, мой друг,— ответил кюре.— Мне здесь очень хорошо.

Из гущи деревьев вынырнул низенький домик, выкрашен-

ный в розовый цвет, исчерченный, исполосованный, изрезанный на кусочки листьями и ветвями ничем не огороженной оливковой рощи, среди которой он, казалось, вырос из земли, словно провансальский шампиньон.

Увидели они также высокую женщину,— она ходила у дома взад и вперед, накрывая обеденный столик на один прибор, с неторопливой аккуратностью ставила тарелку, салфетку, хлебницу, рюмку. На голове у нее был конусообразный чепец из черного бархата или шелка, с возвышающимся посредине белым грибом,— обычный головной убор арлезианок.

Подойдя настолько, что его могло быть слышно, аббат окликнул ее:

— Маргарита!

Она остановилась, вглядываясь, и, увидев хозяина, ответила:

— А, это вы, господин кюре.

— Да, я принес вам хороший улов. Зажарьте мне поскорее зубатку в масле, ничего, кроме масла, слышите?

Подойдя к мужчинам, служанка стала взглядом знатока рассматривать рыбу, которую нес матрос.

— А я сегодня приготовила курицу с рисом,— сказала она.

— Ничего не поделаешь. Рыба назавтра совсем не то, что прямо из воды. Мне хочется сегодня полакомиться, это со мной не часто бывает. Да и грех невелик.

Женщина, отобрав зубатку, понесла было ее на кухню, но снова вернулась:

— Да, сегодня уже три раза к вам приходил какой-то человек, господин кюре.

Аббат безразлично спросил:

— Человек? А что за человек?

— Да такой, кому особо верить нельзя.

— Что же он, нищий?

— Может, и нищий, не скажу. Скорее, по-моему *мауфатан.*

Аббат рассмеялся, услышав слово, означающее на провансальском наречии разбойника, бродягу. Он знал трусливый характер Маргариты, которая, живя на мызе, постоянно и днем и, особенно, ночью дрожала, как бы их не убили.

Матрос, получив несколько су, ушел, и аббат, сохранивший привычку светского человека к опрятности, только успел сказать: «А теперь нужно сполоснуть лицо и руки»,— как Маргарита, чистившая в кухне рыбу, со спинки которой сыпались запачканные кровью чешуйки, похожие на крошечные серебряные монеты, крикнула ему:

— Вот он опять!

Аббат взглянул на дорогу и действительно увидел медленно приближающегося к дому человека, который еще издали показался ему очень плохо одетым. Поджидая его и еще посмеиваясь над страхом служанки, он подумал: «А ведь она права: он сильно смахивает на мауфатана».

Незнакомец приближался, засунув руки в карманы, не торопясь, пристально глядя на аббата. Он был молод, оброс светлой курчавой бородой. Вьющиеся пряди волос выбивались из-под полей мягкой фетровой шляпы, такой грязной и измятой, что невозможно было угадать ее первоначальную форму и цвет. На нем было длинное коричневое пальто, брюки, обтрепанные у щиколоток, на ногах — сандалии, которые делали его походку мягкой, вкрадчивой, бесшумной — угрожающей походкой бродяги.

Очутившись в нескольких шагах от священника, он театральным жестом снял рванину, надвинутую на лоб, и открыл потасканное, порочное, но красивое лицо и плешь на темени — признак изнурения или раннего разврата, так как этому человеку было явно не больше двадцати пяти лет.

Аббат тоже снял шляпу, угадывая, чувствуя, что перед ним не обычный бродяга — рабочий, потерявший работу, или отбывший наказание преступник, который скитается, пока снова не попадет в тюрьму, и почти отвык говорить иначе, как на тайном воровском наречии.

— Добрый день, господин кюре,— сказал незнакомец.

— Здравствуйте,— просто ответил священник, не желая величать «сударем» этого подозрительного оборванца.

Они пристально смотрели друг на друга, и под взглядом бродяги аббат Вильбуа вдруг почувствовал себя смущенным, взволнованным, словно перед лицом неведомого врага его охватила та смутная тревога, которая пронизывает дрожью все существо.

Наконец бродяга спросил:

— Ну что, узнаете вы меня?

Аббат, чрезвычайно удивленный, ответил:

— Я вас совсем не знаю.

— Вот как? Вы меня совсем не знаете? Всмотритесь-ка получше.

— Сколько ни смотрю, я вас никогда не видел.

— Это правда,— ответил бродяга насмешливо,— но я сейчас покажу вам кое-кого, кто вам более знаком, чем я.

Он надел шляпу и расстегнул пальто, под которым оказа-

лась голая грудь. Впалый живот был стянут красным поясом, поддерживавшим на бедрах штаны.

Он вытащил из кармана конверт, невероятно грязный, испещренный всевозможными пятнами, один из тех конвертов, в которых бродяги хранят за подкладкой своего платья всякого рода документы, подлинные или фальшивые, собственные или краденые — драгоценную защиту своей свободы от встречных жандармов,— и вынул из него большую фотографическую карточку, величиной в лист писчей бумаги, какие делались когда-то, пожелтевшую, измятую, выцветушую от тепла и пота этого человека.

Подняв карточку вровень со своим лицом, он спросил:

— А вот этого вы знаете?

Аббат сделал два шага вперед, чтобы лучше разглядеть фотографию, и побледнел, потрясенный. Это был его собственный портрет, сделанный когда-то для нее, в далекую пору его любви.

Ничего не понимая, он молчал.

Бродяга повторил:

— А этого вы узнаете?

Священник прошептал:

— Да.

— Кто же это?

— Это я.

— Действительно вы?

— Ну да.

— Хорошо. Теперь взгляните на нас обоих, на этот портрет и на меня.

Он, несчастный, уже видел, что эти два человека — тот, что на снимке, и другой, который стоял, ухмыляясь, рядом,— похожи друг на друга, как два брата, но, все еще ничего не понимая, спросил, запинаясь:

— Чего же вы, наконец, от меня хотите?

Бродяга злобно ответил:

— Чего я хочу? Я хочу прежде всего, чтобы вы меня признали.

— Да кто вы такой?

— Кто я такой? Спросите первого встречного, спросите вашу служанку, хотите, пойдем спросим здешнего мэра. Стоит показать ему эту карточку, можете мне поверить, он посмеется всласть. Так вы, папаша кюре, не хотите признать, что я ваш сын?

Тогда старик библейским жестом отчаяния воздел руки и простонал:

— Это неправда!

Молодой человек подошел к нему вплотную и в упор сказал:

— Вот как! Неправда? Эй, аббат, бросьте врать, слышите!

Весь его вид, сжатые кулаки были так угрожающи и говорил он с такой яростной убежденностью, что аббат невольно отступил, спрашивая себя, кто же из них ошибается в эту минуту.

Тем не менее он еще раз повторил:

— У меня никогда не было детей.

— Может быть, и любовницы не было? — бросил тот в ответ.

Старик произнес твердо и с достоинством одно-единственное слово гордого признания:

— Была.

— И когда вы эту любовницу прогнали, она не была беременна?

Внезапно былой гнев, подавленный двадцать пять лет тому назад, нет, не подавленный, а замурованный глубоко в сердце любовника, прорвавшись, разметал возведенные над ним своды веры, смиренного благочестия, отречения от мира, и аббат вне себя воскликнул:

— Я прогнал ее, потому что она меня обманывала, а ребенок, которого она носила, был не от меня, от другого. Иначе я убил бы ее и вас, сударь, вместе с нею.

Молодой человек смутился, озадаченный негодующим порывом священника, и, снизив тон, спросил:

— Кто вам сказал, что ребенок был не от вас?

— Она сама нагло мне в этом призналась.

Тогда бродяга, не оспаривая этих слов, сказал равнодушным тоном выносящего суждение босяка:

— Ну что ж, значит, мамаша думала вас позлить, и сама ошиблась.

Аббат, овладев собой после вспышки гнева, в свою очередь, спросил:

— А вам кто сказал, что вы мой сын?

— Она сама перед смертью, господин аббат. И потом вот это.

Он поднес к глазам аббата карточку.

Старик взял ее и медленно, долго, с замирающим от ужаса сердцем сравнивал неизвестного прохожего со своим давнишним изображением; и сомнений у него не осталось: это был действительно его сын!

Его душу захлестнула скорбь, невыразимое волнение, точно угрызение совести за содеянный грех. Кое-что он стал понимать, об остальном догадывался, вспоминая грубую сцену разрыва. Только чтобы спасти свою жизнь, которой угрожал оскорбленный мужчина, женщина, лживая, развратная самка, бросила ему в лицо эту ложь. Ложь удалась. И вот родился сын, вырос, стал гнусным бродягой, от которого разит пороком, как от козла скотом.

Он пробормотал:

— Пройдемтесь немного, попробуем объясниться.

Тот насмешливо осклабился:

— Не возражаю, для того-то я и пришел.

И они пошли рядом по оливковой роще. Солнце скрылось. Резкая прохлада южных сумерек окутала землю невидимым холодным покровом. Аббат вздрогнул и, подняв по привычке священнослужителя глаза, увидел над собой дрожащую на фоне неба мелкую серебристую листву священного дерева, некогда укрывшего под своей прозрачной сенью величайшую скорбь, единственный миг слабости Иисуса Христа.

И в нем родилась молитва, короткая, полная отчаяния, произнесенная не устами, а тем внутренним голосом, которым верующие взывают к спасителю: «Помоги мне, господи!»

Потом он повернулся к сыну:

— Итак, ваша мать умерла?

Новое чувство скорби охватило его при словах «ваша мать умерла» и сжало его сердце. То было и страдание мужчины, чья плоть так и не забыла до конца, и жестокий отзвук пережитой им пытки, и еще больше, быть может,— ведь она умерла,— последняя вспышка того безумного короткого счастья юности, от которого ничего не осталось, кроме вечной раны в памяти.

Молодой человек ответил:

— Да, господин кюре, моя мать умерла.

— Давно?

— Три года тому назад.

Священником снова овладело сомнение.

— Почему же вы не явились ко мне раньше?

Тот замялся:

— Не мог. Была причина. Но позвольте прервать объяснения, я потом вам все расскажу с любыми подробностями, а пока признáюсь вам, что со вчерашнего утра я ничего не ел.

Порыв жалости охватил старика, и он протянул обе руки.

— Ах бедный мой мальчик!

Молодой человек вложил свои тонкие, лихорадочно горячие пальцы в эти большие протянутые ему руки и ответил с насмешливым выражением, так и не сходившим с его лица:

— Ну вот, я в самом деле начинаю думать, что мы с вами все-таки столкуемся.

Кюре снова зашагал.

— Пойдемте обедать,— сказал он. И вдруг вспомнил с какой-то безотчетной, смутной и странной радостью о пойманной им сегодня прекрасной рыбе, которая вместе с курицей с рисом будет сегодня хорошим обедом для несчастного юноши.

Встревоженная арлезианка, уже брюзжа, поджидала их у дверей.

— Маргарита,— крикнул аббат,— перенесите стол в комнату — живей, живей! — и поставьте два прибора, да живей же!

При мысли, что хозяин собирается обедать с этим разбойником, Маргарита остолбенела. Аббат Вильбуа начал сам снимать со стола и переносить в единственную комнату нижнего этажа поставленный для него прибор.

Пять минут спустя он сидел напротив бродяги перед миской капустного супа, от которого подымалось легкое облачко пара.

III

Когда тарелки были наполнены, бродяга начал жадно, полными ложками глотать суп. Аббат уже не чувствовал голода и вяло прихлебывал вкусный капустный навар, не притрагиваясь к лежащему на тарелке хлебу.

Вдруг он спросил:

— Как вас зовут?

Молодой человек засмеялся, радуясь, что утолил голод.

— Отец неизвестен, поэтому я ношу только фамилию матери, а ее вы, наверно, еще не забыли. Но зато у меня два имени, которые мне, кстати сказать, совсем не к лицу: Филипп-Огюст.

Аббат побледнел и сдавленным голосом спросил:

— Почему вам дали эти имена?

Бродяга пожал плечами.

— Вы сами могли бы догадаться. Оставив вас, мамаша хотела уверить вашего соперника, что я его сын, и он этому верил приблизительно до пятнадцатого года моей жизни. Тут уж я стал слишком походить на вас, и он, мерзавец, от меня отказался.

Так вот мне дали его имя: Филипп-Огюст. Если бы, на свое счастье, я ни на кого не был похож или просто был сыном какого-нибудь третьего прохвоста, оставшегося неизвестным, то теперь я был бы виконт Филипп-Огюст де Правалон, хоть и с опозданием, узаконенный сын сенатора, графа, носящего то же имя. Но я недаром окрестил себя Неудачником.

— Откуда вам все это известно?

— Да ведь я не раз бывал свидетелем объяснений, и довольно-таки бурных. Еще бы тут не узнать жизнь.

Нечто еще более тяжкое и мучительное, чем все то, что аббат перечувствовал и перестрадал за эти полчаса, сдавило ему грудь. Это было какое-то удушье, которое все нарастало и грозило убить его; и вызвано оно было не столько содержанием слов, сколько тоном, каким они произносились, и гнусным выражением лица бродяги, подчеркивавшим их смысл. Между этим человеком и собой, между своим сыном и собой он ощущал теперь грязь той моральной клоаки, которая для некоторых душ равносильна смертельному яду. И это его сын? Кюре все еще не мог этому поверить. Он требовал всех доказательств, решительно всех, он хотел все узнать, все понять, все услышать, все выстрадать. Он снова подумал об оливковых деревьях, окружавших его маленькую мызу, и еще раз прошептал:

— Помоги мне, господи!

Филипп-Огюст доел суп и спросил:

— Больше ничего не будет, аббат?

Так как кухня находилась не в самом доме, а в пристройке, до Маргариты не доходил голос кюре, и когда ему нужно было, он вызывал ее ударом в китайский гонг, висевший позади него на стене.

Он взял поэтому обшитый кожей молоток и несколько раз ударил по круглому металлическому диску.

Раздался слабый звук, который, все усиливаясь и нарастая, перешел в резкий, пронзительный, душераздирающий, страшный вопль потревоженной ударом меди. Служанка явилась. С перекошенным от злобы лицом она бросила на «мауфатана» яростный взгляд, словно чуя инстинктом верной собаки беду, постигшую ее господина. В руках она держала блюдо с жареной зубаткой, от которой шел аппетитный запах растопленного масла. Аббат ложкой разделил рыбу вдоль хребта и предложил филейную часть сыну — плоду своей молодой любви.

— Я сам поймал ее только что,— сказал он с остатком тщеславия, пробившимся сквозь отчаяние.

Маргарита не уходила.

— Принесите вина,— сказал священник,— хорошего, белого, корсиканского.

У нее вырвался жест возмущения, и ему пришлось с суровостью повторить: — Живее, две бутылки.

В тех редких случаях, когда аббат угощал кого-нибудь вином, он разрешал бутылочку и себе.

Филипп-Огюст заметил, просияв:

— Вот это славно, отличная мысль! Давно я так не обедал!

Служанка появилась снова через две минуты, но аббату они показались вечностью, потому что страстная потребность все узнать сжигала его теперь адским огнем.

Бутылки были откупорены, но служанка не двигалась с места, уставившись на незнакомца.

— Оставьте нас,— сказал аббат.

Она сделала вид, что не слышит. Он повторил почти грубо: — Я приказал вам оставить нас.

Тогда она вышла.

Филипп-Огюст ел рыбу с жадной торопливостью, а отец смотрел на него, все больше поражаясь и ужасаясь тем низменным, что видел в этом лице, так похожем на его собственное. Маленькие кусочки, которые аббат Вильбуа клал в рот, не шли ему в горло, сдавленное спазмой. И он долго жевал их, а сам между тем выбирал среди вопросов, приходивших ему на ум, тот, на который скорее всего хотел получить ответ.

Наконец он чуть слышно спросил:

— От чего она умерла?

— От чахотки.

— А долго она болела?

— Почти полтора года.

— Почему она заболела?

— Неизвестно.

Они замолчали. Аббат задумался. Ему мучительно хотелось узнать очень многое, потому что со дня разрыва, с того дня, когда он чуть не убил ее, он о ней ничего не слышал. Да и не хотел ничего слышать, потому что, со свойственной ему решительностью, бросил в пучину забвения и ее самое, и прожитые с ней дни счастья. Но теперь, когда ее уже не было в живых, в нем внезапно зародилось жгучее желание все узнать, желание ревнивое, сродни тому, что испытывал любовник.

Он снова заговорил:

— Она не была одинока, не правда ли?

— Да, она все время жила с ним.

Старик вздрогнул.

— С ним, с Правалоном?

— Ну да.

И обманутый когда-то мужчина подсчитал, что та самая женщина, которая изменила ему, прожила с его соперником больше тридцати лет.

Почти против воли он спросил, запинаясь:

— Они жили счастливо?

Молодой человек, ухмыльнувшись, ответил:

— Да, хотя всяко бывало. Без меня было бы совсем хорошо. Я им все дело портил.

— Каким образом, почему? — спросил священник.

— Ведь я же вам говорил. Он верил, что я его сын, пока мне не исполнилось пятнадцать лет. Но старик был не дурак. Он сам обнаружил сходство, и тут начались между ними сцены. Я часто подслушивал у дверей. Он все упрекал мамашу, что она его надула, а мамаша защищалась: разве, говорит, я виновата? Ведь когда ты со мной сошелся, ты прекрасно знал, что я — любовница другого. Другой — это вы.

— А, значит, они иногда обо мне говорили?

— Да, но никогда не называли при мне вашего имени. И только под конец, совсем под конец, в последние дни, когда мать почувствовала, что ей не выжить, она назвала вас. Они все опасались меня.

— А вы, вы с самого детства поняли ложное положение вашей матери?

— Еще бы. Я ведь не наивный ребенок и никогда им не был. Такое угадываешь сразу, как только начнешь разбираться в жизни.

Филипп-Огюст наливал себе вино, бокал за бокалом. Глаза его заблестели. После долгого воздержания он быстро пьянел.

Кюре заметил это и хотел его остановить, но тут у него мелькнула мысль, что пьяный скорее забудет про осторожность и даст волю языку. Взяв бутылку, кюре снова наполнил бокал молодого человека.

Маргарита принесла курицу с рисом. Поставив ее на стол, она снова посмотрела на бродягу и с негодованием сказала своему хозяину:

— Да посмотрите же, господин кюре, он совершенно пьян.

— Оставь нас в покое,— сказал священник.

Она вышла, хлопнув дверью.

Он спросил:

— Что же говорила ваша мать обо мне?

— Да то, что женщина обычно говорит о мужчине, которого бросила. Что вы были неуживчивы, докучали ей и что с вашими понятиями вы испортили бы ей жизнь.

— И часто она это говорила?

— Да, правда, больше намеками, чтобы я не понял, но я догадывался обо всем.

— А как с вами обращались в доме?

— Со мной? Вначале очень хорошо, потом очень плохо. Когда мать увидала, что я стою ей поперек дороги, она меня сплавила.

— Каким образом?

— Каким образом? Очень просто. Я напроказил в шестнадцать лет. Тогда эти гнусы, чтобы развязать себе руки, отправили меня в исправительный дом.

Он поставил локти на стол, подпер голову обеими руками и, совершенно охмелев, с затуманенным от вина сознанием, почувствовал свойственную пьяным непреодолимую потребность говорить о себе, выдумывать всякие хвастливые небылицы.

Теперь он улыбался милой, женственной улыбкой, порочную прелесть которой священник тотчас же узнал. И не только узнал — он почувствовал ее, эту ненавистную и чарующую прелесть, которая покорила и погубила его когда-то. Теперь сын больше был похож на мать — не чертами лица, а пленительным неверным взглядом, обольстительностью лживой улыбки, приоткрывавшей уста как бы для того, чтобы дать выход всей скрытой внутри мерзости.

Филипп-Огюст рассказывал:

— Ну и жизнь у меня была после исправительного дома! Забавная жизнь, какой-нибудь великий писатель дорого заплатил бы за такой материал. Даже старик Дюма с его «Графом Монте-Кристо» не выдумал бы таких потешных историй, какие приключались со мной.

Он помолчал с глубокомысленным видом пьяного, погруженного в раздумье, и медленно продолжал:

— Кто хочет, чтобы парень образумился, никак не должен отдавать его в исправительный дом, что бы он ни натворил, уж очень сомнительные он заводит знакомства! Я вот сдружился там со славными ребятами, да кончилось это плохо. Шатались мы как-то вчетвером часов в девять вечера по большой дороге у Фолакского перевоза. Были мы все подвыпивши. Видим, едет повозка, и все седоки вместе с хозяином на козлах спят крепким сном. Это мартенонские жители возвращались с обеда в городе. Я беру лошадь под уздцы, вывожу ее на паром и толкаю

паром на середину реки. Хозяин, услышав шум, проснулся и, ничего не заметив, стегнул лошадь. Она рванула и вместе с повозкой полетела прямо в воду. Все утонули. Приятели донесли на меня. А раньше, когда я затеял это представление, они только хохотали. Правда, мы не ожидали, что дело кончится так плохо. Нам хотелось только выкупать их потехи ради.

Потом я стал откалывать номера почище, чтобы отомстить за первый случай, который, право же, не заслуживал серьезного наказания. Но о них говорить не стоит. Расскажу вам только про последнюю проделку, я уверен, что она вам понравится: я отомстил за вас, папаша.

Аббат с ужасом смотрел на своего сына. Есть он уже больше не мог.

— Нет,— сказал он,— не сейчас, подождите немного.

Повернувшись, он снова ударил в гулкий китайский гонг.

Маргарита сейчас же явилась.

Хозяин заговорил таким суровым тоном, что она испуганно и покорно опустила голову:

— Принеси лампу и все, что у тебя еще есть к обеду, а сама не являйся до тех пор, пока я не ударю в гонг.

Она вышла, вернувшись, поставила на стол белую фарфоровую лампу с зеленым абажуром, большой кусок сыра и фрукты и удалилась.

Аббат твердо сказал:

— Теперь я вас слушаю.

Филипп-Огюст спокойно положил себе на тарелку десерт и налил в стакан вина. Вторая бутылка была почти пуста, хотя аббат к ней не притронулся. От всего съеденного и выпитого язык у молодого человека заплетался. Запинаясь, он начал рассказывать:

— Последняя моя проделка... была почище. Я вернулся домой... и остался там жить, хотя они и были против этого. Они боялись меня... боялись. Да, меня лучше не сердить: когда меня рассердят, я на все способен... Так вот... Они жили вместе и не вместе. У него были две квартиры: одна — квартира сенатора, другая — квартира любовника. Но у мамаши он жил чаще, потому что не мог уже без нее обойтись. Уж и хитра она была, мамаша-то, уж и ловка-то! Умела удержать при себе мужчину. Он весь был в ее власти — душой и телом — до самого последнего дня. Какие же дураки эти мужчины! Так вот, я вернулся и держал их теперь в постоянном страхе. Когда нужно, я умею за себя постоять, где хитростью, где обманом, а где и кулаком, мне никто не страшен. Но тут мамаша заболела, и он поселил ее

в прекрасном имении, посреди парка, огромного, как лес, недалеко от Мёлана. Тянулось это, как я уже говорил, года полтора. Потом видим — дело идет к концу. Он каждый день приезжал к ней из Парижа и, надо сказать правду, сильно убивался.

И вот как-то утром они опять завели разговор чуть ли не на целый час, и я только-только подумал, о чем они там трещат, как меня позвали. Мамаша и говорит мне:

«Я умираю и хочу тебе открыть кое-что, хотя граф и против этого». Говоря о нем, она всегда называла его графом.

«Я хочу открыть тебе имя твоего отца, он еще жив».

Я сотни раз, сотни раз спрашивал у нее имя моего отца, сотни раз... Но она всегда отказывалась назвать его. Кажется, я как-то даже влепил ей пощечину, чтобы у нее язык развязался, но и это не помогло. А потом, чтобы отделаться от меня, она заявила, что вы умерли без гроша, что вы ничего путного собой не представляли, что это была ошибка молодости, девичья оплошность. И так все это расписала, что я дал маху — поверил в вашу смерть.

Так вот она мне и говорит:

«Сейчас я открою тебе имя твоего отца».

А тот, сидя в кресле, перебивает ее и говорит три раза подряд:

— Напрасно вы это делаете, напрасно, напрасно, Розета!

Мамаша приподнялась на кровати. Как сейчас вижу ее перед собой — на скулах красные пятна, глаза горят — она все-таки меня любила. Вот она и говорит:

«Тогда сделайте для него что-нибудь, Филипп».

В разговоре она всегда называла его Филиппом, а меня Огюстом. В ответ он раскричался как бешеный:

«Для этого мерзавца... Никогда! Для этого негодяя, для этого каторжника, для этого...» — И он стал обзывать меня такими именами, будто всю жизнь только и придумывал их.

Я уж было рассердился, но мамаша велела мне замолчать и сказала ему:

«Что ж, вы хотите, чтобы он с голоду умер? Ведь у меня ничего нет».

Но он, ничуть не смутившись, ответил:

«Розета, я ежегодно выдавал вам по тридцать пять тысяч франков, за тридцать лет это составило больше миллиона. Благодаря мне вы жили богатой, любимой и, смею сказать,— счастливой женщиной. Но этому негодяю, который отравил последние годы нашей жизни, я ничем не обязан, и он от меня ничего не получит. Настаивать бесполезно. Назовите ему имя того

человека, если хотите. Я очень об этом жалею, но умываю руки».

Тут мамаша оборачивается ко мне. «Что ж, прекрасно,— подумал я про себя,— теперь я найду своего настоящего отца, и, если у него водятся деньжонки, я спасен».

А она говорит:

«Твой отец — барон де Вильбуа, ныне аббат Вильбуа, кюре в Гаранду, около Тулона. Он был моим любовником, когда я бросила его ради этого человека».

И она все рассказала мне, кроме того, что вас она тоже надула насчет своей беременности. Но женщины все на один лад— никогда не говорят правду.

Он тупо захохотал, без стеснения изрыгая всю свою душевную грязь. Затем выпил еще и все с тем же игривым выражением лица продолжал:

— Мамаша умерла два дня... два дня спустя... Мы шли за ее гробом до самого кладбища, он и я... Потеха, не правда ли? Он, я и трое слуг, больше никого... Он разливался в три ручья. Мы шли рядышком, в точности — папенька со своим сынком.

Затем мы вернулись домой... Только вдвоем. Я размышлял про себя: «Придется убираться, а в кармане ни гроша.— У меня было ровно пятьдесят франков.— Что бы такое придумать, чтобы отомстить ему?»

Вдруг он тронул меня за плечо и сказал:

«Мне надо с вами поговорить».

Я прошел за ним в кабинет. Он сел за стол и, захлебываясь от слез, стал меня уверять, что вовсе не собирается обойтись со мной так дурно, как говорил мамаше. Он просил меня не докучать вам — все это, мол, наше личное дело, его и мое... и предложил мне тысячефранковый билет — тысячу франков, а что значит тысяча франков для такого человека, как я? Я увидел, что в ящике этих бумажек еще целая куча. При виде их меня так и потянуло поиграть ножичком. Я протянул руку будто для того, чтобы взять его подачку, а сам вдруг кинулся на него, швырнул его на пол и так сдавил ему глотку, что у него глаза вылезли на лоб. Когда я увидел, что он кончается, я заткнул ему рот платком, связал, раздел его, перевернул лицом вниз, и тут... ха, ха, ха... тут я отомстил за вас, да еще как забавно...

Захлебнувшись от хохота, Филипп-Огюст закашлялся, и в хищном изгибе его вздернутой губы аббат снова узнал улыбку женщины, которая когда-то сводила его с ума.

— А потом? — спросил он.

— Потом? Ха-ха-ха! В камине пылал огонь... Дело было в

декабре... Мамаша умерла в морозы... Уголь горел вовсю. Я взял кочергу, накалил ее докрасна и давай выжигать на спине у него кресты — восемь, десять крестов, сам не знаю сколько, потом перевернул его и столько же крестов выжег на брюхе. Потеха, правда, папаша? В прежние времена так клеймили каторжников. Он извивался, как угорь... Но я так заткнул ему глотку, что он даже крикнуть не мог... Потом забрал все деньги; их было двенадцать бумажек, а вместе с моей всего тринадцать... Оттого и не повезло мне с ними... Уходя, я приказал слугам до обеда не беспокоить графа, так как он уснул. Я был уверен, что он побоится скандала и не станет разглашать эту историю,— как никак, он сенатор. Но я ошибся. Через четыре дня меня накрыли в одном парижском ресторане. Дали три года тюрьмы. Вот почему я не явился к вам раньше.

Он выпил еще и забормотал, еле выговаривая слова:

— А теперь... папаша, папаша кюре... вот забавно иметь папашей кюре! Ха-ха-ха! Нужно быть ласковым, приголубить сыночка, потому что сыночек у вас не какой-нибудь... ведь здорово он это... а? Здорово придумал... со старикашкой...

Тот же неистовый гнев, до которого довела когда-то аббата Вильбуа вероломная любовница, теперь охватил его при виде этого омерзительного человека.

Он, который именем божиим отпускал столько гнусных грехов, шепотом доверенных ему под тайной исповеди, почувствовал, что в нем самом нет ни сострадания, ни жалости, и он уже больше не взывал к милосердному, всеблагому богу о помощи, ибо знал, что никакое земное и небесное заступничество не может в здешнем мире спасти тех, на кого обрушилось такое великое несчастье. Весь пыл его страстного сердца и буйной крови, притушенный дотоле духовным саном, восстал против этого бродяги, его сына, против рокового сходства с ним самим и с матерью, недостойной матерью, зачавшей сына по своему подобию, и против рока, приковавшего этого негодяя, словно ядро каторжника, к отцовской ноге.

Он видел, что сулит ему будущее, в мгновенном озарении видел все наперед, пробужденный страшным ударом от двадцатипятилетнего благочестивого сна и покоя. Сразу убедившись, что внушить этому злодею страх, сломить его можно, лишь взяв решительный тон, аббат, стиснув в бешенстве зубы и уже не помня, что имеет дело с пьяным, сказал ему:

— После того как вы мне все рассказали, выслушайте меня. Завтра утром вы уйдете. Вы будете жить там, где я вам укажу, и без моего разрешения не двинетесь с места. Я буду

давать вам на содержание сумму, достаточную для прожития, но небольшую, потому что у меня самого нет денег. Но если вы хоть раз меня ослушаетесь — тогда конец всему и не ждите от меня снисхождения.

Филипп-Огюст, хоть и пьяный до бесчувствия, все же понял угрозу, и в нем сразу проснулся преступник. Он стал выкрикивать, перемежая слова пьяной икотой:

— Эй, папаша... Так поступать со мной не годится... Ты кюре... Ты у меня в руках, и станешь шелковым, как и все другие....

Аббат вскочил; в мускулах старого атлета вспыхнула непреодолимая потребность схватить это чудовище, согнуть его, как тростинку, показать, что ему придется покориться.

Он двинул стол, толкнув им бродягу в грудь, и крикнул:

— Эй, вы! Берегитесь! Меня никто не запугает!

Пьяный бродяга потерял равновесие и покачнулся на стуле. Чувствуя, что падает, чувствуя себя во власти священника, он метнул в него взгляд убийцы и потянулся к одному из валявшихся на столе ножей. Увидев этот жест, аббат Вильбуа так сильно толкнул стол, что сын его упал навзничь и растянулся на полу. Лампа опрокинулась и погасла.

Несколько секунд в темноте слышался чистый, мелодичный звон ударявшихся друг о друга бокалов; потом по полу поползло какое-то мягкое тело, и наконец все затихло.

Внезапно наступившая после падения лампы непроглядная тьма была так неожиданна, что поразила их, будто случилось нечто ужасное. Пьяный бродяга привалился к стене и больше не двигался. А священник застыл на стуле, погруженный во мрак, в котором потонул и его гнев. Покров темноты, пригасив вспышку ярости, остановил бешеный порыв его души, и другие мысли овладели им, черные и печальные, как ночь.

Наступила тишина, давящая тишина могильного склепа, где, казалось, больше ничего не живет и не дышит. Ни один звук не долетал и снаружи — ни отдаленный стук телеги, ни лай собаки, ни даже шорох ветерка в ветвях деревьев или вдоль стены.

Это длилось долго, очень долго, может быть, целый час.

И вдруг прозвучал гонг. Он прозвучал только один раз — резким, сухим, отрывистым ударом, затем раздался какой-то странный шум, словно упало что-то тяжелое, и опрокинулся стул.

Маргарита была настороже, она сразу же прибежала. Но, открыв дверь в комнату, где царил непроницаемый мрак, она в

ужасе отпрянула. Вся дрожа, она с замиранием сердца позвала тихим, прерывающимся голосом:

— Господин кюре, господин кюре!

Никто не отвечал, ничто не шевелилось.

«Боже мой, боже мой,— думала она,— что они сделали, что случилось?»

Она не решалась шагнуть вперед, не решалась вернуться в кухню за лампой. Ее охватило безумное желание броситься вон из дому, бежать, вопить, хотя ноги у нее подкашивались и почти не держали ее.

— Господин кюре, господин кюре! Это я, Маргарита! — повторяла она.

Но вдруг инстинктивное желание прийти на помощь своему хозяину победило страх, и порыв мужества, в иные минуты превращающий женщину в героиню, охватил ее душу решимостью отчаяния. Она бросилась на кухню и вернулась с лампой. На пороге комнаты она остановилась. Прежде всего она увидела растянувшегося у стены бродягу, который спал или притворялся спящим, потом разбитую лампу, потом торчащие из-под стола ноги в черных чулках, ноги аббата Вильбуа, который, падая навзничь, очевидно, задел головой висевший сзади него гонг.

Она вся задрожала, руки ее затряслись.

— Боже мой, боже мой, что же это такое! — повторяла она.

Продвигаясь вперед осторожными, мелкими шажками, она поскользнулась, наступив на что-то липкое, и чуть не упала. Нагнувшись, она увидела на красных плитках пола красный ручеек, который, расплываясь у ее ног, быстро стекал к двери. Она поняла, что это кровь.

Обезумев, она швырнула лампу, чтобы ничего больше не видеть, и бросилась бежать через сад в деревню. Она бежала, натыкаясь на деревья, и, вперив глаза в отдаленные огоньки, вопила. Пронзительным голосом, напоминавшим зловещий крик филина, она без передышки выкрикивала только одно слово: «Мауфатан! Мауфатан! Мауфатан!»

Когда она добежала до первых домов, оттуда выскочили перепуганные люди и окружили ее. Но она, совершенно потеряв голову, отбивалась от них и ничего не отвечала.

Наконец крестьяне поняли, что на мызе священника произошло несчастье, и несколько человек с оружием в руках бросились на помощь.

Маленькая розовая мыза, окруженная оливковыми деревьями, была теперь черна и невидима среди глубокой немой тьмы. Когда единственный огонек в окне потух, как закрывшийся глаз,

ее окутала ночная тень,— она потонула во мраке, и только местный житель мог найти к ней дорогу.

Вскоре между деревьями, приближаясь к ней, замелькали огни. По выжженной траве протянулись длинные желтые полосы, и в их блуждающем свете искривленные стволы оливковых деревьев казались какими-то чудовищами, которые извивались и переплетались, точно змеи из преисподней. Порою метнувшийся вдаль отсвет выхватывал из темноты какой-то белесый расплывчатый силуэт, и вскоре низкая, четырехугольная стена маленького домика зарозовела при свете фонарей. Их несли несколько крестьян, под предводительством двух жандармов, вооруженных револьверами, полевого сторожа, мэра и Маргариты, которую вели под руки,— она была близка к обмороку.

Перед зияющей страшной дверью произошло замешательство. Но бригадир, схватив фонарь, вошел первым; за ним последовали остальные.

Служанка не солгала. Кровь, успевшая уже застыть, словно ковром покрывала весь пол. Она подтекла под бродягу, замочив ему руку и ногу. Отец и сын спали. Один, с перерезанным горлом, спал вечным сном; другой — сном пьяного. Оба жандарма набросились на бродягу, и не успел он проснуться, как на нем оказались наручники. Он протер глаза, удивленный, не вполне отрезвевший. Когда же он увидел труп священника, лицо его выразило ужас и недоумение.

— Как это он не убежал? — спросил мэр.

— Пьян мертвецки,— ответил бригадир.

И все согласились с ним, потому что никому и в голову не приходило, что аббат сам мог покончить с собой.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЖИЗНЬ

Роман «Жизнь» был впервые опубликован в парижской газете «Жиль Блаз» («Gil Blas»), где он печатался фельетонами с 27 февраля по 6 апреля 1883 года. Немедленно после этого он появился отдельной книгой у издателя Виктора Авара и имел большой успех (к началу 1884 года было продано 25 тысяч экземпляров книги).

«Жизнь» — первый роман Мопассана и вынашивался почти шесть лет. Первоначальный план романа молодой автор сообщил своему учителю Флоберу в 1877 году, а в письме к матери от 21 января 1878 года имеются такие строки: «Флобер... пришел в настоящий энтузиазм от проекта романа, который я ему прочитал. Он сказал мне: «Да, это великолепно, вот настоящий роман, вот настоящая идея!» Однако работа над романом продвигалась медленно, и в письме от 15 августа 1878 года Флобер спрашивал Мопассана: «А как роман, от плана которого я пришел в восторг?» Наконец громкий успех «Пышки», появившейся в 1880 году, побудил автора ускорить завершение романа, который вышел в свет уже после смерти Флобера.

Отдельные темы и эпизоды «Жизни» были использованы ранее в ряде новелл 1881—1882 годов. По методу своей работы (о котором Мопассан рассказывал позднее писателю Полю Бурже), он, задумав большое произведение, сперва печатал первые эскизы в виде газетных очерков и фельетонов, а затем уже, переделывая их по два, три, а то и по четыре раза, включал в общую архитектонику романа.

В романе «Жизнь» отразилось много личного: любовь к родной Нормандии и любование ее пейзажами, воспоминания детства, проведенного в Этрета, отголоски семейной драмы родителей, которые разошлись после нескольких лет неудавшейся супружеской жизни. Философия «Жизни», выраженная в финальном выводе романа устами служанки Розали, многим обязана Флоберу. Последняя ее фраза почти дословно

совпадает с фразой из письма Флобера к Мопассану (1878): «Все в жизни не так плохо и не так хорошо, как об этом думают».

Отзывы французской прессы о первом романе Мопассана были довольно благожелательны. Писатель Поль Алексис — соавтор Мопассана по сборнику «Меданские вечера», писал в газете «Ревей» («Le Reveil») 15 августа 1888 года: «Эта книга — сама жизнь. Это те события, которые совершаются каждодневно и повсеместно. Особенно будут растроганы женщины, которые все сочтут себя в большей или меньшей степени Жаннами и найдут здесь свои собственные чувства и переживания... Я испытал большое удовлетворение, проглотив три сотни страниц этой прозы, которая показалась мне свежей, гибкой и сильной. Избыток здоровья, горячий стиль, мускулистая и уверенная фраза, крепкие мышцы атлета — я узнаю здесь всего Ги де Мопассана». Известный французский литературовед Брюнетьер, который причислял Мопассана к школе натуралистов, отметил в журнале «Ревю де Де Монд» («Revue des Deux Mondes») 1 августа 1884 года, что в авторе «Жизни» наличествуют «многие качества, редкие для этой школы... следы чувствительности, симпатии, волнения». Максим Гоше в журнале «Ревю блё» («La Revue Bleue») 21 апреля 1883 года писал, что главные персонажи романа «нарисованы рукой мастера» и что «серия картин, которые развертывает перед нашими глазами г-н де Мопассан, являются произведениями замечательного стилиста и колориста». Филипп Жиль из газеты «Фигаро» («Figaro») 25 августа 1883 года с удовлетворением объявил, что, начав как ученик Золя, Мопассан вышел за рамки этой школы.

Особенно высокой оценки роман «Жизнь» удостоился у русских писателей его времени. И. С. Тургенев, который близко знал Мопассана и приложил много усилий для популяризации его произведений в России, еще в ноябре 1882 года писал из Парижа М. М. Стасюлевичу — издателю и редактору петербургского журнала «Вестник Европы»: «Известный Вам молодой романист, Гюи де Мопассан, бесспорно, самый талантливый из всех современных французских писателей, написал роман, который с 15 февраля будет напечатан в «Жильблазе»... Содержание этого романа мне известно... Он мне на днях прочел несколько больших отрывков — и я положительно пришел в восторг: со времени появления «Госпожи Бовари» ничего подобного не появлялось... Я знаю, что за мной устанавливается репутация слишком снисходительного судьи и критика — но, либо я ничего не смыслю — либо роман Мопассана из ряда вон выходящее явление, *капитальнейшая вещь*». Рекомендуя опубликовать роман в «Вестнике Европы», Тургенев брал на себя хлопоты по организации и редактированию русского перевода и говорил в дополнение к своей характеристике «Жизни», что «роман прелесть — и чистоты чуть-чуть не шиллеровской» (И. С. Тургенев, Полн. собр. соч., т. XIII, кн. 2, «Наука», 1968, стр. 100, 124).

Не меньшее впечатление произвела «Жизнь» на Льва Николаевича Толстого, заставив его круто изменить первоначально неблагоприятное мнение о Мопассане, составленное по первому сборнику его новелл. «Эта книга с первых глав своих захватила меня; сначала одним своим художественным мастерством», но потом «и серьезностью содержания: любовью и состраданием автора к героине и недоумением перед ее страданиями... И из-за всего того выступала с такой умиляющей патетичностью загубленная жизнь милой женщины»,— писал Толстой в черновом наброске предисловия к сочинениям Мопассана, над которым он работал в 1883 году. Широко известны слова Толстого из этого же предисловия о том, что «Жизнь», по его мнению, «не только несравненно лучший роман Мопассана, но едва ли не лучший французский роман после «Misérables» Гюго». Менее известно, что, исправляя корректуру своей статьи, Толстой дал еще более высокую оценку «Жизни», говоря, что это «есть одно из лучших произведений не одной французской, но всемирной литературы» (Л. Толстой, Полн. собр. соч., т. 30, стр. 488).

Госпожа Бренн (ум. в 1883 г.) — вдова видного руанского журналиста Шарля Бренна (1827—1864), приятельница Флобера. Молодой Мопассан был принят в ее доме в Париже. Упоминая в посвящении об умершем друге, Мопассан имеет в виду Флобера, скончавшегося незадолго до выхода в свет романа «Жизнь», в 1880 году.

Стр. 32. *...историю злосчастий Пирама и Тисбы...*— Речь идет о трагической истории двух влюбленных, бежавших из Вавилона, которую рассказывает Овидий в своих «Метаморфозах» (кн. VI).

Стр. 40. *«Коринна»* — роман французской писательницы г-жи де Сталь «Коринна, или Италия» (1807). Романтическая героиня романа умирает непонятая и покинутая своим возлюбленным.

Стр. 62. *Свадьба Гаваша.*— Имеется в виду эпизод из «Дон-Кихота» Сервантеса (ч. II, гл. XX), свадьба богатого крестьянина Камачо (во франц. переводах — Ганаш).

Брак в Кане — эпизод из Евангелия (Иоанн, глава II), свадьба в Кане Галилейской, на которой присутствовал Иисус Христос.

Стр. 125. *Казалось, это была сама Дама озера...*— Подразумевается героиня поэмы Вальтера Скотта «Дама озера» (1810).

МИЛЫЙ ДРУГ

Второй роман Мопассана, «Милый друг», был закончен в феврале 1885 года и печатался фельетонами в газете «Жиль Блаз» с 8 апреля по 30 мая 1885 года. В том же месяце он был издан отдельной книгой и имел настолько большой успех, что уже в сентябре 1885 года издатель

Авар сообщил автору о выходе тридцать седьмого тиража, а 4 апреля 1887 года — о пятьдесят первом тираже книги. Почти одновременно с первым французским изданием роман «Милый друг» появился на русском языке, в петербургском журнале «Вестник Европы», в переводе А. Энгельгардт (кн. 3, 4, 5, 6; с марта по июнь 1885 г.).

Создавая на этот раз широкую социально-политическую панораму, Мопассан касается в романе самых острых проблем жизни Франции своего времени, затрагивает прессу, правительство, внешнюю политику Третьей республики. В 80-е годы XIX века буржуазная Франция встала на путь колониальных захватов: был занят Тунис, начата война на острове Мадагаскар и возобновлены военные действия с целью захвата Индокитая, переросшие в войну с Китаем (1884—1885 гг.). Этот период колониальных войн Мопассан и воспроизводит в романе «Милый друг», который фактически явился первым антиколониальным романом в мировой литературе.

Мопассан пишет о подлинных событиях, связанных с захватом Туниса, и лишь заменяет слово «Тунис» словом «Марокко».

Мопассан побывал в Африке в качестве репортера парижской газеты «Голуа» в 1881 году, когда имели место спровоцированный конфликт на алжирско-тунисской границе и капитуляция бея (12 мая 1881 г.), которого заставили подписать договор о признании французского протектората. В конце того же 1881 года было разгромлено восстание, вспыхнувшее в Тунисе против Франции. Писатель имел возможность лично наблюдать поведение французских войск в колониальных странах, так же как в Париже он наблюдал действия правительства Жюля Ферри, которое через свою прессу убеждало общественное мнение, что оккупации Туниса будто бы не будет, а под шумок потакало грязной биржевой афере на понижение и повышение тунисских акций: в 1883 году Франция внезапно гарантировала тунисский долг, и облигации, заблаговременно раскупленные крупными финансовыми акулами через подставных лиц, резко взлетели вверх, обогатив разом и биржевиков и министров. Именно этот механизм обогащения совершенно точно и достоверно описан в «Милом друге».

Отзывы французской прессы о втором романе Мопассана были более сдержанны и разноречивы, чем о романе «Жизнь». Критиков смущала неприглядная картина общественной жизни, нарисованная в романе, в особенности описание журналистских нравов Парижа. Но в то же время они не могли отказать роману в огромной правдивости. Максим Гоше в журнале «Ревю блё» от 23 мая 1885 года писал, что «Милый друг» является «могучим произведением, говорящим жестокую правду», что книга эта «действует раздражающе» и в то же время она «превосходна». Франциск Сарсэ в «Нувель ревю» («La Nouvelle Revue») в июне 1885 года говорил о двойственном впечатлении от этой книги, которая «и притяги-

вает и отталкивает», потому что она разочаровывает в человечестве и ведет к отчаянию. «К чему оставаться на этой земле, если она населена только низкими негодяями и бесстыдными мошенниками?» Так же как критик Монжуайе из газеты «Голуа», Сарсэ сетовал на то, что залы редакции, изображенные в «Милом друге», кажутся ему совершенно неправдоподобными («это не наши привычки, нравы, манеры, разговоры»). В ответ на эти упреки Мопассан печатает 7 июня 1885 года в газете «Жиль Блаз» «Ответ критикам «Милого друга», где решительно отрицает, что главной темой романа была французская пресса. Главное, говорит он,— «жизненный путь одного из тех авантюристов, с которыми нам в Париже приходится сталкиваться ежедневно и которые встречаются среди представителей всех профессий».

Большую известность приобрел роман Мопассана в России. В момент появления «Милого друга» Тургенева уже не было в живых, Толстой же, хоть и не столь высоко оценил роман по сравнению с «Жизнью», признал, что «Bel Ami», как и «Une vie», имеет в основе своей серьезную мысль и чувство». В этом романе Мопассан показывает, что «погибло и погибает все чистое и доброе в нашем обществе, потому что общество это развратно, безумно и ужасно» (Л. Толстой, Полн. собр. соч., т. 30, стр. 8—9).

Стр. 221. *Мюзар* (1789—1853) — французский музыкант, устроитель музыкальных вечеров, парижских публичных балов и маскарадов во время царствования Луи-Филиппа.

Стр. 224. *...на излечении в Сен-Лазаре или в Лурсине.*— Сен-Лазар и Лурсин — тюрьма и больница для проституток в Париже.

Стр. 248. *Альфа* — вид ковыля, распространенный в степях Испании и Северной Африки, волокна которого идут на изготовление плетеных изделий и бумаги.

Стр. 250. *...завтракать к Дювалю.*— Имеется в виду один из двенадцати дешевых ресторанов, организованных в Париже бывшим мясником Пьером-Анри Дювалем (1811—1870) под вывеской «Бульон Дюваля».

Стр. 254. *«Фигаро», «Жиль Блаз», «Голуа».*— Наряду с выдуманной газетой «Французская жизнь» Мопассан упоминает в романе ряд действительно существовавших в его время изданий. «Фигаро» («Figaro») — газета, основанная в 1825 году, много раз меняла политическое направление и к 80-м годам превратилась в солидную буржуазную газету, консервативную и религиозную по духу; большое место на ее страницах занимала хроника высшего света. «Жиль Блаз» («Gil Blas») — ежедневная республиканская газета левого центра, основанная в 1879 году; печатала светскую хронику и хронику парижских бульваров. «Голуа» («Gauloi») — политическая и литературная газета, основанная в 1867 году

как орган либеральной оппозиции к режиму Второй империи; в 80-х годах стала влиятельной консервативной газетой с монархическими тенденциями.

Стр. 259. *Его газета... орлеанистская...*— Орлеанисты — монархическая партия, прочившая на французский престол наследника Орлеанской династии (побочной линии династии Бурбонов).

Стр. 260. *Фервак* — французский журналист 70—80-х годов XIX века, сотрудничавший в крупных парижских газетах.

Стр. 304. *«Игра в смерть и в сорок старцев»* — насмешка над французской Академией, постоянные сорок членов которой иронически называются «бессмертными». По уставу Академии, новый член может быть принят в нее только на место умершего, в честь которого он произносит свою вступительную речь.

Стр. 310. *Гильме* Антуан (1842—1918) — художник-пейзажист, один из друзей Мопассана.

Арпиньи Анри (1819—1916) — художник-пейзажист, примыкал к «барбизонской школе».

Гийоме Гюстав-Ашиль (1840—1887) — художник-ориенталист и литератор.

Стр. 311. *Жервекс* Анри (1852—1929) — художник-жанрист и автор ряда картин на исторические сюжеты.

Бастьен-Лепаж Жюль (1848—1884) — художник, испытавший некоторое влияние импрессионистов.

Бугро Адольф-Вильям (1825—1905) — художник-«неоклассицист».

Жан-Поль Лоранс (1838—1921) — художник, писавший главным образом исторические полотна. Сюжет упомянутой картины взят из истории французской буржуазной революции конца XVIII века: подавление контрреволюционного вандейского мятежа республиканскими войсками, которые назывались *«синими»* по цвету их мундиров.

Жан Беро (1849—1910) — художник-жанрист, приятель Мопассана.

Ламбер Эжен (1825—1900) — художник, известный комическими сценками, персонажами которых являлись кошки.

Детай Эдуард (1848—1912) — художник, один из друзей Мопассана.

Морис Лелуар (1853—1940) — художник, живописец и график.

Стр. 324. *Дюруа забавляется* (по франц. Duroi s'amuse).— Игра слов, основанная на созвучии с названием драмы Виктора Гюго «Король забавляется» («Le roi s'amuse»).

Стр. 346. *...виллу графа Парижского... замок, откуда бежал Базен.*— Граф Парижский — титул внука короля Луи-Филиппа, в пользу которого он отказался от престола в 1848 году (настоящее имя — принц Луи-Филипп-Альбер Орлеанский, 1838—1894). Во время франко-прусской войны он вернулся из эмиграции в качестве «законного» претендента на власть; в 80-х годах монархисты прочили его в короли. Базен Франсуа-Ашиль

(1811—1888) — французский маршал, который во время франко-прусской войны сдал немцам город Мец, за что был обвинен в государственной измене. Заключенный в тюрьму, Базен бежал из нее при помощи своей жены.

Стр. 347. *«Кольбер», «Сюффрен», «Адмирал Дюперре».*— Кольбер Жан-Батист (1619—1683) — французский государственный деятель, первый министр Людовика XIV; среди прочих мероприятий произвел реорганизацию военного флота. Сюффрен Пьер-Андре (1726—1788) — адмирал, прославившийся в войне против англичан. Дюперре Виктор-Ги (1775—1846) — адмирал, участвовавший в завоевании Алжира.

«Фаянсовые художественные изделия бухты Жуан».— Реклама, основанная на том, что бухта Жуан — исторически знаменитое место: здесь, после побега с острова Эльба, высадился 1 марта 1815 года Наполеон перед своим вторым правлением (периодом «Ста дней»).

Стр. 376. *...Поля и Виргинию под синей пальмой...*— Речь идет о героях романа «Поль и Виргиния» (1787) французского писателя Бернардена де Сен-Пьера, действие которого происходит на тропическом острове Бурбон.

Стр. 384. *...двух бывших членов смешанных комиссий.*— Имеются в виду комиссии, учрежденные Наполеоном III после декабрьского переворота 1851 года для судебной расправы над его политическими противниками.

Стр. 398. *...напоминала ... картину Ватто...*— Ватто Антуан (1684—1721) — французский художник; персонажи его картин отличаются хрупким изяществом.

Стр. 406. *Затевать ту же глупую историю, что и в Тунисе...*— Речь идет о французской оккупации Туниса в 1881 году, сопровождавшейся восстанием местного населения.

Стр. 418. *...лет двадцать — двадцать пять тому назад.*— Церковь Трините (св. Троицы) в Париже была выстроена в 1867 году.

Стр. 429. *...со слезами Дидоны, а не Джульетты.*— По «Энеиде» Вергилия, царица Дидона, основательница Карфагена, приютила странствующего Энея, а когда он ее покинул, покончила с собой, бросившись в костер.

Стр. 432. *Язык Камброна покажется верхом изящества...*— В романе «Отверженные» (1862) Виктора Гюго рассказывается, как французский офицер Камброн, окруженный англичанами в сражении при Ватерлоо, ответил грубой бранью на предложение врагов сдаться и героически погиб вместе с кучкой отважных французских гвардейцев.

Стр. 501. *Бурбонский дворец* — местопребывание французской палаты депутатов.

Пышка. «Пышка» — первый рассказ, прославивший имя Мопассана,— открывает собой целую серию его новелл и рассказов, посвященных событиям франко-прусской войны 1870—1871 годов, которая окончилась военной катастрофой при Седане и падением империи Наполеона III (новеллы «Мадемуазель Фифи», «Дядюшка Милон», «Два приятеля», «Старуха Соваж» и другие).

«Пышка» — первое произведение Мопассана, вышедшее под его настоящим именем. «Пышка» была впервые напечатана 16 апреля 1880 года в сборнике рассказов «Меданские вечера». Идея выпустить этот сборник к десятилетней годовщине франко-прусской войны возникла в группе молодых писателей, считавших себя натуралистами и собиравшихся по четвергам в Медане, в загородном доме Золя. В сборник вошло шесть рассказов: самого Эмиля Золя, Поля Алексиса, Анри Сеара, Леона Энника, Жориса-Карла Гюисманса и Ги де Мопассана.

«У нас не было при составлении этой книги никакой антипатриотической цели, никакого предвзятого намерения; мы хотели только попытаться дать в наших рассказах правдивую картину войны, очистить их от шовинизма в духе Деруледа, а также и от фальшивого энтузиазма, почитавшегося до сего времени необходимым во всяком повествовании, где имеются красные штаны и ружье»,— писал Мопассан Флоберу 5 января 1880 года.

Флобер пришел в подлинное восхищение от «Пышки», назвав ее «шедевром композиции, комизма и наблюдательности». «Мне не терпится сказать Вам, что я считаю «Пышку» *шедевром,*— писал он Мопассану.— Да, молодой человек, это не более, не менее как мастерское произведение. Это вполне оригинально по концепции, прекрасно взято в целом и превосходно по стилю. Пейзаж и персонажи отчетливо видимы, а психология обрисована сильно. Короче говоря, я в восхищении; раза два-три я хохотал во все горло. Этот рассказ *не забудется,* можете быть уверены. Как великолепны физиономии ваших буржуа! Удались все персонажи. Корнюде неподражаем и правдив. Монахиня в рубцах от оспы превосходна, а граф и его «мое дорогое дитя», а конец! Бедная девушка, которая плачет, пока тот, другой, поет Марсельезу,— это выше всяких похвал!»

Главные персонажи рассказа не были плодом чистого воображения автора. Известен прототип Корнюде (родственник Мопассана — Шарль Корд'ом, который и рассказал ему подлинную историю, положенную в основу рассказа). Прообразом самой Пышки послужила Андриена Легэ, содержанка из Руана. «Пышка» была признана лучшим рассказом сбор-

ника «Меданские вечера». В 1885 году Мопассан включил ее в книгу своих «Повестей и новелл».

В русской печати о «Пышке» Мопассана впервые упоминается в «Отечественных записках», где парижский корреспондент называет ее автора «одним из самых талантливых учеников Флобера» («Отечественные записки», 1880, № 6, стр. 157). Первый русский перевод «Пышки» появился в журнале «Дело», № 11, за 1881 год.

Стр. 507. *...во времена героических оборон, прославивших этот город.*— На протяжении средних веков город Руан неоднократно подвергался осаде во время феодальных междоусобиц (1174 г., 1204 г., 1552 г., 1593 г.). Особенно прославило город полугодовое героическое сопротивление английским войскам в 1418 году.

Стр. 512. *Четвертого сентября* 1870 года — то есть в день провозглашения Третьей республики после падения Второй империи.

Стр. 518. *Баденге* — насмешливое прозвище Наполеона III, бежавшего в 1846 году из тюрьмы в одежде каменщика Баденге.

Стр. 526. *Дю Геклен* Бертран — прославленный французский полководец XIV века, сражавшийся с англичанами.

Императорский принц.— Имеется в виду сын Наполеона III принц Эжен-Луи, которому в 1870 году было 14 лет.

Стр. 532. *Юдифь и Олоферн, Лукреция и Секст.*— Согласно библейской легенде, еврейская девушка Юдифь покорила своей красотой, а затем умертвила вражеского полководца Олоферна. По древнеримским преданиям, римлянка Лукреция покончила с собой после того, как была обесчещена царским сыном Секстом.

Стр. 534. *...она побывала в Крыму, в Италии, в Австрии...*— Имеются в виду войны Второй империи с Россией (1854—1855 гг.) и с Австрией (1859 г.); последнюю Наполеон III вел будто бы за освобождение Италии, а на самом деле в своих династических целях.

Заведение Телье. Новелла «Заведение Телье» была закончена Мопассаном в январе 1881 года. Сам он, видимо, очень ценил ее, потому что незадолго до того писал матери: «Я почти закончил свою новеллу о публичных женщинах на первом причастии. Думаю, что это, по крайней мере, равно «Пышке», если не превосходит ее». Заведение Телье действительно существовало в Руане; церемония первого причастия, изображенная в новелле, происходила в местечке Буи-Гийом возле Руана.

Новелла вышла в свет в мае 1881 года в составе сборника с одноименным названием, который был посвящен Тургеневу. Последний, возвратясь из России в Париж, писал 26 сентября 1881 года Мопассану: «Ваше имя наделало немало шума в России; переведено все, что только было возможно».

Лев Толстой впервые познакомился с Мопассаном именно по сборнику «Заведение Телье», который Тургенев передал ему в том же 1881 году, с краткой характеристикой автора как писателя и человека. Сборник в целом не понравился Толстому, хотя «по первому же рассказу «Maison Tellier»,— говорит он,— несмотря на неприличный и ничтожный сюжет рассказа, я не мог не увидать в авторе того, что называется талантом» (Л. Толстой, Полн. собр. соч., т. 30, М. 1951, стр. 4).

Стр. 561. *«Жирный кюре из Медона».*— Имеется в виду писатель Франсуа Рабле (ок. 1495—1553), широко известный во Франции под прозвищем «Веселый кюре из Медона».

Стр. 565. *Спинет* — старинный струнно-клавишный инструмент, по форме напоминавший маленький рояль.

В своей семье. Впервые (до включения в сборник) новелла была опубликована в журнале «Нувель ревю» («Nouvelle Revue») 15 февраля 1881 года. Тургенев писал Мопассану: «Я пробежал Вашу новеллу в «Нувель ревю» с огромным наслаждением». Тургенев же и рекомендовал ее для перевода в русской газете «Порядок», где она появилась в №№ 169—170 от 22 и 23 июня 1881 года. В кратком представлении от редакции говорилось: «В последнее время в так называемой реальной школе новейшей французской литературы начинает обращать на себя особенное внимание Г. Мопассан,— имя, мало еще известное у нас и заслоняемое именем Эмиля Золя». Мопассан назван здесь учеником и последователем Золя, проявляющим, однако, и «вполне самостоятельные черты в своем таланте и самих литературных приемах», ибо у него «нет и следа той утрировки, которой страдают, иногда, даже и самые талантливые представители реальной школы; он... не считает для истины необходимой фотографическую точность».

По поводу этой новеллы имеется также дневниковая запись у Толстого (от 1 и 2 окт. 1910 г.): «Вчера чтение рассказа Мопассана навело меня на желание изобразить пошлость жизни, как я ее знаю... поместить среди этой пошлости живого духовно человека» (Л. Толстой, Полн. собр. соч., т. 58, стр. 111).

История деревенской служанки. Новелла была впервые напечатана в журнале «Ревю политик э литерер» («La Revue politique et littéraire») 26 марта 1881 года.

Тургенев писал по поводу этой новеллы еще 9 марта 1881 года М. М. Стасюлевичу — издателю и редактору «Вестника Европы» и газеты «Порядок»: «Вам, может быть, известно, что изо всей *молодой* школы романистов во Франции самый талантливый г. де Мопассан... автор «Boule de Suif» и пр. Он написал прилагаемый очерк для «Revue

politique et littéraire», который, по моему посильному суждению,— маленький chef d'œuvre». Советуя напечатать его в русской газете «Порядок», Тургенев добавляет: «...Если рассказ г. де М<опассана> будет принят, надо будет постараться перевести его изящно,— так как по слогу достоин пера Флобера» (И. С. Тургенев, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 66—67).

«История деревенской служанки» была напечатана по-русски не в газете «Порядок», а в журнале «Дело», в № 12, за 1881 год, под заглавием «Батрачка».

Папа Симона. Новелла была впервые опубликована в журнале «Реформа» («La Reforme») 1 декабря 1879 года. Однако известность она приобрела позднее, после публикации «Пышки», обратившей внимание читателей на молодого Мопассана, когда «Папа Симона» появился в составе сборника «Заведение Телье». (В настоящем издании «Пышка» помещена до «Папы Симона», в соответствии с традицией французских изданий.) Прочитав эту новеллу в сборнике «Заведение Телье», переданном ему Тургеневым, Толстой назвал «Папу Симона» «прекрасным рассказом» (Л. Толстой, Полн. собр. соч., т. 30, стр. 6).

Мадемуазель Фифи. Впервые напечатано в газете «Жиль Блаз» 23 марта 1882 года.

Стр. 618. *...во время Австрийской кампании* — то есть прусско-австрийской войны 1866 года, завершившейся победой Пруссии при Садова.

Стр. 622. *...не хуже Бельфора и Страсбурга...*— Имеется в виду героическое сопротивление, которое французская крепость Бельфор и город Страсбург оказали пруссакам во время нашествия 1870—1871 годов.

Плетельщица стульев. Напечатано в газете «Голуа» 17 сентября 1882 года. *Леон Энник* (1852—1935), которому посвящается новелла,— французский писатель, один из близких друзей Мопассана, участвовавший вместе с ним в создании сборника «Меданские вечера».

Лунный свет. Новелла была впервые напечатана в газете «Жиль Блаз» 19 сентября 1882 года за подписью «Мофриньёз».

Стр. 636. *Аббату Мариньяну очень подходила его воинственная фамилия...*— Мариньян (Marignan) — французское название города Меланьяно в Италии, где французы дважды (в 1515 и 1859 годах) одержали военные победы.

Стр. 637. *«Дитя двенадцать раз нечистое...»* — слова из стихотворения «Самсон» французского поэта Альфреда де Виньи (1797—1863).

Стр. 640. *...подобное любви Руфи и Вооза...*— Имеется в виду эпизод из Библии (книга «Руфь»), описывающий любовь юной моавитянки Руфи и старого Вооза, который приютил ее в трудную минуту, а затем взял в жены.

Песнь Песней — одна из книг Библии, в пламенных поэтических красках рисующая любовь царя Соломона и прекрасной чернокожей Суламиты.

В полях. Новелла была впервые напечатана в газете «Голуа» 31 октября 1882 года. Посвящена французскому писателю, романисту и драматургу *Октаву Мирбо* (1848—1917).

Завещание. Новелла была впервые напечатана в газете «Жиль Блаз» 7 ноября 1882 года. Посвящена французскому драматургу и романисту *Полю Эрвьё* (1857—1915).

В море. Новелла впервые была напечатана в газете «Жиль Блаз» 12 февраля 1883 года за подписью «Мофриньёз». *Анри Сеар* (1851—1924), которому Мопассан посвящает новеллу,— французский писатель-натуралист, один из участников сборника «Меданские вечера». Впоследствии написал несколько статей о Мопассане.

Два приятеля. Впервые напечатано в газете «Голуа» 24 марта 1883 года.

Стр. 657. *Париж был осажден...*— Речь идет об осаде Парижа во время франко-прусской войны. Осада началась 16 сентября 1870 года, а в январе 1871 года пруссаки приступили к артиллерийскому обстрелу города с высоты Мон-Валерьен.

Дядюшка Милон. Новелла впервые напечатана в газете «Голуа» 22 мая 1883 года.

Мать уродов. Впервые напечатано в газете «Жиль Блаз» 12 июня 1883 года за подписью «Мофриньёз».

Он? Новелла впервые напечатана в газете «Жиль Блаз» 3 июля 1883 года за подписью «Мофриньёз». Посвящена французскому драматургу *Пьеру де Курсель* (1856—1926).

Дядя Жюль. Новелла впервые напечатана в газете «Голуа» 7 августа 1883 года. Посвящена французскому художнику-пейзажисту *Ашилю Бенувалю* (1815—1891).

Гарсон, кружку пива!.. Новелла была напечатана в газете «Жиль Блаз» 1 января 1884 года. Посвящена французскому поэту *Хосе-Мария Эредиа* (1842—1906).

Ожерелье. Новелла была напечатана в газете «Голуа» 17 февраля 1884 года.

Нищий. Новелла появилась в газете «Голуа» 9 марта 1884 года.

Одиночество. Впервые напечатано в газете «Голуа» 31 марта 1884 года.

Л. Н. Толстой писал об этой новелле: «Я не знаю более хватающего за сердце крика отчаяния сознающего свое одиночество, заблудившегося человека, как выражение этой мысли в прелестнейшем рассказе «Solitude» (Л. Толстой, Полн. собр. соч., т. 30, стр. 21).

Стр. 711. *Кто-то зовет меня, шепчет уныло...* — цитата из стихотворения Альфреда де Мюссе (1810—1857) «Майская ночь».

Стр. 713. *Сюлли Прюдом* (1839—1907) — французский поэт.

Возвращение. Впервые было напечатано в газете «Голуа» 28 июля 1884 года под заглавием «Мартены». «Черт возьми, какую замечательную новеллу Вы поместили в «Голуа»!.. Никогда еще Вы не создавали ничего более сильного»,— писал Мопассану издатель Авар 5 августа 1884 года.

Мадемуазель Перль. Впервые было напечатано в литературном приложении к газете «Фигаро» 16 января 1886 года.

Стр. 723. *Пятнадцатое августа* — день рождения Наполеона I, который во времена Мопассана продолжали праздновать бонапартистские семьи.

...относительно положения дел в Тонкине... — В 80-е годы внимание французского общества было поглощено политическими событиями в Тонкине в связи с попыткой Франции навязать ему свой протекторат.

Стр. 731. *Перль* (франц. perle) — жемчужина.

Буатель. Новелла была впервые напечатана в газете «Эко де Пари» («L'Écho de Paris») 22 января 1889 года.

Стр. 739. *Эпинальские картинки* — лубочные картинки, изготовлявшиеся во французском городе Эпинале.

В порту. Напечатано в газете «Эко де Пари» 15 марта 1889 года.

Эта новелла особенно заинтересовала Л. Н. Толстого. Осенью 1890 года А. М. Новиков, живший в Ясной Поляне, перевел ее на русский язык и показал свой перевод Толстому. В дневниковой записи от 23 октября 1890 года Толстой называет этот рассказ «чудным». Увлекшись новеллой Мопассана, он стал исправлять перевод Новикова, о чем сообщил 18 октября 1890 года В. Г. Черткову, говоря, что переводит для «Посредника» «ужасной силы и цинизма и глубоко нравственно действующий рассказ» Мопассана (Полн. собр. соч., т. 87, стр. 51). В результате работы Толстого получился не перевод, а переложение рассказа, который он назвал «У девок»; затем перевод Л. Н. Толстого был напечатан 5 февраля 1891 года в «Новом времени» под названием «Франсуаза», которое дал ему Н. С. Лесков.

Оливковая роща. Новелла была впервые напечатана в газете «Фигаро» 14 и 23 февраля 1890 года.

По свидетельству слуги Мопассана Тассара, французский историк искусства и критик Ипполит Тэн, которому Мопассан читал эту новеллу, объявил, что она «достойна Эсхила».

Русская печать 80-х и 90-х годов прошлого века проявляла постоянный интерес к Мопассану. Кроме приведенных выше суждений Тургенева и Толстого, следует отметить материалы о нем в русских журналах. В 1893 году, в связи со смертью писателя, в «Вестнике иностранной литературы» (№ 7, за 1893 г.) была помещена характеристика творчества Мопассана с довольно подробным изложением «Пышки» и романов «Жизнь», «Милый друг», «Монт-Ориоль», «Пьер и Жан», «Сильна как смерть» и «Наше сердце». В январе 1894 года «Вестник иностранной литературы» перепечатывает этюд французского критика Рене Думика о Мопассане. В том же номере дано объявление о «полном русском издании романов, повестей и рассказов (более 200) Гюи де Мопассана в 12 томах». Собрание сочинений Мопассана вышло также в 1900 году на Украине (Киев — Харьков) в 3-х томах. А в 1904—1907 годах в Киеве — Харькове — Петербурге выходит первое иллюстрированное Собрание сочинений Мопассана в 4-х томах, с предисловием Льва Толстого (Л. Толстой, Полн. собр. соч., т. 30).

Стр. 762. *...единственный миг слабости Иисуса Христа.*— По евангельской легенде, Иисус Христос, предчувствуя свою гибель, перед тем как быть схваченным, удалился от учеников и всю ночь молился под оливковыми деревьями Гефсиманского сада, умоляя бога пронести мимо чашу страданий.

Е. Евнина

СОДЕРЖАНИЕ

Е. Евнина. Ги де Мопассан 5

ЖИЗНЬ. Роман. *Перевод И. Касаткиной* 25
МИЛЫЙ ДРУГ. Роман. *Перевод Н. Любимова* 213
НОВЕЛЛЫ
Пышка. *Перевод Е. Гунста* 505
Заведение Телье. *Перевод Н. Жарковой* 541
В своей семье. *Перевод В. Станевич* 567
История деревенской служанки. *Перевод И. Татариновой* . 592
Папа Симона. *Перевод А. Ясной* 609
Мадемуазель Фифи. *Перевод Н. Касаткиной* 617
Плетельщица стульев. *Перевод А. Ясной* 629
Лунный свет. *Перевод Н. Немчиновой* 636
В полях. *Перевод М. Мошенко* 641
Завещание. *Перевод Е. Брук* 647
В море. *Перевод А. Чеботаревской* 652
Два приятеля. *Перевод Д. Лившиц* 657
Дядюшка Милон. *Перевод Д. Лившиц* 664
Мать уродов. *Перевод А. Федорова* 670
Он? *Перевод М. Казас* 676
Дядя Жюль. *Перевод А. Кулишер* 683
Гарсон, кружку пива!.. *Перевод А. Полляк* 691
Ожерелье. *Перевод Н. Дарузес* 697
Нищий. *Перевод О. Холмской* 705
Одиночество. *Перевод Н. Касаткиной* 710
Возвращение. *Перевод А. Модзалевской* 715
Мадемуазель Перль. *Перевод Н. Коган* 721
Буатель. *Перевод М. Вахтеровой* 736
В порту. *Перевод М. Салье* 744
Оливковая роща. *Перевод К. Варшавской* 752

Примечания *Е. Евниной* 777

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ВТОРАЯ

Том 97

Ги де Мопассан

ЖИЗНЬ
МИЛЫЙ ДРУГ
НОВЕЛЛЫ

*

Редактор С. Брахман

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Оформление суперобложки
А. Лепятского

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Заселяева

Корректоры
Е. Патина и Р. Андрианова

*

Сдано в набор 3/VII 1969 г. Подписано к печати 15/XII 1969 г. Бумага типографская №1 60×84¹/₁₆ 49,5 печ. л.-46,18 усл. печ. л., 47,16+7 накидок+ +1 вкл.=48,06 уч-изд. л.
Тираж 300 000. Заказ 83. Цена 1 р. 98 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28.